ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Русского Библиографического Института Гранат.

СЕДЬМОЕ ИЗДАНИЕ,
ДО 33-го ТОМА ПОД РЕДАКЦИЕЙ

проф. Ю. С. Гамбарова, проф. В. Я. Железнова, проф. М. М. Ковалевского, проф. С. А. Муромцева и проф. К. А. Тимирязева.



Четвертый выпуск
сорокового (40) тома.

СОЦИАЛИЗМ.

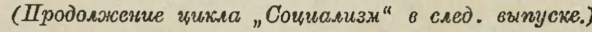
Lexicographis secundus post Herculem labor
(Скалигер).

РЕДАКЦИЯ И ЭКСПЕДИЦИЯ „РУССКОГО БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ГРАНАТ“:
МОСКВА, Тверской бульвар, 25.

Статьи 4 выпуска 40-го тома.

Социализм.

Столб.



(Продолжение цикла „Социализм" в след. выпуске.)

Главлит № 1077. Москва. Тираж 5.000.

5-я типо-литография „Мосполиграф", Мыльников 14.

Elektrizitätswirtschaft", erläutert von Stern u. Aron; *Heinemann*, „Die Kommunalisierung des Lebensmittelgewerbes"; Otto *Hue*, „Die S. der Kohlenwirtschaft"; Bruno *Habicht*, „Beitrag zur Frage der S. der Montanindustrie"; Otto *Hecke*, „Die Beamten und die S."; *Herring*, „Das Problem der Verstaatlichung des preussischen Steinkohlenbergbaues"; *Hükinghaus*, „Die Verstaatlichung der Steinkohlenbergwerke"; *Klier*, „S.-gesetze"; *Каутскій*, „С. сельскаго хозяйства"; *Konneburger*, „Die S. und der Oberlehrerstand"; *Köhler*, „Die S. und die Angestellten"; *Karsko*, „S. des Bergbaues"; *Lambach*, „S. und kaufmännische Angestellte"; *Lehmann*, „Apotheken und Gemeinwirtschaft"; *Lothring*, „Die Entwickelung des Grossgrundbesitzes und die S. des Bodens"; *Marwitz*, „Die S. und die Rechtanwaltschaft"; Karl *Marchinioni*, „Ein Plan zur S. der Landwirtschaft"; *Matuschke* und *Rogge*, „Die S. des Friseurgewerbes"; *Niedner*, „Die S. der Rechtspflege"; *Nilssen Deiters*, „Die Frauen und die Vergesellschaftung"; *Pototzky*, „Gegen die S. des Versicherungswesens"; O. *Prange*, „Die S. des Versicherungswesens"; G. *Reicherts*, „Das Problem der Verstaatlichung des Versicherungswesens"; *Speckhardt*, „Zur S. der Elektrizitätswirtschaft"; Erich *Schairer*, „S. der Presse"; *Stillich*, „Die S. der Banken"; *Vorläufiger*, „Bericht der S.-kommission über d. Frage der S. des Kohlenbergbaues"; Martin *Wagner*, „Die S. der Baubetriebe"; *Weba*, „Wald und S."; *Zschimmer*, „Die S. der optischen Industrie Deutschlands".

Австрія: Otto *Bauer*, „Die S.-aktion im ersten Jahre der Republik"; *Hollitscher*, „Die S. des Geldes in Deutschösterreich".

Венгрія: Eugen *Varga*, „Die Wirtschaftsorganisation der ungarischen Räterepublik".

Германія: Кромѣ указанной выше: Edmund *Fischer*, „Die Entwicklung der Gemeinwirtschaft in Sachsen"; Emil *Lederer*, „Deutschlands Wiederaufbau und weltwirtschaftliche Neueingliederung durch S."; *Moses*, „Die Kohlenwirtschaftsgesetzgebung des Deutschen Reichs"; *Mollendorff*, „Deutsche Gemeinwirtschaft"; *Müller*, „Kapitalismus und Sozialismus in den politischen Parteien der Gegenwart"; Otto *Neurath*, „Die S. Sachsens — Bayrische S.-Erfahrungen"; *Спектаторъ*, „Проблемы С. въ Германіи"; Fritz *Schulte*, „Die S. der bayrischen Hypothekenbanken"; *Schippel*, „Die S.-bewegung in Sachsen"; *Simon*, „Materialien zur S".

Англія: „*Aufbau* und Abbau der Kohlenplanwirtschaft in England"; Charlotte *Leubuscher*, „Sozialismus und S. in England"; Arnot *Page*, „Further Facts from the Coal Comission"; *Supply* Coal, „The Nationalisation"; *Chiozza Money*, „The Triumph of Nationalisation".

Г. Наумовъ.

Соціализація и націонализація въ Россіи, см. *Союзъ Совѣтскихъ Соціалистическихъ Республикъ.*

СОЦІАЛИЗМЪ. I. Утопический социализм и социальное движение до серед. XIX века. С.—учение об общественном строе с обобществленными средствами производства, без классов и без социального неравенства. Развитие этого учения тесно связано с общественно-хозяйственным развитием; условиями экономической жизни оно порождается и в зависимости от изменений экономической жизни само принимает различные формы. Учение С.—одно из учений и направлений экономической мысли и составляет особую „социалистическую" школу в политической экономии, имеющую ряд многочисленных разветвлений. В более широком смысле под С. разумеют не только учение, не только движение экономической мысли, не только теоретическую концепцию определенного рода, но и социальное движение, направленное к осуществлению социалистического строя или к распространению социалистических идей, к развитию социалистического мировоззрения. Как одно, так и другое движение тесно связаны и взаимно обусловлены, исходя из одних и тех же корней—из производственных отношений, из условий общественно-хозяйственной жизни. Самый термин „социализм" сравнительно недавнего происхождения; его появление во Франции приурочивают к началу 30-х г. и связывают с статьей, написанной Пьером Леру и помещенной в „Revue Encyclopédique" под названием „Philosophie sociale", в которой началу индивидуалистическому противополагался принцип коллективности, начало общественное (социализм). В Германии у Лоренца Штейна в 1842 г. в книге „D. Sozialismus und Kommunismus d. heutigen Frankreichs" термин С. употреблялся для характеристики социальных систем Сен-Симона и Фурье, чтобы отличить их от коммунизма, как пролетарского движения против собственности. В Англии оуэнисты называли себя социалистами; оуэнистская партия приняла название „социалистической" партии на с'езде в Манчестере в 1837 г. Маркс и Энгельс к 1848 г. предпочитали в своем известном „Манифесте" термин „коммунизм", отличая его от термина „социализм" и даже противопоставляя коммунистическое учение социалистическому. В „Анти—Дюринге", однако, Энгельс для своего и марксова учения употребляет термин „научный социализм", не проводя, т.-о., резкого различия между коммунизмом и социализмом. Но в предисловии к немецкому изданию „Коммунистического Манифеста" в 1890 г. Энгельс отстаивал данное им с Марксом название Коммунистическому Манифесту теми соображениями, что в то время (1847—1848 г.) ему и Марксу необходимо было свое учение отмежевать от учения оуэнизма, принявшего название социалистической партии, и что в 1847 г. „социализм" означал бур-

жуазное движение, коммунизм—рабочее; С. был, по крайней мере, на континенте вхож в салоны, коммунизм же как раз наоборот; с другой стороны, в 1847 г., т.-е. к моменту написания „Коммунистического Манифеста“, под социалистами разумели, по мнению Энгельса, не только оуэнистов и фурьеристов, но вообще всякого рода социальных знахарей, пытавшихся устранить социальное неравенство не радикальным преобразованием общественного строя, а путем всякого рода заплат, всякого рода компромиссов. К нашему времени такого толкования терминов С. и коммунизма не существует, и под коммунизмом (communis—общий) разумеют вообще учение об общественном строе не только с обобществленными средствами производства, но и с обобществленными предметами потребления, в то время как под С. (socius—союзник в общем деле, товарищ) разумеется лишь первый этап нового общественного строя—с обобществленными средствами производства, но с частной собственностью на предметы личного потребления; и если в коммунизме принцип распределения—„каждому по его потребностям“,то в С.—„каждому по его трудовым заслугам“. И именно такое разграничение этих двух понятий считается принятым в политической экономии. Но так как в этом разграничении речь идет собственно только о двух последовательно идущих одна за другой ступенях развития одного и того же явления, то в экономической и социалистической литературе строгого разграничения между С. и коммунизмом вообще не проводится, в особенности, если дело идет не о последних событиях текущего момента, а о различных течениях и направлениях социалистической (коммунистической) мысли в прошлом.

История С. теряется в глубокой древности. На самых ранних шагах своего исторического развития человечество сталкивается с фактами социального неравенства, господства и угнетения, разделения населения на трудовые и нетрудовые части. И уже на ранних ступенях истории возникает социальное недовольство, рождается вопрос о причинах социального неравенства, мечты о возможности освобождения от этого социального неравенства, представление о таком социальном строе, где не будет неравенства и угнетения. В течение долгого времени, однако, идеи С. и социальное движение питаются не фактами, вырастающими из недр хозяйственного развития, но пережитками прошлого, скрытого в глубокой седине до-исторической жизни людей, когда не было социальных различий. Это был тот „золотой век“, который служил материалом и реальной основой для социалист. мысли старого времени и который сводится к идеализации первобытно-коммунистич. строя жизни первобытных человеческих групп. Этот *первобытный коммунизм* до-исторического человека, согласно этнографическим исследованиям до-исторической эпохи, выражается в совместном труде всех и каждого, в общем производстве общими усилиями (общественная охота, рыбная ловля), в общем потреблении, в отсутствии неравенства, в отсутствии частной собственности как на средства и орудия производства (поскольку таковые имелись), так и на предметы потребления; сколько-нибудь выраженной индивидуальности здесь нет места; все похожи по своим переживаниям, привычкам, способностям один на другого; все живут настоящим; запасов нет; заботы о завтрашнем дне отсутствуют; техника примитивна; производство от случая к случаю; правильного хозяйства в собственном смысле слова нет; „социальности“ также нет; это период стадности, связанности по крови, по родству; это состояние дикости, это status naturalis, по выражению Л. Штейна. Люди такой первобытно-коммунистической группы не знали социальных страданий и социальной борьбы человека с человеком; вместе с тем они не знали и радостей, так как жизнь того времени требовала самой тяжелой и напряженной борьбы за существование изо дня в день. И тем не менее, отсутствие социального неравенства, господства и подчинения могло казаться людям позднейшего периода „раем“, „золотым веком“, „идеалом“,

к которому следует стремиться, которого следует добиваться. По Моргану и Энгельсу, такой строй первобытно-коммунистического характера существовал вплоть до разложения родовой общины. Отголоски такого первобытно-коммунистического строя с отсутствием социального неравенства и социального угнетения и послужили той материальной базой, из которой стали вырастать мечты о новом строе без социального неравенства, без господства и угнетения. Вся история социалистических учений может быть представлена в следующем порядке: I. античный С., II. раннехристианский С., III. С. и социальное движение средних веков, IV. утопический С. и социальное движение в эпоху торгового капитала, V. утопический С. первой половины XIX в., VI. аграрный С., VII. т. н. „христианский С. нового времени“ (см. *христианский С.*), VIII—научный С.

1. Античный С. Едва ли приходится особенно удивляться тому, что уже античная жизнь Греции и Рима порождает движение социалист. мысли. С одной стороны, сложившиеся на развалинах родового строя античные государства покоились в своей хозяйственной структуре на социальном неравенстве, на системе отношений господ и рабов; кроме того, среди свободного населения там имелись значительные массы, вовлеченные в нищету, бедность, осужденные в жизни на безделье, живущие только государственными подачками (беднейшие плебеи, „пролетарии“); при наличии богатства и роскоши это не могло не вызывать недовольства и толкало лучшие умы страны к тому, чтобы искать выхода из создавшихся противоречий и социальной неурядицы. С другой стороны, жизнь античного государства находилась все время в процессе постоянного кипения, бурного движения, разного рода внешних и внутренних столкновений, испытывая нередко тяжелые времена, особенно в периоды ломки и перехода от одной фазы к другой, почти всегда и всюду болезненно переживаемого. Правда, все умственные искания в это время исходили не из низов, не из наиболее производительных слоев населения, так как низы были слишком забиты, умственно-отсталы и некультурны; искания шли сверху, из античной интеллигенции. Поэтому социалист. построения этого времени страдали оторванностью от жизни, беспочвенностью; корни античного С. лежали не в настоящем, а скорее в прошлом. Все же среди идей античного С. мы находим и идею равенства, правда лишь в приложении к свободному населению, и протест против частной собственности, и идею общности, если не производства, то потребления, и требование об устранении условий, порождающих непроизводительные слои населения, вроде „пролетариев“, живущих на счет государства, и идею необходимости планомерного ведения всей жизни государства. Впервые такого рода идеи появились в Аттике в IV стол. до Р. Х., когда Греция после победоносных персидских войн сделалась могущественным государством, когда новые источники обогащения (несметная военная добыча, дань с покоренных народов, новые кадры рабов и проч.), проходившего мимо широких масс населения, вызвали резкое расщепление населения на богатых и бедных. Центром выросших социальных противоречий явились Афины, с огромными богатствами отдельных граждан и с огромною массою неимущих „пролетариев“, не находивших себе работы и живших на общественный счет. Притоки денежных ценностей сделали Афины центром начинавшегося в это время (V—IV век), торгового капитализма, который, однако, не находил себе в условиях античной жизни достаточно питательных соков и был обречен на безвременное увядание и смерть. Все почти богатство Афин было не результатом производительного накопления; оно притекало больше, как продукт военной добычи; такие богатства так же быстро потреблялись, как быстро и наживались. Поэтому общим фоном бьющих противоречий жизни было не производство, а потребление. Производственный процесс в тесном смысле слова оставался где-то на заднем плане. Потребление, неравномерность распределения богатств невольно должны были

стать центром внимания общественной мысли данной эпохи и определить собою общий характер всех социалистических построений, исканий и стремлений этого времени. Выразителем таких исканий в Греции рассматриваемого периода явился Платон с своим учением об идеальном „Государстве" (Политейя) и, позднее, Ямбул (Город солнца) и Эвгемер из Мессины (Священная Хартия).

Платон (*см. XXXII, 325 — 334, особ. 333*) был истым афинянином и принадлежал к древнейшему аристократическому роду. В своем сочинении „Политейя" Платон пытается найти выход из социальных противоречий жизни Афин и рисует картину нового строя, где устранены, по его мнению, главнейшие источники социального зла, где нет расщепления государства на два государства, т.-е. на два враждующих и борющихся противоположных лагеря. Исходной точкой своего представления об идеальном, справедливом государственном строе Платон берет идею о золотом веке, которую он находит у Гесиода, и по которой люди первоначально жили, не зная неравенства, не зная войн, раздоров и распрей, не зная забот и горестей (золотой век), но потом, идя последовательно через серебряный и медный к железному веку, пришли к частной собственности и рабству, когда началась война всех против всех. В справедливом государстве правителями являются философы, соединяя в себе и философское знание и государственную власть; только такие философы-правители могут иметь истинное представление о том, что для государства добро и что зло. Образуя в государстве особый класс, они правят на началах планомерности, сознательного регулированья всех сторон и всех частностей государственно-общественной жизни. Второй класс в государстве составляют воины, главнейшая задача которых—охранять и защищать порядок, как извне, так и внутри. Третьим классом являются купцы, ремесленники и земледельцы, функция которых заботиться о производстве и доставлении предметов общественного потребления. О рабах у Платона нет речи, рабы не члены государства, не граждане; речь идет лишь об устройстве жизни свободных граждан; рабы остаются в качестве просто средств производства. Философы-правители и воины-охранители не имеют частной собственности, которая обычно и делает правящие классы непригодными к управлению; потребление у них организовано коммунистически, на принципе: каждому по его потребностям; никто не имеет жилища или кладовых, куда бы не мог входить другой, кто хочет; все правители и чиновники получают вознаграждение до полного удовлетворения потребностей; каждый берет, сколько хочет, лишь бы не оставалось остатков; последнее не допускается; еда—общая, в коммунальных столовых. Но мало того: не только имеется общность потребления, но и общность жен, отсутствие индивидуальной семьи и брака; дети принадлежат государству и с момента своего появления на свет получают общественный уход и общественное воспитание; ни мать не должна знать своих детей, ни дети не должны знать, кто их мать; принадлежа всем и каждому, женщина, однако, не рабыня в руках мужчин; наоборот, она равноправный член общества-государства, как и любой мужчина; но и безпорядочного полового общения нет; наоборот, оно регулируется и направляется по принципу строгого полового подбора: сильный с сильным, слабый с слабым, при чем для женщин половая жизнь ограничивается возрастом от 20 до 40 лет, а для мужчин от 30 до 55 лет; всякие нарушения этих границ сурово караются, как государственные преступления; вообще в государстве Платона царит суровая дисциплина; все строжайшим образом регламентировано; имеется строгое разделение труда; каждый должен выполнять строго определенный круг действий в пределах своей специальности. Т. о., у Платона сохраняется в общих чертах система античного хозяйства, со всей его дифференциацией, разделением труда и рабством. У Платона сохраняется и сословно-классовый дух старого современного ему общества и пренебрежительное отношение к физическо-

му труду, столь свойственное благородному афинянину старого времени. Его философы-правители, так же как и воины-охранители, физически не работают, предоставляя это низшим слоям населения и преимущественно рабам. У Платона в „Политейе“ явно проглядывает дух аристократизма, он строит управление не на демократических принципах, он не верит демократии, не верит в принцип большинства: его правители—аристократы духа, аристократы ума, люди, достигшие высокого морального уровня и философских знаний. Платоновский коммунизм—коммунизм потребления, не коммунизм производства, и при этом коммунизм не для всех, а лишь для избранных групп, для высших классов. В своих „социалистических“ идеях Платон не далеко уходит от рамок современного ему государства. Все же Платон „социалист“, поскольку он хотя бы частично, в пределах определенных слоев своего „Государства“, устраняет частную собственность; он социалист, поскольку он стремится к уничтожению вместе с частной собственностью и социального неравенства, социальной борьбы антагонистических групп и т. п. Но он социалист-мечтатель, социалист-утопист: он выводит свой строй новых отношений из разума, веря лишь в перерождающую силу философского знания и морального сознания. Менее всего, разумеется, Платон революционер: он враг насильственных действий, он верит лишь в силу идей, он видит возможность перехода к новому строю в одном убеждении; в то же время платоновский социализм оторван от массы; Платон—мечтатель, опирающийся на прошлое, а не на настоящее.

„Политейя“ Платона имела, однако, огромнейшее влияние на все последующее развитие социалистической мысли; едва забывали Платона одни поколения, как другие, за этими следующие, снова воскрешали платоновскую идею нового государства без социальной борьбы и без социального неравенства, варьируя ее на разные лады, согласно с духом своего времени. Так, идеи Платона, развитые им в „Государстве“, находят свое непосредственное отражение в учениях Эвгемера, жившего сто лет спустя после выхода „Политейи“, уже в эллинистическую эпоху. Социалист. идеи в духе платоновского „Государства“ *Эвгемер* развивает в поэтическом произведении „Священная хартия“, в котором он описывает воображаемое государство-общину, коммунистически организованную. В эвгемеровской коммуне, так же как и в платоновской, социалистическое равенство не для всех; у Эвгемера государство, как и у Платона, построено на началах сословной иерархии, но на сцену выступают уже несколько иные слои; так, место философов у Эвгемера занимают жрецы, как представители науки и философского знания; вслед за жрецами-правителями следуют не воины, а прежде всего ремесленники; лишь за последними идут воины, обязанность которых оберегать порядок в государстве. У Эвгемера яснее уже, чем у Платона, поставлен вопрос о производстве; каждое отдельное частное хозяйство, по Эвгемеру, сохраняет свою самостоятельность в производственной деятельности, но производство это совершается под общим контролем государства, причем государству принадлежат средства производства, равно как и произведенный продукт, который и поступает в общественные магазины; Эвгемер отступает и от платоновского принципа распределения, допуская дополнительные выдачи сверх необходимого, в виде поощрительных премий за образцовые хозяйства, и удвоенные порции жрецам, как организаторам; он склонен, т. о., к принципу: каждому по его заслугам, а не только по потребностям. Под влиянием идей Платона находится и *Ямбул* в своем соч. „Государство-солнце“. Государство Ямбула разбито на ряд отдельных хозяйств-общин, обнимающих собою до 400 душ. В каждой такой отдельной коммуне уже все одинаково несут труд как физический, так и умственный; во главе всех таких коммунистического типа общин, образующих государство, стоит с неограниченной властью гегемон, которым является старейший в государстве; в „Государстве-солнце“

та же строгая регламентация, как и в платоновском государстве, и так же строго регламентировано половое общение, с таким же отрицанием индивидуального брака и семьи, как и у Платона.

Т. о., Платон и его ближайшие последователи выводили социалистический строй не из реальных линий развития жизни общества, они искали социалистического базиса в прошлом: в мечтах о „золотом веке“ далеко оставшегося позади стадно-первобытного коммунизма; не связанные жизненными нитями с развивающимися в обществе силами, они не выходили из круга внутренних переживаний, проповедуя лишь нравственное возрождение, сосредоточивая внимание на умственном и моральном развитии личности. Близким к такого рода моральной философии был и ранне-христианский С., относящийся к первым трем-четырем векам христианства.

2. Ранне-христианский С. Христианство принесло с собой в жизнь ряд идей коммунистического содержания, которые находили на первых порах применение и осуществление в довольно многочисленных коммунистического типа общинах первых христиан. Корни этого рода ранне-христианского С. лежали, подобно платоновскому, также не в развивающихся каких-либо новых отношениях, не в более развитых производительных силах эпохи первых христиан. Никаких новых линий развития, указывавших пути к С. и социализации хозяйственных отношений, в эпоху первых веков христианства не было. Правда, в Иудее, где впервые появилось христианство, имелась к моменту его возникновения, совпавшему с временем проникновения в жизнь малоазиатских народов торговых сношений, та же атмосфера социального недовольства, выраставшего на почве тяжестей рабства, национального гнета, трудностей жизни и нищеты для широких масс населения, как и во времена Платона в Греции. Создавалась почва, благоприятная для исканий выхода из тяжелого положения; для исканий выхода в социалист. направлении эта почва в Иудее была особенно благоприятна, так как здесь еще до христианства, в моменты особенно тяжелых переживаний в стране, всякий раз появлялись многочисленные пророки, взывавшие к социальной справедливости, к уничтожению пропасти между богатыми и бедными, протестовавшие против „войны всех против всех“, войны, действующей разлагающе на народ (Михей); протестовавшие против судебной неправды в ущерб интересам бедноты, против наживы и обогащения одних на счет других (Исаия); грозившие гибелью торговцам и всем обремененным серебром (Софония); взывавшие к равенству, к уравнительному разделу частных имуществ, к разделу по жребию земли (Иеремия); мечтавшие о том времени, когда люди „перекуют мечи на орала, копья свои на серпы... когда волк будет жить вместе с ягненком и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок и молодой лев и вол будут вместе и малое дитя будет водить их“ (Исаия, Михей).

Отражением этих настроений и идей коммунистического характера явилась существовавшая в Иудее со второго века до Р. Х. секта *ессеев* (*см.*), которые пытались свою жизнь построить на коммунистических началах. Ессеи жили общинами, в которых насчитывалось до 4.000 лиц; имущество у них общее; дом каждого одновременно и дом для всех нуждающихся в жилище; запасы общие, всегда открытые для всех членов общины; общие столовые, общие трапезы; общая касса; дневной заработок каждого предоставляется в общее пользование; общим имуществом распоряжаются выборные лица; торговлей заниматься запрещается; запрещено также иметь рабов; скромность, простота, нравственная чистота—отличительные черты членов общины; нравственная сторона вообще важнейшая сторона жизни ессеев. Такого же характера и С., который мы находим и у христиан первых веков христианства. *Христианство*, при своем возникновении собравшее вокруг себя всех обездоленных и опиравшееся первоначально, главным образом, на низы населения, на рабов, на непристроившихся вольноотпущенников, на пауперов, должно было отразить все

основные течения и настроения, существовавшие в ту эпоху среди нисших слоев населения. Оно не могло не отразить широко распространенных прежде всего среди нисших масс еврейского населения коммунистических идей; оно на первое место выставляло отрицательное отношение к нетрудовым источникам обогащения и провозглашало прежде всего принцип трудовой деятельности („не работающий да не ест“); оно снимало с труда характер презрительного к нему отношения, которое так распространено было среди имущих; оно возводило труд на первое место, видя в в нем важнейшую основу для права на существование каждого, клеймя лишь некоторые виды трудовой деятельности (актерство, гладиаторство, военные действия и т. п.); оно выводило идею труда из рамок замкнутости на путь общей трудовой спайки, общей трудовой деятельности всех членов общества; оно проповедывало общность имущества, утверждая, что „вещи не для того существуют, чтобы быть присвоенными богатыми“, что „все вещи должны быть в общем владении“ (Климент александрийский); „все вещи должны быть у тебя общие с твоими ближними, ты не должен ничего называть твоею собственостью, ибо если вы сообща пользуетесь вечными вещами, то тем паче общими должны быть у вас вещи преходящие“ (Варнава из Кипра); „мы братья в отношении собственности, между тем как у вас (у римлян) собственность кладет конец братским отношениям; мы душой и сердцем об'единенные, не подвергаем никакому сомнению нашу общность имуществ, мы пользуемся всеми вещами сообща, за исключением наших жен; только в этом одном общность пользования у нас не имеет места; у вас же наоборот: только в этом одном практикуется общность пользования“ (Тертуллиан). Коммунистические идеи христианства первых веков нашли себе выражение и в самой организации хозяйства перво-христианских общин: жили небольшими общинами, в которых царила общность имуществ; поступавший в общину или реализовывал свое имущество и вырученные деньги вносил в общую кассу, или передавал свое имущество в распоряжение общины, не считая его уже своим, или же продолжал распоряжаться своим имуществом, но вносил в общую кассу доход, поступающий с имущества; вообще же, как общее правило, перво-христианская община не вела организованного производства; не было ни общественных средств производства, ни общей совместной трудовой деятельности; средства производства оставались чаще всего в распоряжении их владельцев; в общее пользование поступал или весь продукт каждого отдельного хозяйства или же только излишки его; вообще о производстве и об организации производства здесь мало заботились; правда, богатство порицалось, а бедность прославлялась, но внимание членов общины было больше направлено на нравственное самоусовершенствование, на жизнь „в духе“; их коммунизм был коммунизмом потребления, так же как и платоновский; ему была близка лишь идея равенства потребления; заботились лишь о том, чтобы можно было всем обеспечить необходимое в пище, в жилье, в одежде, а откуда шли поступления, кто и как производил—на это не обращалось внимания; последнее показывало, что перво-христианский коммунизм лежал скорее в области духа, шел от разума, оставаясь вне жизни; идея общности имущества являлась здесь скорее пережитком прошлого, опираясь на мечты о золотом веке, о тысячелетнем царстве, а не на реальные линии развития производительных сил. Так, у одного из основателей одной христианской общины, ученого гностика из Александрии, *Карпократа*, мы находим след. рода обоснование общности имущества и идеи равенства: бог раздавал все всем, но благодаря падшим ангелам явилась частная собственность, социальное неравенство и обособленность групп; и половая жизнь была первоначально общей, лишь впоследствии был установлен индивидуальный брак; Иисус и пришел затем, чтобы вернуть людям первоначальное спасение, первоначальную общность, чтобы исправить зло, при-

чиненное падшими ангелами. Карпократиане проводили в своей общине, между прочим, и принцип общности жен. Здесь ясно слышен отголосок, пережиток стадной жизни первобытной человеческой группы. Поэтому не приходится удивляться тому, что перво-христианские коммуны не оказались особенно устойчивыми: они быстро развалились и растеряли свой коммунистический дух, как только христианское учение стало государственной религией, сделавшись опорой частно - собственнических отношений. Христианский С., однако, окончательно не исчез; после первых веков христианства он неоднократно появлялся в различных формах: сначала в форме средне-векового христианско-еретического С., а в позднейшее время в форме консервативного С. нового времени.

3. Социализм и социальное движение средних веков. Христианский С. в средние века принимал различные формы в зависимости от изменений тех условий общественно - хозяйственной жизни, которые его порождали. Начавшееся вскоре по возникновении христианства великое передвижение народов (готы, гунны, вандалы, свевы, бургунды, франки, аллеманы) не могло не отразиться тяжело на развивавшихся хозяйственных отношениях и на жизни греко-римского населения и греко-римской культуры; движение варваров несло с собой разрушение, тяжелые потрясения, ломку, новые варварские уклады жизни; постоянные войны, непрерывно следовавшие одни за другими, сопровождались опустошениями, причиняя страдания; торговые сношения, техника в городах, зачатки денежного хозяйства—все это заглушалось, приостанавливалось; как всякое попятное движение, переход снова к натуральному хозяйству переживался болезненно; как всегда в таких случаях, должны были больше всего страдать беднейшие части населения, и как всегда в периоды социальных потрясений и жизненных невзгод общественная мысль искала выхода. Само христианство, становясь с IV века государственной религией и взявши под свою защиту частную собственность, с этого момента уже перестает собирать вокруг себя недовольные элементы; наоборот, создается почва для протеста против нового христианства при сопоставлении его с духом перво-христианского учения и перво-христианской практики. Такой протест нашел себе резкое выражение особенно после того, как развилось и укрепилось папство, сосредоточив в своих руках светскую власть. Всем этим и определяются формы христианского С. средних веков: с одной стороны, он принимает форму *монашеского С.*, в основу которого лег протест со стороны всех, не принимавших государственный, антикоммунистический дух нового христианства; непосредственным результатом этого протеста был уход от несовершенств сложившихся отношений и социальной неправды—уход от мирской жизни, уход в монашество; с другой стороны, несколько позднее, средневековый С. принимает форму *еретического С.*, т.-е. того же христианского С., но не согласного с господствующим христианским учением и пытающегося внести в него собственное понимание, собственное истолкование и об‘яснение, более близкое духу старо-христианской жизни. И монашеский и еретический С. средневековья одинаково отражали в себе и религиозно-этические настроения, и идеи о золотом веке, учение о тысячелетнем царстве справедливости (хилиазм), и старые платоновские идеи, развитые в Политейе, и мистическое учение гностицизма, и старо-христианский аскетизм.

Идеи *монашеского С.* и монастырские коммуны появляются довольно рано; еще в III веке христианской эры Антоний, сын богатых родителей, раздает все свои богатства бедным и отправляется в пустыню в качестве пионера-отшельника, чтобы там единолично осуществлять евангельское учение. Ученик Антония, Пахомий, образует уже целую коммунистическую колонию отшельников-монахов, построенную на основе отрицания частной собственности, признания обязательности для всех физического труда, общих трапез и аскетической жизни. Подобного рода монахи-отшельники или сочлены монашеских коммун не

были монахами в тесном смысле; они не принадлежали к духовенству, многие из них жили с женами в браке, но последний постепенно вытеснялся, и развивался принцип безбрачия, как наивысшая форма аскезы. Сущность исканий монашеского С. и монашеских коммун заключалась в отречении от того зла, которое проходило в жизнь христианского общества вместе с богатством, с началами государственного быта, с отношениями господства и подчинения, гнета и насилия; сюда шли все недовольные новым направлением христианской культуры, гл. обр. рабы, вольноотпущенники, крестьяне, ремесленники. В дальнейшем из монашеских коммун вырастали и складывались целые организации, с определенным твердым уставом (монастыри), с строгой дисциплиной на основе совместной ревностно-трудовой деятельности, которые весьма способствовали поднятию сельскохозяйственной культуры средневековья и сделались средоточием умственной жизни и средневековой образованности. Но вместе с хозяйственным процветанием, приобщением к интересам рынка и обогащением эти средневековые монастыри теряли свой коммунистический характер: из небольших монастырских коммун вырастали крупные монастырские поместья, построенные на крепостных отношениях господства и зависимости; в такие монастыри входит мирской дух, и высшие слои монашества пополняются уже элементами не из простого народа, а лицами из привилегированных сословий. Это перерождение произошло к IX—X в.

Что касается *еретического С.* (коммунизма), то последний точно так же возникает еще в первые века христианства, с III в. хр. эры, хотя расцвет его приурочивается собственно к позднейшему времени, начиная, примерно, с X—XI в. В IV—V в. в Сев. Африке распространилось еретическое движение, которое известно под названием движения *донатистов* (см. *донатизм*); оно направлено было в сторону реформирования церковной жизни и было поддержано *циркумцеллионами* (буквально—„бродящие по сельским хижинам"), как называлась секта бродячих аскетов, обрекшая себя на служение Христу и вступавшая всюду в борьбу с неправдой, в защиту обиженных и угнетенных, нередко убивая и грабя богатых; эта секта составилась, гл. обр., из сельских пролетариев, бежавших от эксплоатации их крупным землевладением. Движение было разбито, но уже в этом движении ярко всплыли настроения протеста против нового, антикоммунистического направления христианства и страстные искания выхода из создавшегося положения вещей. Более серьезны движения еретической мысли с коммунистическим направлением, бывшие позднее и относящиеся ко времени, начиная от X в. К этому времени средневековые устои хозяйства начинают колебаться, в жизнь средневековых городов входит новая сила—торговые сношения, которые все более и более развиваются, оживляя средневековый мир; к этому времени в Европе были открыты богатейшие раммельсбергские серебряные рудники (с 920 г.), благодаря чему быстро стала подыматься городская и промышленно-торговая жизнь Германии, Франции, Фландрии и Италии; Брюгге делается центром торговли шерстью; в Сев. Франции развивается ткачество; крестовые походы еще теснее связывают Европу с Азией; денежное хозяйство быстро проникает в крупные центры; к этому времени через папство церковь вовлекается в борьбу с светской властью, стараясь захватить власть в свои руки и теряя свой былой, чисто религиозный облик выразительницы настроений христианства первых веков. Вместе с переходом к денежному хозяйству и развитием резкой противоположности между богатством и бедностью, социальные движения выступают в форме протеста против папства и вообще против новых течений в церкви и христианстве; самый протест этот принимает характер новых толкований евангелия и христианских догм в духе возврата к первым временам христианской жизни; поскольку протест базировался на древне-христианских социалистич. идеях и сопровождался движением коммунистического характера, по-

столько все христианско-еретическое движение этого позднейшего периода становилось еретическим социалист. движением в том же смысле, как донатизм, движение циркумцеллионов, и т. п.

На Западе общее название для последователей еретического коммунизма было *катары*, что значит чистые. В своих требованиях и учении в большинстве случаев они выставляли прежде всего принцип обязательного для всех своих членов физического труда, равно как и нравственной чистоты жизни; далее—нередко отрицание обрядностей (гл. обр. таинств), отказ от военной службы и применения насилия, а также отречение от частной собственности и — иногда — принцип безбрачия; в их общинах часто проводится общность имущества и ведется борьба за идеалы старо-христианского коммунизма. По мере того, как папство и князья выступают против них с решительным преследованием, объявляя против них и организовывая крестовые походы, направляя войска и применяя жесточайшие пытки инквизиции вплоть до сожжения на кострах, катары ожесточаются, организовывают энергичное сопротивление, ведя нередко весьма продолжительные войны против папского ига и господства, отстаивая древне-христианские устои церкви и христианской жизни первых веков. Движение еретического С. в разных странах носило различный характер. В Болгарии оно впервые нашло себе место с X в. под названием ереси *богомилов* (*см.*); против них устраивались крестовые походы (венгерский, польско-венгерский), разорившие в конце концов Болгарию; а с завоеванием Балканского полуострова Турцией (XV) значительная часть богомилов предпочла перейти в ислам, таким решительным способом отказавшись от подчинения папству. Еще более благоприятную почву катары нашли себе в Италии, где с X в. заметно стали развиваться новые отношения, выраставшие вместе с ростом торговли и торгового капитала, что имело место прежде всего в городах Ломбардии. Здесь еретическо-христианское движение выступило под именем движения *ломбардов*, движения, образовавшегося вокруг итальянского схоластика XII в. *Арнольда Брешианского*, (*см.*), который поднял борьбу за осуществление равенства на земле и против папства и его развращающего влияния на церковь. Заслуживает также упоминания рабочий союз из ломбардских ткачей, выступавший под именем движения *гумилиатов* (*см.*), и еще более крупное движение *апостольскихъ братьев* (XIII в., см. *апостолы*). Вождем апостольских братьев был Гергард *Сегарелли*, а после его сожжения на костре—*Дольчино*. Последний был особенно энергичным борцом, с сильным уклоном к коммунистическим идеям; он проповедывал идеи всеобщего братства, общности имуществ, общности жен, мечтая об осуществлении на земле „тысячелетнего царства"; он сумел собрать вокруг себя многочисленных последователей и храбро выступил в бой с высланными против него войсками инквизиции, после отчаянного сопротивления попал в руки врагов и в ужасных пытках кончил свою жизнь. На учении апостольских братьев отразилось влияние идей *Иоахима де Фиоре* (см. *Іоахимъ*), ученого монаха-цистерцианца, строгого аскета и ревнителя христианской нравственности и духовной чистоты. Учение Иоахима отражало лишь настроения и искания древне-христианского С. Иоахим ждет осуществления равенства и справедливости на земле, наступления золотого века, „тысячелетнего царства" (см. *іоахимитство*). С XII в. катары во Франции выступают под именем вальденсов, лионских бедняков, альбигойцев; в своих общинах *вальденсы* (*см.*) проводят принцип обязательности физического труда, решительно осуждая торговлю, как вводящую в соблазн и обман; они против частной собственности, у них все общее, общая касса, из которой каждый берет все необходимое. Движение вальденсов заходило далеко за пределы Франции. Против них было организовано несколько крестовых походов; начались кровавые войны, причинившие особенно южной Франции полнейшее опустошение. Особенной ожесточенностью и беспощадностью

по отношению к восставшим отличались *альбигойские войны* (см. *альбигойцы*). Во Фландрии с XIII в. выступают *бегарды и бегинки* (*см.*) В Англии еретический коммунизм выразился в движении *лоллардов*. Это собственно те же бегарды из фламандских ткачей, которые переселились в XIV ст. в Англию, принеся с собой и бегардские идеи и настроения. Центром движения лоллардов в Англии явился центр шерстяной английской промышленности—Норфолькское графство. Движение лоллардов в конце концов вливается в массовое крестьянское выступление, восстание крестьян под предв. Уота Тайлера 1381 г. (*см. VIII, 323*). Наиболее глубоко и резко проявились идеалы и стремления средневекового еретического С. во второй четверти XV ст. в Чехии в движении *гуситов* (см. *Гус* и *гуситы*). Гуситское движение поддерживали одинаково и социальное недовольство масс, выросшее на экономической почве, и рост национального чувства, направленного против немцев; последнее в данном случае мало расходилось с социальным недовольством, так как немцы господствовали и в серебряных рудниках, выведших с конца XIII ст. Чехию на путь быстрого экономического расцвета и социального расслоения, и в городах, как промышленно-торговых центрах, и в высшем церковном управлении, и отчасти и в пражском университете, как центре умственной жизни. Как и во всех социальных движениях средних веков, и в гуситском движении социальное недовольство низов населения облекалось в форму религиозных протестов, принимало характер сектантского движения. В области религиозно-церковных требований гуситы выдвигали, гл. обр., требование о причастии для мирян наравне с духовенством вином и хлебом, а не одним хлебом, как требовала папская церковь; кроме того, они требовали конфискации церковных имуществ, в чем было заинтересовано особенно мелкое дворянство, мечтавшее поправить пошатнувшееся хозяйственное положение свое насчет церковных земель; такие требования выставляло, гл. обр., правое крыло гуситов. Вообще гуситское движение может быть представлено расщепленным по двум направлениям: одно направление было умеренное, к которому примыкали мелко-поместные дворяне и более состоятельные ремесленники; группы, составлявшие это правое крыло, носили название *утраквистов* (utraque, т.-е. и тот и другой вид причастия), а также *каликстинцев* (calix — чаша с вином); другое направление, радикальное—*таборитов*, к которому примыкали крестьяне и рабочие; табориты выставляли, гл. обр., требования социального характера; среди них в свою очередь были различные группы: группа более умеренных, ограничивавшаяся в своих требованиях социальными реформами, и группа более последовательных коммунистов—*адамитов* или *николаитов*. Можно думать, что таборитские общины (известны три таких общины: в Таборе, Пизеке и Воднине) покоились на производственной деятельности отдельных хозяйств; каждая семья, владея на основе частной собственности средствами производства, вносила в общую кассу лишь излишки; здесь мы видим тот же коммунизм потребления, отнюдь не производства, какой существовал и в перво-христианских общинах. В глазах крайних таборитов семья, однако, являлась препятствием для проведения в жизнь более строгих начал коммунизма, всеобщего равенства. Отсюда вырастает течение среди таборитов с стремлениями к отказу от семьи. Но, несмотря на различия направлений и требований, царившие среди гуситов, все они сплоченно выступали против общих врагов. Эта сплоченность дала им ряд блестящих побед во время т. н. *гуситских войн*, а Табор сделался центром и оплотом для гонимых во всех странах тогдашнего мира; среди вождей его выдвинулись Ян Жижка. Прокоп, Мартин Гуска. Особенно резкое столкновение началось, когда против гуситов был направлен ряд крестовых походов. Крестоносцы всякий раз терпели поражение, и воодушевленные успехом гуситы, под командой таборитских вождей, предприняли в свою очередь карательную экспедицию, пойдя походом на окрестные немецкие земли

(Австрию, Баварию, Силезию, Бранденбург), на голову разбивая королевские войска, наводя ужас на немецкое население и увозя с собой несметную военную добычу. Успехи гуситов заставили власти поспешить заключить с гуситами мир (в 1433 г.), удовлетворив требования умеренного направления гуситского движения. Этот мир внес в лагерь гуситов раздвоение, так как его крайние элементы не были удовлетворены, а умеренная часть уже потеряла импульс к борьбе. Кроме того, победа доставила таборитам господство в стране, и, чтобы держать всех в повиновении, вожди таборитов ввели беспощадный террор, который вызвал раздражение среди каликстинцев и еще более увеличивал недовольство диктатурой таборитов; городские ремесленники и крестьяне оставили таборитов и, воспользовавшись поддержкой со стороны дворян, выдвинули против таборитов сильную армию в 25.000 чел.; произошло решительное столкновение (в 1434 г.), и табориты были совершенно разбиты; однако, оставшиеся в живых, снова сорганизовавшись, сумели на несколько лет сохранить независимость, занимая свой неприступный город Табор; коммуна продержалась в нем до 1452 г. Т. о., Табор, как коммунистическая организация, просуществовал 33 года, хотя уже и до решительного столкновения с каликстинцами коммунизм таборитов выдыхался: военные успехи привлекли к ним массу авантюристов, гонявшихся за военной добычей; в самый лагерь таборитов проникло стремление к роскоши, алчность; истинный дух коммунизма исчезал, хотя боевой дух еще сохранялся. Борьба течений в гуситском движении привела к образованию секты с анархическим уклоном—*„богемских братьев“* (*см.*), основанной в XV в. Петром Хельчицким. Учеником последнего, Грегором, из последователей „богемских братьев“ была организована община в Кунвальде на основе всеобщего братства и равенства, на началах жизни первых христиан: торговля осуждалась, государственная организация и всякая власть отвергались, так как от государства идет социальное неравенство. Кунвальдская община в 1458 г. подверглась нападению королевских войск, члены секты бежали в леса и пещеры, получив отсюда наименование „пещерных жителей“ или „ямников“ (яма—пещера). Оправившись от преследований, „богемские братья“, благодаря исключительному трудолюбию, продолжали развиваться и достигли значительного благосостояния, но по мере роста его стала исчезать чистота их учений и непреклонность в отрицании власти; секта просуществовала в значительно перерожденном виде до 1620 г. (битва у Белой Горы), когда после разгрома Богемии остатки „богемских братьев“ рассеялись по разным странам. В начале 18-го стол. часть их осела в Саксонии, образовав здесь во владении графа Цинцендорфа *общину гернгутеров* (*см.*), которая, однако, почти уже ничего не сохранила от былого учения, некогда коммунистическаго характера. С XIII в. движение бегардов, а также и бегинок перебрасывается в Германию, где оно выступает под теми же названиями и вызывает против себя энергичное преследование властей в различных городах Германии вплоть до XIV ст., когда это преследование было особенно сильно; вместе с ними в то же время появляются и перекочевавшие из Сев. Франции „братья и сестры свободнаго духа“ (*см.*), завербовывая себе массы последователей; среди них, как особая их разновидность, выступают *„ортлибарии“*—секта, названная по имени своего основателя, Ортлиба из Страсбурга, близкая к церковному анархизму; ортлибарии отрицали всякое посредничество в спасении, отвергали папство, всякую обрядность и церковщину, отрицали закон, выступали против частной собственности, но не признавали ни обязательности физического труда для сочленов секты, ни других обязательств. В противовес „братьям и сестрам свободнаго духа“ в XIV в. появилась в Германии перенесенная из Голландии секта *„братьев совместной жизни“* (*см.*), члены которой жили, работая совместно, на началах общности имущества. Движение еретического коммунизма в разных его видах

имело в истории Германии большое значение во время великой крестьянской войны. С XIII в. в Германии шел процесс первоначального накопления; купеческий капитал стал с этого времени быстро наростать, торговля развиваться; Ганза начинает господствовать от Лондона до Новгорода; вместе с этим развивалась жизнь и процветание городов; с XIV в. немецкое дворянство уже переходит на денежное хозяйство, что влечет за собой рост эксплоатации крестьянства; средневековое общество разлагается, выдвигая социальные противоречия; выявляются резко различные группы: с одной стороны, феодально земельной аристократии — церковной и светской,—с другой стороны, мелких ремесленников, крестьян и рабочих; нисшие классы все более и более чувствуют тяжесть своего социального положения и особенно непомерно высокого налогового обложения. Особенно ненавистным становится обложение в папскую казну, вызывая общее озлобление со стороны всего населения. Обездоленные крестьянские массы, стонущие под ярмом крепостничества, проявляют особую восприимчивость ко всякому учению, направленному к изменению сложившихся отношений, в сторону реформирования социальной жизни или даже радикального ее преобразования. Среди населения, оторванного уже от земли и живущего продажей своей рабочей силы, особенно успешно воспринимается всякого рода христианско-коммунистические идеи, проповедующие равенство и братство первых веков христианства. Общему социальному брожению среди широких масс населения способствует и то обстоятельство, что само землевладельческое дворянство, захваченное процессом денежного хозяйства и обогащения, а также и вырастающая торговая буржуазия ищут выхода из тесных рамок сложившихся религиозно-церковных настроений средневековья и христианских взглядов, не соответствующих духу времени, обнаруживая при этом стремления к реформированию церкви и сильное недовольство против папства, его претензий на захват в свои руки светской власти и его вмешательства в дела других стран. Все это приводит Германию к реформации, выдвигает яркую фигуру Лютера, еще более обостряет темп социального брожения в стране, еще более создает пищу для коммунистич. идей и коммунистич. движения. Начиная с XV в., среди крестьянства пользуется особенным успехом идея о наступлении тысячелетнего царства равенства и братства. С проповедью этой идеи выступает пастух *Ганс Бегайм*. В 1493 г. в Эльзасе образуется тайное общество „Башмака", ставящее целью освобождение трудящихся. Немного позднее в Вюртемберге возникает направленное против дворян общество „Бедный Конрад". Усмирения и казни не останавливают движения. По городам и селам бродит множество всякого рода проповедников, говорящих о необходимости общности имуществ и жизни по примеру первоапостольских общин. Массы жадно прислушиваются ко всему, но больше всего пользуется в это время распространением учение секты *анабаптистов* („перекрещенцев"). Анабаптизм, содержащий в себе значительную долю коммунистических идей в духе того времени, возник первоначально в Тюрингии, Саксонии, Швейцарии и из этих стран стал распространяться по Германии. Анабаптисты, нашедши себе сторонников особенно среди ремесленников, требовали выполнения заветов нагорной проповеди, считая необходимым для всех жить по примеру первых христиан; они хотели основать „царство божие" на земле; ради осуществления своих идеалов одни из них готовы были ко всяким средствам борьбы, вплоть до поднятия меча (таковы были именно немецкие анабаптисты), другие были, однако, против насилия. Вообще среди анабаптистов можно было отметить различные направления; одни из них, наприм., отрицали частную собственность и требовали более строгого проведения христианскаго коммунизма; другие, более умеренные, сохраняли частную собственность, но лишь ограничивали пользование ею; были и такие течения, которые отвергали брак. К перекрещенцам примкнул и *Томас Мюнцер*,

выступивший в Тюрингии с учением о том, что христианский коммунизм необходимо осуществить на земле теперь же. В том же духе в Мюльгаузене проповедует *Генрих Пфейфер.* И здесь и там начинают вспыхивать, под влиянием этих учений, беспорядки, волнения, которые скоро выливаются в *крестьянскую войну 1525 г.* (*см.* XIII, 554—582). К осени восстание было подавлено. Мюнцер был казнен. Начался поход на идейных вдохновителей движения — анабаптистов. Членов секты хватали и казнили, причем большинство анабаптистов было казнено без особого сопротивления с их стороны. Лишь в Мюнстере, куда сошлись нижне-германские и голландские анабаптисты, была сделана попытка отчаянного сопротивления, оставившего яркий след в истории коммунистического движения (см. *анабаптисты*). „Новый Иерусалим“ пал, его вожди были казнены, и анабаптизм в Германии окончательно был подавлен. После гибели мюнстерской коммуны, этого яркого и редкого проявления революционного энтузиазма, анабаптистско-коммунистическое движение навсегда потеряло свою силу. Образовавшееся из последователей анабаптизма движение *обеннитов* в Нидерландах (в XVI в.), а также *меннонитов* (от их главы Менно Симонса) носило характер совершенно мирной секты; в XVII в. меннониты получили даже официальное признание и свободу вероисповедания. В XVII ст. еретическо-христианский С. вообще исчезает. Лишь много позднее, спустя несколько столетий, уже к нашему времени, христианский С. появляется снова, но уже не как революционное движение, а в форме консервативного С. нового времени (см. *христианский С.*)

4. Утопический С. и социальное движение в эпоху торгового капитала. 1. *Томас Мор и его последователи.* С вступлением общества на путь капитализма, вышедшего из развалин феодального хозяйства и в своей первой фазе совпавшего с образованием крупных национальных государств, меняется и направление коммунист. мысли и социальных движений. С этого момента С. теряет свой религиозно-церковный характер; он начинает впервые уже опираться на противоречия отношений капитала и труда; но вначале, когда эти отношения выражены были еще крайне слабо и не находили себе определенных, выпукло очерченных форм, он носит еще эмоциональный характер и выводит будущий строй не из линий намечающегося развития жизни, а из головы; все его построения вообще мало эмпиричны, нося в себе отголоски старых отношений, пропитываясь отжившими укладами жизни; С. этого времени имеет мирный характер, его представители верят в силу убеждения, в силу морального воздействия; он не связан органически с движениями масс, носит чаще всего интеллигентский характер; этот С. получил наименование *утопического С.* Наиболее ярких представителей своих утопический С. нашел прежде всего в Англии, которая с конца XV в. переживала острый период „первоначального накопления“, когда развивавшаяся фландрская промышленность пред‘являла большой спрос на английскую шерсть, лучшую в Европе, и когда в Англии шел крайне мучительный для широких масс крестьянского населения процесс развития овцеводства, захвата („огораживанья“) общинных земель, отрывания части крестьянства от земли и их пролетаризации. Для Англии это была эпоха ломки старых феодально-натуральных отношений и образования капитала, эпоха, породившая массовую нищету и бродяжничество, вызвавшая кровавое законодательство, всколыхнувшая общественную мысль и жизнь Англии. В эту эпоху первоначального выявления двух противоположных полюсов производственной жизни общества—труда и капитала—выходит в 1516 г. в свет „Утопия“ *Томаса Мора* (*см.*). По этому произведению и получил свое название утопический С.

Как плод социалистич. мысли нового времени, „Утопия“ Мора крайне характерное произведение, раскрывающее все особенности раннего утопического социализма; она состоит из двух частей: одной критической, рисующей картину социального состояния Англии конца XV и начала XVI ст., с уже

обозначившейся пропастью между богатством одних и нищетой других, и другой положительной, рисующей картину идеального общества. Для освещения утопического С. наиболее характерна последняя, положительная часть „Утопии“. В ней Т. Мор пытается показать, как могло бы быть организовано общество, если-бы пожелало избавиться от противоречий богатства и бедности и от всех, вытекающих из этих противоречий, социальных последствий. Первый из социалистов Мор касается здесь производственной стороны нового строя и идет в этом отношении далеко вперед от чисто потребительского С. античного и средневекового периода; основным занятием „утопийцев“ (Утопией назван остров, на котором живет социалистически организованное общество) является физический труд, который в принципе обязателен для всех, за исключением детей, больных, стариков, ученых и некоторых из должностных лиц; в последнем случае, однако, необходимо доказать, что данное лицо в науке принесет персонально больше пользы, чем в ремесле или в сельском хозяйстве; частной собственности нет; все—общее; основа хозяйственной деятельности—сельское хозяйство; его должен знать всякий сочлен общества; кроме него, однако, каждый должен быть знаком и с ремеслом; сельское хозяйство организовано на артельных началах: участки земли обрабатываются сообща группами граждан по 40 человек, направляемых государством из городов, при чем каждый должен провести на ферме 2 года; все грязные работы, а также особо-тяжелые выполняют рабы, которые набираются из преступных элементов; произведенный продукт поступает на общественный „рынок“, где все распределяется по отдельным магазинам и столовым; всего имеется в изобилии, и поэтому каждый берет из магазинов, сколько ему требуется; т.-е., распределение — по потребностям каждого, но на основе его трудовой деятельности. В обширном дворце имеются общественные столовые для общих обедов и ужинов; расчитаны столовые на 30 семейств, всего, в среднем, на 1.200 лиц, при чем во время еды ведутся душеполезные беседы, а после ужина следует музыка и другие развлечения; весь остров разбит на 54 округа; правительство состоит из лиц, ежегодно избираемых; брак строго моногамный, по добровольному согласию; нарушение брачных уз строго карается законом; существует всеобщее обучение и обязательное для всех посещение школы; предметы обучения в детских школах очень ограничены: преподаются лишь музыка, логика, арифметика, геометрия, астрономия и физическая география; в области религии царит свобода, хотя атеисты и не считаются хорошими гражданами. В „Утопии“ Мора, т. о., предусмотрены многие мелочи, система же и организация общественного производства очерчены лишь в самых общих чертах, что весьма характерно для утопического С. Тем не менее, на эту сторону жизни Мор все же обращает свое внимание; вопросы потребления у него остаются уже на втором месте; характерно и то, что одну отмену денег и денежной системы Мор считает уже достаточной гарантией прочности утопического строя, так как в общественных амбарах всего много, всякий может брать, сколько хочет, и поэтому все заинтересованы в одном: в общей работе на общее благо. Признавая рабов-уголовников в качестве выполнителей черной и неприятной работы на принципе принудительного труда, Мор, как социалист, не остается до конца последовательным, что вообще характерно для всех социалистов-утопистов: но в сравнении с Платоном Мор все же делает шаг вперед: у Мора нет класса рабов, а лишь беспрерывно пополняемые из общества преступные элементы, общественные отбросы, которые использовываются обществом в производственных целях. В „Утопии“ много пережитков старо-ремесленнического быта, напр. в организации основной ячейки ремесленного производства, совпадающей с семьей, в отношениях мужа и жены, почему некоторые из экономистов называют коммунизм Т. Мора „мещанским С.“ (Онкен). В общем и целом, однако, „Утопия“ представляет собою все же новый

шаг в истории социалистич. мысли. Дальнейший этап в развитии социализма составляет эпоха английской революции XVII в. В этой революции интересы мелкой буржуазии—городской и сельской, т.-е. самостоятельного крестьянства, отражала партия индепендентов, или „независимых“, а примыкающую в политической борьбе к „независимым“ крайнюю левую группу составляли *левеллеры*, или „уравнители“, из которой выделилась секта „истинных левеллеров“, или диггеров („копателей“), с коммунистическими идеями, обвеянными, однако, религиозными настроениями: вооруженные лопатами диггеры захватывали общинные невозделанные земли и перекапывали их для обработки, не видя причин, почему они „должны терпеть голод в то время, как огромные участки общественных земель остаются необработанными“, и мечтая о том, что скоро настанет время, когда к ним примкнут все бедняки, все безработные и угнетенные люди, которые из беспокойных бродяг превратятся в полезных членов общества, а собственники откажутся от земли, и исчезнет тирания и рабство, и воцарится на земле „царство божие“. Когда диггеров разгоняли военными отрядами, они не оказывали сопротивления, говоря, что их желание—победить врагов своих любовью. К такого рода мечтателям принадлежали Вильям Эверард, Джерард Уинстэнли, Джон Пальмер. Дж. Уинстэнли отделяет от Т. Мора почти столетний период, и тем не менее на нем сильно влияние идей Мора. Это влияние выразилось в книге *Уинстэнли*, написанной в момент английской революции, в 1651 г., под назв. „Закон свободы, изложенный в виде программы, или восстановление истинной системы правления“. Уинстэнли высказывает здесь недовольство тем, что дала английскому народу революция 1648 г., которая не избавила нисшие массы населения ни от нищеты, ни от страданий до-революционного времени; она сохранила ту же эксплоатацию, которая была и до нее: изменилась лишь форма, а не сущность; Уинстэнли стоит за общность владения землей, за общность средств производства и всего имущества, за всеобщую трудовую повинность, за общественные магазины и склады, за устранение торговли, за распределение по потребностям, а в работе по способностям и силам каждого, сохраняя неравенство лишь в одной области—в области раздачи почестей и титулов, которые даются у него за особые заслуги; у Уинстэнли сохраняется мелкое производство, производство на дому, на ряду с производством в общественных мастерских, при чем имеется строжайший контроль за производительностью труда каждого и его потреблением; благодаря этому открывается возможность баланса между производством и потреблением; подобно Мору, Уинстэнли стоит и за моногамию, при чем для совершения брака считает достаточным соответственное заявление об обоюдном согласии (впервые гражданский брак). Строго проведенной до конца идеи обобществления средств производства у Уинстэнли мы не находим, так же как и у Т. Мора (*см. IX, 36/51*).

II. *Движение квакеров. „Новая Атлантида“ и „Город Солнца“*. В годы революции, всколыхнувшие английскую жизнь, в Англии переплетались многообразные течения, в которых, нередко под разными формами, сквозили социалистические идеи, оставлявшие заметный след в развитии утопического социализма Англии. Между такими течениями своеобразное место занимает т.-н. движение *квакеров* (*см.*). Наиболее крупною фигурой квакерства, с точки зрения истории социализма, является *Джон Беллерс*, выпустивший в 1696 г. книгу „Проект учреждения промышленно-трудового колледжа всех полезных ремесл и сельского хозяйства, который дает богатым прибыль, бедным—достаточные средства к жизни, а юношеству—хорошее воспитание, и который, благодаря увеличению населения и его богатства, принесет выгоду правительству“; девиз: „промышленный труд приносит изобилие“; „бездельник должен ходить в лохмотьях; кто не работает, да не ест“. Беллерс имеет в виду трудовую артель, где пребывание добровольное и каждый вступающий вносит пай; из первых

паев составляется капитал; в артели 150 членов, работой которых содержится вся колония; в такой организации достигается экономия топлива, жилища и проч., а также увеличение производительности труда и устранение посредников; мерилом ценности для предметов потребления будут здесь уже не деньги, а труд; деньги здесь так же не нужны, как здоровому костыль. По признанию самого Оуэна, Беллерс развивает в „Проекте" лишь план, в общем однородный с его собственным, слишком за полтораста лет до него. Другое сочинение Беллерса, которое Маркс называет (в „Капитале") истинным феноменом в истории политической экономии, носит название „Опыты о бедных (бедными в то время называли рабочих), о мануфактурах, о торговле и промышленности, о колониях и о безнравственности и совершенстве внутреннего света" (1699). Еще раньше Беллерса идеи создания рабочих колоний (артелей) развивал Питер Корнелиус *Плокбой*, опубликовавший в 1659 г. памфлет „Предложение способа сделать счастливыми бедных любой из наций" и проч. Плокбой ищет выхода из неравенства, беспорядка, угнетения и лжи современного общества; выход он видит в об'единении четырех категорий лиц: земледельцев, ремесленников, моряков-рыболовов и высокоразвитых интеллигентов, на началах принципа: „кто хочет быть выше всех, пусть будет слугой всех"; такая ассоциация могла бы устранить если не собственность целиком, то по крайней мере эксплоатацию; прибыли не будут уходить в карманы предпринимателей, а останутся в распоряжении самих рабочих. Плокбой является, т. обр., провозвестником идеи кооперативного С., утопического постольку, поскольку приверженцы его видели в кооперации единственный путь к преобразованию капиталистич. строя. Из других сочинений XVI и XVII в., которые имели влияние на развитие социалистическо-утопической мысли Англии, могут быть упомянуты „Новая Атлантида" Фрэнсиса Бэкона и „Заступник бедняка" Петра Чемберлена. *Ф. Бэкон* (*см.*), обосновавший в своем знаменитом „Novum Organon" естественно-научный метод, который впервые открыл путь дальнейшему научному исследованию, загроможденному до него метафизикой и религиозной мистикой средневековья, в „Новой Атлантиде" (неоконченный фрагмент, 1626), как бы в противовес Томасу Мору, строит свое новое общество не на изменении имущественных отношений, а на широком применении естествознания к общественному производству; основной жизненной осью этого нового общества является научный институт с препаратами и инструментами для изобретений и открытий, для выработки сложных машин и проч., который дает возможность развитию производительности общественного труда до высокой степени и приводит общество к богатству и счастью. В „Заступнике бедняка" (1640) *П. Чемберлен* развивает идею, что труд есть источник всякого богатства, что бедняки (рабочие) выполняют важнейшие функции в общественной жизни, что только на счет их труда существуют богатые, и что поэтому необходимо в пользу рабочих национализировать церковные и королевские домены; дальше этого автор не идет.

Движение социалистической мысли, охватившее в эпоху торгового капитала Англию, не прошло и мимо Италии, где в XVII ст. выдвигается яркая личность Томазо *Кампанеллы* (*1568—1630, см.*), который выступает одинаково и как революционер, борющийся за освобождение своего народа от иноземного ига, и как писатель-социалист, мечтающий о переустройстве общества. Как революционер, Т. Кампанелла—смелый и решительный заговорщик, хотя и большой фантазер; увлекаясь изучением астрологии, он среди созвездий находит знаки, предвещающие наступление революций по всей земле; в связи с этим он строит грандиозные планы восстания в целях освобождения Южной Италии от испанского владычества; он расчитывает на уголовных преступников, заключенных в тюрьмах, на бандитов, на эмигрантов, на всех вообще недовольных господствующим строем, на широкую агитацию среди матросов турецкого флота и проч.;

он навербовывает для подготовки восстания до 200 специально обученных агитаторов-проповедников, приводит в боевую готовность до 1.800 эмигрантов, намечает год восстания (1599), но... заговор был открыт, и Кампанелле пришлось 27 лет провести в тюрьме. Как писатель-социалист, Кампанелла находится под влиянием идей Т. Мора, равно как Платона и Ямбула; у последнего он берет и название для своей утопии; его „Город-солнце“ (напис. в 1620 г.) представляет социалистически организованное общество, где нет частной собственности, нет денег, нет торговли; где дома, спальни, постели и другие необходимые вещи—общее достояние; где существует общность жен, общественное воспитание детей; где нет ни бездельников, ни рабов, ни нищих, ни богатых; где все красиво, симметрично, всюду цветы, музыка; где рабочий день всего 4 часа, при чем все граждане должны знать все сельскохозяйственные работы и какое-либо ремесло; где, однако, строго караются преступления и существует и смертная казнь и розги. Для Кампанеллы „Город-солнце“ лишь переходный период, за которым последует еще более совершенная жизнь. Как и в „Утопии“ Мора, у Кампанеллы мы находим подробно разработанными многие несущественные стороны нового общественного строя (напр., граждане жуют по утрам тмин и петрушку, чтобы дыхание было ароматичным), но важнейшие стороны общежития, напр., производственная организация общества, очерчены крайне обще и туманно, что типично для утопического социалиста.

III. *Социальное движение и утопический С. во Франции до великой революции.* Во Франции социалист. мысль утопического характера особенно ярко выявилась в конце эпохи торгового капитала, на переломе к промышленному капиталу, в конце XVII и в XVIII в., когда французская жизнь переживала глубокие потрясения, особенно болезненно отражавшиеся на крестьянстве. Во Франции, как и всюду, разорение деревни и процесс экспроприации крестьянства начался с момента проникновения и развития денежного хозяйства в стране, что имело место особенно заметно уже в XIV ст., когда нередко целые селения отбирались у крестьян, оstававшихся и без земли и без крова. К этому времени относятся и т. н. жакерии (см. *Франция*), т.-е. восстания несчастных Яковов (Жаков), взявшихся, наконец, за оружие, вследствие крайне тяжелого положения (1358). Эта крестьянская война, отличавшаяся жестокостью и с той и с другой стороны, окончилась поражением крестьян и их массовым истреблением. После жакерий до XVI в. положение крестьян улучшается, но со второй половины XVI в. снова наступает волна реакции, непомерно высокого обложения, дворянского засилья—и снова вспыхивает движение, особенно после великой крестьянской войны в Германии, откуда движение не могло не переброситься и во Францию; таково движение в 1586 г. в Нижней Нормандии, направленное против дворян, при чем восставшие думали о наступлении царства, где уже не будет неравенства (хилиастическая идея тысячелетнего царства); таково же движение в провинции Гюйенне, охватившее до 50.000 повстанцев и сопровождавшееся сначала захватом г. Бордо, но закончившееся свирепым подавлением крестьян; с 1593 по 1595 г. были охвачены крестьянским восстанием провинции Пуату, Сентонж, Лимузен и др.; эти восстания были направлены и против короля и против дворян и также кончились неудачно для крестьян; в 1637 г. в Нормандии имело место движение Ивана Босого (Jean va-nu-pieds), к которому примкнули и горожане Руана, и которое было усмирено при помощи наемных иностранных войск; в 1675 г. началось новое восстание в Бретани; положение крестьянства к этому времени всюду вообще было ужасное: крайняя нищета, голод, голодные бунты сделались обычным явлением. При такой обстановке, в конце XVII и первой трети XVIII ст., на почве социального недовольства, бесправия и общего угнетения появляется ряд французских писателей социалистич. (утопического) направления, с высоко-революционным настро-

ением; к этому времени денежные отношения уже широко захватили французскую жизнь и города и деревни; развивалась быстро мануфактура, об'единялись самим производственным процессом рабочие, росло разделение труда в пределах одного и того же производства; новые отношения давали толчок и новым более определенным исканиям социалистич. мысли; последняя делает шаг вперед от попыток Т. Мора; она уже ближе к жизни. Среди писателей этой эпохи (конец XVII и начало XVIII в.) заслуживают внимания Дени Верасс д'Алле, выступивший с своим сочинением „История Севарамбов“ (1677—1679), Габриэль Фуаньи („Открытая австралийская земля“, 1676), Фенелон („Телемак“, 1698), особенно Жан Мелье („Завещание“, 1733), Руссо („О происхождении неравенства“, 1754), Морелли („Базилиада“ и „Свод законов о природе“, 1755), Фонтенель („Республика философов“, 1768), Мабли („Сомнение по поводу экономистов“, 1768), Ретиф („Австралийское открытие“, 1781), Бриссо де Варвиль („Философские исследования о собственности и краже“, 1778). Книга *Верасса* первоначально вышла на английском в Лондоне в 1675 г. Севарамбы — жители одного австралийского острова; их общество построено на отсутствии частной собственности, все в нем принадлежит государству; труд обязателен для всех; день разбит на три восьмерки: 8 для сна, 8 для отдыха и 8 для работы; от трудовой повинности освобождаются лишь старики, дети и больные; общественный продукт поступает в общественные магазины, откуда каждый получает все нужное ему по ордерам; каждый город на острове распадается на несколько товариществ, и каждое из них занято в отдельной определенной отрасли промышленности; каждое товарищество живет в особом здании— осмазии, рассчитанном на 1.000 человек; в главном городе острова таких осмазий - товариществ до 267; для грязных работ каждая осмазия имеет своих рабов; домашнего изготовления пищи нет; общественное воспитание детей. В осмазиях - товариществах Верасса, где на основах совместного производства многих лиц организованы целые ветви промышленности, мы встречаем уже новые производственные формы, каких не было в „Утопии“ Мора: на месте домашнего характера ремесленного производства у севарамбов— мануфактура с высоким разделением труда, концентрирующая значительные массы работников. Книга *Фуаньи* „Открытая австралийская земля“ изображает жизнь и организацию одного австралийского народа, по примеру севарамбов не знающего моего и твоего, имеющего все общим и живущего анархически вне какой бы то ни было государственной власти; для всех „австралийцев“ законом является собственный разум; о производстве им не приходится заботиться, так как природа дает им все в готовом виде, не требуя никакого труда со стороны человека; все воспитание сводится к развитию в каждом сочлене чувства полнейшего равенства. „Республика философов“ *Фонтенеля* повторяет в значительной степени „Историю севарамбов“. В общем, такого же характера и фантастический роман *Ретифа* „La Découverte australe“, в котором описывается жизнь идеального государства мегапатагонцев, построивших все свои отношения полнейшего равенства на началах общественной морали; особенного интереса заслуживает в романе приложение к нему, под назв. „Письмо обезьяны к своим соплеменникам“, в котором ученая обезьяна—помесь павиана с негритянкой — описывает в остроумной и очень резкой форме все несовершенства современного автору французского общества, построенного на неравенстве, угнетении и рабстве. „Телемак“ *Фенелона* представляет, между прочим, описание жизни двух общин, из которых одна построена на началах общности владения землей, другая—на раздельном имуществе; все симпатии автора на стороне первой общины, где и общность имущества, где все свободны и все равны, где кроме того нет утонченной культуры, которая вносит лишь разложение в жизнь людей, где царит первобытная простота, близкая к природе жизнь. Больше интереса представляют сочинения Мелье (1678—1733), Мо-

релли и Мабли (1709 — 1785). „Завещание“ *Мелье* (*см.*)—замечательнейшее произведение не только по революционному настроению, не только по резкой критике социальных устоев современной автору общественной жизни Франции, но и по глубокому содержанию развиваемых в нем идей. Мелье — идеолог революционных настроений крестьянства, это — не социалист-мечтатель, это—социалист-борец, оправдывающий тираноубийство, сожалеющий, что нет больше Брута и Кассия, нет Жаков и Равальяков, нет „этих великих людей, которые шли на смерть за счастье родины“. Как социалист, Мелье отстаивает в своем „Завещании“ социализм не централистический, а разбитый на мелкие общины, при чем думает, что общность имущества и устранение тунеядства, при обязательности для всех труда, приведет общество к небывалому расцвету производительных сил и производительности. В качестве важнейшего аргумента для устройства общества на началах равенства Мелье приводит положение, которое мы видели у Верасса, что все люди по природе равны. Эту идею „естественного состояния“ с особенным вниманием развивает в своем „Рассуждении о происхождении неравенства“ *Руссо* (*см.*); *Морелли* (*см.*) ищет уже более глубокого обоснования социалистического устройства общественной жизни, но все же он выводит социалистический строй не из реальных условий развития жизни; он не ищет корней его в неизбежном ходе развития хозяйственных отношений. Подобно своим предшественникам, он—социалист-утопист и при этом утопист-рационалист. Но свой рационализм Морелли пытается обосновать целым рядом логически построенных теоретических положений. Это он делает в своем „Кодексе природы“: чтобы жизнь могла быть счастливой и социально упорядоченной, нужно понять природу и следовать ее законам; естественные потребности и невозможность их удовлетворения для изолированного человека гонят человека к общественности, к общению с другими; это общение покоится на общем пользовании землей; люди же не поняли этого, ввели на землю частную собственность, уклоняясь от законов природы, неизбежно стали на путь социальных неурядиц; согласно же естественным законам природы, в обществе не должно быть собственности; все граждане состоят на службе у общества; все получают общее питание, содержание, работу; каждый работает по способностям и силам; каждое такое общество должно быть разбито на определенное число семей, родов, городов, провинций; как все в природе, так и в каждом человеческом учреждении все должно быть „подогнано, все предусмотрено в чудесном автомате общества: его колеса, его противовесы, его пружины, его работа“. „Кодекс природы“ — это философский трактат, написанный для обоснования социалистич. строя; этот строй Морелли рисует в своем романе „Базилиада или крушение пловучих островов“. Под влиянием Морелли находится и другой видный социалист-утопист XVIII-го века — *Мабли* (*см.*), выпустивший свои „Сомнения по адресу экономистов“, содержащие возражения против учения физиократов и, главным образом, против Мерсье де ла Ривьера, считавшего частную собственность естественным и наилучшим учреждением; ссылаясь на Платона, Мабли доказывает преимущества социалистического строя и критикует институт частной собственности. В другом своем сочинении „О законодательстве“ Мабли, принимая идею тождества личных интересов с общественными интересами, находит необходимым охранять это тождество законодательством; задачи законодательства и состоят в создании совершенного социального строя. Мабли не революционер; он надеется на разумное законодательство и реформы, на моральное перевоспитание. И Мабли и Морелли—представители философского направления утопического социализма Франции. Они ищут в своих сочинениях, гл. обр., спекулятивно-философского и морального обоснования социализма. Таков был XVIII в., с его философским рационализмом и идеями естественного права. Но конец

XVIII в. разразился во Франции великой революцией, которая не могла пройти мимо социалистической мысли и не толкнуть ее на более активный путь борьбы, иногда в духе заговорщических планов Кампанеллы, иногда в направлении революционера Мелье.

4. *Утопический С. в эпоху великой французской революции.* Французская революция, бывшая лишь завершением победоносного шествия капитала, не могла еще вскрыть перед общественным сознанием Франции всех противоречий капиталистического хозяйства. Но все же к моменту революции рабочий класс уже имелся, сплачивался, выступал в массовых стачках; его интересы уже могли найти свое отражение в ряде памфлетов, в которых резко подчеркивалась противоположность классовых интересов. Общая база всего движения в это время была, однако, не база борьбы труда и капитала, а борьбы капитала с задерживающими его развитие силами феодально-сословных и абсолютических отношений. Поэтому все выступления социалистической мысли этого времени не могли блистать чистотой развертываемых идей и планов и обычно принимали окраску и форму основного и главного общего движения, общего тона эпохи. Среди деятелей революционной эпохи представляют интерес для истории социализма Клод Фоше, Антуан Сен-Жюст, Франсуа Буассель.

Фоше пытается соединить революцию и свободу с евангелием, с христианским чувством любви; в силу законов естественного права каждый имеет право на землю, и когда земля делается собственностью немногих, появляется нищета масс и классовые противоречия; счастье лишь в братской любви; современная анти-общественная система должна быть уничтожена; на место двух крайних полюсов должен выступить здоровый средний класс, „среднее сословие"; поэтому законодательство прежде всего должно каждому гарантировать право на существование и право на труд; для этого по всей стране должны быть устроены рабочие мастерские с достаточной заработной платой, которая должна изменяться пропорционально изменению хлебных цен; далее, законодательство должно быть направлено против появления крупных производств, которые гибельны для свободы масс населения; этого можно достигнуть разделом крупных имуществ, запрещением иметь земельную ренту выше 50.000 ливров, разделением наследственных имуществ поровну между всеми наследниками; от этого раздробления Фоше ожидает блестящего процветания и земледелия, и промышленности, и торговли. Все эти мысли Фоше развивает в сочинениях: „Три исследования о французской свободе" (1789), „О национальной религии" (1789), в газете „Bouche de fer" (1790). Равным образом, и якобинец *Сен-Жюст* (*см.*), правая рука Робеспьера, в своих „Республиканских учреждениях" (1794) требует ограничения наследственного права, уничтожения права завещания, раздела земли между всеми желающими ее обрабатывать, образования национального земельного фонда и его хозяйственного использования, в целях создания пособий бедным и малоимущим. *Буассель*—якобинец и социалист—развивает социалистич. идеи в „Катехизисе человеческого рода" (1789), где он считает существующий строй, покоющийся на эгоизме и неравенстве, ложным строем, истинным же—строй, покоющийся на идее всеобщего блага и альтруизме, строй, где нет частной собственности, где общественное воспитание детей, где все распределяется по потребностям каждого; Буассель предлагает в виде переходной меры ввести прогрессивно-подоходный налог и так его организовать, чтобы частная собственность потеряла свою привлекательность. И Буассель, и Сен-Жюст, и Фоше ограничивались лишь проектами для введения нового, более совершенного строя.

Представителем другого течения в социалистич. движении Франции революционного периода является яркая фигура Бабефа, представителя крайней левой французской революции, вышедшего из низов и опиравшегося в своих настроениях на бедноту большого города. Среди крайней левой якобинцев было достаточно недоволь-

ства тем характером, который постепенно выявлялся в великой французской революции по мере ее развития. Это недовольство поддерживалось низами населения страны и парижской беднотой и выливалось в различных формах, вызывая даже некоторые опасения среди правого крыла; недовольных называли „анархистами“, „горячими головами“, „бешеными“. Среди руководителей этого левого течения, выросшего из недовольства низов населения, можно назвать бывших священников Жака Ру, Шалье, Доливье; Жак Ру говорил, что революция пошла лишь на пользу богатым, что нужно положить этому предел и организовать борьбу не на жизнь, а на смерть в интересах рабочего класса; Шалье требовал муниципализации всей лионской промышленности. И он и Ру погибли на гильотине, но все же почва для революционно - социалистических идей была несколько уже расчищена. На этой почве выросла социалистическая деятельность Франсуа-Ноэля *Бабефа* (*см.*). В теоретических взглядах Бабефа и бабувизма мало оригинального; как социалист, Бабеф—типичный сын своего века: он опирается на идею „естественного права“, на то, что „все люди рождаются равными“, что „природа дала каждому человеку равное право на пользование всеми благами“ (из „Раз‘яснения учения Бабефа“), что причина всех социальных бед—человеческое непонимание, невежество и дурные законы, противные природе, „человеческие предрассудки“, неправильное воспитание, неопытность и непредусмотрительность. Стоит, однако, отметить, как новую черту, указание Бабефа на то, что история общества есть история борьбы богатых и бедных. Мало оригинального у бабувистов и в характере самой организации будущего коммунистического общества; эта организация очерчена здесь лишь в самых общих штрихах, так как Бабеф и его последователи полагали, что после захвата власти и образования диктатуры бедноты предстоит еще длительный процесс развития в сторону истинно коммунистического строя. Значение и особенность движения Бабефа и „равных“—в их революционно-боевой программе, предусматривающей важнейшие детали захвата власти революционно настроенным и с‘организованным меньшинством, и в самой попытке такого захвата, тщательно подготовленной в расчете на поддержку масс наиболее беднейших слоев населения. В восстании и терроре Бабеф видит единственный способ освобождения масс; в „Акте восстания“ у него особыми статьями предусмотрены и захват всех продовольственных частных и общественных магазинов, и захват казначейства, почты и домов министров, и захват и мобилизация всех булочных, и бесплатная раздача беднейшей части населения хлеба, и вселение бедняков в дома богачей, и возврат населению заложенных в ломбарде вещей, и раздача имущества всех врагов народа беднейшему населению, и взятие „под охрану“ частной собственности, и конфискация помещичьих земель, остававшихся невозделанными, и переход от денежной оплаты труда к оплате натурой. Любопытно, между прочим, что Бабеф в обучении детей будущей коммуны предлагал довольствоваться элементарной грамотой и важнейшими прикладными знаниями, считая вредным делом занятия наукой и искусством; и неудивительно, если Маркс и Энгельс считали, что литература, относящаяся к движению бабувизма, не могла не быть реакционной по своему содержанию. Бабеф—типичный представитель парижской бедноты, которая ничего не ждала от выявлявшихся линий революции и была близка к анархии и бунтарству.

5. *Утопический С. первой половины* XIX *века. I. Ранние английские социалисты.* Во много раз богаче и разнообразнее, чем в эпоху торгового капитализма, было течение утопическо-социалистической мысли в эпоху раннего промышленного капитализма. Введение машин, быстрый рост техники, концентрация производства и капитала, быстрый темп накопления, сразу выросшая резкая пропасть между трудом и капиталом, рост резервной промышленной армии и безработицы на ряду с ростом богатств, правильно

повторяющиеся промышленные кризисы — все эти явления, встававшие пред общественным сознанием первого периода промышленного капитализма, не могли не вызвать большого оживления в движении социалистич. мысли всех стран, ставших на путь промышленного капитала, и не толкнуть ее к самым различным, самым пестрым, иногда чрезвычайно ярким исканиям и течениям. Особенно красочен, но в то же время не всегда глубок был утопический С. этого периода во Франции. Более глубок и содержателен в идейном отношении, но менее ярок был утопический С. этого времени в Англии. Еще более бледен по красочности и богатству форм утопический С. в Германии первой половины XIX в. Раньше других стран промышленный капитализм нашел себе место в *Англии*. Поэтому основные толчки социалистических исканий в рассматриваемый период шли из Англии. Вторая половина XVIII в. в Англии ознаменовалась рядом изобретений, сыгравших важнейшую роль в развитии крупной английской промышленности: Уатта, Дж. Кея, Томаса Хайса, Ричарда Аркрайта, Джемса Харгревса, Кромптона, Кельти, Картрайта и др. Введение машин не замедлило отразиться на положении рабочих самым печальным образом: безработица, падение заработной платы, нищета сделались в Англии конца XVIII ст. обычным явлением. Вторая половина XVIII ст. дала Англии уже ряд стачек, показывавших, что антагонизм между трудом и капиталом к этому времени довольно определенно выявился, приняв капиталистические формы. Этот контраст впервые отражают накануне появления машинного капитализма и в его первые годы Р. Уоллес, Дж. Тэлуол, Т. Спенс. Но наиболее определенно социальные противоречия нашли себе выражение у так наз. ранних английских социалистов. К ним можно отнести Годвина (1756—1836), Голла (1745—1825). Томпсона (ум. в 1833 г.), Грэя, Годжскина, Брэя. *Вилльям Годвин* (*см.* XV, 299 и II, 565/567) выступает в книге „Исследование о политической справедливости и об ее влиянии на добродетель и счастие общества“ (1793), как социалист-анархист, и именно анархист-индивидуалист. Он в то же время утопист, так как в разуме, в знании, в справедливости ищет основ для переформирования общественного строя с его политическими учреждениями и частной собственностью; он верит в перерождающую силу разума, в силу знания. Книга Годвина имела шумный успех, произвела огромное впечатление, дала толчок дальнейшему течению социалистических исканий, вызвала ряд возражений, послужила непосредственным поводом и для пресловутого мальтусовского „Закона народонаселения“ (1799). Вскоре за книгой Годвина, в 1805 г., *Чарльз Голл* (*см.*) опубликовывает книгу „О действии цивилизации на народные массы в европейских государствах“. Голл первый вскрывает действия введения машин на рабочих. Он впервые определенно ставит вопрос о классовом антагонизме, о борьбе между социальными классами и об экономической основе этой борьбы и антагонизма. Голл хорошо понимает, что дело не в машинизме, не в машинах собственно, а в том общественном строе, при котором применяется этот машинизм. Его идеалом является общественный порядок без классов, без частной собственности, без неравенства и эксплоатации. Голл вне всякого сомнения социалист, но он думает о переходе к новому строю путем постепенных изменений, путем разумно проводимых реформ. Он не видит еще в капитализме неизбежной и необходимой ступени исторического развития. На капитализм с его системой эксплоатации он смотрит, как на ошибку, которую необходимо исправить. Голл, т. о., социалист-утопист, но уже начинающий понимать экономическую сущность социальной борьбы и классового антагонизма. Идеи Голла мало привлекали себе последователей при его жизни, и лишь в эпоху чартизма о нем вспомнили, и его книга вышла вторым изданием в 1849 г. Годы с 1815 по 1822 были особенно неспокойные для Англии; побуждаемая голодом, безработицей, голодной заработною платой, масса низших слов населения бурно проявляла в это время свое

недовольство в бунтах, восстаниях, мятежах, демонстрациях, сопровождавшихся нередко кровавыми расправами с обоих сторон. Это дало толчок к появлению новых идейных исканий с социалистическим направлением. В 1824 г. выпускает свою книгу „Исследование о принципах распределения богатств, наиболее всего способствующих человеческому счастью“ *Вильям Томпсон* (*см.*). Томпсон развивает идею борьбы классов, обосновывает классовый антагонизм из экономической природы доходов труда и капитала, при чем особенное внимание отводит распределительным отношениям; развивая идею „общественно-необходимого труда, как общего фактора всех отдельных форм труда“, Томпсон настаивает на праве рабочего на полный продукт труда и выдвигает на место свободной конкуренции принцип кооперации, находясь под влиянием учения Оуэна; в то же самое время Томпсон—враг насилия и думает, что изменить общественный порядок можно лишь тогда, когда большинство придет к сознанию его несправедливости и его негодности; Томпсон готов отдать всю свою жизнь делу распространения сознания истинных условий производства, нового общественного порядка. Несколько позднее после написания своей книги Томпсон еще ближе подходит к идее коммунизма и высказывается об устройстве рабочих коммунистических общин в духе Оуэна. За Томпсоном следует Джон *Грей* с своей „Лекцией о человеческом счастье“ (John Gray, „A lecture on human happiness“, 1825; немец. пер. в серии Г. Адлера „Hauptwerke des Sozialismus“), где, характеризуя экономическую сторону социальных отношений между двумя основными классами, он думает о том светлом дне, когда исчезнет конкуренция капиталов и противоположность интересов, и когда „солнце правды бросит лучи на рабочие массы, терпеливо несущие свои цепи“. В 1831 г. Джон Грей в своей „Социальной системе“ („The social system“) более подробно высказывается о том, как он мыслит себе осуществление плана социального переустройства: он рекомендует отмену денег, устройство национального банка с правом выпуска банковых билетов, регулирование обмена и его планомерную организацию с точным учетом особыми расценщиками себестоимости каждого товара и т. д. Уже в одном этом своем плане Дж. Грей выступает, как утопист, мечтающий рационализировать капиталистическую систему отношений без изменения ее коренных (производственных) основ. Заслуживают также внимания вышедшие в 1823 г. „Метафорические очерки старой и новой системы“ Абрама *Комба*, где автор в поэтических образах излагает систему отношений на подобие системы Дж. Грэя. Серьезнее отмеченных работ ранней английской социалистической мысли стоят работы Томаса *Годжскина* или *Годскина* (*см.*): „Защита труда от притязаний капитала“, появившаяся в 1825 г., и „Народная политическая экономия“—ряд лекций, прочитанных в 1826 г.; та и другая работа—плод тщательной разработки важнейших экономических проблем, относящихся к анализу отношений труда и капитала; эти сочинения легли в основу социалистической критики, расширили экономический горизонт социалистической мысли в первой половине XIX ст. и послужили в некоторой доле материалом и для теоретических построений экономической системы научного социализма последующего времени. Но Годжскин, как и другие социалисты первой трети XIX в. в Англии, в общем своем мировоззрении—утопист; он сторонник идеи естественного права; неравенство, гнет, нищета, войны, преступления — все это, по его мнению, результат нарушения естественных законов; его идеал—повидимому, широкая кооперация, об‘единяющая в одних руках и труд и капитал.

II. Великие утописты (*Роберт Оуэн, Сен-Симон и Фурье*). Ранние английские социалисты-утописты, занимаясь социалистич. критикой, не шли дальше этой критики и дальше теоретического анализа тяжелого положения переживаемого рабочим классом; рассматривая с точки зрения интересов труда вопросы экономической жизни, они не пытались практически построить общественную жизнь на новых социали-

стич. принципах. Иначе подходит к социальному вопросу выступивший также в первой трети XIX в. Роберт *Оуэн* (*см.*). Оуэн не только социалист-писатель, старающийся оформить в стройной логически построенной системе свои социалистические устремления и планы, но и борец-реформатор, умеющий добиваться осуществления намеченных целей и проведения их в жизнь в той или иной форме. Обаянием своей личности, неутомимой энергией, захватывающим воодушевлением, смелостью своих великих планов Оуэн собирает вокруг себя преданных последователей, вызвав к жизни целое течение, определенную школу, названную по его имени школой оуэнизма и сыгравшую огромную роль в истории мирового социализма. Идеи оуэновского учения не были новы; они все в том или ином виде высказывались и бродили среди социалистов той эпохи; но Оуэн сумел всем этим идеям придать такую яркость, сделать их столь жизненными, так непосредственно связать их с требованием момента и найти им немедленное воплощение в практике жизни, что заслужил себе имя великого утописта, на-ряду с великими французскими социалистами-утопистами Сен-Симоном и Фурье. В Р. Оуэне поэтому столько же характерны его жизнь и деятельность, сколько и его учения, запечатленные в написанных им сочинениях, в речах, лекциях и других выступлениях. Р. Оуэн родился в 1771 г. Это было как раз то время, когда Англия, с одной стороны, переживала промышленную революцию, и когда развитие машинизма сопровождалось бьющим в глаза ростом производительности труда, и, с другой стороны, это было время, когда с каждым годом ухудшалось положение рабочего—настолько, что ко второму десятилетию XIX-го века стал возникать ряд волнений и бунтов по всей стране. К 1800 г. Оуэн был уже самостоятельным хозяином огромной фабрики в Нью-Ленарке (в Шотландии) и мог видеть всю неприглядную обстановку, в какой приходилось жить и работать фабричному населению: 13-ти часовой рабочий день, детский труд с 6-ти летнего возраста, низкая заработная плата, грязь, невежество, пьянство и т. д. Оуэн немедленно принимается за физическое, моральное и умственное оздоровление рабочего населения: сокращается рабочий день (до 10½ час.), повышается заработная плата, допускаются дети лишь с 10—12 летнего возраста, улучшаются в гигиеническом отношении помещения, привлекаются рабочие к участию в прибыли и проч. Через несколько лет упорной работы Оуэн добивается резкой перемены в жизни своих рабочих, и вместе с тем доходы фабрики, вместе с производительностью труда, начинают быстро расти. Слава о Нью-Ленаркских опытах дает Оуэну сразу мировую известность. Вместе с этим Р. Оуэн создает новую теорию воспитания и выработки человеческого характера, исходя из того, что человек есть продукт окружающей среды и особенно воспитания; путем применения надлежащих мер в любой стране можно создать любой национальный характер вообще; важнее всего воспитание характера начинать с детства. На новых началах Оуэн строит всю систему школьного обучения и тотчас же применяет новые принципы и методы в фабричных школах своего Нью-Ленарка. От идеи перевоспитания характера Оуэн переходит далее и к идее переустройства всего социального уклада человеческой жизни вообще. В этом отношении Оуэн отвергает путь парламентских реформ; его интересует другое; он устанавливает, что производительные силы страны возросли (с 1792 по 1817 г.) в 12 раз, благодаря росту техники и науки, но общество не сумело использовать этот необычайный рост производительности: вместе с ростом богатства возросла еще более нищета, и причины этому надо искать не в производстве, а в распределении. В чем же выход? Выход Оуэн видит в устройстве примерных общин, ведущих хозяйство на коммунистических началах; а по примеру этих общин само собою уже и все страны мира не замедлят переорганизоваться. Идея таких общин зародилась у Оуэна впер-

вые в 1817 г., в форме поселков-колоний для безработных. Но эта идея у него все разрасталась и уже в 1821 г. в „Социальной системе“ (опубликованной в течение 1826 и 1827 г.) нашла свое общее выражение, как общей меры для переустройства социальной жизни. Первоначально организация таких общин, поскольку они рисовались Оуэну в форме рабочих колоний, сводилась к следующему: всю организацию берет на себя государство, которое устраивает одновременно и земледельческие трудовые общины и промышленные; в каждой из таких трудовых общин не должно быть более 1.500 человек, все живут в одном здании и занимаются обработкой земельной площади, не превышающей 1000--1200 акров; каждая семья живет в отдельном помещении, но обед получается для всех из общей кухни; работает каждый по своим силам и специальностям; дети с трех лет получают общественное воспитание; высокая производительность труда и экономия от такого строя общежитий предоставят планомерно построенным кооперативным общинам огромные удобства, и в результате эти свободные ассоциации трудящихся вытеснят принцип конкуренции, и, таким образом, исчезнет и борьба человека с человеком. Более полную картину в смысле организации оуэновская кооперативная община находит у Оуэна позднее; наиболее полный вид она нашла себе в устройстве Нью-Гармони, большой общины, которую Оуэн организовал в Америке, и в тех принципах, которые были положены в ее основу: цель ассоциации—обеспечение всем полноты богатства, физического и материального; вступление в общину может быть только добровольное, выход также; принудительного труда не должно быть в общине; работа по способностям каждого, распределение по потребностям каждого; общая собственность на недвижимое имущество средства производства и вообще т. н. капитал; полное равенство всех членов общины, и мужчин и женщин; воспитание детей общее; управление на началах самоуправления, никакие меры строгости к членам общины, кроме удаления из общины, не допускаются. Позднее, в „Новом нравственном мире“ и в „Социальной системе“ Оуэн дает еще некоторые указания насчет устройства и принципов новых социальных ячеек-общин: вся страна разбивается на земельные участки, размер которых определяется качеством и особенностями почвы; на ряду с земледельческими общинами существуют и промышленные, но преобладающее значение имеют первые; численность общины не превышает 3000 человек; члены общины—члены единой семьи, полное равенство между членами; всем управляет „общий совет“, куда входят члены в возрасте от 30 до 40 лет; для обмена между общинами и вообще для сношений с другими общинами существует особый „Совет“, куда входят члены в возрасте от 40 до 60 лет; предполагается высокая степень производительности труда; предполагается выработка особого характера, что приведет к образованию нового нравственного мира; коммунистический способ производства в общинах создаст гармонию интересов; производство будет превышать потребление; избыток будет обмениваться на те предметы, которых нет в данной общине; при таких условиях введение новых машин принесет рабочему больше продуктов, а не будет сопровождаться ростом эксплоатации; дар науки перестанет быть проклятием. Оуэн не жалел ни средств, ни энергии на создание своих кооперативных ассоциаций, предполагая посредством них переродить мир, но оуэновские общины не долго существовали. Оуэна, однако, не останавливали неудачи. В 1830 г. он занят уже новым делом—практическим разрешением на новых началах кризисов, вызываемых непосредственно перепроизводством товаров и сопровождаемых наличием огромного скопления нереализованных товаров, на ряду с существованием массы неудовлетворенных потребностей и нищеты. Для выхода из такого положения он придумывает банк для обмена товаров по равноценности заключенного в товаре труда—учреждение, где устанавливалась в бумажных знаках трудовая ценность любого

товара и, взамен его, выдавался владельцу его бумажный билет с обозначением соответственного количества трудовых единиц; за этот бумажный билет можно было выменять любой товар соответственной ценности; обмен совершался не посредством денег, а на бумажные знаки и по равноценности. По плану Оуэна, в 1832 г. был основан для такого рода обмена банк (в Лондоне); мерилом ценности служил затраченный на производство товара труд, выраженный в рабочем времени, но из этого всего ничего не вышло; банк скоро же (в 1834 г.) потерпел крах. Оуэн упустил из внимания, что перепроизводство и невозможность сбыта товаров зависит вовсе не от денег, что бумажные деньги не устраняют неорганизованности капиталистического хозяйства и не спасут его от кризисов. С. Оуэна не вытекает из действительных отношений развивающейся жизни, как продукт необходимого, неизбежного хода вещей. В своем С. он рационалист и думает преобразовать общество силой знания, перевоспитания, увлечения хорошими примерами, убеждением; он—социалист-утопист, но несомненно самый утопизм его побуждал к дальнейшему исканию социалистическую мысль и давал новый импульс социалистическому движению. Особенно жизненным из всех его начинаний оказалась идея кооперации (*см.*) и, гл. обр.,—потребительской кооперации. Среди ближайших последователей Р. Оуэна С. оуэновский выражался, гл. обр., в кооперативном движении; кооперация считалась средством достижения коммунизма; наряду с кооперацией, среди рабочих шла также и работа просветительная на основе естественно-научных и технических знаний. В этом направлении выдвинулись Джордж Мюди и Дж. К. Робертсон, друзья Томаса Годжскина; Мюди издавал „Economist“ (1821—1822)—первый кооперативный еженедельный журнал в духе оуэнизма, и работал, гл. обр., среди лондонских наборщиков. Как оуэнисты, могут быть отмечены также: Абрам Комб, Дж. Грэй, Томпсон, о которых уже была речь выше, Джон Минтер Морган (автор „Бунта пчел“, 1826), также Годжскин, Чарльз Брэй, Эдмондс.

Что касается Франции, то среди социалистов-утопистов начала XIX стол. во *Франции* выделяются два крупных социалистических писателя, по праву получивших название „великих утопистов“: Клод-Анри Сен-Симон (1760—1825) и Шарль Фурье. И тот и другой, имея каждый многочисленных последователей своего учения, явились обоснователями двух крупных течений социалистической мысли, сыгравших видную роль в истории С. *Сен-Симон* (*см.*) вышел из аристократических кругов, получил блестящее образование; в революции, которую ему пришлось переживать уже в годы зрелости, он участия не принимал; его гений как бы пробуждается после нее. Он живет в полной почти нищете, но полон самых грандиозных планов научных работ, самых грандиозных идей и мыслей, которые пытается свести в гениальную систему, чтобы произвести полнейший переворот в мире идей. В это время (1800 г.) французская промышленная буржуазия уже очистила себе путь беспрепятственного развития, но характер промышленного капитализма здесь еще долгое время носил на себе черты мелкого ремесленного производства. Капиталистические отношения, поэтому, перед взором Сен-Симона не могли стать в своем развернутом виде, в своих чисто капиталистических формах и показать свою истинную сущность. Гений Сен-Симона, однако, во многом умел отмечать среди неясного, неоформившегося правильные линии развивающихся отношений, намечать с поразительной остротой мысли истинные контуры, хотя бы и в туманных, неясных очертаниях. Уже в первой своей работе „Письма женевского обитателя к своим современникам“ (1802), чрезвычайно странном литературном произведении, с полу-серьезным, полу-фантастическим содержанием, Сен-Симон выставляет идею социальных классов, классовой борьбы и идею равенства, которую несет в себе класс неимущих, требующий уничтожения государственного порядка с его неравенством, господством и подчинением, эксплоатацией;

отношения между тем и другим классом—отношения господства и подчинения, первые командуют, вторые принуждены работать на командующих; неимущих больше имущих, но господство устанавливается не по принципу большинства или меньшинства, а „пропорционально просвещению“, среди же командующего класса большая степень просвещенности; непрекращающаяся борьба классов приводит к кризисам, которые не может прекратить никакая сила в мире; к всеобщему брожению, проявившемуся так ярко во время революции, и к анархии—этому величайшему из всех бичей человечества; выход из этой анархии и кризисов лишь в изменении существующего общественного строя; тогда лишь будет всем хорошо, если духовная власть будет в руках ученых, светская—в руках промышленников. Развивая, т. обр., ряд важнейших для С. идей, Сен-Симон в то же время мыслил себе будущий строй общества еще в крайне смутных формах. Лишь в позднейших произведениях выставляемые в неясных и туманных очертаниях мысли нашли себе более определенное выражение и развитие. Учение Сен-Симона более известно в изложении его учеников, продолжавших его учение и сумевших связать и систематизировать ряд развивавшихся им неясно положений, и влияние его на развитие социалистической мысли шло, гл. обр., через *сен-симонистов*. Это изложение учения Сен-Симона сделано, гл. обр., наиболее талантливым из учеников и последователей Сен-Симона—*Базаром* (*см.*). В его изложении (1828—30) учение сен-симонизма, в его наиболее важных пунктах, может быть представлено в следующем виде: в современном обществе, построенном на принципе конкуренции и эгоизма, нет организованности, царит полная анархия; конец этой анархии может положить лишь новое социальное учение; эксплоатация человека человеком—таковы человеческие отношения настоящего; эксплоатация природы человеком, об'единившимся с человеком—таковы отношения между людьми в будущем; эти отношения будущего являются неизбежным следствием прошлого, ибо развитие человеческого общества не случайно, оно закономерно; метод истории поэтому тот же, что и естествознания; и естественное право—не нечто, раз навсегда данное, неизменное; оно также прогрессирует, как и человек; новым условиям соответствует и новая природа их; вся социальная жизнь, каждый социальный факт подвержен вообще закону прогресса; собственность, как социальный факт, также подлежит этому закону прогресса, историческому развитию и изменению; общественный прогресс ведет от эксплоатации к ее уничтожению и равенству; исторический закон развития человечества—развитие от антагонизма к ассоциации; антагонизм в обществе есть классовый антагонизм, его основа—эксплоатация человека человеком; развитие общественной жизни есть смена форм: всегда за „критическими“ периодами человеческой истории, когда все построено на эгоизме, наступают „органические“ периоды, когда все направлено к единению, к общей цели, к слиянию; переживаемый момент—начало наступления „органической“ эпохи, с тяготением к всемирной ассоциации; наиболее вредная, наименее всего соответствующая потребностям общества черта современного порядка—это право наследования; наше будущее—это всемирная ассоциация, цель которой—совместный труд, где человек не эксплоатирует человека, где господствует принцип: каждому по его способностям, а каждой способности по ее заслугам; анархия здесь уступает место централизованной системе общественного производства; для расценки способностей каждого и распределения средств производства по этим способностям в централизованной системе будет функционировать центральный банк со своими отделениями; основной недостаток коммунизма—это тот, что ленивый получает столько же, сколько и трудолюбивый, что нарушает принципы равенства; воспитание должно быть всеобщим и профессиональным; венец же всей общественной жизни—религия, которая должна воодушевлять человечество и которая будет выражением

коллективной мысли человечества; но это будет уже не христианская религия, сыгравшая уже свою историческую роль; это будет „новое христианство“. Мы видим, что по существу сен-симонизм порывает уже с рационализмом XVIII в., что он детерминистичен; мы видим в нем зародыши идей монизма и диалектического развития; мы видим в нем уже научную основу для подхода к изучению социальной жизни, которая подчинена у сен-симонистов строгой социальной закономерности; мы видим также и определенно формулированные социалистические взгляды; во всем этом нельзя не видеть огромных заслуг сен-симонизма в деле формирования научно-социалистического мировоззрения. Скоро по смерти Сен-Симона среди ближайших учеников его произошел раскол, чему особенно способствовал Анфантен своими религиозными общинами и культом любви (см. *Анфантен*). Идеи сен-симонизма развивали в своеобразном направлении Пьер Леру и Пеккер. *Пьер Леру* (*см.*), из рабочих (наборщик), редактировал сен-симонистский журнал „Globe“ и написал ряд сочинений на различные социально-экономические темы, развивая в них социалистические идеи; ему, между прочим, приписывается введение в употребление термина „социализм“, в противоположность понятию „индивидуализм“ (1834 г.). *К. Пеккер* (1801—1887) был первоначально ревностным последователем Сен-Симона и затем Анфантена; впоследствии он присоединился к школе Фурье. В важнейшем своем сочинении „Новая теория социальной и политической экономии, или этюды об организации обществ“ (1842) он скорее, однако, социалист-централист, чем федералист, что сближает его более с сен-симонистами, чем с фурьеристами; по мысли Пеккера, новое государство-общество явится единственным собственником всех средств производства, земли и орудий труда; в нем национальное производство построено по строго выработанному плану, все направляется от центра, который распределяет все производство в связи с общим национальным спросом; произведенный отдельным производителем продукт принадлежит государству и поступает в общественные магазины; рабочий день всюду должен быть обратно пропорционален тяжести и неприятности труда; государство же устанавливает и среднюю производительность нормального рабочего. Для выбора занятия необходимо каждому доказать свою бо́льшую пригодность к избираемому занятию сравнительно с другим; для определения последнего производится государственный экзамен; вознаграждение труда, однако, должно быть равным на всех ступенях занятий и положений в обществе. Чистый доход распределяется поровну между всеми рабочими; распределение совершается посредством денег, которые являются лишь условными знаками; деньги нужны потому, что потребление каждого должно иметь свой предел в связи с наперед установленным спросом, и отсутствие точного счета на пред'являемые продукты может нарушить общую норму; каждый волен расходовать имеющиеся у него деньги как угодно, нельзя лишь через посредство денег эксплоатировать другого; допускается даже завещание и дарение денег; ввоз и вывоз находятся в руках государства; если С. проникнет во все государства мира, то и международный обмен будет совершаться также посредством денег, как условных знаков (см. *Пеккер*).

Другим не менее крупным, чем Сен-Симон, великим утопистом XIX в. явился во Франции *Шарль Фурье* (*см.*). Значение последнего в истории развития С. было не менее велико, нежели значение Сен-Симона и Оуэна. Фурье (1772—1837) больше кабинетный мыслитель; он был современником великой французской революции, так же как и Сен-Симон, и не мог остаться в стороне от того великого движения, которое в этот бурный период всеобщего брожения и сотрясения переживала Франция. Фурье хорошо понимал, что катастрофа 1793 года ничего не дала для разрешения социального вопроса, что народные массы не много в ней выиграли, что львиная доля завоеваний досталась капиталу, что эксплоатация, угнетение, порабощение народа оставалось не в меньшей степени,

чем раньше. Но не сочувствуя, подобно Оуэну, политической борьбе, он неудачи французской революции, которая не привела к социальному перевороту, видел в другом; эти неудачи он об'яснял тем, что то знание, та наука, которыми человечество обладало в момент революции, оказались плохими, негодными; Фурье думал, что нужна новая наука, которую нужно создать, и что только эта новая наука может привести к лучшему социальному строю; Фурье полагал, что нужен новый Ньютон, который открыл бы „социальные законы притяжения“, который бы привел в великое единое целое всю мировую систему природы, человека и общества. Таким новым Ньютоном в социальной науке, таким „новым Геркулесом“, „героем“, „спасителем человечества“ Фурье об'являет себя. Уже в этом одном перед нами чистейшей воды утопист, мечтающий новой научной системой пересоздать мир. Из сочинений Фурье, в которых он развивал свою новую социально-научную систему и давал планы нового социального строя, могут быть на первом месте отмечены: „Теория четырех движений“ (1808), „Учение о мировом единстве“ (1822)—наиболее крупные из всех его сочинений,—и „Новый индустриальный и социетарный мир“ (1829); кроме того, ученики Фурье в 1848 г. издали изложение учения его, под названием „Мировая Гармония и Фаланстер“, состоящее исключительно из выдержек из его сочинений и помогающее ориентироваться в чрезвычайно сложном, не всегда ясном ходе мыслей этого оригинальнейшего из писателей.

В основных своих положениях учение Фурье, об'единяющее в одно целое и социально-научную систему и организацию нового социального строя, может быть представлено в следующем виде. Фурье ищет прежде всего тот отвлеченный принцип, из которого он мог бы исходить и на котором он мог бы построить абстрактно-логически всю систему. Отыскивая этот отвлеченный принцип, эту основу, в качестве исходной и руководящей идеи, он в то же время хочет быть эмпириком; метод науки, заявляет он, должен быть опытным; исследователь должен итти в своем исследовании от анализа к синтезу, от известного к неизвестному, от сложного к простому, от непосредственного наблюдения к теории, причем исследователь должен помнить, что человек лишь одно звено мировой системы, мирового целого, что в природе все взаимно связано, гармонично, едино; нужно лишь открыть в этой мировой гармонии такие пути, которыми человек связан с природой; эту связь Фурье видит в страстях человека, в естественных стремлениях человека. Здесь-то и находит Фурье свой отвлеченный основной принцип. То отвлеченное положение, из которого исходит Фурье и на котором он строит всю свою социальную систему, то положение, которое он считает первым своим открытием—это „притяжение страстей“; самое существенное для человека—это удовлетворение страстей; законы притяжения страстей те же, что и ньютоновский закон притяжения физических тел, так как существует полная гармония между движением в физическом мире и движением в мире духовном. В любых областях жизни можно вообще наблюдать пять видов движения: материальное (ему соответствует земля), ограническое (ему соответствует вода), естественное (соответствует магнетизму, электричеству и т. п.), инстинктивное (ему соответствует воздух) и социальное или движение страстей (ему соответствует огонь). Изучить социальные законы, т. е. законы движения страстей, и значило бы привести человечество к счастью. Человечество прошло уже стадии дикости и варварства и теперь переживает стадию цивилизации; но „цивилизация“ расшатывается все сильнее и сильнее; вулкан нарастает; катастрофа 1793 г. была лишь первым извержением этого вулкана; за ним последуют новые потрясения; войны между бедняками и богачами при „цивилизации“ принимают все более и более революционный характер, и необходимо избавить человечество от этого кошмарного состояния; а для этого прежде всего необходимо разобраться из различных частей научной системы в науке об ассоциациях и в теории притяжения

страстей. Развивая свою теорию ассоциаций, Фурье и дает нам описание нового социального строя, который бы мог спасти человечество. Как новая общественная форма, эта ассоциация наступит, однако, не сразу. Человечество предварительно переживет переходную фазу от „цивилизации“ к ассоциации; это—фаза гарантизма; к моменту этой фазы капитализм настолько сконцентрируется, что будет возможно перейти к государственному капитализму. Государство насаждает ряд государственных ферм, прежде всего земледельческих, а затем к ним примкнут и промышленные фермы; эти фермы устраиваются из бедного населения, не имеющего собственности, причем ферме-ассоциации (400 семейств) дается инвентарь, постройки, скот и все необходимое для производства; в этих фермах-ассоциациях так успешно будет итти хозяйство, что и другие предприятия станут переходить на путь коллективного трудового производства, и, т. обр., начнется процесс постепенного „врастания“ принципа ассоциации, и капиталистическое общество все в целом перейдет в новую фазу, фазу ассоциации. Новый строй рисуется Фурье состоящим из множества производительно-потребительных коммун, которые Фурье называет фалангами; в каждой фаланге промышленность соединена с земледелием; каждая фаланга состоит из 400 семейств, об'единяющих до 1800—2000 человек, что дает возможность вести крупное проиводство; все население фаланги помещается в одном огромном, специально устроенном здании, называемом фаланстером (Фурье дает подробные планы такого фаланстера), где имеются и квартиры, отдельные для каждой семьи, и мастерские, и огромные крытые стеклом галлереи, и библиотеки, и театр и проч. В новом обществе, как общий принцип, царит полная свобода выбора занятий, при чем отсутствует принцип равенства распределения. Распределение происходит по трем „индустриальным способностям“: труду, капиталу и таланту; труд получает $^5/_{12}$ продукта, капитал $^4/_{12}$ и талант $^3/_{12}$; каждый член фаланги может выступать и как капиталист, и как рабочий, и как изобретатель (талант) одновременно. Труд организован так, что он дает радость и наслаждение; через каждые полтора часа работа разнообразится, меняя свой вид и характер, благодаря чему рабочий день может доходить до 8—10 часов; на сон идет всего 6 часов, так как в новом обществе нет не только переутомления, но и утомления, благодаря сменам и разнообразию деятельности. Для бедных членов коммуны то же разнообразие, но без охоты, библиотеки, парадов и музыки. Вместо разделения на сословия, в новом строе—разделение населения на группы по характеру и темпераментам. Большое внимание обращено на воспитание детей; в основе, на которой ведется воспитание и обучение, лежит 29 специально разработанных пунктов; в основе обучения лежит идея соединения обучения с производственным трудом — идея „трудовой школы“. Государственной власти нет ни вне фаланги, ни внутри, хотя и имеется особое выборное лицо (унарх), стоящее во главе фаланги, но без принудительных функций; принуждения вообще в новом социетарном строе нет, так как при свободе нет необходимости к принуждению. Рисуя такими чертами новое социетарное общество, Фурье не жалеет красок для беспощадной критики капиталистич. общества, или стадии „цивилизации“. Эта картина у Фурье—лучшие страницы всех его писаний и стоит по остроумию, яркости, тонкости анализа и талантливости много выше его положительной теории. Его социетарный строй выведен из головы, из отвлеченного принципа. Он его „изобретает“ путем гениального открытия и преподносит человечеству, как великий благодетель, как истинный „герой“, спасающий мир. Как мечтатель-изобретатель, Фурье равнодушен к политике. Его построения не чужды анархического оттенка. Фурье не чужд индивидуалистического принципа в организации своего социетарного общества; в последнем он оставляет соперничество, оставляет даже капитал, пытаясь примирить все различные и противоположные стремления в человеке

путем их своебразного комбинирования; гармония Фурье построена на антагонизмах, у него мирно уживаются труд и капитал. Тем не менее, влияние идей Фурье было не только велико, но и весьма благотворно для развития социалистич. мысли. Он служил идеям С. не только своей блестящей и яркой критикой капитализма, но и особенно той любовью, энтузиазмом, проникновенностью, той страстностью, которыми пропитаны его искания, как вывести человечество на путь счастья, избавить его от эксплоатации и гнета, указать ему новые пути к светлому будущему. Учение Фурье нашло себе последователей во всех более или менее цивилизованных странах. Во Франции школа Фурье была представлена Жюстом *Мюироном* (1787—1881), автором „Социальных преобразований" (1824), *В. Консидераном* (1808—1893), некоторыми из бывших сен-симонистов (Жюль Лешевалье, Абель Трансон), Альфонсом *Туснелем*, Ипполитом *Рено*, Шарлем *Пеллареном* и др. Еще при жизни Фурье его почитателями был организован журнал, посвященный вопросам фурьеризма, под наз. „Фаланстер или индустриальная реформа", с 1832 г.; с 1836 г. выходит новый журнал „Фаланга", превратившийся с 1843 г. в ежедневную газету „Мирная демократия". Наиболее даровитый из фурьеристов Франции—В. Консидеран (*см.*). Из Франции фурьеризм распространился и в другие страны: в Англии его представителем был *Гюг Доэрти* (в Лондоне издав. фурьеристский орган „Morning Star" и „The London Phalanx"); в Америке—Альберт *Брисбан* („Социальное предназначение человека", 1840); в Америке же было основано в духе Фурье до 25 коммунистических общин-фаланг, некоторые из коих просуществовали 17—18 лет, в России идеи Фурье нашли себе горячего поклонника в лице *Н. Г. Чернышевского* (*см.*)

III. Прудон, Луи Блан, Кабэ, Бланки. После Сен-Симона и Фурье в смысле влияния на французскую социалистическую мысль видное место принадлежит Пьеру-Жозефу *Прудону* (1809—1865). Прудон вышел из крестьянской семьи, был наборщиком, добился значительной эрудиции путем самообразования и среди парижского рабочего населения пользовался большой популярностью. В своих многочисленных сочинениях, отличавшихся оригинальностью, поразительной красочностью, яркостью языка и резкостью мысли, Прудон выступает и как сильный и остроумный критик капитализма, и как оригинальный писатель-экономист, пытавшийся применить к экономической науке диалектический метод Гегеля, и как социальный реформатор, и, наконец, как решительный противник государства. Свою теорию Прудон называет „мутуализмом" (mutuus—взаимный). В ней Прудон выступает как анархист-федералист, считающий подобно Годвину единственно возможной формой общественного сотрудничества добровольное соглашение, взаимный договор, построенный на принципе: „не делай другим того, что не хочешь, чтобы делали тебе", и наоборот: „делай другим то, что хочешь, чтобы делали тебе". Во всех своих теориях и планах социального реформирования Прудон, несомненно, утопист. По выражению Маркса, он вечно колеблется между трудом и капиталом, а его книга о „Собственности"—„кодекс мелкобуржуазного С." Выступая против частной собственности, Прудон восстает, собственно, против крупной собственности; в его же общинах, об'единившихся на началах договорных взаимных соглашений, действует и сохраняется частная собственность, но раздробленная; она остается здесь, как мелкая собственность. Прудон тонко и умело подмечает все отрицательные стороны крупного капитализма, но не видит его положительных сторон и зовет от крупного капитализма не вперед, а назад, к строю мелких производителей (изложение его теории см. в ст. *анархизм, II.* 567/571. см. также *Прудон*).

Деятельность Прудона, как социалистич. мыслителя и писателя, развернулась, гл. обр., в 40 годы XIX в. К этому же времени приурочена деятельность и двух других видных социалистов, сыгравших заметную роль в развитии социалистич. мысли Франции: Луи Блана и Этьена Кабэ.

Заслуживает внимания тот факт, что первое крупное сочинение Прудона „Что такое собственность?“, первое социалистич. характера важнейшее соч. Луи Блана „Организация труда“ и сочинение Кабэ „Путешествие в Икарию“—все вышли в один и тот же год (1840). Особенность всех этих социалистич. писателей Франции 40-ых г. в том, что в отличие от сен-симонистов и фурьеристов они захватывают внимание уже не столько интеллигентских кругов, сколько рабочих, т. к. французский рабочий класс к этому времени чувствовал себя уже достаточно сформировавшимся и осознавшим свои интересы, хотя, разумеется, он и не мог еще разобраться в тонкостях и деталях поднимавшегося движения. Луи *Блан* (1811—1882) впервые выступает с социалистич. идеями в своем сочинении „Организация труда“ (1840); здесь он основную причину эксплоатации, нищеты, социального неравенства и анархии видит в свободной конкуренции и, подобно всем утопистам, ищет радикального средства парализовать силу конкуренции, чтобы этим избавить общество от социальной несправедливости и нищеты; это средство он видит в „организации труда“, построенной иным образом и на иных началах, чем это имеется при капитализме; взять на себя введение новой „организации труда“ должно государство; государство, открывая кредиты, помогает устройству в стране трудовых рабочих ассоциаций, трудовых артелей, или „общественных мастерских“; этими ассоциациями-артелями, или общественными мастерскими, заменяются постепенно все частные капиталистические предприятия, связанные отношениями конкуренции; рабочие ассоциации постепенно вытесняют частно-хозяйственные и забирают в свои руки все общественное производство; они охватывают при помощи государства сначала отдельные производственные ветви, затем образуется ассоциация между отдельными ассоциациями данной отрасли, и, наконец, все ассоциации отдельных крупных отраслей об'единяются в одно целое, когда вся общественная жизнь может планомерно управляться из одного центра; но и до этого момента конкуренция между отдельными производственными отраслями исчезнет, так как все разнородные отрасли внутри будут об'единены (подробнее см. *Блан*). В бурное время революционного движения 40-х г. Луи Блан выступает, как видный политический деятель, поддерживаемый рабочими, выдвигая лозунги: „Право на труд“ и „Организация труда“, и примыкает к демократическо-республиканской оппозиции; сторонники этой оппозиции называли себя социал-демократами. В 1848 г. он становится членом временного правительства волею восставших народных масс и проводит декрет о праве рабочего на труд. Под влиянием его же идей правительство устраивает для безработных „национальные мастерския“ (*см.*), в чем сам Луи Блан не принимает, однако, участия. С наступлением реакции, после июньских дней, Луи Блан бежит в Англию. В 1870 г. он возвращается и в 1871 г. избирается в национальное собрание, но во время коммуны не примыкает к восставшим коммунарам. В теоретических обоснованиях С. Луи Блан крайне беден социалистич. идеями и находит, что стремления людей к жизни в обществе идут от бога. Неудивительно, если Маркс, говоря о Луи Блане, считал его „буржуазным демократом с некоторой социалистич. примесью и с смутно религиозным и националистическим образом мыслей“ (см. „Литературное наследие“ Маркса, т. I-й, предисловие Меринга).

Довольно яркой фигурой, как социалист, является и Кабэ. *Этьен Кабэ* (1788—1856), сын бочара, получил высшее образование и был адвокатом. Его важнейшее сочинение „Путешествие в Икарию“, философский „социальный роман“ (1839), навеяно моровской „Утопией“ и учением Оуэна, с одной стороны, а также жизнью первохристианских коммун—с другой. Его утопия вызвала огромный интерес среди масс рабочего населения Франции и сделала Кабэ самым популярным социалистическим писателем Франции. „Икарийское“ социалистич. государство Кабэ строго централистично, с строго проведенным принципом общего равенства; в Икарии на всем лежит

печать нового строительства, все проникнуто сознательной волей человека; сглажено и уничтожено все случайное, исторически-сложившееся, носящее печать старого. Здесь 100 провинций; в каждой провинции 10 коммун; при чем в каждой коммуне и в каждой провинции равное количество населения; все деревни и фермы расположены всюду одинаково, всюду симметрия, всюду прямые линии, даже в направлении течения рек; равенство во всем: у всех одинаковые дома, одинаковая мебель, даже одного покроя одежда, из одного материала; лишь цвета разрешаются разные. Свободы печати нет; республика печатает заранее одобренные работы; в газетах ничего не должно быть индивидуального, и для этого газеты должны иметь характер сухих протоколов простого изложения фактов, без их обсуждения; все вредного содержания книги старого времени подвергаются исправлению и переделке или же сожжению, оставляется лишь по нескольку экземпляров для национальных библиотек, как образцы отсталости мысли старого общества. Средства производства принадлежат всему обществу; производство планомерное; выбор занятий в Икарии не совсем свободный; дети земледельцев остаются, как общее правило, земледельцами же; самые тяжелые и грязные работы исполняются машинами. Для выбора религии предоставляется полная свобода. Семья и брак признаются священными, развод между супругами не допускается. Наступления такого коммунистического строя Кабэ ждет не сразу, допуская период переходного времени, с переходным режимом, при чем в достижении идеального социального строя он опирается исключительно на мирные средства. Коммунизм Кабэ не глубок. В нем много мелкоремесленнических пережитков. Успех утопии Кабэ лишь в том, что Кабэ сумел подметить и передать настроения и взгляды, как раз присущие рабочим массам 40-ых г. В силу успеха, какой выпал на долю „Икарии“, Кабэ задумал осуществить свою утопию в действительности и для этой цели приобрел незаселенную территорию в Техасе для устройства икарийской колонии-коммуны, затем в Новом Орлеане и в других местах; но открываемые им колонии не были долговечны и быстро распадались. Некоторые из открытых им общин, тем не менее, пережили Кабэ (умер в 1856 г.); одна такая икарийская община просуществовала до 70-х г., другая даже до 1895 г.; пролетарский состав членов этих коммун давал им живучесть (см. подробнее *Кабэ*).

Кабэ—сторонник мирных средств перехода от капитализма к С. Но со времени июльской революции 1830 г. во Франции среди социалистически настроенных революционных деятелей и кружков преобладал дух заговорщичества. Отличительные черты заговорщического коммунизма — тайные организации, подготовка заговора, революционное насилие, вместо мирного реформирования — террористические акты, работа в подполье. На такой платформе появился во Франции еще с 20-х г. и особенно после 30-го г. ряд различных тайных обществ, сыгравших видную роль в истории французского С. и в истории С. вообще. Из таких обществ в 20-ые г. действовал союз *карбонариев* (угольщиков), организованный по примеру неаполитанских карбонариев (*см.* XXII, 410/412). Среди деятелей этого союза можно отметить Базара, Лафайетта, д'Аржансона, Манюэля, Дюпона, Теста, Буонаротти. Позднее выделяется среди различных тайных обществ „Общество времен года“ („Société des saisons“) во главе с Мартеном *Бернаром* (1808—1883), Арманом *Барбесом* (1809—1870) и Луи-Огюстом *Бланки* (1805—1881). Социалисты-заговорщики „Общества времен года“ выступают все, как материалисты-атеисты, как враги индивидуальной семьи и брака, и в покушениях, бунтарстве, заговорах видят главные средства революции. Среди них особенно выдается, как революционный деятель, Огюст *Бланки*, уже в 1830 году выступавший на баррикадах Парижа; это—революционер-фанатик, убежденный коммунист, из 75 лет жизни просидевший в тюрьме почти 37 лет; социальную революцию он мыслил, как результат целого ряда

следующих одни за другими восстаний, постепенно расшатывающих капиталистический строй. В заговорщичестве Бланки, ставшем основой целого движения—бланкизма, отражалось чувство возмущения революционно-настроенного рабочего класса, еще недостаточно экономически и политически сильного и созревшего, недостаточно осознавшего свои интересы; таким именно и был французский пролетариат 40-х г.; как всякие утописты, бланкисты революции выдумывают, создают, а не выводят их, как неизбежный результат из развития производительных сил. К направлению революционного С. принадлежит и *Теодор Дезами* (1803—1850) (*см.*), писатель-журналист, член „Общества времен года“, выдвигающий в своем сочин. „Code de la Communauté“ (1842) принцип открытого эгоизма, удовлетворение на первом месте физических потребностей, и во всем остальном мало оригинальный. Еще дальше идет в этом направлении Коффино, один из соиздателей рабочей социалистич. газеты „Humanitaire“, проповедывавший воровство и подлоги, раз это в интересах дела.

IV. Утопический С. нового времени в Германии. В первую половину XIX в. Германия является во всех отношениях отсталой страной сравнительно с Англией и Францией. Разбитая на множество отдельных небольших государств, она сохраняла в этот период еще много старо-феодальных пережитков и в своем производстве в значительной степени покоилась на мелко-ремесленнических формах. Крупно-фабричное производство отсутствовало, рабочего класса с развитым пролетарским сознанием и об'единенного—не было. Не недоставало, разумеется, здесь материала для социального недовольства, социального брожения, бунтарских вспышек и бунтарских движений, но строго социалистич. основы в этих движениях в начале, по крайней мере до 40-ых годов, или совсем не было или было очень немного, и это немногое, притом же, было заключено в крайне туманную форму. Среди немецких писателей с такою неоформившеюся социалистич. мыслью в начале XIX в. можно упомянуть философа Фихте (1762—1814) и Галля (1790—1869), первого немецкого социалиста, как его называют в Германии, и выдающегося техника-изобретателя. У *Иоганна Готлиба Фихте* (*см.*), знаменитого немецкого философа-идеалиста, конечно, социалистического немного; думают, однако, что его „Замкнутое торговое государство“ (1800) у учеников Фихте вызвало ряд социалистич. мыслей, наводя на социалистич. настроения и искания. Свое государство Фихте строит на принципе разделения труда, которое он считает для общества необходимым, причем каждый член общества должен строго придерживаться своего дела; распределением занятий распоряжается государство; по основным занятиям население распадается на производителей, ремесленников (переработка произведенного), торговцев и чиновников (госуд. служащих); цены устанавливаются государством; государство же регламентирует производство, предусматривая и предопределяя каждую мелочь; свобода остается лишь в области потребления; с заграницей прекращаются всякие частные сношения, внешняя же торговля сосредоточивается в руках государства; так как деньги остаются лишь для внутреннего оборота, то монета выделывается из самого дешевого материала, серебро же и золото в обращении запрещаются; самое количество денег, выпускаемых государством, строго сообразается с надобностью в них для целей обращения. Как мы видим, немецкая мысль, в поисках идеального общественного строя, еще не подымается над цеховым строем с его закрепленностью занятий и строжайшей регламентацией. У *Галля* (*см.*), юные годы которого относятся к первой половине XIX-го века, мы также видим не больше лишь, как порывы мечтателя, задумывающегося над тяжелым положением рабочих и страстно стремящегося помочь им. Он хорошо понимает, что источником богатства является труд, что труд все создает и что, между тем, в обществе как раз те, кто все создает, лишены самого необходимого. Он сознает противоположность интересов двух основных

социальных классов, и критика экономических отношений приводит его к идее коллективизма. В коллективном хозяйстве он видит огромную экономию и повышение производительности труда: но его коллективизм — это не уничтожение капитала, а просто лишь совместное ведение хозяйства на основе кооперативного труда и капитала. В 1818 г., чтобы помочь образованию таких коллективных хозяйств, он организует „Гагернское общество“, но прусское правительство этого ему не разрешает; тогда Галль думает об образовании колоний вне своего отечества, едет в Северную Америку с швейцарскими эмигрантами, но уже дорогой обнаруживается, что набранные будущие колонисты по своему составу представляют всякий сброд из тех социальных отбросов общества, которые уже не способны трудиться и с которыми проделывать социальные опыты не приходится. Позднее Галль знакомится с Оуэном и Фурье, и влияние их идей сказывается в его сочинении „Мои желания и мои действия“ (1834).

Французская революция 1830 г. оказала сильное влияние на немецкую общественную мысль. С этого времени социалистич. мысль в Германии находит себе все большее распространение и развитие, хотя еще и не захватывает широкие массы и не отличается высокой революционностью. Среди социалистически - настроенных писателей этого времени, имевших влияние на рост немецкого социализма, на первом месте можно назвать *Карла Родбертуса Ягецова* (1805—1875), померанского помещика и выдающегося экономиста-теоретика, который начал интересоваться экономическими и социальными вопросами как раз с 1830 г. Социалист. идеи Родбертуса выступают уже в первой его работе „Требования рабочих классов“, относящейся к 1837 г. (эту дату Меринг подвергает сомнению). В этой работе своей Родбертус находился под влиянием отчасти идей французского сен-симонизма, отчасти сочинений, связанных с движением чартизма в Англии. Во всяком случае, Родбертус к этому времени был в курсе как английской классической экономической науки, так и до некоторой степени английской и французской социалистической литературы. В „Требованиях рабочих классов“ Родбертус пытается определить действительный характер рабочего движения и сущность социального вопроса, а также выяснить истинные цели последнего и возможные средства к их осуществлению. Трудящиеся классы стремятся, по его мнению, к завоеванию политической власти, которая, однако, является не целью, а средством; строй, при котором потребление рабочего класса ограничивается лишь самым необходимым, терпим лишь до тех пор, пока способ производства недостаточно обеспечивает общество всем необходимым; но раз производительность в обществе настолько возросла, что общество в состоянии обеспечить всем больше, чем необходимо для существования, то в тяжелом положении трудящегося класса виноват уже социально - экономический и государственно-правовой строй; необходимо поэтому для разрешения социального вопроса изменить прежде всего этот последний. Лучший строй может быть создан только государственным хозяйством. Государственная власть в состоянии освободить рабочих от системы господства слепых сил и обеспечить положение рабочих, не нанося существенного вреда ни капиталу, ни землевладельцам. Производство должно быть организовано не индивидуалистически, а на социальной (национальной, народной) основе. Прежде всего нужно поднять долю рабочих в общественном продукте (доходе) за счет доли капитала и земельной ренты; затем увеличить производительность общественного труда, и увеличение производительности направлять в определенной, раз установленной пропорции, как имущим классам, так и неимущим. Практически эту пропорцию удерживать твердой можно путем конституирования ценности и выпуском бумажных знаков в качестве трудовых денег, с точным обозначением на них трудовых единиц, периодическим установлением ценности всех производимых в обществе благ, пропорционально затраченному на их производство труду, и

устройством государственных складов и государственных магазинов для реализации денег. Родбертус — государственный социалист, в то же время социалист-утопист, мечтающий о социальной гармонии между трудом и капиталом. Теоретическое обоснование мыслей, высказанных в 1837 г., Родбертус дает в ряде последующих сочинений (см. *Родбертус*). Как политический деятель, Родбертус был очень умеренного направления, и его С. не без основания обозначают, как С. консервативный.

Иного характера была деятельность социалиста, вышедшего из трудовых слоев, *Вильгельма Вейтлинга* (1808—1871). Как портной-подмастерье, Вейтлинг (*см.*) по обычаю немецких ремесленников старого времени перекочевывал из города в город, пока не попал в Париж, где знакомится с коммунистами и вступает с 1837 г. в „Союз справедливых“; начиная с этого времени, Вейтлинг отдает себя революционной борьбе за дело социализма; в 1838 г. он выступает с сочинением „Человечество, как оно есть и каким оно должно быть“; в 1842 г. выпускает „Гарантию гармонии и свободы“ и в 1845 г. — „Евангелие бедного грешника“. В своих сочинениях Вейтлинг находится под влиянием и Сен-Симона, и Фурье, и Кабэ; он мало оригинален в изображении будущего нового общества; он не принимает, однако, ассоциаций между трудом и капиталом (по идее Фурье) и мечтает лишь об ассоциациях труда, об ассоциациях между работниками; разделяя труд на необходимый, полезный и приятный и сохраняя принцип труда по способностям каждого, он допускает, однако, для каждого в сверхурочное время и труд приятный, идущий на создание предметов роскоши, причем этому сверхурочному труду ведется особый счет и особые записи, для продуктов этого вида труда сохраняется обмен по затраченному на них времени. Для женщин Вейтлинг не отводит места такого же, как для мужчин; в этом отношении Вейтлинг консервативен и думает, что женщина в силу своей отсталости не может участвовать в управлении будущего общества наравне с мужчинами. В планах и проектах Вейтлинга, предусматривающих даже действия в первый момент перехода к коммунистическому строю, много утопического. Вейтлинг готов действительный рычаг революции видеть в люмпен-пролетариате, в общественных отбросах; он готов выставлять лозунг „чем хуже, тем лучше“, в то же время он готов взывать к монархам о „спасении человечества и устройстве С.“; он не чужд евангельских принципов и нередко на первый план выдвигает идеи древне-христианских коммун; в конце концов, он стал даже на себя смотреть, как на пророка, на мессию, на нового Христа, пришедшего спасти человечество. В Германии деятельность Вейтлинга имела, однако, большое значение в развитии социалистич. идей, особенно среди рабочих, у которых сочинения Вейтлинга пользовались большой популярностью. Среди революционных деятелей, примыкавших близко к Вейтлингу, можно упомянуть Августа Беккера, Симона Шмидта, кроме того Германа Эвербека и Карла Шаппера, членов „Союза справедливых“, основанного в Париже в 1836 г. и преобразованного впоследствии в „Союз коммунистов“, для которого Маркс и Энгельс и написали свой знаменитый „Коммунистический Манифест“ (1847). Этот последний явился началом новой эры в истории не только немецкого С., но и в С. всех стран вообще. Эта эра характеризуется, как эпоха научного С., и по имени основоположника научного социализма, Карла Маркса, носит название эпохи *марксизма*. Вместе с этим утопический С. отходит в область истории. Под лозунгом марксизма, начиная со второй половины XIX в., идет основное течение социалистического движения всех народов.

На ряду с научным С., однако, XIX-ый век знает и другие разновидности С. и псевдо-С., из которых более широкое распространение получили аграрный С. и отчасти явно реакционный христианский С. нового времени. Мы здесь остановимся только на первом; о втором см. *Христианский С.*

6. *Аграрный С.* Сущность аграрного С. лежит в разрешении социаль-

ного вопроса путем устранения частной собственности на землю. Движение в сторону такого С. началось давно, и еще в конце XVIII в. мы встречаем в Англии движение спенсиан, направленное к уничтожению крупной собственности и прав частной собственности на землю. *Спенс* (*см.*) предлагал землю передать в распоряжение общин и в 1812 г. основал для проведения своего плана особый союз „Spencean Philanthropists". Из членов союза спенсиан особенно выделяется ближайший последователь Спенса—Томас *Эванс*, шорник, опубликовавший в 1816 году памфлет „Christian Policy", где развивается и обосновывается спенсовская система. Эванс исходит здесь из тяжелого кризиса, переживавшегося Англией его времени, и считает, что в виду этого кризиса долг всех—помочь выйти из тяжелого положения; помочь же, по его мнению, может лишь земельная реформа, лишь она может поднять народную производительность; причина бедности—крупное землевладение и массовое безземелье; чтобы устранить бедность, нужно устранить крупное землевладение, а для осуществления последнего план указан Спенсом. Движение спенсиан, вызывавшее в Англии против себя строжайшие преследования и тщательную полицейскую слежку, иногда принимало террористический уклон, и в 1820 г. спровоцированный полицией террористический заговор имел своим последствием казнь 5 видных деятелей спенсианского движения. В менее социалистической форме, скорее чисто реформаторской, проводил идеи устранения частной собственности на землю другой английский деятель, современник Спенса, *Томас Пэн* (1737 — 1809), развивавший свои идеи в сочинении „Аграрная справедливость" (1795—1796). Пэн исходит также из идеи естественного права. Так как в естественном состоянии земля—общее достояние человечества, и так как человек не создал землю, то земля не может оставаться в индивидуальной собственности: человеку могут принадлежать только улучшения и ценность этих улучшений, как созданные человеком; земельная монополия—величайшее зло, а причина этого зла — современная социальная система. Пэн предлагает создать земельный фонд путем обложения в 10% (с общей суммы ценности) всех земельных наследств; тогда каждый, достигший 21 года, мог бы получить из этого фонда 15 ф. стерлингов в качестве компенсации за отчуждение земли; кроме того, из фонда могли бы выдаваться пенсии на случай старости и нетрудоспособности.

Вообще нужно сказать, что в течение всего XIX в. идея национализации земли находила во всех странах большое распространение, так как с развитием капитализма процесс отрывания мелких земледельческих производителей от земли и малоземелья шел, значительно опережая рост промышленности; в то же время с ростом населения всюду шел рост земельной ренты, выявляя собой яркий и бьющий в глаза факт „незаслуженного дохода", „незаслуженного прироста", поступающего в карманы крупных земельных собственников. Отсюда открывалась одна мера борьбы с отрицательными сторонами частной земельной собственности—из'ятие земельной ренты в пользу общества путем обложения земельной ренты налогом, равным самой земельной ренте. Другое разрешение вопроса могло быть более решительное—полное уничтожение частной собственности на землю и обращение земли в общественную или общинную собственность. Между двумя этими решениями и колебалось движение аграрно-социалистич. мысли. Идея национализации земли находила себе сочувствие особенно в малоземельном крестьянстве, среди которого еще сильно было убеждение, что земля—общее достояние, что земля „божья". Идея национализации земли в Англии была выдвинута после движения спенсиан уже чартизмом. Ирландец Бронтерр О'Брайен, видный вождь чартизма, а также Фергус О'Коннор развивали идеи земельной реформы, как важнейшей основы разрешения социального вопроса. В своей книге „Рост и развитие человеческого рабства" *О'Брайен* частную собственность на землю считает главнейшим источником рабства; он пред-

лагает возвратить землю всему обществу, отобрав ее от землевладельцев, хотя бы не безвозмездно, и передав ее государству; государство же раздает землю участками на арендных началах только тем, кто личным трудом будет обрабатывать эти участки; государственные же доходы от такой сдачи земли в аренду могут быть настолько огромны, что не понадобится никакого другого налога. В ином виде предлагал решение социального вопроса на основе земельных отношений *О'Коннор*. Он выдвигал проект выкупа государством у землевладельцев определенного количества земли для образования миллиона мелких крестьянских хозяйств, которые бы поглотили всю незанятую в промышленности часть рабочего населения; этот клич „назад на землю" нашел среди рабочих большое сочувствие. Тогда О'Коннор предложил план образования земледельческих ассоциаций, не дожидаясь, когда удастся добиться поддержки государства, путем добровольных взносов по подписке; приобретаемые же таким путем земли закладывать и на эти средства покупать новые участки и т. д. В 40-х годах для осуществления и пропаганды такого плана О'Коннор издает журнал „Работник", и его план встречает полную поддержку: к началу 1848 г. число подписчиков превысило 100.000 человек, была собрана сумма в 94.000 ф. ст.; правительство, однако, ставило ряд всяческих препятствий этому земельному проекту, и в результате рабочие потеряли свои деньги, и земельный план рухнул.

В дальнейшем, идею обращения земельной ренты в государственную собственность особенно энергично отстаивает в Англии натуралист *Альфред Уоллес*(*см.*) Книга последнего „Национализация земли,ее необходимость и цели" вышла в 1882 г. В ней Уоллес строит план выкупа той части земли, которая не связана ни с какими созданными самими владельцами - собственниками улучшениями. Под влиянием его идей в Лондоне создается „Общество национализации земли", которое поддерживается ирландскими общественными деятелями (напр. Мак-Глином). Скоро, однако, эти реформаторские планы вытесняются более радикальным учением американского экономиста *Генри Джорджа* (*см.*), быстро проникшим в Англию и нашедшим себе здесь благоприятную почву. В 1888 г. здесь основывается „Лига возвращения земли", положившая в основу идеи Джорджа; с 1891 г. развивается особая форма агитации за идеи лиги при помощи подвижных плакатов — раз'езжающих по деревням красных фургонов, покрытых афишами, воззваниями, рисунками и проч. Идеи Г. Джорджа и вызванное им движение в Англии не остались без влияния на английское земельное законодательство (см. *земельный вопрос*).

В Германии и Австрии идеи национализации земли развивает Госсен, Замтер, Флюршейм, Теодор Герцка, Франц Оппенгеймер. *Госсен* (*см.*) в своей книге „Развитие законов человеческих сношений" (1853), прославленной сторонниками теории предельной полезности, еще задолго до учения Г. Джорджа предлагает обращение частной земельной собственности в общественную, переход всей земельной ренты в руки государства и благодаря этому устранение всех других налогов. *Адольф Замтер* те же мысли о необходимости перехода земли в общественную собственность излагает в книге „Собственность и ее социальное значение" (1879). *Флюршейм* развивает план земельной реформы, подобный плану Г. Джорджа, в ряде книг и основывает до сих пор действующий „Союз земельной реформы". Более оригинален в разрешении аграрной проблемы австрийский экономист *Теодор Герцка*. В книге „Законы социального развития" (1886) он требует национализации земли на основе вознаграждения полностью за переходящую в общественную собственность землю и отстаивает необходимость обработки земли только коллективно и сдачу ее только кооперативным товариществам; такая обработка общими силами даст возможность образования крупного производства, которое только и может обеспечить рост техники и производительности; доступ в каждое товарищество свободный; вознаграждение по

количеству затрачиваемого каждым рабочим времени; по тому же принципу делится и чистая прибыль; при свободном вступлении членов в товарищество на лучших участках разместится большее количество, чем на худших, но зато каждый член лучшего участка в час времени создаст ни больше, ни меньше того, что создаст в такой же час времени любой член товарищества на худшем участке, так как лучшее качество земли в первом случае будет компенсировано относительно большим количеством земли, приходящейся на одного члена товарищества во втором случае. В 1890 г. Герцка выпускает социальный роман „Freiland“ („Страна свободы“), выдержавший в Германии 10 изданий и содержащий в себе описание будущего социального строя, и призывает к основанию колонии—прообраза будущих „Свободных стран“ в гористых местностях Африки; „фрейландское“ движение, однако, кончилось неудачей. *Франц Оппенгеймер*, экономист и врач, с 1909 г.—прив.-доц. Берлин. унив., с 1919 г.—проф. во Франкфурте на М., выступает с аграрно-соцалистич. идеями в ряде работ: „Кооперативные поселения“ (1896), „Крупное землевладение и социальный вопрос“ (1898, 2 изд. 1922), „Государство“ (1908), „Теория чистой и политической экономии“ (2 изд. 1911), „Социальный вопрос и С.“ (1912) и др. Следуя теории насилия Дюринга, Оппенгеймер считает крупное землевладение на началах личной собственности продуктом захвата, результатом насилия, в факте же такого крупного землевладения он видит основу социальной эксплоатации, государство лишь узаконяет и поддерживает эту эксплоатацию; благодаря крупному землевладению рабочий не получает полного продукта своего труда; отсюда вытекает необходимость для разрешения социального вопроса устранить крупное землевладение: сделать это можно только политически, путем переворота; крупное землевладение должно быть заменено кооперативными поселениями; в кооперативизме спасение общества.

В Италии идеи аграрного социализма развивает известный итальянский экономист *А. Лориа* (*см.*), видящий разрешение социального вопроса в системе мелких ферм, организованных на кооперативных началах, и в общинном землевладении; этим закрепляется в земледелии сельско-хозяйственный капитал и перестает выступать в качестве постоянного конкурента индустриальному капиталу, что приводит общество, по мнению Лориа, к состоянию социального равновесия.

В Бельгии, в качестве аграрного социалиста, выступает *де Колен* (1783—1859), выпустивший в 1835 г. книгу „Le pacte sociale“, в которой развивает идею об уничтожении частной собственности на землю; труд, по мнению де-Колена, свободен лишь там, где ему принадлежит земля, так как в каждом продукте необходимо сочетаются и труд и материя; так как человеку необходима земля для обработки, то для избежания рабства необходимо, чтобы земля находилась в коллективной собственности, т.-е., чтобы каждый, кто пожелает к ней применять свой труд, мог бы быть владельцем земли; земельная же рента, уплачиваемая государству, должна идти на общую пользу, на общественные цели; лишь при коллективной собственности на землю богатство всех увеличивается пропорционально труду каждого и, т. о., пропорционально успехам цивилизации; при этом ассоциации капиталов запрещаются, разрешаются лишь ассоциации рабочих. Близко к де-Колену стоит *де-Поттер*, который, однако, требует национализации не только земли, но и отчасти индустриального капитала. Равным образом, отстаивает идею общественного владения землей *Лавеле* в „Первобытной собственности“ (1874), устанавливающий факт существования общинного землевладения у всех европейских народов и утверждающий, что обладание землей—естественное право человека; право же это осуществляется лишь при коллективной собственности на землю; в проведении общинного начала в землевладении Лавеле видит наиболее справедливую форму общественного порядка.

Аграрный С., в тесном смысле, по существу не более как реформизм, сохраняющий в неприкосновенности индустриальный капитализм. Великие социалисты начала XIX в. были утопистами и не могли быть ни чем иным в эпоху, когда капиталистический способ производства был еще так мало развит. Они вынуждены были выдумывать из головы элементы нового общества, потому что в старом обществе элементы эти проявлялись еще в недостаточно видной для всех степени (Энгельс). Только крупная индустрия, только развитый промышленный капитализм мог раскрыть точные линии общественного развития, по которым можно было бы с некоторой точностью и определенностью судить о том, куда идет общество и в чем разрешение социального вопроса. Новые факты заставили подвергнуть новому исследованию всю существовавшую до сих пор историю и помогли раскрыть сущность капиталистического производства, природу отношений капиталистического хозяйства. Когда, по словам Энгельса, идеализм был изгнан из области истории, и на его место стало материалистическое понимание жизни прошлого, был найден путь выводить сознание человека из его бытия. Вместе с этим был найден путь строить социалистическое учение не из головы, не из априорно устанавливаемых отвлеченных положений, а из фактов развивающихся общественных отношений, из линий действительного развития самого капитализма. Этим был поставлен С. на научную основу. С. теперь являлся „не случайным откровением того или иного гениального ума, он становился необходимым результатом борьбы двух исторически возникших классов", он ставил теперь своей задачей „исследование исторического хода экономической жизни", он должен был отыскать в создавшихся экономических условиях средства к разрешению социальных противоречий (Энгельс). Таким образом, сама эпоха развитого промышленного капитализма с выявившимся и с организовавшимся рабочим классом выдвинула необходимые условия для появления *научного С.* Моментом возникновения его можно считать год появления „Коммунистического Манифеста" (1848, написан. в 1847 *Маркса* и *Энгельса*.

С. Солнцев.

II. Социализм научный [1]). Неизбежность превращения капиталистического общества в социалистическое Маркс выводил всецело и исключительно из экономического закона движения современного общества. Обобществление труда в тысячах форм, идущее вперед все более и более быстро и проявляющееся за те полвека, которые прошли со смерти Маркса, особенно наглядно в росте крупного производства, картелей, синдикатов и трестов капиталистов, а равно в гигантском возрастании размеров и мощи финансового капитала—вот главная материальная основа неизбежного наступления социализма. Интеллектуальным и моральным двигателем, физическим выполнителем этого превращения является воспитываемый самим капитализмом пролетариат. Его борьба с буржуазией, проявляясь в различных и все более богатых содержанием формах, неизбежно становится политической борьбой, направленной к завоеванию политической власти пролетариатом („диктатура пролетариата"). Обобществление производства не может не привести к переходу средств производства в собственность общества, к „экспроприации экспроприаторов". Громадное повышение производительности труда, сокращение рабочего дня, замена остатков, руин мелкого, примитивного, раздробленного производства коллективным усовершенствованным трудом—вот прямые последствия такого перехода. Капитализм окончательно разрывает связь земледелия с промышленностью, но в то же время своим высшим развитием он готовит новые элементы этой связи,—соединение промышленности с земледелием на почве сознательного при-

---

[1]) Статья эта написана В. И. Лениным одновременно со статьей „Маркс" *(см. XXVIII т.)* и первоначально составляла заключительную часть ее, но по цензурным условиям отнесена была в свое время к статье „Социализм" в ожидании изменения политических условий после войны. *Ред.*

ложения науки и комбинации коллективного труда, нового расселения человечества (с уничтожением как деревенской заброшенности, оторванности от мира, одичалости, так и противоестественного скопления гигантских масс в больших городах). Новая форма семьи, новые условия в положении женщины и в воспитании подрастающих поколений подготовляются высшими формами современного капитализма: женский и детский труд, разложение патриархальной семьи капитализмом неизбежно приобретают в современном обществе самые ужасные, бедственные и отвратительные формы. Но, тем не менее, „крупная промышленность, отводя решающую роль в общественно - организованном процессе производства, вне сферы домашнего очага, женщинам, подросткам и детям обоего пола, создает экономическую основу для высшей формы семьи и отношения между полами. Разумеется, одинаково нелепо считать абсолютной христианско-германскую форму семьи, как и форму древне-римскую или древне-греческую или восточную, которая, между прочим, в связи одна с другой образует единый исторический ряд развития. Очевидно, что составление комбинированного рабочего персонала из лиц обоего пола и различного возраста, будучи в своей стихийной, грубой, капиталист. форме, когда рабочий существует для процесса производства, а не процесс производства для рабочего, зачумленным источником гибели и рабства,—при соответствующих условиях неизбежно должно превратиться, наоборот, в источник гуманного развития“ (Кап., I, кон. 13 гл.). Фабричная система показывает нам „зародыши воспитания эпохи будущего, когда для всех детей свыше известного возраста производительный труд будет соединяться с преподаванием и гимнастикой не только, как одно из средств для увеличения общественного производства, но и как единственное средство для производства всесторонне развитых людей“ (там же). На ту же историческую почву, не в смысле одного только об'яснения прошлого, но и в смысле безбоязненного предвидения будущего и смелой практической деятельности, направленной к его осуществлению, ставит социализм Маркса и вопросы о национальности и о государстве. Нации—неизбежный продукт и неизбежная форма буржуазной эпохи общественного развития. И рабочий класс не мог окрепнуть, возмужать, сложиться, не „устраиваясь в пределах нации“, не будучи „национален“ („хотя совсем не в том смысле, как понимает это буржуазия“). Но развитие капитализма все более и более ломает национальные перегородки, уничтожает национальную обособленность, ставит на место национальных антагонизмов классовые. В развитых капиталистических странах полной истиной является поэтому, что „рабочие не имеют отечества“ и что „соединение усилий“ рабочих, по крайней мере цивилизованных стран, „есть одно из первых условий освобождения пролетариата“ (К. Маниф.). Государство, это организованное насилие, возникло неизбежно на известной ступени развития общества, когда общество раскололось на непримиримые классы, когда оно не могло бы существовать без „власти“, стоящей якобы над обществом и до известной степени обособившейся от него. Возникая внутри классовых противоречий, государство становится „государством сильнейшего, экономически господствующего класса, который при его помощи делается и политически господствующим классом и таким путем приобретает новые средства для подчинения и эксплоатации угнетенного класса. Так, античное государство было прежде всего государством рабовладельцев для подчинения рабов, феодальное государство—органом дворянства для подчинения крепостных крестьян, а современное представительное государство является орудием эксплоатации наемных рабочих капиталистами“ (Энгельс в „Происхождении семьи, частной собственности и государства“, где он излагает свои и Маркса взгляды). Даже самая свободная и прогрессивная форма буржуазного государства—демократическая республика—нисколько не устраняет этого факта, а лишь меняет форму его (связь правительства с биржей, подкупность—прямая и кос-

венная—чиновников и печати и т. д.). Социализм, ведя к уничтожению классов, тем самым ведет и к уничтожению государства. „Первый акт,—пишет Энгельс в „Анти-Дюринге“—с которым государство выступает действительно, как представитель всего общества—экспроприация средств производства в пользу всего общества—будет в то же время его последним самостоятельным актом, как государства. Вмешательство государственной власти в общественные отношения будет становиться в одной области за другой излишним и прекратится само собой. Управление людьми заменится управлением вещами и регулированием производственного процесса. Государство не будет „отменено“, оно „отомрет“. „Общество, которое организует производство на основе свободных и разных ассоциаций производителей, поставит государственную машину туда, где ей тогда будет место: в музей древностей, рядом с веретеном и бронзовым топором“ (Энгельс в „Происх. семьи“).

Наконец, по вопросу об отношении социализма Маркса к мелкому крестьянству, которое останется в экспроприации экспроприаторов, необходимо указать на заявление Энгельса, выражающего мысли Маркса: „Когда мы овладеем государственной властью, мы не будем и думать о том, чтобы насильственно экспроприировать мелких крестьян (все равно, с вознаграждением или нет), как это мы вынуждены будем сделать с крупными землевладельцами. Наша задача по отношению к мелким крестьянам будет состоять прежде всего в том, чтобы их частное производство и частную собственность перевести в товарищескую, но не насильственным путем, а посредством примера и предложения общественной помощи для этой цели. И тогда у нас, конечно, будет достаточно средств, чтобы доказать крестьянину все преимущества такого перехода, преимущества, которые и теперь уже должны быть ему раз‘ясняемы“ (Энгельс, „К аграрному вопросу на Западе“, изд. Алексеевой, стр. 17, русск. пер. с ошибками. Оригинал в „Neue Zeit“, Jahrg. 13, 1894—5).

Тактика классовой борьбы пролетариата. Выяснив еще в 1844—5 г. один из основных недостатков старого материализма, состоящий в том, что он не умел понять условий и оценить значение революционной практической деятельности, Маркс в течение всей своей жизни, на ряду с теоретическими работами, уделял неослабное внимание вопросам тактики классовой борьбы пролетариата. Громадный материал дают в этом отношении *все* сочинения Маркса и изданная в 1913 г. четырехтомная переписка его с Энгельсом, в особенности. Материал этот далеко еще не собран, не сведен вместе, не изучен и не разработан. Поэтому мы должны ограничиться здесь лишь самыми общими и краткими замечаниями, подчеркивая, что без *этой* стороны материализма Маркс справедливо считал его половинчатым, односторонним, мертвенным. Основную задачу тактики пролетариата Маркс определял в строгом соответствии со всеми посылками своего материалистически-диалектического миросозерцания. Лишь об'ективный учет всей совокупности взаимоотношений всех без исключения классов данного общества, а следовательно, и учет об'ективной ступени развития этого общества и учет взаимоотношений между ним и другими обществами может служить опорой правильной тактики передового класса. При этом все классы и все страны рассматриваются не в статическом, а в динамическом виде, т.-е. не в неподвижном состоянии, а в движении (законы которого вытекают из экономических условий существования каждого класса). Движение в свою очередь рассматривается не только с точки зрения прошлого, но и с точки зрения будущего и притом не в пошлом понимании „эволюционистов“, видящих лишь медленные изменения, а диалектически: „20 лет равняются одному дню в великих исторических развитиях—писал Маркс Энгельсу—хотя впоследствии могут наступить такие дни, в которых сосредоточивается по 20 лет“ (т. III, с. 127 переписки). На каждой ступени развития, в каждый момент тактика пролетариата должна учитывать эту об'ективно неизбежную диалектику человеческой истории, с одной сторо-

ны, используя для развития сознания, силы и боевой способности передового класса эпохи политического застоя или черепашьего, так наз. „мирного“ развития, а с другой стороны, ведя всю работу этого использования в направлении „конечной цели“ движения данного класса и создания в нем способности к практическому решению великих задач в великие дни, „концентрирующие в себе по 20 лет“. Два рассуждения Маркса особенно важны в данном вопросе, одно из „Нищеты философии“ по поводу экономической борьбы и экономических организаций пролетариата, другое из „Ком. Манифеста“ по поводу политических задач его. Первое гласит: „Крупная промышленность скопляет в одном месте массу неизвестных друг другу людей. Конкуренция раскалывает их интересы. Но охрана заработной платы, этот общий интерес по отношению к их хозяину, об'единяет их одной общей идеей сопротивления, коалиции... Коалиции, в начале изолированные, формируются в группы, и охрана рабочими их союзов против постоянно об'единенного капитала становится для них более необходимой, чем охрана заработной платы.... В этой борьбе—настоящей гражданской войне—об'единяются, развиваются все элементы для грядущей битвы. Достигши этого пункта, коалиция принимает политический характер“. Здесь перед нами программа и тактика экономической борьбы и профессионального движения на несколько десятилетий, для всей долгой эпохи подготовки сил пролетариата „для грядущей битвы“. С этим надо сопоставить многочисленные указания Маркса и Энгельса, на примере английского рабочего движения, как промышленное „процветание“ вызывает попытки „купить рабочих“ (I, 136 переп. с Энг.), отвлечь их от борьбы;—как это процветание вообще „деморализует рабочих“ (II, 218);—как „обуржуаживается“ английский пролетариат—„самая буржуазная из всех наций“ (английская) „хочет, видимо, привести дело в конце концов к тому, чтобы рядом с буржуазией иметь буржуазную аристократию и буржуазный пролетариат“ (II, 290);—как исчезает у него „революционная энергия“ (III, 124); — как придется ждать более или менее долгое время „избавления английских рабочих от их кажущегося буржуазного развращения“ (III ,127);—как недостает английскому рабочему движению „пыла чартистов“ (1866, III ,305);—как английские вожди рабочих создаются по типу серединки „между радикальным буржуа и рабочим“ (о Голиоке, IV, 209);—как, в силу монополии Англии и пока эта монополия не лопнет, „ничего не поделаешь с британскими рабочими“ (IV, 433). Тактика экономической борьбы в связи с общим ходом (*и исходом*) рабочего движения рассматривается здесь с замечательно широкой, всесторонней, диалектической, истинно-революционной точки зрения.

„Ком. Манифест“ о тактике политической борьбы выдвинул основное положение марксизма: „Коммунисты борются во имя ближайших целей и интересов рабочего класса, но в то же время они отстаивают и будущность движения“. Во имя этого Маркс в 1848 г. поддерживал в Польше партию „аграрной революции“, „ту самую партию, которая вызвала краковское восстание 1846 г.“. В Германии 1848—49 г. Маркс поддерживал крайнюю революционную демократию и никогда впоследствии не брал назад сказанного им тогда о тактике. Немецкую буржуазию он рассматривал, как элемент, который „с самаго начала был склонен к измене народу“ (только союз с крестьянством мог бы дать буржуазии цельное осуществление ее задач) „и к компромиссу с коронованными представителями старого общества“. Вот данный Марксом итоговый анализ классового положения немецкой буржуазии в эпоху буржуазно-демократической революции, анализ, являющийся, между прочим, образчиком материализма, рассматривающего общество в движении и притом не только с той стороны движения, которая обращена *назад*: „...без веры в себя, без веры в народ; ворча перед верхами, дрожа перед низами;... напуганная мировой бурей; нигде с энергией, везде с плагиатом;... без инициативы;... окаянный старик, осужденный на то, что-

бы в своих старческих интересах руководить первыми порывами молодости молодого и здорового народа"... („Нов. Рейнск. Газ." 1848 г., см. „Лит. Наслед.", т. III, 212 стр.). Около 20 лет спустя в письме к Энгельсу (III, 224) Маркс об'являл причиной неуспеха революции 1848 г. то, что буржуазия предпочла мир с рабством одной уже перспективе борьбы за свободу. Когда кончилась эпоха революций 1848—49 г., Маркс восстал против всякой игры в революцию (Шаппер-Виллих и борьба с ними), требуя уменья работать в эпоху новой полосы, готовящей якобы „мирно" новые революции. В каком духе требовал Маркс ведения этой работы, видно из следующей его оценки положения в Германии в наиболее глухое реакционное время в 1856 г.: „Все дело в Германии будет зависеть от возможности поддержать пролетарскую революцию каким-либо вторым изданием крестьянской войны" (переп. с Энг., II, 108). Пока демократическая (буржуазная) революция в Германии была не закончена, все внимание в тактике социалистического пролетариата Маркс устремлял на развитие демократической энергии крестьянства. Лассаля он считал совершающим „об'ективно измену рабочему движению на пользу Пруссии" (III, 210), между прочим именно потому, что Лассаль мирволил помещикам и прусскому национализму. „Подло", писал Энгельс в 1865 г., обмениваясь мыслями с Марксом по поводу предстоящего общего выступления их в печати—„в земледельческой стране нападать от имени промышленных рабочих только на буржуа, забывая о патриархальной „палочной эксплоатации" сельских рабочих феодальным дворянством" (III, 217). В период 1864—70 г., когда подходила к концу эпоха завершения буржуазно - демократической революции в Германии, эпоха борьбы эксплоататорских классов Пруссии и Австрии за тот или иной способ завершения этой революции *сверху*, Маркс не только осуждал Лассаля, заигрывавшего с Бисмарком, но и поправлял Либкнехта, впадавшего в „австрофильство" и в защиту партикуляризма; Маркс требовал революционной тактики, одинаково беспощадно борющейся и с Бисмарком и с австрофилами, тактики, которая не подлаживалась бы к „победителю"—прусскому юнкеру, а немедленно возобновляла революционную борьбу с ними и *на почве*, созданной прусскими военными победами (переп. с Энг., III, 134, 136, 147, 179, 204, 210, 215, 418, 437, 440—I). В знаменитом обращении Интернационала от 9 сент. 1870 г. Маркс предупреждал французский пролетариат против несвоевременного восстания, но, когда оно все же наступило (1871 г.), Маркс с восторгом приветствовал революционную инициативу масс, „штурмовавших небо" (письмо к Кугельману). Поражение революционного выступления в этой ситуации, как и во многих других, было, с точки зрения диалектического материализма Маркса, меньшим злом в общем ходе и *исходе* пролетарской борьбы, чем отказ от занятой позиции, сдача без боя: такая сдача деморализировала бы пролетариат, подрезала бы его способность к борьбе. Вполне оценивая использование легальных средств борьбы в эпохи политического застоя и господства буржуазной легальности, Маркс в 1877—8 г., после того как издан был исключительный закон против социалистов, резко осуждал „революционную фразу" Моста, но не менее, если не более, резко обрушивался на оппортунизм, овладевший тогда на время официальной с.-д. партией, не проявившей сразу стойкости, твердости, революционности и готовности перейти к нелегальной борьбе в ответ на исключительный закон (письма Маркса к Энгельсу IV, 397, 404, 418, 422, 424. Ср. также письма к Зоргэ).

В. Ленин.

III. Социальное движение нового времени. *1. Англия.* С момента возникновения научного социализма, стоявшего в связи с образованием сплоченного рабочего класса, социальные движения изменяют свой характер. С этого момента социальные движения принимают форму массовых движений, во главе которых выступают рабочие, и которые получают более определенное выражение столкновения и борьбы двух противоположных социальных полюсов: труда и капитала. В каждой

отдельной стране, однако, классовый характер социального движения нового времени выявлялся в различных формах и в различной степени; в одном месте он более затушевывался, в другом более раскрывался; в одном случае носил характер более мирной легальной борьбы; в другом—резко революционной. Моментом возникновения рабочего движения в собственном смысле слова, связанного с выявлением пролетарско-классового сознания, являются конец 50-ых и начало 60-ых г. XIX-го стол., при чем большая или меньшая степень революционности движения не всегда являлась характерной чертой этой эпохи в отличие от предшествующей, когда рабочий класс не выступал на политическую сцену, как класс.

В Англии первая половина XIX-го века отличалась большей революционностью, чем вторая половина. В начале, однако, социальное движение, насколько оно носило социалистический характер, шло здесь под лозунгом оуэнизма, который рекомендовал не путь политической борьбы, а путь образования кооперативных (производительных и потребительских) ассоциаций, которые бы могли уже одним примером своим убедить всех в необходимости изменения общества, переустройства его на новый лад. Наиболее законченное теоретическое обоснование оуэновского социализма дал Джон Брей в своей книге, вышедшей в 1839 г.: „Зло, чинимое труду, и избавление труда, или век силы и век правды“ (J. F. Bray, „Labour's wrongs and labour's remedy, or the age of might and the age of right“, Leeds, 1839 г.; есть немец. пер. в серии Адлер-Грюнберга, „Hauptwerke des Sozialismus“, N. F., 3: „Leiden und Heilmittel der Arbeiterklasse“). Исходя из трудовой теории ценности, Брей главнейшую причину всего зла современной капиталистической системы видит в том, что обмен совершается не по равноценностям: рабочие отдают капиталисту труд целого года в обмен за ценность полугодичного продукта этого труда. Рабочий, т. обр., обворовывается капиталистом на половину отдаваемой им ценности, и такая эксплоатация рабочего капиталистом останется, по мнению Брея, до тех пор, пока обмен будет совершаться не по равноценностям. Отсюда средство освобождения от цепей невежества и нищеты, несправедливости и социального неравенства дано: нужно, лишь, по мнению Брея, ввести в область обмена принцип равенства, сделать обмен обменом только равноценностей, и тогда исчезнет и прибыль и процент, т. е. исчезнет всякое присвоение, угнетение и неравенство. Поэтому Брей, являясь по конечному своему идеалу сторонником коммунизма, как переходную стадию к нему выдвигает кооперацию, кооперативные организации, в которых обмен производился бы на началах равенства, где ценность обменивалась бы только на равноценность. Отсюда идея „базаров эгалитарного трудового обмена“, которые действительно были образованы во многих промышленных городах Англии, но очень скоро потерпели крах, поглащая последние сбережения рабочих. Гораздо менее ярки теоретические взгляды другого Брея, Чарльза (1811—1884), оуэниста, принимавшего непосредственное участие в устройстве Квинвудской общины (1841—46). Еще до распадения этой коммунистической общины Брей предвидел неизбежную неудачу всех подобного рода попыток и стал сторонником кооперации. В своем двухтомном труде „Философия необходимости“ („The philosophy of necessity or the law of consequences, as applicable to mental, moral and social science“, 1841), относясь резко отрицательно к капиталистическому строю, он не находит и в росте производительных сил при современных условиях положительного фактора, так как прогресс техники, по его мнению, ведет к понижению заработной платы. Единственный выход из тяжелого положения, создавшегося в современном обществе, он видит не в коммунистических опытах и даже не в кооперации, а исключительно лишь в коренном изменении существующей капиталистической системы (ср. также его предисл. к книге Мери Геннель „Очерк различных социальных систем“, 1844). С 30-х годов английское социальное

движение принимает подчас довольно бурные формы, выступая под именем *чартизма*, движения, волновавшего Англию вплоть до 50-х годов. Оуэновский социализм, хотя и носил чисто экономический характер, все же сумел натолкнуть рабочее сознание на социальный вопрос и подготовить почву для социально - классового движения. Деятели чартизма в большинстве случаев оуэнисты. В нем не менее значительное участие принимают и мелкобуржуазные элементы; все же основной тон движения дают рабочие, пропитавшиеся в значительной степени уже идеями социализма и классовой борьбы. Некоторым толчком к движению явился „закон о бедных", реформированный в 1834 г. Он вводил в практику работные дома, ухудшал положение рабочих во много раз, сравнительно с тем, что было раньше, и вызвал среди рабочих взрыв возмущения. К этому времени среди английских рабочих промышленных центров шел энергичный процесс об'единения, в целях координирования борьбы. В 1831 г. рабочие Лондона об'единяются в „Национальный Союз рабочих и других классов", при инициативе „Британского Союза для распространения кооперативных знаний", организованного в 1829 г. Несколько позднее, в 1834 г., в целях борьбы за освобождение от ига капитала, создается „Великий Национальный Союз об'единенных трэд-юнионов", который скоро распадается из-за внутренних распрей его руководителей. Но среди рабочих — основателей „Союза" все растет и растет вера и убеждение в том, что социальный переворот не за горами, что он вот-вот совершится, что время социального преобразования близко. Вместе с тем растет и стремление к об'единению рабочих в самостоятельную рабочую партию. Последнее находит себе выражение в организации в 1836 г. „Лондонской Ассоциации Рабочих". Разрастающееся социальное брожение и революционное настроение рабочих масс толкают к об'единению рабочих и других городов; возникает „Ассоциация Рабочих" сначала в Ланкашире, а затем и в ряде других промышленных центров. С этого времени движение быстро разрастается, охватывая рабочие массы. „Лондонская Ассоциация Рабочих" вырабатывает и в 1838 г. опубликовывает народную хартию, по которой движение чартизма и получает свое название. Она заключает 6 пунктов: всеобщее избирательное право, ежегодные выборы в парламент, тайная подача голосов, равные избирательные округа, отмена имущественного ценза для избираемых, жалование членам парламента. Начинаются по всей стране митинги, грандиозные демонстрации, собиравшие подчас до 50.000 рабочих. Лозунгом движения становится борьба за принятие народной хартии.

4 февр. 1839 г. собирается в Лондоне „Всеобщий Конвент", названный „Всеобщим Конвентом промышленных классов Великобритании", а в общей прессе—„Национальным Конвентом". Левое крыло „конвента" требует вооруженного восстания (д-р Тайлор, Гарни, Бэрнс и др.). Рабочие начинают запасаться оружием. 14 июня была внесена в парламент петиция о принятии народной хартии за 1.250.000 подписями. Отказ парламента в принятии петиции вызывает еще большее брожение в стране. „Всеобщий Конвент" выносит постановление об об'явлении всеобщей забастовки. По местам начались вооруженные столкновения (самое крупное в октябре в Ньюпорте, в Уэльсе), всюду быстро подавляемые. Начались аресты, суды, присуждения к смертной казни, пожизненные ссылки, казни. Неудачи привели чартистов к мысли о необходимости реорганизации. В июле 1840 г. устраивается в Манчестере конференция для разработки плана организации. Чартисты организуются в „Национальную Ассоциацию чартистов", вскоре насчитывающую до 40.000 зарегистрованных членов. В 1842 г. движение достигает своего апогея, когда положение рабочих Англии экономически резко ухудшается, когда многим казалось, что такое положение дальше не может продолжаться, и что страна стоит накануне социальной революции. В мае была подана в парламент вторая петиция о принятии хартии за 3.315.752 подписями, но вновь отвергнута палатой. Тогда снова встает

идея всеобщей забастовки. Забастовкой охватывается Ланкашир, Иоркшир, Уорикшир, Уэльс; везде останавливается промышленная жизнь. Начались снова столкновения. Обессиленные голодом рабочие не могли, однако, выдержать долго забастовку. Движение пошло на убыль. Февральская революция 1848 г. во Франции снова, однако, подогревает угасавшее было боевое настроение среди английских рабочих. Рабочие Англии снова охватываются революционным настроением. Снова собирается Конвент, который выносит постановление о массовой процессии на 10 апреля (1848 г.) с требованием принятия парламентом народной хартии. Правительство, встревоженное движением, принимает решительные меры, стянув войска в Лондон и превративши Лондон в военный лагерь. Не надеясь на силы рабочих, вождь движения О'Коннор, в виду принятых правительством мер, решил склонить рабочих воздержаться от столкновения и мирно разойтись по домам. Толпа демонстрирующих рабочих подчинилась этому. С этого момента вера в чартизм гаснет. „Национальная Ассоциация чартистов" замирает, распыляясь на ряд соперничающих организаций.

Первое серьезное столкновение труда и капитала, вылившееся в движение чартизма, окончилось для английских рабочих неудачей, так как английский пролетариат к тому времени еще не созрел для решительного столкновения. Чартизм представляет собою наиболее бурный период из истории социального движения в Англии (оценку чартизма и подробный ход движения см. в ст. *Чартизм*).

В дальнейшем рабочее движение идет без особо острых столкновений и в течение долгого времени без классового воодушевления. Некоторое оживление замечается лишь с 60-ых годов XIX столетия, под влиянием общего оживления рабочего движения на Западе и организации Интернационала. Идея образования „Международного Товарищества Рабочих" возникает в 1862 г. на всемирной Лондонской выставке, где встречаются делегации английских и французских рабочих. В 1864 г. эта идея находит себе осуществление в Лондоне же, когда и была сорганизована английская секция Международного Товарищества Рабочих; в секцию вошли, однако, лишь немногие из английских профессиональных рабочих союзов, и работа этой секции не имела большого влияния на судьбы английского рабочего движения. В 1866 г. возникает новая организация „Лондонский Рабочий Союз" (London Working Men's Union), поставивший задачей своей осуществление всеобщего избирательного права и проведение своих представителей в парламент. Когда в 1867 г. прошла избирательная реформа, Л. Р. Союз не сумел провести в парламент ни одного кандидата из своих членов, и с 1869 г. „Союз" заменяется новой организацией — „Лигой представительства рабочих" (Labour Representation League). Лига была основана в оппозицию Интернационалу, ставя задачей своей избегать классовой борьбы. Благодаря деятельности Лиги, в 1874 г. удалось провести в парламент двух рабочих представителей (вождей горнорабочих Томаса Берта и Александра Макдональда). В 1886 г. в парламенте было уже 10 рабочих мест. Рабочие представители во всех случаях проходили в парламент, однако, вместе с либералами, не отмежевываясь от последних. В 80-ые годы широкую популярность в Англии приобретает идея национализации земли (см. выше—*Социализм аграрный*), но вскоре начинает оказывать все больше и больше влияния на рабочие организации учение Маркса. Начинает крепнуть идея создания самостоятельной рабочей партии на социалистической основе. Первоначально в 1881 г. основывается „Демократическая Федерация", по инициативе Гайндмана, с широко демократической программой, с единственным социалистическим пунктом о национализации земли. В эту организацию входят виднейшие социалисты Англии того времени, и с 1884 г. она переименовывается в „Социал-демократическую Федерацию" (С.-Д. Ф.). С.-Д. Ф. состояла из крайне разнородных социальных элементов, почему еще в том же 1884 г. часть членов

Федерации вышла из ее состава и основала „Социалистическую Лигу“. В последнюю вошли В. Моррис, Бельфорт Бакс, д-р Эвелинг и его жена Элеонора Маркс-Эвелинг. „Социалистическая Лига“ обнаружила значительный уклон к анархизму, и поэтому в 1888 г. из нее вышли все члены, оставшиеся близкими основам социал-демократии. К 1890 году „Лига“ прекратила свое существование. Более жизнеспособной явилась организация С.-Д. Ф. Воспользовавшись кризисом и безработицей, имевшими место в конце 70-ых годов, она занялась массовой агитацией, организовывала демонстрации безработных, устраивала митинги, толкая на путь классовой борьбы. Одна из демонстраций 13/XI—1887 г., назначенная на Трафальгер-сквере вопреки запрещению полиции, привела к „кровавому воскресенью“. Все это способствовало росту революционного настроения среди английских рабочих. К 1900 г. число членов С.-Д. Ф. было, однако, незначительно, доходя всего лишь до 9.000 человек. Социалистическое влияние на рабочий класс долгое время было вообще не велико. Крушение чартизма, неудачи парижской коммуны, распадение Интернационала— все это делало английского рабочего большим скептиком в вопросах социализма и толкало его на путь практицизма, на путь строго-„реальной“ политики. Однако, концентрация капитала и растущая сила предпринимательских организаций подрывала веру в самопомощь, и на смену „старому“ трэд-юнионизму с его примиренческим настроением по отношению к капитализму постепенно выступает „новый“ трэд-юнионизм социалистического направления. Ярким проявлением этой смены явилась историческая стачка докеров 1889 г. Первыми выразителями этих новых идей в английском рабочем движении были руководители стачки Дж. Бэрнс, Т. Манн и Бенж. Тилетт.

Смена идей шла также и в рядах передовой интеллигенции и в 80-ых годах повела к образованию в Англии „Фабианского Общества“ („Fabian Society“), основанного в 1884 г., когда в Англии особенно остро чувствовалась потребность разобраться в причинах безработицы, в разрешении назревшего к 80-м годам „социального вопроса“. Среди английской интеллигенции, настроенной сочувственно к рабочему и искавшей разрешения социального вопроса не в революционной борьбе, а в теоретическом изучении основных причин, вызвавших тяжелое положение промышленных рабочих Англии, и вместе с тем в изучении способов выхода из создавшегося тяжелого положения, возникла мысль об‘единиться на почве совместного серьезного систематического изучения социального вопроса и совместной разработки основных положений социализма. Вместе с изучением ставилось также и распространение экономических знаний среди широких масс населения и пропаганда идей социализма. В обществе об‘единились литераторы, ученые, художники, чиновники, студенты, политические деятели, священнослужители, которые регулярно через каждые две недели собирались для докладов и дискуссий; из этих собраний и выросло „Фабианское Общество“. Первоначально „Общество“ не задавалось широкими задачами, и лишь позднее деятельность его пошла по пути содействия социальным реформам, направленным к смягчению отношений труда и капитала. Первоначально задачи „Фабианского Общества“ сводились к изучению социального вопроса, к обсуждению важнейших социальных проблем, выдвигаемых жизнью в каждый данный момент, к поддержке и проведению в жизнь всякого законодательства, если только оно способствовало социальному прогрессу. Членов об‘единяло уже одно сочувствие социализму.

Позднее, однако, задачи „Фабианского Общества“ приобретали более определенно-социалистический характер. В „Уставе“ Ф. О., принятом в 1919 г., значилось, что „Общество состоит из социалистов“; целью его является: „реорганизация общества путем освобождения земли и промышленного капитала от индивидуальной собственности и передачи их в руки общества, в целях общего блага“;

„Общество“ настаивает поэтому на „необходимости упразднения частной собственности на землю“ и на передаче в руки общества, конституционными методами, всей промышленности, поскольку общество окажется в состоянии управлять промышленным производством коллективно. Характер и особенности „Фабианского Общества“ определяются уже самим названием „Общества“: Фабий Кунктатор был так прозван за свою медлительность, за свои крайне осторожные и осмотрительные действия в борьбе с Ганнибалом. Как известно, лозунгами Фабия были: „день и ночь на страже, медленно, шаг за шагом, без особых стремительных метаний, но не упуская из глаз общей цели“. Этой общей целью у фабианцев является достижение социализма, очищение пути к социализму. Ради осуществления целей Общества фабианцы, кроме изучения и дискуссий, устраивают лекции, собрания, печатают брошюры, листки, устраивают библиотеки, имеют периодический печатный орган, массу филиальных отделений в различных наиболее крупных провинциальных городах Англии. В течение одного 1891—1892 года 100 фабианскими лекторами было прочитано в разных местах Англии 3.339 лекций. В 1895 г., при идейной и финансовой поддержке Ф. О., в Лондоне основывается с строго научными целями „The London School of Economics“, а в 1900 г.—в Оксфорде рабочий университет имени Рёскина („Ruskin College“). В 1912 г. Ф. О. имело до 50 провинциальных отделений, при чем имеются отделения в Канаде, в Соединенных Штатах, в Копенгагене и Мадриде (для членов, говорящих на английском языке). Среди видных членов Ф. О. можно отметить Сиднея и Беатрису Уэбб (*см.*), Бернарда Шоу, Анну Безант, сэра Сиднея Ольвье, Э. Р. Пиза, Сноудена, Брука, Бельфорта Бакса, Эдв. Карпентера, Коля, В. Морриса, Дж. Бэрнса, Гайндмана и друг.; многие из них впоследствии ушли из Ф. О. в другие партии.

Чуждые принципа классовой борьбы, фабианцы, однако, высоко чтят авторитет Маркса, как автора „Капитала“, но не принимают основных положений его экономической теории: ни теории прибавочной ценности, ни закона образования цен на основе ценности. Себя они считают социалистами, так как ставят основной целью своего общества освобождение земли и капитала от частной собственности и их обобществление. Войдя с 1900 г. в состав образовавшейся в этом году „Рабочей Партии“, Ф. О. не находит необходимым для своих членов органическое тесное слияние, отстаивая для себя лишь лойяльное отношение к Рабочей Партии. В 1911/1912 г. Ф. О. насчитывало 2.687 членов. Ни С.-Д. Ф., ни тем менее Ф. О. никоим образом не могли претендовать на тесную связь с широкими массами английских рабочих. Между тем, уже с конца памятных 80-х годов среди английских рабочих крепла идея об организации самостоятельной английской рабочей партии с более классовой программой. Таковая и была создана в 1893 г. под названием „Независимой Рабочей Партии“ с социалистической программой, в которой целью партии об'являлось „обобществление средств производства“. Н. Р. П. сразу же попыталась завязать более тесную связь с трэд-юнионами. Лидером партии был Кейр-Гарди. Под влиянием и усилиями последнего в 1900 г. был создан „Комитет рабочего представительства“, принявший официально с 1906 г. название „Рабочей Партии“. Р. П. об'единила: трэд-юнионы (41 союз), Ф. О., С.-Д. Ф. и Н. Р. П. (*см.* XI, 286/88). В 1911 г. Рабочая Партия располагала уже числом членов, доходившим до 1.539.092 челов. Рабочей Партии удалось провести в парламент значительное количество рабочих представителей (в 1918 г.—61 кандидат), но единства действий у нее не было, так как состояла она из довольно разнородных элементов; наряду с левым течением (Кейр-Гарди), в Р. П. существовало и сильное правое течение (Макдональд). Преобладающая тактика в Р. П. была долгое время правая, руководимая настроением трэд-юнионов. Лишь с 1910 г., когда началось сильное вздорожание жизни и резко ухудшилось положение английских рабо-

чих, среди Р. П. началось движение в сторону полевения, и стал замечаться под'ем революционности; но война 1914—1918 г. остановила развитие этой волны (см. „*Рабочее движение во время войны*“, XLVI, 456/531). Еще раньше С.-Д. Ф. всячески пыталась склонить Р. П. к включению в программу партии тезиса о классовой борьбе, как базе партийных действий, и когда это не удалось сделать, она в 1901 г. выступила из состава Р. П., хотя связь с последней поддерживалась через примыкавших к С.-Д. Ф. трэдюнионистских делегатов в Р. П. В 1912 г. состоялось, однако, слияние социалистических организаций в одну Британскую Социалистическую Партию. Целью Б. С. П. было об'явлено превращение капиталистического общества в социалистическое или коммунистическое, а средствами—социалистическое воспитание масс, единение между рабочими и проведение самостоятельной социалистической линии в парламенте и в местном самоуправлении. К моменту образования Б. С. П. английская рабочая жизнь давала место самым различным течениям и настроениям. Искания и брожения социальной мысли подогревались особенно бурным стачечным движением, охватившим Англию с 1910 г. Если в 1904 г. в стачках принимали участие 56.380 человек, а в 1906 г.—157.872, то в 1910 г. эта цифра возросла уже до 375.085, а в 1911 г.—до 831.104 и в 1912 г.— уже до 1.233.016.

Именно в годы 1910—1912 в Англию стали проникать идеи *синдикализма* и, в виде особой разновидности последнего, складываться своеобразное учение *гильдейского социализма*. Синдикалистические идеи перенеслись в Англию, с одной стороны—из Соединенных Штатов и, с другой—от французских синдикалистов. Из американских синдикалистов, идеи которых могли повлиять на английскую социалистическую мысль, можно назвать Даниила де Леона, лидера американской Социалистической Рабочей Партии, одного из основателей „индустриального юнионизма“, образовавшего в Америке в 1905 г. общество „Промышленных рабочих мира“ (I. W. W.). В этой последней организации де Леон проводит идею о том, что об'единение рабочих по принадлежности к той или иной профессии должно быть признано отжившим, устаревшим и что оно должно быть заменено об'единением по производствам, в то же время де Леон требует для борьбы рабочих с капитализмом не парламентских выступлений, а „прямого действия“. Эти идеи занесены были сначала в Шотландию, а оттуда и в Великобританию. В Южном Уэльсе среди черно-рабочих возникла даже секция I. W. W. Проводником идей индустриального юнионизма, в духе синдикалистического движения, в Англии явился Том Манн, основавший журнал „Industrial Syndicalist“ (1911). В Манчестере в 1910 г. состоялась даже конференция синдикалистов, на которой было представлено до 60.000 рабочих голосов, и основана „Лига воспитания индустриального синдикализма“: „прямое действие“, всеобщая забастовка—были признаны в качестве важнейших средств освобождения рабочих от ига капитала.

Близкую к индустриальному юнионизму и синдикализму позицию заняли и *гильдейские социалисты*. Основателями учения гильдейского социализма явились в Англии С. Дж. Гобсон, А. Оредж, Г. Коль, В. Меллор. Теоретические основы учения впервые были изложены в книге Гобсона и Ореджа „Национальные гильдии“ (1908) и Коля „The World of Labor. A discussion of the present and future of trade Unionism“ (1913). Исходной ячейкой для организации хозяйства будущего гильдейский социализм об'являет производственный союз, а не профессиональное об'единение; этот производственный союз, в смысле об'единения функционального, а не по профессии, в глазах гильд. социалиста является важнейшей организацией, которая об'единит всех работников данной производственной ветви страны, как представителей умственного труда, так и представителей труда физического, и только такое индустриальное об'единение может обеспечить победу социализму;

система наемного труда исчезнет только тогда, когда распоряжение рабочей силой страны перейдет всецело в руки самих рабочих; а это может произойти лишь тогда, когда все рабочие, об'единенные по производствам, сорганизуются в единый индустриальный национальный союз и будут единственными монополистами при продаже своей рабочей силы; при таком условии рабочие всегда окажутся победителями; государство остается, но только как политический союз граждан - потребителей; вся же основная производственно - экономическая организация будет лежать вне государства; ячейкой ее явится гильдия, или производственный союз; все отдельные такие гильдии об'единяются в единую систему национальных гильдий, в один национально-производственный союз; отсюда возникают две системы: государственная и гильдейская с соответствующими учреждениями (конгресс гильдий и парламент, как законодательные учреждения; законы гильдейские и законы государственные и т. д.); для разрешения спорных вопросов во взаимоотношениях между этими двумя учреждениями (конгрессом гильдий и государственным парламентом) может быть создана особая соединенная комиссия из членов от того и другого учреждения; классы исчезнут, так как исчезнет наемная система труда; средства производства будут принадлежать самим трудовым участникам производства, об'единенного в единую систему гильдий.

Гильдейский социализм не чужд влиянию этических идей Рёскина, Морриса и других. Под влиянием учения гильдейского социализма, в 1920 г. лондонский совет профессиональных союзов строительных рабочих постановил создать местную гильдию, охватывавшую всех строительных рабочих Лондона (до 60 тысяч чел.); подобная же гильдия образовалась и в Манчестере; и та и другая гильдии по организации своей напоминают обычного типа рабочее кооперативное товарищество, вроде рабочей строительной артели. Итак, гильдейский социализм не рекомендует ни парламентской борьбы, как борьбы ненужной и бесполезной, ни „прямых действий", т.-е. стачек; основное средство борьбы с капиталом—это организация гильдий для радикального изменения системы наемного труда. Война внесла значительное движение в жизнь и строение английских социалистических партий. Образовавшаяся в 1912 г. Б. С. П. (Британская Социалистическая Партия), с момента мировой войны, обнаружила в себе два различных течения: правое—с националистическо - патриотическим настроением (Гайндман, Дан Ирвинг, Бельфорт Бакс) и левое—с интернационалистическим направлением, стоящее за прекращение войны (Ферчайльд, Джон Маклин, А. А. Ваттс, Альберт Инкпин). Последнее течение было преобладающим, обнимая собою большинство членов, и присоединилось к циммервальдскому постановлению, а позднее, после Октябрьской русской революции, примкнуло в качестве коммунистической партии к Коминтерну.

Правое же крыло Б. С. П. вышло из партии и с Гайндманом во главе образовало Национал-Социалистическую Партию, вошедшую в состав Р. П. Большую консервативность проявила Н. Р. П. (Независимая Рабочая Партия), не подвергшись после войны сколько-нибудь резкому изменению; в 1920 г. она присоединилась к Венскому Интернационалу. Близка к Б. С. П. Социалистическая Рабочая Партия Шотландии, образовавшаяся путем отделения от С.-Д. Ф. в 1903 г. и сконструировавшаяся по образцу американской Социалистической Рабочей Партии, в духе Даниила де Леона. В 1920 г. Б. С. П. и С. Р. П. Шотландии об'единились под общим названием „Коммунистической Партии". Война отразилась также и на судьбе гильдейского социализма, идеи которого получили после войны значительное распространение; еще в 1915 г. была основана, в качестве новой социалистической организации в Англии, „Лига Национальных Гильдий". Наконец, можно упомянуть еще об одной социалистической организации в Англии—это о Социалистической Партии

Великобритании, организации, откоповшейся от С.-Д. Ф. в 1905 г., с революционно-социалистическим настроением.

(О практической постановке в Англии вопроса об огосударствлении средств производства см. *Социализация и национализация*, XL, 345/356, ср. также XLVII, *Великобритания в эпоху мировой войны*).

2. Франция. Особенности социалистического движения во Франции определяются в общем экономической отсталостью французского капитализма в XIX веке. Промышленная жизнь здесь крайне медленно шла по пути крупного машинного производства. В самом начале XIX века, по окончании наполеоновских войн, во Франции царила реакция. Вернувшиеся Бурбоны толкали страну на путь к старым формам, задерживая экономическое развитие, и приводили население к нищете, голодным бунтам. Социалистическое движение в это время могло находить себе выход только в развитии тайных обществ, организуемых на основе заговорщических стремлений. Из тайных обществ наиболее крупным являлось в это время общество „Карбонариев", возникшее в Париже в 1821 г. В результате деятельности различных тайных обществ такого рода, в различных пунктах вспыхивают мелкие восстания, заговоры, которые, однако, быстро подавляются. Террор и расправы особенно усиливаются при Карле X. Массы населения пока молчали, пассивно воспринимая факты свирепой реакции. Но уже в 1830 г. недовольство охватывает массы и 30-го июля приводит к революции. Во главе недовольных стали члены тайных обществ; старые солдаты, помнившие лучшие дни, студенты, ремесленники, рабочие взялись за устройство баррикад. В последовавшие за этим годы движение оживляется; оно идет еще по старому пути заговоров, мелких восстаний, но в это время постепенно вырабатывается впервые классовое сознание у французских рабочих. Последнее особенно ярко выявляется в лионском восстании 1831 г.; восстали лионские ткачи в виду тяжелого положения, вызванного кризисом в шелковом производстве. Восставшие выступили с оружием в руках, разбили национальную гвардию и овладели городом; это было чисто рабочее движение, стихийно направившееся на захват власти в руки рабочих; присланная правительством 20-ти тысячная армия подавила восстание; через несколько времени восстание снова вспыхивает; восставшим на этот раз помогают члены отделения Парижского общества „Прав человека"; происходит упорный бой, длившийся пять дней; восстание снова, однако, подавляется.

С половины 30-ых годов снова подымается революционное настроение, возраждаются идеи бабувизма; снова вырастают тайные общества, из которых особенно выделяется деятельность „Общества времен года", основанного Бланки в 1837 г.; оно стремится путем подготовки восстания совершить социальную революцию, предварительно захвативши в революционные руки власть и создавши революционное временное правительство для осуществления принципа равенства; во главе общества стоит *Барбес* и Мартен *Бернар*; восстание назначается на 12-е мая 1839 г., но к восставшим (их было до 1.000 человек) никто не примкнул, и восстание кончилось неудачей. В 1840 г., несмотря на разочарования и неудачи, возникает новое общество—„Общество рабочих—сторонников равенства", ставящее целью общую собственность на все блага, а средством—диктатуру народа. Но в общем, сороковые годы—период легального социализма, годы мирного характера. Выступают Луи Блан, Кабэ. За эти годы идет быстрым темпом рост капитализма, железно-дорожного строительства; но в 1847 г. разражается промышленный кризис, и в феврале 1848 г. вспыхивает революция. Временное правительство, в состав которого входит Луи Блан, проводит знаменитый декрет о „Праве на труд" (*см.*), которым правительство обязалось каждому рабочему обеспечить существование работою; организуются „национальные мастерския" (*см.*). В ходе революции резко выступает лево-революционное течение, направляющее движение по пути

к захвату власти в руки рабочих,— течение, во главе которого стоит Бланки. Бланки не встречает поддержки и сочувствия своим решительным действиям; его план терпит крушение, и сам Бланки приговаривается к тюрьме на 10 лет. „Национальные мастерския" правительством распускаются; парижский пролетариат снова приступает к баррикадам (23 июня); на этот раз рабочие остались в одиночестве; только что революционно - настроенная мелкая буржуазия города их не поддерживает: происходит трехдневный бой,—в результате тысячи убитых, массовые высылки и аресты; партия „порядка" одерживает верх; „право на труд" отменяется; вводится 12-часовой рабочий день; Прудон попадает в тюрьму, Луи Блан спасается бегством в Англию.

Рабочее движение после этого надолго затихает. 1859 год приносит амнистию. Снова появляется Бланки. С 60-ых г. вообще движение оживает. 60-ые годы идут под знаком двух течений: более мирного—прудонизма, и более революционного—бланкизма; эти же годы дают осуществление идеи „международной ассоциации рабочих" в 1864 г. (Интернационал); парижские секции Интернационала сначала тяготеют к прудонизму, но с 1867 г. во главе становятся „молодые", более революционно - социалистического направления (Варлэн, Малэн, Бриан); Бланки готовит свои боевые дружины к новому заговору-восстанию, при чем его тайная организация насчитывает уже до 2.000 членов; летом 1870 г., когда война с Пруссией уже началась, Бланки пытается осуществить идею восстания путем захвата казармы в рабочем квартале с сотнею вооруженных революционеров, но восстание кончилось полной неудачей; в том же году происходит и восстание в Лионе, при участии Бакунина, но также без всякого успеха.

События, связанные с войной 1870 г., снова приводят французское население и, главным образом, парижан в движение. После седанского поражения империя пала, и 4 сент. 1870 г. была провозглашена третья республика. Снова вспыхнули революционные стремления парижских рабочих, особенно когда были подписаны тяжелые условия мира. В это время Национальное Собрание, состоявшее в большинстве из консервативных элементов, заседало в Версале и не могло пользоваться симпатиями парижских рабочих, так же как и мелкой буржуазии Парижа, возмущенной особенно отменой моратория по долговым обязательствам, вызванного войной и осадой Парижа. Революционное настроение парижского населения тотчас же находит себе выход; образовывается Центральный Комитет Национальной Гвардии, беспартийный, об'единивший все недовольные и революционно-настроенные элементы. Тогда правительство решается покончить с недовольным Парижем и разоружить национальную гвардию. Посланные войска, однако, отказываются стрелять, начальник отряда расстреливается национальными гвардейцами. Это служит началом восстания; городская ратуша захватывается народом; правительство, чиновники, крупная буржуазия спешат оставить Париж; власть переходит в руки Центрального Комитета который назначает выборы в городской коммунальный совет. Городской совет Парижа—Парижская Коммуна—избирается всеобщим голосованием, и ей передается власть; в ее составе лишь 1/3 рабочих; среди ее членов несколько интернационалистов (Варлен, Вальян, Маллон); преобладающий элемент коммуны—мелкие буржуа. Определенного плана действия у коммуны не было; члены Интернационала не были в силах взять на себя общего руководства, так как большинство членов оказалось не на их стороне. Коммуна продержалась 72 дня. Вся деятельность коммуны была направлена, гл. обр., на то, чтобы обеспечить существование осаждаемому населению (подробнее см. *„Франция—Коммуна 1871 г."*).

Парижская Коммуна и ее геройская защита в истории развития социализма имела огромное влияние. Но во Франции, по ее подавлении, непосредственно последовали дни ссылок, изгнаний и разгрома защитников коммуны. Социалистическое движение здесь останавливается на долгие годы.

Некоторое оживление замечается лишь с конца 70-ых г.

С 1876 года начинается ряд „национальных конгрессов рабочих“, но на них социалистических настроений совсем не замечалось. Однако, постепенно начинают подыматься голоса, с одной стороны, группы бланкистов, с другой — группы, сорганизовавшейся вокруг Жюля Геда (*см.*), выступившего с пропагандой идей, близких к марксизму. На марсельском с'езде в 1879 г. группа гедистов одерживает верх, проводится резолюция об обобществлении средств производства и основывается единая „Французская Рабочая Партия“. Группа *гедистов* (Гед, Лафарг, Девилль) в 1880 г. проводит в Ф. Р. П. программу на социалистической основе, составленную Гэдом и Лафаргом при содействии Маркса и Энгельса; в программе об'является целью французских социалистических стремлений „политическая и экономическая экспроприация класса капиталистов и передача всех средств производства в руки общества“. Уже при обсуждении и принятии этой программы обнаруживаются разногласия; часть членов Ф. С. П., стоящая на платформе чисто национального движения, считает программу слишком революционной. Раскол происходит окончательно в 1882 г. на конгрессе в Сент-Этьенне: партия распадается на марксистское крыло—*гедистов*—и *поссибилистов*. Последние выдвигают в своих программных действиях только такие требования, которые они считают возможными для выполнения, и отрицательно относятся к централизму, признавая за каждым округом и каждой местностью право иметь свою самостоятельную программу; лидером поссибилистов выступает Поль Брусс. С момента раскола поссибилисты выходят из Ф. Р. П. и организуют свою особую „Французскую Революционно-социалистическую Рабочую Федерацию“. Вскоре поссибилисты раскалываются в свою очередь: на *бруссистов* (Поль Брусс) и *аллеманистов* (Аллеман); этот раскол произошел в 1890 г.; в 1891 г. аллеманисты принимают название „Французской Революционно-социалистической Рабочей Партии“. Аллеманисты относятся частью скептически, частью отрицательно к парламентаризму и парламентской борьбе.

На ряду с этими организациями существовали: *бланкисты, анархисты, синдикалисты, радикал-социалисты* (Милльеран) и *независимые социалисты* (с Жоресом во главе). С конца 90-ых годов начались попытки об'единения всех этих различных социалистических организаций. Особенно горячо за об'единение выступает Жорес. В 1902 г. независимые социалисты, бруссисты и ряд самостоятельных провинциальных социалистических организаций образовали „Французскую Социалистическую Партию“. На год раньше, в 1901 г., гедисты, бланкисты и левая часть аллеманистов образовали „Социалистическую Партию Франции“. Первая, Ф. С. П.—партия более умеренных; вторая—С. П. Ф.—более радикальных социалистов. В 1905 г. произошло об'единение между обоими партиями; об'единение выразилось в организации об'единенной „Социалистической Партии“, куда вошли, т. о., и гедисты, и бруссисты, и бланкисты, и аллеманисты, и независимые социалисты; лишь реформистская группа независимых (Милльеран, Бриан, Вивиани) не примкнула к С. П. и обособилась в самостоятельную партию, с названием „Республиканской Социалистической Партии“. Об'единенная С. П. за период своего существования от начала возникновения до мировой войны (1905—1914) проявила себя, как умеренно-социалистическая партия, с патриотическо-националистическим настроением. Но после Октябрьской революции в России среди С. П. стала нарастать волна левых настроений, что и обнаружилось на с'езде С. П. в Туре (в дек. 1920 г.), когда по вопросу о присоединении к Коминтерну (см. ниже) С. П. разбилась на две части: большинство партии примкнуло к Коминтерну, приняв название *Французской Коммунистической Партии* (секция Коминтерна), меньшинство же вступило в Венский Интернационал ($2^1/_2$-ный), сохранив старое название „Социалистической Партии“. Коммунистич. Партия во Франции окончательно сконструировалась, в 1921 г.,

располагая печатным органом „L'Humanité", как центральным органом партии.

В жизни французского социализма большую роль играют профессиональные союзы и их организация. Рост профессионально-союзного об'единения и вообще профессионально-союзного движения начался непосредственно после Парижской Коммуны. Уже к 1872 г. существовало „Профессиональное Рабочее Об'единение". После различных попыток к выработке общих принципов об'единения и общей программы для деятельности проф. союзов, с 1903 г. большинство професс. союзов Франции об'единяется в организацию „Всеобщей Конфедерации Труда". К этому времени сложился и выработался общий характер рабоче-профессионального движения Франции, определяемый идеями *революционного синдикализма*, т.-е.: отрицательным отношением к парламентско-политической борьбе; отрицанием организационной роли в будущем строе за государством; отношением к профессиональному союзу, как к основной ячейке будущего социалистического общества, и проч. (см. *Синдикализм*). Когда началась мировая война, в 1915 г., состоялась конференция Конфедерации Труда, на которой обнаружилось, как преобладающее, патриотическое настроение. После Октябрьской революции 1917 г. в России, среди профессиональных союзов Франции развивается революционное настроение, и между правым и левым, настроенным революционно, крылом возникают столкновения. Последние привели к тому, что Всеобщая Конфедерация Труда к 1922 г. раскалывается на две раздельных организации: правую, реформистскую, и левую — революционную, с названием „Унитарная Всеобщая Конфедерация Труда"; последняя выступает в контакте с Ф. Комм. Партией (см. подробнее XLVII т., *Франция в эпоху мировой войны*).

3. Германия. В силу экономической отсталости Германии к началу XIX-го века, социальное движение в Германии относится к довольно позднему времени. В начале, почти до половины XIX-го века, Германия питалась исключительно социалистическими идеями, перенесенными из Франции и Англии, и это перенесение носило искусственный характер, оставаясь безжизненным и оторванным от реальной почвы. С конца 40-х годов, и в особенности с 60-х, социалистическое движение в Германии начинает расти, освобождается от заимствований, вырабатывает самостоятельные формы и постепенно приобретает самобытные особенности. Сущность этих своеобразий и особенностей в том, что в нем меньше революционности и экспансивности по сравнению с французским, но больше организационной выработанности, организационной выдержки и дисциплинированности. Начало рабочего движения в Германии, когда впервые определенно выявились столкновения двух противоположных социальных полюсов—труда и капитала, относится собственно к 40-м г. и, как всюду бывало, сначала выразилось в движении рабочих против машин, в разбивании фабричных зданий, разгроме домов фабрикантов и т. п. Таково было движение силезских ткачей в Петерсвальдау и Лангенбилау. В 40-е г. переносится в Германию и идея заговорщических тайных обществ; так, в 1844 г. возникает дело о Вармбруннеровском заговоре: открывается существование тайного союза, основанного в Вармбрунне столяром *Францем Вурмом*; следствие, однако, ничего другого не обнаружило, кроме различных, оставшихся на бумаге статутов о насильственном ниспровержении общественного строя. Впрочем, тайные союзы появляются в Германии очень рано; еще в 30-х годах известен тайный союз „Общества прав человека", к которому принадлежали Август Беккер, Карл Шаппер. Попытки создания самостоятельной рабочей партии относятся к революционным 1848—49 г. Уже в 1847 г. „Союз справедливых" преобразовывается в „Союз коммунистов" и принимает основные положения составленного для него „Коммунистического Манифеста" (см. *Маркс*). Затем в 1848 г. в Берлине устраивается „всеобщий рабочий конгресс", на котором было представлено три центральных

комитета рабочих и 29 рабочих союзов, постановлено организовывать рабочие профессиональные союзы и рабочее об'единение назвать „Рабочим братством“; органом союза была газета „Братство“. В октябре 1849 г. основывается северо-германский рабочий союз (Ганновер).

Но с этого времени дальнейший рост рабочих союзов приостанавливается; вследствие наступившей реакции, ряд местных союзов закрывается. Между тем, еще весной 1849 же года проходит по Южной Германии ряд восстаний; такое же восстание находит место и в Дрездене; в восстаниях принимают участие коммунисты; в Дрездене бой длится 4 дня, в нем крупную роль играет и Бакунин (*см.*). Среди коммунистов в это время царит убеждение, что Германия уже накануне социальной (пролетарской) революции; неудачи в разных местностях, которые сопровождают всюду восстания (см. *Германия*, XIV, 26/30), не ослабляют этой веры коммунистов в близость решительного боя. Маркс также сначала разделяет общую уверенность; но уже в 1850 г. он убеждается, что рабочие Германии не готовы для решительного восстания, и что еще предстоит им в этом направлении много лет подготовки. Среди членов Союза коммунистов (и именно среди членов Центрального Комитета его, пребывавшего с 1 мая 1848 г. по май 1849 г. в Кельне, а с мая 1849 г. перенесенного в Лондон) возникает на этой почве раскол. Виллих, член Ц. К., отстаивает неизбежность в ближайшие дни социальной революции и требует соответственных действий. Маркс, руководитель делами Ц. К., высказывается решительно против этого и предлагает (15 сент. 1850 г.) исключить Виллиха и его последователей из союза. Виллих и его приверженцы исключаются и об'единяются в другой союз, с особым центральным комитетом. Центр. К. Маркса снова переносится после этого в Кельн. 10 мая 1851 г. ряд членов Союза коммунистов подвергается судебному преследованию; в Кельне подымается дело о государственной измене 12 лиц, членов союза; такое же преследование возбуждается в Ганновере,—и в результате, по предложению Маркса, союз распускается.

Рабочее движение оживляется лишь с 60-х годов. В 1861 г. в Германии последовала политическая амнистия. Снова идет война организованного движения рабочих, особенно бодрящая германский рабочий класс после тяжелого кризиса в 1857 году. 60-е годы—годы, во-первых, интернационального об'единения, вызвавшего среди германских социалистов большое оживление; во-вторых—это годы выступления на горизонте рабочего движения *Фердинанда Лассаля* (*см.*), одного из талантливейших организаторов и блестящего оратора, какого только знала рабочая Германия. Лассаль (1825—1864) стремится создать в Германии единую мощную рабочую партию. В 1863 г. организуется „Всеобщий немецкий рабочий союз“, причем Лассаль был избран на пять лет первым президентом союза. Союз имел целью мирную легальную борьбу за осуществление всеобщего избирательного права и проведение рабочих производительных ассоциаций с помощью от государства. По смерти Лассаля, убитого на дуэли в 1864 г., в „Всеобщем нем. раб. союзе“ начались трения. Швейцер, заместитель Лассаля, проводит в органе Союза —„Социал-Демократ“— идеи империалистической политики в духе Бисмарка и прусских Гогенцоллернов. Это заставляет отшатнуться от Союза наиболее деятельных членов.

Образуется два течения среди немецких социалистов: *лассальянское* (Швейцер) и *марксистское* (Бебель и Либкнехт). Уже в 1863 г. Бебелем, в противовес лассалевскому „Всеобщему нем. р. союзу“, был организован на с'езде рабочих обществ самообразования „Союз немецких рабочих союзов“, который позднее, на с'езде в Эйзенахе в 1869 году, преобразовался в „Социал-демократическую рабочую партию“; этот союз собрал всех антилассальян; т. обр., образовалась партия *эйзенахцев*; в программе эйзенахцев значилось, что она стремится к установлению свободного народного государства, к обеспечению полного продукта труда за каждым рабочим при помощи совместно-товарищеского тру-

да, к требованию помощи от государства кооперативным обществам и государственного кредита для производительных товариществ. Лишь в 1875 г. в Готе состоялось об'единение партий лассальян и эйзенахцев, и об'единенная партия получила название „Социалистической рабочей партии Германии“. После об'единения последовал необычайный рост партии. Сама программа об'единенной партии (Готская программа) не отличалась резко и принципиально от эйзенахской, но в нее были включены новые требования: достижение не только свободного народного государства, но и социалистического общества; преодоление железного закона заработной платы путем устранения системы наемного труда; для решения социального вопроса—учреждение социалистических производительных товариществ с государственной помощью, под демократическим контролем трудового народа.

Рост партии испугал правительство. В 1878 г. был проведен закон „против общеопасных стремлений социалдемократии“, или т. наз. исключительный закон против социалистов. С.-д. партия была об'явлена нелегальной, собрания социалистов были запрещены, издания социалистические закрыты; начались массовые высылки в административном порядке. Закон этот продержался до 1890 г. За период действия закона партийный орган был перенесен за границу, партийные с'езды также пришлось устраивать вне Германии. В 1890 г. на с'езде в Галле было изменено название партии; принято название „Социал-демократическая партия Германии“, которое подчеркивало положение партии о том, что к социализму она идет через демократию. В 1891 г. в основу с.-д. партии была положена новая программа, так называемая Эрфуртская программа, где последние остатки лассальянства и государственного социализма были сметены. Тем не менее, в партии оставалось еще много пунктов для разногласий; так, напр., еще в 1891 г. оппозиция упрекала партию, что „революционный дух партии некоторыми вождями ее систематически убивается“, что „в партии утвердилась диктатура“, что „революция торжественно, с трибуны рейхстага, получила отставку, и делается попытка примирить буржуа с пролетарием“. В том же 1891 г. эта оппозиция т. наз. „молодых“ отделилась от партии и образовала партию „независимых“, которая, однако, влачила жалкое существование и около 1895 г. совсем исчезла.

Более серьезным было движение в сторону реформизма, начавшееся с половины 90-х годов и закончившееся выступлением правого течения—*бернштейнианства*, требующего раз навсегда покончить в теории и тактике партии с остатками бланкизма и положениями, не соответствовавшими, по мнению основателя этого течения, новейшему развитию капиталистической жизни (вопрос о теории обнищания, о теории концентрации, о теории кризисов и проч.). Это движение, связанное с именем Эдуарда Бернштейна (*см.*), известно под именем *ревизионизма* (пересмотра). Влияние последнего постепенно и неуклонно росло. В 1913 г. в парламентской фракции было уже 57 ревизионистов из 110 членов (см. *Германия*, XIV, 155—164).

В тесной связи с ревизионизмом в жизни германской социал-демократической партии стояло и развитие империализма, особенно резко выявившееся в 90-х годах. Рост империализма также наложил свою печать на направлении социал-демократической мысли в Германии и социалистического движения. Волны империализма влекли страну на путь развития националистических настроений, захватывая не только мелко-буржуазные слои населения, но и хорошо оплачиваемые слои рабочего класса. Стремление к развитию национального могущества, национальной мощи, путем развития колоний и захвата новых и новых рынков, сопровождалось экономическим под'емом страны и ростом заработных плат и вследствие этого ослабляло импульсы борьбы рабочих с империалистическим капиталом. Среди социал-демократии Германии, особенно среди представителей ее ревизионистского крыла, начинают раздаваться голоса о нерациональности и

бесцельности выступлений рабочего класса против империализма (колониальной политики и проч.). Шиппель, Кунов, Вольфганг Гейне и другие из ревизионистов доказывают, что империализм—продукт высшего развития отношений капитала и техники, и поэтому борьба с ним, как с таковым, была бы борьбой с ветреными мельницами. Такие взгляды и такое отношение к империализму вызывают решительное противодействие в рядах анти-ревизионистского крыла марксистов (Каутский); происходит оживленная полемика в партийной прессе, причем разногласие нередко проявляется и на практике, находя себе отражение в резолюциях, выносимых на партийных с'ездах. Так, на *Иенском* партейтаге в 1911 г. даже старый вождь германской социал-демократии — Август Бебель — в прениях по вопросу о Марокко высказывается за то, что социал-демократия не может допускать вмешательства против развития германской торговли и промышленности в колониях. На партейтаге в *Хемнице*, в 1912 г., ревизионист Квессель заявляет, что „мы при всех обстоятельствах должны требовать равноправия для нашей промышленности на мировом рынке;... когда германское правительство борется за равноправие для нашей промышленности, мы (социал-демократы) всегда и неизменно должны поддерживать его в этой борьбе;... дело идет о жизненной проблеме для немецкого рабочего класса“. В большинстве своем, однако, германская социал-демократия осуждала взгляды, подобные взглядам Квесселя. Вместе с империализмом непосредственно связан и милитаризм, рост вооружений и война.

Так же, как и в вопросе об отношении к империализму, германская С.-Д. П. не была единодушна и по вопросу об отношении к войне. Еще в 1891 г. на партейтаге в Эрфурте шли жаркие прения по вопросу об отношении к войне, вызванные предложениями Фольмара об изменении тактики и о необходимости поддерживать тройственный союз, особенно в минуты опасности для жизни страны. В дальнейшем, с ростом империализма, в ряды германской С.-Д. П. все больше проникает идея „защиты отечества“. На Гамбургском с'езде партии в 1897 г. Шиппель заявляет, в качестве докладчика парламентской фракции, что на случай войны „наши“ солдаты должны быть хорошо вооружены, иначе расплачиваться будет немецкий рабочий класс своею кровью. То же говорил и Ауэр, находя, что нельзя же посылать солдат на войну с палками в руках. Ревизионисты требуют за это, однако, от правительства компенсаций: „за пушки — реформы“ (Вольфганг Гейне). В 1904 г. во время восстания в южной Африке г е р е р о, при обсуждении в рейхстаге вопроса о кредитах на посылку в Африку карательной экспедиции, социал-демократические депутаты ограничиваются при голосовании лишь воздержанием, не решаясь выступить определенно против, и лишь при третьем чтении голосуют против кредитов. Такое поведение с.-д. депутатов встретило осуждение на *Бременском* партейтаге в том же 1904 г. Однако, идея „защиты отечества“ была настолько сильна в рядах С.-Д. П., что в 1911 г., когда из-за Марокко возникла серьезная опасность столкновения между Германией и Францией, и в воздухе повисла угроза войны, вследствие чего международное социалистическое бюро решило созвать экстренное заседание, чтобы обсудить положение и принять необходимые меры,—германская С.-Д. П. ответила отказом; член партии Молькенбург мотивировал этот отказ тем, что враги социал-демократии, в случае согласия С.-Д. П. принять участие в этом заседании междунар. социалист. бюро, могут обвинить немецких социал-демократов в „антипатриотизме“ и использовать это в ближайшей выборной кампании в ущерб интересов рабочего класса.

А еще несколько позднее, в 1914 г., 1 августа, когда возникла мировая война, германские социал-демократы в рейхстаге голосовали за военные кредиты, не желая оставить отечества в минуты опасности „на произвол судьбы“ (Гаазе). Отношение германской С.-Д. П. особенно рельефно выявлялось на международных социалистических конгрессах, всякий раз, ког-

да возникал вопрос о войне и подымались по этому поводу дебаты. В этом отношении особенно характерны дебаты на Штуттгартском Международном Социалистическом конгрессе, в 1907 г., где Фольмар считал неверным, что интернационализм есть антинационализм, и заявлял: „неправда, что у нас нет отечества“, при этом Фольмар признавал забастовку и восстание, в качестве антимилитаристских средств, не только неразумными, но и принципиально неправильными. При таких настроениях германскую социал-демократию застает мировая война, за которой последовала и революция.

В течение бурных событий, связанных с разгромом Германии, версальским миром и революцией, немецкая социал-демократия в общем и целом выявила преобладание умеренных элементов над революционными. Резкое расслоение Г. С.-Д. П. к моменту войны и особенно к моменту революции на правых и левых, на ревизионистов с реформистским настроением и революционно настроенных марксистов, не могло не отозваться на судьбах партии. Крайнее левое крыло составляли к этому времени Карл Либкнехт, Роза Люксембург, Клара Цеткин и Франц Меринг. Крайнее правое крыло составляли Гейне, Носке, Эберт, Шейдеман. Между правыми и левыми центральное место занимали Каутский, Гильфердинг (см. XLVII т., *Иностранные деятели*). Если в 1914 г. С.-Д. П. насчитывала до 1.086.000 членов, то уже к 1917 г. в ней оставалось всего 243.000 человек. Во время войны С.-Д.П. выставляет лозунг бороться „до победного конца“; во время революции она является партией порядка и выступает решительно против всяких революционных планов и против гражданской войны. Благодаря этому она в 1919 году на выборах в Национальное Собрание получает 167 мандатов и занимает в правительстве руководящие посты, опираясь на поддержку мелко-буржуазных масс. В 1921 г. партия насчитывает 1.221.059 членов, но единства в партии к этому времени нет. Постепенно происходит раскол партии. Сначала часть откололась в 1916 г. (группа в 18 человек), затем в апреле 1917 г. на конференции в Готе откололась и образовалась Независимая Социал - демократическая Партия Германии, при чем в нее вошла и образовавшаяся еще раньше „Интернациональная Группа“ (Спартака) во главе с Мерингом и Розой Люксембург.

В 1918 г. вожди независимой С.-Д.П.Г. вошли в состав первого „революционного“ правительства, поддерживая в основном тактику С.-Д. П., в силу чего группа Спартака („Интернациональная Группа“) уходит из состава партии „Независимых“ и организует Коммунистическую Партию во главе с Розой Люксембург и Карлом Либкнехтом, которые были убиты во время восстания 1919 г. С момента ухода группы Спартака в партии „Независимых“ продолжался дальнейший распад; правое крыло (Каутский, Гильфердинг) тяготело к присоединению к социал-демократической партии; это присоединение произошло в Нюренберге, 24 сентября 1922 г., после чего Н. С.-Д. П. Г. прекратила свое самостоятельное существование. Левое же крыло независимых в декабре 1920 г. вошло в состав Коммунистической партии, образовав вместе с нею „Об'единенную Комм. Партию“. Но и в Коммунистической Партии не обошлось без раскола и разногласий; так, уже в год образования партии Роза Люксембург настаивала на необходимости принимать участие в Национальном Собрании, но большинство высказалось против; далее, разногласия последовали в связи с уходом из центрального комитета Коммун. партии Пауля Леви в феврале 1921 г., вместе с которым вышел из комитета ряд и других членов. Вскоре последовало вооруженное восстание рабочих средне-германской области, в котором коммунисты понесли поражение и подверглись суровым преследованиям, и Пауль Леви выступил с обвинением против Ц. К. партии в бакунизме. Эти разногласия и раздоры прекратились лишь после окончательного выхода Леви и его сторонников из партии. Еще ранее, в 1919 г., из К. П. Г. вышел ряд членов, требовавших для членов партии выхода из состава профессиональных

союзов и образования самостоятельных производственных союзов, а также отказа от участия в выборах в рейхстаг. По выходе из партии указанная группа образовала особую „Коммунистическую Рабочую Партию Германии“. В противоположность группе Пауля Леви, К. Р. П. обвиняла К. П. Г. в недостаточной революционности, считая ее ответственной за слишком медленный темп революции; в дальнейшем, однако, все больше и больше обнаруживалось разложение К. Р. П. Коммунистическая Партия Германии в начале 1924 г. насчитывала до 350 — 400.000 членов и при выборах в рейхстаг в мае 1924 г. получила 62 места при 3.712.101 голосе (см. XLVII т. — *Германия в эпоху мировой войны*).

4. Другие страны. Что касается социалистических организаций за вторую половину XIX века в других странах, кроме Англии, Франции и Германии, то в *Бельгии* долгое время марксизм не имел достаточного влияния. В 1867 г. образовавшаяся бельгийская секция Интернационала находилась в течении многих лет под влиянием идей Прудона и Бакунина. Но со второй половины 70-х г. образовалась „Фламандская социалистическая партия“, взявшая в основу готскую программу немецкой соц.-дем. рабочей партии, и „Врабантская социалистическая партия“, близкая к социал-демократической программе. На Брюссельском конгрессе в 1878 г. произошло слияние всех различных социалистических организаций в одну партию, но не надолго, и лишь с 1885 г., наконец, произошло более прочное об'единение, и была создана единая *Бельгийская Рабочая партия* на основе соц.-демократической немецкой организации. Характерной особенностью этой партии является ее стремление к насаждению среди рабочих Бельгии кооперативных организаций; такой практическо-кооперативный уклон бельгийской партии соответствовал практическому уклону жизни бельгийского рабочего. В 1902 г. бельгийская партия подняла борьбу за равное избирательное право, которого не давал избирательный закон 1894 г., но несмотря на решительность действий, доходивших до проведения всеобщей забастовки, не добилась успеха. В 1913 г. борьба за равное избирательное право возобновилась, вновь дойдя до меры об'явления всеобщей забастовки, но борьба и на этот раз кончилась неудачей. В 1921 г. левое крыло партии откалывается и организует *Коммунистическую Партию* с незначительным количеством членов (ср. т. V, — *Бельгия, социальный строй,* и т. XLVII, — *Бельгия в эпоху мировой войны*).

В *Италии* общий характер рабочего движения и рабочих организаций напоминает французский тип рабочей организации. Бланкизм, анархизм, прудонизм, бакунизм, бунтарство—таковы были преобладающие черты итальянского рабочего движения до конца 70-х г. Лишь в 80-е годы началось влияние марксистских идей и социал-демократии. До этого времени во главе итальянских рабочих стоит интеллигенция. Но в 1882 г. происходит образование в Милане *Рабочей партии* на основе марксистского положения, что дело рабочих в самоорганизации и в деятельности самих рабочих. Эта рабочая партия носила местный—областной—характер и в 1888 году распалась. В 1892 г. на конгрессе в Генуе была основана *Итальянская Социалистическая партия* по образцу и в духе социал-демократических партий. С конца 90-х г. в ней обнаруживаются два течения: реформистское и революционное; первое преобладало на промышленном севере, второе—на крестьянском юге. Среди сельско-хозяйственных рабочих в свою очередь выдвинулось течение синдикализма. На ряду с реформизмом, революционизмом и синдикализмом возникло и четвертое направление — т. н. интегрализм, пытавшийся об'единить реформизм с синдикализмом; во главе интегралистов стал Э. Ферри. К концу 1900-х г. преобладающим течением итальянской соц. партии явился реформизм. С 1907 г. синдикалисты вышли даже из партии, принявши программу „прямых действий“, отвергши путь социальных реформ и провозгласивши главным средством борьбы всеобщую стачку. В 1912 г. произошел полный раскол

из-за вопросов империалистической политики, и реформисты образовали самостоятельную рабочую партию. В 1913 г. в парламенте официальные социалисты (левые) провели 52 депутата, синдикалисты—6 и реформисты—20 (см. т. XXII,—*Италия, социальные отношения*). К концу мировой войны в партии образовалось три главнейших течения: антипарламентские максималисты с Бордига во главе, парламентские максималисты с Серрати во главе и реформисты с вождем Турати. В январе 1921 г. произошел раскол, и была основана Коммунистическая Партия с Бордига во главе (см. XVII т.,—*Италия в эпоху мировой войны*).

В *Австрии* в 1867 г. впервые организуется Социал-демократическая Партия. Наибольшего успеха она достигала среди чешских рабочих. Позднее социал-демократическое течение вытесняется движением анархизма, и лишь в конце 80-х г., на с'езде в Вайнфельде, снова возникает под влиянием усилий *Виктора Адлера* (*см.*) „Социал-демократ. Рабочая партия Австрии“ с марксистской программой. С 1893 по 1906 год она ведет успешную борьбу за всеобщее избирательное право и на первых выборах 1907 г. проводит в рейхсрат 88 депутатов, собравших до 1.000.000 голосов. С этого времени австр. с.-д. рабочая партия уходит в парламентскую работу и теряет свой революционно-боевой характер, довольствуясь парламентской борьбой. В конце 1918 г. основывается Коммунистическая Партия, насчитывавшая в 1922 г. 14.500 членов.

В *Венгрии* впервые социал-демократическая партия возникает в 1868 г. на основе лассальянства; в 70-е годы в ней начинает развиваться марксизм, а позднее, в 80-х годах — анархизм. Впоследствии „Социал - демократическая партия Венгрии“, об'единяя в одно целое различные национальности, ведет успешную агитацию среди сельско-хозяйственных рабочих в крупных венгерских латифундиях, находя себе, т. о., опору не только в промышленных центрах, но и в деревне. В 1918 г. в Венгрии основывается Коммунистическая Партия, во главе ее становится Бела Кун (см. XLVII т.,—*Иностранные деятели*), которого революция 1917 г. застает в России, как австрийского военно-пленного, и который в 1918 году возвращается на родину уже в качестве организатора и вождя коммунистического движения. Только что сорганизовавшаяся коммунистическая партия Венгрии выбрасывает лозунг: „завоевание политической власти и диктатура пролетариата“. Политическая ситуация толкает к принятию этого лозунга рабочими массами; за ним идут и часть социал-демократов и профессиональные рабочие союзы; к тому же левое крыло социал-демократии, во главе с Варгой, сначала не склонное к поддержке коммунистов, меняет свою позицию, когда в феврале 1919 г., во время осады коммунистами здания социал-демократической газеты, происходит вооруженное столкновение коммунистов с полицией, и когда вожди коммунистической партии были арестованы и заключены в тюрьму.

В результате между социал-демократами и коммунистами состоялось соглашение об установлении Венгерской Советской Республики с диктатурой пролетариата и союзом с Советской Россией. Часть вождей социал-демократии вошла в состав советского правительства Венгрии. Переворот произошел 21 марта 1919 г. без малейшего сопротивления. В мае 1919 г. на партийном с'езде большинство социалистов оказывается, однако, на стороне социал-демократии; название „Коммунистическая Партия“ отвергается; комитет партии выбирается в своем большинстве из социал-демократов; вместе с тем нарастает контр-революционное движение среди крестьянства и офицерства; на новую советскую республику происходит нападение румын; советская республика потерпела поражение, и советское правительство пало (4 августа 1919 г.). После падения советской республики Коммунистическая Партия принуждена была перейти на нелегальное положение (см. XVLII т.,—*Венгрия в эпоху мировой войны*).

В *Дании*, так же как в *Швеции* и *Норвегии*, рабочее движение шло под значительным влиянием и воздействием германского рабочего движения,

В 1871 году в Дании была основана секция Интернационала, под влиянием агитации почтового чиновника Луи *Пио* и бывшего учителя Павла *Гелеффа*; эта секция в 1872 г. была закрыта, и ее вожди арестованы. Впоследствии, однако, организующую роль в рабочей датской партии берет на себя правление „свободных профессиональных союзов“, программа которых совпадала с принципами Интернационала. С 1878 г. образуется „социал-демократический союз“, и на него переходит и руководство рабочими организациями. К концу 80-х г. в партии образуются два различных течения, приведшие к расколу: правое—реформистское, составляющее большинство, и левое — меньшинство; левые впоследствии выделились в самостоятельную партию. К новейшему времени остались те же течения: реформистское большинство составляет датскую Соц.-демократическую Партию, кроме которой существует Социалистическая Рабочая Партия, с левым уклоном и незначительным числом членов, и Независимые социал-демократы. С 1919 г. из левых элементов сорганизовалась Коммунистическая Партия.

В *Норвегии* попытки создания в стране социал-демократической организации относятся к 70-м г., но окончательное основание Норвежской Рабочей Партии последовало лишь в 1885 — 1887 г.; с партией в тесной связи стоят здесь профессиональные союзы. В 1909 году в стортинг (парламент) входило 11 депутатов. На ряду с Рабочей Партией существует рабочая организация, не принимающая с.-д. программы. С 1918—1920 годов образовывается из Р. П. Коммунистическая Партия, составляющая большинство, на ряду с с.-д. меньшинством. В конце 1923 г. Р. П. отделилась от К. П. На выборах 1924 г. коммунисты провели в парламент 29 депутатов (вместе с Р. П.), социалисты—8.

В *Швеции* Социал-демократическая Рабочая Партия образовалась в 1889 г. с Брантингом во главе и вела первоначально борьбу за всеобщее избирательное право, кончившуюся победой рабочих в 1907 г., после чего партия ведет, главным образом, борьбу в парламенте и отличается реформистским уклоном; в партии скоро же возникла группа „непримиримых“, но она осталась в меньшинстве и в 1908 г. была исключена из состава партии. С 1920 г. образовалась Коммунистическая Партия, составляющая меньшинство и насчитывавшая до исключения из партии Хеглунда (см. XLVII т.,—*Иностранные деятели*) около 16.000 членов.

В *Нидерландах* в 1868 г. образовывается секция Интернационала, прекратившая свое существование еще до падения первого Интернационала. В дальнейшем партийная жизнь начинает возрождаться под влиянием деятельности *Домелы Ньювенгюса* (*см. XXX, 350*), но с 90-х г. принимает анархо-синдикалистский уклон с отрицанием парламентской деятельности. В противовес этой организации анархического характера, в 1894 г. образовывается Социал-демократическая Рабочая Партия на основе марксизма: с 1900 г. в партии вырастает, однако, ряд различных течений: руководящее большинство с реформистским уклоном, во главе с Трульстра, и более левое меньшинство, которое в 1909 г. образует сначала оппозиционную Социал-демократ. Партию, а позднее, в 1919 г., складывается в Коммунистическую Партию с Роланд-Гольст и Равенштейном во главе.

В *Испании* с 60-х г. возникают два течения: одно—анархистско-бакунистское, другое—социал-демократическое, при чем первое имело большое распространение и преобладающее влияние, оставляя второе в тени; с конца 70-х годов влияние социал-демократического течения растет, анархическое же идет на убыль, попадая к тому же под суровое преследование властей; с 1910 г. проходит в испанский парламент впервые социал-демократический депутат. К новейшему времени преобладание анархо-синдикалистских течений остается в силе; большинство рабочих не примыкает к политическим партиям, обнаруживая анархо-синдикалистские настроения. С 1921 г. левое крыло партии сорганизовалось в Коммунистическую Партию.

В *Соединенных Штатах Северной Америки* социалистическая организация возникает прежде всего в рядах

переселившихся сюда европейских рабочих, при чем немецкие рабочие перенесли с собой на новую родину и принципы социал-демократии. К новейшему времени в Америке образовалось две партии: *Социалистическая' Партия* во главе с Хилкуитом (см. XLVII т., *Иностранные деятели*) и Берже (с 1899 г.) и *Социалистическая Рабочая Партия* во главе с де-Леоном; первая стоит вне профессиональных союзов, вторая, наоборот, тесно с ними связана; из этих двух партий более значительный рост обнаруживала Социалистическая Партия; к новейшему времени и последняя раскалывается, выделяя из себя все более и более растущую часть с левым уклоном; влияние последней замечается особенно с 1919 г. С 1921 г. из наиболее революционно настроенных левых организуется *Коммунистическая Партия* (принявшая легально название „Рабочей Партии Америки"). Квалифицированные трэд-юнионы, на основе чисто профессиональных интересов, об'единены в „Американской федерации труда", во главе с Гомперсом, куда входит свыше 2.000.000 членов. В противовес гомперсовской организации возникает в 1905 г. об'единение „Промышленные рабочие Мира" (Industrial Workers of the World, I. W. W., *см. выше 485/6*), насчитывающее в 1924 г. всего 37.000 платящих членов, но тем не менее оказывающее большое влияние на настроение рабочих масс в Соединенных Штатах. В недавнее время организуется „Партия Рабочих и Крестьян" (Farmer Labour Party of the U. St.), влияние которой, однако, незначительно (см. *Сѣверо-Америк. Соединенные Штаты.*)

В *Швейцарии* почва для образования марксистской социалистической партии была неблагоприятна, вследствие отсталого промышленного развития страны. Социал-демократическая Партия образовалась лишь в 1889 г., хотя с 40-х годов здесь было много различных социалистических организаций. В новейшее время преобладающее течение в партии—правое, с Дюрре во главе. Из левого крыла партии в 1921 г. возникла *Коммунистическая Партия* с незначительным числом членов.

В *Болгарии* видное место по влиянию на рабочие массы принадлежит *Социалистической партии* (т.-н. „Широкой"). С 1903 г. в партии наблюдается раскол, из партии откалывается левое крыло (т.-н. „Тесные"), из которого в 1919 г. возникает *Коммунистическая Партия* с Коларовым во главе. После неудачного восстания в 1923 г. коммунистическая партия перешла на нелегальное положение.

Рабочее движение выросло особенно за последние годы в *Китае*. К новейшему времени образовалась *Народно-революционная партия* (т.-н. „Гоминдан") с Сун-Ят-Сэном во главе. Влияние ее—главным образом в Южном Китае; основная задача партии — организация борьбы с европейским и американским империализмом за национальную независимость. Существует и *Коммунистическая Партия*, образовавшаяся из революционного студенчества и передовых слоев рабочих.

(Подробнее о социалистическом движении в различных странах за последнее время *см.* в обзорах истории отдельных государств в *эпоху мировой войны в XLVII* т. Об участии социалистических партий в парламентском представительстве *см. XL* т., *прил.*, *Современное состояние важнейших государств, табл. 63—83*).

5. *Международное об'единение социалистического движения.* I. *Первый Интернационал.* Идеи международного об'единения рабочих в социалистическом движении высказывались и выявлялись еще в самом раннем периоде развития социалистической мысли и рабочего движения вообще. Уже в XVIII веке аббат Мелье призывал в своем „Завещании" к об'единению всех народов в борьбе с тиранами и гнетом, бросая лозунг: „народы, соединяйтесь". Более определенно сложилось стремление к международному социалистическому общению в старом „Союзе коммунистов", для которого Маркс и Энгельс написали „Коммунистический Манифест". В этом манифесте дан был, сделавшийся теперь всюду распространенным, лозунг: „Пролетарии всех стран, соединяйтесь". Не мало способствовало идее международного общения и то обстоятель-

ство, что до второй половины XIX века в большинстве стран Западной Европы социалистическое движение вело или полулегальное или нелегальное существование, и поэтому большинство руководящих органов рабочего движения (центральных комитетов и т. п.) имело своим пребыванием или Лондон, или Париж, или города Швейцарии, что давало возможность встречаться, сталкиваться и обмениваться мыслями руководителям рабочего движения различных стран и народов. Больше всего свободы в этом отношении предоставляла Англия, и поэтому не удивительно, что в XIX веке Лондон явился тем центром, тою колыбелью, где впервые идея международного социалистического общения нашла свое осуществление. Здесь еще в 1845 г. был основан союз „Братских Демократов“, членами которого были, между другими, немецкий коммунист Шаппер, поляк Оборский, английский чартист—коммунист Гарни. Этот союз ставил своею задачей распространение идей международного социалистического общения, устраивал в Лондоне митинги международного характера (наприм., в память великой французской революции, в память революции 1848 г. и т. д.). В 1847 г. „Братские Демократы“ устроили торжество в честь 17-й годовщины польского восстания, при чем предполагалось созвать „Конгресс рабочих всех наций“ в 1848 г. в Брюсселе; на этом торжестве выступили с речами Маркс, Энгельс, Шаппер, Гарни и др. Но еще раньше, в 1847 г., был основан при участии Маркса и Энгельса „Союз Коммунистов“, который можно назвать первой международной организацией на социалистической основе. Почва для образования более или менее прочных связей между различными социалистическими организациями различных национальностей, хотя бы и эмигрантского характера, к этому времени существовала; последнему способствовало то обстоятельство, что после неудачного восстания 12 мая 1839 г. в Париже, члены „Союза Справедливых“ должны были перенести свою революционную деятельность в Англию и Швейцарию, и члены „Союза Справедливых“, устроившиеся в Лондоне (Шаппер), обнаруживали особенно заметно тяготение к образованию какой-либо организации интернационального характера. Уже в октябре 1844 г. в Лондоне Шаппером было организовано общество „Демократические друзья всех народов“, в целях сближения между революционерами различных национальностей. К тому же у всех чувствовалась глубокая потребность выработать наиболее всего соответствующие переживаемому времени общие принципы для социалистического движения. Предполагалось, при участии Маркса, Энгельса и Вейтлинга, устроить с'езд представителей различных социалистических групп. Такой с'езд намечался в 1845—1846 г.; к этому времени были организованы по плану Маркса и Энгельса „Коммунистические Комитеты Сношений“ сначала в Брюсселе, затем в Лондоне и Париже. Летом 1847 г. был устроен первый с'езд всех этих комитетов, состоявшийся в Лондоне, где и решено было об'единиться в единую организацию под именем „Союза Коммунистов“; лондонские члены „Союза“ выпустили и журнал, назв. „Коммунистическим Журналом“, с девизом, однако, вместо: „Все люди—братья“—„Пролетарии всех стран, соединяйтесь!“. Это было за шесть месяцев до выхода в свет „Коммунистического Манифеста“. В ноябре-декабре 1847 г. состоялся в Лондоне же второй с'езд, на котором был выработан „устав“ и решено было опубликовать „Манифест Коммунистической Партии“. Согласно „уставу“ целью „Союза Коммунистов“ об'являлось: „свержение буржуазии, господство пролетариата, уничтожение старого, основанного на антагонизме классов, буржуазного общества и основание нового общества без классов и без частной собственности“. В организационном отношении „Союз“ состоял из общин, округов, центрального комитета и конгресса. „Союз Коммунистов“ просуществовал до 1852 г., когда после ряда беспрерывных преследований об'явил себя распущенным.

Решительным моментом в истории развития идеи международного об'единения рабочих явились 60-е годы.

В 1862 г. в Лондоне имела место всемирная выставка, и к ней-то представители французских и бельгийских рабочих приурочили свою попытку завязать более крепкие международные связи с рабочими английскими и германскими. Поводом к этому послужила угроза английским рабочим со стороны английских предпринимателей ввозом дешевых рабочих из-за границы. Угроза эта стояла в связи со стачечным движением 1859 — 1861 г., а выполнение этой угрозы могло свести на-нет до сих пор успешную борьбу профессиональных рабочих союзов с предпринимателями. Завязать тесные сношения с французскими, бельгийскими и немецкими рабочими для английских рабочих являлось к этому моменту, таким образом, экономической необходимостью. Посредниками в такого рода об'единении между рабочими лучше всего могли быть представители международной эмиграции, особенно те из них, которые стояли в тесной связи с английскими профессиональными союзами; таковыми же были, главным образом, немцы.

Общая социально-политическая ситуация в это время точно так же способствовала идее международного рабочего общения, так как конец 50-х годов и начало 60-х сопровождался общим политическим под'емом и оживлением социального движения рабочих всех стран. Лондонская международная выставка дала наиболее удобный случай для переговоров между рабочими различных стран. Наполеоновское правительство Франции охотно поддержало идею отправки рабочей делегации. Последняя сорганизовалась путем разрешенных правительством выборов, в которых приняли участие около 200.000 человек рабочих, избравших 200 делегатов. Свои задачи французская рабочая делегация в общем понимала в том смысле, чтобы способствовать братскому единению между народами, агитировать за свободу торговли и торговых сношений, поддерживать новые торговые договоры между Францией и Англией, построенные на началах свободы торговли. Встреча, происшедшая между английскими и французскими рабочими, не принесла никаких непосредственных результатов в деле международного социализма. Это было лишь первым шагом к дальнейшему. Но первый шаг все же был сделан.

Когда вскоре же после выставки разразился как в Англии, так и во Франции хлопковый голод, оставивший массы хлопчатобумажных рабочих той и другой страны без работы, и когда в то же время произошло польское восстание, сказались и результаты. В первом случае, когда в Англии образовался центральный комитет помощи ланкаширским текстильщикам, тотчас же парижские рабочие стали призывать к сборам в пользу безработных. Во втором случае, и во Франции и в Англии рабочие выступили в защиту восставших: собирались митинги, составлялись петиции, организовывались собрания, требовали вмешательства в пользу восставшей Польши, требовали войны с Россией; вместе с тем было решено выступить также совместно с манифестацией в пользу Польши. В Лондоне был устроен митинг (в 1863 г.), где и на этот раз французские рабочие встретились с английскими уже второй раз. Выросла мысль об осуществлении международного рабочего союза; был избран комитет для разработки вопроса о таком союзе; английский комитет был избран из пяти членов, и через несколько месяцев был выработан проект адреса, принятый на новом собрании в Лондоне же. В адресе красной нитью проводится идея о создании братства народов, о необходимости созыва собрания из представителей Англии, Франции, Германии, Италии, Польши и других стран „для дела рабочих“ прежде всего.

Принятый проект адреса был послан французским рабочим; последние составили ответный адрес, и 28 сентября 1864 г. в Лондоне, в зале св. Мартина, было назначено публичное собрание, на котором депутация от парижских рабочих должна была прочесть ответный адрес на адрес их английских братьев и изложить „план для лучшего соглашения между обоими народами“. На собрании председательствовал проф. Бисли, немецких ра-

бочих представляли Эккариус и Маркс, специально приглашенный, от итальянских рабочих присутствовал майор Вольф, от французских рабочих—Толеж, Боске, Ле Любе (в качестве также и переводчика), от английских—Оджер и Кремер—виднейшие деятели английского трэд-юнионистского движения—и др. На собрании, для дальнейшей разработки формы намечаемой рабочей организации, был избран комитет из 33 членов, в состав которого вошел и Маркс. Название предположенной международной организации еще не было дано. Но дата 28 сентября 1864 г. все же является датой основания Международного Товарищества Рабочих—*Первого Интернационала*. Название М. Т. Р. и самый устав его были приняты на первом же Женевском конгрессе М. Т. Р., состоявшемся в 1866 г.; устав был выработан Марксом.

В своих важнейших пунктах этот устав сводился к следующему: экономическое освобождение рабочих классов является великою конечною целью; освобождение труда—проблема не местная, не национальная, но социальная; основой отношений членов Товарищества друг к другу и к остальным людям являются „истина, право и нравственность“; непосредственною целью М. Т. Р. является создание центра для об'единения и планомерной деятельности всех существующих в различных странах рабочих обществ, преследующих одну общую цель: защиту, поднятие уровня и полное освобождение трудящихся классов. Важнейшими органами М. Т. Р. являются Генеральный Совет и Конгресс. Генеральный Совет состоит из рабочих тех стран, которые входят в М. Т. Р., и выбирает из своей среды председателя, казначея, главного секретаря и секретаря для сношений; конгрессы устраиваются ежегодно, и на них Генеральный Совет дает публичный отчет в своих действиях. Рабочие союзы, примыкающие к М. Т. Р. и связывающие себя с ним постоянными узами братской общности, сохраняют неприкосновенной свою организацию. Согласно уставу, в каждой стране несколько лиц в любом месте, признававших устав „Интернационала“, составляли секцию, а союз секций—федерацию; секции утверждались Генеральным Советом. Наиболее важная работа в деятельности Интернационала происходила на конгрессах. Таких конгрессов за весь период деятельности Интернационала было 6. Первый конгресс — *женевский*, в 1866 г.; здесь был после горячих дебатов принят устав М. Т. Р.; между прочим, было отклонено предложение принимать в члены Интернационала только рабочих, только лиц физического труда; были приняты постановления о 8-часовом рабочем дне, об ограничении женского и детского труда, о профессиональных рабочих союзах и кооперативных товариществах, против косвенных налогов, милитаризма, русского самодержавия, за восстановление свободной Польши.

Второй конгресс—*лозанский*, в 1867 г.; приняты постановления об уничтожении войны, об уничтожении постоянного войска, о рабочем кредите, о роли государства, об огосударствлении железных дорог, рудников и каналов, об универсальном языке для всех народов. Третий конгресс—*брюссельский*, в 1868 г., в своих постановлениях против войны рекомендует особенно полную приостановку работ, если в стране имеет вспыхнуть война; дальнейшие резолюции касаются стачек, мер при введении новых машин, установки взаимного кредита рабочих, передачи в общественную собственность земель, лесов, рудников и путей сообщения. Четвертый конгресс—*базельский*, в 1869 г.; принято постановление о необходимости отмены частной собственности на землю; предложение об ограничении наследственного права было отклонено. Пятый конгресс—*гаагский*, в 1872 г.; приняты постановления о переносе Генерального Совета из Лондона в Нью-Йорк, о „завоевании политической власти, как о первом долге пролетариата“, об исключении Бакунина. Шестой конгресс—*женевский*, в 1873 г., в котором участвовали лишь три оставшиеся верными Интернационалу секции: английская, германская и американская. На нем были вновь подтверждены некоторые ра-

нее принятые постановления, и Интернационал, закончив первый период своего существования, распался. Общая причина его распада—отсутствие в период 60—70-ых годов прочных национальных социалистических организаций и поэтому постоянные распри между членами Интернационала, проявлявшиеся особенно на конгрессах. Споры шли, гл. обр., между марксистами, прудонистами, бланкистами и бакунистами.

Уже на пятом—гаагском, конгрессе, когда Генеральный Совет решили перенести в Америку и исключили Бакунина, отделились от Интернационала бланкисты (Ф. Курнэ, Ж. Ранье, Е. Вальян и др.), мотивировавшие свой уход тем, что М. Т. Р. перестало быть „властным рычагом революции и из страха перед коммуной ускользнуло от своего долга и от революции в Америку; но тем, что оно дезертировало с поля битвы, оно доказало свое бессилие и потеряло свое могущество в глазах тех, которые видели в нем живую силу революции". Особенно энергичную борьбу против Генерального Совета, находившегося под влиянием Маркса, и против самого Маркса вел Бакунин. К Бакунину, после крушения Парижской Коммуны, примкнули спасшиеся бегством парижские коммунары, которые поддерживали его против Маркса и вели агитацию против руководящего органа Интернационала, упрекая последний в диктаторстве. Основной причиной разногласия между Марксом и Бакуниным было различное понимание методов борьбы за освобождение рабочих и за осуществление социализма. Генеральный Совет под влиянием идей марксизма всюду проводил идею „диктатуры пролетариата". Бакунин же, подобно Прудону, был против чьей бы то ни было диктатуры, выставляя по отношению к государству и государственной власти анархические принципы. Помимо раздоров и распрей, которые подрывали работу Интернационала, отрицательно на его судьбе отражалось и постоянное отсутствие денежных средств и суровое преследование почти во всех странах секций Интернационала. В первом периоде своего существования—1864-1876 г. (формальное упразднение его последовало на собрании делегатов Интернационала в Филадельфии 15 июля 1876 года), Интернационал в истории развития об'единенного всемирного социалистического движения получил название *Первого Интернационала*. Значение его в деле развития социалистического движения всех стран было очень велико; он впервые осуществил идею единства социалистического движения, идею единого метода борьбы и, пользуясь высоким авторитетом в глазах рабочих всех стран, воодушевлял и давал толчки социалистическому движению (см. *Международное единство рабочих*, XXVIII, 387/392).

II. Второй Интернационал. Дата Второго Интернационала приурочивается к 1889 г. На этот раз внешним поводом и толчком явился столетний юбилей великой французской революции и всемирная промышленная выставка в 1889 г. в Париже. Внутренней же, основной причиной Второго Интерн. послужило то обстоятельство, что к концу 80-ых годов рабочее движение во всех капиталистических странах настолько развилось, что стало нуждаться в общем едином руководительстве из одного социалистического центра. Как в первый раз на всемирную выставку в Лондоне, так на этот раз на выставку в Париже в 1889 г. с'ехались, по инициативе марксистских социалистических организаций, социалистические делегаты различных стран, образовавши международный социалистический конгресс, который и открыл собою эру Второго Интернационала. Долгое время Второй Интернационал не имел отдельного постоянного органа, вроде бывшего Генерального Совета. Вся связь и вся деятельность по этой связи выражалась в работах конгрессов, которые созывались через каждые 3—4 года, и место которых устанавливалось на каждом предыдущем конгрессе. Лишь с 1900 г., на парижском конгрессе, учреждено было Международное Социалистическое Бюро, куда входили по 1 или 2 делегата от каждой страны или нации; бюро имело свой президиум, постоянно пребывавший

в Брюсселе; от России в это бюро входил Плеханов, а после раскола на большевиков и меньшевиков и Ленин. Бюро имело характер технико-осведомительного аппарата. С 1904 г., кроме того, была учреждена „*Международная социалистическая комиссия*“, в целях облегчения об'единенных действий различных социалистических партий.

На первом же конгрессе (Парижском) было принято постановление об ежегодном праздновании 1-го мая во всех странах, в знак международной связи рабочих. Второй конгресс состоялся в Париже в 1891 г.; были приняты постановления о недопустимости участия в работе конгрессов анархистов, как не признающих законодательного вмешательства государства в интересах рабочих. Третий—Цюрихский конгресс (в 1893 г.) поставил, между прочим, вопрос об отношении к войне. Четвертый конгресс состоялся в Лондоне (1896); приняты постановления против системы тайных договоров между правительствами и об учреждении третейских судов для разрешения столкновений между государствами. Пятый конгресс—в Париже (1900); принято постановление против вступления социалистов в буржуазные министерства, при чем в качестве мотива к такому решению указывалось, что „классовая борьба запрещает всякого рода союзы с какою-бы то ни было фракцией капиталистического класса“; впрочем, конгресс в данном случае допускал и исключения, находя, что „исключительные обстоятельства делают иногда союзы такого рода необходимыми“; далее, конгрессом было принято постановление о колониальной и международной политике; по вопросу об отношении к войне поручено постоянной социалистической комиссии организовать „общее и единообразное антимилитаристское движение протеста во всех странах“. На шестом конгрессе в Амстердаме (1904) снова подымается вопрос о международных отношениях, а также об отношениях с буржуазными партиями; по вопросу об общей стачке принято постановление о невыполнимости абсолютной общей стачки. Седьмой конгресс в Штуттгарте (1907) особенное внимание уделил вопросу об антимилитаристской пропаганде; вынесено постановление о борьбе с войной путем отказа в кредитах, причем в резолюции по вопросу об отношении к войне и империализму, м. пр., указывалось, что „если война все таки-будет об'явлена, долг социалистов стоять за скорейшее ее прекращение и всеми силами стремиться использовать вызванный войною экономический и политический кризис для того, чтобы всколыхнуть народные массы и ускорить падение классового господства капитала“; кроме того, были вынесены постановления по колониальному вопросу, по вопросу о необходимости борьбы за избирательное право женщин, по вопросу о профессиональных союзах и об отношениях между партийными и профессиональными организациями, по вопросу об эмиграции и иммиграции рабочих.

На восьмом конгрессе в Копенгагене (1910) подымался вопрос снова о войне и о борьбе с войной; но обсуждение вопроса о забастовках на военных заводах и на заводах, работающих на военное дело, было, однако, отложено. Ради протеста против грозящей войны был организован и девятый чрезвычайный конгресс в Базеле в 1912 г.; в вынесенных резолюциях не содержалось, однако, никаких конкретных указаний на меры борьбы с войной; в них указывалось лишь на ужасы грядущих войн, выносилось предостережение правительствам относительно возможных для них гибельных последствий в случае войны, и на правительства же переносилась вся ответственность за эти последствия. В 1914 г. вспыхнула мировая война, и этот год закончил первый период существования 2-го Интернационала; намеченный в Вене на 1914 г. десятый конгресс состояться уже не мог. Весь период существования 2-го Интернационала, до сих пор рассмотренный,—это период чрезвычайно сильного развития империалистических стремлений капитализма, и противостоять этой бурно мчавшейся волне империализма международный социализм „второго призыва“ оказался не в силах.

В течение войны и после войны отдельные секции 2-го Интернационала, в целях восстановления его, предпринимали ряд усилий завязать международные связи между социалистическими партиями и организациями различных стран. Во время войны эти попытки не могли привести к благоприятным результатам, так как социализм в это время почти всюду стоял под знаком „защиты отечества". Тем не менее, социалистические организации и отдельные социалистические группы, верные постановлениям конгрессов 2-го Интернационала, решили собраться в Циммервальде (в Швейцарии), в сентябре 1915 года, на специальной международной конференции, чтобы определить общий характер отношений международного социализма к событиям происходящей войны (Италия, Н. Р. П. Англии, германские с.-д. (Ледебур, Либкнехт и др.), русские большевики, часть меньшев. и эсеров и группа Лонге и Л. Сомоно во Франции). Здесь обнаружились два течения международной социалистической мысли: одно революционное, с Лениным во главе, другое умеренное, поддерживаемое германскими социал-демократами. На второй конференции, в деревне Кинталь (в Швейцарии же), в апреле 1916 г. эти два течения нашли себе более определенное выражение: более революционное течение стояло за использование войны, в целях захвата власти пролетариатом и социалистической революции, другое—умеренное—за пропаганду мира (подробнее см. *Циммервальдская и Кинтальская конференции*). Первое течение привело в марте 1919 г. к созданию в Москве с'езда коммунистических партий и *Коммунистического* Интернационала, т. н. „3-го Интернационала". Второе течение привело к образованию т. н. $2^1/_2$ Интернационала, слившегося впоследствии со Вторым Интернационалом на с'езде в Гамбурге в мае 1923 г. Таким образом, социалистическое международное движение разбилось на два фронта: социал-демократический—умеренный и коммунистический—революционный. Дальнейшее направление первого течения (2 и $2^1/_2$ Интернационалов) шло след. этапами: 14 февраля 1915 г. в Лондоне состоялась социалистическая конференция стран Антанты, затем—28 августа 1917 г. и 20 февраля 1920 г. На всех этих конференциях социалисты выносили постановления о том, чтобы бороться до победного конца. Собирались также конференции социалистов и центральных держав (венская конференция из представителей германской, австрийской и венгерской партий, в апреле 1915 г.) и нейтральных (в Копенгагене в январе 1915 г., в Гааге в августе 1916 г.). После русской революции 1917 г. была предпринята попытка устроить встречу французских и немецких социалистов на конференции в Стокгольме (в 1917 г.), но согласия на это ни со стороны первых, ни со стороны последних не последовало. Мало способствовали оживлению 2-го Интернационала и конференции социалистов Антанты—мартовская и сентябрьская имевшие место в Лондоне в 1918 г. Когда война кончилась, снова начались попытки к оживлению 2-го Интернационала и к восстановлению его деятельности. Так, уже три месяца спустя после германской революции состоялась Бернская конференция (февраль 1919 г.), на которой было представлено 26 стран (отсутствовали большевики и социалистические партии Швейцарии, Сербии, Румынии и Бельгии), и приняты были резолюции о Лиге Наций, о разрешении спорных вопросов под контролем Лиги Наций, о демократии и о диктатуре; по двум последним вопросам вынесенная резолюция осуждает всякие способы обобществления, которые не имеют шансов вызвать сочувствие большинства народа, и осуждает диктатуру, опирающуюся лишь на часть пролетариата. В апреле 1919 г. следует Амстердамская конференция, требовавшая создания „подлинной" Лиги Наций и выполнения вильсоновских 14 пунктов при заключении мира. В том же году, в августе, состоялся Люцернский с'езд, вынесший резолюцию о необходимости подчинения Версальскому договору. В августе 1920 г. состоялся новый с'езд в Женеве, снова высказавшийся „за демократию и против диктатуры, за великие принципы международной культуры и по-

литической свободы“. На этом же с‘езде было перенесено Международное Бюро из Брюсселя в Лондон и создан Исполнительный Комитет с Гендерсоном во главе. В ноябре 1920 года Исполнительный Комитет собрался в Лондоне и выработал „Манифест к рабочим“, в котором рабочие призываются к борьбе „за идею демократического социализма“; 30 марта 1921 г. состоялась Амстердамская конференция, затем 4 февраля 1922 г.—Парижская, 23—27 февраля того же года—Франкфуртская, в апреле 1922 г.—Берлинская и в июне 1922 г.—Лондонская. Последняя шла под знаком борьбы с „Москвой“; на ней был выставлен лозунг борьбы против „крайностей диктатуры левых“. В это же время шли переговоры о слиянии 2-го Интернационала с 2½ Интернационалом, которое состоялось на с‘езде в Гамбурге 21 мая 1923 г. Что касается 2½ *Интернационала*, то он был создан по инициативе таких социалистических организаций различных стран, которые, с одной стороны, отказывались принять Устав 3-го Интернационала и его 21 условие и, с другой стороны, не могли согласиться стать целиком на платформу 2-го Интернационала. Инициатива шла как от английской Независимой Рабочей Партии, так и от германской Независимой Социалистической Партии, а равным образом и от швейцарской Социалистической Партии. Целью этих попыток было выработать приемлемые условия для вступления в Коммунистический Интернационал, заставив изменить „21 условие“ последнего. В осуществление этих целей сначала была собрана Предварительная конференция в Берне в декабре 1920 г., на которой, кроме трех перечисленных социалистических организаций, приняли участие также немецкая социал-демократическая партия Австрии, французская социалистическая партия, русские меньшевики и немецкая социалдемократия Чехо-Словакии. В составленном воззвании Предварительная конференция выдвигала в качестве основной задачи общую борьбу всего социалистического мира с империализмом, откуда бы последний ни исходил; для окончательного же установления условий и формы об‘единения Предварительная конференция созвала на 23 февраля 1921 г. в Вене *Международную социалистическую конференцию*, при чем для подготовительных работ была избрана особая комиссия под названием *Бюро Международного Об‘единения Социалистических Партий.*

На Венскую конференцию, которая и получила название 2½ *Интернационала*, собрались все семь партий, представленных на Предварительной конференции, и, кроме того, левые эсэры, социал-демократические партии Югославии, Литвы, Румынии, Поалей-Цион и группы венгерских эмигрантов; о своем участии заявили также и многие другие социалистические организации различных стран (Финляндии, Польши, Греции, Аргентины). На конференции были вынесены постановления об „империализме и социальной революции“ и о методах и организации классовой борьбы; от членов об‘единения требовался решительный отказ от поддержки империалистических войн, от социал-патриотизма, от политики гражданского мира; всем вменялось в обязанность организовывать собрания и манифестации за всеобщее разоружение и пересмотр мирных договоров, а также вести самую энергичную борьбу с контр-революционной интервенцией капиталистических держав, направленной против Советской России, и препятствовать движению транспортов с войсками и снаряжением; по вопросу о методах, в постановлении говорилось, что пролетарский Интернационал „не должен ограничивать пролетариат в применении демократических методов, как это в настоящее время делает 2-й Интернационал, ни предписывать шаблонного подражания методам русской рабоче-крестьянской революции, как того желает Коммунистический Интернационал“; согласно § 1 Устава, „Международное Об‘единение Социалистических Партий“ не представляет собою Интернационала, в который входит весь революционный пролетариат, но является средством для создания такового; согласно § 2, членами „Об‘единения“ не могут быть партийные организации,

принадлежащие к 2-у или Коммунистическому Интернационалу.

В течение 1922 года к Венскому Интернационалу присоединилось еще несколько социалистических организаций различных стран. В течение этого же 1922 года происходят также попытки к об'единению и слиянию между всеми тремя Интернационалами. Такова конференция в Брюсселе в мае 1922 г. Но после неудач в этом направлении Венский Интернационал занимает враждебную позицию по отношению к Коммунистическому Интернационалу и пытается на этой почве соединиться со 2-м Интернационалом. Созывается первая совместная конференция Международного Об'единения профессиональных союзов, 2-го Интернационала и $2^1/_2$, в июле 1922 г. в Амстердаме; вынесены были резолюции о защите германской республики, о мире всего мира, о восстановлении Европы, о протесте против суда над эсэрами, и намечено было созвать общую конференцию всех социалистических организаций, стоящих на платформе Вены, Амстердама и Лондона; тут же на заседаниях Исполнительных Комитетов 2-го и $2^1/_2$ Интернационалов был поставлен вопрос об об'единении. Окончательное слияние произошло 21 мая 1923 г. в Гамбурге, где был созван Об'единенный Международный Социалистический Конгресс двух Интернационалов. Большинством 99 голосов против 6 (Ледебур, Теодор Либкнехт, Штейнберг—левый эсэр, один из литовских и один из польских делегатов) конгресс высказался за роспуск $2^1/_2$ Интернационала и за восстановление 2-го Интернационала; этим закончилась история $2^1/_2$ Интернационала.

III. Третий Интернационал. Влияние левого крыла Циммервальдской конференции особенно возросло после революции 1917 г., когда Российская Коммунистическая Партия взяла на себя задачу создать в противовес социалистическому II Интернационалу Интернационал Коммунистический. Первоначально, 24 января 1919 года, Центральный Комитет Р.К.П. совместно с Бюро Польской, Венгерской, Немецко-Австрийской Коммунистических Партий, с русским Бюро Латышской Коммунистической Партии, Ц.К. Финской К.П., Балканской Федерацией революционных социал-демократов и Социалистической Рабочей Партией Америки выпустил воззвание о неотложной необходимости созыва первого конгресса нового Интернационала, „действительно революционного“; в воззвании переживаемая эпоха характеризуется, как эпоха распада и крушения системы капитализма, и поэтому основной задачей пролетариата об'является завоевание государственной власти и организация пролетарской власти с диктатурой рабочего класса; задачей предстоящего конгресса об'являлось „создание боевого органа, который должен, путем постоянной связи и планомерного руководства движением, стать руководящим ядром Коммунистического Интернационала и подчинить интересы движения отдельных стран задачам международной революции“. Конгресс состоялся в марте 1919 года в Москве; заседания происходили в Кремле, в здании ВЦИК; на этом конгрессе и положено было начало Коммунистического Интернационала, получившего название *III Интернационала*; присутствовали представители 19 организаций. Конгресс явился, таким образом, *Первым Конгрессом* III (Коммунистического) Интернационала. Были приняты резолюции о буржуазной демократии и пролетарской диктатуре, о международном положении, об отношении к социалистическим течениям; выработка устава возложена была на ближайший конгресс Коминтерна. Избран был Исполнительный Комитет, куда вошли представители коммунистических партий Российской, Германской, Немецко - Австрийской, Венгерской, Балканской Федерации, Швейцарской и Скандинавской; опубликован был манифест к рабочим всего мира. В марте 1919 г. к Коммунистическому Интернационалу примкнула Итальянская Социалистическая Партия, в мае 1919 г.—Норвежская Рабочая Партия и болгарские социалисты („тесняки“), в июне—Шведская Социалистическая Партия, Венгерская Социалистическо-Коммунистическая Партия и некоторые другие. В июле 1920 года в Петрограде состоялся

Второй Конгресс Коминтерна, сначала в помещении Таврического дворца, а затем заседания были перенесены в Москву, в большой Кремлевский дворец; наиболее всего внимание было приковано к обсуждению Устава и выработке 21 условия, необходимых для права вхождения в Коминтерн; Устав III Интернационала, принятый на 2 конгрессе его, содержит указание на то, что III Интернационал берет на себя продолжение и завершение великого дела, начатого первым Международным Товариществом Рабочих.

Устав состоит из 17 статей. О целях Интернационала ст. 1 гласит: „Новое Международное Товарищество Рабочих основано для организации совместных действий пролетариев различных стран, стремящихся к одной цели: низвержению капитализма, созданию диктатуры пролетариата и Международной Советской Республики для полного уничтожения классов и осуществления социализма, этой первой ступени коммунистического общества. Верховным органом К.И. об‘является „Всемирный конгресс всех партий и организаций, входящих в состав его“, который собирается не реже одного раза в год (ст. 4). Руководящим органом К. И. в периоде между конгрессами является Исполнительный Комитет, избираемый Всемирным конгрессом. Помимо очередных всемирных конгрессов могут быть и экстренные по постановлению И.К. или по требованию половины партий, входивших в состав К.И. на последнем всемирном конгрессе (ст. 7). Главнейшая часть работы в И.К. должна лежать на партии той страны, где имеет свое местопребывание И.К. (ст. 8); последнее же определяется всем конгрессом (ст. 6); в И.К. от партии данной страны входят (с решающим голосом) 5 членов и от других стран по 1 на каждые 10—12 наиболее крупных партий, утвержденных на предыдущем конгрессе. И.К. издает не менее чем на 4 языках центральный орган К.И. (журнал „Коммунистический Интернационал“), дает директивы, выступает с воззваниями, исключает из К.И. партии, нарушающие постановления всемирного конгресса, организует в случае надобности вспомогательные бюро, находясь все время в теснейшем контакте с центральным комитетом комм. партии данной страны (ст. 9). Ст. 14 касается профессиональных союзов, стоящих на почве коммунизма; эти союзы также образуют профессиональную секцию К.И. и посылают своих представителей на всемирные конгрессы К.И. через коммунистические партии своей страны; от профессиональной секции один делегат входит и в И.К. с решающим голосом; в свою очередь и И.К. Комм. Интернационала имеет право посылать одного своего представителя с решающим голосом в секцию профессиональных союзов. Ст. 15 касается Международного Союза Коммунистической Молодежи, который также является полноправным членом К.И. и подчинен И.К. его, при чем в И.К. Комм. Интернационала делегируется один представитель от И.К. Междунар. Союза Комм. Молодежи с решающим голосом и обратно: И.К. Комм. И. имеет право посылать в И.К. Союза М. своего представителя с решающим голосом. По ст. 16 И.К. Комм. Интернационала утверждает международного секретаря коммунистического женского движения и организует женскую секцию К.И. При переезде из одной страны в другую каждый член Комм. И. встречает поддержку со стороны местных членов III Интернационала (ст. 17). Тяжелым для принятия явился не столько самый Устав III Интернационала, сколько „21 условие“. Последние „21 пункт“ и вызвали больше всего разногласий; через все эти пункты-условия красной нитью проходит принцип строгой централизации; Коммунистическая Партия, согласно Уставу, является лишь секцией Коминтерна, и не принимающие все 21 пункт исключаются из состава партии; партийная пресса во всем должна подчиняться партийному центру; равным образом, деятельность профсоюзов, агитация и пропаганда в деревне, в войсках—все должно быть полностью проникнуто духом коммунизма; реформисты должны быть сняты со всех ответственных постов. Все партии, примыкающие к Коминтерну, должны в

четырехмесячный срок решить о принятии или непринятии 21 условия.

Итальянская социалистическая партия, примкнувшая было к Коминтерну, в большинстве высказалась против принятия 21 пункта. Вслед за итальянцами последовали и другие; начался раскол; коммунисты отделялись от более умеренных или реформистски-настроенных элементов и, отделяясь от последних, образовывали самостоятельные партийные организации и присоединялись к Коминтерну.

В июне 1921 г. состоялся *Третий Конгресс* Коминтерна; к этому времени число секций Коминтерна доходило уже до 50. Но в то же время ясно обозначился замедленный темп революционного движения, что выдвинуло ряд новых вопросов тактического характера. Конгресс состоялся в Москве. Участвовало 603 делегата от 58 стран. Были рассмотрены вопросы о мировом экономическом кризисе и в связи с этим о новых задачах Коминтерна, о борьбе с амстердамским желтым об'единением профессиональных союзов и о красном профинтерне, об организационном строительстве Коминтерна и его отношении к секциям, о женском движении и движении молодежи; о тактике Р.К.П. в восточном вопросе, о Германской Комм. Партии и др.

В ноябре 1922 г. в Москве состоялся *4 Конгресс* Коминтерна, на котором были представители от 66 организаций, в количестве 401 человек; число членов секций Коминтерна к этому времени достигало 1.965.500 челов.; на конгрессе обсуждались вопросы о новой экономической политике, о наступлении капитала, аграрный вопрос, о версальском договоре, негритянский вопрос, восточный вопрос, итальянский вопрос, норвежский вопрос и др.; было выпущено обращение к рабочим Италии о борьбе с фашизмом и к конгрессу профсоюзов Индии о связи экономической борьбы с политической. *5 Конгресс* состоялся весной 1924 г. сначала в Москве, а потом заседания были перенесены в Ленинград.

В деятельности К. И. особенного внимания заслуживают: его усилия к созданию единого пролетарского фронта в международном масштабе; в противовес наступлению капитала, попытка об'единения на международной базе движения профессиональных союзов и таковое же об'единение молодежи, стоящей на коммунистической платформе. Первое привело к попыткам об'единения между II, II½ и III Интернационалами, второе — к созданию Красного Интернационала Профессиональных Союзов и к созданию Коммунистического Интернационала Коммунистической Молодежи. Идея е д и н о г о ф р о н т а выросла в 1921 г., когда после мирового экономического кризиса началось наступление капитала, и когда положение рабочих почти во всех странах стало чрезвычайно тяжелым. В это время Коммунистический Интернационал стал развивать идею необходимости создания общего единого фронта между всеми организованными рабочими, безразлично от того, к каким центрам они принадлежали: ко II Интернационалу, к II½ или к III Коммунистическому или же к анархо-синдикалистическому течению. Предполагалось, что организованные рабочие всех типов найдут общие точки соприкосновения в едином фронте борьбы против капитализма. После того, как этот вопрос был подвергнут всестороннему обсуждению в Исполкоме Комм. Интернационала, последний выпускает воззвание (1 янв. 1922 г.) с подробными тезисами по вопросу об едином фронте. Воззвание опубликовывается на всех языках мира и становится предметом обсуждения всех социалистических организаций, т. е. инициатива создания единого фронта естественно переходит в руки Коминтерна. Тезисы об едином фронте подвергаются обсуждению на расширенном пленуме Исполкома Коминтерна в феврале 1922 г., где присутствовало свыше 100 делегатов от 36 стран. Несмотря на обнаружившиеся серьезные разногласия и возражения (главным образом со стороны французских, итальянских и испанских делегатов), тезисы были приняты. Вместе с тем было принято и предложение 2½ Интернационала об устройстве международной конференции из II, II½ и III Интернационала, Красного Профинтерна, Амстердамского об'единения проф. союзов, синдикалистов, независимых

профессиональных организаций и некоторых других. Предварительно, однако, состоялось совещание делегаций от всех 3 Интернационалов, при чем каждая делегация была представлена 10 членами. После массы пререканий в конце концов решено было созвать в ближайшее время всеобщую конференцию, и была избрана Комиссия Девяти (по 3 члена от каждого Интернационала) для подготовки и организации конференции. Комиссия Девяти начала переговоры с представ. Амстерд. Интернационала проф. союзов и Интернационала Красных профсоюзов. Но на первом же заседании Комиссии Девяти, состоявшемся в Берлине 23 мая 1922 г., обнаружилось, что за несколько дней перед этим состоялась конференция Рабочей Партии (Labour Party), Бельгийской Рабочей Партии и Французской Социалистической Партии, на которой решено было созвать Конференцию Социалистических Партий без участия коммунистов. Первое заседание Комиссии Девяти оказалось, так. обр., и последним; идея созыва всеобщей конференции не осуществилась: II½ Интернационал предпочел идти вместе со II против III.

Что касается создания *Красного Профинтерна*, то оно продукт лишь самого недавнего времени. До войны международной организации профессионального движения не было; были лишь слабые попытки такой организации, выражавшиеся в конференциях секретарей центральн. проф. организаций отдельных стран. Такие конференции происходили через каждые два года, а иногда и через год, начиная с 1900 г., но это были конференции только секретарей. В 1903 г. создается впервые уже в качестве постоянного органа Международный Секретариат (путем преобразования Центрального Международного Бюро), и Карл Легин назначается международным секретарем. Между тем, междунар. профессиональное об'единение рабочих разрастается; число членов об'единений в 1912 г. превышает уже 7 миллионов (см. XL, *Современн. состояние важнейших государств*, табл. 57). Вместе с этим рождается и идея создания также международного органа, который мог бы взять на себя выработку единых методов движения профессиональных рабочих организаций, в целях согласования действий, т.-е. с такими задачами, которые не ставила себе конференция международных секретарей. Под влиянием таких настроений сначала создается „Международная Федерация Профессиональных Союзов“ с Легиным во главе. Во время войны эта организация почти ничем себя не проявила, если не считать конференции ее представителей от центральных и нейтральных держав в Берне (в 1917 г.), где вырабатывалась программа действий профессиональных союзов после войны. На международной конференции в 1919 г. ставится уже вопрос о восстановлении профсоюзного международного об'единения. Успешному разрешению этого вопроса мешают, однако, национальные раздоры: ни англичане, ни бельгийцы, ни американцы не хотели заседать совместно с немцами. Все же при Лиге Наций создается Международное Бюро Труда, которое своей задачей ставит проведение в жизнь международного рабочего законодательства.

В июле 1919 г. происходит междунар. об'единение професс. союзов на конференции в Амстердаме, и по месту постоянного пребывания бюро получает название *Амстердамского Интернационала*. Здесь было принято решение значительную часть своих задач по охране и организации труда осуществлять через Бюро Труда Лиги Наций; было выражено пожелание, чтобы произошло всеобщее разоружение, чтобы свобода народов охранялась исключительно через посредство Международного Трибунала, и „чтобы Лига Наций покоилась на воле и сотрудничестве всех народов“. Общий характер Амстерд. Интернационала—резко реформистский и примиренческий. 2-й Конгресс Амстерд. Интернацион. состоялся в Лондоне в ноябре 1920 г., третий—в Риме в апреле 1922 г. и четвертый—в Вене в 1924 г. На Лондонском конгрессе выносится резолюция о борьбе с капитализмом и империализмом путем „массовой стачки и международного бойкота“; о восьмичасовом рабочем дне; принимается постановление о том, что конгресс рекомендует всеобщее аннулирование

международных военных долгов; принимается резолюция о социализации с требованием обобществления земли и орудий производства. На Лондонском конгрессе были вынесены постановления о необходимости разоружений, в целях восстановления Европы, о борьбе против наступления капитала, о борьбе с милитаризмом, о препятствовании войне, в случае ее об'явления, путем всеобщей международной стачки и о созыве мирового конгресса в Амстердаме против войны.

Старый путь бумажных резолюций и вся деятельность Амстердамского Интернационала не могли удовлетворять Коммунистический Интернационал. Однако, не столько реформистский характер деятельности, сколько отсутствие возможности об'единения, вытекающее из отказа Амстердама пойти на сближение с союзами Сов. России, толкает и Коминтерн и отдельные революц. союзы на мысль о создании нового интернационала проф. союзов. 16 июня 1920 г. созывается совещание из представителей английских профсоюзов (Р. Уильямс и А. А. Перселль), итальянской генеральной конфедерации труда, итальянского союза металлистов, итальянского союза кожевников и Всероссийского Центр. Совета Професс. Союзов, при участии Зиновьева, как председателя Исполн. Комит. Комм. Интернационала. В июле того же 1920 года было положено начало интернациональному об'единению революционных профессион. организаций, и выработаны принципы временного „Международного Совета Профессион. и Производств. Союзов". Основной задачей новой организации об'являлась борьба, вместе с международным коммунистическим пролетариатом, за окончательную победу социальной революции; „Междунар. Совет" об'являлся организацией, возглавляющей и направляющей „процесс революционизирования профессионального движения"; представитель „Международного Совета" входит в состав Исполнительного Комитета; в свою очередь, представитель Коминтерна входит в „Международный Совет". Весь следующий год (1920—1921) пошел на пропаганду под лозунгом: „Амстердам или Москва?" и подготовку первого конгресса Красного Профинтерна, — в качестве учредительного. Этот последний состоялся в июле 1921 г. в Москве; присутствовало 380 делегатов от 42 стран. Вынесен был ряд резолюций о задачах и тактике профессиональных союзов, о контроле над производством, о безработице, о фабрично-заводских комитетах и пр. Было выпущено также воззвание „К рабочим всего мира", разоблачающее деятельность Амстердамского об'единения и призывающее к борьбе с капитализмом. Новому междунар. об'единению профессиональных союзов дано название „*Красный Интернационал Профсоюзов*". В качестве дополнения к К.И.П., позднее были образованы при К.И.П. *международные комитеты пропаганды*, каждый по отдельным профессиям.

С деятельностью Коммунистического Интернационала тесно связано также образование Комм. Инт. Молодежи. Попытки создать Интернационал для организации молодежи делались неоднократно на международных социалистических конгрессах, но все они не имели успеха. Лишь в 1907 г. в марте образовалось впервые временное Международное Бюро, в состав которого вошли де Ман (Брюссель), Карл Либкнехт и Л. Франк (Германия). Это бюро созвало конференцию в Штуттгарте, в августе 1907 г., на которой была выработана программа социалистических организаций молодежи. На конференции были делегаты (по одному) от стран; были приняты резолюции о защите труда несовершеннолетних, о социалистическом воспитании, о борьбе против алкоголизма и милитаризма. После Штуттгартской конференции движение мало шло вперед, и к моменту мировой войны деятельность международного об'единения молодежи, казалось, совсем станет на мертвой точке. Но уже в 1915 г. выбирается Бернская конференция социалистических организаций молодежи, на которой присутствуют делегаты от 10 стран, в том числе от Германии, Польши и России. Из принятых постановлений особенно характерна резолюция по вопросу о войне. В ней конференция осуждает политику классового при-

мирения и гражданского мира и требует немедленного окончания войны, призывая молодежь стать под знамена революционного социализма. На этой же конференции были приняты постановления по вопросу об организации социалист. инт. молодежи, и учрежден международный секретариат молодежи из 5 членов; последний местом своего пребывания имеет Швейцарию; конференции должны устраиваться через каждые два года, чрезвычайные же—по постановлению 2/3 союзов; вопрос о принятии в международное об'единение решает секретариат, и лишь в спорных случаях—конференция; организации, примкнувшие к союзу, для покрытия расходов секретариата и на издание печатного органа вносят ежемесячно по 25 франков за каждые 100 членов; для облегчения сношений избирается единый язык—„Идо"; секретариат должен находиться в постоянном сношении с секретариатом Интернационала взрослых, причем желательно и взаимное представительство. Все социалистические организации молодежи вскоре примыкают к программе Бернской конференции, за исключением французского и берлинского центров. В 1919 г., в ноябре, на Берлинской конференции соц. международной орг. молодежи происходит официальное присоединение ее к Коммунистическому Интернационалу, и организация дает себе тогда же название: „*Коммунистический Интернационал Молодежи*". При этом в уставе проводится строгая централизация, а в программе деятельности—воспитание широких масс пролетарской молодежи на коммунистической основе. Не примкнувшие к К.И.М. социалистические организации молодежи весною 1921 г. об'единяются в особую международную организацию „независимых союзов молодежи" с центром в Берлине, составляя свой особый Интернационал Молодежи. Летом 1921 г. состоялся 2-ой Междунар. Конгресс К. И. М. (1-ый—Берлинский) в Москве, на котором присутствовало 150 делегатов от 30 стран, представл. 48 союзов с 800.000 членов; 3-ий Конгресс—в дек. 1922 г. и 4-й—в июне 1924 г. происходили также в Москве. *С. Солнцев.*

IV. Развитие социалистической мысли в России. Русский социализм в своей эволюции и в своих разветвлениях питался из трех источников: из разных течений европейского социализма, из народных движений в самой России и, наконец, из эволюции революционной русской интеллигенции, этой до конца XIX века главной носительницы социалистических идей, отражавшей и преломлявшей по-своему как классовую борьбу в России, так и разные формы европейского социализма. Главные этапы русского социализма след.: т. наз. „ранний социализм" 30-х и 40-х годов, революционное народничество 60-х и особенно 70-х годов, марксизм 80-х и 90-х г. и, наконец, ленинизм. Эти основные этапы сопровождались время от времени параллельными течениями, не укладывающимися в общую схему, но вполне закономерными: таковы русский бланкизм, с одной стороны, толстовство, с другой; затем возрождение революционного народничества и анархизма в эпоху первой революции и т. п. Самой характерной чертой развития русского социализма является при этом последовательный рост его классовой диференциации и все большая конкретизация его программ, — по мере усиления и выявления самой классовой борьбы в России. При своем зарождении—у Герцена, Белинского и даже у петрашевцев (*см.*)—русский социализм является крайне расплывчатым, абстрактно - сентиментальным и вполне уживается с демократическим либерализмом, крайнее крыло которого он, в сущности, собой и представляет. Отмена крепостного права выдвигает на первый план крестьянский вопрос, создает многочисленную „разночинную" интеллигенцию и порождает революционное народничество. Наконец, самостоятельное классовое выступление русского пролетариата производит новый решительный сдвиг в развитии социализма и вызывает к жизни русский марксизм и его новейшую, наиболее революционную форму — ленинизм. Вся эта эволюция находит себе идеологическую опору в соответственных этапах европейского социализма, пока, наконец, ленинизм в свою оче-

редь не начинает оказывать мощное влияние на европейское рабочее движение и европейскую социалистическую мысль. Такова наиболее общая схема развития социалистической мысли в России. В дальнейшем первые этапы русского социализма мы охарактеризуем весьма кратко, так как много дано уже в отдельных статьях о наиболее видных русских социалистах этого времени, а эпоха в ее целом будет освещена в особой статье.

Начало русского социализма относят к 30-м и 40-м г. XIX века. Попытки некоторых писателей причислить к социалистам Радищева или Пестеля не выдерживают критики, ибо мнимо-„социалистические" мысли этих революционеров ничем не отличаются от таких же мыслей ряда буржуазных писателей предреволюционной Франции XVIII века. Освободительные стремления русской дворянской интеллигенции до декабристов включительно не шли дальше идеалов радикальных деятелей великой революции—якобинцев. Только окончательный приход буржуазии к власти в самых передовых государствах Европы,—Англии и Франции (в начале 30-х г.), впервые выдвинул и там социальный вопрос, как вопрос рабочий, и создал почву для развития социализма. Эта эпоха совпала в России с самой жестокой николаевской реакцией, которая давила всякое проявление свободной мысли, опутывала полицейскими сетями даже личную жизнь обывателя и вместе с тем создавала ряд непримиримых социальных противоречий, в том числе особенно противоречие между развивающейся промышленностью и усиливающимся гнетом крепостного права. Перед Россией стояла об'ективная задача—раскрепощения и европеизации, т.-е., по существу, задача превращения в буржуазное государство. Но русская буржуазия, в отличие от западно-европейской, по целому ряду социально-исторических причин не выработала своей интеллигенции, а прогрессивная, передовая дворянская интеллигенция, как потом интеллигенция мелко-чиновничья и разночинная, не могла воодушевляться буржуазными идеалами Западной Европы в ту эпоху, когда эта буржуазия уже сама стала у власти и становилась реакционной. Поэтому освободительные идеалы русской интеллигентской молодежи 30-х и 40-х годов окрашивались в цвет наиболее распространенных в то время среди европейской интеллигенции, особенно во Франции — социалистических учений сен-симонизма и фурьеризма. Эти учения сами были отражением того протеста, который питала сознающая свою роль в обществе новая интеллигенция Франции против господства денежного мешка, а также против узкой, мещанской морали, против сковывающих личность социальных порядков и предрассудков официального буржуазного общества. Вот почему московский кружок Герцена и Огарева во второй половине 30-х г. увлекался сен-симонизмом. В нем он видел, прежде всего, освобождение личности (в чем так нуждалась николаевская Россия), освобождение женщины от лицемерной семейной морали и—в отдалении—гармоническую организацию общества под руководством просвещенной интеллигенции. Впоследствии, в эпоху 1848 г., уже будучи в эмиграции, Герцен увлекся одно время, правда ненадолго, идеями революционного коммунизма. Разочаровавшись затем и в революции и в творческих способностях европейского социализма и европейского пролетариата, он стал проповедовать своеобразное социалистическое славянофильство, веру в социализм русской общины. Т. об., *Герцена* можно считать одним из идейных основателей народничества. Но это ему не мешало с начала реформы Александра II стать почти на либеральную платформу. Еще раньше такую же эволюцию проделал разночинец Белинский (*см.*). Увлекшись европейским социализмом в самом начале 40-х г., он готов был видеть в нем „идею идей, бытие бытия, вопрос вопросов, альфу и омегу веры и знаний". Но эта „идея" была для него все время лишь абстрактным выражением его недовольства русской жизнью, в которой он не видел никаких признаков прогресса. Стоило ему во время поездки по России в 1846 г. убедиться в целом ряде ростков либерализма в обществе, а затем попасть за границу,

где он был поражен красотой и мощью буржуазной европейской культуры, как он, со свойственной ему искренностью, стал отрекаться от социализма, заговорил о заслугах буржуазии, о том, что она единственный двигатель прогресса, и что Россия должна стать буржуазной.

Наиболее глубоким было увлечение европейским социализмом, именно фурьеризмом—у кружка *петрашевцев* (конец 40-х г.). Правда, отдельные члены этого кружка (особенно Спешнев) (*см.*) были даже последователями французских революционных коммунистов 40-х г.; но в центре социалистических увлечений петрашевцев стояло все же учение Фурье, в котором они видели картину светлого, радостного, гармонического будущего, находившегося в таком резком контрасте с неприглядной российской действительностью. Противоречие между Фурье, отрицавшим всю буржуазно-европейскую цивилизацию, и политическими идеалами и стремлениями петрашевцев, которые именно мечтали о европейских порядках для России, лучше всего свидетельствует, что для них, вышедших в большинстве из мелкого чиновничества и разночинцев, тогдашний европейский социализм был лишь смутным, мечтательным и притом абстрактным, оторванным от реальной действительности выражением их демократических стремлений в политике, для которых они не находили почвы.

В отличие от расплывчатого, сентиментально-гуманитарного „социализма“ 30-х и 40-х г., социализм 60-х г., как и народничество следующего десятилетия, был гораздо более конкретным и практически революционным, т. к. он имел под собою определенную социальную основу. Этой основой было раскрепощенное крестьянство, страдавшее и от царизма, и от помещиков, и от развивавшегося капитализма. Глубокое разочарование в либеральных реформах, на которые возлагалось столько надежд, быстро шедший процесс „дворянского оскудения“ и одновременного разорения крестьянства, наконец, явственный рост капитализма, особенно в его наиболее паразитических формах, и внедрение его в деревню,—все это создавало у тогдашней передовой интеллигенции социально-психологические предпосылки для определенно антибуржуазного настроения. При чем в этом настроении сходились и демократическая, разночинная по своему промежуточному социальному положению, в сущности, мелко-буржуазная интеллигенция и часть дворянской молодежи, выбитая реформой 1861 г. из своей классовой колеи, осознавшая свой классовый паразитизм и давшая в 70-х г. довольно многочисленных представителей „кающихся дворян“, готовых „отдать долг“ народу.

Первым настоящим русским социалистом, следовательно, надо считать не Герцена, а *Чернышевского*, этого „великого русского ученого и критика“, как назвал его столь скупой на похвалы Маркс. В самом деле, Маркс чувствовал в нем много родственных черт. Став социалистом и материалистом еще в 1848 г. на студенческой скамье, под влиянием европейской революции и пропаганды петрашевцев, с которыми он был косвенно связан, Чернышевский затем впитал в себя те самые элементы европейской общественной мысли, на которых воспитывался и Маркс: диалектику Гегеля и материализм Фейербаха, французских историков и социалистов и английских экономистов-классиков. Но неразвитые общественные отношения в России не позволили Чернышевскому дойти до всех тех выводов, к которым пришел Маркс. Будучи убежденным материалистом в обще - философском смысле, он в области истории нередко оставался идеалистом, хотя и высказывал иногда гениальные, совершенно марксистские мысли и замечания. Увлекаясь из всех европейских социалистов больше всего Фурье, он в тоже время, в отличие от Фурье, стоял всецело на точке зрения революционной классовой борьбы, явно отрицательно относился к людям компромисса, в роде Луи Блана, и от Бланки заимствовал взгляд на необходимость революционной диктатуры. В то же время в области политической экономии, в своих знаменитых примечаниях к Миллю, он не пошел дальше т. наз. „рикардианских социалистов“. Нако-

нец, по отношению к России он допускал возможность развития социализма из крестьянской общины, хотя проявлял в этом вопросе много колебаний и предвидел грядущее развитие капитализма. Но будущей роли пролетариата он совсем не предчувствовал и все свои революционные надежды возлагал на интеллигенцию и лишь отчасти на крестьянство. Все же влияние его сочинений на дальнейшее развитие социалистической мысли в России было огромным.

Между тем многочисленные крестьянские восстания, явившиеся ответом на царско-помещичью „волю“, на ряду со студенческими волнениями питали у наиболее революционной молодежи самые смелые мечты о решительной социальной революции, и в 1862 г., накануне ареста Чернышевского, появилась в большом числе в Москве, Петербурге и некоторых других городах прокламация „Молодая Россия“, *Зайчневского*, с которой ведет свое начало боевой революционный социализм в духе Бабефа. Прокламация высмеивала либеральную программу герценовского „Колокола“ и мирные иллюзии „Великорусса“ и звала народ на беспощадную кровавую революцию против „императорской партии“, под которой разумелись все имущие. Главные свои надежды прокламация возлагала на „молодежь“ и армию, а также на все недовольные элементы крестьянства, в частности на „старообрядцев“, не замечая при этом, что именно в их среде росла особенно быстро новая крестьянская буржуазия. Немедленно после победоносной революции должно было создаться революцонно-диктаторское правительство, которое и взяло бы на себя проведение ряда переходных мер к осуществлению социалистической программы. Продолжателями московского кружка Зайчневского были кружок Ишутина в Москве и Худякова в Петербурге, которые, на ряду с мыслью о заговоре против царя, обращались уже с революционно-социалистической пропагандой к городским рабочим. Прокламация „Друзьям — рабочим“, разбрасывавшаяся в рукописном виде ишутинцем Каракозовым перед покушением на царя в 1866 г., была, повидимому, написана Худяковым, одним из первых популяризаторов и авторов народной литературы, с которым Каракозов, несомненно, совещался перед покушением. Эта прокламация говорила, что, когда „справится народ со своим главным врагом (т.-е. царем), остальные, мелкие—помещики, вельможи, чиновники и другие богатеи, струсят, потому что число их вовсе незначительно. Тогда-то и будет настоящая воля. Земля будет принадлежать не тунеядцам, а артелям и обществам самих рабочих. И капиталы... будут принадлежать тем артелям рабочих“..., которые „будут производить выгодные работы этими капиталами и доходы делить между всеми работниками артели поровну.“

Самым замечательным теоретиком „якобинского“, или „бланкистского“, направления в русском социализме уже тогда, во 2-й половине 60-х г., явился *П. Н. Ткачев*, будущий редактор „Набата“. Он был первым, который стал у нас популяризовать, правда в упрощенном виде, исторический материализм Маркса. По отношению к Европе он целиком стоял на позиции социальной революции и диктатуры пролетариата. В России же роль европейского пролетариата должна была взять на себя революционная интеллигенция. Совершив переворот и захватив власть, она должна была при помощи ряда декретов и путем просвещения отсталых народных масс привести Россию к социализму. Ткачев высказывал уже тогда ряд блестящих, нередко гениальных мыслей, замечательно совпадавших с тем, что в это же время писал в своих черновых тетрадях Бланки, с которым Ткачеву впоследствии, в конце 70-х г., пришлось сотрудничать вместе. Одновременно почти со взглядами Ткачева, которые ни тогда ни позже, в 70-х г., широкого непосредственного отклика не получили и имели очень мало последователей, вырабатывалось и другое важнейшее направление русской социалистической мысли, которому суждено было господствовать среди русской революционной интеллигенции больше 10 лет. Этим направлением был *бакунизм*.

бакунизм. Родоначальник европейского революц. анархизма, *Бакунин* (*см.*) нашел особенно благодарную почву для своих идей именно в России. Реакция против гнета самодержавия легко принимала у значительной части революционной интеллигенции той эпохи форму полного отрицания всякой государственной власти, всякого принуждения, всякой общественной централизации. Выражая собою индивидуализм интеллигенции и ее жажду свободы, эти идеи в то же время косвенным образом отражали исконную ненависть русского крестьянина к государственным чиновникам и опирались на исторические воспоминания о крестьянских восстаниях Разина и Пугачева, на общинные порядки „казачества“, на целый ряд отрицавших государственную власть и убегавших от нее религиозных крестьянских сект. Особенно усилилось это течение после Парижской Коммуны 1871 г., показавшей нашей революционной интеллигенции, как буржуазная республика усмиряет рабочее восстание, и укрепившей ее в ненависти ко всяким формам государственной власти. Вот почему она так ухватилась за идеи Бакунина и даже Прудона (см. *анархизм*). „Мы не боимся, писал Бакунин в 1868 г., мы призываем анархию, убежденные, что из этой анархии, т.-е. полного выражения разнузданной народной жизни, должна выйти свобода, равенство, справедливость, новый порядок и самая сила революции против реакции“. „Революция, такая, как мы ее понимаем, должна в первый же день уничтожить радикально и окончательно государство и государственные учреждения“. „Вся будущая политическая организация должна быть ничем другим, как свободною федерациею вольных рабочих, как земледельческих, так и фабрично-ремесленных артелей (ассоциаций)“. Эти мысли, изложенные Бакуниным в „Програме международного союза социалистической демократии“ и в № 1 изд. за границей русского журнала „Народное Дело“, были впоследствии подробно развиты в его книге „Государственность и анархия“, вышедшей в 1873 г. и долго служившей основным теоретическим источником для русских народников-бунтарей.

Но еще до этого, на самом рубеже 60-х и 70-х г., *Нечаевым* (*см.*) сделана была попытка синтеза централистических идей Ткачева с анархической программой Бакунина, с целью создать в России широко разветвленную революционную организацию, которая должна была подготовить всеобщее восстание к весне 1870 г., когда кончались временно-обязанные отношения крестьян к помещикам и ожидались многочисленные бунты. В изданной нечаевской организацией „Программе революционных действий“ указывалось, что „социальная революция — конечная цель наша, и политическая— единственное средство для достижения этой цели“. А орган Нечаева „Народная Расправа“, говоря, что „мы хотим народной, мужицкой революции“, что эта революция своей ближайшей целью должна ставить всеобщее беспощадное разрушение, намечал прежде всего ряд террористических актов, по отношению к которым „дело Каракозова надо рассматривать, как пролог“. Наконец, в известных „Правилах организации“, т. наз. нечаевском „революционном катехизисе“ доводился до самых последних пределов лозунг— „цель оправдывает средства“, допуская обман и насилие даже по отношению к товарищам, не посвященным в самые интимные тайны организации. Нечаев проводил эти взгляды и на практике, убив скептически относившегося к нему студента Иванова. Вскрывший все это судебный процесс нечаевцев оттолкнул революционную молодежь от нечаевских способов действий, и один из первых революционно-пропагандистских кружков 70-х г., кружок „чайковцев“, главным руководителем которого был Кропоткин, и из которого вышел ряд крупнейших деятелей „Земли и Воли“ и „Народной Воли“, ставил даже себе целью бороться с безнравственными методами Нечаева. Но тот же судебный процесс, где впервые в России обвиняемые публично высказывали свои революционно - социалистические убеждения, сыграл огромную роль в распространении этих убеждений сре-

ди революционной молодежи. Главными теоретиками начавшегося массового социалистического движения этой молодежи, известного под названием *народничества*, явились—на ряду с Бакуниным—П. Л. Лавров (*см.*) и Н. К. Михайловский (*см.*).

В 1870 г. вышла, под псевдонимом Миртова, книга *Лаврова*—„Исторические письма". Центральными идеями этой книги были следующие. Весь прогресс человечества совершался и совершается „критически-мыслящими личностями", т.-е. интеллигенцией. Но цена этого прогресса огромна, ибо он опирается на кровь и пот, на тяжкий труд и страдания трудящихся масс. Поэтому нравственной обязанностью всякой критически-мыслящей личности, без которой в ее деятельности не может быть гармонии, является работать над умственным развитием масс и этим „отдавать долг народу". Эти идеи подымали революционную молодежь в ее собственных глазах, делали ее творцом исторического процесса и вместе с тем давали историко-философское обоснование ее смутным стремлениям к пропаганде. После 1871 г., приняв личное участие в Парижской Коммуне и познакомившись с Марксом, Лавров становится революционером - социалистом, признает для Европы точку зрения классовой борьбы и диктатуры пролетариата. Что же касается России, то в издававшемся им в 70-х г. журнале „Вперед" он проповедывал эклектическое учение, где, на ряду с отрицанием государства, в то же время в противовес Бакунину, выставлялись, в качестве переходных мер, требования „свободы мысли и слова, свобода ассоциации, участие „*нисших классов в управлении*" и т. д., признавалась необходимость сохранить некоторый „государственный элемент в будущем обществе", и, наконец, в противоположность Бакунину, звавшему молодежь бросить университеты и итти в народ с призывом к немедленному восстанию или хотя бы к частичным бунтам,—предлагалось этой молодежи учиться, подготовлять себя умственно и нравственно к своей миссии и лишь потом заняться длительной пропагандой в народе, с целью выработать в нем ясное и сознательное понимание целей и средств борьбы.

Если Лавров был политиком и философом-моралистом революционного народничества ,то *Михайловский* (*см.*),тоже выступивший на рубеже 60-х и 70-х г., явился его социологом, стремившимся подвести научный фундамент под то общее, что об'единяло все складывавшиеся народнические направления, независимо от тактических и программных разногласий. Этим общим было убеждение в инстинктивном социализме русского крестьянина, при чем основой этого социализма была, по мнению народников, земельная община и, как следствие этого, возможность для России перейти непосредственно к общинному социализму, минуя капиталистический строй. Для обоснования этого убеждения Михайловский построил свою теорию прогресса, согласно которой критерием всякого прогресса—как в биологии, так и в социологии—является гармоническое развитие всех органов индивидуума, что достигается наименьшей дифференциацией среди членов общества и, наоборот, наибольшей дифференциацией органов и функций каждого отдельного члена общества. С этой точки зрения русская крестьянская община, с ее натуральным хозяйством и крайне низким уровнем техники и умственного развития, представляет собою более высокий тип развития (хотя и более низкую его ступень), чем капиталистическое общество Запада; и самый социализм в России, в отличие от Запада, где осуществление его требует революции, является скорее „консервативным" („ибо тут требуется только сохранение условий труда в руках работника, гарантии теперешним собственникам их собственности") и потому легче осуществимым. Стоит лишь тот высший тип развития, какой представляет собою русская община при помощи науки и техники поднять также на высшую ступень развития, и дело социализма будет обеспечено. Эту задачу Михайловский возлагал, как и Лавров, на интеллигенцию. Т. обр., в отличие от революционеров-бакунистов, Михайловский скорее проводил на русской поч-

ве идеи Прудона, большим поклонником которого он являлся. Отличался он от бакунистов и тем, что скептически относился к будущему революционно-социалистическому творчеству самого крестьянства и, наконец, тем, что закрепления и развития общины ожидал от государственной власти, если она будет действовать в союзе с социалистической интеллигенцией.

Революционная молодежь 70-х г., особенно их второй половины, в гораздо большей степени сочувствовала бакунизму с его проповедью бунтарства и немедленной социальной революции, чем консервативному и компромиссному социализму Михайловского или проповедям длительной пропаганды, которые вели последователи Лаврова, „лавристы". Важнейшие революционные организации 70-х г., об'единившиеся с 1876 г. в обществе „*Земля и Воля*", были бакунистскими, при чем среди наиболее талантливых теоретиков и практиков бакунизма выделился в конце 70-х г. будущий основатель русской социал-демократии—*Г. В. Плеханов* (*см.*).

С середины 70-х г. ярко выявилось еще одно течение русской социалистической мысли, стоявшее в стороне от всех остальных и в резкой противоположности ее основному анархическому руслу. Это было уже упоминавшееся нами течение „*Набата*", журнала, основанного за границей эмигрировавшим Ткачевым и в наиболее яркой и логически-последовательной форме продолжавшего якобинско-бланкистскую традицию 60-х г. Ткачев выступил с резкой критикой русского анархизма, где—совершенно в духе Маркса и Энгельса—доказывал, что уничтожение государственной власти может наступить лишь в результате „равенства", т.-е. уничтожения классов и классовой борьбы, что, наоборот, задачей действительных революционеров является „овладеть правительственной властью и превратить данное консервативное государство в государство революционное". Эту задачу, по мнению Ткачева, оставшегося в этом вопросе идеалистом и утопистом, выполнить в России не трудно, т. к. самодержавное правительство не имеет глубоких социальных корней и держится только насилием. Взять на себя эту задачу должна революционная интеллигенция, „люди умственно и нравственно развитые, т.-е. меньшинство". Заговорщицкая организация революционеров должна не „подготовлять революцию", как думал Лавров,—это делают сами господствующие классы и правительство своей эксплоатацией и насилиями,—а лишь использовать революционную обстановку. Рядом террористических ударов революционная партия расшатывает и дезорганизует власть, вызывает революционное движение в народе и лишь после того захватывает власть. Но „захват власти, являясь необходимым условием революции, — не есть еще революция. Это только ее прелюдия". Настоящая революция начинается лишь после захвата власти и состоит в том, что революционное государство, с одной стороны, беспощадно, без всяких компромиссов и колебаний, разрушает и уничтожает остатки старого строя, и, с другой, с мудрой постепенностью и эластичностью, считаясь с экономическим и умственным уровнем народных масс и пользуясь могучим орудием государственной пропаганды, вводит элементы нового социалистического строя. Наконец, Ткачев один из первых указал на всю важность для успеха революции существования строго централизованной, дисциплинированной партии, с „ясной, точной, строго определенной, последовательной, выдержанной программой".

Взгляды Ткачева имели ничтожное число последователей среди русских революционеров 70-х г., особенно еще потому, что он не верил совершенно в возможность революционной инициативы со стороны крестьянства и тем лишал народников-бунтарей той социальной опоры, на которую они больше всего надеялись. Но, как это часто бывает, нападая на Ткачева, многие революционеры той эпохи невольно и бессознательно впитывали в себя и его критику и его теорию революции. Вероятно, отчасти под его влиянием, Лавров в своей книге о Парижской Коммуне, вышедшей в 1879 г., особен-

но подробно развил идею необходимости сплоченной революционной партии и ее задачи после победы. Проповедь Ткачева была также одним из факторов, подготовивших и ускоривших переход от анархического бунтарства „Земли и Воли" к той политической борьбе, которую повела отколовшаяся от бакунистов в 1879 г. партия *Народной Воли*.

Дело в том, что надежды бунтарей на народное восстание не оправдались. С одной стороны, непрерывные массовые аресты, последовательные разгромы организации, сопровождавшиеся каторжными приговорами и даже казнями, делали все более трудной агитацию в крестьянстве и все более выдвигали вопрос о необходимости изменений политического строя. С другой стороны, само крестьянство оказывалось далеко не столь восприимчиво к революционно-социалистической пропаганде, как этого ожидали народники на основании своей теории об инстинктивном социализме мужика. Наконец, жестокие политические преследования и судебные процессы неожиданно выявили сочувствие к революционерам со стороны т. наз. либерального „общества", которое заговорило о необходимости „конституции" и политической свободы. Все это явилось причинами разрыва большинства революционеров с народническим анархизмом, для которого, кроме принципиально отрицательного отношения бакунистов ко всяким формам государственной власти, имело большое значение еще и то соображение, что конституция и парламентаризм, как это было в Западной Европе, лишь укрепили бы развитие буржуазии в России. И вот, если под влиянием Ткачева одна часть народовольцев мечтала о захвате власти революционерами, то другая, более трезвая и умеренная, надеялась при помощи террора лишь заставить правительство дать России европейские политические формы. Это был поворот от идеалов общинного мужицкого анархизма к европейскому радикализму.

Старое бакунистское народничество, с его отрицанием политической борьбы, еще продолжало существовать некоторое время в организации „*Черный Передел*", но после 1881 г. оно навсегда отошло в область истории. Анархизм 1904—7 г., как мы увидим, имел уже совершенно другие социальные корни. О „легальном" народничестве 80-х г. (В. В. и др.) мы будем говорить позже. Последним отзвуком чистого аполитического народничества можно считать социальное учение *Толстого* в эпоху 90-х и 900-х г., проповедовавшего своеобразный бойкот государственной власти, возвращение к простой, деревенской жизни и организацию коммунистических общин. Если возникшая в то время *партия социалистов-революционеров* (с.-р.) отчасти отражала пробудившиеся революционные настроения крестьян, то мирный полурелигиозный народнический анархизм Толстого был идеологическим преломлением в уме последнего „кающегося дворянина" настроений некоторых *социально-религиозных сект крестьянства*, при чем одной из них, духоборам, удалось даже создать в Канаде наиболее многочисленную и устойчивую коммунистическую общину из всех подобного рода коммунистических колоний Америки.

Между тем, развитие промышленного капитализма в России, со всеми его неизбежными последствиями, хотя и началось давно, но особенно стало заметно к концу 70-х г., и не заметить его могли лишь отдельные наиболее упрямые могикане народничества, вроде В.В. (В.П. Воронцова, *см.*) который в своей книге „Развитие капитализма в России" (1882) доказывал, что в России нет почвы для капитализма, так как нет для него ни внутреннего, ни внешнего рынка. Это развитие капитализма подготовило новый этап в развитии социалистической мысли в России, резко и принципиально отличный от всех предшествующих-*марксизм*(*см.*). Маркс был давно уже известен среди русских народников: „Капитал" появился в русск. пер. в 1872 г. и сразу сделался одной из наиболее читаемых и уважаемых книг среди народнической интеллигенции. Но он уживался не только рядом с Лассалем, но и с Прудоном и Бакуниным. Ослепленные своей теорией,

революционные народники брали у Маркса аргументы всей гибельности для трудящихся развития капитализма и совсем не видели его революционизирующей роли. Все, что Маркс говорил о рабочих, народники применяли к крестьянам, которые тоже являлись трудящимися, т. е. „работниками". Даже основанная в Женеве в 1870 г., в противовес Бакунину, „Русская секция" Интернационала, избравшая своим представителем в Генеральном Совете самого Маркса, хотя и ставила своей задачей образование „союзов среди земледельческого, фабричного и ремесленного классов", но все же все свои надежды возлагала на крестьянскую общину. Все народнические организации 70-х г., начиная с кружка чайковцев, вели социалистическую пропаганду среди фабрично-заводских рабочих. Только среди рабочих эта пропаганда и встречала жадное внимание, понимание и сочувствие. Но и народники-пропагандисты, и даже многие находившиеся под их влиянием рабочие видели в русских рабочих не особый класс, со своими интересами и целями, со своей исторической миссией, а только выходцев из крестьянства, которым скорее, чем интеллигенции, удастся поднять крестьян на восстание. Тем не менее, эта пропаганда стала приносить неожиданные результаты. Тот „народ", о котором мечтали народники, она находит не в деревнях, а на фабриках и заводах городов. С самого начала 70-х годов усиливается забастовочное движение в главных центрах, особенно разросшееся к концу десятилетия. Появляется ряд выдающихся рабочих-революционеров, и некоторые из них (как, напр., прославившийся своей речью на суде ткач Петр Алексеев) приобретают всероссийскую известность. Наконец, отчасти под влиянием лавристов, которые сочувствовали деятельности германских с.-д. и много рассказывали о них рабочим, помимо и чуть ли не вопреки программе бунтарей, образуются чисто классовые рабочие организации (как „Южно-русский" и „Северно-русский" рабочие союзы), выставляющие также и политические требования.

Все это вместе взятое, на ряду с проникновением капитала в деревню и разложением общины, на ряду с разочарованием в социализме мужика, подготовляло почву для серьезного кризиса в рядах социалистической интеллигенции и для поисков новых путей. Одним из первых, кто взялся серьезно за легальную пропаганду марксизма в России, был в 70-х годах киевский проф. *Зибер* (*см.*). В 1879 г. в Петербурге, в студенческих кругах, близких к группе „Черного передела", появились первые революционеры марксисты. Но все это были единицы, никакого „направления" еще не составлявшие. Героическая борьба Народной Воли против самодержавия на время затмила собою все эти ростки новых идей. Даже большинство уцелевших от арестов рабочих из „Северного союза русских рабочих", во главе с его основателем Халтуриным, примкнуло к Народной Воле. Даже бывшие народники-бунтари, организовавшие „Черный передел", во главе с Плехановым, признали необходимость политической борьбы и пытались об'единиться с Народной Волей. Но когда эта героическая борьба, несмотря на убийство царя, окончилась поражением, русская социалистическая мысль оказалась на распутьи или, вернее, уперлась в тупик. Отдельные народовольческие писатели, попавшие в эмиграцию, еще говорили о захвате власти революционерами. Еще делались отдельные попытки восстановить разгромленную организацию Народной Воли в России. Но все это лишено было почвы, веры в успех и, главное, каких бы то ни было теоретических основ. Часть бывшей революционной интеллигенции отреклась совсем от революционной деятельности. Другая часть считала необходимым отказаться на время от борьбы за социализм и все силы направить на завоевание конституции. В это время, в 1882-83 г. и было положено начало русского марксизма, как нового выхода, нового пути для русской социалистической теории и практики. Характерно, что основоположники русского марксизма и основатели русской соц.-демократической партии вышли не из среды

лавристов, несмотря на их сочувствие научному социализму Маркса и Энгельса и германским с.-д., а из среды бывших бакунистов, землевольцев и чернопередельцев. Это об'ясняется тем, что именно бывшие бакунисты усвоили некоторые элементы материалистического понимания истории и убеждение в том, что революция может победить лишь как революция массовая, народная. Разочаровавшись в крестьянстве, они вспомнили свой опыт с городскими рабочими. Особенно Плеханов, который в 1878—79 г. энергично работал среди петербургского пролетариата, должен был в годы перелома оценить этот опыт. А уроки европейского рабочего движения и углубленное изучение работ Маркса и Энгельса давали прочное теоретическое и практическое основание этому переходу от народничества к марксизму. Так родилась группа „*Освобождение Труда*“.

Русский революционный марксизм, главным теоретиком и провозвестником которого в 80-х и 90-х г. был Плеханов (а со середины 90-х г. также и Ленин), явился применением диалектического и материалистического метода Маркса к анализу русской общественной жизни и к теоретическому обоснованию новой с.-д. программы русских социалистов. В отличие от всех без исключения прежних течений русского социализма, русский марксизм признал, что Россия бесповоротно вступила на путь капиталистического развития, при чем именно в этом видел залог победы грядущей революции. Именно капитализм непрерывно подтачивал и расшатывал экономические и социальные основы дворянско-самодержавного режима и вместе с тем способствовал численному росту пролетариата, которому история предназначила быть застрельщиком и гегемоном будущей российской революции. В первых своих марксистских работах (вышедших, конечно, за границей) — „Социализм и политическая борьба“ и „Наши разногласия“—Плеханов диалектически разрешал вопрос, над которым бились прежние революционеры: вести ли политическую борьбу с правительством, откладывая борьбу за социализм до тех пор, пока будут созданы свободные политические условия, или же сразу подготовлять социалистическую революцию, минуя борьбу за политическую свободу?.. Плеханов доказал, что при такой постановке вопроса революционеры вращаются в безвыходном кругу и обречены на полное бессилие. Ибо политическую борьбу с правительством успешно может вести только пролетариат, ставший во главе всех страдающих от самодержавия классов и групп. А пролетариат может выступить в борьбу с самодержавием только потому, что он ведет классовую борьбу с буржуазией, борьбу за социализм. „Всякая классовая борьба есть борьба политическая“, любил повторять Плеханов изречение Маркса, т.-е. борьба со всем государственным аппаратом господствующих классов. С другой стороны, полное экономическое освобождение пролетариата немыслимо без предварительного его политического освобождения. Т. о., социализм и политическая борьба взаимно обусловливают друг друга.

Далее, при помощи тщательного экономического и статистического анализа общественного развития России, Плеханов доказывал рост капитализма и в городе и в деревне, прогрессивное разложение и разрушение общины, непрерывный численный рост пролетариата, обострение классовых противоречий и, как результат этого, неизбежное усиление революционной борьбы рабочего класса. В самом деле, в царствование Александра III, на ряду с полным почти прекращением крестьянских волнений, с раболепной покорностью либерального „общества“, одни только рабочие (и отчасти студенты) целым рядом волнений и забастовок (самая знаменитая была в Орехово-Зуеве на фабрике Морозова в 1885 г., где руководителями явились бывшие члены „Северного союза русских рабочих“ —Моисеенко и Волков) нарушали кладбищенскую тишину царствования и заставляли правительство ввести некоторое подобие фабричного законодательства. Величайшей заслугой Плеханова в истории русского социализма является то, что он „открыл“ в самодержавной России рабочий класс,

как самостоятельную и притом главную движущую силу будущей революции, и этим привел русский социализм „от утопии к науке“, дал ему прочную классовую основу. В начале это открытие Плеханова с трудом завоевывало себе признание. Наоборот, выступление русского марксизма и его критика всех других революционных течений вызвало к нему на первых порах враждебное отношение большинства революционеров. Над Плехановым и его учениками смеялись, как над чудаками, которые надеются освободить Россию от гнета самодержавия при помощи рабочих, составляющих ничтожное меньшинство населения. Когда Плеханов на первом международном социалистическом конгрессе в Париже в 1889 г. сказал свою знаменитую фразу, что „революционное движение в России победит, как движение рабочих“, к этому отнеслись недоверчиво даже многие европейские социалисты. Но вот семь лет спустя разразилась грандиозная 30-тысячная стачка петербургских ткачей и прядильщиков, благодаря которой революционное значение русского пролетариата было всеми признано, и которая начала собою новую эпоху в истории России.

Но всем этим далеко не исчерпывается роль и значение Плеханова в развитии социалистической мысли в России. Как блестящий продолжатель и популяризатор Маркса в самых разнообразных областях обществоведения, Плеханов имел огромное влияние не только на русский социализм, но и на всю русскую общественную мысль за последние 20 лет перед мировой войной. Он сделался общепризнанным учителем не только передовых русских рабочих, но и ряда поколений русской интеллигенции. Впрочем, в течение первого десятилетия со времени основания группы „Освобождение Труда“ марксизм очень медленно распространялся в России и лишь в подпольных с.-д. кружках. Общественное оживление, последовавшее за голодом 1891 г., усилившееся еще более со смертью Александра III, лихорадочный рост капитализма в 90-х годах и сопровождавший его рост рабочего движения,—только все это подготовило почву для широкого распространения идей марксизма в России. Но и тут марксизму пришлось вести жестокую идейную борьбу с эпигонами народничества, со всей легальной народнической публицистикой, во главе которой стоял руководимый Н. К. Михайловским журнал „Русское Богатство“. От революционных народников 70-х г. эти эпигоны отличались тем, что почти утратили веру в революцию и фактически стали мирными радикалами, возлагая надежды на жизненность и устойчивость „самобытных“ форм русской экономической жизни, на общину, артель, кустарные промыслы и т. п. Марксистов они обвиняли в желании навязать России чуждое ее условиям одностороннее учение Маркса, в „узости“, „доктринерстве“, в стремлении обезземелить и пролетаризовать русское крестьянство, чтоб создать предварительно тот пролетариат, без которого, по мнению марксистов, не мыслим путь к социализму.

Марксисты сперва отвечали частными письмами, нелегальными брошюрами (в том числе брошюры молодого Ленина „Что такое друзья народа и как они воюют против с.-д.“), а со средины 90-х г. получили возможность выйти на легальную арену. Вышел ряд книг, и самыми замечательными из них были: Плеханова (под псевд. Бельтова) „К вопросу о развитии монистического взгляда на историю“ и (под псевд. Волгина) „Экономическое обоснование народничества в трудах г. Воронцова“ и Ленина (В. Ильина) „Экономические очерки и этюды“ и „Развитие капитализма в России“. Удавалось марксистам время от времени выпустить несколько номеров журнала, пока его не закрывали („Новое Слово“, „Начало“ „Жизнь“, отчасти „Научное обозрение“). Первым и самым ярким из них, сыгравшим, несмотря на свое всего лишь 8-месячное существование, роль марксистского „Современника“ или „Отечественных Записок“,—был журнал „Новое слово“ 1897 г. Книга Бельтова „Монистический взгляд“, вышедшая в самом конце 1894 г., спустя несколько месяцев после марксистской

книги Струве, сыграла решающую роль в завоевании марксизмом студенческой молодежи. Здесь впервые перед широкой аудиторией была изложена в достаточно прозрачной и увлекательной форме вся глубоко-революционная и все охватывающая философия марксизма. Впервые также перед той же широкой аудиторией были намечены перспективы будущего широкого освободительного движения России и роль в ней пролетариата.

Со второй половины 90-х годов влияние легального народничества почти сошло на нет. Марксизм для известной части интеллигенции стал модой. Для этой части интеллигенции он был лишь освобождением от пут унылой идеологии эпигонов народничества, бодрым и жизнерадостным признанием прогрессивности капитализма в России, „на выучку“ к которому звал русское общество тогдашний марксист Струве уже в 1894 г. Что это было именно так, что в марксизме привлекала значительную часть интеллигенции не борьба за социализм, а борьба за свободное развитие капитализма, видно из тех частичных и последовательных расслоений, которым подвергалась марксистская интеллигенция. Пока у нас не было ни либеральных, ни демократических партий, пока единственной силой способной бороться с царизмом казался пролетариат, громадная часть оппозиционно-настроенной интеллигенции была окрашена в с.-д. цвет. Но уже с конца 90-х г. в марксизме различаются две струи: пролетарская, во главе с подпольными революционерами, и легальная, чисто интеллигентская, с явным уклоном в сторону просвещенного либерализма или демократизма и приверженностью к германскому ревизионизму Бернштейна. В начале XX века целый ряд бывших марксистов во главе со Струве переходит к либерализму. А революция 1905 г., завоевавшая легальное поприще для буржуазной интеллигенции, еще более ускорила этот процесс дифференциации.

Общественный под'ем 90-х г. вызвал некоторое оживление и среди революционного народничества, но и оно испытало на себе влияние марксизма. Уже последний народовольческий, террористический кружок 80-х годов, кружок А. И. Ульянова, в своей программе, составленной Ульяновым (братом Ленина) в феврале 1887 г., высказал ту мысль, что „рабочие—естественные носители социалистических идей и проводники этих идей в крестьянстве, они будут иметь решающее влияние при экономической и политической борьбе,“ и поэтому „главные силы партии (после завоевания путем террора политической свободы: „при существующем политическом режиме“, прибавляет программа, „невозможна никакая часть ее деятельности“) должны итти на воспитание и организацию рабочего класса“. Неудивительно, что при таких взглядах, разногласия кружка с соц.-дем. „кажутся нам очень несущественными и лишь теоретическими... С.-д. всегда будут нашими ближайшими товарищами“. В самом деле, возникшая в начале 90-х г. в Петербурге группа „молодых народовольцев“ (Александров, Ергин и др.) вела работу почти исключительно в рабочих кружках и мирно встречалась там с с.-д. Нелегальный орган этой группы—„Летучий листок“ вызвал даже обвинение в марксизме со стороны Лаврова. И его последний 4-й номер был, действительно, почти совсем марксистский. Если народническая молодежь приближалась к марксизму, то вернувшиеся из ссылки „старики“ (Натансон, Тютчев и др.), в союзе с легальными литераторами (Михайловский, Богданович), образовали в 1893 г. партию „*Народного Права*“ (она распалась после арестов 1894 г.), которая поставила своей непосредственной целью борьбу за конституцию. На рубеже XX века из всех народнических и полународнических групп образовалась партия „*соц.-рев.*“, настолько широкая и терпимая, чтоб об'единять марксистский ревизионизм с мелкобуржуазным социализмом. Партия признавала основные положения европейского социализма, но сочетала их с идеями былого русского народничества. Она хотела опираться на рабочих, крестьян и интеллигенцию, хотела соединить классовую борьбу рабочих с крестьян-

скими восстаниями и террором. Важнейшим теоретиком партии сделался В. Чернов. В эпоху первой революции с.-р. в гораздо большей степени, чем народничество 70-х годов, непосредственно отражали революционное настроение крестьянства и даже отчасти пополнились представителями его. Увлекаемая размахом крестьянского движения, часть с.-р., не довольствуясь требованиями социализации земли и программой минимум, выдвигала непосредственно программу максимум. На первом с'езде партии в январе 1906 г. произошел раскол: на правом крыле образовалась группа „*народных социалистов*“, отказавшихся от революционного метода борьбы, на левом крыле—группа „*максималистов*“, проповедывавшая непрерывную революцию вплоть до социализации не только земли, но и фабрик и заводов и образования „трудовой республики“. Но отлив революционной волны и успокоение крестьянства снова выявили типично интеллигентское лицо известной части этой партии, для которой над социальным моментом стал преобладать политический, борьба за „демократию“.

Наконец, революция 1905 г., особенно ее распад, сопровождавшийся разочарованием части рабочих в политических партиях и острой безработицей, снова вызвал к жизни *анархизм*. Но этот анархизм не имел почти ничего общего с народническим анархизмом 70-х г. Если тот косвенно отражал ненависть крестьянина к угнетающему его государству, то русский анархизм XX века был простым переносом на русскую почву новейшего европейского анархизма. И тот и другой явились порождением города, с его кричащими противоречиями богатства и нищеты, с его нервностью и неуверенностью рабочего в завтрашнем дне. В России анархизм принимал иногда особенно уродливые формы, сливаясь незаметными переходами с уголовным миром или создавая теории „безмотивного террора“. От такого уклона, разумеется, была весьма далека наиболее организованная и теоретически выдержанная его фракция—„анархистов-синдикалистов“, руководимая теоретически из Лондона Кропоткиным.

И анархизм, и максимализм, и даже с.-р. почти сошли на нет в годы реакции. И только марксизм, несмотря на непрерывную жестокую внутреннюю борьбу и внешние преследования, сохранил свои виднейшие идейные позиции в рабочем классе, что нашло себе отражение, между прочим, при выборах во все 4 Государственные Думы.

Широкое распространение партии с.-р. после Февральской революции 1917 г., приведшее ее даже к власти в коалиции с буржуазией, было успехом мелко-буржуазной демократии, а не социализма; а их борьба с большевиками после Октября была именно борьбой этой мелко-буржуазной демократии против социалистической диктатуры пролетариата. Поэтому в историю *социалистической* мысли в России этот заключительный этап в развитии народничества не внес ничего нового.

Самым последним этапом в развитии русского социализма является *ленинизм*, зародившийся, как особая, наиболее революционная разновидность русского марксизма, еще в начале XX в. и особенно во время первой революции, но получивший законченное выражение лишь в эпоху мировой войны и вызванных ею революций. Корни ленинизма следует искать как в международных отношениях, так и в развитии России XX в. Развитие новейшего империализма имеет свою диалектическую логику. Развращая сознание значительных и притом наиболее культурных и организованных слоев пролетариата на Западе, приручая их экономическими подачками, участием в грабежах колоний и отсталых стран, а также фикцией „демократии“,—этот империализм одновременно своей грабительской политикой, как и своими внутренними распрями, будит и революционизирует Восток, т.-е. экономически, культурно и политически отсталые народы, порабощаемые и местными деспотами и хищническим капиталом Запада. Но все диалектические противоречия, свойственные мировому империализму, сконцентрировались, как в фокусе, в России последних десятилетий. Россия

находится на рубеже двух миров, двух культур—империалистического Запада и полуфеодального Востока; и, понятно, именно в России должны были проявиться с наибольшей остротой и яркостью все противоречия и Запада и Востока одновременно. В самом деле, хотя на Западе первые зародышевые пролетарские движения, сопровождаемые крестьянскими восстаниями, возникли уже при зарождении капиталистического строя и составляли принадлежность всех буржуазных революций, но современная классовая борьба пролетариата началась в передовых европейских государствах лишь после того, как буржуазия пришла фактически к власти, и после того, как крестьянство, избавившись от остатков крепостного права, утратило былую революционность и прониклось социальным консерватизмом. В России же все эти моменты, борьба буржуазной и мелко-буржуазной интеллигенции за политическую свободу и стремление буржуазии к политическому господству, классовая борьба растущего пролетариата с капиталом и охраняющим его государством и стихийное движение крестьян против помещиков, все эти моменты в России XX в. совпадали во времени и тем усиливали, обостряли и концентрировали революционные процессы, углубляли революционную идеологию. Наконец, как государство, составленное путем ряда завоеваний, как государство с одной великодержавной народностью и массой угнетенных национальностей и племен, Россия выдвинула еще национальный вопрос в очень острой форме, так как покоренные народы стонали под тяжестью тройного гнета: социального, национального и политического. Таким обр., в России конца XIX и начала XX в., на ряду с чисто-восточным деспотизмом и остатками полуфеодальных, крепостнических отношений в деревне, среди темного, отсталого, но разоряемого и озлобленного крестьянства бешено развивался капитализм в его новейших, технически наиболее прогрессивных формах, в значительной степени притом насаждаемый европейской империалистической буржуазией. Это последнее обстоятельство в некоторых общественных слоях придавало революционному движению отчасти и национальный оттенок борьбы против иностранного капитала, что сближало в некоторых отношениях Россию с эксплоатируемыми странами Востока. В результате, в то самое время, как в Зап. Европе наступила характерная для эпохи II Интернационала полоса „демократии“ и сравнительно мирного „парламентского“ развития, в России—как следствие все растущих бесчисленных социальных, политических и национальных противоречий — накоплялись огромные запасы революционной энергии. Эта энергия и разрядилась на протяжении 12 лет в трех революциях, и ее воплощением был Ленин. *Ленин* не только всем существом своим усвоил глубоко-революционную теорию Маркса, он не только использовал наново весь огромный опыт европейской классовой борьбы, он в то же время впитал в себя все традиции и настроения героической эпохи русского революционного движения и вместе с тем сумел оценить роль империализма с точки зрения отсталых, колонизируемых европейским капиталом стран, наиболее революционной из которых была об'ективно именно Россия. В этом отношении Ленин резко отличался от Плеханова. Плеханов перешел от русского революционного народничества к европейскому марксизму в эпоху, когда в Европе наступил „мирный“, „органический“ период развития, когда во всех странах складывались с.-д. партии, перед которыми стоял долгий путь пропаганды и организационного собирания сил. Поэтому его никогда впоследствии не интересовали вопросы колониальные, не интересовали, в частности, грядущие судьбы Востока и его отношение к империализму, мало интересовала также и самая природа империализма, как всемирного этапа в развитии капитализма. Марксизм Плеханова был чисто „европейским“, приспособленным к узко-европейским, особенно германским, формам новейшего организованного рабочего движения. Поэтому также он первые свои марксистские выступления обру-

шил со всей силой своего таланта и страстностью полемиста на оба полюса прежнего революционного движения: и на бакунизм и на ткачевизм, и это несмотря на то, что якобинские симпатии и настроения самого Плеханова не подлежат сомнению. Ленин же выступил на историческую арену значительно позже Плеханова, когда становился ясным империалистический характер мирового капитализма, когда во II Интернационале уже обнаружился его оппортунистический уклон, и когда, с другой стороны, в России кончался период реакции и начинался предреволюционный под'ем. По всем этим причинам для Ленина революционный марксизм был не только теорией, но и непосредственным действием и при том с самого начала опирался не только на организованных рабочих, но и на те запасы революционной энергии, которые накоплялись развитием капитализма в разоряемом и все больше расслоявшемся крестьянстве.

Организационные и тактические взгляды ленинизма, выявившиеся в его борьбе с меньшевизмом (см. ниже в этом же томе *Российская соц.-демократия*), всегда подымались им до принципиальной, теоретической высоты, как противовес революционного марксизма русской разновидности международного оппортунизма. И первой теоретической заслугой Ленина является именно восстановление в чистом и полном виде старого революционного учения самих Маркса и Энгельса, как оно сложилось в бурную эпоху середины XIX в., учения, искаженного и затушеванного впоследствии, лишенного его революционной сущности большинством марксистов II Интернационала. Но, кроме того, Ленин внес ряд новых теоретических элементов в марксизм, и поэтому ленинизм справедливо считается особым этапом в развитии революционного марксизма. Прежде всего, Ленин внес в марксизм углубление и новое освещение крестьянской проблемы. Для Ленина—крестьянство, особенно беднейшее, важнейший союзник пролетариата в борьбе за социализм. Совершенно самостоятельным вкладом Ленина в теорию марксизма является его учение об империализме, как последнем этапе развития капитализма. Ленин впервые анализировал все мировые последствия новейшего развития капитализма и, в соответствии с этим, огромное значение придавал национальному и колониальному вопросу. Ленин наново и самостоятельно разработал марксистское учение о государстве и диктатуре пролетариата, использовав для этого опыт русских революций. Одним из элементов ленинского учения о государстве является признание необходимости—после победы революции—разрушить старый государственный аппарат и создать новый, пролетарский, в форме власти Советов, которая соединяет диктатуру пролетариата, руководимого коммунистической партией, с максимально возможным в революционную эпоху участием широких трудящихся масс в вопросах государственного управления. Наконец, Ленину принадлежит тщательная разработка учения о революционной партии пролетариата и ее роли в революции. Если к этому прибавить глубокие исследования Ленина в области марксистской политич. экономии и материалистич. философии, его теоретическую борьбу с международным оппортунизмом (которую он вел наравне с Плехановым), наконец, его инициативу в возрождении коммунистического революционного движения на Западе и в создании Коммунистического Интернационала, то в самых общих чертах обрисуется тот вклад, который внес ленинизм в развитие социалистической мысли не только в России, но и во всем мире (см. в этом же томе *Ленинизм*).

Литература: *Покровский*, „История“, т. IV; *его же*, „Русская история в самом сжатом очерке“, ч. ч. II и III: *его же*, „Очерки по истории рев. движения XIX и XX в.“ *Пажитнов*, „Развитие социалистич идей в России“; *Сакулин*, „Русская литература и социализм“; *Семевский*, „Петрашевцы“; *Лейкина*, „Петрашевцы“; *Плеханов*, „Чернышевский“; *Стеклов*, „Чернышевский“; *его же*, „Борцы за социализм“; *Полонский*, „Бакунин“; *Горев*, „Бакунин“; *Козмин*, „Ткачев“; *Горев*, „Михайловский“; *Книжник*, „Лавров“; *Шишко*, „Общественное движение 60-х и первой половины 70-х г.“; *Богучарский*, „Активное народничество 70-х г.“; *его же*, „Партия народной воли“; *Аптекман*, „Общество Земля и Воля“; *Невский*, „Очерки истории Р. К. П.“; *Ваганян*, „Плеханов“; *Плеханов*, „Наши разногласия“ и „Монистический взгляд на историю“; *Ленин*, „Друзья народа“, „За 12 лет“, „Против

течения“, „Империализм“, „Государство и революция“, „Пролет. революция и ренегат Каутский“; *Сталин*, „Ленинизм“: *Керженцев*. „Ленинизм“; *Ангарский*, „Легальный марксизм“; *Спиридович*, „История партии с.-р.“; *Буревой*, „Распад“; *Процессы* Ц. К. С. Р. и Б. Савинкова. Из огромного мемуарного материала важнейшие: *Кропоткин*, „Записки революционера“; *Фигнер*, „Запечатленный труд“; *Дейч*, „За полвека“.—*Журналы*: „Былое“ и „Каторга и ссылка“.

Б. Горев.

V. Российская социал-демократия. Как и в Зап. Европе, социал-демократия явилась у нас соединением теоретического социализма с рабочим движением. Теоретические основы Р.С.-Д. даны были группой „Освобождение Труда“ (1883—84), т.-е. первой марксистской группой, во главе с Плехановым (*см.*). Что же касается рабочего движения, то стихийные формы его мы встречаем с самого появления у нас фабрично-заводской промышленности. А в 70-х годах XIX в. возникают первые классовые рабочие организации: „Южно-российский Союз рабочих“, основанный Е. О. Заславским в Одессе (1873—75), и „Северный Союз русских рабочих“, основ. в Петербурге в 1878 г. Степаном Халтуриным и Виктором Обнорским, учеником Заславского. Обе эти организации, в отличие от тогдашних народников, ставили себе целью не только экономическую борьбу с хозяевами, не только борьбу за социализм, но и борьбу с самодержавием. После полицейского разгрома этих союзов и раскола „Земли и Воли“ на „Народную Волю“ и „Черный Передел“, уцелевшая от арестов часть сознательных, распропагандированных прежними организациями, рабочих образовала „рабочую группу“ Народной Воли, в программе которой было требование перехода власти к трудящимся, а другая часть через „Черный Передел“ вошла в первые марксистские кружки 80-х г. Часть чернопередельцев (Щедрин, Ковальская и др.) основали в Киеве в 1880—81 г. второй „Южно-русский рабочий Союз“. Член Северного Союза Моисеенко был руководителем знаменитой Морозовской стачки в Орехово-Зуеве (1885). Так, начиная с рабочих, руководимых кружком Чайковского и Кропоткина (1872), через московский кружок Бардиной с рабочим Петром Алексеевым, через „Землю и Волю“, Южно-русский и Северно-русский рабочие Союзы, через „Народную Волю“ и „Черный Передел“ не прерывалась традиция революционного рабочего движения, влившегося с середины 80-х годов в социал-демократическое русло.

Первые с.-д. кружки, занимавшиеся пропагандой среди студенчества и рабочих, возникли в Петербурге в 1884—86 г., т.-е. одновременно с группой „Освобождение Труда“ и—в значительной мере—независимо от нее. Это, во-первых, группа Благоева (впоследствии вождя болгарских коммунистов), Латышева, Харитонова и Андреева, называвшая себя „партией русских с.-д.“, но колебавшаяся еще между Марксом, Лассалем и Лавровым; и затем марксистская группа Л. Точисского (существовала с 1886 по 1888 г.). С первой из этих групп вступила в сношения группа „Освобождение Труда“, и Плеханов написал большую статью для № 2 (и последнего) издававшейся ею газеты „Рабочий“. В группе Точисского были рабочие (как В. А. Шелгунов), уцелевшие от разгрома группы и бывшие в 90-х и 900-х г. выдающимися деятелями с.-д. партии. Продолжением первых двух групп явилась в Петербурге с конца 80-х и начала 90-х г. группа Бруснева, в которую входил, между пр., и Л. Б. Красин. Отделение этой группы образовалось в 1891 г. в Москве. Завязала она сношения и с провинцией, где в это время тоже кое-где возникали марксистские кружки и группы, и начиналась с.-д. пропаганда среди рабочих. Так, в Казани действовала группа Федосеева, связанная также с Нижним, в Самаре—кружок В. И. Ульянова-Ленина (1889—1893), в Киеве вел пропаганду среди рабочих доктор Абрамович (а потом Мельников, Эйдельман и др.), в Одессе возник кружок Д. Б. Рязанова (из него потом вышли Стеклов, М. Павлович, Циперович и др.). Довольно значительная с.-д. группа образовалась с конца 80-х и начала 90-х г. в Вильне, где она вела пропагандистскую работу среди еврейского ремесленного пролетариата и откуда она распространила свое влияние на всю Белорус-

сию, Литву, а потом и Польшу, образовав в 1897 г. „Всеобщий еврейский рабочий Союз“—Бунд (*см.*). Во главе ее стояли Кремер, Копельзон, Айзенштат и др., а одно время (в 1893—95 г.)—Ю. О. Мартов (Цедербаум), высланный в Вильну из Петербурга, где он стал с.-д. под влиянием одного из членов кружка Бруснева. В Туле в середине 90-х г. возникла с.-д. группа, руководимая А. А. Богдановым (Малиновским) и В. А. Базаровым (Рудневым), в Харькове — марксистский кружок Ф. А. Черeванина-Липкина.

Все эти группы изучали марксистскую литературу, т.-е. Маркса, Энгельса и Плеханова, внимательно следили за жизнью европейских с.-д. и в то же время занимались пропагандой среди интеллигентной молодежи и рабочих. Все они мыслили себе ближайшее будущее в форме политической революции, которая расчистит почву для дальнейшей борьбы рабочих за социализм. Но пропаганда их носила в значительной мере абстрактный характер и охватывала лишь немногие рабочие кружки. Между тем, лихорадочно-быстрое развитие капитализма в 90-х г. и столь же быстрый численный рост пролетариата, сопровождавший разорение широких крестьянских масс после голода 1891 г., вызвали новый под'ем стачечного рабочего движения. В то же время, как известно, голод встряхнул и либеральное „общество“ и радикальную молодежь. Началось общественное оживление. Все это, на ряду с успешной борьбой марксистов с народниками (книги Струве и Плеханова-Бельтова в 1894 г.), значительно усилило ряды марксистов и толкнуло их к изменению методов и темпа своей деятельности среди рабочих. Еще в 1894 г. в Вильне Кремером и Мартовым была написана брошюра „Об агитации“, разошедшаяся в рукописных копиях по ряду городов и имевшая большое влияние на тактику с.-д. групп.

В этой брошюре отмечалось то всеми тогда наблюдавшееся явление, что кружковая пропаганда вырабатывала отдельных интеллигентных рабочих, которые отрывались от серой массы и смотрели на нее свысока. Поэтому рекомендовалось от кружковой пропаганды социализма перейти к широкой агитации среди рабочих масс на почве их повседневных нужд и сознанных потребностей. При этом переход от экономической агитации, от выставленных мелких, практических требований—к агитации политической мыслился, как медленный, постепенный процесс, при котором рабочие, на практике сталкиваясь с ролью государства, как покровителя хозяйской эксплоатации, проходили бы ряд стадий в своем политическом развитии. Заключая в себе много верных мыслей, брошюра „Об агитации“ в то же время давала основы для будущего „экономизма“, „теории стадий“ и т. п., т.-е. для отказа от политической агитации среди рабочих, для сведения всей деятельности с.-д. к борьбе за экономические требования пролетариата, в лучшем случае—за свободу стачек и союзов. Но первый результат брошюры был тот, что она ускорила переход с.-д. групп к новой тактике, к массовой агитации путем подпольных листков и прокламаций, а также кое-где путем нелегальных рабочих сходок. Наибольшие результаты имела эта новая тактика на первых порах в Петербурге и Москве.

Остатки разгромленной брусневской группы (сам Бруснев был на много лет сослан в Верхоянск) положили начало новой с.-д. группе в Петербурге, состоявшей преимущественно из технологов: С. И. Радченко с женой, Л. Н., Г. М. Кржижановского, Малченко, Ванеева, а также Н. К. Крупской, З. П. Невзоровой, Сильвина и других. В 1893—94 г. в эту группу вошел приехавший из Самары Ленин, а в 1895 г.—Мартов, Ляховский и др. Под руководством Ленина группа приняла строго выдержанный марксистский характер и, кроме оживленной дискуссионно-теоретической работы (Ленин написал тогда свою политическую брошюру „Друзья Народа“ и брошюру для рабочих — „О штрафах“), кроме пропаганды в рабочих кружках, из которых вышли такие рабочие, как Бабушкин,—с весны 1895 г. перешла к агитации путем листков. Осенью эта агитация приняла более массовый и



планомерный характер. Организация получила название *„Союз борьбы за освобождение рабочего класса“*. Массовые аресты (в декабре 1895 и янв. 1896 г.), в том числе Ленина и Мартова, не остановили работы. Союз был пополнен новыми людьми (Ф. Дан-Гурвич, Б. Горев-Гольдман) и вместе с уцелевшими, слившись с другими существовавшими в Питере с.-д. группами, повел лихорадочную работу. Уже в 1891 и 92 г. происходили в Петербурге нелегальные маевки, собиравшие по несколько десятков рабочих, и где рабочие с.-д. произносили политические речи. К 1-му мая 1896 г. впервые была распространена, изданная на мимеографе в 2-х тысячах экземпляров, первомайская прокламация, разбросанная по 40 фабрикам и заводам. Она произвела на рабочих огромное впечатление и отчасти идейно подготовила вспыхнувшую летом того же года грандиозную по тому времени 35-ти тысячную забастовку ткачей и прядильщиков (которой и руководил Союз Борьбы). Эта забастовка сыграла громадную роль в дальнейшем развитии с.-д. движения в России. Правительственное сообщение сделало популярным имя „Союза“ в России и за границей. Заседавший в августе международный социалистический конгресс в Лондоне (где Плеханов был делегатом от Петербурга, В. Засулич — от Москвы, П. Аксельрод—от Киева) с восторгом приветствовал шумное выступление российского пролетариата.

В Москве с 1893—94 г. возник с.-д. „Рабочий Союз“, во главе которого стояли С. И. Мицкевич, М. Лядов, Спонти и др. Он вел экономическую агитацию среди рабочих, руководил забастовками, а в марте 1896 г., к 25-тилетию Парижской Коммуны, послал парижским социалистам адрес, прочитанный и подписанный (конечно, не настоящими фамилиями) 500 московских рабочих. В это же время энергично развивалась с.-д. работа в целом ряде городов, из которых особенно выделялись Вильна, Киев (где выходила газета „Вперед“), Екатеринослав, Иваново-Вознесенск, Нижний-Новгород и т. д. Все более чувствовалась потребность в об'единении всей местной работы, в создании единой с.-д. партии. Ряд попыток, в том числе совещание в Киеве в марте 1897 г., были неудачны. Наконец, 1-го марта 1898 г. по инициативе киевской группы, издавшей к тому времени в тайной типографии два номера „Рабочей Газеты“, удалось созвать *1-ый с'езд* в г. Минске. На нем были представлены след. организации и делегаты: питерский „Союз Борьбы“—С. И. Радченко; московский „Союз“—А. А. Ванновский; киевский „Союз“—П. Л. Тучапский; екатеринославский — К. А. Петрусевич; группа „Рабочей Газеты“— Б. Л. Эйдельман и Н. А. Видгорчик; наконец, от „Бунда“ — Кремер, Мутник и рабочий Кац. С'езд постановил слить все российские с.-д. организации в единую Р. С.-Д. Р. П., в которую Бунд входил, как автономная единица. С'езд выбрал центральный комитет, назначил представителем партии за границей образовавшийся там к тому времени из группы „Освобождение Труда“ и более молодых эмигрантов „Союз русских с.-д.“ и официальным органом партии об'явил „Рабочую Газету“. По поручению Ц. К. бывший тогда соц.-демократом, впоследствии лидер правых кадетов и ныне монархист, П. Б. Струве написал Манифест только что организовавшейся партии. В этом Манифесте, между прочим, были следующие строки: „Чем дальше на восток Европы, тем в политическом отношении слабее, трусливее и подлее становится буржуазия, тем большие культурные и политические задачи выпадают на долю пролетариата. На своих крепких плечах русский рабочий класс должен вынести и вынесет дело завоевания политической свободы... Русский пролетариат сбросит с себя ярмо самодержавия, чтобы с тем большей энергией продолжать борьбу с капитализмом и буржуазией до полной победы социализма... Р. С.-Д. Р. П. продолжает дело и традиции всего предшествовавшего революционного движения в России; ставя главнейшею из ближайших задач партии в целом завоевание политической свободы, соц.-дем. идет к цели, ясно намеченной еще славными деятелями

старой „Народной Воли“... Но... она сознательно хочет быть и остаться классовым движением организованных рабочих масс...“

Тотчас после первого с'езда, за членами которого уже давно следила полиция, почти все его участники были арестованы. Одновременно произошли громадные аресты в целом ряде городов. Процесс действительного об'единения всех с.-д. организаций в политическую централизованную партию с единой программой и тактикой благодаря этому сильно затормозился. Вместе с тем затормозился и начавшийся переход партийных организаций к политической агитации и борьбе. Во многих „комитетах“ (как стали после с'езда называться с.-д. организации), начиная с петербургского „Союза Борьбы“, на первый план снова выступила чисто-экономическая агитация, а политические лозунги не шли дальше свободы стачек и союзов. Это принижение с.-д. деятельности, названное впоследствии *экономизмом*, принципиально защищалось органом петербургского „Союза“, журналом „Рабочая Мысль“, основанным группой петербургских рабочих еще осенью 1897 г. (после № 2-го издание его было перенесено за-границу). В основе „экономизма“ лежал целый ряд причин. Широкое стачечное движение 2-й половины 90-х г., которое принесло рабочим законодательное сокращение рабочего дня, вызвало у нового, следовавшего за арестами, поколения с.-д. интеллигенции, не получившей настоящего марксистского закала, а также у ряда более квалифицированных и развитых рабочих—преувеличенные надежды на возможность сравнительно мирного завоевания рабочими нужного им права коалиций. При этом общая политическая борьба, курс на революцию отходили на задний план и даже считались утопией или делом радикальной интеллигенции, а не рабочего класса. В наиболее яркой и резкой форме эти идеи были выражены в 1899 г. в декларации, получившей название „credo“, авторами которой были склонявшиеся к бернштейнианству Кускова и Прокопович. Настроение некоторых рабочих—„экономистов“, которым казалось, что интеллигенция в своих интересах втягивает их в политическую борьбу, было при арестах прекрасно использовано московским охранником Зубатовым. Он внушал рабочим мысль, что правительство готово легализовать мирную экономическую борьбу и професс. организации рабочих. *Зубатовщина* вносила большое разложение в рабочее и с.-д. движение.

Против всего этого идейного, организационного и тактического разброда, против „экономизма“ и принижения с.-д. работы началась ожесточенная борьба со стороны „стариков“, т.-е. с.-д. прежних „поколений“, и при том одновременно с двух концов: из-за границы, от группы Плеханова, и из ссылки, от группы Ленина. В заграничном „Союзе русских с.-д.“ произошел раскол. „Молодые“, во главе с Кричевским, Акимовым, а потом и Мартыновым, стали издавать журнал „Рабочее Дело“, который приближался к „экономистам“. Между „*рабочедельцами*“ и группой „Освобождение Труда“ разгорелась продолжительная и ожесточенная полемика, в которой Плеханов правильно обвинял рабочедельцев в ревизионизме и принижении задач русской соц.-дем. В книжке „Vademecum“ для сторонников „Рабочего Дела“ Плеханов напечатал, м. пр., резкий протест 17 ссыльных (написанный Лениным) против „Credo“.

Среди активных с.-д., действовавших в России, протест против „экономизма“ выразился, м. пр., в создании особой с.-д. группы в Петербурге, на ряду с „Союзом Борьбы“, под назв. „*Рабочее Знамя*“. Еще в 1898 г., одновременно с первым с'ездом партии, образовалась „Русская с.-д. партия“, в которую вошли отдельные с.-д. группы Петербурга, Киева, Харькова, Белостока, не связанные организационно с инициаторами 1-го с'езда. Этой партии (в которую входило самое большее десятка полтора—два членов) удалось выпустить 2—3 номера газеты „Рабочее Знамя“ с яркой политической окраской. Традиции этой группы и об'единяли основанную в самом конце 90-х г. „Группу Рабо-

чего Знамени", из которой вышло многовидных с.-д. (как, напр., известный большевик В. П. Ногин). Возникали и другие с.-д. группы („Рабочая библиотека", „Социалист" в Петербурге, группа „Южного Рабочего" на юге, издав. с 1900 г. популярный политический орган под этим названием) с политическим уклоном. Но они обыкновенно быстро „ликвидировались" жандармами, не были об'единены между собой и не могли повести сплоченной и планомерной борьбы с „экономизмом". Конец этой эпохе разброда положила знаменитая газета „Искра".

В 1900 г. вернулись из ссылки первые деятели петербургского „Союза Борьбы" и внесли своею яркой революционностью, своими теоретическими знаниями и практическим опытом большое оживление в с.-д. работу. Эмигрировавшие за границу Ленин, Мартов, Потресов („Старовер") вместе с членами группы „Освобождение Труда" — Плехановым, Аксельродом и В. Засулич стали издавать с конца 1900 г. боевой политический орган „Искру" и теоретический журнал „Зарю". С первых же номеров „Искры" Ленин выступил с организационно-политическим планом, который он год спустя развил в своей замечательной брошюре „Что делать", ставшей первым политическим манифестом ленинизма. Этот план заключался в том, что политическая газета, при помощи целой сети агентов и корреспондентов в России, должна была стать организующим и воспитывающим центром с.-д. движения, фактическим центром возрождавшейся партии. Этот план Ленина осуществился полностью, и „Искре" суждено было начать новую эпоху в истории с.-д. партии.

„*Искра*", руководимая исключительной по талантливости, теоретической выдержанности, глубине и революционному темпераменту редакцией, сразу повела энергичную борьбу на четыре фронта: против самодержавия, против либерализма—за его трусость и половинчатость в борьбе с самодержавием, против нового народничества в лице с.-р.—за их теоретический эклектизм и непонимание классовых отношений в России,—наконец, против оппортунизма, ревизионизма и „экономизма" в рядах самих с.-д. „Искра" проповедовала обще-национальную борьбу с самодержавием, борьбу, во главе которой должен был стать революционный пролетариат. Признавала „Искра" и экономическую борьбу русских рабочих, но всегда старалась поднять эту борьбу, расширить ее до рамок обще-классовой, а, следовательно, и политической борьбы. „Искра" довольно удачно и регулярно переправлялась всеми возможными нелегальными способами в Россию и скоро стала любимым органом революционных рабочих. Преданные делу агенты „Искры" неутомимо об'езжали российские с.-д. организации, везде проповедовали организационные и политические взгляды „Искры", боролись с оппортунизмом, разрозненностью и „кустарничеством" местных с.-д. групп и комитетов и закладывали основы „искровской", т.-е. централистической и революционной организации. Наиболее полное и яркое выражение взглядов „Искры", в которой самую активную роль играл Ленин, представляет вышедшая в марте 1902 г. брошюра его „Что делать". Историческое значение этой брошюры огромно. Она подводила итоги эпохе „экономизма", „кустарничества" и „хвостизма", т.-е. эпохе мелкого крохоборства, отсутствия общего плана и широкого размаха работы с.-д., шедших „в хвосте" за данным уровнем сознания рабочих масс, вместо того, чтобы вести их за собой. Она проповедовала переход от „тред'юнионистской" борьбы за экономические требования, за отдельные „права"—к революционной политической борьбе за низвержение самодержавия. Во главе этой борьбы должна была стоять единая, сплоченная, дисциплинированная, централизованная подпольная партия, ядром которой должна была служить организация „профессиональных революционеров", на подобие „Земли и Воли" или „Народной Воли", только, в отличие от них, тесно связанная с рабочими массами.

Быстрый успех „Искры" среди русских с.-д., кроме талантливости и

„Красная газета“, веч. вып. 19 декабря 1924 г., № 290.

„Вышедшие первые два выпуска 40-го тома знаменитого словаря „Гранат“ не содержат таких „гвоздевых“ статей, как вышедший в октябре 39-й том („Скотоводство“ — проф. Богданова и проф. Придорогина, „Система вооруженного мира“ и „Смутное время“ — М. Н. Покровского). Все же и в этих выпусках имеется ряд прекрасно выполненных и выдержанных в обычном для Словаря строго-научном и марксистском духе работ... Вообще, все то, что может послужить хотя бы маленьким кирпичиком в величественном здании новой России, пользуется исключительным вниманием редакторов Словаря... К этому нужно еще добавить, что Словарь, за редкими исключениями (напр., в статье „сода“), пользуется самыми свежими источниками и материалами... Этот Словарь, безусловно нужный и могущий принести громадную пользу и передовому крестьянину, и рабочему, и интеллигенту, могущий сослужить большую службу учащимся старших классов школ II ступени, и рабфаковцу, и студенту, выходит всего в количестве 2.550 экземпляров. Конечно, ни рабфаковец, ни студент, ни рабочий, ни крестьянин, а подчас и интеллигент не в состоянии платить за двойной выпуск (не исчерпывающий даже Со) 2 рубля. Но читать Словарь и одновременно пользоваться им, как справочником, они должны. Поэтому,—не должно быть ни одной библиотеки, ни одного клуба, ни одной избы-читальни, которые не являлись бы подписчиками на словарь Граната“.

„Книгоноша“, орган ЦБ Совпартиздат при Отд. Печ. ЦК РКП, 17/III—1925 г., № 9.

„...На коротком расстоянии вышли один за другим—двойной выпуск XL т. и первый выпуск XLI тома. Как в том, так и в другом выпуске помещены обстоятельные, умело и толково составленные статьи... Из статей, разбираемых нами выпусков, отметим статью об А. К. Соловьеве, известном революционере 70-х гг., совершившем покушение на Александра II, написанную Верой Фигнер, и удачную характеристику историка С. М. Соловьева, данную Н. А. Рожковым... Удачны статьи проф. Солнцева о социальном распределении и социальных классах, снабженные обильными библиографическими данными, и статья В. Я. Яроцкого о социальном страховании и социальном обеспечении. Использован соответствующий материал в статьях проф. Молькова о социальной гигиене и проф. Мензбира о социальной жизни животных. В конце первого выпуска XLI тома помещено начало обширной, повидимому, статьи К. М. Тахтарева о социологии.

Особую ценность имеет приложение к 1—2 выпуску XL тома, представляющее ряд таблиц и диаграмм, посвященных современному состоянию важнейших государств. На 88 стран. убористой печати приведены ценнейшие материалы по статистике, экономике, рабочему движению, государств. устройству и т. д. как СССР, так и главнейших государств мира. Для справок это приложение является прямо незаменимым пособием. Главнейшие данные по послевоенной Европе, Америке и СССР сведены в ясные и отчетливые таблицы и диаграммы, которыми весьма удобно пользоваться для различного рода работ. Такого рода сводка куда выше бесконечных литературных трактатов, где цифровые и фактические данные надо вылавливать и выуживать. Отметим, напр., такие красноречивые документы, как ориентировочную диаграмму о нашем землевладении в 1917 г. и землепользовании в 1922 г., или карту, характеризующую воцарившийся после войны валютный хаос. В общем все это приложение составлено чрезвычайно удачно; определенно дает себя чувствовать проделанная большая работа. Издана книжка вполне удовлетворительно, шрифты, даже самые мелкие, отчетливы...“

„Красная печать“, орган Отдела Печати ЦК РКП, 25/IV—1925 г., № 11.

„...Словарь нашел значительное распространение и среди сельских учителей, и среди работников транспорта, и на фабриках и заводах. Незадолго до войны явилась смелая мысль: развернуть об'яснения в глубокий научный анализ в об'еме университетских курсов, но при этом построить Словарь так, чтобы его статьи могли быть усвоены и очень слабо подготовленным читателем. Образцом стояла Британская Энциклопедия, выпущ. 11-м изд. Кембриджским универс., самая обширная в мире, со статьями-монографиями высокой научной ценности, несмотря на строго научный, часто специальный характер статей, получившая колоссальное распространение, широко проникшая и в рабочую среду и действительно ставшая „могущественнейшим средством распространения университетского знания в широких слоях населения“, как к этому стремился Кембриджский университет. Мысль встретила большое сочувствие. Во главе редакции нового издания Словаря встал К. А. Тимирязев вместе с другими видными учеными. В Словаре принял участие и В. И. Ленин, давший его читателям основную статью по обществознанию—„Маркс и марксизм“. Писал и проф. Мечников. По некоторым специальным вопросам писали выдающиеся иностранные ученые и деятели. Для каждого крупного вопроса тщательно подбирался автор—наиболее самостоятельный, наиболее глубокий исследователь и мыслитель...

...46-й том дает обзор и анализ „Четырехлетней войны и ее эпохи“, вышедшие выпуски дают разносторонний обзор военных действий, разработанный известными специалистами“.

В. А. Невский, „Как находить нужную книгу“. Госуд. Издат. 1925 г.

„Энциклопедический Словарь бр. Гранат является лучшим энциклопедическим словарем нашего времени: он один из самых полных словарей, не загроможден мелочами, которые очень редко кому требуются; на каждое слово в Словаре дана более или менее обстоятельная статья или заметка, написанная хорошим литературным языком; сведения даваемые Словарем, весьма свежие“.

„Известия ЦИК СССР и ВЦИК“, 20 окт. 1923 г., № 240

„Редакция Словаря последовательно проводит и в новых томах систему, принятую ею с самого начала издания,—систему чередования обширных руководящих статей и мелких справочных заметок, что делает Словарь одновременно ценным пособием для самообразования, богатой по темам книгой для чтения и тщательным справочником“.

„Экономическая Жизнь“, 10 декабря 1924 г., № 356.

„Ценнейшим материалом в выпущ. томе (1—2 в. 40 т.) являются статистические таблицы, данные в приложении. Эти таблицы охватывают собой статистические данные о современном состоянии важнейших государств, при чем в них собран и богатый материал, рисующий последствия войны во всех отраслях народного хозяйства главнейших стран. Эти таблицы иллюстрированы хорошими и показательными диаграммами. К этому же тому в качестве приложения добавлена глава об административном делении Союза Советских Социалистических Республик. И эта глава богато иллюстрирована статистическими таблицами, при чем самыми интересными следует признать таблицы, рисующие состояние землевладения и землепользования в 1917 году. Таблицы составлены по отдельным губерниям. К этой главе приложена чрезвычайно показательная и поучительная ориентировочная диаграмма о землевладении в 1917 г. и землепользовании в 1922 году. Сопоставление этих двух диаграмм дает хотя и приблизительное, но вполне четкое представление о том значении, какое имела для отдельных районов Советского Союза земельная революция, произведенная Октябрем. Кроме того, в этом же томе мы находим ряд статистических таблиц, рисующих положение народного хозяйства Советского Союза, частично за период в начале войны до 1923 г., частично за более короткие сроки вплоть до 1924 г.

Вышедший из печати том, как и все предыдущие тома, является, несомненно, крупным приобретением, дающим возможность каждому почерпнуть ряд ценнейших сведений, а тем самым и обогатить свой умственный кругозор.“

„Вестник Просвещения“, журн. (изд. „Нов. Москва“), № 2—3, 1925 г.

„По мере усиления работы по лабораторному или дальтоновскому методу роль справочника в школьной практике выступает все яснее, и все сильнее растет потребность в специально составленной для этой цели книге, соответствующей тому или другому уровню самостоятельной работы. При таких условиях хорошим пособием для лабораторной работы может служить I—II вып. 40 т. „Энцикл. Сл.“ как по своему размеру, так и по умелому, интересному подбору материала, извлеченного из целого ряда разл. новейших как русских, так нем., англ. и др спец. сбор. и исследований. На 83 стр. прилож. в 119 табл. и ряде диаграмм дан четкий, сравнит.-статистич. обзор соврем. состояния важнейших государств. 1-я часть этого обзора посвящена иностр. госуд-ам., 2-я часть—СССР. Здесь показана территория и насел. за 1923 г., администр. деление на ¹/IV 1924 г., деление по естеств. районам и национ. состав по переп. 1920 г. След., таблица определяет потерю русской армии в войну 1914—1917 гг. и развертывает картину землевладения 1917 г. и землепользования 1922 г., дающую представление о значении земельного переворота, произвед. Октябрьской революцией, причем не только во всей территории, но и для отдельных районов Европ. России, что особенно важно при краеведческой работе школ.

...Для школ II ступени, рабфаков, техникумов, переходящих на новые методы работы по обществоведению, это очень удобное пособие с свежим и проверенным материалом. Полезно оно и для библиотек и клубов“.

„Известия ЦИК СССР и ВЦИК“, 28 ноября 1924 г., № 272.

„В новом выпуске Энциклопедического Словаря Гранат (1—2 вып. 40-го тома) прежде всего привлекает внимание обширное приложение, составляющее лишь часть широко планированного обзора современного состояния важнейших государств. Первая часть его заключает сравнительно-статистический обзор иностранных государств и СССР. В ряду довольно многочисленных книг и брошюр по статистике мирового хозяйства за время войны, вышедших за последние 2 года, настоящий обзор выгодно выдается своей компактностью, продуманным и очень интересным подбором материала и свежестью данных. Его 119 таблиц легко обозримы, по обилию сведений не уступают иной книге, уделяют много места положению рабочего класса и, помимо экономики, дают любопытную статистику по эволюции парламентского представительства на Западе (табл. 63—83). Но самым главным преимуществом настоящего обзора является то, что он дан в энциклопедическом словаре, в котором по каждой стране имеются обширные статьи, освещающие все их экономическое развитие.

К „Обзору“ приложен ряд диаграмм. Самая поучительная—диаграмма землевладения в 1917 г. и землепользования в 1922 г. по главным районам Европейской России. В крупных чертах она набрасывает яркую картину того, что дала революция крестьянству, как распределены отобранные у помещиков земли, и как сильно выросла площадь крестьянского землепользования по ряду наиболее важных в сельскохозяйственном отношении районов“.

„Правда“, 4/XI, 1923, № 251.

„Настоящий Энциклопедический Словарь в значительной мере является созданием Климента Аркадьевича Тимирязева. Он был одним из главных редакторов издания, руководил в нем самым обширным отделом—отделом точных наук, сам написал все основные статьи по биологии, наиболее важные статьи по ботанике, обогатил Словарь серией художественно написанных характеристик ботаников, биологов и химиков, с особенным вниманием и симпатией останавливаясь на „вольных каменщиках науки“, на так-наз. дилетантах, служивших науке не по казенному назначению. Ему же принадлежат и общие статьи, освещающие развитие точного знания, его методы и условия его прогресса. Естественно, что при таком руководящем редакторе, девизом Словаря стало: „позитивизм—в философии, дарвинизм—в биологии, марксизм—в обществоведении“. Естественно, что он привлек к себе лучшие силы марксизма, что по отделу русской истории в нем с самого начала принимал ближайшее участие М. Н. Покровский, что основную статью „Маркс и марксизм“ взял на себя написать В. И. Ленин.

Новые тома Словаря составляются по той же программе, проникнуты тем же стремлением сделать научное знание достоянием каждого грамотного человека и ведутся в том же направлении, как и ранее вышедшая часть издания“.

Редакция и экспедиция Энциклопедического Словаря Библиографического Института Гранат: Москва, Тверской бульвар, д. 25. Телеф. 2-06-04.

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

7-е переработан. издание

ПОД РЕДАК: (до 33 тома) ПРОФ. В. Я. ЖЕЛЕЗНОВА, М. М. КОВАЛЕВСКОГО, С. А. МУРОМЦЕВА и К. А. ТИМИРЯЗЕВА.



ИЗД. РУССКОГО БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ГРАНАТ

ИЗ ПОСЛЕДНИХ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ ОБ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ РУССКОГО БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ГРАНАТ.

„Экономическая Жизнь“, 9 января 1925 г., № 7.

„Третий выпуск 40-го тома энциклопедич. словаря Граната есть достойное продолжение пред'идущих. Преследуя цель сделать знание доступным самым широким кругам, Словарь, естественно, больше всего внимания уделяет вопросам, имеющим современное значение. Центральной статьей в третьем выпуске помещена статья Г. Наумова: „О социализации и национализации“. Автор совершенно прав, указывая, что обоим терминам придаются различные смыслы, и что очень часто эти два термина смешиваются. Г. Наумов первую часть своей работы посвящает анализу обоих терминов. Дальнейшая часть статьи посвящена изучению происхождения обоих терминов. При изучении сущности социализации автор приводит историю социализации в Австрии, Германии, Венгрии и Англии. Читатель посвящается не только в идеологическую кухню западно-европейского меньшевизма, но и получает возможность на опыте Германии и Австрии убедиться в том, к каким до смешного мизерным результатам в этих странах привели работы специальных комиссий по социализации. До тех пор, пока буржуазия не окрепла, эти комиссии работали, сознательно вводя в заблуждение широкие массы пролетариата относительно истинных побуждений участников комиссий. Когда же буржуазия окрепла при содействии тех же социал-демократов, она попросту эти комиссии ликвидировала. Чрезвычайно ценным является материал, освещающий конкретное содержание работ указанных комиссий. В этих программах ярко выражена меньшевистская идея „мирного врастания социализма в капитализм“. Несомненно, статья Наумова является благодарным материалом и подспорьем для изучения вопроса о социализации и национализации. Существенную помощь при этом изучении, несомненно, может оказать и богатейший, приведенный в конце статьи, перечень литературы по указанным вопросам. Как и прежние выпуски, третий выпуск 40-го тома издан опрятно, четко и старательно.“

„Красная Нива“, 11 ноября 1923 г., № 45.

„Возрождается издание, представляющее большую культурную ценность. Словарь стал выходить незадолго до войны и обвеян под'емом предреволюционной эпохи. Лозунг его редактора К. А. Тимирязева —демократизация науки—стал руководящим началом для всех его участников и дал России энциклопедию, подобной которой в ней не было и нет даже в Германии, где энциклопедических словарей так много, но где все они, независимо от своих размеров, всегда остаются безжизненными справочниками. По каждому отделу знания дается ряд крупных руководящих статей строго научного характера. Казалось бы, это статьи для немногих. Но рядом в Словаре разбросано множество подсобных статеек и заметок, в которых и самый неподготовленный читатель найдет об'яснение всего того, что может оказаться для него непонятным в основных статьях. Нужно только желание знать, и при помощи таких перекрестных справок каждый может отчетливо усвоить себе содержание и наиболее трудных по предмету статей. Желание это дают талант авторов и широкая постановка каждой проблемы.

В вышедшем теперь 39-м томе самая обширная статья (добрая книжка, если перебрать обычным шрифтом в обычном формате) посвящена практическому вопросу большой в настоящее время для России важности—скотоводству, и написана она проф. Богдановым и проф. Придорогиным. К ней примыкает еще одна обширная статья по сельскому хозяйству — „Сельскохозяйственные орудия и машины“ проф. Криля. По общественным наукам прежде всего прочтутся блестящие статьи М. Н. Покровского „Система вооруженного мира“ и „Смутное время“.

Словарь всегда пользовался значительной популярностью в рабочей среде, и остается только желать, чтобы он был доступен фабричным и сельским библиотекам“.

„Красная Звезда“, Центр. военн. газета, № 112, 19 мая 1925 г.

„...Нельзя не приветствовать мысль редакции—посвятить отдельный том (46-й) своего, столь известного, издания освещению мировой войны с разных сторон. В двух выпусках помещено шесть статей с 52-мя схемами, чертеж. и рис. Статья А. А. Свечина „Общий обзор сухопутных операций“ (138 стр., отличается сжатым, рельефным описанием событий и ясной, определенной критикой. С отдельными выводами и утверждениями автора можно, конечно, не соглашаться, но они всегда возбуждают интерес и вызывают живую работу мысли. Между пр., после выхода в свет первых 2-х том. германской официальной истории, общепринятое обвинение Мольтке в порче первоначального плана Шлиффена подлежит пересмотру. Изменение этого плана, как оказывается, было вызвано коренной переменой обстановки, а именно—получением в 1911 г. в германском генеральном штабе известия о том, что французы, вместо стратег. обороны, предполагают с об'явлением войны перейти в общее наступление, нанося главный удар в Лотарингии. „Техника в мировой войне“, статья Е. К. Смысловского, богато иллюстрированная чертежами и рисунками, является кратким, но обстоятельным исследованием всех тех технических средств, которые применялись воюющими странами на суше и на море. В статье „Роль крепостей“ К. И. Величко, описав отдельные крепости, высказывает справедливое мнение, что значение каждой из них зависело, главн. обр., от того, как ею пользовались. В частности „печальная роль, сыгранная русскими крепостями“, об'ясняется автором: 1) „сумбуром в понятиях“, существовав еще в мирное время и 2) дурным управлением войсками во время войны. Ст. Б. И. Доливо-Добровольского „Борьба на морях“ представляет стратегич. и отчасти тактический очерк действий флота. Автор приходит к выводу, что Англия в морском отношении ровно ничего не выиграла от войны, т.-к., освободившись от соперничества Германии, она взамен приобрела еще более сильного противника в лице С.-А. Соедин. Штатов. В ст. „Воздушный флот“ С. Н. Покровский разбирает, на основании опыта мировой войны, различные задачи, выпадающие на авиацию. В заключение считаем нужным обратить особое внимание военных кругов на рассмотренный том „Энциклоп. Словаря“, так как они в нем найдут не только общее описание мировой войны, но и специальные исследования многих, выдвинутых ею, вопросов.

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

РУССКОГО БИБЛИОГРАФИЧ. ИНСТИТУТА ГРАНАТ.

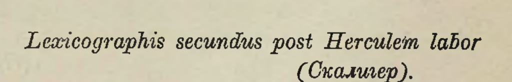
СЕДЬМОЕ ИЗДАНИЕ.

ДО 33-го ТОМА ПОД РЕДАКЦИЕЙ

проф. Ю. С. Гамбарова, проф. В. Я. Железнова, проф. М. М. Ковалевского, проф. С. А. Муромцева и проф. К. А. Тимирязева.

Пятый и шестой выпуски
сорокового (40) тома.

СОЦИАЛИЗМ.


Lexicographis secundus post Herculem labor
(Скалигер).

РЕДАКЦИЯ И ЭКСПЕДИЦИЯ „РУССКОГО БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ГРАНАТ“.
МОСКВА, Тверской бульвар, 25

Статьи 5—6 выпусков 40-го тома.

Социализм *(продолжение)*

Приложение к ст. „Развитие социалистической мысли в России“:

Автобиографии революционных деятелей русского социалистического движения 70-х и первой половины 80-х гг.

с примечаниями В. Н. Фигнер:

(Продолжение в следующем выпуске).

Главлит № 10771 Тираж 5000.

Типография Госиздата „Красный Пролетарий“. Москва, Пименовская, 16.

энергии ее руководителей, об'ясняется, гл. обр., резким изменением социально-политической обстановки в России. Промышленное оживление 90-х г., создавшее предпосылки для сравнительно успешной экономической борьбы пролетариата, сменилось к началу XX в. кризисом и застоем. Забастовки встречали все более решительный отпор хозяев, на стороне которых стоял весь аппарат государственной власти. В связи с этим рабочие крупных центров все больше начинают выступать против всего политического режима с лозунгом „долой самодержавие!". Начинается эра политических демонстраций, прокатывающихся грозной волной по всей России. 1-е мая в Харькове в 1900 г., демонстрации в Питере, Москве, Киеве, Вильне в 1901 и 1902 г., сопровождающиеся избиением рабочих казаками, а в Вильне даже поркой рабочих-демонстрантов, — все это питает до такой степени политическую ненависть рабочих к правительству, что будит даже среди части с.-д. террористические настроения (выстрел виленского рабочего-бундовца Лекерта в губернатора фон-Валя), с которыми „Искра", впрочем, успешно борется, считая, что индивидуальный террор не есть форма проявления классовой борьбы пролетариата. Летом 1902 г. в Полтавской и Харьковской губ. происходят серьезные крестьянские волнения, жестоко усмиренные. В Златоусте стреляют в рабочих. В Ростове на Дону в ноябре 1902 г. вспыхивает забастовка, во время которой в течение недели происходят за городом огромные митинги под открытым небом, при чем администрация проявляет бессилие и растерянность. Наконец, летом 1903 г. по югу России прокатывается почти всеобщая забастовка. И везде руководство рабочим движением находится в руках с.-д.

„Искра" учитывала эту предреволюционную атмосферу, и в „Что делать" уже говорится вполне конкретно о необходимости готовиться к вооруженному восстанию. Вместе с тем „Искра" повела энергичную идейную и организационную кампанию за созыв партийного с'езда, для которого был выработан редакцией и проект программы. Летом 1902 г. на партийном совещании в Белостоке решено было создать орг. комитет по созыву с'езда. В виду ряда арестов, этот комитет окончательно сконструировался лишь в начале 1903 г. В него входили представители „Искры", „Южного Рабочего", Бунда и еще некоторых организаций. Кроме подготовки с'езда, о. к. временно принял на себя и некоторые функции будущего Ц. К. (связь между комитетами, распространение и издание агитационной литературы и т. п.). Его работа была настолько успешной, что он был признан всеми комитетами, и в августе 1903 г. ему удалось созвать *2-й с'езд партии* в Лондоне.

Ко времени с'езда вся почти Россия была покрыта комитетами партии. Потребность в об'единении была так велика, что создавались областные организации. Такова была организация „Южного Рабочего", „Северный Союз", об'единявший ряд поволжских городов и разгромленный в 1902 г., „Сибирский Союз". Кроме русских организаций, имелись на Кавказе грузинские и армянские органзации, Бунд об'единял еврейских рабочих Литвы, Белоруссии и Польши. Образовалась с.-д. организация у латышей, а в Польше боролись за влияние на рабочих марксистская с.-д. партия (во главе с Розой Люксембург, Варским, Мархлевским, Дзержинским, Трусевичем и др.) и польская социалистическая партия (P. P. S.) с мелко-буржуазным националистическим уклоном.

На с'езде были представлены комитеты России с Кавказом и Бунд. Польские с.-д. присутствовали с совещательным голосом. Кроме того, особое представительство имели редакция „Искры", группа „Освобождение Труда", рабочедельский „Союз русских с.-д. за-границей" и искровская „Лига революционных с.-д.". Всего было 43 делегата с решающим голосом, в огромном большинстве сочувствовавших „Искре". С'езд должен был принять программу и устав, выработать основы тактики и выбрать партийные центры — центр. комитет и редакцию центр. органа. Кроме

того, отдельно стоял особый вопрос о Бунде. Дело в том, что уже задолго до с'езда между „Искрой" и Бундом шла ожесточенная полемика по поводу того, что Бунд выдвинул свою программу по национальному вопросу, т.-наз. „культурно-национальную автономию" (т.-е. создание для национ. меньшинств особых общегосударственных представительств), а в организ. вопросе требовал федеративного устройства партии по национальностям и претендовал быть единственным представителем всего еврейского пролетариата России.

Программа, принятая на с'езде и сохранявшаяся в общих чертах вплоть до 1917 г., резко формулировала, в отличие от программ европейских с.-д. партий, необходимость диктатуры пролетариата, как переходной формы к социализму. В качестве важнейшей политической цели в России выдвигалась демократическая республика и ряд политических и социальных требований, которые обеспечивали бы пролетариату возможный в буржуазном обществе максимум прав и свобод и ограждали бы его от эксплоатации капиталистов. Наконец, в области аграрных отношений выдвигался лозунг уничтожения всех остатков крепостного права, для чего, между прочим, требовалось возвращение крестьянам отнятых у них в 1861 г. „отрезков", которые впоследствии они вынуждены были арендовать у помещиков на кабальных условиях. Осуществление всей ближайшей политической и социальной программы возлагалось на Учредительное Собрание, которое соберется после низвержения самодержавия.

Если программа, после долгих и страстных прений, была все же принята огромным большинством с'езда, то по другим вопросам, особенно организационным, наметились такие серьезные разногласия, притом даже среди „искровцев" и членов редакции „Искры", что они, в конце концов, привели к расколу. Эти разногласия свелись к разному пониманию самого понятия партии и, следовательно, партийной дисциплины. Ленин и Плеханов считали каждого члена партии подчиненным партийной организации и ответственным перед ней. Мартов и его единомышленники (часть „искровцев", к которым примкнули бундовцы, делегаты „Южного Рабочего" и рабочедельцы) считали, что в партию могут входить и лица, не состоящие членами той или иной организации. Кроме того, при выборе центральных органов Ленин и Плеханов добивались обеспечения за выяснившейся на с'езде более революционной и твердой в организационных вопросах позицией надлежащего влияния на партию. Поэтому они были против переизбрания всей старой редакции „Искры" и стояли за редакционную тройку—Плеханова, Ленина и Мартова. Они же предложили и более революционную и непримиримую тактику по отношению к либералам. По вопросу о составе партийных центров незначительным большинством победила фракция Ленина, которая вследствие этого и стала потом называться партийным большинством, или *„большевиками"*, в отличие от сторонников Мартова и Аксельрода, которые получили название *„меньшевиков"*. Что касается Бунда, то, в виду непринятия с'ездом его требований, делегаты его ушли со с'езда, и Бунд вышел из партии. Кроме редакции, в которую Мартов отказался войти, так что в ней оставались лишь Плеханов и Ленин, с'езд выбрал центральный комитет, в большинстве — большевистский, и „совет партии"—из 5 членов (по 2 представителя от Ц. О. и Ц. К. и председателя Плеханова), который должен был регулировать взаимные отношения Ц. О. и Ц. К. и представлять партию во внешних сношениях.

При таких условиях немедленно после с'езда началась идейная и организационная борьба двух половин партии,—как за границей, так и в России, при чем за разногласиями, как будто чисто организационными, постепенно выяснились и разногласия тактические и политические. Борьба особенно обострилась с того момента, когда—в конце 1903 г.—Плеханов изменил своему союзнику Ленину и перешел к меньшевикам, после чего Ленин тоже ушел из редакции, и во

главе этой новой, меньшевистской „Искры“ стали прежние члены редакции, без Ленина, но с участием Дана, Мартынова и Троцкого.

Между тем, под влиянием поражений русской армии в русско-японской войне, усилилось революционное и либерально-оппозиционное движение в России. После убийства министра Плеве, с осени 1904 г. началась кампания с'ездов и политических банкетов земских и городских деятелей и разных групп интеллигенции. Меньшевистская „Искра“ предложила использовать это движение так, чтобы представители с.-д. рабочих являлись на собрания либерально-демократической буржуазной интеллигенции и выставляли там революционные требования. Против такой игры в парламентаризм Ленин выдвинул непосредственные революционные действия масс против ненавистных правительственных лиц и учреждений, доказывая, что такие выступления скорее толкнут либералов влево, чем „парламентские“ речи отдельных с.-д. на земских и т. п. собраниях.

9-го января 1905 г. вызвало лихорадочную деятельность обоих фракций с.-д. Группа большевиков за границей, с Лениным во главе, издавала в это время свой фракционный орган „Вперед“, замененный с мая 1905 г., с 3-го с‘езда,—„Пролетарием“. В России Ц. К., после ряда арестов, стал „примиренческим“ и подпал под влияние меньшевиков. Б-ки требовали экстренного с‘езда партии и, не доверяя Ц. К., создали „Бюро Комитетов большинства“ для созыва 3-го с‘езда. М-ки, с своей стороны, созывали конференцию. В мае состоялся большевистский с‘езд в Лондоне и меньшев. конференция в Женеве. С‘езд и конференция закрепили в ряде резолюций те политические и организационные разногласия, которые выдвинулись в полемике обоих фракций с самого начала развивавшейся революции. Разногласия эти в основном сводились к следующему. Большевики выдвинули лозунг революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства в случае победы революции, при чем считали необходимым—для доведения революции до конца, для полного уничтожения остатков самодержавия—создать немедленно после победы временное революционное правительство, с участием в нем представителей с.-д. Это правительство должно было осуществить революционным путем важнейшие пункты программы минимум—8-ми часовой рабочий день, республику и конфискацию помещичьей земли (под влиянием развивавшейся революции этот пункт был введен большевиками вместо прежних „отрезков“), и лишь после того оно созвало бы учредительное собрание. Кроме того, большевики стояли за немедленную активную и планомерную подготовку к вооруженному восстанию, при чем инициативу его должна была взять на себя сплоченная, дисциплинированная, централизованная с.-д. партия. В противоположность этой позиции, м-ки, исходя из общего обоим фракциям положения, что революция будет буржуазной, а не социалистической, были против участия с.-д. во временном правительстве и вообще мало останавливались на характере будущей революционной власти. С их точки зрения, с.-д. должна была во время революции оставаться в „крайней оппозиции“, и вместо революционной диктатуры они выдвигали лозунг „революционного самоуправления“, т.-е. образования на местах выдвинутых революцией новых органов самоуправления. Отрицательно относились они и к технической подготовке восстания, ограничиваясь лишь пропагандой идеи восстания. Наконец, на ряду с партией они большое значение придавали неоформленным, массовым, хотя бы временным, рабочим организациям. Кроме того, свою фракцию м-ки не решились, подобно б-кам, об‘явить партией и, в то время, как б-ки на своем с‘езде выбрали полномочный Ц. К., м-ки ограничились избранием Организ. Комиссии. Впрочем, обе фракции постановили стремиться к взаимному сближению. Самостоятельную позицию с самого начала 1905 г. занял Троцкий, выдвинувший идею „перманентной“ (т.-е. непрерывной, вплоть до осуществле-

ния социализма) революции и „диктатуры пролетариата, опирающегося на крестьянство“. Это, впрочем, не мешало Троцкому по ряду вопросов быть с м-ками и сотрудничать в их газетах.

Между тем, революционные события развивались, и с.-д. играли в них преобладающую роль. Кроме литературы нелегальной, было выпущено колоссальное количество легальной с.-д. литературы. Изданный правительством закон о т. назыв. „Булыгинской думе“ встретил решительный бойкот среди всех почти с.-д. организаций в России, и планы заграничной меньшевистской „Искры“ об использовании этого закона остались без поддержки. И б-ки и м-ки признали необходимым вместо продолжения студенческой забастовки, начатой весной, использовать открывшиеся осенью высшие учебные заведения для грандиозной митинговой кампании, в которой с.-д. заняли руководящую роль. Такова же была их роль и в октябрьской забастовке и в советах рабочих депутатов, на которые Ленин смотрел, как на зародыши будущей революционной власти. С.-д. в „дни свободы“ фактически пользовались и свободой собраний и свободой печати. Амнистия в октябре вернула в Россию эмигрантские центры. Заграничные органы перестали выходить. Вместо них выходила в Петербурге большевистская „Новая Жизнь“ и м-ское „Начало“. Легальные с.-д. газеты выходили и в Москве и в ряде провинциальных городов. В ноябре происходила в Петербурге конференция м-ков, а в декабре — в Таммерфорсе—конференция б-ков. На каждой из них присутствовал с совещательным голосом представитель другой фракции. Еще раньше, в октябре, революционные события вызвали сближение обоих фракций. Повсюду создавались федеративные комитеты из б-ков и м-ков, иногда и бундовцев, руководившие движением. С начала 1906 г. действовал уже и „Об‘единенный Ц. К.“. На Кавказе, в Прибалтийском крае и в Сибири власть местами переходила на короткое время в руки революционеров, главным образом с.-д. Поражение декабрьского восстания в Москве и других местах вызвало бешеный взрыв реакции, но ей не удалось задавить с.-д. движения. При этом, в то время, как многие м-ки, особенно Плеханов, считали декабрьское восстание ошибкой, которая изолировала пролетариат, б-ки во главе с Лениным видели в нем высшую форму движения, неизбежный этап революции, на опыте которого следовало учиться новым поколениям революционеров.

В разгар московского восстания был издан новый закон о выборах в Госуд. Думу, согласно которому рабочие получали право выбора своих депутатов. Снова разгорелась полемика между б-ками и м-ками. Б-ки ожидали нового под‘ема революции и выдвигали активный бойкот выборов, чтобы противодействовать „конституционным иллюзиям“, связанным у населения с Думой. М-ки предлагали нежизненный план—использовать выборы по рабочей курии на первых стадиях—избрания уполномоченных и выборщиков, не предрешая дальнейшего участия или неучастия в самой Думе. Победило решение бойкотировать выборы. Тем не менее, группа рабочих была избрана и примкнула сначала к фракции трудовиков. А когда Стокгольмский с'езд партии отменил бойкот, то происшедшие с запозданием выборы на Кавказе провели в Думу несколько с.-д. депутатов (м-ков) Ноя Жордания, Исидора Рамишвили и др., которые вместе с частью рабочих депутатов образовали с.-д. фракцию 1-й Думы.

Стокгольмский (IV) с‘езд, созванный „об‘единенным Ц. К.“, получил название „об‘единительного“, не только потому, что там восстановлено было формальное единство б-ков и м-ков, но и потому, что на этом с‘езде вошли в партию три важнейшие национальные с.-д. организации: Бунд, польские и латышские с.-д. Кроме них, на с‘езде было представлено 57 местных организаций 111 делегатами. Небольшой численный перевес имели м-ки. Споры на с‘езде велись, главным образом, вокруг дальнейших перспектив революции и задач с.-д. партии, в частности вокруг вопроса о бойко-

те Думы, а затем вокруг новой аграрной программы. Было внесено три проекта: Ленина — о национализации земли, Маслова — муниципализация (т.-е. передача ее областным органам самоуправления) и Рожкова — раздел земли в собственность крестьянам. Эти проекты отражали оценку разными фракциями революционной роли крестьянства в революции. Ленин исходил из грядущей победы революции и считал крестьян естественными союзниками пролетариата. М-ки же, по существу, больше доверяли либеральной буржуазии, в лице кадетов, чем крестьянам. Принята была муниципализация. С'езд выбрал Ц. К. из 10 членов (не считая представителей национ. организаций), в том числе 7 м-ков и 3 б-ков. Немедленно после с'езда фракционная борьба разгорелась с новой силой, главным образом из-за отношения к Госуд. Думе. М-ки хотели Думу, как целое, сделать центром „обще-народного движения" и возлагали большие надежды на ее кадетское большинство. Б-ки же считали Думу ширмой для прикрытия самодержавия, кадетов—контр-революционерами, готовыми на сделку с царизмом, и ориентировались на „левый блок" Думы, т.-е. на союз с.-д. и трудовиков.

Разгон 1-й Думы еще более обострил разногласия между б-ками и м-ками. В то время, как м-ки сперва выдвинули лозунг „развязывания революции", путем частичных выступлений, забастовок и т. п., и после его неудачи стали сдерживать всякие „необдуманные" революционные действия масс, б-ки стояли за подготовку и организацию восстания, которое, как они надеялись, поддержит крестьянство.

Нового революционного взрыва не последовало. Но при выборах во 2-ю Госуд. Думу народные массы выражали свое настроение избранием левых депутатов. Во время избирательной кампании м-ки настаивали на технических соглашениях с кадетами о взаимной поддержке там, где угрожала „черносотенная опасность". Б-ки были решительно против каких бы то ни было соглашений с кадетами и рекомендовали, наоборот, союзы с левыми, т.-е. крестьянскими и народническими группами. Партийная конференция в Таммерфорсе дала большинство м кам. Но в Петербурге организация была в большинстве б-ской и приняла б-скую тактику. Тогда м-ки покинули общегородскую конференцию и создали острый раскол в организации. Выборы показали, каким огромным влиянием пользовались с.-д. не только среди пролетариата, но и части крестьянства. В Думу прошло 53 с.-д. и 11 примыкающих к ним. Большинство депутатов были м-ки (Кавказ, Украина, часть Сибири и Поволжья). Лидером их сделался И. Церетели. Лидером б-ков в Думе стал выбранный от Петербурга Г. Алексинский. Внутри думской фракции началась борьба, перешедшая на всю партию. М-ки по-прежнему старались поддержать авторитет Думы в целом и для этого вступали в соглашения с кадетами. Б-ки доказывали массам, что Дума не способна бороться за их права, и хотели использовать ее лишь, как трибуну. Дума, как известно, просуществовала с 27 февраля до 2 июня. При роспуске ее с.-д. депутаты были арестованы и осуждены спустя несколько месяцев на каторгу и ссылку (*см.* XVI, 203).

В мае 1907 г. состоялся V с'езд партии в Лондоне. На нем было всего около 300 делегатов с решающими голосами, представлявших около 150 т. членов партии (в том числе русская часть партии с Кавказом—180 делегатов, бундовцы—50, поляки—45 и латыши—25). На этот раз маленький численный перевес имели б-ки. Как выборы во 2-ю Госуд. Думу, так и выборы на лондонский с'езд показали, что б-ки преобладают в крупно-промышленных пролетарских районах: Петербурге, Центральном районе, Урале, отчасти в Поволжье. М-ки же побеждали в районах мелкой промышленности: на Украине, Кавказе, Сибири, Зап. Крае. Им же принадлежало меньшинство в Петербурге, но, с другой стороны, в виде исключения, также один район крупной индустрии—Донецкий район.

На лондонском с'езде, кроме двух основных течений, большую роль играли национ. организации, при чем польские с.-д., как и большинство

латышей, были настроены большевистски, а бундовцы—меньшевистски. Но в организационных вопросах все они пытались занимать „нейтральную“ позицию. В этом отношении к „националам“ примыкал на с'езде только что бежавший из Сибири Троцкий.

Несмотря на крайне незначительное и непрочное большинство, б-кам на с'езде удалось провести свои резолюции об отношении к „либерально-монархической буржуазии“, т.-е. к кадетам, которые об'являлись определенно контр-революционными, затем о меньшевистском плане „рабочего с'езда“, который был осужден, как направленный против партии, и, наконец, о профессиональных союзах, по отношению к которым партия должна была брать на себя идейное руководство и организационную связь. Зато, по инициативе м-ков, с'езд принял отказ от партизанских выступлений и экспроприаций. На с'езде был выбран Ц. К. из 5 б-ков, 4 м-ков и по 2 бундовца, латышских и польских с.-д. Этот Ц.К. настолько по своему неопределенному фракционному составу не удовлетворял ни б-ков, ни м-ков, что обе фракции сохранили свои фракционные центры.

Между тем, после роспуска 2-й Государственной Думы был совершон столыпинский государственный переворот, 3 июня 1907 г., изменивший избирательный закон так, чтоб навсегда обеспечить большинство в Думе помещикам и крупной буржуазии. Это возродило бойкотистское настроение среди революционеров, в том числе среди б-ков. Огромное большинство их решительно высказывалось за бойкот 3-й Думы. И только Ленин вполне реалистически учел положение. Он решил, что нового взрыва революции ждать в ближайшее время нельзя и что необходимо сообразно с этим изменить тактику, т.-е. участвовать даже в 3-й Думе. Это решение и было принято партийной конференцией, созванной летом 1907 года в Финляндии, где к голосам м-ков и национ. с.-д. организаций присоединился и голос Ленина. Выборы в 3-ю Думу, несмотря на новый закон, несмотря на безудержный разгул реакции, все же дали с.-д. 16 депутатских мест, в том числе м-ков Чхеидзе, Гегечкори и рабочего б-ка, старого члена партии—Полетаева. В ноябре 1907 г. заседала в Гельсингфорсе партийная конференция, в большинстве б-ская, посвященная, главным образом, тактике с.-д. фракции 3-й Думы. Выбранный на лондонском с'езде Ц. К. тоже собирался в Финляндии, в Териоках. В день суда над с.-д. фракцией 2-й Госуд. Думы петербургский пролетариат, под руководством с.-д., демонстрировал свое отношение к правительству однодневной политической забастовкой протеста. Это было последним отголоском революции.

Уже ко времени ноябрьской партийной конференции выяснилось, что партийные организации, которые перед лондонским с'ездом достигли наибольшего количественного развития, начинают катастрофически распадаться. Главной причиной этого явления было общее поражение революции и жестокая правительственная и общественная реакция, сопровождавшаяся разочарованием и апатией в широких массах пролетариата. С другой стороны, для его наиболее развитой верхушки и после 1907 г. оставались некоторые возможности легальной работы: думская с.-д. фракция, уцелевшие от полицейского разгрома остатки проф. союзов, рабочие клубы (общества самообразования). Наконец, часть прежних партийных деятелей, „легализовавшаяся“ во время революции и не желавшая возвращаться в „подполье“, просто отошла от партийной и политической работы. Кроме того, разочарование в революции вызвало у некоторых теоретиков с.-д. пересмотр идейных основ марксизма: критику философского материализма, даже некоторое заигрывание с религией („богоискательство“ и „богостроительство“). На почве всего этого организационного и идейного разброда борьба фракций и течений приняла новые формы.

На крайнем правом фланге, среди оставшихся в России, не эмигрировавших за границу м-ков, возникло и укрепилось направление, получившее название „ликвидаторства“. Оно отри-

цало необходимость нелегальной подпольной партии, которая, по их мнению, сама уже „ликвидировалась“, изжила себя и которую возрождать незачем. „Ликвидаторы“ признавали лишь „открытые“ формы рабочего движения, из которых должна была в будущем постепенно вырасти легальная партия европейского типа. Идейным центром этого направления сделался петербургский журнал „Наша Заря“, во главе с Потресовым, Левицким и другими. Прежние политические вожди меньшевизма—Мартов, Мартынов, Дан и другие эмигрировали за границу и основали там журнал „Голос С.-Д.“ В отличие от чистых откровенных „ликвидаторов“ эти „голосовцы“ признавали необходимость нелегальных организаций, но придавали им лишь подчиненный, служебный характер: они должны были „дополнять“ то, чего нельзя было сделать и сказать „на легальной арене“. Наоборот, среди б-ков из прежних бойкотистов образовалась фракция (их потом стали называть „впередовцами“, по имени их органа „Вперед“), которая отрицала тот факт, что революция закончилась, и совершенно не признавала использования партией так называемых „легальных возможностей“, приближаясь в этом отношении к анархо-синдикализму (Богданов, Луначарский, Покровский и др.). Некоторые из них соединяли свою тактическую „левизну“ с теоретическими отклонениями от ортодоксального марксизма. Наконец, формально вне всех этих групп и фракций стоял Троцкий, который в 1909 г. начал издавать в Вене газету „Правда“. Он стоял за возрождение нелегальных организаций, но вместе с тем и за союз с „ликвидаторами“, которые к этим организациям относились пренебрежительно, недоверчиво и даже враждебно.

Против всех этих направлений решительно и беспощадно выступила группа Ленина (Ленин, Зиновьев, Каменев и др.), которая издавала за границей свой фракционный орган „Пролетарий“ и центральный орган партии—„Соц.-Демократ“. Ленин был на использование всех и всяких легальных возможностей, но считал, что *руководство* всеми „открытыми“ выступлениями членов партии (в Государственной Думе, проф. союзах, общественных с'ездах и т. п.) должно принадлежать официальной нелегальной партии и ее Ц. К. „Легальные возможности“ должны были являться лишь *одной из форм* деятельности партии в целом. Вместе с тем б-ки-ленинцы критиковали недостаточно революционную деятельность думской фракции, вообще принижение м-ками революционных лозунгов и в то же время энергично боролись с „впередовцами“ из-за созданной ими за границей партийной школы, где они подготовляли будущих рабочих вождей. Эта борьба фракций охватила всю многочисленную с.-д. эмиграцию.

После созванного за границей пленума Ц. К. летом 1908 г. и общепартийной конференции в Париже в январе 1909 г., произошел летом того же года официальный раскол б-ской фракции на ленинцев и „впередовцев“. Попытка „об'единительного“ пленума Ц. К. в январе 1910 г. в Париже, где была принята резолюция, осуждающая ликвидаторство, как „проявление буржуазного влияния на пролетариат“, и приглашающая все фракции прекратить издание своих отдельных органов, при чем „Правда“ Троцкого должна была стать популярным органом Ц. К. и находиться под его контролем,—эта попытка не привела ни к чему. М-ки фактически отказались вступить в русскую коллегию Ц. К., т.-е. восстановить центральный общепартийный аппарат и тем подорвали самые основы об'единения. Газета Троцкого не подчинилась контролю представителя Ц. К. Фракционная борьба разгорелась с новой силой. Даже загр. Бюро Ц. К., этот последний символ партийного единства, к началу 1911 г. раскололось. Зато Плеханов в борьбе против „ликвидаторов“ и „впередовцев“ снова сблизился с Лениным, опираясь при этом на ряд меньшевиков-—„партийцев“ в России, которые тоже стояли за возрождение нелегальной партии и боролись с „ликвидаторством“.

Между тем, 1910 г. был последним годом общественной реакции в России

Столыпинский режим успел себя проявить в полной мере. А система провокации и всеобщего господства охранки не спасли его самого от пули террориста. Начинались студенческие волнения, невиданные с 1905 г. Такие события, как смерть Толстого или самоубийство с.-р. Сазонова на каторге, давали повод к общественным демонстрациям. Зашевелились и рабочие. Подросло *новое поколение* рабочих, не пережившее непосредственно поражения революции, не испытавшее разочарования и усталости от борьбы. Началась борьба за легализацию проф. союзов, оживилась стачечная деятельность. В то же время возрождались и росли количественно нелегальные партийные организации. Б-ки, руководимые Лениным, первые учли перелом в общественном настроении и особенно в настроении пролетариата и снова взяли курс на революцию. Уже в январе 1912 г. им удалось созвать партийную конференцию (в Праге), которая выставила старые, „неурезанные" лозунги 1905 г.: республику, 8-часовой рабочий день, конфискацию помещичьей земли. Эта конференция, состоявшая из б-ков и 2 м-ков—„партийцев", исключила из партии не только „ликвидаторов" и их союзников, но и всех тех, кто не подчинялся решениям конференции. При всех этих успехах в возрождении нелегальной партии, б-кам удалось первым возродить и легальную с.-д. печать. Еще с конца 1910 г. стала выходить в Петербурге организованная б-ками и м-ками — плехановцами еженедельная газета „Звезда", как орган думской с.-д. фракции. И она очень скоро завоевала такие симпатии среди передовых рабочих, что далеко оставила за собой м-ские журналы („Наша Заря", „Возрождение", „Дело Жизни" и другие). Революционная позиция „Звезды" (а потом и ежедневной „Правды") больше соответствовала настроению рабочих эпохи под'ема, между тем, как м-ки проповедовали „частичные требования", особенно „свободу коалиций", которой рекомендовали добиваться путем „петиционной кампании" (подачи петиций в Госуд. Думу). Лозунг „свободы коалиций" и „петиционной кампании" поддерживал и Троцкий, который вместе с м-ками агитировал за созыв общепартийной конференции, направленной против ленинцев. Эта конференция из представителей „голосовцев", Троцкого, петербургских „ликвидаторов", грузинских м-ков, бундовцев и двух-трех нелегальных групп, связанных с Троцким, и собралась в августе 1912 г. в Вене и образовала так называемый „августовский блок", избрав Орг. Комитет.

Но еще до этого расстрел мирной толпы рабочих на ленских золотых приисках сыграл в развивающемся рабочем движении роль, аналогичную 9 января 1905 г. Началась грандиозная волна забастовок протеста, охватившая всю Россию. Постепенно политические забастовки, направленные против всего царившего в России режима, сливались с забастовками экономическими в один революционный поток, который, то затихая временно, то разгораясь вновь, волновал Россию вплоть до начала мировой войны. В самом начале этого движения вышла в Петербурге ежедневная б-ская газета „Правда", которая сразу сделалась своей во всех крупных рабочих центрах. Меньшевикам удалось поставить свою газету „Луч" только в сентябре 1912 г. На первых порах она была органом всего „августовского блока". Но, так как она систематически проводила взгляды „ликвидаторов" (с которыми вполне солидаризировались бывшие „голосовцы" Мартов и Дан, прекратившие издание „Голоса С.-Д."), то уже в 1913 г. Троцкий перестал в ней сотрудничать и основал собственный легальный еженедельник „Борьба". Стал выходить также к 1914 г. и еженедельник „Единство", издававшийся сторонниками Плеханова. Но все эти группы и их издания имели ничтожный успех в сравнении с „Правдой", ставшей подлинно массовой, рабочей газетой. Даже „Луч", опиравшийся на всю старую м-скую верхушку партии, имел вдвое, а нередко и втрое меньший тираж и еще меньшее число подписчиков, чем „Правда". При этом „Луч" поддерживался материально, главным образом, сочувствовавшей ликвидато-

рам интеллигенцией, тогда как в „Правду" стекались массовые рабочие сборы. Она же широко развила отдел рабочей жизни, составлявшийся самими рабочими. „Правда" своей борьбой с правительством, буржуазией и м-ками воспитала целое новое поколение преданных рабочих б-ков, „правдистов", которые потом, к 1917 г., и составили главную пролетарскую основу будущей коммунистической партии.

Кроме легальной печати, непрерывно преследовавшейся правительством, б-кам удалось использовать и Госуд. Думу. На выборах в 4-ю Думу осенью 1912 г. все шесть депутатов, избранных по рабочей курии в столицах и промышленных губерниях, оказались б-ками. Это было огромной победой б-ской партии, подтверждавшей правильность б-ской тактики. Б-ские рабочие депутаты скоро порвали в Думе с м-ками (во главе с Чхеидзе и Чхенкели) и образовали отдельную фракцию Р. С.-Д. Р. П. Они использовали свое положение не только в думских выступлениях, но и в большой агитационной и организационной работе в рабочих массах. В эту же эпоху б-ки начали систематически вытеснять м-ков и из других занятых ими в легальном рабочем движении позиций, которыми они так гордились: из правлений проф. союзов, а также из больничных касс (выборы в эти кассы, так называемая „страховая кампания", очень тесно связали б-ков с массами).

К стачечному движению, в котором находило естественный выход революционное настроение масс, б-ки и м-ки относились совершенно по-разному. Б-ки видели в нем пролог надвигавшейся революции. М-ки же характеризовали это движение, как „стачечный азарт", и призывали рабочих к успокоению. Это еще более усиливало борьбу рабочих—„правдистов" с „лучистами" и вносило взаимную вражду и озлобление со столбцов газет на фабрики и заводы. Начавшийся еще во времена „экономизма" и оформившийся в расцвет „ликвидаторства" процесс расслоения рабочих-революционеров и рабочих-тред'юнионистов и оппортунистов принял теперь резкий, отчетливый характер. Выработались два типа, которым предстояло столкнуться друг с другом в эпоху 1917—1918 г. Как известно, летом 1914 г. рабочее движение в Петербурге приняло ярко революционную форму. Начинавшееся революционное наступление было оборвано мировой войной.

А за две недели до об'явления войны, по инициативе международного социалистического бюро II Интернационала, было созвано в Брюсселе „об'единительное совещание" всех с.-д. фракций, групп и национ. организаций. Б-ки отнеслись к нему с пренебрежением и хотя послали на него своего представителя, но решительно отказались пойти на какие бы то ни было об'единительные шаги с м-ками и их союзниками. И, действительно, между этими двумя направлениями была уже целая пропасть.

Воспользовавшись войной, правительство закончило тот разгром всех легальных проявлений рабочего движения, который оно предприняло пред самым об'явлением войны. В самой русской с.-д. война произвела те же сдвиги, провела те же новые размежевания, что и у социалистов Запада. Огромное большинство русских м-ков стало на „оборонческую" точку зрения. Неожиданно самую крайнюю позицию в этом направлении занял остававшийся все время в эмиграции Плеханов. Для борьбы с германским „империализмом", который он считал главным врагом демократии и социализма, он проповедовал не только временное перемирие и даже союз русских рабочих с буржуазией, но советовал им отказаться на время от борьбы и с царизмом, поскольку эта борьба могла повредить военным успехам. Менее решительную позицию заняли бывшие „ликвидаторы". Они хотели соединить оборону страны с подготовкой революционной борьбы против неспособного правительства, явно ведшего Россию к военному и экономическому краху. Поэтому они пытались привлечь рабочих к участию в военно-промышленных комитетах, этих главных организационных центрах буржуазии, под флагом патриотизма загребавшей колоссальные барыши на военных поставках, превратившей

войну в источник хищнической наживы и в то же время щеголявшей своим оппозиционным настроением по отношению к распутинскому царизму. Лишь незначительные группы м-ков в столицах, в Самаре (где выходила одно время легальная м-ская газета) и среди сибирских ссыльных были настроены более или менее интернационалистически и антипатриотически. На той же позиции интернационализма было большинство м-ков в эмиграции, во главе с Мартовым. Колеблющуюся линию заняла м-ская фракция Госуд. Думы. Но и наиболее революционно и интернационалистически настроенные м-ки не решались окончательно порвать со своими бывшими союзниками-ликвидаторами и порвали только с Плехановым.

Совершенно иным было отношение к войне б-ков. За немногими исключениями, главная масса б-ков и в России и в эмиграции, в том числе все почти б-ки—рабочие, отнеслись к войне в высшей степени враждебно и решительно осудили какое бы то ни было оборончество, какой бы то ни было, хотя бы временный, отказ от непримиримой классовой позиции, революционной и интернационалистической. Б-ская фракция Госуд. Думы за проповедь этих взглядов была арестована еще осенью 1914 г., предана суду и сослана в Сибирь на поселение. Ленин в своем заграничном центр. органе партии „С.-Д.“ указывал, что война империалистская неизбежно перейдет в войну гражданскую, что революционный пролетариат всех воюющих стран должен желать поражения своим правительствам и своей буржуазии. Он с такой проницательностью предвидел дальнейший ход событий, что уже осенью 1915 г. в „тезисах Ц. К.“ ставил и разбирал вопрос о том, как должны действовать б-ки, если неизбежная в России революция поставит их у власти. Ленин и Зиновьев вели беспощадную борьбу со всеми, даже промежуточными, колеблющимися элементами („центристами“) в рядах с.-д. Запада и России. Они же организовали на первых международных социалист. конференциях „левых с.-д.“ (в Циммервальде и Кинтале) то крайнее левое крыло, из которого вырос потом III Интернационал. Ленин уже тогда писал, что европейские с.-д. своим предательским поведением скомпрометировали самое название „с.-д.“, и предлагал действительно революционным марксистам вернуться к старому названию коммунистов. В эту эпоху сложились окончательно важнейшие работы Ленина об империализме и государстве, его взгляды на национальный и колониальный вопросы, получили дальнейшее развитие его взгляды на крестьянство. Все это были теоретические основы будущей программы коммунист. партии.

Февральская революция открыла для с.-д. невиданные в истории перспективы. Вся страна покрылась сетью с.-д. организаций, выбрасывавших колоссальное количество пропагандистской и агитационной литературы. Советы рабочих депутатов находились почти целиком под идейным и организационным влиянием с.-д. Это же отчасти относилось к советам солдатских депутатов, армейским и фронтовым организациям, где с.-д. разделяли свое влияние с с.-р. Но эта же февральская революция вскрыла с небывалой раньше остротой все противоречия в рядах соц.-демократии, которая, впрочем, давно уже, с 1911 г., и фактически и формально распалась на две совершенно отдельных партии. Среди меньшевиков наметились следующие течения. Наибольшим влиянием пользовались так называемые „революционные оборонцы“, образовавшиеся из союза умеренных интернационалистов с умеренными ликвидаторами. Их органами были „Рабочая Газета“ и „Известия В.Ц.И.К.“ первого созыва. Их главными политическими вождями—Церетели и Дан. Они стояли на позиции продолжения войны для „обороны революции“ от германского империализма, но предлагали международную социалист. конференцию для выработки „мира без аннексий и контрибуций“. Во внутренней политике они исходили из буржуазного характера революции, но, вопреки своей позиции 1905 г., после некоторых колебаний признали необходимость коалиции с кадетами и послали в правительство

Керенского—Церетели и Скобелева (меньш-ского депутата 4-й Думы). Правее их стояли бывшие ликвидаторы, сгруппировавшиеся вокруг беспартийной газеты „День“ (Потресов и др.), для которых неприемлема была интернационалистская фразеология „центра“. Совершенно самостоятельную „с.-д.“ организацию „Единство“ (с газетой того же названия) образовала группа Плеханова, впервые вернувшегося из эмиграции и стоящего на точке зрения „войны до полной победы“ и „социального мира“ внутри. Наконец, крайнее левое крыло меньшевизма занимала группа Мартова и Мартынова, решительных противников коалиции с буржуазными партиями. Они стали издавать еженедельник „Искру“. Но постепенно в их среде произошло расслоение: часть их перешла к б-кам, а другие, во главе с Мартовым, ко времени Октябрьской революции слились с „центром“.

Была в Петербурге еще внефракционная левая группа с.-д. „межрайонцев“, составившаяся отчасти из бывших „впередовцев“ и троцкистов. К ней примкнули было вернувшиеся из эмиграции Луначарский и Троцкий. Но вскоре, еще до Октября, все они вошли в б-скую партию.

Что касается б-ков, то на первых порах в их среде были колебания относительно характера русской революции и задач революционных с.-д. Но приезд Ленина, выступившего 4 апреля со своими знаменитыми „тезисами“, создал резкий перелом во взглядах и настроениях б-ков.

Ленин утверждал, что революция, пока у власти не стоит пролетариат, не изменила характера войны, которая по-прежнему является империалистской, ведущейся в угоду российским и мировым хищникам, а потому борьба против нее по прежнему является важнейшей задачей революционных с.-д. (он тут же, кстати, предложил переменить название партии). Далее, власть в России должна перейти в руки рабочих и крестьян, и формой этой власти должны быть „советы рабочих, солдатских, крестьянских и батрацких депутатов“. Россия должна стать „не парламентарной республикой, а республикой советов“. Тезисы эти, вначале ошеломившие своей новизной даже многих б-ков и вызвавшие полемику, скоро стали основой программы и тактики б-ков и были приняты партийной конференцией и с'ездом (весна и лето 1917 г.). Между тем, рабочие и солдатские массы начали быстро разочаровываться в м-ках и с.-р., и влияние б-ков стало расти по всей стране и в армии в громадных размерах. Число голосов, поданных за б-ков на разных выборах в городские думы и советы, все росло в течение лета 1917 г. В совете рабочих депутатов Петербурга они тогда же получили большинство. Еще раньше у них оказалось большинство в фабр.-заводских комитетах. Росту влияния б-ков не помешало даже неудачное июльское восстание в Петербурге, которое вызвало бешеный взрыв буржуазной реакции, привело к многочисленным арестам б-ков, закрытию их газет и поставило их в полулегальное положение. Тираж их газет, „Правды“, московского „С.-Д“ и солдатских газет, все рос, несмотря на преследования, тогда как тираж меньшевистского центр. органа „Рабочая Газета“ (потом переименованного в „Луч“) со *ста тысяч* в марте 1917 г. упал до *10—15 тысяч* в сентябре. Ко времени Октябрьской революции за б-ками было, несомненно, огромное большинство рабочих, большинство армии, значительная часть крестьян. Это обстоятельство, жажда мира, жажда земли, требование социальной революции, в связи с выступлением Корнилова, явно знаменовавшим борьбу буржуазии и помещиков против рабочих и крестьянства, и об'ясняет сравнительно легкую победу Октябрьской революции.

Октябрьская революция поставила б-ков у власти, и постепенно, в результате логики гражданской войны, они оказались и единственной легальной политической партией. А с переменой названия и принятием новой про рammы, название с.-д. стало синонимом м-ков. Небольшая группа с.-д. „интернационалистов“, сторонников издававшейся Горьким, Базаровым и Сухановым газеты „Новая Жизнь“, в боль-

шинстве постепенно слилась с б-ками; отдельные лица ушли к м-кам или остались вне всяких партий.

М-ки, в общем, встретили октябрьский переворот резко враждебно. Но, в то время как правое их крыло оставалось все время непримиримым, „левые" и „центр" пытались одно время играть роль „легальной оппозиции" в советах. Во время германской революции и гражданской войны левые м-ки даже готовы были признать социалистический характер Октябрьской революции; но затем стал все более усиливаться уклон вправо, постепенно приведший к глубокому идейно-политическому и организационному распаду. Ряд видных меньшевиков вышел из партии, и часть их вошла в Р. К. П. Мартов, Дан, Абрамович и др. эмигрировали за границу, основали там журнал „Социалистический Вестник" и тесно примкнули ко 2-му Интернационалу, который они решительно осуждали еще в 1920 г. Дольше всего удерживали м-ки свое влияние в Грузии, где они несколько лет были у власти. Но и там, после укрепления советской власти и проведенных ею социальных преобразований, они потеряли почти весь свой авторитет в массах, что показал массовый уход рабочих из партии и неудача восстания 1924 г.

Важнейшая литература по истории российской социал-демократии: *Невский*, „Очерки по истории Р. К. П.". *Лядов*, „Как начал складываться Р. К. П". *Батурин*, „История с.-д. в России". *Мартов*, то же. *Ольминский*, „Из эпохи „Звезды и Правды". *Ленин*, Собрание сочинений, все статьи и брошюры по вопросам программы тактики и организации. Революция и Р. К. П. в материалах и документах. Хрестоматия в 7 томах, изд. Истпарта. Протоколы и резолюции с'ездов и конференций. Ленинские сборники, изд. Института им. Ленина. Переписка Мартова и Аксельрода, Берлин, 1924. *Пионтковский*, „Хрестоматия по Окт. революции", *А. Мартынов*, „Великая историческая проверка". Журналы: „Пролетарская революция" и „Каторга и ссылка". Кроме того, сочинения Зиновьева, Каменева, Троцкого, касающиеся партийной истории.—*Ваганян*, „Плеханов".

Б. Горев.

VI. Ленинизм. Что имел в виду Ленин, когда звал мировой пролетариат и все угнетенное человечество к борьбе за коммунизм? Если развернуть его сочинения и поискать в них детального описания того общества, того строя, за который он боролся,—этой детальной картины мы там не найдем. Так же, как и все подлинные революционеры, Ленин не любил рисовать картин будущего строя; он знал, что этот будущий строй сложится в результате усилий десятков и сотен миллионов людей, и что предугадать детали этого общества невозможно. В одной из основных своих работ—„Революция и государство"—он сказал прямо, что нет еще фактов для того, чтобы точно представить себе детали общественного устройства коммунистического общества.

Но основные черты этого будущего, единственного будущего, которое может освободить человечество от ярма всяческого рабства, были ясны Ленину, и они ясны нам. Это именно те черты, которые способны вдохновить миллионы на борьбу и ради которых миллионы действительно борются. Это общество, в котором должны быть уничтожены классы, это общество, в котором, благодаря уничтожению классов, будет уничтожено всякое насилие человека над человеком; это, наконец, общество, которое целиком овладеет всеми богатствами, создаваемыми трудом человека, всеми достижениями техники и науки, и поставит все эти материальные богатства, все эти достижения на службу всего человечества. Это значит, что это будет такое общество, в котором впервые будет осуществлено подлинное равенство, действительная свобода и истинное сотрудничество людей. Вот те основные черты коммунистического общества, которые могут и должны сделать из него такую общину, в которой осуществится лозунг великих социалистов: каждый дает по способностям и получает по потребностям! Это высшая фаза коммунистического общества.

Мы знаем, что мечта об обществе, в котором было бы осуществлено подлинное равенство, действительная свобода, истинное сотрудничество людей, не раз возникала в истории человечества. Чем глубже было угнетение, чем сильнее было неравенство, чем меньше было свободы, чем больше было насилия—тем выше вздымались мечты об этом обществе. История показывает нам, как исходившие из глубины подавленных, угнетенных чело-

веческих масс мечтания об этом обществе затвердевали в религиозных системах (см. выше *Социализм и социальное движение*) и затем, благодаря диалектике истории, превращались сами в своем затвердевшем религиозном виде в орудие порабощения. Ленин не был мечтателем. Он хотел этой действительной свободы, этого истинного равенства не для бесплотных духов, а для материальных, живых, подлинных людей. Он был материалист.

На вопрос: возможно ли это общество, не есть ли это неосуществимая мечта, сказка, фантазия, призрак, за которым гонится угнетенное и порабощенное человечество,—на этот вопрос он отвечал как материалист: „Да, возможно, если мы в борьбе за это будущее будем опираться на самые реальные вещи—на развитие производительных сил, т.-е. на наличные силы природы и умение человечества ими коллективно овладеть“. Но этого мало. Ленин не только был материалистом в понимании развития современного общества, он знал сам и нас учил понимать, что только тогда это будущее будет осуществлено, если порабощенные массы познают и овладеют основным законом всей человеческой истории — законом классовой борьбы, если, познав этот закон, овладев им, научившись руководствоваться этим законом, угнетенное сейчас человечество во главе с пролетариатом сделает закон классовой борьбы орудием достижения коммунистического общества. Ленин был не только провозвестником будущего коммунистического общества, не только материалистом в понимании этого общества, не только марксистом, сторонником классовой борьбы в понимании путей к этому обществу,—он был подлинным революционером в понимании тех методов борьбы, которые должен применить пролетариат для того, чтобы осуществить это общество.

Что нового внес в учение коммунизма Ленин сравнительно с Марксом? (см. выше ст. Ленина—*Марксизм*). Маркс создал учение о неизбежности, о непреложности прихода коммунистического общества, и он же доказал, исходя из анализа капиталистического общества, что коммунистическое общество придет через классовую борьбу пролетариата и его победу, т.-е. через неизбежную пролетарскую революцию. Маркс поэтому является величайшим учителем пролетариата. Но мало того. Маркс в первых массовых выступлениях рабочих сумел выделить, подчеркнуть, выдвинуть то, что делало эти выступления провозвестниками будущей борьбы пролетариата за социалистический и коммунистический строй. Он изучил и вывел все необходимые уроки из анализа первых проблесков дела социалистической борьбы пролетариата, из борьбы пролетариата в революциях 48 года и революции 71 года. Но дальше, дальше в деле изучения самого *механизма пролетарской революции* Маркс пойти не мог по той простой причине, что эра пролетарских революций, эпоха, центром характеристики которой являются пролетарские революции, в его дни еще не наступила.

Ленин пришел и начал свою работу как раз в тот момент, когда человечество, весь мир переходил из периода мирного, на внешний взгляд, органического развития капитализма к новой всемирно исторической эпохе, к эре пролетарских революций. Именно поэтому Ленину выпало на долю пойти дальше Маркса; не только подтвердить учение Маркса о неизбежности пролетарской революции, не только двинуть вперед изучение первых шагов пролетарской революции, но и *создать учение о механике пролетарской революции в действии*. Ленин руководил первой в мире пролетарской революцией, он изучал на живых исторических фактах, на движениях масс (например, массовые политические стачки и их сочетание со стачками экономическими), на анализе тех новых форм организации, которые созданы подлинным массовым движением (например, советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов), такие явления *пролетарской революции в действии*, которые неведомы были Марксу, не могли быть Марксу ведомы.

Для этого должны были сойтись специальные условия. Первое и основное условие заключалось в том, что человечество вместе с Лениным всту-

пило в новую империалистическую эпоху, т.-е. в эпоху назревания и перезревания капитализма, а вместе с тем и в эпоху острейших столкновений противоречивых сил, развившихся внутри капитализма, т.-е. буржуазии и пролетариата. Это первое, основное условие, которое позволило Ленину двинуться дальше Маркса и прибавить к учению Маркса о неизбежности пролетарской революции учение о самом ходе и внутренних законах пролетарской революции.

Второе условие—это то, что Ленин, как политик, вырос среди пролетариата России, который, благодаря специальным условиям, благодаря задержке буржуазной революции и страшному, застарелому, задержавшемуся гнету царизма и феодализма, отличался особенной революционностью. Пролетариат России не мог быть и не был еще захвачен тем мещанским благополучием, которое в известные моменты развития капитализма давало возможность буржуазии обманывать или запутывать верхушки пролетариата в те или иные иллюзии. А вместе с тем Ленин мог наблюдать и должен был изучать подлинное массовое революционное движение крестьянства, которое именно в России „дополнило“ революционное движение пролетариата. Маркс только гениально наметил этот тип революций, где революция пролетариата „дополняется“ крестьянским восстанием. Ленин жил в период именно подобной революции, и это не могло не дать ему материал для сильнейшего обогащения учения Маркса о революции.

Революционная ситуация и революционное настроение в России на рубеже XIX и XX столетий, подлинный революционный инстинкт пролетарских масс, сочетание рабочей и крестьянской революций—вот второе условие, которое создало возможность для Ленина двинуться вперед и не только применить марксизм к новым условиям, но дополнить марксизм теми новыми чертами, которые превращают марксизм из учения о неизбежности пролетарской революции в подлинное руководство пролетарской боевой организацией в самом ходе пролетарской революции. А это и делает из марксизма ленинизм.

Если вы с этой точки зрения посмотрите на работы Ленина о самом Марксе, то вы увидите, как внимательно изучал Ленин у Маркса именно те черты, не очень многочисленные, нужно сказать, по условиям, о которых я выше говорил, те черты, в которых Маркс сам приближался к вопросам механики пролетарской революции. Никто больше, чем Ленин, из всех марксистов не изучал так подробно, так внимательно и, так-сказать, актуально, не с целью академических исследований, а с целью непосредственного применения к жизни, тех сторон работ Маркса, которые связаны с революционной непосредственной массовой борьбой пролетариата в революциях 1848 года. Вопросы о восстании, которые Маркс изучал на основе первых европейских революций 1789 и 1848 г.г. и которые среди европейских социал-демократов считались чем-то более или менее случайным в общей системе марксизма, эти черточки Ленин особенно внимательно выбирал у Маркса, понимая, что именно в настоящую эпоху пролетарских революций эти гениальные зародыши мысли Маркса о механизме пролетарской революции будут особенно ценны. Поэтому же у Маркса Ленин изучал с особенным вниманием то, что Маркс сказал о Парижской Коммуне. Больше опять-таки, чем какой-либо из учеников Маркса, Ленин подверг особому изучению эту гениальную попытку Маркса проанализировать первый опыт пролетарской коммуны, пролетарского государства, опыт, продолжавшийся только 3 месяца, кончившийся неудачей, но который предвосхищал весь дальнейший путь пролетариата в борьбе за власть. Наконец, с особенным вниманием, которое опять-таки напрасно было бы искать у какого-либо другого ученика Маркса и можно найти только у Ленина, изучал Ленин у Маркса все малейшие намеки, мысли, указания на диктатуру пролетариата и на характер той государственной власти, которая должна быть создана победившим пролетариатом. Особое и давнее внимание Ленина к этим сторо-

нам учения марксизма сразу выделяет его из всех прочих учеников Маркса, которые больше всего занимались опошлением марксизма, больше всего занимались притуплением именно революционных боевых сторон марксизма, как учения о пролетарской революции. Это внимание Ленина к этим сторонам марксизма — это первый из показателей того, что центр тяжести своего учения Ленин видел — и видел справедливо — в учении о механике пролетарской революции в действии.

Другой и важнейший показатель—это то, что первый после Маркса и гораздо более широко и действенно, чем Маркс, Ленин в своем учении поставил проблему власти и государства. Эта проблема государственной власти была совершенно снята с порядка дня европейских марксистов и европейской социал-демократии в последние десятилетия XIX века. После франко-прусской войны и неудачи Коммуны, после 71 года мы видели, как я уже выразился, эпоху, которую можно было бы характеризовать, как эпоху мирного, органического развития. (Слова „мирного“ и „органического“ надо, конечно, взять в кавычки; потому что „мирное“ развитие капитализма зиждилось само по себе на крови миллионов рабочих, на насилии над миллионами колониальных рабов; но по внешности оно носило именно характер мирного, органического развития, непрерываемого каким-нибудь вулканическим, революционным извержением снизу). В этот период марксисты, европейская социал-демократия, сняли совершенно с порядка дня вопрос о государственной власти. Речь шла о том, чтобы улучшить положение рабочего класса в данных условиях на почве данных капиталистических отношений. Ни в пропаганде, ни в агитации, ни в организации вопросы не ставились таким образом, что дело идет о подготовке к переходу власти из рук одного класса в руки другого класса.

Первое событие, которое прервало эту полосу и которое выдвинуло вперед вопрос о власти—это была революция 1905 года, а первый революционный мыслитель, который оформил этот вопрос, который поставил его вновь в упор и пред идеологами рабочего класса и пред самой рабочей массой,—это был Ленин, и эта острая постановка основного вопроса всякой революции—вопроса о власти—и есть одна из самых характерных, из самых важных черт учения Ленина. Пред ним стояла новая задача—определить, что такое власть в руках нового класса. Будет ли государственная власть в руках пролетариата тем же самым, что государственная власть в руках буржуазии? Каковы условия перехода власти от буржуазии к пролетариату—те же ли самые, т.-е. условия, которые были налицо при переходе власти от помещиков к буржуазии, или переход власти от буржуазии к пролетариату представляет нечто принципиально новое, что изменяет самый облик власти и, следовательно, самое содержание государства? Наконец, какова форма государственной власти в руках пролетариата? Это все вопросы пролетарской революции в действии, которые не были поставлены, не могли быть практически поставлены учителями Ленина—Марксом и Энгельсом, из которых он исходил, на которых он целиком опирался, учение которых он целиком принял, но которое он двинул вперед сообразно новым условиям эпохи пролетарской революции.

Надо понять, что все эти вопросы не могли ставиться Лениным в каких-либо национально-ограниченных рамках. Те вопросы, которые поставил Ленин, как и то движение, которое он возглавлял, носят характер полной международности, охватывают человечество все целиком. Они, эти вопросы и ответы, ставят и решают не национальную проблему пролетариатата России, Франции, Германии, или Англии, или Америки, они ставят вопросы в общем, интернациональном масштабе. То, чему учил Ленин, отнюдь не сводится к учению о том, как в той или другой стране может победить социализм. Правда, Ленин часто говорил о том, что коммунисты каждой данной страны обязаны *начинать* пролетарскую революцию именно со своей страны. Он часто указывал на то, что всякая попытка отговориться от того, чтобы начать революцию в

той или другой стране, отговориться тем, что данная страна отсталая, страна с недостаточно развитым капитализмом, что это есть лицемерная попытка оттянуть пролетарскую революцию, или снять с себя ответственность, сваливши на пролетариат другой страны честь почина. Особенно во время империалистской войны он беспощадно бичевал подобные попытки отговориться отсталостью данной страны. Он настаивал на том, что социалисты, коммунисты, революционный пролетариат каждой данной страны должны стремиться начать революцию сами у себя, не дожидаясь, покуда начнет пролетариат другой страны. Но начало и победа пролетарской революции в данной стране были для Ленина способом вызвать дальнейшее движение мировой революции. Особенно это относится к победе пролетарской революции в отсталой стране. Мы должны начать,—говорил Ленин,—но продолжить и закончить можем только мы все вместе, или, по крайней мере, несколько передовых промышленных стран совместно. Мы должны начать, но окончательно победить социализм может только на пространстве ряда капиталистических и промышленных стран. Поэтому учение Ленина не есть теория о победе социализма в отдельной стране, а есть теория о том, что где бы ни началась пролетарская революция, она только тогда придет к окончательной победе, когда сумеет в свой водоворот захватить целый ряд стран. Таким образом, не только революционная постановка всех вопросов марксизма, но и интернационализация пролетарского движения, интернационализация вопросов и подготовки пролетарской революции являются основными чертами Ленина и делают его вождем международного пролетариата. Ленин стал интернациональным вождем не только потому, что международный пролетариат увидел в движении, возглавленном Лениным у нас в России, первое осуществление своей мечты, цели своей борьбы, а потому, что по самому характеру учения Ленина оно интернационально.

Проследим теперь в самых кратких чертах, как Ленин переходил от одного вопроса к другому в проблеме механики пролетарской революции. Первое. Как рисуется Ленину его враг? И почему пред лицом этого врага он не остался пропагандистом, агитатором, теоретиком? Откуда та революционная страсть, которая сделала его полководцем сражающейся пролетарской армии? Мне кажется, ответ на это в тех словах, которые он написал в 1919 году в ответ на вопросы американского журналиста: „По сравнению с феодализмом, капитализм был всемирно-историческим шагом вперед по пути „свободы“, „равенства“, „демократии“, „цивилизации“. Но тем не менее, капитализм был и остается системой наемного рабства, порабощения миллионов трудящихся, рабочих и крестьян, ничтожному меньшинству современных рабовладельцев, помещиков и капиталистов. Буржуазная демократия изменила форму этого экономического рабства, по сравнению с феодализмом, создала особенно блестящее прикрытие для него, но не изменила и не могла изменить его сущности. Капитализм и буржуазная демократия есть наемное рабство. Гигантский прогресс техники вообще, путей сообщения особенно, колоссальный рост капитала и банков сделали то, что капитализм дозрел и перезрел. Он пережил себя, он стал реакционнейшей задержкой человеческого развития. Он свелся к всевластию горстки миллиардеров и миллионеров, толкающих народы на бойню... Во время войны 1914—1918 г. десятки миллионов людей убиты и искалечены именно из-за этого, только из-за этого. Сознание этой истины с неудержимой силой и быстротой распространяется среди массы трудящихся во всех странах... Крах капитализма неизбежен. Революционное сознание масс растет везде. Об этом говорят тысячи признаков. Капиталисты, буржуазия могут в „лучшем“ для них случае оттянуть победу социализма в той или другой отдельной стране ценой истребления еще сотен тысяч рабочих и крестьян. Но спасти капитализм они не могут. Не могут спасти частную собственность на землю, фабрики и прочие средства производства,

ибо эта частная собственность есть источник эксплоатации немногими многих, источник нищеты масс, источник грабительских войн между народами, обогащающих только капиталистов“.

Казалось бы, слова обычные. Но в них с особенной наглядностью сконцентрирована вся та ненависть к капитализму, *как к тормазу дальнейшего развития всего человечества,* которая диктовала Ленину выступления, определила его поведение. Именно эта полная уверенность, это приобретенное на основе марксизма твердое знание, что капитализм, который был некогда прогрессивным явлением, пережил и изжил себя, стал реакционнейшей задержкой человеческого развития, тормазом для всякого развития человеческого рода,—это было исходной точкой той железной цепи умозаключений, которая заканчивалась лозунгом организации восстания большинства человечества против губящего человечество тормаза его дальнейшего развития. Но мало знать, что капитализм, который был некогда прогрессивным, сейчас стал тормазом общего развития. А выход где? Кто выведет из этого тупика, на котором запнулось человечество? Этот ответ Ленин тоже дал. Вот его ответ: „Маркс видел прогрессивную, революционную работу капитализма в том, что он, обобществляя труд, в то же самое время механизмом самого процесса „обучает, об'единяет и организует рабочий класс“, об'единяет для „экспроприации экспроприаторов“, для захвата политической власти и отнятия средств производства из рук „немногих узурпаторов“ для передачи их в руки всего общества“.

В этих словах самое характерное это то, когда они написаны, когда была провозглашена эта программа, которая есть программа и нашей Октябрьской революции и всех будущих пролетарских революций, ибо все будущее пролетариата целиком и полностью заключено в этих словах. Эти слова написаны в 1894 году—30 лет назад, за 23 года до Октябрьской революции, в царском подполье, когда самих марксистов можно было пересчитать по пальцам, а рабочий класс не имел еще даже зачатков сколько-нибудь массовидной организации, когда самой партии еще не существовало.

Мы знаем теперь, со слов Ленина, врага, который стоит поперек развития всего человечества, и бойца, который сломит этого врага; но как, каким путем пролетариат сломит своего врага? Ленин отвечал совершенно беспощадными словами. Он говорил: путь освобождения — война. „Революция есть война. Это — единственная законная, правомерная, справедливая, действительно великая война из всех войн, какие знает история. Эта война ведется не в корыстных целях кучки правителей и эксплоататоров, как все и всякие войны, а в интересах массы народа против тирана, в интересах миллионов и десятков миллионов эксплоатируемых и трудящихся против произвола и насилия...“

Это Ленин написал в 1905 году, а в 1917 г. повторил: „Революция настоящая, глубокая, „народная“, по выражению Маркса, революция есть невероятно сложный и мучительный процесс умирания старого и нарождения нового общественного строя, уклада жизни десятков миллионов людей. Революция есть самая острая, бешеная, отчаянная классовая война и гражданская война“. В чем величие и сила „настоящих, глубоких, народных“ революций? И сила и величие их в том, что в революции *действуют, решают,* воспитываются к активной исторической деятельности массы, обычно в исторические будни стоящие в тени.

„В истории революции,—писал Ленин в 1905 году,—всплывают наружу десятилетиями и веками зреющие противоречия. Жизнь становится необыкновенно богата. На политическую сцену активным борцом выступает масса, всегда стоящая в тени и часто поэтому игнорируемая или даже презираемая поверхностными наблюдателями. Эта масса учится на практике, у всех перед глазами делая пробные шаги, ощупывая путь, намечая задачи, проверяя себя и теории всех своих идеологов. Эта масса делает героические усилия подняться на высоту навязанных ей историей гигантских ми-

ровых задач и, как бы велики ни были отдельные поражения, как бы ни ошеломляли нас потоки крови и тысячи жертв,—ничто и никогда не сравнится, по своему значению, с этим непосредственным воспитанием масс и классов в ходе самой революционной борьбы".

И Ленин тут же дает чрезвычайно важное указание, которое в очень значительной степени определяет тактику революционной партии в ходе революции и которое сам он никогда не забывал. „Революционная война,—писал он—отличается от других войн тем, что она черпает свой главный резерв из лагеря вчерашних союзников своего врага". С выводами из этого замечательного положения мы еще встретимся, когда подойдем к вопросу о резервах пролетарской революции, к вопросу об отношении пролетариата к крестьянству.

Итак, мы знаем, со слов Ленина, врага, знаем, кто главный боец, знаем, что спор может быть решен войной, которая называется революцией. Знаем, что эта война будет тем плодотворнее, победоноснее, но и острее, чем большие массы будут втянуты в нее.

Каковы же условия победы в этой войне? Если в этой войне пролетариат победит, что будет знамением его победы, во что выльется его победа? У Ленина ясный ответ на этот вопрос. Победа в этой войне есть диктатура. Вот его ответ. Почему, спрашивает он, нельзя достигнуть той цели, к которой мы стремимся, без диктатуры одного класса, почему нельзя прямо перейти к чистой демократии, т.-е. к действительному равенству, к действительной свободе? „Мы отвечаем,—говорит Ленин,—потому, что в капиталистическом обществе решающее значение может иметь либо буржуазия, либо пролетариат. Потому, что из общества, в котором один класс угнетает другой, нельзя выйти иначе, как диктатурой угнетенного класса. Потому, что победить буржуазию, свергнуть ее в состоянии только пролетариат, ибо это единственный класс, который об'единен и вышколен капитализмом и который в состоянии увлечь за собой колеблющиеся массы трудящихся, живущих по-мелкобуржуазному. Потому, что только сладенькие мещане и филистеры могут мечтать, обманывая этими мечтами и себя и рабочих, о свержении ига капитала без долгого и трудного подавления сопротивления эксплоататоров".

Указывая на то, что именно диктатура и только диктатура может явиться формой победы в гражданской войне между пролетариатом и буржуазией, Ленин отдавал себе совершенно ясный, совершенно точный отчет в беспощадно-жестоком смысле этого ответа. Поэтому Ленин неоднократно возвращался к обманным сладеньким словам о возможности обойтись без диктатуры. Ленин внимательнейшим образом исследовал этот вопрос: можно ли действительно перейти к новому строю без диктатуры. И один из ответов его—ответ чрезвычайно важный, потому что он характеризует все его представление о будущем государстве, о государстве без гнета капитала,—я приведу сейчас: „От капиталистической демократии, неизбежно узкой, тайком отталкивающей бедноту, а потому насквозь лицемерной и лживой, развитие вперед не идет просто, прямо и гладко к все большей и большей демократии, как представляют дело либеральные профессора и мелкобуржуазные оппортунисты. Нет, развитие вперед, т.-е. к коммунизму, идет через диктатуру пролетариата и иначе итти не может, ибо сломить сопротивление эксплоататоров больше некому и иным путем нельзя. А диктатура пролетариата, т.-е. организация авангарда угнетенных в господствующем классе для подавления угнетателей, не может дать просто только расширение демократии. *Вместе* с громадным расширением демократизма, *впервые* становящегося демократизмом для бедных, демократизмом для народа, а не демократизмом для богатеньких, диктатура пролетариата дает ряд из'ятий из свободы по отношению к угнетателям, эксплоататорам, капиталистам. Энгельс, — продолжает Ленин—прекрасно выразил это, сказав, что „пролетариат нуждается в государстве не в интересах свободы, а в интересах подавления своих противников, а когда можно будет говорить о свободе—не будет государства".

Эти слова дают нам ключ не только к пониманию того, как Ленин представлял себе диктатуру, и того, почему диктатура является неизбежным этапом между капитализмом и коммунизмом, но дают точную картину его представления о государстве. И пролетарское государство, учит Ленин, есть только преходящее, оно не есть воплощение свободы, оно, как говорит он, нужно пролетариату прежде всего в интересах подавления своих противников. А когда эти противники будут подавлены, когда, пройдя через школу собственного государства, массы сами научатся управлять государством, когда пролетарские массы, привлекая крестьян, организуют производство на началах действительно коммунистических, тогда, говорит Ленин, подчеркивая учение Маркса, тогда государство будет не нужно, оно отомрет, и только тогда можно будет говорить о свободе, а покуда надо говорить не о свободе, а о борьбе. Да, свобода, равенство, демократия впервые в пролетарском государстве становятся, как говорит здесь Ленин, демократией, т.-е. равенством, свободой, участием в государственных делах не для богатых, а для бедных, не для кучки эксплоататоров, а для всей массы угнетенных. Но это еще не то, к чему мы идем, это еще не коммунизм, это—боевая дубинка в руках пролетариата для завоевания коммунизма против всех остатков старого буржуазного режима. Вот зачем нужна диктатура, вот зачем нужно государство пролетариату, победившему буржуазию.

Тут встает следующий вопрос: а почему же эта диктатура должна быть диктатурой *пролетариата*? Почему она не может быть диктатурой вообще угнетенных, вообще трудящихся? Так развертывается перед нами цепь мыслей Ленина. Капитализм, ставший тормазом дальнейшего развития всего человечества, должен быть превзойден. Гражданская война—это единственный метод решения этого вопроса между пролетариатом и буржуазией. Диктатура пролетариата—это единственная форма действительной победы: не соглашение, не взаимные уступки, не мирный договор между буржуазией и пролетариатом, а диктатура. Но почему же диктатура пролетариата, а не всех угнетенных? Ленин отвечает на этот вопрос: „Только тот из угнетенных классов способен своей диктатурой уничтожить классы, который обучен, об'единен, воспитан, закален десятилетиями стачечной и политической борьбы с капиталом; только тот класс, который усвоил себе всю городскую, промышленную крупнокапиталистическую культуру, имеет решимость и способность отстоять ее, сохранить и развить дальше все ее завоевания, сделать их доступными всему народу, всем трудящимся; только тот класс, который сумеет вынести все тяжести, испытания, невзгоды, великие жертвы, неизбежно возлагаемые историей на того, кто рвет с прошлым и смело пробивает себе дорогу к новому будущему; только тот класс, в котором лучшие люди полны ненависти и презрения ко всему мещанскому и филистерскому, к этим качествам, которые так процветают в мелкой буржуазии, у мелких служащих, у интеллигенции; только тот класс, который „проделал закаляющую школу труда и умеет внушать уважение к своей трудоспособности всякому трудящемуся,всякому честному человеку“... В другом месте Ленин пишет: „Свержение господства буржуазии возможно только со стороны пролетариата, как особого класса, экономические условия существования которого подготовляют его к такому свержению, дают ему возможности и силу совершить его. В то время, как буржуазия раздробляет, распыляет крестьян и все мелкобуржуазные слои, она сплачивает, об'единяет, организует пролетариат. Только пролетариат в силу экономической роли его в крупном производстве способен быть вождем всех трудящихся и эксплоатируемых масс, которые буржуазия эксплоатирует, гнетет, давит часто не меньше, а сильнее, чем пролетариев, но которые неспособны к самостоятельной борьбе за свое освобождение“.

Ленин исходит из точного, научного, чисто-материалистического анализа роли пролетариата в производстве. Не потому пролетариату принадлежит

диктатура, что он больше угнетен (может-быть, некоторые слои крестьянства угнетены больше), не потому, что пролетариат обладает какими-то особыми качествами характера или ума,—нет, а потому, что он своею ролью в производстве, своею выучкой, школой труда, об'единением в капиталистическом рабстве больше всех остальных классов организован и подготовлен для того, чтобы до конца провести и победоносно закончить решительную борьбу с капиталом.

Но что такое диктатура пролетариата? „Научное понятие диктатуры,—учил Ленин,—обозначает не что иное, как ничем не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть“. „Диктатура есть железная власть, революционно-смелая и быстрая, беспощадная в подавлении“. Но у нас часто теперь эту диктатуру тоже понимают статически, не по-марксистски, не по-ленински, не диалектически, не в ее развитии. Поэтому полезно вспомнить, что Ленин говорил еще в 1921 г.: „Диктатура пролетариата обозначает не прекращение классовой борьбы, а продолжение ее в иной форме и новыми оружиями. Диктатура есть ожесточенная война“... но война эта еще не кончена в тот момент, когда пролетариат берет власть в свои руки.

Итак, диктатура есть, прежде всего, власть. Диктатура есть власть пролетариата, это есть власть, которая взята им не для того, чтобы прекратить борьбу, а для того, чтобы продолжать свою классовую борьбу, но в иной форме и новым оружием—оружием государственной власти, т.-е. оружием, которого не было у пролетариата, когда власть принадлежала другому классу. Диктатура пролетариата есть продолжение борьбы. Но, мало того. Ленин прямо говорит: „Мы идем в бой: это есть содержание диктатуры пролетариата. Прошли те времена наивного, утопического, фантастического, механического, идеалистического, интеллигентского социализма, когда дело представлялось так, что кто-то убедит большинство людей, нарисует красивую картинку социалистического общества, и станет большинство на точку зрения социализма. Миновали те времена, когда этими детскими побасенками забавляли себя и других. Марксизм, который признавал необходимость классовой борьбы, говорил: к социализму человечество не придет иначе, как через диктатуру пролетариата. Диктатура слово тяжелое, жесткое, кровавое, мучительное, и этакие слова на ветер не бросают. Если с этаким лозунгом выступили социалисты, то это потому, что они знают, что иначе, как в отчаянной, беспощадной борьбе, класс эксплоататоров не сдастся, и что он будет всякими хорошими словами прикрывать свое господство“. Итак, диктатура есть власть, взятая для того, чтобы продолжать борьбу. Диктатура—это означает: „мы идем в бой“.

Власть политическая, власть, основанная на насилии, направленная против всех врагов, нужна для того, чтобы продолжать борьбу, но как ее продолжать? Вот коренной вопрос пролетарской революции, которая хочет победить. Мало *взять* власть, надо ее удержать. Плох тот полководец, который привел бы пролетариат к победе, но не указал бы ему условий удержания и расширения этой победы. Ленин говорит: „Мало взять диктатуру и сказать: „мы идем в бой“. Надо этот бой выиграть, как мы выиграли диктатуру пролетариата“. И на этот последний отдел учения Ленина я хотел бы обратить ваше усиленное внимание.

Вопрос о том, как удержать диктатуру пролетариата, есть для Ленина вопрос о союзе пролетариата и крестьянства. И поэтому учение Ленина, дойдя до учения о диктатуре пролетариата, дальше немедленно переходит к учению о том, каким образом при помощи союза пролетариата с другими угнетенными классами (значит, с крестьянством) удержать эту диктатуру. Ленин писал еще в 1907 г., за десять лет до нашей революции: „Привлечь к себе силой самостоятельности, своей выдержанности, своей твердости массу угнетенного, забитого крестьянства, массу колеблющейся, шаткой, неустойчивой, мелкобур-

жуазной демократии, оторвать ее от предательской либеральной буржуазии, контролировать, таким образом, эту буржуазию и во главе народного массового движения раздавить проклятое самодержавие,—такова задача социалистического пролетариата в буржуазной революции“.

Значит, уже за десять лет до социалистической революции 1917 года задача привлечь при помощи своей выдержки и своей революционности колеблющиеся между пролетариатом и буржуазией массы крестьянства является основной задачей Ленина. Дальше он говорит это еще яснее, еще точнее: „Исход нашей революции действительно зависит больше всего от устойчивости в борьбе многомиллионной массы крестьянства. Буржуазия крупная у нас боится больше революции, чем реакции. Пролетариат один победить не силах. Городская беднота не представляет ни самостоятельных интересов, ни самостоятельного фактора силы по сравнению с пролетариатом и крестьянством. Решающая роль за деревней не в смысле руководства борьбой (об этом не может быть и речи), а в смысле обеспечения победы... Действительная и коренная опасность для русской революции—это неразвитость массы крестьянства, нестойкость его в борьбе, непонимание им всей пустоты и всего предательства буржуазного либерализма“.

Вот предпосылки, сделанные за 10 лет до того, как революция, споткнувшаяся в первый раз в 1905 г. именно об эту неразвитость крестьянства и погибшая от этого, в 1917 г., найдя дорогу к крестьянству, найдя смычку с крестьянством, победила и дала возможность удержать в руках эту победу.

Посмотрим теперь, как Ленин переходит от этого общего положения к вопросу о пролетариате и крестьянстве в социалистической революции. Вот важнейшие строки Ленина по этому вопросу: „Победа социализма (как первой ступени коммунизма) над капитализмом требует осуществления пролетариатом, как единственным действительно революционным классом, трех следующих задач. Первая—свергнуть эксплоататоров и в первую голову буржуазию... Вторая—увлечь и повести за революционным авангардом пролетариата, его коммунистической партией, не только весь пролетариат или подавляющее, огромное большинство его, но и всю массу трудящихся и эксплоатируемых капиталом; просветить, организовать, воспитать, дисциплинировать их в самом ходе беззаветно смелой и беспощадно твердой борьбы против эксплоататоров; вырвать это подавляющее большинство населения во всех капиталистических странах из зависимости от буржуазии, внушить ему на практическом опыте доверие к руководящей роли пролетариата и его революционного авангарда. Третья—нейтрализовать или обезвредить неизбежные колебания между буржуазией и пролетариатом, между буржуазной демократией и советской властью со стороны довольно еще многочисленного почти во всех передовых странах, хотя и составляющего меньшинство населения, класса мелких хозяев в земледелии, промышленности, торговле, и соответствующего этому классу слоя интеллигенции, служащих и т. п...“

Ленин, подобно полководцу, который на поле сражения передвигает и соображает перестановку различных армейских корпусов, подробно ставит перед собой вопрос об условиях победоносной диктатуры. Диктатура есть самое сильное оружие в руках пролетарита, но на что оно должно быть направлено? Во-первых, диктатура должна быть направлена на то, чтобы уничтожить сопротивление эксплоататоров, а во-вторых, диктатура, т.-е. власть, государственная организация, находящаяся в руках пролетариата, должна быть направлена на то, чтобы привлечь к себе, к пролетариату, к коммунистической даже партии,—как пишет здесь Ленин, громадное большинство крестьянства, не находящегося еще в условиях пролетарского положения. И, наконец, третья задача—нейтрализовать те более зажиточные элементы крестьянства, которые колеблются между буржуазией и пролетариатом. На этом распределении ролей, на том, чтобы пролетариат

свою диктатуру, свою государственную организацию использовал именно в этом направлении, Ленин не уставал настаивать.

Вот следующая цитата, чрезвычайно важная и чрезвычайно характерная именно для этого основного вопроса: „Диктатура пролетариата есть особая форма классового союза между пролетариатом, авангардом трудящихся, и многочисленными непролетарскими слоями трудящихся (мелкая буржуазия, мелкие хозяйчики, крестьянство, интеллигенция и т. д.) или большинством их, союза против капитала, союза в целях полного свержения капитала, полного подавления сопротивления буржуазии и попыток реставрации с ее стороны, союза в целях окончательного создания и упрочения социализма. Это особого вида союз, складывающийся в особой обстановке, именно в обстановке бешеной гражданской войны; это союз твердых сторонников социализма с колеблющимися его союзниками, иногда с „нейтральными" (тогда из соглашения о борьбе союз становится соглашением о нейтралитете), союз между неодинаковыми экономически, политически, социально, духовно классами".

Это написано в 1919 году, написано не как итог сознания того, что податься стало некуда. Союз с одними слоями крестьянства, нейтрализация других его слоев выдвинуты Лениным совсем не в результате каких-либо неудач диктатуры пролетариата, не как рецепт против слабости и т. п. Нет! Ленин не ждал Кронштадта для того, чтобы в свое учение о механике развертывания диктатуры пролетариата ввести это учение о крестьянстве. Он пришел к этим выводам, изучая общую механику пролетарских революций в XX столетии, когда налицо во многих странах громадные слои крестьянства, когда весь отсталый Восток является вопросом о движении крестьянства, когда весь национальный вопрос, поскольку он выдвигается против империализма, есть вопрос о крестьянстве. Поэтому-то учение о крестьянстве Ленина имеет интернациональный характер и значение, и вопрос об осуществлении власти рабочего класса через и при помощи союза его с крестьянством подводит нас целиком к тем практическим задачам, которые Ленин поставил.

Ленин говорит это в совершенно точных выражениях: „Государственная власть в руках одного класса, пролетариата, может и должна стать орудием привлечения на сторону пролетариата непролетарских трудящихся масс, орудием отвоевания этих масс у буржуазии и у мелко-буржуазных партий". Итак, государственный аппарат, государственная организация в руках пролетариата должна стать орудием привлечения к себе непролетарских слоев. И, наконец, еще более ясное, еще более точное определение того же: „Диктатура пролетариата есть классовая борьба пролетариата при помощи такого орудия, как государственная власть, классовая борьба, одной из задач которой является демонстрирование на долгом опыте, на долгом ряде практических примеров, *демонстрирование непролетарским трудящимся слоям, что им выгоднее быть за диктатуру пролетариата*, чем за диктатуру буржуазии". Вот чему учил Ленин. Диктатура может находиться лишь в руках самого революционного и подготовленного к этому класса, может находиться лишь в руках пролетариата. Диктатура есть форма организации государственной власти, и эта форма организации государственной власти должна быть пролетариатом направлена на то, чтобы на долгом ряде примеров *демонстрировать* на деле отсталому крестьянству, не подготовленному всем предшествующим развитием к пониманию социализма, что оно должно быть за социализм и должно итти за пролетариатом, а не за буржуазией.

Разве в эту общую форму не укладывается вся наша политика? Когда первоначальная, самая простая форма союза рабочих и крестьян в виде прямого, согласованного отпора помещикам, генералам и т. д., когда эта форма союза свою задачу выполнила и была изжита,—пришла *новая* форма этого союза. Нам необходимо именно демонстрировать, как говорит Ленин, на практике хозяйственного строитель-

ства выгодность для крестьянства и для все более и более широких слоев крестьянства диктатуры пролетариата. Вся наша политика во всех ее вариациях, сменах, исправлениях, опытах укладывается в эту ленинскую формулировку диктатуры пролетариата, как орудия привлечения к себе самых широких крестьянских слоев, которые принципиально не против социализма, но которым надо доказать, что социализм, а следовательно, и пролетарское государство им выгодны.

Мы подошли к тем практическим задачам, которые дал Ленин в последние дни в статьях: „Лучше меньше, да лучше“, „О кооперации“ и т. д., которые изучались самым внимательнейшим образом, но которые не всегда воспринимались в их тесной связи с общей цепью учения Ленина, которые иногда, быть может, могли показаться результатом того, что положение тяжелое, что международная революция задержалась, что вышла длинная заминка. Если взять учение Ленина не как учение о революции, развивавшейся в рамках бывшей Российской империи, а как учение об общей мировой пролетарской революции и пролетарской диктатуре,—это выходит совсем не так. Не потому заговорил Ленин о крестьянстве, что тяжело стало пролетариату единственной Советской республики, но потому, что учение Ленина о крестьянстве и о союзе пролетариата с крестьянством до диктатуры, в момент диктатуры и после диктатуры входит составной частью в самое представление Ленина об условиях победы пролетарской революции. Чтобы окончательно подтвердить эту мысль и закончить изложение общих взглядов Ленина на взаимоотношения двух важнейших классов в ходе пролетарской революции, нужно обратить внимание на одно произведение Ленина, которое мало известно, но которое является самым концентрированным, глубоким и точным выражением взглядов Ленина на вопросы смычки между пролетариатом и крестьянством в свете не нашей территориально-ограниченной революции, а в свете мировой пролетарской революции. Это—написанная Лениным резолюция по аграрному вопросу, предложенная им и принятая на втором конгрессе Коминтерна в 1920 году.

В этой резолюции Ленин ополчился против „непонимания той истины, которая вполне доказана теоретически марксизмом и подтверждена опытом пролетарской революции в России, именно: что за исключением сельских рабочих, которые уже теперь стоят на стороне революции, разрозненное, забитое, придавленное, осужденное во всех, даже наиболее передовых, странах на полуварварские условия жизни сельское население вышеназванных трех категорий, будучи экономически, социально, культурно заинтересовано в победе социализма, только тогда сможет решительно поддержать революционный пролетариат, когда политическая власть будет последним завоевана, лишь после того, как осуществится окончательная его расправа с крупными землевладельцами и капиталистами, лишь после того, как эти задавленные слои сельского пролетариата увидят на практике, что у них имеется организованный вождь и защитник, достаточно могучий и твердый для помощи и руководства ими, для указания им верного пути“. Нет другого места в сочинениях Ленина, где с такой категоричностью было бы подчеркнуто, что именно после завоевания власти пролетариатом, после первых шагов по осуществлению им власти, и встает во весь свой гигантский рост задача завоевания пролетариатом поддержки со стороны широких масс крестьянства.

Надо сопоставить это место со следующими словами той же резолюции: „Обеспеченность пролетарской победы и ее устойчивость—вот первая и основная задача пролетариата при каких бы то ни было условиях...А устойчивою пролетарская победа быть не может без нейтрализации среднего крестьянства и обеспечения себе поддержки весьма значительной доли, если не всего мелкого крестьянства“.

Это написано не для специально русских условий, это резолюция мирового конгресса, рисующая условия победы пролетарской диктатуры во всем мире, рассчитанная отнюдь не

только на нас, но и на Францию, Англию и Германию и т. д. и на колониальные страны. Ленин, которому принадлежит все в этой резолюции, говорит в ней, что пролетариат именно после завоевания власти должен создать такие условия, когда крестьянство сможет в широкой форме оказать ему доверие, сможет убедиться, что именно рабочая власть осуществляет его истинные интересы и что, с другой стороны, только тогда, когда завоевано доверие низших слов крестьянства, когда нейтрализовано среднее крестьянство, только тогда пролетарская диктатура может считаться окончательной, устойчивой и может пойти дальше в осуществлении своих задач.

Так учение о союзе с крестьянством входит необходимой и важнейшей частью в общее учение Ленина об условиях победы пролетарских революций. Путь Ленина, ленинизма, ленинцев—союз с крестьянством, величайшее внимание к крестьянству, внимательнейшее изучение форм сотрудничества рабочего и крестьянина, укрепление диктатуры пролетариата путем укрепления доверия крестьянства к рабочему.

Л. Каменев.

VII. Организация ВКП (б). Наша Коммунистическая Партия ведет свое начало от тех социал-демократических организаций, которые сложились в первой половине девятисотых годов накануне первой русской революции, а так как эти организации в свою очередь выросли из общего корня русской социал-демократии 80-х и 90-х годов, то при рассмотрении вопроса об организационных принципах нашей партии необходимо, прежде всего, обобратиться к тем далеким временам и к тому, как ставился вопрос об организации партии тогда.

Уже в начале 80-х годов, тотчас же после образования группы „Освобождение Труда“, Плеханов и Аксельрод говорят о необходимости образования рабочей социалистической партии, при чем мнения о том, как добиться этой цели, у Плеханова и Аксельрода как будто различны. В своей первой социал-демократической работе Плеханов ставит задачу создания рабочей социалистической партии, которая и должна выступить, как самостоятельная рабочая партия в предстоящий конституционный период России. Ясность политического сознания, сплоченность и организованность рабочего класса—вот те элементы, при помощи которых возможно создание такой партии. Через шесть лет, после выхода в свет работы Плеханова „Социализм и политическая борьба“, именно в 1889 г., в статье „Политические задачи русских социалистов“ Плеханов ставит вопрос как будто бы так, что сначала необходимо создать социалистическую партию русских социалистов, которая поставила бы себе задачу организации рабочей социалистической партии *). Так и толкуют некоторые историки это место в статье Плеханова 1889 г. тем более, что еще в 1893 г. в письме к польским издателям „Истории революционных движений в России“ А. Туна Плеханов, говоря о пожеланиях русских соц.-демократов, выражается так: „А пожелания наши сводятся к созданию подвижной боевой организации, вроде общества „З е м л я и В о л я“ или „П а р т и и Н а р о д н о й В о л и“, организации, являющейся в с ю д у, г д е м о ж н о н а н е с т и у д а р п р а в и т е л ь с т в у, п о д д е р ж и в а ю щ е й в с я к о е р е в о л ю ц и о н н о е д в и ж е н и е п р о т и в с у щ е с т в у ю щ е г о п о р я д к а в е щ е й и в т о ж е в р е м я н и н а м и н у т у н е у п у с к а ю щ е й и з в и д у б у д у щ н о с т и н а ш е г о д в и ж е н и я“ **). Однако, ставя вопрос так, Плеханов уже в 1885 г. в статье „Современные задачи русских рабочих“ признает существование в России тайных социал-демократических кружков и говорит о тех условиях, при которых эти тайные орга-

---

*) „Социализм и политическая борьба“. Соч., т. II, стр. 84.

„Политические задачи русских социалистов“. Соч., т. III, стр. 94.

**) „О социальной демократии в России“. Г. В. Плеханов. Сочинения, т. IX, стр. 29. Эти строки да выше упомянутое заявление Плеханова в статье „Политические задачи русских социалистов“ (Соч., т. III, стр. 94) и дали повод Батурину и также Лядову утверждать, что Плеханов мыслил сначала создание одной соц. партии, а затем уже другой соц. р а б о ч е й партии. См. „История Росс. Соц.-Дем. Раб. партии“, т. II, Пет., 1906 г., стр. 89 и след.

низации могли бы превратиться в открытую рабочую социал-демократическую партию*).

Стало быть, дело как будто бы обстояло так, что Плеханов мыслил себе сначала создание нелегальной рабочей социалистической партии, которая, добившись свободы, превращается в открытую партию.

П. Б. Аксельрод, мнения которого согласовались со взглядами Плеханова, раз'ясняет в чем дело; в брошюре „Задачи рабочей интеллигенции в России“ (первоначально напеч. в 1889 г.) он говорит о создании одной социалистической рабочей партии, „в состав которой будут входить все действительные друзья трудящихся классов населения“**).

Что таковы же были мысли и Плеханова, этому мы находим теперь подтверждение в письмах его к Аксельроду как раз по поводу брошюры последнего „Задачи рабочей интеллигенции в России“: в письме от 1889 г. Плеханов выражет полное согласие со взглядами, развитыми в этой брошюре ***).

Но, как бы то ни было, верно и то, что группа „Освобождение Труда“ мыслила создание строго конспиративной боевой революционной организации социалистов-интеллигентов и рабочих на манер организаций „Земли и Воли“ или „Народной Воли“.

Однако, уже в 80-е годы рабочие социал-демократические кружки охватили довольно значительные группы пролетариата, а развивающееся стачечное движение охватывало такие массы рабочих, что вопрос о создании только боевого штаба, как это мыслилось группе „Освобождение Труда“, отпадал сам собой. Требовалось нечто иное, своеобразное, не похожее ни на прежние русские заговорщические организации, ни на свободно существующие партии Запада. Мучительный опыт русских социал-демократов 80-х, 90-х и девятисотых годов в конце концов и привел к тому типу организаций, который ныне существует в нашей партии и который носит название „демократического централизма“.

В 80-е и 90-е годы растущее рабочее движение настолько увеличило кадры сознательных рабочих, что уже почти в каждом городе, где было развито движение, организация естественно приходила к созданию сильного, хорошо законспирированного центра и периферийных кружков, причем там, где рабочее движение принимало массовый характер, и организация носила более законченный и планомерный вид. Так, в Петербурге „С.-Петербургский Союз борьбы за освобождение рабочего класса“ 1894—1896 г.г. имел такую структуру: руководящим центром была небольшая группа наиболее теоретически и практически подготовленных социал-демократов; этот центр руководил и идейной практической работой,—вырабатывал тактику, писал листки, подготовлял статьи для местной газеты, подыскивал пропагандистов и агитаторов и т. п. Члены этой руководящей группы были и организаторами отдельных частей организации (нечто в роде существующих теперь районных комитетов). Довольно большое число пропагандистов, агитаторов, „техников“, гл. обр. из интеллигенции, вели пропагандистскую и организационную работу в рабочих кружках заводских и фабричных. Никакой строго регламентированной организации этих периферийных работников не было, равно как не было и никакого выборного начала, посредством которого работники из периферии и из низов продвигались бы вверх в руководящие центры. Это „выдвижение“ совершалось иначе: руководители движения после тщательного знакомства с новым, подающим надежды молодым революционером, испытавши и проверивши его, убедившись в его конспиративности и преданности делу, твердости и теоретической подготовке, рекомендовали его своим товарищам, и он таким путем проникал в центр. Разницы между интеллигентами и рабочими не делалось.

Но рабочее движение разрасталось и стремилось прорвать узкие конспиративные рамки. Так, в Западном крае,

*) Соч., т. II, стр. 363—372, особ 369.

**) „Задачи рабочей интеллигенции в России“, Жен., 1893 г., стр. 15—16.

***) „Переписка Г. В. Плеханова и П. Б. Аксельрода“. М., 1925 г. Т. I, стр. 64—65.

в районе „Бунда“, т.-е. в районе еврейской рабочей соц.-демократ. организации, уже в конце 90-х годов рабочее движение создало более широкие рабочие организации и использовало все легальные возможности даже самодержавного режима, создав всякого рода боевые, экономические и культурно-просветительные организации (кассы, библиотеки и т. п.). Здесь уже стали появляться признаки демократизма,—выбирались кассиры, библиотекари и т. п. Постепенно и в других местах эти тенденции демократического начала стали обнаруживаться все больше и больше.

Успехи экономической борьбы рабочих в 90-х г.г., вызвавшие небывалый приток интеллигентных сил к социал-демократии и обратившие внимание либеральной буржуазии на рабочее движение, легальный марксизм и, наконец, оппортунистическое течение, известное под именем „экономизма“, совпали с новыми организационными течениями. Проводниками и защитниками этих тенденций были „экономисты“. Отвергая задачи создания самостоятельной боевой политической организации пролетариата, „экономисты“, по сути дела, признавали политику трэд-юнионистскую, а отсюда вытекал логически и тип организации трэд-юнионистский, профессиональный.

Принцип выборного начала, от самых низовых ячеек по заводам и фабрикам до самых руководящих центров, проникал всю организацию. Организация превращалась в сложнейший и громоздкий аппарат бесконечных заводских, фабричных касс, об'единявшихся по районам, производствам и, наконец, по всему городу, с обязательным выбором должностных лиц и центров от одной ступеньки к другой.

Все это сочеталось с проповедью против революционеров-интеллигентов и, наконец, приняло такую уродливую форму, что, напр., в „Рабочей организации“ Петербурга начала 900-х г.г. интеллигенты - пропагандисты только занимались пропагандой в отдельных рабочих кружках, но не допускались ни в какие руководящие центры.

Само собой ясно, что такой демократизм был только на руку самодержавной полиции: им пользовались провокаторы и шпионы, легко проникавшие в организацию, уничтожавшие налаживавшуюся работу и отправлявшие в тюрьму массы революционеров.

В борьбе революционной социал-демократии против „экономистов“ был выдвинут новый тип организации, но, прежде чем перейти к нему, необходимо сказать, что движение страдало еще и от его кустарности, раздробленности и провинциализма, когда каждый город, каждая местная организация жила и работала часто без всякой связи с другими организациями. Единой всероссийской организации не было.

Напрасная трата сил, параллельная работа, несогласованность, а также новые задачи общероссийского масштаба, выдвигавшиеся общероссийским единым рабочим движением, ставили перед социал-демократией и организационные задачи общегосударственного характера и, прежде всего, об'единение всех разрозненных кружков в единую соц.-демократическую партию.

Попытки в этом направлении, начавшиеся еще в начале 90-х годов, привели, наконец, в 1898 г. к созыву первого с'езда РСДРП. От этого с'езда не осталось фактически единой общероссийской организации (жандармы разрушили ее, да едва-ли она и могла создаться при господстве „экономических“ течений), осталась только идея об'единения да Устав партии или, как он назван, „Решения с'езда“.

По этому Уставу партия носит характер централизованной организации, во главе которой стоит исполнительный орган с'езда—центральный комитет, а верховной инстанцией является с'езд партии. Центральный комитет организует общепартийные предприятия, снабжает местные комитеты литературой, ведет сношения с другими партиями и т. п.

Однако, власть этого центрального комитета не велика,—местные комитеты пользуются большой автономией и свободой. В параграфе седьмом эта автономия определена так: „Местные комитеты выполняют постановления Центр. комитета в той форме, которую они найдут более подходящей по местным условиям. В исключительных

случаях местным комитетам предоставляется право отказаться от выполнения требований Центр. комитета, известив его о причине отказа. Во всем остальном местные комитеты действуют вполне самостоятельно, руководясь лишь программой партии".

На этом параграфе лежит печать той раздробленности и разрозненности движения, которые характеризуют вторую половину 90-х г.г., и понятно, что такая форма организации не могла соответствовать новым задачам общероссийского движения, во главе которого могла бы стоять сильная политическая рабочая партия, действующая в условиях самодержавно-полицейского государства.

Новый принцип организации был выдвинут „Искрой", именно В. И. Лениным, и проведен в жизнь целиком большевиками после второго с'езда партии в 1903 г., где как раз и произошел раскол по организационному вопросу (несомненно вытекавший из принципиальных разногласий по коренным вопросам программы и тактики).

Организация профессиональных революционеров—вот принцип этой новой организации. Сущность этой организации развита и обоснована Лениным в его работе „Что делать?"

Полемизируя с „экономистами", Ленин так определяет сущность организации трэд-юнионистской и организации революционеров - профессионалов: „.... Организация рабочих должна быть, во-первых, профессиональной; во-вторых, она должна быть возможно более широкой; в третьих, она должна быть возможно менее конспиративной (я говорю, разумеется, здесь и ниже, имея в виду только самодержавную Россию). Наоборот, организация революционеров должна обнимать прежде всего и главным образом людей, которых профессия состоит из революционной деятельности (потому я и говорю об организации р е в о л ю ц и о н е р о в, имея в виду революционеров социал-демократов). Пред этим общим признаком членов такой организации д о л ж н о   с о в е р ш е н н о   с т и р а т ь с я   в с я к о е   р а з л и ч и е   р а б о ч и х   и   и н т е л л и г е н т о в, не говоря уже о различии отдельных профессий тех и других. Эта организация необходимо должна быть не очень широкой и возможно более конспиративной".*)

На упреки и возражения своих противников, что такая организация есть заговорщическая организация, Ленин отвечал, что именно такая организация свяжется с самой широкой массой рабочих и поведет их на штурм самодержавия, пользуясь политической агитацией, „об'единенной по всей России, освещающей все стороны жизни и направленной в самые широкие массы".

Средством к созданию такой организации должна быть общерусская газета. „Организация, складывающаяся сама собою вокруг этой газеты, организация ее с о т р у д н и к о в (в широком смысле слова, т.-е. всех трудящихся над ней) будет именно готова н а   в с е, начиная от спасенья чести, престижа и преемственности партии в момент наибольшего революционного „угнетения" и кончая подготовкой, назначением и проведением в с е н а р о д н о г о   в о о р у ж е н н о г о   в о с с т а н и я". **)

Разногласия по организационному вопросу на втором с'езде сводились, как это обнаружилось впоследствии, к коренным вопросам социалистической программы и тактики. Рассмотрение вопроса об этих разногласиях не входит в задачи этой статьи, и потому, кратко говоря, они сводились к той основной задаче, которую история поставила пред российским пролетариатом и его партией, к задаче осуществления гегемонии пролетариата в буржуазно-демократической революции и к созданию именно такой организации рабочей партии, которая помогла бы легче и полнее всего добиться осуществления этой гегемонии.

Меньшевики, соглашательская природа которых уже тогда выявилась достаточно определенно, отразили в уставе партии, именно в параграфе первом его, свою склонность растворить партию в мелко-буржуазных и либеральных элементах страны; боль-

---

*) Собр. соч. В. И. Ленина, т. V, стр. 210.
**) Собр. соч. В. И. Ленина, т. V, стр. 264.

шевики отстаивали чистоту своей классовой линии и в уставе, преграждая доступ в партию именно этим указанным только что элементам более точной и ясной формулировкой параграфа первого.

Меньшевистская формулировка первого параграфа гласила: „Членом Российской Социал-демократической Рабочей партии считается всякий, принимающий ее программу, поддерживающий партию материальными средствами и оказывающий ей регулярное личное содействие под руководством одной из ее организаций“.

Формулировка Ленина была такова: „Членом партии считается всякий, признающий ее программу и поддерживающий партию как материальными средствами, так и личным участием в одной из партийных организаций“.

Торжество большевистских принципов выразилось в Уставе, принятом на третьем с‘езде партии в 1905 г.

По этому Уставу верховным органом партии признается с‘езд, который должен ежегодно созываться Центральным комитетом партии. Руководящим органом партии от с‘езда до с‘езда является ЦК, который обладает довольно широкими правами: он представляет партию в сношениях с другими партиями, назначает редактора центрального органа из своей среды, организует комитеты и их союзы и другие учреждения партии, руководя их деятельностью, организует и ведет общепартийные предприятия, распределяет силы и средства партии, заведует кассой партии, разбирает конфликты между организациями и вообще об‘единяет и направляет работу партии.

Местные организации пользуются автономией, но автономия эта ограничивается исключительно той областью партийной деятельности, для заведывания которой организации созданы,—издают от своего имени партийную литературу, создают и руководят подсобными организациями и т. д., но для них обязательны все постановления ЦК.

ЦК может распустить местную организацию, если за распущение выскажутся одновременно ЦК $^2/_3$ голосов и $^2/_3$ местных рабочих, входящих в партийные организации.

Права каждого члена организации были ограждены § 10, в силу которого его заявление должно было быть доставлено в подлиннике в ЦК или в редакцию ЦО или партийному с‘езду, а права любой оппозиции—§ 2, по которому ЦК должен был созвать с‘езд в течение двух месяцев, если этого потребуют организации, имеющие вместе право на половину голосов.

Как видно из только что сказанного, Устав действительно облекал в краткие формулы принципы строго централизованной организации революционеров.

С этой организацией партия вошла в революцию 1905 г., сплотила массы пролетариата, повела их на штурм абсолютизма и вырвала у него первую победу. В октябрьские и декабрьские дни пролетариат под руководством такой организации создал, наконец, условия, которые позволили сочетать самый строгий централизм с самой широкой автономией, т.-е. именно то, что носит название демократического централизма.

Большевики никогда не были доктринерами устава и его буквы, и потому, как только борьбой пролетариата были созданы более свободные условия жизни партии, большевики первые провозгласили в организации принципы демократического централизма.

На Стокгольмском об’единительном с’езде в 1906 г. эти принципы демократического централизма и были закреплены в Уставе. В § 2 Устава провозглашается: „Все организации партии строятся на началах демократического централизма“. В чем же заключается сущность демократического централизма? Ленин в своем отчете о Стокгольмском с’езде так определяет эту сущность: „...воплотить действительно в жизнь принципы демократического централизма в организации партии,—добиться упорной работой того, ч т о б ы о с н о в н о й о р г а н и з а ц и о н н о й я ч е й к о й п а р т и и с т а л и н а д е л е, а н е н а с л о в а х, н и з ш и е о р г а н и з а ц и и, ч т о б ы в с е в ы с ш и е у ч р е ж д е н и я б ы л и

действительно выборны, подотчетны и сменяемы" *).

Следует заметить, что большевики, стоявшие на с'езде на позиции демократического централизма, провели в Уставе пункт, обеспечивающий права меньшинства; в случае отказа ЦК созвать с'езд по требованию половины организаций, половина партии имела право образовать организационный комитет по созыву с'езда.

В течение 1906 и 1907 г. наша партия жила, действительно, полной демократической жизнью: все ее организации выбирались на конференциях,—подрайонных, районных, областных, все ее должностные лица были сменяемы и подотчетны, назначенства, идущего сверху, не только не было, но его не потерпела бы ни одна организация, каждый член партии принимал живейшее участие в жизни партии, был творцом ее истории, и вместе с тем не могло быть и речи о неподчинении центрам, свободно и добровольно выбранным без всякого нажима сверху.

Организация приняла более сложный и вместе с тем более подвижной характер. Городская организация делилась на районные, эти последние на подрайонные, а первичной ячейкой была заводская или фабричная организация. Все органы,—подрайонные, районные и городские комитеты, выбирались прямым голосованием на подрайонных, районных и общегородских конференциях. Комитеты выделяли исполнительные органы, регулярно дававшие отчет о своей деятельности. Кроме секретарей, выбирались для ведения текущей работы ответственные организаторы, пропагандисты и агитаторы, существовали коллегии агитаторов и пропагандистов, литературные коллегии и т. п.

Реакция, наступившая после 1908 г., снова заставила партию окончательно уйти в подполье, и невиданно тяжелые условия жизни партии заставили организацию отказаться временно от проведения в жизнь демократического централизма: снова организации вернулись к тем условиям жизни и принципам строго конспиративной боевой организации, которая была до революции.

Правда, сообразно обстоятельствам, времени и месту при первой же возможности наша организация возвращалась к принципам демократического централизма: цепляясь за некоторые остатки легальности, завоеванные пролетариатом в 1905 г., партия в профессиональных союзах, в обществах просвещения, в больничных кассах сочетала принципы централизма и демократизма.

Победа пролетариата в феврале 1917 г. снова дала возможность партии вернуться к принципам 1905 г.: на VI с'езде партии большевиков в Уставе были снова провозглашены принципы демократического централизма, которыми организация и живет доныне, приспособляя, конечно, свои формы к тем специфическим условиям, которые создаются моментом. В § 5 этого устава установлено: „Все организации партии строятся на началах демократического централизма", а в § 7 говорится: „Партийные организации об'единяются по районам и областям. Районные и областные комитеты избираются на районных и областных конференциях".

Завоевание власти рабочим классом сильно изменило ее структуру, дало новые формы, расширило и усложнило ее, но не изменило основы, на которой она растет и развивается,—демократического централизма. Под влиянием изменяющейся ситуации принципы демократического централизма то суживаются, то расширяются, но в общем они лежат в основе организации: в моменты гражданской войны, в период военного коммунизма и вся партия превращалась в могучий централизованный аппарат военной защиты социалистического отечества (не переставая жить и чисто партийной жизнью), в моменты под'ема промышленности и отражения врага партия покидала свои специфические задачи и снова проводила в жизнь принципы демократии.

Партия выросла численно, перед партией стоят огромные задачи социалистического строительства, она руководит всей жизнью громадного рабоче-крестьянского государства, она осу-

*) Собр. соч. т. VII ч. I, стр. 227. Курс. наш.

ществляет диктатуру пролетариата и крестьянства, и понятно почему возникло и возникает множество новых организационных форм и возможностей,—отделы работниц, организационные и пропагандистские отделы и т. д., и т. п.

Прежде всего партия, изменившая свое название на с'езде (вместо РСДРП(б) на РКП(б)), теперь после XIV с'езда носит имя ВКП(б).

Само название „Всесоюзная коммунистическая партия большевиков“ очень хорошо отражает существо партии, обнимающей своей организацией пролетариат всего Союза Социалистических Советских Республик.

Как и прежде, в основе Устава ВКП(б) лежат принципы демократического централизма, что и декларировано в § 10 раздела третьего. Партия строится по территориальному признаку; организация, обслуживающая какой-либо район, считается высшей по отношению к организациям, обслуживающим части района. Все организации автономны в решении местных вопросов, высшим учреждением для местной организации считается местная конференция, как для всей партии—партийный с'езд, созываемый ежегодно ЦК.

Схема организации такова: территория ССР—Всесоюзный с'езд—ЦК; области, республики, губернии—областные или краевые конференции, с'езды национальных коммунистических партий (напр., Украинской коммун. партии), губернские конференции, областные или краевые комитеты, ЦК национальных коммун. партий, губернские комитеты; округа и уезды—окружные и уездные конференции—окружные и уездные комитеты; волости и районы—волостные или районные конференции, волостные или районные комитеты; предприятия, селения, красноармейские части—общие собрания ячеек—бюро ячеек.

Порядок подчинения и оспаривания принятых решений таков: всесоюзный с'езд, ЦК, областная или краевая конференция, областной или краевой комитет, конференция национальных коммунист. партий, ЦК национальных коммун. партий, губернская конференция и т. д.

Верховным учреждением партии, как сказано выше, является с'езд. Порядок и условия созыва с'езда точно так же, как и порядок созыва конференций обеспечивают сохранение и утверждение принципов демократического централизма.

Усложнение и расширение задач партии, в связи с переходом власти в руки рабочих и крестьян,—руководство не только чисто партийной работой, как она понималась прежде, а партийными коллективами и работниками, стоящими во главе административных и хозяйственных учреждений, культурных организаций, профессиональных союзов и т. п., само собою разумеется, создало такие аппараты и органы, о каких нельзя было и думать в годы, предшествующие Октябрьской революции.

Уже один рост членов партии диктовал расширение и усложнение партийного аппарата. Следующие цифры роста партии достаточно убедительно говорят об этом:

С'езды и конфер.	Год и месяц.	Число делегатов (числитель—реш. гол., знамен.—совещ. гол.).	Число членов партии (в тысячах).
Конф. весной	1917 г.	133/18	80
VI с'езд	1917 „ 8–16/VIII	187/107	200
VII „	1918 „ 6–8/III	46	148
VIII „	1919 „ 18—22/III	301/102	300
IX „	1920 „ 29/III-4 IV	554/102	612
X „	1921 „ 8—16/III	694/296	730
XI „	1922 „ 27/III-2/IV	522/165	522
XII „	1923 „ 17—24/IV	480/417	386
XIII „	1924 „ 23—31/V	748/416	735

Уже один вопрос учета и распределения этой армии партийных работников требует создания таких аппаратов, о которых прежде думать не приходилось; если же принять во внимание, что огромная работа ведется партией в деревне, среди женщин, среди молодежи, в армии, что перед партией стоят серьезные вопросы международной, национальной, хозяйственной политики, то станет понятным, что организца-

ционная структура партии носит на себе отпечаток этих сложных и важных задач.

В годы гражданской войны, когда все силы партии были напряжены для того, чтобы удержать завоеванные пролетариатом позиции, пришлось большую часть партийных сил уделить чисто военной работе. И быстрота выбора и распределения работников и самая важность работы требовали, чтобы все дело распределения находилось в руках ЦК.

Постановлением VIII с'езда ЦК было предоставлено право „систематически перемещать из одной отрасли работы в другую и из одного района в другой партийных работников, в целях наиболее продуктивного использования их".

Партия прекрасно понимала, что без такого централизма добиться успеха в борьбе с врагом нельзя; не следует, однако, думать, что в эпоху военного коммунизма принципы демократизма были забыты; и в это тяжелое время самый строгий централизм сочетался с децентрализмом, и местные организации, конечно, распределением работников занимались. Тем не менее, годы гражданской войны, когда поневоле приходилось выделять отдельные группы ударных и в силу этого привилегированных товарищей, вызвали в жизни партии многие нежелательные явления,—отрыв верхов партии от ее низов, коммунистическое чванство и т. п. Уже на всероссийской конференции РКП (б) в сентябре 1920 г. это обстоятельство партией было учтено, и для уничтожения создавшегося неравенства (внутри партии, пролетариата и между различными ведомствами и группами) были приняты известные меры,—улучшение партийной регистрации, более частая отчетность перед местными организациями и т. д. На этой же конференции было постановлено создать контрольные комиссии, и была выбрана первая временная контрольная комиссия в составе Дзержинского, Муранова и Преображенского.

На десятом с'езде партии (1921 г.) задачи контрольных комиссий определялись так: „1. В целях укрепления единства и авторитета партии, создаются контрольные комиссии, в задачи которых входят борьба со вкрадывающимися в партию бюрократизмом, карьеризмом, злоупотреблениями членов партии своим партийным и советским положением, с нарушением товарищеских отношений внутри партии, с распространением неосновательных и непроверенных, позорящих партию или отдельных членов ее слухов и инсинуаций и других подобных сведений, нарушающих единство и авторитет партии". Контрольные комиссии организуются в центре, областях и губерниях посредством выборов на с'ездах и конференциях. В целях улучшения партийной организации и изживания навыков военного коммунизма, с'езд признал необходимым привлекать широкие партийные м а с с ы к участию в партийной жизни: „рабочая демократия"—это был лозунг для партийной работы.

Год, прошедший со времени десятого с'езда, дал XI с'езду много новых данных, которые в связи с новой экономической политикой позволили провести в жизнь новые меры, улучшившие партийную организацию во всех областях работы: профессиональной (добровольное членство), среди молодежи, среди женщин, в Красной армии и т. п. На этом же с'езде выработаны положения о контрольных комиссиях и вынесена резолюция об образовании постоянной комиссии при ЦК для изучения опыта и постановки работы в деревне.

Была вынесена еще одна резолюция, имеющая большое значение для организации партии, — об улучшении социального состава партии. Путем дальнейшего развития этой резолюции устав партии различает три категории лиц по приему в партию: рабочие и красноармейцы из рабочих и крестьян (для их приема требуется две рекомендации с партийным стажем в один год и два года), крестьяне (кроме красноармейцев) и кустари, не эксплоатирующие чужого труда (рекомендация трех членов партии с 2-годичным стажем) и прочие (служащие и т. п., рекомендация 5 членов партии с 5 летним стажем). Особенно строгие условия введены для приема в партию

выходцев из других партий (5 членов партии с 5-летним стажем). Прием в партию обсуждается сначала в ячейке, рассматривается в организации на общем собрании и утверждается соответствующим комитетом. Молодежь до 20-ти лет принимается (за исключением красноармейцев) исключительно через коммунистический союз молодежи. Исключение из партии производится либо общим собранием организации (и утверждается губ. контрольной комиссией) или губернской контрольной комиссией. Исключенное лицо отстраняется от партийной работы.

Усложнение работы партии усложнило и ее аппарат: для специальных видов работы были выделены особые отделы (напр., отделы работниц), которые подчинены соответствующим комитетам; для улучшения работы на местах с разрешения ЦК могут быть образованы областные организации, при чем партийные организации, обслуживающие территории национальных республик, приравниваются областным.

И центральный орган партии, без сомнения, должен был усложнить свою структуру и свой аппарат. Прежде всего, для политической работы ЦК из своего состава организует политическое бюро, для общего руководства организационной работой—организационное бюро и для текущей и исполнительной—секретариат.

Потребности учета, распределения и руководства такой партией, которая строит социализм в огромной стране, вызвали создание новых технических и руководящих аппаратов: по учету и распределению членов партии, по руководству агитацией и пропагандой (учетно - распределительный отдел, агитационно-пропагандистский и т. п.), по работе среди национальных меньшинств и т. п.

Финансы, статистика, печать, учет, распределение, сношения с организациями, взаимоотношение партии и государственных учреждений и множество других сторон государственной и общественной жизни находят свое отражение в этих аппаратах.

Точно так же как ЦК и ЦКК и вообще все остальные контрольные комиссии для руководства своей работой выделяют свои особые органы: ЦКК, например, выбирает президиум и его исполнительный орган секретариат, особый орган для рассмотрения дел по нарушению членами партии программы, устава и партийной этики, особую партийную коллегию, делегирует своих членов на заседания полит. и организационн. бюро ЦК, в рабоче-крестьянскую инспекцию и т. д. (Члены ЦКК не могут быть членами ЦК). Для охвата красноармейских масс и рабочих и служащих в разнообразных учреждениях, постоянных или временных органах государства создаются специальные органы партийной работы, в армии—Политическое управление рабоче-крестьянской Красной армии (Пур) с его подразделениями, а в учреждениях (во всех с‘ездах, совещаниях и выборных органах)—коммунистические фракции, если в этих органах находятся коммунисты.

Таким образом, невиданное развитие и усложнение жизни, вовлечение масс в государственное, хозяйственное и культурное строительство, самодеятельность этих масс, сложнейшие задачи, вставшие перед партией рабочих, взявших власть, перестроили партию, создали невиданный доселе могучий аппарат.

Какова же природа этого аппарата и всей партии? И партия и ее аппарат—р а б о ч и е. Орабочению партии и ее аппарата очень сильно способствовал и способствует тот постоянный приток рабочих, который, временами уменьшаясь, а вообще говоря увеличиваясь, год из года вливается в партию. Особенно большое влияние имел тот, стихийный в смысле массового своего характера и сознательный в смысле отношения к своему вступлению, приток в партию более д в у х с о т т ы с я ч р а б о ч и х о т с т а н к а, который совершился после смерти вождя (В. И. Ленин умер 21 января 1924 г.).

К XIII с‘езду партии ленинцы из 735.881 члена и кандидата партии составляли 241.591 чл.

О росте партии дают представление следующие цифры:

На 1 янв. 1924 г. было членов партии (с кандидатами) 446.089
На 1 янв. 1925 г. было членов партии (с кандидатами) 741.117

Увеличение за год на 66%.

Из общего числа на 1 янв. 1925 г.—741.117 приходилось на город 62,2%, на деревню—36,8%.

В течение 1924 г. принято в партию 316.208, из них:

рабочих	83,3%
крестьян	11,1%
служащих	5,5%

Сравнение 1925 года с 1924 г. дает:

	на 1 янв. 1924 г.	на 1 янв. 1925 г.
рабочих	44,0%	57,9%
крестьян	28,8%	25,3%
служащих	27,2%	16,8%

По национальностям партия на 1 января дает такую картину:

русских	72,2%
украинцев	7,0%
евреев	3,9%
прочих	16,9%

Процент женщин в партии также растет: так за год, с 1 января 1924 по 1 января 1925 г., он повысился с 8,6 до 10,3%.

По партийному стажу больше половины вступивших в партию от 1919 г. до 1921 г., в 1922—1924 г.г.—около 25%, в 1917—18 г.г.—пятая часть, а 2,2% приходится на долю вступивших до 1917—1918 г. По возрасту больше всего (39,4%) членов партии от 30—39 лет, меньше уже в возрасте от 24 до 29 лет, до 15% приходится на возраст от 19 до 23 и от 40 и выше и, наконец, 9,4% приходится на возраст в 18 лет.

Правда, все же процент коммунистов в стране не велик, всего 2% вместе с комсомольцами, которых было 1.140.700 чел., но за всем тем партия растет, крепнет и развивается.

Таким образом, наша партия, начав свою жизнь с небольшой группы профессионалов - революционеров до второго с'езда, выросла в могучую силу почти в миллион человек (а с комсомольцами два миллиона). Организация партии с каждым днем растет и крепнет, она теперь представляет огромный организм, живой, подвижный, гибкий, легко умеющий перестраивать свои ряды даже на глазах противника, проникающий всюду,—в профсоюзы, в Красную армию, в деревню, в самую толщу рабочего класса и даже в самые укромные и укрепленные места буржуазии—в науку и искусство. Несмотря на величайшие испытания—голода, холода, разрухи и гражданской войны, партия с каждым днем завоевывает все новые и новые позиции, становится всеоб'емлющим аппаратом, ведущим за собой огромные массы беспартийных рабочих и крестьян.

Чем же об'ясняется такое явление? Тем, что всю эту великую армию коммунизма, начиная с вождей и кончая самыми последними рядовыми, проникает великое учение марксизма, великое учение В. И. Ленина, почему с полным правом ее можно назвать Ленинской партией.

Таким образом, мы видим, как в великой борьбе двух начал в истории русской соц.-демократии—оппортунистического и революционного, в конце-концов восторжествовал воинствующий ортодоксально - революционный марксизм, который и воплотился в организации боевой классовой партии пролетариата, социальной революции, партии диктатуры пролетариата, партии В. И. Ленина.

В. Невский.

ЛИТЕРАТУРА. А. СОЦИАЛИЗМ НА ЗАПАДЕ. I. *Библиография:* „*Bibliographie* d. wissenschaftlichen Sozialismus. 1914—1922" (Ergänz. Bd., Systemat. Bibliogr. d. wissensch. Literatur Deutschlands). Berlin, 1923; *Stammhammer*, „Bibliogr. d. Sozial. u. Kommunismus", I—III B., 1909; *Marx—Engels — Lassale*, „Eine Bibliogr. d. Soz.", 3 части, 1924; *Handwörterb.* d. Staatswiss., 4 Aufl., 1925, B. VII, S. 558—566; *W. Sombart*, „D. proletarische Soz." („Marxismus"), 2 B., 1924; прил. к I т., стр. 424—477; *Архив К. Маркса и Ф. Энгельса*, кн. II, 1925, стр. 451—503 (*Цобель* и *Гайду*. Иностр. литература о Марксе, Энгельсе и марксизме); *Керженцев*, „Библиотека коммуниста", 1924.

II. Общая литература по истории С.: G. Adler, „Geschichte d. Soz. u. Kommunismus v. Plato bis z. Gegenwart", Th. 1 (до франц. револ.); *его же* (ред.), „Hauptwerke d. Soz. u. d. Sozialpolitik" (прод. под ред. C. Grünberg, здесь же перев. главн. произведений ранних английск. социалистов: Th. Spence, W. Ogilvie, Ch. Hall, I. Gray, Th. Hodgskin, I. Bray); „*The American* labor *year*-book", ed. by *A. Trachtenberg*, 1916, 1917/18, 1919/20; „*Archiv* f. d. Geschichte d. Sozial. u. Arbeiterbewegung", под ред. проф. Grünberg'a; „*Архив* К. Маркса и Фр. Энгельса", под ред. Д. Рязанова. Кн. 1 и 2. М., 1924—25; *M. Beer*, „Allgemeine Geschichte d. Sozial. u. d. sozialen Kämpfe". Th. 1—5, Berl., 1922 (на русском 1923—„Всеобщая история социализма и социальной борьбы"); *Bertolini*; „Il Socialismo contemporaneo", 1895; *H. Bötcher*, „Zur revolutionären Gewerkschaftsbewegung in America, Deutschland u. England", Jena, 1922; *P. Brisson*, „Histoire du travail et des travailleurs", 1906; *Бурген, М.*, „Современные социалист. системы

и экономическое развитие", перев., 1906; *Deslinières L.*, „Projet du code socialiste", 3 t.; *Dietzel*, „Beiträge f. Geschichte d. Kommunismus u. Soz"; *К. Диль*, „Социал., коммунизм, анархизм", 1906 (5-е немецк. изд. 1923); *Encyclopedic* social., syndicale et coopérative de l' Internationale Ouvrière, под ред. Compère-Morel; *Горев, Б. И.*, „История соц.". т. I. Соц. на Западе, 1924; *Glasier B.*, „Year Book", 1913; *Грагам В.*, „Соц. новый и старый", перев. с англ., 1906; *Ежегодник Коминтерна*, справочная книга. Изд. Коммун. Инт., 1923; *Жид и Рист*, „История экономич. учений", пер. с франц., 2 изд., 1918; *Жорес*, „Очерки соц.", СПБ., 1906; *В. Зомбарт*, „Социал. и социальное движение в XIX ст.", 1908 (новое немецк. изд.: *W. Sombart*, „Die proletarische Sozialismus", 2 т., 1924); *Hunter, R.*, „Socialists at Work", 1908; *его же*, „Violence and the labour movement", 1916; *K. Kautsky*, „Vorläufer d. neuen Sozial.", 7 unver. Aufl. Bd. I, II. Berl., 1923 (по-русски: „Предшественники новейшего соц"., т. I и II, 1923); *Каутский*, „Платоновский и древне-христианский коммунизм", 1923; *его же*, „Античный мир, иудейство и христианство"; *Kirkup* (and Pease, edit.), „History of Socialism", 5-th ed. 1913; *Краткий очерк истории* соц. и социальных движений на Западе. Изд. Гранат, М., 1919; *B. Malon*, „Histoire du socialisme depuis ses origines jusqu'à nos jours", 5 vol., 1880—1885; *Malon, B.*, „Le Soc. integrale", 1891; *Антон Менгер*, „Право на полный продукт труда", перев. с нем., 1906; *R. Meyer*, „D. Emancipationskampf d. vierten Standes", 2 B-de, 1875 (2-е изд. 1885); *Morris and Hyndman*, „A summary of principles of socialism", 1892; *Muckle Fr.*, „D. Geschichte d. socialist. Ideen im XIX Jahrh.", 1—2 Bb. 1909; *Наумов*, „История соц. и рабочего движения", К., 1920; *Noel, O.*, „Le socialisme et la question sociale", 1902; *Оливетти*, „Проблемы соврем. соц.", М., 1908; *Пёльман*, „История античного коммунизма и соц"., ч. 1, СПБ, 1910 (Общая история европ. культуры, т. 2); *Пёльман*, „Ранний христианский коммунизм", К., 1920; *Плеханов*, „Историч. подготовление научного соц."; *Pareto*, „Les systémes socialistes"; *Rappoport, Ch.*, „La révolution sociale"; *его же* и *Compère-Morel*, „Un peu d'histoire"; *Ж. Ренар*, „Социал. строй, его политич. и экономич. основы". с франц., 1906; *Th. Rénard*, „Le soc. d'hier et celui d'aujourd'hui, 1870; *Рожков*, „История соц.", лекции, чит. в 1918—1919 г.; *Bertr. Russell*, „Roads to Freedom: socialism ,anarchism and syndicalism", 1918; *Д. Рязанов*, „Примечан. к „Коммун. Маниф." (в изд. „Моск. Раб.", 1922); *Свентоховский*, „История утопий", М., 1910; *Социализм* (Сборн.), пер. Тухавевского; *Сюдр, А.*, „История коммунизма", пер. с франц., СПБ, 1870; *Villegardelle*, „Histoire d. idées social. avant la révolution franc."; *Туган-Барановский, М.*, „Современный соц. в своем историческом развитии", 1906; *его же*, „Очерки из новейшей истории полит. экономии и соц.", 1907 (4 изд.); *Woltmann, L.*, „D. geistigen u. sozialen Strömungen d. XIX Jahrh.", 1911; *А. Фогт*, „Социальн. утопии", перев. 1907; *Фостер*, „Волны рабочей революции в Германии, Англии и Франции в 1918—21", 1922; *Фриче, В. М.*, „Очерки по истории рабоч. движения на Западе. Рабочее движение от его возникновения до распадения I Интернац.", 1921; *Энгельс*, „Анти-Дюринг"; *Энгельс*, „Развитие соц. от утопии к научной теории", 1922: *Р. Энзор*, „Современн. соц.", 1906; *W. E. Walling*, „The Larger Aspects of Soc."; *его же*, „The Practice und Theory of Bolschevism" (2 изд.): *его же*, „Principles of Social Reconstruction". (7 изд.), 1912; *Willbrandt, R.*, „Soz.", 2 изд., 1921; *Warschauer*, „Geschichte d. Soz. u. Kommunismus" (с 1892 г.).

III. *Литература по истории С. в Англии*: *Бер, М.*, „История соц. в Англии", пер. с нем., т. 1 и 2, 1924 (англ. изд.: *M. Beer*, „A history of British Soc.", v. I, 1919, v. II, 1920); *Бернштейн, Эд.*, „Обществ. движение в А. XVII в.", 1899; *Брокгайм, С.*, „Чартистское движение в А.", пер. с нем., 1905: *Брентано*, „Христ. социальное движение в А.", 1906; *Вебб, Б. и С.*, „История трэд-юнионизма", пер. с англ., 1923; *его же*, „Соц. в А.", Сборн. ст. англ. социалистов, 1907; *его же*, „История рабочего движения в А.", 1904; *его же*, „Теория и практика английского трэд-юнионизма". Т. I и II, 1900—1901; *S. Webb*, „Towards Social. Democracy?" 4 изд., 1921; *S. and B. Webb*, „The Decay of capitalist civilisation", 1923 (перев.); *S. and B. Webb*, „A constitution for the socialist commonw.", 1920; *Гаммсдж, Р.*, „История чартизма", пер. с англ., 1907; *A. E. Davies*, „The case for nationalisation", 1920; *Dolleans*, „Le chartisme", 1912; *Hovell, M.*, „The Chartist Movement", 1918; *Hyndman*, „Historical basis of socialism in England", 1883; *Каутский*, „Т. Мор и его утопия"; *Керженцев*, „Революц. Ирландия"; *Крэк*, „Краткая история соврем. рабочего движения в А.", 1923; *I. Ramsay Mac Donald*, „The socialist movement", 1911; *его же*, „Socialism ofter the war", 1917; *Маркс, Элеонора*, „Классовое рабочее движение в А.", 1906; *Смит*, „Классовая борьба в соврем. А.", 1922; *Ротштейн*, „Очерки из истории рабочего движения в А."; *Slosson*, „The decline of the chartist movement", N. J. 1916 (есть русск. пер., изд. „Мир"); *Чекин*, „Очерки соврем. трэд-юнионизма"; *Шлютер*, „Чартистское движение", 1925; *Энгельс, Ф.*, „Положение рабочего класса в А.", 1906 г.

IV. *Литература по фабианскому и гильдейскому С.*: *Pease, E. R.*, „The History of Fabian Society", Lond., 1916; *Shaw, B.*, „The Fabian Society". L., 1892 (Fabian Tracts, № 41); *Proesler Hans* „D. Gesellschaft d. Fabier" (в Weltwirtsch. Archiv, 1923, B. I, H. I); *Iv. Brown*, „The meaning of democracy", 1920; *Cole, G.*, „Labour in the commonwealth", 1919; *его же*, „Social theory", 1920; *его же*, „Self-governement in industry", 1917 (нов. изд. 1919); *его же*, „Chaos and order in industry", 1920; *S. G. Hobson*, „National Guilds", 1914; *Mellor, W.*, „Direct Action", 1920; *A. R. Orage*, „An alphabet of economics", 1917; *Penty, J.*, „Restoration of the guilds system", 1906; *Reckitt and Bechhofer*, „The Meaning of national guilds", L., 1918 (2 изд. 1920); *G. R. St. Taylor*, „The guild state", 1919; *Schuster, Ernst*, „Zum englischen Guildsozialismus" (Conrad's Jahrb. B. II. 1920).

V. *Литература по истории С. во Франции*: *Арну*, „Народная история коммуны", 1919; *Базар*, „Изложение учения Сен-Симона, с пред. Волгина" 1923; *Бакс*, „Парижская коммуна", 1918; *Бакунин*, „Первый опыт социальной революции"; *Блюм, А.*, „Конгрессы франц. рабочих и социал. 1876—1900 г.г.", М., 1906; *Бороздин, И.*, „Очерки по истории соц. движения во Франции XIX в.", 1906; *Буонаротти*, „Гракх Бабеф и заговор равных", 1923; *Вейль*, „История соц. движения во Франции (1852—1902)", пер. с фр., М., 1906; *Волгин*, „Революц. коммунист XVIII в.—Жан Мелье и его завещание", М., 1919; *Галеви*, „Очерки по истории рабочего движения во Франции" (в сб. „Классовая борьба в XIX в.", т. II), 1906; *Гильбо*, „Синдикализм и социализм во Франции во время войны", изд. Коминт., 1920; *Горев*, „О. Бланки, его жизнь, революц. деятельность и роль в истории соц.", 1921; *Дюбрейль*, „Коммуна 1871 г.", 1920; *Houbert Rouger*, „La France Socialiste"; *Жорес*, „История великой франц. рев.". Т. I и II; в. I. Республика 1792, 1923; *его же*, „Социалист. история (1789—1900)", т. I. Учредит. собрание (1789—1791), 1908; *его же и Тома А.*, „История второй империи", 1908; *Каутский*. „Противоречия классовых интересов во Ф. в 1789 г.". 1923; *Козловский*, „Очерки синдикализма во Ф.", М., 1907; *Критская и Лебедев*, „История синдикал. движения во Ф."; *Лавров*, „Парижская коммуна" 1919; *Лафарг, П.*, „Из истории соц. во Ф. в последнюю четв. XIX ст." Собр. сочин., под ред. Д. Рязанова и Е. Смирнова. Т. I; *Лягардель*, „Революц. синдикализм"; *Лиссагарэ*, „История Парижской коммуны в 71 г."; *Лозинский*, „История 2 франц. республ."; *Лозовский*, „Рабочая Франция"; *его же*, „Анархо-синдикализм и коммунизм", 1923; *Поль Луи* „Франц. мыслители и деятели XIX в."; *его же*, „История соц. во Фр.", 1923; *P. Louis*, „Le parti socialiste en France"; *его же*, „Франц. утописты (Л. Блан, Видаль. Пеккер, Кабэ)", 1923; *B. Malon*, „Histoire d. ècoles socialistes fr. suivi d'un aperçu s. le collectivisme internat.", 1872; *Мануильский*, „Кризис франц. коммун. партии и пути его изживания", 1923; *Маркс*, „Гражданская война во Фр. в 71 г.", 1923; *его же*, „Классовая борьба во Фр. в 1848—50 г.г.", 1923; *его же*,

„18 брюмера Луи Бонапарта", 1906; *Мериме*, „Жакерия". Описание крестьянск. восстания во Фр.; *Мильеран*, „Франц. реформаторский соц."; *Михайлов, А.*, „Пролетариат во Фр. (1789—1852)". Истор. очерки, 1870—72; *Парижская коммуна.* Акты и документы. Изд. Коминт., 1920; *Раппопорт, Х.*, „Ж. Гэд и франц. раб. партия", 1906; *Социальное* движение в соврем. Фр. (сборн. ст. Лягарделя, Сореля, Эрве, и др.), 1908; *L. Stein*, „Geschichte d. sozialen Bewegung in Frankreich v. 1789 bis auf unsere Tage", Bd. I—III. München, 1921 (нов. изд.); *Степанов*, „Пар. Коммуна 1871 г. и вопросы тактики в пролет. революции", 1923; *Степанов и Базаров*, „Обществ. отношения во Фр. XVII и XVIII в.", 1902; *Тома А.*, „Бабёф. Учение равных", 1907; *Троцкий, Л.*, „Коммунист. движение во Фр.", 1923; *Тарле, Е.*, „Рабочий класс во Фр. в эпоху революции", истор. очерки, 2 ч., 1909; *его же*, „Рабочие национ. мануфактур во Фр. в эпоху революции 1789—90 г.г."

VI. *Литература по истории С. в Германии*: *Бебель*, „Крестьянские войны в Г."; *Berger, R.*, „Fractionsspaltung u. Parteikrisis in d. deutschen Sozialdemokratie Thatsachen u. Tendenzen", 1916; *Бернацкий, М.*, „Теоретики государств. соц. в Г.", 1911; „*D. deutsche Sozialdemokratie* über Krieg und Frieden", herausg. von Parteivorstand der D. S.-D. P., Berlin, 1917; *Бернштейн*, „Очерки германской революции", 1922; *Биншток*, „Очерки герм. рев. Встречи и впечатления", 1921; *Блосс*, „История герм. револ. 48 г.", 1922; *Браун*, „Положение рабочего класса в Г."; „*Герм. революция*", сб., 1924; *Geyer, C.*, „D. Radicalismus in d. deutschen Arbeiterbewegung", Jena, 1923; *Haenisch, Konrad*, „D. deutsche Sozialdemokratie in u. nach d. Weltkriege", 4 изд., 1919; *Легиэн*, „Професс. движение в Г."; *Майский*, „В мире герм. професс. движения": *Маркс*, „Революция и контр-революция в Г."; *Маркс*, „Кёльнский процесс коммунистов"; *Меринг*, „История герм. соц.-дем.", 1923; *Россель, Б.*, „Очерки из истории герм. с.-д. раб. партии" (6 лекц.), 1906; *Сборник* (юбил.): Возникновение германской соц.-демократии (1863—1903), 1906; *Шейдеман*, „Крушение герм. империи", 1920; *Энгельс*, „Крестьянск. война в Г.", 1921.

VII. *Литература по истории С. в других странах: Анджиолини*, „История соц. в Италии"; *Арслан*, „Соврем. Турция", 1923; *Вандервельде и Дестре*, „Соц. в Бельгии"; *Виленский*, „Революц. движение в Японии", 1919; *Brügel, L.*, Geschichte d. österreichisch. Sozialdem.". Bd. I. Mit Anhang: Dokumente d. Reaction 1848, Wien, 1922; *Гальперин*, „Совр. Бельгия", 1923; *Зомбарт, В.*, „Пролетариат в Америке"; *Зорге*, „Рабочее движение в Соед. Штатах"; *Игельстром*, „Очерки соврем. Финляндии", 1923; *Куусинен*, „Революция в Финл.", 1923; *Лонге, Ж.*, „Рост соц. в Соед. Шт.", 1905; *Лонгэ*, „Рабочее движение в Японии"; *Маркович*, „Коммунизм в Юго-Славии", 1923; *Rob. Michels*, „Storia del Marxism. in Italia", 1910 (ср. об этой книге ст. *A. Labriola*, „Der Marxismus in Italia", Archiv für Sozialwissensch., Nov. 1910); *Носак*, „Кратк. очерк професс. движения в Японии", М., 1922; *Саймонс*, „Классовая борьба в Америке", 1922; *Социальное движение* в Австралии (Доклады Междун. Социалист. Бюро), 1906; *Смурис*, „Китай и его рабочее движение"; *Торнайнен*, „Рабочая революция в Финляндии", М. 1919; *Финл. революция*. Сб. статей, 1920; *Хилквид*, „История соц. в Соедин. Шт.", 1907; *Чекин*, „Индустр. работники мира"; *Шалэ*, „Раб. движение в Японии", 1923; *Эйдус*, „Очерки раб. движения в странах Востока", 1922.

VIII. *Литература по истории Интернационалов: Армия Коммун. Интерн.* Изд. Коминт., 1921; *Бела-Кун*, „Враги Коминтерна", 1922; *Brupbacher*, „Marx u. Bakunin", Münch., 1921 (2 изд.); *Грюнберг, К.*, „Интерн. и мировая война", 1919 (резолюции и докум.); *Guillaum, J.*, „L' Internationale", Paris, 1905 (русск. пер. Критской, 1922); *Деятельность* Исполкома Коминт., 1923; *Доклад* Исп. Ком. о расколе итальянской социалист. партии; „Ежег. Комм. Интерн.", 1923; *Зиновьев*, „II Интерн. и проблема войны", 1919; *его же*, „Комм. Интерн. и единый рабочий фронт", 1920; *его же*, „Главные этапы развития Комм. Интерн."; *его же*, „2-ой конгресс Комм. Интерн., его значение", 1922; *его же*, „IV всемирный конгресс Комм. Инт.", 1922; *его же*, „Русские события и задачи Комит.", 1923; *его же*, „Комит. за работой", 1923; *Искк*, „Интернационал", 1923; *Каменев*, „Междунар. положение (о задачах Коминтерна)", 1920; *его же*, „2-ой с'езд III Интерн.", 1920; „*Кинтальская* конференция", 1917; „*Коммунист.* Интерн." (журнал К. И.); „К вопросу о программе Коммунист. Интерн." (материалы), 1924; *Кон, Ф.*, „Четвертый Конгресс Комм. Инт.", 1923; „*IV Конгресс* Комит.", стеногр. отчет, 1923; „*III Конгресс* Комм. Инт.", стеногр. отчет, 1922; *Лебедев*, „К истории Интернационала", 1921; *Ленин и Зиновьев*, „Против течения"; *Луначарский*, „Очерк развития Интерн.", 1917; *P. Louis*, „La crise du socialisme mondiale", Paris, 1921; *Маркс*, „Первый манифест Межд. Тов. Рабочих"; „*Междунар.* социал. конфер." (отчет о берлинской конференции 1922 г.); *Меринг*, „В эпоху войны и краха Интерн.", Киев, 1919; *Отчеты* междунар. социал. бюро; „*Первая* Циммерв. Конфер.", 1919; *Плеханов*, „В Амстердаме" (Мысли и заметки о II Интерн.), 1923; *Протоколы* Межд. Социал. Рабочих Конгрессов с 1889 по 1912; *Раковский*, „Интерн. и война", 1917; *Rothstein*, „Aus d. Vorgeschichte d. Internationale," 17 Ergänzungsheft z. „N. Z.", 1923; *Рязанов*, „Основание первого Интерн.", „Комм. Инт.", 1919, № 6; *его же*, „Междун. пролетариат и война", сб. статей 1914—1916 г.г., 1919; *Стеклов*, „История раб. движения", ч. I, „Период 1-го Интерн., ч. II. Интерн. анархистов," 1921; *его же*, „Интернационал", 1920; *Стенограф.* отчеты I и II конгрессов К. И.; *Scheidemann, Ph.*, „D. Zusammenbruch", Leipzig, 1921; *Десять* междунар. отчетов о професс. движении 1903—1912 г.г., изд. междунар. секретар. в 1904—1913 г.г.; *Доклад* Междунар. Совета Красных Професс. и Производств. Союзов, М., 1921; „*Красный* Интерн. Профсоюзов", журнал Профинтерна; „*Наступление* капитала", сб. статей. Изд. Профинт., 1922; *Отчет* Межд. Фед. Проф. Союз. за 1913—1919; *Отчет* Исполн. Бюро Профинт. II Междунар. конгресса революц. профсоюзов (1921—1922), М., 1922; *Резолюции*, уставы и пр. Первого Междунар. Конгресса Красных професс. и произв. Союзов; *Росмер, Манн, Лозовский*, „Профинтерн и Коминтерн"; *Лозовский*, „Междун. Совет проф. и произв. союзов", 1921; *его же*, „Амстердам, Москва, Лондон—Гамбург", 1921; *его же*, „Программа действий Профинт."; *его же*, „Москва или Амстердам", 1921; *Протокол* Цюрихской Междунар. представит. Центр. Профс. Организаций отдельных стран, сост. в 1913 г.; *Протоколы* Междун. професс. конгрессов, сост. в Берне (1919) и в Амстердаме (1919); *Протоколы* 1-го Междунар. конгресса Красных Профсоюзов, М., 1921; *Фостер*, „Волны рабоч. революции на Западе (1918—1921)", 1924; *Юзефович*, „Интернац. проф. союзов", М., 1921; *Варга и Лозовский*, „Мировой кризис, задачи и техника профсоюзов", М., 1922; *Зиновьев*, „Интерн. молодежи и его задачи"; „*Коммун.* движение молодежи в России" (сб. статей), 1920; *Ленин*, „Задачи союзов молодежи" (речь на III всеросс. с'езде РКСМ), 1921; *Ленин*, „О молодежи"; *Либкнехт*, „Милитаризм и антимилитаризм в связи с рассмотрением интернац. движ. молодежи", 1921; *Троцкий*, „Поколение Октября"; *Чичерин*, „Очерки из истории Юношеского Интернац.", М., 1920; „*Юный* Коммунист" (журнал, с 1922 г.).

С. Солнцев.

Б. СОЦИАЛИЗМ В РОССИИ (*в дополнение* к литературе, указанной после соответственных статей).

I. *Ранний русский социализм*: *Герцен*, „С того берега", „Письма из Франции и Италии", „Былое и думы"; „Соц. Белинского", ст. и письма, под ред. *П. Н. Сакулина*; *Б. Горев*, „Белинский и соц." („Печ. и рев.", 1923, кн. 4); „*Петрашевцы*", собр. докум., изд. Саблина, 1907.

II. *60-е годы: Чернышевский*, „Что делать", „Июльская монархия", „Политика", „Кавеньяк",

„Капитал и труд“, „Примечания к Миллю“, „Пролог“; *Лемке*, „Очерки освободит. движен. 60-х г.г.“, „Политич. процессы 60-х г.г.“; *М. П. Сажин*, „Воспоминания“; журн. „*Современник*“, 1858—1864 г.г.; прокламация „Молодая Россия“.

III. *Народничество и „Народная Воля“*: *Лавров*, „Историч. письма“, „Народн. пропаганд. 70-х г.г.“, „Государств. элемент в будущем обществе“, „Социальная революция и задачи нравственности“; Сборн. стат., посвящ. *Лаврову*, изд. „Колос“; *Михайловский*, „Что такое прогресс“, „Теория Дарвина и обществ. наука“, „Борьба за индивидуальность“, „Дневник читателя“, „Литературн. заметки 1879 г.“ и др.; *Бакунин*, „Государственность и анархия“; *Плеханов*, Сочин., т. I, а также—„Русский рабочий в револ. движении“; *Степняк-Кравчинский*, „Подпольная Россия“, „Андрей Кожухов“; „Русская революция в процессах и мемуарах“, под ред. *Коваленского*, изд. „Мир“; „Литература партии „Нар. Воля“, под ред. *Богучарского*; *Д. Заславский*, „Желябов“; *Прибылева-Корба* и *Фигнер*, „Михайлов“; *О. Аптекман*, „Берви-Флеровский“; *Б. Горев*, „К вопросу о бланкизме вообще и русском бланкизме в частности,“ сб. „Воинств. материалист“, т. IV; журн. „Отечеств. зап.“, 1869—1884.

IV. *Начало марксизма*: Сборн. „Черный передел“, под ред. *В. И. Невского*; „Истор.-рев. сборн.“, под ред. *В. И. Невского*, т. I и II; *Плеханов*, соч., т.т. II и III; Сб. „Группа „Освобожд. Труда“, под ред. *Л. Г. Дейча*; „*Переписка* Плеханова и Аксельрода“, т. I; *Вольфсон*, „Плеханов“; *Б. Горев*, „Плеханов“; *Волгин* (Плеханов), „Экономическое обоснование народничества в трудах В. Воронцова“; *В. В.*, „Судьбы капитализма в России“; *Николай-Он*, „Очерки нашего пореформ. экономич. развития“; *Д. Рязанов*, „Две правды (народничество и марксизм)“; *Мартов*, „Записки соц.-демократа“; *Крупская*, „Воспомин.“; *Шаповалов*, „По дороге к марксизму“; *Ленин*, „Экономич. очерки и этюды“, „Развитие капитал. в России“; *Потресов*, „Этюды о русской интеллиг.“; журн. „*Новое слово*“, 1897 г.

V. *Направления и партии в русском С. в эпоху первой революции*: „Общественное движение в России в начале XX в.“, под ред. *Мартова*, *Маслова* и *Потресова*, т.т. I и III; *Л. Троцкий*, „1905 г.“; Сборн. стат. и докум., посвящ. 1905 г., под. ред. *М. Н. Покровского*; в 6 том.: *Ленин*, Соч., т.т. IV, V, VI, VII и VIII; *В. Чернов*, „Социологич. очерки и этюды“; журн. „*Искра*“, „*Вперед*“ и „*Пролетарий*“; сборн. „*За два года*“ (меньшев. „Искра“); газета „*Новая Жизнь*“ (большев.); *Кропоткин*, „Речи бунтовщика“ и „Хлеб и воля“; *Вольский* (Махайский), „Умственный рабочий“; *Лозинский*, „Что же такое, наконец, интеллигенция?“; *Л. Толстой*, „Воскресенье“ и брош.: „Конец века“, „Единственное средство“, „К либералам“, „О войне“, „Об освобождении порабощ. народов“, „К рабочему народу“, „О насилии“, „Письмо к духоборам“ и др.; *Ленин*, „Л. Толстой как зеркало русской революции“, „Л. Толстой и его эпоха“ (т. XI).

VI. *Пореволюционная борьба течений в русской соц.-дем. и ленинизм*: „Переписка *Плеханова* и *Аксельрода*“, т. II; журн. „*Наша Заря*“ (меньш.) и „*Просвещение*“ (больш.); *Луначарский*, „Религия и социализм“; *Богданов*, „Эмпириомонизм“ и „Философия живого опыта“; *Плеханов*, Соч., т. XVII (против Богданова и Луначарского); *Ленин*, т. X („Материал. и эмпириокрит.“); *Ленин*, т. IX (аграрный вопрос) и т. XI—XIV; *Каменев*, „Между двумя революциями“; *Ленин, Зиновьев и Каменев*, „Марксизм и ликвидаторство“; Ст. и речи *Ленина* о Коминтерне; „Детская болезнь левизны в коммунизме“; номера журн. „*Под знаменем марксизма*“, „*Вестник Коммун. академии*“ и „*Молодая Гвардия*“ за 1924 г., посвящ. Ленину. „*За ленинизм*“, сб. ст.; *Сталин*, „На путях к Октябрю“; *Бухарин*, „На подступах к октябрю“; *Ольминский*, „1917“; *Троцкий*, „1917 г.“; *Шляпников*, „Канун 1917 г.“ и „1917 г.“; *Суханов*, „Записка о революции“; *Ленин*, „О нашей революции (по поводу записок Н. Суханова“); *Ленин*, соч., т. XIX (Национ. вопрос).

VII. *Общие работы*: *Тун*, „История рев. движ. в России“, изд. с.-р., с примеч. и дополн. *Л. Шишко* и изд. с.-д., с предисл. и примеч. *Плеханова*; *Балабанов*, „История рев. движ. в России“; *Баевский*, „История рабочей печати“; „Историко-рев. хрестоматия“ (1861—1902), под ред. *Б. Горева и В. Фриче*; *Н. Рожков*, „Русская история“, т. X и XI.

Б. Горев.

В. ОРГАНИЗАЦИЯ ВКП(б). I. П о и с т о р и и п а р т и и: из устаревших учебников и очерков: *М. Лядов*, „История российск. соц.-демокр. раб. партии“, 2 ч., СПБ., 1906; *Н. Батурин*, „Очерк развития соц.-демократии в России“ (много изд.); более новые очерки и учебники: *Л. Каменев*, „Ленин и его партия“; *Г. Зиновьев*, „История Росс. комм. партии (б.)“ (также неск. изд.); *К. И. Шелавин*, „Рабочий класс и его партия“, Л., 1924, 3 ч.; *Н. Н. Попов*, „Очерк истории Росс. Комм. партии“, 1926; *А. Бубнов*, „Основные моменты истории РКП (б.)“.

II. *Г. В. Плеханов*, „Соч.“ в изд. Инст. Маркса и Энгельса, под ред. Д. Б. Рязанова. Т. I, II и III.; *В. И. Ленин*, „Что делать?“ Собр. соч., т. V; *его же*, „Что такое друзья народа и как они воюют с соц.-демокр.?“ Т. I собр. соч. (2-е изд.); *его же*, „Задачи русских соц.-демократов“, собр. соч., т. I (первое изд.).

III. „*Борьба за партию*“, сб. по Ленину. 1925, Вып. I, II и III; *Н. Ленин*, „О партийном строительстве за 20 лет“, 1924; *Л. Каганович*, „Как построена РКП (б.)“, (Об уставе партии), 1924; *РКП(б.)* в р е з о л ю ц и я х и п о с т а н о в л е е с'е з д о в и к о н ф е р е н ц., 1925, изд. 3; *В. Сорин*, „Учение ленинизма о партии“, 1925; *Протоколы* с'е з д о в: II, III, IV (нелег. изд.). VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII и XIII, изд. Госизд.

В. Невский.

Социалистические партии, см. *Социализм*.

Социал-демократия, см. *Социализм*.

Автобиографии революционных деятелей русского социалистического движения 70—80-х годов.

С примечаниями В. Н. Фигнер.

Аптекман, Осип Васильевич *).

Родился я 18 марта 1849 г. в зажиточной еврейской семье, в затерянном среди необозримых степей захолустном городке Павлограде (Екатериносл. губ.). Отец пользовался уважением как среди своих единоверцев, так и широких кругов православного общества. Первые чтили его за его глубокие знания еврейского закона. Вторые—за решительную отрешенность его от еврейской исключительности и нетерпимости, за горячую приверженность его к русскому просвещению. Отец мой был в нашем городе одним из первых пионеров русского просвещения среди евреев, он первый внес русскую речь в нашу семью, он принес с собою русскую книжку. Когда мне минуло 6 лет, меня—помню хорошо — отнес на руках наш кучер Осип в хедер—первоначальную еврейскую школу. Учитель мой оказался простым, сердечным человеком и принял меня ласково. Помню хорошо эту большую, уставленную столами и скамейками комнату; помню шум, поднявшийся на столах, где отдельно разместились девочки и мальчики. Окинув быстрым взглядом классную, учитель поместил меня за столом девочек. Какое ликование! Десяток маленьких ручек протянулся ко мне, черные, голубые, серые глазенки впились в меня, поднялось подлинное птичье щебетанье.

Смутно помню, как прошли первые две-три недели. Помню только, что они очень быстро протекли, что я скоро научился читать по древне-еврейски, и что учитель счел нужным перевести меня к мальчикам. Девочки чуть не принялись реветь. Учение началось с библии (Пятикнижия). Курс первоначального учения занял около 4 лет. Учитель, хотя и считался среди евреев неученым, не талмудистом, но, как педагог, был несомненно на своем месте. Он любил своих воспитанников, а это самое главное. То немногое, что он знал, он умело и с любовью передавал своим питомцам. В третий год учения я уж не просто механически читал библию—главный предмет первоначального курса,—но и понимал ее,—конечно, по-детски,полюбил ее от всего сердца. Сказание о Иосифе Прекрасном произвело на меня сильное впечатление. Впервые я стал мечтать: буду таким же милосердным и добрым, как Иосиф. Я Иосифа всем детским сердцем своим полюбил, но мало по малу, по мере того, как продвигалось вперед изучение библии, иной образ, колоссальный, очаровавший и покоривший меня, вытеснил образ Иосифа. То был Моисей, воин, законодатель. В детском моем воображении он рисовался большим, чуть ли не до самого неба, всемогущим, страшным. Я боялся его и преклонялся перед ним.

Мой первоначальный курс ученья пришел к концу. Предстоял более тяжелый курс — талмудический. И тут-то начались мои испытания. Это самые неприятные мои воспоминания раннего моего детства. Мальчику с живым воображением, впечатлительному и любознательному преподносят самую тяжеловесную и скучную схоластику. Глубокими чертами врезался в моей памяти первый урок. Большая школьная комната. Учитель-талмудист, буквально высохшая мумия, верзила с глубоко запавшими лихорадочными глазами, скрипучий желтый голос, пахнет от него нюхательным табаком, сидит за столом, перед ним большой талмудический фолиант, такой же фолиант передо мной. „Читай!“— приказал учитель. Я четко прочел: „Яйцо, которое родилось в субботу — можно ли его есть или нет?“ Я запнулся, язык прилип к небу—ничего не понял. Я ушел с урока совершенно обалделый; дома, встретив первою мать, спросил ее:— Мама, разве яйцо тоже родится? Мать тревожно на меня поглядела, спросила со страхом:— Что ты! О каком яйце ты говоришь?— Я рассказал в чем дело. Мать направила меня к отцу. Отец-де все объяснит. С отцом имел разговор, но все-таки ничего не понял.

Учитель - талмудист сумел внушить мне такую антипатию, которую я невольно перенес и на талмуд, что ученье становилось для меня мученьем. С каждым днем я все больше и больше деревенел, моя природная живость и любознательность словно окаменели. К счастью, меня спасла богатая библиотека на древне-еврейском языке. Я набросился на чтение и нашел там для себя много привлекательного.

Я совершенно ожил. Особенно мощное впечатление на меня произвела „История иудейских войн“ Иосифа Флавия. Это была первая книга, которая разбудила мое сердце и ум. Эта геройская борьба за освобождение Макавеев, этот гигант-борец Бар-Кохба, эти предсмертные судороги истекающей кровью Иудеи, этот свирепый Тит, — все это меня всего захватило. Я проливал горькие слезы

*) Автобиография написана в ноябре 1925 г. в Москве.

над разрушением храма иерусалимского... Пала Иудея, умер бог иудейский... Я был безутешен, не мог расстаться с книгой Иосифа Флавия... Одно было утешение: я мечтал, страстно мечтал, когда стану „большим", я пойду по стопам Бар-Кохбы (Бар-Кохба означает „Сын звезды"), соберу рассеянного по земле Израиля и восстановлю Иудею... Я отдавался этим грезам страстно, можно сказать, запоем, забывая окружающее. Я находил в них утешение и крепость.

Но вот уроки жизни, реальной, суровой, уже надвинулись на меня. На нашу уважаемую и чтимую семью вдруг обрушилось глубокое горе, унижение и позор. Случилось вот что. В нашем доме квартировал офицер стоявшего в Павлограде полка. Это был грубый, необузданный, жестокий человек. Но с нами он жил на первых порах ладно. Как то раз встречается с отцом, круто останавливается и грубо приказывает ему снять фуражку. Отец ответил с достоинством, спокойно ему, что он, во-первых, не солдат (тогда солдаты, проходя мимо дома, где квартировал офицер, должны были снимать фуражки), а, во-вторых, хозяин дома, в котором офицер квартирует, что, в 3-х, простая вежливость требует, чтобы он первый поздоровался с ним. Так передавали потом свидетели—солдаты, бывшие случайно при этом. Прошло несколько дней, и эта неприятность была забыта. Но вдруг в одно прекрасное утро, когда отец сидел в своем кабинете и работал, а я примостился около него, врывается офицер в сопровождении десятка солдат.

— Возьмите его,—раздался приказ.

На отца набросились солдаты и стали его тащить. Мой раздирающий душу крик вызвал из других комнат мать, старшую сестру и братьев. Мать вцепилась в солдат, я путаюсь в ногах. Сестра и братья выбежали с криком; „Ратуйте, добрые люди!"... Нашими соседями были русские, с давних времен дружные с нами; мгновенно на заборах появились соседи, соседки с их домочадцами. Негодующий крик: „Что вы делаете с нашим хозяином?"...

Офицер приказал оторвать мать, и она в полуобморочном состоянии повисла на дюжих руках солдат. А отца тащат, тащат по двору в направлении конюшни, дети отчаянно кричат, я путаюсь в ногах солдат и не отстаю от отца, а конюшня уж близко и зияет своей черною пастью; наш цепной пес —„Туман" грызет цепь и дико лает. Соседи, испуганные, только галдят. Вдруг вбегает во двор майор (он раньше долго жил у нас и подружился с нашей семьей). Раздался гневный приказ:— „Отпустить хозяина и хозяйку... смирно"...

Мать снесли соседи в обмороке в комнату, а отец свалился на диван, как подкошенный. Мать скоро оправилась, но с отцом долго возились. На другой день, рано утром, я побежал к нему: он был белый, как лунь. Я разревелся. Отец потянул меня к себе и прижал к груди. Глубокими, неизгладимыми чертами, до мельчайших подробностей, врезалась эта наша драма в моей душе. Я был тогда еще малыш, и когда опасность миновала, я вскоре об этом совершенно позабыл. Но когда стал расти и развиваться, когда оказался уже в гимназии, приобщился к нашей литературной сокровищнице, тогда только я осознал весь драматизм пережитого. Случалось, читаю что-нибудь о крепостном праве, как совершенно неожиданно всплывает передо мною вся картина насилия над моим отцом—ярко, живо, захватывающе... И тогда снова переживаю старую боль, и сердце обливается кровью... Но я уже не мальчик, а юноша, и меня всецело охватывает одно ощущение: непримиримая ненависть к насилию и горячее сочувствие к униженным и оскорбленным, борьба с угнетателями и насильниками и оборона угнетаемых и насилуемых. Отныне люди делятся для меня не на людей белой и черной кости, не на людей той или другой национальности и веры, а на угнетателей, поработителей, и угнетаемых и порабощенных. Первым — непримиримая моя ненависть и война, вторым — мои горячие симпатии и поддержка. Это мое жизнеощущение я ненарушимо пронес через всю жизнь.

Когда, кончая гимназию (в 1869 г.), я писал сочинение на тему: „Значение царствования Екатерины II", сочинение мое вышло лучшее в литерат. отношении (удостоилось медали), а в сочинении я писал буквально: „Пугачевщина была справедливым протестом масс против крепостного права". Это произвело сенсацию и среди учителей и среди товарищей.

Университет завершил дальнейшую работу моей мысли: работать для народа, во имя освобождения его стало символом моей веры, которому я остался верен всю мою жизнь. Об этом подробно рассказано в моих воспоминаниях о „Земле и Воле" (Петр., 1924 г.) и „Записках семидесятника" („Соврем. Мир", 1913 и 1914 гг.), здесь же я об этом скажу кратко.

В 1870 г. я поступил в Харьковский университет на медицинский факультет. В Харькове я познакомился с главными кружками и их деятелями. В центре движения харьковской молодежи тогда стояла Е. Н. Солнцева (потом по мужу Ковальская),—молодая, красивая, развитая, чуткая ко всяким общественно-полезным начинаниям, рьяная сторонница женской эмансипации. Вокруг нее группировались самые живые элементы студенчества — Я. И. Ковальский (тогда ассистент проф. Шимкова), Коновалов, Щабельский, самый юный из них тогда Максим Ковалевский, Лазарь Гольденберг и др. Основной тон движению давал Ковальский: мирная культурно-просветительная работа была бли-

жайшим заданием их, открытая пропаганда идей мирного постепенного прогресса. Ковальскому я обязан, м. пр., и тем, что познакомился с философией естествознания того времени. Кружок приказчиков, в котором я принял участие, впервые в конкретно-осязаемой форме выявил предо мной общественно-полезное начинание: такая работа – лучшая школа для выработки из молодежи будущих общественных деятелей. Систематические беседы на все текущие вопросы общественной жизни русской и западно-европейской, которые мы вели в этом кружке, дали первый толчок моему *политическому* развитию, ибо до этого я совсем не читал газет и не интересовался ничуть политическими вопросами. В это время как раз вспыхнула франко-германская война. Я набросился на газеты. Война вызвала взрыв горячего сочувствия в широких кругах общества к Франции. В приказчичьем кружке беседы сильно оживились. Все, без исключения, были на стороне французов и всячески поносили немцев и Бисмарка. И вдруг, как эпилог войны, грянула Парижская Коммуна. В студенческой „ожидальне“, в аудиториях, в читальне, театре, кофейных и т. п.—везде только и разговоры, что о Коммуне. Но основной тон харьковского „хора“ звучал непримиримой враждебностью к Коммуне. Наш приказчичий кружок также был захвачен этим потоком огульного обвинения и беспощадного осуждения Коммуны: Франция, де, разгромлена, еле дышет, и вот в такой именно момент парижские рабочие вздумали поднять мятеж против своего правительства... Несмотря на все горячие возражения руководителей кружка, приказчиков нельзя было никак переубедить... Это очень характерно для уровня сознания трудящихся масс того времени. Все, что я пережил в 1870—71 г. в Харькове, глубоко запечатлелось в моей душе, было решительным сдвигом в моем развитии. Я впервые почувствовал и осознал почти непреодолимое тяготение к трудовым массам. Я сказал себе: окончу курс медицинских наук и буду лечить народ, „мужика“. Я читал, перечитывал многократно маленькую книжечку, которую можно было засунуть в боковой карман, поближе к сердцу: „Исторические письма“ Миртова (Лаврова). Книга овладела мной, как, скажу, св. писание или Коран верующим.

Я бросил полулекарский экзамен и в 1871 г. перевелся в Петербург в Медико-Хирургич. Академию. В Петербурге—лучшая полоса моей жизни. Я застал в Петербурге конец „нечаевского дела“. Я бывал на суде, подсудимые произвели сильное впечатление на студенческую молодежь, хотя отношение к „нечаевщине“ было принципиально отрицательным. Я лично тогда стоял на перепутьи, пока что знакомился по книжкам с „рабочим вопросом“ на Западе, с его теорией и практикой. Но к практической работе я еще не думал приступать, ибо не чувствовал себя для этого достаточно подготовленным. И тем более я был решительным противником Нечаева и „нечаевщины“.

Общество в Медико-Хирург. Академии было отборное—здоровых, сильных, бодрых разночинцев; здесь демократизм был не наносный, а подлинный. В центре Петербургских кружков стоял „кружок чайковцев“— авангард революционной молодежи 70-х годов.

В центральный Петербургский кружок вошли М. Натансон, И. Чайковский, А. Сердюков, Ольга Шлейснер (позже Натансон), С. Перовская, А. и В. Корниловы, Ободовская, Д. Клеменц, Чарушин и др.; позднее к ним присоединились Л. Шишко, С. Синегуб, С. Кравчинский, П. Кропоткин, из москвичей—Л. Тихомиров, Иванчин-Писарев, Н. Морозов, М. Фроленко, Н. Армфельд, Н. А. Саблин, из одесситов—А. Желябов, Ф. Волховский, из киевлян — Н. Лопатин, П. Аксельрод, Н. Колоткевич. Можно без преувеличения сказать, что это был цвет молодежи: ум, талант, довольно высокое умственное развитие, в сочетании с несокрушимой энергией и волей, нравственная красота, ригоризм в личных и общественных отношениях. Одновременно с кружком Чайковцев возник и работал другой типичный интеллиг. бунтарский кружок — Долгушинцев. В него входили: Долгушин, Дмоховский, Папин, Плотников, примыкал очень близко Флеровский. Лето 1873 г. долгушинцы уже были на работе — в „народе“: были они молоды, 22—23 лет, бодры, жизнерадостны, а отправлялись точно на смерть. Третий кружок революционного авангарда— „Лавристы“. Они в противоположность Бакунистам стояли исключительно на точке зрения систематической и длительной пропаганды социалистич. идей в массе, отрицали всякого рода бунты и „вспышки“.

Весною 1873 г. раздался лозунг: „В народ“. Электрическим ударом пробежал этот лозунг по массе молодежи и всколыхнул ее. Итти в народ это означало не только отдать народу свои силы, свои знания во имя и ради народной революции, но это означало еще—жить его радостями и страданиями, погрузиться в самую гущу многострадальной народной жизни. Цельное это настроение молодежи вылилось в неудержимо-самоотверженный порыв воли. Я такого движения среди молодежи не припомню в другое время. Весной 1874 г. волна достигла своей крайней высоты. Кружки и сходки прекратились. Все вопросы решены. Время уже итти в народ. Но прежде всего нужно научиться физическому труду. И работа закипела. Одни отправляются на заводы, фабрики, где работают с помощью спропагандированных рабо-

чих. Другие изучают ремесла—сапожное, столярное, слесарное и пр. Во многих частях Петербурга открываются такие мастерские, в которых выучка идет под руководством рабоч.-революционера. Эти мастерские были одновременно и „коммунами". И молодежь потянулась в путь—все корабли сожжены,—потянулась в жертвенном энтузиазме. Помню эпизод 1874 г., когда я проезжал домой через Харьков. Вместе с знакомой пошли в университетский сад в чудную летнюю ночь. В глубине сада несколько солдат пели украинские песни. Мы незаметно завязали разговор, потом я стал пропагандировать—горячо, молодо. Солдаты слушали нас с интересом. Потом, т. к. солдаты хотели выпить, мы пошли в кабак: мне не хотелось оборвать пропаганду. Водка была отвратительная, но я глотал эту гадость, не желая отстать от компании. Это был первый мой опыт пропаганды, и мне казалось, что если я буду пить с ними, это меня с ними сблизит.

В то время, как события 1873—74 г. все более развертывались, я был студентом 5 курса Медико-Хирургической Академии и готовился уже к окончательному экзамену. Я был студентом занимающимся, работящим. Некоторые профессора считали меня одним из возможных кандидатов для оставления при Академии. Я и сам об этом мечтал. Моими любимыми занятиями были патология, анатомия и терапия. Мои первые учителя в этих областях—Руднев и Манасеин—бесповоротно определили мой выбор. Я много работал по своей специальности, но это не заглушало во мне потребности к общему развитию; тогда Писарев владел мною всецело, и я тщательно работал над собою, чтобы выработать из себя „критически-мыслящую личность". Какое глубокое, помню, впечатление произвела на меня „Целлюлярная Патология" Вирхова; но совершенно тождественное впечатление произвели и „Происхождение человека" Дарвина, „Капитал" Маркса, „Очерки политич. экономии" Чернышевского. Народа я не знал, так как я родился в городе, деревни почти что не видел, да, кроме того, я был чужим этому народу по крови. Русскую историю я тоже плохо знал. Я взялся за нее. Костомаров, Беляев и Хлебников на меня произвели сильное впечатление. Кроме того, я проштудировал исследования по общине, обычному праву, расколу и сектантству. Остальное доделали товарищи, кружки и сходки. К весне 1874 г. я был совершенно готов. Я решил оставить Академию и пойти в народ. Но передо мною встали некоторые, совершенно специальные для меня затруднения.

Я—еврей. Меня сильно смущало это обстоятельство. Как отнесется народ к моей пропаганде—даст ли он ей веру или нет. Товарищи меня успокоили тем, что русский народ терпим, внешность у меня не типично-еврейская, и речь совсем хорошая, а потому стоит-де мне лишь переодеться в рабочий костюм, и я сойду за русского человека. Я решил научиться какому-нибудь ремеслу. Я уехал на родину, где удалось устроиться с приятелем в деревне у столяра-хохла,—за небольшую плату он учил меня столярному ремеслу. Однако, хотя мускулы мои окрепли, на ладонях показались мозоли, и работал я прилежно, работа у меня, увы, не спорилась. Я едва-едва овладел элементарными приемами—струганием, пилкой и сшиванием досок. Я был в отчаянии. Что делать? И я решил, по совету одного из распропагандированных мною крестьян, пойти в народ не в качестве рабочего, а фельдшера (смотри более подробно в кн. „Земля и Воля"). Пока что я вернулся в Петербург, застал молодежь растерянной (после арестов), но не подавленной. В это время произошли студенческие беспорядки в М.-Х. Академии по поводу назначения д-ра Циона на кафедру физиологии помимо конференции. Человек 30 (в том числе и я) были допрошены и отправлены в Литовский Замок. В конце концов, арестованным дали полную амнистию. Я решил окончательно распроститься с Академией, отказаться от диплома и от получения мною звания врача. Меня тянуло всеми силами в народ. Я решил поселиться в деревне в качестве фельдшера. Помню хорошо последний день пребывания в Петербурге. Я с другом детства (Ал. Хотинским, будущим землевольцем) сидел в Летнем саду. Я был в каком-то мечтательном настроении.

— Ну, а что, Осип, если через год или два тебе опять захочется сюда, назад, в культурную среду, подышать культурным воздухом, а?—спросил меня лукаво друг. Я совершенно спокойно ответил:—Никогда. Этого не должно быть.

— Значит, сжег все корабли?

Я молча кивнул головой. На другой день я уехал в Псковскую губ.—в больницу при общине сестер св. Магдалины, основанной на средства княжны М. М. Дондуковой-Корсаковой. Я лечил мужиков, изучал их жизнь, работал в больнице. Одновременно читал сестрам общины лекции по медицине. Для меня, как еврея и интеллигента, община представляла совершенно новый мир. Я невольно заинтересовался им, посещал обедни, был даже на акафистах, начал читать евангелие, которого раньше совсем не знал. Между сестрами резко выделялась Параша Бухарицына—чудный образ крестьянской девушки. Я—социалист, а Параша—христианка, но *эмоциональная* основа у нас была общая; и я готов был на всевозможные жертвы, и она была вся—самопожертвование. Мы стали друзьями. Мне оставалось вооружиться ее оружием и направить его против нее же. Я стал не только читать, а изучать евангелие: я читал и перечитывал его. Я полюбил это

ученье, но незаметно для себя стал вносить в него то, что мне было дорого, то, чем я тогда был жив—социализм. И первая моя ученица—Параша, отдавшись моему пониманию евангелия, сама стала социалисткой. Я был тогда экзальтирован, притом еще и в религиозном отношении: это было сложное и довольно таки путанное душевное состояние, в котором рядом уживалось реально-социалистическое миросозерцание с евангелически-христианским.

Весной 1875 г. я получил желанное место фельдшера в Пензенской губ., но заехал по пути в Петербург. В Петербурге я решил прежде, чем поехать в деревню, принять православие. Никто из близких и товарищей не знал этого, хотя ужасно удивились, когда раз застали меня погруженным в молитвенник и катехизис. Крещение мое состоялось. И должен сказать: я почувствовал себя тогда словно обновленным. „Я иду в народ,—думал я,—не евреем уж, а христианином, я приобщился к народу". Настроение мое тогда было очень приподнятое. Я высказывался за желательность вести пропаганду в народе, опираясь на евангелие—на опыте в Псковск. г. В таком настроении я уехал в Пензенск. губ., работая здесь в земской больнице фактически врачем, официально фельдшером, на жаловании 15 руб. в месяц. Я устраивал при больнице что-то в роде клуба—в большой палате для выздоравливающих, читал им „Хитрую механику", „Сказку о четырех братьях" и пр. Через год такой работы в народе, я спрашивал себя, что же я успел в смысле распространения социалистических идей в народе... Стало ясно, что пропаганда социализма при теперешнем развитии народа не может иметь успеха. Надо перейти к действию. Злобою дня был тогда в Петербурге радикальный пересмотр программы и тактики. Первой публичной демонстрацией молодежи против правительства была демонстрация на похоронах Чернышева 3 марта 1876 г. Затем последовала Казанская демонстрация, организованная „Северно-народнической группой" (бунтарями) 6 декабря 1876 г. Я выехал в Петербург в 1877 г., как один из делегатов от ростовско-харьковск. кружка для окончательных переговоров с „Северно-народнической революционной группой бунтарей", которая в 1878 г. стала известна под назв. об-ва „Земля и Воля". *) В результате переговоров и по выработке общей программы, эти кружки слились в одно общество. В центре этой программы была организация деревенских поселений. Эти поселения и были организованы на Волге, на Кубани и на Дону. В виду организации деревенских поселений в Саратовской г. переехал туда, чтобы вступить, согласно решению центра, в саратовск. колонию (там я застал уже из членов петерб. кружка Плеханова, Александра Михайлова и др.). Весной 1879 г. центр вызвал меня в Петербург на подмогу Плеханову для занятий с рабочими, и тут же стали намечаться первые симптомы будущего раскола, так как наш „центр" ударился исключительно в террор. После выстрела Соловьева начались аресты, казни, террористическая деятельность становится верховным принципом революционной тактики. В оппозиции с этой группой и стала т. наз. „деревенщина" во главе с Плехановым, М. Р. Поповым, Игнатовым, мною и др. Эти разногласия все больше обострялись, и у нас зародилась идея съехаться и прийти к окончательному соглашению. На Воронежском съезде (в конце июня 1879 г.) все разногласия были улажены, удалось крепко сплотиться, присоединить новых членов; единственный, кто был против решений съезда, Плеханов тогда и вышел из организации „Земля и Воля". По окончании съезда я уехал из Воронежа в Петербург и потом в Кубанскую область для сношений с местной революц. народнической группой. Вернувшись в Петербург, я застал о-во „Земля и Воля" уже расколовшимся на две самостоятельные фракции: „Народная Воля" и „Черный Передел". Я долго не мог мириться с этим. Попытка моя сохранить, по крайней мере, „Землю и Волю", как центральный орган обоих фракций, окончилась неудачей. Организация „Черный Передел" была обязана своим возникновением энергии старых землевольцев—М. Р. Попова и Г. В. Плеханова, Преображенского и новых членов—Н. П. Щедрина и Е. Н. Ковальской, Пьянкова и др.

В состав редакции органа „Черный Передел" вошли: Плеханов и я, позже П. Б. Аксельрод. Мне же было поручено составление „Письма к бывшим товарищам". В начале 1880 г. начался уже выезд за границу главных членов „Черн. Передела", которым оставаться дольше в России нельзя было. Выехали Дейч, Стефанович, Засулич и Плеханов. Нашу гибель ускорило предательство нашего же чернопередельца Жаркова. Пошли аресты, и 31 января 1880 г. был арестован и выслан и я.

В начале ноября 1881 г., после почти двухлетнего мытарства по русским и сибирским тюрьмам, острогам и этапам-клоповникам, я прибыл, наконец, в место моей ссылки — в с. Усть-Майское (Якутск. обл.), где жил каракозовец П. Ф. Николаев, потом был переведен в слободу Амга, где была уже небольшая колония „государственных": долгушинец И. И. Папин, В. Г. Короленко, ад-

*) Марк Натансон еще осенью 1876 г. говорил мне, что О-во будет носить название О-ва „Земля и Воля" в *память* одноименного О-ва 60-х г.г., но фактически Аптекман прав, что это название окончательно закрепилось с выходом центр. орг. этого об-ва „Земля и Воля."

В. Фигнер.

министративно сосланный за непринятие присяги Александру III; М. А. Ромась, тоже администр. сосланный за то же, за что и Короленко; М. А. Натансон, мой старый товарищ и друг по „Земле и Воле“, и его жена (урожд. В. Александрова).

В конце 1886 г. я вернулся в Россию. Полный идейный разброд. Революционные развалины. Хочется работать. Хотел было в университет — кончать курс медицины: не разрешили. В 1887 г. я уехал за границу. В Баварии сошелся с группой мюнхенских рабочих социал-демократов. Но сам социал-демократом не стал: не изжил еще утопического народнического социализма. Летом 1888 г. поехал в Швейцарию повидаться со старыми товарищами: П. Б. Аксельродом, В. И. Засулич, Г. В. Плехановым, организовавшими группу „Освобождение труда“. Потом вернулся на родину, меня потянуло с неудержимой силой опять в „народ“, в деревню. Я уехал в Саратовскую губ. земским врачом. В 1892—93 г. боролся с голодом и холерой и чуть сам не погиб, тяжело заболев сыпным тифом. Весною 1894 г. была сделана попытка Натансоном, Тютчевым и мною построить общество „Народное Право“, выдвигая на первый план политическую борьбу. Это общество было вскоре разгромлено. В 1894—95 гг. я работал психиатром в Колмовской психиатрической больнице (Новгородск. губ.). Здесь, между прочим, в числе моих пациентов был Гл. Ив. Успенский (воспоминания о Гл. Ив. и его пребывании в больнице я опубликовал позже в „Русск. Бог.“ и отд. брош.).

В 1895—96 гг. я сошелся впервые с нашими социал-демократами в Смоленске. В Уфе пристал к местной социал-демократической молодежи. Но общественное положение было такое, что мог работать только среди интеллигенции. В 1905 г. вспыхнула первая русская революция. Я тогда жил в Вильне. Быстро сорганизовалась в нашей лечебнице рабочая боевая группа из 50 — 60 человек, хорошо сплоченная и достаточно вооруженная. Мы вели пропаганду и агитацию в Виленском и Вилейском уездах. Вели энергично бойкот первой Думы и призывали к вооруженному восстанию. Прокатилась черносотенная полоса. Начался погром в Вилейке, но мы энергично положили ему конец. Ждали сигнала к восстанию из Вильны, но не дождались. Нас всех арестовали и привлекли к суду. После шестимесячного сидения меня отпустили на поруки и под залог на волю, потом разрешили выехать за границу.

За границей я пробыл с 1906 г. по май 1917 г. Когда грянула война, я решительно враждебно стал к ней, как к войне империалистической, а потому контрреволюционной и контр-пролетарской. Я попал в разряд „пораженцев“, по крылато-пошлому выражению Алексинского. История оправдала мою позицию, и никто меня с этой позиции не собьет.

Ашенбреннер, Михаил Юльевич *).

Родился я в Москве в 1842 г. Дед мой, Юлий Юльевич Ашенбреннер, эмигрировавший из Германии при Александре I, был розенкрейцером. Сначала он преподавал математику и фортификацию в кадетском корпусе, а потом был назначен командиром Омской артиллерийской бригады. В Казани он встретился с красивой и образованной немочкой Марией Христофоровной и женился на ней. Весьма понятно, что будущий первоучитель славянофильства, юный Сергей Тимофеевич Аксаков, весьма неравнодушный к Марье Христофоровне, дал такую убийственную характеристику Юлию Юльевичу в своей „Семейной Хронике“. (См. старое изд., стр. 370 или 380, глава „Университетские годы“.) Отец родился в Омске, учился в инженерном училище и совершенно обрусел. Отец женился на дочери Смоленского коменданта, генерала Наумова—одного из генералов отечественной войны. Мне не было еще трех месяцев, когда вся наша семья выехала на Кавказ, сначала в дилижансе, а потом на почтовых. Бабушка М. Х. учила меня и старшего брата читать, писать и арифметике; мы ее очень любили, и когда матушка нам рассказывала с негодованием, как М. Х. в дороге выбросила в окно дилижанса иконы, которыми мать обложила себя в дороге, мы смеялись и были на стороне бабушки. Отец разъезжал на Кавказе по укреплениям, иногда брал меня с собой, и тогда я увидел вблизи горы, которые восхитили меня, как волшебная сказка. Захваченный глубоко красотой и величием кавказской природы, я, по указанию отца, стал увлекаться поэзией Лермонтова и до сих пор могу продекламировать, напр., его „Спор“, „Валерик“, целые строфы из „Демона“. В 50 году мы жили в Петербурге, а в 51 г. отец уже служил в Москве. В 53 г. я поступил в I Московский кадетский корпус, который тогда, подобно школе кантонистов — был „палочной академией“. Ротный командир Сумернов мне сделал такое напутствие: „Помни, у меня всякая вина виновата. За ослушание, дурное поведение и единички высекут: будь у тебя семь пядей во лбу, а виноват—значит марш в „чикауз“; у меня правило: помни день субботний“. По субботам водили в „чикауз“ человек 20—30. Одних пороли, другие назидались. Малышам давали до 25 ударов, подросткам до 50, а взрослым до 100. Совершая пу-

*) Автобиография написана в ноябре 1925 г. в Москве.

блично порку, наши воспитатели расчитывали на поучение и устрашение; а вышло нечто другое: по примеру воспитанников старшего возраста, малыши в виде протеста старались переносить наказание не только без крика, а молча, что приводило присутствовавших товарищей не в ужас, а в некоторый экстаз и создавало подражателей. Так, мало по малу дикая и жестокая казарменная ферула создавала суровое спартанское товарищество, связанное общей ненавистью к начальству, и по правилу о взаимной выручке учила стоять всех за одного. Вскоре новый военный министр Д. А. Милютин реформировал корпуса, превратив их в реальные училища со специальными классами. У нас явились прекрасные преподаватели и образованные воспитатели. Во 2 и 3 специальных классах преподавали некоторые профессора Московского университета. С. М. Соловьев преподавал историю. Словесность преподавал Н. С. Тихонравов, который указал нам на Белинского и Добролюбова. Даже такой солидный, как Капустин, читал и толковал нам Токвиля „Старый порядок и революция". Но больше всех мы обязаны преподавателям статистики и законоведения — С. С. Муравьеву и Лялину (переводчику Шиллера). Они читали у нас в классах, а иногда у себя на дому — произведения Герцена, новые номера „Колокола", „Полярную звезду", познакомили нас с нелегальной литературой и указали нам на публицистику и экономические статьи Чернышевского.

Из корпуса за хорошие успехи я выпущен в 60 г. поручиком в стрелковый батальон, квартировавший в Москве. В это время я очень увлекался учениями Чернышевского и Герцена. Под этим влиянием я познакомился с ученьем Фурье и Р. Оуэна, с философией Гегеля, по превосходной книге Гайма „Гегель и его время", и с учением Фейербаха (литографированное издание московских студентов). В 63 г. начальство предназначило меня к переводу в один гвардейский полк на укомплектование офицерского состава, пострадавшего в одном неудачном деле с Лангевичем. Я от этой чести отказался, и ближайшее начальство этот отказ оговорило довольно благовидной отговоркой, но тем не менее я попал в разряд весьма неблагонадежных, вследствие чего меня стали перегонять из одного полка в другой, так что в течение 64 г. я переменил три раза свое место служения и, наконец, был выслан в Туркестан. Там я пробыл около 5 лет и вернулся в Россию уже в жирных эполетах. В половине 70 гг. я познакомился в Одессе и Николаеве с несколькими будущими народовольцами—с Фроленко, Желябовым и другими. Тогда повсюду возникали офицерские кружки самообразования, где, главным образом, изучали социалистов. В это время между офицерами на юге ходил по рукам литографированный московскими студентами „Коммунистический манифест". Офицеры знакомились с Марксом не по I тому „Капитала", а по более доступным статьям профессора Зибера, которые печатались в журнале „Знание" под заглавием „Экономическая теория К. Маркса". В конце 70 гг. южные кружки: в Николаеве — армейский из 8 человек и морской из 25—30 человек и Одесский из 8 чел., стали политическими. Программа южных кружков определялась следующими соображениями: истинное назначение армии защищать страну от внешних врагов. Внутренний порядок охраняется многочисленной и разнообразной полицией. Наша армия есть самое могучее орудие в руках государственной власти; а власть принадлежит господствующему классу, т.-е. полицейской бюрократии и капиталистам. Эта власть, при всякой попытке крестьян и рабочих защищать свои справедливые интересы, привлекает войска к сотрудничеству с полицией, шпионами и палачами, принуждая войска, под страхом расстрела, к беспощадным и позорным усмирительным и карательным операциям, чем окончательно развращает войска, превращая их в банду разбойников,— посему мы обязуемся сохранять дружественный нейтралитет по отношению к защитникам интересов трудового народа, а в важных случаях оказывать вооруженное содействие восставшим крестьянам и рабочим. Литературу мы получали от нелегальных товарищей и распространяли ее между офицерами соседних городов. Она попадала и к солдатам. Завязывались связи с артиллеристами и пехотинцами в Херсоне, Вознесенске, Евпатории; но последнее дело не получило дальнейшего развития. Летом 81 г. я познакомился у Ивана Ивановича Сведенцева (Ивановича) с Верой Николаевной Фигнер, а в конце 81 года у нас в Николаеве и Одессе побывал член Военного Центра лейтенант А. В. Буцевич. Он нашел нашу программу слишком умеренной и достаточно неопределенной и склонил нас: во 1-х, присоединиться к партии Народной Воли и принять программу Исполнит. Комитета этой партии; во 2-х, связал нас с Военным Центром, программу которого мы тоже приняли (программу Исполнительного Комитета см. „Запечатленный труд" В. Н. Фигнер, т. I, Прилож.). Программа кружков, объединенных Военн. Центром, в главных чертах может быть выражена так: 1) кружки принимают программу Исполнительн. Комитета и Военн. Центра; 2) задача военно-революционной организации — вооруженное восстание с согласия и по указанию Исполнит. Комитета. Цель — ниспровержение существующего политического и экономического строя; 3) обязательство явиться с оружием, по требованию Военн. Центра, в данное место к назначенному сроку; а в некоторых случаях и увлечь

с собою воинские части, на которые можно рассчитывать; 4) для сохранения военной организации в подготовительном периоде ее деятельности, член ее, призванный в боевую организацию партии Народной Воли, должен выйти из военной организации. После этого, на общем собрании южных кружков в Николаеве порешили приступить к пропаганде среди солдат, но на юге это дело было поставлено иначе, чем в Кронштадте: там Завалишин и Серебряков руководили пропагандой в учебных командах двух флотских экипажей (экипаж равен армейскому полку по военному составу), а Папин — в кронштадской артиллерии. Захватить в свое ведение учебные команды на юге не удалось, но там пришли к счастливой мысли о благотворности непосредственного сближения солдат с рабочими. Мы постановили просить Исполнительный Комитет о присылке для этой цели рабочих. Исполн. Комит. уважил наше ходатайство и откомандировал в Николаев Александра Григорьева, а в Одессу—Петра Валуева—двух очень энергичных, ловких и опытных пропагандистов. Пропаганда этих даровитых рабочих была очень успешна, особенно в Николаеве, среди моряков. Оркестр I флотского экипажа, который ежегодно осенью услаждает царскую семью музыкой в Ливадии, был сильно затронут.

С Верой Николаевной, как я уже сказал, я познакомился в Одессе у Ивана Ивановича Сведенцева, затем встречался с ней у Софьи Григорьевны Рубинштейн, сестры Антона Григорьевича (композитора); затем виделся еще раз с Буцевичем, а весной 82 года в Николаевском армейском кружке побывала Вера Николаевна; своей личностью, своими речами она воспламенила моих отзывчивых товарищей до энтузиазма. Такие моменты оставляют глубокий след в душе человеческой. В июне 82 г. мы узнали об аресте Буцевича; летом же несколько человек разъехалось в разные стороны для того, чтобы связаться с другими кружками, о которых мы слышали. Талапиндев поехал в Харьков, насколько помню, в Кронштадт поехали моряки Бубнов и Главацкий, а Кудрицкий в Петербург в Морскую Академию. Я — в Орел, Петербург, Кронштадт. На обратном пути я побывал в Киеве, где сблизился и столковался с кружком народовольца-офицера Тихановича, совершенно зрелым и имевшим такую же программу, как наша, и с офицером другого полка — Трояновским, около которого начинал группироваться другой кружок. Здесь мы договорились, в виду постоянной оторванности от центра, устроить свой южный областной центр, который, по условиям военной службы, мог быть только подвижным и должен был служить для обмена визитами между нами и киевлянами. Осенью я был призван в распоряжение Военн. Центра, но успел повидаться с Дегаевым (до основания им Одесской типографии). Он привез мне записку Веры Николаевны с просьбой перед моим отъездом познакомить его с выдающимися офицерами в Одессе и Николаеве, что я и сделал. Так он познакомился с моряком Ювачевым и армейцами Николаевской группы Мицкевичем и Талапиндовым, а из одесских — с Крайским и Стратоновичем. Затем я взял годовой отпуск; два раза побывал в Кобеляках у Похитонова (бывший член В. Ц.), виделся с Верой Николаевной в Харькове и отправился в Кронштадт. В Центре мне предложили взять на себя объезды провинциальных кружков для связи этих кружков с центром, но предварительно, до приезда Степурина, познакомиться с положением дела в Петрбурге. В Петербурге тогда уже существовали кружки в Морской и Артиллерийской Академиях, в Морском корпусе, Константиновском Военном училище, в Артиллерийск. учил. (отдельные лица), один офицер в Новочеркасском полку и один офицер Московского гвардейского полка. Артиллеристы бывали у меня на квартире, а с моряками я встречался у Ювачева, который тогда поступил в Морскую Академию, а выехал из Петербурга по приезде Степурина. Я должен был: 1) свести все программы кружков к единой программе Военн. Центра. 2) В виду постоянной оторванности от центра, предложить в кружках устраивать областные центры в форме или съездов, или обмена визитами, или в какой-либо иной форме, смотря по местным условиям. 3) Оповестить о предстоящем съезде делегатов военной организации; выбрать удобное место и определить время этого съезда. 4) Сообщить о скором выпуске военно-революционного журнала и наметить корреспондентов. 5) Предложить желающим дать обещание явиться по требованию Военн. Центра в назначенное место к известному сроку. 6) Получить в Москве от одного доброжелателя значительную сумму денег, обещанных им своим друзьям—Суханову, Буцевичу и Серебрякову—на солидное военное революционное предприятие. 7) Встретиться в Харькове с Серебряковым, сдать ему деньги и отчет о своей поездке и отправиться по Волге и южной России и затем через Киев, Ригу, Минск вернуться в Кронштадт. В Пскове оказался небольшой кружок из трех лиц — дело тут только что начиналось. В Минске находился большой, но вполне зрелый кружок с очень серьезным представителем этой группы, капитаном Ч. В Риге было два больших кружка, также вполне готовых; в Усть-Двинске— небольшой артиллерийский. В Вильне (брат Серебрякова), Ревеле и Двинске я не успел побывать и, заехав для свидания с Н. Рогачевым (бывш. член Военн. Центра) в Вилькомир, направился в Москву через Смоленск, где я расчитывал отдохнуть у брата два,

три пасхальных дня, но до Москвы я не доехал, и, к счастию, обещанных денег не получил, иначе они бы пропали вместе со мной. Оказалось, что вследствие предательства Дегаева, департамент полиции сделал распоряжение по всем губернским жандармским управлениям арестовать меня, как только я где нибудь окажусь, и телеграфировать об исполнении в департамент. 25 или 26 марта, часов в 11 веч., жандармский полковник Есипов стал расставлять вокруг углового дома, где жил брат, цепь жандармов и городовых. Эту операцию жандармы проделывали с такой патриархальной простотой, с такой медлительностью, что я не только успел заметить эти проделки, но успел затопить печку и сжечь книжечку с 200 адресами, верительные письма для получения денег в Москве и свой отчет о поездке, а жандармы все таки не входили. Потом оказалось, что полковник Есипов ожидал воинского начальника, необходимого, как депутата с военной стороны, при обыске и аресте офицера. Меня отправили прямо в департамент в отдельном купэ с жандармским офицером и двумя унтерами, оттуда сейчас же в Петропавловскую крепость.

Когда южные кружки составляли под руководством Буцевича свою новую программу, он нам объяснил, что, кроме нашей обязанности оказать вооруженную поддержку восставшим в нашей местности рабочим и крестьянам, мы должны готовиться к самостоятельному военно-революционному выступлению, не дожидаясь революционного почина со стороны рабочих или крестьян, так как военное выступление развяжет энергию народных масс, скованную прежними усмирительными и карательными воинскими экспедициями. А в последнее наше свидание он мне изложил план такого выступления, взяв с меня обещание не говорить товарищам об этом до окончания подготовки. Для этих предприятий нужны деньги, которые обещаны, но еще не получены; нужно крепче привязать провинциальные кружки к центру и свести разнообразные кружковые программы к единой — центральной. Для выступления В. Ц. рассчитывает на два флотских экипажа (около 8 тыс.), где уже не первый год ведется очень успешно пропаганда в учебных командах Серебряковым и Завалишиным; на всю Кронштадтскую артиллерийскую команду, где пропаганду вел Папин с товарищами; на два миноносца; кроме того, были связи в других экипажах и с матросами на некоторых больших броненосцах; на революционных офицеров—кронштадских петербургских и провинциальных. В день майского парада на Марсовом поле приезжают из провинции офицеры, вооруженные револьверами, а некоторые и бомбами, вмешиваются в царскую свиту, состоящую из великих князей и военного начальства, и когда начнется церемониальное прохождение гвардии с музыкой мимо царя, по данному сигналу, офицеры истребляют всю эту августейшую компанию. Оставшиеся в живых офицеры отступают к миноносцам, которые к этому времени располагаются на позиции между крепостью и Марсовым полем. Миноносцы с офицерами блокируют крепость и делают попытку ворваться в нее, освободить арестованный Исполнительный Комитет. Одновременно с этими событиями офицеры вместе с кронштадтской крепостной артиллерией захватывают 9 крепостных бронированных фортов, вооруженных дальнобойными орудиями большого калибра, а матросы двух экипажей со своими офицерами арестовывают морское начальство, захватывают арсеналы, телеграфы и пр., пытаются привлечь к восстанию остальной гарнизон и обезоруживают верноподданные отряды. Затем значительный отряд матросов немедленно и с возможной быстротой выступает в Петербург, захватывает Петропавловскую крепость, вокзалы, телеграфы, арсеналы и важнейшие стратегические и опорные пункты. Офицеры Петербургских кружков передают восставшим рабочим оружие и патроны из неприкосновенных запасов на случай мобилизации, которые слабо охраняются и находятся на окраинах города. *)

План этот, несмотря на свою необыкновенную дерзость, был исполним: силы для его исполнения были достаточны. Из 50—80 офицеров, прибывших из провинции, можно было отобрать человек 25 более решительных, остальные могли находиться в резерве... Но главнокомандующий Буцевич в июне 82 г. был уже арестован; правда, имелся в виду другой офицер, которого я должен был пригласить во время моего объезда—но я до него не доехал. Наилучшими руководителями на Марсовом поле могли бы быть Желябов, Александр Михайлов, Фроленко, Баранников, но одни из них погибли, другие были заточены в крепость. Исп. Ком. был в полном составе арестован, а военная организация к маю 83 года была еще не готова, да и царь спрятался и в 83 г. ни на какие парады не выезжал, и в то время, когда разрабатывали детально этот план, мы все чуть не поголовно были преданы Дегаевым. Хотя Дегаев не имел никакого понятия об этом плане, благодаря конспирации Буцевича, но военная организация в первой половине 83 г. рухнула почти в полном составе. Уцелели только кружки на северо-западе России, о которых Дегаев, вероятно, не имел сведений.

Петербургский военный суд по делу „14“ в конце сентября 84 г. приговорил В. Н. Фиг-

---

*) Военные были склонны к такого рода планам. Так, в 81 году они рисовали возможность, собрав 300 чел. рабочих, отбить вооруженной силой Желябова и Перовскую, когда из Дома предварительного заключения их на колесницах повезут на казнь.

В. Фигнер.

нер, Л. А. Волкенштейн и 6 офицеров (меня в том числе) к смертной казни. Офицеры Штромберг и Рогачев были казнены, остальным смертная казнь была заменена бессрочной каторгой с заключением в Шлиссельбурге. В конце сентября 904 г. я был освобожден из крепости с переводом в разряд ссыльно-поселенцев, а так как, по случаю возвращения войск после Японской войны, этапные пути в Сибири были закрыты, то меня отправили отбывать ссыльное состояние на родину в Смоленск. По манифесту 17 октября срок моего пребывания в разряде ссыльно-поселенцев был сокращен, и в 1912 г. я был переведен в разряд лишенных всех особых прав, с оставлением под надзором. Революция 1917 г. возвратила мне гражданские и политические права. Первые годы в Смоленске я занимался переводным трудом и печатал в журнале „Былое" и „Минувшие годы" свои воспоминания. С 914 г. состоял лектором в Починковском союзе кооперативов, читал на счетоводных курсах, а потом в Высшей крестьянской школе в с. Кузеневе (Елпинского уезда) „Историю развития русской общественной мысли" и „Историю революционного движения в России", а на подготовительном курсе историю Египта, Греции и Рима. Затем в Смоленском Политехническом институте я читал на 1 курсе „Историю русской общественной мысли" и „Историю революционного движения в России" до закрытия этого института, после чего я переехал в Москву и поселился в доме ветеранов имени „Ильича".

В январе 1924 г. товарищи политкаторжане почтили юбилейным праздником 82-ю годовщину моей жизни, а Советское правительство за мои скромные революционные заслуги и многолетнее гонение царской властью удостоило меня высоким званием „Старейшего Красноармейца" и шефа 2 Московской пехотной школы.

Бах, Алексей Николаевич. *)

Я родился в г. Золотоноше Полтавской губ. 5/17 марта 1857 г. Отец мой был техник с средним образованием, по специальности винокур. Большой поклонник науки, он рано познакомил меня с вопросами, связанными с брожением, и пробудил во мне живой интерес к биологической химии, которой я впоследствии посвятил всю свою научную деятельность. Семья у нас была большая, жили мы весьма скромно, временами терпели настоящую нужду. Это дало нам определенный трудовой закал.

Учился я в Киевской 2-й классической гимназии, курс которой окончил в 1875 г. Еще в бытность мою в 6 классе гимназии до меня стали доходить подпольные издания того времени. Я жадно знакомился с ними, позже основательно изучил литературу научного социализма, в особенности „Капитал" Маркса, и стал убежденным социалистом, каковым остался в течение своей долгой жизни. По окончании гимназии я поступил в Киевский университет на отделение естественных наук физико-математического факультета. Любовь к науке и увлечение лабораторной работой несколько отвлекли меня от активного участия в тогдашних революционных кружках, с которыми, однако, я был в постоянных сношениях. Но когда после ряда вопиющих насилий со стороны жандармских властей весною 1878 г. возникли знаменитые „киевские университетские беспорядки", я оказался в самой гуще их и вместе с 15 другими товарищами был выслан в административном порядке в не столь отдаленные места. На мою долю выпал Белозерск. В ссылке я пробыл до декабря 1881 г. По возвращении в Киев я одновременно был принят в университет и в киевскую организацию партии „Народной Воли". Тут моя деятельность раздвоилась, так как чисто научная работа чередовалась с революционной, в частности с пропагандой среди рабочих, которой я посвятил особенное внимание. Я выработал и применил на практике план занятий, который впоследствии лег в основу моей книжки „Царь-Голод".

Наша центральная группа, членами которой были, кроме меня, Спандони, Захарьин, Никитина, Росси, Кжеминский и супруги Каменецкие, успела развить довольно широкую деятельность. Работы было много и, естественно, мои научные занятия отошли на второй план. У нас поставлена была своя тайная типография, в ней мы печатали, главным образом, прокламации, часть которых была написана мною. Для обслуживания типографии у нас была „техническая подгруппа", которую вел Захарьин. К пропаганде среди рабочих приставили Кжеминского и меня с двумя подгруппами. Кроме того, я вел деятельные сношения с революционными кружками народных учителей в Гадячском и Переяславском уездах Полтавской г. Я также часто виделся с революционным кружком, который был создан в Киевской Духовной академии П. Г. Дашкевичем. Словом, не до лабораторных занятий было. Весною 1883 г., в связи с провалом одного из конспиративных адресов, я был арестован, но жандармский капитан Малицкий, который допрашивал меня, не разобрал сразу, в чем дело, и отпустил меня; а может быть, он надеялся путем слежки за мною захватить других членов нашей организации. Как бы то ни было, после тщательного обсуждения всех обстоятельств дела, группа предложила мне перейти на нелегальное положение и уехать в другой город. Я, ко-

*) Автобиография написана 1/III 1926 г. в Москве.

нечно, подчинился. Повидавшись с представителями центральной организации в Харькове, где я уже не застал В. Н. Фигнер, я в апреле 1883 г. поехал в Ярославль, где в то время имелся среди студентов Юридического лицея очень хороший революционный кружок, во главе которого стоял А. В. Гедеоновский. Поработав с этой милой молодежью несколько месяцев, я в августе того же года перебрался в Казань для того, чтобы по возможности наладить в этом сравнительно крупном центре народовольческую организацию. Кое-какие связи у меня были, их удалось значительно расширить и организовать несколько кружков. В числе их был один, который имел сношения с рабочими казанских фабрик, но члены его, по молодости лет, не знали, как вести пропаганду. По их просьбе я сообщил им схему занятий, которые я вел с киевскими рабочими. Схема им понравилась, но они потребовали от меня, чтобы я подробно изложил, что и как я говорил рабочим. Состоялся ряд бесед, которые почти дословно были воспроизведены в моей книжке „Царь-Голод“. Сначала беседы эти циркулировали в гектографированном виде, затем были напечатаны в тайной народовольческой типографии. В 1903 г. „Царь-Голод“ был переиздан нелегально партией с.-р. В 1905 — 1907 и 1917 г.г. книжка под заглавием „Экономические очерки“ выдержала более десятка изданий и разошлась в сотнях тысяч экземпляров.

В декабре 1883 г. я получил из Петербурга шифрованное письмо, в котором мне от имени „центра“ предлагалось поехать в Харьков, обосноваться там и по возможности поставить типографию для напечатания 10 № „Народной Воли“. *) О том, кто сидит в центре, я понятия не имел, но, конечно, без малейшего колебания повиновался. Подъезжая к Москве, я из купленной газеты узнал об убийстве Судейкина и об участии в этом деле Дегаева. Относительно последнего я знал, что он бежал в Одессе от сопровождавших его жандармов, бросив им в лицо пригоршню нюхательного табаку, но о его предательстве мне и мысль не приходила в голову.

Приехав в Харьков, я узнал, что там шли большие аресты, и что при тогдашних условиях было очень мало надежды на успешную постановку типографии. Но мне посоветовали посмотреть, не окажется ли положение более благоприятным для моих целей в Ростове на Дону. Совет оказался хорошим. В Ростове я нашел довольно много революционной молодежи, была там народовольческая группа, организованная Сергеем Пешекеровым, которого я не застал на свободе.

*) Этот № 10 „Нар. Воли“ печатался в 2-х типографиях: в Дерпте и в Ростове.

В конце января в Ростов приехал видный революционер Сергей Иванов, будущий шлиссельбуржец, и, обсудив вместе с ним положение, мы решили поставить типографию в Ростове. От С. Иванова я узнал подробно о дегаевском предательстве и о том, что из-за границы должна вскоре прибыть новая центральная организация с Германом Лопатиным во главе. Чтобы войти в контакт с нею и выяснить положение, мы с С. Ивановым в начале февраля 1884 г. поехали в Петербург. После долгих и не совсем приятных переговоров с новым центром мы пришли к соглашению и образовали одну общую всероссийскую организацию „Народной Воли“. С. Иванов и я взяли на себя ведение революционной работы на юге и в числе прочего постановку тайной типографии. В апреле мы вернулись в Ростов и, пригласив в качестве хозяев конспиративной квартиры Захарова *) и Руню Кранцфельд, **) мы привели наш план в исполнение. В типографской работе участвовали также рабочий Антонов (будущий шлиссельбуржец) и Елько, который после ареста в 1885 г. стал злостным предателем.

К началу августа большая часть № 10 „Народной Воли“ была напечатана, и по соглашению с Лопатиным, который приехал к нам в Ростов, я повез еще сырые листы в Саратов, Казань и Нижний для того, чтобы поднять настроение тамошних групп. По возвращении в Ростов в октябре я застал там полный разгром всей нашей организации, вызванный арестом Лопатина и найденными при нем записями. Типография уцелела. Мы держали военный совет и решили типографию снять, типографщикам предоставить заслуженный отдых, а С. Иванов и я должны были объехать организации, выяснить размеры разгрома и встретиться в Москве для выработки дальнейшего плана действий. В ноябре мы встретились, как было условлено, но оказалось, что ничего утешительного мы не выяснили. Не только лучшие революционные силы в большом количестве были вырваны из рядов, но, повидимому, доверие к народовольческой организации было подорвано.

С. Иванов решил поехать за границу для совещания с эмигрантами-народовольцами. Я же предпочел сделать еще одну попытку восстановления организации, войдя в сношения с революционерами, рассеянными в провинции и по той или иной причине не принимавшими в последние годы активного участия в организованной революционной работе. Такие „резервы“ имелись на юге и на

*) Фамилия хозяина Ростовской типографии— Захарий Васильев. Он, как и Раиса Кранцфельд, не были розысканы и не судились. *В. Фигнер.*

**) Из Харькова (акушерка из школы на Сабуровой даче). *В. Фигнер.*

Кавказе. Побывал я там, повидался с резервами и потерпел полное крушение. Для меня стало ясно, что „Народная Воля“ отжила свой век. Выбитый из колеи, не видя своего дальнейшего пути, я в марте 1885 г. выехал за границу. О своем участии в народовольческом движении я рассказал подробно в своих „Воспоминаниях народовольца 1882—1885 гг.“, напечатанных в журнале „Былое“, №№ 1, 2, 3, за 1907 г.

В Париже я застал эмигрантские кружки в состоянии острой взаимной вражды и, не чувствуя никакого призвания к этого рода занятиям, я пытался вернуться к научной работе. Несколько месяцев после приезда в Париж я нашел занятие в редакции журнала „Moniteur Scientifique“, посвященном прикладной химии, и состоял сотрудником его вплоть до моего возвращения в Россию в 1917 г. Первый год пребывания в Париже был для меня едва ли не самой тяжелой порой моей жизни. Революционная работа, которой я посвятил свои лучшие силы, ушла от меня, а от научной я сам оторвался. Я утерял интерес к жизни и несколько раз был весьма близок к тому, чтобы навсегда покончить счеты с нею.

Изменилось мое тяжелое душевное состояние только в 1886 г., когда я познакомился с Л. В. Орловой и Ч. А. Дю-Буше, с которыми теперь связывают меня 40 лет близкой дружбы. Оба они были тогда молодыми студентами Парижского медицинского факультета, оба отнеслись ко мне, больному и сильно побитому жизнью, с большой симпатией и заботливостью, и для меня нет ни малейшего сомнения, что без их теплого участия моя жизнь сошла бы на-нет. Весною 1890 г. они поженились, и вскоре после них и я женился на Ал. Ал. Червен-Водали, с которой мы теперь доживаем 36-ой год нашей совместной счастливой жизни. Благодаря Дю-Буше мой интерес к науке мало-по-малу возродился, но долгое время мне не удавалось приступить к лабораторной работе. В 1890 г. я, в редакции, познакомился с членом Парижской Академии Наук проф. Schutzenberger'ом, который заинтересовался моими планами и предоставил мне место в своей лаборатории в Collège de France. Там я работал до 1894 г., с перерывом в течение 1891 года, когда я ездил в Северо-Американские Штаты вместе с химиком Эфроном для введения на тамошних винокуренных заводах усовершенствованного способа брожения. По возвращении из Америки я сделал в лаборатории Collège de France несколько экспериментальных работ, которые в свое время были доложены проф. Schutzenberger'ом Академии Наук.

Тяжелые условия парижской жизни губительно повлияли на мое здоровье, и по настоянию друзей я переехал летом 1894 г. в Швейцарию, где в окрестностях Женевы завел себе маленькую, более чем скромную, лабораторию. В этой лаборатории, которая пополнялась мало-по-малу, я, благодаря моральной и материальной поддержке моего друга Дю-Буше, который считается одним из лучших парижских хирургов, мог спокойно работать в течение 23 лет. Из нее вышло около 70 выполненных мною экспериментальных работ по общей и биологической химии и ряд научно-литературных статей и монографий. За совокупность этих работ Лозаннский университет почтил меня степенью доктора honoris causa.

До 1905 г. я активного участия в эмигрантской политической деятельности не принимал, хотя чутко прислушивался к тому, что происходило как в эмигрантских кружках, так и в России, и сохранял добрые товарищеские отношения с членами разных социалистических партий.

Когда в 1900—901 г.г. создавалась партия социалистов-революционеров, я тоже участвовал в предварительных переговорах, но в партию не вошел, так как считал индивидуальный террор безусловно несовместимым с задачами массовой социалистической партии и гибельным для нее. Тот факт, что с самого основания партии до 1908 г. террористической деятельностью ее руководил злейший в мире провокатор Азеф, показывает, что моя оценка не была лишена основания. Но, не входя в организацию, я оказывал услуги партии: в частности я подготовил для нее пересмотренное и дополненное издание „Царь-Голод“.

После январьских событий 1905 г., когда массовая работа партии далеко оттеснила ее террористическую деятельность, я счел себя не в праве дольше уклоняться от активного участия в революционной работе и по настоянию Л. Шишко и Е. Брешковской принял на себя функции секретаря заграничного комитета партии в апреле 1905 г. С этого времени до революции 1905 г. все конспиративные сношения с партийными организациями в России (кроме боевой организации) были сосредоточены в моих руках. Революция 1905 г. положила конец моим секретарским обязанностям. С тех пор мои отношения к партии приняли формальный характер; в партийной организации я близкого участия не принимал, и деятельность моя сводилась к литературной работе. К политической деятельности партии после Февральской революции 1917 г. я отнесся отрицательно и по возвращении в Россию в июне 1917 г. отстранился от какой бы то ни было организационной работы. Но я принял участие в издательстве „Земля и Воля“, которое было партийным в идейном отношении, но не в организационном. По моему настоянию издательство не делало никаких отчислений в пользу партийной организации и отклонило предложение ЦК партии ввести

в редакцию его представителя. Участие партии социалистов-революционеров в вооруженной борьбе против Советской власти, неоспоримо социалистической, совместно с реакционными элементами, побудило меня окончательно порвать связь с организацией этой партии, хотя заявлять публично об этом я считал неподходящим. Я считаю себя теперь независимым социалистом-революционером. Политикой я совершенно не занимаюсь. Но если бы теперешнему советскому строю грозила опасность, я все свои силы без остатка отдал бы на защиту его.

Тяготясь перерывом в лабораторной работе, которой я предавался столько лет, я в феврале 1918 г. обратился к д-ру Блюменталю, тогдашнему владельцу Химико-Бактериологического института (ныне Государственного Бактериологического института), с просьбой дать мне возможность выполнить давно задуманную мною работу над определением продуктов распада белка в сыворотке иммунизируемых животных. Получив согласие д-ра Блюменталя, я в сотрудничестве с моим учеником Б. И. Збарским поставил необходимые опыты и привел их к желаемому концу. В октябре 1918 г. я принял предложение заведующего химотделом ВСНХ, инженера Льва Яковлевича Карпова, организовать химическую лабораторию для научно-технического обслуживания химической промышленности. Вместе с Б. И. Збарским мы поставили лабораторию, которая превратилась в большое учреждение, носящее теперь название Химического института им. Л. Я. Карпова. По сей день я состою директором этого института, а Б. И. Збарский—моим помощником и заместителем. В сотрудничестве с ним же мною был организован в 1920 г. Биохимический институт НКЗ, открытие которого состоялось 26 января 1921 г. Оба института расположены в смежных зданиях (№№ 8 и 10 по Воронцову полю), и работа в них идет теперь полным ходом.

О своих научных работах распространяться не буду. Скажу только, что важнейшие из них касаются химизма процессов дыхания. Работы в этой области производятся мною и в настоящее время, и я считаю себя особенно счастливым в том отношении, что на 70 году своей жизни я сохранил еще, как мне кажется, значительную работоспособность.

Богданов, Степан Петрович *).

Родился в 1851 г. 1 августа в с. Бельском Устье Порховского уез. Псковской губ. от крепостных родителей, бывших дворовых. Отец умер, когда мне было лет 8. После освобождения крестьян в 1861 г. мы, я и трое моих братьев, с матерью жили в маленькой деревушке Петровском на полудесятинном наделе на всю семью. 3 года учился в г. Порхове в приходской школе и в уездном училище, где курса не кончил, т. к. у матери не было средств содержать нас в городе. Лет 12-ти меня взяли в экономическую контору, где я, и служил до 1871 г. Жалованье получал один руб. в месяц и паек. В имении пользовался помещичьей библиотекой, много читал,но читал без разбору. Руководить чтением было некому. Читал больше беллетристику, да, пожалуй, больше и читать было нечего. Большая часть книг была на французском языке. Читал журнал „Пантеон“, издававшийся в 50-х г. г. Мне думается, что он дал мне хорошее направление. Читал Пушкина, Лермонтова, Жуковского, рассказы Марлинского из кавказской жизни, путешествия и, конечно, Гуака. Я мало вынес знаний, но умственная гимнастика все-таки была. По вечерам уходил к рабочим, читал им что-нибудь занимательное. Они всегда слушали с удовольствием. Рассказывал им о земле, о разных климатах на земле, о животных и пр. Но что всего важнее было для меня—это постоянное общение с крестьянами. Благодаря этому я хорошо знал крестьянскую жизнь. Знал их горести и радости. Они часто беседовали со мной о земле, спрашивали, отойдет ли земля от помещиков им, крестьянам. Я, конечно, всегда говорил, что об этом и думать нечего, помещики свои земли не отдадут. Осветить этот вопрос я, конечно, не мог, я и сам-то ничего не знал. Газет и журналов я не читал. Беседы были об удобрении и др. хозяйственных заботах. Я давал, что мог, что вычитал из книг: в библиотеке было кое-что и о сельском хозяйстве, хотя и старое. Но ценно было не то, что я давал, а то, что я получал от крестьян. Они дали мне больше, чем я мог им дать.

В такой обстановке я жил до 1871 г. Осенью 1871 г. я уехал в Петербург, нашел конторскую службу в столярной и паркетной мастерской Николаева. В конце 1872 г. я должен был поехать на родину к призыву. В январе 1873 г. был взят в солдаты. Служил в Пскове в резервном батальоне, там учился строю, а к осени того же 1873 г. был переведен в Петербург в Главный штаб писарем. Вскоре же я сблизился там с вольноопределяющимся Мих. Павл. Овчинниковым, который служил тоже писарем. Он в это время уже был радикалом. Он познакомил меня со своими взглядами. Как-то так вышло, что против социализма я ничего не находил возразить, но мы часто спорили. Я считал неосуществимыми идеи социализма в ближай-

*) Автобиография написана 2/IV — 1926 г. в г. Сызрани.

шее время. Я слишком хорошо знал мужика, знал его глубокую веру в царя, знал его косность, некультурность. В этом я видел непреодолимое препятствие для революции. Тем не менее меня манило уже дальше, мне хотелось познакомиться с интеллигентскими кружками. При посредстве Овчинникова я познакомился со студентами из Медико-Хирург. академии и др. учебных заведений. Надо правду сказать, эти знакомства дали мне немного, но я узнал, что надо читать. Читал, между прочим, политич. экономию Дж. Ст. Милля с примечаниями Чернышевского, Лассаля, романы Шпильгагена и др. Читал революционные брошюры и „Вперед“ П. Л. Лаврова. При всем этом мои учителя не дали мне ясного представления о ходе революции и будущем социалистическом строе. Это сильно парализовало мою энергию, были сомнения, колебания, притом же я не умел подходить к людям. Моя пропаганда среди военных писарей шла слабо. Я высказал в радикальном кружке, что хорошо бы устроить что-нибудь в роде школы пропагандистов. Эта мысль была принята, и учителем для нас выбрали кандидата прав Евгения Степанов. Семяновского. Я привел к Семяновскому военного писаря Савченко, который оказался предателем, и наша школа была провалена в самом же начале. Это мною описано в статье, помещенной в „Былом“ за ноябрь 1906 г.

Предателя Савченко писаря глав. штаба заставили уйти из глав. штаба, и он перевелся в жандармское управление. Это любопытный эпизод, о котором Савченко рассказал сам при очной ставке у следователя в судебной палате.

Арестован я 27 августа 1875 г., а Семяновский 28 августа. Первый месяц я сидел в 3-м отделении т. н. собств. е. и. в. канцелярии, в одиночной камере. В конце сентября 1875 г. перевели в Дом предв. заключ. в Петербурге, помещен в одиночной камере. Судили нас в особом присутствии прав. сената с сословными представителями 20 и 21 октября 1876 г. Семяновский и я осуждены в каторжные работы в крепостях на 11 лет за пропаганду, а затем на вечное поселение. Из Д. П. З., после суда, переведен в Литовский замок в феврале 1877 г. Семяновский переведен туда же раньше. Сидели в общих камерах с уголовными. В конце апреля 1877 г. меня заковали в ножные кандалы, обрили половину головы, одели в арестантскую одежду, халат с двумя желтыми тузами на спине, и отправили в Пересыльную тюрьму 1-го мая 1877 г. Отправили с двумя конвойными на Николаевский вокзал. Ехали мы в вагоне 3-го класса вместе с публикой до Москвы. Из Москвы с новыми конвойными—до Владимира и затем до Нижнего. От Нижнего до Кары (место каторги) везли каждого из нас отдельно с 2-мя жандармами на почтовых от губ. города до другого губ. города. В каждом губ. городе жандармы переменялись. Отправляли нас в разные дни по одному. На Кару я прибыл 27 сентября 1877 г. Сидел на гауптвахте вместе с Терентьевым, Тефтулом и Захаром Богдановым в карцерах, а в камере за кордегардией сидели Семяновский и Успенский (нечаевец). В феврале 1878 г. меня перевели на самый Верхний промысел, называвшийся „Амур“, сидел на гауптвахте же в карцере, пищу получал из уголовной тюрьмы. Оттуда ходил на работу в разрез вместе с уголовными, вскрывали торфы на золотоносной площади. Весной 1878 г. меня перевели на Верхний промысел, где сидел на гауптвахте же вместе с А. Н. Бибергаль. Ходили вместе с уголовными в разрез для вскрытия торфов. Весной 1879 г. освобожден в вольную команду. Днем раньше были освобождены на Нижнем промысле Семяновский Евг. Степ., Успенский Петр Гаврил., Шишко Леонид Эмман., Чарушин Никол. Аполлон., Синегуб Серг. Силыч, Союзов Ив. Осипов., Терентьев Мих. Демент., Тефтул Ив. Ильич, Захар Богданов и Квятковский Тимофей Александр. 1-го января 1881 г. по распоряжению Лорис-Меликова вольная команда для политических была уничтожена, и нас вновь отправили в тюрьму на Средний промысел, где уже были помещены вновь прибывшие большие партии политических в двух больших камерах, разделявшихся сенями. Не пошел с нами только Семяновский, который застрелился утром 1 января 1881 г. Осенью того же 1881 г. нас перевели на Нижний промысел в тюрьму, специально построенную для политических. В конце октября 1883 г. я был освобожден за окончанием срока каторги, и вместе с Ив. Вас. Туровичем отправлен на поселение. Нас оставили в Чите Забайкальской обл., где уже были Союзов, Шишко, Синегуб и Франжоли Никол. Афанас.

После коронации Александра III нам было дано право приписаться к крестьянским и мещанским обществам в Сибири. В 1905 г. я вернулся в Европейскую Россию.

Буланова-Трубникова, Ольга Константиновна *).

Я родилась в Петербурге в 1858 г., так что детство мое совпало с эпохой „великих реформ“, эпохой общественного пробуждения и подъема, сменивших мертвый сон Николаевского царствования.

*) Автобиография написана 15/I — 1926 г. в Ленинграде.

Мать моя — Мария Васильевна Трубникова, старшая дочь декабриста Василия Петровича Ивашева, женщина выдающегося ума и способностей, для своего времени очень начитанная и образованная, с большой общественной жилкой и горячим интересом к общественной работе, выйдя замуж за моего отца К. В. Трубникова, основателя и издателя целого ряда газет, начиная с „Финансового Обозрения“ и кончая „Биржевыми Ведомостями“ и „Новым Временем“, которое он продал Суворину, поселилась в Петербурге и быстро сблизилась с наиболее интеллигентными и прогрессивными представителями тогдашнего столичного общества. К числу ближайших друзей ее принадлежали братья Серно-Соловьевичи, через которых у нее создалась связь с более радикальным кружком Чернышевского; профессора: Ал. Ник. Энгельгардт и Анд. Н. Бекетов, будущие ее соратницы по женскому движению: А. П. Философова, М. А. Менжинская, Н. А. Белозерская, Н. В. Стасова и ее братья — известный художественный критик Вл. Вас. и не менее известный присяжный поверенный Дм. Вас. Стасовы, будущие сановники: А. А. Сабуров, И. И. Шамшин и др.

В доме у нас то происходили разговоры о правах женщин, то звучали оживленные споры о преимуществах русской музыки перед итальянщиной, то шла кипучая работа по организации различных женских обществ — первых ячеек женской самодеятельности, женских трудовых артелей, и борьба за высшее образование для женщин.

Через все мое детство красной нитью проходит столкновение двух течений: с одной стороны, гуманные и демократические, подчас даже нигилистические, воззрения моей матери, внушавшей нам уважение к труду и своим примером искоренявшей всякие барские замашки, и рядом постоянное вмешательство отца, человека крайне деспотичного и совершенно не разделявшего передовых идей своей жены.

В семье нашей существовал культ декабристов, о них всегда говорили с благоговением, чему не мало способствовало присутствие нашей старушки-няни, живой свидетельницы жизни их на каторге и поселении. Крепостная родителей моего деда-декабриста, она вызвалась ехать в далекую Сибирь с его невестой, моей бабушкой К. П. Ле-Дантю, прожила с ними все время их пребывания в Петровском заводе и на поселении, вынянчила всех их детей и была им верным и преданным другом. Пользуясь полным доверием Ивашевской семьи, она неоднократно ездила из Сибири в Симбирск и обратно, перевозя деньги и исполняя разные секретные поручения. О декабристах она всегда говорила со слезами на глазах и проклинала их мучителя — царя Николая, которого мы, дети, привыкли ненавидеть чуть ли не с пеленок.

Имена тогдашних передовых борцов, как Чернышевский и Михайлов, Герцен и Гарибальди, были знакомы нам с детства. За границей, где я и вторая сестра моя Мария жили в 68 и 69 году, общество моей матери составляли политические эмигранты и члены Интернационала, а учителем нашим был П. Ив. Якоби — польский изгнанник.

По возвращении из-за границы меня отдали в только что открытую первую частную женскую гимназию М. П. Спешневой с очень обширным курсом и новыми методами преподавания, где задачей ставилось развить уменье самостоятельно работать. Со мной вместе учились там сестра О. Э. Веймара, сестра А. П. Корба, родственницы Иванчина-Писарева, дочери профессора Бекетова. Я жадно училась и много читала, главным образом беллетристику русскую и иностранную, политические же вопросы совершенно отсутствовали в моей жизни в школьные годы, и лишь окончив гимназию, когда я готовилась к поступлению на женские врачебные курсы при Николаевском Военном госпитале, куда не дозволялось поступать раньше 20 лет, мы с сестрой познакомились с первой революционеркой. Это была Е. Д. Дубенская, привлекавшаяся по делу 193, затем поступившая воспитательницею к детям дяди моего, прис. пов. А. А. Черкесова, владельца известного книжного магазина и библиотеки, сыгравших в свое время крупную культурную роль.

Рассказы Е. Дубенской о героической борьбе русской интеллигенции с царизмом, о личностях выдающихся революционеров — ее товарищей и друзей, книги, которые она давала читать, явились настоящим откровением для нас. Мы познакомились с нередко приезжавшими к ней в гостеприимную Поповку, подгородное имение Черкесовых, О. Э. Веймаром, Д. Ал. Клеменцем и С. М. Кравчинским, фигуры которых были лучшей иллюстрацией к ее рассказам.

Осенью, когда мы вернулись в город, Е. Дубенская свела нас со своими друзьями-чайковцами, сестрами Корниловыми, и мы обе с головой бросились в работу с Любовь Ив. Сердюковой-Корниловой и молоденькой слушательницей фельдшерских курсов Марией Клав. Решко, обслуживая ссыльных и заключенных. Этот кружок был той ячейкой, из коей потом вырос политический Красный Крест. Собирались деньги, устанавливались связи с ссыльными и заводились нелегальные отношения с тюрьмами. Так, я вела сношения с Домом Пр. Зак. через одну надзирательницу, доставлявшую мне письма сидевших женщин.

Мало-по малу мы перезнакомились со многими жившими в Петербурге революционе-

рами. Чаще других по разным конспиративным делам приходилось видаться обыкновенно в библиотеке на углу Невского и Литейной с Д. А. Клеменцом и А. И. Иванчиным-Писаревым, с которыми впоследствии я вновь встретилась в Минусинске, где они отбывали ссылку. Мы с сестрой пользовались большим доверием революционеров за свою осторожность и острую память, позволявшую нам помнить на зубок все адреса и клички, не прибегая к записной книжке. Сам строгий „дворник“ Ал. Михайлов говорил, что всегда спокойно идет на свидание с нами, в уверенности, что „Долгорукие“, как окрестила нас Геся Гельфман, не приведут ни одного шпика. Квартира наша постоянно служила для свидания революционеров. Бывали у нас В. Н. Фигнер, ее сестра Евгения, Морозов, О. Любатович, С. Л. Перовская, Богданович, Колоткевич, М. Н. Оловенникова, Геся Гельфман, а позже Стефанович и Дейч. Все они, особенно Перовская, относились с большим уважением к моей матери и всегда старались урвать мунутку, чтобы побеседовать с нею. Мать горячо сочувствовала их целям, но решительно отвергала террор, и это было вечным предметом споров. Нечего говорить, как под влиянием такого общества рос наш энтузиазм и беззаветная готовность служить делу революции.

В 79 году, когда после Липецкого съезда произошло разделение партий, мы примкнули к партии Черного Передела, а с народовольцами у нас сохранились лишь личные отношения, и мы продолжали оказывать им разные услуги по старой памяти.

К этому времени относится наше знакомство с флотской молодежью черно-передельческого направления, в число которой входили гардемарины Анатолий Буланов, Сергей Вырубов, Ник. Лавров, Вл. Дружинин, Налимов, И. Петров, Муравьев, Вл. Философов и кузен его, студент Дм. Философов— будущий министр торговли и промышленности. Все это были славные, дружные между собой юноши; большинство не отличалось начитанностью, но было настроено очень революционно и, кроме пропаганды среди своих матросов, они доставали через минеров динамит и готовы были на всякое опасное предприятие. Некоторые из них, как Философовы, Муравьев, Дружинин, скоро отстали от движения.

После провала типографии с № 1 Черного Передела и ареста Аптекмана, Крыловой и др. дальнейшая работа перешла к кружку М. Решко, „активной части нашей периферии, которой самой пришлось стать центром“, как ее называет Аксельрод. П. Б. Аксельрод, ознакомившись с личным составом группы, как бы санкционировал ее преемственность с погибшим первым ядром; при его участии вырабатывалась программа и объяснительная к ней записка, отправленная затем к заграничникам; он же руководил и практической постановкой дела. В состав петербургской группы Ч. П., так сказать второго призыва, входили: М. Решко с братом Константином, А. Буланов с упомянутыми выше моряками, Евг. Козлов, Е. Козлова, учитель А. Ульянов, Н. П. Ульянова, А. Бонч-Осмоловский, мы с сестрой, студенты Шефтель, К. Я Загорский, А. Л. Блок, П. Семенов, Е. Дубровин, В. Ченыкаев, Н. Лаврентьев, М. Симзен, М. Уваров, Переляев, медички Кланг, Золотарева, Бычкова и др. В Москве тоже сформировался кружок, куда входили петровцы, техники и студенты ун-та, в числе их были: Ефрон, Ромм и Елизавета Дурново.

Заграничная группа Ч. П., в лице Плеханова, Стефановича, Дейча и Засулич, находилась в непрерывном общении с своими петербургскими молодыми товарищами, которым они в № 2 и передали дальнейшее ведение органа. Сношения с за-границей лежали на моей обязанности, и за дешифровкой одного объемистого письма Л. Г. Дейча меня чуть не застал приход полиции, явившейся арестовать нас с сестрой. Но полицейские нравы тогда еще были довольно патриархальны, и нам удалось при обыске скрыть полученную корреспонденцию. Арест был непродолжителен, за ним последовали и другие обыски, домашние аресты и т. д., но все они пока кончались для нас благополучно за отсутствием улик, и, вероятно, родственные связи с сановным миром Петербурга тоже сыграли свою роль.

Редакционная работа лежала на А. П. Буланове и студентах-юристах Загорском и Шефтеле; последние, даровитые и образованные юноши, составляли главную литературную силу, и их особенно оберегали и старались возможно меньше допускать к занятиям с рабочими. К. Я. Загорского, ныне здравствующего, несмотря на старания Судейкина, чуявшего в нем врага и одно время подославшего к нему некоего студента Гребенчу, несколько психически расстроенного и откровенно посвятившего Загорского в судейкинские замыслы, так и не удалось привлечь к ответственности, и он благополучно окончил университет и стал профессором, составив себе имя научными трудами в области железнодорожных тарифных вопросов.

Ему, между прочим, принадлежит статья по поводу 1-го марта в № 4 „Черн. Пер.“, где довольно громко звучат народовольческие нотки. Передовица в этом номере написана Булановым. Писал он и в „Зерне“, рабочей газете, созданной А. П., который вел ее с неутомимой энергией и выпустил целых 6 номеров. Все выходившие номера подпольных газет и прокламаций я имела обыкновение относить в двух экземплярах В. В. Стасову, другу моей матери, перенесшему свою дружбу на меня, тогда хранителю Публичной Библиотеки, где он их и прятал.

Типография была устроена в Минске и просуществовала сравнительно долго, до января 1882 г., успев отпечатать 3, 4 и 5 номера „Ч. П.“, 3, 4, 5 и 6 номера „Зерна“ и прокламацию по поводу 1-го марта. Место ее нахождения было известно лишь двоим-троим членам группы; чаще всего ездил за готовыми номерами Буланов, привозил их и работавший там Матвей Гецов.

Выдающуюся роль в организации Чер. Пер. бесспорно играл Буланов, на личности которого я остановлюсь подробнее.

Анатолий Петрович родился 5 августа 1858 г. в небогатой чиновничьей семье. Отец его, служивший секретарем Римско-Католической Коллегии в СПБ., отличался от обычного типа своих сослуживцев лишь неподкупной честностью, решительно отказываясь от взяток и не позволяя принимать „подарки“ и жене своей, малограмотной немке—типичной мещанке. Вследствие этого семья жила очень бедно, и он не мог дать детям желательного образования. Сыновья его, Леонид и Анатолий, своим образованием обязаны себе самим; с 4-го класса Анатолий принужден был выйти из гимназии, так как родители не могли более платить за него, и самостоятельно приготовиться к трудным экзаменам в Морской Корпус. Старший брат его, Леонид, окончив гимназию и поступив в 75 году в Мед.-Хирургическую Академию, сблизился с передовым студенчеством и принял активное участие в революционном движении. Через него Анатолий получал подпольную литературу и снабжал ею интересовавшихся товарищей. Начальство скоро заметило неодобрительный образ мыслей А. П., и когда он кончил курс первым с премией адм. Нахимова, его выпустили вторым, так как весь курс он числился простым рядовым. А. П. был еще в корпусе, когда был арестован его брат. Осенью 78 г. в СПБ. усиленно разыскивались убийцы Мезенцова, и Леонид Буланов был схвачен 12-го октября на улице вместе с Адр. Михайловым, судился по процессу Веймара и был осужден на поселение. Отношение начальства к А. Б. после этого значительно ухудшилось, и вскоре его из Кронштадта перевели в Ревельский полуэкипаж, что считалось большой немилостью. В Кронштадте он вел пропаганду среди офицеров и нижних чинов и работал в Черном Переделе, для чего беспрестанно приезжал в город. Он был на редакционном собрании у М. Решко, когда туда нагрянула полиция. Все члены семьи Решко и их квартиранты, Уваров и Бычкова, были арестованы. Двое же находившихся при обыске офицеров—Буланов и Петров, назвавшиеся случайными гостями, после установления личности были освобождены.

Перевод в Ревель отрывал А. П. от налаженного дела и главное от занятий с рабочими, пропаганде среди которых он придавал первостепенное значение. В виду этого Буланов был очень обрадован, когда его начальник, адмирал, командовавший таможенною флотилией, однажды позвал его к себе и сказал, что получил предписание следить за молодым мичманом, но так как он „слава богу, не жандарм, то делать этого не намерен“, а советует Буланову подать в отставку по домашним обстоятельствам, а он поддержит его просьбу. А. П. так и сделал и через короткое время вернулся в Питер, сбросив мундир, и мог, наконец, всецело отдаться революционной работе. А работы было много. А. П. являлся одновременно и организатором, и литератором, и пропагандистом, выступал среди учащейся молодежи на диспутах с народовольцами по программным вопросам, поддерживал сношения с сочувствующими либералами, вел орган, ездил в Минск.

Между тем, дела организации шли не блестяще. Молодежь относилась с симпатией к проповеди народнических идей, но в Черный Передел не шла; ее захватывали ближайшие задачи, борьба за политическую свободу, выставленные Народной Волей лозунги, которые казались более жизненными и отвечающими требованиям минуты. После арестов, вызванных предательством шпионов Жаркова и Прейма, убитого двумя рабочими летом 81 года на Смоленском кладбище, ряды чернопередельцев редели и редели, не пополняясь новыми работниками. Наличные члены организации разрывались на части, стараясь поспеть всюду. Некоторые надежды возлагались еще на московскую группу, но поездка А. П. туда разбила эти иллюзии: в Москве также все наиболее деятельные и преданные люди были изъяты из обращения, а уцелевшие по тем или иным причинам не могли всецело посвятить себя революционной работе. Перед организацией встал грозный вопрос, как быть дальше, так как было ясно, что с такими силами вести дело невозможно. Надо было сложить оружие или слиться с другой организацией.

Вопрос о переходе в Народную Волю подымался уже давно: об этом много говорил с нами еще Желябов, но тогда положение не представлялось столь критическим; с другой стороны, по сравнению с первой группой Ч. П., молодые чернопередельцы придавали больше значения завоеванию политической свободы и в своих взглядах значительно сблизились с народовольцами, как это особенно видно по № 4 „Ч. П.“ Приехавший к тому времени Стефанович, видимо, стоял за это, и А. П., под давлением обстоятельств, усматривал в этом решении единственный выход. В октябре 81 г. наиболее деятельные из уцелевших чернопередельцев перешли в Нар. В., обставив свое присоединение некоторыми условиями. По словам А. П., он и Стафанович должны были войти в Исп. Ко-

митет, но статьи их, во избежание недоразумений, подлежали цензуре Тихомирова. А. П. выговорил себе пропаганду среди рабочих, что было легко осуществимо, так как при занятиях с последними вообще старались избегать указаний на партийные разногласия и, по свидетельству покойного В. С. Панкратова (кстати, ученика А. П.), рабочие обыкновенно не знали о фракционной принадлежности являвшихся к ним пропагандистов; при арестах и внезапных отъездах сплошь и рядом народовольцы передавали своих рабочих чернопередельцам и обратно.

Оставшиеся чернопередельцы выпустили еще один номер, а затем в конце года провалилась минская типография, организация распалась и перестала существовать.

Была, правда, попытка завести типографию в Дерпте, куда были высланы члены петербургской группы, студенты-ветеринары К. Решко и Переляев, именно на квартире последнего, но она не осуществилась благодаря скоропостижной смерти его от разрыва сердца. Внезапная смерть одинокого студента вызвала приход полиции, которая при описи имущества натолкнулась на шрифт и типографские принадлежности, но так как слухи о находке быстро распространились по городу, то никто из посвященных в дело на квартиру Переляева не показывался, и дело с типографией так и заглохло. *)

Осенью Судейкин с особым рвением принялся за рабочих: масса их арестовывалась, всячески запугивалась и принуждалась к даче показаний или высылалась из столицы в случае запирательства. Был арестован и любимец А. П., способный и одаренный молодой рабочий Степан Белов, на которого А. П. возлагал большие надежды, так как он пользовался большим влиянием на товарищей. Просидел он, впрочем, недолго, и, когда его выпустили, на первом же свидании рассказал, что Судейкин склонял его поступить на службу в департамент полиции, и что, пожалуй, следует принять для вида его предложение и, не сообщая ничего жандармам, передавать разные сведения партии. А. П. возразил ему, что он ничего узнать не сможет, что Судейкин не позволит себя надувать, и вообще это скользкий путь, и что лучше всего Степану взять с завода расчет и уехать в деревню, для чего обещал Белову принести на следующий день деньги. Но на условное свидание на безлюдном в те времена Преображенском плацу Белов явился пьяным, говорил несвязные речи о том, что Петровича (так звали А. П. рабочие) скоро возьмут, проливал слезы над его судьбой, а между тем за ними увязались две подозрительные фигуры. Видя, что дело плохо, А. П., обладавший большой силой, столкнул пьяного Степана в сугроб снега, отправил туда же первого из подбежавших филеров и пустился бежать через плац, а там, сворачивая из переулка в переулок, вскочил на извозчика и благополучно исчез от своего преследователя. На беду с ним не было денег, и пришлось доехать до самого дома, чтобы расчитаться с возницей. Последнее обстоятельство в связи с предательством Белова, к счастью не знавшего ни имени, ни адреса А. П., поставило на очередь немедленный наш отъезд из Петербурга. Передав дела товарищам, мы с мужем (в ту осень я вышла замуж за А. П.) дня через два уехали в Москву, где и поселились под нелегальным паспортом на одной из отдаленных улиц, предварительно заметя следы.

А. П. горячо взялся за свое излюбленное дело и заводил все новые и новые связи. Так дело шло до февраля 82 г., когда он днем встретил на улице того же Степана. Последний не подал виду, что узнал мужа, но на другой же день А. П. заметил за собою слежку и не пошел ни на одно из назначенных свиданий, а к вечеру, отделавшись, как ему казалось, от шпиков, прибежал домой, и мы решили скрыться. Сожгли и уничтожили все, что требовалось, сняли условные знаки и, выйдя в сумерках из квартиры, стали пробираться к Брестскому вокзалу. Единственно, что мы взяли с собой, была объемистая рукопись со сведениями, доставленными в разное время Клеточниковым, которую я переписывала для отсылки за границу, и уничтожить которую не подымалась рука, тем более, что мы надеялись избежать ареста. Но в одном переулке из-за угла на нас набросилась целая свора городовых и шпиков и буквально схватила нас за горло, повидимому опасаясь вооруженного сопротивления. Нас скрутили, повалили в сани и увезли в полицейскую часть.

Несмотря на то, что А. П. накануне не явился ни на одно из назначенных свиданий, и на отсутствие условных знаков в квартире, в последующие дни туда пришел Стефанович, а потом Д. Э. Новицкий. Затем последовали многочисленные аресты среди московских народовольцев, группа которых была вся разгромлена. Среди задержанных были Юр. Богданович, Лебедев, Мартынов, Елпатьевский, Михалевич, Макаренко и др. Продержав нас месяца два в Москве, куда для допроса арестованных прибыли из Питера жандармский генерал Федоров и прокурор Желиховский, нас перевели в Петербург, где А. П. посадили в Петропавловку, а меня в Дом Пр. Закл., откуда, после

*) Устройство этой типографии относится к позднейшему времени—к осени 1884 г. Хотя Решко и Переляев были чернопередельцами, но инициатором организации ее был П. Ф. Якубович, видный тогда член „Народной Воли“. В типографии был напечатан № 10 „Народной Воли“ и должен был печататься № 11. Смерть Переляева последовала в январе 1885 г. (см. „За сто лет“ Бурцева, свидетельства Баха и др.) *В. Фигнер.*

усиленных хлопот, отцу удалось взять меня на поруки по случаю тяжелой болезни. Власти сперва намеревались создать процесс московской группы, но когда летом Судейкину удалось напасть на след динамитной мастерской Прибылевых, то громкое дело Корба, Прибылевых, Грачевского отодвинуло на второй план москвичей, с которыми решено было расправиться административным порядком. Только Стефанович оказался выделенным, судился вместе с петербургскими народовольцами и был приговорен к 8 годам каторжных работ. В феврале 83 г. нас всех отправили в Москву, где мы просидели очень долго в Бутырской тюрьме в ожидании весны, в тот год порядочно запоздавшей. Порядки в Бутырках тогда царили патриархальные. Сам смотритель почти не показывался, а его помощник, добродушный старичок, делал для политических все возможное, за что при отбытии партии его отдаривали в складчину. Одиночки не запирались, внутри стражи не было и, например, мы, женщины, сидевшие в Пугачевской башне, свободно ходили в ней и могли сообщаться между собой. Помощник смотрителя доставлял нам все газеты и журналы, вплоть до нелегальных; утром, заходя к нам, он забирал письма на мужское отделение и приносил записки оттуда.

В конце апреля мы, наконец, тронулись в дальнейший путь, при чем к нашей группе административных присоединились каторжане по одесскому процессу: Дзвонкевич, Майер, хорошенькая, цветущая Фанни Морейнис, красавец Валуев, Батогов, Голиков, Моисей Попов с женой и маленьким сынишкой Колей, ставшим общим любимцем, полусумашедший студент Матвеевич, Иванайн и др., а в Тюмени—Митро Новицкий, совершенно неузнаваемый после перенесенного избиения во время неудавшегося побега из Саратовской тюрьмы, и солдаты Алексеевского равелина, осужденные за сношения, которые вел через них с народовольцами Нечаев. Они с удивительной любовью отзывались о нем, ни один не горевал о своей участи и готов был, хоть сейчас, итти за ним в огонь и воду. Проделав бесконечное путешествие по грязным, кишевшим насекомыми, этапам, мы, наконец, в середине лета добрались до Красноярска, где узнали, что назначены в Минусинск.

Столь счастливым назначением мы были обязаны хлопотам дяди моего Е. К. Ле-Дантю, двоюродная сестра которого была замужем за енисейским губернатором И. И. Педашенко. Губернатор же разрешил и нам и Лебедевым, тоже назначенным в Минусинск, не следовать далее с обратным этапом, на что понадобилось бы опять не менее 1—$1^1/_2$ месяцев, а ехать на свой счет с конвоирами на пароходе, так что через пять дней мы уже были на месте.

В Минусинске мы застали старых петербургских знакомых: Клеменца, Иванчина-Писарева, Тыркова, а с прибытием новых ссыльных колония наша оказалась весьма многочисленною. Женатых оставляли в самом городе, а холостых расселили по селам. В числе ссыльных жили при нас: Бурриот, Ив. П. Белоконский, Синягин и Мицкевич по военной организации Нар. Воли, А. А. Панов, Лебедев, Мартынов, Андржейкович, Зейдлиц, Ольга Рубанчик, В. Любатович, студенты: Перов, Даманский, Компанец, Миролюбов, Урусов, Леонид Жебунев; впоследствии приехали бывшие офицеры: Игельстром, Бубнов, Сокольский и переведен из Тунки Ив. Н. Присецкий с женой, знакомой мне по врачебным курсам.

Скучная и однообразная, лишенная внешних впечатлений, жизнь скрашивалась наличием в Минусинске неожиданного сокровища—прекрасной библиотеки, созданной трудами местного аптекаря Н. М. Мартьянова при содействии известного сибирского мецената Иннокентия Сибирякова. Библиотека была настолько богата и постоянно пополнялась вновь появлявшимися изданиями и периодическими журналами, что можно было заниматься почти по любому предмету.. Ан. Петр. использовал время ссылки для пополнения своего образования, при чем он оказался совершенным невеждой в изящной литературе, так что в этой области я руководила его чтением, как он моим в области общественных наук. В Минусинске А. П. написал две журнальные статьи: „Государственная защита приисковых рабочих“ и „Народное образование в Сибири“, которые за подписью „П. Соловой“ были помещены в „Юридическом Вестнике“ (1885—1887 гг.). Тот же неутомимый коллекционер—Мартьянов создал в Минусинске этнографический музей. К делу собирания коллекций Мартьянов привлек Клеменца, в котором нашел себе идеального помощника.

Вернувшись из ссылки в 1888 г., мы поселились в Нижнем-Новгороде, где А. П. получил место капитана парохода в о-ве „Самолет“, а по зимам занимался составлением и чтением лекций по судостроению и пароходной механике в только что открытом там Речном училище, что было нелегким делом в виду неподготовленности аудитории. Служба А. П. в „Самолете“ окончилась следующим эпизодом. В 1892 г., когда на Волге среди лета вспыхнула эпидемия холеры, и испуганное пришлое население низовьев бросилось в панике к родным местам, переполняя пароходы и увеличивая число заболевающих, на Волге стоял невообразимый хаос. В Астрахани и Царицыне уже разыгрывались холерные беспорядки, толпа громила больницы и убивала докторов, а выше наскоро выстроен-

ные по берегам бараки не имели ни персонала, ни оборудования, и больных приходилось свозить на берег почти на верную смерть. Команда, среди которой тоже начались заболевания, потребовала расчета, и А. П. едва уговорил ее дойти до Нижнего, чтобы это не явилось самовольным уходом, а сам телеграфировал, чтобы ему приготовили новый состав. Самолетское начальство, недовольное письмами А. П., и начальник речной полиции, кстати однокашник Буланова по корпусу, начали распускать слухи, что он, наверное, сам взбунтовал команду, что он, де, „красный" и т. д. Басня была принята на веру, и А. П., подходя со своим пароходом к пристани, к удивлению увидал, что его ожидают губернатор, полицеймейстер и масса полиции, точно надо арестовать взбунтовавшихся матросов. Взбешенный Анатолий Петрович заявил, что немедленно уходит с самолетской службы и тут же принял предложение губ. Баранова, очень ценившего деятельность А. П. по Речному училищу, занять место коменданта холерного госпиталя, устроенного им на острове ниже города. Там А. П. встретил старого своего товарища по Ч. Пер.—Осипа Вас. Аптекмана, назначенного туда врачом. В 1893 г. мы переехали со своими тремя детьми в Саратов, где А. П. предложили очень интересную работу по устройству переправы через Волгу для строившейся Ряз.-Ур. ж. дороги. В Саратове он встретил старых товарищей по Чер. Пер.—Лаврова и А. Л. Блока (его позже стали звать Блек), служивших на той же постройке.

В 95 году к нам приехал, отбыв поселение, и Леонид Петрович Буланов с семьей.

Будучи приговорен военным судом к ссылке на житье без лишения прав и преимуществ в Тобольскую губернию, Л. Б. в действительности 20/I 81 г. был отправлен из Иркутска административным порядком в Верхоленск, откуда в декабре того-же года бежал вместе с Ник. Лопатиным. Но сделавши уже более 4000 верст, они случайно в одном селе были опознаны становым приставом, и Л. Б. препроводили в Иркутскую тюрьму, где и продержали два года, и где он сидел в одной камере с Козловским и Неустроевым, и, таким образом, на его глазах разыгрался трагический эпизод с пощечиной, которую последний, вспылив, дал ген.-губернатору Анучину, за что и поплатился жизнью. Затем Л. Б. отправили в Тунку, где жило тогда человек двадцать ссыльных, между ними: Серпинский, Майнов, Н. Н. Богородский—сын смотрителя Трубецкого бастиона, Присецкие, Алексеева и др.

В Саратове он устроился на службу на ту же Ряз.-Уральскую ж. д., а за окончанием постройки, когда мы снова уехали в Н.-Новгород, перешел в земскую управу. Здесь он был арестован по делу саратовской группы соц.-рев., и 10 декабря 1902 г. Леонид Петрович был отправлен в Петербург, куда затем постепенно перевезли и остальных арестованных по тому же делу, и еще до окончания дела был предварительно сослан в Тасеевскую волость Канского у. Иркутской губ., а по окончании дела препровожден в Якутскую область, где он и прожил со второй женой своей, В. Г. Хотемкиной, привлекавшейся и сосланной по тому же делу, до амнистии 1905 г. Вернувшись, Л. Б. устроился в Уфе заведующим книжным складом Прокофьева (отца невесты Е. Сазонова), а когда склад был закрыт, перебрался в Петербург, куда в 1906 г. переселились мы, и прожил там до конца 1917 г., поддерживая непрерывные сношения с руководящими деятелями с.-р. партии. В период революции он много писал в „Воле Народа". Ему же принадлежит брошюра „Две программы". В 1917 г. он переселился в Саратов по вызову старого товарища своего А. В. Милашевского, бывшего там директором банка; там он и умер в феврале 1922 г. после долгой болезни.

Мы с Ан. Петр., вернувшись из ссылки, не вошли ни в одну из существовавших тогда партий, частью не удовлетворяясь их программами, а главное из нежелания работать с незнакомыми людьми. Слётов в своей брошюре „К истории возникновения партии с.-р." справедливо указывает, что „страшным тормазом в деле объединения революционных сил того времени была боязнь провокаторства и предательства, укоренившаяся в радикальной среде под влиянием разгромов конца 80-х годов. Кружки замыкались в тесной среде близких знакомых". Тем не менее А. П. до конца жизни горячо интересовался политической борьбой, не прерывая сношений с рев. работниками и ревностно помогая Красному Кресту. В 1908 г., когда группа старых народовольцев и шлиссельбуржцев, по инициативе Вано Джабадари, предприняла издание легальной народнической двухнедельной газеты „Голос Народной Правды", мы с А. П. вошли в группу, и А. П. наметил ряд статей по земельному вопросу, для чего ему удалось достать крайне интересные секретные статистические материалы из министерства земледелия. Но попытка наша кончилась неудачею, так как власти, разрешив издание таким подозрительным лицам, сейчас же насторожились, и уже второй номер был конфискован, и газета приостановлена.

С восторгом приветствовал А. П. Февральскую революцию. Он как-будто помолодел на двадцать лет, вступил в партию с.-р., наиболее близкую его взглядам, а затем в группу „Воля Народа", где он наравне с Леонидом был в числе учредителей. По приглашению Лутугинского института он вел систематические беседы с солдатами в казармах пу-

леметного и Павловского полков. Позднейшие события переживались им очень тяжело. Сердце у него было слабое, ухудшившиеся условия жизни и тяжелые моральные переживания резко отразились на его когда-то богатырском организме и, поехав в служебную командировку в Саратов, он внезапно скончался там 1 октября 1918 г. от разрыва сердца.

Мне остается сказать еще несколько слов о себе.

Переселившись в Петербург, я вошла в кружок учредителей просветительного о-ва имени Некрасова—рабочий клуб народнического направления, который, несмотря на все полицейские строгости, просуществовал целых четыре года, и где я была председательницей. Работала я также в кружке М. Л. Лихтенштадт, обслуживавшем второй Шлиссельбург, а после Октябрьской революции была секретарем „Помощи сиротам и нетрудоспособным политическим", где и работала вплоть до прекращения деятельности этого кружка, за иссякновением его средств.

Бух, Николай Константинович *).

Мать моя была русская, дочь дворянина Полтева, владельца сельца Вараксино Калужской губернии. Во всем этом селе, насколько помню, было не больше двадцати крестьянских изб. Отец был норвежец. Дед его, состоя посланником при дворе Екатерины II от Дании, Швеции и Норвегии, принял русское подданство и променял свой посольский мундир на красный мундир русского сенатора. Отец, подчиняясь духу времени, гордился своим дедом: большие портреты этого сенатора, в мундире и орденах, и его жены, в каком-то причудливом платье и седых локонах,—в золоченых рамах украшали наши парадные комнаты. Со стороны матери никаких фамильных портретов не было. Отец в числе своих многочисленных родственников имел и французов и немцев. Мы, таким образом, уже по рождению своему были интернационалистами. Но в семействе нашем, за исключением отца, хорошо владевшего французским и отчасти немецким языками,— все говорили только по-русски и считали себя кровными россиянами.

Я родился в Калуге, трех месяцев меня перевезли в Москву. В Москве умерла одна из моих сестер. Нас осталось семь братьев и одна сестра, самая старшая из нас. Половину ребят своих отец сдал на воспитание казне: трех братьев, а в том числе и Льва—в петербургскую гимназию и одного, как более шаловливого,—в кадетский корпус. В 1856 г. отца назначили управляющим Уфимской Палатой Государственных Имуществ. Это был крупный переворот в его жизни. Губернатором в Уфе, куда мы приехали, был Григорий Аксаков, сын известного писателя.

Сестра, когда ей минуло 14 лет, была еще из Москвы отправлена отцом в Петербург, к его родным, для привития ей светского лоска. Года через три она переехала в нашу глушь. Уфимские кавалеры ей, конечно, не понравились. Но почти одновременно с ней приехал в Уфу отпрыск московских аристократов, старого дворянского рода Смирновых. Этому Смирнову по наследству досталось небольшое имение около Уфы. Усадьбы не было. Он все лето, осень и весну жил в избе своего старосты, пьянствовал и развратничал. Ранней же зимой, ликвидировав добрую часть хлеба, собранного его крепостными, брал с собою двух парней, наряжал их в черные костюмы, делая их на это время лакеями, и, сняв квартиру, вел в Уфе разгульную жизнь. Был он красивый, здоровый, сыпал французскими фразами, прекрасно танцовал, обладал хорошими манерами. В этом светском лоске они сходились с моей сестрой и хотя были круглыми невеждами, но на окружающих провинциальных увальней смотрели свысока. Молодые люди сошлись и решили венчаться. Родители протестовали. Холостая жизнь Смирнова была всем известна. Но дочь настаивала, грозила самовольным уходом. Время было либеральное, сопротивление родительское было сломлено. Свадьба состоялась, молодые поселились у нас. По приказу своего помещика, вся деревня—от стариков до молодых ребят, в лютый мороз приехала на поклон к своей новой хозяйке. Дрожа от холода, эти холопы, худые, истощенные, одетые в какую-то грязную рвань, сквозь которую местами проглядывало голое тело, гуськом входили в наши комнаты, земным поклоном приветствовали своих разодетых и надушенных владельцев, прикладывались к их рукам и, получивши, смотря по возрасту и полу—стакан водки и бутерброд, или красный головной платок, или два пряника,—в таком же порядке выходили снова на морозный двор. Эта сцена неизгладимо врезалась в моей памяти. Мать часто читала нам о страданиях христианских мучеников. И вот я увидел таких же мучеников в живых образах окружавшей меня жизни.

Мать наша была очень добра и религиозна. Каждое утро она опускалась с нами на колени перед киотом с большим числом образов и читала бесконечный ряд молитв и акафистов. Мы были очень привязаны к своей матери, сидевшей над нами, как курица над цыплятами, но как только подрастали, так выходили из-под ее влияния. Она не удовлетворяла нашим умственным запросам, была

*) Автобиография написана в декабре 1925 г. в Харькове.

почти без всякого образования, слабохарактерна и очень боялась отца. Отец не вмешивался в наше религиозное воспитание. При заключении брака от него, как лютеранина, взята была соответствующая расписка, и он строго соблюдал данное им в этой бумажке обещание. Но все же мы на каждом шагу видели, что отец, поклонник великих писателей Франции конца XVIII века, будучи значительно умнее и развитее своей жены, ни в бога, ни в чорта не верит, образам не молится, в церковь не ходит, постов не соблюдает. Все это будило нашу мысль, заставляло критически отнестись к наивным верованиям, столь дорогим для нашей матери, жившей сердцем, но не умом. Мать очень огорчалась постепенным уменьшением своего цыплячьего табунка, но для борьбы с этим не имела сил.

Отец был в большой дружбе с губернатором Григорием Аксаковым. Были они прогрессисты-администраторы и с восторгом ожидали назревавших в то время реформ Александра II. В конце 50-х годов, в эпоху расцвета воскресных школ, открылся такой просветительный пункт и в Уфе. Отец принимал деятельное участие в устройстве этой школы и был в ней одним из преподавателей. Отец со слезами на глазах читал нам манифест об освобождении крестьян.

В служебной карьере отца совершился переворот. Приятелю, бывшему сослуживцу отца, Гроту, поручили организовать акцизное ведомство. Место управляющего акцизными сборами в Уфе предложили отцу. Содержание его увеличилось почти в три раза. У отца была широкая натура, был он хлебосол, жил всегда несколько выше своих средств и терпеть не мог скопидомства. Переехали в большую квартиру, завели карету, устраивали обеды, вечера, дом был открыт для гостей. Но среди этой шумной жизни я чувствовал себя одиноко. Ближайший ко мне по возрасту брат умер. Следующий брат был старше на три года и не обращал на меня внимания. Мать не могла руководить моим воспитанием, я был предоставлен самому себе. Я надел ученический мундир, но ученье мое шло так плохо, что при всем значении в то время протекции не было никакой возможности продолжать мое пребывание в гимназии. Приглашенный ко мне в репетиторы весьма образованный ссыльный поляк посоветовал взять меня из учебного заведения, ручаясь, что через год он подготовит меня во второй класс. Так и сделали. Этот учитель сумел возбудить во мне любовь к математике и интерес к естественным наукам, но как сам математик, он не придавал большого значения развитию памяти и на это мое больное место не обратил внимания. Приготовляя уроки, я не пытался видеть прочитанное, пережить его, а стремился лишь запомнить печатный текст, что было, конечно, очень трудно. Особенно тяжело давались мне иностранные языки.

Среди детей крупных чиновников, помещиков я имел приятелей. Заражаясь настроением окружающих, мы преклонялись перед царем-освободителем. И вдруг выстрел. Кто стрелял в царя? Помещик. За что, за освобождение крестьян? Так думали у нас на кухне, но в передних комнатах отрицали эту версию. Каракозова повесили. За что? За то, что он стрелял в царя. Но за что, за что же он стрелял в царя? Мы смотрели друг на друга с недоумением и тщетно искали ответа.

Во второй класс я был принят, хотя оказался хорошо подготовленным только по математике. Здесь со своим приятелем я увлекся чтением французских романов, путешествий—это было так увлекательно,— а потому и на прохождение курса второго класса я затратил два года и еле-еле перескочил в третий.

Аксакова назначили губернатором в Самару. И отец просился в этот город, но был переведен в Пензу. Отец уехал на место своей новой службы осенью 1866 г., а нас с матерью, в виду обещанного ему перевода в Самару, решил оставить в Уфе до окончания занятий в гимназии. Перевод отца в Самару состоялся в декабре, мы присоединились к нему летом 1867 г.

В самарской гимназии я удачно перескочил в четвертый класс. Но гимназическая премудрость была мне противна. Через два года я с большим трудом перебрался в пятый класс.

Весной 1871 г. в нашей гимназии разыгралась трагикомедия, незначительная сама по себе, но сыгравшая в моей, как и в судьбе многих из моих товарищей, весьма знаменательную роль. В одну из больших перемен нам объявили, что после уроков все ученики старших классов должны собраться для объяснений с директором. Собрались в физическом кабинете. Директор, медленно опустив правую руку в левый боковой карман своего вицмундира, вынул из него солидный белый пакет за пятью красными сургучными печатями и, после торжественного спича о важности и конфиденциальности бумаги, извлекши из пакета циркулярное предписание, приступил к чтению. Директору предлагалось предупредить учеников старших классов, что на Руси за последнее время появилось много крамольников, стремящихся уничтожить религию, власть и семью; что крамольники эти пополняют свои ряды, главным образом, адептами из среды воспитанников высших и средних учебных заведений, нередко завлекая их в сообщество обманным путем. Ученики морского училища, например, задумали учредить общество для ловли китов и моржей, а крамольники, воспольt-

зовавшись этим, вовлекли их в сообщество, стремящееся к ниспровержению существующего порядка. Морякам, как военным, грозило очень серьезное наказание. Но государь, узнав об обманном вовлечении моряков в крамольное общество, решил: дело о воспитанниках морского училища оставить без последствий, учеников же всех средних учебных заведений предупредить о расставленных крамолой сетях и о грозящей им опасности. Закончив чтение бумаги, директор сказал нам краткую речь и, нервно тыкая своим жирным пальцем по направлению к полу кабинета, прибавил: „Перед вами пропасть. Попечительное правительство вам указывает на нее. Воспользуйтесь предупреждением, берегитесь. Сорвавшись в пропасть, вы в ней погибнете безвозвратно“.

Мы жили в удушливой атмосфере. В газетах печатались известия о Парижской Коммуне. Гимназисты 7-го класса организовали „обжорную коммуну“, в нашем пятом классе организовалась „коммуна взаимного увеселения“. Теперь из речи директора и прочитанной им бумаги мы поняли, что в России существуют две борющиеся между собою силы. мертвящая сила правительства, с которой, в лице наших педагогов, мы уже несколько навыкли бороться, и сила молодой России, приглашающая нас посвятить свою жизнь благу и счастью нашей родины, благу и счастью всего человечества. Мы знали это и раньше, но наша жизнерадостная молодая мысль серьезно не останавливалась на этом; а теперь наше начальство, наше „высшее начальство“ предлагало нам определенно стать в ряды той или другой из борющихся сторон. Существовавшие кружки молодежи распались, на их место организовались новые. Лица, не имевшие влечения к „пропасти“, отошли в сторону; лица же, которых манила к себе „пропасть“, сознавшие необходимость спуститься в нее для возрождения к новой жизни, сблизились, связали себя крепкими узами. Это началось с осени.

Летом мы с жадностью читали печатавшийся в газетах процесс нечаевцев. Это приблизило нас к „пропасти“, но не дало ясного представления о предстоящей нам деятельности. Более определенную программу мы почерпнули из „Исторических писем“ Миртова-Лаврова. Осенью в Самаре организовалось несколько революционных кружков. Наш кружок состоял всего из трех лиц—я, Осташкин и Чернышев. Занимались почти исключительно самообразованием. Весной 1872 г. в Самару прибыли из Петербурга несколько агитаторов и соединили все революционные кружки в одно целое. Приехали чайковец Сердюков со своим последователем Ливановым, студент технолог Соколовский и, выпущенный из Петропавловской крепости и водворенный в Самаре под надзор полиции, нечаевец Кошкин. Наибольшим успехом среди самарской молодежи пользовался в это лето Соколовский, еще в гимназии внушавший к себе уважение своей склонностью к серьезным занятиям. Пробыв один год в Петербургском Технологическом институте и встретившись там с чайковцами, он вернулся к нам ярым революционером. Соколовский собрал в своей маленькой, свободной от мебели, квартирке всю самарскую революционную молодежь и прочитал ей лекцию. На одной из стен, выбеленной известью, был начерчен углем ряд концентрических, все расширяющихся кругов. Стоя около этого чертежа в своих рыжих ботфортах, в невозможно грязной рубашке и костюме, сшитых из грубого крестьянского холста, он, обводя нас пылающим взором и тыкая пальцем то в тот, то в другой из кругов—кричал: „Здесь помещается центральное правительство, здесь дворянство, духовенство, купечество и фабриканты, а здесь, в этом большом круге, ютятся все трудящиеся, крестьяне и рабочие, из которых центральные круги, сплоченные общим интересом, высасывают кровь. Это их стадо, оно должно быть покорным, а потому общими усилиями они держат его в невежестве. Они опасаются, что стадо их, вкусив плоды от древа познания добра и зла, не пожелает носить возложенного на него ярма, стряхнет с себя всех своих эксплоататоров. И вот древо это, древо познания добра и зла, они поставили на высоту недоступную для народа. Таково положение вещей, из него выясняются наши задачи. Они заключаются в том, чтобы уничтожить основательно воздвигнутую преграду между народом и наукой. Нам плоды древа познания доступны, мы можем сорвать их и передать в лагерь трудящихся. Но доверится ли нам народ, примет ли он от нас эти плоды? Пока мы стоим в этих центральных кругах, народ, видя в нас своих угнетателей, не может отнестись к нам с доверием. Нужно сбросить с себя привилегированную оболочку, обратиться в простых рабочих, перейти из центральных кругов в этот большой круг трудящихся людей. Здесь примут нас с распростертыми объятиями, здесь отнесутся к нам с полным доверием, здесь не отвернутся от принесенных нами плодов знания. И когда плоды эти будут усвоены трудящимися массами, тогда ярмо будет сброшено, стадо восстанет на своих пастырей, и центральные круги эти будут рассыпаны в прах“.

Но эти проповеди оказывали пока лишь теоретическое влияние, не настало время для претворения их в жизнь. Мы еще не вылупились из своих футляров, каждый думал о своем. Я вышел из гимназии. Брата Льва перевели на службу в Петербург, я поехал к нему. Учебный 1872—73 год я

посвятил подготовке к экзамену по курсу военных гимназий. Благополучно сдав их, я три дня пробыл в Павловском Военном училище, затем перешел в Медико-Хирургическую Академию. В Петербурге собралось четыре члена нашего самарского кружка: Городецкий, Фанин-Андреев, Чернышев и я. К нам присоединилось много других, мы поселились коммуной. Таких коммун в городе образовалось много. Мы читали „Анархию“ Бакунина, журнал „Вперед“. Велись споры, мы готовились к предстоящей деятельности в народе. Собирались общие сходки петербургских кружков. Первая сходка, на которую я попал, собралась на квартире студента-технолога Ипполита Головина. Человек сорок скучилось в довольно большой зале с тремя окнами, плотно завешанными гардинами. Комната освещалась небольшой лампой, прикрытой темным абажуром. Полумрак. У лампы сидит хозяин квартиры, взявший на себя роль председателя. „Вот, говорит он, при какой таинственной обстановке мы, почти не видя друг друга, вынуждены собраться, рискуя к тому же, что, не взирая на все наши предосторожности, нас каждую минуту могут накрыть жандармы и подвергнуть за это сборище весьма серьезным наказаниям. На этом собрании нам предстоит высказаться по вопросу: надлежит ли нам немедленно итти в деревни и, игнорируя опасность, подстерегающую нас на каждом шагу, стремиться организовать народ и поднять его против правительства, помещиков и буржуазии; или, временно отложив работы по подготовке социально-экономического переворота, кинуть все свои силы на политический фронт: к разрушению гнета, собравшего нас в этой полутемной комнате; гнета, разрушение которого даст нам возможность проповедывать свои убеждения в больших, ярко освещенных залах, в театрах, на площадях и в короткое время, без тяжелых жертв, подготовить народ к социальной революции“. Высказывались разно. Большинство стояло за немедленную подготовку крестьян и рабочих к восстанию. Помню яркую фигуру брата Софьи Перовской. Выше среднего роста, в ботфортах, в красной косоворотке, подпоясанной ремнем, с румяным, пышущим здоровьем лицом, обрамленным золотистыми кудрями, он, сидя на стуле, конфузясь, неуверенно говорил: „Я думаю, что вся сила в знании. Нам нужно стремиться к возможно большему расширению своего умственного кругозора, а также и окружающих нас людей, помогая в этом друг другу. Это стремление перейдет—и уже переходит—от интеллигенции к рабочим, от рабочих же оно перекинется и к крестьянам. Вот. Этого потока никакая запруда не удержит. А затем, когда эта коалиция сознательных революционеров разрастется, видно будет, жизнь сама укажет, что нам делать дальше“.

Весна властной рукой стучалась в окна наших жилищ, призывая нас к переходу от слов к делу. Народ мы знали только по его истории. Этот народ, управлявшийся, как мы рисовали себе, своим вечем, менявший наемных князей-военачальников, как перчатки, дал наложить на себя цепи лишь под игом татар. Освободившись от владычества последних, народ неуклонно рвал свои путы и за последние столетия неоднократно пытался стряхнуть насевших на него эксплоататоров. Этот народ внушал нам к себе доверие, любовь, перед этим народом мы готовы были преклониться. Сто лет отделяло Разина от Пугачева, такой же период времени отделял нас от последнего грозного народного восстания. Это казалось нам знаменательным. Освобождение крестьян всколыхнуло народ; свое неудовольствие грабительскими условиями дарованной воли, доведшими его до нищеты, до голода, он выразил в ряде бунтов. И нам казалось, мы имели право сказать: настал час, нужно организовать народ, помочь ему сбросить свои оковы—царей, помещиков, буржуазию.

В Петербург приехал Ковалик и созвал представителей революционных кружков. На собрании вопрос был поставлен так: все мы стремимся итти в народ, но программы предстоящей нам деятельности у нас разные. Не будем спорить, споров было достаточно. Организуемся в том виде, в каком мы существуем. Осенью, когда вновь соберемся в Петербурге, попытаемся сблизиться теснее и выработать общую программу, которую продиктует нам жизнь. А пока, на предстоящее лето, для взаимной помощи и направления деятельности кружков к единой цели, пусть каждый из них изберет своего представителя в центральный кружок. Это было принято. Члены кружков двинулись в народ, а представители их, а в том числе и я, как избранный от самарского кружка, остались в Петербурге. Но функции центрального кружка были лишены жизненности, кружки не считались с мнением своих представителей, не присылали и не могли присылать им отчетов о своей деятельности. Мы чувствовали себя не у дел и рвались к непосредственной работе в народе.

В конце мая мы передали все дела кружка представителю чайковцев и разъехались. Я рассчитывал присоединиться к своему кружку в Самаре, но чайковцы уговорили меня поехать в Пошехонский уезд, в имение Эндаурова. Там я встретил еще трех товарищей, все мы жили на положении рабочих и вели посильную пропаганду. Через месяц мы получили предупреждение о предстоящем аресте и разбежались. Я уехал в Самару. Здесь я встретил Войнаральского,

Осташкина, Петропавловского - Коронина и др. Началась волна арестов, она колебала почву и в Самаре. Бежал, прожил около месяца в деревне, в семействе крестьянина, товарища по гимназии, Егора Лазарева. Узнав здесь об аресте Осташкина и др., уехал в Казань. В конце августа вернулся в Петербург. Из всего нашего кружка встретил только Попова, продолжавшего учение в Мед.-Хир. Ак., Никитина, Комова и Осипова. Последние два скоро были арестованы, Никитин куда-то скрылся, меня чайковцы направили в Одессу. Но местные чайковцы во главе с Желтоновским, только-что пережившие погром, страдали шпиономанией и приняли меня весьма сурово. К счастью, я скоро натолкнулся на кружок южных бунтарей: Дебогорий-Мокриевича, Стефановича, Коленкину и др. и поселился с ними на Молдаванке. Месяца через два Желтоновский вызвал меня, извинился за свою подозрительность и спросил, думаю ли я с ними работать, но я уже был увлечен новой программой. Мы решили стать на почву народных идеалов. Летом 1875 года мы вернулись в деревню. Около года мы прожили в селах Киевской губернии, но результат оказался весьма жалким. Народ отнесся к нам сочувственно, но было ясно, что за нами он пойдет лишь тогда, когда мы представим из себя достаточно сильную инициативную группу. Такой силой явился организованный фабрично-заводской пролетариат, нашедший опору в крестьянстве в 1905 и 1917 гг. Мы же опирались, главным образом, на учащуюся молодежь, отдававшую нам ничтожный процент из своей среды. За отсутствием реальной силы Стефанович со своими соратниками прибегли к фиктивной и, действуя от имени царя, создали Чигиринское дело. Я в этом не участвовал, жил в Харькове, добывал средства к жизни уроками и пытался ориентироваться, наметить план дальнейших действий. Из этого пассивного состояния я был извлечен Осинским, отыскавшим меня по указаниям Дейча.

Осенью 1877 г. я был уже в Петербурге, где в то время проживали мои сочлены по кружку южных бунтарей—Мария Коленкина и Вера Засулич. Толкаясь среди народников-троглодитов, я в успехе их дела сомневался. Брат мой, Лев, предложил мне участвовать в устройстве типографии для печатания затеянной им нелегальной газеты. Это дело увлекло меня. Добыли шрифт из типографии Вольфа. Печатный станок, типографские принадлежности и недостающую часть шрифта Зунделевич купил в Берлине, перевез через границу, отправил в Петербург и передал нам накладную.

В Петербурге жизнь кипела ключом. Кончился процесс 193-х, большинство подсудимых очутилось на воле. Собрания, вечеринки. Приехали южане, подготовляли покушение на жизнь Трепова. Забегая почти каждый день к Коленкиной и Засулич, я видел, что они что-то скрывают от меня и срочно собираются ликвидировать свою квартиру. И вдруг известие: Засулич стреляла в Трепова. Разыскал Коленкину. Волнуясь, она сообщила мне, что они бросили жребий, жребий пал на Веру. Когда Засулич пошла к Трепову, она, Коленкина, направилась на квартиру Желиховского, обвинителя по процессу 193-х, чтобы застрелить его. Прокурора дома не было, в переднюю вышла жена, дети и с большой тревогой смотрели на нее. Она повернулась и ушла. Через некоторое время пришел к брату Жуковский, отказавшийся от обвинения Засулич, и передал, как слух, что полиция напала на след соучастницы Засулич, проживающей где-то на Литейной, около Окружного суда. Брат немедленно сообщил мне. Адрес был весьма точный. Я поехал к Коленкиной, с которой в это время жил и Чубаров. Было 10 час. вечера. Коленкина не соглашалась покинуть квартиру. Чубаров с задумчивым видом расхаживал по комнате. Коленкина убеждала меня, чтобы и я остался с ними, что мы вместе окажем вооруженное сопротивление, что это теперь лучший способ пропаганды. Было поздно, вот-вот могли нагрянуть жандармы, я простился и ушел. Как это ни странно, но слух оказался вздорным.

Типография была устроена, приступили к печатанию беспартийной социалистической газеты „Начало“. Предполагалось, что социалисты разных оттенков примут в ней участие и общими усилиями выяснят программу совместного революционного действия. Но дело не клеилось. Кроме этой газеты, печатали „Летучий Листок“, брошюру „Заживо погребенные“ и проч.

Осенью 1878 г. я вновь сошелся с народниками, содействовал передаче им нашей типографии, участвовал в печатании газеты „Земля и Воля“, „Листок Земли и Воли“ и многих прокламаций.

В августе 1879 г. меня потянуло за границу. Я видел, что только Клеточников спасает нас от провокаторов, собравшихся большой группой у пределов нашего заколдованного круга. Это было ненормально, это ясно указывало на ошибочность нашего пути. Хотелось разобраться в этом, поискать более верной дороги к намеченной нами цели. Брат Александр, от лица всех родных, настойчиво убеждал меня ехать за границу, дал мне паспорт умершего родственника и обещал дать деньги перед отъездом. Но бросить товарищей в такое тяжелое время было стыдно, и выявлялось сознание: момент, когда—хотя бы благодаря случайности—силы III Отд. значительно ослаблены, должен быть использован для нанесения ца-

ризму возможно тяжкого удара. Я колебался. А время не ждало, нужно было немедленно приступить к устройству типографии. Я объявил товарищам, что возьму на себя это дело, но лишь при условии участия моего в обсуждении программных статей газеты. Морозов, с которым я вел переговоры, сказал: „Если хотите участвовать в обсуждении программных статей, то к этому один путь—поступайте в партию". Я согласился, и перед самым развалом „Земли и Воли" был скоропалительно принят в члены ее. Когда наша партия распалась на Народную Волю и Черный Передел, члены последней организации—Плеханов, Аптекман и др., спрашивали меня, пристаю ли я к ним или отхожу к народовольцам. Кто-то из них дружески предупреждал, что некоторые народовольцы настроены против моего приема и собираются оставить меня за штатом, но я, заваленный работой, не придавал этому особого значения и не верил в возможность такого коварства, что, по всей вероятности, и не имело места. Я присутствовал на трех собраниях членов Исполнительного Комитета. На первом из них обсуждались текущие дела, на втором—программа Народной Воли, в обсуждении которой я почти не участвовал, так как своей программы у меня не было; и, наконец, третье было созвано для избрания распорядительной комиссии. В своей избирательной записке я поместил: Михайлова, Тихомирова и Морозова. Ко мне подошел Тихомиров и сказал: „Зачем вы пишете Морозова, с ним нам будет трудно работать, он внесет разлад".—„Но будет служить вам хорошим дополнением", ответил я. Особенно старательно к делу избрания отнесся Грачевский, только что бежавший из ссылки и избранный в члены И. К. Он расхаживал по комнате, держа в одной руке листок, а в другой—карандаш, которым постукивал свой нахмуренный лоб. Время от времени он останавливался, прикладывал листок к стене и твердой рукой вносил фамилию. В записке его оказались: Тихомиров, Михайлов и... я. Это возбудило смех. Грачевский оправдывался: „Я руководился теми отзывами, которые слышал здесь же. Я не знал, что Бух работает в типографии". Незадолго до ареста я поинтересовался и спросил у Михайлова о подробностях приготовлений к предстоявшему взрыву в Зимнем дворце. Он покраснел и, как бы оправдываясь, сказал: „Ведь у нас только три секрета, в которые посвящены лишь члены, принимающие в этих делах непосредственное участие: подробности взрыва, Клеточников и адрес вашей типографии. К чему праздное любопытство?".

В январе 1880 г. я вместе с „Петербургской Вольной Типографией", переданной народовольцам ликвидационным собранием „Земли и Воли" и печатавшей в то время № 3 „Народной Воли", был арестован. При аресте мы оказали вооруженное сопротивление*) и были основательно избиты. Просидев в Петропавловской крепости 9 мес. до суда и 7 мес. на каторжном положении после суда, я вместе со своими товарищами по процессу был отправлен в Карийскую каторжную тюрьму. Сидя в этой тюрьме, мы имели сведения о ходе политической борьбы в России и с печалью в сердце наблюдали постепенное ее ослабление. Когда получено было известие об аресте Клеточникова, я окончательно разочаровался в успехе борьбы народовольцев и впал в политический маразм. Я оставался, конечно, социалистом, но вернулся к марксизму, как его тогда понимали, вернулся, надо признаться, с тем же чувством разочарования, с каким жена рыбака у Пушкина вновь очутилась перед своим разбитым корытом. Мы рассчитывали на быстрый ход событий, теперь же революция в моем сознании отодвинулась в неопределенную, астрономическую даль. Если, думал я, в промышленных странах—Англии, Америке и даже в Германии—социализм развивается так медленно, то когда же мы будем в состоянии свергнуть иго царей, помещиков, буржуазии. В то время профессора Чупров и Исаев в своих лекциях и печатных произведениях становились на точку зрения К. Маркса, признавая лишь, что осуществление идеалов социализма возможно только в отдаленном будущем. Я читал их сочинения, соглашался с ними и недоумевал, почему Чупров и Исаев занимают кафедры, свободно проповедуют столь близкие нам идеи, а мы, закованные в кандалы, с полубритыми головами, что делало нас похожими на петухов, сидим в каторжной тюрьме. Но над этой мыслью я не останавливался, я только улыбался ей и бодрости духа не терял. Если по законам истории нам суждено жить и умереть под царской пятой, то что же мы можем поделать? Будем довольствоваться тем, что дала нам судьба. Я занялся астрономией и психологией, создал в этих областях свои гипотезы, занимался разработкой их. Потом я перешел к экономическим наукам. Еще при первом чтении „Капитала" К. Маркса в 1874 г., когда я вернулся из первого нашего похода в деревню, у меня возник вопрос: почему труд-движение измеряется временем? Конечно, время здесь играет лишь передаточную роль. Измеряя труд-движение временем, мы измеряем его движением же, движением нашей планеты вокруг солнца или своей оси. Но почему применен такой грубый измеритель? Труд человека обычно заключается

*) С. А. Иванова, Цукерман, Грязнова, Любкин (застрелился)—хозяйка и наборщики в типографии в Саперном переулке.

В. Фигнер,

в передвижении массы. Масса тел расположена в природе не вполне так, как это требуется для удовлетворения человеческих потребностей. Чтобы приспособить окружающие тела к своим нуждам, человек сообщает движение массе и останавливает ее в нужной ему точке. Законы движения масс изложены в механике и там, конечно, не измеряют их движение временем, движением небесных тел, а для этой цели имеют весьма точный измеритель. Напав вновь на этот след, теряющийся в дебрях научной тайги, и приложив законы механики к исследованию условий интенсивности труда, я пришел к поразившим меня выводам, бросившим яркий свет на многие явления экономической и политической жизни. Все эти научные работы так захватили меня, что я и не заметил, как пролетели над моей головой еще 8 лет каторжной жизни. Но тут пришла „карийская трагедия", и я был вышиблен из своей колеи.

Комендантом у нас в то время был Масюков—слабый, бесхарактерный старик. Будучи офицером, он прокутил и проиграл в карты значительное состояние, доставшееся ему по наследству от родных. Желая выйти в отставку с хорошей пенсией, он, по совету своих собутыльников, поступил в жандармы. Мужская тюрьма хорошо поняла его и умела с ним ладить. Когда, напр., он как-то проиграл в карты весьма солидную сумму из денег, получавшихся на имя заключенных, и покаялся в этом перед нашим старостой, тюрьма простила ему этот грех, потребовав лишь некоторых льгот для своих товарищей. Но в женской политической тюрьме не любили Масюкова и там возникали с ним постоянные весьма крупного характера недоразумения. Заключенная там Сигида дала ему пощечину. Возникло дело, Сигида была подвергнута телесному наказанию. Не выдержав позора, она умерла. Не могли перенести позора и несколько товарищей ее по заключению. Приняли яд и умерли. В мужской тюрьме довольно большая группа решила последовать примеру последних. Раздобыли опий. Первый опыт отравления был неудачен, яд не подействовал. Через несколько дней опыт был повторен, яд был принят в большей дозе, но и на этот раз он не оказал ожидаемого действия. Тогда Иван Калюжный розыскал коробку с опием и принял его в большом количестве. Примеру его последовал Сергей Бобыхов. Оба они умерли. Это были два неразлучных друга. Об их нравственных качествах не приходится говорить, но это были люди с хорошим аналитическим умом, обладавшие феноменальной памятью. Накануне рокового вечера Калюжный приходил проститься со мной. Слезы сверкали в его глазах. Я, как умел, настойчиво отговаривал его от этого самоуничтожения, но он был тверд. Эти события произвели ошеломляющее впечатление на тюрьму. Все были сильно огорчены утратой дорогих товарищей. Но те, кто сохранил еще в себе веру в скорое наступление революции, находили утешение в мысли, что эта смерть товарищей приблизит дело их к победе. Я не имел и этого утешения. Морального значения геройской смерти погибших товарищей я, конечно, не отрицал, но положительный результат их гибели видел почти исключительно в том, что они избавили нас от тяжелой жизни под угрозой позорного телесного наказания. Этого они достигли. И я спрашивал себя, имели ли мы право принять такую тяжелую жертву от своих самых лучших и м. б. самых способных товарищей. Я чувствовал себя виновным в смерти этих близких мне людей, мы не приняли энергичных мер к их спасению.

Находясь в таком подавленном состоянии, я получил письмо от брата Льва. С братом мы были в самых дружеских отношениях с юности и до самой его смерти. Он был арестован почти на год раньше меня, но никаких улик у жандармов против него не было. Его освободили, когда я сидел уже в Петропавловской крепости. Он приходил ко мне на свидания, присутствовал на нашем суде. После моего осуждения он по болезни уехал за границу. Там он получил известие от отца, что если он вернется в Россию, то будет отправлен на 5 лет в административную ссылку. Брат предпочел жить в Париже, где в то время сосредоточилось много русских эмигрантов. Через пять лет, когда истек срок его ссылки и заграничного паспорта, и отец, очень скучавший о брате, написал ему, что он может вернуться в Петербург, так как дело его аннулировано, брат вернулся, поступил на частную службу и усиленно занялся разработкой экономических вопросов, давно уже интересовавших его. Об этих своих работах брат, не знавший еще о пережитой нами трагедии, и писал мне в самых радужных красках. И представьте себе мое удивление и радость, когда я увидел, что он, исходя из совершенно других данных, приходит почти к тем же выводам, к которым пришел и я. Конечно, все это рисовалось еще в тумане, но именно во мгле-то предстоящая работа и казалась грандиозной. Меня с такой силой охватило желание быть вместе с братом, работать с ним, и предстоящий труд казался такой большой научной и даже революционной ценностью, что я... подал прошение о помиловании. Это совершилось как-то очень быстро. Дверь нашей тюрьмы в этом направлении была приоткрыта, многие товарищи только что прошмыгнули в нее, выскочил и я. Этим я нанес себе глубокую рану, причи-

нившую мне много страданий. Месяцев через десять, в январе 1891 г., я был отправлен „на жительство“ в Западную Сибирь. Затем через три года, под давлением отца, ко мне был применен манифест, данный по случаю проезда наследника через Сибирь, и я был водворен на жительство в Уфимскую губернию, в имение своей сестры. Еще через три года, по применению свадебного манифеста, мне возвратили все права, запретив лишь жительство в столицах и столичных губерниях. Это последнее ограничение в правах было снято с меня только по манифесту, изданному в связи с революцией 1905 г.

В конце 1895 г. умер мой отец, оставив мне небольшое наследство. Я купил себе за 240 р. крохотную усадьбу на Кавказе, куда каждое лето приезжал ко мне брат с своей семьей. С братом мы вели оживленную переписку зимой и горячие споры летом, но договориться не могли. Брат не допускал мысли, что данные механики, столь точной науки, могут быть приложены к выяснению общественно-экономических вопросов. Желая убедить меня в этом, он дал мою работу на просмотр известному в то время профессору механики Кирпичеву. К его удивлению, последний согласился с правильностью основных положений моего труда. Но и это не показалось брату убедительным. В свою очередь и я не мог согласиться с некоторыми положениями теории брата *). Особенно возмущала меня его настойчивость в утверждении, что дневная интенсивность труда за пределом нормального 8-ч. раб. дня всегда обратно пропорциональна длине этого дня. Выходило, что если бы, напр., кустарь наш, при всех других равных условиях, работал не 16, а только 8 ч., то продуктивность его труда увеличилась бы в 2 раза **). Так совместная наша работа, о которой я мечтал, и не состоялась. Только во время последнего нашего свидания, в январе 1917 г., за 3—4 м. до его смерти, брат обещал мне приступить к соединению наших работ в одно целое.

Живя на Кавказе в 1900 г., я после долгого затишья впервые уловил отдаленные громовые раскаты приближающейся революции и с такой же жадностью прислушивался к ним, с какой улавливает этот звук крестьянин после долгой засухи, когда дождь так требуется для орошения его полей. Политический маразм, так долго владевший мной, падал по мере того, как громовые удары становились сильнее. Скоро прилетели и первые вестники приближающейся грозы, ссыльные из Петербурга и Харькова. Я подружился с ними. При содействии одного из них, горячо преданного революционному делу, я ликвидировал свою дачу и в феврале 1902 г. был уже в Харькове. Старый приятель, сочлен по кружку южных бунтарей и партии народовольцев, В. П. Лепешинский, помог мне поступить на жел.-дор. службу. Живя в Харькове, я имел сношения с с.-р. и с.-д., но в партию не вступал. По своей идеологии я мог поступить в партию с.-р., но основываясь на своем народовольческом опыте, когда мы были одновременно осведомлены и в революционных делах и через Клеточникова в делах жандармерии, я не мог себе представить, что в среде революционеров нет провокаторов.

Но, оставаясь в стороне, я не терял связи с близкими мне людьми, в которых был вполне уверен, и в общих чертах, без проникновения в детали, наблюдал движение на коротком расстоянии, радовался его успехам и по мере сил содействовал ему. Не впал я в политический маразм и при повальном распространении его, после подавления нашей в высшей степени оригинальной и красивой революции 1905 г. В своей брошюре „Закономерность развития и будущность человечества“, изданной мной в 1907 г., я, исходя из своих основных положений, писал: „...капиталист, ежедневно учитывающий свои барыши и убытки, стремится к увеличению рабочего дня, к уменьшению заработной платы и является, таким образом, злейшим врагом крупной промышленности; не сознавая того или придерживаясь правила: „пока солнце взойдет, роса очи выест“, он подтачивает корни дерева, плодами которого питается и за которым во всех других отношениях ухаживает самым тщательным образом. Рабочий же, питающийся плодами, падающими с того же дерева, и часто относящийся к этому дереву враждебно, содействует развитию крупной промышленности, т. к. естественно стремится к увеличению заработной платы, сокращению рабочего дня, к расширению своего умственного горизонта— этим главным и основным факторам развития производств с крупным постоянным капиталом. Классовый интерес рабочих связан с разлитием благоденствия и света знания на все человечество; узкий интерес капиталистов, которым они, за весьма редкими исключениями, и руководствуются,— с сохранением благоденствия и света лишь в своих дворцах... Мы присутствуем при титанической борьбе рабочих с буржуазией. Победа буржуазии в этой борьбе, это— смерть промышленности, которую в конце концов не спасут и таможенные пошлины, это вырождение и гибель народа; победа

*) Leo von Buch, „Intensität der Arbeit, Werth und Preis der Waaren“ (Duncker u. Humblot), 1896; русск. изд. Лев Бух, „Основные элементы полит. экономии. Интенсивность труда, стоимость, ценность и цена товаров“, 1902, 2-ое русск. изд. с предисл. Эд. Бернштейна, 1906 г.

**) Л. Бух, „Осн. элем. пол. экон.“, стр. 102—103.

рабочих, это—расцвет промышленности, расцвет народных сил, приближение народа к грядущему социальному перевороту. В этой борьбе могут погибнуть отдельные народы и государства, но ясно, что победить в ней могут только представители „труда“ *).

В партию с.-р., по предложению Харьковского комитета, я вступил лишь после Февральской революции и пробыл в ней до конца 1917 г., когда после непродолжительного страха перед „бронированным кулаком“ Вильгельма, грозившим опуститься на нашу голову, я понял, что функции этой партии закончены, и что в момент торжества социализма все революционные силы должны быть сосредоточены в одном центре.

Русская революция 1917 г., ярко осветившая наши блуждания в прошлом и прямой путь к великому будущему, заставила меня голодать, две зимы прожить в нетопленной комнате, работать в холодном помещении и, разрушив транспорт, принудила меня, проживавшего в 9 вер. от Харькова, ходить на службу пешком, делая около 20 верст в день в мороз, бураны и дожди; но все эти личные переживания тонули горькими каплями в великой радости, доставляемой мне каждым шагом на пути к грядущей мировой революции. Эта радость влила в мой одряхлевший организм новую силу и жажду жизни.

Гедеоновский, Александр Васильевич **).

Я родился 27 авг. 1859 г. в селе Шаблыкино Карачевского у. Орлов. губ. Родители мои были из духовного звания; отец по тому времени был довольно просвещенный человек. Состоя в должности благочинного, он имел библиотеку для своего округа, выписывал много газет и журналов, не придерживаясь какого-либо определенного направления: тут были журналы и резко консервативного направления („Домашняя беседа“ Аскоченского) и радикальные („Современник“ времен Чернышевского, „Русск. Слово“). С 10 лет я уже пристрастился к чтению газет, и отец поощрял мое рвение.

На 8 году меня отдали в школу, где обучалось до 100 мальчиков и ни одной девочки, учились исключительно дети крестьян, со многими из них у меня долго сохранялись дружеские отношения. На 10 году меня отвезли в Орел и определили в 1 класс (низшее отделение) духовного училища, где полагалось пробыть 6 лет. Обстановка во многом напоминала „бурсу“ Помяловского, но порки уже не было, довольно сильно страдали только волосы и уши. Через 3 года по моем поступлении школа была реформирована во многом к лучшему, но нас душили изучением древних якыков—9 уроков в неделю было по греческ. яз. и 7 уроков по латинскому, и ни одного часа не давалось на изучение естествознания и народоведения. На 16 году перешел в Духовную семинарию, где был также 6-летний курс, при чем в 5 и 6 классе проходили исключительно богословские науки. Каникулярное время я всегда проводил на родине. Отец мой, не ради нужды, а в целях более правильного воспитания, не только поощрял, но иногда и принуждал всех своих детей к участию во всех домашних и сельскохозяйственных работах, что давало нам возможность входить в тесное соприкосновение с крестьянами и знать их вопиющую нужду. Достаточно указать на тот факт, что местный магнат, помещик Киреевский (мой крестный отец), имел свыше 30 тысяч десятин и очень рад был тому, что крестьяне вышли на волю с даровым нищенским наделом—$^3/_4$ дес. на душу. Барщина-кабала долго царила во всех видах. Это сильно запечатлевалось в моей душе и создавало резко враждебное отношение ко всем угнетателям закабаленных крестьян и особенно к моему крестному отцу.

В годы пребывания моего в Духовной семинарии у меня началось знакомство с нелегальной литературой того времени—с разными мелкими брошюрками-сказками. Среди моих знакомых было два офицера—Красовский и Анучин, которые откуда-то получали эту литературу и давали мне почитать. Я думаю, что они брали ее у своего товарища, офицера Кузьмина, о котором Ашенбреннер упоминает в своих воспоминаниях, как о члене военной организации. С ним я очень редко встречался. Получив брошюрки, я поспешил познакомить с ними моих ближайших товарищей, и у нас организовался маленький кружок читателей этой литературы. Но офицеры скоро уехали в Турцию на войну, и наш источник иссяк. Попытки отыскать еще у кого-либо подобную литературу были тщетны. Раньше жившие в Орле известные революционеры — сестры Оловенниковы, Сергеева (жена Тихомирова), П. Г. Зайчневский, Н. С. Русанов, богоносец Маликов— все они покинули Орел. Тогда я с двумя товарищами, поселившись на отдельной квартире, с целью свободного чтения и бесед, написал в Харьков одному студенту письмо, конечно без всякого шифра, но, как нам казалось, с достаточной конспирацией, с просьбой о присылке нам нелегальной литературы. Студент этот был уже арестован, и наше письмо попало в лапы жандармов. Результат: 22 октября 1877 г в нашу маленькую квартиру ввалилась целая эскадра: жанд. полковник, тов. проку-

*) Н. Бух-Полтев, „Закономерность развития и будущность человечества“, 1907 г., стр. 35, 36 и 71.

**) Автобиография написана 28/XII—1925 г. в Москве.

рора с обычными остальными спутниками. Произвели довольно тщательный обыск, роясь в наших книгах и тетрадях, но сочли излишним осмотреть мой чемодан, стоявший глубоко под кроватью с бельем и пачкой прочитанной нами нелегальщины. Это осталось нетронутым, и все обошлось благополучно. Это была моя первая встреча с жандармами. На другой день вечером приехало семинарское начальство—ректор и инспектор, тоже произвели обыск и, к великому моему огорчению, забрали у меня 9 и 10 т. соч. Писарева и собр. сочинений Добролюбова—это были мои любимые писатели. Нас трех немедленно разогнали по разным квартирам и подчинили строгому контролю. Все же потом в наши руки, хотя и случайно, попало номера два „Земли и Воли“ и кое-что из брошюр.

Семинаристы, стремившиеся в высш. уч. заведения, обычно оставляли семинарию по окончании 4 классов. На нашем курсе желавших поступить в высш. уч. заведения было около 30 чел. Все они усиленно готовились к проверочным экзаменам, но нежданно-негаданно 20 апреля 1879 г. грянул злополучный циркуляр недоброй памяти мин. нар. просв. гр. Толстого, закрывший для семинаристов двери почти всех высш. уч. заведений. Предложено было принимать в них только по сдаче в гимназиях экзамена на аттестат зрелости, а по секретному предписанию рекомендовалось не допускать семинаристов в высш. уч. заведения, сделав исключение только для двух провинциальных — Демидовского лицея в Ярославле и филологического института в Нежине, куда раньше принимали семинаристов совсем без экзамена, а теперь с проверочным экзаменом по 4 предметам.

И получилось то, что мы volens-nolens перешли пока в 5 класс семинарии, усиленно подготовляясь к экзаменам.

В 1880 г. удалось поступить из 5 класса семинарии в лицей только 4-м ученикам, в том числе и мне. Я сильно мечтал о Петербурге, где был самый центр умственной жизни, предполагал поступить в Медико-Хирургическую академию, а вместо этого попал в глухой провинциальный городишко — Ярославль, где в то время было около 30 тысяч жителей, одна маленькая библиотека при магазине канцелярских принадлежностей, до 50 церквей и только одна фабрика. Не взирая на то, что это была родина основателя театра Волкова, там не было даже постоянной труппы, играли изредка любители.

Что представлял до этого времени Демидовский лицей? Убогое учебное заведение, куда обычно поступали в незначительном количестве, с малым багажом знания стремившиеся пробраться без аттестата зрелости и без всяких поверочных экзаменов. На всех 4 курсах было не более 80 чел. Никаких общественных учреждений, вроде студ. читальни, библиотеки, столовой, не было. С наплывом туда семинаристов физиономия лицея резко изменилась. Туда поступала самая „головка“ семинарии со всей Европ. и Азиатск. России. В лицее стало шумно, но признаков политической жизни еще не было. Мною вместе с тов. Пеленкиным возбужден был вопрос о создании в стенах лицея студ. читальни. Удалось его провести. Затем довольно быстро организовался кружок в 20 чел. Он был уже конспиративный, хотя цель создания его была довольно скромная—организация кассы взаимопомощи и чтение рефератов, гл. обр. по политич. экономии. К весне 1881 г. из этого кружка выделилось 5 чел.: Пеленкин, Соловьев, Крапухин, Богословский и я. Это был уже чисто революционный кружок, желавший вступить организованно в члены партии „Нар. Воли“. Весною того же года в Ярославль приехала М. Д. Носкова, сестра жены Л. Тихомирова. Познакомившись с нашим кружком, она предложила мне поехать в Москву, чтобы связаться с центром „Нар. Воли“. Она устроила мне в Москве свидание с нелегальным, который, как я узнал позднее, был Л. А. Тихомиров. Наше свидание длилось не более 20 мин. Расспросив меня о революц. работе в Ярославле, он установил со мною шифр, уговорились о явках и мы расстались. На меня это свидание по своей сухой деловитости произвело очень тяжелое впечатление. Я ожидал от него интересных сообщений о работе партии вообще и в частности о московской организации, о том, что творится за границей, каково настроение и т. д., а вместо всего этого получился только краткий протокольный сухо-официальный разговор.

В период 1882—85 гг. я не раз ездил в Москву по поручению нашего кружка, познакомился со студентами Петровской академии Нерсесовым и Палладиным, которые некоторое время снабжали меня нелегальной литературой для Ярославля, со студентами Московского университета братьями Александром и Василием Ижевскими, позднее—со студентом университета Семеном Рудневым и студентом Петровской академии Г. П. Клинг. Все они оказывали нам всякие услуги по снабжению литературой и по сношению с центром партии.

Осенью 1882 г. в Ярославском лицее были крупные студенческие беспорядки, которые явились отзвуком на беспорядки в Казанск. и Петерб. унив. Они длились несколько дней. Совет исключил 11 студентов, которые в ту же ночь были арестованы. Исключены были: А. И. Пеленкин, Крапухин, Чумаевский, Остроумов и др. Позднее все поименованные неоднократно привлекались по поли-

тическим делам, а Пеленкин пробыл 8 лет (с 1908 по 1916 г., в Шлиссельбургской крепости и только в 1917 г. по амнистии возвратился из Сибири. Кроме того, тогда же, по доносу студента Миловидова, были высланы еще несколько человек, в том числе я, Богословский, Соловьев. Таким образом, от нашего центрального кружка в то время ничего не осталось. По прошествии нескольких месяцев мне, Богословскому и Соловьеву разрешено было вновь поступить в лицей. Соловьев по каким-то своим семейным обстоятельствам совершенно устранился от революционной работы. Тогда к отстаткам прежнего кружка присоединились новые члены—Муханов, Петровский, Соколов, Чумаевский, гораздо позднее Булгаков и Бессонов,— все привлеченные затем по делу о ярославском революц. кружке.

В 1883 г. приехал нелегальный, как потом мы узнали, Алексей Никол. Бах. Он прожил у нас несколько месяцев (свои воспоминания о пребывании в Ярославле напечатал в „Былом“ за 1907 г.). Весной 84 г. я был вызван по телеграфу Бахом в Петербург для участия на конференции молодых и старых народовольцев. Предметом обсуждения и споров был вопрос, поднятый Якубовичем и его товарищами, о допустимости аграрного и фабричного террора. Старики отрицательно относились к этому методу революц. борьбы, и их мнение одержало верх. На этом совещании, насколько мне помнится, были Якубович, Флеров Н. М., Иванов С. А., Овчинников, Мануилов, Стародворский, Степурин, остальные остались для меня неизвестными. Всего было, кажется, человек 15.

В 1884/85 г. я без перерыва жил и работал в Ярославле. Характер этой работы, как и в прежние годы,—пропаганда среди студентов, семинаристов, гимназистов и гимназисток, среди учительниц народных школ и гимназий. Были связи среди военных—офицеров Нежинского полка. Затем много занимались изданием, гл. обр. на гектографе, и немного было издано литографским способом. Почти все это были перепечатки из разных революционных изданий. В Ярославль нередко приезжали нелегальные из центра. Несколько раз приезжал С. А. Иванов, осужденный по лопатинскому процессу, Захар Васильев и Роня Кранцфельд, приехавшие к нам после работы в ростовской типографии и прожившие в Ярославле несколько месяцев. Позднее приехал из Москвы тоже нелегальный, бывший студент Харьковского ветеринарного института, И. Т. Циценко, привлеченный впоследствии по делу ярославского кружка. Приезжал несколько раз Ф. Крылов, будучи нелегальным, и жил в Ярославле по несколько месяцев. В 81 году был в Ярославле проездом бежавший из Сибири Клименко, покончивший с собой в Шлиссельбургской крепости. Помимо перечисленных, приезжали и другие нелегальные, имена которых нам остались неизвестны. Все эти лица были для нас желанными гостями, привозившими нам нелегальную литературу, знакомившими нас с положением дела в партии „Нар. Воли“. Мы же всегда заботились о снабжении их деньгами, документами, паспортами, устраивали их на квартирах и т. д.

В мае 85 года я вместе с Чумаевским выехал в Москву, где жил друг детства Чумаевского, некий И. В. Беневольский. Чумаевский познакомил меня с Беневольским, и последний за чашкой чая развивал нам план конфискации казенных денег. Беневольский служил разъездным почтовым чиновником по Ряз.-Ур. ж. д. Он доказывал, что такую конфискацию легко сделать, забрав во время его дежурства из вагона все казенные деньги, не трогая частной корреспонденции и не употребляя никакого насилия над людьми, вернее—над одним сторожем. План этот был очень заманчив в виду острой нужды партии в деньгах, и мы оба его одобрили, но дальнейших переговоров с Беневольским мне не пришлось вести, и я никогда больше с ним не встречался. Впоследствии стало известно, что Беневольский со многими вел переговоры по поводу этого проекта, но не осуществил его и выдал всех тех, с кем вел переговоры по поводу конфискации почты. Закончил Беневольский свою карьеру, поступив к Зубатову (начальник московск. охранн. отдел.) в помощники.

В 85 г. из Москвы я поехал на юг в Ростов и Таганрог. В Таганроге познакомился с представителями южной организации „Нар. Воли“—Оржихом и Богоразом. В то время они были заняты подготовкой к выпуску № 11 „Нар. Воли“. Между тем, перед отъездом из Ярославля я видел одного нелегального—члена партии, который также принимал меры к выходу тоже № 11 „Н. В.“, имел уже несколько статей, часть которых читал нам, ярославцам. Таким образом, являлась возможность выхода из печати одновременно одного и того же номера „Н. В.“ с совершенно различным содержанием. Такое положение ясно говорило о том, что связь северной организации „Н. В.“ с южной была совершенно порвана. Путем переписки с С. А. Ивановым, бывшим в то время в Париже, удалось устранить возможность одновременного выхода того же самого номера с разным содержанием.

Живя на юге, я встречал многих товарищей из народовольцев в Ростове и Таганроге, при чем особо сильное впечатление произвела на меня по своему духовному облику и по преданности революционному

делу Надя Малаксианова, впоследствии жена Ак. Сигиды, осужденная на каторгу по делу Таганрогской типографии.

С конца 85 г. и до июня 86 г. я работал в качестве статистика по экономическому обследованию Елецкого у. Орл. губ., где был вместе с тов. Булгаковым арестован 15 июня 86 г. по делу яросл. револ. кружка. Почти одновременно в 12 губерниях произведены были аресты по ярославскому делу. Арестовано было 20 студентов, 3 окончивших курс лицея, 2 офицера, 2 народных учительницы, 1 шляпница, 2 семинариста, 3 гимназиста, 6 чел. служащих в разных учреждениях, 2 нелегальных—всего более 50 чел. По предписанию директора Деп. полк. Дурново дознание по этому делу сосредоточено было в московск. жанд. упр. Мне пришлось во время следствия сидеть в Елецкой тюрьме, Орловской, Московской и Петербургской. Дело тянулось почти 2 года и разрешено было в административном порядке. Наиболее суровый приговор был по отношению к Минору, Циценко и Муханову, которые высланы были в отдаленнейшие места Якутской области (в Среднеколымск)—первые два на 10 лет, а Муханов на 6 лет, но ему не пришлось ехать в Среднеколымск—он был убит в 89 г. в известной якутской трагедии, а Минор пошел на каторгу по тому же делу. П. К. Скворцов был приговорен на 5 лет в Вост. Сиб., но во время этапного пути умер. М. И. Петровский, А. С. Чумаевский, И. Е. Булгаков, С. М. Смирнов, Е. А. Кестельман и я—на 3 года в Зап. Сиб., офицеры И. И. Попов на 5 л. и Ф. И. Бек на 3 года в Зап. Сиб. Затем многие приговорены на разные сроки в ссылку в Волог., Арханг. губернии или прямо к тюремному заключению и гл. надзору без высылки. Во время следствия три студента сошли с ума. В мае 88 г. наша партия в количестве 43 человек была отправлена этапным порядком в Сибирь. В Тюмени у нас произошло столкновение с властями, за что через 5 месяцев этапного пути нас вновь арестовали и судили в тобольском губ. суде за сопротивление властям. Не взирая на наши просьбы о вызове нас на суд и о разрешении иметь своих защитников, суд и в том и в другом отказал, назначив защитником 22 подсудимых столоначальника Добросмыслова. Судили заочно. Приговорили Теселкина, как старосту, на 8 лет каторжных работ, Чумаевского и Смирнова—в ссылку на житье, всех остальных, в том числе и меня, на 6 месяцев тюремного заключения.

В июне 89 г., т.-е. ровно через три года после ареста, я прибыл на место ссылки в г. Усткаменогорск Семипалатинской обл. Здесь жили отбывшие срок ссылки Гинтовт, Костюрин, Федоров и др. Вместе со мной прибыл Емельянцев и позднее Ласхишвили. Я занимался уроками, корреспондировал в сибирские газеты. Кроме того, последний год занимался исследованием положения рабочих-киргизов на золотых промыслах в Устькаменогорском уезде. По случаю проезда наследника Николая из Японии через Омск всех нас, уже окончивших срок ссылки, по распоряжению М. В. Дел задержали на месте ссылки почти на 3 месяца. В начале 1892 г. я вернулся на родину, где прожил около 3 месяцев у брата своего, а затем отправился на место службы в г. Уфу. Путь свой в этот город из Орла я держал через Саратов, где впервые встретился с М. А. Натансоном. Последний убеждал меня остаться в Саратове, имея в виду мое участие в предстоящей революционной работе, но я был связан обязательством пробыть в Уфе хотя бы несколько месяцев. Здесь я занимал место помощника управляющего конторой К° „Надежда“, где в то время получали работу многие ссыльные. Заведывал конторой А. П. Козлов, человек просвещенный, самоучка из крестьян, в 1906 г. он прошел по списку с.-р. в члены I Государ. Думы. Кроме Козлова, здесь был еще ряд лиц, уже побывавших в тюрьме и сохранивших душу живу, но в то время отставших от революционной работы. Я почувствовал быстро тоскливость жизни в Уфе. Меня тянуло туда, где было уже заметно биение пульса революционной жизни. Спустя 5 месяцев я уехал в Орел. Здесь М. А. Натансон быстро ввел меня в круг своих ближайших друзей—Тютчева, Комарницкого, Аптекмана и др., и сразу началась наша подпольная работа. В то время в Орле жило много бывших ссыльных и поднадзорных, и шли оживленные прения. Все лица народнического толка вращались, главн. обр., вокруг Натансона и Тютчева, хотя и тут был некоторый уклон—А. В. Пешехонов, а с ним и некоторые другие расходились по некоторым пунктам со взглядами этой группы. А. В. Пешехонов был тогда принципиальным противником террора. Лидером нарождавшегося тогда марксизма был в Орле П. П. Румянцев.

В течение всего 93 г. мне приходилось раз‘езжать по разным городам для переговоров и закрепления связей с нарождавшейся партией „Народного Права“. В сентябре 93 г. был в Саратове с‘езд народоправцев, на котором присутствовало до 20 человек. Тогда был выработан манифест партии „Нар. Права“, принятый единогласно всеми членами с‘езда. В начале 94 г. была вполне оборудована тайная типография в Смоленске, в которой успели напечатать брошюру „Насущный вопрос“, составленную А. И. Богдановичем, и манифест партии. Почти все напечатанное было конфисковано в апреле месяце.

Общий первый разгром партии был произведен 21 апреля 94 г., когда почти в один день арестовано было в Петербурге, Москве, Орле, Смоленске, Твери, Новгороде свыше 50 чел., при чем тогда же была взята и тайная типография в Смоленске. Большинство арестованных по „Нар. Праву" были заключены в Петропавловскую крепость, откуда постепенно переводились в Дом Предв. Закл. Дело тянулось почти 2 года. Где причина первоначальной усиленной слежки, а затем провала—до сих пор не выяснено. Многие из привлеченных—бывшие ссыльные, гл. обр. народовольцы. Дело разрешено было в административном порядке, при чем 5 чел. приговорены были к ссылке в отдаленнейшие места Сибири—Тютчев и Манцевич на 8 лет, Натансон, я и Ромась М. А.—на 5 л., Фонякова, Александрова, Лежава, Жирякова и Яковлев—на 5 л. в Вост. Сибирь, большинство остальных привлеченных по делу было направлено в Архангельск. и Вологодск. губ. В виду моей серьезной болезни мне Якутию заменили ссылкой в г. Верхоленск Иркут. губ. В августе 96 г. я с женой приехал в этот город-деревню, где уже давно не было „государственных". Затем начали постепенно под'езжать товарищи. Временами колония доходила до 20 чел., из них почти все 100% были интеллигенты и, гл. обр., соц.-демократы. Тут, кроме нас, были супруги Александровы (Ольминский), Ляховский, Антокольский О. С., Лежава А. М., Александрова Л. С., Федосеев Н. Е. и др.

Закончив этот срок ссылки, я в 1901 г. прибыл в Полтаву, где жительство мне не было воспрещено. Судьба удачно толкнула меня в такой пункт, где в то время находилось не менее 100 ч. б. ссыльных и поднадзорных. Конечно, это влекло за собой усиленную слежку. В Полтаву были присланы по распоряжению Д. полиции филеры летучего отряда, которые в течение 15 мес. ежедневно заносили в свои дневники—кто куда пошел, с кем виделся и т. д. Особым вниманием филеров при этой слежке пользовались Флеров, Фролов, Мартов-Цедербаум и я с женой. С деятельностью тайной полиции в Полтаве в этот период я познакомился в настоящее время, просматривая дела в истор.-революц. архиве в Москве. Не взирая на такую усердную слежку,мы все же частенько собирались большой компанией. Шли оживленные споры у с.-д. искровцев с членами вновь народившейся партии с.-р. Чаще эти собрания бывали у нас на квартире, у Фролова, Горбачевской.

Период наблюдений закончился массовыми обысками и арестами. В одну ночь произведено было до 70 обысков и арестовано свыше 40 ч. У нас произвели самый тщательный обыск и арестовали жену. Но недели через 2—3 все были освобождены без всяких последствий,—обыски не дали жандармам хорошей жатвы. В это время мы с женой близко познакомились с В. Г. Короленко и его семьей. Интересно отметить тот нелепый факт, что в деле о наблюдении филеров приложен „список лиц, принадлежащих к преступной организации соц.-дем. партии". В этот список вошло до 125 чел., при чем туда включены все народники, с.-р. и даже В. Г. Короленко. Такова была осведомленность жанд. управлений.

В то время в Полтаву не один раз заглядывала к нам бабушка Брешковская, здесь жили будущие члены боевой организации—известные Дора Брильянт и А. Д Покотилов, с которыми у нас были очень близкие отношения. Наше участие в делах партии с.-р. тогда не было оформлено, но мы оба считали программу ее для нас приемлемой и всячески старались содействовать ее росту.

В виду неутверждения меня губернатором на земской службе, я в 1902 г. выехал из Полтавы в Тифлис, где прожил около года. Местное национальное революц. движение, грузинское и армянское, не могло захватить меня, нравы, обычаи, язык—все это было мне чуждо. В Тифлисе я познакомился со стариком А. М. Калюжным, с народовольцами А. М. Аргутинским-Долгоруким и с А. К. Александровским. Временно жили в Тифлисе М. А. Натансон, с.-д. Постоловский. Но, повторяю, этот период жизни в Тифлисе—около года—прошел у меня почти при полной оторванности от революционной работы. В 1903 г. я получил место инспектора Трансп. и Страх. О-ва, К° „Надежда". В моем ведении были конторы О-ва в 9 южных губерниях. Постоянным местом жительства была Одесса. Такая раз'ездная служба давала мне возможность выполнять самые разнообразные партийные поручения.

В Одессе в то время жил член Ц. К. доктор А. И. Потапов и другие видные члены партии с.-р.—Геккер, Прибылев, Фрейфельд, Тютчев, Вознесенский, Сухомлин. Партия с.-р. в те годы проявляла большой рост и крепла.

В июне 1904 г. я в первый раз встретился с Азефом. Он пришел к нам на квартиру вместе с А. И. Потаповым. Беседа наша носила чисто деловой характер. Он убеждал меня бросить службу и перейти на нелегальное положение. Я доказывал ему выгодность и удобства моего служебного положения и все неудобства работы в качестве нелегального. Мы не сошлись, каждый остался при своем мнении. Впечатление от этого визита осталось у меня самое неблагоприятное. Таких политиков я никогда раньше не встречал. Необычайна была вся его фигура, и поражало своей непривлекательностью его лицо. Все же

относился я тогда к нему, несмотря на неблагоприятное впечатление, с абсолютным доверием. Результат своего свидания со мною он не замедлил сообщить в деп. полиц. Это видно из его донесения от 19/VI 1904 г. (см. „Былое“, № 1, 1917 г.), в котором он, между пр., сообщает о моей принадлежности к Ц. К. партии с.-р.

Летом 1905 г. я отправился на ревизию крымских контор К⁰ и вместе с тем знакомился с положением дела в партийных комитетах. В Ялте мы познакомились с Е. П. Пешковой и Лазаркевичем, которые в то время принимали живое участие в делах ялтинского комитета партии с.-р. Приходилось совместно обсуждать в заседаниях комитета все текущие, в то время очень серьезные, вопросы. Там же в это время жил Татаров, известный провокатор, впоследствии убитый по распоряжению Ц. К. партии. С ним мне пришлось вести самые конспиративные разговоры по поручению Н. С. Тютчева о составе Ц. К. партии, куда должен был войти и Татаров. Впечатление от этого свидания осталось у меня очень тяжелое—не внушал он доверия. Кроме того, он так запутался в конспирации и сохранении своей особы от всяких подозрений со стороны полиции, что некоторые его выходки были просто смешны.

Мое ознакомление с делами во всех южных комитетах партии дало мне большое удовлетворение. Работа везде хорошо налаживалась, много вкладывалось живости, энергии и предприимчивости.

Во время потемкинских дней в Одессе в 1905 г. я не принимал ближайшего участия в переговорах с матросами восставшего броненосца, но участвовал в партийных совещаниях и был на том собрании представителей всех революционных партий, включая сюда и освобожденцев, на котором обсуждался вопрос, как общими силами реагировать на потемкинское восстание. Но во время обсуждения этого вопроса с броненосца последовали один за другим грозные выстрелы из пушек, что означало начало бомбардировки Одессы. Собрание было прервано и потом не возобновлялось, потому что „Потемкин“ вскоре покинул Одессу. В Одессе при конторе К⁰ „Надежда“ было специально инспекторское отделение, куда мы, инспектора—я и Н. Ф. Попов, приходили заниматься только во время пребывания своего в Одессе. Там у нас был небольшой штат постоянных служащих в составе 3-х иногда 4-х человек, исключительно бывших ссыльных. Там работали В. И. Сухомлин, А. А. Спандони, Розенблюм, все признававшие с.-р. программу и участвовавшие в работе партии. Наше помещение для этой цели представляло не малое удобство.

„Потемкин“ уехал в Румынию, забастовки в Одессе прекратились, жизнь как будто вошла в обычную для того времени норму. Я по делам службы вместе с женою уехал в Бессарабию. Но тут начался разгул реакционных сил,—бывший в то время ген.-губ. Карангозов начал пачками высылать „неблагонадежных“ из Одессы на север России. Через короткое время друзья известили нас, что мы оба также предназначены к высылке в Вологодскую губ., и что нас уже всюду ищут. Жена поехала в Одессу, ликвидировала квартиру и направилась по проходному свидетельству в Волог. губ., но от Москвы повернула на Нижний и решила там самовольно остаться, а я бродил по разным городам. Это было в сентябре, когда революционная волна поднималась все выше и выше, и в Петербурге я уже присутствовал на митингах, где совершенно открыто выступали революционеры всех направлений. В Технологическом институте на стенах внутри здания были уже тогда развешены плакаты с указанием в какой аудитории заседают фракции с.-р., с.-д. и анархистов. В начале октября я был на конференции с.-р. в Москве, на которой были: Прибылев, Фейт, Леонович, Зензинов, Слетов и др. товарищи. С последним поездом выехал в Воронеж. Всеобщая ж.-д. забастовка началась на другой день. По приезде в Воронеж я принял непосредственное участие в делах местного комитета партии с.-р., в который входили Прозоровский, Виткович и др. На митингах в Воронеже в то время выступали представители революц. организаций, а также А. И. Шингарев и присяжный поверенный Корякин, пользовавшиеся большим успехом. Здесь я прочел октябрьский манифест, а на следующий день был свидетелем черносотенных манифестаций и страшного еврейского погрома. Из Воронежа я должен был выехать прямо в Харьков, куда уже приехала из Нижнего моя жена, но прямого ж.-д. сообщения еще не было, пришлось долго ехать обходным путем со всякими приключениями через Киев, Полтаву и только в ноябре приехать в Харьков. Здесь я сейчас же принял участие в работе харьковского комитета, в состав которого входили тогда 2 брата Коршуны, Н. Я. Быховский, Пустовойтова и др. В декабре месяце получил извещение от Ц. К. партии с.-р. о вызове меня на партийный с'езд в Финляндию. 24 дек. мы с женой взяли билеты до Петербурга, но после 2 звонка в наш вагон вошел некто в штатском вместе с жандармом и, указывая последнему на нас, предложил арестовать нас обоих. Через час я был уже в арестантских ротах на Холодной Горе, а жена—в городской тюрьме. Мне пришлось пробыть почти 6 месяцев в общении более, чем с 300 товарищей и одно время выполнять роль старосты. Жандармы пред'-

явили мне и жене моей обвинение в принадлежности к партии с.-р., присоединив мне еще обвинение в участии в центр. комит. партии. Оба мы отказались от всяких показаний. В конце апреля нам был об'явлен приговор—я и жена подлежали высылке на 3 года в Нарымский край. Отношение товарищей к ссылке в далекие места Сибири было вполне благодушное, все были уверены, что никто туда не попадет, что с открытием Думы последует амнистия. Ехали налегке — ни теплой одежды, ни книг не брали. Ехали бодро, весело, на каждой станции занимались пропагандой из-за решетчатых окон. Начальство не преследовало за это, старалось как бы не замечать. Не раз нам в пути говорили: „Сегодня мы, а завтра вы, теперь всего можно ожидать". В таком настроении мы ехали до Томска. Здесь узнали из газет об открытии Думы, и надежда на амнистию потускнела. Ждали почему-то 15 мая, но и в этот день ничего не последовало. И вот 16-го мая вся наша партия была погружена на пароход, который увозил нас в Нарымский край. Дорогой в течение 2 дней валил хлопьями снег. Было сумрачно, мокро и очень прохладно. На 4 день мы были в Нарыме. В этом заштатном городке было не более 100 небольших почти сплошь крестьянских домиков, а ссыльных постепенно набралось более 100 чел. Образовался жилищный кризис. Жили кое-как, артелями, нередко по 5—6 чел. в комнате. В сентябре месяце в виду моей болезни, по ходатайству родственников, нам разрешено было М. В. Д. выехать на время ссылки за границу. С последним пароходом в конце сентября 1906 г. мы выехали из Нарыма прямо в Париж.

Отправляясь за границу, мы строили планы прежде всего поправить мое в конец расшатанное здоровье, а затем заняться изучением местной жизни. За границу мы попали в первый раз, все для нас было ново, все привлекало наше внимание. Но приехав в Париж, мы встретили много старых товарищей и быстро вошли в общую колею эмигрантской жизни. Через неделю мы уже были членами местной с.-р. группы. В декабре я был избран от этой группы делегатом на конференцию с.-р. заграничных организаций, попал в качестве тов. председателя в президиум, а при окончании конференции был избран делегатом на партийный с'езд в Финляндию, куда должен был ехать с И. А. Рубанович, уполномоченным Ц. К. партии за границей. Но в это время состояние моего здоровья было настолько неудовлетворительно, что мне скоро пришлось покинуть Париж и лечь на несколько месяцев в санаторию в Берне. По выходе из санатория жил в Лозанне, где вошел в местную группу с.-р. Был в Женеве, где вновь встретился с А. Н. Бахом и познакомился с Шишко. В 1908 г. мы снова вернулись в Париж. Я вошел в состав заграничной делегации партии с.-р., которая в сущности в то время представляла из себя Ц. К. партии. Туда входили Чернов, Натансон, В. Фигнер, Авксентьев, Ракитников и др. Изредка на заседаниях бывал Азеф. В конце 1908 г. принимал участие в совещании членов Ц. К. и всех видных работников партии по поводу вопроса об Азефе. Это совещание было накануне бегства Азефа из Парижа. В марте 1909 г. окончился срок нашей ссылки, и мы выехали на время в Брюссель, затем около недели прожили в Берлине и в 20 числах апреля через Александрово вернулись в Россию. С этого момента, как теперь видно из материалов, хранящихся в Ист.-рев. архиве, по предписанию деп. полиции за нами было учреждено „неотступное наблюдение". Мы успели побывать за $1^1/_2$ месяца в Москве, Нижнем, Петербурге, и везде нас все время откровенно сопровождали филеры. В половине июня я приехал в Орел к брату повидаться, и здесь меня арестовали. Продержав $2^1/_2$ месяца в крайне тяжелых условиях режима Орловской тюрьмы, ни разу не допросив, меня освободили без всяких последствий, но фактически продолжали то же „неотступное наблюдение". В это время я получил место инспектора в Р. Тр. и Стр. о-ве. В моем ведении были все конторы, начиная с Московской и южнее в 10 губерниях. Раз'езжая по делам службы по разным городам в сопровождении двух филеров, я в каждом городе был передаваем новым филерам под росписку, как это теперь видно из архивных материалов. Это совместное путешествие продолжалось около года. Позднее, включительно до Февральской революции, о моем приезде и выезде из города в город давались только телеграммы каждой местной охранкой или полицией, при чем в 17 году было предложено моск. охр. отд. усилить за мной надзор. Февральская революция прервала это почти 40-летнее наблюдение за мной в тюрьме, ссылке и на воле. Такое преследование меня со стороны полиции, особенно в первое время по возвращении из-за границы, не давало мне возможности вплотную подойти в этот период, т.-е. с 1910 г., к партийной работе соц.-рев., но связь моя с членами Ц. К. не прерывалась, и я, пользуясь своей раз'ездной службой, выполнял всякого рода поручения и принимал участие в разных видах партийной работы.

С момента Февральской революции я всецело отдался общественной работе. Я принял самое близкое и активное участие в организации в Москве районных дум. С образованием центр. Совета районных дум я был избран сначала тов. председа-

теля, а затем председателем Совета, в каковом звании состоял до Октябрьского переворота. Во время выборов в городскую думу в 17 г. прошел в гласные думы по списку с.-р. и затем был избран членом моск. гор. управы. После октябрьского переворота служил исключительно в кооперативных организациях. При существовании в Москве крупнейшего кооператива о-ва потребителей „Кооперация" был членом правления этого о-ва. Позднее служил в Губсоюзе, в Центросоюзе и Всеколесе. В июне 1925 г. оставил службу по болезни. С ноября 1925 г. занимаюсь в Историко-революц. архиве в Москве, имея в виду, если позволит здоровье, приступить к своей мемуарной работе. С 1922 г. состою членом Всесоюзного о-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев.

Головина (урожд. Юргенсон), Надежда Александровна. *)

Я родилась в 1855 г., в ту эпоху, когда крепостнический век изжил себя, когда российское самодержавие, считавшее себя непобедимым, потерпело жестокое поражение под Севастополем. Наступала эпоха так наз. „великих реформ" и вместе с тем переход от крепостнического натурального хозяйства к наемному труду и к развитию, несколько запоздалому, капитализма в России. Громадный умственный сдвиг был результатом этих процессов; спящая Россия всколыхнулась; общественные слои, отодвинутые ранее от всякой умственной и общественной жизни, зашевелились и стали выделять из себя талантливых писателей, критиков, экономистов и ученых. На общественную арену вышел разночинец.

Все эти волны взбудораженной жизни не доходили до своеобразного городка, где я родилась. Этот городок был Царское Село, всего в 25 верстах от Петербурга; это тихое, поэтическое местечко с громадным парком и старинными дворцами целиком питалось гнилыми соками придворной жизни; целая улица, так наз. Магазейная, была заселена придворными лакеями, истопниками и т. п., остальное население составляли чиновники, врачи, купечество, но все это было так или иначе связано с дворцовой жизнью. Все это было проникнуто бесконечным раболепством и преклонением пред двором и знатью; самые вопиющие факты не могли разрушить обаяния царской власти.

Так бы и погибнуть в этом стоячем болоте, если б моим отцом был заурядный человек.

А. П. Юргенсон принадлежал к породе т. н. „лишних людей", хорошо освещенных нашей литературой. Людям с умом и развитием не было места в дореформенной России; они или шли за границу умирать на чужих баррикадах, как Рудин, или спивались с кругу в своем родном отечестве. Так было и с моим отцом. Неокончивший курса по недостатку средств студент, воспитанный на Белинском и на литературе сороковых годов, друг Асенковой и поклонник ее таланта, он сам мечтает о сцене. Но почему-то делается учителем уездного училища г. Порхова Петербургской губ.; оттуда его увольняют за „слишком товарищеское" отношение к ученикам старшего класса, и вот из-за куска хлеба приходится заделаться мелким чиновником дворцового правления. Слишком не по плечу ему была эта жизнь—он стал пить и умер от туберкулеза на 42 году жизни.

Тем не менее, он успел двинуть мое развитие; пяти лет незаметно выучил меня читать по большим заглавным буквам газет; будучи ярым врагом крепостного права, он дал мне читать повести и рассказы Марко-Вовчок, проникнутые ненавистью к этому строю; это была первая прочтенная мною книга. За этой книгой я стала читать все, что находила на столе у своего отца; это были разрозненные номера „Отечественных Записок", „Бедные люди" Достоевского, его же „Белые ночи", „Три портрета" Тургенева и т. д. Когда было 8 лет, мне подарили вышедший тогда в свет I том соч. Некрасова, который я знала почти весь наизусть. С этого времени страсть к чтению овладела мною уже навсегда; менялся только характер поглощаемых книг.

Если б не ранняя смерть отца, мое развитие пошло бы более нормально; а тут после его смерти в мои руки попала религиозная литература — жития святых; явилось сожаление, что уже прекратились гонения на христиан, и что нельзя уже пострадать за „правду"; и в голову не приходило, что через десять лет придется пострадать за „правду" иного свойства.

Увлечение религией продолжалось недолго; когда я была 13 лет, в руки мне попалось сочинение Циммермана „Мир до сотворения человека". От всего религиозного настроения не осталось камня на камне, и навсегда; только уже позже, в 17 лет, — когда пришлось ознакомиться с книгой Льюис и Милль „Основания позитивной философии Огюста Конта",—удалось подвести философский фундамент под свое антирелигиозное отношение к жизни; около этого же времени в руки попали: Эркман-Шатриан, „История одного крестьянина", соч. Писарева, статья которого „Наша университетская наука" произвела потрясающее впечатление: „Если „университетская" наука

*) Автобиография написана в декабре 1925 г. в Москве.

такова, то какова же „гимназическая“. И действительно гимназия, которую я кончила 15 лет, ничего не дала мне, кроме самых элементарных знаний.

Кончила я гимназию в 1871 г. За это время прозвучал выстрел Каракозова, прошел процесс нечаевцев, но до нашей гимназии не доходили никакие отзвуки. Немудрено, что, когда в 1872 г. мне попалась „Полит. экономия“ Д. С. Милля, то я ничего в ней не поняла; такова была степень развития, несмотря на полученную золотую медаль.

В это же время мне пришлось столкнуться и с нелегальной литературой в таком месте, где этого всего менее можно было ожидать: осенью 1872 г. я поступила репетиторшей в богатую буржуазную семью; в ней были студенты Петербург. унив., которые и привозили нелегальную литературу. В это время как раз вышла программа журнала „Вперед“, издаваемого П. Лавровым. В этой же семье мне впервые пришлось ознакомиться с жизнью богатой буржуазии и получить к ней полное отвращение. Выдержала я эту жизнь три-четыре месяца — не более.

Все это, взятое вместе, так толкнуло мысль, что с начала 1873 г. я бросаю консерваторию, где хорошо шли дела, и начинаю готовиться к экзамену в медико-хирургическую академию, которая была открыта для женщин с 1872 г., и откуда выпускались женщины-врачи под именем „ученых акушерок“; сразу дать звание врача женщине правительство не решалось. С этого времени сознательно работаю над собой, над выработкой миросозерцания; в сентябре 1873 г. держу экзамен и поступаю в медико-хирургическую академию. В академию принимают не моложе 21 года; мне нет полных 18, но делают исключение, и вот я — студентка. Начинается студенческая жизнь в 6-рублевой комнате за перегородкой от кухни, с обедами у „Еленки“ (благотворительная столовая, устроенная для студентов великой кн. Еленой Павловной) и т. д.

В эту памятную зиму 1873 — 74 г. учащаяся молодежь Петербурга жила самой интенсивной умственной жизнью: Парижская Коммуна 1871 г., процесс Нечаева, социалистические идеи, заносимые с Запада, — все это волновало и заставляло задумываться русскую молодежь. Стали образовываться многочисленные кружки самообразования, быстро принимавшие политическую окраску. Кружки эти организовывались не только в столицах, но и в провинциальных городах, не имевших высших учебных заведений. Появившиеся вначале только в Петербурге толстые книжки журнала „Вперед“ и „Государственность и анархия“ М. Бакунина прибавили еще более огня в и без того накаленную атмосферу. Сходка следовала за сходкой. Полиция как-то еще совсем не умела следить за этим или „выжидала действий“. Молодежь резко разделилась на два лагеря: лавристов и бакунистов. Как те, так и другие стояли за революционную пропаганду в народе, но лавровцы считали необходимой научную подготовку и желали кончать учебные заведения, бакунисты же говорили, что достаточно и тех знаний, которые уже имеем за счет народа, и что надо, немедля, изучать какое-нибудь ремесло и итти в народ.

Поступив в академию уже с революционным настроением, я старалась сгруппировать около себя единомыслящих студенток и стала агитировать за устройство студенческой кассы. Образовался кружок женщин, в который вошли, главн. обр., орловские землячки, подготовленные пропагандой известного Зайчневского; кроме того, вошли две сестры Личкус—Роза и Фанни, впоследствии жена Кравчинского. Кружок этот вскоре я потеряла из виду, так как оставила академию и вошла в кружок бакунистов-анархистов. В этот кружок входили преимущественно студенты-медики: Городецкий, Курдюмов, Никитин, Бух, крестьянин-самоучка Комов, три или четыре женщины. Жили коммуной на Выборгской стороне в каком-то деревянном флигельке, упростив свою жизнь до последней степени. Ранней весной 1874 г., бросив академию, я ушла работать на фабрику: сначала поступила в „Товарищество тюлевой мануфактуры“ на Охте, а потом на прядильную. Как на той, так и на другой фабрике попадала исключительно в женское общество. Как по условиям работы, так и по составу товарок по работе никакой политической работы вести не представлялось возможности, и потому я воспользовалась первой возможностью уехать для пропаганды в деревню. В это время Войнаральский в селе Степановке Городищенского у. Пензен. губ. открыл лавку со всяким крестьянским товаром и посадил там торговать Евгению Константиновну Судзиловскую, сестру известного эмигранта д-ра Росселя. Туда-то меня и направили в последних числах апреля.

В Москве, имея рекомендации к студенту Блинову, я остановилась на квартире каких-то портних в Колосовом пер., где и совершилось мое превращение в крестьянское обличье. В Пензе на кварт. Цибишевой, знакомой Войнаральского, я встретилась и познакомилась с Клеопатрой Блавдзевич и Дмитрием Рогачевым. В Пензу привезла большой ящик литературы для местной молодежи. В состав ее входили ценные по тому времени книги, как-то: соч. Лассаля, Флеровского и друг. Все это вскоре было сожжено Жилинскими из боязни обыска. Степановка отстояла от Пензы в 20 верстах; немедленно же я отправилась туда пешком Условия для пропаганды там были лучше

но я разошлась с Судзиловской во взглядах на методы; я стояла за более решительный и быстрый подход, Судзиловская же была старше, осторожнее и благоразумнее.

В это время в Саратове провалилась сапожная мастерская Пельконена; нужно было поехать в Самару, предупредить Войнаральского; мне и предложили это сделать. Я с радостью взялась за это, так как в Самаре был почти весь мой кружок, и я рассчитывала быстро устроиться на работу. Так и случилось: Войнаральского я не застала в Самаре, а через крестьянина Бодяжина быстро устроилась на работу в село Малые Толкаи среди молокан. Здесь в кружке самарцев оказались новые лица: Чернышев Павел, умерший в тюрьме в 1876 г., похороны которого были первой демонстрацией в Петербурге, и по поводу смерти которого было написано стихотворение, положенное на музыку и так любимое В. И. Лениным: „Замучен тяжелой неволей", и Егор Лазарев, впоследствии известный эмигрант и правый с.-р.

Дело пропаганды среди молокан шло так успешно, что чрез месяц, будь солидная организация и оружие, они готовы были „хоть сейчас" выступить, но, увы, ни того, ни другого не было, и мне оставалось только уехать в Самару. Здесь я застала Войнаральского.

Мне нужен был паспорт, и Войнаральский предложил мне поехать за ним в г. Ставрополь к его знакомой учительнице Ольге Сахаровой, а также заняться пропагандой в Ставропольск. у. Сахарова охотно дала свой паспорт (за что и поплатилась впоследствии арестом) и повезла меня и Войнаральского к своему знакомому учителю Канаеву. Канаев не очень-то охотно шел на пропаганду, и когда Войнаральский собрал крестьян в школу и стал говорить о тяжести их жизни и средствах изменить эту жизнь, Канаев уехал с Сахаровой кататься на лодке. Я же направилась в соседнюю деревню Куликовку и там повела те же речи, что и Войнаральский. В результате, когда я вернулась в школу, то и меня и Войнаральского арестовали; но умышленно или случайно под утро стражи около школы не оказалось, и мы благополучно ушли и прибыли в Самару. Но тут нас ждал новый сюрприз: на квартире портних, куда мы явились, был арестован член кружка самарцев Филадельфов, и была установлена слежка; Войнаральского, очевидно, поджидали, и как только мы появились на квартире, он был арестован, а вслед за ним и я. У меня к этому времени уже сложился довольно скептический взгляд на такой способ революционной деятельности, и поэтому арест не особенно меня огорчил. Что и как делать дальше, у меня еще не оформилось, и поэтому арест казался самым лучшим выходом из данного положения.

Т. обр., я очутилась в Самарском остроге, пока в общей женской камере с уголовными; очевидно, администрация не подготовилась к таким многочисленным арестам, да еще женщин. Меня провезли через Саратов, Тамбов в Москву, где продержали $1/2$ года, а затем в Петербург, где продержали три года.

Стоит остановиться на эпизоде моего знакомства с знаменитым впоследствии Судейкиным. Когда два жандарма привезли меня в Саратов, то вместо того, чтобы ввергнуть в узилище, меня посадили в гостиной жандармского полковника Гусева, подали кофе, и дочь полк. Гусева, молодая женщина, вышла в гостиную занимать разговором, как будто бы я приехала к ней с визитом; как ни молода я была и как ни мало знала жизнь, все же это вызвало во мне большое недоумение; когда же вслед за дочерью Гусева вошел муж ее, молодой блестящий офицер Судейкин, и в разговор стал вставлять неожиданно вопросы, то я поняла, что значит вся эта жандармская любезность и, конечно, насторожилась. В Москве, против Охотного ряда, во дворе старого дома помещалась гостиница „Лондон"; в ней было снято помещение для следственной комиссии, возглавляемой прокурором Жихаревым и жандармским полковником Слезкиным. Принимая во внимание, что все движение 1873—74 гг. было стихийно, не организованно, не было выработано никаких правил поведения на случай возможности ареста, всякий держал себя на допросах, как умел и как мог, и не мудрено, что 16-летние юноши, как, напр., Рабинович, под ловким давлением жандармов не выдерживали и начинали давать откровенные показания, а потом испытывали жестокие мучения совести. Я вначале совсем отказалась давать какие-либо показания и, кажется, с полгода держалась этой тактики; затем, когда меня вновь вызвали на допрос, и когда я увидела, что многое известно из показаний товарищей, я попыталась дать показания путем подтверждения вполне установленных фактов; но когда комиссия стала ловить меня, я вновь отказалась на этот раз уже в резкой форме; комиссия обозлилась и оставила меня в покое до суда. На поруки, конечно, не выпустили.

Тюремное заключение дало бы свой плюс, если б продолжалось не так долго и не подорвало на некоторое время здоровый от природы организм. Оно дало возможность пересмотреть на досуге свой умственный багаж и значительно пополнить свои знания. Нашлась возможность прочесть I том „Капитала" Маркса, „Всемирную историю" Шлоссера, „Историю философии" Куно Фишера и т. д. На воле, конечно, не нашлось бы времени читать такие капитальные вещи. В Москве первое время пришлось совсем

сидеть без книг; это было очень тяжело, но потом у меня нашелся двоюродный брат—либерал, сам пострадавший в студенческих беспорядках 1861 г.; он снабдил меня небольшой библиотечкой в 15 книг, которая и спасла меня от раз'едающей душу скуки тюремного заключения; библиотечка эта так и осталась у жандармов; брату ее не возвратили.

Время шло, и, наконец, к концу (1877 г.) заключения вручили обвинительные акты. Это были толстые объемистые тетради в пол-листа. Я сидела в это время в Петропавловской крепости в Трубецком бастионе; надо мною сначала сидел Сидорацкий, а потом Брешковская, сбоку сидела Блавдзевич. В один прекрасный день меня пригласили знакомиться с делом, ввели в тот зал со сводами, где обыкновенно давали свиданья. К великой радости я увидела здесь Супинскую, Мышкина, Ковалика, Войнаральского. Они сидели за большим общим столом и казались погруженными в огромные папки с делами. На этих сеансах присутствовал молодой сенатский секретарь, но он, конечно, не мог сдержать общей радости свиданья. Шутки и остроты так и сыпались во время этих чтений; все как бы ожили душой. Это продолжалось недолго. Меня увезли в Дом предвар. закл., так как приближалось время суда. Здесь я впервые познакомилась с Анной Васильевной Якимовой, так наз. „Баской", впоследствии примкнувшей к народовольцам. Это была тогда совсем еще юная нетронутая жизнью, веселая, жизнерадостная девушка; она выбежала навстречу мне, а вслед за ней и Брешковская.

Оказалось, что по окончании следствия заключенных стали запирать только на ночь, так что они могли вместе читать, работать и т. п.

Вскоре я заболела острым малокровием, и меня перевели в большую больничную камеру, где уже сидела Ермолаева, наборщица типографии Мышкина. Здесь я просидела вплоть до своего освобождения в конце января 1878 г.

Суд состоялся 18 октября 1877 г. Заключенных свели в подземный ход, соединявший Дом пр. закл. на Шпалерной ул. с зданием окружного суда на Литейной, выстроили гуськом вперемежку с солдатами с ружьями, скомандовали зарядить ружья и стрелять при попытке бежать, и шествие тронулось на суд. Судило особое присутствие правит. сената под председательством Петерса.

По правую руку от суда помещались женщины, по левую—те товарищи, против которых прокурором Желиховским были выдвинуты наиболее тяжелые обвинения. Там были: Муравский, Мышкин, Ковалик, Войнаральский и другие. Место это прозвали „Голгофой"; перед ними сидели защитники; остальная масса подсудимых заполняла зал. Скоро все это перемешалось; после долгой разлуки встретились друзья и товарищи; хотелось обменяться мыслями; поднялся невообразимый гул; чтения обвинительного акта никто не слушал; суд, испугавшись этой массы людей, не чувствующих к нему ни малейшего уважения, совершил подлог: составил задним числом постановление о разделении подсудимых на группы и о слушании дела по группам. Доказательством подлога было то, что подсудимый Аркадий Головин был на воле и явился в суд позже того числа, которым помечено было постановление суда, а между тем его имя вошло в это постановление.

Подсудимые запротестовали; запротестовали и защитники; не для того люди сидели по 3—4 года и, по словам обвинения, были членами единой организации, чтоб судиться по группам, без выявления связи между этими группами. Началась обструкция, и подсудимых стали выводить между двумя рядами солдат с обнаженными шашками. Тогда подсудимые решили отказаться от всякого участия в суде. Дело происходило так: когда в камеру за подсудимым являлись вооруженные солдаты, то подсудимый заявлял, что он идет в суд, только подчиняясь насилию; затем в суде, поднявшись на „Голгофу", он заявлял о своем отказе от участия в суде с той или иной мотивировкой. Мотивировка была двоякого рода: одни из подсудимых отказывались принципиально, не признавая правительственного суда; другие указывали на нарушение судом соответствующей статьи закона, не допускающей составления документа задним числом. Так или иначе, но в результате на суде 193-х сидело от 13 до 22 подсудимых—точно установить цифру мне не удалось. Это был скандал, неслыханный в истории суда; суд происходил без обвиняемых; гласность же этого суда олицетворялась несколькими женами околоточных надзирателей и родственниками лиц, не пожелавших участвовать в протесте.

Мышкин буквально проделал картину сопротивления насилию, ухватившись за железные борта кровати. Солдаты его оторвали и втащили на руках в зал суда. Перед судом он предстал в совершенно растерзанном виде и тут-то он и произнес свою знаменитую, конечно известную читателям, речь; в конце речи ему бросились зажимать рот; чтобы дать ему возможность окончить, Рабинович и еще кто-то стали бороться со стражей. Председатель Петерс так растерялся, что забыл закрыть заседание суда. За все происшедшее он был смещен и заменен Ренненкампфом, который и довел суд до конца.

В обвинительной речи прокурор Желиховский заявил, что главных виновников не

более десяти, а остальные подсудимые составляют только „фон“ для их преступной деятельности.

„Фон“ этот, однако, продержали до 4 лет одиночного заключения, многие из „фона“ умерли, многие сошли с ума, многие на всю жизнь приобрели неврастению...

После всех протестов и скандалов на суде, приговор неожиданно поразил всех своею мягкостью: 13 *) человек были приговорены к каторжным работам от 4 до 10 лет, при чем особое присутствие ходатайствовало перед царем о замене им каторги ссылкой на поселение (Мышкин, Войнаральский, С. Ковалик, Муравский, Рогачев, Квятковский, Л. Шишко, Чарушин, Синегуб, Брешковская, Союзов, Добровольский и Сажин) остальные были приговорены к ссылке на поселение и к другим, более легким наказаниям, при чем предварит. заключение вменялось им в наказание; многие были оправданы.

Я участвовала в протесте и, несмотря на свое несовершеннолетие, была приговорена к ссылке на поселение в места „не столь отдаленные“, при чем и мне предварительное заключение было вменено в наказание. Выпускать заключенных начали еще до окончания суда; выпускали небольшими партиями; сажали в карету, везли зачем-то в III отделение, а затем развозили по домам.

24 января 1878 г. грянул выстрел Засулич в Трепова, и стало ясно, что ходатайство суда не будет уважено, и 10 товарищей уйдут на каторгу; так и случилось. Главными советчиками царя в этом направлении были министр юстиции Пален и шеф жандармов Мезенцов; последний и поплатился за это.

Выйдя из тюрьмы, я поселилась сначала у своей матери. Стало приходить много товарищей по процессу и знакомых; приходили Кибальчич, Хохлов, Фишер, Головин, Петропавловский (Каронин) и другие. Квартирка была небольшая, из одной светлой комнаты и другой темной; мать беспокоили частые посещения, и, кроме того, она боялась, что дочь ее снова втянется в революционную борьбу. Между тем, в это время Кибальчич составил совершенно фантастический план похищения Войнаральского, Ковалика и, кажется, Мышкина из Петропавловской крепости, куда их увезли после суда. Предполагалось подъехать на лодке к стенам крепости, чтобы увезти их. Я должна была передать пилки в крепость, заделав их в переплет книг, что мною благополучно и было исполнено. Пилки, конечно, были возвращены, так как кто же мог

*) Из 13 Добровольский скрылся за границу, когда приговор был утвержден. Он был на поруках за 15 тыс., которые дал Бардовский, и скрылся с его согласия.

В. Фигнер.

решиться на такую безумную попытку; не было еще случая побега из Петропавловки.

Чтобы получить свободу действий, я переехала в одну комнату с Софьей Александровной Лешерн - фон - Герцфельд. На этой квартире бывали: Кравчинский, Ольга Натансон, Коленкина, юнкер Богородский, сын смотрителя Трубецкого бастиона, и другие. Это уже были новые лица. Ориентироваться во вновь создавшейся политической конъюнктуре в это время я совершенно не могла, как по своей оторванности от жизни, так и по необычайной конспиративности, возникшей к этому времени в революционных кругах. Тем не менее, когда мне было предложено Ольгой Натансон отправиться под Харьков для устройства побега Ковалику, Войнаральскому и другим, то я выразила согласие; потом эта поездка была отменена без всякой мотивировки, и я осталась не у дел. Я поехала в Лигово поправить здоровье; там жили Луцкие, Головины; приезжали бежавшие из ссылки Павел Орлов, Гольденберг. Приезжал Каблиц и др. Никакого оформления новых путей революционной работы не намечалось *).

Стали набирать служащих на вновь выстроенную Уральскую горнозаводскую железную дорогу, и я уехала в Пермь.

Через несколько дней в Лигово наехали жандармы, и я должна была быть выслана административным порядком в г. Никольск Вологодской губ. Впрочем, это узналось впоследствии от Фишера, который тоже был выслан в Никольск и в списках назначенных туда ссыльных видел Юргенсон.

Приехав в Пермь, я поступила на службу в управление горнозаводской уральской дороги. Управляющим дорогой был инженер Островский, а правителем его канцелярии был Александр Капитонович Маликов, так прекрасно описанный Короленко в его „Записках современника“. Это был тот Маликов, который, вместе с Н. В. Чайковским, стал во главе отколовшихся от революционного движения так назыв. „богочеловеков“. Учение это было прообразом будущего толстовства, да, вероятно, и мыслям Л. Н. Толстого был дан толчок этим движением, так как „богочеловеки“ после неудачного опыта в Америке с своей „коммуной“ вернулись в Россию и жили некоторое время в имении Толстого, где был учителем их единомышленник—Алексеев. Женат был Маликов на моей однокурснице Клавдии Пругавиной, сестре известного исследователя русского раскола. Немудрено, что чуть не вся канцелярия

*) Программа первых годов была в то время (с 1876 г.) изменена в программу „Земли и Воли“, и уже намечалось политическое направление.

В. Фигнер.

состояла из ссыльных и из сопроцессников по процессу 193. Там служили: Дмитрий Соколов, Юлия Панютина, административно-ссыльная Лариса Заруднева, одна из наборщиц типографии Мышкина; туда поступила и я. Прослужив некоторое время в Перми, я перешла на линию на глухую станцию Бисер на перевале через Уральские горы. Здесь у меня довольно долго скрывался Юрий Николаевич Богданович, впоследствии народоволец, умерший в Шлиссельбургской крепости. Весною 1879 г. он явился на Урал, с целью организации побега Бардиной, но устроить этот побег ему так и не удалось. Довольно часто появлялся на Бисерской станции уголовный Цыплов, поддерживавший сношения каторги и ссылки с центром.

Летом 1879 г. я вернулась в Москву и поселилась в деревне. Связи с товарищами по процессу на время порвались и возобновились только осенью 1880 г. О Липецком и Воронежском съездах я узнала, когда они уже совершились. Те товарищи, с которыми пришлось столкнуться, уже отошли от активной революционной работы. Приехал Саблин и пришел ко мне, вероятно с целью привлечь к „Народной Воле“, но я лежала больная, и он ничего не стал говорить. Больше с ним уже не пришлось встретиться.

Два года яркой деятельности „народовольцев“, и для России наступило тяжелое время: тяжелейшая, опирающаяся на бесконечные виселицы, реакция сверху, чеховщина среди интеллигенции, глубокая тишина в народе, изредка прерываемая экономическими стачками среди рабочего класса. Ясно было, что „народничество“ отжило свой век; марксизм же только начинал пробиваться еле заметными струйками. Это было самое тяжелое время для людей, не могущих помириться с простой обывательской жизнью. В конце 19 и особенно в начале 20 века запахло в воздухе грозой: убит Боголепов, убит Сипягин, начались студенческие волнения, участились и вышли за рамки узко-экономических требований рабочие забастовки. Я почувствовала, что крышка гроба, захлопнутая над русским народом, приподнимается...

В эпоху безвременья необычайно быстро вырос в России капитализм, а с ним и естественный враг его—пролетариат. Этим объясняется то, что люди, бившиеся с самодержавием небольшими группами в течение 30 лет и не получавшие поддержки и отклика в массах, в начале двадцатого столетия очутились лицом к лицу с этими массами.

Начавшаяся в 1904 г. японская война, сопровождавшаяся неудачами, еще более возбуждала негодование в массах, и оно заставляло ждать крупных событий. Весною 1904 г. полетели первые ласточки: стали появляться эмигранты. К осени у меня на Тверской, над пассажем Постникова, организуется явочная квартира социал-демократов; сама в это время я стою за единый социалистический фронт и готова помогать всем революционным партиям.

Наступает 9 января 1905 г., день гибели последних остатков веры народа в царя. Наступает поворотный пункт в истории русской революции—чувствуется близость расчета с ненавистным строем.

Ранней весной 1905 г. я перебираюсь на Никитскую, где рядом с консерваторией и недалеко от университета открываю мастерскую и небольшой магазин дамских шляп. В начале июня у меня делают обыск и находят 40 штук револьверов сист. Браунинга и Маузера и соответствующее количество патронов.

Оружие это принадлежало партии с.-р. и погибло благодаря неосторожности товарища, приведшего за собой шпика. Меня сажают в Пречистенскую часть. При мне оттуда бежал содержавшийся в соседней камере член боевой организации через несколько дней после побега убивший Шувалова, только что переведенного из Одессы в Москву на пост генерал-губернатора. Впоследствии узнала, что сосед мой был с.-р. Куликовский, учитель из Сибири. Шувалова он убил по постановлению одесской организации за издевательство над политическими. Настроение у всех заключенных было бодрое; особенно оно поднялось, когда до нас дошла весть о потемкинском восстании.

Судя по прежнему опыту и по количеству вещественных доказательств, я приготовилась к очень длительному тюремному заключению, но все вышло иначе. В пречистенской части я заболела очень тяжелой формой нефрита, и меня перевезли в бутырскую больницу. Здесь первое время я могла еще ходить и разговаривать, так что, когда в соседнюю камеру привезли Зиновия Литвина (Седого), я смогла наладить с ним сношения (печная железная труба шла из моей камеры к нему и давала возможность без перестукивания говорить своим голосом). Литвин был болен каким-то нервным заболеванием. Тут же, в больнице, находилась с.-р. Овечкина, тоже, кажется, за оружие, но она сидела далеко, и можно было только перекрикиваться через окно. Вскоре я совсем слегла, врачи приговорили меня к смерти, и жандармы, убоясь скандала, выпустили меня умирать на волю. Позже, когда революция пошла на убыль, они уже ничего не боялись; достаточно вспомнить смерть Шмидта в той же бутырской больнице.

Я не умерла, и к октябрю, когда последовала амнистия, оправилась настолько, что могла принимать участие в ежедневных митингах, демонстрациях, похоронах Н. Э. Баумана и проч.

В половине октября я снимаю квартиру на М. Бронной в доме Гирша, и у меня поселяются товарищи из оппозиции партии с.-р.: А. Прохоров, тов. „Александр“ из Смоленска, Николай Иванович Ильин (Григорий Ривкин) и другие, которые составляли текучий элемент; последние дни перед восстанием поселился М. Соколов, так. наз. „Медведь“. Квартира эта называлась на Прохоровке эсеровским главным штабом. Тут же были явки военной организации, и тут же происходили собрания юнкеров Александровского училища; в это время в Александровском училище было 30 человек юнкеров-социалистов, считая с.-р. и с.-д.

В шесть часов утра с 9 на 10 декабря товарищи ушли и более уже не возвращались... 10 декабря часов в 11 утра раздался первый пушечный залп по Тверскому бульвару, и на 10 дней Москва обратилась в поле военных действий. Все главные улицы Москвы быстро покрылись баррикадами; выросла баррикада и под окнами нашей квартиры; квартира была открыта для дружинников, туда они заходили погреться и закусить. Сама же я перекочевала в 1 реальное училище, где учащимися старших классов этого училища и 4 женской гимназии были организованы перевязочный и питательный пункты; там с молодежью я и пробыла все время вооруженного восстания; двор реального училища буквально засыпался пулями с пресненской каланчи, и молодежь с риском для жизни выходила небольшими отрядами подбирать раненых.

Когда восстание было подавлено, и семеновцы хозяйничали в городе и расстреливали за ничтожный клочок бумаги, я пошла вновь на Бронную, сожгла литературу, забросила оставшееся оружие и ушла из квартиры. Накануне Рождества я уехала в Финляндию. Тяжелое зрелище представляла усмиренная и расстрелянная Москва.

Через месяц я вернулась и поселилась в другой части города, на Арбате, близ Смоленского рынка, где теперь высится восьмиэтажный дом, и где в 1906 г. была одноэтажная наскоро сколоченная постройка, в которой помещались 10 кустарных мастерских. В это время в Москве стали быстро расти профессиональные союзы и столь же быстро они закрывались правительством, как только наступила эпоха реакции.

Я стала работать в профессиональном союзе портных, в секции шляпников. Помещения у нас не было, и целая серия профсоюзов помещалась во втором этаже небольшого двухэтажного дома на Арбате близ Арбатской площади.

Весь аппарат по приему новых членов в секцию шляпников помещался на подоконнике. Вскоре мы приобрели себе помещение в Милютинском переулке в номерах „Родина“. Так как никто еще не думал, что революционное движение раздавлено на долгий срок, то наш профсоюз выпустил воззвание, содержания которого я не помню сейчас, но за это воззвание наш союз прихлопнули.

Пока не было своего помещения, товарищи, работавшие в профсоюзе, собирались у меня для совещаний.

Товарищи с.-р., оппозиция, перенесли свою деятельность в Петербург; произошел взрыв на Аптекарском острове, экспроприация в Фонарном переулке. Изредка приезжавшие из Петербурга товарищи останавливались у меня; изредка происходили небольшие совещания. С казнью „Медведя“ 2 декабря 1906 г., с казнью Володи Мазурина организация распалась. Пришлось встретиться только с Ильиным, да и тот вскоре эмигрировал в Италию.

Начинается новая эра моей жизни: сидеть по тюрьмам и судиться начинают мои сыновья—один с.-д. большевик, другой с.-р. В течение четырех лет—три процесса: один в Петербурге—склад литературы, один в Москве, один в Тамбове—принадлежность к партии и изготовление оболочек бомб.

Вся моя деятельность этого времени сводится к хождению по тюрьмам к сыновьям и товарищам.

Время шло—реакция усиливалась и становилась все наглее и наглее. Я меняю квартиру по два раза в год; естественным порядком образуется ночлежка для бегущих из ссылки и уходящих в подполье товарищей; это был текучий элемент, но некоторые жили по месяцу. Квартира имела два выхода: в Калашный переулок и на Никитский бульвар и ни разу не была накрыта полицией; это было в зиму 1907—8 г. Помню веселую и еще полную надежд встречу нового года; было человек 15 товарищей с.-д. и с.-р.; к следующему году все уже растерялись, один был повешен якобы за вооруженное сопротивление; кто сел по тюрьмам, кто пропал без вести. Зима 1908—1909 г. была уже полна обысками. Тюремный режим резко изменился в сторону жестокого обращения с заключенными. Реакция в стране разошлась во-всю.

1917 г. застает меня на службе в земско-городском союзе в редакции „Известий Земгора“; поступила я туда техническим работником из-за куска хлеба; редакция состоит из самых разнородных элементов: наверху—кадеты, в низах много социалистов разных оттенков.

Меня выбирают делегатом в организацию служащих; организация эта сформировалась якобы по делам столовой, на самом деле состояла вся из людей, так или иначе работавших в революции; большинство были меньшевики, большевиков было только два; как-то выходило так, что я голосовала всегда вместе с ними, хотя в организации были и с.-р.

Во вторник утром 28 февр. ст. ст., после начавшейся в Петрограде революции, у нас состоялось делегатское собрание, которое сейчас же выделило исполнительное бюро, в которое и я вошла, заседавшее непрерывно до знаменитого молебна на Красной площади с архиереем и молитвами за „российскую державу" и представителями крупной буржуазии, лихо гарцующими на конях; буржуазная стадия революции резко бросалась в глаза.

Не помню дня, когда наше исполнительное бюро вынесло резолюцию: „Мир без аннексий и контрибуций", но только после этой резолюции на общем собрании разразился форменный патриотический бунт против членов исполнительного бюро, и всех нас из делегатов выставили. Вскоре я ушла и из редакции, чувствуя, что делать там нечего.

Тут я сделала крупную ошибку, вступив летом 1917 г., по старой памяти, в партию с.-р., и сразу почувствовала себя не на месте; с крупными большевиками не пришлось столкнуться; с их изменившимся отношением к аграрному вопросу я не была знакома, а между тем, как-то инстинктивно почувствовала, что партия с.-р. на дороге вырождения, несмотря на огромный успех на выборах в городскую думу. И все же, уезжая в половине августа лечиться на Кавказ, я думала, что социальная революция начнется в стенах учредительного собрания и что социалистические партии составят единый фронт против буржуазии.

Когда до того глухого угла, где я была, долетели слухи о военно-революционных комитетах, я радовалась, что наконец-то начинаются решительные шаги, и все же думала о сплоченных действиях социалистических партий. В Москву я вернулась 25 окт. и сначала ничего не могла понять; 27 окт. стрельба шла уже во-всю. Октябрьская революция и последующие события открыли мне вполне глаза и показали, за кем пошли массы.

Зиму я сидела без работы, а с весны получила сразу три предложения, и это было очень характерно: мне почти одновременно предложили быть выпускающим трех газет: „Земли и Воли", партии с.-р., „Вперед"—меньшевиков и „Земли"—соединенный орган большевиков и левых с.-р. Без всяких колебаний я выбрала последний. Орган этот издавался московским областным комиссариатом земледелия, и когда он к осени 1918 г. был ликвидирован, то ликвидировалась и наша газета.

С ноября я работала в „Известиях Нар. Ком. Здравоохранения" и, выйдя из союза печатников, вошла в союз советских журналистов. В феврале 1919 г. тяжелая болезнь надолго выбивает меня из рабочей колеи. В конце 1921 г. вступаю в общество „политкаторжан и ссыльно-поселенцев", где, по мере сил, и работаю по сие время в литературно-издательской комиссии.

Дебогорий-Мокриевич, Владимир Карпович *).

Родился я 12 мая 1848 г.—недоноском, семимесячником, так что мать, по ее рассказам, долгое время держала меня в вате. Развивался я необыкновенно медленно, благодаря чему от раннего периода в памяти моей сохранились лишь какие-то мутные обрывки. Отчетливо стал я себя сознавать, когда мне было уже около 6 лет. В то время семья наша жила в г. Чернигове, где отец, отставной подполковник и местный дворянин, был судьею, а в Севастопольскую войну ему поручено было формировать Казачий полк. Ясно припоминаю, как в большой комнате, переполненной офицерами, на огромном столе разостлано было полковое знамя, и присутствовавшие поочередно подходили к столу и прибивали гвоздями знамя к длинному древку. Подвели и меня к знамени, и я вбил молотком блестящий небольшой гвоздик.

Затем отъезд отца с полком, уходившим в парад, и наше длинное путешествие на лошадях из г. Чернигова в Подольскую губ., где жил дед, отец матери, мелкопоместный помещик селения Луки-Барской Литинского уезда,—все это сохранилось в памяти опять-таки в виде обрывков. Только когда мне стукнуло девять лет, и стали меня подготовлять в гимназию,—мое сознание вполне окрепло. В этот период жизни я сблизился с старшим братом Иваном, и с той поры дружба наша росла с годами и прервана была лишь его смертью. Иван был не только моим компаньоном, но в то же время и учителем. Окруженный его любовью, я вступил потом в жизнь, и мои первые шаги совершались под его руководством.

Когда мне было 12—14 лет, произошло два крупных исторических события: освобождение крестьян и польское восстание. В с. Луке-Барской, где у нас было небольшое именьице, крестьянская реформа протекала мирно. В селении было несколько помещиков, но то были люди смирные, и никаких острых выступлений против них со стороны крестьян не воспоследовало. Однако, их враждебное отношение ко всем „панам" было так сильно и до того недвусмысленно проявлялось, что чувствовали его даже мы—дети. Крестьяне собирались обыкновенно по праздничным дням в сельской корчме, откуда во все стороны несся их гомон; там, очевидно, разрешались ими волновавшие их вопросы. Мне доводилось видеть как собрания местных помещиков, происходившие не раз в нашем доме, так

*) Автобиография написана в марте 1926 г. в Болгарии.

равным образом и крестьян, сходившихся в наш двор для объяснений с отцом, и у меня от того времени уцелело живое впечатление необыкновенного единодушия, царившего у крестьян; сказанное одним — поддерживалось всеми; вся масса действовала как один человек. Весь вопрос заключался, как мы это теперь знаем, в земле,— и всякий мужик — от умного до самого глупого—твердо знал свою задачу, сводившуюся к тому, чтобы земля, по возможности вся земля, перешла от помещиков к ним. Это именно общее сознание и создало ту мужичью солидарность, наблюдаемую у крестьян всех трех русских племен—украинцев, великороссов и белоруссов,—солидарность, которая накладывала свою мужичью печать на нашу историю.

Я уже упоминал о том, что в нашем мелкопоместном селении реформа протекала мирно, но далеко не так это было по другим местам. Не дальше как в 7—8 верстах от Луки—в огромном селении Багриновцы, принадлежавшем графу Кушелеву-Безбородко, произошли волнения, принявшие такой характер, что власти сочли нужным послать туда солдат. Над злополучными Багриновцами разразилась экзекуция со всеми ее прелестями—розгами и солдатским грабежом. Особенно трагически окончилось это для одной молодой крестьянки, которую публично на площади перед церковью высекли, и она, не перенесши позора, повесилась. Подробности этого гнусного, злодейского преступления мне рассказывали очевидцы лет пять спустя, и они были так возмутительны, что до сих пор не могут быть забыты и глубоко волнуют.

Я должен сказать, что в самый момент освобождения крестьян событием этим я интересовался меньше, чем происходившим несколько позже польским восстанием,— может быть именно потому, что происходило оно года на два позже, и к тому времени я уже был старше и умнее. Поляки-гимназисты, а их было большинство в Немировской гимназии, были настроены крайне шовинистически и ругали не только русское правительство, но вообще всех и все русское; язык русский называли почему-то „бараньим". Всех православных они называли „кацапами", хотя многие из нас были украинцы, а не великороссы. Несмотря на все это,—мы—„кацапы"—все-таки сочувствовали „повстанцам", слишком уж противна была сторона, воевавшая с ними — полиция и господа военные, которых мы видели у себя в Немирове. О том, что против „повстанцев" выступали крайне враждебно и крестьяне-украинцы, мы хотя и знали, но лишь спустя известное время сделали правильную оценку этому явлению. В юго-западном крае „поляк" и „пан" почти синонимы (помещики Подольской, Киевской и Волынской губ. почти все поляки), так что польское восстание в нашем крае являлось по существу „помещичьим восстанием", немудрено поэтому, что крестьяне отнеслись к нему враждебно.

В гимназический период моей жизни случилось еще одно событие, оказавшее на меня большое влияние. Я был уже в 6 классе Каменец-Подольской гимназии (из Немировской гимназии я с братьями перевелся в Каменец-Подольскую в 1864 г.), когда у Ивана, шедшего одним классом впереди меня, во время экзаменов на аттестат произошло крупное столкновение с инспектором гимназии. В это дело вмешался губернатор; столкновению придан был политический характер, и Ивана посадили в почтовую кибитку, дали в провожатые жандарма и отправили на место жительства в Луку-Барскую, взявши с него подписку о невыезде. Ивана я любил, и этот случай возмутил меня страшно; я возненавидел гимназическое начальство, — инспектора и директора (учителя были конечно, непричем) и кончал гимназию с самыми злыми чувствами. В 1866 г., получив аттестат, я уехал в Луку, а после каникул отправился в Киев для поступления в университет. Не помню, чтобы выстрел Каракозова особенно как-нибудь подействовал на меня.

Я любил читать,—но не мог бы указать теперь на книгу или автора, оказавшего на меня особое влияние. Взгляды, или, вернее сказать, ощущения мои, являлись у меня скорее продуктом самой жизни и окружавшей обстановки, нежели чтения. Прежде всего семья наша была небогата; отец был плохой хозяин, и от нужды спасал нас пенсион, который он получал, выйдя в отставку после окончания войны. Кажется, на второй год моей студенческой жизни я был исключен из университета за невзнос платы за ученье и целый год провел в Луке, не имея средств вернуться в Киев. Но этот год жизни с Иваном в селе научил меня многому. В средней комнате, за длинным дубовым столом после вечернего чая шли наши литературные вечера. Иван читал (он же доставал книги). Неизменными слушателями были отец и я. Дни мы с Иваном проводили в работах по хозяйству: молотили, пахали, корчевали деревья и кусты, расчищая левады под сенокос или посевы. Я мечтал о развитии физической силы и мне чрезвычайно нравилось косить; засучив рукава рубахи выше локтей, чтобы видны были мускулы руки, я косил, — идя в ряду с косарями. Демократическое настроение все более и более овладевало мною. Я научился уважать мужичий труд, потому что на себе испытал тяжесть этого труда. Видя перед собой бедных и богатых, таких, которым нехватало насущнейших предметов, и других, у которых были из-

лишки, простое чувство справедливости, а вовсе не какие-то теории и учения, протестовало во мне против такого положения вещей. Мой социализм, если можно назвать социализмом одно желание имущественного равенства у людей, весь покоился на соображениях исключительно этического характера, а вовсе не на экономических доводах и построениях. Это, конечно, доказывало только, что я был утопист и очень мало имел общего с научным социализмом. Такое же соображение нравственного порядка приводило меня еще и к следующим выводам: я думал, что всякий человек, чтобы не эксплоатировать других людей, должен жить непременно физическим трудом. По моим понятиям, безнравственно было пользоваться какими бы то ни было привилегиями—имущественными, связями, дипломами и пр.

В 1871 г. разбирался процесс нечаевцев в Москве. Мы с Иваном следили за ходом дела по газетным отчетам, и дело это привело нас к решениям некоторых важных вопросов. Поведение Нечаева, как оно выяснялось из показаний на суде, обманывавшего своих товарищей, осуждалось нами, и все дело представлялось нам необычайно раздутым. Но к участи нечаевцев мы отнеслись сочувственно. А показания обвиняемого Успенского, оправдывавшего свое участие в убийстве студента Иванова тем соображением, что для спасения жизни двадцати человек всегда дозволительно убить одного (Иванова подозревали в шпионстве и за это убили), показались нам чрезвычайно логичными и доказательными. Рассуждая на эту тему, мы додумались до признания принципа „цель оправдывает средства". Так, мало по малу, мы приближались к революционному мировоззрению и, нужно сказать, что в этом вопросе, в вопросе специально о революции, большую роль сыграла наша литература. Благодаря цензуре прямой проповеди революции, конечно, не было, но было другое: сочувствие к революционным методам борьбы сквозило между строк у многих русских писателей. По истории французской революции переводились и популяризировались преимущественно книги авторов-дифирамбистов. Мы зачитывались ими. Наперечет знали мы имена всех героев франц. революции, начиная от главарей и оканчивая второстепенными и даже третьестепенными личностями. Одним нравился Дантон, другие восторгались Камилл Демуленом, третьи бредили Сен-Жюстом. Такова была атмосфера, в которой мы вращались в семидесятых годах, разжигая друг в друге революционный пыл.

Первый кружок (не считая студенческого кружка саморазвития), в котором я принял участие, был так называемый „американский", инциатором которого был Иван. Это была организация полуреволюционного характера. Стремясь к тому, чтобы жить физическим и именно „мужичьим" трудом, Иван остановился на мысли организовать земледельческую коммуну. Но так как при русских полицейских порядках это было невозможно в России, то проектировалось переселение в Америку. Задачу свою мы, члены кружка, далеко не ограничивали, однако, созданием только одной коммуны в Америке; мы предполагали вести широкую агитацию заведения подобных коммун всюду. А мне рисовалась возможность подобной работы даже в самой России, заручившись американским гражданством, которое как-то должно было меня защитить от русской полиции.

Таким образом, к своим народническим симпатиям, носившим по существу национальный характер, мы прицепляли космополитический хвост в виде американизма. Одно с другим плохо вязалось и, само собою разумеется, не могло долго продержаться. Во всяком случае трое из кружка отправились в Америку в качестве разведчиков, но там с ними произошел страшный случай: нечаянно один застрелил другого. Застрелившего судили законом Линча (происходило это где-то в дальнем западном штате), но он был оправдан. Этот случай потряс нашу организацию, и она стала разваливаться.

В 1873 г. весной я уехал в Швейцарию, где находилось несколько человек из нашего кружка. В Цюрихе я застал огромное число русских, точно на какой-то съезд съехавшихся с разных концов России. Подобно нам, „американцам", вся эта масса молодежи, видимо, искала там разрешения своих вопросов. Там, в Цюрихе, и получили тогда свое начало некоторые кружки, принимавшие потом участие в революционном движении. В Швейцарии я прожил лето 1873 года. Как наследие американизма в ту минуту жила у меня мечта о „слиянии" с западно-европейским рабочим движением и вступлении в организацию Интернационала. Донецкий и я, оба проникнутые одной мыслью, принялись искать работы, и нам удалось в Женеве поступить землекопами к одному подрядчику. Но арест Донецкого женевской полицией, случившийся очень скоро, и изгнание его из кантона окончательно отрезало нас от нашего космополитизма. По вызову Сажина (Росса) я вернулся в Цюрих, где принял участие в печатании книг: „Государственность и Анархия" Бакунина и „Историческое развитие Интернационала". Окончив печатание, мы с Сажиным поехали в Локарно к Бакунину, с которым мне очень хотелось познакомиться перед своим отъездом в Россию.

Учение Бакунина об анархии оказало на меня огромное влияние. Герои французской

революции отошли на задний план, потеряв прелесть в моих глазах. К якобинству установилось у меня вполне отрицательное отношение. После многих лет жизни, увлечений, неудач и разочарований мировоззрение мое претерпело немало изменений, но сущность свободы, как она была вдохнута в меня бакунинским учением, осталась навсегда моим идеалом.

Прожив дней десять в Локарно и все время проводя у Бакунина, я выбрался, наконец, в дорогу. Из Локарно пароходом по озеру Лаго Маджьоре я доехал до северной Италии и оттуда, севши в поезд, направился в Россию.

Месяца полтора спустя Донецкий с чужим паспортом перебрался через русскую границу в Волочиске и, слезши с поезда на станции Сербиновцы, пошел в Луку для встречи со мною. От Сербиновцев до Луки около 8 верст, и он шел пешком по железнодорожному полотну, возбудив подозрение у железнодорожного мастера, работавшего по линии. Он был задержан и отведен к становому приставу. Сделали обыск и при нем нашли прокламацию. А так как в его чемоданчике, оставленном на сохранение в Сербиновецком вокзале, найдена была целая пачка тех же прокламаций и между другими предметами книга „Статистика“ Кольба, принадлежавшая мне—с моей надписью, то становой, покончив с Донецким, явился в Луку и сделал обыск у меня. По счастью, ничего противозаконного у меня не нашлось, и становой ограничился только составлением акта, Донецкого же он повез в уездный город для сдачи исправнику.

Мое знакомство с Донецким бесспорно устанавливалось, и так как у него найдены были прокламации и, следовательно, меня, наверное, привлекли бы к этому делу с прокламациями, которых, замечу, я даже не видел раньше (они появились на свет уже после моего отъезда из Швейцарии), то для избежания ареста я решил скрыться. На вторые или третьи сутки я выехал из дома ночью к ночному поезду, само собой разумеется, не на станцию Сербиновцы, где меня знал станционный жандарм, а на другую станцию. В своем предположении я не ошибся. Очень скоро в Луку нагрянули жандармы с намерением арестовать меня, но там уже и след мой простыл. Я бежал в Киев.

Т. обр., с первого же шага своей революционной карьеры я становился на нелегальное положение. С осени 1873 г. я начал укрываться и в звании „нелегального“ оставался до самого своего ареста, т.-е. до февраля 1879 г.

В Киеве я остановился на квартире, занимаемой „коммуною“, как в то время назывались подобные сожительства студентов; в числе сожителей был товарищ мой по американскому кружку, студент медик Судзиловский. В коммуне, однако, прожил я недолго, мне удалось поступить в плотницкую артель и я сделался рабочим. Артель плотничала на Подоле (так называется часть г. Киева возле Днепра). Жил я с артелью, но праздничные дни проводил в коммуне, помещавшейся на противоположном конце города—по Мало-Васильковской улице, куда являлся я обыкновенно еще накануне праздника. В коммуне происходили наши небольшие собрания; постоянными посетителями были Аксельрод, Лурье и др. Там я видел Сергея Кравчинского, проезжавшего из Петербурга в Одессу и останавливавшегося на день или два в Киеве; в коммуне же проживали некоторое время Сергей Ковалик, раньше близко знакомый мне по американскому кружку, — Екатерина Брешковская, Мария Коленкина и много других лиц, сидевших потом по тюрьмам.

Из этой же коммуны весною 1874 года отправлялась первая группа „в народ“. Вышло нас тогда из Киева пять человек, но уже в Жмеринке один отстал от компании и вернулся в Киев, так что дальнейшее путешествие совершало нас четверо: Василий Фишер, Яков Стефанович, я и Сергей Шпейер. Проведши некоторое время в Жмеринке, где мы работали по нагрузке вагонов шпалами, и заручившись кое-какими деньгами, мы отправились в путь-дорогу в качестве красильщиков. Свой маршрут мы составили раньше, наметив пройти часть Подольской губ. и всю Киевскую до Днепра.

И вот, испачкав себя красками, чтобы походить на настоящих красильщиков (это мы проделали в лесу, забравшись в укромное место), мы закинули мешки за плечи и двинулись по дороге, ведшей из Жмеринки в местечко Браилов. Проходили мы верст по двадцати в день; останавливались по селам на ночлеги, делали дневки, всюду предлагая красить платки или пояса, и, обыкновенно не получив заказов (крестьяне, как мы узнали, красили пояса по соседним местечкам—у своих знакомых красильщиков), продолжали передвигаться дальше на восток. Но одновременно с тем, как предлагали свою работу, мы всюду расспрашивали о том, происходили ли в этой местности крестьянские бунты, когда именно и что дало повод к ним.

И всюду мы слышали, что восстания, имевшие место вследствие недоразумений крестьян с помещиками из-за земли, случались, главным образом, в период до и во время самого освобождения,—и что после того жизнь вошла в мирную колею. Но будучи сами настроены революционно,—мы не сумели в то время достаточно оценить последнее обстоятельство. Вместе с тем мы узнали, что всюду свои земельные чаяния крестьяне возлагали на царя; царь

в их представлении являлся защитником крестьянских интересов.

Так мы брели все дальше к востоку и добрались, наконец, с израненными ногами до местечка Корсуни, Киевской губ., имения графа Лопухина. В Корсуни мы остановились. По собранным сведениям в этой местности происходили большие крестьянские беспорядки в 50-х годах, и это дало нам основание предполагать, что там более, чем в других местах, должны были сохраниться революционные традиции, и поэтому мы решили устроить в Корсуни поселенье. Фишер отправился в Киев хлопотать о средствах для этого; однако, встретив затруднения, уехал на север и больше не возвращался к нам; там он был арестован и засажен в тюрьму. Шпейер тоже ушел куда-то в Полтавскую губ., и от нашей компании осталось нас только двое: Стефанович и я. Пришлось и нам вернуться в Киев. Группа наша разбилась. Стефанович некоторое время спустя опять „пошел в народ“ в компании с Катериной Брешковской и Марьей Коленкиной. Я в это время бродил по окрестным селам г. Киева в качестве плотника, не желая удаляться от Киева, так как поджидал сведений с австрийской границы касательно транспорта книг, посланных из Швейцарии для контрабандной переброски их через границу. Получив уведомление и съездив за границу, где чуть было не попался, так как транспорт оказался заарестованным, я в Киев не возвратился, а остановился в Жмеринке, где поступил на работы к подрядчику по железнодорожной линии. Работа наша сводилась к нагрузке платформ песком, перевозке песка по линии и разгрузке этих платформ. В нашей партии было человек восемьдесят крестьян из окрестных деревень. Расчеты подрядчик производил по субботам. У меня родилась мысль провести стачку. Вначале дело было наладилось, но довести его до благоприятного конца не удалось; подрядчик меня расчитал, и я должен был убираться по добру-по здорову из Жмеринки. Я уехал в Киев.

Между тем, летом 1874 г. были произведены первые обыски и аресты в одном из приволжских городов, и жандармские поиски перебросились оттуда к нам, в Киев. На Волге у кого-то найден был киевский адрес Лурье. Лурье был арестован. У него найдены были указания на деревню, где с целью пропаганды находились Брешковская, Коленкина и Стефанович. За ними началась погоня. Аресты и обыски перебрасывались из одного города в другой, из одной местности в другую, и вскоре замутилось положение во многих местностях России. Начался общий погром. К началу осени 1874 г. поиски и аресты были уже всюду.

Ходько, мой товарищ по американскому кружку, занимавший место сельского учителя в Черниговской губ., вынужден был скрыться, но по пути в Киев он был арестован на железной дороге и только благодаря особой случайности и его находчивости ему удалось в Киеве на вокзале (поезд прошел ночью), выскочив из вагона, бежать от жандармов. За ним по городу поднялись страшные поиски. Так как он был киевским старожилом, и многие полицейские знали его в лицо, то укрываться ему было очень трудно; точно по следам гнались за ним; деваться было некуда. Нужно было бежать куда-то подальше, чтобы переждать в безопасности горячее время поисков. Мое положение было тоже незавидное— и мы с ним надумали бежать за границу.

И вот, живо вспоминается мне та ночь, когда мы, выйдя из квартиры одного приятеля, с мешками на спине, направились к вокзалу, как бы к ночному поезду. Поворотную улицу к вокзалу, Безаковскую, мы пересекли, спустились вниз по Бульварной до Триумфальных ворот; там в то время было еще совершенно пустынное место; забравшись с левой стороны в ров, переоделись, вытащив из своих мешков приготовленную для этого одежду, и преобразившись, таким образом, в рабочих, зашагали по белевшемуся перед нашими глазами житомирскому шоссе. Вокзал и пристань на Днепре кишели шпионами; останавливали даже еврейских „балагул“, выезжавших из города, и осматривали пассажиров, и потому мы решили бежать пешком. И как памятно мне теперь это чудное путешествие. Выбравшись из города, мы почувствовали себя сразу на воле. Старые, еше не тронутые леса тянулись на десятки верст по бокам дороги. Около полуночи мы остановились на отдых. Забравшись вглубь леса, мы улеглись у ствола сосны и спокойно, беззаботно заснули, не испытывая уже того мучительного страха появления жандармов, который никогда не покидал нас во время ночлегов по чужим квартирам в Киеве. Увы, эти леса почти вырублены в настоящее время. И так мы отдыхали и спали по лесам, питались хлебом с салом, запас которого несли с собой, и дошли, т. обр., до местечка Карастышева; там наняли „балагулу“ и добрались до Бердичева, где и сели, наконец, в поезд.

Но вот мы доехали благополучно уже до Радзивилова и пробираемся гуськом через поле к австрийской границе. Ведет нас контрабандист, местный крестьянин. С левой стороны, я вижу, как спешит какая то военная фигура с явным намерением пересечь нам дорогу. Но впереди нас лес. Контрабандист пускается бежать, и мы бежим за ним. В лесу он нас покидает, указывает нам направление, а сам сворачивает налево, как бы навстречу погоне. Мы бежим даль-

ше уже сами; но скоро замелькал свет, лес кончился. Патрульная дорога идет вдоль леса. Осторожно из-за дерев я оглянул ее, дорога совершенно пуста. Справа стоит пограничный столб. С левой стороны несутся лесным эхом громкие голоса. Мы пересекаем патрульную дорогу и идем по направлению к австрийскому городку Броды, направление к которому нам указал крестьянин, пахавший поле.

Приехав в Швейцарию, прежде всего, само собою разумеется, я разыскал Сажина. Почти одновременно с нами в Женеве появился бежавший из России Мышкин. Мы договорились с ним относительно совместной работы на будущее время и почти с первого же дня стали готовиться к обратному отъезду в Россию. Сажин очень помог нам в этом.—Казалось, правительство нанесло нам полное поражение, а между тем мы оставались вполне бодры духом и не приходили в уныние. Веры в дело было еще много. Вскоре Мышкин уехал в Россию, а за ним последовали и мы. Сажин остался за границей. Той же осенью я уже был опять в Киеве. Начались мои скитания по чужим квартирам, тягостные, как хроническая болезнь, продолжавшиеся до той поры, пока не удалось заручиться хорошим паспортом, давшим возможность устроиться самостоятельно. Скоро разыскался Стефанович, и мы вдвоем бодро принялись за собирание нового кружка. Ходько тяжело заболел и, т. сказать, „выбыл из строя“.

Весь 1875 г. прошел у нас в организации кружка и привлечении к нему новых членов. В кружок, кроме Стефановича и меня, вошли: Дробязгин, Малинка и Чубаров, все три повешенные в 1878 г. в Одессе известным Панютиным; Михаил Фроленко—впоследствии шлиссельбуржец, Лев Дейч, Виктор Костюрин, Николай Бух—впоследствии каторжане, и четыре женщины: Мария Коленкина и Мария Ковалевская—обе потом каторжанки, Вера Засулич и Анна Макаревич, позже принимавшая живое участие в итальянских социалистических организациях (была замужем за итальян. соц. Костой).

Кружок наш стоял на почве заговора, задачей своей мы поставили организацию вооруженного крестьянского восстания, избрав для этого юго-восточную часть Киевской губ., где, по нашему мнению, сохранились революционные традиции более, чем в других местностях. Работа наша распадалась на несколько отделов, сообразно которым и наш кружок делился на группы. Всякий член избирал для себя ту отрасль дела, которая была ему более по душе. Работы в главных чертах намечены были следующие: 1) заведение связей среди крестьян, 2) устройство убежищ и складов оружия, 3) добыча средств, нужных для осуществления мятежа.

План был простой. В определенный срок группа наша заодно с привлеченными к нашему заговору крестьянами,—все вооруженные, конечно, — должны были начать мятеж. Наш отряд, переходя из одного селения в другое, из одной местности в другую, имел в виду всюду объявлять об конфискации помещичьих земель и производить немедленную раздачу земли крестьянам. Но для успеха дела, для того, чтобы крестьяне присоединились к нашему отряду и чтобы ширилось восстание, мы решили пустить в дело манифесты, якобы изданные царем, призывающие крестьян к восстанию против помещиков. Заготовке оружия мы придавали большое значение, полагая, что чем больше будет его заготовлено, тем восстание с первого же дня получит более серьезный характер.

Почему мы остановились на мысли действовать среди крестьян именем царя? Прежде всего потому, что почти все крестьянские бунты на Украине, происходившие в последнее время (в годы освобождения), носили подобный характер, и особенно наглядно сказалось это в Корсуньском восстании, охватившем обширную местность в пятидесятых годах. Наша же совесть вполне мирилась с этой ложью. К Пугачевскому восстанию, построенному на самозванстве, мы относились хорошо. В журн. „Вперед“,—не помню только, кто был автором статьи,—проводилась параллель между северо-американской революцией (борьбою за освобождение от Англии) и происходившей одновременно нашей Пугачевщиной, и последней давалось предпочтение: она носила, по мнению автора,—более социалистический характер, нежели борьба американцев за освобождение. Стенька Разин и Пугачев были, т. ск., канонизированы нами в социалисты - революционеры. Само собой разумеется, что для нас, украинцев, Гонта и Железняк имели такое же значение. Когда, однако, мы сообщили Бакунину о своем плане, то он отнесся к нему неодобрительно, ответив нам фразой: „Ложь всегда шита белыми нитками“.

Если вдуматься внимательно в наш план подложных манифестов, то в нем недвусмысленно проглядывало невысказанное только наше убежденье, что крестьянская масса в 70-х годах далеко не была настроена революционно—и для того, чтобы подвинуть ее на решительные действия, нужно было прибегать к авторитету царя. Логически правильный вывод из этого был тот, что в крестьянской среде не было почвы для революционной деятельности. Но вывода этого мы не сделали. Наше поколение, охваченное великими настроениями и целями, пути и средства к достижению этих целей изибрало—увы—часто неудачные, и это привело его к ряду ошибок.

К 1876 г. кружок наш—по два—по три человека, расселился уже весь по селам и, можно сказать, с первых же шагов поставил себя в ложное положение по отношению к крестьянам. Стоя на почве заговора и строгой конспирации, мы принуждены были беречься. Вооруженные револьверами и кинжалами, с целыми ворохами патронов, подложных паспортов, печатей и других заговорщических предметов, мы должны были остерегаться чужого глаза. Наши двери всегда были на крючке, чтобы не мог захватить нас врасплох сосед крестьянин и застать на столе разложенные „бунтовские" принадлежности. Готовясь к мятежному выступлению, конечно, нам надо было учиться владеть оружием, и мы учились этому. В результате получилось весьма печальное явление: мы, „народники", научились прекрасно стрелять, но боялись и избегали посещений крестьянина и вместо того, чтобы радоваться, хмурились и ежились, когда он входил в нашу избу. Состоять в роли какого-то актера, тщательно скрывающего свою жизнь и говорящего совсем не то, что было на душе, изо дня в день притворяться и лгать—все это было тягостно до последней степени. А между тем—таково было в общем положение „бунтаря", конспиратора—в народе. Несравнимо нормальнее и лучше были условия пропагандиста, не ставившего себе ближайшей задачей революционного выступления. Но психология нашего (а может быть и всякого) революционного движения была такова, что оно росло, обострялось и безостановочно шло к своей кульминационной точке. Начавшись с чистой пропаганды, оно перешло к бунтарству и окончилось террором...

Между тем около того времени, как мы расселились по селам Киевской губ., уже происходили волнения — без нашего участия—в нескольких волостях Чигиринского уезда, среди бывших государственных крестьян. Поводом к волнениям послужило требование большинства крестьян душевого передела земли, чему воспротивились более зажиточные из них, — „актовики", как их называли. Борьба, поднятая „актовиками" против настаивавших на переделе „душевиков", была поддержана властями. Среди „душевиков" нашелся энергичный, грамотный крестьянин Фома Прядко, отправившийся по этому делу ходоком в Петербург. Там, конечно, он был арестован и препровожден этапным порядком на место жительства. С этого времени стала ходить легенда среди крестьян, будто Прядко видел царя, и царь обещал свою помощь „душевикам". Волнения усилились. Прядко был пойман и посажен в Киевский тюремный замок; арестованы были еще несколько других второстепенных главарей, которых привезли тоже в Киев, но держали их при киевских полицейских участках. С этими-то, т. ск., полуарестованными чигиринцами (они только ночевали в участке, но днем ходили свободно по городу и работали) удалось нам с Стефановичем познакомиться, и, таким образом, завязались сношения с бунтовавшими селами. Впрочем, я скоро устранился, и дальнейшие сношения велись Стефановичем без меня. Я же с Дробязгиным направился в другую местность. Нам переданы были связи с крестьянами одного украинофила-народника, служившего учителем в селении возле местечка Богуслава, Каневского уезда.

Покидая место, учитель дал рекомендации и адреса своих приятелей крестьян, и мы с Дробязгиным весною 1876 г. отправились в Богуславскую местность. Встречены мы были там, как говорится, с распростертыми объятиями. Видимо, учителя мужики любили. Отношения с рекомендованными крестьянами у нас установились самые дружеские. Селение принадлежало уделам, и царь являлся в этой местности помещиком. Уже это одно обстоятельство создавало благоприятные условия для пропагандиста, и влияние украинца-народника оставило здесь глубокие следы. Мы провели несколько дней, ведя вполне откровенные собеседования с нашими новыми приятелями. Уезжая, мы обещали приехать через месяц, а за это время поручили им переговорить с единомышленниками из соседних сел, чтобы собраться потом всем и потолковать об общем деле. При этом, конечно, советовали быть крайне осторожными в выборе лиц и ограничиться небольшим числом, чтобы наше собрание не обратило внимания тех, кому не следовало этого знать. Прошел месяц, и мы опять приехали и опять провели несколько дней в переговорах и проектах на будущее время. Устроена была, наконец, и тайная сходка—человек около двадцати крестьян, в которой приняло участие несколько человек из окрестных сел. Мы поставили вопрос ребром, настаивая на том, что надо готовиться к восстанию, т. к., по нашему мнению, только путем восстания крестьяне могут завладеть землею, иначе „паны" ее не отдадут. Присутствовавшие соглашались. Однако, помню, между другими—один спокойно заметил:— „Прийдут москали и побьют". Мы на это возразили, что с голыми руками, само собой разумеется, мы не пойдем воевать, что сначала похлопочем добыть как можно больше оружия и пр. в таком духе. Трудно сказать, успели ли мы тогда убедить всех присутствовавших в необходимости восстания; но нам с Дробязгиным тогда казалось, что настроение крестьян было крайне возбужденное, и мы уехали оттуда с самыми радужными надеждами.

Между тем нашим народническим планам как раз в это время готовился удар. В г. Елисаветграде, где у нас было поселение, и куда мы часто съезжались, чтобы повидаться друг с другом, появился некий Горинович, субъект, который, будучи арестован во время погрома 1874 г., дал много компрометирующих показаний. Выпущенный из тюрьмы, он принялся усиленно разыскивать Стефановича и меня (он знаком был с нами раньше) под тем предлогом, будто хочет с нами работать. Пронюхав как-то, что мы были на юге Киевской губ., он появился в Елисаветграде. Малинка и Дейч, жившие в Елисаветградском пункте, встретились с ним у одного общего знакомого. Все поведенье Гориновича вместе с его прошлым приводило к заключению, что розыски свои он вел по поручению жандармских властей, и потому решено было его убить. Заманив его в Одессу, они сделали на него нападение, но убить его не удалось; они только оглушили его. После этого в Елисаветграде было арестовано лицо, у кого Горинович встречался с Малинкой и Дейчем; открыто было и наше убежище. Жандармы шли по нашим следам. Остальные члены кружка, жившие по селам и наезжавшие в Елисаветград, могли быть прослежены. Пришлось нам ликвидировать наши поселения и всем бежать из этой местности. Назначив сборным пунктом Харьков, все мы бросились врассыпную.

Когда мы собрались в Харькове и приступили к выработке дальнейшего плана действий, среди нас проявилась необыкновенная рознь. Ясно становилось, что кружку нашему—с нашими общими планами—пришел конец. Наблюдалось какое-то совсем другое, не народническое настроение, которым заражено было большинство кружка. Впрочем, я еще верил в возможность „бунтарской“ работы, хотя вопрос о заготовке оружия, на мой взгляд, представлял огромные трудности: кружок наш в этом отношении ровно ничего не успел сделать; для этого нужны были большие средства, которых негде было взять. Вызывать же волнения среди крестьян, не заготовив оружия, пустив в ход подложный царский манифест, как это предлагали некоторые, мне представлялось очевидной нелепостью. Как бы там ни было, одного—по одной причине,—другого—по другой, но никого из нас уже не тянуло селиться среди крестьян. Мы разъехались по городам — в Одессу, Киев, Харьков; трое уехали в Петербург.

В городах сразу нашлась для нас работа: прежде всего выступил на очередь вопрос о помощи товарищам, сидевшим по тюрьмам. Но скоро началось и другое. В Одессе арестован был Костюрин, член нашего кружка; Фроленке удалось его вырвать чуть не из рук жандармов и увезти на лошади. Арестовали Стефановича, Дейча и Бохановского по делу чигиринских беспорядков и засадили в киевскую тюрьму. Из Петербурга приехал в Киев Осинский для организации побега; Фроленко поступил ключником в киевскую тюрьму (конечно с подложным паспортом) и успел вывести всех троих из тюрьмы; они бежали за границу. Между тем Осинский в это же время организовал покушение на прокурора Котляревского. Попко, член Одесского кружка, убил в Киеве жандармского офицера Гейкинга. В Петербурге В. Засулич стреляла в Трепова. Очищение конспиративных квартир, убийства шпионов, вооруженные сопротивления и, наконец, убийства правительственных лиц,— словом, ряд террористических дел следовали одно за другим и совершенно изменили характер нашего движения. 11 февраля 1879 г. произошло вооруженное сопротивление на Жилянской улице в Киеве, при котором со стороны революционеров было убито два человека, двое ранено и был убит жандарм.

Так народничество умерло; народился террор. 1877 и 78 годы были переходным временем. Я принимал участие в очищении конспиративной квартиры Стефановича (после его ареста), где сохранялась наша кружковая тайная типография и много других компрометирующих предметов, участвовал в организации побега из тюрьмы Стефановича с товарищами, в расклейке прокламаций по Киеву, составленных по поводу покушения на Котляревского, убийства Гейкинга и бегства Стефановича; под прокламациями прилагалась нами печать с подписью: „Исполнительный Комитет русской социально-революционной партии“. Так получил начало „Исполнительный Комитет“.

Но в этих делах я участвовал по долгу товарищества; по убеждениям я оставался прежним народником. В частности к убийствам во мне стало расти прямо отрицательное отношение. 11 февраля 1879 г. был положен предел моей революционной деятельности. По счастью, и в момент ареста при мне не было оружия, и это меня спасло.

Итак, я оказался в тюрьме. Состоя „в бегах“ в течение нескольких лет (от 1873 г. по 79 г.), я прекрасно освоился с таким положением и пользовался репутацией хорошего „бегуна“. Само собою разумеется, что, попавши в тюрьму, с первого же дня я принялся думать о побеге. Покушение Соловьева, как известно, вызвало военное положение. Следствию по нашему делу дан был скорый ход, и в мае того же 1879 г. нас судили в киевском военно-окружном суде. По трем процессам, следовавшим один за другим, троих—Осинского, Брантнера и Антонова (Свириденко)—приговорили к смертной казни и одиннадцать человек к каторжным работам на разные

сроки. Я был присужден к 14 годам и 10 месяцам.

Сибирь и каторжные работы меня нисколько не пугали, но я боялся Харьковской централки, и когда стало известно, что партию наших отправляют в сибирские каторжные тюрьмы, я был страшно рад; громадные реки и непроходимые леса Сибири так заманчиво рисовались моему воображению, что о боязни не могло быть и речи.

Из киевского тюремного замка нас вывезли вскоре после суда. По дороге, в мценской тюрьме (Орловской губ.) продержали около месяца и повезли дальше. Останавливали еще недели на две в Центральной пермской тюрьме и доставили, наконец, в Екатеринбург. Всю эту дорогу по Европейской России мы совершили под самым строгим жандармским конвоем. Из Екатеринбурга до Тюмени Тобольской губ. везли нас на тройках — уже при менее сильном конвое: то была уже Сибирь. Нашу небольшую партию останавливали последовательно в Тюмени, Томске и Красноярске. Дорогу эту проделали мы от Тюмени до Томска на буксирной барже и от Томска до Красноярска на лошадях. Из Красноярска двигались мы дальше уже этапным порядком, присоединенные к уголовной этапной партии.

Этапный порядок передвижений партий, при котором конвойные менялись через каждые два дня, арестантам велся только счет, а в лицо их не знали конвойные, дал мне возможность сделать „сменку" с уголовными и таким путем освободиться. Между уголовными „сменки" часто практиковались. Мой товарищ, Павлов, ссылавшийся на поселение за грабеж, потребовал, чтобы я ему дал в виде вознаграждения свои высокие сапоги, фланелевую рубаху и деньгами восемь рублей. За это он принимал на себя мое имя, а вместе с тем, конечно, и приговор, тяготевший на мне. Я же с этого дня становился Павловым и должен был выйти на поселение по Иркутской губ. „Сменку" мы произвели во время дневки, когда менялся и конвой. И так как ни старые, ни новые конвойные солдаты не знали ни меня, ни Павлова в лицо, то и не обратили никакого внимания на то обстоятельство, что в камеру, где были политические, из отхожего места вернулся Павлов,—я же из отхожего места пошел в общую камеру уголовных, где тотчас же низко подстриг свои волосы на голове, чтобы походить на уголовного. Конечно, все это совершилось на виду всей партии и с ведома арестантского старосты и заправил партии. Этого мало: более 3-х недель я провел среди уголовных в качестве „сменщика", и мой секрет оставался неизвестен властям. Такова была сила арестантской организации.

Из нашей же 8-й партии сменялся несколько раньше меня Избицкий, а из следующей, 9-й этапной партии — Орлов (этапные партии, следовавшие одна за другой, носили всякая свой номер). Донос последовал на всех троих одновременно. Но Избицкого уже не нашли на месте поселения и не могли арестовать, хотя впоследствии он все же погиб: по рассказам одних он был убит бродягой, по сведениям других его задрал медведь где-то в тайге возле Байкала. Орлов, сменявшись, не ушел с места, где был выпущен из партии, и конечно, там был арестован. Мне одному удалось свой побег довести до благополучного конца.

Павлова, т.-е. меня, выпустили на волю в селе Тельминском, находящемся верстах в 40—50 от Иркутска по так наз. „Московскому тракту". Решивши итти на север в г. Балаганск, где, по сведениям, находился в административной ссылке Габель, мой старый приятель по американскому кружку, я распустил ложный слух среди поселенцев, вместе с которыми освобожден был из партии, что ухожу в Иркутск. Сделал это я с намерением ввести некоторую путаницу, когда поднимутся за мной поиски, которых ожидал всякую минуту. Хотелось хоть немного выиграть времени. Из Тельминской я постарался уйти незаметно на другой день утром. Было начало ноября; снегу уже порядочно навалило, и стояли холода. В казенном желтом полушубке я имел вид, конечно, арестанта, но это не особенно беспокоило меня, так как бродяги свободно передвигались по Сибири, и только когда поднимались за-кем либо поиски, их забирали сотнями и сажали по тюрьмам. Шел я по так наз. „Ангарскому тракту" (вдоль реки Ангары), и мне предстояло пройти более десятка селений. Я понимал, что за собою оставляю след, и потому все мои мысли устремлены были на то, чтобы как нибудь затереть эти следы. Оставалось сделать три-четыре перехода до Балаганска, когда в одном селении меня зазвал к себе поселенец. Он тоже собирался „итти по бродяжеству" и знал хорошо эти места, так как бывал тут уже раньше, в первую ссылку. Угощая меня горячим чаем, из участия ко мне он дал несколько полезных указаний; между другими сведениями, по его словам, в селении Малышовке, расположенном у р. Ангары как раз против Балаганска, у него имелась близкая приятельница, к которой я могу обратиться от его имени за помощью. Жила она в третьей избе, считая с противоположного края селения. По реке в это время шла „шуга" (лед), переправа была опасна, и приятельница должна была найти нужных людей для моей переправы. Я подогнал так свое путешествие, что в Малышовку вошел ранним

утром, когда люди сидели еще по избам и через замороженные стекла окон не могли хорошо видеть улицы. Быстро прошел я селение. Отсчитав с края третью избу, я постучался в дверь. Это оказался хорошо построенный домик, и уже это одно обстоятельство родило у меня сомненье; когда же, войдя в переднюю комнату, я увидел перед собою старуху, то это окончательно меня смутило. „Приятельница“ моего поселенца должна была быть иной. Заикнулся было я об моем поселенце, но старуха выразила такое удивление, что мне пришлось замолчать. „Да что тебе, парень, надо?“,—допытывалась она. Я принялся рассказывать ей, что разыскиваю ссыльного дворянина, с которым шел в партии, и он остался мне должен. „Какого дворянина? Мало ли дворян ссыльных. Вот и у меня живут ссыльные“. В это время с левой стороны отворилась дверь и на пороге показалась молодая женщина, которую я сразу определил.—„Что вам надо?“—спросила она. Если я и мог сомневаться в своей догадке, то слово „вам“ окончательно меня убедило.—„Да, вот у меня дело есть“,—говорил я ей; не желая, чтобы хозяйка была свидетельницей нашего разговора, я стал настойчиво протискиваться к ней в комнату. Она загораживала мне ход, я слегка отстранял ее рукою и тискался вперед.—„Что вам надо“,—спрашивала она с удивлением, отступая. Но я уже вошел в комнату и притворил за собою дверь. Тут шопотом, чтобы хозяйка не услышала за дверью, я ей сказал: „Я—Дебогорий-Мокриевич. Бежал с дороги из партии. Слышали ли вы о нашем процессе в Киеве?“ Это была Новаковская. Я попал совершенно случайно в квартиру политических ссыльных. Новаковский в эту минуту лежал еще в кровати.

В Малышовке жили две семьи политических ссыльных: Новаковского и Цвиленева. У последнего были приятельские отношения с некоторыми поляками ссыльными по 1863 г., и я укрылся среди поляков. Знание польского языка оказалось весьма кстати, так как дало мне возможность фигурировать в качестве поляка. Между тем жандармы шли уже по моим пятам. Они проследили весь мой путь, но в Малышовке след мой был ими утерян.

Прожив в Сибири год, я выехал оттуда на почтовых в начале зимы 1880 г. и после остановок более или менее продолжительных в Красноярске, Екатеринбурге, Перми и Казани прибыл в Москву в 1881 г. незадолго до убийства царя.

В спорах, которые в это время мне пришлось вести с некоторыми народовольцами, я отстаивал, конечно, народнические принципы, но скоро должен был сознаться, что того живого начала, которое двигало мною раньше, я уже не ощущал в себе; его уже не было; червь сомнения уже копошился где-то в глубине души, и когда, наконец, я вполне ясно сознал это, то решил эмигрировать.

В мае 1881 г. я бежал из России в Швейцарию. За границей я занялся переоценкой ценностей и, так сказать, подведением итогов.

Что, по существу, являлось для меня главным пунктом расхождения с Народной Волей? Народовольцы в первую очередь ставили борьбу с правительством, т.-е. задачу политического характера. Одно это не представляло собою еще чего-то неприемлемого для меня. Моя народническая аполитичность состояла вовсе не в отрицании свободы, а в отрицании политики, не приводящей к свободе. Бакунинский анархизм до известной степени укладывался в прудоновский федерализм. И если бы Народная Воля удержала федеративный принцип, лежавший в основе народничества, то борьба, которую она вела с целью завоевания политической свободы, носила бы, с одной стороны, несомненно иной характер, с другой—думаю—она оказалась бы приемлемее для народников. Между тем, народовольческое течение все более и более принимало характер централистический, якобинский, от которого и не пахло прудоновской формулой, гласившей: „Qui dit liberté—dit fédération, ou ne dit rien“, и народнику, чтобы сделаться сторонником Народной Воли, надо было совершить в своем мировоззрении настоящее salto mortale, либо же удовлетвориться только одним участием в живой революционной борьбе, не придавая особенного значения принципиальным разногласиям.

В период народничества в области экономических вопросов мы думали добиться осуществления народных требований, сводившихся к отнятию земли от помещиков и передаче ее народу. В политическом отношении мы стояли за анархию, другими словами, за последовательное проведение федеративного принципа до его крайних пределов,—свободного договора личностей при составлении общины. В экономической части своей программы я продолжал держаться старого народнического решения—стоять на почве народных требований, полагая, что социализация может быть осуществлена в жизни только постепенно, по мере роста народного сознания. В таком духе издана была мною брошюра в 1890 г. под заглавием: „По двум вопросам“. В политическом вопросе я остановился на той точке зрения, что достижение полной свободы может быть осуществимо точно так же лишь путем постепенных завоеваний, для чего надо только, чтобы всякий наш политический шаг оказывался в то же время и шагом к большей свободе личности. Ближайшей своей задачей я ставил завоевание такого политического строя в России, при

котором государственная централизация сменилась бы возможно большей децентрализацией. Земства должны были явиться основой этого строя. В таком именно направлении было выпущено в 1889 г. в Женеве три небольших сборника, носивших название „Свободная Россия“, в которых я принимал участие.

Думаю, что на этом я могу покончить свою автобиографию, так как рассказывать о том, как мне пришлось за границей вести борьбу за существование, не может представить интереса, а в общественных делах с того времени я уже не участвовал.

Дейч, Лев Григорьевич *).

В настоящей краткой биографии я ставлю своей задачей дать, гл. обр., беглый набросок моей революционной деятельности, да и то лишь поскольку она, оставаясь индивидуально моей, являлась в то же время следствием общего в России движения передовой интеллигенции,—движения, начавшегося 50 — 60 лет тому назад смутными, сбивчивыми исканиями правильного пути к освобождению угнетенных масс и закончившегося в наши дни колоссальным политико-социальным переворотом.

* * *

Появился я на свет 26 сентября (7 октября) 1855 г. в местечке Тульчине Каменец-Подольской губ. в довольно большой и зажиточной семье, которая переселилась в Киев, когда мне было года четыре. С ранних лет крупные политические события,—восстание декабристов (по рассказам матери о Пестеле, подвизавшемся в местечке Тульчине), освобождение крестьян (в передаче старушки-няни) и польское восстание 63 года (в освещении гувернантки и соседей), затем покушение Каракозова на „царя-освободителя“,—все это оставило в моей душе и памяти ряд незабываемых впечатлений и вопросов **).

Жизнь в старинном помещичьем доме бывшего владельца крепостных душ, своеобразная часть города (Печерск), близкое знакомство с крайне бедным населением обширного дома и прилегавших улиц также имели на меня благотворное влияние. К этому присоединилось разорение и бегство отца от кредиторов, когда мне было 12 лет. Наступившая затем нужда заставила меня заняться репетиторством еще в низших классах гимназии. Мои сестры, задетые идейным освободительным движением того времени („нигилизмом“), собирали вокруг себя более или менее радикальную студенческую молодежь. Их беседы также не остались без влияния на мое развитие, и, будучи еще мальчуганом, я называл себя „демократом“ и удивлял не только сверстников, но и более старших гимназистов знанием про такие сочинения, как „Что делать?“ Чернышевского.

Раннее знакомство с нашими классиками как художественной, так и критическо-публицистической литературы еще на школьной скамье вызвало у меня сильное стремление к общественной деятельности. Под влиянием Некрасова, Тургенева, Писарева, Чернышевского я, считая себя русским, уже 13—14 лет задумывался о положении трудящегося народа. Но разразившийся в Одессе первый антиеврейский погром в 1871 г., когда мне шел 16-ый год, заставил меня впервые почувствовать исключительно угнетенное положение моих единоплеменников. Все же я допускал, что они отчасти сами виноваты во враждебном к ним отношении, благодаря своему стремлению к легкой наживе и избеганию тяжелого физического труда. Тогда я был по убеждениям демократом, либералом, нисколько не сочувствовавшим революциям. Происходивший летом 1871 г. процесс нечаевцев, раскрывший приемы обмана и мистификаций, к которым прибегал организатор этого кружка, в особенности возмутительное убийство невинного товарища, студента Иванова, и затем бегство за границу самого Нечаева,— все это в сильной степени оттолкнуло меня от насильственных приемов изменения господствовавшего строя. Я был „нигилистом“, „реалистом“, верившим в мирный прогресс. Но вскоре первые же столкновения с действительностью раскрыли мне глаза.

* * *

Сделанная мною сообща с несколькими товарищами попытка превратить обучавшихся в талмуд-торе еврейских сирот в полезных тружеников-ремесленников потерпела неудачу из-за запрещения инспектором народных училищ „недозволенной школы“. Почти столь же печально окончилось существование устроенной мною кассы взаимопомощи частным репетиторам. Но последним толчком, заставившим меня свернуть с легального пути на революционный, было пребывание летом 1874 г. в деревне в качестве репетитора у арендатора богатого имения в Киевской губернии. Бедность крестьян, каторжный труд их, полное бесправие и беззащитность даже перед волостным писарем в связи с возмутительнейшим фактом ссылки ни в чем неповинных крестьян на житье в Сибирь, будто бы по постановлению мирского схода, в действительности же исключительно под давлением взяточника-писаря, произвели на меня удручающее впечатление. Тогда мне впервые стал очевидным весь ужас жизни трудя-

*) Автобиография написана в дек. 1925 г. Москве.

**) См. подробно об этом в „За полвека“, М., ГИЗ, 1926 г., т. I.

щегося населения, находящегося в кабале у тунеядцев, мздоимцев и насильников.

В это же время я внимательно следил за происходившим процессом долгушинцев, который по своему характеру представлял прямую противоположность нечаевскому. Их самоотверженное стремление итти „в народ“, чтобы отдать делу его освобождения все свои силы и знания, отказавшись от культурных благ и рискуя попасть на каторгу, склонило и меня пойти тем же путем. К этому решению подготовило меня отчасти и чтение сочинений Лассаля, а также „Положения рабочего класса“ Флеровского и др. произведений, сосредоточивших все мое внимание на вопросах политических и социальных.

Вернувшись осенью в Киев, я решил „сжечь за собою корабли“, т.-е. отказаться от намерения стать со временем земским врачом, чтобы лечить, главным образом, бедных трудящихся крестьян. Это был тогда обычный путь чуткой к страданиям ближних передовой учащейся молодежи. Всем этим борцам за улучшение бедственного положения народа на обширном протяжении России приходилось неизменно наталкиваться на одно и то же: на невозможность легальной общественной деятельности. Однако, вступление на революционный путь было для меня не так просто, как мне сперва казалось. В то время мне случайно удалось прочесть только несколько подпольных брошюр, в роде знаменитой „Хитрой механики“, „Сказки о четырех братьях“ и т. п., но из них я совершенно не мог ничего узнать ни о существовавших в революционной среде течениях, ни о том, в чем должна состоять деятельность противников существовавшего строя для его изменения. Я рассчитывал найти в Киеве старших моих товарищей— П. Б. Аксельрода, С. Лурье и др., уже давно, как я знал, ставших революционерами. Но я нашел там полный разгром: С. Лурье и другие члены существовавшего в Киеве революционного кружка были арестованы, а Аксельрод с несколькими товарищами эмигрировал за границу. Других революционных связей у меня не было, и я тяжело почувствовал свою беспомощность, совершенное одиночество.

* * *

Встреча со школьным товарищем Иосифом Щепанским несколько смягчила охватившее меня угнетенное состояние, так как в течение каникул он также самостоятельно пришел к тем же выводам, что и я. Решив образовать кружок из своих старых школьных товарищей, чтобы и их склонить на революционную деятельность, мы занялись среди них пропагандой, но не имели большого успеха. Случайное знакомство с поднадзорным д-ром Вл. Эмме, а также со студентом Колодкевичем и с „нелегальной“ Анной Макаревич дало мне возможность несколько разобраться в существовавшем тогда революционном движении. Через Эмме я стал получать запрещенные издания; из них и непосредственно из его рассказов я узнал о „лавристах“, „бакунистах“, „бунтарях“, „чайковцах“ и т. п. Но мое отношение к этим различным течениям все же не определилось, и никакой организационной связи не создалось для меня. Эмме был лавристом, крайне отрицательно относившимся к Бакунину. Я же, хотя также считал себя сторонником взглядов Лаврова, но меня отвращал от него „скучный стиль“ его писаний, которые я с огромными усилиями усваивал. Наоборот, живые, яркие, увлекательные статьи „истинного революционера“ Бакунина мне очень нравились, несмотря на критическое к ним отношение Эмме.

Гл. обр. под влиянием Бакунина, его горячих призывов к „честной, искренней молодежи“, я давал себе „ганнибалову клятву“—посвятить свою жизнь делу освобождения обездоленных. Оставаясь организационно одиноким, я стал готовиться к деятельности „в народе“. Бросив гимназию в последнем классе, я принялся за „теоретическую“ подготовку по обширнейшей лавристской программе и, в то же время впервые расставшись со своей семьей, я поселился у столяра, чтобы изучить у него это ремесло.

Вблизи от меня оказалась экипажная мастерская, устроенная образованным человеком с тенденциозным намерением поставить своих рабочих в лучшее положение, чем в других мастерских. С его разрешения я занялся также обучением по вечерам и в праздничные дни его рабочих грамоте с намерением затем распропагандировать их. Но эта первая моя попытка пропаганды рабочих окончилась полной неудачей: слушатели проявили совершенное равнодушие к этим занятиям, и вскоре они один за другим отказались от их посещения. Мои собственные усиленные занятия при новых неблагоприятных условиях жизни быстро отразились на состоянии моего здоровья. Я вообще был слабосильным юношей со впалой грудью. Профессор, к которому я обратился, приняв меня по костюму за рабочего, посоветовал поскорее уехать в деревню, чтобы серьезно не заболеть. Я надумал оставить Киев, где чувствовал бесплодность моих одиноких, неорганизованных попыток.

* * *

Решив отправиться в какой-нибудь губернский город, в роде Воронежа, Полтавы или Чернигова, где молодежь была меньше напугана арестами, и потому была возможна более организованная революционная деятельность, я обратился за связями к д-ру

Эмме. Для этого он познакомил меня с И. Ф. Фесенко, имевшим большое и благотворное на меня влияние. Он был лет на десять старше меня, с университетским образованием, разносторонне начитанный, и уже в то время он основательно изучил „Капитал“ Маркса. Ему, поэтому, без особенного труда удалось убедить меня в том, что и в Киеве можно найти достаточно дела, если умело за это взяться. Он сам был готов своими знаниями и опытом притти молодежи на помощь; он уже побывал за границей и лично знал видных эмигрантов.

Злые сарказмы Фесенко очень скоро опрокинули у меня авторитет Бакунина и особенно Лаврова, и без того едва державшийся. Неосуществимость подготовительной научной программы, предложенной Лавровым, перед началом революционной пропаганды, была уже для меня очевидна. С таким оружием в руках, как „Капитал“ Маркса, Фесенко не трудно было поколебать во мне веру в полную готовность русских крестьян к революции и к социализму.

И. Ф. Фесенко, в качестве сына сельского дьякона, хорошо знал все отрицательные стороны наших крестьян, а потому зло высмеивал их идеализирование Бакуниным. Но и он, марксист, не избежал влияния на него времени и среды: он также создал фантастический план вызова в России революции, а именно вместо православных крестьян он надумал поднять против существовавшего строя путем пропаганды приверженцев рационалистических сект,— „бегунов“, молокан, штундистов, как уже оппозиционно настроенных людей, более других поэтому способных к восприятию социализма, а также и к упорному противодействию правительству. Фесенко упустил лишь из виду, что стойкие, воздержанные, трудолюбивые сектанты, ставшие в большинстве своем относительно зажиточными хозяевами, еще меньше были готовы к принятию социализма и к вооруженной за него борьбе, чем обездоленные, несчастные православные крестьяне.

Но в этом заблуждении Фесенко не был одинок: в те времена совершенно независимо друг от друга во многих местах революционная молодежь направилась в среду сектантов, чтобы посредством пропаганды поднять их против существовавшего строя. Образовавшийся при моем содействии вокруг Фесенко кружок, располагавший материальной поддержкой уже ранее распропагандированного Фесенко бывшего помещика Д. А. Лизогуба, направился в разные губернии на поиски приверженцев рационалистических сект.

* * *

Весной 1875 г. я со Щепанским отправился в Мелитопольский уезд, в нескольких деревнях которого находились избранные нами молокане. Но предварительно мы со Щепанским поступили в мастерские ближайшего железнодорожного депо, чтобы приучить себя к тяжелому физическому труду. По прошествии нескольких дней Щепанский, выбивавшийся от усталости из сил, заявил, что он не в состоянии продолжать работу, и, отказавшись от службы, вернулся обратно. Хотя и мне работа в мастерских была крайне тяжела, я все же продолжал ее и по прошествии месяца, приняв достаточно опрощенный вид, направился к молоканам в с. Астраханку.

Мне посчастливилось сразу попасть в хорошую семью, в которой я остался вплоть до осени. Но моя пропаганда наисовершеннейшего строя оказалась безрезультатной: мои доводы разбивались о неприступную стену вековых предрассудков и суеверий. Для меня стало ясно, что, главным образом, не во мне, а в самих молоканах, в условиях их жизни, как экономических, так и религиозных,— в их относительно высоком благосостоянии и довольстве своей религией лежали причины их невосприимчивости к социализму. Передо мной встал вопрос: „да осуществима ли, вообще, поставленная нами себе задача?“ И я ответил на него отрицательно.

Несмотря на безрезультатность пропаганды и тяжесть крестьянского труда, я вернулся в Киев очень окрепшим физически и, в конечном счете, все же довольным произведенным опытом. Немногим из моих товарищей удалось достигнуть и этих результатов: некоторые из них вскоре вернулись, не найдя даже избранных ими сектантов, другие глубоко разочаровались в своей миссии и в крестьянах. А марксист Фесенко был, повидимому, принят шелопутами за давно ожидаемого ими пророка, и они устроили вокруг него исступленную религиозную пляску, закончившуюся дракой с православными крестьянами и арестом Фесенко.

По возвращении осенью 1875 г. в Киев я вновь нашел полную разрозненность и дезорганизованность среди революционеров: кружок Фесенко разбрелся в разные стороны, и я опять оказался одиноким. В неведении, что предпринять, я уже готовился отправиться в качестве волонтера к восставшим герцеговинцам, как это сделали некоторые революционеры, в том числе такие крупные, как Клеменц, Кравчинский, Сажин и др. Меня особенно побуждал к этому слух о том, что и Я. В. Стефанович, которого все, и я в том числе, считали серьезным юношей еще в гимназии (он на два класса был старше меня), тоже собирается в Герцеговину. Но стремление туда среди революционеров скоро прекратилось, т. к. русские добровольцы, невыносливые

и неприспособленные к тяжелым переходам в гористой местности, оказались только бременем для повстанцев. Отказался от своего плана и Стефанович, а вслед за ним и я.

* * *

Отчасти под влиянием этих сборов в волонтеры, я решил поступить вольноопределяющимся, мотивируя это себе тем, что военная тренировка пригодится мне для предстоящей у нас революции. Вскоре после поступления на военную службу мне, наконец, удалось связаться с существовавшим в Киеве кружком „южных бунтарей“. В нем я нашел тесную дружескую семью, к которой примкнул и я; с тех пор моя связь с революционерами-бунтарями уже не прекращалась.

В число членов этого кружка, состоявшего из последователей Бакунина, входил также Стефанович, являвшийся единственным лицом, которого я раньше знал немного. Кроме него туда входили: М. Ф. Фроленко, Виктор Костюрин, Сергей Чубаров, Иван Бохановский, В. И. Засулич, Мария Ковалевская, Мария Коленкина, Анна Макаревич и др., всего около 20-ти человек. Последние четыре, а также Стефанович, вскоре стали моими друзьями в течение моей революционной жизни. Кружок существовал под прикрытием легальной квартиры родителей Дебогория-Мокриевича, деятельного и инициативного его сочлена, являвшегося вожаком. Бунтарями они назывались потому, что согласно учению Бакунина проповедывали необходимость вызова бунтов и содействия им, так как революция должна была совершиться, как результат организованных революционерами народных восстаний.

Тяготея всей душой к этому кружку, я целиком воспринял его воззрения, вполне отвечавшие моему собственному настроению, но меня, еще не обстреленного юношу, первоначально никто из членов не посвящал в планы кружка и не предлагал в него вступить. Между тем, в первые же месяцы моего пребывания на военной службе мне пришлось принять некоторое участие в побеге от жандармов арестованного товарища, вследствие чего я и сам очутился на военной гауптвахте. Там к тому же у меня произошло небольшое столкновение с дежурным по караулу офицером; я поэтому предан был военному суду, и мне грозило большое наказание. Но при содействии Стефановича мне удалось бежать, после чего я стал „нелегальным“ *).

* * *

То было 19 февраля 1876 г. За мною, таким образом, оказался некоторый „стаж“: участие в освобождении, сидение под арестом, удачный и ловкий побег, переход в разряд разыскиваемых полицией. Я, конечно, целиком вошел в интересы кружка „бунтарей“ и вскоре затем был принят в число его членов. Оказалось, что задачей этого кружка был вызов среди крестьян Чигиринского уезда вооруженного восстания путем применения подложного от имени царя манифеста, в котором он советовал своему любимому народу перестать на него надеяться, а самому восстать с оружием в руках против всех своих врагов и притеснителей.

Это, будто бы царское, признание вполне совпадало со сложившимся представлением среди населения волновавшихся местностей, в том числе и, благодаря происходившим незадолго перед тем недоразумениям из-за порядка пользования землей, в некоторых волостях Чигиринского уезда. Там возникли целые легенды о зловредных планах и намерениях министров, направленных против крестьян и, наоборот, о доброжелательном к ним отношении царя. В виду этого чигиринцы отправили к царю ходоков, которых полиция, перехватив в пути, арестовала. Всеми этими обстоятельствами наш кружок решил воспользоваться для вызова вооруженного восстания.

План наш состоял в том, чтобы в устроенной в Киеве подпольной типографии отпечатать указанного выше содержания царский манифест, который, разъезжая верхом, а то и в телегах, открыто читать собираемым в селах и деревнях крестьянам. Затем, раздав им привозимое с собою для них огнестрельное оружие, вместе с ними приступить к отобранию от помещиков земли и предоставлению ее крестьянам в общинное пользование, а встречая сопротивление со стороны разного рода заинтересованных лиц и начальства, давать им решительный отпор. Так как по утверждению Бакунина, разделявшемуся бунтарями, все русские крестьяне готовы были в любой момент восстать, то нам казалось, что раз поднимутся крестьяне особенно возмущенного Чигиринского уезда, за ними, вероятно, немедленно последуют соседние уезды и губернии, а там пламя восстания, быть может, охватит значительный район: ведь в прошлые времена удавалось совершенно невежественным лицам поднимать народ против царствовавших деспотов,— почему же это не осуществимо для нас, революционеров, вооруженных знаниями, могущих запастись необходимыми для начала атрибутами — манифестами, оружием, лошадьми и т. д. Мы упускали из виду лишь одно: Россия XIX столетия, при тогдашней организации войск и полиции, при наличности телеграфа и железных дорог, совершенно не походила на прежнюю—времен Разина и Пугачева.

---

*) Подробно об этом см. „Четыре побега“, 1926 г.

Как бы то ни было, бунтари хотели верить своему кумиру, будто в России в любой момент легко вызвать восстание, и принялись за осуществление этой задачи. Вскоре после моего побега с гауптвахты состоялся съезд всех членов нашего кружка для выработки дальнейшего плана действий. Решено было отправить за границу Анну Михайловну Макаревич-Розенштейн для приобретения там типографского станка, шрифта и всех принадлежностей. Затем все остальные члены должны были расселиться в качестве крестьян под разными предлогами в местечках, селах и деревнях, соседних с Чигиринским уездом, как для ознакомления с топографией местности и с его населением, так и для устройства притонов для складов оружия и содержания лошадей. Средства на подготовку всего необходимого получались, главным образом, от некоторых более состоятельных членов нашего кружка; их было далеко недостаточно, но мы утешали себя надеждами, что нам удастся получить нужное количество, когда окажется настоятельная в них надобность.

С наступлением весны, самое позднее— в начале лета, все, казалось, будет подготовлено, и наша компания, распределив роли, торжественно появится в селах и деревнях, отчасти приготовленных к приему нас, посланных самим обожаемым батюшкой-царем. На словах все у нас было довольно гладко, даже детально, расписано,—словно в детской сказке, в действительность которой, однако, верили не только несовершеннолетние юноши, но и люди средних лет, к тому же не только умные, но некоторые даже выдающиеся: всюду в известные исторические моменты находил на наиболее отзывчивых и решительных современников своего рода гипноз, без которого, повидимому, история человечества не может двигаться вперед. Неизвестно, чем закончился бы подготовлявшийся нами призыв к вооруженному восстанию,— вероятно, очень печально, но, вследствие стечения непредвиденных обстоятельств, нам не пришлось парадировать в качестве направленных царем специально к чигиринцам посланцев.

В нашу штаб-квартиру в Елисаветград приехал из Киева некто Горинович, который, будучи арестованным в 1874 году, повыдавал всех, кого знал, в том числе Дебогория-Мокриевича, Стефановича, Марию Коленкину, за что его и освободили из тюрьмы, а названные им лица частью были арестованы, частью скрывались в качестве „нелегальных". Предположив, что в Елисаветград он приехал с намерением указать полиции разыскиваемых ею нелегальных, некоторые из членов нашего кружка, и я вместе с ними, решили устранить его. Но сделанное на него покушение оказалось неудачным: изуродованный Горинович вновь все открыл полиции, и наш кружок должен был, наскоро снявшись, удрать из всех поселений и притонов, переселившись далеко от Чигиринского уезда в большой университетский город Харьков. К этому обстоятельству присоединилась чрезвычайная задержка с получением из-за границы станка с типографскими принадлежностями, а также денежных средств. Словом, „прекрасно разработанный план" не осуществился, и, год спустя, кружок бунтарей ликвидировался (подробно об этом см. „За полвека", 1926 г.).

Только один его член не отказался от намерения вызвать восстание все в том же Чигиринском уезде. То был Яков Васильевич Стефанович. Он надумал, пользуясь взглядом крестьян на царя, создать тайное общество среди населения указанного уезда, для чего предъявил некоторым из крестьян заранее заготовленный царский манифест, уполномочивавший его действовать в качестве „комиссара". К этому плану из бывших членов бунтарского кружка Стефанович привлек меня, Бохановского и Чубарова. Это было в феврале 1877 г.

В короткое время в созданную нами среди чигиринцев тайную организацию вступило около 2.000 крестьян. Дело шло очень успешно; крестьяне, по нашему совету, заготовляли пики, мы собирались снабдить их огнестрельным оружием и осенью предполагали начать восстание, но, вследствие неосторожности одного члена „Тайной Дружины", как Стефанович назвал эту крестьянскую организацию, заговор был открыт властями, почти все члены были арестованы, в том числе и мы трое: Стефанович, Бохановский и я.

Очутившись в сентябре 1877 г. в Киевской тюрьме, при чем нам угрожала бессрочная каторга, мы стали думать о побеге. Единственным способом для его осуществления являлось проведение в число ключников своего товарища. После продолжительных хлопот и стараний осуществить это удалось нелегальному Михаилу Федоровичу Фроленко, поступившему в тюрьму в качестве надзирателя, конечно, с фальшивым паспортом, и в ночь с 26-го на 27-е мая 1878 года под видом коридорных часовых он вывел нас из тюрьмы. Затем на лодке мы, трое бежавших, спустились по Днепру в Кременчуг, а оттуда в качестве крестьян благополучно выехали в Петербург, избежав, таким образом, опасности быть пойманными, несмотря на предпринятые администрацией самые тщательные розыски. Пробыв несколько недель в столице, где мы близко сошлись с самой обширной тогда северной организацией народников, мы в конце июля, чтобы замести следы, отправились в Швейцарию.

Пребывание, хотя и непродолжительное, за границей принесло мне значительную пользу: оно укрепило во мне уже раньше начавшееся сомнение в правильности бунтарских взглядов и целесообразности прибегания к „авторитарному принципу“, как тогда называли пользование царским именем. Но, главное, я вернулся (летом 1879 г.) ярым противником систематического террора, который начал практиковаться в России после совершонного Верой Ивановной Засулич 24-го января 1878 года покушения на петербургского градоначальника ген. Трепова. Тех же взглядов придерживались и мои друзья—Я. В. Стефанович и сама инициаторша террора В. И. Засулич.

После неудачного покушения А. К. Соловьева на царя (2-го апреля 1879 г.) среди членов Северной организации, принявшей перед этим название общества „Земля и Воля“, начались горячие споры по поводу цареубийства: часть членов, во главе с Плехановым, считала гибельным для нашего движения продолжение таких попыток, другие, наоборот, находили, что только этим путем можно добиться политических свобод, без которых невозможна социалистическая деятельность.

Мы трое—Стефанович, Засулич и я—примкнули к Плеханову и его единомышленникам. В виду оказавшихся неудачными попыток на состоявшемся в Воронеже съезде создать прочный мир между указанными выше двумя фракциями, осенью того же года в Петербурге решено было разделиться на две совершенно независимые организации: на „Народную Волю“ и „Черный Передел“. В последний, кроме Плеханова, М. Попова, нас троих и еще других членов общества „Земля и Воля“, вошел также приехавший из-за границы в Россию старый наш товарищ П. Б. Аксельрод.

* * *

„Черный Передел“ задавался теми же самыми целями, что и общество „Земля и Воля“, т.-е. деятельностью среди крестьян на почве созревших у них стремлений, взглядов, путем прочно основанных в селах и деревнях поселений для постепенной подготовки народного взрыва, не прибегая к „авторитарному принципу“. Но вскоре оказалось, что основанные раньше землевольцами в некоторых приволжских губерниях поселения, главным образом вследствие происходившего в крупных городах террора, одно за другим исчезли. Заново же создавать их стало почти невозможным, отчасти в виду предпринятых правительством мер, в особенности же вследствие изменившегося настроения у революционной молодежи, начавшей тяготеть к террору. Поэтому от чисто народнической деятельности, волей-неволей, пришлось хотя бы на время отказаться. Оставалось приняться энергично за пропаганду среди рабочих. Это и стало, главным образом, задачей Плеханова и некоторых других чернопередельцев. Вскоре, однако, обнаружилось, что и среди лучшей части рабочих возникло увлечение террором: наиболее распропагандированные из них—Пресняков, Тихонов, Окладский — примкнули к народовольцам, а самый выдающийся из них, Степан Халтурин, предложил себя для совершения взрыва в Зимнем дворце, куда ему удалось поступить в качестве искусного столяра для исполнения необходимого там ремонта.

* * *

Между тем, полиция энергично разыскивала некоторых из нас,—Плеханова, Засулич, Стефановича и меня, которых по недоразумению III-е Отделение считало главными руководителями террора. Мы поэтому, будучи арестованными, могли за чужие грехи угодить на виселицу, чего не хотели допустить наши сочлены, настаивавшие, чтобы мы, перечисленные четверо чернопередельцев, хотя бы на время, вновь отправились за границу.

* * *

С большой неохотой мы согласились на это, так как отъезд в ту пору в безопасное пристанище нам казался почти подобным бегству с поля сражения. Но одно важное соображение примиряло нас с этой поездкой: все мы, в особенности же Плеханов, чувствовали, что произошла какая-то брешь в наших народнических взглядах. Продолжая оставаться анархистами, не признававшими политической борьбы, мы не могли не допускать, что в конституционных странах куда благоприятнее условия для социалистической деятельности, чем в самодержавной России. Начавшееся у нас, таким образом, сомнение в правильности нашего отношения к политической борьбе нашло подкрепление в произведениях Маркса и Энгельса, за изучение которых все мы принялись вскоре по приезде за границу. В результате проверки вынесенных нами из России социально-политических представлений, мы, бывшие члены „Черного Передела“—одни немного раньше, другие позже,—отказавшись от народнических взглядов, стали последователями основателей научного социализма. Осенью 1883 г. по моему, главным образом, предложению Плеханов, Аксельрод, Засулич, Игнатов и я основали марсистскую группу „Освобождение Труда“, целью которой стало распространение учения Маркса и Энгельса в России, главным образом среди рабочих, для развития классового их сознания.

В основанной мною для этого в Женеве осенью того же года типографии были на-

печатаны первые марксистские брошюры: Плеханова — „Социализм и политическая борьба“, а также Энгельса „Развитие социализма от утопии к науке“ и др. Нужно ли напоминать о том, что, за редкими исключениями, русские эмигранты всех направлений крайне враждебно отнеслись к нашему объявлению себя марксистами. Отчасти поэтому наше положение было во всех отношениях неимоверно тяжелым. Однако, наша небольшая группа не теряла уверенности в том, что, в конце-концов, разделяемое ею учение одержит в России верх над всеми видами утопического социализма. Но пока наступило это время, нам пришлось перенести много лишений, огорчений и страданий.

Начать с того, что всего полгода спустя после объявления о возникновении группы „Освобождение Труда“, меня, отправившегося в Германию для переправы в Россию контрабандным путем транспорта с первыми нашими марксистскими изданиями, арестовали во Фрейбурге, а затем выдали русскому правительству. Вскоре после этого очень ценный член нашей небольшой семьи, Василий Николаевич Игнатов, скончался. Потеря двух членов из пяти была, конечно, во всех отношениях чрезвычайно ощутительна для оставшихся в Швейцарии товарищей.

* * *

Не буду останавливаться на пребывании в тюрьмах, на суде, медленном передвижении по этапам и т. д., так как обо всем этом я давно уже подробно рассказал в книге „16 лет в Сибири“. Коснусь здесь только времени, последовавшего после моего побега из Сибири (весной 1901 г.).

Уже по пути в Западную Европу, начиная с Нью-Иорка, в Лондоне и в Париже мне приходилось кое-что слышать о положении социал-демократического движения в России. Я узнал также, что мои друзья, члены группы „Освобождение Труда“— Плеханов, Засулич, Аксельрод—соединились с прибывшими из России крупными молодыми их последователями—Лениным, Мартовым, Потресовым — и сообща издают превосходную газету „Искру“, а также непериодический журнал „Зарю“, быстро приобревшие большую популярность. Вскоре затем, в конце октября, я и сам получил возможность убедиться в правильности этих известий.

Побыв по приезде в Швейцарию некоторое время у моего старого друга, П. Б. Аксельрода, я отправился в Мюнхен, где поселились из молодых приезжих—Ленин, Крупская и Мартов, а из группы „Освобождение Труда“ В. И. Засулич и Блюменфельд,—Плеханов оставался в Женеве, а Аксельрод в Цюрихе, но в важных случаях они также приезжали на общие заседания. Мюнхен был выбран для редактирования, печатания и экспедиции названных органов печати по конспиративным соображениям, чтобы быть вдали от обширных русских колоний, а следовательно, вне наблюдений русской заграничной полиции.

В первые же дни моего приезда в Мюнхен я довольно близко сошелся с Лениным и его товарищами. Поэтому, когда Н. К. Крупская предложила мне вступить в незадолго пред тем организованную „заграничную Лигу русской соц.-демократии“, стремившуюся объединить всех живших за границей единомышленников группы „Искры“ и „Зари“, я охотно принял это предложение. Вскоре затем я также согласился вступить путем кооптации в администрацию Лиги, в состав которой входили Блюменфельд, Вечеслов и Лейтейзен.

* * *

Я поселился в Мюнхене. Туда же спустя короткое время приехали Плеханов и Аксельрод, чтобы сообща с остальными членами заняться рассмотрением проектов программы Росс. Соц.-Дем. Раб. Партии. На всех происходивших по этому поводу многочисленных заседаниях я также присутствовал. Когда же, как известно, собравшиеся не пришли к соглашению по поводу проекта программы, то была выбрана примирительная комиссия из В. И. Засулич, Ю. О. Мартова и меня *). После долгих убеждений мне, отправившемуся весной 1902 года в Швейцарию, удалось склонить Плеханова пойти на уступки и примириться с обиженным им Лениным **).

* * *

Несмотря на все предпринятые нами предосторожности, русской полиции все же удалось разнюхать, что „Искра“ и „Заря“ печатаются в Германии в немецких социал-демократических типографиях, и что редакция помещается в Мюнхене, почему она стала хлопотать об ее аресте. Узнав об этом своевременно, мы наскоро снялись и в том же почти составе перекочевали в Лондон. Там, кроме прежних занятий по редактированию, печатанию и проч., много времени и внимания поглощала у всех подготовка второго съезда нашей партии. Для этого был избран так называемый Организацион-

*) О моем участии умалчивают все, писавшие по этому поводу, а комментатор переписки Плеханова и Аксельрода, Б. Николаевский, вместо меня произвел в члены этой комиссии Ф. Дана, в то время уже арестованного в России. Так пишется история! *Л. Д.*

**) Об этом подробно сообщается в письмах В. И. Засулич, напечатанных в редактируемых мною сборниках „Группа Освобождение Труда“. *Л. Д.*

ный Комитет, в задачи которого входили содействие избранию и переправка за границу соответствующих делегатов. Для устройства последних по приезде их в Зап. Европу избрано было „Заграничное Бюро" организационного комитета, в которое по настоятельной просьбе Ленина я, скрепя сердце, согласился войти, на ряду с представителями от „Рабочего Дела" и „Бунда".

* * *

Не буду здесь останавливаться на этом съезде, приведшем, как известно, к распадению нашей партии на „большевиков" и „меньшевиков", так как имеются напечатанные протоколы его. Я примкнул к последним, но по разным причинам, о которых сообщу современем, фактически очень мало участвовал в их предприятиях.

* * *

О положении, возникшем после 9-го января 1905 г.—о всеобщей стачке и дарованных Николаем II „свободах", о моем затем возвращении в Петербург, об аресте меня (в январе 1906 г.), о ссылке меня в Туруханский край и моем побеге из Енисейска,—я подробно рассказал во 2-й части „Четырех побегов".

Здесь мне немногое остается сообщить о дальнейшей моей жизни.

После Лондонского съезда 1907 г. я вновь оказался на многие годы оторванным от России эмигрантом. Прожив три с чем-то года в Париже, я, в виду полученного от товарищей из Нью-Йорка предложения, отправился туда, чтобы редактировать затеянную ими рабочую газету на русском языке. Приняв это предложение, я зимой 1911 г. отправился в Америку, где прожил до осени 1916 г., когда вернулся в Лондон.

Известие о мартовской революции дошло до меня лишь спустя несколько дней, а отправиться на военном судне в Петербург удалось только в конце того месяца.

Дальнейшие события столь близки нам и так ярко запечатлелись в памяти каждого, что едва ли есть основание излагать их теперь.

Добрускина, Генриета Николаевна *).

Родилась я в 1862 г. 5 января в г. Рогачеве Могилевской губ. Семья наша жила в нужде: отец пробивался уроками. Он был романтик и мечтатель, далекий от жизни, свободолюбивый и патриот, мечтавший о старом Иерусалиме и грезивший им. Писал стихи на древнееврейском языке, жил одно время в Париже, где бывал у Виктора Гюго, которого боготворил, и умер в Палестине. Мать, более практичная, чем отец, несла всю тяжесть повседневной жизни. Она любила читать, и дом наш был наиболее интеллигентный в городишке. Вечерами устраивались чтения. Читали Гете, Гейне, Берне. Нас было 5 человек детей. Учились мы сначала дома. Одно время жил у нас и занимался с нами Млодецкий, впоследствии покушавш. на Лор.-Меликова и казненный. Была еще мала и определенных воспоминаний о нем не сохранила, кроме того, что он был выдающимся педагогом. Учились мы в пансионе „для благородных девиц". Как-то раз вечером пришла к нам знакомая акушерка, Кайранская, и привела своего брата, приехавшего к ней погостить. Весь вечер (это было в 1875 г.) он рассказывал о великом порыве хождения в народ, охватившем лучшую часть нашей интеллигенции. Притаившись в углу, мы, дети, слушали эти рассказы. Со мною вместе училась моя подруга, Дебора Познер, привлеченная впоследствии по Лопатинскому делу, высланная административно в Архангельскую губ., где она умерла. И вместе с нею мы стали мечтать о том, чтобы учиться, итти в народ и своими знаниями служить ему.

В 1876 г. поступила в Могилевскую Мариинскую гимназию. Гимназическая наука глубоко поразила меня. Наш маленький пансион был идеалом по сравнению с мертвенной гимназией. Мы зубрили теорию словесности, без смысла, в 5-м кл. решали задачи по арифметике. Эта школа могла отбить охоту к учению даже у святого. В 6-ом классе появился у нас новый учитель словесности, который упразднил „ъ" и начал разбирать литературные произведения, как отражения духовных стремлений русского об-ва. Все учение приобрело новый смысл. Учитель истории останавливался долго на истории французской революции и ее влиянии на жизнь других европейских народов. Оба эти учителя толкали нас на размышления, и к бессознательному стремлению, к порыву присоединялось сознательное отношение.

В Могилеве жил старый революционер, Езерский. Говорили, что он сидел в Петропавловской крепости, такой таинственной и страшной, и мне очень хотелось познакокомиться с ним. В 79 г. перед окончанием гимназии отправилась к нему. Ближайшее знакомство меня несколько разочаровало: ни о каких революциях не было и речи. Дальнейшему сближению помешало благодетельное начальство: Езерский был сослан в Архангельскую губ. Выслано было довольно много народу. По окончании гимназии уехала домой. Наши материальные дела были в самом хаотическом и безнадежном состоянии, и ни о какой поездке учиться дальше думать не могла. Уже с 6-го класса давала уроки и училась сама. По окончании гимназии мне предложили место гувернантки в Пропойске, местечке Могилевской губ. Приняла это предложение.

*) Автобиография написана в апреле 1926 г. в Ростове-на-Дону.

Все местечко было населено предпринимателями и рабочими, занимавшимися сплавом леса в Екатеринослав. Время прохождения плотов через пороги было страшное для предпринимателей: оно сулило богатство или разорение. В спокойное время шла беспрерывная карточная игра, выпивка и пошлые, двусмысленные разговоры. Нужно было большое усилие воли, чтобы не опуститься. Пришла болезнь—воспаление легких. Она была моей избавительницей. С возвращением здоровья отправилась в Могилев. Учитель словесности дал мне 30 руб., и на эти деньги я уехала в Петербург. Приехала с 12 руб., с громадным запасом энергии, жажды знания и деятельности.

Попала сразу в студенческую среду, поступила на Бестужевские курсы на естественное отделение. Начала искать работы, чтобы жить, и подходящей компании, чтобы учиться. Чем только не занималась я. Брала вышивание, переписку всяких бумаг, давала уроки французского языка и всетаки очень часто голодала.

Гораздо более повезло мне в поисках кружка саморазвития. Попала в кружок, изучавший сектанство. Занятиями руководил Яков Абрамов, писавший много по этим вопросам. Тогда сектанты рассматривались, как оппозиционная среда, наиболее доступная пропаганде. Несколько месяцев посвятили мы этой работе. Читали, писали рефераты. После сектанства занимались политической экономией. Начали с Чупрова, Янсона, постоянно спотыкаясь, ища объяснения, но постепенно, уча и учась, перешли на Адама Смита, Рикардо, Милля. Студенческая среда, в которую я попала, в общем была проникнута хорошими стремлениями, но сознательных революционеров, активных работников, принимавших участие в революционном движении, было мало; так же мало было в ней и реакционных элементов. С настоящими революционерами еще не встречалась.

В 1881 г. пошла 8 февраля в университет на акт. Профессор Бекетов в мундире, ленте и орденах читал отчет нудно, томительно. Наконец, он кончил. Начались доклады, и вдруг смятение, шум: студент Подбельский подошел к министру народного просвещения Сабурову и пытался дать ему пощечину. В это время с хор другой студент, приятель Подбельского, Коган-Бернштейн, *) произносил речь, требуя возвращения Устава 1864 г. и в то же время разбрасывая прокламации. Произошло замешательство, шум, ловля и подхватывание прокламаций. Когда все успокоилось, мы разошлись, взволнованные, получив революционный заряд. В феврале же умер Достоевский. Студенчество приняло горячее участие в похоронах, но чтило в нем петрашевца и бывшего каторжанина больше, чем знаменитого писателя. События следовали с неимоверной быстротой. Разразилось 1 марта 1881 г., глубоко потрясшее русское общество. Сидеть долго над саморазвитием уже не хотелось. Хотелось работы активной.

В это время у меня завязались знакомства в революционной среде.

Познакомилась с Ал. Блеком и стала работать: распространяла прокламации, хранила литературу, познакомилась ближе с программами существовавших партий. Все мои симпатии были на стороне Народной Воли и в Н. В. я и начала работать. Я много работала среди молодежи, устраивала кружки, да нередко вызывали меня для изложения программ революционной партий. 1 марта революционизировало не только меня, но и много таких, как я.

Наиболее отзывчивыми оказались курсистки естественницы и студенты естественники. На курсах чаще стали сборы в пользу заключенных, ходили в качестве невест и родственниц на свидание к заключенным. Еще в 1880 г. познакомилась и подружилась с кружком поляков: Станкевичем, Плосским, Дембским, Рехневским, графом Зубовым—русским из Шавлей, но работавшим вместе с поляками. Он сделался пролетариатцем впоследствии и участвовал в переговорах о соглашении с Н. В. Мои отношения с ними позднее из простой дружбы обратились в революционную связь.

На курсах близко сошлись с однокурсницей Софьей Сладковой, поселились вместе на Петербургской стороне, на Б. Дворянской, и устроили у себя конспиративную квартиру.

Здесь встречались народовольцы; у нас же позже происходили переговоры между народовольцами и пролетариатцами. К нам же после своего мнимого побега явился и Дегаев. Он произвел на меня отталкивающее впечатление своими бегающими глазами. Инстинктом почувствовала в нем предателя. Я высказала Куницкому свои сомнения. О провокации его еще тогда не знали.

Ушла с головой в революционную работу. Сладкова ушла от меня хозяйкой типографии, и я поселилась одна. Начала подумывать об исполнении моего самого заветного желания—работать среди рабочих. П. Ф. Якубович познакомил меня с учителем городской школы Ив. Иван. Поповым, который познакомил меня со студентом Мойсеевым, и мы все 3 работали среди рабочих Петербурга. Выдающихся рабочих не встречала тогда, и мои знакомцы делали первые революционные шаги. Весной 83 г.

*) Казнен в 1889 г. по Якутскому делу.

нужно было вести литературу в Белосток; с этой литературой поехала я. Литература предназначалась для рабочих. Там встретила рабочих, уже более распропагандированных, а один из них, ткач, еврей, сам руководил революционными кружками и организовал их. Там же нашла я и интеллигентский кружок. Из Белостока поехала в Варшаву. Там ставилась типография. Хозяйкой квартиры, где находились шрифт и все принадлежности, была Софья Онуфрович, моя старая приятельница, потом жена Эдмунда Плосского. В Варшаве в это время были Людвиг Варынский, Дулемба, Плосский, Янина Ентыс, классная дама института, которую называли польской Перовской. Поразила меня их неконспиративность. Ходили мы все вместе обедать. Давали нам всегда отдельный кабинет. Подавал лакей, который, мне казалось тогда, отлично понимал, что мы за люди. На свадьбе Плосских были мы все, и все сходило. Думаю, что такое отношение объяснялось ненавистью поляков к официальной России. Рабочие поразили меня своим внешним видом,—их трудно было отличить от интеллигентов. Они были тогда и развитее и революционнее наших рабочих. Пролетариатцы поручили мне связать рабочую организацию Белостока с Варшавой; в „Пролетариат",—орган поляков, — должны они были посылать отчеты. Осенью 83 г. вернулась в Петербург. Мне дали паспортный стол, который вскоре пришлось передать в другие руки, а сама я переселилась на Пушкинскую улицу, где жили мы вместе с курсисткой Константиновой. В это время возникает новое течение в Н. В., известное под названием „Молодой Н. В." Представителем его является П. Ф. Якубович. Многие из нас сознавали тщетность усилий интеллигенции, не опирающейся на массы, и в поисках выхода набрели на аграрный и фабричный террор. К Якубовичу присоединилось много петербургской и киевской молодежи. В то время мое отношение к „Мол. Н. В." еще не вполне определилось, хотя многие из их положений были близки мне. Вместе с Якубовичем и его невестой, Розой Франк, моими большими друзьями, ко мне часто являлся Овчинников, бежавший из Сибири. По возрасту и стажу старше всех нас, он в некоторых кругах пользовался большим уважением, другие же подозревали его в провокации. Я также относилась к нему с недоверием; Петр Филиппович, наоборот, сильно доверял ему, несмотря на то, что многие совпадения при арестах с его посещениями наводили на нехорошие мысли. 16 декабря был убит Судейкин. В конце декабря пришел ко мне Степурин-артиллерист—член военной организации Н. В., *) с которым часто встречалась. Томился он ужасно. Он был подавлен раскрывшимся перед ним предательством Дегаева, которого он уважал и который привлек его к участию в революции. Он точно чувствовал, что скоро будет арестован. И действительно, когда он вернулся домой, его уже ждали, и он был арестован. Из Петербурга уехал В. И. Сухомлин, член Распорядительной К-сии. В январе 84 г. была арестована Киевская типография, где был взят адрес прис. повер. Тура. Арестованный Тур сказал, что письма передавал мне. За мной началась слежка.

Петр Филиппович Якубович дал мне связи с Ростовом н/Д., рассчитывая на то, что там найду кружок „Молодой Народной Воли". Перешла на нелегальное положение и уехала в Ростов. Через местного деятеля Мелькона Каялова нашла старого народовольца А. Баха и местную группу. Тут жил и предатель на нашем процессе, Елько. Местная группа прекрасно работала. Во главе ее стоял Петр Пешекеров. Здесь взялась за работу среди рабочих. Среди них еще веял дух Панкратова и Борисовича. Из фамилий у меня осталась только одна—это Августа Райха. Его показания читались на суде. Кружков было несколько. Ходили мы заниматься на каменоломни, при чем приходила туда я одна, а рабочие собирались позже. Обратно мы возвращались вместе, так как был поздний час. Читала им в популярном изложении главы из „Капитала" Маркса о прибавочной стоимости, о трудовой ценности, „Коммунистический Манифест", знакомый мне давно в русском переводе. Занятия с рабочими давали большое нравственное удовлетворение. Между нами установились дружеские отношения. Они знакомили меня с положением рабочих в Ростове. У нас было взаимное понимание и тяготение. В Ростов тем временем съезжалось много нелегальных. Ставилась типография, хозяевами которой были Раиса Кранцфельд и Васильев, которого мы звали „Михаилом". Работали Сергей Иванов, Петр Антонов. Изредка работала я. Потом приехал офицер из Екатеринослава, фамилию которого не помню. Достаточного количества шрифта не было и нужно было его раздобыть. Для этого поехала в Новочеркасск, свела знакомство с печатниками, раздобыла целый чемоданчик шрифта, и наша типография заработала. Пришлось мне свести знакомство и с предателем Геером, кот. чинил у меня на квартире 4 бомбы, привезенные из Луганска. Они хранились у меня. В августе ездила в Ейск к Луке Колегаеву за деньгами для Н. В.

За ними, так же как и за снарядами, приезжал в Ростов Герман Александрович Лопатин. Как известно, приезд Лопатина объединил в России враждующие направления. Он занялся собиранием Н. В.

*) Должен был судиться с нами. Зарезался в Доме Предварительного Заключения.

В сентябре уже начал выходить № 10. Все вышедшие №№ „Н. В.“ лежали у меня в ларе, который стоял на веранде. 6-го октября в Петербурге были арестованы Лопатин и Салова. 16 октября я была арестована на улице. Кроме меня арестована была вся местная группа. Меня привели домой, когда обыск был уже окончен. Когда меня вели через веранду, жандармский полковник спросил хозяйку — нет ли где еще моих вещей. С трепетом смотрела на нее, но она ответила, — „нет“. И меня увезли. 10 № был спасен и передан по принадлежности. После 2-х недельного сидения в Ростове, где я не назвала своей фамилии, после очных ставок была увезена в Петербург, где до суда просидела в Петропавловской крепости и в Доме предварительного заключения около 3-х лет. Судилась по процессу Г. А. Лопатина. Суд—это экзамен для каждого революционера. Одеваешь праздничное платье и сам какой-то праздничный. Здесь проявляется стойкость, убежденность человека и революционера. С глубоким волнением ждала обвинительного акта и суда. Еще раньше управляющий Домом предварит. заключения, полковник Ерофеев, говорил мне, что Елько выдает злостно, но я ему верить не хотела. И вот нам вручили обвинит. акт. Сколько горьких разочарований: Елько, человек, преданный революции, оказался злостным предателем; другим предателем обнаружился Геер,—но от этого ничего я и не ждала. Сколько слабости! Зато с каким восторгом смотришь на смелых и стойких. Процесс наш начался 4-го июня 1887 г. 15 человек были приговорены к смертной казни, в т. ч. и мы с Саловой. Казнь заменена каторгой и поселением. На мою долю выпало 8 лет каторги. 18 июля мы с Саловой были наряжены в арестантские костюмы и выведены в контору, где собрались уже П. Ф. Якубович, В. И. Сухомлин и др. Мы были направлены на Нерчинскую каторгу, на Карийские золотые промыслы. В пути мы были около года и на Кару приехали в октябре 88 г. Еще в пути мы узнали об увозе Ковальской и о Карийских волнениях. С тяжелым чувством вошли мы в тюрьму. Все время сиденья было сплошной трагедией. Участвовали в двух голодовках: в 8 и в 16 суток. Год просидели в одной камере с душевнобольной Тринидатской. О смерти наших товарок узнали только в январе 1890 г. Осенью в 1890 г. вышла в вольную команду; вскоре вышла замуж за Адриана Федоровича Михайлова, в 1895 г. мы вышли на поселение. Жили мы на приисках на Витиме, а затем Рос. Золотопром. о-ва недалеко от Читы. Там устраивали бесплатную школу для детей рабочих, в кот. одна занималась. Имела 18 учащихся. В 1900 г. уехала в Читу, куда мужа не пустили, как особо опасный элемент. Через год и он переехал в Читу. Когда возникло с-р.-ское движение, оно вызвало мое сочувствие, как почти всех стариков. В Чите занималась уроками, имела массу учеников и занималась краснокрестовской работой, а в 1905 г. образовался местный Комитет, в кот. вошла вместе со многими из наших стариков и из молодежи, выросшей на наших глазах. Нами был увезен с дороги в Баргузин Карпович, увезена из Читинской тюрьмы Мария Масликова, погибшая в 1907 г. во Владивостоке при восстании на миноносце „Скорый“, убит тюремный инспектор Мегус и т. д. После освобождения из тюрьмы А. Ф. (он сидел за 905 г.) мы 11 июня 1907 г. вернулись в Россию, в Одессу, где в течение 10 лет работала среди женщин-работниц и вела краснокрестовскую работу, часто в одиночестве. После переворота была избрана представителями партий и Сов. Раб. Деп. председательницей комитета помощи политическим амнистированным. В настоящее время живу в Ростове-на-Дону.

Дрей, Михаил Иванович *).

Я родился 14/27 сентября 1860 г. в Одессе. Здесь я прожил детство и юность и был арестован в 1881 г. Меня приговорили на каторгу и сослали в Сибирь. Через 19 лет, по окончании каторги и ссылки, я вернулся в Одессу. Наш старый дом на Успенской улице был еще цел и, повидимому, никаким перестройкам не подвергался. Побывать внутри дома и посмотреть старое пепелище, с которым так тесно было связано мое детство и юность, мне не удалось. Дом уже давно был продан, в нем жили чужие люди, да и времени не было: меня полиция усиленно выпроваживала из Одессы, где мне жить не полагалось. Я успел только повидаться с сестрами и несколькими товарищами, вернувшимися из Сибири и жившими в Одессе, и уехал.

Отец мой был врач, родом из Германии, и хотя еврей по происхождению, был насквозь пропитан немецким духом и немецкими симпатиями. Дома мы говорили по-немецки, первые слова, которым я научился, были немецкие, и первые книжки, которые я стал читать, были тоже немецкие.

Когда я вспоминаю ранние годы моего детства, мне всегда представляется длинный-длинный летний день, и я брожу с своей собакой Вапсом по двору, по небольшому саду за двором и по пустырю, поросшему сорной травой и бурьяном, среди которого стояла голубятня. Это был целый большой и интересный мир, который мне никогда не надоедал. Цветы в саду,

*) Автобиография написана в марте 1926 г. в Москве.

жуки и бабочки, которые в нем водились, голуби в голубятне—все это представляло столько поводов для наблюдения и развлечения, что я никогда не испытывал скуки.

Товарищей у меня в детстве почти совсем не было. Изредка только приходил ко мне мой двоюродный брат — сверстник. Постоянным же товарищем моих детских игр был Вапс. Мы с ним очень хорошо друг друга понимали, и симпатии и вкусы у нас были одинаковые. Оба мы не любили кошек и преследовали их всеми доступными нам способами.

В доме я был самым младшим. Три сестры и брат были все старше меня, ходили в школу и большую часть дня проводили вне дома. Отец был занят своими больными и возвращался поздно. Дома оставалась только мать и я. Часов в шесть приезжал отец, и вся наша семья собиралась к обеду. Обед проходил обыкновенно очень оживленно. Помню, раз сестры очень много рассказывали про свою школьную подругу Ольгу Вагнер. Я сидел и слушал, а потом мне тоже захотелось принять участие в общем разговоре, и я спросил: „а как имя Ольги Вагнер?“ Раздался общий дружный взрыв смеха. Я сконфузился, собрался заплакать и сполз со стула под стол, где очутился в обществе Вапса и скоро успокоился.

Когда мне минуло шесть лет, меня начали учить грамоте. И опять немецкая азбука была первая, которой я научился. Учили меня сестры и учили очень плохо и никакой охоты к учению во мне не возбудили. Я во время уроков скучал и ленивался, да и Вапс не любил, когда меня учили. Он демонстративно зевал, клал мне голову на колени и иногда повизгивал.

Лет 7 меня отдали в пансион, который содержал француз Буфье. Учительницами были две его дочери. Чему я здесь учился и как, я совершенно не помню. Помню только, что был у нас учебник в серо-голубой обложке, который назывался „Елка“. В этой школе я оставался, повидимому, недолго и вскоре опять очутился дома на попечении сестер. Но, как я уже говорил, сестры были плохие педагоги, и я учился неохотно.

Помню, как около этого времени (мне было лет 7—8) мать мне делала внушение за то, что я плохо учусь. Она говорила, что, если я ничему не научусь, я ни к чему не буду пригоден, никакой пользы людям приносить не буду, и меня никто любить не будет, напротив меня все будут высмеивать и пренебрегать мною. Этот разговор произвел на меня тогда сильное впечатление. Я и до сих пор помню всю обстановку комнаты, кресло, в котором сидела мать, и выражение ее лица. Мне до тех пор никогда не приходило в голову, что человек должен быть полезен другим людям. Мать моя вообще часто читала мне поучения. Но она никогда в них не упоминала бога. Она всегда только говорила о людях. Одного нельзя делать, потому что люди осудят или высмеют; другое нужно делать, потому что это полезно людям. Но тем не менее ни она, ни отец не были безбожниками. Напротив, они в бога верили, и существование бога никогда сомнению не подвергалось. Но бог, в которого верили у нас в доме, был бог далекий, которому никогда не молились, с которым никогда не советовались, но которого тем не менее признавали и относились к нему с почтением.

Когда мне было 10 лет, меня отдали в гимназию. Но родители мои не решились меня отдать в казенную гимназию, а отдали в частную гимназию Ставилло, где, по их мнению, подбор учеников был лучше, и я не так легко мог подвергнуться каким-нибудь дурным влияниям.

В год моего поступления в гимназию умерла моя мать. Я совершенно не подозревал, что она опасно больна, а в семье скрывали от меня ее положение. Притом же она, хотя и лежала в постели, была довольно бодра, всем в доме распоряжалась и, когда я приходил из гимназии, всегда расспрашивала, как у меня прошел день. Правда, в последние дни ей стало хуже, и меня к ней не пускали. Из Москвы приехала старшая сестра, чтобы повидаться с матерью, и в доме замечалось несколько подавленное настроение и тревога. Но я был так наивен и недогадлив, что ничего не понял, и в день смерти матери лег так же спокойно спать, как и всегда. Утром меня разбудил громкий плач сестер. Я в испуге приподнялся с постели и спросил случайно зашедшую в комнату горничную, кто это плачет. Она ответила, что плачут Соня и Наташа. „А что мама?“ спросил я. „Мама уже умерла“, ответила она совершенно спокойно. Я выскочил из постели и с плачем бросился в комнату матери, но туда меня не пустили. Меня привели обратно в мою комнату, умыли, одели и стали успокаивать.

Это было первое мое тяжелое переживание. И много дней под ряд я не мог отделаться от страха и тупого ужаса, которые овладели мною в первую минуту. Только очень постепенно время сделало свое дело, и я опять вошел в нормальную колею и стал интересоваться окружающей жизнью и своими детскими делами.

Приблизительно через год после смерти матери мы отправились с отцом путешествовать. Он повез нас сначала в Москву, где жила наша старшая сестра с мужем, а оттуда в Вену на выставку и в Германию. В южной Германии мы объездили много городов: Мюнхен, Гейдельберг, Ню-

ренберг и др. Но от всех этих городов и их достопримечательностей у меня осталось мало в памяти. Гораздо большее впечатление произвели на меня маленькие сельские города, которые мы посещали, с их зелеными Anlagen и садами. Это детское впечатление оказалось таким прочным, что, когда, около 30 лет спустя, уже после возвращения из Сибири, я вместе с женой ехал в южную Германию, я ей характеризовал ее, как один цветущий зеленый сад.

Очень яркое впечатление осталось у меня от маленького городка Heidingsfeld'a возле Вюрцбурга, родины моего отца. Мы целый день пробродили по городку, и отец все время делился с нами воспоминаниями о своем детстве и юности. Посетили дом, где он родился и вырос.

Осенью мы вернулись в Россию, и я опять стал ходить в гимназию Ставилло.

Когда мне минуло 14 лет, отец решил перевести меня в казенную гимназию, но у Ставилло я успел приобрести не очень много знаний, особенно по древним языкам, и мне для подготовки взяли учителя. Я с ним прозанимался целый год и только в 15 лет попал в четвертый класс казенной гимназии. Здесь я почувствовал себя в совершенно другой атмосфере и под ее влиянием стал сам быстро меняться. В казенной гимназии не было и следа того снисходительного и доброжелательного отношения, к которому я привык в гимназии Ставилло. У Ставилло на нас смотрели как на детей: о нас заботились, к нам присматривались, нас щадили. Здесь все было иначе. Здесь господствовал сухой, казенный формализм; здесь на нас смотрели, как на существа, глубоко испорченные, которые можно исправить только сильно-действующими средствами. Такими средствами признавались: единица, карцер и исключение из гимназии. Я очень скоро ощетинился и стал относиться враждебно и к гимназическим порядкам и к учителям. Та голубая дымка, которой раньше были окутаны для меня учителя, стала быстро рассеиваться, и я разглядел сквозь нее, что учителя далеко не совершенство. Я стал замечать, что они часто несправедливы и мелочно-мстительны. Из скромного, воспитанного по-немецки мальчика, которому постоянно внушали, что он должен быть „artig", я превратился в буйного, дерзкого гимназиста. Отцу постоянно приходилось выслушивать жалобы гимназического начальства на мое буйное поведение в гимназии. Отец совершенно терялся и не понимал, что со мною делается. Он бранил меня, читал нравоучения, но ничто не помогало.

Раз, по жалобе учителя греческого языка, посадили в карцер маленького, очень любимого нами ученика третьего класса. Даже с точки зрения гимназического кодекса мальчик не совершил никакого преступления. Но злобное ничтожество, которое преподавало греческий язык, не могло выносить существа, смотревшего радостно и без злобы на мир божий. Мальчик страшно плакал. Его не столько пугала тяжесть наказания (его посадили на 12 часов), как грубая несправедливость, которую над ним совершили. Наш класс—четвертый—заволновался, и по адресу учителя греческого языка и гимназического начальства стали раздаваться в коридоре умышленно громкие, не особенно лестные восклицания. Разошлись мы из гимназии возмущенные происшедшим и взволнованные. Мы знали, что завтра начнется расправа над нами, что мы будем посажены в карцер, а некоторые, может быть, будут и исключены. Каково же было наше удивление, когда мы пришли на другой день в гимназию, и никакой расправы над нами учинено не было. В гимназии все было тихо и спокойно, уроки шли обычным порядком, только учителя были несколько более сдержаны, снисходительны и, пожалуй, даже ласковы. На третий день все объяснилось. После нашего ухода из гимназии с учеником, посаженным в карцер, сделался тяжелый нервный припадок. Пришлось позвать врача. Тот признал положение ученика очень серьезным, и ученика на извозчике увезли домой. Получился скандал, в городе заговорили о происшествии в гимназии. Начальство струсило, поджало хвост и стало явно подделываться к нам, чтобы утишить бурю. Наше уважение к начальству от этого не возросло, и авторитет его в наших глазах не укрепился.

Такова была атмосфера в гимназии, и под влиянием ее то дремотно-мечтательное состояние, в которое я был погружен в детстве, проходило, и голубой туман, окутывавший жизнь, рассеивался. Кончалось детство, я становился юношей.

До поступления в казенную гимназию и первое время в ней я ничего, кроме детских книг, не читал, и они меня вполне удовлетворяли. Теперь я потерял к ним вкус. Все свободное от гимназических занятий время я проводил с товарищами. Мы гурьбой ходили по городу, по бульвару, спускались в гавань, катались на лодке. Я совсем одичал и исхулиганился. От прежнего благовоспитанного мальчика не осталось и следа. Но в это время, когда мое хулигански-отрицательное настроение достигло уже своего апогея, мой двоюродный брат—сверстник, принес мне том Писарева и очень рекомендовал прочитать.

О Писареве и его влиянии на меня в моих старых тетрадях сохранилось несколько довольно обширных заметок. Вот некоторые выписки из них: ...„кажется, это был шестой том со статьей „Наша универ-

ситетская наука". Впрочем, я не уверен, что это именно она была. Одно я помню хорошо: наша гимназическая система подвергалась злой и едкой критике. Я читал сначала с удивлением, а по мере того, как подвигался вперед,— с все возрастающим интересом. Никогда я ничего подобного не читал. Никогда я не читал книги, которая была бы мне так близка, которая сообщала бы мне громко и ясно мои же собственные, у меня же подслушанные мысли. Но эти мысли, бывшие раньше неясными и походившие больше на предчувствия, чем на мысли, превратились теперь в отчетливую, твердую уверенность. Статью я читал с жадностью, останавливался на некоторых местах и перечитывал их. Поздно ночью я лег спать, утомленный от умственного напряжения, но спокойный и счастливый. Я чувствовал, что я не один на свете со своими мыслями, что большой и умный человек думает совершенно так, как и я. Теперь я уже наверное знал, что латынь и греческий—ненужный вздор, придуманный для того, чтобы притупить умственные способности и заглушить живые интересы учеников. Знал я это и раньше, но теперешней твердой уверенности у меня не было...

С этого дня моя жизнь радикально изменилась. Вместо бесцветного, полусонного существования — энергичная и оживленная умственная жизнь. Я один за другим перечитал все томы Писарева: его статьи по естествознанию, „Реалистов" и т. д. Статьи по естествознанию и особенно „Прогресс в мире животных и растений"—произвели на меня, можно сказать, потрясающее впечатление. Все старые, традиционные взгляды, усвоенные мною с детства без критики, разлетелись, как дым. Мир лежал передо мной простой и ясный, и я сам стоял среди этого мира спокойный и уверенный. Ничего таинственного, пугающего, непонятного в мире для меня не осталось, и я думал, как гетевский Вагнер, что я многое уже знаю и со временем узнаю все...

В одно светлое зимнее утро я проснулся с особенно ясной головой. Было воскресенье, и я вставать не торопился. Я оперся на локоть и стал думать. Мысли в это утро особенно плавно и стройно текли в голове. Я чувствовал себя уравновешенным и спокойным, и мне казалось, что никаких прорех в моем миросозерцании нет, что никакие колебания и сомнения более невозможны, и что я навсегда приобрел твердую почву под ногами...

Теперь, оглядываясь назад, я вижу, что это было лучшее время моей жизни. Никогда больше я не испытывал так интенсивно того восторга, который дается первым пробуждением мысли и впервые раскрывающейся перед тобой истиной.

Наблюдательность моя,благодаря умственному толчку, очень обострилась за это время. Мотивы поведения людей, особенно взрослых, которые были для меня раньше окутаны каким-то таинственным туманом, теперь становились ясными. Я замечал и колебания, и растерянность, и слабости взрослых. Да и другие явления, которые раньше вызывали страх или, по крайней мере, жуткое чувство, теперь действовали на меня совершенно иначе"...

Это бодрое и приподнятое состояние продолжалось несколько месяцев. Потом оно стало постепенно ослабевать и, наконец, совсем исчезло. Об этом времени у меня тоже есть заметки в моих старых тетрадях. Делаю из них несколько выписок:

...„А дальнейшее очень отличалось от только что рассказанного.

С некоторого времени я с удивлением и досадой стал замечать, что умственная бодрость и обостренность всех способностей начали ослабевать. Состояние душевной ясности, спокойствия и внутренней цельности стало заменяться какой-то тревогой и неуверенностью. Да и самое мое миросозерцание уж не казалось мне таким цельным. Где-то в нем образовалась трещинка, но где—я еще не знал...

...Я пробовал проверить свое миросозерцание заново, с начала до конца. Я думал: в основе мира лежит механический принцип и только механический. Никакие таинственные силы не управляют миром. Это для меня несомненно. Значит, нет и тех обязанностей, которые возложены на нас будто бы этими таинственными силами. Обязательно только то, что разумно. Итак, разумный эгоизм по отношению к себе; по отношению к другим—такое поведение, которое давало бы возможность жить самому, не мешая также жить и другим. Если все общество будет состоять из разумных эгоистов, то и жизнь общества будет разумна.

Все это рассуждение было, по моему тогдашнему мнению, совершенно правильно и логично, а между тем, что-то в нем меня не удовлетворяло, и оно моей душевной смуты не успокаивало. Я спрашивал себя: что же дальше? Положим, я кончу гимназию и университет, изучу какую-нибудь специальность и буду жить самостоятельно. Неужели только и всего? Неужели такая жизнь может удовлетворить? Мне становилось тоскливо от этих мыслей. Эта перспектива умеренности и аккуратности меня душила. Я по целым дням ходил, как в тумане, а легче не становилось.

В это время уже шла Сербо-Турецкая война, отправлялись добровольцы в Сербию, готовилась Русско-Турецкая война.

Я под влиянием внутреннего разлада стал нелюдимым и раздражительным. Отчаявшись найти в книгах ответ на свои сомнения, я по целым дням шатался по

городу. Охотнее всего я проводил время в гавани и здесь часто присутствовал при отправках добровольцев в Сербию. Теперь я стал думать о Сербии, сербской войне и добровольцах, которыми до тех пор очень мало интересовался. Я стал себя ловить на том, что мечтаю сам стать добровольцем. Так шло время. Сколько его прошло, я не помню, мне оно казалось бесконечным...

Под влиянием отрицательного отношения к гимназии я, раздражительный и неуравновешенный в последнее время, стал крайне груб с учителями, в особенности с нелюбимыми. Долго гимназическое начальство терпело мои грубости и боролось с ними домашними средствами. Наконец, терпение его истощилось, и в один прекрасный день меня исключили из гимназии за очень непочтительный отзыв о нашем классном наставнике (паршивый классный наставник). Когда утром на другой день я пришел в гимназию, наш инспектор, несколько конфузясь, сообщил мне, что я исключен по решению педагогического совета. Я собрал свои книги и ушел. Но пошел я не домой, а в лавочку Менделя, где мы обыкновенно завтракали. Домой итти я не торопился. Я знал, что там меня ждут только упреки“.

Во время большой перемены лавочка наполнилась людьми: пришли ученики старших классов. Все они были очень возбуждены, ругали нового учителя, который начал свою деятельность с доноса *), выражали мне свое сочувствие и т. д. А один из учеников восьмого класса пригласил меня к себе, прибавив, что теперь у меня будет много свободного времени, а у него есть интересные книги, которые он мне охотно даст для прочтения.

Я чуть ли не в тот же вечер отправился к нему и принес домой целую пачку книг и брошюр. Это были несколько книг журнала „Вперед“ и др. революционные издания, между прочим „Хитрая механика“. С этой последней я и начал свое чтение.

Эта элементарно, чуть не по-детски, написанная книжка разрешила многие мои сомнения, которые мне долго не давали покоя. Я узнал из нее, что общество состоит из враждебных групп: из угнетающих и угнетенных. Что между этими группами идет борьба, и что водворить порядок, правду и справедливость в обществе можно только, приняв участие в этой борьбе на стороне угнетенных. Теперь мне ясно было, что, сколько не веди разумной жизни, это не внесет никакого изменения в общественные отношения, и что Писарев со своим отрицанием общественной деятельности, действительно, приводил в область умеренности и аккуратности. Я прочитал и остальные все книги и брошюры и еще более укрепился в своих новых мнениях.

Ученик 8-го класса, давший мне эти революционные издания, потом участия в революционном движении не принимал. Он благополучно кончил университет и устроился недурно на жизненном пиру. Но я ему искренно благодарен за его поступок, о котором он, может быть, потом пожалел. Он помог мне выйти из тяжелого душевного кризиса, разобраться в явлениях общественной жизни, относительно которых у меня в голове, благодаря Писареву, была большая путаница.

Когда меня исключили из пятого класса, я был уже юноша довольно великовозрастный: мне шел 17-й год. Очутившись вне гимназии, я решил сам готовиться к окончательному экзамену. Отец мой, хотя и не особенно доволен был моим решением, в конце-концов, согласился со мной, тем более, что ничего другого не оставалось делать. Итак, я стал готовиться. Но в то же время я, уже войдя во вкус революционной литературы, стал ее усердно разыскивать и читать. Странно, что за все это время — два слишком года, которые прошли после моего исключения до окончания гимназии, я не встретил ни одного выдающегося революционера. Я встречал только юнцов—учащуюся молодежь, которая делилась со мною своими запасами нелегальной литературы. В это же время я прочитал Добролюбова, кое-что из Чернышевского и вообще далеко ушел от Писарева.

Ранней весной 1879 г. я уехал в Бердянск, про который ходили слухи, что там легко держать экзамен. Но, тем не менее, мне пришлось там прожить и готовиться целый год, прежде чем я мог с уверенностью в успехе приступить к окончательному экзамену.

В Бердянск я приехал вместе с товарищем, который тоже собирался держать экзамен. Первым нашим действием по прибытии в город было — наклеить ночью на здании гимназии прокламацию. Прокламация провисела довольно долго, и многие гимназисты ее прочли. Наконец, об ней узнали власти и сорвали ее. По произведенному расследованию оказалось (так показали очевидцы), что ночью с парохода, прибывшего в Бердянск, сошли два человека, подошли к зданию гимназии и через некоторое время опять вернулись на пароход, который ушел по направлению к Таганрогу.

В Бердянске я застал целую группу революционно-настроенных гимназистов. Они читали и толковали много об общественных вопросах. Интерес к этим вопросам у них был живой и серьезный. Во главе группы стоял Н. Л. Геккер. Он был наибо-

*) О моем непочтительном отзыве донес педагогическому совету учитель, который на-днях поступил в нашу гимназию.

лее начитанный из всех, обладал наибольшей инициативой и был душой всей группы.

К этой группе я примкнул и в тесном общении с нею провел целый год. Эта группа была для меня настоящей находкой. Это было именно то, что мне нужно было в это время. Я вместе с новыми товарищами читал, обсуждал прочитанное, спорил... Так прошел год, настала весна 1880 г. Нужно было, наконец, как-нибудь покончить с гимназическими экзаменами, перебраться в университетский город и заняться по-настоящему, серьезно революционной работой. Ни один из нас не думал кончать гимназию и поступать в университет ради университетской науки. Университет был для нас только удобным положением для революционной работы. Один из наших товарищей, член группы, но не гимназист, этой осенью должен был призываться на военную службу. Так как он никакого учебного заведения не кончил и никаких льгот по образованию не имел, ему пришлось бы прослужить шесть лет.

Мы считали товарища очень ценным для революции человеком и опасались, что он, уйдя на шесть лет на военную службу, будет потерян для революции. Поэтому мы решили, что кто-нибудь должен выдержать за него экзамен и, таким образом, добыть ему льготу по воинской повинности.

Самым подходящим для этого человеком был я. Товарищ был мещанин, и у него в паспорте были указаны его приметы. Я довольно хорошо подходил под эти приметы. Фотографических карточек от тех, кто держал экзамен, тогда еще не требовали. Итак, было решено, что за товарища буду держать экзамен я. За меня же взялся держать экзамен другой товарищ. Это было даже выгодно для меня, так как товарищ, взявшийся держать экзамен за меня, был гораздо лучше меня подготовлен к нему.

Так как в Бердянске нас все знали, и там держать экзамен друг за друга нам нельзя было, мы переехали в Полтаву и там подали в гимназию наши бумаги. Наша проделка вполне удалась, и ранним летом 1880 г. я вернулся в Одессу со свидетельством об окончании гимназии.

Теперь я был студентом. Это положение, которое мне и полагалось занимать по моему возрасту и общественному положению отца. Теперь я ничем не выделялся среди своих сверстников и мог делать, что хотел. На меня никто не обращал внимания. Отец тоже совершенно оставил меня в покое.

Я принялся искать народовольцев в Одессе. С литературой их я был знаком. Мне хотелось видеть самих народовольцев и столковаться с ними. Поиски мои скоро увенчались успехом. В Одессе в это время М. Н. Тригони, по поручению Исполнительного Комитета, занят был организацией местного отделения Народной Воли. Я вскоре познакомился с ним и предложил свои услуги для занятий с рабочими. Тригони ввел меня в местную центральную группу *) (то, что по теперешнему назвали бы: одесский комитет Народной Воли), которая пока, кроме Тригони, состояла из трех человек: И. И. Сведенцева, О. С. Пуриц и меня. Несколько позже присоединились еще С. А. Жебунев и П. А. Мартино. В то же время Тригони организовал рабочую подгруппу для пропаганды среди рабочих. Эта подгруппа состояла из интеллигентных рабочих-революционеров, уцелевших от прежних революционных организаций. В нее входили: Моисей Попов, Петр Клименко, Петр Валуев, Галактион Батогов, Орест Костюрин, Карл Иванайн. В эту подгруппу Тригони ввел меня, как представителя центральной группы. Я должен был служить соединительным звеном между центральной группой и рабочей. Должен был снабжать рабочую группу литературой и вместе с нею вести пропаганду среди рабочих.

Вся наша организация, вместе со своими подгруппами (кроме рабочей была еще военная подгруппа), просуществовала почти полтора года. Больших арестов за это время не было. Правда, перед 1 марта 1881 г. был арестован Тригони **), и это, конечно, неблагоприятно отразилось на работе одесской организации. Позже в Одессу приехала В. Н. Фигнер и вошла в нашу группу в качестве представителя Исполнительного Комитета.

Еженедельно центральная группа собиралась для обсуждения общих дел. Тут же каждый из нас сообщал о ходе дела в его специальной области. Террористических актов и динамитных дел за это время в Одессе не было. Было у нас, правда, довольно много динамита, оставшегося после подкопа на Итальянской улице, где предполагалось покушение на царя. Покушение не состоялось, и динамит находился у нас на хранении. Но он пролежал слишком долго, начал портиться, и в 1881 г. мы получили распоряжение из Петербурга уничтожить его. Одну жестяную банку с бурым динамитом я унес к себе домой и по частям спустил в канализацию. Остальной динамит, который не представлял из себя сыпучего тела, а был в плотно спрессованных плитках, мы вывезли на лодке далеко в море и там выбросили. Это мы сделали в воскресенье; наняли лодку как-будто для

---

*) См. „Стрельниковский процесс в Одессе в 1883 г.“—„Каторга и Ссылка“, 1924 г., № 2 (9).

**) В Петербурге, куда был вызван Исполн. Комитетом на совещание.

В. Фигнер.

прогулки, захватили с собой провизии и вполне удачно выполнили свое предприятие.

Рабочая подгруппа тоже периодически собиралась для обсуждения общих дел. Тут каждый сообщал о ходе дела у него, на месте его работы, где он вел пропаганду. Сообщалось, какая нужна литература и т. д.

В Одессе, кроме постоянных рабочих, работавших в мастерских, было очень много пришлых, главным образом строительных, рабочих, приходивших в Одессу из разных губерний и проводивших здесь несколько месяцев строительного периода. Постоянных рабочих в те времена в Одессе было мало, а пришлых очень много, и нам пренебрегать ими не приходилось. Поэтому мы старались проникать в среду пришлых, заводить среди них знакомство и вести пропаганду.

В течение нескольких осенних и зимних месяцев я занимался с группой таких пришлых рабочих-плотников *). Я старался преподать им в популярной форме все то, что я сам знал, и что сделало из меня революционера. Темы моих лекций-бесед были самые различные. И вращение земли вокруг солнца, и происхождение видов, и французская революция, и община, и артель, и ассоциация, и Оуэн и многое другое обсуждалось нами во время наших вечерних собраний.

К концу зимы эти занятия в тесном кружке меня уже не удовлетворяли, и мне захотелось познакомиться с предместьями и окраинами, населенными рабочими, и повести там в более широких размерах пропаганду. Это „хождение в народ" не трудно было осуществить при тех патриархальных условиях, которые господствовали на окраинах. Начал я свое хождение ранней весной. Обыкновенно в воскресенье, заменивши шляпу фуражкой и надевши старый пиджак, я отправлялся с кем-нибудь из своих друзей-рабочих в предместье на заранее приготовленную квартиру, которую хозяин ее согласился предоставить нам для собрания. Никакой полиции, интересовавшейся политикой, в те времена в предместьях не было. Хозяин квартиры приглашал своих знакомых, мы усаживались с ними, где кто мог, и не торопясь и совершенно непринужденно вели беседу. Темы для разговоров находились легко. Сами присутствующие наперерыв рассказывали о разных случаях притеснений, несправедливости и т. д., и мы незаметно приходили к выводу, что неправды на свете очень много, что с нею нужно бороться, а для этого нужно всем терпящим притеснения объединиться, потому что один в поле не воин. На этом обыкновенно наша беседа заканчивалась, но во время самой беседы, в которой участвовали все присутствующие, выяснялось для нас, кто из них пригоден для наших целей, с кем стоит продолжать знакомство.

Но не всегда мои „хождения в народ" шли удачно и приводили к тем результатам, которых я ожидал. Случалось, что на собрание приходила публика просто из любопытства, как на праздничное развлечение, и после ознакомления с нею мы убеждались, что нам совершенно не по пути.

Бывали у меня неудачи, но бывали и удачи... В общем, рабочая группа партии росла, хотя и далеко не так быстро, как я желал.

Так шло дело до конца лета (1881 г.), когда все резко изменилось. Василий Меркулов, одесский рабочий, арестованный в Петербурге, спасая свою голову, которой грозила опасность, стал давать откровенные показания, и одними из первых жертв его оговоров были члены рабочей группы: П. Клименко, М. Попов, П. Валуев и О. Костюрин. Потом последовали другие аресты, и в Одессе разразился настоящий погром, который заставил нас совершенно прекратить нашу работу. Теперь приходилось думать только о том, чтобы спасти, что еще можно было. Батогова и Иванайна мы еще успели перевести на нелегальное положение и выпроводить из Одессы. Позже оба они были арестованы в Харькове.

Я пока считал себя в безопасности и продолжал жить в Одессе на легальном положении. Меркулов меня не знал, а что кто-нибудь из арестованных членов нашей рабочей группы может меня указать следственным властям,—мне и в голову не приходило. Правда, Н. Л. Геккер, который уже сидел в тюрьме, предупредил меня через своих родственников, ходивших к нему на свидания, что Стрельников обо мне коечто знает и собирает сведения, но я не придал этому большого значения. Я думал, что Стрельников знает обо мне, как о студенте, несколько радикально настроенном, а это не имело большого значения. Что же касается моих народовольческих и рабочих дел, я был уверен, что Стрельников ничего о них узнать не может.

Кое-какую слежку я все же за собой замечал, и так как предупреждения Геккера повторялись, то я взял в университете отпуск и уехал в Крым месяца на полтора, рассчитывая, что за это время погром уляжется, и обо мне забудут. Вернулся я из Крыма, вероятно, в начале сентября. Во время моего отсутствия полиция обо мне не справлялась, и обыска у меня не было. Повидимому, меня оставили в покое.

В один из первых дней после возвращения в Одессу я отправился к Е. Л. Криц-

*) См. „Заметка о рабочем движении в Одессе в 1880—1881 гг."—„Каторга и Ссылка", 1924 г., № 5 (12).

кой. Она очень близко стояла к нашей организации, и у нее всегда можно было узнать о положении дел в Одессе, где и когда кого можно увидеть. Но у Крицкой я чуть не попал в руки полиции. У нее производился обыск, и мне удалось уйти оттуда только благодаря ротозейству полицейского, поставленного у наружной двери, наверху лестницы. Увидевши полицию, я разыграл роль доброго соседа, пришедшего позаботиться о детях: взял на руки маленькую дочку Крицкой, игравшую внизу лестницы, сказал: „пойдем, тебе здесь не место“, и понес ее на улицу (квартира помещалась во дворе). Выйдя за ворота, я спустил ее на землю и постарался поскорее убраться. Сделав несколько петель по городу, я убедился, что за мною слежки нет, и благополучно добрался домой.

Случай у Крицкой заставил меня сильно призадуматься. Обыск у Крицкой означал также и обыск у Сведенцова. Между их квартирами было постоянное общение: Сведенцов обедал у Крицкой, ужинал и т. д. Очевидно, в Одессе успокоение еще не настало; погром продолжался или, после некоторого перерыва, начинался снова. За собой я тоже начал замечать слежку. Я перестал ночевать дома. Приходил домой, только предварительно убедившись, что по близости нет шпиков.

30 сентября я вернулся домой довольно поздно. Улица была пустынна и мертва. Ни одной человеческой фигуры, ни одного притаившегося шпика не видно было. Я вошел в ворота, поднялся к себе наверх и лег спать. Но едва я задул свечу, по лестнице послышались шаги, и ко мне в дверь постучали. Я подошел к двери в одном белье: „Кто там?“—„Откройте, это до вас“. Голос был знакомый. Это говорил Евграф, служивший у нас в доме. Я открыл. На меня сейчас же бросилось несколько жандармов, ощупали меня с ног до головы, и только убедившись, что у меня под бельем нет оружия, дали мне одеться. Обыск продолжался бесконечно долго. В моих двух комнатах все перерыли и ничего, кроме банки из-под динамита, не нашли. Если бы жандармы были внимательнее, они, вероятно, могли бы заметить на банке следы динамита: я банки не вымыл после того, как высыпал из нее динамит. Но они банкой не заинтересовались. Покончивши со мною, они направились было к отцу и хотели порыться у него. Отец запротестовал, и жандармский офицер довольно легко сдался и увел своих шпиков и жандармов. Наконец, все было кончено. Составили протокол, меня посадили на извозчика и с двумя жандармами отправили в „казарму № 5“.

„Казарма № 5“ была довольно большим трехэтажным зданием. В первом этаже помещались солдаты, в третьем — тоже солдаты, а средний этаж был отведен для подследственных политических. Он весь состоял из одного длинного коридора, по обе стороны которого помещались камеры. Первая камера, ближайшая ко входной двери, была переделана в кабинет следователя, который здесь же допрашивал заключенных.

Следователем незадолго до моего ареста был назначен знаменитый генерал Стрельников. Известность свою он приобрел в Киеве, где, в качестве военного прокурора, прославился на всю Россию своими свирепыми, кровожадными речами на политических процессах. Теперь его назначили следователем по политическим делам для всего юга России, так как на юге крамола очень усилилась, и нужно было ее основательно искоренить.

На первом же допросе, на утро после моего ареста, Стрельников устроил мне очную ставку с Петром Клименко (член рабочей группы) и еще с тремя рабочими. Клименко первый заявил, что он признает во мне человека, известного ему под именем Степана. Остальные подтвердили. Это было для меня совершенно неожиданно. Клименко был старый революционер видавший на своем веку виды, и никто никогда не допустил бы мысли, что он может стать предателем. Между тем это было так. В течение ближайших недель для меня вполне выяснилось положение дел отчасти из допросов Стрельникова, отчасти из сношений с моими соседями, товарищами по тюрьме.

Главным осведомителем Стрельникова был П. Клименко. Стрельников сумел так запугать его, что он стал выдавать всех и все. От него Стрельников узнал, что рабочую группу организовал Тригони, что он ввел меня в нее под именем Степана и т. д., и т. д. Когда это все для меня уяснилось, я не стал отрицать, что я Степан, признал, что вел пропаганду. На этом собственно и можно бы прекратить следствие о моем участии в рабочей группе, так как все было вполне выяснено и установлено. Но Стрельников все топтался на месте, устраивал мне бесконечные очные ставки с разными людьми, которых я или совсем не знал, или с трудом узнавал. Это были все рабочие, набранные по разным предместьям, которые где-то, когда-то меня видели во время моего „хождения в народ“. Никто из них ничего существенного обо мне сказать не мог, но все они подтверждали, что я Степан. Это было единственное, что они могли сказать, и, хотя это никакого значения для следствия не имело, после того как я сам признал, что вел пропаганду, Стрельников все продолжал вести следствие в том же направлении.

Если бы Стрельников не был так невежествен по части революционной литературы, если бы он был знаком с программой, тактикой и организацией народовольцев, он легко догадался бы, что если в Одессе была организованная рабочая группа народовольцев, то естественно предположить, что есть и центральная группа (комитет партии Народной Воли). И если бы Стрельников был хорошим следователем, ему не трудно было бы и разыскать эту центральную группу, так как я, Сведенцев и Мартино—три члена центральной группы—сидели в тюрьме, и он же, Стрельников, вел следствие по нашим делам. Но Стрельников был плохим следователем, он умел действовать только нажимом, а там, где нажим не помогал, он был совершенно бессилен что-нибудь сделать. Таким образом, благодаря невежеству и неумелости следователя, результаты для нас получились очень хорошие. Сведенцев и Мартино были высланы административно в Западную Сибирь, и только рабочая группа и я были преданы суду.

Но Стрельникову, таким образом, грозила опасность очутиться в положении щедринского генерала Топтыгина, который, как известно, был прислан на воеводство с тем, чтобы произвести кровопролитие. Но он вместо того съел чижика, да на том и успокоился. Рабочая группа в 7 человек—это, конечно, для Стрельникова был жалкий чижик. Ведь он был прислан в Одессу с чрезвычайными полномочиями и должен был во что бы то ни стало создать большой процесс. И вот, чтобы выйти из этого положения, он присоединил к нашему процессу целый ряд лиц, из которых одни с нашим делом, а другие с революцией вообще, ничего общего не имели. Судилось нас 23 человека, людей большею частью между собой совершенно незнакомых.

Я просидел в предварительном заключении до суда полтора года. Первые 5—6 месяцев меня держали в „Казарме № 5“, а потом, когда Стрельников решил, что допрос по моему делу закончен, меня отправили в тюрьму, где я просидел еще целый год. Этот год прошел сравнительно мирно, и только два события на время взволновали всю тюрьму. 18 марта 1882 г. был убит Стрельников, а в октябре 1882 г. нами объявлена была голодовка. Голодовка продолжалась, впрочем, недолго. Начальство пошло на уступки, и через пять дней голодовка прекратилась.

26 марта 1883 года начался суд по нашему делу. Председательствовал совершенно дряхлый и выживший из ума генерал Кирилин. Когда я заявил, что вел пропаганду среди рабочих, он меня спросил, для чего я это делал. На такой неожиданный вопрос я не нашел сразу надлежащего ответа и сказал: „для того, чтобы посодействовать водворению социализма“. „А для чего вам нужен был социализм?“—спросил опять председатель. Я начал объяснять, что считаю социалистический строй единственной справедливой формой общежития. Но едва я начал, председатель в каком-то испуге замахал на меня руками: „Садитесь, подсудимый, садитесь“. Тянулся суд томительно долго и томительно скучно. Сначала чтение обвинительного акта, потом чтение показаний не явившихся свидетелей. Их было гораздо больше, чем явившихся. Во всех показаниях чувствовалась ретушовка Стрельникова, его подсказывания. Они все были писаны его рукой.

Почти весь день 1 апреля был занят речью прокурора Прохорова. Этот был из молодых, да ранний. Он тоже делал карьеру. Он тоже не хотел, чтобы наш процесс превратился для него в щедринского „чижика“. А потому он, не без пафоса, требовал для всех применения статьи, карающей смертной казнью, хотя прекрасно знал, что многие из подсудимых ни к какой революционной организации не принадлежали и попали на суд только для счета.

Третьего апреля нам объявили приговор, я был приговорен к 15 годам каторги.

17 апреля, в первый день пасхи, нас всех переодели в арестантское платье и отправили с жандармами по железной дороге по направлению к Н.-Новгороду. Вся дорога до Кары (место каторги), с сидением в разных тюрьмах по пути и с этапным хождением, продолжалась очень долго. Только через 8 месяцев, во второй половине декабря 1883 г., я добрался до места.

Мой срок (15 лет каторги) по разным манифестам сократился до 6 лет, из которых я около года провел в дороге, а 5 лет на Каре.

В январе 1889 г. меня перевели на поселение в глухую деревню, в 150 верстах от Читы. Там я прожил 4 года. Следующие 6 лет я жил отчасти в Чите, отчасти на линии строившейся тогда Забайкальской железной дороги, где я служил техником.

Последний год своей ссылки я прожил с женой в Иркутске, а весной 1900 г. уехал в Европейскую Россию. Осенью того же 1900 года мы уехали за границу, откуда вернулись только в 1911 г.

Иванова-Борейшо, Софья Андреевна *).

Родилась я на Кавказе (октябрь 1856 г.), в маленьком, глухом местечке Хан - Кенды, где и прожила до 16 лет. Отец мой был старый кавказский служака, почти всю жизнь проводивший в походах и команди-

*) Автобиография написана 8/I—1926 г. в Москве.

ровках. Дома он жил мало, и воспитанием нашим занималась мать. Эта задача для нее облегчалась помощью даровой прислуги,— деньщиков, которые исполняли роли няньки, повара, прачки и т. д., что в те времена считалось самым обычным делом. Для этой цели в кухне у нас всегда помещалось несколько чел. солдат. Детей было десять чел., справляться с ними было трудно и, может быть поэтому, все вопросы воспитания сводились просто к вопросу о питании: в определенные часы нас кормили и поили в столовой, потом мы разбегались в разные стороны, проводя почти весь день на дворе или в саду. Зимой толпились в детской комнате и сами придумывали себе игры и занятия. Часто к играм нашим присоединялись и соседские ребятишки, тогда бывало очень шумно и весело. Когда наступало время подумать об ученьи детей, мальчиков усаживали за буквари и вообще за подготовку к военным училищам, куда неизменно определяли моих братьев. В учителя приглашали кого-нибудь из молодых офицеров, так как школ и учебных заведений в нашем местечке не было. К учению мальчиков мои родители относились серьезно, так как они должны были „выйти в люди“, т. е. со временем сделаться такими же офицерами, каким был их отец.

Что же касается девочек, то их, хотя и обучали грамоте, но большого значения этому не придавали: предполагалось, что каждая из нас в свое время выйдет замуж за офицера, и лучшего для нас никто не желал. Лет до семи-восьми девочкам позволялось играть и даже принимать участие в военных действиях, которые устраивались мальчиками, лишь бы это было в пределах своего двора, чтобы не сделаться „уличными девченками“. Не помню как я выучилась грамоте, вероятно, это случилось еще тогда, когда учились мои братья, которые потом рассылались в разные города для поступления в военно-учебные заведения, где и жили вдали от родных до окончания курса учёбы. Несмотря на то, что я была гораздо моложе своих братьев, мне больше нравилось проводить время с ними, чем с сестрой, которая была склонна к сидячей жизни и к рукоделиям. Когда братьев всех увезли из дому, нам, девочкам, тоже был взят учитель из офицеров, который учил нас „чему-нибудь и как-нибудь“. Я не питала ни малейшей симпатии ни к Иловайскому, ни вообще к учебникам и готовила уроки, как бы отбывая повинность. Меня гораздо больше привлекала этажерка в кабинете отца, где я находила много интересных книг и поглощала их в большом количестве, при чем мать моя возмущалась тем, что я читаю по ночам, и часто гасила свечку перед моим носом. Подбор книг был случайный и самый разнообразный. Попадались разрозненные номера „Современника“, „Библиотеки для чтения“ и других журналов. Очень увлекалась Диккенсом и то, что мне особенно нравилось, я перечитывала по нескольку раз. Вероятно, в этом возрасте я с удовольствием читала бы и детские книги, но их тогда было вообще мало, и к нам попадали только слащавые переводы с немецких книжек, где рассказывалось о послушных и добрых Луизах и Клементинах и о добродетельных Карлушах. Они не внушали мне никакой симпатии. — Когда все содержимое отцовской библиотечки было поглощено мной, я начала брать книги из библиотеки офицерского клуба, которая выписывала много русских журналов и газет. Последние для меня не существовали, а журналы мне очень нравились. Из них я узнала, что существует на свете какая-то иная жизнь, совсем не похожая на наше прозябание, есть где-то новые люди, живущие высшими интересами, и у них многому можно научиться. Явилось желание учиться, искать новой жизни и уйти от той среды, где жили мы все. В это время мой старший брат, избегнувший по болезни военной карьеры и учившийся в в Московском университете, говорил в письмах о том, что я успела бы еще и в гимназию поступить, если бы сумела подготовиться к одному из старших классов. Он знал, что я очень хочу учиться и что гимназия представляется мне каким-то храмом науки. Он обещал и материальную поддержку нам, сестрам, если мы решимся ехать учиться и вообще иначе устраивать свою жизнь. Мать, отец к этому времени уже умерли, и мы, три сестры, жили под покровительством одного из братьев-офицеров, который и сам мечтал уехать в Петербург для поступления в Военно-Юридическую академию. Мы жили в своем доме, получая небольшую пенсию после отца. Других средств не было, и все планы о переустройстве жизни оставались только неопределенными мечтами. Больше других об этом думала я, и к 16 годам во мне окрепло решение, во что бы то ни стало, уехать из дому и устроить свою жизнь иначе. Очень хотелось учиться, хотелось самостоятельности и независимости от родных. Противна была окружающая жизнь с ее мещанской моралью и постоянным стремлением „жить как все“ и жить „не хуже людей“. Я писала брату в Москву, что хочу ехать учиться теперь же, не откладывая, и он выразил согласие помочь мне, если я приеду. После многих препятствий, неудач и мытарств мне удалось выбраться из дому и приехать в Тифлис, где в то время был тот брат, который готовился в Академию. Он согласился завезти меня в Москву. Представление о Москве у меня было самое фантастическое: она мне пред-

ставлялась населенной какими-то особенными, идеальными людьми. В этом скоро пришлось разубедиться: я скоро увидела вокруг себя тех же самых обывателей, только что не военных. Старшего брата в Москве не оказалось: он временно взял место врача где-то под Москвой и приехал только повидаться с нами. Я осталась на его квартире и начала жить на свой страх. Для того, чтобы поскорее стать на свои ноги, я сделала попытку поступить на акушерские курсы, но потерпела неудачу: меня не приняли по молодости лет.

После того я, по совету брата, стала готовиться к экзамену на домашнюю учительницу, но это продолжалось недолго.

Брат мой серьезно захворал и его отправили в Ялту, а я осталась без всяких средств и без заработка. Пришлось хлебнуть нужды. Не зная никакого ремесла и не имея дипломов, трудно было найти работу в незнакомом городе. Пробовала шить у портнихи, просиживая с 8 часов утра до 8 ч. вечера и получая за это 8 руб. в месяц. Бросила, главным образом, потому, что очень противна была немка портниха, особа сомнительного свойства. Мой квартирный хозяин предложил мне поступить ученицей в типографию. По его рекомендации я отправилась к Вильде, который арендовал типографию Мышкина на Тверском бульваре. Одна из комнат с типографскими кассами оставалась за Мышкиным, и в ней работали женщины, набирая те книги, которые хотелось издавать Мышкину. Я была совершенно незнакома с этой работой, и мне в первый раз пришлось увидеть, как печатаются те книжки, которые я так любила читать. Вскоре явились наборщицы, которые стали меня обучать новому делу. Это были две сестры Прушакевич и Супинская. Они в эту зиму только что приехали из Архангельска целой компанией. Некоторые из них поступили учиться, но, за неимением средств, должны были взяться за работу, которая была им знакома еще на родине. Терпели нужду и жили все в одном номере Кокаревской гостиницы. Впоследствии вся эта компания называлась „архангельской колонией“. Это были типичные нигилистки того времени, небрежно одетые, с подстриженными волосами и суровые на вид. Не знаю, как они познакомились с Мышкиным, но когда последний начал печатать нелегальные книги и брошюры, при чем расширил свой угол настолько, что его пришлось перевести на другую квартиру, — архангельская колония заняла там первое место. Наборщицы сначала отнеслись ко мне сурово, потому что я имела вид барышни, но так как по существу они были очень добрыми созданиями, то мы скоро сделались хорошими товарищами. С переходом Мышкинской типографии в новое помещение на Арбате, там началось печатание запрещенных книг. Я скоро поняла, в чем дело, и мне было очень лестно сознавать, что я тоже участвую в такой серьезной работе. Однажды Мышкин завел со мной беседу о том, знаю ли я об ответственности, которой могу подвергнуться за эту работу, но я ответила, что понимаю и не боюсь. По правде сказать, мне казалось просто смешным и невероятным, чтоб меня арестовали. Ведь я считала себя такой незначительной особой. „Кому нужно забирать меня, думала я, совсем другое дело они, мои новые товарищи“, на которых я смотрела снизу вверх, считая их очень умными и деловыми людьми. В том особняке, который заняла новая типография, оказалось несколько лишних комнат. Поэтому нам, наборщицам, было предложено поселиться тут же, после чего мы зажили артелью, имея общее хозяйство. В столовой нашей собиралось много народу из тех, что являлись по делам типографии. Войнаральский, например, приезжая в Москву, жил у нас вместе со своей женой. Такая необычная обстановка, вероятно, скоро обратила бы на нас внимание полиции, но разгром всего учреждения произошел еще раньше. Отпечатанные у нас листы отправлялись в Саратов, где Войнаральский устроил сапожную мастерскую, в которой листы эти брошюровались и развозились пропагандистами в разные стороны. Местная полиция обратила внимание на мастерскую: они работали по ночам, и их приняли за фальшивомонетчиков. Всех живших в мастерской арестовали и установили связь с Москвой. Очень скоро жандармы нагрянули к нам с обыском. Мышкин остался цел только благодаря тому, что его не было в Москве. Взялись за наборщиц: арестовали, допросили и посадили нас под замок. Самая старшая среди нас и самая опытная, Супинская, перед арестом учила нас: „Не забывайте, что попадете в руки в р а г о в. Будьте готовы ко всему и держите язык за зубами“. Было жутко и радостно. Обдумавши свое положение, я решила молчать, чтобы не повредить кому-нибудь нечаянно. Жандармы соблазняли меня возможностью сейчас же освободиться, если я укажу, кто бывал, кто печатал и т. д. Они, конечно, не придавали мне серьезного значения и видели, что я в деле новичек, но все же мои указания и улики могли быть им полезны. У меня же сразу явилась к ним настоящая ненависть, как к врагам, которых надо остерегаться. Меня продержали семь месяцев только за то, что я молчу. А когда стали сортировать всех и некоторых отправили в Питер,—меня освободили на поруки. Вместе со мной освободили еще одну из наборщиц,—Ермолаеву. На воле я не нашла никого из тех знакомых, с кото-

рыми сошлась за последнее время, и жить мне было тяжело. Снова пришлось искать работы. Перебивалась перепиской, но эта работа была непостоянная. Потом нашла место в типографии; я у Мышкина настолько ознакомилась с ремеслом, что могла добывать себе этим хлеб. В это время был арестован мой брат, Лев Андреевич Иванов, который потом судился по процессу 50-ти. Из Московской тюрьмы его перевели в Петербург. Я переехала туда же, чтобы иметь с ним свидания, и нашла себе там работу в одной из легальных типографий. Ни к какому революционному делу мне за это время пристроиться не удалось. Тюрьмы были переполнены заключенными, которые должны были через некоторое время выступить в процессах 193-х и 50-ти (Московский процесс). Время было глухое и тяжелое.

В декабре 1876 года произошла демонстрация молодежи у Казанского собора. Там я была вновь арестована и судима. Хотя на суде никто из свидетелей на меня не указывал, но достаточно было того, что я уже привлекалась по политическому делу, чтоб меня осудили в Сибирь на поселение. Вскоре после приговора всех „казанцев" отправили по назначению, а меня оставили, чтобы судить еще раз по процессу 193-х. В Доме предварительного заключения к этому времени уже была завоевана свобода настолько, что все заключенные имели между собой сношения и во время большого процесса даже пользовались общими прогулками по группам. Здесь я завела большие знакомства и встретила многих старых друзей. Я была в числе „протестантов", отказавшихся от суда, и меня приговорили заочно снова на поселение, но тут вышел какой-то курьез: в приговоре было сказано, что „по совокупности преступлений" меня должно отправить в одну из северных губерний с лишением некоторых прав. Большинство подсудимых после приговора было освобождено. В женской тюрьме нас осталось только шесть человек, из которых Софью Лешерн вскоре неожиданно освободили „по высочайшему повелению" по хлопотам ее знатных родных. За Е. К. Брешковскую сам суд ходатайствовал, чтобы заменить ей каторгу поселением, но царь не согласился. После того было решено устроить ей побег до отправки в Сибирь из Дома предварит. заключения. Мы, сидя в общей камере, надумали перепилить решетку в окне, выходящем прямо на Шпалерную улицу. С воли обещали помощь: в условленную ночь и час ее должен был ждать человек в экипаже и принять, когда она спустится с четвертого этажа. В общей камере нас сидело трое, и мы пилили по очереди. Когда большая половина работы была уже сделана, нас неожиданно перевели в Литовский замок. Такой порядок существовал для всех, кому предстояла отправка в Сибирь. Продержавши нас здесь недели две, отправили с жандармами в разные стороны. Елена Прушакевич попала в Сургут, Брешковскую присоединили к каторжанам, шедшим на Кару, а нас с Супинской—в Аргангельскую губернию, при чем губернатор назначил нам самые отдаленные города. Ей—Колу, где она вскоре умерла, а мне—Кемь. Мы были первыми ссыльными женщинами в этой губернии, и на нас смотрели, по крайней мере сначала, как на какие-то чудища. Надзор был строгий: ежедневно к моим хозяевам являлся полицейский, чтобы узнать, цела ли я. Хозяева были обязаны подпиской тотчас же сообщить исправнику, если я не явлюсь ночевать. Несмотря на это, именно хозяева же и помогли мне бежать через несколько месяцев. Я приехала в ссылку с определенным намерением долго здесь не заживаться и с товарищами условилась так, что скоро встретимся на воле. Перед отъездом нас с воли снабдили деньгами и паспортами. Боясь истратить эти деньги, я с первого же дня стала искать себе работы и все время перебивалась то шитьем, то перепиской и таким образом сохранила свой капитал. Чтобы не возбуждать никаких подозрений, решила с начальством не ссориться, но исправник-самодур все-таки несколько раз выводил меня из терпения, задерживая мою переписку и требуя к себе особого почтения, обижался, что я не кланяюсь ему при встрече первая и т. д. Я ему оказала это почтение накануне своего побега, когда все уже было готово: встретив его с супругой на улице, подчеркнуто любезно раскланялась с ними, и больше они меня не видали. Мои хозяйки, две староверки-начетчицы, нашли мне знакомого мужика, который согласился довести меня до Олонецкой губернии, откуда я уже самостоятельно нанимала лошадей почти до самого Петербурга. За это я ему купила хорошего коня, на котором он и вез меня. Хозяйки же скрывали мое отсутствие, зажигали в моей комнате по вечерам лампу и только на шестой день заявили в полицию, как раз в тот день, когда я въезжала в Питер. Это совпало со временем покушения на жизнь шефа жандармов Дрентельна в конце марта 1879 года. Настроение в городе было тревожное, обыски и аресты производились среди бела дня. Было рисковано ходить по тем адресам, которые я получила перед высылкой. Даже ночлег я находила с трудом и с приключениями. Через несколько дней удалось повидаться с двумя нелегальными. Сначала с Тихомировым, потом он устроил мне свидание с Н. А. Морозовым. И тот и другой были участниками процесса 193-х, но там была такая масса на-

рода, что я их совсем не помнила. Это не помешало нам встретиться, как старым товарищам. Оба говорили, что работа для меня найдется, но настаивали, чтобы я на время уехала из Петербурга, где в такое тревожное время могла бы быть арестована зря. Обещали вернуть меня при первой же возможности. Пока я собиралась (очень не хотелось уезжать в провинцию), грянуло покушение Соловьева на Александра II. В столице начался переполох. Поговаривали о предстоящих повальных обысках. В тот же день я уехала в Орел, где повидалась с М. Н. Ошаниной, которая направила меня в Воронеж; там я должна была ожидать, пока меня вызовут в Питер. Прожила там недели три, но в один прекрасный день была арестована в квартире Тулисова, куда жандармы неожиданно нагрянули днем. Это было особенно досадно потому, что в это самое утро приехал Морозов и привез мне приказ как можно скорее отправляться в Питер, где я уже числилась хозяйкой конспиративной квартиры. Морозов тоже должен был придти к Тулисовым, но увидав жандармов скрылся. Немножко позднее подъехал на извощике М. Р. Попов. Войдя в квартиру и увидев жандармов, он строго, по-барски, спросил, дома ли хозяин, и, бросив „зайду в другой раз", моментально вскочил на извощика и быстро удалился. Жандармы оторопели и начали обвинять друг друга в том, что не задержали этого неизвестного человека. Сначала я пришла в уныние от мысли, что теперь мне придется ехать не в Питер, а в Якутскую область (в 1879 г. был издан циркуляр, по которому всех бежавших из ссылки должны были направлять в Якутскую область). Потом, когда меня повезли на допрос и, извиняясь за беспокойство, которое причинили мне, молоденькой барышне, жандармский офицер и прокурор просили меня откровенно рассказать о себе и объяснить, как я попала на квартиру к революционерам, я сказала, что знакома только с сестрой Тулисова, и вообще прикинулась наивной барышней, которая даже не понимает, почему это делают обыски. Кончилось тем, что меня через час отпустили на все четыре стороны, и я в тот же вечер отправилась в Петербург. Там меня уже ждали, и я сразу поселилась в Лесном вместе с А. Квятковским и должна была изображать из себя молодую даму, живущую в свое удовольствие на даче. Здесь бывало много народу, совершались прогулки в лес, куда подходили еще люди из города, и устраивались собрания. Тут же был организован кружок „Свобода или смерть", который потом почти целиком вошел в „Народную Волю". В последнюю организацию я вошла после Воронежского и Липецкого съездов.—Старая типография „Земли и Воли" была поделена между двумя вновь образовавшимися группами,—Народной Волей и Черным Переделом. Приходилось налаживать новую квартиру для типографии той группы, которая получила название партии Народной Воли. Я дала согласие быть хозяйкой новой типографии, и вскоре после того мы оставили квартиру в Лесном. Наша типография просуществовала лишь с сентября 1879 г. по январь 1880 г., и за это время мы отпечатали три первых номера газеты „Народная Воля" и несколько листовок. Устройство станка было самое примитивное, работало нас пять человек, из которых один был занят хозяйством: закупками и приготовлением пищи для всей братии. В этом деле чередовались мы с кухаркой. Официально в квартире числился только Бух, как хозяин, потом я и прислуга, тоже свой человек. Двое других работников жили у нас без прописки и не показывались ни дворнику, ни швейцару. Соблюдалась строгая конспирация, работали не позднее 10—11 часов вечера и ходили в мягких туфлях, чтоб не производить шума. Адрес типографии был известен только тем двум-трем товарищам, которым было необходимо заходить к нам и забирать отпечатанное. Подробно о жизни и работе в типографии я писала в журнале „Былое" за 1906 г. (сентябрь). При аресте типографии было оказано вооруженное сопротивление, после которого всех нас, за исключением застрелившегося тут же Любкина, увезли со связанными руками в Петропавловскую крепость. Судили нас в конце того же 1880 года военным судом, соединивши с другими террористическими группами (процесс 16-ти). Я получила четыре года каторги. По болезни оставалась некоторое время в Питере, а потом перевезли в Москву, в Бутырскую тюрьму, откуда через несколько месяцев отправили в Сибирь этапным порядком. На Кару прибыла только в апреле 1883 года. Там нашла своих старых друзей: Брешковскую, Лешерн, Коленкину и др. Сидели в отвратительной старой тюрьме, но в камерах нас не запирали. Летом почти весь день проводили во дворе. Обязательных работ не было. На поселение вышла весной 1885 года и оказалась в г. Киренске Иркутской губернии, где в это время была довольно большая колония ссыльных. В общем в Сибири пробыла 18 лет. При возвращении в Россию мне был запрещен въезд в столичные и университетские города и, кроме того, указывалось еще 25 городов, где я не имела права жить. Побывала в Чернигове, в Курске и поселилась в Нижнем Новгороде, где прожила более 10 лет. Общественной деятельности не было, если не считать за таковую работу в Красном Кресте для помощи заключенным и заня-

тий в „Обществе начального образования“, которое вело культурную работу в Нижегородской губернии. В Москве, куда я переехала потом и где живу и до сих пор, была только работа в нелегальном Красном Кресте для помощи политическим каторжанам, сидевшим в разных городах. Это продолжалось с 1914 по 17 год. В 1906 г. в журнале „Былое“ поместила две статьи: „Воспоминания о С. Л. Перовской“ и „Первая типография Народной Воли“. Приблизительно в то же время написала для „Женского Календаря“, издававшегося в Петрограде, биографии Геси Гельфман, Т. Лебедевой, С. Лешерн и Н. Армфельд.

Ивановская, Прасковья Семеновна

(по мужу Волошенко) *).

Я родилась в 1853 г. в семье сельского священника села Соковнина, Жадома тож, Чернского у. Тульской губ. Детские годы прошли в суровых условиях бедности и заброшенности. Мать рано умерла, отец был человек отвлеченных интересов, мирское его весьма мало заботило, свое гнездо не вызывало в нем особенного внимания. Философские мысли—плохие пособники в хозяйственности. Дети росли травкой в поле, без малейшего присмотра, а смерть матери еще больше отдалила отца от нас, мы както не являлись ни предметом его дум, ни его забот, и в этом была, пожалуй, некоторая положительная сторона нашего воспитания. Порой мы были изрядно голодны, обнагощены, но всегда вольными, никакие пути и дороги нас не страшили. Ранняя самостоятельная жизнь научила крепко любить свободу, а на крутых подъемах полагаться только на свои силы, свое уменье. И наша экономическая необеспеченность не выделяла резко нас среди окружающей жизни и всего духовенства того далекого прошлого. Огромное большинство этого класса мало чем разнилось от среднего достатка крестьянина, оно само поднимало землю, само убирало хлеба. С косичкой за спиной, в холщевой самодельной рубахе, попы сами вывозили навоз на худородную землю, а одинаковость жизни с окружающей массой делала взаимные с приходом отношения проще и естественнее. Взрослые сыновья их на летних каникулах помогали отцам в полевых работах, в молотьбе хлеба первобытным способом на току цепами. Сыны обучались по создавшимся правилам в бурсе (семинарии), дочери оставались еле-еле грамотными у родителей, в томлении поджидая случая стать матушкой или дьяконицей. Нас ожидала та же засасывающая житейская пошлость, если бы не произошло случайное, меньше всего предвиденное обстоятельство, в значительной мере перевернувшее наше положение.

Вероятно в начале 50 г. г. в наше село, в приобретенное в нем имение, приехал на жительство возвращенный по амнистии из Сибири декабрист Михаил Андреевич Бодиско *), мичман. С самого своего появления в имении М. А. Бодиско завязал с отцом близкие дружеские отношения, а впоследствии, при его материальной поддержке, две меньшие дочери смогли поступить в тульское духовное училище. Сколько большой, истинной радости мы испытали тогда, покидая свой бедный родной дом. Наш восторг, наши маленькие детские грезы скоро значительно померкли: школа оказалась закрытым заведением и носила монастырский характер, с удушливым лампадным смрадом, с весьма куцым курсом наук, с очень скудным, полуголодным для детей питанием. Затворнические условия нашей школы не смогли помешать вторжению нового тогдашнего веяния, доплескивавшегося светлой волной к нам через каменные стены нашего монастыря. Первые струйки ее появились у нас в Туле неясными отзвуками арестов в Москве по делу Нечаева. Немного позже кружки и группы формировались при участии приезжавшего к нам Василия Семеновича Ивановского, студента Медико - Хирургической академии, купно с Евтихием Павловичем Карповым, впоследствии известным драматургом. Им помогали студенты-туляки Дубенский и Раевский. На ряду с организационной работой ими же была устроена библиотека-читальня из книг нелегальных и полулегальных. Все изъятые из обращения книги имелись в этой неофициальной библиотечке, а именно: Добролюбов, Писарев, Чернышевский, Лассаль, Лавров, „Исторические письма“ которого появились много раньше, в 68 г., и приобрели тогда же огромную популярность. „Вперед“ провинция читала в 73 г. Книги эти хранились в особых шкафах, и выдавали их с большой осмотрительностью, с ручательством лица известного заведующей, помнится, Шредер. Радикально-демократический кружок нашей школы старшего класса, носивший между ученицами прозвище „Ганзейского союза“, широко пользовался книгами этой читальни, порой прихватывал их с собой на летние вакации. Чаще всего книги брались по

*) Автобиография написана 25/XI 1925 г. в Полтаве.

*) „Мичман Бодиско по пятому разряду к временной ссылке в каторжную работу на 10 лет, а потом на поселение. Мичман Бодиско 2-й. Лично действовал в мятеже с возбуждением нижних чинов. По восьмому разряду. Лейтенант Бодиско первый лично действовал в мятеже бытностью на площади“.

Бодиско 1-й—Гвардейского экипажа лейтенант, Бодиско 2-й—того же экипажа мичман. Выписки из сентенции приговора.

запискам с подписями моей фамилии, всегда лаконичной — „пришлите то-то и то-то“. Совсем почти накануне выпускного экзамена нашего класса, в часы общей вечерней молитвы в большой зале, послышалось в передней державное дерганье звонка: дзинь-дзинь! задребезжал неприятно, резко звонок. И вслед за тем по рядам чинно молившихся девочек пробежал, как легкое движение ручейка, придавленный шопот: „Жандармы, жандармы пришли“. Присутствовавшая на молитве начальница, побагровев до синевы, опрометью бросилась за дверь. Через три-пять минут в опустелой передней и духом не пахло жандармским. Прибывших арестовать ученицу Ивановскую, „ведьма“, как звали мы промежду собой начальницу, не допустила до позорящего школу обстоятельства.

Она сама спешно отправилась объясняться с начальством на предмет необычайного события, ломавшего все уставы, весь обиход нашего несложного бытия. Наутро, конвоируемая классной наставницей, я прибыла в жандармское управление. Допрос без замедления производился в присутствии наставницы полковником по поводу найденных у библиотекарши моих записочек. По окончании его жандармский полковник разбахвалился, сообщив, что арестована библиотекарша, несколько гимназисток и кто-то еще постарше—мой брат в Москве по нечаевскому делу.

Наши ребячьи аресты не имели серьезных последствий—никого не задержали. Брат тоже был освобожден. Вернувшись в школу, я была изумлена тем, что наша начальница ни одним звуком не выразила своего возмущения против неслыханного нашего вольнодумства. Зато ректор нашей школы долго томил и грозно внушал, что брат мой „отчаянной жизни революционер“. Путь его неизбежно лежит по Владимирке, и то же постигнет меня, если не порву связи с „нигилистами“. А рвать было поздно и не с кем. Побороть воздействие хороших книг, дававших нам вкус и чутье к светлому, к большому, предостерегавшему от засасывающей прозы жизни,—это равнялось самоубийству. Оно, это лучшее, вошло постепенно в наши души не из одной литературы и чтения—воспринято было из близости нашей жизни со всей окружающей нас неправдой, забитостью масс, заколоченностью до отупения. Душа тосковала по правде и справедливости.

В старшем классе, в последнем году обучения, начался дух радикального протеста у весьма кротких и смиренных учениц. Выразилось это настроение в протестах против грубого обращения, запрещения читать „вольные“ книжки, против недостаточного, к тому же обкрадываемого, детского питания. Из наивно-верующих мы перешли к неверию и протесту против уставов, отдававших кадильным ароматом. Выработанных твердых убеждений у нас, конечно, еще не было. Мы были слишком юны и глупы, проснулось лишь сознание прав личности. И протест и отрицание—это было для нас только выражением этого настроения. В то время нашим стремлением было—отстоять нашу личность, за которую приходилось вступать в борьбу открыто и смело. В этот же период, уже в последнем классе, нас сильно захватила Парижская Коммуна, ее борьба и крушение. До сего дня не стерся из памяти день, когда наша начальница, чрезмерно взволнованная, вошла в наш старший класс с огромной в руках французской газетой в траурной кайме и стала вычитывать всему притаившемуся классу строку за строкой о трагическом конце великой борьбы. Вместе с физическим ростом и сделанным приобретением небольших знаний росли и крепли мечты о будущей поездке на медицинские курсы, только что открытые тогда для женщин в Петербурге. В 71—73 г. г. из нашей клерикальной школы—по пословице—„лиха беда начать“—целой группой учениц было положено начало движению к женскому образованию, женской независимости и раскрепощению. Большинство ехавших не имело ни обеспечения, ни протекции. Я с сестрой Александрой Семеновной поступила на Аларчинские курсы, во главе кот. стояли видные профессора: Странолюбский, Лесгафт, фон-Флит, Стасова. Эти курсы со строго демократическими принципами пропускали—как воду песок—через свою лабораторию все живое, свежее, там же на курсах сближавшееся в кружки, в организационные группы, чтобы впоследствии или тотчас же итти „в народ“.

Ранней весной 76 года, сдав экзамен при гимназии в Царском Селе, я поехала в Москву навестить брата, а главное принять окончательное решение, занять ли место учительницы в Весьегонском, либеральном в ту пору земстве. Брат настойчиво советовал обождать, не торопиться пока. Он имел тогда широкие организационные планы—заместить все барановские школы-дворцы *) своим, радикальным учительским персоналом по всему уезду. К реализации этого плана у брата были большие возможности. Но вакансии открывались всего только с осени. Целое лето оставалось в моем распоряжении, и я решила им воспользоваться—поехать в Одессу, где могла по-

---

*) Богатый фабрикант Владимирской губ. Баранов на свои средства настроил по всему уезду образцовые школы. Они высились дворцами, светлые, просторные, со всеми удобствами. Учительский персонал, приглашавшийся самим Барановым, состоял из лиц с высшим образованием. По требованию учителя все необходимое для школы высылалось немедленно.

работать на любой фабрике без „интеллигентного паспорта". Среди многочисленной публики, посещавшей московскую квартиру брата, бывала там очень часто необыкновенная девушка, только недавно вернувшаяся „из народа", — Мария Субботина, судившаяся потом в Москве по процессу 50-ти, большинство участников которого раньше были народниками - лавристами. Субботина дала мне адрес двух сестер, живших в Одессе,—Хоржевских (их третья сестра уже находилась в тюрьме).

Нагрузившись изрядно в квартире брата полулегальной и нелегальной литературой, я покинула Москву. По инструкции, преподанной москвичами, часть взятого груза необходимо было оставить в Туле семинарам и гимназистам, а остальное захватить с собой.

Дорога не так уж далеко проходила от прихода моего отца, и я решила завернуть туда на несколько дней. У него я застала младшего братишку Ивана, окончившего пока только духовное училище и готовившегося перейти в семинарию. Без моего ведома и согласия он забрался в чемодан и, порывшись хорошенько в книгах, отобрал для себя кое-что из брошюр, между прочим „Сила солому ломит" Н. И. Наумова, „Ежа", — гонимых правительством. Мне была невдомек его проделка, имевшая скоро самые печальные последствия для всего дома. По моем отъезде из Москвы Василий Семенович был предан одним рабочим, ежедневно бывавшим у него на квартире. Естественно, что он видел сборы, упаковку книг и слышал разговоры о направлении пути. Жандармы, давно скалившие зубы на брата, теперь, как голодные шакалы, арестовав В. С., бросились по следам, надеясь настигнуть меня с поличным у отца, но они явились немножко поздно, когда я была уже далеко от них. Перерыв весь дом, двор, они, наконец, выкопали-таки на чердаке спрятанные брошюры. Брата Ивана арестовали, увезли в Тулу, упрятав там его в тюрьме, в общую камеру с уголовными. Там бедный малец „отведал мергеля" (глубокая яма для собак) полностью, просидев в этаком-то смраде больше года, там он пережил режим, оставивший в нем на всю жизнь ненависть к угнетателям.

При внимательном отношении сестер Хоржевских и Михаила Богдановича Эйтнера, часто навещавшего сестер, мое желание познакомиться с радикальными организациями юга осуществилось довольно просто и скоро. Эйтнер был давнишний работник из набора Заславского, от организации котораго он унаследовал хорошо устроенную переплетную мастерскую с уцелевшими от ареста, распропагандированными рабочими. М. Б. раньше всего повел меня к „башенцам" *), будучи связан с ними долгой и тесной дружбой с давних времен и общностью работы. Знакомство с „башенцами" помогло мне много в ориентировке среди множества кружков, коммун, отдельных „самистов", не входивших в группы с определившимися уже направлениями. Среди этой пестрой множественности тогда в Одессе слишком заметно выявлялись три самостоятельные направления, три крупные социалистические группировки: народническо-пропагандистское, народническо-бунтарское и „Громада". Первая из трех возглавлялась Григорием Анфимовичем Попко, И. Волошенко и Ф. Щербина. Вторая — Дебогорием-Мокриевичем и третья — Л. А. Смоленским, упорнейшим украинофилом, и Малеваным. С первыми, „башенцами", у меня навсегда сохранилась близость, и сношения поддерживались до полного исчезновения ее членов, сметенных тотлебеновской бандой в 1878—79 г.г.

Вскоре полученные печальные известия о московских арестах заставили меня немедленно перейти на нелегальное положение, что не вело ни к каким неприятным последствиям: Одесса была чрезвычайно демократична,—и относительная вольность в ней позволяла жить в ней без прописки, и на любую фабрику можно было поступить без документа. В самые ближайшие дни мною была осуществлена эта возможность: зашла и, даже никем неопрашиваемая, стала на работу на канатной фабрике по Большой Арнаутской улице. Немудрая работа этого учреждения выполнялась сравнительно небольшой группой женщин безработных, с прибавкой к ним десятка-двух парней. Женский пол отличался непостоянством, цыганскими наклонностями, то и дело менял свою профессию. Правда, работа на этой фабрике была грязная, воздух тяжелый, „невкусный", дневная упряжка весьма продолжительна. Мы уходили домой, когда от погружавшегося в море солнца оставался едва заметный серпок над водой. Сблизить всех работниц в одну ячейку, хотя бы для слабейшей защиты себя, — никак не удавалось, непривычное туго входит в головы, да и времени на противодействие хозяйчикам не хватало: все бегали с канатом или раздергивали в окутывающей пыли гнилую погань. За два с половиной месяца осталась очень ничтожная связь с более пытливыми девушками, бравшими почитать „что-нибудь". Однажды, выйдя из пылью насыщенного фабричного здания на вольный свет, я была охвачена чистым, легким воздухом настоящей южной весны, властно звавшей уйти от канатного смрада. Через неделю я уже шла на полевые работы в

*) „Башенцами" называлась группа лиц, жившая в башне на верху дома Новикова.

Таврическую губернию, в большое имение богатого помещика Неустроева. В эту экономию, весной, как в ростепель ручьи, стекалось великое множество работников со всей украинской земли: полтавчан, киевлян, киевцев и даже „кацапов“ курян. Артелями, персонально они смело втискивались в наш огромный табор на степи. Приходили, работали и опять поднимались в поход, неведомо почему и куда держали свой путь. Было любопытно наблюдать эту живую силу, метавшуюся туда-сюда по степи в поисках труда. Поздней осенью, когда побурели поля, и дождь моросил мелкой пылью, я возвратилась в Одессу.

Весь почти что радикальный народ к тому времени разметался по разным краям. Многие ушли биться за освобождение „братушек“, другие разбрелись с котомками за плечами по селам и городам. У многих народников юга в то время уже начала тухнуть вера в пропаганду социализма среди крестьян, нарастало искание новых путей— отвоевывать право на свободную жизнь. В этой общей неопределенности явилось у меня желание научиться чеботарству, нашла хорошего учителя сапожника в Николаеве, а квартировала в прекрасной семье Левандовских, младшие две девочки которых учились у Самуила Виттенберга. Внешняя простота и скромность этого человека не соответствовали его огромным математическим способностям и высокой моральной гуманности, скрытым в нем вследствие его большой замкнутости. Впоследствии, в 79 году, 11 августа, в Николаеве он был повешен вместе с матросом черноморского флота Логовенко. В Николаеве мной было получено экстренное уведомление о вторичном аресте брата, двух сестер и всех знакомых. Неизбежно было ехать в Москву для устройства совсем желторотого братишки, оставшегося беспризорным после разорения гнезда брата. В этот же, если не ошибаюсь, приезд в Москве я принимала участие в неудачном освобождении Ольги Любатович, инициаторами котораго были Енкулатов, Иванчин-Писарев, М. П. Лешерн и жена Калетаева (видного участника коммуны в Криницe). Зато 1 января 77 года был оборудован артистически побег братадоктора, Василия Семеновича, из Басманной части. Главным руководителем этого дела был Ю. Богданович с участием Т. Арефьевой и — немного меня. Преисполненные радостью освобождения брата, по настойчивому совету Ю. Богдановича, все участники покинули Москву. Разумеется, я вернулась в Одессу. Летом в том же году к нам в Одессу, помнится, приезжал М. А. Натансон и Д. Лизогуб. Последний рассказывал, что в Чернигове и по всем уездам были прибиты на столбах карточки брата с листками, крупно и четко покрытыми строками с приметами брата и обещанием награды за его поимку. Димитрий Андреевич Лизогуб радостно заливался смехом, вычитывая в числе примет: „одет в овчинный полушубок, на ногах большие теплые валенки, в меховой шапке“.

30 января 78 года в Одессе было произведено вооруженное сопротивление при аресте И. М. Ковальского и других с ним лиц. Мы с сестрой, недавно освобожденной на поруки, читали это ошеломляющее известие в Петровско-Разумовском среди своих друзей. Оно всех сильно взбудоражило; читали раз, два, у многих вырывалось восклицание: „Вот оно настоящее!“ Через 5—6 дней после этого вечера пришла оттуда телеграмма:—„Просим не замедлить выездом к родным“. Совсем неожиданный вызов на месте объяснился тем, что кое-кто из „башенцев“, а главным образом Г. А. Попко, задумали и решили всеми мерами освободить И. Ковальского. Сношения с ним быстро установились, вскоре даже стало точно известно расположение его камеры. Оно позволяло надеяться на успех, на возможность освободить узника, следовало только подвести подкоп к тюремной стене, тесно соприкасавшейся с камерой Ивана. С этой целью уже была присмотрена квартира против тюрьмы, из которой в самый кратчайший срок быстрым темпом должен был вестись подкоп. Иван дал свое согласие на этот план. Ковальского перевели в другую камеру, во втором этаже. Надежды на его освобождение рухнули безвозвратно, других путей не было. Сношения с заключенными теперь передали мне, они велись при посредстве надзирателя, очень доверчивого существа, не искушенного в деле сыска. Если память не изменяет, в этом же году, приблизительно незадолго до суда, Малинка и Студзинский, сидевшие вдвоем в одной камере, решили бежать. С воли для них оказывалась необходимая помощь: через того же надзирателя передавались пилки, лобзики, шпагат, в замаскированном виде. Они без особого труда подпилили решетку и вышли во двор. Причина их дальнейшей неудачи так и осталась для нас тогда неясной*).

Шли месяцы, недели, приближался суд над И. Ковальским. Начальство готовилось к нему, революционеры, в свою очередь, стали заранее приготавливаться к ответу на приговор, если суд вынесет смертную казнь. Прокурору, судьям с печатью исполнительного комитета были разосланы предупреждения, прокламации рассылались всюду по почте, в городе интерес к суду поднимался с каждым днем. Видная роль в технической подготовке принадлежала

*) По словам здравствующего Студзинского, когда они стали подниматься, перелезая стену—лестница под ними подломилась.

В. Фигнер.

Давиденко — талантливейшему созидателю остроумных и ловких западней для врагов. Из Петербурга приехали два защитника — Бордовский и Стасов. Во всех революционных кружках среди молодежи замечалось сильно повышенное, нервное настроение. 24 июля военный суд вынес смертный приговор Ковальскому. Это был первый кровавый акт, первая смертная казнь за последний период революционной борьбы. Людское море, заполнившее все улицы, прилегавшие к зданию военного суда, услыхав приговор, волной колыхнулось в направлении суда, как бы намереваясь прорваться в здание и вырвать осужденного. Казаки с пиками наперевес, жандармы с обнаженными шашками врезались в густую человеческую толпу. Все смешалось и утонуло в вечернем тумане. На другой день подготовленный удар разразился.

Едва начинало брезжиться, как, опоясав Одессу цепью сборной военной силы,—началось опустошение. Оно было всестороннее, полное и беспощадное. Все дома заключения наполнились до чрезвычайной перегруженности, и куда только не перебрасывали пленников.

Наша квартира с добрейшей души хозяином М. Б. Эйтнером была вычищена до полнейшего безлюдия. Мое заключение продолжалось месяца три, а затем этапным порядком по всему дальнему пути меня отправили на родину к отцу до распоряжения московской жандармерии. Перспектива новых мытарств и этапных хождений ощутилась до того живо и осязаемо, что мне показалось более подходящим предупредить все это—самой уехать из деревни в Москву, а оттуда на время к брату в Румынию. В этой нищенски убогой стране тогда жила эмигрантская колония, среди которой еще не совсем угасли к тому времени планы овладеть „легально" островом Папиным на Дунае, защитным оружием охватить его кольцом и вести из этой небольшой, но неприступной крепости наступление на царское правительство всеми доступными средствами. Спасительные мечты, конечно, потом растаяли, оставив у многих светлое воспоминание среди „пошлости и скуки". В среде этих строителей пышных замков был и мой брат.

В начале 80 г.г., возвратясь из Румынии на север России, в феврале или марте, я заняла положение „хозяйки квартиры" народовольческой организации в Петербурге. Хозяином „стал" Н. И. Кибальчич и „бедная родственница" Л. А. Терентьева. Все трое мы составили фиктивную семью под фамилией Агаческуловых и Трифоновой, заняв квартиру на Подольской улице, д. № 11 *).

Эта квартира не имела специального назначения, сюда приходили разные люди, центральные работники на ряду с приезжавшими провинциалами. В ней, между прочим, находилась небольшая типография, регулярно выпускавшая „Листок Народной Воли", прокламации партии. Прожив совместно срок, указанный Александром Михайловым, семья распалась по соображениям организационного характера. С октября 80 года до 2-го мая 81 по той же Подольской, но в № 41, проживала семья под фамилией Пришибиных — мужа с женой с родственницей Трифоновой. Эту в действительности фиктивную семью составляли М. Грачевский, П. Ивановская и Л. Терентьева. Помещение было предназначено исключительно для типографии со строго конспиративным характером. Работали по изданию партийного органа „Народная Воля". Расширенная типография, хорошо оборудованная, выпускала кроме народовольческой газеты прокламации Исполнительного Комитета, листки и прочее. Письмо Исполнительного Комитета к Александру III печаталось в этой квартире и было выпущено 12 марта 1881 года в количестве более 10.000 в раз. Вызванные 1-м марта колоссальные, ранее невиданные аресты произвели в рядах партийных работников и в самом центре партии глубокое опустошение. Кто оставался уцелевшим—уезжал вон из столицы. Наша квартира чудесным образом оставалась нетронутой, работа по печатанию продолжалась ровно до 1-го мая, когда в этот день Людмилу Александровну Терентьеву-Трифонову, случайно принятую за Кобозеву, арестовали на улице. Сделалось на другой день, т.-е. 2-го мая, неизбежным покинуть типографию со всеми в ней находившимися богатствами и перекочевать в Москву. Нанесенный в Питере удар партии „Народной Воли" все же не истребил всех составлявших ее членов, всего до основания центра. Избежавшие провала собрались в Москве. Явилась новая тайная типография вместо погибшей в Питере. Комитет начал выпускать очередные №№ „Народной Воли". Степан Халтурин завел широкую связь с кружками и группами рабочих, направляя их всею мощью своей души по пути объединения. Я присоединилась к работникам печати, посещала ежедневно устроенную на Солянке в доме Шильбаха типографию. Расширявшаяся деятельность в Москве потребовала устройства специальной квартиры,

*) На эту квартиру ходил рабочий Окладский. Когда он стал предателем, то рассказал о ней все, что знал. Между тем, паспортное бюро Нар. Воли считало документы Агаческулова и Трифоновой чистыми, и по ним жили Фриденсон (под им. Агаческулова) и Терентьева (под им. Трифоновой). По этим паспортным нитям Фриденсон был арестован в янв. 81 г., а выслеживание, вероятно, было причиной и др. наших несчастий.

В. Фигнер.

предназначаемой для строго деловых свиданий. Она скоро была налажена с бездетными хозяевами мелкой мещанской семьи Харлампием Поддубенским и П. Ивановской; под какой фамилией мы жили, — не помню. Квартиру эту часто навещали Тихомиров и Ю. Богданович. Однако, такая работа,—работа нового расцвета, имела короткий день. Внимание охранки скоро повернулось лицом к Москве. Весною 82 г. начались в ней или, вернее сказать, продолжались петербургские обыски и аресты. Первым был арестован Буланов; 6 февр. Стефанович, пришедший на квартиру Буланова, 10-го марта 82 г. был арестован Богданович; Оловенникова — Ошанина (Баранникова) скрылась с квартиры, а затем арест за арестом пошли повсюду. 23-го марта т. г. взята была квартира И. В. Калюжного и Смирницкой с большим количеством паспортов, печатей и др. бумаг. На углах улиц близ дома расположения типографии сновали мрачные тени, омерзяя наш уединенно тихий уголок, но это еще не было их полной победой, — они являлись только указателями катастрофического положения для печати. Необходимо было быстрее свертывать работу, ликвидировать все дело, но на самый короткий срок, чтобы перенести в другое, более спокойное место.

Комитет решил возобновить издательство в другом городе, и выбор его пал на Ригу. Вдвоем с Чекоидзе мы повинны были, согласно желанию партии, ехать туда для постановки тайной типографии и скорейшего возобновления изданий. Чекоидзе по дороге свернул в Вильну, чтобы оттуда забрать весь необходимый материал, умелых наборщиков и весь этот груз привезти в Ригу, в заранее приготовленную квартиру. Работники действительно собрались на место, ждали шрифт и прочие нужные для работы вещи, когда вдруг дошли тревожные вести о новом погроме, погребшем июльскими арестами в Петербурге все слабые остатки когда-то могучей организации Народной Воли. Тогда-то поехавший в Питер Чекоидзе за деньгами, не хватавшими на выкуп шрифта, попал в западню, а с ним погибли адреса у кого хранились типографские принадлежности. Требовалось решение, как дальше поступить: прикончить ли весь проект с устройством типографии. Сообща с двумя партийными друзьями было решено, пока что, прикончить начинание, взятых на работу — распустить. В Витебске, где ждали засевшие в номерах работники и хозяева рижской квартиры, произошло решение иного рода. Едва я переступила порог помещения поджидавших работников, как в дверь шумно ввалилась полиция. Вся наша компания была арестована.

В Витебском остроге чуть не пропала от голода, только вниманием уголовных продержалась до желанной отправки в Петербург. Здесь меня встретил Судейкин, повел продолжительный разговор, кончившийся приказанием отвести меня в одиночную камеру. Судилась в 83 году с 25-го марта по 3 апреля Судебной Палатой с сословными представителями по процессу „17-ти народовольцев“, связанному с событием 1-го марта 81-го года. Приговоренная к смертной казни, замененной пожизненной каторгой, непризрачно прикоснулась ненадолго к мрачному жестокому режиму Петропавловской крепости. Через $3^1/_2$ месяца была отправлена на Кару Забайкальской области отбывать каторгу, а кончала ее в Акатуе. В 98 г. в конце октября вышла на поселение в Баргузинский округ, где оставалась 4 года. В 1902 г. была переведена в Читу, из которой через год бежала с понятным чувством и мыслями—если не работать „во всю“, то хотя бы ближе подойти к жизни, присмотреться к новому течению. Очутившись в столице, я вошла в боевую организацию партии социалистов-революционеров, участвовала в достижении подготовлявшегося тогда убийства Плеве. Конец этого дела дал мне некоторое удовлетворение тем, что он, взявши столько жертв, наконец был приведен к неизбежному, всеми желаемому концу.

Возвратилась в 1905 г. после небольшого отдыха за границей с выработанным, обдуманным во всех деталях планом и твердым желанием взять на свои старые плечи ношу менее тяжелую. Но жизнь шире и глубже всякого теоретически умного и ясного построения,—все норовит по-своему загнуть в сторону, своротить с намеченного пути. Временный отъезд Савинкова за границу, последовавший затем взрыв в гостинице „Бристоль“ с гибелью Леопольда Швейцера— главного руководителя северной организации после Савинкова, поставил в неизбежность кончить во что бы, то ни стало последний акт — покушение на дядю царя, Владимира, министра Булыгина, Трепова и Дурново. Чуть не в самый канун покушения вся боевая организация была выдана Татаровым. Каким-то самым неожиданным образом он появился в Питере, прибыв из Иркутска и получив здесь полное доверие. 11-го февраля в Сестрорецке арестовали Маркова, а в ночь с 28-го на 1 марта произошел взрыв при заряжении бомб, погубивший Швейцера. 16-го марта была снесена Б. О. вся без остатка. В числе многих и многих арестованных очутилась в тюрьме и Мария Григорьевна Нежданова. На утро газета „Новое Время“ услужливо сообщила незначительные подробности арестов и уже мою родовую и по мужу фамилию. Она была воспроизведена без ошибки. Держанию меня в крепости препятствовала почти отнявшаяся рука и твердое отстаивание доктора против перемещения в крепость. Так я и

осталась в Доме предварительного заключения—„курортом Д. П. З.“ назывался он между заключенными – до 28—29 октября. Амнистия меня не коснулась, я без малого две недели оставалась одна в Д. П. З., и только настойчивый напор „Всесоюза“ (Союз Союзов) раскрыл мне двери тюрьмы.

Я вышла тогда, когда самый высокий вал революции 1905 г. пошел на слишком заметную убыль. Впрочем, Совет Рабочих Депутатов, возглавляемый Носарем-Хрусталевым, еще существовал, но и в нем уже была заметна щерба. В президиуме ярко выделялась Вера Засулич, всегда восторженно встречаемая рабочими. Появление упадка революционного настроения резче всего сказывалось в окончательном провале третьей забастовки и, наконец, в неприостановке поездов по Николаевкой дороге, когда шла отчаянная битва на Пресне. Волна пошла на низ, — это ясно было, ее понижение отражалось на каждом. С нерадостным настроением я с сестрой уехала из Петербурга в деревню. Из Москвы шел первый выпущенный после восстания поезд, при самой тяжелой обстановке. Всюду щетиной блестели штыки, сновали, громыхая саблями, офицеры. Личные обыски на вокзалах и в поездах тогда прекратились уже. Полное усмирение Пресни вызывало у общества глубочайшее презрение к „героям внутренней победы“. В вагонах стояла жуткая тишина, перепуганный пассажир угрюмо молчал. На станциях носильщики, весь низший персонал скоплялись в тесные кружки, шопотом обмениваясь о чем-то важном и значительном, при этом печально качали головами. На станции Голутвино по Рязанской ж. д. не смолкли еще звуки залпов: там кончались расстрелы, без разбора, каждого, на кого указывал перст негодяя.

В Саратовской губернии, куда мы приехали, я принимала пассивное участие в выборах в 1-ю Думу 1906-го года.

В 1907 году начальство вспомнило обо мне, намеревалось предать суду за побег из Сибири. Полиция явилась к Влад. Галакт. Короленко, в семье которого я тогда жила, чтобы подвергнуть меня аресту, но, заметив сделанный мне знак, я ушла черным ходом,— несомненно было, что за побег назначат трехгодичную каторгу.

На этом пока остановлюсь. О жизни и работе уже при новом общественном строе вряд ли есть надобность сейчас говорить.

Ковалик, Сергей Филиппович *).

Я родился 13/25 октября 1846 г. Отец мой, сын казака Полтавской губ. Зеньковского уезда, кончил военную школу в Петербурге, был патриотом и „верноподданным“, тем не менее обскурантом он никогда не был и ко всем реформам, включая и освобождение крестьян, относился сочувственно.

При выходе в отставку он купил небольшое имение в Могилевской губернии Чериковского уезда, в котором числилось около 100 — 150-ти душ крепостных крестьян. Крестьяне, вообще, относились к нему довольно хорошо.

Мать моя умерла от родов, когда мне было всего два года, так что до своего поступления в корпус в 1856 г. я был исключительно на руках отца—ни матери, ни бабушки я не знал. Отец мой тоже относился ко мне мягко и любовно, никогда не бил меня, и по времени, когда я рос, я представляю собой редкий экземпляр человека, которого ни разу в жизни не коснулась чужая рука. Даже в корпусе как-то случилось так, что меня ни разу не высекли и не побили ни начальство, ни товарищи.

Мне пришлось провести в кадетском корпусе, до преобразования, семь лет и один год, после преобразования, в военном училище. Корпус, в который я поступил, все время странствовал — его переводили из одного города в другой. Он назывался сперва Брестским, по месту своего нахождения, затем Александровским-Брестским и, наконец, просто Александровским. Я приехал в корпус, когда он находился в Москве, затем нас перевели в Вильно и в 1863 г. в Петербург. В это время происходило преобразование корпусов в военные гимназии с выделением двух специальных классов во вновь открываемых военных училищах, куда я и попал. При моем поступлении в корпус, там держалась еще ненарушимо старая „николаевская“ дисциплина. Воспитатели были большей частью мало образованные офицеры. По субботам назначались сечения розгами за неуспехи в науках и разные проступки. Особенно свирепым мы считали командира младшей (неранжированной) роты, шведа Гренквиста. Года три он допекал нас, как мог, но потом с ним произошла какая-то радикальная перемена—он стал самым гуманным из нашего начальства. Повидимому, и его коснулись веяния будущих шестидесятых годов. В детских годах я не был шаловлив. Ротный командир почему-то не издевался надо мною, а товарищи относились ко мне хорошо и не требовали моего непременного участия в их проделках. В корпусе, во время нахождения его в Бресте, было много кадет поляков. С переездом в Вильно опять стало поступать несколько больше поляков, чем в Москве, так что в общем число их равнялось числу русских кадетов. Обе национальности хорошо сжились между собою, так что между ними никаких

*) Автобиография написана в декабре 1925 г. в Минске. 26/IV—1926 г. С. Ф. скоропостижно скончался от артерио-склероза, которым давно страдал.

недоразумений не происходило. Во время нашего пребывания в Вильно сменили директора корпуса на более мягкого, хотя и не любимого нами. Среди остального начальства и учителей стали появляться отдельные личности, слегка затронутые веяниями шестидесятых годов. К нам, неизвестно откуда, эти веяния тоже частью проникали. В 1861 или в 1862 г. у нас образовался небольшой кружок самообразования. По вечерам мы, члены кружка, и все, кто пожелает, собирались для чтения книг и журналов. Во главе кружка стоял уже взрослый кадет Литвинов, назначенный в мою роту унтер-офицером или чуть ли не фельдфебелем. Он уже был тронут настроениями того времени и старался вести наши чтения и беседы в духе настоящего самообразования. Потом мне в 1864 г. пришлось встретиться с ним в Петербурге. Он, хотя и был еще в Артиллерийском училище, ходил в красной рубахе и вел самые революционные речи. Во время затишья самого начала 70-х г. я разыскал его в Петербурге. Он был воспитателем в Пажеском корпусе и уже не интересовался никакими общественными вопросами. Ко времени польского восстания в 1863 г. нам удалось один или два раза прочесть выходившие тогда в Петербурге прокламации, и мы все более и более проникались, если не революционными, то оппозиционными идеями. Начальство, повидимому, стало подозревать о нашей неблагонамеренности и, как будто, хотело что-то предпринять. Мы тогда образовали небольшой кружок, с целью сопротивления и борьбы с начальством. Это был своего рода „террористический" кружок, но ничего не пришлось ему предпринять. Польское восстание не вызвало у нас никаких сколько-нибудь крупных откликов. Только один кадет, Станкевич, из отпуска не вернулся в корпус, а примкнул к восстанию. Однажды, во время проезда мимо наших окон генерала Ганецкого, одного из усмирителей восстания, мы стали кричать в окно „дурак". Эта история для нас кончилась ничем, так как начальство не могло разыскать, кто кричал.

В 1863 г., опасаясь польского восстания, нас таинственно, ночью, вывезли из Антоколя—так называлось место около Вильно, где мы помещались—под большим конвоем солдат, посадили в вагоны и увезли в Петербург, где осенью меня определили во 2-й специальный класс Павловского военного училища.

Находясь в училище, я встретился с бывшими кадетами разных корпусов. Познакомившись с ними, я вывел заключение, что более выдающиеся личности попадались из тех корпусов, преимущественно провинциальных, где дело воспитания было поставлено хуже всего. Очевидно, в то время, под влиянием доходивших до нас идей, мы сумели путем самообразования достигнуть того, что оказалось невозможным для петербургских товарищей.

В училище нам разрешалось несколько раз в неделю уходить в город к родным и знакомым. Несколько человек из моих старых товарищей наняли в Петербурге небольшую комнату, накупили разных дешевых приборов и химических веществ и занимались там химией. Опыта у нас было мало и однажды, при взрыве стеклянного сосуда, я чуть не потерял глаза. Кроме занятий в нашей лаборатории, мы посещали также знакомых в городе и понемногу входили в курс движения 60-х годов. Пробыв год в училище, я должен был выйти в армию офицером, но мне хотелось поступить в университет; директор училища, известный Ванновский, в виду особой просьбы сестер, указывавших на то, что я нужен в доме для ведения хозяйства, согласился освободить меня от военной службы и выпустить из корпуса с чином губернского секретаря.

В том же 1864 г. поступил вольнослушателем в Петербургский университет, а в следующем году должен был держать экзамен по всем гимназическим предметам, чтобы иметь право перечислиться в студенты. Гимназический экзамен я сдал в Могилеве. С гимназическим аттестатом я перевелся из вольнослушателей в студенты, но мне трудно было платить за слушание лекций, и потому я скоро опять записался вольнослушателем по двум или трем предметам, что выходило гораздо дешевле. В университете я избрал математический факультет. К математике я был всегда способен и еще в корпусе ознакомился с высшей математикой, которая там не преподавалась. Поэтому учиться в университете мне было легко и я редко посещал лекции. Свободное время я использовал для занятий в Публичной библиотеке, где я читал книги по физике и химии, главным образом. Между прочим, я узнал, что в то время еще не было известно, в каких случаях в гальванической батарее может получиться разная сила тока при трате одной частицы химической материи. Я долго думал об этом вопросе и составил собственную теорию, дававшую возможность по химическому составу тел определить силу тока. Теория моя, конечно, не была вполне научно обоснована и не была бы принята, если бы я ее опубликовал, но я упомянул о ней более для характеристики профессуры того времени. Я познакомил с ней одного профессора в Киеве, где я сдавал кандидатский экзамен, и он нашел, что я плохой математик, и несмотря на то, что я хорошо выдержал экзамен по физике, общей и математической, которую я особенно основа-

тельно знал, поставил мне по первой — 5, а по второй — 4. Как ни была плоха моя теория, но я все же и теперь думаю, что она представляла небольшой шаг вперед в науке тогдашнего времени.

Впрочем половину или больше времени, свободного от посещения лекций, я тратил на ознакомление с тогдашней жизнью молодого поколения и с новыми идеями того времени. Уже тогда образовались особые радикальские кружки в разных городах, но они очень мало занимались практическою работою в революционном духе, и я в то время ими мало интересовался. После польского восстания в 1863 г. движение 60-ых годов, как мне казалось, начало утрачивать свою яркость. Одну из главнейших причин этого я видел в том, что молодежи пришлось окончательно решить вопрос, на чью сторону она должна встать,—на сторону ли поляков, желающих завоевать свою свободу, или вместе с русскими, настроенными патриотически против поляков, не давать повстанцам возможности убивать своих сограждан, служащих в действовавших русских войсках. Молодое офицерство уже заколебалось и, несмотря на свои часто ультра-радикальные взгляды, не решилось изменить присяге, т.-е., им казалось, своему отечеству. Я не скажу, что этот конфликт мнений проявлялся вполне ясно, но дело походило на то, как во время войны с Японией, когда социалистические партии решали, что это война не наша, а русского царя, некоторые же из радикалов и даже социалистов, быть может после более или менее долгих колебаний, решили не уклоняться от войны и тем не дать возможности японцам громить Россию. Разумеется, кроме указанной, были и другие причины ослабления радикально - революционного духа среди интеллигенции. Во всяком случае к началу семидесятых годов уже замечается упадок в настроении русской интеллигенции.

В 1868 г. я, желая главным образом переменить место, отправился в Киев и там записался вольнослушателем в Киевский университет, а в 1869 г. выдержал экзамен на степень кандидата математических наук. Не успев получить диплома, я и некоторые другие бывшие студенты Киев. унив. получили предложение управляющего акцизными сборами Волынской губ. поступить к нему на службу, как нам было известно, для искоренения, главным образом, взяточничества среди чиновников. Я принял предложение и занял должность помощника надзирателя в Старо-Константинове. Но так как мысли мои были заняты общественными вопросами, то я по истечении годичного срока службы вышел в отставку.

Упадок активности среди интеллигентной молодежи для меня тогда представлялся вполне ясным, и я очень обрадовался, встретив Ивана Дебогория-Мокриевича, брата известного революционера Владимира, который собирал молодых людей для переселения в Северо-Американские Штаты и насаждения там коммунистической жизни. У нас было несколько собраний, на которых обсуждался вопрос об образовании нашей коммуны, и выделены были три делегата: Мачтет, будущий писатель, Речицкий, бывший революционер 60-ых г., и учитель гимназии Романовский, которые должны были немедленно ехать в Америку и искать место для коммуны. Они отправились сразу в малонаселенные западные штаты, но там с ними произошло несчастие. Пробуя свои ружья, кто-то, Мачтет или Речицкий, кажется последний, как-то тяжело ранил Романовского. Американская община, куда они явились после выстрела, судила их, но оправдала и даже несколько дней под-ряд приглашала их в свои дома. Романовский же вскоре после ранения умер.

Описанное событие, может быть, было последним ударом, но кружок наш, заметив некоторое оживление в интеллигенции, стал сомневаться в пользе переселения в Америку и, мало-по-малу, всем своим составом перешел на революционную работу в России. В последнее время существования кружка, еще до распада его, я был избран Мглинским земством Черниговской губернии мировым судьей, а затем судьями — председателем съезда мировых судей и месяцев восемь исполнял эти новые обязанности до получения бумаги о неутверждении меня Сенатом в должности мирового судьи. Предоставило мне эту должность только что вновь избранное, по инициативе Байдаковского, крестьянское земство, сменившее прежнее крепостнического направления. Уже самый выбор меня вызвал подозрения крепостников, а затем характер моего „судейства“ вызвал еще большее раздражение с их стороны. Однажды ко мне пришли несколько крестьян жаловаться на одного ростовщика-еврея, что он вторично взыскивает с них долг, уже не на основании их первоначальных расписок, а по мировой записи, заключенной у крепостника-судьи, моего предместника, по которой они соглашались уплатить ему в общем порядочную сумму. Я сначала недоумевал, что могу сделать против мировой сделки, заключенной у мирового судьи и потому не допускавшей по закону свидетельских показаний для ее опровержения. Но, рассмотрев дело, я увидел, что не было никакого искового прошения со стороны истца, а просто он и ответчики заключили, вместо крепостного акта, сделку в суде. Поэтому я вынес решение, что в законе не указаны, как неопровержимые документы, равные нотариальным актам, сделки за подписью мирового судьи, и потому должны быть

допрошены свидетели, как это было бы сделано в случае простой, никем не засвидетельствованной расписки. Свидетели показали, что долг крестьяне уже заплатили и потому я отказал в иске ростовщику. После этого у крепостников поднялся шум против меня, как человека, отменяющего решения мирового судьи, якобы законно составленные. Мировой съезд, в который была подана апелляция ростовщика, согласился с моим решением, но это не примирило со мной крепостников.

Кроме исполнения своих судейских обязанностей, я, живя во Мглинском уезде, пробовал устроить несколько пунктов для пропаганды среди крестьян. Предварительно я отправился в Петербург, где по случаю такого редкого явления, как судья — революционер, собралась сходка тамошних радикалов, среди которых находился и Долгушин. Он разсказал мне, что у него есть кружок, который имеет в виду поселиться среди крестьян для пропаганды революционных идей. Уже в то время Долгушин был таким же революционером-народником, как два—три года спустя тысячи молодых интеллигентов, вошедших в так наз. большой процесс, или процесс 193-х. Я обещал Долгушину подготовить для него в Мглинском уезде подходящие места и успел найти вскоре одно, но у Долгушина было мало людей, и потому никто не приехал.

Оставив судейскую должность, я, кажется, в 1871 г. переехал в Петербург. Вскоре там был объявлен конкурс на должность профессора математики в Институте Путей Сообщения. Я подал соответствующее заявление. Мне сказали, что я должен буду прочесть две пробных лекции — одну на заданную тему, другую на свою. Я подготовился, но узнал, что кроме меня и Поссе, кандидатов математического факультета, заявили желание занять должность несколько профессоров, от которых не требовалось прочтения пробных лекций. Я уже начал сомневаться, стоит ли итти на испытание, но все-таки пошел. У стола сидело несколько профессоров и директор института, все, мне показалось, глубокие старики. Один только кивал мне головой, когда я прочел первую лекцию на заданную тему, остальные же как будто относились безучастно. Я решил, что у них уже есть намеченный кандидат из бывших профессоров, и отказался читать лекцию на свою тему. Оказалось, что я ошибся—назначен был профессором Поссе, который, вполне возможно, был способнее меня, но соревнования которого я не боялся. Владимир Дебогорий-Мокриевич в своих воспоминаниях посвятил мне несколько строк или даже страниц и, разсказав о том, что я готовился занять кафедру, добавил, что теперь, увлекшись революционной деятельностью, я бросил всякую мысль о профессуре. Но и он ошибся. Я, действительно, никогда не думал после этого о профессорской деятельности, но, уже после революции в 1917 г., мне предложили читать лекции по высшей математике в г. Минске в Политехническом институте, ныне закрытом, и я согласился, после чего ректор Ярошевич отметил ошибку Мокриевича.

Я еще потому так легкомысленно отнесся к своей пробной лекции, что я в то время интересовался политическою деятельностью и искал соответствующих людей. М. пр., еще будучи председателем мировых судей, я выписал из Киева на должность секретаря съезда тамошнего радикала Каблица, который после моего неутверждения Сенатом также оставил службу во Мглине и тоже попал в Петербург. Здесь я с ним встречался, и мы обдумывали проект организации, которая занялась бы цареубийством и имела бы достаточно сил, чтобы после удачного или неудачного покушения могла бы повторить его. Но тут вскоре началось стихийное движение революционного народничества, и я решил, что прежде всего надо дать этому движению оформиться, и всякая попытка цареубийства могла бы только повредить нарождающейся революционной организации.

С тех пор—с конца 72 или вернее с осени 1873 г.—я весь ушел в революционное движение. Сначала мы еще не имели сочинений Бакунина, трактующих об анархии, но я независимо от него пришел к мысли, что государство должно в конце-концов уступить место анархическому строению общества. В это время я встретился с Лермонтовым, ранее участником кружка Чайковского. Он хотел мне проповедывать анархию, но увидев, что в этом нет надобности, сразу предложил мне отправиться за границу к Бакунину и Сажину, которые заняты вопросом об организации русского движения и о проповеди в России анархии. Я и без того уже начал заниматься этим, поэтому согласился на предложение Лермонтова и в конце 1873 г. поехал к Бакунину. Я должен был ехать на виллу Бакунина через Цюрих, где познакомился с Сажиным и Ткачевым, последний также собирался к Бакунину, и мы поехали вместе. Я в Цюрихе встречался с Ткачевым у Петра Лавровича Лаврова и из некоторых фраз Ткачева заключил, что он хочет извлечь некоторую пользу для своего дела из знакомства с тогдашними лидерами народнической молодежи—Бакуниным и Лавровым. Бакунин очень хорошо принял Ткачева и, не встречая с его стороны возражений на высказываемые им мысли, расстался с ним, как с членом будущей анархической организации, и не мог предполагать, что Ткачев в своем „Набате“ будет скоро отри-

цать анархическое учение. Бакунин говорил нам об организации анархической партии и предлагал нам, не обнаруживая этого в революционных кружках, фактически стать во главе движения. Об этом несколько ранее была речь у Бакунина с Дебогорием-Мокриевичем. Я, конечно, не возражал против мысли Бакунина, так как и независимо от нее задачей нашей в движении могло быть не что иное, как организация участников его, и я был доволен, что к этому привлечено уже несколько выдающихся людей. К этому времени образовалось уже несколько революционных кружков, кроме старых, как напр. Чайковского и Волховского.

Человеку, не участвовавшему в этом движении, трудно представить тот энтузиазм, с которым относилась к делу тогдашняя революционная молодежь. Движение носило вполне стихийный характер. Масса интеллигентной молодежи, после даже непродолжительного обсуждения задач времени, заявляли, что все они бросают университеты и пойдут в народ. Я помню случай, когда один студент, будущий член моего кружка, разговорясь со мною, просил дать ему совет, продолжать ли учение, или бросить университет и итти в народ. Я не хотел в таком важном вопросе навязывать ему свою идею и ответил несколько уклончиво: если вы еще не обдумали этого вопроса, то оставайтесь в высшем учебном заведении. Он, должно быть, всю ночь думал и на завтра с радостью объявил, что он решил итти в народ и бросить университет. К некоторым тогдашним кружкам уже присоединились по одному или по несколько рабочих и даже крестьян, с которыми ранее занимались старые радикалы и кружки в роде чайковцев, но в общем было заметно, что они не могут угнаться за быстрым течением движения и в нем играть сколько-нибудь видную роль, по крайней мере в первый период движения. Это и понятно. У рабочих тогда не было особого движения и тем более стихийного—оно наступило у них много позже (около 1905 г.)—поэтому часть рабочих даже отошла от движения.

Я не буду описывать народническое движение. Скажу только, что оно вспыхнуло с особенной силой осенью 1873 г., когда молодежь после летних каникул собралась в города, и что центром его был Петербург, Москва же, как и другие города провинции, получала толчек из Питера. В начале движения, среди его участников было много „лавристов“, но вскоре анархисты взяли верх. Наиболее сильным кружком был кружок чайковцев, но в среде его были разногласия по вопросу об анархии и лавризме, так что он не стал во главе движения, хотя и сделал много для развития народничества; у него было больше, чем у какого-либо другого кружка распропагандированных рабочих, занятия с которыми чайковцы начали еще ранее движения. В 1873 г. движение сразу приобрело массовый характер и питалось местными силами, пользовавшимися, конечно, заграничными революционными изданиями, как „Государственность и анархия“ Бакунина, „Исторические письма“ Миртова (Лаврова) и пр.; имели значительное влияние и статьи Чернышевского, сосланного еще в 60-х годах, но современная журналистика не давала почти никакой пищи для движения. Участники его относились вообще отрицательно к методам Нечаева, осужденного в самом начале 70-ых г., и более всего боялись генеральства вождей кружков. Поэтому создать какую-нибудь крепкую организацию было невозможно. Правда, революционные кружки пробовали организовать орган, направляющий движение, в лице собрания представителей своих и в виде устройства кассы. Средства для нее давали чуть ли не гл. обр. фиктивные браки, благодаря которым женщины, получая приданое от своих родителей, передавали деньги в кружки. Перед отправкою в народ в 1874 г. решено было оставить представителей в Петербурге и по возвращении из народа, к зиме, созвать общее собрание для обсуждения достигнутых результатов и дальнейшего направления движения. Но это не удалось, потому что почти все пропагандисты в 36-ти губерниях были переарестованы, и собрания могли бы состояться только в тюрьмах.

Свою революционную работу я проводил, по возможности, в полном соответствии с духом времени и теми задачами, которые тогда выдвигались на первый план. Между прочим, тогда проводился лозунг—довольно вести пропаганду в среде интеллигенции, надо итти к рабочим и крестьянам. Я, как и большинство тогдашних революционеров, понимал этот лозунг в смысле главной задачи и продолжал пропагандистскую работу и среди интеллигенции там, где это было нужно для выполнения нашей главной задачи—движения масс интеллигенции в народ. Мне приходилось заниматься с отдельными рабочими и ходить к крестьянам в деревню.

Я организовал в Петербурге свой кружок из десятка лиц и попутно при поездке в Харьков другой кружок из харьковской молодежи, главным образом из семинаристов. История этого последнего кружка интересна тем, что дает яркое понятие о настроении тогдашней молодежи. В Харькове я разыскал студента, занимавшегося прежде распространением лучших книг, изданных в 60-х г., но уже несколько лет совершенно отставшего от всяких дел.

Я дал ему прочитать „Государственность и анархия“, и на другой день он считал себя уже убежденным революционером. Я поручил ему собрать более выдающихся семинаристов, с которыми у него были связи. Он привел более десятка их и при мне, с небольшой поддержкой с моей стороны, стал проповедывать им революционные идеи. Одного такого собрания было достаточно, чтобы явившаяся к нам молодежь организовалась в революционный кружок и согласилась вносить в него небольшой членский взнос. Потом весь кружок был арестован.

Когда мы в 1874 г. двинулись в народ, я остановился на несколько дней в Саратове, где собирались члены моего кружка перед отправкой по деревням. Полиция уже начала зорко следить за революционным движением, и в мое отсутствие из квартиры, в которой остановились мои сочлены, там произведен был обыск, и арестованы все жильцы, так что на ночь я должен был устроиться у одного знакомого и сочувствовавшего нам учителя. Полиция и туда явилась, но я успел удрать через окно. Являлась необходимость скорее бежать из Саратова. Я направился в г. Николаевск Самарской губ., где, как мне было известно, предполагали заняться пропагандою в народе упомянутый выше Речицкий и Судзиловский, впоследствии гавайский сенатор. Они были рады моему приезду уже потому, что, проживая в глухом уездном городишке, они утратили связь с другими революционерами. Уже совместно со мною они стали обсуждать план будущей своей работы в народе, но и они уже были на учете полиции. Я успел сходить на несколько дней в ближайшие деревни, верст на 50, и когда вернулся к ним, узнал, что на днях мы должны быть арестованы. Вследствие этого я и Судзиловский отправились пешком до ближайшей почтовой станции на другом берегу Волги. При переправе на пароме нас нагнала полиция, ехавшая, чтобы нас арестовать, но нам удалось так хорошо изменить свой наружный вид, что полиция нас не узнала. Потом мы узнали, что Речицкий накануне нашей встречи с полицией был арестован и покончил самоубийством. После этих происшествий я отправился в Самару, где остановился на постоялом дворе, хозяин которого, по соглашению с Войнаральским, давал приют революционерам. В первую же ночь явилась полиция, нашла меня спящим на сеновале и арестовала. Она впрочем искала не меня, а кого-то другого. Вскоре после ареста я был отправлен в Самарскую тюрьму, а затем в Москву.

Нам долго приходилось ждать суда, до которого большинство подсудимых просидело около четырех лет в тюрьмах. Сначала прокурором, поставленным во главе дознания, Жихаревым, решено было производить самое дознание на месте совершения преступления, и меня начали возить по волжским городам, в которых я вел пропаганду, начиная с Ярославля. Я был доволен этим обстоятельством, так как приходилось путешествовать, хотя и под конвоем жандармов, и в местных тюрьмах разговаривать посредством перестукивания с товарищами. Но мне удалось только побывать в городах до Нижнего Новгорода включительно, так как потом начальство сознало безрассудность своего первого решения. Нас тогда пробовали сосредоточить в Москве, в тюрьме и при частях, но скоро перевели в Петербург и посадили многих, в том числе и меня, в Петропавловскую крепость. Там, несмотря на запрет со стороны начальства, мы перестукивались и переписывались в книгах, отмечая точками соответствующие буквы. Между прочим, я однажды прочел в книге запись Нечаева о том, что, он, чуть ли не с научными целями, пробовал в Алексеевском равелине, где он был единственным арестантом, голодать. В крепости нам давали с виду хорошую пищу, стоившую казне рубль в день на человека, но на меня эта пища оказывала вредное влияние. Запах грязной оловянной посуды был для меня до того отвратителен, что я ел пищу как можно скорее и чуть ли не затыкал нос. В результате у меня появилось какое-то болезненное состояние желудка, которое вскоре потом исчезло, когда меня перевели перед судом в Дом предварительного заключения на пищу общего арестантского характера. Там сидело большинство подсудимых, а ко времени судебного следствия и нас из крепости под большим конвоем перевели туда. Еще в крепости мы начали обсуждать наши будущие речи на суде. Еще при отправлении в народ на пропаганду некоторые из товарищей считали, что они идут не столько на пропаганду, сколько для ознакомления своего с народом, но тогда, при большом подъеме энтузиазма, это течение не было обширным. При выслушивании же проектов речей на суде во время нашего содержания в крепости, меня поразил умеренный характер большинства проектов. Поскольку можно было, я вел борьбу путем перестукивания с этим течением. Я находил, что главная наша задача была произвести государственный и общественный переворот, а пока он совершится, образовать крепкую партию социально-революционного характера. Но в крепости трудно было путем перестукивания достигнуть какого бы то ни было соглашения. Независимо от указанной главной мысли товарищей, думавших произносить речи на суде, между ними не могло даже установиться согласия в частностях, так

что я начинал прямо бояться речей участников процесса, если они будут произнесены на суде. В результате вышло бы, что гора родила мышь. Возможно, что я преувеличивал казавшийся разброд.

В Доме предварительного заключения, я с Войнаральским задумали побег, который с первого взгляда был совершенно невозможен в виду того, что на улицу нужно было выходить через несколько постоянно запираемых на ключ дверей, но мы скоро усмотрели слабое место. Наши окна выходили внутрь двора, а наружные окна здания без решеток выходили на улицу, так что тюрьма могла показаться прохожим обыкновенным домом в шесть этажей. Внутри первые четыре этажа имели со стороны улицы один сплошной коридор снизу до верху, а вдоль камер шли небольшие галлереи, по которым нас приводили и выводили из камер; но эти галлереи не доходили до наружной стены на улицу и были снабжены перилами, чтобы нельзя было упасть вниз. На третьем этаже в углу описанного коридора сделана была площадка для того, чтобы можно было подойти к наружному окну, выходящему на улицу. Окно было всегда заперто на ключ, хранившийся у старшего надзирателя. Этим окном мы с Войнаральским и думали воспользоваться для побега с помощью подкупленного надзирателя, но на первый раз мы хотели бежать через окно нижнего этажа, так как, кроме нас двоих, сначала предполагалось выпустить еще 5 товарищей, в том числе Кропоткина и Тихомирова. У меня и Войнаральского форточки в дверях были все время открыты, так как доктор признал, что нам мало воздуха, и у нас был ключ, украденный надзирателем, нашим сообщником; этим ключом можно было изнутри камер через форточку отворить дверь. Достаточно было одному Войнаральскому выйти из камеры и он мог своим ключем открыть камеры предполагаемых беглецов. На наше несчастье, усыпленный ранее старший надзиратель проснулся и увидел семь арестантов, готовившихся уйти через одно из предварительно открытых окон в нижнем этаже. Моментально, пока он не поднял тревогу, мы предложили ему получить 500 рублей, уплату гарантировал его товарищ, младший надзиратель, и он запер нас всех по камерам и о побеге не донес. По смерти моего отца, из опасения секвестра было продано его имение Сватковичи. Полученные деньги были употреблены на расходы по побегу и другие революционные дела.

Второй побег мы задумали совершить через вышеупомянутое окно в третьей галлерее и уже только вдоем—я и Войнаральский. Дело было в начале апреля 1876 г. Мы хотели уйти ранее, в марте, когда ночи в Петербуге были еще темные, но никак не могли дождаться, пока надзиратель, сидящий на другой площадке третьей же галлереи, заснет. Наконец, мы дождались этого, когда уже ночи начали светлеть; мы с Войнаральским отперли свои двери — одну настоящим, украденным ключем, а другую, кажется, поддельным и на сшитых полосах простынь спустились прямо на улицу, где не было никакого конвоя. Но на нашу беду проезжал во время нашего спускания из окна инженер Чечулин, последний поднял тревогу, и нас городовые сняли с извозчика, собиравшегося уже везти нас. С воли каждый день подъезжала лошадь, но не дождавшись нас, пока было темно, уехала домой. Чечулина с нами повели в часть, и он дорогой стал просить у нас прощенья, говоря, что он считал нас уголовными, если же бы знал, что мы политические, то, напротив, помог бы нам. Веря ему на половину, я хотел убедиться, что он действительно готов помочь нам и дал ему настоящий ключ от камер, чтобы он выбросил в уборную. Проследив за ним, я убедился что он исполнил это; тогда я ему дал адрес людей, помогавших нам с воли, и просил предупредить товарищей, что мы пойманы и пока не будем делать попыток к побегу. Он добросовестно выполнил поручение. Побег наш дал мне идею для шалости с прокурором, вызвавшим после нашей поимки меня на допрос. На вопрос, как и почему я бежал, я ответил: „по вашему совету“ и напомнил ему, как однажды, тоже на допросе, он говорил о моем положении, как будущего каторжника, и заметил, что на моем месте он все бы думал о побеге. После моих слов он, видимо, перепугался, боясь, что я запишу их в протокол, но я успокоил его, что это шутка.

Вскоре после попытки к побегу меня и Войнаральского увели в крепость, а ко времени суда опять привели в Д. П. З., откуда мы ходили в суд по прямому коридору, не выходя за стены тюрьмы. Суд начался, кажется, в ноябре 1877 г. Еще до суда мы открыли общие собрания всей мужской половины тюрьмы. Несмотря на холод, мы выставляли окна, если хотели побеседовать с товарищами, а во время собраний все до одного стояли у открытых окон. Чтобы устроить какой-нибудь порядок на собраниях, избран был председатель. Честь эта досталась мне, если не по заслугам, то по удобству моего положения. Я сидел в небольшом отделении тюрьмы, и потому мой голос слышен был в остальных двух больших стенах тюрьмы. Перед судом продолжалось обсуждение нашего поведения в залах суда, но особенно энергично мы принялись за эти обсуждения, когда началось судебное следствие, и Сенат, судивший нас, вынес постановление, что

следствие будет происходить по группам, общим числом до 20. Я попал в несколько групп, но были и такие подсудимые, которые принимали участие только в одной группе. Так как всех нас судили, якобы вследствие того, что все мы были участниками одного тайного общества, организованного четырьмя лицами *), то указанное распоряжение суда делало для нас невозможным участвовать во всех перипетиях судебного следствия. Защитник Спасович первый указал суду на этот юридический абсурд и внес свой протест, но суд остался при своем мнении. Когда мы пришли в камеры, то в тот же день началось обсуждение этого вопроса в общем собрании. Решено было заявить публично, что мы не признаем такого суда и отказываемся давать какие-либо показания и вообще участвовать в суде. Такую формулу должен был произнести каждый участник протеста в ответ на вопрос, признает ли он себя виновным. Желающим предоставлено было право участвовать в суде, но таких оказалось не много. Между прочим, даже протестанты одобрили желание одного киевлянина участвовать в суде, с целью показать нелепость утверждения обвинительного акта о безнравственном поведении членов киевской коммуны, которые, по словам обвинителя, спали в повалку, при чем чередовались мужчины и женщины. Лично я был очень доволен полученным результатом, так как масса защитительных речей внесла бы большую путаницу в выяснение общего характера дела. Я и некоторые мои друзья только задумывались о том, кто и как должен выяснить публично на суде характер нашего дела при создавшемся положении. Но исход, к счастью, очень скоро нашелся. Подсудимый Мышкин, решив в ответ на вопрос о виновности сказать целую речь, обратился ко мне и некоторым другим товарищам с просьбою сообщить ему конспект его будущей речи. Я написал ему свое мнение о том, что наша деятельность создала в России социально-революционную партию, которая, что бы ни делало правительство, поведет с ним героическую борьбу за народ. Мышкин согласился с моей мыслью и на вопрос о виновности произнес сильную речь, произведшую громадное впечатление в тогдашнем обществе. Несмотря на частые перерывы со стороны председателя, он сумел высказать все, что было нужно. За эту речь он был признан судом одним из четырех руководителей нашего процесса. После произнесения речи мы заставили Мышкина повторить ее на нашем собрании и рукоплесканиям и восторгам не было конца. После каждого заседания суда мы собирались у своих окон и выслушивали все, что происходило на суде. Тех, кто заявил протест против суда и отказ давать показания, уже больше не вызывали в суд, и некоторых, в том числе и меня, перевели в крепость. Суд окончился в январе 1878 г.

*) Войнаральский, Мышкин, Рогачев и я.

После тех протестов, которые вначале процесса предъявляли подсудимые и защитники, все ожидали сурового приговора, но ко времени его вынесения несколько усилилось либеральное течение по случаю своего рода патриотической войны с Турцией, тогда только что окончившейся. Течению этому, повидимому, не был чужд и сенатский суд, который вынес неожиданно мягкий приговор. По обвинительному акту можно было ожидать, что половина подсудимых будет лишена всех прав состояния, а оказалось, что половина судившихся совершенно оправдана, и к каторге присуждено 13 человек, 12 мужчин, в том числе и я, и одна женщина — Брешко - Брешковская. Кроме того, суд ходатайствовал перед царем о замене каторги поселением в виду долговременного предварительного ареста. У меня считался защитником Евгений Утин; он в виду моего протеста с отказом от суда не выступил в защиту меня, но приходил ко мне на свидания в камеру на правах защитника без посторонних соглядатаев. Однажды он пришел ко мне и сразу бросился на шею. Будучи в большом волнении, он сообщил мне радостную весть об оправдании Веры Засулич, стрелявшей в Трепова. Он относился ко мне очень хорошо, как по званию либерала, так, может быть, еще и потому, что я составил ему своего рода протекцию для выступления на суде после наших протестов. Я рекомендовал его в защитники одного из киевлян, и он блестяще опроверг инсинуацию прокурора на счет киевской коммуны.

Ходатайство суда перед царем об облегчении приговора касалось многих подсудимых, и до разрешения вопроса царем мы оставались в неопределенном положении и продолжали сидеть в крепости и Д. П. З. Царь, вероятно, колебался, но потом, после выстрела Веры Засулич, отказал в замене каторги поселением и только велел зачислить нам в срок каторги и время, проведенное в предварительном заключении. Только один Мышкин, которого Сенат исключил из своего ходатайства за выстрел в казака в момент ареста, был сейчас же отправлен в Новобелгородскую Централку, а мы продолжали сидеть в крепости, где добились разных льгот, главное — совместных прогулок и свиданий с родными и знакомыми. После решения царя по поводу ходатайства суда о смягчении наказаний, нас скоро стали отправлять—одних в Сибирскую каторжную тюрьму на Кару, а четы-

рех человек—меня, Войнаральского, Рогачева и Муравского—в Ново-Борисоглебскую Центральную каторжную тюрьму, находившуюся около села Андреевки Змиевского уезда. Во время судебного процесса ожили даже такие участники его, которые под влиянием длительного тюремного заключения начинали падать духом. Процесс и особенно речь Мышкина были горячо восприняты революционною и даже радикальною молодежью. На одной из студенческих сходок принято было решение вступить в социально-революционную партию, о которой говорил Мышкин. Этот термин был употреблен в предвидении, что партия может менять свои названия и, частью, даже задачи. Конечно, мы не верили, чтобы студенчество могло поголовно вступить в партию, но во всяком случае такая решимость доказывала, что революционное движение идет вверх. Мы, сидевшие в крепости, во время процесса имевшие частые сношения с волей, конечно, тоже оживились и ехали в каторжные тюрьмы в приподнятом настроении. По дороге из Харькова в централку была сделана попытка освободить одного из нас, кого повезут в день покушения. Случилось так, что ехал самый слабый физически—Войнаральский, которого во время покушения прижали жандармы, и он не мог выскочить, чтобы броситься к повозке, которая была у покушавшихся. Дело кончилось тем, что была ранена одна из лошадей, везших Войнаральского. Этот случай не мог уничтожить нашего приподнятого настроения. Вскоре к нам привезли Сажина. Нас посадили по одиночкам, так что первое время сношения были затруднительны. Отношение к нам начальства было более или менее корректное и совсем не походило на то, что пришлось перетерпеть товарищам в другой централке, среди которых находился и Мышкин. В общем тюрьма, в которой нам предстояло прожить многие годы, производила впечатление могилы. Стояло единственное здание в поле, окруженное высокою каменною стеною. На прогулках каждый из нас видел только уголовных, с которыми мы не могли разговаривать. Всякие возможные даже в тюрьмах развлечения отсутствовали, книг почти никаких не было, кроме одного или двух духовных журналов и евангелия или даже, может быть, библии.

Сидя в разных тюрьмах, я наблюдал случаи, когда заключенный пытался проверить, не было-ли ошибок в прежней деятельности, не только лично его, но и партии. Иногда,—конечно, редко — дело кончалось созиданием для будущего какой-нибудь новой программы, не находящей большей частью ни одного последователя. Я был всегда противником таких новых пророков. У нас в централке начался несколько подобный процесс с самым старшим из нас—Муравским, или, как мы называли его, отцем Митрофаном. Он почувствовал потребность веры и создал целую религию с богом во главе. Он нашел некоторый отклик у двоих товарищей, Войнаральского и Рогачева, особенно у последнего, мы же с Сажиным были противниками. Наш тюремный священник благоговел перед Муравским и, когда он умер, на похоронах сказал перед уголовными арестантами, что умерший — святой, которому нужно помолиться, чтобы он и нам приуготовил царствие небесное. Жизнь наша в централках уже не раз описывалась, и потому я не буду о ней распространяться. *)

Осенью 1880 г. начальство признало, что централки оказывают вредное влияние на наше здоровье, и потому решили перевести нас в Сибирь на Кару, но предварительно препроводили нас в Мценскую пересыльную тюрьму, где мы отпраздновали 1-е марта 1881 г. и с открытием навигации поехали в Сибирь. Путешествовали мы долго, потому что по этапным правилам мы должны были проходить 25 верст в день и через двое суток в третьи дневать на этапе. В Иркутске мы остались до санной дороги и приехали на Кару зимою. В Иркутске на моих руках умер мой товарищ (судился по делу Долгушина) и друг Лев Дмоховский. На похоронах его Мышкин сказал речь, за которую был осужден, кажется на 20 лет сверх 10, назначенных первым приговором по большому процессу **). Здесь посещение церкви стоило ему 20 лет тюрьмы, а ранее в Централке он в церкви ударил смотрителя тюрьмы по лицу и вместо наказания получил выгоду: его признали невменяемым и перевели в сильно нервном состоянии к нам, где он довольно быстро оправился.

Карийская тюрьма до Шлиссельбурга играла значительную роль. В известном смысле это было высшее учреждение, к голосу которого, если он доходил до других тюрем и городов, прислушивались революционеры. До нашего прихода она была более всего населена одесситами, которых без всякой церемонии предавал суду Панютин под прикрытием ген. Тотлебена, пользовавшегося недурной репутацией за свою военную службу. Мы же явились представителями процессов Долгушина, 50-ти и большого 193-х. Нас поразил первый вид заключенных, когда мы вошли в тюрьму. Можно было подумать, что они поте-

*) См., м. пр., мою статью в № 4 (11) журн. „Каторга и ссылка", 1924 г., а также статьи в „Былом", 1906 г., октябрь, ноябрь и декабрь, под псевд. „Старик".

**) На 15 лет.

В. Фигнер.

ряли веру в свою дело и поэтому страдают. Но оказалось, что ничего подобного не было. Они разделились на две группы: одна стремилась к побегу через подкопы, а другая доживала свои сроки. Но это вызывало обостренные отношения. На Каре до нашего приезда был повешен тремя лицами из готовившихся к побегу нечаеевец Успенский. Его заподозрили в освещении перед начальством, во время свидания с женою, подробностей побега и, главным образом, рытья подкопа из двух камер. Сами карийцы заметили большую разницу между нами, только что пришедшими в тюрьму и отъевшимися и отдохнувшими в „Мценской гостинице", как назвал Мценскую тюрьму Виташевский, и старыми карийцами. Один из них, показывая на нас пальцем, громко сказал: вот каковы заживо погребенные. *) Возглас этот вызвал общий смех— впереди нашей партии, случайно, оказались самые полнощекие. Изможденность части карийцев не соответствовала той относительно свободной жизни, которую они вели. Они видели стражу только во время утренней и вечерней поверки и внутри тюрьмы были свободны. Все работы карийцы исполняли сами, ходили в мастерскую, находившуюся за тюремной оградой, но уже под конвоем, и даже выработали особый штат поваров, варивших пищу и пекших пироги по праздникам. Но трудно было умиротворить тюрьму, разбившуюся резко на два лагеря—одни сторонники **) массового побега, включавшие в свою среду и убийц Успенского, другие — население трех камер, т. е. большинство — более или менее обобщали побег с убийством и чуждались сторонников побега — жителей двух камер. Дело доходило до отдельных случаев неговорения между сторониками обоих групп. Мы, пришедшие из централок, познакомившись с причинами враждебности между собою двух половин тюрьмы, задались целью умиротворить тюрьму, тем более, что в обоих группах мы встречали вполне достойных и даже выдающихся людей. Мы созвали ряд сходок, которые, особенно первое время, посещались довольно охотно. На сходках мы предлагали, во-первых, расследовать дело об убийстве Успенского, и, во-вторых, до полного объединения обоих групп избрать особое судилище, которое разбирало бы все возникающие инциденты. В общем наша программа была принята, и в так называемое „судилище" избраны трое—я, Зунделевич и еще один, не помню кто. Мы разобрали дело Успенского и решили, что он не разоблачал готовящегося побега во время свидания с женою, но убийцы были введены в заблуждение смотрителем тюрьмы, который подозревал что-то неладное, болтал, что он на свиданиях узнал многое и намекал на готовящийся побег. После нашего вмешательства в жизнь карийцев недоразумения в значительной степени улеглись, но оставалось что-то в роде „классовой" якобы вражды между сторонниками и противниками побега. Окончательно сгладила все противоречия и остатки вражды политика начальства после побега Мышкина и Хрущева через мастерскую, минуя подкопы. Начальство уничтожило нашу республику, но вместе с тем сплотило нас. Так, мы довольно солидарно провели 12-ти дневную голодовку, с целью протеста против предполагаемого сечения товарищей и для получения разных льгот. Хотя голодовка на 13-ый день и сорвалась, но начальство не решилось прибегнуть к розгам и начало давать нам понемножку и в маленьких размерах льготы. Так, разрешено было ходить в чужие камеры для занятий по литературе и наукам. После более или менее длительного периода угнетений особенно ярко проявилось желание заняться абстрактными науками. Меня просили прочесть высшую математику, и получалась иногда такая странность, что у меня было больше слушателей, чем на уроках по самообразованию. По делу о побеге долго тянулось следствие, которое не давало никаких результатов, кроме задержки на несколько месяцев лиц, окончивших свои сроки каторги в тюрьме. Но, наконец, нас стали выпускать, и я был направлен в Якутск, а оттуда в Верхоянск, лежащий у самого полярного круга и являющийся полюсом холода на всем земном шаре. Там я застал только двух бывших ссыльных—Арцебушева и его сожительницу, но затем скоро привезли Войнаральского и многих других. У нас образовалась колония человек в 20. В Верхоянске я женился 39-ти лет от роду на приезжей акушерке Ольге Васильевой. Я скоро по приезде занялся изучением якутского языка и жизни якутов. Еще находясь в Верхоянске я написал брошюрку „Верхоянские якуты", которая могла быть напечатана только с разрешения Иркутского генерал-губернатора. В Верхоянске я приобрел маленький домик, расширил его, и мне понадобилось устроить печку. Ранее я никогда не видел внутреннего устройства печей, а местные не стоило осматривать, так как во время хорошей топки огонь выходил из труб. Пришлось „изобретать", потому что печника в то время в Верхоянске не было. Я и изобрел, как потом оказалось, самую обыкновенную голландку.

*) Карийцы уже читали известную брошюру Долгушина под этим заглавием, в которой описывались страдания заключенных в Централке.

**) Сторонники побега были расположены в двух камерах и у них тоже не было полного согласия во всем и тем более в оправдании убийства. См. об этом указанные выше мои статьи.

В Верхоянске создать славу легче, чем где бы то ни было, и я сейчас же приобрел славу печника. Мне стали заказывать печи местные обыватели и даже полиция для больницы. Печи мои скоро были признаны всеми обывателями, несмотря на некоторые казусы в зависимости от климата. Кроме печного ремесла, я занимался столярным и плотничным. В плотничном мне помогал тов. Соломонов, живший со мною в моем доме. Когда мне было разрешено выехать из Верхоянска, то мы с Соломоновым выстроили новый дом, где бы он мог после меня жить, а старый продали доктору и заплатили, таким образом, мои долги.

Из Верхоянска мне разрешено было, на правах „крестьянина из ссыльных", приехать в Балаганск Иркутской губернии, где мы с женой пробыли около года. Там у меня родилась дочь, которой первые месяцы пришлось расти в дороге. Я полулегально перебрался в Иркутск, жена же с ребенком осталась в Балаганске. Затем вскоре мне разрешено было принять участие в сибирской экспедиции по исследованию влияния золотопромышленности на быт якутов, и я с семьей поехал на Лену. По приезде в 1893 г. на Сибиряковские прииски, в то время самые крупные, главноуправляющий приисками Кокоулин устроил меня с семьею в небольшом домике и отпускал все необходимое для содержания. У меня была бумага от генерал-губернатора об оказании мне властями всевозможного содействия, а рядом со мною направлялась по почте другая, предписывающая иметь за мною строгое наблюдение. Второй бумаги Кокоулин, конечно, не получил. До путешествия на прииски я состоял в Иркутске сотрудником газеты „Восточное Обозрение" и потому и с приисков писал туда корреспонденции.

Пробыв некоторое время на приисках и собрав необходимые сведения, я направился в Олекму, где провел всю зиму. Там я, особенно первое время, ездил по якутам и нередко собирал там сходы для проверки переписи. Останавливаться приходилось иногда у богатых якутов. После ночевки у одного из таких якутов он предложил мне при выезде одну или две собольих шкурки „на память". Я ему мягко сказал, что предпочитаю по характеру своей работы получить на память две беличьих шкурки (на месте они стоили 20 коп.). Он растерялся, но вынес мне просимое. Этот случай показывает, как легко можно было обирать якутов, имея какое-нибудь официальное звание. В Верхоянске, например, власти и даже всякий русский, могли легко обирать якутов посредством так наз. „гощения". Перед якутом русский ставит бутылку водки и говорит: „гощу", при чем, кроме самых высших властей в уезде, должен прибавить сколько-нибудь денег—от 3-х до 10-ти руб. После распития водки якут дает тут же, или чаще обещает привести, коня, корову или каких-нибудь продуктов. Я однажды тоже выполнил целиком обряд „гощения". Дело было верстах в 150-ти от Верхоянска на почтовой станции, где я встретил двух товарищей, едущих в Колымск. Они жаловались мне, что якут не хочет продать им мяса. Я взял у них бутылку водки и поставил перед якутом, последний отличался скупостью и был смущен вследствие необходимости уплатить за „гощение". Я тогда пояснил ему, что я „гощу" не на коня или корову, а на то, чтобы он продал за деньги мяса проезжающим. У якута сразу появилась довольная улыбка, и он тотчас принес мяса.

В Олекминске я более всего изучал отношения якутов к золотопромышленности, но затрагивал и другие стороны их жизни. В конце-концов я представил в Иркутское Географическое Общество целый том, написанный об якутах, но он не был напечатан по недостатку средств и сохранился ли до сих пор,—не знаю. Одновременно в Олекминске меня заинтересовал вопрос о земледелии на такой высокой широте, на которой ни на Енисее, ни тем более на Оби ничего не растет. Статистика дала мне главное основание для решения этого вопроса. Оказалось, что в Сибири, чем восточнее главная из рек, впадающих в Ледовитый океан, тем вегетационный период в северных широтах продолжительнее. Я сделал одно интересное наблюдение в осенний вечер, когда температура быстро падала и уже приблизилась к 0°. Вода в это время сохранила еще тепло не ниже 10° Реомюра, и вот над горой с западной стороны появилось крошечное облачко, очевидно, от паров, подымающихся с реки Лены, которое стало быстро разрастаться и покрыло всю долину Лены между горами с каждой ее стороны. В то же время температура стала быстро подыматься, и явилась полная гарантия, что не будет мороза. Более подробное исследование показало мне, что долина реки, закрытая с запада и востока горами, а с севера крутым поворотом реки на север около Якутска, представляла собою как бы большой ящик, прикрытый сверху одеялом из паров, подымающихся с реки. Тепло не могло быстро расходоваться из такого ящика, и там продолжали расти травы и хлеб, когда на соседних горах были уже порядочные морозы. Объяснение мое подтвердилось осмотром места у одного из прорывов в горах. Там якуты начали было пахать землю под посев хлеба, но вследствие постоянных заморозков запустили ее. Об этих моих исследованиях напечатано было в каком-то лесного характера журна-

ле — названия не помню — издававшемся в Петербурге. В Якутске я в это время встретил просвещенного администратора-губернатора, порядочного человека, любимого и местными ссыльными. Лично против него я ничего не имею сказать, но он заставил меня оглянуться на других „просвещенных администраторов", которые, по моему мнению, ломая жизнь по своим начальственным соображениям, причиняли даже более вреда, чем добродушные взяточники.

Из Олекминска я вернулся с семьей в Иркутск, где продолжал обрабатывать свой труд о якутах. Дело в Географическом Обществе по вопросу о Сибиряковской экспедиции подвигалось туго по недостатку средств и, между прочим, я в свободное время занялся энтографией сибирских инородцев. Я успел даже прочесть в Географическом Обществе один доклад, где доказывал, что тюркские народности (турецко-татарского происхождения) достигают в культуре бо́льших успехов, чем монгольские народы, и дольше последних сохраняют свою живучесть. Монгольские племена чаще сливаются с тюркскими и усваивают их язык, чем тюркские с монгольскими.

В 1898 г. начальство отпустило меня в Европейскую Россию, но воспретило мне проживать в столичных и университетских городах. Я избрал г. Минск, и на первое время поселился в Блони Игуменского уезда у Бонч-Осмоловских, куда пригласила меня старая моя знакомая и сопроцессница, Варвара Ивановна Ваховская, по мужу Бонч-Осмоловская. Я несколько месяцев прожил у нее, заканчивая свой труд по сибирской экспедиции, а потом стал искать службы. Брат моей давнишней приятельницы Брешко-Брешковской — так. наз. „бабушки революции", представил меня управляющему акцизными сборами, который принял меня очень любезно и, повидимому, главным образом из-за моей революционной деятельности. Он предложил мне должность главного счетовода при открывшейся недавно водочной монополии. Должность эта соответствовала бухгалтерской, но не считалась государственной службой. Оклад первоначально был, кажется, 2000 р. в год. До тех пор я не знал двойной бухгалтерии и поэтому месяц или два усердно занялся ею, так что мог быть руководителем всех уездных отделений монополии и даже составил особую инструкцию по счетоводству. Первым делом я повел борьбу против чрезмерной длительности счетоводных занятий, растянувшихся почти на 12 часов каждый день. Я ввел у себя 6-часовой рабочий день, согласившись с подчиненными мне счетоводами, что они в случае неуспеха будут, когда нужно, приходить заниматься и вечером, но этого почти не понадобилось. Производительность нашего труда по меньшей мере удвоилась.

В Минске я встретил 1905 год. Революционное движение здесь было наиболее сильно в железнодорожном мире. Мы часто собирались и обсуждали положение дел после манифеста 17-го октября. В день манифестации, около Виленского вокзала, я, запоздав несколько на службе, направился было туда, но на главной улице встретил массу бежавших и до того перепуганных людей, что мне едва удалось узнать, что причиной бегства был так наз. курловский расстрел.

В те времена, т.-е. в девятисотых годах, в Минске было два публичных места, которые посещала передовая молодежь. Одно— это частная квартира полковника Черепанова, который сам сочувствовал революционному течению, другое—Общество изящных искусств, которое скоро подпало под подозрение жандармов. Они, впрочем, интересовались и квартирой Черепанова. В 1910 г. я с семьей побывал на всемирной выставке и в Париже, где жила сестра моя, эмигрантка, Мария Ковалик. Там я встречался с эмигрантами, бывал на их собраниях. Приехав в Минск, я задумал устроиться в деревне; после сибирского простора мне показался город душным, и я купил, конечно в долг, небольшой хутор в 5-ти верстах от Минска и ездил ежедневно на службу, при чем возил с собою и дочь мою, учившуюся в гимназии. Должно быть в 1910 г. упразднена была должность главного счетовода и взамен ее установлена должность бухгалтера с правами коронной службы. Так как я этих прав не мог иметь, то мне предстояло увольнение, но начальство сумело найти выход. Из Петербурга ему разъяснили, что оно по закону имеет исключительное право принимать на государственную службу лиц, не имеющих вообще доступа к ней, т.-е., очевидно, иностранцев и лиц податного состояния, и оно оставило меня бухгалтером без права получать чины и пенсию. Таким образом оказалось, что лишенный всех прав состояния имеет чуть ли не преимущества перед лицами податного состояния. Через несколько лет, кажется во время войны, мне взамен бухгалтерской дали должность помощника надзирателя акцизных сборов, которая мне не нравилась, но к моему удовольствию довольно скоро разрешили мне прикомандироваться к Земскому Союзу, имевшему тогда большое значение, с сохранением прав акцизной службы. В Земский Союз шли тогда либералы, радикалы и даже революционеры. Таким образом, я там встретился с Михайловым-Фрунзе, — и мы вместе заседали в разных комиссиях. Фрунзе до конца своего пребывания в Минске не открывал своей настоящей фамилии и уже во время или вскоре после Февраль-

ской революции был назначен начальником милиции. Одно время мне пришлось конкурировать с ним на выборах председателя земельного губернского комитета, имевшего своим назначением подготовку к разделу помещичьих земель между крестьянами. Выборщики высказались за меня, но это нисколько не испортило моих отношений с Фрунзе; последний сыграл довольно крупную роль в образовании Крестьянского Союза и был избран его председателем. Но он вскоре уехал в Иваново-Вознесенск.

После революции, свергшей самодержавие, Минск нуждался в работниках по разным отраслям деятельности, поэтому я переменил до десятка должностей. При первом появлении советской власти я был и оставался при ней председателем земельного комитета, при немцах был членом губернской земской управы, мировым судьею, городским головою. Из акцизной службы я, конечно, ушел в самом начале революции. Я еще не упомянул, что при первом собрании новой революционной городской думы я был избран заместителем председателя думы. Все перечисленные должности я занимал постепенно только с малым совместительством, но кроме них приходилось почти каждый день участвовать в собраниях. Их бывало так много, что иногда приходилось бежать из одного собрания раньше его окончания в другое. Поэтому, кажется, никогда так не опаздывали на собрания, как в то время.

Первая советская власть в Минской губ. существовала недолго и не успела проявить себя в полной мере. При ней я продолжал оставаться председателем губернского земельного комитета. Так как появились не столько противники, сколько желавшие посвоему распоряжаться работой земельного комитета, то я счел нужным отправить тогда телеграмму народному комиссару земледелия, левому эсеру Калегаеву, в которой описывал положение дел, в надежде получить от него одобрение работе комитета. Калегаев не замедлил ответить в желательном для меня смысле, так что дело у нас продолжалось в прежнем порядке до занятия Белоруссии немцами, согласно Брестскому миру. Оккупация немцев была сравнительно мягкой. Они даже не закрывали нашего земельного комитета, но для нас скоро стала невозможной дальнейшая работа, так как помещики, земли которых мы начинали брать в свое распоряжение, уже не слушались нас, а немцы как будто не вмешивались, но и не признавали новых законов и правительственных распоряжений по земельному вопросу. Земское управление продолжало существовать во все время немецкого владычества, и при нем же собралась новая революционная городская дума, в которой большинство принадлежало эсерам и эсдекам. В конце своего пребывания в крае немцы наложили на земли порядочный налог хлебом, но не успели его собрать, так как в Германии произошла революция, и они собирались уходить на родину. Перед уходом, месяца за два, за три до него, немцы решили назначить по указаниям наших общественных учреждений правительство из местных людей, числом, кажется, 6 или более человек. Меня тоже внесли в список членов правительства, и я об этом получил соответствующую бумагу на немецком языке. Мы согласились бы фактически стать правительством, если бы нам была предоставлена власть за некоторое время до ухода немцев, но немцы отвергли наше предложение об этом и предоставляли нам власть в день своего ухода. За ними тотчас же должны были вступить в Белоруссию войска и власти, и поэтому мы отказались разыгрывать комедию на час.

При советской власти я занял должность заведующего пенсионным отделом социального обеспечения. Пришлось организовать работу, не имея почти никаких указаний из центра. Тем не менее нам удалось сравнительно в короткое время поставить на ноги новое учреждение. События сменялись тогда быстро. Белоруссия попала под власть Польши. Почти с первого дня владычества поляков я получил полный отдых от дел, так как все места, где мне пришлось служить, были закрыты. После войны с Польшей поляки ушли из Белоруссии, и опять восстановилась советская власть. Я снова вошел в комиссариат социального обеспечения, но вскоре перешел в Политехнический институт, где занял должность преподавателя высшей математики. В это время никаких руководств по математике в Минске нельзя было найти, поэтому я после каждой лекции выдавал студентам написанную мною самим эту лекцию. Некоторые из студентов списывали потом эту лекцию, так что могли иметь у себя целый курс. Впрочем, с раздачей лекций число слушателей, как будто, уменьшалось: время тогда было голодное, студенты искали работы, и потому, имея писанную лекцию, они могли переписать ее в свободное время, а пока искать себе оплачиваемого труда. Институт был закрыт, кажется, в 1922 г., и я уже с этого времени не занимаю никакого постоянного места. Еще ранее я был признан нетрудоспособным по летам. Теперь же я, изредка, даю статьи в журнал „Каторга и Ссылка“. Состою членом Минского отделения общества политкаторжан и ссыльных поселенцев и избран им старостою. Мне нет надобности добавлять, что я все время своей сознательной жизни сохранял революционные взгляды, выработанные мною в молодости.

Ковальская, Елизавета Николаевна *).

Родилась я в Харьковском у., в имении моего незаконного отца, помещика Солнцева. Моя мать—крестьянка, была крепостной моего отца. По каким-то семейным соображениям, отец, благодаря обширным связям с высшей администрацией, перевел меня с матерью в мещане г. Харькова задним числом, спустя приблизительно 7 лет после моего рождения.

Вследствие этого я по официальным бумагам значилась „незаконная дочь мещанки г. Харькова и полковника Солнцева". Год моего рождения в разных бумагах значится разный: в одном документе—49, в другом—50, а в третьем—52 г. Какой действительный—не знаю.

Первые впечатления бытия были для меня жестоки и непонятны. Мне не было еще 6 лет, вероятно, когда мне стало известно, что существуют помещики и крестьяне-крепостные; что помещики могут продавать людей, что мой отец может продать мою мать соседнему помещику, а меня другому, разлучив нас. Но моя мать не может продать моего отца. Не менее жестоким было для меня другое открытие: дети делятся на законных и незаконных, при чем последние, независимо от их личных качеств, всегда заслуживают презрения, служат предметом издевательств, оскорблений. Дворовые ребятишки дразнили меня скверным словом, каким в те времена народ называл незаконных детей.

Долгими зимними вечерами в деревне, пробравшись тихонько в „девичью", притаившись в уголку, я слушала, как дворовые девушки, сидя с прялками, освещенные пылающей печью, рассказывали друг другу свои печальные истории. Заметив меня, одна из них обратилась ко мне: „Слушай, слушай, вот вырастешь,—на твою беду ты красивая,—продадут тебя". По ночам меня мучили кошмарные сны, мне снилось, как меня продают.

Я не помню, чтобы отец продавал когонибудь из своих крестьян. Но он купил, еще до моего появления на свет, молодого интеллигентного музыканта-скрипача, побочного сына какого-то графа от крестьянки. Купив, он дал ему „вольную", но человек был уже загублен, пил запоем и добровольно остался жить у нас в качестве управляющего одного из имений отца. Общность положения сблизила нас. Подвыпивши, он делился своими переживаниями с ребенком. Его судьба для меня была „memento mori".

У него я научилась грамоте. Первыми прочтенными мною книгами были поэты из его маленькой библиотечки: Пушкин, Лермонтов, Полежаев; особенно полюбилась мне „Песнь пленного ирокезца" Полежаева:

. . . .
Но, как дуб вековой.
Неподвижен от стрел,
Неподвижен и смел
Встречу миг роковой
. . . .
Я умру, но умру
На погибель врагам...

распевала я на придуманный мною мотив, бродя одиноко по старому запущенному саду.

Смутными, туманными тенями промелькнули в моем детстве образы декабристов. Среди родственников отца был очень юный офицер, князь Волконский, был ли он в каком родстве с декабристом—не знаю. Он научил меня песне о декабристах в такой редакции:

Не слышно шуму городского,
На невской башне тишина,
Лишь на штыке у часового
Горит полночная луна.
Несчастный юноша, ровесник
Младым цветущим деревам,
В глухой тюрьме заводит песню
И отдает тоску волнам.
Не жди, отец, меня, с невестой,
Сломи венчальное кольцо,
Здесь за решеткою железной
Не быть мне мужем и отцом.

На мои расспросы, кто этот юноша за решеткой, он рассказал, что были хорошие люди, которые хотели устроить так, чтобы никто не мог продавать людей; за это царь посадил их в тюрьму за решетку.

Другое яркое воспоминание осталось в моей памяти,—родственник отца, тоже князь или граф (не помню), Багратион, которого у нас считали сумасшедшим; возможно, что он таким и был. Его визиты были таинственны. Помню его первое появление. Мы жили в деревне. Зима. Ночь. Метель. Собаки подняли неистовый лай, лакеи выбежали с зажженными фонарями во двор. В свете фонарей двигалась высокая мужская фигура. Прислуга встревоженно бежала к моей матери: „снимайте, скорее снимайте!" Мать спешила убрать со стен гостиной портреты царей. В гостиной появлялся высокий, сгорбленный, седой, молодой старик. Не здороваясь ни с кем, он обводил глазами стены. Затем обращался к отцу: „у тебя хорошо, Николай, чисто, нет этой дряни по стенам". Ко мне он относился как-то особенно любовно, сажал к себе на колени, много рассказывал мне непонятного, из чего в моей голове оставалось только представление опять же о каких-то хороших

*) Автобиография написана в ноябре 1925 г. в Москве.

людях, не хотевших, чтобы людей продавали, как скот, о царе, загнавшем этих людей живыми под землю. Царь рисовался мне в образе сказочного чудовища, пожиравшего людей. По уходе таинственного гостя, отец приказывал мне никому не говорить о том, что рассказывал мне этот дядя. Я строго соблюдала приказ, гордясь, что мне доверяют какую-то тайну.

Освобождение крестьян произвело на меня потрясающее впечатление. Я была долго точно пьяная от радости.

Мы переехали в Харьков. Отец занялся моим воспитанием, готовя из меня „барышню". Были приглашены: француженка, учителя музыки, танцев и для занятий другими предметами студент—поляк, высланный в Харьков за прикосновенность к польскому мятежу. Он увлекательно рассказывал мне о борьбе поляков за свою свободу. Я плакала от того, что я не полька и не смогу бороться за свободу.

Одиннадцати лет меня поместили в частный пансион Щербачевой. Основательница пансиона, женщина-шестидесятница передовых взглядов, поставила пансион прекрасно: молодые учителя не только давали уроки, но много уделяли времени, занимаясь нашим развитием. Но пансион скоро закрылся, не встретив сочувствия в обществе: родители особенно были возмущены введением в женском пансионе гимнастики, для которой нас переодевали в свободные мужские костюмы.

По закрытии пансиона, не без борьбы с отцом, я поступила в гимназию. Там я встретилась с бывшей ученицей учителя Полтавской гимназии—Строева, сосланного на север. Она познакомила меня с литературой шестидесятых годов: журналы „Русское слово", „Современник", стихотворения Некрасова и др. книги определенного направления поглощались мною запоем.

Я устроила кружок самообразования из гимназисток, который вскоре слился с кружком молодых студентов. Занимались мы преимущественно общественными вопросами, но рядом с этим бывали рефераты по естественным наукам: по астрономии, по физике и другим отраслям знаний. В этом кружке, между прочим, участвовал молодым студентом Лазарь Гольденберг, известный впоследствии эмигрант. Особенно увлекались Чернышевским, его романом „Что делать" и женским вопросом.

В этот период времени в Харькове вводились новые судебные учреждения—гласный суд. Члены нашего кружка, по окончании гимназических уроков, бежали на заседания суда, где иногда просиживали за полночь. Перед нами развертывались общественные вопросы в картинах реальной жизни.

Помню блестящую речь только что выступившего на судебное поприще молодого товарища прокурора—А. Ф. Кони, обвинявшего подрядчика, непостроившего подпор при земляных работах, следствием чего было несколько трупов рабочих, засыпанных землей. Перед нами проходили крестьяне, обделенные землею при освобождении, судившиеся за бунты; женщины—убийцы своих мужей, не стерпевшие своего рабства, санкционированного законом.

Освобождение крестьян вызвало женское движение. Стремление к эмансипации женщин широкой волной разлилось по всем центрам России, захватило и меня.

Во время окончания гимназии умер мой отец, оставив мне большое наследство. Вместе с Я. И. Ковальским (впоследствии моим мужем), оставленным при Харьковском унив. на кафедру физики, я организовала в одном из доставшихся мне домов бесплатные курсы для женщин, стремившихся к высшему образованию. Ковальский читал физику, химию, космографию. Приват-доцент Е. М. Деларю—естествоведение. Студенты: Фесенко — политическую экономию, Гончаров—историю, Рунге и Дзивинский—высшую математику. Слушательниц был такой наплыв, что с трудом вмещало помещение.

Одновременно с этим я вступила в Харьковское общество грамотности. Занимаясь по воскресным школам, я выбирала наиболее способных работниц, приглашала их к себе на дом по праздникам; постепенно образовалась школа для работниц. Я им читала отрывки русской беллетристики, рассказывала эпизоды из русской истории, знакомила с французской революцией, а главное вела пропаганду по женскому вопросу *). В тот же год у меня организовался мужской кружок, занимавшийся общественными вопросами. Он не был еще революционным, но был „радикального направления". В этот кружок, между прочим, входил молодым студентом М. М. Ковалевский.

Рядом с этим кружком я организовала исключительно женский, интересовавшийся социализмом. М. М. Ковалевский, владевший хорошо французским языком, имевший доступ в университетскую библиотеку, помогал мне извлечением из французских источников составлять рефераты о Фурье, Сен-Симоне, Оуэне и др. утопистах, хотя сам не сочувствовал социализму, считая его неосуществимым.

Ковальский завел знакомство с сельскими учителями Харьковского уезда, они по праздникам приезжали к нам, мы снабжали их книгами и устраивали небольшие педагогические собрания, на которых, между прочим, затрагивались и политические темы.

*) См. Аптекман. „Земля и воля", Харьковские кружки.

Во время одного из таких собраний в нашем доме появился жандармский полковник Ковалинский со своею свитою, увидев разложенные на столах географические карты, таблицы для наглядного обучения, удивленно заявил нам: „Все это очень хорошо, вы делаете полезное дело, и ничего противозаконного я не вижу, но, по предписанию свыше, должен все ваши собрания прекратить, а в случае возобновления их, вынужден буду вас арестовать". Пришлось все приостановить.

К этому времени в Харьков ожидался приезд министра просвещения Д. Толстого; мы повели агитацию о подаче петиции министру, в которой думали просить права женщинам вступать в университеты. Многочисленные собрания шли одно за другим, была выбрана комиссия для составления петиции; в нее вошли профессора: Н. Н. Бекетов (химик), юристы—Стоянов, Владимиров, художница Иванова-Раевская и я. Делегатками для подачи петиции были выбраны: я, Анна Аптекман и Иванова-Раевская. Толстой принял нас очень враждебно, ответил, что никогда он этого не допустит.

Потерпев поражение, я уехала в Петербург, где стала посещать высшие женские курсы—Аларчинские и Чернышевские. В Петербурге я познакомилась с кружком передовых женщин, группировавшихся вокруг сестер Корниловых. Там я впервые увидела С. Л. Перовскую, совсем юной девушкой. Организовался небольшой кружок для изучения политической экономии, в него вошли: С. Перовская, А. Корнилова, Ольга Шлейснер, впоследствии первая жена Натансона, Вильберг и я. Одновременно образовался другой женский кружок, который решительно не хотел соединяться с мужскими кружками, боясь, что мужчины, более развитые, будут оказывать давление на самостоятельное развитие женщин. В этот кружок вошли также я, С. Перовская и А. Корнилова. В это же время кружок, который впоследствии получил название „чайковцев", занимался распространением по удешевленным ценам легальных книг определенного направления: Флеровского „Положение рабочего класса" („Азбука социальных наук" тогда еще не вышла), Лассаль, Верморель — „48 год", Луи-Блан— 1-й том „Истории французской революции" и др. такого же характера.

Чтение таких книг, французская коммуна (это был 1871 г.), печатавшийся отчет о процессе „нечаевцев"—все это вместе ввело меня в определенно революционное русло.

По болезни мне пришлось уехать на юг—в Харьков, где я снова начала возобновлять кружки, но врачи послали меня в Швейцарию. В Цюрихе я встретилась с разными революционными течениями. Главными течениями были бакунизм и лавризм. Я увлеклась бакунизмом. Поправив несколько свое здоровье, я вернулась в Россию, чтобы „идти в народ".

Физически слабая, я решительно не годилась для роли простой работницы, поэтому взяла место народной учительницы в Царскосельском уезде, вблизи завода „Колпино", на котором работало все молодое население деревни Царской Славянки, где я сделалась учительницей. Принявшись за пропаганду и раздачу революционных, нелегальных брошюрок среди рабочих завода, я вскоре попала под надзор. Инспектор школ от земства—Семеко приехал предупредить меня, что готовится мой арест. Я скрылась в Петербург. Там, ведя знакомство с несколькими рабочими, я снабжала их нелегальной литературой. Пребывая то в Петербурге, то в Харькове в полулегальном положении, я избегала ареста. Во-время демонстрации после суда над Засулич я была сильно избита жандармами, уехала в Харьков, где около года пролежала в постели. Поправившись, организовала два кружка рабочих-металлистов: один на заводе Весберга, другой на заводе Рыжова. В первый из них входил молодой рабочий Петр Антонов, впоследствии народоволец и шлиссельбуржец. Третий кружок был мною организован из учащейся молодежи. Из него впоследствии вошли в Ю. Р. Р. С. А. Преображенский и И. Кашинцев.

Работала я в кружках согласно с программой „Земли и Воли", но в партию не входила, желая сохранить за собою свободу действий.

Весною 1879 года, после убийства губернатора Крапоткина, в Харькове начались обыски и аресты. Мне пришлось бежать и перейти окончательно на нелегальное положение. Побывав в разных городах, я приехала в Петербург осенью 1879 г., когда „Земля и Воля" раскололась на „Народную Волю" и „Черный Передел". Чернопередельцы остались на старой землевольческой платформе. Твердо убежденная в том, что социалистическая революция может быть совершена только самим народом, что центральный террор в лучшем случае приведет только к плохенькой конституции, которая поможет окрепнуть русской буржуазии, я вступила в „Черный Передел" *). В первом составе „Черного Передела" были: Г. Плеханов, В. Засулич, М. Попов, Я. Стефанович, Л. Дейч, П. Аксельрод, О. Аптекман, Н. Щедрин, М. Крылова, Приходько, Козлов и Козлова, Николаев, Г. Преображенский и др. бывшие „землевольцы".

После ареста первой чернопередельческой типографии и разгрома первого состава

*) См. Дейч, „Черный Передел" сб. Невского.

чернопередельцев, я с чернопередельцем Н. Щедриным, разойдясь с новой программой, написанной П. Аксельродом для молодых чернопередельческих кружков, уклонявшейся в социал-демократизм—уехала в Киев, где мы организовали Южно-Русский Рабочий Союз на старой чернопередельческой программе, выдвинув на первый план программы тактику—экономический террор *).

22 октября 1880 г. мы с Щедриным были арестованы в Киеве и вместе с другими членами (С. Богомолец, А. Преображенским, И. Кашинцевым, М. Присецкой, П. Ивановым, А. Доллером, В. Кизером и С. Кузнецовой) Южно-Русского Рабочего союза, арестованными позже, в 1881 г., преданы военно-окружному суду. Обвинялись по ст., по которой следует смертная казнь. В мае 1881 г. состоялся суд. На суде я заявила, что суда правительства не признаю и принимать в нем участия не желаю, отказалась от защитника и от последнего слова на суде. Была приговорена к бессрочной каторге.

Отправленная в каторжные работы на Кару в 1882 г., по дороге бежала из Иркутской пересыльной тюрьмы, переодевшись надзирательницей (вместе со мною бежала С. Богомолец под видом моей гостьи).

Пробыв на воле около 3-х недель, была арестована и закована в наручни. После окончания следствия о побеге была отправлена на Кару; наручни были сняты. На Каре у меня начались столкновения с тюремным начальством, которые тюремное ведомство называло „бунтами" и просило в Петербурге разрешения отправить меня вместе с другими бунтовавшими: С. Богомолец, Е. Россиковой, М. Ковалевской в строгое одиночное заключение в Иркутский тюремный замок. Раннею весною 1884 г. мы были перевезены в Иркутск.

Осенью того же года я бежала из Иркутского тюремного замка, переодевшись надзирателем. Пробыв на этот раз на воле около полутора месяцев, была арестована и приговорена к 90 плетям. Присланных ко мне врачей для освидетельствования моей способности вынести плети, я не приняла, заявив, что такой приговор они могут привести в исполнение только над моим трупом. В это время в тюрьме по другим поводам началась голодовка, (в которой я приняла участие), продолжавшаяся 16 суток. Рассчитывая, что смерть может вызвать окончание безнадежно затянувшейся голодовки, я сделала неудачную попытку самоубийства. Надзиратели скоро заметили и сняли меня с петли. Слухи об этом разнеслись по городу; иркутские дамы поехали к губернатору Носовичу, настойчиво убеждали его сделать уступки. Наши требования были удовлетворены. Голодовка окончилась.

*) См. мою статью „Южно-Русский Рабочий Союз" в сборн. Центрархива „Южные Рабочие Союзы", под ред. Максакова и Невского, 1925 г.

Весною 1885 г. я была отправлена снова на Кару; мне прибавили срок испытуемой, но телесное наказание не привели в исполнение.

В 1888 году на Кару приехал генерал-губернатор Восточной Сибири—барон Корф. Я никогда в тюрьме не вставала при входе начальства, не встала и перед ним. На его приказание: „встать!" ответила: „Я пришла сюда за то, что не признаю вашего правительства, и перед его представителями не встаю". Взбешенный Корф крикнул сопровождавшим его казакам: „поднять ее штыками!" Казаки топтались на месте, не решаясь действовать. Корф, разъяренный, выбежал из тюрьмы.

Через несколько дней я была ночью взята из тюрьмы и отправлена, при возмутительном обращении со мною, в Верхнеудинский тюремный замок в строгое одиночное заключение *). Карийские товарищи начали голодовку, требуя смены коменданта за историю со мною. Коменданта не сменили. Тогда Н. Сигида дала пощечину коменданту Масюкову, думая, что после этого ему нельзя будет продолжать службу. К Сигиде применили телесное наказание. Идя на экзекуцию, Сигида заявила, что для нас телесное наказание равняется смертной казни. После наказания она приняла яд и вскоре умерла. М. Ковалевская, М. Калюжная и Н. Смирницкая, решив своею смертью сделать невозможным дальнейшее применение телесного наказания, покончили с собой. В мужской тюрьме по тому же мотиву покончили самоубийством И. Калюжный и Бобохов. Находившийся в вольной команде Геккер выстрелил в себя, но остался жив.

Результатом самоубийств был циркуляр, присланный на Кару из Петербурга, в котором предписывалось начальнику каторги впредь не применять телесного наказания ни к политическим, ни к уголовным женщинам.

В Верхнеудинске я сделала новую попытку побега, на этот раз неудавшуюся, после чего меня отправили в каторжную тюрьму Нерчинской каторги, в Горный Зерентуй. Дорогой я узнала, что в Горном Зерентуе меня будет принимать помощник начальника каторги Бобровский, который привел в исполнение наказание над Сигидою. При приеме я бросилась на Бобровского с маленьким кинжалом, который всегда носила при себе, думая убить Бобровского. Тюремные надзиратели, окружавшие меня в этот момент, схватили за руки и обезоружили. Бобровский в это время был уже

*) См. „Карийская трагедия, Гос. Изд., Петроград"

человеком умирающим от туберкулеза; он настоял, чтобы о моем покушении не составляли протокола. Месяца через полтора Бобровский умер. Это покушение прошло для меня безнаказанно.

Поместили меня в Горном Зерентуе в камере, бывшей мертвецкой, потому что эта камера была вполне изолирована от других арестантов.

По законам того времени приговоренным судом в каторжные работы на заводах, в случае, если они посылались в рудники, считалось семь месяцев за год. Женщины по закону могли быть приговариваемы только на заводы. Так как я была послана в рудники (хотя в рудниках мы не работали), то мне тоже считали семь месяцев за год. На протяжении моей каторги было четыре манифеста, которые сбавляли сроки всем уголовным и политическим каторжанам.

Первый манифест ко мне не был применен, по второму меня перевели из бессрочной в двадцатилетнюю. Но, так как за побег мне был надбавлен срок испытуемой, который составляет часть всего срока и который вместе с прежним сроком превысил срок настоящий, то тюремное ведомство совершенно запуталось, как считать мой срок. Заведывавший в это время Нерчинской каторгой Томилин, относившийся очень хорошо к политическим, решил, что я имею уже право на вольную команду. Я была выпущена из тюрьмы и отправлена в Кадаю (одно из мест Нерчинской каторги) в вольную команду. Позже снова переведена в Горный Зерентуй, тоже в вольную команду. Живя вне стен тюрьмы, по ходатайству заведывавшего ремесленными классами горного училища Нерчинского завода, С. В. Девеля, который случайно познакомился со мною, я получила разрешение ездить в Нерчинский завод обучать учеников переплетному ремеслу. Там быстро у меня завязались знакомства, и я, в сотрудничестве с Девелем, организовала бесплатную публичную библиотеку и при ней склад дешевых народных книг Московского и Петербургского Обществ грамотности, с которыми мы завели сношения. Библиотека стала культурным центром Нерчинского завода.

Военный врач Бек, объезжая казачьи станицы, развозил книги нашего склада по Аргуни *).

Постепенно я перешла к пропаганде и распространению весьма немногочисленных нелегальных книг, которые мне удавалось получать. Во время восстания „кулаков" в Китае русские войска были двинуты по направлению Китая. В Нерчинском заводе оказался казачий батальон, среди которого я начала вести пропаганду; фельдшера завода были прикомандированы к войскам, не хватало медицинского персонала для местного населения, я предложила бесплатно работать в амбулатории в качестве фельдшерицы. Это дало мне возможность расширить круг моих знакомств. Окружной начальник, старик Савинский, мальчиком обучался разным предметам у сосланных в Нерчинский завод петрашевцев и сохранил к политическим большое уважение. На запрос читинского губернатора, не опасно ли оставлять меня в Нерчинском заводе при амбулатории, ответил: „Хотя Ковальская своих убеждений не изменила, но в Нерчинском заводе она не найдет для них почвы" *).

В 1903 году окончился срок моей каторги. Пробыв 23 года в тюрьме и каторге, я была назначена в Якутскую область на поселение. Существовал закон или соглашение с другими государствами, по которому иностранных подданных, окончивших каторгу, высылали в их государство. За несколько лет до окончания моей каторги я вышла замуж за поляка, автстрийского подданного, М. Маньковского, осужденного на каторгу по процессу польской партии „Пролетариат".

Он обратился в департамент полиции с заявлением, что я, как австрийская подданная (по мужу), должна иметь право выехать вместе с ним в Австрию. После долгой переписки нас обоих выслали в Австрию без права въезда в Россию. За границей, в Женеве, я вступила в партию с.-р., но через месяц на конференции партии, бывшей подле Женевы на вилле Германс, вышла из партии, разойдясь с партией по вопросу программ minimum и maximum. Я признавала одну только программу maximum. Одновременно со мною там же выделилось несколько человек из партии по тому же вопросу. Мы образовали группу, которая стала издавать сначала „Дискуссионный листок", имевший целью пропагандировать программу maximum. Затем выпустили номер газеты: „Коммуна". Эта группа была одной из первых максималистских организаций. Я связалась с образовавшейся в России почти в то же время максималистской организацией.

В 1907 г. приехавшая из России максималистка Татьяна Леонтьева, поселившаяся в одном богатом отеле в Интерлакене, убила выстрелом из револьвера французского гражданина Мюллера, указанного ей кем-то, как русского министра Дурново. Кем было сделано это ложное указание, мне осталось неизвестным. По доносам рус-

---

*) Доктор Бек, открывший особую болезнь на Аргуни, которая названа была в медицине Бековской болезнью.

*) Этот документ находится в Ленинградском Историко-Революц. Архиве в деле „о Ковальской".

ских агентов швейцарское правительство, считая меня организаторшей этого террористического акта (в действительности я сама узнала о нем post factum), дало распоряжение о моем аресте. Меня предупредили; я бежала в Париж. Спустя два месяца после суда над Леонтьевой я была арестована в Париже международной полицией. Парижская полиция дала знать швейцарскому правительству о моем аресте, прося выслать конвой на границу для принятия меня от французской полиции. Швейцария ответила, что во время процесса Леонтьевой выяснилась непричастность Ковальской к этому делу, а потому Ковальская может быть освобождена.

После моего освобождения мы несколько максималистов, организовали новую группу в Париже, которая стала издавать газету: „Трудовая Республика“.

1914 г. застал меня во Франции. Война была объявлена неожиданно. Французское правительство стало арестовывать всех германских и австрийских подданных и препровождать их в концентрационный лагерь. Так как я была арестована в Париже с австрийским паспортом, то мне пришлось перейти на нелегальное положение. Первое время мне пришлось скрываться, переезжая с одного места на другое; затем при содействии французских социалистов, знавших мое русское происхождение, удалось устроиться в полулегальном положении на юге Франции. После Февральской революции я с большим трудом, при помощи тоже французских социалистов, изменила свою фамилию Маньковской (по второму мужу) на прежнюю фамилию Ковальской и, таким образом, получила легальное положение. В 1917 г. через Англию и Норвегию вернулась в Россию незадолго перед Октябрьской революцией. Заболела. Оправившись после болезни, в 1918 г. поступила на службу в Историко-Революционную секцию Государственного Архива. Прослужив пять лет научным сотрудником, в 1923 г. переехала в Москву в дом ветеранов революции имени Ильича. В настоящее время состою членом редакц. коллегии журн. „Каторга и ссылка“.

Корнилова-Мороз, Александра Ивановна *).

Прадед мой, Вас. Сав. Корнилов, был крестьянином Яросл. губ. Данил. уезда и долго жил в деревне, где сыновья его провели все свое детство. В котором году переселился дедушка с отцом и братом в Петерб., и когда начали они торговать заграничным фарфором и др. изделиями из стекла и хрусталя, сказать не могу. Фирма „Братьев Корниловых“ была основана в 1791 г. Савином Вас. и его братом, Вас. Вас. С. В. был человек мягкий и добрый, но страдал запоем. Он был старообрядцем, и память об этом долго сохранялась в нашем доме. В комнатах было много старинных икон с темными ликами в богатых серебр. ризах. Дедушка умер рано, оставив дела довольно запутанными. Бабушка, Марья Васильевна, осталась вдовой, имея 5 сыновей и 4 дочерей, при чем старшему было 19 л., а младшая дочь, кот. была 13-м ребенком, родилась после смерти отца. По русскому обычаю М. В. стала во главе торгового дела. Отличаясь природным умом и твердым характером, она, очевидно, принадлежала к тому типу русских женщин, которые поражают своим уменьем самостоятельно вести торговые и промышленные дела. Жила бабушка по старым устоям, строго соблюдала все посты, но в церковь детей часто не гоняла; в театры и по гостям не ходила и детей отпускать не любила; на удовольствия и наряды денег давала мало,—вообще, на все в личной жизни была скуповата. Но торговое дело вела М. В. с таким успехом, что собственный дом построила и на основание завода средств не пожалела. Дочерей своих она выдавала замуж по-старинному—через свах. Браки эти были не особенно счастливы: все 3 тетушки (4-ая умерла девицей), рано овдовевшие, остались без денег, полученных в приданое. С помощью братьев жили они очень скромно и считались у нас бедными. Давать детям образование бабушка не считала нужным, знали бы только читать, писать да считать насколько необходимо торговому человеку. Только младший сын кончил курс в училище, и младшая дочь обучалась в пансионе. Но вместо образования бабушка сама съумела дать детям строгое воспитание и приучить 4-х сыновей к делу, так что они не имели ничего общего с купеческими сынками, прославившимися своим невежеством и безобразным разгулом. После смерти бабушки в 1850 г. сыновья ее продолжали вести дело сообща. Разделились они только в 1869 г. без всякого шума и вражды. Только младший брат, Яков С., не принимал участия в торговле. Отличаясь любовью к рисованию, после смерти матери Я. С. упросил старших братьев разрешить ему поступить в Акад. Художеств. Окончив курс, Я. С. долго жил в Италии, ездил в Париж и др. города Европы, вел знакомство с художниками и артистами и за свои картины получил звание классного художника.

Мать моя, Татьяна Васильевна, ур. Самсонова—красивая брюнетка с карими глазами—была добрая, но вспыльчи-

*) Автобиография написана 8/III—1926 г. в г. Боровичах (Новгор. г.).

вая женщина. Рассердившись из-за пустяков, она не на шутку принималась шлепать детей своих. Особенно доставалось единственному ее сыну, Саше, который стал бояться матери. На младших детей мамаша мало обращала внимания,— для новорожденных нанимались кормилицы, затем их отдавали на попечение нянюшки, к которой после старшей постепенно переходили и следующие. Младшие дети с нянюшкой, подняинькой и кормилицей помещались в двух теплых, но низеньких, в одно окно комнатах „на верхушке“, рядом с огромным чердаком. Комнаты эти, носившие название „детской“, были самыми худшими в доме, но оттуда плач малых детей не беспокоил старших, да и вообще в те времена о кубатуре содержания воздуха никто не беспокоился. Старшие дети переходили в ведение гувернантки и жили в одном этаже с родителями. После 10 лет супружеской жизни, произведя на свет 6 дочерей и сына, мать моя заразилась холерой и скончалась 15 мая 1853 г. Тогда весь дом остался без хозяйки, и отцу предстояла задача воспитать семерых детей, из которых старшей не было еще 10 л., а мне всего 6 недель от рожд. (3 апр. 53 г.). Родственники обоего пола приставали к отцу с советами, что ему необходимо жениться, но он отвечал, что не хочет сделать несчастными семерых своих детей. Т. обр., и остались жить два вдовца—старший брат, П. С., и мой отец, Ив. С.—с детьми, приказчиками и прислугой. Жили они в своем доме на углу Николаевской ул. и Кузнечного пер. Весь двух-этажный дом, с конюшнями, сараями и помещением над ними из 3 комнат для кухни и прислуги, занимали сами хозяева,—отдавались в наем только полуподвальн. торгов. помещения. Всеми закупками для хозяйства и стола хозяев, приказчиков и прислуги заведывал старший приказчик; заказывать кушанья, выдавать провизию и разливать чай поручили гувернантке. И она и нянюшка жили в доме уже давно, и все шло по прежнему установленному порядку.

Купечество того времени подразделялось на „образованное“ и „простое“, или „серое“. В Гостинном дворе преобладали „образованные“, а вторые имели лавки в др. рынках или вообще вели такого рода торговлю, где меньше приходилось сталкиваться с так наз. „чистой публикой“. Фарфор „Бр. Корниловых“ имел обширный круг покупателей среди богатых классов; кроме того, фирма была поставщицей двора и получала заказы для телеграфа и др. учреждений. И образом жизни и внешним своим видом „образованное“ купечество резко отличалось от тех типов, кот. так ярко и правдиво изображены в произведениях Островского. Не получив школьнаго образования, сыновья бабушки самостоятельно нарушили устои старины и сделались людьми культурными. Особенно важно было то, что они признали необходимость образования для всех детей без различия пола. Спустя 2 г. после смерти матери отец отдал в Елисав. институт двух старших дочерей. В детском возрасте нам приходилось видеть отца только по праздникам: рано утром уходил он в лавку и оставался там целый день, а вечер проводил в Купеч. клубе, где до поздней ночи играл в преферанс или бостон. Отец отличался замечат. деликатностью и отзывчивостью. Помогал он нуждающимся щедро и охотно, тихо и незаметно. Я росла под надзором няни. Это была добрая пожилая женщина, степенная и спокойная. Пока сестры мои—Вера, Надя и Любушка—были малы, мы помещались и проводили почти все время в „детской“. В парадных же комнатах—в зале и гостиной, где стояла чинно расставленная по стенам старинная мебель—бегать и шуметь не позволялось. Были у нас куклы и др. игрушки, но вовсе не дорогие. Одевали нас очень просто и совсем не приучали заниматься собою и своими нарядами. Благодаря отсутствию хозяйки, званых вечеров и гостей совсем не было; по праздникам бывали только сестры отца с детьми, дядюшка Я. С., да 1—2 из обычных партнеров для игры в карты. Вообще жизнь в богатом купеческом доме отца отличалась большой умеренностью.

Образованием нашим с 7-летн. возраста занималась гувернантка; характера она была кроткого, безусловного послушания не требовала, наказаниями не злоупотребляла и не угнетала нас постоянн. надзором; при всей скудости своего образования она развивала наши способности, заставляя, напр., читать и рассказывать „Слуги желудка“ Массе и популярные статьи по естественной истории. В общем подготовка наша и развитие при поступлении в учебные заведения были вполне удовлетворительны. Религиозное воспитание ограничивалось исполнением обрядов и соблюдением постов. С выходом старшей сестры из института нашим любимым удовольствием скоро сделалось посещение театров, по 2, а иногда и 3 раза в неделю. В Александринском театре мы пересмотрели весь репертуар Островского. Пьесы его вызывали в нас сознательное отрицание того строя, где царит самодурство Тит Титычей и Кабаних. Драмы Шиллера и Шекспира, подвиги В. Телля и Сусанина развивали поклонение героизму и смутное стремление к самопожертвованию, ради идеи долга и любви к родине.

Особенно тесной дружбой я была связана с сестрой Любушкой. Много горьких слез было пролито нами осенью 1863 г., когда

ее тоже отдали в институт. Летом 1864 г. я с грустью думала, что настает мой черед подчиняться инст. муштровке. Но, к счастью, отец решил отдать меня в Мариинск. женск. гимн. Директором был тогда основатель жен. гимназий — Николай Алексеевич Вышнеградский. Горячо преданный своему делу, чуждый чиновничества и формализма, отличаясь широким умом и любовью к детям, он обладал всеми качествами истинного педагога. Дух свободного воспитания был заметен с первых же шагов и поразил мою гуверн., привыкшую иметь дело с инст. порядками. Благодаря моей подготовке, я поступила в 5-й класс. В скором времени я сделалась первой ученицей и приобрела расположение Вышн-го. В отсутствие преподавателей Н. А. сам занимался с классом, изучая способности учениц по разл. предметам и неуклонно преследуя всякую зубрежку. Мои успехи в гимназии вызывали у меня стремление к самостоятельности, желание освободиться от опеки гувернантки. В гимназии я долго не имела близкой подруги. Только в конце года подружилась с Ольгой Дылевой. У нее тоже не было матери, но она потеряла ее недавно; с восторгом и горечью рассказывала она мне, каким светлым лучом была мать в темном царстве их семейной жизни, как стойко боролась она с самодуром дедушкой, при полном равнодушии отца—ее мужа—за необходимость дать девочкам образование и самой поступить на педагогические курсы.

Развитию моему много содействовал брат Саша, студент естеств. фак. Учился он в Peter-Schule на полном пансионе и жил дома только во время каникул. За 3—4 месяца до окончания курса в училище вышла история: директор вздумал уволить Ив. Дм. Белова, имевшего сильное влияние на учеников. Несколько юношей, и брат в их числе, решили выйти из училища. Саша сказал об этом отцу и заявил, что будет сам готовиться к унив. экзамену. Отец пытался его отговорить, но не стал долго настаивать, находя, что Саша лучше может об этом судить, т. к. ему придется нести все последствия такого решения. Все лето брат усердно занимался, но осенью латинист срезал его на экзамене. Неудача эта, однако, не охладила энергии брата: весною брат успешно сдал все экзамены и сделался студентом, что было тогда дов. редким явлением среди купечества. Для сына-студента отец распорядился отвести 2 комнаты в первом этаже, которые были обставлены по-студенчески. Товарищи часто собирались у брата по вечерам, но на верх к нам не ходили—старшей сестре и кузинам студенческие интересы были чужды. Однако, брат имел сильное влияние на всех нас как своей беспощадной критикой всяких суеверий и предрассудков, так и личным своим примером,—так, вслед за ним, постепенно вся молодежь перестала поститься. Затем Саша первый начал выписывать журналы, покупал соч. Писарева, Добролюбова и др. На второй год своего студенчества по внешнему виду Саша сделался настоящим нигилистом,—летом ходил он в красной рубашке, с толстой дубиной в руках, а очки носил и раньше вследствие своей близорукости.

В конце 60-х и начале 70-х г.г. костюм нигилиста имел особое значение. В движении того времени первенствующее значение имело стремление к полному освобождению личности от ига семьи, невежества, традиций и религиозных предрассудков. Нигилизм, как беспощадная борьба с нравами и понятиями крепостного строя, у людей искренних вызывал желание вести эту борьбу открыто и резко заявлять о своем разрыве со старыми формами жизни. Нигилист с своими длинными волосами, в широкополой шляпе и красной рубахе или в пледе не сливался с толпой, но ярко из нее выделялся. Так же смело выделялись и женщины своими стриженными волосами, синими очками и курением папирос. Внешность эта до такой степени раздражала общество, что на первых порах требовалось искренн. увлечение и немалая доля смелости, чтобы открыто заявить свое отречение от старого строя. Под влиянием брата-нигилиста Вера через год по выходе из института перестала интересоваться своим костюмом, обстригла волосы и не походила больше на девушку из богатой семьи. А я росла и развивалась под влиянием этих нравственных требований, и они оставили во мне следы на всю дальнейшую жизнь.

К сожалению, в гимназии я слишком мало уделяла труда и времени для занятий, учителя спрашивали только заданный урок, не требуя общего знания предмета, а посещение театров отнимало много времени. Поэтому существенным недостатком моего образования было то, что я не приобрела способности к систематическому и самостоятельному умственному труду и основательных знаний или начитанности не имела. Весною 1866 г. кончила курс сестра Вера, бывшая на 4 года старше меня, и осенью поступила на педагогические курсы, помещавшиеся в нашей гимназии. В то время во многих семьях это считалось не только лишним, но даже и „неприличным“. Скоро у Веры составился тесный кружок знакомых, которые затем познакомились и со всей нашейсемьей. Простота и отсутствие всякого церемониала в нашей жизни так хорошо действовали, что все чувствовали себя совсем запросто, точно у своих близких родных. Присутствие больного отца, с его добродушным лицом и улыбкой, никого не смущало, а ему оживленные разговоры

молодежи доставляли не мало развлечения. Чаще всех заходили к нам: Евг. Макарова и Над. Скворцова—первые женщины, принятые на государственную службу в контроль—и Ольга Шлейснер, прославившаяся впоследствии своей революционной деятельностью.

Зимой в гимназии был получен первый толчек для отрицательного отношения к распоряжениям власть имущих. От нашей француженки, m-me Буланже, мы узнали печальную новость, что Н. А. Вышнеградский ждет отставки. Ходили слухи, что начальство недовольно вольным духом гимназий и педагогических курсов, намерено изгнать преподавание естественных наук и подогнать гимназисток под инст. мерку. После Рождества Н. А., действительно, нас покинул. Гимназистки горячо прощались с ним и заранее были враждебно настроены против его преемника. Ив. Тер. Осинин имел вид, хотя добродушнаго, но франтоватого и недалекого чиновника. Вскоре своими напыщенными речами и мелкой мстительностью он вызвал общее презрение и ненависть. Мое отрицательное отношение к Осинину нисколько не смягчалось тем, что я лично пользовалась его благоволением. Мне удалось заслужить его удачным ответом на уроке педагогики, кот. он взялся преподавать в I классе. Под влиянием семьи и гимназии, от прежнего равнодушия к религии я постепенно переходила к атеизму, к православию же в частности, в лице его священнослужителей, стала чувствовать даже антипатию. Развитию этого чувства много способствовал наш законоучитель, о. Михайловский, явный фарисей (как его и прозвали гимназистки). Однако, когда брат схватил тяжелую форму тифа, и было трудно надеяться на благоприятный исход, я, стоя на коленях перед древней иконой, горячо молила бога спасти брата, умоляя простить меня за мое неверие и давая обещание сделаться верующей, если бог исполнит мою просьбу. Мольба моя осталась тщетной, и смерть брата окончательно удалила меня от религии и ее служителей.

По окончании выпускных экзаменов, на совете преподавателей, о. Михайловский настаивал, что меня следует лишить золотой медали, так как я неминуемо опозорю гимназию. Осинин за меня заступился, и медалью меня наградили. Одновременно со мною, в июне 1869 г. кончила курс и 17-летняя сестра Любушка.

Стремление женщин к образованию было в полном разгаре. По примеру Сусловой и Боковой многие уезжали за границу. Об открытии Высших Женских Курсов шли еще ходатайства. Весною 1869 г. были организованы первые женские курсы, получившие название Аларчинских, так как помещались в 5-й мужской гимназии у Аларчина моста. От 6 до 9 ч. вечера там читали известные педагоги: А. Н. Страннолюбский, А. Я. Герд, Д. В. Краевич, Рашевский, Фан-дер-Флит, Паульсон. Курсы эти ставили задачей дать женщинам более основательные знания в объеме курса мужских гимназий. Потребность этих знаний была так велика, что в числе слушательниц были учительницы и замужние женщины, было много кончивших в женской гимназии, институте и на педагогических курсах. Осенью 1869 г. три сестры мои и я поступили на эти курсы.

На лекциях Страннолюбского по алгебре выдавалась своими способностями небольшого роста, с мелкими чертами лица и большим лбом, гладко причесанная слушательница, которая в своем скромном коричневом платье с белым воротником казалась совсем девочкой-гимназисткой. Сидела она на первой скамейке всегда рядом с подругой, значительно ее старшей; при обсуждении курсовых дел она так редко выступала, что очень немногие ее знали. Эта скромная и молчаливая девочка была 16-летняя Софья Львовна Перовская. До 1866 г. отец ее был гражданским губернатором Петербургской губернии, но после выстрела Каракозова был уволен. Тогда мать с двумя дочерьми уехала в имение Кильбурун, в 10 в. от Симферополя, принадлежавшее раньше деду—родному брату графов Перовских. Между тем средства к жизни были так ограничены, что от 13 до 16-летнего возраста Соне пришлось учиться самостоятельно и вести самый простой и замкнутый образ жизни. Летом уединенная жизнь их оживлялась на время каникул, когда приезжали учившиеся в Петербурге два старших брата, и устраивались больше всего любимые Соней поездки верхом по горам. В 1869 г. Кильбурун был продан, и явилась необходимость всей семье жить в Петербурге. Одаренная хорошими способностями и навыком к самостоятельному умственному труду, Соня горячо стремилась приняться за систематическое учение и потому с радостью покинула Крым. На пароходе до Одессы она разговорилась с молодой девушкой, которая тоже ехала учиться. Отличавшаяся своей сердечностью и способностью горячо увлекаться идеалами добра и правды, Анна Карловна Вильберг сразу полюбилась Соне и сделалась первым ее другом в Петербурге. Вместе поступили они и начали усердно заниматься на Аларчинских курсах.

В конце учебного года А. Я. Герд, читавший лекции неорганической химии, сообщил, что профессор лесного института А. Н. Энгельгардт предлагает четырем слушательницам поселиться в Лесном и заниматься качественным анализом в его лаборатории. Предложением этим воспользовались С. Л. Перовская, две сестры Перетц и я. Родители Сони

уехали лечиться за границу, оставив ее на городской квартире вместе с братьями, благодаря чему, не спрашивая разрешения, она могла поселиться с курсистками. Вильберг тоже решила жить с нами, а кроме того присоединилась еще одна курсистка—С. А. Лешерн-фон-Герцфельд, осужденная впоследствии на каторгу по делу Осинского. В Лесном, по Муринской дороге, удалось найти дачу, разделенную на 4 отдельные квартиры; мы наняли одну из верхних в 3 комнаты с кухней и балконом, а другую наверху заняли сестры Перетц с матерью. Совместная жизнь и занятия в лаборатории, одинаковый возраст, общие взгляды и стремления скоро помогли мне сделаться близким другом Перовской. Конечно, Соня обладала более выдающимися способностями, подчиняла меня своему влиянию, но у меня было много с ней общего как в характере, так и в условиях нашего развития. Прежде всего, мы обе росли в замкнутой и простой семейной обстановке, нарядами никогда не увлекались, на вечера и по гостям не ездили, танцев и в детстве не любили. Варвара Степановна, мать Сони, светской жизни не любила и, живя еще в Петербурге, уезжала на лето к знакомым помещикам в деревню, где предоставляла девочкам свободно играть и бегать с братьями, не муштруя их во имя правил приличия, не развивая в них любви к нарядам и светским развлечениям. В Кизильбуруне, живя в полном уединении и пользуясь библиотекой деда, Соня много читала, усердно занималась сама по учебникам и благодаря этому выработала способность к самостоятельному труду. Большое влияние на ее развитие тоже имел брат, Василий Львович, учившийся в Технологическом институте. Когда Соне исполнилось лет 15, он стал привозить сочинения Писарева, Добролюбова, Чернышевского, Бюхнера и др. Книги эти читали обыкновенно вместе, в присутствии матери, которая постепенно тоже проникалась новыми идеями и отрешалась от старого миросозерцания. Страстная проповедь Писарева, сочинения Сеченова, Бюхнера быстро разрушали религиозные традиции, не унижая нравственной высоты учения Христа, а обаятельность его личности, как мученика за идею любви к человечеству подготовляла к страданию „за великое дело любви". Стихотворения Некрасова, беллетристические произведения Тургенева, Успенского, Златовратского развивали любовь к народу, вызывали желание облегчать его страдания, притти на помощь его невежеству. Роман Чернышевского заставлял искать разрешения вопроса — „что делать?" Вера Павловна, как личность, в юном возрасте интереса не представляла, но деятельность ее находила много последовательниц. Сильное впечатление производил ригоризм Рахметова и влияние его было очень заметно в лучших представителях нашего поколения. Наконец, Бокль, с его основательной научной аргументацией о влиянии просвещения на историю цивилизации, идеи Милля о женском вопросе — будили мысль, увлекали на путь умственного развития для выработки „критически мыслящей личности", для работы на пользу „страдающих и угнетенных".

Хотя брат мой, к сожалению, умер, когда мне не было еще 15 лет, но успел уже оказать сильное влияние на меня и сестер. Он был всецело охвачен движением 60-х г.г., был для нас первым представителем матерьялизма и нигилизма. Две сестры мои — Вера и Надежда (впосл. Жохова) — по выходе из института под влиянием брата поступили на педагогические курсы, потом завели знакомства среди студентов, ходили на сходки или на собрания в литературно-демократическом кругу с нигилистическим „уклоном",—как теперь говорят,—у Анненских, Водовозовых, Лесевичей, где до поздней ночи в переполненных молодежью комнатах, в облаках табачного дыма велись жаркие дебаты по всевозможным общественным и научным вопросам. Еще до окончания курса в гимназии я познакомилась с подругами сестер по педагогическим курсам и стала ходить на публичные лекции Сеченова и Герда. Поступив на курсы, я еще теснее сблизилась с кругом учащихся женщин, ходила с сестрами на сходки в частных квартирах и на собрания Педагогического общества, охотно посещавшиеся молодежью, чтобы послушать рефераты и прения таких педагогов, как Евтушевский, Страннолюбский, Водовозов и др.

Занятия в лаборатории не увлекли нас; сестры Перетц превзошли обеих своим прилежанием и успехами. Перовская предпочитала заниматься математикой; она предложила самим пройти алгебру по французскому учебнику и легко усваивала этот курс, тогда как мне приходилось часто прибегать к ее помощи. Соня в то время еще интересовалась женским вопросом и равноправием в области образования. Но в это же лето мысли и чувства наши были возбуждены другими вопросами: мы читали вслух „Положение рабочего класса в России" Флеровского, „Пролетариат" и „Ассоциации" Михайлова. По поводу франко-прусской войны встретилось у нас разногласие: я стояла за французов, а Соня была на стороне немцев, считая французов народом легкомысленным и слишком склонным к амурам (П. А. Кропоткин и др. занесли в свои воспоминания, с каким презрением позже она относилась к „бабникам"). После провозглашения республики Соня изменила свое отношение. Тогда же А. Н. Энгельгардт

отправил телеграмму Гамбетте и открыто праздновал это событие.

В конце августа 70-го г. мы переехали в город. Соня стала заходить ко мне и быстро познакомилась с моими сестрами и их товарками. Кроме лекций на Аларчинских курсах, Перовская, В. и я вошли в кружок приблизительно из 20 женщин, чтобы пройти курс геометрии. А. Н. Страннолюбский преподавал в столовой весьма комфортабельной квартиры на Галерной ул., где жила отличавшаяся своей красотой, недавно, повидимому, вышедшая замуж, А. П. Корба. Среди этой компании Перовская опять проявила свои математические способности, одна из всех решив данную на уроке задачу. В это время я была несколько раз в квартире Перовских, так как мы занимались с Соней черчением под руководством ее брата. По словам Василия Львовича, директор Технологического института хочет допустить женщин в число студентов, и у Сони явилось желание поступить на механическое отделение. На курсах Соня попрежнему мало обращала на себя внимание. Как мало ее знали, видно из того, что ее не выбрали депутаткой, когда кружок женщин, хлопотавших о разрешении высших женских курсов обратился к аларчинкам с этим предложением. В результате весьма шумных и оживленных выборов, получившими большинство голосов оказались Вильберг и я. Не хотелось бы думать, что нас удостоили такой чести, главным образом благодаря нашей нигилистической внешности (В. носила синие очки, а я ходила в мужских сапогах), резко выделявшей нас среди солидных и почтенных женщин, как Стасова, Мордвинова, Философова, Цебрикова и др. Впрочем мы недолго оставались в этом кружке, т. к. не замедлили примкнуть к какому-то принципиальному протесту левых, с А. Д. Ткачевой во главе. В конце октября, если не изменяет память, Волкова, руководившая нашими занятиями в лаборатории, сообщила, что проф. Энгельгардт предлагает прочитать в частной квартире (публичные лекции были ему запрещены) курс органической химии. Наша квартира оказалась для этого подходящей. Лекция А. Н. была такая блестящая, точно рассеивала какой-то туман и раскрывала такие широкие горизонты, что слушательницы были в полном восторге. Собрались все опять в следующее воскресенье, но, прождав профессора несколько часов, разошлись с недоумением и тревогой. Через несколько дней стало известно, что А. Н. выслан в свое имение — Батищево Смоленской губ. — откуда он писал потом свои знаменитые „Письма из деревни“.

Между тем, в одном журнале появился перевод первой главы „Капитала“ Маркса. Известный среди молодежи студент-медик Вас. Александров познакомился с Вильберг и предложил прочитать вместе с нею и ее подругами эту главу Маркса, одолеть и понять которую могли только немногие. Но я и Перовская отказались, потому что не хотели с чужих слов принимать на веру философию, которую не могли изучать самостоятельно, и считали целесообразнее изучить основы политической экономии в более доступном изложении, — мы штудировали Милля с примечаниями Чернышевского и с восторгом зачитывались первым томом соч. Лассаля. Страстное красноречие последнего, его популярное изложение, блестящие успехи его речей и влияние их на организацию рабочих производили на нас чарующее впечатление.

Александров, Натансон и др. студенты заходили иногда к сестрам, но я еще дичилась в их обществе. Как-то раз по поручению сестры или Шлейснер, часто бывавшей у Веры и старавшейся ближе сойтись со мною и моими подругами, пошла я вместе с П-ой на Петербург. сторону в так наз. Вульфовскую коммуну. В 70-х гг. коммунами назывались общие квартиры, где жили студенты или курсистки. Матерьяльное положение живущих было не одинаково, но все получаемые средства поступали в общее пользование. Главным принципом такой жизни была взаимопомощь, как того требовала этика нашего поколения. Вообще коммуны эти, значительно удешевляя жизнь, помогали сближению молодежи между собою, увеличивали влияние выдающихся умом и знаниями. Кроме того, они давали возможность применять идеи социализма на практике в своей личной жизни, не различая в кругу товарищей между моим и твоим и живя в обстановке не лучшей, и даже худшей, чем у заводских рабочих. Особенно важное значение имели коммуны для женщин, приезжавших из провинции. Нередко ехали они учиться без всяких средств к жизни, порвав семейные связи со своими, подчас богатыми или знатными родственниками. Все, конечно, рассчитывали найти работу, но без знакомств и связей это редко кому удавалось. Многие могли бы тогда погибнуть, если бы не спасала взаимопомощь в коммунах и поддержка молодежи вообще. В коммуне на Вульфовой ул. жили медики: Натансон, В. С. Ивановский, Вас. Александров, Рождественский (в 77 г. суд. по проц. 50), Сердюков... фамилии других и сколько их было — не помню. Впервые пришлось мне и П-ой идти в такую студенческую коммуну. Посещение это оказалось продолжительнее, чем мы предполагали — там оказалась так наз. „засада“: в кухне сидели 2 солдата, кот. всех впускали, но никого не выпускали. Ночью заметили, что у ворот появилась полиция; как люди опытные, студенты сообразили, что у них будет обыск, вероятно с целью

арестовать Александрова, который не ночевал дома. Чтобы предупредить его, успели высадить Сердюкова через форточку на задний двор. В надежде арестовать Александрова, когда он вернется, и была устроена „засада“. Постепенно число попавших в западню все увеличивалось, но их даже не переписывали. Пленники были в приподнятом настроении; хозяева гостеприимно угощали всех чаем и обедом из конины; время коротали за пением и оживленными, столь обычными в то время, теоретическими спорами. Все было для нас ново и интересно. Около 10 ч. вечера „засада“ была снята.

Как оратор на сходках, Александров был сильно скомпрометирован, и ему грозила ссылка. Он был деятельным членом кружка, который и называли кружком Натансона и Александрова. При участии В. С. Ивановского была организована студенческая библиотека в Мед.-Хирург. акад., и велась широкая пропаганда среди молодежи. У них возникла мысль устроить типографию за границей, чтобы печатать соч. Чернышевского и др. книги, на расхват читавшиеся молодежью. Вместо ссылки Александрову предложили ехать за границу и привести этот план в исполнение на средства, которые будут ему высылать. Охотно дав на это согласие, Александров оставался несколько времени нелегально и предлагал мне ехать вместе с ним в качестве его невесты, весьма убедительно доказывая необходимость особой умственной и нравственной подготовки для заключения разумного брака. Но в 17 л. возрасте, да и позже, к ухаживанию я относилась с насмешкой, кокетливых женщин и „бабников“ презирала не меньше Перовской, к учащимся матерям, связанным заботами о хозяйстве и детях, чувствовала сожаление. Понятно, что я ответила Алву решительным отказом, который заслужил полное одобрение со стороны Шлейснер и П-ой.

В начале зимы, придя на урок геометрии, Соня с волнением рассказала мне и В., что отец велит ей прекратить знакомство с нами и грозит запереть дома, чтобы она не ходила больше на курсы. Соня решила уйти от родителей, чтобы не подчиняться такому насилию, и просила устроить для нее убежище. Этой же осенью сестра Вера, не желая вести буржуазный образ жизни в доме отца, вышла фиктивным браком за Н. А. Грибоедова — друга Веймара, Г. Лопатина, Кравчинского, П. А. Кропоткина, а позже и всех чайковцев. Поселилась она вместе с товарками по Педагог. курсам, тоже фиктивно вышедшими замуж — Зинаидой (позже женой Г. А. Лопатина) и Надеждой Степ. Каралли. Я предложила П-ой идти к ним, нисколько не сомневаясь, что ее там охотно примут. Отец Сони так рассердился, что мать и В. Л. напрасно старались его успокоить. Дня через 2-3 после побега Сони, ночью меня вдруг разбудила Варвара Степановна и горячо просила убедить Соню вернуться домой или сказать, где она скрывается, надеясь сама подействовать на дочь. В. С. говорила мне о долге детей подчиняться родителям. Я старалась по возможности ее успокоить и уверить, что опасности Соня не подвергается, доказывала, что она имеет право не подчиняться отцу, раз он хочет прибегнуть к насилию. Спустя несколько дней, сижу я с книжкой в гостиной, как вдруг в зале, которая соединялась с гостиной двумя арками вместо дверей, появляется полицейский офицер, а навстречу ему из своей комнаты выходит отец. „Не известно-ли вам, где находится Софья П-ая, которую мы разыскиваем по заявлению ее отца?“ спрашивает офицер.— „Право, не могу вам сказать“— отвечал отец, но заметив меня, прибавил — „вот моя дочь, м. б., это знает“. Я подошла к ним и сказала наивным тоном: „Уже несколько дней я не видала П-ую — на курсах она не была. Я собиралась к ней сходить и узнать, не больна ли она.“ Вежливо поклонившись, офицер удалился, и я вынесла впечатление, что визит этот был лишь ради исполнения формальности. Между тем, розыски сильно волновали Соню, не позволяли выходить на улицу из боязни встретить родных или знакомых отца, и она решила куда-нибудь уехать. Через Шлейснер ее направили в Киев, где она прожила месяца 2 — 3, пока не получила паспорта. Тем временем отец П-ой постоянно хворал, а лечил его д-р Оккель, бывший в то время врачом в крепости. Лев Николаевич рассказал Оккелю о побеге дочери, а тот и подал совет — немедленно вернуть ее через полицию. По заявлению Л. Н. явился офицер от градоначальника, которому в пылу гнева он жаловался, что дочь находится под влиянием младшего его сына, и тот наверно знает, где и у кого скрывается сестра; кроме того, Л. Н. указал на меня и В., как на подруг дочери. Затем был вызван Василий Львович, чтобы он открыл местопребывание сестры. В ответ на это В. Л. заявил, что не знает, где находится сестра, а еслибы и знал, то не стал бы помогать полиции насильно возвращать ее домой. После такого резкого ответа, офицер потребовал, чтобы В. Л. на след. день утром явился к градоначальнику. Варвара Степановна слышала весь этот разговор и страшно испугалась за сына,— она боялась, что его арестуют, а за резкое поведение могут даже подвергнуть тел. наказанию (тогда еще верили, что в 3-м Отд. есть люк, через который спускают в нижний этаж и секут). В. Ст. сказала мужу, что сама отправится к град-ку и потребует, в случае ареста сына, чтобы и ее взяли вместе с ним. На другой

день Л. Н. сам поехал с сыном и, первым войдя в кабинет град-ка, вел с ним довольно продолжительную беседу. После того допрос В. Л. обошелся без всяких инцидентов. Волнение и беспокойство ухудшали болезнь отца, и д-р Оккель, наконец, догадался подать более разумный совет: „Никакое лечение вам не поможет, пока вы не успокоитесь; махните на это дело рукой и выдайте дочери паспорт". Тогда Л. Н. поручил старшему сыну, Николаю, выправить Соне отдельный вид на жительство. Она немедленно была об этом извещена и в начале 71 г.вернулась из Киева в Петербург.

Существовавший с 1869 г. кружок Натансона и Александрова, в состав которого входил и Чайковский, начал приобретать книги по удешевл. ценам для пропаганды среди молодежи как в столицах, так и в провинции. Весною 71 г. Н-сон и Ч-ский задумали расширить деятельность кружка и с этой целью организовать на лето кружок самообразования, наметив, кого следует привлечь из женщин и студентов разных учеб. зав. Вверх по Неве, в дачном поселке Кушелевке, были наняты 2 соседние дачки. В состав вновь организованного кружка вошли: М. А. Н-сон, А. И. Сердюков, Н. К. Лопатин (медики), Н. В. Чайковский, А. К. Левашов (ст. ун.), Ип. Вернер, Басов, Кокушкин (технологи), 18-летний, не кончивший гимназии, М. В. Купреянов, О. А. Шлейснер, А. Я. Ободовская, С. Л. Перовская, Любовь и Ал. Корниловы и Н. К. Скворцова; Сердюков, Об-ская и Л. К-ва остались жить в городе, принимая участие в общих занятиях. Для систематического чтения и рефератов заранее, по всей вероятности Натансоном, была выработана программа, по кот. следовало начать с физиологии, психол. и полит. экономии. Руководителем общ. чтений и бесед являлся Марк Андр. Натансон; он обращал внимание на детали, заставлял искать выводов из прочитанного. Не сразу заметили мы, что выводы вытекают не из наших горячих прений, что они были готовы у него раньше, что он наводил нас по намеченному им пути. Однако, иной раз бывало, что юный Михрюта — Купреянов рассматривает вопрос глубже и приходит к другим выводам. На мою долю выпало составить реферат по одной из первых глав Милля с примечаниями Чернышевского. Чувствовала я себя, как гимназистка на экзамене, не уверенная в своих знаниях, хотя выдержала испытание довольно благополучно.

Мирное течение нашей жизни скоро было нарушено: ночью явилась полиция с обыском, и Чайковский был арестован. Все остальные были переписаны и с них взяли подписку, что они явятся в назначенный день на допрос в 3-е отд. У меня при этом вышел инцидент особого рода. Не желая тревожить больного отца, я сказала ему, что поеду с Вильберг в Крым. Для большей достоверности, я снабдила В. конвертами, надписанными моей рукой, а она вкладывала в них письма, кот. я сочиняла с П-ой о красотах Крыма, и кот. получались с надлежащими почтовыми штемпелями. Но беда была в том, что я не могла прописаться на Кушелевке, т. к. в этой пригородной местности при прописке паспорта отправляли справку в городской участок, и мой обман был бы обнаружен. На совете с П-ой и Шл. было решено, что я назовусь Ободовской, кот. не будет скомпрометирована, п. ч. ничего у нас не нашли, а она случайно не попала на обыск. Под протоколом я и подписалась Об-ской и под ее фамилией отправилась на допрос в 3-е Отд. Допрос вел полк. Кононов, производивший впечатл. человека, добродушно относящегося к молодежи. Между тем, незадолго до этого происшествия, был обыск у сестры на нашей город. квартире. У нее несколько раз ночевал Гончаров, скрывавшийся после выпущенных им прокламаций. На вопрос Кононова, знаю ли я Л. И. Корнилову, мне трудно было удержаться от смеха, когда говорила, что познакомилась с нею на курсах. Между тем по фамильному сходству люди мало знакомые нередко нас смешивали. Остальные наши сожители подверглись такому же легкому допросу и были отпущены продолжать свои занятия. Чайковского выпустили через месяц.

Летом 71 г. в окружном суде разбирался процесс нечаевцев; суд был гласный, и подробные отчеты печатались в газетах. С большим интересом мы следили за делом, и некоторым удавалось попасть на заседания суда. Программа Нечаева, иезуитская система его организации, слепое подчинение членов какому-то неведомому центру, никакой деятельностью себя не проявившему,—все это вызывало отрицательное отношение к „нечаевщине". Вместе с тем возбуждалось стремление создать организацию на основе близкого знакомства, взаимного доверия, симпатии и равенства всех членов, а гл. обр. на основе высокого нравственного развития. Тем не менее, подсудимые этого процесса являлись борцами за освобождение народа от гнета правительства и жертвами его произвола. Молодежь поддавалась обаянию борьбы за идеи правды и справедливости и стремилась найти лучшие пути для проведения их в жизнь. С половины августа 71 г. уезжавшие на лето в провинцию стали возвращаться в П-бург; они с оживлением рассказывали, какое влияние имеют книги на юношество с его горячей жаждой знания. Тогда в кружке был поднят вопрос—„будем ли мы заниматься дальше одним самообразованием?" Большинством голосов постановили: продолжая по возможности свое самообразование, 1) приобретать книги по удешевленным це-

нам, 2) снабжать ими молодежь в П-бурге и в провинции и 3) содействовать устройству новых библиотек и кружков. Из 15 членов кушелевск. кружка самообразования пятеро отказались от общественной работы—Скворцова, Басов, Вернер, Кокушкин и Левашов. В этом же заседании было решено привлечь в кружок из вятского земляч. Н. А. Чарушина и Леонида Попова, затем Лермонтова, Клеменца и В. Грибоедову, кот. жила летом на Украине, кроме того кооптировали проживавшего в Швейцарии Вас. Александрова. Кравчинский, Синегуб, Кувшинская, Тихомиров вошли в состав членов в конце 71 г., а Л. Э. Шишко и П. А. Кропоткин весною 73 г. Н. В. Чайковский, высокий и стройный, производил обаятельное впечатление своей красивой, симпатичной наружностью, своей искренностью, общительностью, способностью горячо увлекаться и увлекать других; он не имел вида сурового нигилиста, чувствовал себя свободно в любом обществе, сразу возбуждал к себе доверие, почему и сделался представителем кружка при сношениях с издателями, книгопродавцами, с либеральной и демократической публикой. Он больше всех обладал способностью завязать новые связи или добыть денег на издания и др. дела. Натансон, философ. складом ума и начитанностью стоявший выше Чайковского и обладавший большим организаторским талантом, предпочитал руководить делом, не приобретая широкой популярности. На Кабинетской ул. была нанята квартира из 4 комнат с кухней, Вера Грибоедова формально считалась хозяйкой, жильцами ее были: Натансон, Чайковский, Н. К. Лопатин, Купреянов и Шлейснер. Это была первая штаб-квартира вновь организованного кружка, скоро ставшего известным под именем кружка чайковцев. В течение зимы 71—72 г. Александров устроил типографию в Цюрихе, а в Петербурге чайковцы, энергично развивая свою деятельность по широкой постановке „книжного дела“, предприняли издание „Азбуки социальных наук“ Флеровского и организовали перевозку книг через границу. От издателей и книгопродавцев — Полякова, Солдатенкова, Черкесова и др.—получали книги с уступкою от 30 до 50%, а ценные издания, не имевшие сбыта, даже по себестоимости. Книги эти рассылались провинциальным кружкам в кредит и оплачивались далеко не полностью по их удешевленной цене. Всюду посылались также программы систематического чтения для занятий по самообразованию. В конце зимы Натансон был арестован и выслан в Арх. губ.; Шлейснер последовала за ним, и там они повенчались. „Книжное дело“ получило свое развитие в 37 губ., вызвало издание особого циркуляра о сожжении книг по постановлению комитета министров (с 1865 по 72 г. книги подвергались уничтожению или по высоч. повелению, или по решению суда). Все это произошло уже в то время, когда Натансон, находясь в ссылке, не мог принимать участия в делах кружка. Совершенно независимо от его влияния шло и дальнейшее развитие деятельности кружка, когда от пропаганды среди молодежи чайковцы переходили к занятиям с рабочими и к попыткам вести массовую пропаганду среди крестьян, фабричных рабочих и артелей. Деятельность чайковцев и высокий этический уровень его членов с блестящим талантом описаны в „Записках революционера“ Кропоткина, в очерке Шишко „Кравчинский и кружок чайковцев“ и в „Подпольной России“ Кравчинского; они сами принадлежали к наиболее выдающимся деятелям этого кружка. Мое же участие в делах было непродолжительно и очень скромно. Осенью 71 г. я поступила на акушерские курсы, чтобы приобрести знания и положение, дающее возможность быть ближе к жизни народа; кроме того, я не могла представить, как можно с недостаточно выработанными знаниями в 18-летнем возрасте учить народ, не имея понятия об условиях его жизни.

После громкого скандала с проф. Горвицем, которого одна из учениц за грубое обращение привлекла к мировому, я бросила эти курсы, а на другие таких дерзких не приняли. Н. П. Суслова, имевшая большую практику, посоветовала ехать учиться в Вену. Я последовала ее совету и в феврале 72 г. уехала за границу вместе с Вильберг. В Вене курс учения продолжался всего 6 мес., но практика была отличная, а проф. Шпет так хорошо вел преподавание, что я приобрела достаточно знаний и уменья для помощи при нормальных родах. Кроме того, я научилась немецкому языку настолько, что свободно сдала экзамены; а самое главное, я получила понятие о влиянии политической свободы на умственное развитие рабочих. Подготовленные чтением Лассаля, мы приехали в Вену уже заинтересованные с.-д. движением. Приобретая местную рабочую газету—Volkswille (Народная Воля), мы узнавали о месте народных собраний и стали усердно их посещать. В скором времени Вильберг познакомилась с Andreas Scheu, стоявшим во главе партии. Он был поражен ее развитием и горячим интересом, с которым она относилась к рабочему вопросу, и после моего отъезда она была принята в члены партии.

Вернулась я в Петербург в последних числах августа 72 г. За время моего отсутствия „книжное дело“ и связи с провинц. кружками значительно увеличились, вместе с тем некоторые члены кружка уже не довольствовались пропагандой среди моло-

дежи, но стали знакомиться и вести занятия с заводскими рабочими. Инициатором этого был А. И. Сердюков. Он уговорил меня рассказать о с.-д. движении в Вене приходившим к нему заводским рабочим, что я и сделала. Но затем я поступила на Калинкинские курсы, чтобы пополнить мои знания изучением женских и накожных болезней, и у меня не было времени для других занятий. В начале зимы 73 г. умерла сестра моя, Вера Грибоедова. Только в сентябре месяце, вернувшись с дачи, все свое время я могла отдавать кружку. В разных частях города, ближе к фабрикам, поселились члены кружка и на своих квартирах вели по вечерам и по праздникам школьные занятия и пропаганду среди фабричных рабочих. Кравчинский, Клеменц, Кропоткин и др. читали лекции заводским рабочим. Перовская поселилась за Невской заставой и занималась с рабочими из группы Синегуба. Последний умел вести пропаганду с таким одушевлением и талантом, что в артели каменьщиков привел в восторг даже Кравчинского. Под влиянием Сергея Силыча выработались такие убежденные борцы, как Петр Алексеев, Крылов и др. Считая себя совершенно неспособной к школьному преподаванию, я решалась только читать рабочим книжки.

В конце ноября произошел первый провал: Синегуб и его сотрудники — Тихомиров, лишь осенью перебравшийся из Москвы и совсем незаметный на собраниях кружка, Стаховский, Борисевич и несколько рабочих были арестованы. В ночь с 4-го на 5-е января 74 г. и к нам нагрянули жандармы. Это было накануне свадьбы сестры Любы с А. И. Сердюковым. Вечером мы шифровали с Перовской письмо Купреянову, который уехал в Вену покупать типографский станок, и она осталась у нас ночевать. Письмо лежало у меня под подушкой; внезапно разбуженная, я вскрыла конверт, чтобы засунуть шифров. листок в чулки, но не заметила, как его обронила, и оно попало в руки жандармов, хотя без всякого адреса. Во время обыска я издевалась над ротмистр. Ремером, когда тот, горя усердием сыщика, стучал в стены или находил в сундуках на чердаке старинные занавеси вместо склада запрещенных книг. После обыска Перовскую, меня и сестру арестовали и увезли в 3-е отд. Поводом для обыска послужила записка Л. Попова, которую он дал жандарму по дороге в Петерб. для передачи сестрам Корниловым. На допросе я говорила, что инициалы разных фамилий разъяснить не могу, что это может сделать сам автор, а письмо мое расшифровать не желаю. После резкого отказа давать показания о знакомых, сестру освободили, а меня перевели в Коломенскую часть и долго не давали свиданий. Перовскую месяца через три отпустили на поруки отцу, и она уехала до суда к матери в Крым. В Коломенской части мне жилось очень свободно; через полгода рядом со мной посадили Кувшинскую и Ободовскую, и мы вели постоянную переписку, а ночью даже устраивали свидания. Переписка с сестрой была тоже в полном ходу и осведомляла нас как об арестах Купреянова, Кропоткина и др., так и о том непостижимом для нас факте, что Маликов совратил Чайковского теорией богочеловечества и уговорил его ехать в Америку. Через полтора года, на дополнении к дознанию, мне предъявили, наконец, обвинение в чтении лекций и, не добившись откровенности, отправили в крепость, где я просидела $8^1/_2$ месяцев. Это было самое тяжелое, но и самое полезное время заключения,— здоровье мое пострадало, но зато внимательное, ничем не отвлекаемое чтение помогло мне выработать самостоятельное миросозерцание. Наконец, через 2 слишком года после ареста мы дождались конца следствия, и меня перевели в Дом предв. заключения. После абсолютной тишины и безмолвия, царивших в крепости, в „предварилке", на первых порах, перестукивание, разговоры в клубах через ват.-клоз. трубы и шум крайне меня утомляли. Я познакомилась с Бардиной и другими подсудимыми как по проц. 50, так и по нашему делу; кроме того, велись сношения с волей и с мужским отделением,— все это давало такой наплыв впечатлений, что трудно было с ними освоиться. В марте 76 г. под залог в 5000 руб. меня выпустили на поруки отца, по протекции ген. Мальцевой (она знала отца, как оптового покупателя изделий стеклянных заводов). За 2 г. 2 мес. моего ареста, когда Люба вышла замуж за Сердюкова, а Надя за Н. Ф. Жохова, отец не захотел жить в большой опустевшей квартире и переехал на Гончарную ул. в новый дом Меншуткиных, на одном дворе со старым их домом на Невском пр., где жила старшая сестра. В 75 году Анат. Ив. Сердюков был арестован, а Надя умерла, и на Гончарной с отцом поселились Люба с мал. сыном и Жохов.

Между тем Люба, вместе с Лариссой Вас. Синегуб, сделалась основательницей „Красного Креста" для сидящих в крепости, в „предварилке" и других тюрьмах. Благодаря ее необыкновенно мягкому характеру, даже жандармы (Кононов) проникались к ней симпатией, а Лесник регулярно сообщал сестре о прибытии новых заключенных, нуждающихся в пособии; от нее сразу принимали деньги для всех, по 5 руб. в месяц на каждого. В дни свиданий в „предварилке" Люба с Лариссой Вас. приносили передачу человек на 20, снабжая их бельем и продуктами домашней стряпни. Передача книг

была организована через особый стол в окружн. суде, куда мы носили такие тяжелые связки, что по дороге несколько раз отдыхали на тротуарных тумбах. Немало заключенных сохранили бодрость духа и получили основательные знания, благодаря этой организации; некоторые из них после освобождения, в том числе Кибальчич и Грачевский, приходили познакомиться с нами и выразить свою благодарность. Кроме того, Люба еще в 74 г. вела переписку с сидящими в 3-м отд. Выйдя из тюрьмы, я приняла деятельное участие в работе сестры, которая уже была знакома с В. Н. Фигнер, принявшей на себя заботы о помощи подсудимым по проц. 50.

Тем временем наиболее деятельные члены нашего кружка сидели в крепости, Кравчинский и Клеменц были за границей; общее настроение молодежи после неудачного похода „в народ" летом 75 г. было подавленное, т. к. определенной программы для деятельности не имелось, а население тюрем заметно увеличилось. Впрочем, как остававшиеся на свободе, так и освобожденные одновременно со мной не пали духом и летом 76 г. проявили себя, устроив побег П. А. Кропоткина из Николаевского военного госпиталя. Главным организатором его был Ор. Эд. Веймар; он купил рысака, Варвара, и подобрал необходимых помощников. Наша квартира на Гончарной ул., проходным двором соединявшаяся с Невским пр., представляла большое удобство для бежавшего, и мне предложили ожидать в ней Веймара с освобожденным Кропоткиным. В квартире на лето оставался один лакей; я отправила его с запиской на Вас. остров по несуществующему адресу, а сама с Лавровой, родственницей Кропоткина, осталась их ожидать. Томительно длилось время... Надежда на счастливый исход сменялась сомнением... Наконец, в воротах с Невского пр. показались два изящно одетых господина в цилиндрах. Мерным шагом шли они по двору, оживленно разговаривая и жестикулируя; наконец, они вступили в проход и по черной лестнице поднялись в нашу квартиру. Не берусь описать восторг, с которым мы их встретили. Ор. Эд., тщательно обдумавший все детали, захватил с собою ножницы и в несколько минут чудная борода Кроп. была срезана. Для расспросов не было времени—через полчаса П. А. и Ор. Эд. по парадной лестнице вышли на Гончарную, где за углом ждала их карета. Я возвращалась на дачу в Новую Деревню в таком восторженном настроении, какого больше не испытывала в моей жизни. Мне не сиделось на месте—своими порывистыми движениями и сияющим лицом я обращала на себя внимание других пассажиров невыносимо медленно ехавшей конки. С трудом досидев до остановки я бегом пустилась на дачу сообщить сестре и Лар. Вас. об удачном побеге.

Осенью 76 г. большое влияние на рабочих и молодежь получил вновь организованн. Натансоном кружок, в шутку прозванный Клеменцом „троглодитами", п. ч. квартиры его членов так же трудно было найти, как пещеры дикарей. В состав кружка входили будущие народовольцы и террористы, как Александр Дмитриевич Михайлов и Адриан Михайлов, Баранников, Осинский, а также Плеханов, Лизогуб, Оболешев и др. видные революционеры. Натансон и его жена Ольга предлагали мне вступить в их кружок, но мне слишком дороги были прежние друзья,—я не могла как бы изменить им для новых. Кроме того, серьезное изучение истории, а также Дарвина, Тэна и др. познакомило меня с теорией эволюции, и я утратила веру в возможность путем революции моментально изменить социальный строй жизни народа. Я не могла также разделять увлечения Ал-ра Михайлова раскольниками или надежду найти революционное настроение в местах пугачевского бунта и вольного казачества и т. п. Я оценила важное значение политической свободы для умственной и нравственной эволюции народа и сочувствовала борьбе с деспотизмом во имя свободы, равенства и братства. Между тем, кружок Натансона, давшего ему название о-ва „Земля и Воля", вызвал большое оживление среди молодежи и рабочих и организовал несколько уличных демонстраций, из которых особенно известна демонстрация 6-го декабря у Казанского собора. Освобожденные от следствия члены кружка чайковцев — Н. И. Драго, Ю. Н. Богданович, примкнувшие к ним—Веймар, Грибоедов, приехавшие из Швейцарии — Клеменц и Кравчинский стремились продолжить существование кружка и начали разрабатывать программу революционной деятельности в народе, известной впоследствии под именем „народнической". К этой группе примкнула и В. Н. Фигнер, с которой у меня и у сестры установились вполне дружеские отношения. *)

*) В выработке программы „народников" и в организации, сложившейся в 1876 г. и выкинувшей на площади Казанск. собора девиз „Земля и Воля", ни Клеменц, ни Кравчинский участия не принимали. Вернувшись из за границы, Кравчинский летом 1876 г. был в таком подавленном и ненормальном состоянии, что те, кто с ним встречался, считали его душевно больным. А Клеменц весь 76 г. держался в стороне и никогда не бывал на общих квартирах товарищей по названной организации и даже не знал их адресов (оттого и прозвал их троглодитами). Авторами программы были Иванчин-Писарев, Ю. Богданович и Н. И. Драго. В 1878 г., когда по процессу 193-х многие были освобождены, первые двое на собрании освобожденных, близких к чайковцам, прочли программу, кот. и была ими принята. Так как предстоял общий разъезд, то, для поддержания связи между присутствующими, выбрали Клеменца и еще кого-то (не помню), п. ч. предполага-

В 77 г. начался целый ряд процессов: по делу Казанской демонстрации, процесс 50, процесс Семяновского и др. Строгие приговоры, иногда при полном отсутствии улик, возмущали всех. На процесее Семяновского, после блестящей речи Герарда, не оставившей камня на камне в обвинении, когда суд вынес приговор на каторгу, я тут же решила, что не стоит защищаться перед такими судьями. Летом начали выдавать обвинительный акт по проц. 193; в июле мне вручил его сенатор Петерс в сенате, откуда меня препроводили в Дом предв. заключения. Перед арестом я сказала отцу, что защищаться не буду, а потому адвоката приглашать не надо. Кроме того, я обратилась к Гр. Вас. Бардовскому, чтобы до процесса он числился моим адвокатом, но дела моего не изучал, т. к. на суде я откажусь от защиты. Для подсудимых процесса 193-х заключение в „предварилке" обратилось в своего рода праздник: многие были переведены из крепости и провинциальных тюрем, где сидеть было гораздо хуже. К сожалению, праздничное настроение было нарушено возмутительным распоряжением Трепова о телесном наказании Боголюбова, которое вызвало настоящий бунт и жестокое избиение заключенных. Вообще жизнь в „предварилке" стала гораздо оживленнее, когда число сидящих увеличилось. Кроме того, адвокаты устраивали свидания своих клиентов из мужского и женского отделений, что давало возможность повидать своих лучших друзей и свести новые знакомства. Наконец, 18 октября начался наш процесс. Пять дней продолжался для нас сплошной праздник, когда все подсудимые являлись на заседание суда. Необыкновенно сильное впечатление произвело на меня знакомство с Желябовым — в нем чувствовалась такая могучая сила, такая непоколебимая уверенность в успехе своей работы, что он действовал на всех самым ободряющим образом. Не буду останавливаться на ходе процесса: он много раз описывался. Как известно, многие подсудимые (в том числе и я) были освобождены за 2 месяца до окончания процесса (23 янв. 78 г.) Неожиданное освобождение подсудимых, выпущенных после нескольких лет заключения, вызвало необычайное оживление молодежи. В. Н. Фигнер, вернувшаяся из Самарской губ., пишет: „Мы встретили необычайное оживление: молодежь ликовала, старые и новые друзья приветствовали освобожденных, как выходцев с того света, а они, измученные и разбитые физически, забыв только что перенесенные страдания, с жаром, свойственным молодости и долгосдерживаемым порывам, уже мечтали о новой деятельности, создавали новые планы для осуществления своих идей..." („Запечатл. тр.", I, стр. 103 — 104).

Тем временем чайковцы потеряли двух членов, работавших с основания кружка— А. И. Сердюкова и М. В. Купреянова. Анатолию Ив. прнадлежала инициатива социалист. пропаганды среди рабочих. Кроме того, до самого ареста он заведывал заграничн. сношениями кружка. Во время заключения в крепости он заболел психически, а потому не был предан суду и выслан в Тверь, где под влиянием меланхолии лишил себя жизни, а Михаил Вас. Купреянов умер скоропостижно в крепости. Он увлекался занятиями с рабочими, освободил из ссылки П. Н. Ткачева, в надежде иметь в нем полезного сотрудника для журнала, о кот. вел переговоры с П. Л. Лавровым, и, вместе с Анат. Ив., заведывал сношениями с контрабандистами. М. В. скончался в крепости, куда были переведены многие подсудимые после отказа присутствовать на суде. Скоропостижная смерть М. В. поразила всех и породила слухи, будто бы он отравился, но близко его знавшие не верили этому, т. к. в предварилке он был вполне бодр, до перевода в крепость читал „в клубе" лекции рабочим, а на суде, возмужавший, с свежим цветом лица, даже значительно утратил сходство с медвежонком.

В марте 78 г. происходил суд по делу В. И. Засулич, и ее оправдание присяжными вызвало ликование не только среди молодежи и в обширных кругах либер. общества, но даже смелые статьи в газетах. Засулич первая подала сигнал вооруженного отпора палачам. Приехавший из Женевы Кравчинский в августе того же года ударом кинжала поразил шефа жанд. Мезенцева.

Ходатайство суда, по настоянию Мезенцева, не было утверждено, да кроме того до 80 человек оправданных были отправлены в ссылку. Ходатайство обо мне тоже не было уважено, и административным порядком определили выслать меня в Пермскую губ. За 2 месяца до отправки, в Литовском замке я впервые близко столкнулась с Брешковской и оценила ее выдающуюся энергию.

С последней партией из 15 человек, 2 августа 78 г. надолгие годы я рассталась с Петерб. Двое суток везли нас до Нижнего, а там мы были порадованы вестью об убийстве Мезенцева. В Перми я простилась с моими спутниками, т. к. их повезли дальше в Сибирь. Я очутилась в полном одиночестве: другие ссыльные—Короленко, Маликов, Головина—жили в Перми, а я пробыла год в Верхотурье, 2 мес. в Красноуфимске,

---

лось, что все мы составим одну организацию (т. е. группа „сепаратистов", в кот. была я, и освобожденные, принявшие программу.). Но из этого ничего не вышло. См. „Запеч. Труд", т. I. гл. 5.

В. Фигнер.

а потом в Кунгуре, куда в конце 80 г. была выслана и сестра Люба. В Кунгуре я получила разрешение заниматься в больнице и, после ухода фельдшерицы, 2 года бесплатно исполняла ее обязанности. В 82 г. по так. назыв. конституции Лорис-Меликова, сестре моей был назначен 5-летний срок ссылки и ее направили в г. Ишим. По моему прошению я получила разрешение жить с ней в Ишиме, где очутилась, наконец, в колонии ссыльных, среди которых были писатели—Мачтет и Сведенцов. Через год мы переехали в Томск. Там было много ссыльных: Ал. Ал. Кропоткин, Феликс Волховской, Соломон Чудновский, Мокиевский-Зубок, Влад. Александров по проц. 50, его жена, Лидия Николаевская, осужденная за участие в Казанской демонстрации, Ульяновы, мой будущий муж, Максим Мороз, и др. В Томске я служила в амбулатории для бедных. Весною 85 г. я была привлечена к делу Лопатина, но меня продержали только месяца 2 под домашним арестом. Осенью уехала в Россию, когда кончился срок моей ссылки и поселилась в Казани; получив право жительства в столицах, осенью 1894 г. перебралась в Москву, где вращалась в кругу демократической интеллигенции. В 1905 г. я имела возможность разделить уединение В. Н. Фигнер, сосланной в Архангельскую губ. Свидетельницей революционных событий я не была, т. к. лечилась в то время в Германии, а позже, с весны 1917 по 1921 г., проживала на южном берегу Крыма. Последние годы доживаю свой век в глухой провинции, веду домашнее хозяйство сына.

Кузнецов, Алексей Кириллович *).

Родился в Херсоне в 1845 г. в богатой купеческой семье; первоначальное образование получил в уездном училище, по окончании его был отвезен в Московское коммерческое училище, которое кончил в 1864 г. со званием личного почетного гражданина. Затем, в начале 1865 г. поступил в Петровскую Сельско-Хозяйственную и Лесную академию, на с.-хозяйственное отделение, специализируясь у профессоров: Стебута по с.-хозяйству, у Кауфмана и Железнова по ботанике, у Шрейбера по практическим культурам.

По окончании коммерческого училища и в бытность мою студентом Петровской академии, в каникулярное время, я ходил в народ по Московской губернии, Дону и Волге, а по Московской губ. и гербаризировал. В академии отдавался общественной работе среди студенчества; организовал студенческую столовую, приносившую громадную пользу, и совместно с несколькими товарищами мы основали нелегальную студенческую библиотеку и устраивали в Петровском парке нелегальные сходки.

*) Автобиография написана в феврале 1926 года в г. Чите.

В декабре 1869 г. я работал над диссертацией по низшим вредителям в сельском хозяйстве. Во время моей исследовательской работы с микроскопом появился в моей квартире неизвестный мне молодой человек, фамилию которого я узнал только на суде: это был Сергей Геннадиевич Нечаев. Развернув передо мной картину революционного движения, охватившего в то время Россию, и осмеяв меня, предававшегося научным исследованиям,— он силой своего революционного убеждения покорил меня.

В то время ему было 21 год. Он был небольшого роста, с темными, почти черными волосами и едва пробивающимися усиками, с горящими глазами, взгляд которых мог выносить далеко не всякий; с резкими движениями, крайне нервный, возбуждаясь, он кусал себе ногти пальцев чуть не до крови. Для того, чтоб, не выдавая себя, успешнее наблюдать за собеседником, Сергей Геннадиевич носил большие выпуклые синие очки. С. Г. Нечаев был известен за границей под псевдонимом „Лидер"; в Москве он называл себя „Павловым, Иваном Петровичем." Кроме этого, он имел и еще несколько псевдонимов. До суда ни один из 84 участников процесса, кроме Успенского, не знал его настоящей фамилии. Приехав в Москву, он поселился в квартире Успенского, служившего приказчиком в книжном магазине Черкесова. Между Нечаевым и Успенским существовала полная солидарность, и предписания, исходившие от Исполнительного Комитета, фактически выпускались Нечаевым и Успенским. На всех предписаниях ставилась печать с изображением топора и надписью: *„Комитет Народной Расправы, 19 февраля 1870 года*".*) Это подтвердилось найденными при обыске в квартире Успенского бланками с указанным текстом печати, зашитыми в подушках мягкого дивана и кресла.

По приезде из-за границы С. Г. Нечаев побывал в Петровской академии. Вскоре после этого, ночью, в академии в квартире Иванова, с которым он познакомился через Успенского раньше, состоялось первое собрание, где присутствовали: Нечаев, Иванов, Рипман и Долгов. Успенский и Прыжев никогда на собраниях не бывали, а сносились с кружком: Успенский через Долгова, Прыжев через Николаева. На первом собрании Нечаев объявил себя уполномоченным Международного Общества рабочих (интернационала, основанного в Лондоне

* Время, назначенное для начала восстания.

28 сентября 1864 года), статуты, которого приняты бакунинской организацией, в свою очередь уполномочившей его на революционную, работу в России. Дальше, он заявил, что вся Россия и Петербург охвачены сетью организаций, Москва же остается позади и что он является представителем О-ва, которое должно развернуть свою работу в Москве. Затем, он стал знакомить нас с правилами, составленными им специально для организации кружков. Кроме этих правил, некоторым из нас впоследствии стали известны общие правила нечаевской организации, так наз. „Катехизис революционера". Потом Нечаев перешел к структуре нашего головного кружка, обязав нас создать около себя кружки второго разряда при непременном условии, чтобы образуемые нами кружки второй, третьей, четвертой и т. д. степеней не знали о кружках по восходящей линии, а могли лишь знать о кружках ниже стоящих.

На таких же началах, по словам Нечаева, в Москве создается другая ветвь всемирной организации, которая имеет своего отдельного представителя Интернационала.

Кроме того, Нечаев познакомил нас с литературой, которую мы должны были распространять при пропаганде. К ней относились следующие издания и журналы: „Народное Дело", „Народная Расправа", Будущность"' „Колокол", Летучий Листок", „Общее Вече", издания Огарева, стихотворение „Студент", прокламация Нечаева „Потомки Рюрика", прокламация „От сплотившихся к разрозненным", воззвание „Братья—товарищи" и многие другие.

После организационного собрания началась работа первого головного кружка, состоявшая в том, что каждый представитель должен был привлекать в кружок лиц, полезных делу революции. При вербовке членов подходили не ко всем одинаково; так, людям политически неразвитым говорили: „Государственный переворот—это дело будущего, а теперь мы находимся в периоде собирания сил"; этим людям никогда не говорили ничего о конечных целях общества (разрушение существующего строя).

Лица, проявившие себя в революционной деятельности, выделялись Нечаевым на специальные работы, как, напр., Прыжев с его кружком был выделен на работу среди подонков общества, я со своим кружком должен был работать среди купечества; Николаев был во главе лиц, работавших среди крестьян, Успенский был выделен в особый кружок, но это было простой фикцией, так как Успенский и его жена, Александра Ивановна, урожденная Засулич (сестра Веры Ивановны), занимали в организации, благодаря близкому знакомству с Нечаевым, особое положение, о чем было сказано выше. При чем всякий проявивший себя положительно в революционной работе в кружках низших степеней продвигался в выше стоящий кружок, а лиц безнадежных, т.-е. таких, из которых нельзя было выковать революционеров, беспощадно выбрасывали.

В кружках была введена железная дисциплина и требование беспрекословного исполнения всех распоряжений и велений центрального комитета Народной Расправы. Но далеко не всеми членами исполнялось это требование, так, напр., Иванов неоднократно требовал, чтоб ему сообщили состав комитета Народной Расправы, весьма часто протестовал против беспрекословного исполнения того или иного требования центрального комитета, чем вызывал нескрываемое раздражение Нечаева.

Моя работа в организации началась с того, что я образовал возле себя кружок второй степени из близких мне с детских лет лиц, с которыми я учился восемь лет в Московском Коммерческом училище, а затем позднее мы были студентами Петровской Сельско-Хоз. академии. К этим лицам относятся: мой младший брат, Семен Кириллович Кузнецов, Климин (жив и в настоящее время, живет в Козьмодемьянске), два брата И. и В. Рязанцевы и Гавришев. Они в свою очередь, каждый около себя, основали кружки третьей степени и, таким образом, постепенно по нисходящей линии в течение двух месяцев в кружки было завербовано до 400 человек, арестовано 310, а судилось 84 человека. Мы, участники головного кружка, всячески выгораживали арестованных, имевших хоть какую-нибудь причастность к нашим кружкам, беря всю вину на себя.

Работа в кружках велась весьма секретно, но бдительность и контроль Нечаева были изумительны. Внезапно появляясь на заседаниях кружка, он поражал участников знанием не только всей проводившейся кружком работы, но и временем и местом заседаний. Иногда на заседания он приносил в запечатанных конвертах распоряжения центрального комитета Народной Расправы и, искушая нас, спрашивал: „Что же вам пишет центральный комитет?" Разглашать распоряжения комитета уставом воспрещалось и требовалось обязательно по прочтении приказания или распоряжения таковое сжигать, что строго исполнялось. При посещении кружков Нечаев говорил кое-что и о себе. Так, однажды в нашем кружке он рассказывал о своем побеге из Сибири, куда он будто-бы был сослан на каторгу в рудники за революционную работу и оттуда, преодолевая всевозможно невероятные препятствия—бежал.

Кроме самого Нечаева, кружок посещали лица никому не известные. Так, однажды появился в кружке в военной форме Иван Лихутин (как впоследствии выяснилось,

привезенный Нечаевым из Петербурга с целью мистификации). Он представил в кружке бланк с женевской печатью и сообщил, что в Петербурге имеются организованные кружки среди военных и в Москве, в некоторых частях войск, имеются такие же кружки, с которыми он вошел в связь. Появлялся в нашем кружке, с той же целью, в качестве ревизора некий Александр Васильевич (Н. Н. Николаев, старый близкий знакомый Нечаева). Николаев имел наружность крестьянина: широкое лицо, рыжеватые волосы и крестьянскую клинообразную бороду, ходил в развалку тяжелой поступью, всегда был одет в большие сапоги и в крестьянский нагольный тулуп. Как уже упоминалось, он представительствовал в кружках, как организатор среди крестьянства. Из его сообщений мы знали о недовольстве крестьян реформой 1861 года и о готовности крестьян присоединиться к восстанию.

Вскоре после организации мной кружка второй степени я был отозван на специальную работу. В головном кружке меня заменил Климин. Мне пришлось заняться изобретением и составлением шифра для сношений кружков и представительствовать по организационным вопросам в кружках.

19 ноября Нечаевым было созвано чрезвычайное собрание из следующих лиц: меня, Прыжева, Николаева, Долгова, на котором Нечаев прочитал сообщение центрального комитета Народной Расправы, указывавшее на то, что комитету стало известно не только недовольство Иванова деятельностью организации, но и его намерение донести жандармскому управлению о существовании организации. Нечаев заявил нам, что в комитете имеются веские доказательства, но в виду строгой конспирации он не имеет права их огласить. На заседании горячо и долго дебатировался вопрос: что же делать? Погубить ли так быстро и успешно развивающееся общество, или же ради сохранения общества пожертвовать жизнью Иванова. Единогласно постановили последнее, что и приведено было в исполнение ночью 21 ноября в гроте Петровско-Разумовской академии.

Через день после ужасного акта мы с Нечаевым отправились в Петербург. Я вез кучу писем к различным общественным деятелям: Некрасову, Михайловскому, Демерту (заведывавшему внутренним отделом „Отечественных Записок“), Лихутину, Негрескул, Старцеву и многим др.

В Петербурге, где Нечаев вел совершенно отдельную от меня работу, он во время одной из встреч посвятил меня в план цареубийства, который он обдумывал в те дни. По его словам осуществить этот план не представляло больших трудностей. Нужно было иметь 40—50 преданных организации лиц, ворвавшись с которыми во дворец и обезоружив стражу возможно было покончить с царем и его семьей. Дворцовая стража в этот период была крайне распущенна, часть царских лакеев и прислуги неглижировала своими обязанностями, и при таких условиях, по уверениям Нечаева, возможно было совершить переворот, и тогда можно было думать, что такой план осуществим.

Получив известие, что в Москве, в ночь с 25 на 26 ноября, арестован Успенский, Нечаев уехал в Москву, а оттуда быстро, при помощи Черкесова пробрался за границу. Я же оставался в Петербурге для организации кружков, на таких же началах, как и московские. Вскоре я заметил, что за мной следят, и вынужден был начать уничтожать оставшиеся неврозданными письма, но надеясь, что все может обойтись благополучно, не успел уничтожить все. При обыске у меня было взято 14 писем, записная книжка и телеграмма от Нечаева из Москвы.

В ночь на 3 января 1870 г. я был арестован, посажен в Петропавловскую крепость, затем 1 июля 1871 г. был судим Петербургской судебной палатой совместно с Успенским, Прыжевым, Николаевым и др. лицами, составлявшими первый головной кружок нечаевской организации; по статьям 249 и 250 Ул. о наказ. приговорен к заключению в крепости на 10 лет.

* * *

Невольно перед нами встает вопрос: чем, какими способами Нечаев порабощал, приковывал к себе людей, как молодых, так и пожилых (Прыжеву было 42 г.), и притом часто людей, более чем он всесторонне образованных? Ответ может быть один— своей колоссальной энергией, своей прямолинейностью, силой своей воли, своей бескорыстной преданностью принципу. Его постоянными словами были: „Нужно работать только для блага обездоленного народа; нужно организовывать восстание.“

Привычно он, ночуя у нас, спал на голых досках, довольствовался куском хлеба и стаканом молока, отдавая работе все свое время. Такие мелочи на нас, живших в хороших условиях, производили неотразимое впечатление и вызывали удивление. Но главный секрет его огромного влияния на нас, студентов академии, заключался в том, что почва для его проповедей была подготовлена.

Академия имела при своем основании устав, отличавшийся такими свободами, каких не имело ни одно высшее учебное заведение. Мы имели, кроме официальной библиотеки, свою нелегальную (заведывал И. Рязанцев), кроме дозволенной кассы— свою нелегальную; мы получали почти все подпольные и заграничные издания. Каждое лето, во время каникул, по уставу акаде-

мии, мы разъезжались на практику в образцовые имения разных губерний, принадлежащие богатым землевладельцам, которые еще недавно были крепостниками. Здесь мы знакомились с рабочими, с их положением; знакомились и с крестьянами соседних деревень. Осенью по приезде в академию мы собирались, и каждый делал сообщение о своих наблюдениях. Всегда положение рабочих и крестьян рисовалось в самых мрачных красках, и выявлялось недовольство крестьян реформой 1861 года. Часто шли беседы, как помочь выйти народу из ужасного положения, и никогда мы не додумывались дальше фаланстеров Фурье и полумер Сен-Симона. Наш дружеский кружок даже наметил около академии участок земли, на котором мы мечтали работать на коммунистических началах, думая, что он будет служить примером для других студентов академии. Наконец, надо помнить, что до нас был произведен каракозовский выстрел, который сделал большую брешь в нашей психологии. Он был тем же толчком, способствовавшим косвенным путем созданию нечаевского общества, как затем нечаевский публичный процесс создал у многих молодых людей новое миросозерцание в области политических вопросов. Почва была подготовлена. Мы, восторженные молодые люди, искавшие выхода из окружающих Россию ужасных условий, охотно склонялись на предложения Нечаева, умело высмеивавшего наши мечты, наши научные работы, при чем он указывал на революцию, как на единственный путь для достижения народного блага. Если мы поддавались влиянию Нечаева, благодаря тому, что были мало опытны или мало развиты политически, то как надо расценивать такие факты, как его влияние на Герцена и возможность получения от него капитала на революцию, или на Огарева, от которого он получил вторую часть капитала, оставленного Бахметьевым на революционные нужды в России. Известна также и его близость к Бакунину, с которым он, после бегства из России в 1870 году, участвовал в издании „Колокола". Бакунин и порвал с Нечаевым лишь тогда, когда убедился, что последний ведет свою линию, совершенно не считаясь с мнением других заинтересованных в издании „Колокола" лиц.

Я разделяю определение Нечаева, сделанное Бакуниным после их идейного расхождения, писавшего Н. П. Огареву: „Нечаев один из деятельнейших и энергичнейших людей, каких я когда-либо встречал; когда надо служить тому, что он называет делом, он не колеблется и не останавливается ни перед чем и бывает также беспощаден к себе, как и ко всем другим. Вот главное качество, которое привлекло меня и долго побуждало меня искать сообщества с ним. Есть люди, утверждающие, что это—просто авантюрист; это—неправда, он фанатик, преданный одному и только одному делу,—делу революции. Он не эгоист в банальном смысле слова, потому что он страшно рискует и ведет мученическую жизнь лишений и неслыханного труда... Нечаев—сила, потому что это огромная энергия. Я с большим сожалением разошелся с ним, так как служение нашему делу требует много энергии, и редко встречаешь ее так развитою, как у него".

После выдачи Нечаева швейцарским правительством России Бакунин писал Огареву: „Итак, старый друг, неслыханное совершилось... Впрочем, какой-то внутренний голос мне говорит, что Нечаев, который погиб для России безвозвратно, на этот раз вызовет из глубины своего запутавшегося существа всю свою доблесть. Он погибнет героем и на этот раз никому и ничему не изменит. Такова моя вера. Никто не сделал мне, и сделал намеренно, столько зла, как он, а все-таки мне его бесконечно жаль... Он был человеком редкой энергии и, когда мы с тобой встретили его, в нем горело яркое пламя любви к нашему бедному, забитому народу, в нем была настоящая боль по нашей исторической народной беде".

Внутренний голос не обманул Бакунина, и предсказание его относительно Нечаева сбылось. Известно, как Нечаев держал себя на суде. И даже заточенный в Алексеевский равелин, он проявил силу своей необычайной воли своей борьбой с тюремщиками вплоть до самой последней минуты своей жизни.

Итак, влияние Нечаева было огромно. Лишь на суде я понял, что управление обществом создано было Нечаевым на лжи. Идя в партии в Сибирь на каторгу с Прыжевым, Николаевым, я из интимных разговоров о Нечаеве пришел к твердому убеждению, что для совершения террористического акта над Ивановым не было никаких серьезных оснований, что этот акт нужен был Нечаеву для того, чтоб крепче спаять нас кровью.

Решая вопрос о личности Нечаева в полном объеме, нужно принять во внимание, что мы, вступившие в нечаевскую организацию, были шестидесятники с большим уклоном в область социалистических мечтаний, альтруистических побуждений и с беззаветной верой в честность учащейся молодежи. И несмотря на то, что Нечаевым было поругано и затоптано то, чему я поклонялся, несмотря на то, что он своей тактикой причинял огромные нравственные страдания—я все же искренно преклоняюсь перед Нечаевым, как революционером.

После суда я просидел несколько месяцев в Виленской крепости при самых тяжких условиях. Затем, в конце 1871 г. со-

вместно с товарищами по процессу, Николаевым и Прыжевым, отправлен (при уголовной партии) как гражданский преступник в Кару. Правительство, сославшее нечаевцев, как гражданских преступников, надеялось добиться при такой постановке вопроса выдачи Нечаева, бежавшего из России и проживавшего в Швейцарии.

На Кару хотя я и следовал с уголовной партией, но был на положении гражданского преступника, что давало мне возможность ботанизировать по пути следования, а прибыв в Нерчинск и живя в нем некоторое время, я мог ботанизировать и в окрестностях его. Результатом этой работы, вместе с собранными растениями вблизи Кары, был гербарий, вложенный в созданный мною Нерчинский музей. Живя в Нерчинске, я познакомился со всеми ссыльными поляками и местными учителями, что дало мне возможность впоследствии использовать эти знакомства для политических целей. По прибытии в Кару, в виду того что относительно меня не было никаких предписаний, я считался „малосрочным", а таковых (в патриархальные времена) освобождали в так называемую „вольную команду". Как гражданский преступник я стал „урочником", вносил плату за дрова в кассу смотрителя средне-карийского промысла (золотые промыслы Кабинета), где я проживал.

Будучи на положении гражданского преступника, пользовался относительной свободой, и при начальниках каторги—Винникове, Скоробогаче и Кононовиче в устроенном мною приюте для детей ссыльных-каторжан организовал мастерские, в которых квалифицированные мастера из каторжан обучали детей мастерствам. Результаты достижений поражали всех осматривающих мастерские и выставки, на которых были представлены работы учеников; мастерские давали большой доход. Кроме этого, при приюте мною созданы: сад с оранжереей и цветниками, огород с парниками и теплицами и опытное поле. Все это оживлялось проведенным мною водопроводом из ближайшего ключа. Дети, воспитываясь в приюте, обучались в мастерских, а лично под моим руководством работали и в саду, и в цветниках, и в огороде, и в поле. В то же время мною была открыта школа для обучения детей частных лиц. Совместно с доктором В. Я. Кокосовым нами впервые на каторге устраивались спектакли в лазарете для всех взрослых каторжан и в приюте для детей.

После выдачи швейцарским правительством Нечаева и суда над ним 8 января 1873 г., приговорившего его к 20-летней каторге (он был заключен в Петропавловскую крепость, где нашел свою голгофу и смерть), из Петербурга, из 3-го Отделения, в Нерчинскую каторгу было дано предписание считать нас, нечаевцев, государственными преступниками и ежемесячно доносить о нашем поведении.

Отбыв шестилетнюю ссылку на Каре в 1878 г., по приглашению гражданина Бутина я переехал в г. Нерчинск, где мне было предложено устроить сельскохозяйственную ферму в предместье Зыряниха. В то же время мною из ключа Зыряниха был проведен в город, через городской сад в сад бр. Бутиных водопровод на протяжении полуверсты (в настоящее время водопровод разрушен). В 1881 г. в г. Нерчинске на ферме была устроена сельскохозяйственная выставка, имевшая большой успех. В Нерчинске мною основано Общество попечения о начальном образовании. Председателем его я состоял несколько лет, а 29 янв. 1914 г. мне был поднесен диплом со званием почетного члена. 14 апр. 1891 г. мною внесено в вышеназванное Общество письменное мотивированное предложение, а в Нерчинскую городскую думу доклад об открытии близ Нерчинска сельско-хозяйственной школы с ремесленными классами. В течение 25 лет производились денежные сборы и, наконец, в 1916 г. школа была открыта, и я избран ее почетным членом. Из распавшейся музыкальной школы бр. Бутиных мною был организован кружок любителей музыки и литературы, затем первый на Дальнем Востоке музей, библиотека, частная школа для детей горожан, любительская фотография. Все эти учреждения поддерживались на средства, добываемые кружком музыки и литературы от доходов со спектаклей, концертов, устройства праздников и увеселений. После восстановления в правах, что было сделано без всякого с моей стороны ходатайства, я состоял гласным Нерчинской городской думы.

В 1889 г. переехал в Читу, чтоб дать образование в гимназиях своим детям. В Чите мной была открыта фотография-передвижка, с которой я ездил по Забайкалью, снимая все достойное внимания. За несколько лет мной было выпущено одиннадцать фотографических альбомов (среди них драгоценнейший альбом снимков всего, что связано с пребыванием декабристов в Забайкалье). На средства, доставляемые мне фотографией, ежегодно предпринимал экскурсии в разные места для исследования Забайкальской области и собирания коллекций для музея. Участвовал с геологом А. П. Герасимовым в экспедиции в низовья Ингоды и Онона, из которых вывез ценные геологические и археологические коллекции. К тому же времени относится мое участие в работах Статистического и Кустарного комитетов, в последнем я был председателем.

16 июля 1894 года по инициативе моей и доктора Н. В. Кириллова организовано Отделение Приамурского Географического Общества, а 16 апр. 1895 г. открыт организованный мною музей, первым директором которого был избран я. В 1895 г. при Отделе начало функционировать Общество народных чтений, положено основание книжному складу и открыта книжная лавка. В 1895 г. была основана библиотека, которая числилась при Обществе до 1908 г.

В 1896 г. по поручению Общества мною была составлена записка с указанием на местность по среднему течению Витима, как пригодную для заселения; на основании доклада Обществу и вышеупомянутой записки Обществом было вынесено постановление о снаряжении экспедиции на Витим, но экспедиция эта не состоялась.

В 1896 г. Нерчинский музей принимает участие в выставке по этнографии в Нижнем-Новгороде, в 1897 г.—на выставке центрального Общества Правильной Охоты в Москве и в 1900 г.—на всемирной выставке в Париже, где Обществу присуждена серебряная медаль и выдан диплом. 10 марта 1899 г. на общем собрании членов Забайкальского Отдела Р. Г. Общества состоялось единогласное постановление: избрать меня в почетные члены Отдела „за продолжительную полезную деятельность в Забайкальском Отделе и Нерчинском музее.“ В 1898 г. среди членов Заб. Отд. Р. Г. Общества возникла мысль об устройстве областной выставки в Чите, что и было осуществлено в 1899 г. Устроителем и распорядителем выставки был избран я. По окончании выставки мною, как распорядителем ее, были переданы в музей ценнейшие экспонаты, благодаря которым музей значительно обогатился. За выставку, как устроитель ее, я получил три медали: золотую—„за деятельность по рациональному пчеловодству, огородничеству, садоводству и ботаническому отделению сада“; большую серебряную — „за художественно исполненные фотографические работы“; бронзовую—от Охотничьего Общества „за исследование по изюбреводству в Забайкалье“. В 1894 г. за пять лет до открытия сельскохозяйственной выставки на заброшенной площади, отведенной Геогр. Обществу, мерой около 6 десятин, служившей местом свалки нечистот, был при больших материальных затратах мною устроен сад, который служит лучшим уголком отдыха и до настоящего времени. Насаждение сада поддерживалось проведенным мною водопроводом из Кайдаловки.

В 1900 г. был устроен при Отделе склад сельскохозяйственных орудий, в котором я был распорядителем. В 1902 г. советом министров было предложено Географическому Обществу высказаться по вопросу государственного благоустройства Забайкальской области. На этот предмет мной по поручению Общества была составлена записка, вошедшая в доклад совету министров. В этом же 1902 г. мне присуждена центральным Географическим Обществом малая золотая медаль за труды по Читинскому Отделу Р. Г. Общества.

В 1902 г. я вынужден был в виду неприязненного отношения ко мне вновь назначенного губернатора Надарова по политическим мотивам оставить обязанности директора музея и до 1904 г. стоял в стороне от деятельности Географ. Общества. В этот период времени губернатором Надаровым при участии члена Географического Общества А. Ф. Гелера был произведен разгром музея и всех учреждений Общества. Коллекции музея были выброшены из занимаемого им помещения и свалены в сарай (без потолка и пола). Ценнейшие коллекции музея погибали. Геогр. Общество почти прекратило свою деятельность. Так продолжалось до 8 февр. 1904 г., когда мною губ. Надарову был представлен доклад о положении дел Отдела и его музея с просьбой назначить комиссию для приведения в известность имущества Отдела и разбора еще не окончательно погибших коллекций. Комиссия установила порчу предметов музейных коллекций в размере $^2/_3$.

С отъездом губ. Надарова на фронт я был вновь избран директором музея и начал работать по восстановлению его. Летом 1904 г. мне было поручено приспособить сарай-барак под музей, что и было исполнено к осени, и 31 окт. 1904 г. состоялось открытие в новом помещении Геогр. Общества и отмечено 10-летие существования его.

С началом общественно-политического движения в России в 1904—05 гг. около меня образовалась группа из членов Геогр. Об-ва и лиц революционно-настроенных. Первоначально работа кружков совместно с рабочими и военными происходила в помещении музея Геогр. О-ва. Собрания велись подпольным порядком, здесь же скрывались лица, бежавшие из Акатуя, как тов. Браиловский, и прибывшие с приисков административные, как тов. Костюшко-Валюжанич. Вести революционную работу в Географическом О-ве было возможно потому, что покровителем его являлся генерал-губернатор и, таким образом, О-во не было объектом бдительного наблюдения жандармов и полиции.

18 окт. 1905 г. мне первому в Чите была прислана из центра телеграмма с манифестом 17 октября. Немедленно я поехал в театр, где шел спектакль. Предложил прекратить спектакль, а устроить митинг. Предложение было встречено восторженно. О решении граждан я по телефону сооб-

щил рабочим на Читу 1-ю. Вскоре с знаменами в театр явились и рабочие. Начался митинг. Был зачитан манифест. Мною было отмечено, что свободы не даются, а берутся... благодаря чему было установлено правильное отношение к манифесту. После этого была произнесена горячая, блестящая речь Браиловским.

23 ноября состоялся организованный мной народный митинг, на котором было более 5 тысяч человек. Митинг этот послужил толчком для группировок по партиям. Среди наметившихся группировок по всем кардинальным вопросам вначале была согласованность и полное единодушие. По организации партии социалистов-революционеров я вошел в нее; был избран председалем митингов, а в ноябре на Забайкальском областном съезде социалистов-революционеров был избран почетным членом Заб. обл. комитета партии. 14-го декабря военной организацией был устроен юбилей, посвященный 80-летию восстания декабристов, на котором я был избран председателем собрания. Юбилей этот прошел с большим подъемом.

Нашу деятельность по работе среди рабочих, крестьян и армии ликвидировали с двух концов: с запада—ген. Меллер-Закомельский, с востока—ген. Ренненкампф. По пути следования оба генерала-усмирителя расстреливали, секли и наводили ужас на население. Все, кто имел возможность, бежали или скрывались в лесах.

В начале февраля 1906 г. меня, болевшего тифом, арестовали, завернули в одеяла и перевезли в тюремную больницу. В конце февраля я был судим временным военным судом при карательной экспедиции Ренненкампфа и по приговору 1 марта по 3 части ст. 101 Уг. Улож. был лишен всех прав состояния и приговорен к смертной казни через повешение. По ходатайству Академии Наук и центр. Географического Общества смертная казнь мне была заменена 10-летней каторгой.

Каторгу отбывал в Акатуе. Принимал участие во всех партийных работах; был в организации побегов для политссыльных, нес обязанности казначея, заведывал лавкой и проч. 14 июня 1908 г. я был отправлен на поселение в Якутскую область. По распоряжению иркутского генерал-губернатора Селиванова я был сослан в Намский улус, в 110 верстах на север от Якутска, и должен был быть поселен в богадельне для ссыльных каторжных, но благодаря брату Д. А. Клеменца, заведывавшего богадельней, это было устранено. Я был поселен в Намском улусе и пользовался полной свободой.

Живя в Намском улусе, я устроил парники, развел огород и открыл для обучения детей якутов бесплатную школу. Об этом стало известно якутской полиции, оштрафовавшей меня на 7 руб. 50 коп. за открытие школы без разрешения начальства.

С отъездом из Иркутска ген.-губ. Селиванова мне было предложено переехать в Якутск и заняться достройкой здания под музей и библиотеку, что я и сделал, а затем устроил музей и библиотеку, положив в основание разрушенные коллекции, собранные когда-то народовольцами.

10 декабря 1911 г. сгорело здание, в котором помещался Читинский музей; часть коллекций погибла и большая часть была уничтожена. Деятельность музея и Геогр. О-ва совершенно прекратилась. В это время уже кончилась моя ссылка, и я добровольно оставался в Якутске, работая в музее. После пожара музея Читинское Геогр. Общество было бессильно само заняться устройством музея и, употребив все свое влияние, добилось разрешения у ген.-губ. Князева на мое возвращение в Читу, куда я и прибыл в конце августа 1913 г.

В сентябре я был восстановлен в звании директора музея и принялся за работу по восстановлению музея, который приходилось создавать вновь. 1914 г. прошел в усиленной работе по созданию в 3-ий раз коллекций музея. В то же время под моим наблюдением шла работа по достройке собственного каменного здания для музея. 9 ноября 1914 г. музей был открыт. Все присутствовавшие констатировали, что никогда прежде музей не был так полно представлен и прекрасно оборудован, как в данное время. Вечером того же дня состоялось торжественное заседание Географического Общества, посвященное 20-летней деятельности. На нем вынесено постановление о возбуждении ходатайства перед центральным Географическим Обществом о награждении меня большой золотой медалью за научные труды, за создание Нерчинского, Читинского и Якутского музеев и за новое воссоздание Читинского музея. Кроме того, постановлено вывесить в зале заседаний Общества мой портрет. В новом помещении шла кипучая деятельность как по Геогр. Обществу, так и по музею.

Период 10-летия с 1914 по 1924 год можно выявить так. Первый период (по ноябрь 1920 г.) постепенного упадка и полного прекращения работ Отдела вследствие империалистической, а затем и гражданской войны, не дававших возможности заниматься научными работами. Все силы были направлены на то, чтоб хоть как-нибудь сохранить музей и Отдел. Мне пришлось в этот период быть и председателем Геогр. О-ва, и директором музея, и правителем дел и исполнять обязанности прочих должностных лиц, и только такая напряженная работа дала возможность спасти музей и Отдел.

Вскоре после утверждения власти Д.-Восточной Республики министром просвещения М. П. Малышевым было предложено музею организоваться для новой деятельности, составить устав Геогр. О-ва, представить на утверждение министерства штаты музея и смету расходов, что и было сделано. 27 декабря 1920 г. состоялось постановление совета министров Д. В. Р. об объявлении всех музеев на Дальнем Востоке государственным достоянием с передачей их в ведение м-ства народн. просвещения и с наименованием здешнего музея „Читинским Краевым Музеем". 6 марта 1921 г. я был избран директором Читинского Краевого Музея. С весны 1922 г. в течение 3 лет при музее функционировали организованные мной инструкторские курсы для учителей. 24 августа 1921 г. в номере 6 „Д.-Восточного Телеграфа" было опубликовано постановление правительства Д.-В. Республики о наименовании музея Читинского Отделения Р. Г. О. музеем А. К. Кузнецова и назначении мне пожизненной пенсии в размере 600 руб. в год.

В течение 2-х последних лет я принимал близкое участие в работе Д.-Восточного выставочного комитета по устройству в Москве осенью 1923 г. Всероссийской сельско-хозяйственной выставки, наградившей меня 20 октября 1923 г. дипломом признательности за научное руководство и собранные этнографические коллекции (характеризующие быт народностей Восточной Сибири). В марте 1923 г. принимал участие в Историко-Революционной выставке, устроенной Истпартом Дальбюро ЦК РКП.

8 февраля торжественно праздновались 30-летие Геогр. О-ва и 80-летие моего рождения. Академия Наук вместе с приветствиями извещала о своем намерении поставить на пленуме Академии Наук вопрос о награждении меня большой золотой медалью. Центральное Русское Географическое Общество присудило мне большую золотую медаль за труды по этнографии. Забайкальский отдел Р. Г. О. избрал меня почетным председателем Общества. Высший местный орган советской власти—губисполком отметил мои труды в постановлении своего чрезвычайного заседания.

К осени 1925 г. музей обогатился разного рода коллекциями (до 6 тысяч номеров). Художественная галлерея пополнена картинами (свыше 40), керамикой и дорогими итальянскими мраморами, вывезенными мною из бывшего Бутинского дворца в г. Нерчинске. В связи с юбилеем революции 1905 г. исключительно мною, как бывшим политкаторжанином и почетным старостой Забайкальского Отдела, создан Музей Революции, торжественно открытый 20 дек. 1925 г. В настоящее время в Музее Революции имеется: портр., картин, плакатов, разного рода графических материалов, архивных документов, писем и объяснительных текстов ко всем этапам революции до 6000 номеров.

Научные работы: „Археологич. изыскания в Ю.-В. части Забайкалья летом 1892 г.", „Известия" Вост. Сиб. О. Р. Геогр. О-ва, т. XXIV, 1893 г.; „Речь, произнес. 21 янв. 1896 г. в торжеств. собр. Географ. О-ва", „Записки" Читинск. Отд. Р. Г. О., в. II, 1896 г.; „Программа для собирания сведений о реках Забайкалья", „Записки" Читинск. О. Р. Г. О., вып. II, 1897 г.; „Изюбринный промысел и разведение изюбрей в Забайк. Обл.", „Записки" Читин. О. Р. Г. О., вып. III, 1899 г.; „Историч. очерк пчеловодства в связи с судьбой его в Сибири и Забайкалье", 1899 г.; „Выставка в Забайк. Области сельских и др. произведений в г. Чите, бывшая в 1899 г." (1899 г.); „Обзор сельскохозяйств. и промышл. выставки в г. Чите, бывшей в 1899 г."; „Доклад о долине р. Витима". Доклад в Совете Читинского Р. Г. О., „Журнал" вып. IV, 1901 г.; „Развалины Кондуевского городка и его окрестности", с атласом.

Майнов, Иван Иванович *).

Родился в феврале 1861 г. в Каширском уезде Тульской губ. Отец его—местный помещик Михаил Михайлович Павлов, математик по образованию, окончив Московский университет во время севастопольской войны, тотчас же поступил в артиллерию, чтобы участвовать в отражении неприятеля, а после заключения мира вышел в отставку и принял на себя, как старший из братьев, заведывание хозяйством в имении своей матери, вдовы профессора Московского университета, шеллингианца Михаила Григорьевича Павлова. При освобождении крестьян М. М. Павлов служил в своем уезде мировым посредником, а впоследствии занял должность директора народных училищ Тульской губернии. Матерью М-ва была местная крестьянка, бывшая крепостная Павловых, не имевшая никакого образования, но отличавшаяся в молодости замечательной красотой.

В трехлетнем возрасте мальчик был усыновлен женатым на родной сестре М. М. Павлова, Марии Михайловне, помещиком Калужской губ. Иваном Васильевичем Майновым. Первоначальное воспитание ребенок получил под руководством И. В. Майнова, бывшего гейдельбергского студента, филолога и ярого классика, в родовом имении Майновых селе Бордукове, под Медынью. И. В. Майнов с пятилетнего возраста начал учить своего приемного сына грамоте по

*) Автобиография написана 24/III 1926 г. в Ленинграде.

сказкам Пушкина и по „Жизни Животных“ Брэма, а с шести лет стал обучать его латинскому и греческому языкам, читая с ним в подлиннике Гомера и Виргилия и заставляя скандировать гекзаметры. Вскоре вслед за этим последовало чтение русских былин, сербских героических песен, Нибелунгов и песни о Роланде. Изучение этого рода произведений, декламация и отчасти музыка составляли в этом воспитании главное. Арифметика и все прочее, кроме русской и греческой истории, оставались почти в пренебрежении.

В 1870 г. мальчик был помещен в Катковский лицей, а в 1873 г., с переездом семьи Майновых в Саратовскую губернию, где у них было другое имение, он был переведен в саратовскую гимназию.

В 1875 г. М. сблизился с гимназистами старших классов: С. Ширяевым, Бобоховым, Поливановым и другими, находившимися под влиянием революционной литературы и в особенности под влиянием П. Л. Лаврова и журнала „Вперед“.

В конце 1876 г. через тех же лиц он примкнул к кружку молодежи, сгруппировавшейся около бывшего студента Петровской академии Гераклитова, который привлек своих друзей к пропаганде среди рабочих. (Об этом периоде М. впоследствии сообщил некоторые факты в статье „Из жизни саратовских кружков“,—заграничное „Былое“, и в составленной им биографии П. С. Поливанова). В феврале 1877 г. в Саратове последовали многочисленные аресты и обыски, разрушившие возникавшую рабочую организацию. Гераклитов и С. Ширяев успели скрыться за границу. Бобохов, Благовещенский и некоторые другие лица (всего семь человек) были арестованы и в 1878 г. высланы административно в Архангельскую губ.; у М. по этому делу был произведен обыск, и он был отдан „под негласный надзор полиции впредь до окончания дела“, имея в то время всего 16 лет от роду. В связи с этим ему пришлось оставить гимназию; формально—„по собственному прошению“.

Летом 1878 г. М. отправился в Тульскую губернию с намерением поселиться среди крестьян и вести жизнь крестьянина,—конечно, с целью занятия пропагандой. Однако, не позже как осенью того же года у него был произведен обыск, и местная жандармерия возбудила против него дело „о преступной пропаганде среди крестьян Тульской губ.“. Дело это окончилось отдачей М-ва „под особо строгий гласный надзор полиции“. Дальнейшее пребывание в деревне под строгим полицейским надзором теряло всякий смысл и становилось почти невозможным, а потому М. решил вернуться в Саратов и заняться подготовкой к поступлению в университет, облюбовав для себя юридический фвкультет с тем, чтобы впоследствии стать адвокатом по крестьянским делам.

В Саратове, занимаясь подготовкой к экзамену, М. продолжал заниматься и революционной пропагандой как среди интеллигентной молодежи, так и среди рабочих. Этот период до некоторой степени охарактеризован в статье М-ва „Саратовский семидесятник“ („Минувшие годы“, 1908 г.) и в беллетристическом разсказе В. Дмитриевой „Доброволец“ („Вестник Европы“), где обрисован саратовский революционный кружок того времени и выведены живые лица (Майнов, Поливанов, Поморцев и нек. др.).

В конце 1879 г. в Саратов проникли первые народовольческие веяния, а летом 1880 г. несколько лиц, принадлежавших ранее к различным кружкам и не связанных один с другим, решили объединиться и основать „Центральный Кружок“, который мог бы руководить революционной деятельностью во всей губернии. Этот кружок вступил в сношения с Исполнительным Комитетом Народной Воли, а в октябре 1880 г., при посредстве В. А. Жебунева, формально вступил в состав партии (М. П. Троицкий, Е. Х. Томилова, штабс-капитан А. Н. Дудинский, Майнов, Поливанов, А. П. Ювенальев и др.).

В январе 1881 г. М. переехал в Москву, имея в виду в августе вступить в университет, а в то же время выполняя поручение товарищей по саратовскому кружку: вступить в сношения с членами Исполнительного Комитета и побудить их к образованию в составе партии Народной Воли особой организации, имеющей своей задачей освобождение революционеров из тюрем и из мест ссылки, чем хотели бы специально заняться: Майнов, Поливанов, Ювенальев и нек. другие молодые саратовцы. Однако, П. А. Теллалов, стоявший тогда во главе московской народовольческой организации, убедил М-ва вступить в только-что учреждавшуюся им в Москве „Рабочую Группу“, т.-е. кружок пропагандистов, действующих среди рабочих. Так как в Москву незадолго перед тем переселились из Саратова двое рабочих: один наборщик (Александр Масленников) и один переплетчик (Сидор Лагунов), принадлежавшие к саратовским кружкам и лично близкие с М-ым, то он при их посредстве занялся в Москве пропагандой, преимущественно среди наборщиков и переплетчиков, но частью и среди слесарей, и привлек к участию в этом деле еще нескольких студентов-саратовцев. О деятельности московской Рабочей Группы М-вым сообщены некоторые данные в статье „Народовольческая пропаганда среди московских рабочих в 1881 г.“ („Былое“, 1906 г.).

В августе 1881 г. М. должен был выехать

на некоторое время в Вологодскую губернию для получения от одного ссыльного обещанной тем Теллалову для партии крупной денежной суммы и для устройства этому ссыльному побега, а в конце года, по приглашению Халтурина, должен был выехать вместе с Халтуриным на юг для выполнения убийства ген. Стрельникова. Однако, 9 августа он был почти случайно арестован без всяких улик. Принимая во внимание обстоятельства дела и некоторые факты, выяснившиеся уже несколькими годами позже, можно догадываться, что на М-ва указал властям, как на агитатора, шпион Помер, вольный слушатель университета, не состоявший членом партии, но тершийся в кружках народовольческой молодежи.

При отсутствии осложняющих обстоятельств власти могли бы, в самом худшем случае, сослать указанного им шпионом пропагандиста административным порядком куда-нибудь не особенно далеко, но на квартире М-ва была оставлена засада; хотя М. успел при своем аресте убрать с окна условный знак безопасности входа, тем не менее через день туда явился его товарищ по Рабочей Группе, студент-техник А. В. Кирхнер, саратовец, привлекавшийся по одному делу с М-вым еще в 1877 г. При Кирхнере оказалось 300 экземпляров только-что отпечатанного нового номера „Листка Народной Воли“ и много других компрометирующих материалов. Предполагая, что ему предстоит явиться участником серьезного процесса, Кирхнер, не признавая себя членом партии, заявил, однако, о себе на допросе, что он вполне сочувствует Народной Воле и готов был бы принять участие в любом террористическом акте и от всяких дальнейших показаний отказался. Помимо всего прочего, у Кирхнера на его квартире был найден шифрованный список, который жандармы расшифровали. В список оказались занесенными 13 или 15 лиц с обозначением их фамилий, псевдонимов, примет костюма, образа жизни и адресов. Все эти лица были тотчас же арестованы и оказались шпионами, служившими в „Секретном Отделении Канцелярии Обер-Полицийместера“,—так называлось учреждение, соответствовавшее по задачам позднейшим охранным отделениям, но подчинявшееся в то время не жандармерии, а полиции, почему жандармы таких шпиков и не знали. Каким образом их адреса и приметы оказались в записях студента Кирхнера, никто из шпиков объяснить не мог, и все они были выгнаны со службы. Они и не догадывались, что список Кирхнера возник путем слежки за ними, начатой московскими народовольцами по почину Теллалова, предполагавшего создать „Революционную Полицию“, секретарем которой был Кирхнер, а членами состояли: Майнов, Станислав Михалевич, студент Орест Аппельберг и еще несколько молодых людей, по указаниям Теллалова тщательно следивших за помещением Секретного Отделения (Страстной бульвар, д. кн. Ливен; впоследствии на этом месте был выстроен огромный дом кн. Горчакова) и за теми лицами, которые это учреждение регулярно посещали.

В виду серьезности улик против Кирхнера и определенности шпионских указаний на Майнова, как на революционера, оба они были преданы военному суду по обвинению в принадлежности к Народной Воле. Совершенно случайно к ним пристегнули и третьего саратовца,—студента Виноградова, который отделался пустяками,—был приговорен к двухнедельному аресту за хранение у себя найденного у него при обыске нелегального листка.

В начале зимы 1881 г. был издан новый закон, в силу которого впредь политические процессы должны были рассматриваться военными судами при закрытых дверях. Процесс М. и Кирхнера был первым, подпавшим под действие этого нового закона, и это обстоятельство сыграло большую роль в исходе процесса; при открытых дверях немыслимо было бы ссылаться на „негласные сведения полиции“ и на их основании требовать применения к обоим подсудимым статьи 249 Ул. Нак., т.-е. смертной казни, на чем настаивал прокурор, майор Кессель.

17-го декабря, после разбирательства продолжавшегося целый день, военный суд вынес свой приговор: М. и Кирхнера—в рудники на 15 лет. Для апелляции осужденным предоставлялся суточный срок М., через посредство имевшаго с ним сношения студента Лаврова, снесся с Халтуриным и с некоторыми другими товарищами на воле, предложив им уведомить его: считают ли они допустимым для него, как для лица не выступавшего на процессе как член партии, обратиться с прошением о смягчении приговора к генерал-губернатору кн. Долгорукову, которому принадлежало право утвердить приговор суда или изменить его? Майнову было известно, что председатель суда полк. Бартенев, докладывая князю о процессе, заявил, что суд, хотя и признал М-ва членом партии, но полной уверенности в этом не имеет. Получив от Халтурина через того же Лаврова разрешение поступить по своему усмотрению, М. на следующий день, через свою тетку, Марию Михайловну Майнову, передал кн. Долгорукову прошение о „смягчении приговора, насколько князь найдет это возможным“, в силу того, что принадлежность его, Майнова, к тайному обществу на суде осталась совершенно недоказанной. Правитель канцелярии ген.-губернатора, Мостовский, через подававшую

прошение М. М. Майнову уведомил И. И. Майнова, что прошение его не может быть принято, так как в нем не выражается никакого раскаяния. М. ответил на это, что он никакой вины за собой не признает, а потому раскаиваться ему не в чем, и никакого другого прошения он подать не может. Несмотря на этот отказ, недели через полторы, как-раз к новому году, последовала конфирмация ген.-губернатора на приговор суда с заменою каторги „по молодости, легкомыслию и искреннему раскаянию“ подсудимых „лишением всех особых прав и преимуществ и ссылкою на житье в Иркутскую губернию, с заключением на месте жительства на два года и без права выезда в другие сибирские губернии в течение восьми лет“.

В ближайшем номере „Народной Воли“ о процессе появился коротенький и весьма неточный отчет. Между прочим, там было сказано, что у М. при обыске были обнаружены „выписки из разных революционных изданий“, на самом же деле ничего такого у М. не имелось, а были найдены только тетради с конспектами чисто научных и вполне легальных трудов по социологии и антропологии.

В конце января 1882 г. М. был переведен в московскую пересыльную тюрьму, а в июле того же года проследовал в Сибирь во второй политической партии этого года (42 человека).

Осенью того же года начальником Кутуликской конвойной команды против М. было возбуждено обвинение в сопротивлении его распоряжениям и в проломлении тюремной двери. В старых судебных учреждениях Сибири дело тянулось путем канцелярской переписки года два и закончилось приговором к тюремному заключению на 4 месяца; однако, в силу коронационного манифеста 1883 г., от фактического отбывания этой кары М. был освобожден.

В Сибири М. и Кирхнер были первоначально водворены в селе Тунка, у верховий реки Иркут, куда прибыли в октябре 1882 г. Немедленно по прибытии на место ссылки М. занялся подготовкой побега, но все создававшиеся им для этого планы по разным причинам приходилось изменять или после неудачных подготовок в одном направлении приниматься за другие подготовки, считаясь при этом с отсутствием порядочного паспорта и денег. Лишь в апреле 1885 г. оказалось возможным сделать активную попытку побега вместе с екатеринбуржцем Михаилом Антоновичем Колосовым. В ста верстах от Тунки, в селе Култук на берегу Байкала, местные крестьяне узнали Колосова в лицо, и оба беглеца были задержаны и препровождены в иркутскую тюрьму. Там они просидели полтора месяца, а затем постановлением Иркутского Окружного Суда за „самовольную отлучку“ были приговорены еще на полтора месяца тюрьмы.

Через некоторое время, по доносу тункинского почтового смотрителя, М., вместе с административно сосланным Владимиром Серпинским, был по распоряжению губернатора выслан в Верхоленск.

Верхоленск лежит в 286 верстах от Иркутска по линии Якутского тракта; через этот город провозили ссыльных в Якутскую область, и местные ссыльные постоянно делали попытки видеться с проезжими и снабжать их теплым платьем и деньгами. Власти всячески этому препятствовали. На этой почве у ссыльных тут нередко возникали резкие столкновения с полицией. Помимо того, верхоленские ссыльные отказались принимать у себя на квартирах приставленного к ним для надзора полицейского, и в результате всего этого местная колония получила в глазах иркутских властей репутацию особенно буйной, а Майнов прослыл „неисправимым“ и в декабре 1887 г., по представлению иркутского жандармского полковника фон-Плотто, распоряжением ген.-губ. Игнатьева, М. был внезапно арестован и выслан в Якутскую область с наказом поселить его „не ближе ста верст от города Якутска“.

В Якутске М. встретился со своим старым знакомым по Саратову, слесарем Федоровым, который в продолжение нескольких лет подготовлял побег и в конце января 88 г. окончательно решил бежать вместе с И. Кашинцевым. Федоров соглашался прихватить с собою и М. если тот успеет вернуться из улуса в Якутск не позже 26-го января. Назначенный первоначально в очень отдаленную часть Восточно-Кангаласского улуса, М. тотчас же по прибытии на место самовольно предпринял путешествие в город, но в силу множества разного рода препятствий мог прибыть в Якутск лишь числа 28—29-го, через день или два после отъезда Федорова и Кашинцева.

Перебравшись после этого в Мегинский улус, М. стал подготовлять самостоятельный побег, остановился на плане ухода рекою Леной вместе с лоцманами, возвращающимися из Якутска после летнего сплава судов. Когда все было готово и даже был назначен день отбытия, в Якутск прибыл в новой партии ссыльных старый знакомый М-ва по Москве, Станислав Михалевич и убедил М-ва отложить свой побег, чтобы не повредить сборам его, Михалевича, и его товарищей: Терешенкова и Паули, которые также хотят бежать. Михалевич предлагал М-ву соединиться с ними и отправиться всем на верховых лошадях глухим скотопрогонным трактом, через тайгу, на ленские золотые промыслы, где беглецы могли бы замешаться в толпу рабочих и

впоследствии уйти в Россию в артели возвращающихся по домам приискателей, — как сделали раньше Чикоидзе и Клименко, бежавшие из Киренска. Когда соглашение состоялось и сборы к таежному пути начались, Майнову неожиданно представилась очень легкая возможность бежать с самым слабым риском: препровождавший последнюю политическую партию из Иркутска в Якутск поручик Иркутского губернского батальона Федоров познакомился в пути с хорошей знакомой М-ва С. Н. Хлобощиной, ехавшей в Якутск добровольно к своему жениху, и оказался человеком, сочувствующим в душе народовольцам. Хлобощина познакомила Федорова с Майновым, и Федоров согласился на обратный путь взять с собою М-ва своим попутчиком. (От попутчиков тех лиц, которые следовали по казенным подорожным, предъявления документов на почтовых станциях не требовалось). Когда М. сообщил об открывшейся перед ним возможности товарищам, Михалевич убедил его уступить этот способ побега, как наиболее легкий, Паули, человеку более слабого здоровья, так как тому продолжительные верховые скитания по тайге могли бы оказаться не под силу. М. согласился, и Паули, в качестве спутника офицера Федорова, благополучно выбрался из Якутской области *). Трое остальных беглецов с наемным татарином-проводником вышли из Якутска 9-го августа и целую неделю блуждали по заленской тайге, не находя скотопрогонного тракта, т. к. татарин, как оказалось, этого пути не знал. Вынужденные изменить свой предполагаемый маршрут, беглецы решили перебраться на западный берег Лены, для чего им пришлось круто повернуть на запад и, выбравшись из тайги к берегу Лены, нанимать у якутов лодки для переправы. Якуты, лишь незадолго перед тем извещенные полицией о побеге политических ссыльных Федорова и Кашинцева, сначала приняли вышедших к ним из глухой тайги верховых путников за шайку разбойников - черкесов, а потом заподозрили в них именно беглых политиков и дали знать об их появлении властям. На десятый день путешествия эти загадочные всадники были задержаны и отправлены под конвоем в Якутск.

Департамент полиции распорядился выслать всех троих в один из отдаленнейших округов края, и в феврале 89 г. М. с товарищами был выслан в город Вилюйск. Вилюйские ссыльные, как и ссыльные других местностей Якутской области, по случаю наступавшего столетия французской револ. предполагали отправить президенту франц. респуб. приветственный адрес, и действительно составили такой адрес и отправили его в Якутск для дальнейшей пересылки, но адрес был властями перехвачен и препровожден в департамент полиции. По высочайшему повелению, состоявшемуся уже в 91 г., все подписавшие этот адрес лица были подвергнуты тюремному заключению, кажется, на один месяц, каковое и отбывалось ими в Якутском остроге. Независимо от департамента полиции, местный Окружный Суд, на основании уст. о ссыльных, подверг троих участников побега тюремному заключению на полтора месяца, фактически отбывавшемуся ими уже в 1892 г.

В августе 89 г., в виду восстановления в Вилюйске каторжной тюрьмы, тамошние ссыльные были переведены на жительство в Якутский округ и поселены на восточном берегу Лены, по Охотскому тракту, в 160 верстах от Якутска, в местности Чурапча и в окрестных наслегах Ботурусского улуса. В этой местности М. оставался до конца 1893 г., когда ему удалось перебраться в город Якутск, где он занял бесплатную должность консерватора местного музея.

В декабре 89 г. истекал восьмилетний срок, установленный судебным приговором для безвыездного заключения Майнова и Кирхнера в Иркутской губернии; по истечении этого срока им обоим по уставу о ссыльных следовало предоставить право свободного выбора себе местожительства и разъездов по всей Сибири с припиской в крестьяне какой-либо сибирской волости. Но сибирские власти и департамент в продолжение нескольких лет произвольно удерживали М. безвыездно в Ботурусском улусе Якутской области, мотивируя это „неисправимостью“ М-ва и неоднократными проявлениями с его стороны „продолжающейся политической неблагонадежности“. На том же основании он был за эти годы дважды исключен от применения к нему манифестов, издававшихся правительством по поводу посещения Сибири наследником престола и еще по какому - то поводу. Только в начале 1894 г., после жалобы, направленной М-вым в 1-й департамент сената, М. получил разрешение выехать в Балаганский округ Иркутской губернии, но этим разрешением не воспользовался, т. к. в конце 1893 г. Восточно-Сибирский Отдел Географического Общества приступил к организации в Якутской области на средства, пожертвованные И. М. Сибиряковым, этнографической экспедиции с участием политических ссыльных, между прочим, и с участием Майнова, приглашенного к сотрудничеству в этом деле Д. А. Клеменцем. Работая, как член этой экспедиции, а на-ряду с этим и как сотрудник местного Статистического Комитета, М. доб-

*) Паули, после первого побега, был пойман и возвращен в Сибирь; бежал вторично и после поездки в Париж сделался провокатором.

В. Фигнер.

ровольно оставался в Якутской области еще два с половиною года и выехал в Иркутск лишь в июле 1896 г.

В Иркутске М. прожил до конца 1899 г., когда выехал на короткое время сначала в Томск, а оттуда в Москву, т. к. по коронационному манифесту 1883 г. для лиц, сосланных по судебным приговорам „на житье в сибирские губернии", устанавливался 15-летний срок их пребывания в Сибири, а для М-ва, по толкованию властей, этот срок истекал в декабре 1897 г., и он тогда же, приписавшись в мещане какого-либо сибирского города, мог бы вернуться в Россию, однако, без восстановления в правах. (Именно эта неполноправность препятствовала ему впоследствии выступить кандидатом в Государственную Думу). В Иркутске М. служил по городскому управлению и последовательно занимал должности делопроизводителя, секретаря Городской Управы и секретаря Думы. В то же время он состоял членом Распорядительного Комит. Вост. Сиб. Отд. Геогр. О-ва, в жизни которого принимал деятельное участие, а иногда выступал с публичными докладами, а также состоял членом редакции издававшейся И. И. Поповым газ. „Восточное Обозрение". В Москву М. выехал по приглашению Северного Страхового Общества, предложившего ему должность помощника инспектора в городе Томске.

Вернувшись в Томск в начале 1900 г., М. два года провел преимущественно в разъездах по Сибири по делам Северного Общества, а в свободное время здесь, как и в Иркутске, занимался обработкой собранных им в Якутской области антропологических и статистических материалов, частью опубликованных им за это время в изданиях Вост.-Сиб. Отд. Геогр. Об-ва и в изданиях московского Об-ва Люб. Естествозн., Антр. и Этногр. За эти труды М. получил от О-ва Л. Е. А. и Э. расцветовскую премию и золотую медаль.

Летом 1902 г. М. получил назначение на должность инспектора Северного О-ва в Иркутске и вторично переехал в этот город, где и оставался до марта 1904 г., часто совершая поездки по разным местностям Восточной Сибири.

К этому времени замиравшее в конце восьмидесятых годов народничество успело ожить и начало слагаться в России в партию социалистов-революционеров, к которой примкнули многие из старых товарищей М-ва, прежних землевольцев и народовольцев. В Иркутске также образовалась группа лиц этого направления (Тютчев, Сухомлин, Эпов, Щеголев, Майнов, геолог В. А. Вознесенский, Фриденсон, геолог В. А. Львов, А. А. Криль и др.), и здесь возникла мысль об основании „Сибирского Союза с.-р.", в учреждении которого М. принял деятельное участие, т.-к. служебные разъезды по делам Северного О-ва очень облегчали для него возможность пропаганды и установления связей в других городах. В продолжение 1902 и 1903 г. входившие в состав Союза группы успели возникнуть во многих городах и пунктах скопления ссыльных в Сибири, а затем в состав Союза стало вливаться и значительное число местных жителей. К началу 1904 г. Союз располагал тремя хорошо оборудованными тайными типографиями, издавал в Томске нелегальную газету „Отголоски Борьбы" (редакция: С. П. Швецов, М. Е. Овсянкин, А. Н. Шипицын, М. А. Тимофеев и др.). В Иркутске Союзом печатались прокламации и довольно объемистые книжки, распространявшиеся как по Сибири, так и по Европейской России („История одного преступления",—автор Н. Ю. Татаров. „Кровавые дни",—автор А. А. Криль; и др). За Байкалом выпускались прокламации и листовки (А. Ю. Фейт, И. Ю. Старынкевич и др.).

В марте 1904 г. М. получил перевод по службе в Москву, инспектором при правлении Северного О-ва. Проводя время постоянных служебных разъездах, он пользовался этим для революционных целей.

В конце 1904 г. М. вступил в состав центрального комит. партии с.-р. (из лиц, вернувшихся из Сибири, в комитет в этот период вошли: Тютчев, Прибылев, Фрейфельд, М. и Якимова). М. принял на себя в Комитете организационную работу в Центральной России, для чего образовал Областной Комитет, в который первоначально вошли: А. А. Ховрин, А. Д. Высоцкий (как представитель московского городского комитета), В. П. Попова и друг. лица. Летом 1905 г., ознакомившись с письмом, заключавшим в себе разоблачение Азефа и Татарова (письмом Меньщикова), М. в совещании с Прибылевым, А. И. Потаповым и Н. И. Ракитниковым высказался за передачу этого дела для расследования заграничным членам Ц. К. и за временное устранение от всех партийных дел обоих обвиняемых, но остальные члены Ц. К., постановив передать дело для расследования за границу с устранением Татарова, на устранение Азефа не соглашались, вполне уверенные в ложности оговора, так как Азеф, организатор убийства Плеве и вел. кн. Сергея, знал всех членов Центр. Ком. и имел полную возможность предать их всех зараз или поодиночке и, однако, все они остаются на свободе,—а это казалось тогда совершенно невероятным, еслибы предположить, что правительство имеет в самом Ц. К. своего агента. В происходившей в октябре 1905 г. в Москве тайной партийной конференции Азеф участвовал,

как безусловно оправданный в результате заграничного расследования, тогда как Татаров к этому времени уже был признан виновным. *) В последних числах декабря 1905 г. и в первых числах января 1906 г. М. принимал участие в первом партийном съезде в Финлянд. (под именем Волкова, в проток. съезда--Медведева), но в ближайшие месяцы 1906 г. решил, не выходя из партии и оставаясь ее членом, отдалиться от деловых сношений с центр. ком. и впредь никаких партийных должностей на себя не принимать.

В последующую пору вплоть до начала 1917 г. М. участвовал во многих партийных действиях частным образом, не вступая членом ни в какое из партийных учреждений, а в продолжение 1912—1916 годов принимал живое участие в деятельности существовавшего тогда в Петербурге и в некоторых других городах тайного союза, присвоившего себе наименование „Объединение Общественных Организаций", или короче „О-куб", куда входили членами многие политические деятели всех противоправительственных направлений и различных партий, начиная от левых кадетов и кончая тогдашними большевиками.

В момент падения самодержавия М. находился в Воронеже, откуда вернулся в Петроград в начале апреля 1917 г. К этому времени центр. ком. с.-р., сложившийся за границей, всемерно поддерживал идеи интернационализма в согласии с резолюциями Циммервальда. Многие из старых с.-р. считали необходим. бороться с этим направлением; оппозиция объединилась в особую организацию, приняла название „Петроградская группа с.-р. оборонцев". Для пропаганды своих взглядов группа решила издавать газету „Воля Народа" (редакция: Аргунов, Миролюбов, П. Сорокин, Сталинский, А. Гуковский и В. И. Лебедев), а позже стала издавать и вечернюю газету „Народ" (редакция: А. С. Сигов, Э. А. Серебряков и др.). Предполагался и переход в распоряжение группы ежемесячного журнала „Северные Записки", издатель которого, Саккер, состоял членом группы. На-ряду с этим группа основала книгоиздательство „Воля Народа", успевшее в ближайшие месяцы выпустить более десятка брошюр, авторами которых были: Брешковская, Панкратов, Л. Буланов и Сигов. Члены группы посещали общегражданские и солдатские митинги. Для объединения своих приверженцев группа решила образовать в составе 15 человек „Организационный Комитет", почетной председательницей которого состояла Е. К. Брешковская, председателем И. И. Майнов и товарищами председателя Н. С. Тютчев и другое лицо. При выборах в Учредительное Собрание Ц. К. партии наметил партийными кандидатами в числе прочих и таких лиц, которые были для группы безусловно неприемлемы. В виду этого группа опубликовала свой собственный список кандидатов от города Петрограда, и первыми в этом списке были поставлены имена шлиссельбуржца И. Д. Лукашевича (члена группы) и И. И. Майнова. На выборах список группы получил около 5000 голосов. Ц. К. партии на ближайшем же партийном съезде предложил съезду потребовать от Организационного Комитета группы роспуска группы и самоликвидации, в противном же случае предложил считать всех членов Организационного Комитета исключенными из партии. Съезд утвердил это предложение, а так как роспуска группы после этого не последовало, то с этого времени Майнова следует считать исключенным из партии.

Группа, совершенно игнорируя состоявшееся постановление съезда, продолжала некоторое время свою деятельность, но к лету 1918 г. прекратила свое существование.

С 1911 г., переехав на жительство из Москвы в Петроград, М. сблизился с Сибирской группой депутатов Госуд. Думы, состоявшей из представителей всех левых партий, и принимал участие в совещаниях группы, на которых, совместно с приглашаемыми для этого статистиками и этнографами, группой обсуждались вносившиеся в Государ. Думу и касающиеся Сибири законопроекты.

Сблизился он также в Петрограде и с депутатами Трудовой группы, по приглашению которых в янв. 1914 г. принимал участие в обсуждении народниками различных оттенков аграрного вопроса.

После переезда в Петроград М. работал при мин. путей сообщения как статистик по обследованию экономических районов проектируемых железнодорожных линий и совершил ряд поездок, преимущественно по разным местностям Сибири и Киргизского края. Результатами исследований такого рода являлись специальные труды, печатавшиеся в изданиях Министерства. За эти труды М. была присуждена малая золотая медаль от Русского Географического О-ва. В 1912 г. Географич. О-вом была издана книга М. о русских крестьянах в Якутской области, удостоенная от Томского университета сибиряковской премии. В начале 1918 г. М. сотрудничал в органе петроградских сибиряков, газете „Вольная Сибирь", где он вел сибирское обозрение.

После прекращения этой газеты весною 1918 г. М. работал некоторое время в качестве заведующего страховым отделом в Северном Союзе Кооперативов (Оптсоюзе), но с реорганизацией его устранился от всякой общественной деятельности и за-

*) и затем убит.

В. Фигнер.

нялся всецело обработкой антропологических, этнографических и статистических материалов, собранных ранее в Якутской области им самим и некоторыми из его товарищей по ссылке.

Михайлов, Адриан Федорович *).

Родился я 5 августа (ст. ст.) 1853 г. в ст. Полтавской Куб. обл. Тогда, насколько помнится, эта часть области, заселенная потомками переселенных сюда Екатериной II-й запорожцев, называлась „земля Черноморского войска". Мать умерла, когда мне было 4 года. Я помню только картину ее смерти. Следов ее влияния на меня память мне не сохранила. Не то—отец. Его потерял тоже рано. Мне было 10 лет. Но эти пять—шесть лет, между смертью матери и смертью отца, свежи в моей памяти. Когда впоследствии, довольно рано, я прочел некрасовского „Филантропа", я подумал: „А ведь это он, мой отец; и „в провиантской комиссии" он служил и, служа у этого источника всяких благ, покупал свою провизию". Была и эта полоса в жизни отца. „Правдолюб" былых времен, „обличитель", он везде был не ко двору, и эти пять—шесть лет жизни с отцом являлись кочеванием с места на место. Первой остановкой после стан. Полтавской был Ставрополь-Кавказский. В мою память эта остановка врезала такую картину: я—восьмилетний мальчуган—на площади в толпе. По площади проходит какая-то воинская часть, но не с музыкой и залихватскими песнями, на что так любили смотреть обыватели, нет: солдаты шли молчаливые, сосредоточенные, хмурые. „Куда идут солдаты, отчего они такие?", обратился я к стоящему около „дяде" в чуйке. „В Масловом Куте крестьяне бунтуют. Солдаты идут усмирять. Сам губернатор поехал", недовольно буркнул дядя. Придя домой, я обратился с расспросами к отцу. Он сидел и читал. Оторвавшись от чтения, он долго, внимательно и хмуро рассматривал меня. „Тебе еще рано: вырастешь—узнаешь", наконец, сказал он. „Вырастешь, Саша, узнаешь", впоследствии прочел я и вспомнил отца. Загадка так и осталась для меня загадкой, но разгадка пришла сравнительно скоро.

В Ставрополе отец продержался недолго. Из-за раскрытия какой-то „неправды" он—„беспокойный человек", был переведен для „пользы службы" в Георгиевск—гиблое захолустное место, где свирепствовала малярия. Часть местного кладбища называлась—кладбище коллежских ассесоров: в Георгиевск переводили неугодных чиновников с производством в коллежские ассесоры Здесь они и погибали, недолго пробыв в этом, дававшем тогда дворянство, чине. В Георгиевске умер отец.

Я в это время заканчивал Георгиевское уездное училище. Через несколько дней после смерти отца училище посетил директор Ставропольской гимназии, объезжавший подведомственные ему учреждения (директора гимназий в то время исполняли обязанности и директоров народных училищ). Смотритель училища вызывал для начальства учеников, конечно, на показ. Был вызван и я. Директор, тип благожелательного самодура тогдашних времен, остановил почему-то на мне внимание и по окончании урока подошел. „Ты кончаешь училище, хочешь в гимназию?"—спросил он. Я, конечно, „хотел".—„Он только что потерял отца, средств никаких", вставил смотритель. „Ну, это мы устроим", сказал директор, и, обращаясь уже ко мне, добавил: „Поезжай в Ставрополь и обратись прямо ко мне".

И вот я, сопутствуемый старшей сестрой, единственным оставшимся около меня близким человеком, опять в Ставрополе. Являемся прямо на квартиру директора гимназии. Он дает сестре какую-то бумажку. И я водворяюсь в пансион при гимназии.

Пансион при Ставропольской гимназии оказался очень своеобразным учреждением. Гимназия эта была в то время единственной на всем северном Кавказе. Сюда свозили жаждущих ученья со всего огромного края. И вот для них-то и был организован пансион при гимназии. В мое время в нем было свыше 300 пансионеров. Из них больше половины были горцы. Помню, во втором классе я застал оставшегося на второй год женатого горца. При таком составе пансиона начальству не приходилось уже думать о дисциплине. Каникулы перехода из первого во второй класс я провел на Черноморском побережьи Кавказа. Шестидесятилетняя война—„покорения Кавказа"—только что закончилась. „Непокорные" горцы, т.-е. не желавшие принять „подданство", были выселены в Турцию именно через это Черноморское побережье. Часть их пыталась вернуться на свои пепелища. Происходили стычки с ними. И побережье оставалось на военном положении. В крепостцах, укреплениях, станицах стояли воинские части. Командный состав вел ужасную жизнь: беспробудно пили, играли в карты. Немногие, не желавшие опускаться, спасались в чтении. К моему времени у них составлялись и накоплялись библиотечки. Именно у одного из обладателей такой библиотечки я и провел первые гимназические каникулы. Войдя в комнату, как одержимый страстью читательства, прежде всего ощупал глазами комнату по части книг. В моей памяти не-

*) Автобиография написана в мае 1926 г. в г. Ростове-на-Дону.

сохранилось указания времени, когда я научился читать. В ней хранятся мелочи моей жизни с 4-летнего возраста, но я помню себя уже читающим, очевидно, я научился читать раньше. Думаю, что этим я обязан отцу. Его я помню всегда за книгой. И вот я с удовлетворением заметил довольно большую этажерку с книгами и сразу же прирос. Обладатель этажерки попытался „руководить“ моим чтением и отобрал детские книги. Эта литература была очень скудная, главным образом издания гремевшего в то время М. О. Вольфа. Меня это не удовлетворило, и я уже сам перебрал остальные книги. Мой „руководитель“, наконец, не выдержал и сказал мне: „Ты не читаешь, а роешься. Чего ты ищешь?“ Как мог, я рассказал ему, что ищу разгадки той загадки, которую задал мне Ставрополь в мое первое пребывание в нем. „Руководитель“ долго и внимательно рассматривал меня и сказал: „Ну, хорошо, пойдем, поищем“. Пришли в чулан, где у стены оказались полки тоже с книгами. „Поройся,—может найдешь что интересное“, сказал он и ушел. Я стал „рыться“. Мое внимание остановила книга, на обложке которой в барельефе пять портретов. Название книги „Полярная звезда“. Внизу „Русская вольная типография“. К этой книге я и присосался. Читал с увлечением, но спотыкался. Нужен был, если не руководитель, то путеводитель. На мое счастье нашелся и он. К сыну в гости приехал на лето старик-отец, лет восьмидесяти. Давно в отставке, он молодые годы службы проходил здесь в разных местах побережья. Встречался с высланными „на Кавказ“ декабристами, как с теми, которые были сосланы „с разжалованием в рядовые“, так и с подлинными рядовыми. Много и охотно рассказывал он о своих встречах и переживаниях. Он же дал мне и разгадку Маслового Кута. Оказалось, это был один из эпизодов, когда крестьянам вместо долгожданной и страстножеланной „воли“ было объявлено „положение об улучшении быта“. После долгих и многодневных бесед, мой путеводитель дал мне на „прочтение“ пожелтевшую, старательно каллиграфически написанную тетрадку. Это было переписанное самим обладателем ее письмо Белинского к Гоголю. Боясь за ее сохранность старик всегда хранил ее при себе.

Быстро промелькнули каникулы, и я вернулся в читательскую пустыню пансиона. Но и тут счастье не покидало меня. Я сдружился с таким же страстным „читателем“. Это был... сын начальника жандармского управления, Сергей Голоушев, впоследствии судившийся по процессу „193-х“. Отец его, по рассказам, не был жандармом по призванию, а отбывал службу. Повидимому, в жизни сына он не играл никакой роли. Мальчик рос исключительно под влиянием матери. Это была, как она себя называла, „социалистка от евангелия“. Вот этот-то Сережа Голоушев знал, где можно „почитать“. В одно из воскресений он повел меня в общественную библиотеку, где у него была знакомая библиотекарша. После каких-то таинственных для меня перешептываний, мы с Сережей забрались на чердак, заваленный книгами. Это были книги, „изъятые из общего пользования“. И здесь на чердаке, у слухового окна, мы глотали книги по его выбору,— он был уже свой человек в этом уголке и в груде сваленных книг легко находил, что было нужно.

Начал я с „Что делать?“. Все праздники этого учебного года просидел над „Современником“ и к концу года уже перечитал Чернышевского и Добролюбова. К сожалению, в моем распоряжении были только праздники,—как пансионер, я не мог отлучаться в учебные дни; Сережа же был приходящим и мог свободно располагать и учебными днями.

Следующие каникулы я провел опять на Черноморском побережьи. Мои знакомства расширились. В мои руки попадали все новые для меня рукописи: „Ода временщику“ Пушкина; заботливо переплетенная и старательно переписанная тетрадь с заголовком „Горе от ума“. К этому заголовку я сначала отнесся пренебрежительно, заявив: „Это я уже читал печатным в нашей гимназической библиотеке“. „Это совсем не то, что ты читал, сказал обладатель тетрадки, там у вас подстриженная цензурой, а здесь полная“. Прочел; оказалось, действительно, „не то“. Лето закончилось литографированной тетрадью „Историческое развитие революционных идей в России. А. И. Герцен.“

Вернувшись в гимназию я уже не нашел Сережи Голоушева; его отец был переведен на ту же должность в Оренбург. Отсюда и был извлечен Сергей Голоушев и после четырехлетнего сиденья предстал перед особым присутствием сената, как глава Оренбургского кружка революционеров.

Впоследствии, по выходе с каторги на поселение, я часто встречался со следами глубокого духовного влияния декабристов. Невольно вспомнил Черноморское побережье и поразился, какую большую работу проделало русское самодержавие в деле революционизирования окраин, ссылая туда своих врагов. Коснулась эта работа и Ставрополя. Появились высланные. Первым из них на моей памяти был Герман Лопатин. Он вел большие знакомства, имел большое влияние. По распоряжению из Питера был здесь арестован. Содержался изолированно на военной гауптвахте и отсюда совершил нашумевший побег. Затем в Ставрополе по-

явилась сразу целая группа высланных: среди них брат Германа Лопатина, Всеволод, судившийся потом по процессу „193-х“.

Для гимназистов это был богатый источник революционного просвещения. Помогало этой работе, само того не желая, и гимназическое начальство, помогало разными путями. В один из учебных дней во всех классах гимназии, начиная с пятого, очередной третий урок был заменен лекциями соответствующих учителей о „пагубной работе революционеров“. Оказалось, что своеобразные уроки-лекции были проделаны по распоряжению из Питера. Как раз после этого произошла в гимназии смена начальства. Старик директор, тот самый, благодаря которому я попал в гимназию, был уволен, как „распустивший гимназию“. Его место занял присланный из центра молодой человек (35 лет), Марков, брат в свое время известного Евгения Маркова, автора „Черноземных полей“. Новый директор избрал и новый путь „отвращения учащихся от пагубного влияния революционеров“. Он прежде всего организовал при гимназии библиотеку-читальню. Стены ее украсил портретами общественных деятелей. Здесь были, между прочим, и Белинский и Добролюбов. Произведения последнего в библиотеку допущены не были. Их нам пришлось добывать на стороне. И, наконец, на одном из столов появился розовый „Вестник Европы“. В февральской книжке (это был 1872-й год) я прочел статью И. К-на (Кауфмана) о первом томе „Капитала“ К. Маркса. Стал искать самый „Капитал“, но безуспешно,— повидимому, его еще не было. Но первый и единственный на русском языке том Лассаля мы нашли и зачитывались им. На-ряду с библиотекой и в связи с ней директор организовал „научные беседы“. К нему на квартиру приглашались ученики 7 и 6 класса (последние по выбору), и здесь кто-нибудь из учителей делал доклад (на заданную директором тему), и затем доклад этот обсуждался. Первый доклад был о Ломоносове, затем шел ряд докладов по истории словесности русской и всеобщей. Последним был доклад о великой французской революции с восхвалением жирондистов.

Заканчивался учебный год. Подходили экзамены. Для нас, семиклассников,—это последние экзамены. За ними вырисовывались, манили столицы, высшие учебные заведения, студенчество, широкие горизонты. Но из центра нас окатили холодной водой. Был получен знаменитый устав 1872 г. (творцы его Катков и Леонтьев). Устав было предписано ввести немедленно. Уставом вводился 8-й класс. На последнем уроке 7-го класса появился директор, огласил основные положения устава и заявил: „Инструкция к уставу не возбраняет желающим держать экзамены, но, знайте, мы не пропустим ни одного“. Желающих попытать счастья не оказалось, и мы разошлись с гнетущей мыслью, что „в стенах неволи“ проведем еще год. Странным оказался с учебной стороны этот год. На вопрос: „Что же мы будем делать в 8-м классе“, нам ответили: это будет год „повторения пройденого“. По существу, это был год „неделания“. И мы постарались использовать его для чтения внегимназической литературы и усиленных сношений с внешним миром.

Наконец, наступили и выпускные экзамены, экзамены на аттестат зрелости с их знаменитыми письменными работами, обысками учащихся перед впуском в экзаменационный зал, запечатанными в конверт темами,заранее купленными выпускниками.

Во время экзаменов учебный округ объезжал попечитель Кавказск. учебн. окр.,— ведь это был первый выпуск „зрелых“. Попечителем был один из немногих оставшихся в живых „людей сороковых годов“, член кружка Станкевича, Январий Михайлович Неверов. Имя его было уже нам известно из литературы о деятелях 40-х годов. Нас собрали в актовом зале, и Неверов сказал нам напутственную речь, закончив ее так: „Вы оканчиваете гимназию; поедете в университет. После него выйдете на широкую работу жизни. И вот тут, на этой работе, вы должны, вы обязаны помнить, что всем вашим образованием, всеми вашими знаниями вы обязаны никому иному, как русскому крестьянину: он своим тяжелым неустанным трудом дал вам возможность получить ваше образование и ваши знания. И ему вы обязаны посвятить ваши силы, ваши знания и тем заплатить ваш долг ему“. Эта заключительная часть речи так врезалась в память, что почти дословно воспроизвожу ее. Мы „запомнили“.

А через два дня нам была сказана и другая речь. Проездом через Ставрополь в Питер заехал в гимназию наместник Кавказа, брат Александра II—Михаил. Опять тот же актовый зал, то же полное собрание педагогического персонала и опять напутственная речь: „Вот вы оканчиваете гимназию. Поедете в университет. Там вас будут соблазнять служением мужику, т.-е., попросту говоря, бунтовать его. Так запомните твердо: если соблазнитесь, пощады не будет“. „Запомнили“ и это.

Закончены экзамены; получены аттестаты зрелости, и мы укатили в столицы,—я с группой товарищей в Московский университет.

Новый мир. Новые знакомства. Новые товарищи со всех концов России. Шумные аудитории. Перед лекциями, куда забира-

„Красная газета“, веч. вып. 19 декабря 1924 г., № 290.

Вышедшие первые два выпуска 40-го тома знаменитого словаря „Граната“ не содержат таких „гвоздевых“ статей, как вышедший в октябре 39-й том („Скотоводство“—проф. Богданова и проф. Придорогина, „Система вооруженного мира“ и „Смутное время“—М. Н. Покровского). Все же и в этих выпусках имеется ряд прекрасно выполненных и выдержанных в обычном для Словаря строго-научном и марксистском духе работ... Вообще, все то, что может послужить хотя бы маленьким кирпичиком в величественном здании новой России, пользуется исключительным вниманием редакторов Словаря... К этому нужно еще добавить, что Словарь, за редкими исключениями (напр., в статье „Сода“), пользуется самыми свежими источниками и материалами... Этот Словарь, безусловно, нужный и могущий принести громадную пользу и передовому крестьянину, и рабочему, и интеллигенту, могущий сослужить большую службу учащимся старших классов школ II ступени, и рабфаковцу, и студенту, выходит всего в количестве 2.550 экземпляров. Конечно, ни рабфаковец, ни студент, ни рабочий, ни крестьянин, а подчас и интеллигент не в состоянии платить за двойной выпуск (не исчерпывающий даже Co) 2 рубля. Но читать Словарь и одновременно пользоваться им, как справочником, они должны. Поэтому,—не должно быть ни одной библиотеки, ни одного клуба, ни одной избы-читальни, которые не являлись бы подписчиками на словарь „Граната“.

„Книгоноша“, орган ЦБ Совпартиздат. при Отд. Печ. ЦК РКП, 17/III—1925 г., № 9.

„... На коротком расстоянии вышли один за другим—двойной выпуск XL т. и первый выпуск XLI тома. Как в том, так и в другом выпуске помещены обстоятельные, умело и толково составленные статьи... Из статей, разбираемых нами выпусков, отметим статью об А. К. Соловьеве, известном революционере 70-х гг., совершившем покушение на Александра II, написанную Верой Фигнер, и удачную характеристику историка С. М. Соловьева, данную Н. А. Рожковым... Удачны статьи проф. Солнцева о социальном распределении и социальных классах, снабженные обильными библиографическими данными, и статья В. Я. Яроцкого о социальном страховании и социальном обеспечении. Использован соответствующий материал в статьях проф. Молькова о социальной гигиене и проф. Мензбира о социальной жизни животных. В конце первого выпуска XLI тома помещено начало статьи К. М. Тахтарева о социологии.

Особую ценность имеет приложение к 1—2 выпуску XL тома, представляющее ряд таблиц и диаграмм, посвященных современному состоянию важнейших государств. На 88 страницах убористой печати приведены ценнейшие материалы по статистике, экономике, рабочему движению, государств. устройству и т. д. как СССР, так и главнейших государств мира. Для справок это приложение является прямо незаменимым пособием. Главнейшие данные по послевоенной Европе, Америке и СССР сведены в ясные и отчетливые таблицы и диаграммы, которыми весьма удобно пользоваться для различного рода работ. Такого рода сводка куда выше бесконечных литературных трактатов, где цифровые и фактические данные надо вылавливать и выуживать. Отметим, напр., такие красноречивые документы, как ориентировочную диаграмму о нашем землевладении в 1917 г. и землепользовании в 1922 г., или карту, характеризующую воцарившийся после войны валютный хаос. В общем все это приложение составлено чрезвычайно удачно; определенно дает себя чувствовать проделанная большая работа. Издана книжка вполне удовлетворительно, шрифты, даже самые мелкие, отчетливы...“

„Красная печать“, орган Отдела Печати ЦК РКП 25/IV—1925 г., № 11.

„... Словарь нашел значительное распространение и среди сельских учителей, и среди работников транспорта, и на фабриках и заводах. Незадолго до войны явилась смелая мысль: развернуть об'яснения в глубокий научный анализ в об'еме университетских курсов, но при этом построить Словарь так, чтобы его статьи могли быть усвоены и очень слабо подготовленным читателем. Образцом стояла Британская Энциклопедия, выпущ 2-м изд. Кембриджским универс., самая обширная в мире, со статьями-монографиями высокой научной ценности, несмотря на строго-научный, часто специальный характер статей, получившая колоссальное распространение, широко проникшая и в рабочую среду и действительно ставшая „могущественнейшим средством распространения университетского знания в широких слоях населения“, как к этому стремился Кембриджский университет. Мысль встретила большое сочувствие. Во главе редакции нового издания Словаря встал К. А. Тимирязев вместе с другими видными учеными. В Словаре принял участие и В. И. Ленин, давший его читателям основную статью по обществознанию—„Маркс и марксизм“. Писал и проф. Мечников. По некоторым специальным вопросам писали выдающиеся иностранные ученые и деятели. Для каждого крупного вопроса тщательно подбирался автор—наиболее самостоятельный, наиболее глубокий исследователь и мыслитель...

...45-й том дает обзор и анализ „Четырехлетней войны и ее эпохи“, вышедшие выпуски дают разносторонний обзор военных действий, разработанный известными специалистами.

В. А. Невский, „Как находить нужную книгу“. Госуд. Издат. 1925 г.

„Энциклопедический Словарь бр. Гранат является лучшим энциклопедическим словарем нашего времени: он один из самых полных словарей, не загроможден мелочами, которые очень редко кому требуются; на каждое слово в Словаре дана более или менее обстоятельная статья или заметка, написанная хорошим литературным языком; сведения, даваемые Словарем, весьма свежие“.

„Известия ЦИК СССР и ВЦИК“, 20 октября 1923 г., № 240.

„Редакция Словаря последовательно проводит и в новых томах систему, принятую ею с самого начала издания,—систему чередования обширных руководящих статей и мелких справочных заметок, что делает Словарь одновременно ценным пособием для самообразования, богатой по темам книгой для чтения и тщательным справочником“.

17173

„Экономическая Жизнь“, 10 декабря 1924 г., № 356.

„Ценнейшим материалом в выпуш. томе (1—2 в. 40 т.) являются статистические таблицы, данные в приложении. Эти таблицы охватывают собой статистические данные о современном состоянии важнейших государств, при чем в них собран и богатый материал, рисующий последствия войны во всех отраслях народного хозяйства главнейших стран. Эти таблицы иллюстрированы хорошими и показательными диаграммами. К этому же тому в качестве приложения добавлена глава об административном делении Союза Советских Социалистических Республик. И эта глава богато иллюстрирована статистическими таблицами, при чем самыми интересными следует признать таблицы, рисующие состояние землевладения и землепользования в 1917 году. Таблицы составлены по отдельным губерниям. К этой главе приложена чрезвычайно показательная и поучительная ориентировочная диаграмма о землевладении в 1917 г. и землепользовании в 1922 году. Сопоставление этих двух диаграмм дает хотя и приблизительное, но вполне четкое представление о том значении какое имела для отдельных районов Советского Союза земельная революция, произведенная Октябрем. Кроме того, в этом же томе мы найдем ряд статистических таблиц, рисующих положение народного хозяйства Советского Союза, частично за период в начале войны до 1923 г., частично за более короткие сроки вплоть до 1924 г.

Вышедший из печати том, как и все предыдущие тома, является, несомненно, крупным приобретением, дающим возможность каждому почерпнуть ряд ценнейших сведений, а тем самым и обогатить свой умственный кругозор“.

„Вестник Просвещения“, журн. изд. „Нов. Москва“) № 2—3, 1925 г.

„По мере усиления работы по лабораторному или дальтоновскому методу роль справочника в школьной практике выступает все яснее, и все сильнее растет потребность в специально составленной для этой цели книге, соответствующей тому или другому уровню самостоятельной работы. При таких условиях хорошим пособием для лабораторной работы может служить I—II вып. 40 т. „Энцикл. Сл.“, как по своему размеру, так и по умелому, интересному подбору материала, извлеченного из целого ряда разл. новейших, как русских, так и нем., англ., и др. спец. сборн. и исследований. На 83 стр. прилож. в 119 табл. и ряде диаграмм дан четкий сравнит.-статистич. обзор соврем. состояния важнейших государств. 1-я часть этого обзора посвящена иностр. госуд-ам, 2-я часть—СССР. Здесь показана территория и насел. за 1923 г., администр. деление на I v 1924 г., деление по естеств. районам и национ. состав по переп. 1920 г. След. таблица определяет потерю русской армии в войну 1914—1917 гг. и развертывает картину землевладения 1917 г. и землепользования 1922 г., дающую представление о значении земельного переворота, произвед. Октябрьской революцией, при чем не только во всей территории, но и для отдельных районов Европ. России, что особенно важно при краеведческой работе школ.

...Для школ 2-й ступени, рабфаков, техникумов, переходящих на новые методы работы по обществоведению, это очень удобное пособие с свежим и проверенным материалом. Полезно оно и для библиотек и клубов“.

„Известия ЦИК СССР и ВЦИК“, 28 ноября 1924 г. № 272.

„В новом выпуске Энциклопедического Словаря Гранат (1—2 вып. 40 тома) прежде всего привлекает внимание обширное приложение, составляющее лишь часть широко планированного обзора современного состояния важнейших государств. Первая часть его заключает сравнительно-статистический обзор иностранных государств и СССР. В ряду довольно многочисленных книг и брошюр по статистике мирового хозяйства за время войны, вышедших за последние 2 года, настоящий обзор выгодно выдается своей компактностью, продуманным и очень интересным подбором материала и свежестью данных. Его 119 таблиц легко обозримы, по обилию сведений не уступают иной книге, уделяют много места положению рабочего класса и, помимо экономики, дают любопытную статистику по эволюции парламентского представительства на западе (табл. 63—83). Но самым главным преимуществом настоящего обзора является то, что он дан в энциклопедическом словаре, в котором по каждой стране имеются обширные статьи, освещающие все их экономическое развитие.

К „Обзору“ приложен ряд диаграмм. Самая поучительная—диаграмма землевладения в 1917 г. и землепользования в 1922 г. по главным районам Европейской России. В крупных чертах она набрасывает яркую картину того, что дала революция крестьянству, как распределены отобранные у помещиков земли, и как сильно выросла площадь крестьянского землепользования по ряду наиболее важных в сельскохозяйственном отношении районов“.

„Правда“, 4/XI, 1923, № 251.

„Настоящий Энциклопедический Словарь в значительной мере является созданием Климента Аркадьевича Тимирязева. Он был одним из главных редакторов издания, руководил в нем самым обширным отделом—отделом точных наук, сам написал все основные статьи по биологии, наиболее важные статьи по ботанике, обогатил Словарь серией художественно написанных характеристик ботаников, биологов и химиков, с особенным вниманием и симпатией останавливаясь на „вольных каменщиках науки“, на так-наз. дилетантах, служивших науке не по казенному назначению. Ему же принадлежат и общие статьи, освещающие развитие точного знания, его методы и условия его прогресса. Естественно, что при таком руководящем редакторе, девизом Словаря стало: „позитивизм—в философии, дарвинизм—в биологии, марксизм—в обществоведении“. Естественно, что он привлек к себе лучшие силы марксизма, что по отделу русской истории в нем с самого начала принимал ближайшее участие М. Н. Покровский, что основную статью „Маркс и марксизм“ взял на себя написать В. И. Ленин.

Новые тома Словаря составляются по той же программе, проникнуты тем же стремлением сделать научное знание достоянием каждого грамотного человека и ведутся в том же направлении, как и ранее вышедшая часть издания“.

Редакция и экспедиция Энциклопедического Словаря Библиографического Института Гранат: Москва, Тверской бульвар, д. 25. Телеф. 2-06-04.

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

7-е переработан. издание

ПОД РЕДАК: (ДО 33 ТОМА) ПРОФ. В. Я. ЖЕЛЕЗНОВА, М. М. КОВАЛЕВСКОГО, С. А. МУРОМЦЕВА и К. А. ТИМИРЯЗЕВА.



ИЗД. РУССКОГО БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ГРАНАТ

ИЗ ПОСЛЕДНИХ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ ОБ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ РУССКОГО БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ГРАНАТ.

„Экономическая Жизнь", 9 января 1925 г., № 7.

„Третий выпуск 40-го тома энциклопедич. словаря Граната есть достойное продолжение предыдущих. Преследуя цель сделать знание доступным самым широким кругам, Словарь, естественно, больше всего внимания уделяет вопросам, имеющим современное значение. Центральной статьей в третьем выпуске помещена статья Г. Наумова: „О социализации и национализации". Автор совершенно прав, указывая, что обоим терминам придаются различные смыслы, и что очень часто эти два термина смешиваются. Г. Наумов первую часть своей работы посвящает анализу обоих терминов. Дальнейшая часть статьи посвящена изучению происхождения обоих терминов. При изучении сущности социализации автор приводит историю социализации в Австрии, Германии, Венгрии и Англии. Читатель посвящается не только в идеологическую кухню западно-европейского меньшевизма, но и получает возможность на опыте Германии и Австрии убедиться в том, к каким до смешного мизерным результатам в этих странах привели работы специальных комиссий по социализации. До тех пор, пока буржуазия не окрепла, эти комиссии работали, сознательно вводя в заблуждение широкие массы пролетариата относительно истинных побуждений участников комиссий. Когда же буржуазия окрепла при содействии тех же социал-демократов, она попросту эти комиссии ликвидировала. Чрезвычайно ценным является материал, освещающий конкретное содержание работ указанных комиссий. В этих программах ярко выражена меньшевистская идея „мирного врастания социализма в капитализм". Несомненно, статья Наумова является благодарным материалом и подспорьем для изучения вопроса о социализации и национализации. Существенную помощь при этом изучении, несомненно, может оказать и богатейший, приведенный в конце статьи, перечень литературы по указанным вопросам. Как и прежние выпуски, третий выпуск 40-го тома издан опрятно, четко и старательно."

„Красная Нива", 11 ноября 1923 г., № 45.

„Возрождается издание, представляющее большую культурную ценность. Словарь стал выходить незадолго до войны и овеян под'емом предреволюционной эпохи. Лозунг его редактора К. А. Тимирязева —демократизация науки—стал руководящим началом для всех его участников и дал России энциклопедию, подобной которой в ней не было и нет даже в Германии, где энциклопедических словарей так много, но где все они, независимо от своих размеров, всегда остаются безжизненными справочниками. По каждому отделу знания дается ряд крупных руководящих статей строго научного характера. Казалось бы, это статьи для немногих. Но рядом в Словаре разбросано множество подсобных статеек и заметок, в которых и самый неподготовленный читатель найдет об'яснение всего того, что может оказаться для него непонятным в основных статьях. Нужно только желание знать, и при помощи таких перекрестных справок каждый может отчетливо усвоить себе содержание и наиболее трудных по предмету статей. Желание это дают талант авторов и широкая постановка каждой проблемы.

В вышедшем теперь 39-м томе самая обширная статья (добрая книжка, если перебрать обычным шрифтом в обычном формате) посвящена практическому вопросу большой в настоящее время для России важности—скотоводству, и написана она проф. Богдановым и проф. Придорогиным. К ней примыкает еще одна обширная статья по сельскому хозяйству — „Сельскохозяйственные орудия и машины" проф. Криля. По общественным наукам прежде всего прочтутся блестящие статьи М. Н. Покровского „Система вооруженного мира" и „Смутное время".

Словарь всегда пользовался значительной популярностью в рабочей среде, и остается только желать, чтобы он был доступен фабричным и сельским библиотекам".

„Красная Звезда", Центр. военн. газета, № 112, 19 мая 1925 г.

„...Нельзя не приветствовать мысль редакции—посвятить отдельный том (45-й) своего, столь известного, издания освещению мировой войны с разных сторон. В двух выпусках помещено шесть статей с 52-мя схемами, чертеж. и рис. Статья А. А. Свечина „Общий обзор сухопутных операций" (138 стр., отличается сжатым, рельефным описанием событий и ясной, определенной критикой. С отдельными выводами и утверждениями автора можно, конечно, не соглашаться, но они всегда возбуждают интерес и вызывают живую работу мысли. Между пр., после выхода в свет первых 2-х том. германской официальной истории, общепринятое обвинение Мольтке в порче первоначального плана Шлиффена подлежит пересмотру. Изменение этого плана, как оказывается, было вызвано коренной переменой обстановки, а именно—получением в 1911 г. в германском генеральном штабе известия о том, что французы, вместо стратег. обороны, предполагают с об'явлением войны перейти в общее наступление, нанося главный удар в Лотарингии. „Техника в мировой войне", статья Е. К. Смысловского, богато иллюстрированная чертежами и рисунками, является кратким, но обстоятельным исследованием всех тех технических средств, которые применялись воюющими странами на суше и на море. В статье „Роль крепостей" К. И. Величко, описав отдельные крепости, высказывает справедливое мнение, что значение каждой из них зависело, главн. обр., от того, как ею пользовались. В частности „печальная роль, сыгранная русскими крепостями", об'ясняется автором: 1) „сумбуром в понятиях", существовав еще в мирное время и 2) дурным управлением войсками во время войны. Ст. Б. И. Доливо-Добровольского „Борьба на морях" представляет стратегич. и отчасти тактический очерк действий флота. Автор приходит к выводу, что Англия в морском отношении ровно ничего не выиграла от войны, т.-к., освободившись от соперничества Германии, она взамен приобрела еще более сильного противника в лице С.-А. Соедин. Штатов. В ст. „Воздушный флот" С. Н. Покровский разбирает, на основании опыта мировой войны, различные задачи, выпадающие на авиацию. В заключение считаем нужным обратить особое внимание военных кругов на рассмотренный том „Энциклоп. Словаря", так как они в нем найдут не только общее описание мировой войны, но и специальные исследования многих, выдвинутых ею, вопросов.

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

РУССКОГО БИБЛИОГРАФИЧ. ИНСТИТУТА ГРАНАТ.

СЕДЬМОЕ ИЗДАНИЕ.

ДО 33-го ТОМА ПОД РЕДАКЦИЕЙ

проф. Ю. С. Гамбарова, проф. В. Я. Железнова, проф. М. М. Ковалевского, проф. С. А. Муромцева и проф. К. А. Тимирязева.

Седьмой и восьмой выпуски сорокового (40) тома.

СОЦИАЛИЗМ.

Lexicographis secundus post Herculem labor
(Скалигер).

РЕДАКЦИЯ И ЭКСПЕДИЦИЯ „РУССКОГО БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ГРАНАТ“
МОСКВА, Тверской бульвар, 25.

Содержание 7—8 выпусков 40-го тома.

ПРИЛОЖЕНИЕ к ст. „Развитие социалистической мысли в России“:

Автобиографии революционных деятелей русского социалистического движения 70-х и первой половины 80-х гг.

С примечаниями В. Н. Фигнер.

(Продолжение.)

При сем прилагается заглавный лист и оглавление всего 40-го тома.

Главлит № 1.077. Тираж 5.000 экз.

Типография Госиздата „КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ“. Москва, Пименовская, 16.

лись возможно раньше, и между ними шумные разговоры и споры. И страстная жажда знания. В погоне за ним кочевали по аудиториям вне избранных специальностей и оставались неудовлетворенными. Все это не то, что нужно для постижения жизни. Источников, чтобы постигнуть ее, нужно искать где-то в другом месте. Стали возникать кружки самообразования. Группировались земляки. Сгруппировались и мы, бывш. ставропольские гимназисты. Начали с Милля с комментариями Чернышевского. Продолжили „Капиталом“ Маркса. Изучение увлекало. Но в двери стала стучаться жизнь. В шумное, но мирное течение учебных занятий врывались иные звуки. Помню один вечер работ в анатомическом театре, куда на втором семестре были допущены к практическим занятиям и мы, первокурсники. Бывало и раньше, что та или иная пара работающих на одном препарате напевала что-нибудь. Но это не останавливало внимания остальных. На этот раз было не то. Все остановились и стали прислушиваться. Пелась „Барка“. Этой „Баркой“ заявил о своем появлении „Сборник революционных песен“. За сборником, первой для нас подпольной ласточкой, появилась первая книжка „Вперед“. За ней „Государственность и анархия“, „Историческое развитие интернационала“. Подпольная литература, заграничная и выходившая в самой России, наростала. Чтения было в изобилии. Но рядом с литературой приходили вести, которые толкали от чтения и слов к делу. Пришли сообщения об арестах в Питере (долгушинцев, чайковцев). По кружкам, но только по кружкам—больших сходок еще не было, стали обсуждать вопрос, что делать, именно „делать“. Настроение наростало. Но академический год закончился для нас без определенных решений. И летом я успел побывать на родине.

Следующий учебный год начался и весь прошел в бурных сходках студенчества,—универсантов, петровцев, техников. Властно звучал призыв „в народ“. И сходки страстно обсуждали только вопрос: готовы мы или не готовы, продолжать ли подготовку или итти сейчас. На сходках появились и питерцы, Натансон, Драго, Таксис. Одним из постоянных участников сходок был В. Г. Короленко, с которым я здесь и познакомился. Бурные сходки заполнили весь этот академический год: днем учились, вечером сходки.

Лето я провел уже в деревне. Оно для меня выяснило, что я для „народа“ чужой, „скубент“. Надо стать „своим“. И, съехавшись после лета, наш кружок решил основать ферму, которая вырабатывала бы пропагандистов-земледельцев,—эти земледельцы были бы „в народе“ своими людьми. Ферма и была основана на моей родине, вблизи Анапы. По числу желающих было арендовано 100 десятин. Для подготовительных работ отправилось трое: из кружка студент-медик, ныне покойный, Пожидаев, мой одноклассник по ставропольской гимназии и я, из не членов кружка, тоже покойный, Харизоменов. Пожидаев должен был изображать из себя арендатора, Харизоменов—его управляющего и я—батрака. Приехали. Участок земли оказался без жилья. Но не беда: поставили „курень“—пирамидка из жердей, покрытая сеном. Купили телегу, лошадь, две пары волов и плуг. И приступили к работе. Но оказалось: земля—крепкая черноземная целина; нужны не две, а четыре пары волов, а средства, взятые нами из кассы кружка, были уже на исходе. Хоть бросай. Нас выручил только что переселившийся из Полтавской губернии крестьянин. Были у него две пары волов и пустой карман, а за аренду нужно было платить вперед. Пригласили его в компанию и уже четырьмя парами волов стали поднимать целину. С конспиративной стороны дело сложилось совсем плохо: в Москве начало лекций, и никто из желавших работать к нам не приехал. С внешней стороны получилась странная картина: арендатор—по паспорту дворянин, его управляющий и один единственный работник—по паспорту крестьянин Тверской губ. Но в полицейском отношени времена на Кубани были еще патриархальные; жандармского управления не было; стражники, урядники еще не существовали, а казачье начальство не замечало нас. Мы все же решили придерживаться наказа, данного нам в Москве: „беречь ферму и пропагандой не заниматься“. Моим двум товарищам легко было выполнить этот наказ: для разбросанного маленькими хуторками окрестного населения, тоже арендаторов—один из них был „барин“, другой—управляющий, тоже „большой цобе“ (вол); к ним шли только с делом. Я же был „свой человек“, работник, со мной можно было вести всякие разговоры. Мне было 22 года, и я не устоял от соблазна—пропагандировал при всяких встречах. Постоянным собеседником моим был наш соарендатор; с ним были неразлучны, от зари до зари пахали, ночью караулили волов, чтобы они не подобрались к чужому стогу сена: была глубокая осень, трава становилась все скуднее, свое сено было далеко, у нашего куреня, а чужое под боком, и волов тянуло к нему. Моему соработнику так естественно было в обеденный перерыв, тут же на пашне, и ночью, когда мы лежали около волов на осенней траве, ежась от холода под свитками, обращаться ко мне со всякими вопросами. В его глазах я был хоть и молодой, но бывалый хлопец. И мы бесконечно разго-

варивали. В оценке окружающего сошлись скоро: собственник земли—казачий офицер, живет в Екатеринодаре, получает жалованье, сыт, одет, обут, и ему же правительство подарило землю (земля горцев, после их большею частью принудительного выселения в Турцию, была роздана офицерам, служившим в местных войсках во время „покорения Кавказа“). И за эту землю офицер получает аренду с тех, кто на ней работает. Дошли мы и до правительства, которое роздало ее чужим этой земле людям. Сошлись и тут легко. Но ведь во главе правительства стоит царь, его рука—владыка. На этом вопросе мы изрядно задержались. И, наконец, помню этот обеденный перерыв, после того, как я рассказал о царских землях и их размерах, мой собеседник приподнялся, мы лежали на земле, опасливо оглянулся по сторонам и сумрачно сказал: „Мабуть и вин такий же“. Но ведь он—помазанник божий, сам бог велел повиноваться царю, а бог—сама правда. Вот тут я наткнулся на непреодолимое препятствие. Стали обсуждать вопрос о бытии бога. „Да откуда же все это?“—широко обвел рукой мой собеседник. „А вот ученые говорят“, начал я и стал излагать ему, как можно проще Канта-Лапласовскую гипотезу. Собеседник напряженно слушал, но отрицательно покачивал головой. Вопрос занял ряд дней, пока я не понял безнадежность моих усилий. Для меня стало ясно положение дела. Собеседник мой отчетливо, реально рисует себе картину: громадный старик с длинной белой бородой обитает там, „в горних высях“, и оттуда правит миром. Это вполне оформленная фигура. Но бесформенная космическая материя не укладывалась в голове моего собеседника. Вспомнился мне один из новогодних приемов Наполеона I. С поздравлением явилась французская академия наук. Наполеон отвечает, говорит о заслугах академии и, обращаясь лично к Лапласу, заявляет: „С большим интересом прочел я ваше произведение („Об образовании миров“) и нахожу в нем один громадный недостаток,—в нем ни разу не упомянут бог“.—„Ваше величество, я не нуждался в этой гипотезе“.—Мой собеседник нуждался в ней, и мне стало ясно, что пока он этой нужды не изживет, все мои усилия будут бесплодны.

Наконец, мы отпахались, с озимыми отсеялись. „До Евдокии“ (1 марта) делать нечего, и мы уехали в Москву. Чтобы не терять времени, стал я искать других путей технического снаряжения, чтобы итти в народ. Организовывалась в Москве слесарная мастерская. Пристал я к ней. Но дело затягивалось. Бросился я на новые поиски. Выручила меня встреча и знакомство с Юрием Николаевичем Богдановичем, который в это время был в Москве. Узнав о моих поисках, он рассказал мне о кузнице своего брата Николая, где кузнечеству уже обучаются такие же, как и я. Снабдил меня письмом к брату, и я немедленно отправился, решив сделать небольшой крюк—заехать в Питер, куда приглашал меня Марк Натансон. Здесь через Натансона же я познакомился с Кравчинским и Клеменцом. Из бесед с ними выяснилось, что оба они стояли на перепутьи между налетным хождением в народ, потерпевшим крушение, и оседлыми поселениями среди него. Мысль об этих последних настойчиво проводил Натансон. Кравчинский и Клеменц одобрили цель моей поездки, а Клеменц дал мне ряд практических указаний,—он уже был в имении Николая Богдановича и хорошо знал местную обстановку.

Новые знакомства были увлекательны. Но я нетерпеливо рвался к работе и через несколько дней, захватив с собой новинки подпольной литературы, выехал к цели моего путешествия. Небольшое имение Николая Богдановича, усадьба „Воронино“, была расположена в 26 вер. от Торопца (Псков. губ.). Приехав в Торопец, стал расспрашивать хозяйку постоялого двора, где я остановился, как проехать в Воронино. Она ответила: „Да Николай Николаевич здесь же, он останавливается у меня; должно быть скоро придет“.

Скоро пришел и он. Перечитав привезенные мною письма брата Юрия и Клеменца, сказал: „Ну, мы сейчас едем“. В Воронине Н. Н. немедленно повел меня в кузницу,—он любил ее и гордился ею. Ее специальностью были топоры, серпы и косы. Но попутно, удовлетворяя спрос ближайшего населения, производили и все кузнечные работы, необходимые крестьянину. Это как раз, то, что мне нужно, подумал я. Здесь же в кузнице Н. Н. познакомил меня с Соловьевым. Александр Константинович, оставив учительствование в Торопецком городском училище, работал в воронинской кузнице молотобойцем. На следующий же день стал и я на работу, тоже молотобойцем. Рабочий день в кузнице был от 6 ч. утра до 6 вечера с 2-часовым перерывом на обед. Обеденные перерывы и вечера мы с Соловьемым посвящали беседам. Сошлись мы с ним довольно скоро, несмотря на то, что А. К. был человек замкнутый. За время нашей совместной работы и наших бесед для меня вырисовался духовный образ Соловьева. В это время он был вполне сложившийся человек: беззаветно и безраздельно преданный идее служения народу, готовый в любой момент принести себя в жертву, но скромный и неуверенный в себе и своих силах. Ему все казалось, что для большого дела, которому он решил посвятить себя, его соб-

ственные силы слишком малы. Нередко можно было видеть, как он, держа на коленях книгу, старался пронизать пространство мучительно-вопрошающим взглядом. Я понимал этот взгляд. Старался притти к нему на помощь. Разубеждал. Но безуспешно.

Было решено, что А. К. достаточно подготовлен, как кузнец, и может итти на революционную работу в народе. И он особенно сосредоточенно мучил себя расценкой своих сил. Недалеко от воронинской кузницы сорганизовалась земледельческая колония в небольшом имении Казиной. Казина была сотрудницей „Отечественных Записок". Ее „Картинки домашнего воспитания" в свое время произвели впечатление. С нею были знакомы участники революционного движения. И ее именьице было использовано для земледельческой колонии.

В одно из весенних воскресений Н. Н. (Богданович) предложил пойти посмотреть колонию и познакомиться с ее обитателями. Пошли он, Соловьев и я. Членов колонии оказалось 10. Это были: Александр и Виктор Шлейснеры—родные братья Ольги Натансон, отставной полковник Фалецкий, отст. артиллерийские поручики Вульферт и Мельников, рабочий Шевырев, Алексей Оболешев, Е. П. Карпов, курсистка Каминер и питерская швея, фамилию которой я не помню. С Шлейснерами я познакомился проездом через Питер у Натансонов; с Оболешевым сблизился еще на первом курсе в университете. С остальными я познакомился только здесь. Из разговоров с Оболешевым выяснилось, что члены колонии не были объединены одной и той же целью. Большинство обучалось земледелию, чтобы затем итти в народ. Из остальных часть желала „опроститься", другая—в земледельческом труде найти отдых от городской жизни. Но все работали добросовестно, от зари до зари. Из конспиративных соображений кузница и колония старались не выявлять своей близости, и взаимные посещения ее были сравнительно не часты.

Наступал конец лета, и члены кузницы и колонии стали разъезжаться. Первым уехал Соловьев. Кузнецом он считал себя плохим, но рвался на работу в народе. За ним уехали Оболешев и Карпов. Свидания кузнецов и земледельцев стали совсем редки. Я в это время стоял у горна, т.-е. был не молотобойцем, а мастером. Был сносным топорником, серповиком, ковал лошадей, стянул к себе крестьянскую работу по починке всякой мелочи, приносимой и привозимой крестьянами, и к концу года был сносным деревенским кузнецом.

В январе 1877 г. я был уже в Москве. Остановился у одного из своих одноклассников по гимназии и однокурсников по университету, Сергея Васильевича Мартынова. От него узнал о питерской организации народников, во главе которой стоял Натансон. Решил раньше, чем поселиться в деревне, войти в связь с этой организацией. В беседах с Мартыновым, отвечая на его расспросы, между прочим, упомянул, что все свободное от кузнечной работы время я посвятил изучению экономического материализма К. Маркса. Мартынов заинтересовался. Заставил изложить и, выслушав, заявил: „С этим необходимо познакомить здешнюю публику". Предложил прочесть реферат. Сам же устроил собрание. Помню, это было в квартире С. Я. Елпатьевского, тогда студента-медика 4 курса. Собрание было немноголюдно. Выслушали внимательно. Реферат был на тему: „Экономический материализм, как историко-философская и социологическая теория". Начались прения. Самой горячей оппоненткой была жена Елпатьевского, урожденная Сокологорская, женщина умная и значительно начитанная. Она же сформулировала отношение слушателей к реферату: „теория односторонняя". Но интерес был возбужден, и, как мне потом рассказывал Мартынов, ряд дней был посвящен участниками собрания горячему обсуждению новой для них теории.

Но вот я опять в Питере. В квартире Натансонов было устроено собрание наличных членов „Основного кружка" для принятия меня, как нового члена. Из знакомых мне здесь были Марк и Ольга Натансон, Алексей Оболешев и Сергей Харизоменов. Последний изложил мне программу организации. Программа эта изложена О. В. Аптекманом в его „Земле и Воле". Программа была чисто практическая, — теоретическое обоснование в ней отсутствовало. Но в это время для членов организации, и для меня в частности, это не было важно,—время не терпело. Сговорились мы в один вечер в течение пары часов, и я был принят в члены „Основного кружка", — руководящий центр организации, впоследствии называвшейся „Земля и Воля", а тогда не носившей никакого названия. В другое время и при других обстоятельствах я надолго задержался бы здесь, чтобы лично сблизиться с этой семьей, именно семьей, выдающихся работников революции и обаятельных людей, ярких индивидуальностей. Но меня слишком тянуло туда, „в народ",—могучим порывом этого народа, мы верили, скоро будет свергнут ненавистный строй. Центром революционных поселений уже было намечено Поволжье, с его революционным прошлым и отрицательным отношением к тогдашнему строю его населения—раскольники крайних толков—в настоящем. Часть членов организазации была уже там. Через несколько дней туда же уехал и я.

С котомкой за плечами, в кот. был са-

мый необходимый кузнечный инструмент, обошел я правый и левый берег Волги, в поисках ударного места, где население наиболее готово к выступлению. Выбор остановился на окрестностях Хвалынска. Довольно значительная деревня Елшанка предоставила мне бесплатно пустующую кузницу,—кузнеца давно уже в деревне не было, а нужда в нем была большая. В ближайший базарный день группа елшанцев, ехавшая в город за покупками, свезла меня на лодке в город. Закупил я там уголь и железо и с той же группой привез все это в Елшанку. На следующий же день начал работу. Работы оказалось много: до моего появления за всякими деревенскими кузнечными поделками ходили или ездили лодкой в город,—теперь пошли ко мне. И у каждого самое неотложное дело. Каждому нужно сделать „сегодня же". А мое положение „обязывало": население сплошь „федосеевцы" (раскольничий толк, близкий к „странникам"), я—„никонианец". Обидеть кого-нибудь отказом или отложить на „завтра"—было нельзя. И я долгий летний день (май, июнь, июль пробыл я здесь) работал от зари до зари. Результаты сказались,—я слег. „Надорвался, парень", сказал навестивший меня старик-начетчик, с которым я успел подружиться.

Отлеживаться здесь не имело смысла: терялось время. И я уехал в Москву. Но отлежаться и здесь не пришлось. Еще в Елшанске я получил сообщение об аресте Марка Натансона. А приехавшая из Питера одновременно со мной Ольга Натансон познакомила меня с положением наших дел: о боголюбовской истории, об арестах. В Москве был арестован рабочий „Петро", один из крупных работников нашей организации, кот. мы очень любили и ценили. Рассказала мне Ольга, что на надругательство над Боголюбовым решено в нашем центре ответить убийством Трепова, что за ним ведется наблюдение, что Марк сидит в Петропавловке, а потому об освобождении его и думать нечего, но к освобождению Петро необходимо приступить немедленно. Через пару дней в Москве оказался „Жорж" (Плеханов), с кот. я встретился впервые. Втроем мы набросали план освобождения, и я поехал в Питер за „Варваром", кот. год тому назад увез из-под стражи Кропоткина. „Варвар" в это время находился у О. Э. Веймара. Свели меня к Веймару,—с ним я еще не встречался. Забегая несколько вперед, скажу: Орест Эдуардович Веймар никогда не был профессиональным работником революции, ни к какой революционной организации никогда не принадлежал—да по своему характеру не укладывался он ни в какую организацию. Но в революционном мире имел большие знакомства. И к отдельным предприятиям привлекался, как незаменимый участник: храбрый, решительный и хладнокровный, он не терялся в самых опасных положениях. Эти качества он в высокой степени проявил при освобождении Кропоткина.

Взял я „Варвара" и отправился с ним на вокзал. Погрузкой меня с „Варваром" в товарный поезд руководил Лизогуб („Дмитро" по „Основному кружку"). В Москве меня принимал с поезда „Филипп Михайлович", тот самый „радикальный мужичок" московских рев. кружков, о кот. рассказывала в своих воспоминаниях Викторова-Вальтер („Кат. и ссылка", № 4 (11) и С. И. Мартыновский („Канд. звон", № 1). Фил. Мих. устроил меня с „Варваром" у одного из своих приятелей в подмосковной деревне Зыково. Здесь мы с „Варваром" пробыли свыше недели, пока в Москве нашли подходящее помещение. В одной из гостиниц был снят для имеющего приехать помещика хорошо обставленный номер с конюшней для „барского рысака". „Помещик" скоро прибыл. Его изображал наш „Семен" (Баранников). Сношения с Петро (арестован и сидел по паспорту, как „Крестовоздвиженский") были уже заведены Викторовой-Вальтер, переписывавшейся с Дуней Ивановской (впоследствии Короленко), кот. сидела в той же городской части, где и Петро. А через Викторову-Вальтер и Дуню мы кружным путем переписывались с Петро. Но я искал для верности вспомогательного пути сношений и скоро нашел его. Не помню, каким образом познакомился я с одним городовым той же городской части, где сидел Петро. Сам этот городовой не имел никакого отношения к тюрьме гор. части, но среди тюремной стражи у него был приятель. Через эти два звена был установлен и второй путь сношений с Петро.

Водворившись в гостинице, мы в один из ближайших дней поехали осмотреть место действия—путь от гор. части до бани, куда раз в две недели водили „политиков" заключенных. Путь оказался чрезвычайно неблагоприятным. Набережная Москвы-реки, по кот. пролегал этот путь, утрами, когда водили в баню, бывала запружена дрововозами. Именно из-за этого пришлось привлечь много участников,—они должны были в любом месте устроить перерыв в движении дрововозов, чтобы пропустить Варвара. Участвовали: кружок межевиков с Мартыновским во главе, 2 брата Малышевых („петровец" и „техник"), тот же Филипп Михайлович, группа петровцев, из нашей организации В. Н. Игнатов, всего свыше 20 человек. Переписка с Петро точно установила день и час бани. И мы на месте. Та же досадная непрерывная вереница дрововозов. Но многочисленность наших участников дает уверенность, что

с Варваром проскочить удастся. Прошел „Василий“ (Игнатов), подав знак: „идет“. Варвар шел шагом. Петр под охраной трех городовых, поравнялся с нами. Вид его был непривычный для меня: землисто-бледное лицо и тусклый взгляд. Этот взгляд, так несвойстственный Петро, поразил меня. Взглянул, слабо улыбнулся и, низко опустив голову, продолжал итти. Пропустив их шагов на 50, перевел я Варвара на легкую рысь. Нагнал. Опять тот же взгляд, та же слабая улыбка, так же низко опускается голова, и ни тени попытки броситься к нам. Идут дальше. Я повторяю маневр: вновь нагоняю и подъезжаю уже вплотную к тротуару. Опять то же. Но городовые тревожно смотрят на нас, и ближайший нерешительно извлекает свисток. Еще тревожный взгляд на нас. И свист. Петро вздрогнул, точно очнулся. Но, даже не взглянув на нас, продолжал свой путь. Свисток городового был для нас сигналом к отступлению. Вечером я был у своего друга — городового. Он не был посвящен в организацию побега, не знал о ней. Но на вопрос: „Что нового?“ подробно рассказал, что было этим утром. Рассказал ему об этом один из конвоировавших Петро городовых. В городской части был большой переполох. Был отдан приказ в баню „политиков“ не водить. Идут поиски „злоумышленников“. Через день мой друг сообщает мне: „Увезли (Петро) в Бутырки в тюремную больницу“. Охотно принимает предложение сходить туда, хотя это было на другом конце. Через день передает мне: „Сильно болен—тиф“. А ровно через неделю сообщает печальную весть: „Умер“. Эта смерть объяснила нам внешний вид и поведение Петра в день попытки освобождения; бесстрашный, активный, решительный товарищ был уже скован тяжкой болезнью.

Из Питера от нашего центра мы с Семеном получили указание переждать в Москве, пока уляжется полицейская тревога, и возвращаться в Питер. Рядом—личное ко мне письмо „Лешки“ с просьбой использовать дни бездействия и написать теоретическое обоснование нашей программы. С тех пор, как Алексей узнал от Мартынова о моем докладе в квартире Елпатьевского, он не давал мне покоя, требуя, чтобы я написал это обоснование. Я не был уверен в себе и всячески уклонялся, но в этот раз вынужден был уступить. Изо дня в день я отправлял в Питер исписанные листки почтовой бумаги. К нашему возвращению в Питер из этих листков составилась порядочная тетрадка. Это и была та „программа“, которая, по словам О. В. Аптекмана („З. и В.“), „всем очень понравилась“. Это была попытка обосновать практическую программу нашей организации на историко-философской теории К. Маркса. Было решено напечатать ее. Но наша типография была еще не в силах справиться с такой большой работою. Дело затянулось, и я потерял из виду свою рукопись. Последний раз я видел ее в руках „Жоржа“ (Плеханова). Вероятно, где-нибудь во время обыска она попала в руки жандармов, и, как не представлявшая для них практического интереса—уничтожена или погребена в ненужном архивном хламе.

Но вернусь назад, к Москве. В дни нашего с Семеном бездействия, проездом в Питер, в Москве остановились южане: Попко (умер в Карийской тюрьме), Чубаров (казнен в 1879 г. в Одессе), Волошенко (умер в Полтаве по возвращении из Сибири после каторги и ссылки) и М. Ф. Фроленко. Целью их поездки было: общая—войти в связь с нашей организацией, и частная—принять участие в убийстве Трепова. Немного дней предварительных переговоров с нами, и южане уехали в Питер. Еще немного дней, и мы с Семеном решили, что можем последовать за ними.

Приехав в Питер, я поставил вопрос, чтобы меня отпустили на работу в деревню. Для меня было незыблемо, что без могучего движения масс наша борьба с правительством будет бесплодна. В первый же день приезда я заговорил об этом. Товарищи резко запротестовали: события идут бурно, работы так много, а работников так мало—отсюда, из центра, нельзя снять ни одного человека. А жизнь действительно кипела и бурлила. Шел большой процесс 193. Наша типография изо дня в день выпускала отчеты о заседаниях „Особого Присутствия сената“, судившего 193. Уже выпущена была речь Мышкина. В высших учебных заведениях шли бурные сходки. Из провинции одна за другой приезжали студенческие делегации для выработки единого плана действий. В то же время далеко продвинулись у нас наблюдения за Треповым. Было решено перебросить в Питер Варвара. Мы с Семеном поселились в отдельной квартире. Прописались: он — помещик одной из черноземных губерний, Тюриков, я—его кучер, мещанин Поплавский. Варвар был помещен в ближайший татерсаль некоего Крафта, бывш. конюха графа Адлерберга, министра двора. Может быть, именно поэтому татерсаль был хорошо обставлен, и мы были спокойны за Варвара. Здесь наш рысак и квартировал вплоть до своего ареста в октябре этого 1878 года.

Мы с Семеном, как участники уже спланированного покушения на Трепова, обязаны были вести себя сугубо конспиративно. Но удержаться от вылазок в бурный внешний мир было свыше наших сил. „Большой процесс“ накалял атмосферу.

В высших учебных заведениях совместно с все прибывавшими из провинции студенческими делегациями шли непрерывные сходки. Горячо дебатировался вопрос о форме протеста. Большинство остановилось на „адресе министру юстиции". Им в это время был граф Пален, отпетый реакционер, ярый противник новых судебных уставов. Но для протестантов это не важно: „Куда бы ни направить протест—все равно, важно только, чтобы это был протест",—высказывалось на сходках. Проект „адреса" был отпечатан в нашей типографии. Его составил „Жорж". Адрес имел большой успех. Собирались подписи. К этому времени и „Особое Присутствие Сената", судившее большепроцессников, поняло, наконец, что усилия Желиховского (прокурор-обвинитель по большому процессу) создать из стихийного движения единую рев. организацию потерпели крушение. „Особое Присутствие" остановилось на решении: приговор вынести суровый, но „ходатайствовать" перед царем о значительном смягчении,—каторгу оставить только для Мышкина, других главных обвиняемых сослать на поселение, массе обвиняемых зачесть предварительное заключение. По взгляду самого „Особого Присутствия", „ходатайство" было только формой, оно обязательно будет удовлетворено. И большепроцессников стали выпускать из тюрьмы, — под подписку о невыезде, поручительство, залог. Под залог в 10000 рублей был выпущен даже приговоренный к каторге Добровольский. Настолько велика была уверенность „Особого Присутствия" в удовлетворении „ходатайства". Было ясно, что имелось согласие и III Отделения, — иначе „Особое Присутствие" не дерзнуло бы.

24 января 1878 г. грянул выстрел Веры Засулич, и положение резко изменилось.

Вера Засулич не принадлежала к нашей организации, но имела знакомства в ней. Несколько раз нащупывала, предпринимается ли что против Трепова, но ответы получала неопределенные, дать иные участники дела и не имели права, несмотря на личные дружеские отношения к Вере Засулич. И она, поняв ответы, как отрицательные,—„в организации ничего конкретного по адресу Трепова нет",—выступила единолично. Впечатление выстрел произвел громовое: у интеллигентной части населения—вздох облегчения, что надругательство над Боголюбовым не осталось безнаказанным, а у массы—тот же вздох облегчения,—для всех тяжела была самодурно-всевластная рука Трепова. Наша организация поспешно выпустила прокламацию, разъясняющую смысл события. Говорю поспешно потому, что прокламация была неудачна в литературном отношении,—автору ее, Клеменцу (О. В. Аптекман ошибочно приписывает ее Плеханову), опытному литератору, перо на этот раз изменило. Особенно критически отнеслись к ней Зунделевич, Плеханов и Оболешев. Последний настаивал на выпуске второй. Но это нашли неудобным. Однако, поведение части легальной печати вынудило выпустить и вторую. В „Петербургских Ведомостях" редакции Комарова появилась отвратительная статья о выстреле. С свеженьким номером „Пет. Вед." я зашел к Оболешеву. Он лежал—ему недомогалось. Дал ему прочесть. Прочел, вскочил и, сверкая глазами, сказал: „Садись и пиши". Я возражал, ссылаясь на неудобство дублирования, он настаивал: „У нас газеты нет, а молчать нельзя". Я уступил и тут же написал „13 июля 1877 года — 24 января 1878 года" (даты треповского надругательства над Боголюбовым и выстрела Веры Засулич), ту вторую прокламацию, о которой упоминает Аптекман.

Февраль и март прошли в ожидании. Противники—правительство и наша организация—точно измеряли взглядом друг друга: мы ждали исхода ходатайства „Особого Присутствия" о смягчении приговора осужденным и не желали ухудшить их положение; правительство ждало приговора суда над Верой Засулич. День 31 марта положил конец этому томительному положению. Суд присяжных, тщательно подобранный из сливок общества, даже этот подобранный суд оправдал Веру Засулич. Председатель суда (А. Ф. Кони) тут же в зале суда отдал приказ об освобождении оправданной. Управляющий Домом предварит. заключ. (Федоров) торопил ее: „Скорей, скорей, Вера Ивановна, иначе жандармы не выпустят вас" (передаю со слов В. И. Засулич из ее рассказа в этот же день). У ворот ее уже действительно ждала карета с жандармами, но натиском молодежи, плотной стеной окружавшей здание суда и Дом пред. зак., жандармы были смяты, и В. И. Засулич вышла из „пределов досягаемости русского правительства". Во время схватки жандармов раздалось несколько револьверных выстрелов. И когда карета с Верой Засулич отъехала, на мостовой оказался труп студента-медика Сидорацкого с револьверной раной на правом виске. В правительственном сообщении, вышедшем на следующий же день, смерть эта объяснялась, как самоубийство. Участники освобождения Веры Засулич утверждали, что Сидорацкий был убит одним из выстрелов со стороны жандармов. Еще день, и в одной из больших аудиторий Медико-Хирургической академии состоялась громадная сходка студентов разных учебных заведений. Поставленный на обсуждение вопрос о демонстрации-панихиде по уби-

том был сразу решен утвердительно. Но вопрос о форме демонстрации—вооруженной, по предложению одних, не вооруженной, как предлагали другие—вызвал страстные дебаты. Среди выступавших я увидел и Сережу Голоушева. Он отстаивал мирную демонстрацию, но „наружные наблюдатели", очевидно, перепутали его с кем-нибудь. Через несколько дней он был арестован,—ему предъявили обвинение в призыве к вооруженному восстанию. На 4 апреля, если память не изменяет мне, была назначена демонстрация у Владимирского собора. Ранним утром этого дня мы с Александром Квятковским (казнен вместе с Пресняковым осенью 1880 г.) осмотрели площадь у собора. Странное движение происходило здесь: воинские отряды, отряды городовых, пешие и конные жандармы проходили через площадь и исчезали в воротах прилегающих дворов. Ворота за ними запирались. Тротуары заполнялись группами дворников, очевидно стянутых с других мест Питера.

Было ясно, что ожидался бой, и для него были стянуты такие силы. Панихида-демонстрация прошла мирно. Не был арестован даже выступавший с речью.

Еще немного дней, и нам стало известно, что по докладу Мезенцева Александр II отклонил ходатайство „Особого Присутствия Сената" „о смягчении участи приговоренных по делу 193-х." „Злоумышленники,—говорилось в докладе,—желают запугать правительство; правительство должно проявить твердость". Для обсуждения положения был созван „совет" нашей организации. „Совет" не составлял отдельной группы в организации: в него входили, кроме членов „центра", все наличные в Питере члены организации. На собрании были оглашены только-что полученные сообщения о смерти в Петропавловской крепости Купреянова (большепроцессник-чайковец) и проект воззвания к обществу. Написанный одной из осужденных, проект обращался к „лучшим чувствам общества" и призывал его возвысить свой голос против жестокостей правительства. Проект не удовлетворил собрания. После ряда возражений и замечаний поднялся Сергей (Кравчинский) и заявил: „Это обращение и не по адресу направлено, и тон не тот, который нужен. Позвольте мне завтра представить свой проект".—На следующий день собранию был представлен проект Сергея. Это был обвинительный акт против правительства, предъявляемый ему самому. Заканчивался проект словами: „Все эти жестокости требуют ответа. Он будет дан. Ждите нас!" Два последних слова и по сейчас живы в моей памяти, по отношению к предыдущим передаю их смысл. За ночь обращение было отпечатано и на утро 15 мая 1878 г. выпущено.

Этим „ждите нас" горсть революционеров объявляла войну правительству, опирающемуся на миллионы штыков, тогда еще преданных ему, на тысячи агентов явной и тайной полиции, могущественный государственный аппарат и, объявив, вела эту войну и порой заставляла правительство трепетать.

Ближайшая практическая задача была для нас ясна. Имя шефа жандармов генер. Мезенцева, как главного виновника жестокостей правительства, их вдохновителя и верховного распорядителя, было у всех на устах. На него и должен быть направлен первый удар. Но тут же рядом встала и другая задача, требующая немедленного разрешения. Осужденные на каторгу большепроцессники были разделены на две группы: женатые должны были отбывать каторгу на Каре (в Забайкалье), неженатые—в „централках" близ Харькова. Нам стала известна инструкция для содержания „государственных преступников" в централках. Ею устанавливался режим „заживо погребенных" (так озаглавлена была напечатанная подпольной типографией брошюра). Именно эту группу нужно было освободить. Нашей организацией было послано двое (кто именно, не помню), чтобы обследовать путь и наметить место действия. Не успели они закончить обследования, как Мышкина уже увезли в одну из централок. Увезли его ночью, нам стало известно утром. Было ясно, что для него мы уже ничего не можем сделать. Но было решено ускорить приготовления для освобождения остальных. Однако, сильно волновавшаяся Соня Перовская решила на свой собственный риск и страх (она еще не вступила в нашу организацию) нагнать Мышкина и сделать попытку освободить его. В течение дня она успела найти вне нашей организации желающих принять участие в освобождении. Но, как и следовало ожидать, Мышкин был доставлен на место раньше, чем можно было что-либо предпринять.

Обследование пути показало, что единственное возможное для успешной попытки место — это дорога от Харькова до централки. И в начале июня все участники попытки были уже в Харькове. Сюда были стянуты значительные силы: из Питера Александр (Квятковский), Семен (Баранников), „Дворник" (Александр Михайлов), Соня Перовская, Морозов, Ошанина, члены местной организации: Мощенко, Быховцев, Новицкий; приехавшие именно для этого предприятия М. Ф. Фроленко и Медведев. Квятковский, Медведев и я поселились на постоялом дворе у Ярмарочной площади. Квятковский,—как управляющий крупной экономии Екатеринославской губернии, приехавший на ярмарку сделать закупки, Медведев—как приказчик экономии и я —

кучер управляющего. Александр Михайлов, в форме землемера, и Марья Николаевна Ошанина, под видом его жены, сняли хорошую квартиру. С ними Соня Перовская в виде их горничной. Эта квартира предназначалась для первого приюта и переоделанья освобожденных. Ударную группу, которая и должна была произвести освобождение, составляли М. Ф. Фроленко, Баранников, Квятковский, Медведев и я. „Управляющий" при посредстве кучера купил на ярмарке 4-х лошадей (2 упряжных и 2 верховых) и экипаж. Обследовали путь от Харькова до централов. Их было два: Новобелгородский (по местному „Печенеги") у Чугуева и Новоборисоглебский (по местному „Андреевка", по названию селения, у которого он находился). Первый путь был исследован нами особенно тщательно: в этой централке уже был заточен Мышкин; туда же по доставленным нам сведениям должны были водворить и остальных. Второй путь мы проехали всего один раз— „так, на всякий случай".

Наконец, приехал наш Митроша (Новицкий). Он в точности выполнил намеченный план: ехал в одном поезде с узниками из Питера до Москвы и, удостоверившись, что их вагон прицеплен к харьковскому поезду, прошел мимо вагона, подав узникам условленный в переписке знак и в курьерском поезде приехал в Харьков с известием: „везут". На утро Квятковский и Медведев верхами были в одном из переулков около тюрьмы. Сюда сигнальщики у тюрьмы должны были сигнализировать им о моменте вывоза заключенных. Я выехал с экипажем один. На выезде из Харькова в экипаж сели Михайло (Фроленко) и Семен. Едем легкой рысью. Уверенные, ждем. Вот обогнали нас, один за другим, наши верховые. Подали знак: „везут" и промчались вперед. Подтянулись, осмотрели оружие, поминутно оглядываемся назад. Дорога пустынна. Проходит полчаса, час, еще час. Никого нет. Квятковский поехал в город узнавать, возвращается с известием: „Увезли... в Андреевку. Завтра туда же Войнаральского".

На утро Квятковский и Медведев верхами вновь в переулках у тюрьмы. Я выезжаю на Змиевский тракт (Змиев — город, в уезде которого Андреевка). На окраине ко мне садятся Михайло и Семен. Семен в мундире жандармского офицера. Мундир пока прикрыт резиновым дождевиком. Высматриваем подходящее для остановки и ожидания место. В густых хлебах по сторонам дороги работали жнецы и жницы. Пришлось проехать 12 верст, чтобы выбрать немного менее людное место. Остановились. Вдали послышались быстро движущиеся почтовые колокольцы. Промчался мимо Квятковский, подав знак: „едут". Михайло и Семен вышли из экипажа. Из-за ближайшего холма показалась тройка гнедых лошадей. Лошади-красавцы. Очевидно, тройка была отборная. Она шла полным ходом. Семен сбросил дождевик и в синем мундире с серебряными аксельбантами стал на дороге. Около него Михайло. Тройка поровнялась с нами. На облучке ямщик. Сзади два жандарма. Между ними Войнаральский. Семен спрашивает ближайшего жандарма: „Кого и куда везете?" Тот что-то, наклонясь в сторону спрашивающего, отвечает; что — я не слышу; вижу только движение губ. Но тройка не замедляет хода. Семен стреляет. Жандарм слева от Войнаральского, высоко взмахнув руками, падает на дно почтовой брички. Стреляет Михайло в другого жандарма. Промах. С первым же выстрелом вся тройка переходит на карьер. Скачущий параллельно тройке Квятковский стреляет в лошадей. Выпускает все заряды. Но тройка с каждым выстрелом только ускоряет свой бешеный бег. Стараюсь нагнать. Но сразу же ясно, что мои усилия напрасны. Бегущий, задыхающийся Михайло первый понял безнадежность погони и крикнул: „Назад!" Остановились. Удрученные повернули в город. Быстро решили разъехаться из города, пока не поднялась тревога. Через час мы были уже в поезде. Медведев, попытавшийся ехать вечерним поездом, был арестован на вокзале.

Вернувшись в Питер, мы с Семеном застали в нашем центре только что закончившиеся споры между Сергеем Кравчинским и остальными по вопросу о Мезенцеве. Кравчинский, оказалось, долго и упорно отстаивал свой план, — он вызовет Мезенцева на дуэль, предоставив ему выбор оружия. Выдвинул он этот план совершенно серьезно. Отстаивал горячо и настойчиво, встреча должна быть грудь с грудью.

Тут же, но уже в частной беседе, разговорились мы с ним о положении револ. дела в данный момент. Я все еще лелеял мысль вернуться на работу в народе, на нашу основную работу. Сергей охотно соглашался, что самодержавие может быть свергнуто только революционным натиском масс, что сюда должны быть направлены все наши усилия, сюда должны быть брошены наши главные силы, но „что-же делать, сказал он, нас так мало; недавно стали мы подсчитывать, сколько нас, действительных членов организации, — не досчитали даже до двухсот. Что-же? Недостаток людей возместим быстротой их обращения. Вопрос о Мезенцеве—вопрос чести. Покончив с ним, вернемся к нашей основной работе и нас будет много". Пришлось согласиться, — положение обязывало. Решили немедленно приступить к действию.

Ко второй половине июля наблюдение

установило, что Мезенцев ежедневно по утрам совершает прогулки ровно в 8 часов. В этих прогулках его неизменно сопровождал человек в штатском. Он шел рядом с Мезенцевым, всегда с левой его стороны, и всегда всю дорогу они вели разговоры, как будто на равной ноге. Это был, как выяснилось, полковник Макаров. Обстановка ясная. Регулярность прогулок дала возможность свести до минимума количество участников: три непосредственно участвующих — Кравчинский, Баранников и я, и три сигнальщика—покойный Зунделевич, ныне еще живой Л. Ф. Бердников и, тоже член нашей организации, Болгарин (дальнейшая судьба его мне неизвестна, и я не знаю, желает ли он, если жив еще, чтобы называлась его фамилия). Нападение могло быть произведено в любое утро. И однако, это утро откладывалось со дня на день. 3-го августа получено было известие о казни Ковальского в Одессе. И в этот же вечер было решено завтра же казнить Мезенцева. „Смерть за смерть", как была озаглавлена брошюра Кравчинского по поводу убийства Мезенцева, соответствовала действительности: убийство подготовлялось давно, но непосредственным толчком к нему была казнь Ковальского.

Местом действия избрана Михайловская площадь: на углу площади и Итальянской улицы можно было стоять пролетке,—здесь помещалась кондитерская Кочкурова. Открывалась она рано, и пролетка не обращала на себя внимания.

4 августа 1878 г. в $7^1/_2$ часов я в татерсале. Запрягаю Варвара. Одеваюсь в кучерское. Выезжаю. Ровно в 8 час. я на Михайловской площади. Проезжаю мимо Михайловского сквера, вижу там Сергея и Семена. Сидят на разных скамейках. Сергей читает газету. Газета сложена вдвое. В ее складке, знаю, итальянский стилет, сделанный по специальному заказу — „для охоты на медведей", было объяснено мастеру. Становлюсь у кондитерской Кочкурова вдоль Итальянской лицом к углу Садовой, но так, что у меня на виду панель Михайловской площади. Через четверть часа сквером, затем мимо меня начинают проходить один за другим наши сигнальщики, наконец, идет Бердников. Знак,— Мезенцев повернул с Невского на Михайловскую улицу. Сергей выходит из сквера и, продолжая читать газету, медленно переходит на панель у кондитерской. Останавливается у ее стены. За ним еще медленнее идет Семен. Мезенцев, беседуя с Макаровым, поравнялся с Сергеем. Вижу быстрое движение руки Сергея. Слышу вскрик Мезенцева. Сергей быстро направляется ко мне. Макаров против ожидания бросился не на помощь Мезенцеву, а за Сергеем. Близко нагоняет его, ударяет концом зонта по шляпе. В этот момент Семен стреляет в Макарова. Макаров на мгновенье останавливается и поворачивает к Мезенцеву. Сергей садится в пролетку. Перепуганный выстрелом, Варвар бросается каким-то нелепым галопом прыжками.

Семену не сразу удается вскочить в пролетку. И мне приходится одновременно и укрощать Варвара и следить за движениями Семена. Наконец, Семен вскочил. И я могу сосредоточиться на Варваре. Взглянув вперед, вижу: пустынная несколько секунд назад, улица заполнена группами людей. Точно прикованные к месту, они остолбенело-вопрошающими глазами смотрят на нас,—они не знают еще, что произошло за углом, и не понимают, в чем дело. Быстро справляюсь с Варваром. Он своей обычной прекрасной рысью мчит нас к углу Садовой. За нами уже раздаются крики: „Держи! Лови!". За пролеткой уже бегут люди. Поворачиваю на Садовую. Обе стороны этого ее отрезка между Итальянской и Невским заполнены возами с дровами. На полной рыси Варвара маневрирую между ними. На углу Садовой и Невского стоит городовой и мирно беседует с кем-то,—грохот дровяных возов не доносит до него криков позади нас. Быстро пересекаем Невский. Выезжаем к памятнику Екатерины. Проезжаем между ним и Публичной библиотекой. Огибаем справа Александринский театр и направляем Варвара к Апраксину двору с этой его стороны. Здесь в обычной апраксинской толчее Сергей и Семен сходят с пролетки. Я, как это обычно делают кучера, спустив „господ", пересаживаюсь на заднее сидение и выезжаю на Садовую. Варвар идет небольшой свободной рысью.

Приехав в татерсаль, я застал продолжение утренней суеты: так же убирали лошадей, так же мыли экипажи. Я распрег Варвара, поставил его на место, закатил пролетку, переоделся и ушел. До Варвара очередь уборки еще не дошла. И когда полчаса спустя в татерсаль явилась полиция, обходившая все дворы и в первую голову татерсали, с вопросом: „Не выезжала ли отсюда сегодня пролетка на лежачих рессорах, запряженная вороным рысаком", то прислуга татерсаля с чистой совестью отвечала: „Нет". Все произошло так быстро, что за суетой они не заметили моего выезда. На этом „нет" все они стояли на следствии и на суде.

С завершением дела Мезенцева непосредственные участники должны были покинуть Питер, как только уляжется тревога первых дней. Сам собой решался вопрос и о возвращении моем в народ. И нашим центром было решено удалить нас трех из Питера.

Но... нас было так мало, а дела так много.

Как раз в это время подходил к концу вопрос о постановке газеты „Земля и Воля", как периодического нашего органа. Было решено: первый номер проредактировать сообща на собрании всех наличных в Питере членов организации, а в дальнейшем— такое собрание должно было редактировать только руководящие статьи, в остальном поручить ведение дела редакционной коллегии. Состав коллегии был тут же намечен. В мемуарной литературе я встретил несколько версий о составе ее. В моей памяти сохранился тот состав, кот. приводит О. В. Аптекман в своей „Земле и Воле": Кравчинский, Клеменц, Плеханов и я.

Редактирование первого номера „Земли и Воли" заняло много времени, особенно первая передовая, написанная Сергеем Крачинским. В ней излагались задачи нашей организации (с постановкой органа „Земля и Воля" это название стала носить и сама организация) в данный исторический момент: наши цели могут быть достигнуты только революционным движением трудящихся масс; работа в этих массах — наша основная работа; террор — только мера охраны этой основной работы. С большим подъемом, на который так способен был Сергей, статья призывала не увлекаться этой стороной работы, — увлечение может исчерпать силы организации, не дав, без движения масс, желанных результатов. Террор, как политическую систему, статья решительно отвергала. Эта часть статьи заняла два собрания. Извне в организацию доходили сведения о наличии взгляда на террор, как исключительное средство борьбы.

Номер целиком проредактирован. Сдан в типографию, и 10 октября (ст. ст.), помню, типография доставила корректуру всего номера. 11-го мы еще правили корректуру. Но 12-го утром я узнал, что ночью, после вооруженного сопротивления, арестованы Александра Малиновская и Коленкина. Немедленно отправился предупредить других. Ближайшим по месту жительства был Леонид Буланов. К нему я и направился. Распределили мы с ним, кто из нас куда должен итти. Среди других, он должен был известить Оболешева. Адрес и фамилия, под которой жил последний („Сабуров"), Леониду, члену организации, известен не был. Адрес и фамилию я сказал ему. Он не сразу запомнил, и то и другое было записано на бумажку. Не помню, кто из нас записал, — боюсь, что я (на суде я настаивал на своем авторстве). Эта бумажка сыграла роковую роль в дальнейших арестах.—Из квартиры Леонида мы, по плану, должны были разойтись в противоположные стороны: у меня первым был Бердников, у Леонида — Сабуров - Оболешев. Но... при моем приходе к Леониду, я застал его читающим статью Н. К. Михайловского: „Дюринг и Ренан" в только что вышедшей книжке „Отечественных Записок". Я успел уже прочесть эту статью. И, спускаясь по лестнице, мы стали обмениваться мнениями. Да так увлеклись этим, что Леонид оказался идущим вместе со мной. Машинально, не прекращая разговора, дошли до квартиры Бердникова. Не взглянули на окно, где уже отсутствовал знак безопасности,— направились прямо к двери квартиры Бердникова. Прекратили спор только тогда, когда у двери перед нами вырос дворник с вопросом: „Вам кого?". Нахлынула орава „штатских", дворников, и нас повели в „часть". При входе в нее Леонид пытался уничтожить бумажку с адресом, но его крепко держали за руки. В одном из темных проходов части он успел выбросить бумажку в расчете, что в темноте ее затопчут, но зоркие „штатские" заметили ее, и в ту же ночь был арестован Сабуров, на утро — пришедшая к нему „наша Ольга" (Натансон). Бердников, оказалось, был арестован в ту же ночь, что и Малиновская с Коленкиной, — „наблюдение" за последними установило связь их квартиры только с квартирой Бердникова. Бердников во время обыска успел незаметно убрать с окна сигнал безопасности. И не будь „Дюринга и Ренана" и бумажки с адресом, дело на этот раз ограничилось бы только арестом Малиновской, Коленкиной и Бердникова.

Арестом заканчивается мое профессиональное участие в русском революционном движении. В дальнейшем это участие значительным не было. И дальше, насколько успею, отмечу только отдельные эпизоды, сколько-нибудь заслуживающие внимания.

Моя связь с делом Мезенцева была установлена только месяц спустя после ареста, совершенно случайно и неясно. Письмоводитель одной из полицейских частей был арестован по подозрению в передаче „революционерам" секретных распоряжений. Арестованный сознался. По его указанию, был арестован член нашей организации Трощанский, который вел сношения с ним. В своих показаниях этот письмоводитель упомянул, что в одной из бесед Трощанский сказал ему о местонахождении Варвара. Татерсали были вновь осмотрены. Произведена проверка всех хозяев лошадей, стоящих в татерсалях. Было установлено, что хозяин Варвара проживал по фальшивому паспорту. Варвар был взят. Хозяйке квартиры, где в свое время жил поставивший в татерсаль Варвара Тюриков (Семен), были показаны все арестованные. Она во мне узнала „Поплавского", проживавшего у нее с Тюриковым. Но прислуга татерсаля, которой я также был предъявлен, показала: „Похож на того, который брал Варвара, но твердо сказать не можем", и все таки упорно продолжала настаивать,

что 4-го августа Варвара никто не брал. Для судебного следователя, который вел следствие по делу об убийстве Мезенцева, этих данных было недостаточно для моего обвинения и у него, в моем присутствии, при допросе, произошли резкие объяснения с прокурором. Но для III Отделения дело было ясно.

В Трубецком бастионе к этому времени назрел конфликт с начальством. Конфликт закончился нашим „бунтом“ и жестоким избиением. На следующий день мы потребовали бумаги для заявлений по этому поводу. Нам отказали: была объявлена голодовка. На четвертый день ее бумага была дана, и заявления поданы. Еще день и в тюрьму явился Дрентельн. Обошел камеры. Ко мне обратился с вопросом: „Читал ваше заявление. Жалуетесь на беззаконные действия начальства вы, отрицающие всякие законы?“—„За отрицание законов мы вот здесь, в тюрьме, но вы-то, признающие ваши законы, должны-же соблюдать их или нет?“ — спросил я. После нескольких минут препирательств Дрентельн махнул рукой и, сказав: „Нам с вами, конечно, не сговориться“, вышел.

В один из ближайших дней свиданий с родственниками ко мне зашли тюремщики и, предложив одеться (на свидание водили в собственном платье), сказали „на свидание“. Я был удивлен. Войдя в помещение свиданий, был поражен, — передо мной была моя сестра Надя. Обстановка не позволяла мне выяснить, как Надя узнала о моей судьбе и оказалась в Питере. И только два слишком года спустя, на общих свиданиях в Красноярской тюрьме, когда надзор не имел возможности следить за отдельными разговорами, для меня раскрылась история отношений сестры ко мне. Отец, умирая, просил ее быть для меня не только сестрой, но и матерью. Выполняя это завещание, она старалась держаться всегда вблизи меня. С моим переходом в Московский университет переехала в Москву и она. И вдруг я исчез. После долгих и безуспешных поисков, сестра вернулась на Кавказ. Здесь, три слишком года спустя, когда устраивалась ее личная судьба — замужество, — она получила известие о моем аресте. Немедленно поехала в Питер, сказав жениху: „Теперь я не принадлежу себе“. Выяснив в Питере мое положение, решила не оставлять меня. После суда подала „диктатору сердца“ (Лорис-Меликову) заявление о желании следовать на каторгу. Получила ответ: „Ваш брат умрет здесь, в крепости“. Общая атмосфера ожиданий перемен поддерживала у Нади надежду, что жестокий ответ не осуществится. Свидания после суда не разрешались,—из осужденных по нашему процессу Веймар, Оболешев, Трощанский и я были „на каторжном положении“. Но сестра терпеливо ждала. В августе 1881 г. узнала, что нас отправляют в „Карийскую государственную тюрьму“. Подала заявление Игнатьеву (тогдашний министр внутренних дел) о желании следовать за братом. Игра ли на „примирение“, которую вел Игнатьев, необычность ли явления — сестра, желающая следовать за братом на каторгу,—но разрешение было дано. И вот начинается мучительное для сестры долгое путешествие следом за партией „государственных“. Итти с партией, как это делалось женами, ей не разрешили, — в игнатьевской резолюции было сказано: „разрешается ехать на собственный счет“. Но „собственного счета“ ни наследственного, ни благоприобретенного у сестры не было, и ей приходилось останавливаться в попутных городах для заработка (за время ожидания в Питере сестра-институтка прошла акушерские курсы). Медленное движение партии этапами (железной дороги еще не было) позволяло это. 14 лет спустя, с переводом на поселение, я был назначен в Якутскую область. Сестра подает Забайкальскому военному губернатору заявление о желании следовать за мной, но по состоянию своего здоровья просит поселить меня в Забайкалье. Вероятно, необычайность случая сыграла свою роль, и Якутка была заменена мне Баргузином, куда за мной последовала и сестра. Недостаток времени и места не позволяют мне остановиться подробнее на этом исключительном явлении. История русской политкаторги знает жен, следующих за мужьями, начиная с „жен декабристов“, знает матерей, навещавших своих детей-каторжан, но сестра, последовавшая за братом на каторгу, — случай, насколько мне известно, единственный. Умерла Надя в 1918 г. в России.

Возвращаясь к своей автобиографии, ограничусь простым перечнем дальнейшего. В мае 1880 г. военный суд по так называемому „делу Веймара“ вынес Сабурову (Оболешеву) и мне смертный приговор. „Диктатура сердца“ заменила обоим казнь каторгой. Оболешев, Веймар и я были оставлены в Петропавловке и переведены на так называемое „каторжное положение“. Оно описано С. И. Мартыновским в „Каторге и Ссылке“. В августе 1881 г. нас и судившихся после нас участников процесса 16 (Квятковский, Пресняков, Зунделевич, Мартыновский и др.), содержавшихся на том же „положении“, эвакуировали на Кару. Я был отправлен в последней партии. Доставили меня туда в феврале 1882 г. Через две недели по водворении в „Карийскую государственную тюрьму“ произошел побег восьми (Мышкин, Минаков и др.). Тюремные репрессии вызвали нашу голодовку. Продолжалась она 12 дней. По

окончании ее начальство выделило „вредно влияющих на других" и часть их отправило в Питер, часть перевело в одиночки тут же. В числе последних был и я.

В 1889 г., после наказания Сигиды, заключенные, как известно, протестовали попыткой массового самоубийства. В этом протесте участвовал и я. Из участников в нем погибли в мужской тюрьме Бобохов и И. Калюжный. В сентябре 1890 г. Карийская тюрьма была ликвидирована: не окончивших так называемого „срока испытания" перевели в Акатуй; окончивших перевели в „вольную команду" (официально „каторжные внетюремного разряда"). Здесь я женился на Г. Н. Добрускиной.

В 1895 г. мы были переведены на поселение. В 1901 г. нам было разрешено жить в Чите.

В 1905 г. я был негласным редактором газеты „Забайкалье". В январе 1906 г. по телеграмме Акимова (тогдашний министр юстиции) я был арестован. Прибывший с карательным поездом ген. Ренненкампф в свою очередь отдал приказ о моем аресте. Возникли телеграфные пререкания между министром и генералом, в чьем обладании я должен находиться. „Судьба русского обывателя нередко зависит от междуведомственных пререканий" (Щедрин)—одержало верх самолюбие министра,—я был спасен от ренненкампфовского расстрела, и в мае 1906 г., во время первой Думы, меня судила выездная сессия Иркутской судебной палаты. Она дала мне год крепости, норму тогдашнего времени для редакторов. Выйдя из тюрьмы, в 1907 г. редактировал только-что основанную крестьянскую газету „Земля". Газета имела большой успех среди крестьян и забайкальских казаков, но на 10 № была закрыта распоряжением генерал-губернатора.

К этому времени дошла и до нас очередь применения так называемой „Виттевской амнистии", и мы немедленно выехали в Россию.

Морейнис, Михаил Абрамович *).

Я родился в 1861 г. в г. Николаеве в зажиточной еврейской купеческой семье. Мои родители принадлежали к правому течению ортодоксального еврейства и стремились дать мне, единственному сыну, соответствующее воспитание. Чуть ли не с 10-летнего возраста моей заветной мечтой было поступить в гимназию, но в то время у евреев считалось большим грехом и преступлением отдавать своих детей в русские учебные заведения. И всякий, дерзавший на такой шаг, подвергался бойкоту и преследованию со стороны своих родственников и всего еврейского общества. Я вскоре понял, что мой отец никогда, ни при каких условиях, не согласится отдать меня в гимназию, и решил проходить гимназический курс с таким расчетом, чтобы к определенному возрасту быть готовым к поступлению в университет. Я посвятил в эту тайну и своих учителей.

С 15-летнего возраста я был знаком с существовавшими тогда в Николаеве революционными кружками. Некоторые из знакомых членов кружков сочувствовали мне и помогали осуществить мою заветную мечту. В 1875 г. из Вены в Николаев возвратился студент венского технолог. института Соломон Яковлевич Виттенберг, с которым меня познакомили, насколько я помню, братья Златопольские. Вскоре Виттенберг стал заниматься со мной. Со свойственной ему энергией и умением он принялся готовить меня к поступлению в университет. Виттенберг произвел на меня чарующее впечатление. Его выдающиеся педагогические способности мне казались необыкновенными. С восторгом и восхищением я слушал его уроки по математике и теперь, спустя пол века, я помню их до мельчайших подробностей. С каждым днем я все больше и больше привязывался к этому замечательно благородному и выдающемуся человеку, память о котором я до сих пор свято храню.

Моя жизнь в юные годы проходила под таким громадным влиянием Виттенберга, что, говоря о себе, я не могу не рассказать и о нем.

Соломон Яковлевич Виттенберг род. в 1852 г. в бедной ортодоксальной еврейской семье. Отец его занимался починкой и продажей старых зеркал, а мать, очень умная и очень религиозная женщина, занималась хозяйством, а в свободное время читала еврейскую литературу, которую она недурно знала и очень любила. Уже в раннем детстве необычайная память и исключительные способности маленького Виттенберга обратили на себя внимание его родителей и их знакомых: еще ребенком он научился свободно переводить библию с древнееврейского языка на разговорный, и все ожидали, что из него выйдет замечательный талмудист. Лет девяти Виттенберг научился и русской грамоте, а затем у него явилось желание поступить в русскую гимназию. После долгой и упорной борьбы с родителями мальчик, благодаря поддержке своей старшей сестры, добился своей цели. В гимназии уже с третьего класса он стал давать уроки и скоро приобрел большую популярность в городе, как замечательный преподаватель, при чем и гимназическое начальство очень высоко ценило его способности. Но перед самым окончанием

*) Автобиография написана в марте 1926 г. в г. Одессе.

гимназии у него вышел незначительный инцидент с одним из учителей и, по постановлению педагогического совета, Виттенберг должен был отсидеть два часа в карцере. Считая это постановление несправедливым, он отказался ему подчиниться и оставил гимназию, в которую попал с таким трудом.

Кажется, в 1872 г. Виттенберг уехал в Вену, поступил там в Технологический институт вольнослушателем, выдвинулся своими способностями, но, в конце концов, вследствие тяжелого материального положения еще до окончания института решил поехать в Николаев с тем, чтобы, заработав там уроками деньги, возвратиться в Вену и продолжать учение.

В 1875 г., когда Виттенберг временно вернулся в Николаев, там уже около двух лет существовала народническая организация и были революционные кружки молодежи, куда входили многие из тех, кого знал Виттенберг еще по гимназии. В 1876 г., когда я стал учиться у Виттенберга, я часто встречал его в семье Левандовских и у Златопольских. В том же году он был в первый раз арестован и заключен в Николаевский морской тюремный замок, где познакомился с боцманом Логовенко и другими матросами. Арест Виттенберга прервал мое учение ненадолго; через пять недель он был освобожден и сразу же приступил к педагогической работе.

В это время народническое движение было на переломе: в конце 1876 и в начале 1877 г. многие начинают покидать деревни, и в Николаеве все чаще и чаще стали появляться работники из деревень. Настроение у многих было тяжелое и подавленное. Одни из них уехали из Николаева в Одессу, другие—в Петербург. Кажется, в середине 1877 г. Виттенберг уехал из Николаева в Одессу, летом 1878 г. он принял участие в демонстрации у здания военного суда после приговора над Ковальским, оказал вооруженное сопротивление полиции и бежал в Николаев. Здесь он вынужден был скрываться.

Я виделся с ним постоянно, и однажды он рассказал мне, что Николаевский военный суд приговорил к каторжным работам солдата Опришко за распространение нелегальной литературы среди чинов гарнизона. Было решено, что я постараюсь установить связь с Опришко. Мне удалось получить с ним свидание, и я начал делать ему передачу. Опришко обратился к нам с просьбой помочь ему бежать, и мы дали согласие.

Утром 6-го марта я отправился к Виттенбергу, жившему тогда на квартире Пулевич вместе с нашими товарищами Зайднером и Лури. У двери меня встретил родственник Пулевича и сообщил, что у Зайднера и Лури идет обыск. Мне удалось предупредить об этом Виттенберга, которого не было дома, а затем Виттенберг и я расположились в сквере недалеко от квартиры Пулевич и смогли предупредить направлявшихся к Виттенбергу матросов Логовенко и Тишенко (впоследствии приговоренного Харьковским военным судом к бессрочной каторге под фамилией Березнюк). Лури и Зайднер были арестованы, но жандармы ограничились обыском только в их комнате и не обнаружили спрятанные в соседней комнате два ящика с пироксилином. Этот пироксилин я отвез к себе и спрятал в одной из мин в обширном погребе дома моих родителей, где мы хранили нелегальную литературу.

В тот же день мой товарищ, студент горного института, А. Л. Рашков, и я нашли на Инженерной улице подходящее помещение. Рашков снял его на свое имя, и там поселились Виттенберг и Логовенко. Оказавшийся у нас пироксилин Виттенберг задумал употребить на устройство взрыва во время приезда в конце августа в Николаев государя. Мысль об убийстве Александра II вполне соответствовала нашему настроению. Мы с радостью изъявили согласие принять самое активное участие в работе и приведении в исполнение намеченного плана. Организацию и техническое оборудование этого дела принял на себя В. Логовенко, который взялся достать через матросов из морского минного парка все, что понадобится для приготовления мины. Виттенберг со свойственной ему энергией немедленно приступил к работе. Виттенбергу и Логовенко нельзя было появляться на улице, и они сидели в своей квартире, а все сношения с внешним миром велись через меня, аккуратно посещавшего два раза в день квартиру на Инженерной улице. Посещение квартиры другими Виттенберг считал нежелательным. Вскоре выяснилось, что необходимо приготовить еще одну квартиру, а так как имевшихся у нас средств и людей было недостаточно, то Виттенберг решил обратиться за помощью в Одессу. Мичман Александр Андреевич Калюжный, отправляясь в Петербург в Морскую академию, согласился поехать через Одессу и передать поручение Виттенберга. Прибывший через несколько дней на пароходе из Одессы Щепанский был задержан на пристани жандармским офицером, командированным в Николаев по случаю ожидавшегося приезда государя. Жандармский офицер знал Щепанского по Киеву, где последний состоял одно время под надзором. При обыске у Щепанского был захвачен адрес „Инженерная 10, спросить студента Рашкова". Явившись по этому адресу, жандармы арестовали Виттенберга и Логовенко. При обыске у Виттен-

берга оказалась гальваническая батарея с запалами и нелегальная литература. Арестованный Виттенберг отказался дать показания и был заключен в Николаевский морской замок. Логовенко был отправлен в Одессу и заключен в Одесскую городскую тюрьму, где содержались скрывшиеся еще в июне с помощью Свириденко из черноморского экипажа матросы: Скорняков и Никитин и арестованный по указанию последних Андрей Баламез. Скорняков и Никитин стали выдавать всех, а Андрей Баламез предал жандармам Лури и Зайднера, которые и были арестованы в Николаеве по предписанию Одесского жандармского управления.

В конце августа я был задержан на гауптвахте во время свидания с Опришко. Я был предъявлен хозяйке дома на Инженерной улице, и она узнала во мне лицо, приходившее вместе с Рашковым нанимать квартиру и ежедневно посещавшее Виттенберга. Жандармы вместе со мной поехали ко мне домой и в моем присутствии произвели обыск, ограничившись лишь занимаемой мною комнатой, где ничего не нашли. Меня оставили на свободе. Страстное желание освободить Виттенберга не покидало меня чуть ли не с первого дня его ареста. Я познакомился и сблизился с одним из солдат, бывавшим у Виттенберга на карауле в тюрьме, и завязал сношение с Виттенбергом. Таким образом, я получил от Виттенберга письмо, с изложением плана освобождения его из тюрьмы. Этот план я считал неудачным, но написал в Одессу, что установил сношения с Виттенбергом, и что есть возможность устроить побег. Из Одессы для устройства побега приехали Юрковский, получивший впоследствии известность по делу о конфискации денег в Херсонском казначействе, и Ел. Ив. Россикова. Юрковский был необычайно ловкий, находчивый и смелый человек, очень подходящий для того, чтобы организовать побег. Но он должен был очень скоро уехать, а присланные вместо него товарищи не вполне были пригодны для такого предприятия.

В первых числах ноября 1878 г. я получил из Одессы от Е. И. Россиковой письмо с предложением перевезти туда хранившийся у меня пироксилин и сообща обсудить план побега Виттенберга. Я выехал из Николаева совместно с лепщиком М. Теркой, который впоследствии стал одним из самых активных работников Народной Воли, участвовал в подготовке покушения на Александра II и умер в Петропавловской крепости. Через несколько дней, возвращаясь в Николаев вместе с Теркой, я получил от Сав. Златопольского чемодан с нелегальной литературой. Как только пароход причалил к пристани, на него пробрались мои сестры и предупредили меня, что в мое отсутствие ко мне приходили жандармы, которые ждут теперь меня на пристани. Я передал чемодан Тетерке, сошел на пристань и был арестован.

Недостаток места не позволяет мне подробно рассказать о том, как протекало мое тюремное заключение. Скажу только, что первоначально я был посажен в тюрьму, куда скоро были доставлены: Ф. Н. Левандовская, арестованная в Одессе, и А. Л. Рашков, арестованный в Петербурге, с которыми я, благодаря доброжелательному отношению караульных солдат, установил переписку. Через три недели меня перевели в одиночную камеру при полицейском участке, где приходилось жить в антисанитарных условиях, но была возможность получать передачу и сноситься с волей при помощи городовых, за небольшое вознаграждение оказывавших разные услуги.

Весной 1879 г. я потребовал, чтобы меня перевели в морской замок, где санитарные условия были значительно лучше, и добился этого при помощи голодовки. В морском замке я был посажен в одну камеру с П. Ковалевым, которого я хорошо знал еще на воле по тем кружкам революционной молодежи, членом которых он являлся.

В мае 1879 г. находящийся в Николаеве военный гарнизон был переведен в другую губернию, а на смену пришли другие два полка. Части пришедшего в Николаев гарнизона, несшие караульную службу в морском замке, вели себя по отношению к нам всегда корректно, и никаких столкновений ни у кого из наших товарищей с ними не было. Многие офицеры нового гарнизона воспитывались в Константиновском военном училище, были образованнее и культурнее офицеров ушедшего гарнизона. Никто из вновь пришедших к нам в караул офицеров не разрешал солдатам обыскивать при приемке и передаче караула нашей камеры. Явившись в первый раз в морской замок, караульный офицер распорядился выпустить нас, т. е. меня и Ковалева на прогулку; не прошло и пяти минут, как к нам привели Калюжного, а затем и Виттенберга. Мы были до того удивлены и поражены происшедшим, что не знали, как быть. Мы решили, что караульный начальник не знал инструкции, запрещающей нам сообщаться друг с другом, и, чтобы не подвести офицера, мы, по предложению Виттенберга, решили разойтись. Отношение и поведение некоторых офицеров очень заинтересовало нас, и мы стали присматриваться к ним. Мы заметили, что между нижними чинами и офицерами были очень хорошие отношения. Мы решили поближе познакомиться с офицерами и пользовались всяким удобным случаем, чтобы завязать с ними разговор. В дальнейшем мы убедились, что многие

из офицеров симпатизируют и сочувствуют нам, что, конечно, в высшей степени радовало всех нас. У меня опять возродилась надежда на освобождение Виттенберга, судьба которого все время не переставала волновать меня. Познакомившись поближе с одним из офицеров, который чаще других попадал к нам в караул, я создал себе план освобождения Виттенберга из морского замка с помощью этого офицера. Я рассказал и подробно развил свой план Ковалеву, которому эта идея очень понравилась, и он сказал, что даст для этой цели деньги. При первом нашем свидании с Виттенбергом, я познакомил его с созревшим у меня планом освобождения его из тюрьмы, который с увлечением и горячностью ему изложил. Виттенберг внимательно выслушал меня и сказал: „Хорошо, допустим, что офицер согласится принять участие, план прекрасно выполнен, побег удался, и я уже нахожусь по ту сторону границы вне всякой опасности. Допустим, что весьма возможно, что жандармам удалось установить, хотя бы даже только причастность офицера к этому делу, и он попадает в тюрьму. Нет, такой путь к свободе для меня не приемлем“. Больше мы к этому разговору уже не возвращались.

Двадцатого июня 1879 г. я был переведен в Одесскую тюрьму.

В самом конце июня меня в числе 28-ми привлекавшихся по нашему делу перевезли из Одесской городской тюрьмы в известные казармы № 5. В половине июля нам вручили обвинительный акт, из которого мы впервые узнали, что Виттенберга и Логовенко обвиняют в подготовке, посредством взрыва, покушения на государя во время его пребывания в Николаеве. Основанием для этого обвинения были показания провокатора Веледницкого, который из тюрьмы сообщил жандармскому полковнику, что Логовенко рассказал ему, что в Николаеве подготовлялось покушение на государя посредством взрыва. Сам Веледницкий на суд, конечно, не явился. На суде Виттенбергу удалось добиться оглашения протокола экспертной комиссии. Из протокола выяснилось, что прокуратура и жандармы, производившие дознание и следствие, отрицали возможность закладки мины и устройства взрыва и показаниям Веледницкого не придавали значения. Экспертная комиссия в составе командующего черноморским флотом адмирала Аркаса, начальника порта, начальника Херсонского жандармского управления и других, исследовав местность, также дала заключение, что закладка мины не могла быть произведена. Но военный прокурор, выполняя данное ему помощником генерал-губернатора Панютиным задание, поддерживал обвинение против Виттенберга и Логовенко всеми средствами. Назначенные нам судом военные защитники говорили, что приговор заранее предрешен, и пятеро подсудимых будут казнены. В 1921 г. я нашел в архиве переписку одесского генерал-губернатора с министром внутренних дел Маковым, из которой видно, что предусмотрительный генерал-губернатор еще за 23 дня до начала слушания дела хлопотал о присылке палача.

Двадцать пятого июля началось слушание дела. Никто из родных и родственников в суд допущен не был. В зале суда были лишь некоторые судейские, занимавшие большие посты. Настроение у подсудимых было бодрое. Во время перерыва нас выводили в большой зал. Подсудимые разбивались на группы, разговаривали, шутили, смеялись и делились впечатлениями и пр. Присутствовавшие постоянно в суде одесский градоначальник, молодой генерал Гейнц, и полицмейстер, морской офицер Перелешин, во время перерыва подходили к нам и вступали в беседу. Беседы велись на различные темы всегда мирно и корректно. Капитан Перелешин с увлечением рассказывал об Амурском крае и совершенно искренне советовал всем, кто будет сослан в Сибирь, стараться попасть на Амур. Почти с первого дня судебного следствия всем стало ясно, что приговор заранее предрешен, и поэтому подсудимые пассивно относились к ходу судебного следствия. Все подсудимые, казалось, больше интересовались перерывами, во время которых каждый спешил, быть может в последний раз, поделиться своими мыслями и думами со своими друзьями.

Обвинительная речь прокурора была сплошь построена не на серьезных уликах, а больше на предположениях и догадках. После пространной и очень гнусной речи прокурора последовал короткий ответ со стороны Лизогуба и очень немногих других подсудимых. Лишь Виттенберг, не обладавший ораторским талантом, в простой и логической речи, длившейся несколько часов, произвел подробный тщательный анализ следственного материала и обвинительной речи прокурора. Доказывая необоснованность и беспочвенность выдвинутого против него и многих других подсудимых обвинения, Виттенберг метко критиковал и ядовито высмеивал шулерские приемы и дешевые эффекты, к которым в своей обвинительной речи прибегал красноречивый и бравый подполковник. 6-го августа к 12-ти часам дня закончилась обычная судебная процедура, и суд удалился на совещание, а подсудимых увели в камеры.

Часам к семи нас всех тщательно обыскали и под усиленным конвоем ввели в зал суда, находившийся в помещении казармы № 5. Подсудимые, заняв свои места за решеткой, были окружены двойной

цепью вооруженной стражи. В зале воцарилась гробовая тишина. Вскоре двери совещательной комнаты растворились, и судебный пристав произнес: „Суд идет“. Сильно волнуясь, председатель дрожащим голосом прочитал приговор, коим военный суд, признавая всех виновными в предъявленных им обвинениях, постановил подвергнуть всех двадцать восемь обвиняемых смертной казни через повешение, но, принимая во внимание ряд смягчающих вину обстоятельств, возбудил ходатайство перед генерал-губернатором о замене смертной казни для одних каторгой, а для других, в том числе и для меня, лишением всех прав и ссылкой в отдаленные места Восточной Сибири. В отношении Лизогуба, Чубарова, Виттенберга, Логовенко и Давиденко ходатайства о снижении меры наказания суд не возбуждал, и по отношеиию к ним приговор должен был остаться в силе. Находившийся в зале суда градоначальник Гейнц разрешил мне поместиться в одной камере с Виттенбергом и тут же отдал распоряжение перевести меня к нему в камеру и выполнить аналогичные просьбы некоторых других подсудимых.

Уже было совсем темно, когда я вошел в камеру Виттенберга. Он ходил взад и вперед по камере. Я уселся молча на кровать. У меня не хватало духа заговорить, но чуткий, добрый и благородный Виттенберг поспешил вывести меня из этого состояния и первый вступил в разговор. Говорил он обо многом, вспоминал первые дни своего пребывания в Вене. С большим юмором рассказывал эпизоды из своей жизни в Вене. Он с восторгом впоминал о своих посещениях театра и особенно оперы, которую он очень любил. Виттенберг познакомил меня с содержанием оперы „Вильгельм Телль“ и с большим чувством и громадным увлечением передавал особенно сильные места этой оперы. В эти минуты, казалось мне, Виттенберг забыл про все и перенесся в мир переживаний Вильгельма Телля.

На второй день после приговора, т.-е. 7-го августа, Виттенберг был удручен и озабочен. Его волновало предстоящее свидание с родителями: „Что я могу ответить, когда старики будут умолять подать прошение о помиловании? Как страшно поразит их мой отказ, и как они будут реагировать на мой отказ. Поймут ли они меня?“ Мысли эти неотступно преследовали Виттенберга, волновали и терзали его душу. Утром 8-го августа Виттенберга позвали на свидание с родителями. В тяжелом и подавленном настроении он оставил камеру, уходя на последнее свидание с любимыми родителями и со своим маленьким сыном. Стойкость, которую его несчастная мать проявила на этом свидании, успокоила и ободрила ее сына. Когда Виттенберг вошел после свидания в камеру, он был неузнаваем. Выражение лица было совершенно спокойное и мягкое, он находился под впечатлением поведения своей матери. Чуткая и благородная женщина проявила необычайную сдержанность и спокойствие: ни малейшего даже намека на подачу прошения с ее стороны не было, а когда на обращение отца: „Может, ты подашь прошение генерал-губернатору“, Виттенберг ответил: „Если осужденный переходит в православие, то наказание, говорят, смягчают на одну степень“,—мать сказала: „Умри таким, какой есть, сын твой вырастет и отомстит за тебя“. На этом разговор о прошении оборвался. Весь день Виттенберг находился под впечатлением поступка матери. Утром 9-го августа, когда надзиратель принес кипяток для чая, он с обычной ловкостью всунул в руки Виттенберга записку от моей сестры Ф. А. Морейнис, которая была его ученицей и очень высоко его ценила. В своей записке она писала, что хотела бы отомстить за его смерть. Виттенберг показал мне эту записку и свой ответ, который я целиком привожу:

„Мои друзья, мне, конечно, не хочется умереть, и сказать, что я умираю охотно, было бы с моей стороны ложью. Но это последнее обстоятельство пусть не бросает тени на мою веру и на стойкость моих убеждений; вспомните, что самым высшим примером человеколюбия и самопожертвования был, без сомнения, Спаситель: однако, и он молился: „Да минует меня чаша сия“. Следовательно, как я могу не молиться о том же? Тем не менее и я, подобно ему, говорю себе: „Если иначе нельзя, если для того, чтобы восторжествовал социализм, необходимо, чтобы пролилась кровь моя, если переход из настоящего строя в лучший невозможен иначе, как только перешагнувши через наши трупы, то пусть наша кровь проливается; пусть она падает искуплением на пользу человечества; а что наша кровь послужит удобрением для той почвы, на которой взойдет семя социализма, что социализм восторжествует и восторжествует скоро—это моя вера. Тут опять вспоминаешь слова Спасителя: „Истинно говорю вам, что многие из находящихся здесь не вкусят смерти, как настанет царство небесное“, я в этом убежден, как убежден в том, что земля движется. И когда я взойду на эшафот, и веревка коснется моей шеи, то последняя моя мысль будет: „И все-таки она движется, никому в мире не остановить ее движения“.

В особой приписке, предназначавшейся для моей сестры, Виттенберг писал: „Если ты придаешь какое-либо значение моей воле, если считаешь священным мое последнее желание, то оставь всякую мысль

о мести. „Прости им, не знают бо, что творят“. Это также знамение времени: ум их помутился, они видят, что скоро настанет другое время, и не знают, как отвратить его. Еще раз прошу тебя, оставь всякую мысль о мести. Виттенберг“.

9-го августа после 9-ти часов вечера мы услыхали движение и гул шагов в коридоре. Стали напряженно прислушиваться. Слышим, как открывают дверь какой-то камеры, и все затихает, потом дверь опять захлопнулась, и опять гул шагов и движение, опять лязг затворов и стук открывающихся дверей. Мы тревожно и напряженно прислушиваемся. Слышим, шаги приближаются к нашей камере. Надзиратель открывает дверь, и в камеру входят Лизогуб, Чубаров и Давиденко, а позади смотритель Потапенко и какой-то субъект в светлом летнем пиджаке. Это, как мы потом узнали, был палач. Лизогуб спокойно говорит Виттенбергу по-немецки, что их сейчас переводят в тюрьму, что их казнь назначена на 10 часов утра, и что приговор над Виттенбергом и Логовенко будет приведен в исполнение в Николаеве, и завтра их отправят туда пароходом. Чубаров и Давиденко стояли молча и молча распрощались. Их повели прощаться в следующую камеру. Десятого августа, утром, Виттенберг надел свой парадный черный сюртучный костюм, и около часу дня его повели прощаться с нашими осужденными товарищами.

Трудно передать то, что я пережил после того, как увели Виттенберга. Целый день я одиноко бродил по камере. Я не волновался и внешне, казалось, был совершенно спокоен. Я не мог отдать себе отчет в происшедшем: за эти мучительные кошмарные дни нервы мои притупились и не могли уже реагировать так интенсивно, как раньше. Я бросился на кровать, крепко заснул и во сне с необычайной яркостью воскресил картинки самого раннего детства. Проснувшись, я весь находился под впечатлением сна, вспоминал детство, думал о слепом отце, которого мы очень любили и уважали, вспоминал о том, как я и моя сестра ушли из дома, куда я потом по просьбе отца вернулся, и многое другое. Я напрягал все силы, чтобы отделаться от мучительных воспоминаний, но мне долго не удавалось это сделать.

Кажется, на третий день после казни Лизогуба, меня вместе с Рашковым, Горяиновым, Ф. Н. Левандовской и другими оправили в Москву, а оттуда в середине сентября с большой партией ссыльных мы двинулись в Сибирь.

Недостаток места не позволяет мне рассказать подробно о нашем пути. Скажу только, что в марте 1880 г. я вместе с Рашковым, Горяиновым, Гаврилом Баламезом и четырьмя административными ссыльными прибыли в гор. Баргузин Забайкальской области, где мы застали Тютчева, Любовца и некоторых других ссыльных, живших там уже больше года.

Сначала местное население, благодаря строгостям и преследованиям, боялось сближения и знакомства с нами. Сперва лишь некоторые более разумные и независимые местные жители начали осторожно знакомиться с нами. Но со временем наше влияние на население не только в самом городе, но и в окрестностях, стало громадным. Я и Рашков занимались уроками. Мы и многие из наших товарищей всюду бывали, и с нашим мнением считались все и даже само наше начальство. В 1886 г. я по манифесту получил право приписки к крестьянскому обществу; осенью того же года я поехал в Читу, а оттуда в Сретенск. В Чите в то время была довольно большая колония: Шишко, Синегуб, Чернявский, моя сестра и др. Здесь, как и в Баргузине, влияние ссыльных было громадное. Некоторые из них принимали участие и в общественной жизни.

Из Читы я переехал в Сретенск, затем в Томск, но вскоре должен был вернуться в Читу, потому что томский губернатор начал „разгружать“ Томск от ссыльных, пребывание которых в городе ему казалось нежелательным, а затем мне удалось перебраться в Иркутск, который был крупным культурным центром. Издававшаяся там газета „Восточное Обозрение“, вскоре перешедшая от Н. М. Ядринцева к И. И. Попову, широко привлекала ссыльных в число своих сотрудников. В Иркутске я застал М. А. и В. И. Натансон, С. А. Лянды и ставшую его женой Ф. Н. Левандовскую, Любовца, Чудновских и некоторых других ссыльных. Жизнь в Иркутске была интересна, и здесь так же, как и в других местах, ссыльные пользовались большим влиянием. В Иркутске я прожил десять лет, занимаясь педагогической деятельностью, затем получил возможность вернуться в Николаев, а оттуда, после того, как с меня был снят полицейский надзор, я переехал в Одессу, где и остался жить.

Морейнис-Муратова, Фанни Абрамовна*).

Родилась я в 1859 г. в Николаеве Херс. губ. в ортодоксальной, патриархальной еврейской семье. И отец и мать происходили из семейств богатых, религиозных и пользовавшихся в течение нескольких поколений большим уважением в еврейской среде.

*) Автобиография написана в марте 1926 г. в Москве.

Из детских лет сохранились в моей памяти рассказы об отце моей матери, крупнейшем подрядчике, строителе кораблей в Николаеве при Николае I, который в то время, когда не допускалось проживание евреев в этом городе, имел право приписывать к себе служащих и рабочих евреев и приписал таким образом несколько сот человек. Нам часто приводили в пример религиозную стойкость деда, рассказывая, как в то время, когда евреи носили особый национальный костюм и никогда не обнажали головы, он, присутствуя в качестве строителя кораблей вместе с Николаем I при торжественном спуске корабля, не снял перед государем своей конусообразной бархатной шапочки—ермолки. Дед имел очень много детей, и мы вращались в среде своих многочисленных родных, составлявших своего рода еврейскую аристократию и почти не водивших знакомства с остальным еврейским населением города. Быт был настолько патриархален, что выдавали замуж и женили своих детей так, что жених и невеста видали друг друга только перед венцом. Таким образом вышла замуж и моя мать, при чем дед взял зятя—моего отца—к себе в дом с тем, чтобы он, ранее изучавший только талмуд, постепенно привык к коммерческим делам.

С русскими не допускались в семье никакие сношения. Вся прислуга была еврейская, за исключением только одной русской девушки, которую держали для выполнения мелких работ в субботу. С евреями также было очень мало сношений, потому что семья смотрела на них сверху вниз—одни из них были бывшие служащие деда, другие, вновь прибывшие, часто представлялись недостаточно религиозными. Я распространяюсь так много о своем деде, так как память о нем наложила печать на все наше воспитание: нам постоянно твердили, что мы внуки Рафаловича, что на Рафаловичей смотрит весь город и т. д.

Моя мать была женщина неяркая,—она была не глупая, добросовестно несла семейные обязанности, была религиозна, но не отличалась фанатизмом, и если бы не влияние отца, которого она обычно во всем слушалась, не была бы особенно стойкой в соблюдении правил старого быта. Но отец был человек незаурядный — он выдавался своим умом, своей волей, своей религиозностью, доходившей до фанатизма, и своей честностью, доходившей до самоотвержения. Он занимался экспортом хлеба, заключая соглашения с представителями заграничных фирм.

Наше воспитание было очень просто: нас учили только читать и писать по-русски, по-еврейски и по-немецки и первым четырем правилам арифметики. Родители находили, что этим должно ограничиваться обучение не только девочек, но и мальчиков: брату давали такое же воспитание, как и нам, с той лишь разницей, что его заставляли, сверх того, изучать талмуд. Нас не приучали ни к какому делу; моя мать была так воспитана, что сама не делала никаких работ—все делала прислуга, и даже детей выкармливали кормилицы. И единственное занятие, которым мы могли заполнять свое время, было вышиванье и деланье цветов. В доме не было ни одной русской книжки, кроме азбуки и какой-то хрестоматии. И я даже не знала, что существует какая-нибудь русская литература.

После болезни отца, когда он ослеп, мы переехали в дом бабушки во флигель—во дворе было несколько флигелей, в которых жили ее взрослые дети в первые годы после свадьбы до тех пор, пока не отделялись от семьи. В одном из флигелей, находившихся на нашем дворе, поселился флотский офицер, капитан-лейтенант, очень своеобразный человек. Мне было тогда лет 12. Капитан-лейтенант заинтересовался нами—мы, вероятно, казались ему своего рода зверьками, всего чуждавшимися. Но нам было запрещено даже разговаривать с русскими, и он это скоро узнал. Тогда он постарался расположить к себе наших родителей, стал как бы невзначай при них заговаривать с нами, и они мало по малу к этому привыкли.

От него я получила первые русские книги, которые мне пришлось прочитать: „Тайны Мадридского двора“ и „Граф Монте-Кристо“. Эти книги, при всей их пустоте, произвели на меня громадное впечатление: я испытала то чувство, которое должен был бы пережить человек, живший в подземелье и вдруг увидевший сноп яркого света. Мое воображение заиграло с необычайной силой.

Но на этом чтение пока и окончилось; капитан-лейтенант уехал в дальнее плаванье на целый год. По возвращении из плавания он опять у нас поселился. И однажды, каким-то чудом, ему удалось уговорить нашу мать, никогда в жизни не бывавшую в театре, решиться на необычайно смелый по нашим понятиям шаг: тайком от отца и бабушки она поехала с нами в театр; капитан-лейтенант заказал для нас ложу, при чем сам, разумеется, не должен был в ней показываться. Мы попали на пьесу Островского, которая произвела на меня такое впечатление, что на несколько месяцев наполнила мою жизнь. Отец об этом ничего не узнал, но все же капитан-лейтенанту вскоре после этого бабушка и мои родители отказали от квартиры: им показалось, что он начал обращать внимание на мою старшую шестнадцатилетнюю сестру, которая была очень красива.

Мне очень хотелось учиться. Но сколько мы ни просили у отца на это разрешения, он

не соглашался, говоря, что нам это совсем не нужно.

В Херсоне у бабушки был брат, который после долгого сопротивления сделал уступку новому быту и разрешил своей дочери учиться. В конце концов, она уехала в Петербург и стала там изучать медицину. В 1875 г., возвращаясь в Херсон, она заехала в Николаев и остановилась у бабушки, хотя та и встретила ее очень холодно, смотря на нее, как на отщепенку. В течение нескольких дней, которые она прожила у нас, я почти не отходила от нее, расспрашивая ее и твердя ей о своем желании учиться. Она решила мне помочь: тайно от моих родителей она отвела меня и мою двоюродную сестру Хр. Гринберг к своим знакомым—сестрам Левандовским, жившим тогда в Николаеве и дававшим уроки. Фел. Ник. Левандовская (впоследствии Лянды) и ее сестра Вал. Ник. (впоследствии Белоконская) приняли нас ласково и выразили желание с нами заниматься. Было решено, что вместе со студентом Чудновским тайно от наших родителей они станут заниматься, чтобы подготовить нас к экзаменам за курс гимназии. В дальнейшем я мечтала поехать в Петербург и поступить на медицинские курсы.

Недостаток места не позволяет мне рассказать, к каким ухищрениям нам приходилось прибегать, чтобы скрывать дома свои занятия, и с какими предосторожностями посещали мы дом Левандовских: если бы наши родители узнали, что мы бываем у „гоев“, они не позволили бы нам выходить на улицу. Скажу только, что в течение 1875 и 1876 гг. мы упорно продолжали занятия, при чем делали чрезвычайно быстрые успехи: нам очень хотелось учиться, и способности у нас были не плохие. При этом мы не ограничивались учебниками, а много читали. Тургенев, Толстой, Достоевский, которых я раньше совсем не знала, открыли для меня новый неведомый мир, и я чувствовала себя в ту пору бесконечно счастливой.

Летом 1876 г. мы через Левандовских познакомились со студентом Савелием Златопольским (впоследствии умершим в Шлиссельбурге), с Виттенбергом, через три года после того казненным в Николаеве, и с некоторыми другими революционерами. Виттенберг начал давать нам и моему младшему брату Мих. Абр. уроки математики. Мы очень подружились с ним, хотя и смотрели на него всегда снизу вверх, как на человека, стоявшего на недосягаемой для нас высоте. В конце 1876 г. мы были уже готовы к экзаменам. Но для того, чтобы их держать, нужно было достать метрики и другие документы, которые нельзя было получить без согласия родителей. К тому же в это время у меня явилось сомнение, имею ли я право итти на медицинские курсы. Вначале я просто хотела учиться, участвовать в жизни, вырваться из того подземелья, в котором я жила. Теперь же под влиянием идей, с которыми я познакомилась через Сав. Златопольского и его друзей, у меня сложилось убеждение, что нельзя не только жить на чужой счет, но и вообще занимать привилегированное положение, и явилось желание вести ту жизнь, какую ведут люди физического труда.

В начале 1877 г. один из наших дядей получил сведения о наших занятиях у Левандовских и рассказал обо всем отцу. Родители, у которых и раньше являлись смутные подозрения на наш счет, запретили нам выходить из дома, и мы лишь изредка находили способ видаться с Сав. Златопольским, Виттенбергом и другими нашими друзьями. Но дело было уже сделано, и мы внутренно жили совсем в ином мире, чем тот, который нас окружал.

На дворе дома моих родителей жил сапожник, немолодой, богобоязненный еврей. Я стала его просить обучать меня сапожному ремеслу за небольшую плату, на которую я решила употребить свои карманные деньги. Он был очень изумлен, но, в конце концов, на это согласился. Родители же, узнав об этой затее, посмотрели на нее, как на какое-то сумасбродство; но когда я стала настаивать, говоря, что хочу научиться сама шить себе ботинки, они махнули на меня рукой—в их глазах это была нелепая, но безобидная причуда. Я же в душе решила, что, научившись шить сапоги и зарабатывать таким образом свой хлеб, уйду из дома. Через несколько месяцев после того умерла моя мать, и вслед затем отец, чувствуя, что мы остаемся без надзора, окончательно запретил мне заниматься сапожным ремеслом. Эта мера лишь ускорила уход из дома.

Оставлять слепого отца, незадолго до того потерявшего нашу мать, было бесконечно тяжело, тем более, что я очень любила и уважала его. Я знала, что мой уход будет для него тяжелее, чем моя смерть, так как он сочтет это позором для семьи. Но я считала, что обязана уйти из дома и зажить своим трудом.

Мой брат тоже решил уйти из дома, и отец пережил двойной удар: вечером 5 января 1878 г. ушел из дома брат, а на следующий день утром ушла я. Сознание, что все незаработанное мною не принадлежит мне, было у меня настолько сильно, что, уходя из дома, я не взяла, конечно, не только ни одного из тех золотых украшений, которые дарили мне бабушка и родители, но даже ничего из белья.

Левандовские, к которым я пришла, сперва отвели меня на окраину города к своим родственникам, а затем к знакомому извоз-

чику-штундисту, где меня приняли очень хорошо, и где я провела несколько дней. Тем временем Хр. Гринберг заявила своему отцу, что тоже уйдет из дома, если он не отпустит ее добровольно, и тот согласился на ее отъезд в Одессу, дав ей небольшую сумму денег.

Мы вместе приехали в Одессу. Сав. Златопольский направил нас на квартиру Ковальского, впоследствии казненного за вооруженное сопротивление полиции. Ковальский жил в своего рода коммуне (Виташевский, Свитыч, Кленов, Афанасьева и др.), где мы были приняты по-товарищески и очень радушно. Они предложили нам поселиться с ними, но мы боялись их стеснить и поспешили нанять себе на деньги, которые были у Хр. Гринберг, комнату и стали учиться сапожному ремеслу в мастерской, на которую нам указал Ковальский. А через несколько дней после того, как мы ушли от Ковальского, туда пришли с обыском. Было оказано вооруженное сопротивление, и если бы мы были там, то, освободившись от одного заточения, попали бы в другое.

Мы должны были жить очень экономно: покупали только хлеб, кажется на 12 коп. в день, делили его на три части, две из которых съедали дома за утренним и вечерним чаем, а одну—когда пили чай в мастерской. Обедать же мы совсем не обедали. В мастерской мы проводили весь рабочий день и довольно скоро усвоили процесс изготовления ботинка, но руки долго еще нам плохо повиновались—мы знали, как делать ботинки, но нам не удавалось делать хорошо и скоро.

Когда средства наши стали подходить к концу, хозяин нашей мастерской направил нас в другую мастерскую, собственник которой принимал учеников, давая им за работу стол и квартиру, а хорошо работавшим кое-что приплачивал. Это был настоящий эксплоататор, жестоко обращавшийся с учениками. С нами он был, однако, относительно вежлив. Он отвел нам темную каморку, в которой мы спали, а за работу давал горячий обед, от которого мы давно уже отвыкли.

Поработав некоторое время в этой мастерской, мы решили, что сможем уже зарабатывать деньги сами, наняли комнату и стали брать заказы. Но работали мы очень еще медленно, заказов было немного, и мы зарабатывали так мало, что у нас хватало денег лишь на оплату квартиры, хлеб и чай, а обедали мы лишь раз в неделю. Брали мы по одной порции борща за 12 копеек.

Во время процесса Ковальского у здания суда ежедневно собиралась довольно большая толпа из людей, сочувствовавших подсудимым и интересовавшихся делом, среди которых были, конечно, и мы. Когда вынесли приговор, среди ожидавших начались крики, возгласы возмущения, и получилась в своем роде демонстрация. Полиция разгоняла и арестовывала собравшихся, но мы ушли благополучно. Однако, через несколько дней к нам пришли с обыском. У нас ничего не нашли, кроме сапожных инструментов, и оставили нас на свободе.

В конце 1878 г. мне поручили вести сношения с жандармом, который был распропагандирован. Он приносил нам записки от заключенных, сидевших при жандармском управлении. Со всякими предосторожностями он еженедельно являлся к нам на квартиру в течение нескольких месяцев, пока не кончился срок его службы. В начале 1879 г. у нас заказов на сапожную работу было особенно мало, и я поступила работницей на канатный завод, где мне пришлось вить веревки. Я получала сорок копеек в день. На заводе я много узнала о жизни такого, чего не знала раньше—некоторые работницы приходили часто с синяками на лице и рассказывали о том, как гуляли по ночам. Больше всего меня тяготило то обстоятельство, что перед уходом с работы нас ежедневно обыскивали, чтобы выяснить, не крадем ли мы мыла, которое выдавалось для намыливания канатов.

В это время мне предложили вести сношения с тюрьмой. Был надзиратель, который за 2—3 рубля в неделю передавал письма заключенным. Я встречалась с ним в условленные дни по вечерам в трактирах, и за чаем он передавал мне записки из тюрьмы, а я ему записки в тюрьму. Среди сидевших в тюрьме были Лизогуб, Давиденко, Чубаров и другие. В конце лета 1879 г. их судили в Одессе, при чем пять человек—Лизогуб, Виттенберг, Логовенко, Чубаров и Давиденко—были приговорены к повешению. Приговор этот произвел на меня потрясающее впечатление, тем более, что среди приговоренных был Виттенберг, к которому мы были очень привязаны.

Казнь должна была совершиться публично, и я почувствовала, что не могу оставаться в этот день дома, а должна проводить Виттенберга на смерть. То же самое испытывали и многие друзья. Мои друзья были против моего присутствия на казни и отказались взять меня с собой: они боялись, что женские нервы не выдержат такого зрелища. Я пошла одна, и мои нервы подчинились моей воле. На месте казни я застала громадную толпу. Вместо пяти виселиц я увидела лишь три: оказалось, что Виттенберг и Логовенко отправлены для казни в Николаев. Но домой я не ушла. Помню, как вдруг близ меня раздались голоса: „везут, везут“. На платформе, запряженной парой лошадей, стояла скамейка: на скамейке сидело три человека спиной к лошадям. На груди у каждого была дос-

ка с какой-то надписью. Вокруг меня все замерло. Я не видела, как надевали саваны, но увидела, как одна за другой поднимались над эшафотом три белые фигуры. Один, самый маленький по росту, повидимому Давиденко, замер немедленно, другой, повидимому Чубаров, сделал несколько движений и повис неподвижно, но самый высокий—Лизогуб долго вертелся и вздрагивал. Должно быть, я почти не дышала все это время, потому что когда, наконец, обрезали веревки, и тела упали вниз, я очень громко со стоном вздохнула, и какая-то баба, стоявшая рядом со мной, схватила меня за плечо со словами: „Что ты, что ты, милая". Я повернулась и побрела домой.

Ежедневные обыски на канатном заводе так меня тяготили, что я решила бросить эту работу. У меня ожила старая мечта о медицинской работе. Временно я опять занялась сапожным делом, а вместе с тем получила разрешение в городской больнице 2 или 3 часа в день помогать бесплатно при перевязках. Немного спустя мне удалось устроиться помощницей фельдшерицы в еврейской больнице. Эта работа давала мне громадное удовлетворение. Она так мне нравилась, я настолько успешно работала, что через несколько месяцев смогла заменить ушедшую в месячный отпуск фельдшерицу. Вместе с тем, живя в больнице, куда приходило много народу, я могла свободно принимать у себя нелегальных знакомых, прятать литературу и т. д.

В то время возник проект устройства покушения на Александра II под Одессой, и М. Ф. Фроленко устроился на железной дороге в качестве стрелочника. Я получила предложение поселиться с ним под видом его жены. Но оказалось, что один из моих знакомых служит на железной дороге, и я могла быть узнана. Поэтому меня заменила Татьяна Лебедева.

Летом 1880 г. в Одессу приезжал Александр Михайлов. Он пришел ко мне, исподволь расспрашивал о том, что я делаю, и пытался уяснить себе, как я отношусь к разным общим знакомым из революционной среды, повидимому, желая по моим суждениям составить себе определенное представление обо мне самой. Между прочим, в разговоре я сказала ему, что больше храню литературу, чем распространяю ее, так как она мне не вся нравится, и что если понадобится человек для участия в покушении на жизнь царя, то могут на меня рассчитывать. Помнится, я сделала оговорку: если только мое участие будет необходимо.

В сентябре 1880 г. у меня был сделан обыск. Найдена была лишь одна запрещенная книга, не то Лассаль, не то Берви-Флеровский, но я все же была задержана и доставлена в Одесское жандармское управление. Старенький добродушный жандармский майор, допрашивая меня, сказал, что в Одесском жандармском управлении против меня нет материалов, но из Николаева пришло распоряжение сделать у меня обыск, так как против меня дает показание какой-то матрос Фоменко. В заключение он сказал, что может выпустить меня под подписку о невыезде, а сам снесется с Николаевым.

Я была выпущена и с разными предосторожностями пришла к М. Н. Тригони. Я рассказала ему, что когда были арестованы Виттенберг и Логовенко, по этому делу был скомпрометирован матрос Фоменко, который бежал в Одессу, по указаниям из Николаева явился ко мне и получил через меня паспорт и деньги. Обсудивши совместно создавшееся положение, я решила перейти на нелегальное положение и спустя 2 дня уехала с Н. Колодкевичем в Петербург.

В Петербурге мне было предложено поселиться на конспиративной квартире вместе с Н. И. Кибальчичем и А. В. Якимовой. На этой квартире должен был вырабатываться нитроглицерин и прочие материалы, которые предназначались для покушения на Александра II. А. В. Якимова должна была числиться по паспорту женой Н. И. Кибальчича, а я—их бедной родственницей-прислугой. А. В. Якимова фактически на этой квартире не жила, но время от времени появлялась там с таким расчетом, чтобы дворник, приносивший дрова по утрам, мог ее видеть и думать, что она там живет.

Квартира была расположена на Забалканском проспекте в большом доме, но состояла из четырех невзрачных комнат и была бедно обставлена: по паспорту мы числились, если не ошибаюсь, мещанами. Мы поселились на Забалканском проспекте осенью 1880 г. С первого же дня началась работа. Основными работниками мастерской были Кибальчич и Баранников. Потом им стал помогать Саблин. Я выполняла хозяйственные обязанности, но так как готовить мне раньше не приходилось, то я каждый день варила одно и то же блюдо: щи из свежей капусты.

Однажды вечером, когда я была одна в квартире и сидела в кухне, раздался сперва треск, потом шипенье, и кухня наполнилась отвратительным запахом. Я бросилась в коридор и увидела через щель под запертой дверью, что мастерская у нас освещена *). Для меня стало ясным, что одна из бутылей со смесью кислот для приготовления

*) В действительности света не было, а так казалось, потому что мастерская была наполнена желтыми парами.

В. Фигнер.

нитроглицерина взорвалась *). В один миг я очутилась на площадке лестницы и остановилась, обдумывая, что делать. Если останусь—подвергнусь очень большой опасности, так как каждую минуту мог произойти второй взрыв. Мне было ясно, что взорвалось не все, потому что иначе последствия были бы очень серьезные. Оставить квартиру я не решалась, т. к. пришлось бы надолго отложить покушение. Не зная, как поступить, я то и дело возвращалась с площадки в квартиру, пока не увидала, что свет в мастерской потух. Тогда я вернулась в кухню, где керос. лампа тоже потухла, и, оставшись в темноте, сидела, ожидая все же с волнением второго взрыва и время от времени высовывая голову в форточку, так как в квартире стоял невыносимый смрад. В голове металась мысль: „А что, если при вторичном взрыве я останусь без рук, без ног" и т. п. И вдруг условный звонок. Пришла Якимова, которая обыкновенно по вечерам не являлась. Она сразу же бросилась в мастерскую, где оказалось, что шторка над окном истлела, подоконник обуглился—взорвалась одна из 5 четвертных бутылей, стоявших у окна на полу. В остальных бутылях со смесью кислот азотной и серной, происходил химич. процесс; она моментально вынула притертые пробки, которыми они были заткнуты. Не приди она, последовал бы второй взрыв, т. к. Кибальчич пришел позже.

На следующий день ко мне пришел дворник и заявил, что должен пройти во внутренние комнаты и посмотреть, что там делается, так как в нижний этаж из нашей квартиры пролилась какая-то жидкость, от которой позеленел бронзовый карниз для шторки. С дворником я была в большой дружбе, постоянно поила его чаем, жаловалась ему, что хозяева меня обижают, и он не раз предлагал мне перейти на другое место. Когда он пришел с намерением осмотреть квартиру, я стала его упрашивать не итти в задние комнаты, говоря, что хозяйка больна, я делала ей ванну, приготовила бутыль с какой-то жидкостью, которую доктор велел вылить в ванну, и пролила. За это меня очень ругали, и если он войдет в комнату, меня будут опять ругать. Дворник согласился и не стал осматривать комнату.

Мы начали понемногу, но спешно вытаскивать из квартиры все материалы. Но когда прошло несколько дней и все было тихо, материалы были перевезены обратно, и работа продолжалась. Когда весь материал был готов, и квартира была очищена, то решили отпраздновать благополучное окончание работ. Под новый год у нас была устроена вечеринка. На ней были Желябов, Перовская, А. Якимова, Л. Тихомиров, Саблин, Геся Гельфман, П. Ивановская, Ланганс, Терентьева, Грачевский, кажется Баранников и другие, всего человек 15—16. Веселились во-всю. Помню, что Саблин, нарядившись в какой-то костюм, делавший его похожим на архиерея, рассказывал анекдоты из жизни духовенства так весело, что все смеялись. Под конец настолько развеселились, что принялись плясать, при чем сняли ботинки, чтобы не производить шума, а Геся Гельфман наигрывала на гребенке. Помню, я не плясала и не могла отделаться от вопроса: кто из пляшущих доживет до следующего нового года. Перед моими глазами стояла казнь Лизогуба, и воображение накидывало саван то на одного, то на другого из плясавших мужчин: женщин-революционерок в те времена еще не подвергали смертной казни.

На следующий день после окончания работ Желябов предложил мне перейти на новую конспиративную квартиру и поселиться с Саблиным под видом его жены. Были некоторые личные причины, по которым я не желала поселиться с Саблиным, и я ответила, что соглашусь лишь в том случае, если хозяином квартиры будет кто нибудь другой. Желябов назвал мои мотивы „детскими", и теперь мне они самой кажутся детски-наивными, но тогда я настаивала на своем. Через несколько дней Желябов прислал ко мне Ю. Богдановича, чтобы уговорить меня принять это предложение, но я ответила ему то же, что и Желябову. Тогда предложили поселиться с Саблиным Гесе Гельфман, и она на это согласилась.

Помню, первое марта было для меня бесконечно томительным днем: я с утра уже ничего не могла делать, сидела одна, но не решалась выйти из дома. Часа в четыре ко мне вбежала хозяйка квартиры с криком: „государя убили". Я всплеснула руками и вскрикнула; она приняла это за крик отчаяния. Вечером я с квартирной хозяйкой пошла к Зимнему дворцу. Мы застали там громадную безмолвную толпу, которая стояла и молча смотрела на развевавшийся над дворцом черный флаг.

Вскоре после первого марта ко мне пришел неожиданно Кибальчич. Он в буквальном смысле слова сиял: у него было такое счастливое выражение лица, которое трудно передать словами. Он поднес мне пару апельсинов со словами: „Вот вам, хозяюшка, за ваше сотрудничество". Обыкновенно флегматичный и медлительный, он был возбужден и как-то тороплив в своих движениях. Больше я его уже не видала—через три дня он был арестован.

*) Бутыль была закрыта притертой пробкой, тогда как ее надо было держать открытой. В смеси этих кислот развивается теплота, t^0 поднимается, и выделяющиеся газы, не находя выхода,—разорвали бутыль.

В. Фигнер.

В конце марта я выехала в Одессу с объемистым чемоданом, наполненным письмом Исполнительного Комитета к Александру III и другой нелегальной литературой, а оттуда поехала в Киев, куда мне были даны явки. В апреле в Киев приехали А. В. Якимова и Ланганс. С вокзала они прямо отправились ко мне на квартиру. Мы только что расположились пить чай, когда явился Судейкин с нарядом жандармов, и мы были арестованы. У меня ничего не нашли, кроме зашитого в платье письма, которое прислал мне Виттенберг перед казнью. На первом допросе я отказалась назвать свою настоящую фамилию. Затем я сообразила, что, если не назову фамилии, то меня отправят вместе с Якимовой в Петербург, будут предъявлять дворникам и могут, таким образом, установить факты, которые необходимо было попытаться скрыть от следователей. Поэтому я назвала свою фамилию, сказала, что я из Николаева, и меня отправили в Николаевскую тюрьму. Здесь я просидела несколько месяцев, при чем предполагалось устроить мой побег, но меня неожиданно увезли на допрос в Одессу в казарму № 5-й к славившемуся своей беспощадностью генералу Стрельникову. Высокий, худой, очень прямой (точно аршин проглотил) с пергаментным лицом, широкий рот с очень тонкими губами, серенькие бачки около ушей, серые, торчащие бобриком волосы, черные, пронизывающие, колючие глаза—вот портрет генерала Стрельникова. Он встретил меня словами: „Я тот, которого ваши собираются убить,—генерал Стрельников".

Он произвел на меня жуткое впечатление.

Один из этажей казармы № 5 был приспособлен для подследственных. По обеим сторонам коридора тянулись камеры для заключенных. В одной из этих камер жил жандарм, наблюдавший за часовыми, чтобы они не завязывали сношений с заключенными. В другой камере жил смотритель, а в третьей—Стрельников на своих допросах выматывал души из заключенных. Камера, в которой я содержалась, была грязная, с матовыми стеклами в окне, так что в камере свет был всегда сероватый. Вечером камера освещалась маленькой керосиновой лампочкой, которая привешивалась к двери снаружи, против маленького окошечка в двери. Таким образом, в камере царила тьма. На получасовую прогулку водили на верхний этаж в пустующую казарму. Книг для чтения не давали. Стрельников продержал меня в казарме № 5 несколько месяцев, при чем на допрос вызывал меня очень часто и всегда поздно вечером. Как умный и ловкий следователь, он сразу заподозрил, что я имела какое-то отношение к делу 1-го марта, но фактических данных у него не было, а имелись лишь косвенные указания (в камере Суханова после того, как его увели, нашли надпись: „Фанни арестована"; предатель Меркулов говорил, что я была в Петербурге зимой 1880 года), и это вызывало у него бессильную злобу. Он прибегал к разным ухищрениям: дал мне прочесть приговор по процессу двадцати, где было 10 смертных приговоров, думая меня этим запугать. Другой раз вызвал меня и сообщил, что скоро привезут Гесю Гельфман, с которой он мне даст очную ставку, для того чтобы она меня уличила. Он лгал, провоцировал, но все было тщетно.

Я все время не имела свиданий. Один из моих многочисленных родственников, брат моей матери, простил мне мои прегрешения против фамильной чести и приехал к Стрельникову просить свидания. Стрельников дал нам свидание в своем присутствии, но предупредил дядю, что если он меня не убедит во всем признаться, то меня повесят. Дядя плакал, умолял сказать всю правду, а Стрельников колол меня своим пронизывающим взглядом. Это было мучительное свидание. Испробовавши все свои дьявольские приемы, он в последний раз вызвал меня в 12 ч. ночи и начал ласковым вкрадчивым голосом убеждать меня сказать всю правду: „Среди женщин - революционерок я знаю две категории—большой процент искательниц приключений и небольшой процент фанатичек. Вы не принадлежите ни к одной из них. Скажите, что и кто толкнул вас в революционную среду? Как жаль, что я вас не знал 3 года тому назад, я бы вас убедил поступить на сцену. Из вас вышла бы талантливая актриса".—Я неудержимо расхохоталась. Он вдруг взвизгнул. „Никого еще я так не ненавидел, как вас". „И я, генерал, не могу похвастаться любовью к вам", ответила я ему. „Завтра я вас отправлю к Зубачевскому"—сказал он и велел меня увести. Зубачевский был смотрителем тюремного замка и славился своей жестокостью.

В тюремном замке меня поместили в башню. Башня круглая, небольшая, очень высокая, с маленьким окошечком почти под самым потолком, соединялась с общим коридором при помощи узкого, длинного, изолированного коридорчика. Таким образом, перестукиваться было невозможно. Здесь я просидела до начала 1883 г.

Самым ярким событием в моей жизни за это время было случайно полученное известие о том, что Стрельников убит. Халтурин и Желваков, его убившие, были казнены на маленьком уединенном дворике, куда выходило окошечко моей башни. Виселицы были поставлены в стороне от моего окошечка, но вечером накануне казни я услышала, как пилят дерево и стучат

топорами. Я спросила у часового, что это рубят и пилят. „Сегодня задавят преступников"—ответил часовой. Всю ночь я кружилась по камере. Изнемогая от усталости и ужаса, я прилегла и заснула, но вскоре проснулась от звука барабанного боя. Я знала, что барабанный бой означал приготовление к казни. На дворе рассветало. Какой ужасный рассвет! На мое счастье виселиц не видно было.

В начале 1883 г. я заявила смотрителю, что сижу уже почти два года в одиночном заключении, при чем в последнее время меня не допрашивают, из чего следует, что следствие закончено, и поэтому я требую перевода в общую камеру. После пятидневной голодовки мне удалось этого добиться—я была переведена опять в казарму № 5 и на этот раз была посажена не одна, а с Ел. Свитыч и Степановой. В апреле 1883 г. нас судили военным судом. Следствие дало против меня очень мало улик: было установлено только, что я жила по фальшивому паспорту, снабдила фальшивым паспортом матроса Фоменко и была знакома с рядом видных работников Народной Воли. И прокурору пришлось пользоваться такими аргументами, как указанием на то, что мой цветущий вид доказывает мою нераскаянность. Тем не менее, я в конечном счете получила четыре года каторжных работ.

Я была отправлена на Кару этапом, при чем по Сибири, где в то время не было железной дороги, значительную часть пути пришлось сделать пешком, но женщины могли сидеть на телегах, где лежали вещи. В результате путешествие до Кары длилось восемь месяцев. В Иркутске я должна была ждать, пока не установится санный путь. В Иркутской тюрьме я попала в одну камеру со своей приятельницей Марией Кутитонской, судившейся в 1879 г. в Одессе и сосланной на поселение в Забайкальскую область, а затем, за покушение на забайкальского губернатора, приговоренной к каторжным работам. В одном коридоре с нами сидел молодой, недавно окончивший университет учитель иркутской гимназии Неустроев. Однажды в тюрьму явился иркутский генерал-губернатор Анучин. Он зашел сперва в нашу камеру, потом прошел в камеру Неустроева, и через несколько минут мы увидели в глазок, что он быстро возвращается обратно со своей свитой.

Немного погодя к нашей двери в сопровождении солдата подошел Неустроев, и взволнованно сказал, что он дал пощечину генерал-губернатору, который держал себя с ним очень грубо, и попрощался с нами.

Неустроева через несколько дней судили военно-полевым судом и приговорили к смертной казни. Вечером накануне казни Неустроев через солдата прислал М. Кутитонской, с которой он был очень дружен, том Лермонтова, в котором какое-то стихотворение было отмечено специально для нее. Всю ночь Кутитонская лежала, уткнувшись лицом в подушку, стараясь заглушить рыдания, а я молча сидела у ее постели.

В декабре меня отправили из Иркутска на Кару. Недостаток места не позволяет мне рассказывать о жизни на Каре и затем на поселении. Скажу только, что по выходе с Кары я попала на поселение в Читу, где была в то время очень дружная и тесно сплоченная группа ссыльных.

Я прожила в Чите без выезда до 1890 г. В этом году мне было разрешено поехать в Тобольск, куда сестра должна была привести слепого отца для свиданья со мною.

Вскоре после возвращения в Читу я вышла замуж за читинского окружного врача В. М. Муратова. Губернатор, которому по тогдашним законам мой муж, как состоящий на государственной службе, должен был заявить о предстоящем браке, положил на его заявлении отрицательную резолюцию, и когда он настоял на своем, то в наказание был переведен на службу в маленькое село Горячинское, расположенное на берегу Байкала в таком захолустье, что почта доставлялась туда раз в неделю. Здесь была небольшая больница и горячие источники, но пропускная способность курорта была всего пятьдесят—шестьдесят человек в лето, так как он был совершенно необорудован. После двадцати пяти лет настойчивых усилий мужу удалось превратить Горячинское в один из самых благоустроенных и больших сибирских курортов и повысить его пропускную способность до тысячи человек в лето. В течение этих двадцати пяти лет я лишь около десяти лет жила безвыездно в Горячинском, а затем стала уезжать на зиму, чтобы учить детей. В одну из таких поездок в Иркутск в 1903 году, я узнала, что по дороге из Александровского централа в Якутскую область бежал молодой ссыльный, который явился в Иркутск, но не может найти безопасного приюта, где можно было бы оставаться некоторое время в безопасности. Это был Сазонов, впоследствии убивший Плеве. Я предложила ему поехать в Горячинское под видом больного. Муж помог ему там устроиться, и он смог переждать то время, когда его усиленно искали, и благополучно выбраться из Сибири.

Осенью 1905 г. я приехала с детьми в Иркутск, чтобы поместить их в гимназию. Когда началась всеобщая забастовка, я, разумеется, присутствовала на всех демонстрациях и митингах. Когда же революционная волна схлынула, я прятала у себя всякую нелегальщину и укрывала тех, которые скрывались от ареста. Муж тоже укрывал в Горячинском от свирепствовавшего гене-

рала Ренненкампфа прибегавших к нему служащих-железнодорожников, которые знали мужа, как врача, к которому они приезжали на излечение.

В 1907 г. я уехала с детьми в Москву, чтобы дать им здесь образование. В 1916 г. уехала временно в Иркутск к сыну и вернулась в Москву в конце 1924 г.

Морозов, Николай Александрович *).

Я родился 25 июня (8 июля н. ст) 1854 г. в имении моих предков Борке Мологского уезда Ярославской губернии. Отец мой был помещик, а мать—его крепостная крестьянка, которую он впервые увидал проездом через свое другое имение в Череповецком уезде Новгородской губернии. Он был почти юноша, едва достигший совершеннолетия и лишь недавно окончивший кадетский корпус. Но несмотря на свою молодость, он был уже вполне самостоятельным человеком, потому что его отец и мать были взорваны своим собственным камердинером, подкатившим под их спальную комнату боченок пороха по романтическим причинам.

Моей матери было лет шестнадцать, когда она впервые встретилась с моим отцом и поразила его своей красотой и интеллигентным видом. Она была действительно исключительной по тем временам крестьянской девушкой, так как умела и читать, и писать, и прочла до встречи с ним уже много повестей и романов, имевшихся у ее отца-кузнеца, большого любителя чтения, и проводила свое время большею частью с дочерьми местного священника. Отец сейчас же выписал ее из крепостного состояния, приписал к мещанкам города Мологи и в первые месяцы много занимался ее дальнейшим обучением, и она вскоре перечитала всю библиотеку отца, заключавшую томов триста.

Когда я достиг двенадцатилетнего возраста, у меня уже было пять сестер, все моложе меня, а затем родился брат.

Я выучился читать под руководством матери, а потом бонны, гувернантки и гувернера и тоже перечитал большинство книг отцовской библиотеки, среди которых меня особенно растрогали „Инки“ Мармонтеля и „Бедная Лиза“ Карамзина, и очаровал „Лесной бродяга“ Габриеля Ферри в духе Фенимора Купера, а из поэтов пленил особенно Лермонтов. Но кроме литературы, я с юности увлекался так же сильно и науками. Найдя в библиотеке отца два курса астрономии, я очень заинтересовался этим предметом и прочел обе книги, хотя и не понял их математической части. Найдя „Курс кораблестроительного искусства“, я заучил всю морскую терминологию и начал строить модельки кораблей, которые пускал плавать по лужам и в медных тазах, наблюдая действие парусов при их различных положениях.

Поступив затем во 2-й класс Московской классической гимназии, я и там продолжал внеклассные занятия естественными науками, накупил на толкучке много научных книг и основал „Тайное общество естествоиспытателей - гимназистов“, так как явные занятия этим предметом тогда преследовались в гимназиях. Это был период непомерного классицизма в министерстве графа Дмитрия Толстого, и естественные науки с их дарвинизмом и „происхождением человека от обезьяны“ считались возбуждающими вольнодумство и потому враждебными церковному учению, а с ним и самодержавной власти русских монархов, якобы поставленных самим богом.

Само собой понятно, что мое увлечение такими науками и постоянно слышимые от „законоучителя“ утверждения, что это науки еретические, которыми занимаются только „нигилисты“, не признающие ни бога, ни царя, сразу же насторожили меня как против церковных, так и против монархических доктрин. Я начал, кроме естественно-научных книг, читать также и имевшиеся в то время истории революционных движений, которые доставал, где только мог. Но все же я не оставлял при этом и своих постоянных естественно-научных занятий, для которых я уже с пятого класса начал бегать в Московский университет заниматься по праздникам в зоологическом и геологическом музеях, а также бегал на лекции, заменяя свою гимназическую форму обыкновенной одеждой тогдашних студентов. Я мечтал все время сделаться или доктором, или ученым исследователем, открывающим новые горизонты в науке, или великим путешественником, исследующим с опасностью для своей жизни неведомые тогда еще страны центральной Африки, внутренней Австралии, Тибета и полярные страны, и серьезно готовился к последнему намерению, перечитывая все путешествия, какие только мог достать.

Когда зимой 1874 г. началось известное движение студенчества „в народ“, на меня более всего повлияла романтическая обстановка, полная таинственного, при которой все это совершалось. Я познакомился с тогдашним радикальным студенчеством совершенно случайно, благодаря тому, что один из нумеров рукописного журнала, издаваемого мною и наполненного на три четверти естественно-научными статьями (а на одну четверть стихотворениями радикального характера), попал в руки московского кружка „чайковцев“, как называло

*) Автобиография написана 13/II—1926 г. в Ленинграде.

себя тайное общество, основанное этим деятелем, хотя он к тому времени уже уехал за границу. Особенно выдающимися представителями его были тогда Кравчинский, Шишко и Клеменц, произведшие на меня чрезвычайно сильное впечатление, а душой кружка была „Липа Алексеевна“, поистине чарующая молодая женщина, каждый взгляд которой сверкал энтузиазмом.

Во мне началась страшная борьба между стремлением продолжать свою подготовку к будущей научной деятельности и стремлением итти с ними на жизнь и смерть и разделить их участь, которая представлялась мне трагической, так как я не верил в их победу. После недели мучительных колебаний я почувствовал, наконец, что потеряю к себе всякое уважение и не буду достоин служить науке, если оставлю их погибать, и решил присоединиться к ним.

Моим первым революционным делом было путешествие вместе с Н. А. Саблиным и Д. А. Клеменцем в имение жены Иванчина-Писарева в Даниловском уезде Ярославской губернии, где меня под видом сына московского дворника определили учеником в кузницу в селе Коптеве. Однако, через месяц нам всем пришлось бежать из этой местности, так как наша деятельность среди крестьян стала известна правительству благодаря предательству одного из них.

После ряда романтических приключений, уже описанных мною в первом томе „Повестей моей жизни“, мне удалось бежать благополучно в Москву, откуда я отправился распространять среди крестьян заграничные революционные издания в Курскую и Воронежскую губернии, под видом московского рабочего, возвращающегося на родину. Я приехал обратно в Москву и потом отправился вместе с рабочим Союзовым для деятельности среди крестьян на его родину около Троицкой Лавры; но и там произошло предательство, и мы оба ушли под видом пильщиков в Даниловский уезд, чтобы восстановить сношения с оставшимися там нашими сторонниками. Нам удалось это сделать, несмотря на то, что меня там усиленно разыскивала полиция. Я и Союзов по неделям, несмотря на рано наступившую зиму, ночевали в овинах, на сеновалах, под стогами сена в снегу, так что, наконец, Союзов заболел, и мы с ним отправились в Костромскую губернию под видом пильщиков леса и ночевали уже в обыкновенных избах. Однако, здоровье Союзова так попортилось, что мы должны были возвратиться в Москву, куда мы перевезли из Даниловского уезда Ярославской губернии и типографский станок, на котором первоначально предполагали печатать противоправительственные книги в именьи Иванчина-Писарева. Он был зарыт до того времени в лесу и потом был отвезен для тайной типографии на Кавказе.

Снова возвратившись в Москву, я участвовал там в попытке отбить на улице у жандармов вместе с Кравчинским и В. Лопатиным нашего товарища Волховского, но она не увенчалась успехом, и я вместе с Кравчинским уехал в Петербург, откуда меня отправили в Женеву участвовать в редактировании и издании революционного журнала „Работник“ вместе с эмигрантами Эльсницем, Ралли, Жуковским и Гольденбергом. В то же время я начал сотрудничать и в журнале „Вперед“, издававшемся в Лондоне П. Л. Лавровым. Я вновь возобновил свои научные занятия, уходя с книгами на островок Руссо посреди Роны при ее выходе из Женевского озера, но после полугодичного увлечения эмигрантской деятельностью почувствовал ее оторванность от почвы и в январе 1875 г. возвратился в Россию, при чем был арестован при переходе границы под именем немецкого подданного Энгеля. Несмотря на мое пятидневное утверждение, что я и есть Энгель, меня, наконец, принудили назвать свою фамилию, арестовав переводившего меня через границу человека и заявив, что не отпустят его, пока я не скажу, кто я.

Меня привезли в Петербург, посадили сначала в особо-изолированную камеру в темнице при „III Отделении собственной его императорского величества канцелярии“ на Пантелеймонской улице, но, продержав некоторое время, перевезли в особое помещение из 10 одиночных камер, арендованное III Отделением в Коломенской части по причине огромного количества арестованных за „хождение в народ“ в 1874—75 г.г.

Там проморили меня поистине жгучим голодом около месяца и отправили в Москву в тамошнее „III Отделение его императорского величества канцелярии“. Там на допросе я, по примеру апостола Петра, решительно отрекся от знакомства со всеми своими друзьями и заявил, что не знаю никого из них и даже никогда и не слыхал о таких людях и о том, что необходимо низвергнуть царскую власть, а на вопрос, что я делал в усадьбе Иванчина-Писарева, ответил, что просто гостил и не заметил там решительно ничего противозаконного. Записав в протокол эти мои показания и убедившись, что все приставания и угрозы не могут меня сбить с этой позиции, меня не только не похвалили за отреченье от своих друзей и товарищей, но отправили в особый флигель, бывший против генерал-губернаторского дома во дворе Тверской части, тоже арендованный Третьим Отделением, в изолированную камеру, объявив, что пока я не буду давать искренние показания и не сознаюсь в знакомстве с по-

дозреваемыми людьми, мне не будут давать никаких книг для чтения.

Вскоре о моем пребывании тут узнали мои товарищи, оставшиеся на свободе, и организовали несколько попыток для моего освобождения, но все они не могли осуществиться в решительные моменты, и меня через полгода перевезли в Петербург в только что построенный Дом предварительного заключения. В нем я, совершенно измученный неудовлетворяемой более полугода потребностью умственной жизни, получил, наконец, возможность заниматься. Я читал в буквальном смысле по целому тому в сутки, так что обменивавшие мне книги сторожа решили, что я совсем ничего не читаю, а только даром их беру. На мое счастье в Дом предварительного заключения сразу же была перевезена какая-то значительная библиотека, довольно разнообразного содержания и даже на нескольких языках, и, кроме того, была организована дамами - патронессами, сочувствовавшими нам, доставка научных книг из большой тогдашней библиотеки Черкесова и других таких же. Надо было только дать заказ через правление Дома предварительного заключения. Я тотчас же принялся за изучение английского, потом итальянского и, наконец, испанского языков, которые мне дались очень легко благодаря тому, что со времени гимназии и жизни за границей я знал довольно хорошо французский, немецкий и латинский. Потом я закончил то, чего мне не доставало по среднему образованию и, думая, что более мне уже не придется быть, как я мечтал, естествоиспытателем, принялся за изучение политической экономии, социологии, этнографии и первобытной культуры. Они возбудили во мне ряд мыслей, и я написал десятка полтора статей, которые, однако, потом все пропали. По истечении года отец, узнавши, что я арестован, взял меня на поруки, и я поселился с ним в существующем и до настоящего времени бывшем нашем доме № 25 по 12 линии Васильевского острова, купленном после смерти отца фон-Дервизом.

Однако, моя жизнь в отцовском доме продолжалась не более двух недель, так как следователь по особым делам получил от III Отделения „высочайшее повеление“ вновь меня арестовать и держать в заточении до суда. Я вновь попал в ту же самую камеру и просидел в непрестанных занятиях математикой, физикой, механикой и другими науками еще два года, когда меня вместе со 193 товарищами по заточению предали суду Особого Присутствия сената с участием сословных представителей. Я отказался на суде давать какие бы то ни было показания и был присужден на год с четвертью заточения, но выпущен благодаря тому, что в этот срок мне зачислили три года предварительного заключения.

Я тотчас же скрылся от властей и, присоединившись к остаткам прежних товарищей, поехал сначала вместе с Верой Фигнер, Соловьевым, Богдановичем и Иванчиным-Писаревым в Саратовскую губернию подготовлять тамошних крестьян к революции. Но перспектива деятельности в деревне уже мало привлекала меня, и после того как прошел целый месяц в безуспешных попытках устроиться, я возвратился в Петербург, откуда поехал вместе с Перовской, Александром Михайловым, Фроленко, Квятковским и несколькими другими в Харьков освобождать с оружием в руках Войнаральского, которого должны были перевести через этот город в центральную тюрьму. Попытка эта произошла в нескольких верстах от города, но раненая тройка лошадей ускакала от освободителей с такой бешеной скоростью, что догнать ее не оказалось никакой возможности.

Мы спешно возвратились в Петербург, где мой друг Кравчинский подготовлял покушение на жизнь шефа жандармов Мезенцева, которому приписывалась инициатива тогдашних гонений. Мне не пришлось участвовать в этом предприятии, так как меня послали в Нижний Новгород организовать вооруженное освобождение Брешко-Брешковской, отправляемой в Сибирь на каторгу. Я там действительно все устроил, ожидая из Петербурга условленной телеграммы о ее выезде, но вместо того получил письмо, что ее отправили в Сибирь еще ранее моего приезда в Нижний Новгород, и в то же почти время я узнал из газет о казни в Одессе Ковальского с шестью товарищами, а через день—об убийстве в Петербурге на улице шефа жандармов Мезенцева, сразу поняв, что это сделал Кравчинский в ответ на казни.

Я тотчас возвратился в Петербург, пригласив туда и найденных мною в Нижнем Новгороде Якимову и Халтурина, и вместе с Кравчинским и Клеменцем начал редактировать тайный революционный журнал, названный по инициативе Клеменца „Земля и Воля“, в память кружка того же имени, бывшего в 60-х годах.

После выхода первого же номера журнала нам пришлось отправить Кравчинского, как сильно разыскиваемого по делу Мезенцева, за границу, и взамен его был выписан из Закавказья Тихомиров, а до его приезда временно кооптирован в редакцию Плеханов. По выходе третьего номера был арестован Клеменц, произошло организованное нашей группой покушение Мирского на жизнь нового шефа жандармов Дрентельна, и приехал из Саратова оставшийся там после моего отъезда оттуда Соловьев, заявив, что тайная деятельность среди кре-

стьян стала совершенно невозможной, благодаря пробудившейся бдительности политического сыска, и он решил пожертвовать своей жизнью за жизнь верховного виновника всех совершающихся политических гонений—императора Александра Второго. Это заявление встретило горячее сочувствие в Александре Михайлове, Квятковском, во мне и некоторых других, а среди остальных товарищей, во главе которых встали Плеханов и Михаил Попов, намерение Соловьева вызвало энергичное противодействие, как могущее погубить всю пропагандистскую деятельность среди крестьян и рабочих. Они оказались в большинстве и запретили нам воспользоваться для помощи Соловьеву содержавшимся в татерсале нашим рысаком „Варвар“, на котором был освобожден Кропоткин и спасся Кравчинский после убийства Мезенцева.

Так началось то разногласие в двух группах „Земли и Воли“, которое потом привело к ее распадению на „Народную Волю“ и „Черный Передел“.

Возмущенные невозможностью использовать средства нашего тайного общества для спасения Соловьева после его покушения на жизнь императора, и видя, что он твердо решился на это, мы только доставили ему хороший револьвер. Я нежно простился с ним у Михайлова и отказался итти смотреть, как он будет погибать вместе с императором. Я остался в квартире присяжного поверенного Корша, куда обещал притти Михайлов, чтобы сообщить мне подробности, и, действительно, он прибежал часа через два и рассказал мне, что Соловьев пять раз выстрелил в императора, но промахнулся и был тут же схвачен.

В Петербурге начались многочисленные аресты, вследствие которых мои товарищи послали меня в Финляндию в школу-пансион Быковой, где я прожил первые две недели после покушения Соловьева и познакомился с Анной Павловной Корба, которая вслед затем приняла деятельное участие в революционной деятельности, а через нее сошелся и с писателем Михайловским, который обещал писать для нашего журнала.

В это же время Плеханов и Попов, уехавшие в Саратов, организовали съезд в Воронеже, чтоб решить, какого из двух представившихся нам путей следует держаться. Уверенные, что нас исключат из „Земли и Воли“, мы (которых называли „политиками“, в противоположность остальным, „экономистам“) решили за неделю до начала Воронежского съезда сделать свой тайный съезд в Липецке, пригласив на него и отдельно державшиеся группы киевлян и одесситов того же направления, как и наша, чтобы после исключения сразу действовать, как уже готовая группа. Собравшись в Липецке, мы наметили дальнейшую программу своих действий в духе Соловьева. Но, приехав после этого в Воронеж, мы с удивлением увидели, что большинство провинциальных деятелей не только не думает нас исключать, но относится к нам вполне сочувственно. Только Плеханов и Попов держали себя непримиримо и остались в меньшинстве, а Плеханов даже ушел со съезда, заявив, что не может итти с нами.

В первый момент мы оказались в нелепом положении: мы были тайное общество в тайном обществе, но по возвращении в Петербуг увидели, что образовавшаяся в „Земле и Воле“ щель была только замазана штукатуркой, но не срослась. „Народники“ с Плехановым стали часто собираться особо, не приглашая нас, и мы тоже не приглашали их на свои собрания. К осени 1879 г. была организована, наконец, ликвидационная комиссия из немногих представителей той и другой группы, которая оформила раздел. Плеханов, бывший тогда еще народником, а не марксистом, организовал „Черный Передел“, а мы—„Народную Волю“, в которой редакторами журнала были выбраны я и Тихомиров.

В ту же осень были организованы нашей группой три покушения на жизнь Александра II: одно под руководством Фроленко в Одессе, другое под руководством Желябова на пути между Крымом и Москвой и третье в Москве под руководством Александра Михайлова, куда был временно командирован и я. Как известно, все три попытки кончились неудачей, и, чтобы закончить начатое дело, Ширяев и Кибальчич организовали динамитную мастерскую в Петербурге на Троицкой улице, приготовляя взрыв в Зимнем Дворце, куда поступил слесарем приехавший из Нижняго вместе с Якимовой Халтурин. Я мало принимал в этом участия, так как находился тогда в сильно удрученном состоянии, отчасти благодаря двойственности своей натуры, одна половина которой влекла меня по-прежнему в область чистой науки, а другая требовала как гражданского долга пойти вместе с товарищами до конца. Кроме того, у меня очень обострились теоретические, а отчасти и моральные разногласия с Тихомировым, который, казалось мне, недостаточно искренне ведет дело с товарищами и хочет захватить над ними диктаторскую власть, низведя их путем сосредоточения всех сведений о их деятельности только в распорядительной комиссии из трех человек на роль простых исполнителей поручений, цель которых им неизвестна *). Да и в

*) Деятельность и значение распорядит. комиссии, насколько я видела, были незначительны и не имели ничего общего с диктатурой. *В. Фигнер.*

статьях своих, казалось мне, он часто пишет не то, что думает и говорит иногда в интимном кругу.

В это же самое время была арестована наша типография, и моя обычная литературно-издательская деятельность прекратилась. Видя мое грустное состояние, товарищи решили отправить меня и Ольгу Любатович временно за границу с паспортами одних из наших знакомых, и Михайлов нарочно добыл мне вместе с Ольгой билет таким образом, чтобы ко дню, назначенному для взрыва в Зимнем дворце, мы были уже по ту сторону границы.

Так как при особенно критических событиях такие отъезды из центра уже практиковались нами, и я особенно боялся за Ольгу Любатович, не хотевшую уезжать без меня, то сейчас же поехал и узнал о взрыве в Зимнем дворце из немецких телеграмм на пути в Вену.

Оттуда я отправился прямо в Женеву и поселился сначала вместе с Кравчинским и Любатович, а потом мы переехали в Кларан, где впервые близко сошлись с Кропоткиным. Написав там брошюру „Террористическая борьба“, где я пытался дать теоретическое обоснование наших действий, я поехал в Лондон, где познакомился через Гартмана с Марксом, и на возвратном пути в Россию был вторично арестован на прусской границе 28 января 1881 г. под именем студента Женевского университета Локьера. Я был отправлен в Варшавскую цитадель, где товарищ по заключению стуком сообщил мне о гибели императора Александра II, и я был уверен, что теперь меня непременно казнят. Я тотчас же был привезен в Петербург, где в охранном отделении узнал из циничного рассказа одного из сыщиков в соседней комнате о казни Перовской и ее товарищей и был переведен в Дом предварительного заключения, где кто-то обнаружил жандармам мое настоящее имя, вероятно, узнав по карточке. Меня вызвали на допрос, прямо назвали по имени, а я отказался давать какие-либо показания, чтобы, говоря о себе, не повредить косвенно и товарищам. Меня пробовали сначала запугать, намекая на какие-то способы, которыми могут заставить меня все рассказать, а когда и это не помогло, отправили в Петропавловскую крепость в изолированную камеру в первом изгибе нижнего коридора и более не допрашивали ни разу.

На суде Особого Присутствия правительственного сената я не признал себя виновным ни в чем и до конца держался своего метода, как можно меньше говорить со своими врагами, благодаря чему меня и осудили только на пожизненное заточение в крепости, а тех, кто более или менее подробно описал им свою деятельность—к смертной казни*).

Через несколько дней после суда, часа в два ночи, ко мне в камеру Петропавловской крепости с грохотом отворилась дверь, и ворвалась бегом толпа жандармов. Мне приказали скорей надеть куртку и туфли и, схватив под руки, потащили бегом по коридорам куда-то под землю. Потом выбежали снова вверх и, отворив дверь, выставили через какой-то узкий проход на двор. Там с обеих сторон выскочили ко мне из тьмы новые жандармы, схватили меня под мышки и побежали бегом по каким-то узким застенкам, так что мои ноги едва касались земли. Преграждавшие проход ворота отворялись при нашем приближении как-бы сами собою, тащившие меня выскочили на узенький мостик, вода мелькнула направо и налево, а потом мы вбежали в новые ворота, в новый узкий коридор и, наконец, очутились в камере, где стоял стол, табурет и кровать.

Тут я впервые увидел при свете лампы сопровождавшего меня жандармского капитана зверского вида (известного Соколова), который объявил, что это место моего пожизненного заточения, что за всякий шум и попытки сношений я буду строго наказан, и что мне будут говорить „ты“. Я ничего не отвечал, и когда дверь заперлась за ними, тотчас же лег на кровать и закутался в одеяло, потому что страшно озяб при пробеге в холодную мартовскую ночь почти без одежды в это новое помещение—Алексеевский равелин Петропавловской крепости, бывшее жилище декабристов.

Началась трехлетняя пытка посредством недостаточной пищи и отсутствия воздуха, так как нас совсем не выпускали из камер, вследствие чего у меня и у одиннадцати товарищей, посаженных со мною, началась цынга, проявившаяся страшной опухолью ног; три раза нас вылечивали от нее, прибавив к недостаточной пище кружку молока и в продолжение трех лет три раза снова вгоняли в нее, отняв эту кружку. На третий раз большинство заточенных по моему процессу умерло, а из четырех выздоровевших Арончик уже сошел с ума, и остались только Тригони, Фроленко и я, которых вместе с несколькими другими, привезенными позднее в равелин и потому менее пострадавшими, перевезли во вновь отстроенную для нас Шлиссельбургскую крепость.

В первое полугодие заточения в равелине нам не давали абсолютно никаких книг для чтения, а потом, вероятно благодаря предложению священника, которого к нам прислали для исповеди и увещания, стали да-

*) которая была смягчена всем, кроме Суханова. *В. Фигнер.*

вать религиозные. Я с жадностью набросился на них и через несколько месяцев прошел весь богословский факультет. Это была область еще совершенно неведомая для меня, и я сразу увидел, какой богатый материал дает древняя церковная литература для рациональной разработки человеку, уже достаточно знакомому с астрономией, геофизикой, психологией и другими естественными науками, и потому не сопротивлялся и дальнейшим посещениям священника, пока не перечитал все богословие, а потом (уже в Шлиссельбурге) перестал принимать его, как не представляющего по малой интеллигентности уже никакого интереса, и тяготясь необходимостью говорить, что только сомневаюсь в том, что для меня уже было несомненно (я говорил ему до тех пор, что недостаточно знаком с православной теологией, чтобы иметь о ней свое мнение, и желал бы познакомиться подробнее).

Тогда же сложились у меня сюжеты и моих будущих книг: „Откровение в грозе и буре“, „Пророки“ и многие из глав, вошедших в I и II томы моей большой работы „Христос“. Но я был тогда еще бессилен для серьезной научной разработки библии, так как не знал древне-еврейского языка, и потому по приезде в Шлиссельбург воспользовался привезенными туда откуда-то университетскими учебниками и курсами, чтобы прежде всего закончить свое высшее образование, особенно по физико-математическому факультету, но в расширенном виде, и начал писать свои, вышедшие потом, книги: „Функция, наглядное изложение высшего математического анализа“ и „Периодические системы строения вещества“, где я теоретически вывел существование еще неизвестных тогда гелия и его аналогов, а также и изотропов и установил периодическую систему углеводородных радикалов, как основу органической жизни. Там же были написаны и некоторые другие мои книги: „Законы сопротивления упругой среды движущимся в ней телам“, „Основы качественного физико-математического анализа“, „Векториальная алгебра“ и т. д., напечатанные в первые же годы после моего освобождения, или не напечатанные до сих пор благодаря отсутствию у нас издателей для специальных книг, не служащих учебниками в высших учебных заведениях и потому бездоходных.

Революционная вспышка 1905 г., бывшая результатом японской войны, выбросила меня и моих товарищей из Шлиссельбургской крепости после 25-летнего заточения, и я почувствовал, что должен прежде всего опубликовать свои только что перечисленные научные работы, которые и начали выходить одна за другой. Почти тотчас же я встретил и полюбил одну молодую девушку, Ксению Бориславскую, которая ответила мне взаимностью и стала с тех пор самой нежной и заботливой спутницей моей новой жизни, освободив меня от всех житейских мелочных забот, чтоб я безраздельно мог отдаться исполнению своих научных замыслов.

Естественный факультет „Вольной Высшей Школы“ избрал меня приват-доцентом по кафедре химии тотчас же после выхода моих „Периодических систем строения вещества“, а потом меня выбрали профессором аналитической химии, которую я и преподавал в Высшей Вольной Школе вплоть до ее закрытия правительством. Вместе с тем меня стали приглашать и для чтения публичных лекций почти все крупные города России, и я объездил ее, таким образом, почти всю.

В 1911 г. меня привлекли на суд Московской судебной палаты с сословными представителями за напечатание книги стихотворений „Звездные песни“ и посадили на год в Двинскую крепость. Я воспользовался этим случаем, чтоб подучиться древне-еврейскому языку для целесообразной разработки старозаветной библии, и написал там четыре тома „Повестей моей жизни“, которые я довел до основания Народной Воли, так как на этом месте окончился срок моего заточения. Еще ранее этого я увлекся научным воздухоплаванием и авиацией и, поступив в аэроклуб, стал читать в его авиационной школе лекции о культурном и научном значении воздухоплавания и летанья и совершил ряд научных полетов, описанных в моей книге „Среди облаков“.

В то же время я был избран членом совета биологической лаборатории Лесгафта и профессором астрономии на открытых при ней Высших Курсах Лесгафта, стал членом многих ученых обществ, а потом был приглашен прочесть курс „Мировой Химии“ в Психо-Неврологическом институте, который и продолжал вплоть до революции 1917 г. А перед этим, когда началась война, я был еще командирован „Русскими Ведомостями“ на передовые позиции западного фронта со званием „делегата всероссийского земского союза помощи больным и раненым воинам“, но в сущности для ознакомления публики с условиями жизни на войне, и из статеек, которые я посылал в эту газету, составилась потом моя книжка „На войне“. Но мое пребывание „под огнем“ продолжалось не особенно долго: от жизни в землянках и окопах у меня началось воспаление легких, и я был спешно отправлен домой, в Петербург.

В 1917 г., в первые месяцы революции, у меня опять началась борьба между стремлением продолжать свои научные работы

и ощущением долга пожертвовать всем дорогим для закрепления достижений революции. Оставив на время научные работы, я участвовал на Московском государственном совещании, созванном в 1917 г., потом был членом Совета республики и участвовал в выборах в Учредительное Собрание. Все это время я был тревожно настроен. Я предвидел уже неизбежность гражданской войны, бедствий голода и разрухи, как ее результатов, и потому сознательно занял примиряющую позицию среди враждующих между собою партий, но вскоре убедился, что это совершенно бесполезно, и что удержать от эксцессов стихийный натиск взволновавшихся народных масс будет так же трудно нашим политическим партиям, как остановить ураган простым маханьем рук. Необходимо было дать урагану пронестись, и я решил использовать это время для завершения тех исследований библии, которые начал еще в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. Я мог теперь употребить все силы для уничтожения суеверий и усиленно принялся за подготовление материалов к осуществлению своей книги „Христос", задуманной еще в Шлиссельбургском заточении, но осуществить которую при старом режиме не было никакой возможности.

Я с радостью принял предложение совета Петербургской биологической лаборатории Лесгафта стать ее директором, преобразовал ее с помощью своих сотрудников в существующий теперь Государственный Научный институт имени Лесгафта, провел его через самые тяжелые годы народных бедствий и борьбы и теперь буду считать цель своей жизни достигнутой, если удастся укрепить его дальнейшее существование и завершить и опубликовать вместе с тем научные работы, намеченные мною еще в Шлиссельбургском заточении.

Оловенникова, Елизавета Николаевна *).

Мне сейчас 68 лет. Я счастлива тем, что мне удалось дожить до осуществления тех идей, которым я отдала свою раннюю молодость, зрелые годы и вообще мою жизнь. Говорю так потому, что уверена, несмотря ни на какие теоретические доказательства от противного, что между русской Октябрьской революцией и ее современной идеологией, как массового социально-политического переворота, и старым народничеством все-таки есть известная генетическая связь. Народническое движение—один из подпочвенных слоев, в глубине которых на протяжении десятилетий скоплялись гремучие газы Октябрьского переворота.

Я не говорю уже о том, что после декабристов мы были первыми опытниками-методистами революционных выступлений. Пусть Парижская Коммуна и наш террор оказались демонстрацией того, как не нужно делать революционных выступлений, все же Парижская Коммуна и террор „Народной Воли"—значительные опытные уроки для организации и проведения нашей Октябрьской революции.

Под 70 лет трудно вспомнить в более или менее отчетливой перспективе хотя бы самые выпуклые факты своей жизни, чтобы из их цепи построить то, что называется автобиографией. Уже 45 лет прошло с того времени, как русское самодержавие изолировало нас (народовольцев-активистов) от всего населения России—кого повесило, кого послало на каторгу, кого в административную ссылку. А за эти годы, естественно, время соткало изрядно плотную завесу, сквозь которую не так-то отчетливо созерцаешь милые, дорогие образы прошлого. В фактах моей жизни, как революционерки, точно так же значительно стерлась хронологическая перспектива. Очень сожалею,что за прошлые годы не вела никаких записей и дневников о временах, теперь уже делающихся достоянием истории. Что вспоминаю, то заношу на странички настоящей краткой автобиографии.

Родилась я в 1858 г. в с. Покровском той же волости Малоархангельского у. Орловской губ. Отец мой—помещик средней руки, представлял из себя тип дворянина-интеллигента, в мировоззрении которого 40-е годы, как эпоха, провели свои глубокие борозды. В нем были подрезаны очень многие корешки связи с сословной и классовой почвой. Я должна сказать, что отец мой был более, чем либерал, доказательством чего служили его гуманные отношения с крестьянами, как они мне вспоминаются. Свои умственные и этические интересы он питал литературным содержанием „Современника", который в нашей семье выписывался с самого начала его издания (а потом сменившие его „Отечественные Записки"). С крестьянами, повторяю, он был гуманен. Они рассказывали, как он, бывало, в неурожайные и трудные для них годы еще крепостного права, когда к нему обращались за помощью, говорил: „Вот ключи от амбаров—берите, сколько нужно". Помню также: когда в 1861 году вышел манифест об отпуске крестьян „на волю", к крыльцу нашего дома собралась большая толпа для выяснения нового положения. Я тогда спросила отца, уж не сказки ли слушать собрались крестьяне? Он на это отвечал: „Ты сейчас этого еще не поймешь—совершается хорошее большое дело—крестьяне выходят на волю". Вообще об отце у меня сохранились хорошие воспоминания. Умер он, когда мне было 12 лет.

*) Автобиография написана в апреле 1926 г. в г. Орле.

Мать моя также была довольно интеллигентная и гуманная женщина. У нее была большая начитанность; особенно она любила историческую литературу. Историю французской революции она знала довольно подробно по первоисточникам, так как вполне владела французским языком.

Не считая братьев, нас было три сестры—старшая Мария (она была на 8 лет старше меня), затем Наталья (на $1^1/_2$ года старше меня) и я. Сестры меня очень любили и баловали. Наши прочные симпатии друг к другу мы пронесли через всю жизнь, через все ее невзгоды. Друзьями детства были у меня также крестьянские девочки, с которыми родители не препятствовали мне водить самую тесную компанию. С особенно теплым чувством я вспоминаю сейчас теперь уже умершую свою сверстницу Ольгу Эрастовну Шашкову. Из соседей, навещавших наш дом, довольно живо я вспоминаю друга моего отца Павла Ивановича Якушкина (известного собирателя народных песен, о котором в своих стихах говорит Некрасов). Он часто у нас бывал, так как имение его в деревне Сабуровой находилось от нашего в семи верстах. Как живая встает у меня в памяти его фигура с черной бородой, в красной кумачевой рубахе и синих штанах. Иногда он приезжал со своею матерью; она была крестьянка и имела очень доброе сердце. Это обстоятельство, полагаю, сыграло главную роль, почему у нее вырос такой славный сын. Соседей—помещиков крепостного закала отец очень недолюбливал и был с ними на холодной ноге.

Когда мне сравнялось 12 лет (отец мой в этот год умер), меня определили в Орловскую, б. Николаевскую гимназию. Сестра Наталья в это время была в 7-м классе, так как она уже 8-ми лет поступила в гимназию. Старшая же Мария выбыла по болезни из гимназии и занималась с домашним учителем. Я не могу в своей биографии не упоминать о своих сестрах, так как моя революционная подготовка, точно так же, как и дальнейшая работа, тесно связана с их революционной деятельностью. Мое участие в кружках, когда я была гимназисткой, началось приблизительно в 6-м или 7-м классе. В кружки меня постепенно втянули мои сестры, выехавшие потом в Петербург на фельдшерские курсы, когда я уже перешла в 8-й класс гимназии.

Организатором кружков учащейся молодежи в Орле в те годы явился Петр Григорьевич Зайчневский, старый народник, вернувшийся из ссылки. Он был личностью, производившей на нас обаятельное впечатление. Как хорошему и увлекательному оратору ему удавалось концентрировать вокруг себя наиболее чуткую молодежь, сообщать ей элементарные социально-политические и экономические знания и в конечном результате убеждать ее в необходимости итти на революционную работу. Зайчневский был централист, признававший возможным и целесообразным только лишь организованное и хорошо подготовленное революционное выступление. В этом основном пункте он выступал с отповедью против лавристов и бакунистов, имевшихся тогда среди молодежи в Орле.

Организация кружков была несложная. Это были просто небольшие собрания в более укромных квартирах (у самого Зайчневского, у моей сестры Марии и в квартире моей матери, с которой я тогда жила) — самое большее человек 7—8. Они носили более или менее регулярный характер—один-два раза в неделю. На собраниях мы читали Спенсера, Милля с примечаниями Чернышевского, Лассаля, Маркса, Лаврова, подробно изучали французскую революцию, Парижскую Коммуну. Зайчневский являлся у нас комментатором. Некоторые писали, а затем зачитывали рефераты по вопросам политической экономии. Приходится, конечно, сделать естественную оговорку, что Маркс нам давался очень туго. Рядом с Зайчневским, хотя и на втором месте по оказываемому влиянию, я вспоминаю проживавшего в то время в Орле литератора Оболенского.

Когда я была в 8-м классе гимназии, обычная жизнь наша была нарушена одним событием, которое сильно подзарядило наше настроение. Я говорю о похоронах Махаева, участника „процесса 193“. Осужденный Махаев, больной туберкулезом в последней степени, сидел в Петропавловской крепости. Благодаря хлопотам его сестры, находившейся в дружеских отношениях с моею сестрой Марией, удалось получить разрешение повезти его на юг полечиться. Но было уже поздно—Махаев настолько ослабел, что в Орле выяснилось, что дальше его везти нет смысла. Он помещен был на квартире моего зятя Ошанина (муж Марии), где дня через 2—3 умер. Похороны его состоялись на Троицком кладбище, куда гроб несли гимназистки — члены нашего кружка. Над свежей могилой Арцыбушев сказал речь, насыщенную довольно ярким революционным содержанием. Тут же об этой „истории“ стало известно полиции и губернатору, который предложил директору гимназии уволить двух учениц, участвовавших на похоронах. Не знаю почему, но я тогда, хотя и подлежала увольнению, не была исключена (остальные дня через 3 были приняты в гимназию обратно), дело ограничилось строгим внушением, при чем наша классная дама предъявила мне требование, чтобы я положительно ни с кем из подруг не разговаривала. Я ответила на это отказом. „История“ мало по малу улеглась,

и жизнь потекла, что называется, обыкновенной колеей.

Весною я уже окончила гимназию. Это было в 1876 г. В Орле после этого я прожила еще 2 года, так как на медицинские курсы в Петербурге мне сразу поступить не удалось. Тесный кружок, в котором я и мои подруги продолжали свое политическое самообразование, попрежнему существовал. Мне думается, не без влияния Чернышевского мы организовали с ними небольшую переплетную мастерскую, помещение для которой отвел нам один учитель кадетского корпуса. Не помню точно, но, вероятно, мы вырабатывали в этой мастерской рублей 20—25 в месяц, которые тратили на оказание помощи трем гимназисткам (вносили за них плату за право учения, покупали одежду, обувь). Зайчневский был в это время арестован, просидел сколько-то времени в тюрьме, а затем выслан в г. Повенец Олонецкой губ. Это случилось после известной в истории революционного движения „казанской демонстрации“ в Петербурге, в которой он участвовал. Причиной ареста являлось его влияние на молодежь, что не было секретом для полиции. Я также в это время ездила в Петербург к сестрам. На этот раз на одном собрании мне пришлось слушать выступавшего Плеханова. В Питере я пробыла дней 5—6, живя в номерах, так как у сестер, имевших свои отдельные квартиры, на которых происходили явки подпольщиков, я осантовиться не могла. После Казанской демонстрации я возвратилась в Орел и оставалась здесь до 1878 г. В эти годы я, конечно, не находилась в каких-нибудь определенных отношениях к подполью, так как была молода, и сестры мои меня оберегали. Маша бывало скажет: „Лизочка, ты должна себя поберечь, про нас уже говорить не приходится“. Однако, встречи с лицами, которые их посещали, когда они приезжали из Петербурга в Орел, все более и более увлекали меня в революционную атмосферу. Наша квартира в Орле была местом остановки видных революционеров, которые для связи заезжали в Орел (Вера Фигнер, Геся Гельфман, Иванова, Бардина, Субботины).

Уместно будет упомянуть здесь о моей тетке Бучневской, сестре матери, которая (не без влияния опять-таки Чернышевского) открыла в Орле модную мастерскую. Эта мастерская также являлась пунктом связи для приезжавших в Орел подпольных работников. Впоследствии при аресте Германа Лопатина у него был найден адрес моей тетки, и она в связи с этим была арестована, а мастерская закрыта. Из местных народников,посещавших нашу квартиру и бывавших у тетки, я вспоминаю, как уже упомянула, сестер Субботиных, как известно, отдавших свое большое имение в Орловской губ. на дело революции. Они бывали у сестер, при чем в последний раз я видела их в своеобразных костюмах, когда они направлялись в „народ“.

В 1878 году я поступила на медицинские курсы и поселилась в Петербурге оседло. В первое время мы жили тесной компанией (коммуной), которая состояла из 5 человек, подруг-землячек. Очень скоро у меня начали завязываться и крепнуть самые близкие и дружеские связи с представителями революционного подполья. Нужно сказать, что я до самого последнего ареста в марте 1881 г. жила в Петербурге на легальном положении. До самого конца 1880 г. мне не представилось случая выявить себя в каком-нибудь крупном активном выступлении. На это были свои причины, главной из которых являлось то, что мои друзья, полагаясь на меня во всем, почему то жалели и оберегали меня, как самую молодую из них. С самого начала занятий на курсах я подружилась с однокурсницей — Юлией Квятковской, сестрой Александра Квятковского, тогда уже нелегального. Через некоторое время мне пришлось познакомиться и с самим Александром, который пришел однажды ко мне с письмом от сестры Марии. Излишне говорить, что с самого начала он произвел на меня очень приятное и мягкое впечатление. От времени до времени он навещал меня вплоть до самого его ареста и казни. В воспоминаниях о нем у меня сохранилось от него впечатление почти постоянной грусти и некоторого беспокойства, что объяснялось тем, что ему приходилось тратить много нервов, чтобы маневрировать и скрываться от преследовавших его шпиков. Один раз он был у меня со Степаном Халтуриным. Пили чай, оживленно беседовали. Халтурин запечатлелся у меня в памяти, как человек необыкновенно положительный и обладающий большой силой воли. Тогда уже он заряжал взрыв в Зимнем дворце. Операция чрезвычайно сложная и опасная, а между тем в обыкновенной беседе с ним нельзя было ни на иоту предположить, к какому серьезному террористическому акту человек готовился. Необыкновенная простота, ясность суждений и равновесие настроения. Как известно, Квятковский был взят и казнен по делу взрыва в Зимнем Дворце. В это время я жила вместе с его сестрой. Когда он сидел в предварилке, мы поддерживали с ним самые тесные сношения „с воли“. Мы достаточно снабжали его едой и лакомствами. Перед казнью он прислал мне записку, в которой называл меня своим „самым лучшим и дорогим другом“. Его казнили. Сестра совершенно лишилась нервного равновесия. Когда она прочла о казни в газете, то не поверила этому и полетела за разъяснением к Плеве.

Тот лично ее не принял, выслал к ней лакея, который подтвердил правильность сообщения о казни. После этого я, порядочно расстроив свои нервы, поселилась на новой квартире, ближе к фельдшерской школе.

Другим лицом, питавшим ко мне теплые чувства, была Соня Перовская. Не помню, сколько раз она у меня бывала, но только не редко. О ней у меня сохранились самые светлые воспоминания. Она представляла собой редкое сочетание женской мягкости и стальной закалки до мозга костей убежденного борца-революционера. Когда, бывало, на нее смотришь или с нею разговариваешь, веет от нее каким-то радостно-легким простым восприятием жизни и в то же время пышет жаром идеи борьбы, которая не сегодня-завтра должна кончиться победой. Перовская фанатически была убеждена, что революция в России назрела. „Вот увидишь, говорила она мне,— еще год, два — и революция у нас начнется". Я не была в курсе планов и организационно-подготовительной работы Исполнительного Комитета, а потому к ее заверениям относилась немного скептически. Я не считаю нужным распространяться о личности Перовской, ее образе жизни и революционной работе, так как это с достаточной подробностью уже освещено другими. Желябов был у меня за все время два раза. Личность этого премьер-героя „Народной Воли" также уже вполне обрисована в воспоминаниях современников и вообще в исторической литературе. В его облике мне врезались в память его синие глаза. Это был человек необыкновенно ясной мысли и железной воли. В своих убеждениях он был непоколебим. Когда пропагандировал в кружках, всегда предлагал в заключение разбить его положения. Но они настолько захватывали слушателей, что оппозиции не оказывалось.

В воспоминаниях встает образ другого героя, часто бывавшего у меня, кончившего свои дни в Петропавловке *) (умер от чахотки и цынги) Баранникова. Он был мужем моей сестры Марии. Баранников был натура свернутая, как стальная пружина, в самом себе. Он мало выявлял себя в речах и разговорах, но бесстрашно и почти всегда успешно выполнял самые рискованные поручения (напр., доставлял динамит для подготовлявшегося взрыва царского поезда на железной дороге **). Все считали его красавцем за его богатырское сложение и выражение лица. Эти внешние привлекательные черты соединялись в нем с необыкновенной смелостью и способностью быстро ориентироваться. Однажды не успели мы опомниться, как он ухватил и помчал нас с Гесей Гельфман и еще одной подругой на публичный бал в Художественном клубе. У нас, как говорится, поджилки тряслись, когда наш нелегальный кавалер, разодетый франтом, в черном сюртуке, как светский лев, поднимался с нами в зал по лестнице, уставленной цветами. Его, как родного сына, крепко любил Колодкевич, старше его многими годами. Сидят они, бывало, у меня, Колодкевич положит свою голову ему на колени и любовно смотрит в глаза. Старший друг узнал об аресте Баранникова у меня на квартире. При этом известии он потерял всякое равновесие и осторожность, схватил пальто и помчался к нему на квартиру. Конечно, там уже ожидала полицейская засада, и он тут же был арестован.

Из других друзей вспоминаю Гесю Гельфман, довольно часто бывавшую у меня. У меня осталось о ней впечатление умной, энергичной и замечательно выдержанной женщины-революционерки. Потом нам пришлось вместе с нею обитать в предварилке. Бывала у меня на квартире раза два ныне здравствующая Якимова (носившая тогда кличку „Баска"). Один раз она явилась после разгрома типографии, была этим расстроена, но все же сохранила полное равновесие революционерки, уже проделавшей длительный и опасный стаж подполья.

Моя жизнь в Петербурге не так насыщена действием в смысле активного участия в революционном подполье, как это некоторые склонны были бы предполагать. Я уже оговаривалась, что я была среди других моложе всех—из этого обстоятельства вытекали следующие последствия: 1) мои друзья землевольцы, а затем народовольцы, естественно, не могли ставить меня на один уровень с другими активистами, так как еще не достаточен был у меня практический революционный стаж, 2) все они относились ко мне как-то по-отечески и щадили мою молодость и непосредственность. При всем желании я не могла изменить такого с их стороны ко мне отношения. Внутри самой себя я чувствовала, что вполне созрела для любой революционной работы и ответственных поручений партии. Ведь что-нибудь да значила атмосфера тех влияний, под которые я попала с 14—15 лет, обучаясь еще в гимназии. Мои сестры и навещавшие их народники, встречи с последними еще в ранней юности сформировали во мне революционерку. И все же обстоятельства наполнили мою жизнь так, что вплоть до ареста 13 марта 1881 г. я могла жить в Петербурге на легальном положении.

Сестры мои, уже имевшие определенные амплуа в революционной организации, от текущей ее жизни и деятельности держали меня в стороне. Я, напр., знала, что сестра

---

*) в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. *В. Фигнер.*

**) Работал в подкопе под ж.-дор. полотном. *В. Фигнер.*

Наталья держала конспиративной свою квартиру, на которую к ней ходил служивший в III Отделении от революционеров Клеточников. Он информировал ее о всех текущих шагах и планах охранки, а она сообщала об этом Исполнительному Комитету партии. Но до ноября 1880 г. мое участие в революционной жизни того времени, главным образом, заключалось в том, что я вела посильную революционную пропаганду среди медичек, а потом слушательниц фельдшерских курсов, иногда устраивала среди них денежные сборы на партию и т. п. Со стороны организации я до ноября 80 г. не получала каких-нибудь длительных или срочных поручений. Квартира моя от времени до времени являлась пунктом, в котором члены организации иногда устраивали очень рискованные деловые свидания. А так как она все-таки находилась под наблюдением шпиков, то мне приходилось принимать большие меры предосторожности. Условным знаком, служившим сигналом для приходящих, была у меня лампа, которая в случае благоприятного положения ставилась мною на окно, в случае же неуверенности моей, что все обстоит благополучно, снималась с окна. После ареста Баранникова шпики устроили в коридоре меблированных комнат, где я жила, засаду в комнате горничной. На этот раз в поле их слежки попала моя сестра Наталья, прибывшая ко мне из Орла и отправлявшаяся обратно. По делу Баранникова я была вызвана на допрос в жандармское управление, после чего переменила свою квартиру.

Первый мой арест произошел весной 1878 г. и вот по какому поводу. Осенью этого года я из Петербурга ездила в Повенец навестить находившегося там в ссылке П. Г. Зайчневского. Случилось так, что один студент, живший там же в ссылке, как раз в это время решил изъявить согласие отбывать вместо ссылки воинскую повинность в Финляндии. Из Повенца вместе с конвойным солдатом я ехала с ним до Петербурга. По остановке в Петербурге я отправила ему по указанному адресу коекакие вещи, оставленные им, которые он не в состоянии был захватить с собой. Во время обыска в марте месяце у меня был обнаружен этот адрес, в результате чего я была арестована и препровождена в полицейскую часть. Здесь мне пришлось просидеть месяца два, пока дознанием не было выяснено, что моя вина не угрожающих размеров. На допросах я держалась твердо и ничего компрометирующего не дала в руки полиции. Со мною сидела в части одновременно арестованная Толмачева.

У меня не сохранилось в памяти скольконибудь интересных моментов из этих двух месяцев моего первого сиденья. Меня навещали в части, приносили литературу (книги). Интересный эпизодик: уголовные, помещавшиеся в камере рядом, пробуравили каким-то образом ко мне стену и в отверстие передавали мне газету. Слышишь, бывало, как по распоряжению дежурных полицейских они утром и вечером тянут молитву „Отче наш, иже еси на небеси“... Иногда мне доставляли газеты и письма, скрытые под яичницей, которую приносили „с воли“, чтобы меня „подкормить“. Через два месяца я была отпущена. Проучившись год на медицинских курсах, я не выдержала экзамена по гистологии, выбыла с курсов и уже через год поступила на фельдшерские курсы.

События тем временем текли своим чередом. Когда я в 1878 г. летом гостила дома в деревне, туда же приехала сестра Маша с Баранниковым. Здесь они инсценировали довольно комический эпизод, а именно перевенчались в местной церкви. Была устроена свадебная пирушка, на которой в числе гостей присутствовал сам становой пристав. Вслед за тем оба они уехали на Липецкий съезд. Из женщин Маша присутствовала там в единственном числе. Вскоре после этого, когда становому из Петербурга стало известно, у кого он был в гостях на свадьбе, он рвал на себе волосы с досады, что упустил случай продвинуть вперед свою карьеру. Попа, венчавшего их, также не мало таскали то в консисторию, то к архиерею.

После Липецкого съезда в революционной тактике народовольцев, отмежевавшихся от „Черного Передела“, начинает завоевывать свое место террор. Решено было казнить Александра II-. После нескольких неудачных попыток в этом направлении Исполнительный Комитет „Народной Воли“ решил убить царя при помощи бомбы. Приготовления к этому начались с осени 1880 г. В качестве предварительного мероприятия нужно было основательно изучить амплитуду движения царской кареты по улицам Петербурга во времени.

И вот в ноябре месяце я вместе с Тырковым, Рысаковым, Сидоренко, Тычининым получаю от партии первое серьезное поручение—наблюдение за выездами и проездами царя по Петербургу из дворца и обратно. Наблюдение было организовано таким порядком: на квартиру ко мне или к Тычинину являлась Софья Перовская или Тихомирова и давали нам расписание дежурств в тех или других пунктах по тому маршруту, которым мог ездить царь. Лично мне приходилось, как вспоминается сейчас, наблюдать в следующих местах: район Зимнего дворца, около Летнего сада и по Екатерининскому каналу. Мои дежурства чередовались с другими дня через 3—4. За время с ноября по март мне удалось встретить царя около 8—10 раз, из которых отчетливо вспоминаю его выход из Летнего сада—он

появился в офицерской форме и сел в карету, обитую черным крепом (тогда умерла императрица). Это место наблюдения было очень опасно, в виду того, что оно очень тщательно охранялось шпионами. В другой раз его карета быстро выехала из-за угла улицы около Екатерининского канала. Наблюдения за царем требовали большого напряжения и внимания, с одной стороны, за ним самим, а с другой—в смысле маневрирования перед шпиками. Иногда при проезде царя публика кричала „ура", а большей частью молчала. Результат наблюдений каждый из нашей группы сдавал при очередном сборе Перовской или Тихомировой (чаще последней), и тут же получали новые наряды.

1-го марта царь был убит бомбой, брошенной Гриневицким. Часть организаторов этого акта была арестована в течение ближайших дней. Я еще оставалась на свободе. Помню, приблизительно через неделю после 1-го марта часть оставшихся народовольцев собралась на квартире одного студента (из сочувствующих), где было вынесено постановление—принять меры к сохранению остатков организации и поддержанию связей.

Арестована я была 13-го марта при следующих обстоятельствах. Днем я из фельдшерской школы зашла к сестре Махаева, с которой у меня были очень хорошие отношения. Там в это время находилась домашняя учительница Тырковых, которая передала мне о том, что Тырков арестован и отправлен в тюрьму, и что мать его просила меня явиться к ней, чтобы вместе с нею отправиться к нему в качестве невесты на свиданье. Я тут же поспешила к себе на квартиру переодеться и явиться в Тырковой. Дома прислуга сообщила, что ко мне являлся и спрашивал меня околоточный, который пока отправился в лавку. Скоро он возвратился и заявил, что меня требует в полицейскую часть частный пристав для дачи каких-то объяснений. Переодевшись я с околоточным отправилась в часть, откуда частным приставом была доставлена в жандармское управление.

В жандармском управлении меня допрашивал полковник Никольский, который, кажется, снимал допрос с меня и раньше, когда я была вызвана после ареста Баранникова для дачи о нем сведений, как его свояченица. Никольский прямо же заявил мне, что я привлекаюсь по делу 1-го марта, и что показания о моем участии даны Рысаковым. Я возразила ему, что Рысакова не знаю. Тогда тут же мне была устроена с ним личная ставка. Очевидно, он уже был привезен для этого „свиданья". Меня вызвали в другую комнату, где в это время находился Рысаков. Он сидел в черном сюртуке, лицо было возбуждено (может быть, он даже был выпивши). Мне предложили стать в профиль. Я задала вопрос Рысакову: „Если вы меня знаете, то скажите, при каких обстоятельствах и где мы с вами познакомились". От него последовал резкий ответ: „Я вас не знаю". После чего его увезли из жандармского управления в крепость.

Меня ввели обратно в первую комнату. Я отлично поняла и взвесила смысл всего происходящего и решила держаться твердо. В шутливой форме обращаюсь к полковнику: „Ну что же, теперь можно и домой?"—на что последовал его ответ: „Нет, теперь мы вас задержим". Тут же вечером я была отправлена в предварилку.

Когда я ориентировалась на своем новом местожительстве, то сделала определенное заключение, что жизнь в предварилке куда скучнее и мертвее, чем в полицейской части—одиночное заключение представляет из себя обстановку, далеко не веселую. Считаю нужным здесь оговориться, что на отношение ко мне низшей администрации и прислуги предварилки я не могу пожаловаться. Надзирательницы иногда передавали записки „с воли". Из сидевших со мной в предварилке могу указать на сестру Суханова, Тыркова, польку Вериго, Бердичевскую, Гельфман (с последней я была знакома, а с Вериго даже однажды жила). Дело Гельфман было выделено из дела первомартовцев в виду того, что она была беременна и ожидала ребенка. Я помню, когда, бывало, идешь на прогулку, видишь, как из ее камеры выходят и обратно входят жандармы—она находилась под строгим наблюдением.

Однажды меня перевели с 4-го этажа в нижний, где я пробыла дней 5, при чем показалось подозрительным, что в камере на ночь не гасился огонь. Дело объяснилось потом тем, что в предварилку в это время из Петропавловки привозили для суда первомартовцев. Когда я была переведена обратно в верхний этаж, я спросила у надзирательницы, что же случилось с Перовской, Желябовым и др.? Она мне ответила: „Их повесили". Я впала в обморок. Надзирательница вскочила в камеру с водой и в страшном испуге повторяла: Молчите, молчите, ради бога!" Из предварилки, насколько помнится, мне приходилось выезжать на допрос — один раз в Петропавловскую крепость. Допросы, на которые я выезжала, длились, кажется, не подолгу—1—$1^1/_2$ часа. Когда допрашивали в Петропавловке, мне представили сына коменданта крепости Богородского, сидевшего там в это время (ему вменялась в вину агентура связи „воли" с крепостью путем передачи записок). Последовал вопрос, знаю ли я его, на что я ответила отрицанием. В Доме предварительного заключения я пробыла, насколько помню, до половины августа 81 года, когда была переведена в Петропавловскую крепость.

Последний допрос в жандармском упралении был снят с меня приблизительно в июле месяце, после чего я оставалась и дальше сидеть в предварилке. Я обращала на это внимание прокурора (Добржинского, того самого, который, благодаря своим незаурядным следовательским способностям, сумел склонить Гольденберга, участника Липецкого съезда, к раскаянию и выяснению планов организации). Как раз в августе меня посетила в предварилке моя мать. Только я попрощалась с нею, как мне было объявлено управляющим о том, что я перевожусь в крепость.

По приезде туда я была сдана жандармами на попечение моего нового начальства. Офицер, водворявший меня в крепости, повел меня, помню, сначала в одну камеру в нижнем этаже. Эта камера представляла из себя далеко не важное помещение, и мрачное и сырое. Мой провожатый почему-то проявил милость и повел меня во второй этаж, где мне удалось основаться в более приличной камере. Едва я почувствовала себя хозяйкой на новом месте, как ко мне явилась девица с предложением снять с себя положительно все (остаться на некоторое время Евой, накрытой жестким арестантским халатом). Все мое платье было отнесено офицеру для осмотра.

Если между режимом предварилки и полицейской части я уже отмечала довольно существенное различие, то между новым режимом и предшествовавшим я должна была также провести разницу. В крепости уже нельзя было проявить себя в какой-нибудь физической работе, напр., шитье, рукоделье, как это имело место в предварилке. Единственное занятие, которым можно было отвлечь свои мысли от положения, являлось чтение книг, выдававшихся из крепостной библиотеки. Я помню, что я порядочно читала старый „Вестник Европы" приблизительно 74—75 годов. Был у меня томик стихов Гейне, который подарила мне мать при свидании со мной. За отсутствием каких-либо впечатлений и событий жизнь текла необычайно монотонно. В коридоре царило в полном смысле молчание тишины. Дежурные жандармы и унтера на все вопросы, сколько их ни приходилось задавать в форточку, всегда деревянно отвечали: „да-с, нет-с"—и больше ничего. Я сказала бы, что те прогулки, которыми приходилось пользоваться в крепости по четверти часа ежедневно, не доставляли почти никакого развлечения, разве только служили для некоторой вентиляции организма. Гуляешь, конечно, в сопровождении „кавалера", который молчит, и ты молчишь—получается молчащая пара. Одновременно со мной в Петропавловке сидели другие участники нашего процесса, но знать об этом я, конечно, ничего не знала.

В октябре я в крепости сильно заболела. Помню утро, когда я проснулась с сильной головной болью. Когда в камеру явился унтер и предложил мне отправиться на прогулку, я сначала отказалась, но потом пошла. Мы спускались с ним вниз по лестнице; я, кажется, в ослабевшем состоянии упала и покатилась вниз по порожкам. Что со мной случилось, я не помню. Когда я через некоторое время очнулась в другой камере, спросила у сиделки, что со мной? Последняя ответила, что я все время молчу. Конечно, это означало то, что крепостной режим даже в короткое время произвел в моем нервном и психическом состоянии изрядный надлом. Особенно угнетающе на настроение действовала гробовая тишина, прерываемая через получасовые промежутки игрою курантов, исполнявших по очереди то „боже, царя храни", то „коль славен".

Что касается сношений с волей, то у меня их не было, да и невозможно их было устроить. Один раз ко мне на свиданье приехала сестра Наталья вместе с теткой Бучневской. Вполне естественно, что это посещение явилось для меня фактом, значительно разрядившим тусклое однообразие тянувшихся буден. Каких-либо других событий, которые оставили бы по своей значительности след в памяти, не было.

Однажды в ноябре совершенно неожиданно вдруг меня перевели в другую камеру, гораздо худшую, чем ранее. Это меня в высшей степени огорчило, но пробыть в новой клетке мне пришлось всего несколько минут. Очень скоро мне было объявлено, что я снова должна вернуться в предварилку. В этот же день я вновь перекочевала в Дом предвар. заключения. В предварилке опять потекли однообразные серые будни. Я была помещена в небольшую одиночную камеру и продолжала болеть. Нервы мои дали большую трещину, одиночество для меня становилось все тяжелей. Через два месяца, по моим настояниям, мне была предоставлена камера более просторная, в которой со мной стала находиться сиделка — девица Катя, осужденная за уголовное преступление. Она, будучи прислугой, стянула у хозяев несколько серебряных ложек. Катя была симпатичное простое существо, которое ко мне сильно привязалось. Иной раз, близко подсев ко мне, она начинала плакать. Спросишь ее, что с нею, а она в ответ: „Барышня, да мне кажется, что вы скоро помрете". Я вспоминаю о ней сейчас с теплым чувством. Приблизительно в феврале в жандармском управлении я подвергалась медицинскому осмотру, целью которого являлось установить мое состояние для присутствия на суде в качестве обвиняемой. Председатель комиссии, врач Чечотт, нашел мое здоровье не совсем плохим, по крайней

мере он выразился: „Тырков куда хуже вас!“.

Чего-либо интересного, из ряда выходящего за это время моего пребывания в предварилке, не осталось в памяти. На положении больной я пользовалась достаточным вниманием со стороны и управляющего и жандармов. Один жандарм однажды, передавая мне записку, на мой вопрос, как же он не опасается за последствия, ответил: „Я бы за вас и душу свою не пожалел“. На основании тех случаев, когда мне приходилось иметь дело с жандармами, которые меня конвоировали или охраняли, о некоторых я должна сказать, что это были обыкновенные русские крестьяне - солдаты, зарабатывавшие своей службой кусок хлеба.

Суд над „двадцатью“ состоялся, когда я находилась еще в предварилке. В силу болезни я была выключена из состава подсудимых. О результатах суда и его приговоре мне до самого отъезда в Казань ничего не было известно. После этого в Окружном суде состоялась новая комиссия, которая производила экспертизу нервно-психического состояния моего и Тыркова. Комиссия эта, в составе человек 30 под председательством Чечотта, нашла нас больными, подлежащими специальному лечению, для чего решено было отправить нас в Казанскую окружную психиатрическую лечебницу. Помню сценку перед последней комиссией. Вхожу в сопровождении жандармов в помещение суда, туда же вводят Тыркова. Он не утерпел, чтобы не броситься от своих жандармов ко мне навстречу. Тут же сообщил мне, что есть предположение отправить нас в Казань, и высказал уверенность, что мы там поправим свое здоровье.

В один апрельский вечер ко мне в камеру явилась начальница женского отделения Дома и объявила, что я могу собраться, чтобы отправиться на вокзал, а оттуда в Казань. Проводили меня дружелюбно. Заведующий усадил меня в приготовленную карету, даже положил за спину подушку; два жандарма уселись со мною, и скоро мы очутились на Николаевском вокзале, хотя вокзал-то, собственно говоря, мне не удалось посмотреть, несмотря на мою полушутливую просьбу к жандармам мне это разрешить. В пути, на одной станции, случился небольшой комический инцидент. Из вагона мои „жандармики“ (они были по своим фигурам мелкорослы) отправились на вокзал выпить, а я в их отсутствии взяла да и перебралась в соседний вагон. Возвратившись, жандармы не застали меня на том месте, где оставили. Через несколько минут недоразумение выяснилось, и мои охранители говорили: „Наша барышня нас не подведет, она от нас не уйдет“. В Москве к нашей компании присоединилась сестра Наталья, и в конце концов мы прибыли в Казань, где мне пришлось провести целых 9 лет, т. е. прожить до 1891 г.

Сиденье в психиатрической больнице по объему и характеру впечатлений, которыми обыкновенно наполняется жизнь, мало чем отличалось от тюремного заключения—однообразие и скука. Мы, как политические, я, Тырков и Малиновская (участница процесса по убийству шефа жандармов Мезенцева) находились в больнице под сугубым наблюдением и надзором не только, конечно, медицинским, но и полицейским. Само собой понятно, что посылки, которые мы получали, всегда тщательно просматривались, книги и письма строго контролировались, газеты давались только иногда. Выходить или выезжать из больницы за девять лет почти не приходилось, таким образом сношения с внешним миром происходили только в форме редких свиданий с родственниками. Один раз, помню, мы с надзирательницей ездили в подгороднее татарское село, совершили некоторого рода этнографическую экскурсию. И только. В течение 9 лет пришлось переменить комнату только лишь три раза.

Из заведующих больницей вспоминаю первого—генерала Фрэзе, сухого и довольно отсталого немца, затем доктора Рогозина и Боткина. Рогозин находился в хороших отношениях с профессорствовавшим тогда в Казани, будущей знаменитостью, Бехтеревым. В нашей больнице профессор Бехтерев устраивал лекции для своих студентов, демонстрируя их на обитателях нашего общежития. Течение дней приходилось наполнять разнообразной мелкой работой. Иной раз что-либо вышиваешь или шьешь, читаешь книги. Большое удовольствие получалось от оказывания какой-либо повседневной помощи больным соседям. Вспоминаю, как мне своим ухаживаньем удалось вернуть психическое равновесие жене одного доктора, обитавшей по соседству. Была одна женщина, мать выпавшей со второго этажа девочки, которую мне также удалось поставить на ноги. Вспоминается вдова проф. Добротворского, с которой у нас завязались довольно приятельские отношения. Когда она выехала в Москву, я сильно скучала и настояла, чтобы меня поместили по соседству с Малиновской. Приходилось принимать маленькое участие в хозяйственной жизни больницы — записывать получаемое от коров молоко, результаты взвешивания больных и т. п. Обучала надзирательниц.

Время шло, а между тем здоровье мое слабело. В это время мать моя хлопотала о том, чтобы из больницы я была отпущена домой под надзор местной полиции. Тырков еще раньше меня выбыл из Казани в Сибирь на поселение. Он пробыл в больнице года $1^1/_2$. Приблизительно за год до моего отъезда из Казани он прислал

письмо с предложением перебраться в Сибирь. Но я, жалея свою больную мать, склонялась к тому, чтобы поскорее с нею увидеться. Поэтому в Сибирь я не поехала.

В 1891 г., наконец, последовало согласие правительства отпустить меня на родину.

Таким образом, казанское сиденье закончилось, и я вернулась в Покровское, в Малоархангельский уезд Орловской губернии. Возвращение в „отчий дом“, конечно, сопровождалось некоторым рядом полицейских мытарств, претерпев которые я, наконец, получила домашний уход матери и родных, с одной стороны, и полицейский надзор в лице местного станового — с другой. Последний выражался, что я числюсь у него как „вечно подсудная“, которую нужно строго беречь и никуда не пускать.

Период моей жизни по возвращении из Казани и до последних дней можно, хотя и не резко, разделить на три части двумя крупными историческими датами: 1) революцией 1905 г. и 2) революцией Октябрьской.

90-е годы и начало 900-х г. г. являлись у меня как бы продолжением казанского „сиденья“. Конечно, была и разница, именно в том, что я жила в деревне, окруженная вначале заботливым уходом родных. Здоровье мое было основательно расстроено, к тому же я постоянно болела душой за сестру Наталью, которая еще с 80-х г. г. заболела перемежающимися припадками нервно - психического расстройства. Когда умерла моя мать, мне вплоть до 1924 года пришлось постоянно ухаживать за сестрой.

90-е годы в истории нашего революционного движения вообще являются периодом затишья, более точного определения путей, по которым должна была пойти будущая революция. Авангард рабочих собирал свои силы для грядущих выступлений. В деревне же в эти годы было довольно глухо. В частности и в нашей округе. Связи мои с прежними народовольцами порвались, да и невозможно было о них думать. Переписываться с кем-либо не приходилось, так как из прежних соратников почти все были рассеяны по каторжным тюрьмам и ссылкам. Надзор местной полиции всегда висел надо мною, как отвратительный кнут. Выезжать куда либо я, конечно, не могла. Только в начале 900-годов я от времени до времени приезжала в Орел. Здесь я встречалась с Афонской (урожденной Шатиловой—приемной дочерью Субботиных). Муж ее был нотариусом в Орле, пользовался большой популярностью. Афонская была очень интересным и живым человеком, с которой я встречалась с удовольствием. Иногда она приезжала нас навестить в Покровское.

1905 год на время принес мне некоторое облегчение положения. Полицейский карантин был ослаблен, и я даже добилась у орловского губернатора разрешения въезда в Москву и Петербург. Я этим воспользовалась и посетила Москву. Но встретить здесь кого-либо из прежних друзей подполья мне не пришлось. В этот раз я привезла от своей подруги Серчевской некоторое количество революционной литературы, которою снабжала в деревне кое-кого из знакомой деревенской молодежи. С этого времени вообще я не имела недостатка в литературе, которую у меня всегда на расхват разбирали. Меня навещали знакомые учителя из округи, семинаристы, гимназисты, а иногда приезжавшие с заводов и шахт рабочие. Скучать эти годы мне уже не приходилось. Так как свободного времени было порядочно, то я использовала его в занятиях по обучению грамоте деревенских ребятишек. Несколько десятков моих учеников окончили при моем содействии начальное училище, городское, гимназию, а некоторые в последнее время, после Октября, даже поступили в университет. Девочек мы с сестрой, кроме грамоты, обучали рукоделью.

Около 1910 г. я возобновила переписку с Тырковым, который вернулся на родину из сибирской ссылки. Он принял участие в издававшемся тогда журнале „Былое“, впервые в подробности осветившем деятельность „Народной Воли“. Перу Тыркова принадлежит большая статья, в которой он делится своими воспоминаниями о наших общих друзьях - народовольцах. Переписку мы поддерживали с ним до самого последнего времени. Другими лицами, с которыми я за это время переписывалась, были: сестра Квятковского Юлия, которая жила и работала в качестве врача в Кишиневе, затем вышеупомянутая Серчевская—моя подруга по гимназии.

С неприятным чувством вспоминаются годы войны—последние годы самодержавия. Много было пролито тогда слез в деревне. Трудно было утирать эти слезы, и вспоминать об этом не хочется.

Наступил 17 год, а с ним Февральская, а затем и Октябрьская революция. К сожалению, последняя пришла уже тогда, когда наши силы, обреченные на вынужденное безделье, почти совсем износились. В настоящее время я, вместе с другими оставшимися в живых народовольцами, числюсь в республиканском Собесе инвалидом особых заслуг. Правительство рабочих и крестьян, Ленин и другие вожди пролетариата должным образом оценили значение нашего исторического выступления.

Эти годы—с 1917 по 1925—я безвыездно жила в деревне с больной сестрой Натальей, умершей осенью 1924 г.

В период гражданской войны приходилось переносить материальные лишения — недоедать, мерзнуть, но с кем это не бывало. Кончилась гражданская война — началось внутреннее гражданское и хозяйственное

устройство нашей страны. Старики революции, в том числе и я, были правительством перерегистрированы и взяты на государственное обеспечение. Очень высоко ценю моральную и материальную поддержку, кот. оказывает, как и другим своим членам, О-во Политкаторжан. Недавно, 14 марта 1926 г., мы, первомартовцы, отпраздновали свой 45-летний юбилей. Правительство и партия в должной мере отметили эту дату. Большое горе мне пришлось пережить со смертью сестры Натальи, которую я очень любила. С этим я не могу помириться и сейчас.

Попов, Иван Иванович*).

Родился я в Петербурге в 1862 г. в Павловском военном училище, где мой отец служил фельдфебелем. После смерти отца на руках матери нас детей осталось 7 человек. Она всем дала образование. Жили в Галерной гавани, на привольи, но бедно. С детства был знаком с В. М. Гаршиным и Н. С. Дрентельном (физиком), которые были товарищами брата по гимназии и часто бывали у нас. Учился в уездном и городском училищах вместе с Ф. К. Тетерниковым (Ф. Сологубом); вместе с ним поступил и в Учительский институт. Читать стал рано и читал без разбора, а потом братья стали руководить моим чтением. На всю жизнь остались в памяти „проповеди отца Гавацци“ Добролюбова и Берне. У нас собирались студенты и курсистки—товарищи брата Ильи—студенты-технологи и подруги сестер. Заходил к нам и Пресняков, товарищ брата Павла по Учительскому институту. Помню, он убеждал Илью не отговаривать Гаршина итти добровольцем в русско-турецкую войну. У нас шли постоянные споры, обсуждали революционные и военные события, студенческие волнения, читали нелегальные произведения. Все это производило впечатление. Я уже в городском училище был затронут „вредными идеями“. Участвовал в похоронах ст. Подлевского и Н. А. Некрасова. После окончания городского училища я целый год готовился для поступления в Учительский институт, много читал, прореферировал I т. К. Маркса. С этого года я ждал каждый месяц 20-х чисел—выхода книжки „Отеч. записок“, пока меня не арестовали, а журнал не закрыли. „Отечеств. зап.“—Михайловский, Салтыков, Успенский, „внутренние обозрения“ и др.—имели наибольшее влияние в выработке моего общественного миросозерцания. Учительский институт, куда я поступил в 1879 г., также имел значение для меня. Воспитанники почти все были значительно старше меня и Терникова. Многие из них уже побывали народными учителями. По своим убеждениям большинство являлось народниками-семидесятниками и отрицало террор. Директор К. К. Сент-Илер, преподаватель-математик В. А. Латышев, историк Я. Г. Гуревич, даже священник И. Заркевич свободно обсуждали с нами события и участвовали в наших политических спорах. На втором курсе в 1880 г. я познакомился с врачом С. В. Мартыновым и у него с П. А. Телаловым. По их просьбе устроил в институте конспиративный склад и организовал кружок из воспитанников. Нам доверялись важные пакеты и вещи. В этом же году познакомился с студентом медиком—П. Ф. Архангельским, вскоре после ареста и освобождения умершим. Он сдерживал меня и постоянно говорил: „Не торопитесь в революцию... Успеете. Работайте над собой, больше и с толком читайте“. С 1881 г. я сошелся с П. Ф. Якубовичем и всю жизнь дружил с ним. Через него связался с центральным кружком университета, архив которого мы хранили в институтском складе. Вместе с Якубовичем мечтал о создании студенческих легального журнала и нелегальной газеты. Якубович к намеченной цели приспособил журнал С. Н. Бажиной „Русское Богатство“. Газету же „Студенчество“ мы осуществили в 1882 г. и выпустили на гектографе 5 №№. В 1881 г. сообща с нашим воспитанником С. И. Чекулаевым и студентом А. В. Пихтиным организовали гектографическую и фотографическую мастерские и паспортное бюро, которые просуществовали до марта 1884 г., создали ряд всевозможных изданий и откликались на события. Весной 1882 г. я кончил курс в институте, стал преподавать историю в училище Тименкова-Фролова и пансионе Филиппова. Перед окончанием института я сблизился с ст. Н. М. Флеровым и В. А. Бадаевым. Они, особенно Флеров, были значительно старше меня. У них была большая группа, состоявшая из кружков рабочих и студенческих кружков. Группа работала независимо от „Народной Воли“ и даже сторонилась народовольцев, считая пропаганду среди рабочих за самодовлеющее дело, которое не следует компрометировать связью с террористами. Террор, по их мнению, нецелесообразно губит силы и вводит в систему борьбы момент случайности. Флеров и Бадаев мечтали передать революционное дело и дело освобождения рабочих в руки самих рабочих и крестьян. Я вошел в центральный кружок группы, состоявший сначала из Флерова, Бадаева и меня, а значительно позднее в него вошли технолог Ф. Олесенев и студ. П. Мануйлов. В нашей группе было свыше 30 кружков рабочих, несколько студенческих, где вырабатывались пропагандисты.

*) Автобиография написана в марте 1926 года в Москве.

Были в группе и несколько солдатских кружков. При пропаганде мы стремились сделать из рабочих сознательных, критически мыслящих людей. Наиболее успевающих рабочих мы выделяли в особый кружок, занимались с ними отдельно и предоставляли для пропаганды небольшие кружки рабочих. Мы избегали демагогических и догматических подходов. Занимались с рабочими и общеобразовательными предметами. При изложении положений политической экономии мы исходили из положений научного социализма и старались выявить классовую обособленность рабочих. Мы работали в тесном контакте с первыми социал-демократами в России—группой Д. Б. Благоева и П. А. Латышева, менялись с ними и кружками и пропагандистами. Июньские аресты 82 г. (Прибылев, А. П. Корба, М. Ф. Грачевский и др.) не затронули нас, но нанесли удар петербургской организации „Народной Воли". Бр. Н. А. и В. А. Карауловы, С. Е. Усова и П. Ф. Якубович задались целью восстановить петербургскую организацию и затерявшиеся связи с заграницей и провинцией, а потом собрать съезд. Со всеми ними я был хорошо знаком, а с В. Карауловым и С. Усовой участвовал в „Синем Кресте" (общество помощи политическим ссыльным и заключенным). Совещания Карауловых, Якубовича и Усовой происходили на квартире В. А. Караулова. Я не раз бывал на них. Посещал это совещание и С. А. Иванов („Заика"), когда приезжал в Петербург. Бывали на них П. В. Личкус и англичанка Лили Буль, будущая Войнич, автор „Овода". Кто-то, едва ли не Лопатин, прозвал потом эти совещания „Соломенным комитетом". Но этот „Соломенный комитет" к зиме 82 г. восстановил петербургскую группу, вошел в сношения с Москвой, провинцией и за границей, а главное мы связались с В. Н. Фигнер, находившейся в Харькове. От Фигнер в Петербург зимой приезжала С. В. Никитина. Этот комитет добился того, что наша флеровская группа слилась с „Народной Волей", и начал переговоры о соглашении с „Пролетариатом". Я был близок с петербургскими пролетариатцами—Ф. Ю. Рехневским, А. И. Дембским и С. Ч. Куницким. С последним был на ты. Флеров также сошелся с ними. Программа польского „Пролетариата" была близка нашей группе: у них в программе намечался экономический террор, а мы втроем—Флеров, Бадаев и я, не раз обсуждали вопрос об аграрном и фабр. терроре, кот. следовало бы практиковать в исключит. случаях, в целях агитации и пропаганды революционных идей среди широких масс населения. Были у нас связи и с „милитаристами", мечтавшими при помощи военной силы произвести переворот и захватить власть. Но в близкое отношение мы не вступали с ними.

К августу 1882 г. в нашей группе, кроме гектографской и фотографической мастерских, имелась и летучая типография, помещавшаяся вся в чемодане. Рама-ящик была сделана по особому рисунку, так что набор в каждый момент мог быть закреплен и уложен, не разбирая, в чемодан. На этом станке работал С. А. Анжикович, внук Бенигсена, одного из убийц Павла I. Анжикович делал набор в частных квартирах. Ему помогали Паули и наборщик Никвист. Имелись у нас сношения и с почтамтом, откуда получали списки лиц, письма которых перлюстрировались. Эти сношения удалось устроить мне через чиновника С. Антонова. Осенью 82 г. Флеров согласился войти в переговоры с Якубовичем и Карауловым. У нас было несколько совещаний, мы договорились и на автономных началах влились в партию „Народной Воли", образовав ее рабочую группу. Наш центральный кружок стал Центральным Комитетом „Рабочей Группы Партии Народной Воли". Сношения с „Народной Волей" вел я, а Флеров и Бадаев занимались рабочими и делами нашей группы. В свой комитет мы ввели и Ф. Олесенева. Это было в конце 82 или в начале 83 г. Работа в Петербурге, да и не в одном Петербурге, шла прекрасно. Мы знали о существовании мощной военной организации. В конце января в Петербург от Фигнер приехал Комарницкий, и в беседах с ним мы установили факт, что „Народная Воля" еще никогда не была так сильна, как на рубеже 82—83 гг. В Петербурге мы надеялись скоро иметь большую типографию. Организацией ее был занят М. П. Шебалин, а пока что работала наша компактная, переносная типография. Правительство вело через Николадзе переговоры с революционерами о прекращении террора (см. „Былое"). Мы были бодры и чувствовали силу. И вдруг арест Фигнер, а за ним аресты военной организации и др. Арест Фигнер приписали случайной встрече с предателем Меркуловым. В Петербурге провалов не было, если не считать Кронштадта. В марте на нашем станке отпечатали „Воззвание к русскому обществу", а в апреле пытались напечатать в типографии Академии Наук прокламацию по поводу коронации. Сорвалось. Приехал С. А. Иванов и в разговоре со мной настаивал, чтобы прокламация была. Выручил Анжикович, который с Паули и Никвистом в нанятой комнате у „глупой чухонки" отпечатали прокламацию и потом скрылись. Вскоре они поставили свою типографию, но были арестованы. Тогда уже была оборудована типография Шебалиных, с которой сносились С. П. Дегаев и Якубович. В мае Дегаев (Петр Алексеевич)

приехал в Петербург после побега, устроенного ему жандармами. У него были большие полномочия, и он занял центральное положение. На меня своими бегающими глазами он произвел неблагоприятное впечатление. Аресты продолжались и смущали нас. Поляки пролетариатцы говорили нам, что явки из России проваливаются, а из других мест проходят благополучно. Это наводило на грустные мысли и предположения. Летом выпустили „Листок Народной Воли“, отпечатанный в типографии Шебалиных. Там же отпечатали прокламацию по поводу кончины И. С. Тургенева и стихотворение в прозе „Порог“. Прокламацию составил Якубович. К этому же времени закончились переговоры о соглашении с „Пролетариатом“, в которых принимал участие и Дегаев. Куницкий уехал в Париж, чтобы окончательно договориться с Тихомировым, Ошаниной и пролетариатцем Мендельсоном. Дегаев реже стал показываться. В Петербург приехали К. А. Степурин, не знавший о провокации Дегаева, и Г. А. Лопатин. Последнему Дегаев сам сознался, и Лопатин наблюдал, чтобы Дегаев выполнил обещание. В конце октября вернулся Куницкий, которого в Париже ознакомили с ролью Дегаева. Он молчал и информировал только Рехневского, а потом Якубовича. В октябре состоялся съезд. Провинциалы почти не приехали, а одесситы даже уклонились от сношений с Петербургом: они уже сомневались в Дегаеве. Създ значения не имел. Наша группа уклонилась от участия. На одном совещании на квартире С. А. Венгерова Якубович спросил меня, не могу ли я, если понадобится, съездить на две недели до границы. Я сказал, что это возможно сделать только на рождестве, на что Куницкий заметил: „Не будем вмешиватьИ. И. Поедет Рехневский“. Из разговоров с Куницким, Якубовичем и особенно с Рехневским мне стало ясно, что Дегаев предавал, и что теперь готовится покушение на Судейкина. Я, конечно, должен был молчать. В декабре меня просили быть наготове со станком и помочь напечатать маленькую спешную прокламацию. Типография Шебалиных была ликвидирована, и они уехали в Киев. 16 декабря вечером я, Росси и Кулябко печатали прокламацию об убийстве Судейкина, а на другой день Якубович рассказывал мне, как к нему явился совершенно растерявшийся Дегаев, и Куницкий увез его на вокзал, где их ждал Рехневский, который и переотправил Дегаева через Либаву за границу. В Петербурге и после убийства Судейкина не подозревали о провокаторстве Дегаева. Только Флеров говорил, что тут все странно, я и Якубович молчали. Лопатин и Караулов уехали за границу. Провокаторство Дегаева раскрылось в начале января. Арестованным Усовой и С. Н. Кривенко жандармы сообщили, что их предал Дегаев, а они передали об этом на волю. Буря негодования охватила революционный мир. Поднялись голоса против централизма, диктатуры заграничников, которые, якобы, поощряли провокацию Дегаева ради убийства Судейкина. Встал вопрос о пересмотре программы Исполнительного Комитета. Ждали разъяснений Исполнительного Комитета, но их не было. Мы снова поставили типографию на Лиговке у Сладковой. В типографии были отпечатаны прокламации: „От Центр. Кружка союза молодежи“, по поводу правительственн. сообщения о награде тому, кто укажет место, куда скрылся Дегаев, и только в феврале—объяснение Исполнительн. Комитета по делу Дегаева-Судейкина. В половине января начались совещания нашей группы с М. П. Овчинниковым, П. Ф. Якубовичем и др. о пересмотре программы. Согласились, чтобы центр был в России и составился из представителей групп, а за границей будут находиться запасные члены. В программу ввели параграф о фабричном и аграрном терроре „в исключительных случаях“. Чтобы сохранить преемственную связь с „Народной Волей“, приняли название „Молодая Партия Народной Воли“, а орган проектировали назвать „Народная Борьба“. Якубович поехал в Киев, Добрускина в Ростов, кто-то в Москву. Отовсюду получили одобрительные отзывы. Пролетариатцы также одобряли новую программу. После одобрения мы решили вступить в переговоры с народовольцами. Вернувшийся из Киева Якубович предложил Степурину созвать совещание. Степурин отнесся к нашей программе отрицательно, но все-таки вызвал из провинции старых народовольцев, в том числе А. Н. Баха и А. В. Гедеоновского. Мы решили до окончания переговоров не выявлять новую партию. Переговоры начались в феврале. Вскоре провалилась наша типография. Вслед за провалом типографии были арестованы Степурин, Антоновский, Подбельский и др. 16 марта 1884 г. в Петербурге разразился погром; в числе арестованных были я, Бадаев, Пихтин, Чекулаев и др. Флеров, Якубович, Мануйлов перешли на нелегальное положение. Переговоры продолжались уже без меня. Из-за границы приехал Г. А. Лопатин, назвавший „молодых народовольцев“—„красными петухами“. Он привез план новой организации партии, во главе которой будет стоять центральная группа из 17 человек, а вместо Исполнительного Комитета выделяется из группы Распорядительная Комиссия из трех—Г. А. Лопатина, Н. М. Саловой и В. И. Сухомлина; это была уже уступка нам в отношении ослабления централизма. В то же время мартовский разгром подорвал силы

обоих партий. Переговоры между молодыми и старыми народовольцами закончились соглашением, которое от лица „Молодой Народной Воли“ и было напечатано в № 10 „Народной Воли“ вместе с договорными письмами „Пролетариата“ и Исполнительного Комитета. Но программа „Молодой Народной Воли“ не была изжита: многие кружки и в Петербурге и в Москве и в провинции продолжали проводить ее в жизнь. Еще в ноябре 84 г. мне пришлось воздействовать на эти кружки и отдельных лиц, о чем говорит письмо Якубовича, до меня не дошедшее и захваченное у ст. Ермолаева. Часть его напечатана у Туна. Мой первый арест был непродолжителен. Я оказался скомпрометированным со стороны Подбельского. Дегаев не предал меня. В мае я был освобожден под залог, остался в училище, а в августе 84 г. пришлось снова серьезно заняться революционными делами. Из центра нашей флеровской группы в Петербурге я был один, и у меня в руках остались связи. В августе Якубович уехал в Дерпт печатать № 10 „Народной Воли“ и передал мне сношения с Н. К. Михайловским, Н. В. Шелгуновым и др. литераторами. Лопатин и Салова не нашли удобным взять эти сношения на себя. Вернувшийся в сентябре Якубович держал меня „на случай“ в курсе дел. В это время Лопатин настаивал на необходимости для поднятия престижа партии совершить террористический акт. Намечен был министр Д. А. Толстой, которого ненавидело все общество. Михайловский торопил выпуском № 11. Осенью выдвинулась М. Н. Емельянова (вышедшая потом в Сибири замуж за Костюрина). Она также помогала центральной группе даже больше меня: после ареста я был осторожен. В октябре в один день арестовали Лопатина и Салову. У Лопатина захватили шифрованные адреса. Пошли аресты по всей России. В это время я женился на курсистке В. А. Лушниковой из Кяхты. В ноябре я уже работал вплотную. Я в последний раз встретил на улице Якубовича, который шел на свидание со мной и подал мне знак, чтобы я не подходил к нему. Он был арестован. В Петербурге остались в главе организации Емельянова и я. Нам помогала Подсосова. Роль наша была та же, что и „соломенного комитета“ в 82 году: мы собирали остатки организации, восстанавливали сношения с провинцией и заграницей. В январе связались с заграницей. Я готовил № 11—12 „Народной Воли“, в который Михайловский дал статью. В январе провалилась благодаря случайности (с квартирохозяином *) сделалась падучая, и он задохся) дерптская типография. Мысль о выпуске журнала пришлось оставить, точнее передать на юг Оржиху и Богоразу, которые в августе 85 г. выпустили последний № 11—12 „Народной Воли“. 12 февраля 1885 г. я, Емельянова, Подсосова и др. были арестованы. Меня и Емельянову арестовали на улице—ждали вооруженного сопротивления. Система конспирации Флерова, отсутствие клички, кличка Флерова в Москве — „Ив. Ив.“, письмо Якубовича ко мне с датой, когда я был уже арестован первый раз, а главное показание Грекова, который всех выдавал и выдал Ив. Ив. (но вместо меня у него был А. И. Дембский, назвавшийся Ив. Ив.)—все это избавило меня от суда и каторги, и я был административно сослан на 4 года в Забайкалье, в Кяхту, где попал в просвещенную семью моего тестя, ученика декабристов, А. М. Лушникова. Здесь, в Кяхте, я и жена вместе с чайковцами Н. А. и А. Д. Чарушиными, городскими учителями, поставили общественную библиотеку, местный музей, организовали отделение Географического Общества. Я собирал материалы о декабристах, работал в архиве и писал в газеты. Я начал писать еще в Петербурге в 1883 г.; в „Голосе“ была напечатана, если не считать нелегальные журналы, моя первая статья „Студенческий пролетариат“. В Кяхте я сблизился с Потаниными, Ядринцевым, Клеменцами, возвращавшимися или отправлявшимися в научные экспедиции по окончании срока ссылки. В июне 89 г. я уехал в Париж и провел там зиму, близко сошелся с П. Л. Лавровым и эмиграцией, между которой встретил старых знакомых—Бурцева, Дембского и др. В Париж я привез порученные мне М. А. Натансоном и др. материалы по Якутской истории в 89 г. Я их заучил наизусть. На основании материалов Лавров написал статью, а французские социалисты составили протест. Благодаря знакомству с эмиграцией я имел разговор с П. Н. Дурново, после которого предпочел уехать в Сибирь и Ср. Азию. В 1894 г. еще при жизни Н. М. Ядринцева я взял в свои руки газету „Восточное Обозрение“ и журнал „Сибирский Сборник“, поселился в Иркутске, был одно время консерватором музея Восточно-Сибирского Отдела Географического Общества. В 1895 г. я был официально утвержден редактором и потом издателем газеты. В „Восточном Обозрении“ работали преимущественно старые сибиряки-областники и политические ссыльные, начиная с известного П. Г. Зайчневского („иностранное обозрение“), каракозовца Б. П. Шостаковича, нечаевца А. К. Кузнецова, чайковцев, семидесятников, народовольцев, социал-демократов включительно до ссыльных последних формаций. В газете писали Стефанович, Ковалик (сибирское обозрение) Свитыч-Ильич (фельетоны), В. Серошев-

*) Переляевым. *В. Фигнер.*

ский, Шиманский, Тан-Богораз, М. Фундаминский, Майнов, Войнаральский, М. Р. Гоц, П. Ф. Якубович (псевдоним „Аквилон"), Е. К. Брешковская, Л. Д. Бронштейн-Троцкий (Антид-Отто), Ф. Я. Кон (К. О. Н.), Л. Б. Красин и мн. др. Газета была радикально-демократическая. Сссыльные считали ее своей и охотно писали. Население ценило газету, и тираж ее к 1905 г. был свыше 20 т. В Иркутске я жил в тесном общении с политической ссылкой и не раз помогал побегам. В январе 1906 г. Меллер-Закомельский закрыл газету, а я вынужден был уехать за границу, откуда вернулся во время первой Государственной Думы и работал в ее комиссиях. За 1905 г. я, как инициатор организации милиции, вместе с другими иркутскими гласными был предан суду и до 1909 г. был лишен избирательных прав, пока сенат не приговорил нас к штрафу. С 1906 г. живу в Москве, где работал в разных газетах и журналах, преимущественно в „Русских Ведомостях". Состоял председателем „Общества деятелей периодической печати и литературы", директором Литературно - художественного кружка, председателем которого я был после В. Я. Брюсова, членом „Литературной Среды", политич. „Красного Креста" и др. и всегда поддерживал связь с Сибирью и ссылкой. После Октябрьского переворота работал в о-ве потребителей „Кооперация", кооперативном клубе, издательствах, бюро краеведения и в московском областном музее. Состою членом группы народовольцев, при обществе „Политкаторжан". Кроме многочисленных статей в газетах и журналах по различным вопросам особенно по Сибири, Д. Востоку, Серединной Азии и азиатским государствам, а также переводов сделанных совместно с сыном, А. И. Поповым, имею отдельные работы: „Орхонские открытия и дешифрирование рунических надписей" (Ирк., 1895), „Земство и Сибирь" (1905), „Дума народных надежд" (история первой Думы, 1907), „Великая могила прошлого" (очерки по Италии, 1910), „От Небесной империи к Серединной республике" (история Китая, 1911), „Д. А. Клеменц" (Ирк., 1915), „Минувшее и пережитое" (воспоминания за 50 лет), I и II т. Издан. „Колос" (1924); III том охватывает события включительно до первой Думы. Печатается IV том, доведен до 1912 г.— в нем больше литература и искусство; V т. пишу.

Прибылев, Александр Васильевич *).

Один из небольших городов Зауралья,— г. Камышлов—был местом моего рождения. Я родился в ночь с 30 на 31 августа 1857 г. Городок этот в то время был настоящей деревней, меньше чем с 2000 жителей, из которых по крайней мере четверть были цыгане, жившие в особой части города, почему-то носившей название—„Пауты". *) В городе была одна-единственная церковь, именуемая собором, но церковь очень благоустроенная, стоящая на возвышенном въезде в город из смежного с ним села—Закамышловки. Главным священником этой церкви был мой отец, протоиерей и благочинный, служивший здесь в общей сложности больше 35 лет.

О происхождении отца нам ничего не было известно, и речи об этом у нас никогда не поднималось: так мало интересным казался нам этот вопрос. Мы знали, что с нами жил старик дед, отец отца, старый заштатный священник, очень гордившийся сыном протоиереем и очень уважительно, даже боязливо относившийся к нему, вот и все. Другое дело мать; о ней мы осведомлены были больше. Мы знали, что ее отец был чистый польский шляхтич, плохо говоривший по-русски и носив. громкую фамилию Жолкевского. Предание говорило, что за него была выдана девица зажиточной мещанской семьи—мать нашей матери — исключительно в расчете через родство с дворянином получить право владения крестьянскими душами. Из этой-то новой семьи, никогда не удосужившейся сделаться помещичьей, и происходили моя мать и ее сестра, решительно ничем не отличавшиеся от своих подруг-обывательниц и ни в чем не проявивших своего полупольского происхождения. Да и дед Жолкевский умер так рано, что самые старшие члены нашей семьи его едва помнили. И нам осталось неизвестным, был ли он добровольный выселенец с родины, или был переселен на Урал насильственно за участие в каком-нибудь патриотическом заговоре. Последнее, пожалуй, более вероятно.

К моему глубокому сожалению, я не знал материнской заботы, не испытал ласки матери, не видал ее любви. Моя мать умерла, когда мне не было двух лет, и ее образа не сохранилось в моей памяти.

Но на отце останавливаются мои самые ранние детские воспоминания с нежной и искренней любовью. Он изливал на меня всю свою доброту и нежность, сохраненную им в обилии, не растраченную за отсутствием горячо любимой, потерянной им жены. Но замкнутый в своей служебной деятельности и обремененный семейными обязанностями, он не мог быть сколько нибудь серьезным воспитателем еще и потому, что не обладал для того необходимыми знаниями. Вечная служба и много-

*) Автобиография написана в декабре 1925 года в Ленинграде.

*) Местное название оводов, часто тучами налетавших на беззащитных животных.

образные заботы не дали ему возможности пополнить свое образование; он оставался тем, чем сделала его семинария, и в конце концов, создав собственный очаг, удовольствовался обиходом духовной семьи среднего достатка. Но в свое время и у него проявлялась жажда к знанию, к науке. По окончании семинарии он был год студентом Казанской Духовной академии, покинуть которую ему пришлось из-за крайнего недостатка в средствах. После этого, в течение нескольких лет, он был учителем той самой семинарии, где воспитался сам. Испытав влияние бурсы на самом себе, он был очень снисходительным педагогом, отличался отсутствием педантизма и потому был любимым учителем, к которому бурса относилась с уважением, не производя никаких беспорядков в его классах. Это ставило отца в особое положение перед начальством среди других аспирантов, на лучшее положение в духовном мире, и когда он женился, ему было предоставлено место, кажется, на Юговском заводе, не очень далеко от губернского города Перми, а затем и в самой Перми, где он некоторое время исполнял обязанности „ключаря", или что-то вроде этого, при архиерее. В конце концов, утомленный постоянным пребыванием на глазах требовательного начальства, он, уже будучи протоиереем, испросил себе назначение в наш городок, где и остался навсегда.

Итак, не получив сам высшего образования, отец, однако же, сохранил глубокое уважение к науке, и почтение к носителям ее знамени у него сохранилось навсегда.

Человек религиозный, искренно верующий сам, он никогда не навязывал своих убеждений кому бы то ни было, умел уважать мнения других и не сторонился от инакомыслящих *). Эта терпимость главы семьи отразилась и на всех нас окружающих; никто и никогда не угнетал нас религиозностью, обрядностью, наше воспитание шло без воздействия мистицизма и схоластики, и за все мое детство я не припоминаю сколько-нибудь серьезных разговоров на религиозные темы. В торжественные праздники мы ездили в церковь, но и это делалось скорее по собственному побуждению, чем по чьему-либо принуждению.Быть может, этой терпимости в семье я обязан тем, что ни в детстве, ни много позднее мне не приходилось переживать никакой душевной ломки, никакого религиозного кризиса. Будучи в детстве умеренно религиозным, заимствовав эту черту от отца, я таковым оставался до старших классов гимназии, где уже появился определенный критицизм как под влиянием разнообразного чтения, так и собственных размышлений.

Состав нашей семьи в период моего детства не был особенно многочисленным. Наши старшие братья и сестры вели уже давно самостоятельную жизнь, имели собственные семьи. Старший брат окончил курс Медико-хирургической академии и как стипендиат уехал на службу в Сибирь. Одна замужняя сестра жила далеко от нас в центральной России, а другая с детьми жила в нашем городе, и об ней речь будет впереди. Наконец, еще один старший брат был гимназистом старших классов, к нашей жизни и воспитанию не имел никакого отношения и в раннем моем детстве поражал меня только своим гимназическим мундиром с красным шитым золотом воротником.

Нас же, детей, было трое: сестра, старше меня на 4—5 лет, я и брат, моложе меня на $1^1/_2$—2 года. Все мы трое воспитывались дома приблизительно до 9-ти летнего возраста. Сестра была девочкой кроткого спокойного нрава, привязчивая и очень любившая нас, младших мальчуганов, заботилась и ухаживала за нами, как старшая в доме, стараясь заменить отсутствующую мать. В моей жизни она сыграла большую и важную роль искренно любящего человека, ласковой няньки, при случае мягкого, благотворно влиявшего воспитателя, учившего добру и справедливости, поскольку сама познала их в своей юной жизни. Это влияние самого раннего детства так близко связало меня с этой сестрой, немногим старше меня, что наша взаимная тесная связь и горячая искренняя любовь остались на всю жизнь, несмотря на огромную разницу дальнейшего воспитания, образования и, особенно, сложившегося впоследствии мировоззрения.

Наш младший брат, в силу семейных традиций и настойчивых требований старика деда, был предназначен для духовного звания. В силу этого он подпал под воспитательное влияние деда, и можно себе представить, каково было это влияние на детскую душу отжившего, необразованного с необыкновенно отсталыми понятиями 90-летнего старца. Противопоставить этим влияниям какой-либо противовес было некому, и даже усилия нашей доброй сестры в этом отношении были тщетны. В результате судьба этого от природы неглупого и физически крепкого мальчика была исковеркана; впоследствии он, не окончив семинарии, обзавелся семьей и весь век свой

*) Даже впоследствии, когда я уже достаточно самоопределился и не скрывал от него своих крайних воззрений, он лишь с сожалением покачивал головой и говорил близкому человеку, что я не сношу своей головы, что я погибну. В то же время, когда в силу официальных циркуляров он был вынужден читать проповеди против крамолы (бывали такие циркуляры), он, предвидя мою критику, обходил вопрос молчанием и скрывал от меня свои записки.

провел в звании дьякона и псаломщика, много пил, был расстрижен и исключен из духовного звания. Период революции, разметавший людей по неведомым местам, забросил его и его семью в какие-то дебри Урала, где они и были вынуждены влачить, вероятно, нерадостное существование. С этого времени мы утратили о нем и его семье всякие следы.

Приблизительно к моему семи или 8-летнему возрасту одна из моих старших сестер овдовела и осталась с тремя детьми на руках без всяких средств. Отец предложил ей перебраться в наш дом и взять в свои руки бразды правления над всем нашим домашним хозяйством и воспитанием всех детей. Это была хозяйка и воспитательница строгая, женщина непреклонного сурового характера, умеющая заставить себя слушаться и необыкновенно последовательная в выполнении предначертанных ею самой правил воспитания, отчего хорошего также выходило немного. Налагаемые ею наказания на провинившихся в чем-либо ребят нередко доходили до жестокости. Младший сын ее умер от скарлатины или дифтерита, и моим товарищем детских развлечений и игр, не считая младшего брата, был старший сын сестры и ее дочь, с которыми мы и были всегда в самых дружеских отношениях не только в детстве, но и на пространстве всей дальнейшей жизни, пока разница избранных нами жизненных путей не разъединила нас надолго.

Но и эти товарищи моих игр и моего воспитания не долго прожили со мной: их мать решила приобрести специальность и, получив земскую стипендию, уехала с детьми в Петербург для поступления на акушерские курсы. А я остался вновь с моим младшим братом и особенно со своими уличными многочисленными приятелями.

Наше детство, проходившее открыто на лоне природы, не стесняемое никакими условностями и педантизмом, оставило в нас впечатление нежного, красивого и мечтательного периода. Помнить себя я начинаю с очень ранних лет. Первоначальные воспоминания мои всегда соединены с моим отцом. Он брал меня с собой повсюду, где это было возможно, и избегал оставлять меня на попечении наемных женщин, заведующих нашим хозяйством, к тому же нередко сменявшихся. Его чрезвычайная доброта и отзывчивость на все хорошее и честное не могли не повлиять на меня в самом благотворном смысле, а я в то же время, очевидно, был очень податливым и впечатлительным ребенком и легко, бессознательно воспринимал лучшее, что могла дать мне привязанность отца. При этом я не помню какого-нибудь излишнего баловства, какого-нибудь предпочтения меня перед другими, и, наоборот, всякая шалость и необузданность, выходящая за пределы терпимого, вызывала обычно строгий отпор, особенно впоследствии, когда мы немного подросли.

Вторым этапом моих самых ранних воспоминаний были деревенские поездки с отцом, а иногда и всей семьей. Особенно памятна мне деревня Митькина, где у нас, очевидно, были прочные знакомства с крестьянами, знакомства чисто семейные. Припоминаю, как однажды в обратный путь из этой деревни я задремал и в первый и единственный раз видел во сне свою мать. Конечно, это было вскоре после ее смерти, и мне шел, вероятно, тогда 3-й или 4-й год. Так можно было думать потому, что узнав об этом, отец не мог сдержаться и был очень взволнован—до того горька и так свежа еще была для него утрата любимого человека.

Необходимо заметить, что несмотря на главенствующую духовную роль, занимаемую отцом в городе, общий уклад жизни нашей семьи мало отличался от жизни какого-нибудь деревенского попа: то же близкое общение с прихожанами всех классов и рангов и преимущественно из деревенского люда, та же простота нравов и доступность решительно для всех нуждающихся в отце, как в священнике, тот же приток богомольных людей — бродячей Руси, — являющихся за „благословением“ к „батюшке“, та же дружба со всеми связанными с отцом в силу его служебного положения и пр. И те же простые, безыскуственные отношения сложились у нас и с некоторыми крестьянскими семьями в деревнях и особенно в Митькиной, и мы очень охотно посещали эту и др. деревни и всегда с радостью встречали их обитателей, приезжавших к нам, особенно женщин и детей.

Все это с самого раннего детства знакомило меня с бытом народа, с его нуждами и злобами, воспитывало во мне симпатии к нему и всегда вызывало во мне глубокое сочувствие к хлеборобам. И в городе я предпочитал выбирать себе товарищей для игр из нашего городского пролетариата, тех же крестьян, собирал их гурьбой на нашем обширном дворе и саду, чему не препятствовал ни отец, никто другой.

Каким-то образом, не припомню как, я рано постиг грамоту и скоро мог читать книги, сперва под руководством отца, а потом и самостоятельно.

Чтение я полюбил очень рано и ради книги часто отказывался от шумных заманчивых игр на дворе. К счастию, нас не душили духовно-нравственным чтением, как это часто бывает в патриархальных семьях, и нам была доступна светская литература. Таким образом, лучшая русская художественная литература, хотя в небольшом объеме, стала знакома мне довольно

рано. Память надолго удержала в себе художественные образы и идеи, и хотя смысл и значение их не всегда были понятны для детского ума, они осмысливались позднее и укладывались в душе, как основа будущего миропонимания. Процесс этот шел беспрепятственно, спокойно, без тормозов и задержек.

С природой, ее красстами и богатством мы познакомились рано. Больше всего нас привлекали ближайшие к городу и деревням поля и леса. Тут была получена мною любовь к природе во всех ее проявлениях, и отсюда впоследствии я приобрел особое стремление к естествознанию, в частности к медицине. Собирание травок и корешков сперва без определенной цели перешло затем в составление гербариев, а еще позднее я стал составлять целую аптеку и записывал в свою книгу все народные средства, которыми в обилии снабжала меня тетка, сестра матери, к тому времени жившая с нами и управлявшая нашим хозяйством, — настоящая лекарка-знахарка.

Среди многих приятных, радостных впечатлений мое детство не было лишено и впечатлений противоположного, тяжелого характера. Уже то, что я рос сравнительно болезненным ребенком не могло отозваться на мне благотворно. Я частенько болел какими-то стойкими лихорадками. И всегда в периоды моей болезни, днем и глубокой ночью я видел у своей постели встревоженного отца, пытающегося меня успокоить и накладывающего холодный компресс на мою разгоряченную голову.

Но и помимо этого бывали случаи, не остававшиеся для моей последующей жизни безразличными. Так, два сильных ранних детских впечатления наложили на мою детскую душу неизгладимый отпечаток. Раза два в жизни я видел проходившую мимо нашего дома толпу оживленных людей, сопровождавших конвоируемую солдатами телегу, на которой колебалась какая-то фигура. Весь кортеж сопровождался барабанным боем, а качающаяся фигура в одном случае была плохо одетая женщина, а в другом я не был в силах разобрать кто. Это везли на площадь арестантов, приговоренных судом к публичному наказанию розгами. В те далекие времена такие зрелища были не редкость, но на меня, как и на моих уличных товарищей, повеяло ужасом, когда мы узнали об участи осужденных, и каждый раз после такого случая я не мог равнодушно слышать барабанного боя и не мог спать спокойно.

Наш маленький городок стоит на великом сибирском пути, который в те времена, при отсутствии железных путей сообщения, назывался „Владимиркой". По ней ежедневно около 12 часов дня провозили мимо нашего дома по направлению к тюрьме—острогу—большие партии ссылаемых в Сибирь арестантов. Как по заведенным часам, можно было видеть около этого времени быстро мчавшихся по дороге от 10 до 20 троек, запряженных в особые, открытые, с двухсторонним сиденьем экипажи, на которых густо усаживались по обеим сторонам люди в необычном арестантском костюме, в большинстве с бритыми головами, часто закованные в цепи. Эти поезда почему-то назывались тогда „фарфозными". К интересу, возбуждаемому в нас этим поездом, всегда, сколько помню, примешивалось немое сочувствие к этим „несчастненьким", как именовали их мои уличные и деревенские друзья.

Но еще большее впечатление воспринимал я от партий поляков, ссылаемых в глубину Сибири за участие в восстании 63-го г. Их нередко останавливали в нашем городе до следующего дня и помещали в старом деревянном „замке", служившем когда-то гауптвахтой и расположенном прямо на площади против церкви. Здесь во время отдыха они выходили на наружную платформу, беседовали между собой и нередко пели хором стройные, заунывные польские песни, производившие неотразимое впечатление на мою душу. Их молодые, часто прекрасные интеллигентные лица не были похожи на обычные арестантские, и их полная гордости и достоинства манера держаться поражала всю нашу городскую знать. И во время их прогулок по платформе „замка" и особенно при звуке распеваемых ими мелодий, город собирался перед гауптвахтой, как на гулянье, и глазел на этих невиданных доселе политических ссыльных. Кое-кто из них оставался и в самом городе на поселении, знакомил обывателей с польским движением и жизнью Западного края и тем еще больше возбуждал интерес к проезжавшим мимо партиям. На меня же, 7—8-ми летняго мальчика, очень сочувствовавшего и простым „фарфозным", можно себе представить, какое сильное впечатление производили эти необыкновенные и такие удивительные люди, не побоявшиеся пожертвовать собой ради какой-то, еще мало понятной мне, свободы родины. Люди интеллигентные, часто высокообразованные, как я слыхал от взрослых, нередко богатые, „магнаты", и пр. не побоялись поднять оружие ради идеи, ради освобождения от угнетателей.

Как эти, только что указанные впечатления, так и знакомые мне живые примеры из жизни народа с его бедностью, забитостью и незаслуженными обидами заставляют меня сравнительно рано вступать в конфликты со взрослыми, высказывая подчас слишком резкие суждения. Впрочем, чаще всего мне приходилось молча не соглашаться с мнениями взрослых, затаив

в себе протест против несправедливых, по моему мнению, утверждений. Так, хорошо помню, что в год покушения Каракозова, когда мне было всего 9 лет, и когда кругом меня шли толки об этом покушении, то приписывающие его польской интриге, то дворянскому заговору, мстящему за отмену крепостного права, я один из всех меня окружающих выражал сочувствие Каракозову и почти одобрял покушение. Такое поведение 9-летнего мальчика не мало шокировало взрослых, начиная с моего отца. Чем могло быть вызвано такое сочувствие, и как объяснить себе отсутствие должного почтения к ореолу царя в этом детском возрасте? Мне кажется теперь, что такого рода мысли были продуктом предшествовавших впечатлений, и немалую роль в них играло, вероятно, мое знакомство с партиями ссылаемых поляков.

Так постепенно на мою детскую, а потом и отроческую душу наслаивались впечатления жизни, а ее противоречия, пока не сознаваемые ясно, уже начинали давать себя чувствовать. Не равноценна ли человеческая жизнь перед лицом природы и бога? Несомненно, при появлении человека не было предусмотрено разницы между белой и черной костью. Почему же так часто и так резко эта разница сказывается в жизни? Пока эти и подобные им вопросы, являясь бессознательно, не становились передо мной очень резко, не мучили воображения и не заставляли искать выхода, но они появлялись, и этого было довольно, это ставило некоторую грань между полной бессознательностью детского возраста и кое-какой осмысленностью отрочества.

Начиная с 14—15 лет, когда получился уже некоторый просвет в голове, благодаря разнообразному чтению и знакомству с условиями исторической жизни России, начинают появляться уже не только определенные симпатии, но начинают вырабатываться и более или менее стойкие воззрения, имеющие перейти затем в убеждения.

Перед моими глазами проходила жизнь всех общественных слоев, и мне было понятно несоответствие их взаимных интересов, их антагонизм. Высшие сословия наших городов — чиновничество, купечество, духовенство и пр., жили исключительно своими интересами, не думая о тех, кто стоял на низших ступенях социальной лестницы. Их занимали исключительно вопросы их личной жизни, их личного благополучия; они не задумывались об источниках этого благополучия, о том, чьими руками зарабатывались их средства, чьим трудом обеспечивалось их существование. Народ в их глазах был тем безответным рабом, тем вьючным животным, которое можно было и надо было эксплоатировать в свою пользу. Потому условия жизни народа, его умственные и моральные интересы были чужды этим благополучным слоям общества. Даже только что народившееся земство не могло развернуть своих сил настолько, чтобы народное образование подвинулось вперед сколько нибудь серьезно, и народ оставался бесправным, забитым, невежественным и бедным даже и в нашем краю, где не существовало крепостного права, не было сословия помещиков. Так рисовалось в моем представлении соотношение обществ. элементов, когда в 70-е годы я вступал уже в колею сознательной жизни и должен был всецело подчиниться всем общим влияниям русской действительности, направлявшей жизнь страны на ту стезю, по которой она дошла до настоящего момента.

Я был всецело продуктом своего времени, воспитанный свободно, без насильственных внушений в детстве и отрочестве, с готовым темпераментом для восприятия господствовавших к тому времени идей. Русская классическая художественная литература, в лице ее корифеев—Гоголя, Тургенева, Толстого и др.—знакома была мне уже давно и близко. Она указывала мне начала понимания наилучших принципов жизни, создавала мой моральный habitus и, в параллель самой жизни, еще больше подготовляла к восприятию идей социализма. Тенденциозная поэзия волновала мою душу, воспитывала определенные устремления, заставляя оставлять в забвении чистое искусство. Даже за Пушкиным я признавал лишь заслугу в упорядочении и очистке русского языка, и только (быть может, то было и влияние Писарева). Зато Некрасов, с его захватывающими в описании народной скорби поэмами и стихами, среди всей поэзии играл для меня первенствующую роль. А позднее тургеневская „Девушка у порога“, не отвечала ли она самым сокровенным потребностям нашего существа, не заставляет ли поставить на высочайший пьедестал отзывчивость и способность к самопожертвованию современной нам женщины?! Переход к тенденциозной беллетристике еще в ранней юности совершился незаметно и вполне соответствовал моему юношескому миропониманию. С захватывающим интересом я поглощал все, что попадалось мне под руку. Помимо „Что делать“ Чернышевского, я быстро поглотил Шпильгагена, Мордовцева, Швейцера, Омулевского etc. Даже политические памфлеты, как „Некуда“ и „Бесы“, читались, но понимались обратно желаниям авторов. На основании всего прочитанного у меня создавался идеальный образ стойкого борца за новые идеи, полного новейших знаний, не отступающего ни перед какими препятствиями, не связанного предрассудками, умного и сильного „нового“ человека.

Но стало проходить и юношество и с ним

вместе отхлынула простая и тенденциозная беллетристика, появились более серьезные запросы, которых не удовлетворяло уже легкое чтение, и на смену ему появились на сцену более серьезные книги — Шлоссер, Шерр, Дрепер, Флеровский, Шефле, Миртов-Лавров, Янсон, Иванюков и др., а также научные трактаты — Милль, Спенсер и пр., и так вплоть до К. Маркса.

Но еще задолго до чистой науки, до Маркса и его экономического обоснования социализма, я, как и многие мои сверстники, был уже социалистом. Но мы воспринимали социализм тогда не как науку, а как этическую систему, как нечто от веры, от религии. И в частности я первоначально становился социалистом в силу властно преобладавшего во мне этического требования социальной справедливости, и только уже много позднее к этому присоединилось и научное экономическое обоснование этой системы.

Направление, уже заложенное глубоко в сознании, оставалось там прочно, и в серьезном чтении мною подхватывалось все то, что укрепляло создающиеся воззрения, скоро ставшие твердыми убеждениями. Но среди всех этих влияний первенствующее значение при выработке миросозерцания и определенного смысла и целей жизни для меня бесспорно имели политические процессы и, как последний штрих,—примеры действенной, хотя и часто гибнущей молодежи. Каждый процесс поднимал в душе целую бурю негодования на царящий произвол и его вдохновителя—реакцию, но и вызывал горячее сочувствие не к книжным уже, а к живым стойким борцам за дело, которое уже считалось мною своим. Каждое слово подсудимых на процессах огнем жгло сердце и кровавыми буквами писало призывы на подвиг, на борьбу.

К концу 70 г., после трагически окончившегося похода социалистической молодежи „в народ“, стало нарождаться новое направление — боевое, революционное. До сих пор мирная пропаганда, за которую люди изнывали по 4—5 лет в тюрьмах, гибли от болезней в ссылках, должна уступить место более сильному, активному протесту против произвола и угнетения.

„Лавризм“ уступал место „бакунизму“, „Земля и Воля“—„Народной Воле“; после выстрела Веры Засулич и удара Кравчинского прогремел выстрел Соловьева; произошли съезды в Липецке и Воронеже, раздался клич: „к оружию!“ Все это не могло не отразиться на впечатлительных натурах. Именно к этому времени я чувствовал себя готовым принять на себя некоторые обязательства, подвергнуться испытанию и, как готовый солдат революции, кинуться в бой. Оставалось связать себя с народившейся партией, что и было сделано.

Но я забежал много вперед и возвращаюсь ко времени своего воспитания.

Гимназическая жизнь, начавшаяся у меня с 70 года, шла своим чередом. Класс за классом душили нас эксперименты Толстого и возбуждали ненависть не только к официальной науке, но и к ее представителям—чиновникам от просвещения. Мы кое-как, как неизбежное зло, тянули эту лямку среднего образования, пока хватало терпенья. Всем хотелось как-нибудь получить аттестат, чтобы иметь доступ к высшему образованию. Считал его и я необходимым, тем более, что, во-первых, заложенное с детства стремление к медицине не проходило, а пробиться без него было невозможно, и, во-вторых, нас прельщала перспектива студенческой жизни, обещавшей так много, сообразно с характером каждого. Однако же, засасывающая тина гимназии была так отвратительна, при том требовала такой непроизводительной затраты времени и труда, что я предпочел потратить их лучше во время студенчества и, махнув рукой на гимназию, уехал в Казань и поступил в Ветеринарный институт *).

Еще в последних классах гимназии мне удалось свести знакомство с некоторыми семинаристами, как и я настроенными радикально-социалистически. Надо отдать им справедливость, наука ли семинарии более, чем гимназическая способствовала их развитию, или были для того другие, более существенные причины, только семинаристы того времени по развитию стояли выше гимназистов, были более передовыми людьми и скорее улавливали современное настроение умов. Как бы то ни было, среди моих новых знакомых я нашел единомышленников и с этого момента не чувствовал себя одиноким. Теперь я мог обмениваться мыслями по волнующим меня вопросам, было с кем разобраться в этом дремучем лесу новых, невполне еще переваренных идей. Были это люди разных типов и характеров, часто диаметрально противоположных, но всегда терпимых друг к другу, часто друг друга дополняющих. Вот Александр Федоров, первый, с кем я свел знакомство, скоро перешедшее в дружбу. Это деятельный развитой юноша, очень мягкого, почти женственного характера, но с сильным темпераментом и волей, несмотря на свое несколько хилое здоровье. Вот наш „Гомо“**), Адриановский, свиду мрачный, замкнутый и неразговорчивый человек, значительно старше нас всех.

---

*) Необходимо сказать, что период моего гимназического образования совпал с ломкой гимназии старого уваровского типа реформами Толстого. Я и попал как раз на рубеже перехода гимназии с одного типа на другой и проходил курс без греческого языка, почему отчасти и должен был оставить гимназию преждевременно, чтоб избежать вводимого классицизма.

**) Homo—человек (латинск.).

Он вынес на себе весь тяжелый режим бурсы, так как был совершенно без средств. За то он воспитал в себе дух протеста. Он был очень начитан, очень знающ и умел свои знания передавать друзьям, незаметно заинтересовывая их. Ему я больше всего обязан и своим дальнейшим развитием. Найдя свою дорогу в науке, он страстно предался своему делу и был бы несомненно заметной научной силой, если-б жизнь его не пресеклась слишком рано. За этими двумя, в начале самыми близкими ко мне, шел целый ряд других товарищей, одинаково дорогих мне по воспоминаниям. Это были Курбатов, Золотовин, а позднее Карпинский, Боголепов, С. Удинцев и др.

Адриановский, Курбатов и еще кое-кто поехали со мной в Казань, и все мы были приняты студентами в институт. Но год этой жизни в Казани не оправдал моих надежд. В то время, как в Петербурге явно наростало движение,—как раз в этот год произошла много нашумевшая демонстрация у Казанского собора,—в Казани студенчество мало отдавалось научным работам и саморазвитию, предпочитая тратить время на развлечения и служение Бахусу. Мы же с Гомо и Курбатовым жили тесным кружком, читали, занимались и спорили, пока оба они не уехали в Москву, сменив институт на Сельско-Хозяйств. Петровскую академию.

Перейдя на 2 курс, я решил покинуть Казань и присоединиться к своим друзьям в Москве. Признавая всю необходимость сельско-хозяйственных знаний для русского общественного деятеля, я был склонен прежде медицины, тянувшей меня к себе, изучить и сельское хозяйство. В молодости кажется, что впереди так много времени, что его хватит на все. Разочаровываться в этом приходится гораздо позднее. Итак, я в Петровско-Разумовской академии. Здесь я сошелся со своими старыми товарищами; из них Курбатов по какому то незначительному делу был уже арестован, если не ошибаюсь вместе со старыми петровцами-радикалами—Люцерновым, Малышевым и др. Он уже приобщился к землевольческому движению и являлся для меня первой жертвой деспотизма из близких мне людей. Адриановский в это время уже стал уходить в науку и хотя не менял своего отношения к старым друзьям, и особенно ко мне, и не менял своих заветных взглядов, но так сильно увлекся специальностью, что имел мало свободного времени. Я же поселился на Выселках с Карпинским, Шишкиным и др., где мы основали мастерскую и усидчиво совершенствовались в сапожном ремесле. Очевидно, в этом сказалось еще сохранившееся стремление первых пропагандистов вступить в народную среду с полезными для нее знаниями. Однако, это обстоятельство отнюдь не отрывало нас от общественной жизни академии.

Здесь впервые я видел подлинную студенческую среду, свободную, работающую, пытливую, тесно спаянную общими интересами и крепко стоявшую за свои права и прерогативы. Надо помнить, что Петровская академия в это время была одним из самых свободных учебных заведений, наиболее автономным. Среди ее студенчества еща был жив дух и свежо воспоминание не только о деле Короленко, но и о нечаевцах. Сходки, вечеринки, споры, конспирации—все это было так ново и увлекакательно, что с головой захватило меня, человека нового и едва определившегося.

Другая же сторона этой жизни не вполне вязалась с моими устремлениями. Из всего сказанного ранее ясно, что мое самсопределение шло по пути народничества. Лавризм сказывался сильно в моих настроениях, но под влиянием развертывающихся событий в Петербурге уже начинал утрачивать свою силу; академия являлась цитаделью чистого народничества с небольшой примесью лавризма, и я в своем внутреннем существе оказался левее царившего здесь направления. Дело в том, что в этот год происходил „большой процесс 193“, и отчеты о нем, воспроизведенные тайным станком, распространяли крайнее недовольство, доходившее до ненависти к правительству, и вызывали все большее поступление адептов движения. Кружок „чайковцев“, пользовавшийся господствующим влиянием, уже распался, суд над участниками „казанской“ демонстрации закончился катастрофой с Боголюбовым, вслед за чем раздался выстрел Засулич. Как указано мною выше, это было время перехода от мирной пропаганды к боевому революционному периоду, время распадения „Земли и Воли“ на две неравные половины: сторонников боевого политического выступления — будущих террористов „Народной Воли“, и более мирного, сохранявшего традиции „Земли и Воли“ направления — „Черного Передела“. Уже намечались пути этого расхождения, уже бродили в головах ближе стоящих к партии людей зачатки будущих партийных лозунгов и программ, дело стояло лишь за предстоящими съездами. Студенчество академии почти целиком было на стороне того направления, которое потом вылилось в „Черный Передел“. Меня же привлекала более живая, боевая и в то же время, политически, на мой взгляд, более государственая точка зрения.

И в конце концов я перебрался в Петербург, где сейчас же вместе с моими земляками и при их помощи окунулся с головой во все интересы радикального студенчества. Тут я сразу почувствовал себя, как рыба в воде, и на первых порах порах моей задачей было укрепиться в Петербурге во что

бы то ни стало, чтобы воспользоваться отсрочкой по воинской повинности. К счастью, годичный срок выхода из Казанского института еще не истек, и я был зачислен студентом Медико-хирургической академии по ветеринарному отделению *).

С этих пор ни одно выступление молодежи, по какому бы поводу оно ни происходило, не обходилось без моего участия. Я бывал на всех демонстрациях, на всех сходках, собраниях и рефератах, нередко на вечерах студенческих и радикальных, устраивал последние сам, с целью сбора денег для движения, читал и распространял революционные издания и более или менее систематически продолжал учиться сам.

Настроение молодежи того периода, когда я поселился в Петербурге, следует назвать по преимуществу оппозиционно-революционным. Кружковый характер жизни обусловливал частые серьезные беседы на социально-политические темы, где сталкивались разнообразные характеры, темпераменты и понятия, и где выковывались и оттачивались основные взгляды.

Наиболее горячие дебаты вызывали, конечно, легко проникающие в среду молодежи те разногласия революционного народничества, которые в ближайшее время положили основание образованию партии „Народная Воля". Молодежь резко делилась на два лагеря, и хотя между ними не замечалось никакой вражды, однако, представители чистого народничества всегда круто отмежевывались от противников — сторонников боевых политических выступлений. Необходимо заметить, что поскольку в оставленной мною Москве преобладало настроение чистого народничества, близкое к будущему „Черному Переделу", постольку же здесь в Петербурге в громадном большинстве молодежь склонялась или сочувствовала идеям будущей „Народной Воли". Вот почему и я, со своими народовольческими устремлениями, нашел здесь для себя более родственную среду. К тому же начавшаяся вскоре деятельность (19 ноября 79 г. взрыв под Москвой) и литература (№ 1, окт. 79 г.) „Народной Воли" могли только укрепить, укоренить во мне в полной мере и сочувствие к ней и стремление по мере сил ей содействовать. Отсюда само собой выходило мое стремление ближе познакомиться и сойтись с народовольцами. Студенческая демонстрация академии, закончившаяся арестом и заключением студентов в московских казармах, свела меня с людьми, стоявшими близко к членам будущей „Народной Воли". Арест народовольческой вечеринки, устроенной в квартире будущего шлиссельбуржца Сергея Иванова, связал меня с южными революционерами, правда тяготевшими тогда к „Черному Переделу", но имевшими связи и с народовольцами. Через этих последних я скоро познакомился с М. Решко, уже вполне определившейся народницей направления „Черного Передела", а у нее—с Анат. Булановым, тогда морским офицером, и многими другими лицами, игравшими впоследствии заметную роль. Обаятельная личность Марии Решко, так рано и несвоевременно погибшей, невольно привлекала к себе всякого, кто сколько-нибудь близко подходил к ней, и потому у нее не редкость было встретить не только сторонников „Черного Передела", но и представителей уже организовавшейся партии „Народной Воли".

С другой стороны, мой близкий товарищ Дмитрий Никольский, к тому времени уже оканчивавший курс в академии, как старожил в Петербурге, был для меня проводником к сближению с некоторыми членами Исполнительного Комитета через посредство легальных и нелегальных лиц, близко к нему стоявших. Наконец, частые агитационные студенческие собрания, нередко собиравшие значительное количество слушателей, давали мне возможность сталкиваться с партийными ораторами и присутствовать на дискуссиях представителей обоих революционных фракций. Несколько раз я встречался с Желябовым, иногда слушал его увлекательные речи на небольших студенческих собраниях, куда он являлся под именем Бориса или Тараса. Нечего и говорить о силе того впечатления, которое производил Желябов на слушателей. Это отмечено многими не один раз. Я же, как неофит, чувствовал на себе всю силу его привлекательности и в то же время, особенно поначалу, испытывал некоторое чувство робости.

И со многими другими еще видными народовольцами приходилось мне сталкиваться в этот период 79 и 80 гг., что все вместе взятое ставило меня уже в определенные, даже обязательные отношения к партии.

В 80 г. мои связи с партией укрепились

*) Чтобы не возвращаться к вопросу о моей научно-учебной работе, я здесь скажу о ней несколько слов. 2 курс наш шел совместно со 2 же курсом медиков, и полулекарские экзамены мы сдавали вместе, кроме анатомии. Но часть этого курса была мною посвящена изучению медицинской анатомии (проф. Лесгафт), а с 3 курса я принялся за нее уже вплотную у Грубера и практически. В то же время, совершенно забросив ветеринарное отделение, с 3 курса я слушал лекции по медицине, справедливо предположив, что от такой диверсии я ничего не потеряю, а скорее выиграю, ибо здесь узнаю то же самое, но быть может, в большем объеме. 4 курс прошел так же, и я по возможности чаще посещал и лекции и клинику, поскольку позволяли это мои сторонние науке дела. С окончанием курса я продолжал начатые занятия по медицине и таким образом, правда, с большим и ясно сознаваемым недостатком в клинических работах, я дошел до 5 курса: на следующий год мною было решено уже официально поступить вновь на 3 или на 4 курс, как это оказалось бы возможным, но этот следующий год, был годом 82.

уже настолько, что я брал на себя всевозможные побочные поручения, так или иначе способствующие ее деятельности. Хранение и распространение литературы партии, предоставление моей квартиры для укрывательства нелегальных лиц, для свиданий с представителями партии и пр. было для меня первым делом. Попытка чистой пропаганды среди рабочих одной из ближайших к городу фабрик показала мне мою непригодность к этого рода деятельности, зато организационная работа среди молодежи и первее всего среди моего землячества дала некоторый результат. Вместе с Никольским и другим моим близким товарищем, С. Удинцовым, мне удалось из нашего землячества организовать небольшой революционный кружок, занимавшийся также распространением идей и литературы „Народной Воли"; из этого кружка впоследствии вышло несколько серьезных практических деятелей. Являясь уже официально представителем партии в среде академического студенчества, я способствовал приобретению новых адептов партии, очень часто не остававшихся деятельными только на словах, а бравшихся и за активную работу и часто вынужденных переходить на нелегальное положение.

Из моих бесед с известными мне членами Исполн. Ком-та, как Колодкевич, С. Златопольский и др., я выводил заключение, что партия, рассчитывая и на мои силы, не торопилась поручать мне какую-либо серьезную роль, во 1-х, потому, что смотрела на меня, как на пригодного человека для технической работы, а во 2-х—считала меня еще состоящим на испытании. Я терпеливо ожидал, когда революция призовет и меня в свои непосредственные ряды.

Тем временем деятельность „Народной Воли" развивалась гигантскими шагами, и рядом с этим партия теряла одного за другим из своих героических борцов. За процессом 16-ти последовал процесс первомартовцев, а за ним и процесс 20-ти лиц. Все эти процессы вырвали из среды народовольцев настолько значительные силы, что партия была вынуждена заново пополнять свои ряды. Я чувствовал, что не за горами время, когда должен быть призван и я к какой-либо активной роли. В начале 82 г. Исполнительный Комитет выслал в Петербург двух своих членов для организации новой мастерской взрывчатых веществ и снарядов и для ликвидации наиболее энергичного деятеля охраны — полковника Судейкина. К первой части этой задачи и был привлечен я вместе с моей будущей женой Р. Л. Гросман. Финалом этого предприятия был четвертый процесс террористов „Народной Воли" в 1883 г., процесс 17-ти лиц, приведший меня к 15 годам каторжных работ в рудниках.

Отбывать каторгу мне пришлось на Каре, где я пробыл до января 1892 г., после чего был поселен в Забайкальской области. Все время пребывания в Карийской политической каторжной тюрьме и первые годы на поселении, приблизительно до 1898 г., я был поглощен медицинской работой. На это, при отсутствии у меня врачебного диплома, как общественной санкции, давало мне право, во 1-х, то, что я прослушал почти пять курсов медицины в академии, и во 2-х—мои усидчивые теоретические занятия почти исключительно той же дисциплиной за все годы тюрьмы. Захудалое состояние официальной медицины в глухих углах отдаленной Сибири обуславливало успешность моей практики. Но в конце концов, я вынужден был временно покинуть эту сферу деятельности и все остальное время поселенческих годов, вплоть до 1904 г., работал в области совершенно ей противоположной.

Конец 1904 г., момент предоставления мне права вернуться в Европейскую Россию — застал меня на частной службе в „Товариществе Амурского пароходства", где я в течение уже 4-х лет был агентом в ст. Сретенской.

Следует заметить, что манифест 83 г., примененный к нашему процессу, давал право приписаться в крестьяне не через 10 лет по окончании срока каторжных работ, как обыкновенно, а через 4 года, и не только к сословию крестьян, но и в мещане. Таким образом, на 6 лет сокращалось для меня обязательное пребывание в Сибири. Итак, 13 лет в звании поселенца и мещанина из ссыльно-каторжных я прожил в г. Чите, в г. Благовещенске и в ст. Сретенской, если не считать первого года поселения, который я провел в пограничном с Монголией карауле Мангут Акшинского окр. Забайкальской области.

Нужно ли говорить о том, что 13 лет жизни на поселении, несмотря на отсутствие активной революционной работы, все же не прошли бесследно в смысле воздействия на умы сибирского обывателя, в смысле внедрения в эти умы если не социально-революционных идей, то во всяком случае укрепления в них искреннего уважения к носителям этих идей и к самой революционной идеологии. Население этих отдаленных от центров мест отличается своеобразными качествами. Оно чувствует себя независимее, самостоятельнее, сравнительно с обывателями Европейской России, оно сознательнее и богаче их и морально устойчивее в своих политических воззрениях, выработанных отчасти под влиянием той же многочисленной политической ссылки еще со времени декабристов. Поэтому неудивительно, что современная мне ссылка самой своей жизнью, своим поведением в боль-

шинстве импонировала обывателю, как бы пропагандировала, и часто не без успеха, свои основные социально-революционные идеи.

В конце 1904 г. я выехал в Россию. 23-х летнее пребывание за пределами Европ. России и столь продолжительная оторванность от центров, однако же, не исключали для нас возможности не только быть в курсе современных политических движений, но не исключали с нашей стороны и некоторой посильной деятельности на местах в интересах существующих партий. Благодаря этому каждый из нас, возвращавшихся из продолжительной ссылки, являлся в Россию уже с готовым политическим настроением. Наиболее симпатичным направлением в революц. среде того времени для меня было социально-революционное. По своей идеологии оно являлось как бы продолжением народовольчества, имело в своей философской основе то же трудовое начало, а в тактике—политическую борьбу. Я немедленно примкнул к партии. Моя новая революционная деятельность, начавшаяся в Одессе, скоро была перенесена в Москву, где я, при моих постоянных служебных разъездах, мог совмещатьслужбу с революционно-организационной работой по всей центральной области.

Так продолжалось до 1909 г., когда вновь арестованный я выслан был административно в Енисейскую губ. на 5 лет.

Поселившись в г. Минусинске, при полном отсутствии заработка и потому при избытке свободного времени, я вернулся к своей старой медицинской профессии, но не в сфере лечебной практики, как раньше, а в области теоретической и практической бактериологии, которую с тех пор и не оставлял вплоть до настоящего времени. Чтобы усовершенствоваться в этой новой для меня области медицины, через два года, т. е. летом в 1911 г., я эмигрировал и прожил за границей три года, изучил за это время бактериологию и приобрел звание врача-бактериолога. В 1914 г. я вернулся снова в Енисейскую губ. для окончания срока моей ссылки и только в 1916 г. мог снова появиться в Европейской России.

Февральская революция застала меня в Петрограде на службе в частном бактериологическом институте, куда я поступил после нескольких месяцев службы бактериологом в Земском Союзе на западном фронте. Оживившаяся партия соц.-рев. после продолжительного подпольного существования снова привлекла меня в свои ряды. В период деятельности Временного Правительства на меня были возложены обязанности управляющего канцелярией министерства земледелия, но вскоре же общая обстановка партийной деятельности и несогласия, царившие в недрах самой партии, вынудили меня уклониться к той фракции ее, которая объединилась под названием „Воля Народа". Выступление последней с отдельным списком при выборах в Учредительное Собрание окончательно порвало все мои отношения с центром партии. Это совпало с Октябрьским переворотом, а в июле 1918 г. я вынужден был уехать на родину. Поселившись в г. Екатеринбурге, я снова вернулся к своей основной деятельности и был назначен заведующим санитарной бактериологической городской лабораторией. Эта работа продолжалась вплоть до августа 1919 г., когда я был вынужден выехать в Сибирь. Но в заведывании мною указанной лабораторией был значительный, на несколько месяцев, перерыв. При вступлении в Екатеринбург войск Сибири и чехо-словаков общественные элементы края, в интересах сохранения целостности горнозаводского округа Урала против вожделений на него со стороны правительств Сибири и Самары, решили организовать собственное временное областное правительство Урала на коалиционных началах. Местный комитет социалистов-революционеров, считавший необходимым участвовать в коалиции, настаивал на том, чтобы обязанности управляющего земледелием и государственными имуществами я взял на себя. Так как с его мнением были согласны и все остальные общественные элементы края и также настаивали на этом, я не счел для себя возможным уклониться от этой обязанности, оговорив за собой право действовать независимо от комитета. Насильственный переворот Колчака в Омске вскоре же положил конец существованию временного правительства Урала, и я вернулся к своим бактериологическим лабораторным обязанностям, от которых с тех пор уже не отрывался.

Прибылева-Корба, Анна Павловна *).

Начну описание моей жизни с двух моих дедов. Со стороны отца мой дед, Адольф Мейнгард, был уроженцем острова Рюгена. Он эмигрировал в тогдашний Санкт-Петербург на парусном судне, имея при себе в качестве имущества виолончель в футляре и сундучок с бельем и платьем. Это было в самом начале прошлого столетия. Ему было 18 лет. Тем не менее его музыкальная карьера очень быстро сложилась на новой его родине. Его приняли в оркестр оперного театра, и, кроме того, он давал уроки музыки в богатых семьях Петербурга. На Каре, где мы рады были всякой книге, потому что газет и новых журналов нам не давали, я прочитала в „Русской Старине", что в 20 и 30 г.г. прошлого столетия Адольф Мейнгард считался лучшим виолончелистом

*) Автобиография написана 20 декабря 1925 г. в Ленинграде.

в Петербурге. Я видела деда в первый раз, когда мне было лет 10. Это был высокий седой старик с большими руками и широкой костной системой. Он дожил до 93 лет. Прожив свою долгую жизнь в Петербурге, он не знал ни одного слова по-русски. Зато отлично говорил по-французски.

Отец моей матери, Осип Иванович Корицкий, был инженер по образованию, а по национальности поляк. Образование он получил за границей, ему дали чин полковника и назначили на постройку водной системы, которая должна была соединить Волгу с Невой. Дедушка поселился в Тверской губ., в Вышнем Волочке, и современем купил в уезде маленькое именьице, которое кормило бабушку и ее детей после смерти О. Ив. Бабушка также была немецкого происхождения, но по-немецки не говорила, так как совсем обрусела, и после смерти мужа, когда дети подросли, и она осталась одна в своем именьице, приняла православие и ревностно посещала православную церковь.

Моя мать была первенцем в семействе Корицких. Когда умер дед, бабушка не имела средств воспитывать старшую дочь и хлопотала о принятии ее в Смольный институт. Просьба ее была исполнена. Мою мать поместили в институт, где она пробыла 11 лет безвыходно, так как в то время институток не отпускали к родным на каникулы. Но моя мать не роптала на свою судьбу. Это было такое кроткое создание, терпение которого ничем нельзя было истощить. По окончании курса учения бабушка увезла мою мать в деревню и поручила ей готовить брата и двух младших сестер в учебные заведения. Когда моей матери исполнилось 23 года, бабушка сшила ей нарядное платье и повезла на дворянский бал в г. Тверь, а может быть в уездный городок. На этом балу также присутствовал инженер путей сообщения Павел Адольфович Мейнгард. Молодые люди понравились друг другу, и на другой день мой отец поехал к бабушке сватать ее дочь, Екатерину Осиповну. Разумеется, бабушка обрадовалась предложению; дочь дала свое согласие на брак, и скоро состоялась свадьба.

Мой отец также был старшим в довольно многочисленной семье, но он ничем не напоминал крепкого и несокрушимого своего родителя. Он был меньше его ростом, худощавый и тонкий. После 40 лет он начал хворать. Два раза ездил за границу на воды, но это мало помогло ему. Он умер 62 лет в Ярославле в 1873 г.

После свадьбы молодые уехали на жительство в Петербург, где мой отец служил в качестве одного из строителей Николаевского моста, и здесь мои родители прожили несколько лет. Союз их был счастлив и длился до конца жизни; никогда ни ссоры, ни крупные размолвки не разлучали их. Не только мой отец любил свою жену, ее обожала вся его семья за доброту и ласку. Так как она не знала немецкого языка, то свекор говорил с ней по-французски.

Казалось, все слагалось к благополучию моих родителей, но огромное горе ожидало их. Дети рождались один за другим, но почему-то не жили. Умерло их четверо. Позднее мать уверилась в том, что в смерти детей виновато было тогдашнее состояние медицины и плохой петербургский климат. Мать была не только добра, но и очень энергична. Ее решения были стойки; она редко проявляла свою волю, но ничто не могло заставить ее отказаться от нее, раз эта воля сложилась на основании окружающих условий. Ища выход из своего несчастья, она сказала отцу, что в Петербурге невозможно растить детей, и если оба они желают иметь их, то надо поселиться в провинции, где дети вырастут среди природы, а не будут окружены каменными домами.

Не знаю—тогда же, или несколькими годами позднее, моя мать совершенно изменила свои религиозные воззрения. Она отвергла все внешние проявления веры, сохранив для себя только молитву. Таким образом, она стала деисткой и порвала всякую связь с православием, которое ее окружало, и с католической верой, в которой была крещена.

Когда кончилась постройка Николаевского моста, мои родители перекочевали в Тверь, так как отец получил место на постройке Николаевской железной дороги. В Твери родились те дети, которым суждено было остаться в живых: мой брат Николай, сестры Мария, Елена и я (9 ноября 1849 г.). Таким образом, я появилась на свет восьмым ребенком, или, если считать оставшихся в живых, то четвертым. После меня родилось еще четверо дочерей, из которых одна умерла в детстве. Таким образом, мои родители взрастили сына и шестерых дочерей.

Отец мой от начала своей службы до самой смерти был известен как инженер, не бравший взяток. С подчиненными ему инженерами он держался всегда по-товарищески, вообще со всеми служащими был обходителен и не проявлял ни заносчивости, ни начальнического высокомерия.

Мне было два года, когда кончилась постройка участка Николаевской ж. д., на котором служил мой отец. Мы всей семьей перекочевали в Варшаву, куда отец мой был назначен начальником участка на строившейся тогда Варшавской ж. д.

Разумеется, начала нашей жизни на новом месте я не помню. Из более позднего времени в памяти встают отдельные эпизоды. Затем я уже отчетливо помню гувернантку немку, которую нам дали, и кото-

рая была неотлучно с нами. Когда я говорю „мы", это значит трое старших сестер.

Имя гувернантки было Луиза. Она родилась в вольном городе Любеке. Она прожила с нами более 20 лет. Научное образование было весьма слабое, но тем не менее она имела на нас большое влияние. Я быстро стала к ней привязываться и потом полюбила ее больше матери, которую очень редко видела. Причин моей страстной привязанности к гувернантке было две: я видела, что она одинока, и я инстинктивно чувствовала, что она превосходна. Никто из нас не слыхал слова неправды из ее уст, никогда она не сердилась и не раздражалась, хотя целый день была с нами и часто должна была терпеть наши капризы.

Когда на 7-м году постройки Варшавской ж. д. работа на участке отца приходила к концу, надо было думать о новом месте служения. Отец основался во Владимире на Клязьме. Когда наша семья окончательно устроилась во Владимире, надо было подумать, как нас воспитывать дальше. Этот вопрос решился неожиданно. Старшая сестра Луизы, которую звали Генриеттой, написала ей, что девочка, которую она воспитывала в Бордо, подросла, и когда ей минуло 16 лет, ее гувернантке отказали; она вернулась на родину и теперь ищет, где бы ей найти новую службу. Луиза знала, что ее сестра, долго жившая во Франции и одно время в Париже, хорошо говорит по-французски и может преподавать обычные учебные предметы, сказала об этом моим родителям, которые решились вызвать Генриетту к нам.

Наша новая гувернантка была строгая особа. Оно думала, что воспитывать можно только при помощи громких выговоров и нелепых наказаний, из которых ее любимым было следующее. Рассердившись, Генриетта кричала: „Sortez de la chambre!", и наказанная должна была выйти из класса и стоять за дверью. Чаще всех это случалось со мной. Деспотизм Генриетты продолжался, однако, только пока мы были малолетки. Как только мы подросли, и мне было лет 13, власть ее над нами кончилась. Я не знаю хорошенько, как это случилось, но вредить нашему умственному развитию она уже не могла. Уроки мы еще продолжали брать у нее. Но, кажется, она и сама сознавала, что передала нам все, что знала, и больше дать нам ничего не могла.

Во Владимире отец не ужился. То ли состав управления ему не нравился, то ли работы не было на Оке. Он решил попытать счастья в другом месте и завел переговоры с управлением IV округа путей сообщения, которое находилось в Ярославле. В его ведении был фарватер Волги от Рыбинска до Астрахани. Место помощника начальника округа было свободно. Отец получил его, и мы перебрались в Ярославль. Здесь наша семья прожила около 10 лет, до самой смерти моего отца. Здесь мы выросли, и старшие из нас покинули родительский дом.

В Ярославле у нас почти совсем не было подруг среди наших однолеток. Иногда к нам приводили детей знакомого семейства, но мы не знали, что с ними делать. Несколько часов проходило в скуке и томлении, и мы радовались, когда дети уходили домой. Веселыми и разговорчивыми мы бывали только в своей компании втроем.

В Ярославле началась популярность моей матери среди беднейшего населения города. Основанием этой популярности послужило врачевание моей матери. Она абсолютно отрицала врачей. Они также не имели доступа к нам, как православные и католические священники. Мать сама по лечебнику стала лечить детей и взрослых гомеопатией. Она была твердо уверена, что эти средства приносят необычайную пользу больным и помогают от всех болезней. В нашей семье такое лечение шло удачно, вероятно от того, что при заболевании кого-либо из нас, больную укладывали в постель и держали на строгой диэте, пока заболевшая не выздоравливала. Было несколько случаев тяжелых заболеваний, но в виду плохого состояния медицины того времени в провинциальной России, пожалуй, все же было лучше не призывать местных врачей, которые большею частью были военные, а обходиться уходом за больными, как это делалось у нас.

Лет с 11 я стала проявлять свою волю. Я заявила, что больше музыке учиться не буду, так как у меня нет никакой охоты играть на рояли. Никто не возражал мне, так как все знали, что это было бы напрасно.

Огромное значение в нашем развитии имел для нас приезд брата в 1863 г. летом по окончании им курса института путей сообщения. Он привез с собою целый чемодан книг,—и каких книг! Ведь тогда было начало 60-х г., время Чернышевского, Добролюбова, Некрасова, Писарева, Шелгунова и других лучших писателей России. Среди его книг было много томов „Современника" и „Русского Слова". Для нас все это составляло огромное сокровище, и мы стали читать. Я принялась прежде всего за Некрасова и Добролюбова, так как многие книги были мне еще не под силу. В описываемое мною время мой брат по убеждению и симпатиям был народник. Но он не удержался на этой высоте, не сумел на ней удержаться. А в то отдаленное время, в дни нашего отрочества он внес так много света, радости и знания в нашу начинавшуюся жизнь. Он сам часто указывал нам, какие статьи или книги могут быть нами усвоены. Он прожил в Ярославле около двух лет, потом бывал на изысканиях не-

скольких южных жел. дорог, строил участки тоже на нескольких дорогах, был одно время управляющим Либаво-Роменской ж. дороги и жил в Минске, потом переехал на жительство в Петербург.

Мы пользовались библиотекой отца, и я помню охватившую меня радость, когда я добралась до полного собрания сочинений Пушкина. С тех пор он остался моим любимым поэтом. После него читался Лермонтов и все, что было в библиотеке из классической русской литературы.

Очень многим в деле нашего умственного развития мы были обязаны одной знакомой моей матери. Дама эта была женой инженера Янковского. По годам моя мать была значительно старше ее. У Янковской было человек 5 детей, и она сама обучала девочек, а мальчики учились в гимназии. Муж дамы был большой домашний деспот. Она часто в слезах жаловалась на него матери. Но помочь ей не было возможности, и сама она бессильна была против тирании мужа. Но это обстоятельство не подавляло ее от природы веселый и шумливый характер.

У нее была большая библиотека, и она с удовольствием снабжала нас книгами. Это было для меня очень важно.

В то время, о котором я говорю, моя мать начала отчасти смотреть сквозь пальцы на наше чтение, не контролировала книги, которые мы добывали; но так как наше увлечение чтением причиняло ей чувствительное огорчение, то мы приносили книги от Янковских контрабандой и хранили их не иначе, как под матрацом. Летом, когда мне шел 15-й год, отец с двумя старшими моими сестрами ездил на морское купанье в Либаву. Я осталась одна в нашей общей комнате. Уроки прекратились на время каникул, и я была свободна. Я принесла себе от Янковских несколько томов Гете на немецком языке и стала его штудировать. Не знаю ни одного писателя, который произвел бы на меня более глубокое впечатление. Я была как зачарованная могучим гением; глубина мысли у Гете поражала меня не менее, чем его художественное и поэтическое дарование. Неизгладимое впечатление получилось от I части Фауста, но ближе и роднее всех произведений Гете стал мне его „Вильгельм Мейстер". Когда я, наконец, оторвалась от Гете, то очередь дошла до Шиллера, и у него меня больше всего привлек „Дон Карлос" с его нежной поэзией.

Привыкнув с ранней юности читать только книги выдающихся писателей, я осталась при этом выборе. Во всю свою долгую жизнь я не прочла ни одной посредственной книги, не говоря уже о макулатуре. Учителя человечества были моими учителями, добровольно мною избранными.

В это лето произошло заметное сближение между моею матерью и мною. Она чувствовала себя одинокой в отсутствии отца и двух старших моих сестер и знала, что я, в сущности, послушная и ласковая дочь. Она стала очень ласкова и доверчива со мною, и я платила ей тем же.

Прошло еще два года, мы стали взрослыми. В конце зимы приезжал на несколько дней брат Николай и упросил родителей отпустить с ним мою сестру Марию. Он строил тогда участок на Рязанско-Воронежской ж. д. Его лучшим другом и товарищем был строитель смежного участка той же дороги — Александр Александрович Лешерн, который жил в Моршанске. Товарищи часто виделись, и таким образом моя сестра познакомилась с Лешерном. Она прожила у брата целый год, а когда родители стали ее звать домой, А. А. Лешерн сказал ей о своей любви и предложил пожениться. Свадьба была отложена до весны. На той же Рязанско-Воронежской ж. д. при правлении служил Виктор Францович Корба. Он заведывал счетоводством и материальной частью при постройке, а так как он был чрезвычайно точен в финансовых делах, то он сам хотел видеть приобретаемые материалы и проверять их стоимость. В Моршанске он познакомился и сдружился с Лешерном. Сошлись два противоположных характера: нежный и кроткий А. А. и Корба с стальным характером, который можно было сломить, но нельзя было согнуть. Его отец, швейцарский гражданин, был выписан русским сановником для воспитания детей и умер, когда собственные его дети были еще малолетние. Он был женат на уроженке одной из балтийских провинций, на женщине с большой энергией и с не меньшим умом. Она в Петербурге стояла во главе промышленного предприятия, которое дало ей возможность воспитать детей. Виктор Францевич учился в коммерческом училище, по окончании которого он был послан своею матерью в Лондон на практику в крупное торговое предприятие. Но торговля не привлекала его. Он специализировался на банковском деле, превосходно изучив бухгалтерию и счетоводство. По политическим своим убеждениям он был крайним либералом, почитателем Чернышевского; по вопросам политической экономии разделял взгляды относительно решающей роли крестьянства в России, то-есть считал необходимой такую экономическую политику, которая делала бы интересы земледельческого класса в России исходным пунктом своей деятельности.

Перед отъездом моей сестры из Моршанска было условлено, что В. Ф. приедет в Ярославль на свадьбу в качестве ее шафера. После свадьбы моя сестра с мужем уеха-

ли в Моршанск. В июле приехала к нам сестра и увезла с собой мою сестру Елену и меня в Моршанск, куда очень скоро явился В. Ф. Его служба на железной дороге кончилась, и он приехал из Петербурга, где жил в последнее время. Вскоре я стала его невестой. Свадьба наша состоялась на рождестве. В Петербурге уже была приготовлена В. Ф. для нас маленькая квартирка на Надеждинской улице. Для меня начался новый, петербургский период моей жизни.

Лешерны жили поблизости от нас, и это меня радовало. У них я познакомилась с Софьей Александровной Лешерн, родной сестрой А. А. Она была тогда тихой провинциальной девушкой, которая захотела жить самостоятельной жизнью в Петербурге, и потому ей приходилось много шить на машинке по заказу магазинов. Шила она очень искусно изящное белье, но все же заработок был очень мал и не мог ее обеспечить.

Сама я попала в Петербург неопытным существом. В самом начале моего пребывания на Надеждинской улице я однажды отправилась куда-то за покупками для хозяйства и увидела странное зрелище. Посреди мостовой городовой шел во главе отряда молодых женщин. Все они были очень веселы, смеялись, показывая белые зубы. Он оборачивался к ним и пытался унять их, говоря наставительным тоном. Вся эта сцена крайне удивила меня; смысл ее был мне непонятен. Я остановилась на тротуаре в недоумении и решилась спросить у прохожей, куда городовой ведет женщин, и кто они. Она с удивлением посмотрела на меня и сказала: „Это публичные женщины, их ведут на медицинский осмотр“. Я точно получила удар по голове. Ничего более ужасного я до тех пор не слыхала и мысленно не допускала такого надругательства над женщинами. Мне казалось, я чувствовала, что оскорбление наносится всем нам, женщинам, наносится также и мне. Мне особенно, потому что я ощущала всю тяжесть этого унижения и была бессильна отвратить его от других. Я ушла домой, точно спасаясь от потрясения, испытанного на улице. Дома я была одна, и это меня радовало, я не хотела видеть людей. Я бросилась на пол и долго лежала, рыдая и плача, пока мысль, что слезами делу не поможешь, не подняла меня на ноги.

С тех пор я заболела; я стала худеть и бледнеть; меня мучила головная боль и общая слабость. В. Ф. всполошился и отправился к моей сестре узнать адрес доктора Бокова, с которым она успела познакомиться. Доктор Боков был другом Чернышевского и опекуном его детей, следовательно, человек в высшей степени интересный и, как врач, очень желательный. Он приехал ко мне по вызову В. Ф. Когда он вошел, я лежала на диване, не имея ни сил, ни желания пошевелиться. Он пощупал мне пульс, смерил температуру и сказал: „Вы совершенно здоровы, и лежать вам не надо. Вы только что приехали в Петербург. Не думайте, что жизнь здесь течет так же вяло и лениво, как в провинции. Для женской молодежи, в особенности теперь, настает очень интересная пора. Я могу сказать вам наверное, что с осени начинаются подготовительные курсы для женщин, а с будущего года откроются для них высшие курсы, где будут преподавать естественные науки и математику по университетской программе. Займитесь этим делом и вы наполните свою жизнь и будете чувствовать себя бодрой и здоровой“. Лучшего совета доктор Боков не мог мне дать. Он разбудил меня к новой жизни.

Из газет я узнала, что в состав комитета по устройству подготовительных курсов входит между прочими лицами Н. В. Стасова; я обратилась к ней, и она сказала мне, что в нескольких местах Петербурга происходят собрания будущих курсисток для обсуждения желательных программ и других условий курсов. Все это будет рассмотрено комитетом совместно с преподавателями. Она дала мне адрес одного такого собрания, и я на нем встретила, кроме кучки женской молодежи, одного мне уже ранее знакомого товарища и друга моего брата, инженера П. В. Михайлова *). Он в то время еще интересовался общественными течениями и принимал участие в жизни молодежи, которой он помогал советами. Он отрекомендовал меня собравшимся, и я сразу почувствовала себя в товарищеской среде. На таких собраниях и потом на курсах завязывались близкие знакомства, которые в более поздние годы перешли в товарищество революционеров. На таких собраниях С. А. Лешерн познакомилась и подружилась с С. Л. Перовской, сестрами Корниловыми, Ольгой Шлейснер и другими будущими членами кружка чайковцев.

Весной этого же 1870 г. мы перебрались на жительство в Лесной, где уже жила на даче моя сестра Мария с мужем и новорожденным сыном.

Социальное положение В. Ф. Корба за истекшую зиму сильно изменилось. Когда он сообщил своей матери, что намерен жениться, она выделила ему долю семейного капитала, которая ему причиталась, и он получил на руки 10.000 руб. Эта сумма давала ему возможность прожить некото-

*) Это тот самый П. В. Михайлов, который незадолго до этого привлекался по делу Нечаева, сидел в Петропавловской крепости и освобожден от следствия за неимением улик.

рое время, не хватаясь за первую попавшуюся должность. Среди финансового мира Петербурга у него было большое знакомство. Банковские и биржевые дельцы ценили человека, превосходившего их знаниями, умением работать, стоявшего в своей личной честности и в своем бескорыстии на недосягаемой для них высоте. Потом они стали его приглашать на собрания финансовой биржи. Они ему обещали свою поддержку и хороший заработок за исполнение их поручений. Я и мои близкие отговаривали его от подобной деятельности и рисовали ему перспективу будущего разорения. Но он твердо был убежден, что зарваться в биржевой игре он не может. В то время происходила безумная игра на петербургской бирже. Разумеется, что В. Ф. всегда давал добросовестные советы. К нему охотно обращались, и он получал большой, так называемый, куртаж и сделался тем, что на биржевом жаргоне называется „зайцем". Доходы его росли. Случалось также, что он за свой счет покупал в небольшом количестве акции и облигации.

Когда мы жили еще в городе на Надеждинской, я выразила как-то сожаление о том, что мои сестры не могут пользоваться теми образовательными средствами, которые имеются в Петербурге, и этого было достаточно, чтобы В. Ф. предложил мне выписать двух сестер, которые могли бы занять свободную у нас комнату и обучаться, чему пожелают. Я известила мою сестру Елену о будущих женских курсах и советовала ей и следущей по годам за мной сестре Ольге приехать и жить у нас. Обе тотчас приехали и решили готовиться на звание сельских учительниц. Впоследствии обеим удалось достигнуть этой цели.

Сестры вместе с нами устроились на даче. Мы наняли нижний этаж того дома, где жили Лешерны. В это же лето наняли себе дачу в Лесном С. А. Лешерн, С. Л. Перовская, А. И. Корнилова и Вильберг.

Пока мы жили на даче, В. Ф. устраивал в городе новую квартиру для нас в доме Утина на Галерной улице. Он купил новую мебель и отделал квартиру как нельзя лучше. Не могу сказать, чтобы старания В. Ф. устроить нашу квартиру комфортабельно и изящно радовали меня хоть сколько нибудь. Я привыкла в доме родителей к простоте и весьма скромной обстановке, поэтому попытки поставить жизнь на широкую ногу были мне тягостны и не привлекали меня. Моя жизнь текла в значительной степени сама по себе. Но нельзя сказать, чтобы В. Ф. не принимал в ней участия, напротив, мои интересы всегда были ему близки. Он помогал мне и моим сестрам советами и практическими указаниями. Наши успехи его радовали и его заботили препятствия и неудачи, которые встречались на нашем пути.

Осенью открылись женские Аларчинские курсы в здании V мужской гимназии. Они по необходимости были вечерние, так как днем все часы у преподавателей были заняты. Слушательниц набралось множество, но все ли они извлекали для себя большую пользу от курсов, это осталось вопросом. Меня больше всех наук привлекала математика, и я легко воспринимала ее понятия, метод изложения и приемы рассуждений. Решать геометрические задачи для меня составляло удовольствие. Но надо признать, что у нас был такой преподаватель математики, подобного которому трудно найти. Это был известный педагог и преподаватель математики в морском корпусе, Александр Николаевич Страннолюбский.

Страннолюбский для поднятия уровня знаний у женщин сделал очень много, потому что, обучая математике, он вместе с тем умел развивать логическое мышление в своих ученицах. Он ценил женский ум, но указывал на то, что с детских лет этот ум искажается, ему дают ложное направление. Одно из средств направить женский ум на путь развития состоит в том, чтобы с младшего возраста преподавать девочкам начальную математику, т.-е арифметику и геометрию. Он выработал прекрасный метод обучения с самых младших классов, и метод этот давал блестящие результаты. Если которая-нибудь из петербургских женских гимназий предлагала Страннолюбскому давать уроки математики, он всегда ставил условием, что начнет обучение детей с I класса.

Так как Аларчинским курсам Страннолюбский мог посвятить только 2—3 часа в неделю, и этого было слишком мало для слушательниц, желавших получить основательные знания, а в нашей квартире на Галерной улице комнаты были просторные, я решилась предложить Страннолюбскому давать уроки математики 2 раза в неделю у меня, при чем слушательницами его будут некоторые из курсисток. На курсах я опросила наиболее выдававшихся способностями, желают ли они участвовать в вечерних занятиях математикой у меня на квартире, которыми руководить будет Страннолюбский. Отозвалось человек 15, и число это колебалось в течение зимы 1870—1871 г. между 10—15-ю. В плате участвовали все поровну. В состав слушательниц входили: Перовская, три сестры Корниловы (Александра, Любовь и Надежда), Софья А. Лешерн, моя сестра М. П. Лешерн, Серова (вдова композитора и мать художника), Вадсон (из семьи редактора „Петерб. Ведом.") и я. Фамилий остальных не помню. Страннолюбский был очень взыскателен, он требовал от всех слушательниц исполнения за-

данных работ и бывал недоволен, если это не было сделано. За две зимы мы прошли с А. Ник. арифметику, алгебру, геометрию и тригонометрию и действительно усвоили себе эти предметы основательно.

После урока А. Н. обыкновенно оставался у нас чай пить. И в эти часы беседы я узнала Страннолюбского ближе и поняла всю ценность его обширного ума. Это был один из образованнейших людей своего времени. Историю Европы, русскую историю и историю философии он знал, как специалист. Из новейших философов наиболее любимым для него был Огюст Конт. Вообще, французских ученых, французских математиков и философов он ставил очень высоко. Тогда шел 1870 год, только что совершился разгром Франции, и русская интеллигенция, в том числе и А. Н., оплакивали судьбу Франции, как духовной родины своей. К политике А. Н. относился с большой страстностью. Он ненавидел монархический строй и русского царствовавшего тогда деспота в особенности. А. Н. был первый человек, который влиял на меня своими обширными знаниями непосредственно, помимо книг. Но он оставил во мне также светлое и неизгладимое впечатление своими резкими и непоколебимыми политическими убеждениями.

Один знакомый студент, Пушков, который занимался с нами летом, в Лесном, ботаникой и некот. друг. предметами, продолжая бывать у нас, приносил новые нелегальные книги или говорил, где и как их можно достать. Однажды он просил собрать деньги и носильные вещи для ссылаемых по нечаевскому делу. Он был в тот вечер взволнован, говорил с дрожью в голосе о жертвах деспотизма, из чего я заключила, что он стоял довольно близко к нечаевцам. В эту же зиму Пушков пришел к нам и сказал, что один из его знакомых думает собрать кружок молодежи, чтобы действовать совместно в радикальном направлении. На наши расспросы он отказывался отвечать более подробно, а сказал, что его знакомый сам разъяснит нам, в чем состоит та цель, которую он имеет в виду; что с своей стороны он вполне искренно рекомендует нам этого молодого человека, имя которого Николай Васильевич Чайковский. Мы согласились на знакомство с Чайковским и просили передать ему, что будем ждать его в ближайшее воскресенье в 6 часов вечера. Незадолго до того времени вернулся мой брат из провинции. Брат и Лешерн присутствовали при нашей встрече с Чайковским. Чайковский был тогда юношей 19—20 лет с приятным лицом. После первых приветствий, мы попросили Чайковского разъяснить нам цели, которые его привели к нам. Он ответил, что невозможно спокойно переносить насилия и притеснения правительства. Недовольство и брожение, несомненно, существуют, но надо дать им возможность проявиться; для этого необходимо сплочение недовольных элементов; необходимо основать организацию, которая приступила бы к действиям. А действия, главным образом, будут состоять в издании и распространении таких книг, которые обычным путем не могут появиться в печати. Книги эти должны раскрывать глаза широкой публике, чтобы положить конец тайне, в которой совершаются все насилия правительства. Так, или приблизительно так, говорил Чайковский. На обсуждении вопросов, затронутых им в этот первый его приход, прошел весь вечер, к концу которого он предложил собраться вторично и, если мы все согласны, пригласить на это следующее собрание большее количество людей. Мой брат предложил, чтобы 2-е собрание состоялось на его квартире.

В назначенный день сошлось довольно большое общество. Я очень смутно помню, о чем шла речь, даже мало помню присутствующих. Но вспоминается, когда в перерыве большая часть приглашенных ушла в столовую для чаепития, Перовская, С. А. Лешерн и я, мы остались сидеть, как раньше у окна. Перовская сидела на подоконнике, обхватив одно колено руками. Мы говорили о будущности каждого из нас. Софья Львовна сказала задумчиво: „Мне хочется изучить психиатрию и быть психиатром, и надеюсь, что это удастся мне“. У всех трех нас настроение было самое спокойное, время бурь еще не настало для нас. Я думаю, что Чайковский убедился в тот вечер, что попал в среду, для его целей не подходящую. По крайней мере мы его больше не видели.

Около этого времени вышло несколько новых книг. Это были: „Положение рабочего класса в России“ Флеровского, I том соч. Лассаля и „Исторические письма“ Лаврова. Чтение этих книг произвело на меня потрясающее впечатление и заставило проявиться всем социалистическим стремлениям, дремавшим во мне. С тех пор я стала убежденной социалисткой.

В конце этой зимы я и моя сестра Елена сдали в университете экзамены на домашнюю учительницу. Но сестра еще продолжала занятия на учительских курсах, после чего учительствовала в сельской школе Ярославского уезда.

В это время на петербургской бирже разыгрался последний акт биржевой спекуляции. Началось то, что называется крахом. Лопнуло несколько банкирских фирм, и вслед за ними оказались пострадавшими мелкие участники в биржевой игре. В их числе был и В. Ф. Он потерял все, что имел в обороте, и у него остались долги. Он был потрясен и огорчен, но больше всего его

тревожила мысль, как я отнесусь к катастрофе. Я успокоила его, сказав, что всегда рассчитывала на подобный конец биржевой спекуляции, что я не люблю богатства и предпочитаю скромную жизнь. На другой же день я отправилась искать другую квартиру взамен дорогой квартиры в доме Утина. Я нашла очень скромную, хотя просторную квартиру на Крюковом канале, окнами как раз против Литовского замка. Без заработка В. Ф. не остался. Только что основалось Северное Страховое Общество, и правление предложило ему быть агентом в Петербурге.

Лето прошло для меня в изучении Милля и Спенсера. Осенью вернулись мои сестры. Приехала также самая младшая сестра Варя. Вернулась в Петербург также и М. П. Лешерн, которая с тех пор разошлась с мужем, что составило несчастье для обоих на всю остальную их жизнь.

С началом зимы возобновились уроки Страннолюбского у нас на квартире и мои беседы с ним. Когда я говорила ему о впечатлении, вынесенном мною от чтения сочинений Милля и, в частности, от его „Логики", Страннолюбский выразил свое удовольствие и сказал мне: „Будьте всегда логичны, и вы будете непобедимы". И я могу сказать, что его совет не пропал для меня даром. Как в ранней молодости я усиленно стремилась говорить всегда правду, так, начиная с зрелых лет, я стала обращать особое внимание, кроме правды, еще на логичность в речи и письме.

Северному Страховому Обществу понадобился в Москве служащий, которому правление могло бы доверить отдел страхования товаров, и оно предложило это место В. Ф. Он дал свое согласие, и летом 1872 г. мы переехали в Москву. Нам отвели при доме, арендованном страховым обществом, небольшой флигель с мезонином, где мы прожили два года. Вскоре после нашего переселения в Москву вернулся мой отец из заграничной поездки с сестрой Ольгой, которая его сопровождала, и М. П. Лешерн с сыном и сестрой Еленой. Лечение за границей не принесло отцу ни малейшей пользы. Он приехал с меньшими, чем раньше, силами, и ясно было, что он не может больше поправиться. Он почти не вставал и один не мог ходить по комнате. Он очень беспокоился, что нам причиняет заботы и хлопоты, и, видно, предчувствовал свою близкую смерть. Он прожил еще год после поездки за границу и умер в Ярославле.

В Москве у меня не было ни души знакомых, и я умерла бы от тоски, если бы чтение не поглотило все мое внимание и все мысли. В библиотеке В. Ф. был I том Маркса на немецком языке; я изучила его с величайшим интересом. Больше всего поражала меня теория прибавочной стоимости и приложение исторического метода к описанию жизни английских рабочих. I том Маркса и книга Флеровского „Положение рабочего класса в России" сделали меня навсегда другом трудового народа. В 1873 г. мой брат был назначен управл. Либаво-Роменской ж. д. и предложил В. Ф. переехать в Минск, где находилось управление, и заведывать счетоводством всей линии. В. Ф. принял эту должность и вместе с тем оставался агентом по страхованию Сев. Страх. Общ., что давало ему надежду закончить выплату своих биржевых долгов.

Мы перекочевали в Минск ранней весной 1874 г. Здесь по моей инициативе было образовано Общество попечения об учащихся. Пока я жила в Минске, я занималась делами Общества, но это не могло удовлетворить меня. По-прежнему я много читала. Теперь на очереди были романы французской реалистической школы: Флобера, Гонкуров, Додэ. Золя я вскоре исключила из числа моих любимых писателей, потому что считала его односторонним, а следовательно, не вполне правдивым. Примирилась я с ним вполне, как с общественным деятелем, во время процесса Дрейфуса, т.-е. 25 лет спустя. Я перечитывала также с наслаждением Тургенева и Толстого. Все эти писатели помогли мне выработать слог и манеру писать.

К лету съехалась почти вся наша семья. Приехала моя мать и сестра Елена на свидание с нею и с братом. В это лето она стала невестой выдающегося инженера Н. В. Бернацкого. Сестра предупредила своего жениха о том, что обещала своим ученикам сельской школы и их родителям вернуться к ним осенью и считала долгом сдержать слово, иначе дети остались бы без учителя. Муж согласился с ее решением; она зиму пробыла в деревне и только весной вернулась к мужу в Минск, где они провели первое время своей совместной жизни; позднее они перебрались в Москву, где Бернацкий служил на Московско-Курской ж. д. Бедная моя мать приехала уже больная смертельной болезнью. Брат не отпустил ее от себя, и она прожила у него до своей смерти в октябре 1874 г.

Приближалось то время, когда слово „свобода", одно из лучших слов, какие знает человечество, прозвучало в России. Хотя оно относилось пока только к борьбе славян с турками, все же это чарующее слово заставляло усиленно биться русские сердца уже в 1876 г. при начале восстания в Герцеговине. Позднее, когда к войне с турками присоединились остальные славянские земли, стало очевидно, что вмешательство России в балканскую войну неизбежно. Это и случилось весной 1877 г.

Воздух в России был наэлектризован. Людям захотелось освободиться от всяких

уз и цепей. Я не могла остаться спокойной с самого начала войны славянских народов с турками. Мне хотелось оказать хоть малейшую помощь борцам за свою свободу. Но что я могла сделать? Единственное маленькое дело состояло в сборе денег. Я привлекла к нему нескольких знакомых; кроме денег, мы собирали белье и другие пожертвования; а когда приблизилась зима, мы отправили несколько тюков с полушубками в московский комитет, заведывавший отправкой посылок в славянские земли.

Но когда началась русско-турецкая война, я решила отправиться на театр военных действий в качестве сестры милосердия. Я уехала в Петербург с тем, чтобы прослушать подготовительные курсы, необходимые для звания сестры. Но в Петербурге я ничего не добилась: курсы были переполнены; некоторые уже заканчивали свою работу. В это время я получила известие из Минска о том, что там открылось отделение Красного Креста с лазаретом для раненых, которых привезут с войны. В первом же заседании комитет Красного Креста избрал меня членом. Я вернулась в Минск, записалась на курсы и стала учиться всему, что можно было извлечь при таких плохих условиях, в каких находился военный госпиталь в Минске. Но при военном госпитале был знающий и хороший хирург, который допускал нас присутствовать при операциях. С грехом пополам, мы окончили курс и получили дипломы сестер милосердия.

Время шло, раненых не привозили, хотя лазарет для них был готов. Я спрашивала себя с тоской и тревогой: что же дальше? Дело в том, что в нашей семейной жизни с давних пор назревал кризис. Я даже сама не понимала, почему между нами такое резкое различие, и в чем оно состоит. Только позднее я поняла, что весь вопрос состоял в том, что наши характеры не сходились. Когда В. Ф. бывал доволен условиями жизни, то ему ничего, решительно ничего больше не надо было. Со мной дело обстояло совсем иначе. Когда я усилиями достигала сегодня одного, то на следующий день я старалась достигнуть в несколько раз более. Я была недовольна создавшимися условиями и страдала от них, но В. Ф. был счастлив попрежнему и никогда не думал о том, что в его жизни могут наступить перемены. В случае, если я расторгну наши брачные узы, то я убью его,—это было для меня ясно. А такое деяние было мне так же свойственно, как овце съесть человека. С другой стороны, мне было 27 лет. До каких же пор я буду учиться, буду приобретать новые знания, не имея никакой возможности применять их к какому бы то ни было делу! При этой мысли меня охватывал ужас, и я содрогалась.

Неожиданное обстоятельство помогло мне выйти из удручавшего меня положения. В. Ф. и мой брат внезапно разошлись очень решительно. Вопрос, разъединивший их, состоял в том, что В. Ф. предложил радикально изменить не только систему счетоводства, но также многое, касавшееся общих приемов управления жел. дор. Николай Павлович не согласился на эти преобразования, и В. Ф. тотчас попросил себе отставку. Это, конечно, было хорошо, но возникал вопрос, как мы будем существовать. Очень скоро В. Ф. сказал мне, что решил поселиться в деревушке Черниг. губ. и заняться экспортом хлеба за границу. Такое решение было до того неожиданно, что я могла только воскликнуть: „А теория поддержки крестьянского хозяйства? А вред от вывоза русского хлеба за границу?“ На что он ответил: „Я не буду обыкновенным скупщиком хлеба, не буду наживать бессовестных процентов, а, наоборот, надеюсь урегулировать хлебную торговлю и поднять доход крестьян от продажи зерна или муки“.

Но слова эти не успокоили меня нисколько. Самое положение скупщика хлеба в глухой деревушке пугало меня. Я решила ни в каком случае туда не ехать. Но В. Ф. все-таки отправился в деревню на разведки и, вернувшись, сказал, что она ему понравилась, и крестьяне рады были его появлению.

Между тем, в его отсутствие у меня произошел разговор с одним из двух врачей, выписанных минским отделением Красного Креста. Оба они только что кончили курс медицинского факультета Киевского университета и оба состояли ассистентами киевского профессора Караваева, чем очень гордились. Один из них, врач Х., узнав от кого-то, что я собираюсь на войну, спросил меня, не пожелаю ли я ехать в его сопровождении, так как он тоже намерен отправиться осенью на Балканский полуостров. Я очень обрадовалась попутчику, потому что ехать одной в неизвестную страну мне не улыбалось, и это отчасти задерживало мой отъезд.

Когда В. Ф. вернулся из черниговской поездки, я сказала ему, что решила ехать, и что у меня будет попутчиком врач Х. Смягчить этот удар мне не удалось. Для В. Ф. известие о моем отъезде было роковым. Не могу описать его страдания. Может быть, мне не следовало уезжать, но это равнялось бы для меня самоубийству. Жизнь, посвященная одному человеку, была для меня невозможна в то время, как я хотела служить целому народу. В этом состояла наша драма.

Отъезд мой много раз откладывался, и выехала я только поздней осенью. На Киевском вокзале, как было условлено, должен был меня встретить врач Х. Он подошел ко мне на перроне, и первый мой

вопрос был: „Едете ли вы на войну?“ Х. пустился в длинное объяснение относительно профессора Караваева, который сделал обоим врачам строгий выговор за то, что они задержались в Минске и опоздали к началу лекций, грозил вычеркнуть их обоих из числа своих ассистентов и проч. Так как я молчала, он в свою очередь спросил: „А вы, захотите ли продолжать свое путешествие одна, совершенно одна, без попутчика?“—„Да, ответила я без колебаний. У меня на неделе только одна пятница. И, что я решила, то я исполняю“.

Времени нельзя было терять, и на другой день я уехала в Кишинев. Здесь мне пришлось переночевать в гостинице. Утром я отправилась на вокзал и разыскала начальника станции, чтобы справиться о санитарных поездах, с одним из которых я рассчитывала уехать в Румынию. Он сообщил, что через час отправляется санитарный поезд в Рени *). Вещи мои остались в гостинице. Я съездила за ними и привезла их как раз во-время, за несколько минут до отхода поезда. Я увидала коменданта поезда и отрекомендовалась ему; он принял меня и посадил около пожилой сестры милосердия, которая тоже случайно, как я, ехала в Рени. Он посоветовал обратиться в Благовещенскую общину, так как она считается самой лучшей и работает усиленно, наверное, меня примут, раз я приеду. На следующее утро мы были в Рени. Две молодые сестры не вошли, а влетели в вагон и спросили скороговоркой и улыбаясь: „Вы едете в Бухарест? Вы ищете место сестры милосердия?“ „Да я, а кто вам это сказал?“ „Это сказал комендант вашего поезда, и он же еще добавил, что вы хотите поступить в Благовещенскую общину. Это наша община!“ выкрикивали с радостными улыбками сестры. „Поступайте к нам, вас примут, непременно примут“.

Одна из сестер была польского происхождения, Валентина Велембовская, очень красивая, а другая—русская—Мария Степанова, очень некрасивая, но бесконечная доброта читалась на ее лице. Она-то и была наиболее экспансивной из двух молодых девушек. Обе они были ученицы Одесской фельдшерской школы и хорошо подготовлены к обязанностям сестер милосердия. Они повели меня в свой вагон. По приезде в Бухарест я представилась двум солидных лет дамам: Сабининой и баронессе Фредерикс, стоявшим во главе Благовещенской общины. Ответственной начальницей собственно была Варвара Степановна Сабинина **). Она отнеслась ко мне благосклонно, однако, сказала, что комплект сестер у нее полный, но для меня она делает исключение в виду того, что я приехала издалека.

Благовещенская община специально занималась эвакуацией раненых и больных в санитарных поездах. На каждом поезде была своя старшая сестра, которая отвечала за исправность ухода за ранеными и больными, за порядок, за достаточное и хорошее питание пациентов и персонала. На каждом поезде был свой комендант и доктор; сестер приходилось по одной на вагон, иногда по одной на два вагона. Несколько солдат состояли при поезде для тяжелой работы. Вагоны были проходные и между собой соединялись обыкновенными открытыми платформами. В начале моей службы меня назначили на поезд, где старшей сестрой была Сабинина, для того чтобы я усвоила себе во всей строгости обиход путешествия поезда из Бухареста в Рени и обратно. Затем, по просьбе моих приятельниц, меня перевели на поезд, где старшей сестрой была Велембовская, и затем до конца я оставалась сама старшей сестрой. Мне нравилась работа на поездах. Она поглощала внимание, не оставляла времени для размышлений. Отношения между всеми работниками были дружеские. Лучших условий для успешной совместной работы нельзя желать. На обратном пути из Рени в Бухарест поезд чистился, грязное белье с больных и раненых записывалось для сдачи в прачешное заведение, чистое белье просматривалось и чинилось. Свободное время употреблялось на чтение вслух или проходило в разговорах и работе для себя. У сестер был свой вагон, где стояли койки по числу сестер. Зимой вагон отапливался железной печкой и было тепло.

Мое спокойное настроение прерывалось иногда письмами от В. Ф. Он действительно поселился в деревне, о которой говорил мне, и кое-как на скупке и продаже зерна зарабатывал гроши, на которые жил. Содержание его писем было мрачно и часто пропитано отчаянием; несколько раз он покушался на самоубийство. Снова поднимался вопрос, не бросить ли все и ехать спасать В. Ф., но тогда повторялись прежние мучительные переживания. От тяжких дум я находила теперь себе спасение в работе. Я отдавалась хозяйственным заботам или в кладовой зарывалась в починку белья для раненых и больных.

В апреле эвакуация происходила водным путем по Дунаю. Пароход буксировал две большие баржи, в которых в два яруса под крышей были устроены койки. Тут мы увидали такие картины, каких даже пылкое воображение не могло себе представить. Пароход останавливался у крепостей Силистрия, Рущук и Галац. Услышав свистки

*) Небольшой городок на русской территории на румынской границе.

**) Печальная судьба постигла обеих этих почтенных дам. Я уже была на Каре, когда в женской тюрьме мы прочли в газетах известие об убийстве Сабининой и бар. Фредерикс с целью грабежа. Произошло это событие в Крыму на даче Фредерикс.

парохода, лазареты крепостей высылали своих больных на пристань. Небольшое число больных еще держалось на ногах, большинство же доставлялось на носилках. Очень часто были случаи, что крепостные лазареты посылали на баржи умирающих. Сначала таких несчастных больных принимали, но когда сообразили гнусную махинацию крепостной администрации, то коменданты наотрез отказывались принимать их на баржи. Расчет крепостного начальства состоял в следующем: загоняв в гроб солдат тем, что не кормили их, для начальства было очень важно в своих отчетах скрывать огромное количество солдат, умерших от цынги. В виду этого око старалось отделаться от умиравших. Большинство всех больных, попадавших на баржи, были цынготные, при чем солдаты в крепостях болели самой тяжелой формой этой болезни. Мускулы ног омертвевали, икры были черны, как запекшаяся кровь, а когда врач стучал по ним, то получался звук, как будто стучали по дереву. Разум отказывался верить, что эти великие страдания и многочисленные смерти были результатом низкопробного воровства.

В один майский день кто-то из сестер сказал мне, что на пароходе меня спрашивает молодой человек и желает меня видеть. Это было на стоянке; наша баржа приходилась рядом с пароходом, с которого к нам были перекинуты сходни. Я отправилась на пароход и увидала незнакомого мне человека. Это оказался Александр Александрович Волкенштейн, молодой врач, привлекавшийся к процессу 193-х и оправданный судом. После тюремн. заключения ему захотелось подышать теплым воздухом юга, и он отправился за границу в качестве врача при эвакуации. Он привез мне привет от Софии Александровны Лешерн и много рассказывал о суде над пропагандистами. Он привез петербургские газеты, содержавшие судебный отчет о деле Веры Ивановны Засулич. У нас эти статьи о суде и оправдании В. Ив. читались и слушались с восторгом; по крайней мере я могу это сказать о себе.

Война была окончена в феврале, и если мы оставались еще на Балканском полуострове, то потому, что продолжалась эвакуация больных. Но в мае и она приходила к концу, и сестры начали поговаривать о возвращении домой. Одни собирались воспользоваться новыми знакомствами для дальнейшего устройства своей судьбы, другие списывались с родными по поводу близкого возвращения. Одна я не принимала участия в этих приготовлениях к отъезду. Когда однажды я сидела на ступеньках, которые вели к борту нашей баржи, сидела погруженная в раздумье, мне ясно представилось, что кто-то взял меня за руку и сказал: „Тебе здесь не место, другой путь тебе предназначен“. Разумеется, я не верю в духов и их внушения, но я думаю, что мой ум, помимо сознания, решил, что надо делать. На другой день я попросила Сабинину отпустить меня в Россию. Сборы были недолгие. Через день я уже в поезде ехала обратно.

В Рени долго пришлось ждать поезда. Вокзал находился на обширной площади. Я держалась по близости большого каменного дома, при котором был широкий подъезд со ступеньками, где можно было сидеть. Рядом с крыльцом виднелась дверь, очевидно ведшая в подвал. Дверь была раскрыта, и через нее выходили, а потом опять входили солдаты. Увидя меня сидящей на ступенях подъезда в костюме сестры, они явно заинтересовались мною, и один из них решился подойти. „Сестрица, сказал он, пожалейте хоть вы нас, мы гибнем в подвале“. „Что такое? удивилась я, почему вас держат в подвале?“ воскликнула я. „Да мы что!—сказали солдаты, которых собралось уже несколько—мы пока, слава богу, здоровы и на ногах, а вы бы посмотрели, что внутри делается, там лежат тифозные на полу; никто не дает им ни пить, ни есть, доктор не приходит, все нас забыли и бросили. Нам не дают даже кипятку, и больным нечего пить“. Я хотела лично убедиться в том, что говорили солдаты, и спустилась в подвал. Действительно, зрелище представилось ужасающее. На земляном полу лежали больные в жару, некоторые без сознания. По виду судя, это были тифозные. И тут же сидели, стояли и ходили здоровые. Словом, творилось нечто непозволительное. Я поторопилась покинуть страшный подвал и, выйдя из него, спросила солдат, есть ли в Рени отделение Красного Креста и где помещается? Оно оказалось очень близко. Я поспешила туда, рассказала о виденном мною и выразила удивление по поводу того, что в немногих шагах от почтенного учреждения происходят такие ужасные вещи. В ответ на объяснения представителя отделения, я сказала, что с первым отходящим поездом еду в Петербург и, если он пожелает, могу тотчас по приезде зайти в главное управление Красного Креста и заявить о том, что в Рени местных сил недостаточно для обслуживания больных. Разумеется, председатель отклонил мое любезное предложение и обещал, что немедленно больных поместят в лазарет, а здоровых переведут в другое помещение, будет произведена дезинфекция подвала, если только врач признает больных тифозными. Я еще не успела дойти до площади, как мимо меня прошел очень быстро человек, неся в обеих руках по большому медному чайнику с кипятком, и направился в указанный мною подвал. Моя угроза посетить

главное управление начинала приносить плоды.

Когда, наконец, поезд тронулся, в отделение, где я сидела, вошел офицер и лег на свободную скамейку. У него не было подушки, и на толчках вагона его голова болталась из стороны в сторону. Он лежал с закрытыми глазами, изредка стонал и имел вид тяжело больного человека. Я подошла к нему и предложила свою подушку, но он не ответил и, вероятно, не слышал моих слов. Тогда я подняла его голову и подложила ему подушку. Не помню, на какой станции он собирался выйти, но когда он встал, он оглядел пассажиров, спрашивая, кому обязан отдать подушку. Принимая ее от него, я сказала, что, видимо, он заболел, может быть даже тифом, и советовала обратиться к доктору.

Поезд стучал и шумел, напоминая, что мы приближаемся к цели путешествия. Я направлялась в Петербург. Единственный мне тогда известный адрес был адрес моего брата. Я знала, что его нет в Петербурге, и что семья, которой он обзавелся несколько лет тому назад, на даче. В квартире временно находилась Виктория Павловна, которая сдавала экзамены с четвертого курса на пятый. К ней я и ехала.

Погода была прекрасная. Я часто стояла у спущенного окна и думала свою думу. Неужели возвращаться в лоно семьи? Никогда этого не будет. Кто научился служить своей родине, не может снова отдавать свое время, свой ум, свой труд одному человеку. Но какому делу посвящу я себя? Вот вопрос, который стоял открытым предо мной, и дальше я рассуждала так: во всякий данный момент истории у каждого народа есть своя жизненная задача. В последний год такой задачей для России была война. Вся страна была заинтересована в удачном исходе ее. Теперь наступает новая пора, с иными потребностями, с иными целями и стремлениями. Живя далеко от центра русской жизни, я сейчас не знаю этих новых условий и потребностей. Надо нащупать пульс народной жизни и по нему судить о требованиях времени.

Так строились одна за другой ступеньки, которые вели меня к светлой и чистой дороге, по которой шли революционеры конца 70-х годов, подвигаясь вперед все дальше и выше. Дойдя до края этой дороги, я остановилась и, увидя революционеров, идущих по ней, я сказала им: „Разрешите мне итти с вами, я могу не только работать, но и сражаться вместе с вами“.

Но это было позднее, в первых числах августа 1878 года, когда впечатление, полученное мною от убийства Мезенцева, явилось для меня последней ступенью, приведшей меня к революционному пути.

А пока я вернулась в Петербург и застала сестру, погруженную в приготовление к экзаменам. В тот же день я почувствовала недомогание. Оказалось 39. Значит тиф. Вечером, ложась спать, я просила сестру, если действительно я заболею тифом, отправить меня в больницу. Там у меня обозначился сыпной тиф.

Я перенесла его легко и потом быстро стала поправляться. Тем временем было получено письмо от сестры, Елены Павловны Бернадской, которая на лето звала меня к себе поправляться. Как только я почувствовала себя крепкой на ногах, я уехала в Орловскую губернию, где жила моя сестра Елена с своим семейством. С описания момоего пребывания в деревне начинаются мои воспоминания о „Народной Воле“ *). Заканчивая период моей жизни до вступления в ряды „Народной Воли“, я хочу несколько строк посвятить дальнейшей судьбе В. Ф. Корба.

Была сделана нами попытка ужиться вместе; он приехал из Черниговской губернии; была нанята квартирка из трех комнат и кое-как обставлена. Но я всей душой уже принадлежала другому миру. Это было в мае 1879 года. Я была уже знакома с Морозовым, С. А. Ивановой, Гесей Гельфман, с Квятковским и Тихомировым. При таких условиях попытка ужиться по-старому должна была потерпеть полное фиаско, что и случилось. Мы разошлись навсегда.

Пока я была легальна, В. Ф. разыскивал меня два раза по адресному столу, и думая, что я нуждаюсь, приносил мне денег. Но я тогда служила в правлении одной железной дороги, куда отрекомендовал меня А. А. Лешерн. Я могла жить на получаемое жалованье, и деньги, которые приносил В. Ф., и которые он не хотел брать обратно, уходили на дела „Народной Воли“. Потом, когда я стала нелегальной, он не мог найти меня, но оставался в Петербурге. Его вызвали в департамент полиции для признания меня после ареста. Мы встретились вполне дружески. После моего осуждения и отправки на Кару, он уехал на бывшую родину своего отца в кантон Валлис и прожил там несколько лет, потом женился на местной жительнице, от которой у него родилась дочь. В свою дочь он вложил все силы и всю любовь своего прекрасного сердца. На 18-м году она заболела общим заражением крови от случайного поранения ноги и умерла через несколько дней. Со смертью дочери жизнь В. Ф., в сущности, была окончена. Он еще раз съездил в Россию. В Москве отыскал мою сестру Е. П. Бернацкую, спрашивал обо мне и о других моих сестрах. Затем в газетах появилась публикация о его смерти за границей. При-

*) „Гол. Минувш.“, 1921 г., № 9.

близительно это было в первых годах нового столетия.

Мое сближение с революционерами, которые позднее составили ядро партии „Народной Воли“, относится к весне 1879 г. В августе этого же года я была принята в агенты Исполнительного Комитета, а в январе следующего года я была избрана в члены Исполнит. Комитета.

Состоя агентом, я получила первое серьезное поручение в связи с взрывом царского поезда под Москвой 19 ноября. В январе 1880 г. я состояла в числе лиц, приносивших из склада „Штоль и Шмидт“ четвертные бутыли с серной или азотной кислотой в динамитную мастерскую, где были хозяевами Исаев и А. В. Якимова на Подъяческой улице, и даже в то время когда на чердаке там скрывался Халтурин. Вообще работа и поручения бывали самые разнообразные. В феврале 1880 г. я работала во временной динамитной мастерской Геси Гельфман, где хозяином, кажется, был Грачевский. Это была мастерская не специально назначенная для приготовления динамита,—здесь же Исаев работал над усовершенствованием разрывных снарядов, тут же после истории с министром Сабуровым скрывались Коган-Бернштейн и Подбельский. Я с ними познакомилась на этой же квартире. Оба произвели на меня впечатление выдающихся юношей. Я так же, как другие лица, в том числе Татьяна Ивановна Лебедева, работала над производством динамита. Обыкновенно все работавшие очень быстро начинали страдать головными болями, но я не помню, чтоб я хоть раз чувствовала себя плохо от динамита. Может быть оттого, что моя работа продолжалась недолго. Несколько месяцев я переписывала на папиросную бумагу сведения Клеточникова, которые сохранились в архиве „Народной Воли“.

Всю зиму 1880 г., до появления в Петербурге Савелия Златопольского, я работала для паспортного бюро.

Моей главной работой было сотрудничество в редакции газеты „Народная Воля“. Началось с того, что я собирала материал и подготовляла его для редакции, писала „хронику“ и т. д. По сведениям газет и журналов легальной прессы весною 1880 г. я в хронике выяснила значение голода в Самарской губернии. Эта маленькая статья была потом напечатана в виде „внутреннего обозрения“, в „Листке Народной Воли“, в №2. Она сильно запоздала из-за провала типографии в Саперном переулке. Мне пришлось перевести на французский язык обращение Исполнительного Комитета к французскому народу по поводу ареста Гартмана в Париже. Незадолго до 1 марта 1881 г. я вошла в число редакторов „Народной Воли“. Первое собрание редакции после 1 марта происходило на квартире Н. К. Михайловского. Нас присутствовало тогда трое редакторов: Н. К. Михайловский, Тихомиров и я. Мое знакомство с Н. К. не прекращалось за все время моего участия в „Народной Воле“. Но не могу сказать чтобы он очень активно содействовал партии. Он был скорее любитель, чем действительный работник в „Народной Воле“.

Мною, совместно с С. Златопольским, написана прокламация по поводу убийства Стрельникова тотчас после телеграммы, появившейся в петербургских газетах.

Исполнительный Комитет всегда имел особую квартиру для своих заседаний. Я трижды была хозяйкой таких квартир. Первый раз летом 1880 г., во время работ под Каменным мостом, но это было так мимолетно, что я даже не помню, кто был хозяином этой квартиры, кажется, С. Златопольский. Вторая квартира сыграла большую роль в истории Исполнительного Комитета; она существовала с июня 1880 г. до половины января 1881 г. Хозяином все время состоял М. Ланганс. Здесь произошли некоторые исторические заседания Комитета. Здесь часто читались письма Нечаева и делались по ним постановления. Сюда ко мне пришел Баранников в июле 1880 г. с известием, что нашел весьма подходящий подвал на М. Садовой ул. для будущего подкопа. И здесь же, позднее, после возвращения А. Михайлова из поездки на юг, состоялось заседание, где окончательно был выработан план подкопа на Малой Садовой улице. Здесь, однажды, тоже в августе 1880 г., Тихомиров просил Комитет дать ему полную отставку, ссылаясь на расстроенное здоровье. Ему, в пылу негодования, отвечал А. Михайлов, напоминая Тихомирову параграф устава Исполнительного Комитета, в котором запрещался выход из членов его. Успокоительно и миролюбиво отвечал Желябов, предлагая дать Тихомирову отпуск до поправления здоровья, на что Комитет дал свое согласие. Здесь, на этой квартире, Комитет пережил горестную весть об аресте А. Михайлова. Третья квартира, где я была хозяйкой, а С. Златопольский был хозяином, открылась в самый разгар арестов после 1 марта 1881 г., т.-е. через 2—3 дня после первого марта. Роль этой квартиры была очень печальна. На ее долю выпало видеть начало агонии „Народной Воли“. На второй день ее существования читалась здесь прокламация Исполнительного Комитета к крестьянам. На этом заседании еще присутствовали С. Л. Перовская, Фроленко, Суханов и Тихомиров. В один из первых дней пришлось снаряжать Татьяну Ивановну Лебедеву на отъезд из Петербурга. В первых числах мая я снаряжала П. С. Ивановскую, которая отсюда начала свое трудное путе-

шествие в Москву. К нам же в последний свой день на воле зашел Суханов, непосредственно после свидания со своим начальником, который сообщил ему, что следствием уже установлено, что запал для мины на Малой Садовой ул. доставлен именно им, Сухановым, из артиллерийского склада, которым он заведовал. Мы настаивали, чтобы он прямо от нас отправился за границу, но он гордо отверг наше предложение и был ночью арестован.

Квартира эта была ликвидирована по требованию Комитета, находившегося уже тогда в Москве. Мы получили приказ немедленно явиться в Москву и выехали в конце мая.

Вернулась я в Петербург 3-го января 1882 г. под фамилией Розановой. До моего приезда С. Златопольский был единственным представителем Исполнительного Комитета в Петербурге; теперь нас было двое. Златопольский ездил в Москву один раз и вернулся благополучно. Второй раз в апреле он был арестован, и некоторое время я оставалась одна, представляя Комитет в Петербурге. Вскоре, однако, был прислан Грачевский.

В ночь на 5-е июня мы были арестованы. Получился огромный провал большинства лиц, находившихся с нами в деловых сношениях. Причина этих арестов документально до сих пор не установлена. Судили нас, 17 человек, в апреле 1883 г. и в июле отправили на Кару. Из тюрьмы некоторых из нас, по процессу 17, освободили в сентябре 1890 г. вследствие того, что манифест 1883 г. был применен к нам через 7 лет, что весьма удивило нас. В вольной команде я пробыла до середины сентября 1892 г. Путешествие с Кары в Читу этапами продолжалось полтора месяца. Поселение мое длилось до февраля 1905 г., когда для меня кончился срок обязательного пребывания в Сибири. Я покидала Сибирь, когда над Россией уже пылало зарево революции.

Сажин, Михаил Петрович *).

Родился я 17 октября 1845 г. в Ижевском заводе Вятской губ. Мать моя умерла, когда я был настолько мал, что в моей памяти о ней не осталось решительно никаких следов. После ее смерти осталось нас детей трое: две сестры и я. С нами жила бабушка (мать отца) и две тетки, его сестры, при чем старшая сестра в возрасте 20—21 г. была главой дома. Отец не всегда с нами жил и по роду своих занятий очень часто отлучался и иногда на целые месяцы. Все хозяйство и все заботы о нас лежали на старшей тетке, заменявшей нашу мать. Отец ради нас отказался от второго брака, а тетушка от первого. Бабушка была совершенно неграмотна, а тетки умели читать и писать „с грехом пополам“, отец кончил уездное училище, но благодаря своим частым разъездам и столкновениям с разными лицами из чиновников и помещичьего слоя, не уступал им в своем развитии.

Жили мы в это время бедновато, конечно без прислуги, обычно ютились в двух-трех комнатах какого-либо провинциального городишки в роде Буя, Солигалича Костромской губ. и др.—города, в которых мы жили по два—три года. Отец служил по „откупам“ и в последние годы их существования занимал даже пост управляющего. Питались тоже плоховато: мясо не всегда употребляли, строго исполняли посты, иногда даже по средам и пятницам ограничивались овощами. Вся семья настроена была очень религиозно, и в особенности бабушка, ходившая постоянно в церковь, а также по монастырям верст за двести — триста и обыкновенно бравшая меня с собою, когда я был в возрасте 8—12 лет. Если же с нами жил отец, тогда мы жили гораздо лучше. Кто меня научил читать, не помню, осталось только в памяти, как я вместе со старшей сестрой учился писать и заучивал басню Крылова „Лисица и виноград“ у чиновницы-учительницы вместе с ее детьми; молитвы бабушка заставляла заучивать. Отношение к религии было больше формальное: ходили в церковь, исполняли посты и праздники, постились и говели, всегда принимали духовенство — и это все, и я не помню, чтобы кто-нибудь когда-нибудь пытался объяснять нам сущность религии, учение Христа и т. д. Так было дома, так потом было и в институте.

Время Крымской войны, т.-е. 1853—1856 гг. мы вместе с отцом прожили в Грязовце Вологодской губ., где отец был управляющим „откупом“, и мы жили сравнительно хорошо. Здесь я начал учиться у учителя уездного училища (арифметика, закон божий, грамматика). Война производила на меня сильное впечатление, я грезил героями: Нахимов, Бебутов и пр. не сходили у меня с языка. В то время офени-коробейники разносили разную дешевую лубочную патриотическую литературу и лубочные картинки. Отец все это покупал, а я упивался всем этим добром и еще до сих пор помню некоторые стихотворения; в компании со знакомыми он выписывал „Московские Ведомости“. Почта приходила в город два раза в неделю, и в эти дни у отца собирались знакомые и обсуждали военные новости; я всегда присутствовал и узнавал все новости. Отец скупал ветошь и новый крестьянский холст: из первого приготовляли корпию всей семьей, а из холста я

*) Автобиография написана в декабре 1925 года в Москве.

стриг бинты. Всего заготовили больше двух пудов и послали на театр военных действий. Спустя года два отец узнал, что все это где-то пропало, а втихомолку он говорил, что интенданты продали французам, а наши солдаты вместо корпии и бинтов употребляли сено и мочало. В начале 1856 г. мы переехали в Буй Костромской губ., где с осени я поступил во второй класс уездного училища, а затем года через полтора переселились в Солигалич, откуда весною 1858 г. отец повез меня в Питер для поступления в Технологический институт, куда и был принят осенью после экзамена из арифметики (первые 4 правила простых чисел и обыкновенных дробей), грамматики (общ. понятия) и закона божьего (краткая история и молитвы). Мне шел тринадцатый год, и за все это время я не читал никакой книжки, кроме учебников. Летом и зимою проводил время на улице, во дворе, на огороде. Игра в мяч, в городки, в карты, бабки, запускание змейков и пр. с соседями-ребятами. Знакомства с детьми помещиков или чиновников у меня не было. Технолог. инстит. был тогда закрытым учебным заведением с шестью классами: первые три приготовительные, общеобразовательные, а последние специальные, где изучали высшую математику, механику, химию и пр.—готовили механиков и химиков. В низших классах господствовала „зубрёжка“, хорошо проходили низшую математику, а остальное очень поверхностно. Состав учеников — в роде уездного училища: дети мещан, ремесленников, среднего купечества. Учебной частью заведывал инспектор, а воспитательной полицмейстер с надзирателями. Последних считалось около двадцати человек, и все они были из заслуженных унтер-офицеров. Во главе стоял директор, генерал из горных инженеров. Первые два года пребывания в институте мало чем отличались от уездного училища: та же грубость, некультурность, похабщина, воспитатели частенько прибегали к порке. Вообще между институтом и кадетскими корпусами или бурсой существовало большое сходство. Но вот в 1860 году у нас появился учитель русского языка—А. Н. Моригеровский, который очень скоро начал антирелигиозную пропаганду среди учеников 3-го класса. Это тотчас же стало известно всем, и потому его вечерние занятия стали посещать ученики других классов. Со временем он начал задевать и политику. Начальство узнало, всполошилось, и скоро его убрали, но тем не менее он разбудил нас. С этих пор начались столкновения с нашим начальством, в которых я всегда принимал самое горячее участие, а иногда бывал и зачинщиком их. Один из молодых учителей, математик М. А. Красновский говорил мне: „Вам не миновать каторги“, но говорил это любовно, мы симпатизировали друг другу. 1861 и 1862 гг. были знаменательными годами: освобождение крестьян, их волнения и бунты, студенческие волнения Петербургского университета, арест Чернышевского и приостановка „Современника“ и „Русского Слова“, прокламация „Молодая Россия“, петербургские пожары. Все эти события волновали и меня с товарищами. Мы впервые услыхали имя Николая Гавриловича Чернышевского, и с этого времени я начал учиться на нем, стал покупать старые книжки „Современника“ со статьями его и постепенно в течение нескольких лет приобрел этот журнал за все годы его деятельности. В 1863 году институт реформировали, сделали высшим учебным заведением, нас выпустили на квартиры, мы стали студентами. Поступление в институт было свободное, без экзаменов, и потому комплект учащихся поднялся сразу с 270 человек до 700. Поступило очень много поляков, которые через год ушли в восстание отчизны. Вскоре организовалась студенческая касса; я был выбран кассиром и депутатом курса. Тогда же я организовал литографирование лекций и продажу их по себестоимости. В институте была небольшая типо-литография для своих нужд, часть которой директор отдал в мое распоряжение для литографирования лекций. Около меня сформировался небольшой кружок, и было решено печатать запрещенное соч. Бюхнера „Сила и материя“. Однако, это скоро провалилось, благодаря доносу в III Отдел. У одного товарища при обыске нашли склад листов книги, его арестовали. У меня ничего не нашли, и я отделался легко. Судил нас старый сенат.

Случайно я познакомился и вошел в кружок офицеров-артиллеристов и генерального штаба. Кружок занимался самообразованием и распространением запрещенных сочинений. Некоторые из них, и я в том числе, днем занимались в школе с подростками, а по вечерам иногда приходили рабочие с какого-то завода, с которыми велись беседы — легальные на житейские темы. Все они были горячие последователи Чернышевского, как и я. Тогда же я пытался устроить кооперативную лавочку, что было совершенной новостью. Незадолго до выстрела Каракозова я познакомился с Худяковым и вместе с своим товарищем Левенталем вошел в его группу. Вскоре после 4-го апреля (покушение Каракозова на Александра II) арестовали Худякова и Левенталя (умер в крепости), а я спасся тем, что за неделю уехал за город на урок, и полиция тщетно меня разыскивала. Мне пришлось скрываться больше года, и только в 1867 г. осенью я снова поступил в институт. После каракозовского выстрела

свирепствовала самая черная реакция: вся общественная, литературная и политическая жизнь замерла, все культурные начинания были уничтожены, нигде никаких проявлений жизни не было, и вдруг в декабре 1867 года заволновались студенты Технол. института вследствие исключения своего товарища. Начались огромные сходки, начальство инстит. растерялось, пока не вмешалось знаменитое III Отд. Меня, как зачинщика и руководителя, немедленно исключили и выслали в Вологодскую губ. В ссылке познакомился с Н. В. Шелгуновым (сотрудник „Русского Слова" и „Дела"), В. В. Берви (Флеровский), а значительно позже с П. Л. Лавровым. Все они были тоже ссыльные. В ссылке я прожил года полтора, а затем бежал в Америку, где работал на заводах до весны 1870 г., а в мае этого года был вызван в Женеву известным революционером С. Г. Нечаевым.

В Женеве ознакомился с русскими революционными делами и главнейше с Интернационалом, о котором до этого времени имел очень смутное представление. В нем тогда было два течения: анархическое, безгосударственное, с М. А. Бакуниным во главе, и социал-демократическое, государственное, с Карлом Марксом во главе. Первое стремилось к уничтожению государства, как источника насилия и всякого зла, а второе—к удержанию, укреплению его и овладению им. Для достижения этих целей первые признавали только революционный путь, восстание, а вторые—парламентскую борьбу, захват власти путем выборов депутатов в парламент (рейхстаг). Я присоединился к первым, а когда вскоре после этого познакомился лично с М. А. Бакуниным, то близко сошелся с ним, а потом интимно связался с ним. С осени 1870 г. я поселился в Цюрихе, где среди студенток и студентов университета и политехникума вел революционную пропаганду и основал кружок и библиотеку. В сентябре Бакунин со своими друзьями, французскими рабочими Интернационала, организовал в Лионе восстание и провозгласил Коммуну; в этом движении я принял небольшое и косвенное участие. Через семь месяцев, 18 марта 1871 г., Париж восстал и образовал знаменитую Коммуну. Как только это стало известно, я в компании двух французов-рабочих и одного поляка уехал в Париж и пробыл там до конца, принимая активное участие в борьбе с врагами ее. Летом 1871 года вступил в Юрскую федерацию Интернационала. В это же время я опасно заболел, устранился от всех дел и только через девять месяцев вполне оправился. 13 июля 1872 г. в Цюрихе был арестован С. Г. Нечаев, известный революционер, а затем и выдан русскому правительству. Он передал мне свой архив, за которым пришлось ехать в Париж и разыскать его там. Участвовал: 1) в приготовлениях к Гаагскому Конгрессу Интернационала и 2) в анархическом конгрессе в St. Imier и в последующих конгрессах. С ноября 1872 г. до весны 1873 г. мною с товарищами велась усиленная борьба с П. Л. Лавровым, окончившаяся полным разрывом. Устраивал типографию и печатал вместе с товарищами отдельные книжки („Госуд. и анархия", „Истор. развитие Интернационала"). Окончив их печатание, отправился на русскую границу, где вполне удачно организовал переправу большей части издания в Петербург. После этого уехал в Лондон вместе с типографией, отпечатал там 3-ю книжку: „Анархия по Прудону", и половину издания тоже благополучно переправил в Россию. С границы проехал к Бакунину в Локарно, где подготовлялось восстание в Болоньи и устройство дела с виллой „Бароната". И в том и в другом я принимал большое участие. К этому времени в Париже начали появляться из России эмигранты - революционеры; я поехал туда, встретился с Кравчинским, Клеменцом, Иванчиным-Писаревым и др. Особенно сошелся с первым, с которым летом 1875 г. участвовал в Герцеговинском восстании на Балканском полуострове. По возвращении из Герцеговины в Женеву собралось несколько русских революционеров (Клеменц, Натансон, Кравчинский, я, Мокриевич Иван, Габель, Енкуватов, Лопатин), было несколько собраний, на которых решили возвратиться всем в Россию и попытаться, сообразно имевшимся сведениям, почерпнутым из „хождения в народ", организовать восстание трудовых масс. Все уехали на родину, кроме Лопатина. По моем приезде я скоро увидел, что вчерашние защитники идеи восстания сегодня стали ее противниками. В апреле при моем переходе границы меня арестовали, привезли в III Отделение. Дальше, Петропавловская крепость, Дом предварительного заключения, привлечение к процессу 193, суд, приговор, неутвержденный царем, каторга в Новоборисоглебской центральной каторжной тюрьме Харьковской губ. В 1882 году вышел на поселение в Култук Киренского округа, затем перевод в г. Киренск, где женился на Евгении Николаевне Фигнер, ссыльнопоселенке. Условия жизни были очень суровые; я немного зарабатывал столярным ремеслом, а жена от своей матери получала небольшое пособие. Скоро родился у нас сын. В 1886 г. перевели в Балаганск, такое же гиблое место, как Киренск. Здесь я переменил профессию, стал переплетчиком, переплел несколько сот книг-учебников для двух школ. Одно время имел даже урок, хотя уроки и частная служба строго воспрещались нам. В 1888 г. приписали к

крестьянству и разрешили частную службу в коммерческих предприятиях. Переехал в с. Лиственичное на озере Байкал и поступил механиком в пароходство. Через год предложили ехать на золотые прииски Витимской системы, а отсюда опять через год перевели на Ниманские прииски Амурской области, где я прожил с семьей пять лет управляющим приисками. В силу какого-то манифеста перевелся в Западную Сибирь, именно в Тюмень. Здесь поступил в пароходство Богословского горного округа механиком, а потом управляющим. В 1900 г. разрешили жить в некоторых городах Европейской России; выбрал Ригу. Революцию 1905 г. встретил в Нижнем-Новгороде, принимал в ней небольшое участие. С 1906 г. по 1916 г. жил в Петербурге и заведывал хозяйств. частью издания журн. „Русское Богатство", выходившего под ред. В. Г. Короленко. В декабре 1916 г. по болезни отказался и уехал на Северный Кавказ к сыну и прожил там до 1920 г. В этом году вместе с женою перебрался в Москву и первые полтора года занимался в Центральном Архиве. В мае 1917 г. я на время приезжал в Питер, откуда, по поручению „Общ-ва помощи политич. ссыльным", ездил в Иркутск с целью организации вывоза их из Якутской обл. в Россию. [См. „Воспоминания М. П. Сажина (Арман Росс)", М., 1925.]

Салова, Неонила Михайловна *).

Родилась я в октябре 60 г. в небольшом имении моей матери Черниговской губ. Мглинского уезда. Раннее детство провела в той же деревне. Родина моя—глухое захолустье, удаленное от культурных центров, население бедное, сплошь неграмотное: не было тогда ни школ, ни медицины. Росла я одиноко и почти на полной воле, в тесном общении с природой. Мать—вдова, всецело поглощенная заботами по хозяйству, чтобы извлечь средства для образования детей, за недостатком времени не могла уделить мне много внимания. Старшие дети, брат и сестра, обучались уже в учебных заведениях. Наша единственная прислуга в доме—Семеновна, совмещавшая обязанности кухарки и горничной, была занята какой-либо работой.

Все теплое время года я проводила в запущенном красивом саду с примыкавшими к нему березовыми рощами, где бывало много грибов, собирать которые очень любила. Убегала в поле на ближний покос, где бывали работы. Зимой—целодневное катание с горы на салазках. Игры мои—точная копия всего происходившего в усадьбе. Под высоким крыльцом старого дома помещалось мое хозяйство, при чем разные шишки изображали скот, тряпичные куклы—прислугу, были и господа, сидевшие во флигеле на особо отведенном им столике. Много времени провожу на скотном дворе, играя там с молодыми животными. Захожу в конюшню, где стоят выездные лошади. Радости моей нет границ, если бородатый кучер Иван, посадив меня на спину умного смирного коренника—Серого, покатает по двору. Отношение ко мне всех работающих в усадьбе доброе—куда ни захожу, везде встречаю радушный прием, привет и ласку, быть может потому, что я была единственным ребенком в усадьбе, стоявшей в стороне от деревни. Я пользовалась полной свободой передвижения, только мне строго запрещалось ходить одной к реке, чтобы не утонула, и в деревню, где тогда появилась „французская болезнь", занесенная в нашу глушь, вероятно, отбывшими военную службу. Об этой болезни у нас говорили со страхом, таинственным шопотом. Сказок в детстве мне не рассказывали, но я наслушалась много про старину. В долгие осенние и зимние вечера мать, закончив свои счеты и записи, поужинавши, садится к столу с работой—шитьем, вязаньем. Убравшись на кухне, приходит к нам ночевать Семеновна, она тоже присаживается к столу с своим бесконечным чулком. Семеновна—строгая пожилая женщина, бывшая дворовая каких-то важных господ, в свободное время всегда вяжет чулок. И вот две женщины, обе пожилые, вспоминают далекое прошлое, свое детство, молодость, что они сами пережили или слышали от прежних старых людей. Я, сидя на диване, внимательно слушаю. Былая помещичья роскошь, пиры, охота, домашние театры, оркестры из крепостных музыкантов, балы, кавалеры, красавицы в пышных нарядах,—все это уже прошло и походило на сказку. Страшные картины крепостничества; прожигатели жизни, кутилы, деспоты, истязающие не только рабов, но и своих жен-страдалиц, кротких и прекрасных. Мамаша возмущается: она ярая сторонница женской независимости, для чего, по ее мнению, нужно женщине как можно больше образования. Слушая интересные рассказы про старину, я веду упорную борьбу с одолевающим меня сном, но сон сильнее моей детской воли, и он побеждает. Облокотясь на стол, я вдруг засыпаю, меня уносят на руках или же полусонную ведут в спальню, укладывают в постель. В те же длинные вечера, когда я подросла, мать обучает меня грамоте по складам, как сама она училась в детстве.

Так тихо и мирно протекает моя жизнь, но время бежит быстро: я уже грамотная, читаю, пишу, знаю счисление и 4 правила арифметики, мне уже 10-й год. Мамаша все чаще и чаще говорит, что без образования

*) Автобиография написана 26/III—26 г. в г. Чите.

теперь, особенно женщине, прожить нельзя, что мне пора уже поступать в гимназию, для чего нужно ехать в Чернигов. Слушая рассеянно эти рассуждения на счет необходимости серьезного учения, которое мне совсем не по душе, веду прежнюю жизнь. Чтобы облегчить для меня резкий переход от старого к новому, сократив учебное время до каникул, мамаша решает увезти меня не с осени, а только после рождественских праздников. Наступает, наконец, и этот крайне тяжелый для меня день отъезда, глубоко врезавшийся в мою память. Встаем очень рано, при огне; лицо у мамаши какое-то особенное: она очень бледна, серьезна, сдержанна. Такое же лицо, помню я, было у ней при отъезде моей старшей сестры в институт, когда она подвела девочку к тяжело больному, умирающему от чахотки отцу и подала ему образ для благословения. В то время я была еще мала, но эта жутко-торжественная сценка запомнилась. В то утро я туго воспринимаю впечатления. Душа моя как будто застыла. Набирается порядочная толпа провожающих; тройка, запряженная в просторные сани, уже у крыльца; мамаша, одетая по дорожному, усердно молится перед образами, кладет земные поклоны, затем, обернувшись ко мне, благословляет, целует меня, сдерживая слезы. Провожающие тоже крестятся, целуются со мной. Скоренько укладывают вещи, мамаша садится в сани, усаживают и меня. Застоявшиеся лошади с места берут крупной рысью, и мы мчимся. В городе мамаша устраивает меня в частный пансион для подготовки в гимназию. Она живет две недели в гостинице, пока свыкнусь с новой обстановкой. Последнюю ночь накануне ее отъезда провожу уже в пансионе. Утром мамаша подъезжает проститься. Опять тяжелая сцена! С мамашей простилась довольно спокойно, но когда зашел Иван, я, повиснув у него на шее, так вцепилась, что с трудом от него оторвали. Все кончено, они уехали. Со мной все ласковы, успокаивают меня, а я все плачу, плачу без конца. Я так много потеряла. Резкая перемена в жизни дурно повлияла на мой характер: из доверчивой и общительной, какой была в деревне, я становлюсь замкнутой, робкой, застенчивой, чему много способствует мой физический недостаток—близорукость. В это время я, вероятно, походила на зверька, запертого в тесную клетку. Маленькие подруги, уже пережившие тяжесть разлуки с родными, несколько привыкшие к новой обстановке, стараются развлекать меня,—я чуждаюсь их: детская компания мне не привычна. Не принимаю участия в играх, одиноко страдаю. Я как бы завяла в это время, как молодое растение, оторванное от родной почвы и пересаженное в другую. Проходят томительно-мрачно 3 месяца, наступают каникулы, я опять дома. Радость и веселье. Простор и свобода! Старый сад в роскошном весеннем убранстве прекрасен. Собаки, заслышавши дорожный колокольчик, шумно встретили меня еще у гумна, далеко за усадьбой. Радуясь свободе, бегая по саду, осматривая там чуть не каждое дерево и кустик—такие милые, дорогие—я не забываю, что счастье мое непродолжительно, что скоро должна вернуться т у д а. Это неизбежно.

Переживши жестокую душевную бурю, я уже не прежняя. Изменились и мои отношения с окружающими, нет уже прежней простоты. Мне почему-то неловко пойти к работающим в поле, на покос, куда раньше так охотно хаживала. Кучер Иван, знаток и любитель лошадей, при наших встречах уже не ведет прежних разговоров со мной по своей специальности: как узнавать при покупке достоинство лошади, определять ее возраст; как ухаживать за лошадьми, кормить их, ездить, чтобы не испортить, (приводятся многочисленные примеры порчи дорогих лошадей неопытными и пьяными кучерами. Все теперешние кучера, по мнению Ивана, пьяницы). Я уже стесняюсь просить его, чтобы покатал меня на Сером, и он стесняется предложить мне это. Как тяжело бы мне не было, я не повисну у него на шее, обливая его слезами, как было при прощании с ним в пансионе. Я уже не прежняя деревенская девочка, похожая на крестьянских ребят, только почище одетая, я уже городская. Чувствуется уже некоторая отчужденность, сдержанность, не то, что было раньше; эта отчужденность с каждым приездом домой на каникулы чувствуется все сильнее и ярче. В доме я гостья, будущая „образованная женщина“. В то памятное утро при отъезде в город, рыдая на крыльце нашего скромного флигиля, я навсегда простилась с моим ранним детством и вступила в новую полосу жизни. К сожалению, этот переход случился очень рано. Подготовившись, я поступила в средине учебного года в гимназию в 1 или 2 класс—не помню, потому что вслед за поступлением захворала корью, а затем тяжелым возвратным тифом с несколькими приступами, сопровождавшимися полным истощением организма и нервным расстройством, последствием чего была оставшаяся у меня на всю жизнь легкая дрожь в пальцах рук, усиливающаяся при волнении. С наступлением тепла меня берут в деревню; быстро оправившись от перенесенной болезни, принимаюсь за учебу под руководством брата, студента-медика, приехавшего на лето домой. Опять в середине учебного года поступаю в гимназию в 3 класс.

В младших классах преподают учительницы, молодые девушки, стремящиеся продолжить свое образование. Отношение к

учащимся хорошее, но знания их ограничены, что они и сами сознают. В старших классах учителя с высшим образованием, преподающие сухо, строго придерживаясь программы и учебников. Скучно... Со стороны надзирающих за нашим поведением нет больших притеснений, придирчивости. Начальница — пожилая добродушная дама, классные дамы, больше молодые, тоже не дурные. Но все нам чужие: встречаясь вне школы, мы только церемонно раскланиваемся, быстро минуя друг друга, нам нечего сказать. Учимся для отметок, чтобы, благополучно переходя из класса в класс, скорее окончить гимназию. Гимназия нас не удовлетворяла. В своем рассказе о моем прошлом, незаметно для себя, я перешла к местоимению „мы" вместо прежнего „я": войдя с возрастом в товарищескую среду, живу не только личной, но и общей с подругами жизнью. В последующем рассказе эти местоимения будут чередоваться.

Будучи еще подростком, в младших классах я слышала от старших гимназисток, живших в пансионе, где жила и я, о первых русских женщинах - докторах, получивших образование за границей—Сусловой и Кашеваровой. Слышала также, что в Петербурге уже открыты медицинские женские курсы. Я хочу быть доктором.

Предоставленные в своем развитии самим себе, не удовлетворяясь школьной учебой, мы жадно набрасываемся на чтение, поглощая все, что попадается под руку. Читаем без руководительства, без системы; многого из прочитанного не понимаем. Любим Тургенева с его прекрасными героинями; Лиза из „Дворянского гнезда"—моя любимица. Некрасов—наш кумир, наш учитель; его стихотворения мы заучиваем наизусть, с чувством декламируем, поем. По стихотворениям Некрасова („Русские женщины", „Дедушка") интересуемся декабристами, о которых в учебнике кратко говорится, как о безумцах, стремившихся путем восстания ниспровергнуть существующий государственный строй, потерпевших неудачу и жестоко наказанных. За такое же преступление, слышали мы, отбывал каторгу Достоевский, написавший интересные „Записки из мертвого дома". Гимназисты, старшие братья моих подруг, развитее нас, от них можно бы получить разъяснение, но они избегают разговоров с „девчонками", держатся серьезно, недоступно, „важничают", по выражению сестер. Пансионское начальство, косо посматривающее на наше увлечение чтением в ущерб приготовлению уроков, принимает кое-какие меры к ограничению этого увлечения. Мы со своей стороны приучаемся быть осторожными: читаем в разных укромных уголках, ночью при свечном огарке; прячем книги, чтобы не отняли. В году учусь пестро, с перебоями, в зависимости от настроения и степени интересности читаемой мною книги; почуяв приближение экзаменов, подтягиваюсь: забравши себя в руки, усиленно занимаюсь школьными предметами и, хорошо подготовившись, перехожу в следующий класс в числе лучших учениц. Заслуженная мною репутация „лентяйки" остается за мной до окончания гимназии.

В старших классах из „тайной" библиотеки гимназистов попадает к нам кое - что запрещенное: „Что делать?" Чернышевского, некоторые сочинения Герцена, „Исторические письма" Лаврова. В это время гимназические компании—мужская и женская—понемножку сливаются. Предпринимаются совместные загородные прогулки, катанье в лодке, составляется общий хороший хор; много беседуем. Узнаем, что Чернышевский — очень талантливый человек, отбывший каторжный срок, находится где-то далеко в якутской глуши, лишенный возможности продолжать свою литературную деятельность. Герцен и Лавров—эмигранты, не могущие жить на родине. Политический гнет, давящий все талантливое и живое, обрисовывается для нас с полной ясностью. Только темнотой и невежеством народа, по нашему мнению, поддерживается этот колосс на глиняных ногах. Социализм, хоть и желателен, рисуется нам в далеком будущем светлым пятном в тумане. Только бы свергнуть самодержавие, а там дальше народ „широкую, ясную грудью проложит дорогу себе".

Процесс 50. Краткий отчет этого процесса, речи подсудимых, их карточки. На скамье подсудимых рядом с рабочими студенты, молодые девушки, отказавшиеся от привилегий своей среды и ушедшие на фабрики с искрой света в темное царство.

Впечатление сильное, глубокое, имевшее для некоторых из нас серьезные последствия. Мы задумываемся над нашим будущим: близко окончание гимназии, — куда итти, что делать? Некоторые юноши, бросив гимназию, учатся ремеслам. Хоть они молчат, но для всей нашей компании ясно, с какой целью это делается. Я решаю итти вслед за девушками из процесса 50, той же дорогой. Буду работать в деревне, для чего нужно изучить какую-либо специальность, чтобы занять положение, близкое к населению. В то время только два поприща были открыты для женщины—педагогия и медицина. Я останавливаю свой выбор на последней, не чувствуя к ней, однако, ни малейшей склонности; учить грамоте, если понадобится, могу и без педагогии.

Окончив гимназию весной 77 г., спешу в Петербург, от которого жду многого. Поступаю на фельдшерские курсы при „Общине сестер милосердия св. Георгия". Будучи еще крайне юной, не имея полных 17 лет, лишенная самой малой дозы прак-

тичности, устраиваюсь очень плохо; вследствие плохого питания быстро наживаю острое малокровие. Такие события, как процесс 193, выстрел В. И. Засулич, суд над ней, оправдание—проходят для меня, по причине болезненного состояния, как в тумане. Страдаю тоской по родине. Много разочарований. Тяжелое время, не хочется вспоминать.

Пропуская рассказ о переживаниях следующих лет, перехожу к „революционному" периоду моей жизни.

Еще в 1-й год моего пребывания в Петербурге знакомлюсь с М. Н. Ошаниной и ее сестрой Н. Н. Оловенниковой. Изредка посещая их, встречаю, в числе многих других, известных Алек. Квятковского, В. А. Осинского, Мих. Родион. Попова. Слушая горячие споры между этими людьми, твердо уже ставшими на революционный путь, туго разбираюсь в тогдашних направлениях. Мария Николаевна с сестрой, гораздо старше меня, относятся ко мне, как к девочке-подростку, какой я и была в действительности. Бывая иногда с товаркой по курсам у А. Н. Малиновской, знакомлюсь с офицером Дубровиным. Дубровин, человек атлетического сложения, думает, бросив службу, уйти, с целью пропаганды, на Волгу чернорабочим. Вместо того скоро попадает на виселицу. Публичная казнь Дубровина происходила на крепостной стене. Мы, тогдашняя молодежь, считавшие себя обреченными, находили нужным, с целью испытать себя, присутствовать при этой казни. Позднее, бывая у семейного студента-медика Саввы Долгополова, встречаю Гр. Исаева и П. Поливанова, живого, жизнерадостного юношу. Все эти знакомства и встречи не проходят, конечно, для меня бесследно.

Летом 80 г., уже значительно подросшая, познакомившись с Верой Николаевной Фигнер, примыкаю к „Народной Воле", единственной тогда партии действия. Стремлюсь работать среди рабочих. В. Н. знакомит меня с студентом Коковским, известным под кличкой Валентина, целиком ушедшим в рабочую среду. Валентин не советует мне итти к рабочим; говорит о трудности работать там. Молодая девушка студенческого типа сразу обратит на себя внимание, возбудит любопытство. Заметив мою близорукость, говорит: „Еще, пожалуй, приведете с собой шпиков". Это страшно. Все-таки, ради опыта, он знакомит меня с двумя братьями-рабочими, живущими со старушкой-матерью и подростком-сестрой, которую нужно немножко подготовить для поступления в ремесленную школу. Побывавши в рабочем квартале, где на улицах людно и потому трудно заметить слежку, принуждена согласиться с доводами Валентина. Подготовив и определив девочку в школу, прекращаю посещения. Валентин, имеющий вид мастерового, вполне подходит к рабочей среде. Этот юноша, скоро умерший от скоротечной чахотки, слышала я имел громадный успех у рабочих, как пропагандист.

Вера Николаевна привлекает меня, имеющую много знакомств среди учащихся, в группу для сношений с молодежью. В эту группу, кроме меня и двух университетских студентов, входит В. Н., как представитель Исполнительного Комитета, и С. Дегаев, студент-путеец. Наши собрания, происходящие часто, чуть ли не еженедельно, посещают иногда Франжоли с женой Евг. Завадской и С. Л. Перовская. Благодаря моим прекрасным отношениям с хозяйкой, простой женщиной, со стороны которой не может быть никаких враждебных выпадов, моя квартира считается надежной и служит для свиданий революционеров с кем либо из молодежи, или между собой. Иногда, проходя мимо, заходят отдохнуть. Вера Николаевна, не имевшая, вероятно, квартиры, некоторое время ночует у меня. Отказавшись категорически от моего единственного ложа, она, подостлавши под себя коечто, мирно почивает на полу в уголке под образом, перед которым иногда теплится лампадка, зажженная религиозной хозяйкой.

О приготовлениях к цареубийству я ничего не знала. Известие о совершившемся событии застает меня в мертвецкой на вскрытии. Было, помнится, воскресенье. Думая, что в городе волнение, быть может восстание, бегу по улицам, но все спокойно, как-будто ничего особенного не произошло. К месту взрыва мне не захотелось итти. Аресты, последовавшие за событием 1 марта, быстро опустошают ряды революционной молодежи, шумно прожившей ту зиму. В нашу группу, вместо уехавшей после цареубийства Веры Ник., вошла представительницей от Исполнит. Ком. А. П. Корба. Дегаева тогда уже не было с нами. Затем уехала А. П., и группа прекратила свое существование.

Сдавши последний экзамен, покончив с курсами, уезжаю и я повидаться с родными, живущими в скверном уездном городишке, где сестра служит акушеркой-фельдшерицей в земской больнице. Именьице, в котором прошло мое детство, давно сдано в аренду, там из семьи никто не живет. У меня уже нет желания побывать там.

Возвращаюсь в Петербург только в январе 82 г. Часто вижусь с А. П. Корба и Грачевским. Уцелевшая от погрома молодежь притихла—нет прежних кружков саморазвития и шумных сходок. Мне хочется в провинцию, которая может быть не так опустошена; в Петербурге нужна передышка.

Скоро уезжаю в Харьков на свидание с

Верой Никол. Нахожу ее совершенно больной. В. Н. направляет меня в Одессу. Там нахожу тишь да гладь, как и в Петербурге. Все ценное выловлено, тюрьмы переполнены, готовится большой процесс (М. И. Дрей, Ф. А. Морейнис и др.). На воле юная молодежь. Я немногим старше их и по возрасту и по революционной работе. Сбиваемся все-таки в кучку, мечтаем о человеке постарше нас. Вернувшийся из административной ссылки А. А. Спандони, уставший и больной, не удовлетворяет нас. Офицерство, еще не тронутое арестами, держится довольно крепко. Есть кое-какие связи с рабочими, уцелевшими от разгрома. Прибывает после летних каникул учащаяся молодежь. В конце октября (82 год) и начале ноября В. Н., вызвав меня в Харьков, посылает за границу с письмом к Тихомирову и Ошаниной. Я отбиваюсь от этого поручения, прошу пощадить меня, — не хочу я за границу. В. Н. непреклонна, настаивает и, наконец, последний ее аргумент, что там меня хорошо знают и потому отнесутся с полным доверием, заставляет меня согласиться. Чтобы успокоить меня, крайне огорченную, В. Н. вручает мне порядочную сумму денег, обеспечивающую скорое возвращение на родину. О моей поездке за границу рассказано в „Запечатленном труде" В. Н. Будучи рядовым членом партии, зная, что дела партии, после перенесенных ею ударов, плохи, я все-таки верила в существование „Испол. Комитета", часть которого временно находится за границей. При моем безграничном доверии к В. Н. я совершенно не интересовалась содержанием письма.

Выхлопотав, по возвращении в Одессу, заграничный паспорт, что заняло порядочно времени, спешу в Женеву, где жил тогда Тихомиров. Вернуться тотчас никак нельзя,—нужно ждать ответа на письмо. Поселившись в семье Тихомирова, знакомлюсь со многими эмигрантами, в числе которых, к великой моей радости, встречаю давно известных мне В. И. Засулич и С. Ил. Бардину. Память об этих удивительных женщинах и сейчас, на закате дней моих, храню, как святыню. Софья Илларионовна, порядочно помятая жизнью, больная, временами бывала очень интересна, очаровательна. Когда, бывало, В. И. и С. Ил., оживившись, вспоминают свое прошлое, забывая, быть может, о моем присутствии, я—вся слух и внимание, жадно слушаю, боясь пропустить единое слово.

Мои дела совсем плохи. Из газет узнаю о провале одесской типографии с хозяевами-супругами Дегаевыми. Загадочный побег Дегаева. Случилось это, кажется, в декабре. Получаю письма от одесских товарищей с предупреждением не возвращаться легально, советуют посидеть за границей. В феврале еду повидаться с Мар. Ник. Ошаниной в Париж, куда через некоторое время переезжает и Тихомиров с семьей. В феврале же узнаем об аресте Веры Николаевны.

Из России появляются новые эмигранты— В. А. Караулов, А. Н. Кашинцев, Э. А. Серебряков. Приезжает Гал. Фед. Чернявская, жившая в Харькове в одной квартире с Дегаевым после его побега и выехавшая после ареста В. Н., по его настоянию. Творится что-то непонятное, страшное: кто-то, хорошо осведомленный, предательствует; —кто он? Дегаев, приехавший в Париж по вызову, вне подозрений: он по возрасту не мальчик, он побывал уже в разных переделках, его хорошо знают. Он отводит глаза, указывая, как на предателя, на одного, другого, — из сидящих в тюрьмах. Но те, давно изъятые из обращения, не могут знать текущих дел. В статье Кубалова („Каторга и ссылка", № 5/12, стр. 101) со слов М. П. Овчинникова говорится: „О роли Дегаева смутно догадывался друг и единомышленник М. П.—П. Ф. Якубович. По словам М. П., Якубович отправился в Париж и там сообщил о подозрительном поведении Дегаева". Якубович в Париже тогда не бывал. По приезде моем в Париж я, хоть и жила отдельно от Ошаниной, проводила у нее большую часть времени, знала всех приезжих, которыми особенно интересовалась. Затем, когда наняла отдельную квартиру из трех комнат, я поселилась в ней с Ошаниной и Чернявской. Все приезжие проходили через эту квартиру, прозванную в шутку „штабом". Впервые встретилась с Якубовичем по приезде в Петербург на одном собрании, о чем скажу дальше.

Дегаев, по моему мнению, не был только простым предателем-шкурником, он еще и психопат, страдавший манией величия; запутавшись в судейкинских сетях, тяготясь, в конце-концов, жалкой и опасной ролью простого предателя, он искал выхода. Единственным выходом из создавшегося для него положения было признание, что он и сделал. Случилось это летом 83 года (месяца не помню; быть может, в конце августа или даже в сентябре, не позднее). Некоторое время спустя после дегаевского признания, с целью наблюдения за выполнением смертного приговора над Судейкиным отправился из-за границы Г. А. Лопатин, выехавший из Петербурга обратно тотчас же после убийства. Должна сказать, что грязную дегаевскую историю я узнала только после убийства Судейкина. До того, жалея меня, усиленно скрывали, да и рассказывать мне раньше не было никакой надобности. Мне и теперь, много десятков лет спустя, противно вспомнить о тогдашних моих переживаниях. Открывая мне тайну, ставшую уже явной, М. Н. Ошанина, удивляясь ловкости Дегаева, сказала, что даже работавшие с ним революционеры не-

заподозрили его в предательстве, из России ничего не сообщалось о подозрении на его счет. Через несколько дней после убийства Судейкина Дегаев прибыл в Париж, где проживала его жена, отправленная им из Петербурга месяца за $1^1/_2$—2 до убийства. Состоявшийся над Дегаевым суд приговорил его к изгнанию из отечества. Судьями были—Лопатин, Тихомиров и Караулов. В присутствии Тихомирова, сопровождавшего супругов Дегаевых в Лондон, они сели на пароход, отходивший, кажется, в Южную Америку. Мне случалось слышать недовольство, что Дегаева оставили живым, не убили. Убивать такого, каким он был тогда,—лежачего, поверженного во прах,—не имело никакого смысла.

Собираюсь в Россию; хлопочу о паспортах—для переезда границы и для проживания на родине; последний доставляет мне В. И. Сухомлин, мой близкий знакомый, приехавший из Одессы. Скажу несколько слов о наших „стариках", давно умерших.

М. Н. Ошанина—женщина богато одаренная, очень живая, умная, с сильным характером; тогда в Париже она была уже совершенно больная, страдала, между прочим, сильнейшими мучительными мигренями. Л. А. Тихомиров—мягкий до бесхарактерности человек, уже в то время казался нервнобольным, несмотря на все усилия скрывать это. Он, например, мог работать (писать) только ночью при абсолютной тишине, напившись предварительно крепчайшего кофе, изрядный запас которого он брал к себе на ночь. Он был до смешного детски-непрактичен и равнодушен ко всяким житейским удобствам; блага земные не имели для него ни малейшего значения. Такой человек не мог стать „ренегатом", как его обыкновенно называют; только болезнь, глубокое психическое расстройство, могла привести его в лагерь врагов. В то время они, оба инвалиды, свято хранили заветы прошлого.

Кроме меня, едут Лопатин, Караулов и Кашинцев. Все мы были добровольцами, никто нас не посылал. Меня уговаривали остаться года на 2—3, чтобы поучиться. Никакие уговоры не могли меня остановить.—Царизм еще не умер,—живы, значит, и революционеры. После перенесенных потрясений, силы их слабы, но они окрепнут. После затишья будет буря, сильнее прежней. Не могу я, сидя в Париже, „погружаться в науки, предаваться мечтам", когда на родине борются и гибнут.

На происходивших тогда совещаниях решают назвать петербургскую группу из трех лиц—Лопатин, Сухомлин и я—„Делегацией Исполнит. Комитета Народной Воли", определяя этим названием наше отношение к прошлому и тесную связь с ним. Самой значительной и видной фигурой между всеми нами был, конечно, Г. А. Лопатин. Я вхожу в эту группу только потому, что, обладая хорошей памятью, не нуждаюсь в записках, я—аккуратна, осторожна, имею уже кое-какой опыт в конспирации. Мы с В. И. Сухомлиным ни в руководители, ни в организаторы не годимся, что хорошо сознаем, и вообще на всех нас, не исключая и Лопатина, при тогдашнем положении дел, смотрели только как на разведчиков и собирателей разрозненных сил. Никаких выступлений не предполагалось и быть их не могло. Самое большое, что мы могли тогда сделать, это—выпустить № 10 „Народной Воли". Наши задания на первое время скромные.

В марте мы с Г. А. уезжаем позже всех. Благополучно перебравшись через границу, на ст. Вилейка расстаемся: Г. А. направляется в Петербург, я—в Киев для свидания с Карауловым, уехавшим из Парижа раньше нас. На явочной квартире узнаю об аресте Караулова в числе многих других. Один из нашей компании, значит, выбыл в самом начале. В Петербурге нахожу Лопатина и Сухомлина. Лопатин говорит о своем знакомстве с Якубовичем и о начавшихся переговорах с „Молодой Народной Волей", о которой мы уже знали в Париже.

Назначается собрание, на которое должны явиться представители от нас и молодых. Это собрание, по некоторым причинам, помню с полной ясностью,—состоялось в квартире знакомого Якубовича, кажется, ветеринар. врача. Мы присутствуем все трое, от молодых—Якубович и Овчинников, пожилой человек.*) Того и другого вижу впервые. Лопатин с Якубовичем горячо спорят по тогдашним злободневным вопросам. Мы с Сухомлиным изредка вмешиваемся, чтобы смягчить резкости Лопатина, могущие повредить успешности переговоров. М. П. Овчинников угрюмо молчит. Вдруг Лопатин, вскочив с места, протянув руку через стол и указывая на Овчинникова пальцем, гневно кричит: „Молодежь я понимаю... Но как можете вы, пожилой уже человек, поддерживать раскол... Стыдно вам!.. Стыдно!.." Овчинников, что-то пробурчав, быстро ушел из комнаты, громко хлопнув дверью. На этом моменте останавливаюсь так долго потому только, что с рассказом об этом собрании в статье В. Кубалова не могу согласиться („Каторга и ссылка", № 5/12, стр. 102). В статье Кубалова рассказано так: „Лопатин рассчитывал, что в силу своего авторитета он заставит М. П. быть уступчивым, но, встретив с его стороны упорное сопротивление, он разгорячился настолько, что спорившие стали один против другого в угрожающие позы с приподнятыми

*) Из процесса 50-ти. *В. Фигнер*

кулаками... Все присутствовавшие растерялись, кроме Якубовича, который стал между Лопатиным и Овчинниковым". Так не было. М. П. Овчинников не только не спорил с Лопатиным, но мы даже голоса его не слыхали, он все время молчал. Все были спокойны, никто не „растерялся", потому что ничего особенного не произошло. По уходе Овчинникова, Якубович, выразив в нескольких словах порицание Лопатину за его резкую выходку, продолжал переговоры. В. И. Сухомлин, еще живущий, наверно помнит это собрание. Дальше в статье Кубалова („Каторга и ссылка", № 5/12, стр. 103) говорится: „С этих пор, несмотря на приглашения, посылаемые Лопатиным, М. П. перестал ходить на заседания Центральн. Исполнит. Комиссии, которая должна была заменить в России Исп. Комитет". Ничего не понимаю!.. Если это про наши собрания говорится, то М. П. никогда и раньше на них не бывавший, не мог переставать ходить.

Соглашение с „Молодой Народной Волей" состоялось скоро. „Прокламация, извещавшая о разделении партии „Нар. Воли" на две самостоятельных организации и излагавшая программу „Молодой Воли" (ст. Кубалова, „Каторга и ссылка", № 5/12, стр. 104) не была выпущена из типографии. Вместо этой прокламации Якубович, уехавший в Дерпт, взялся печатать № 10 „Народной Воли", куда вошли следующие статьи: передовая „В мире мерзости и запустения"—Тихомирова, ст. Лопатина—„Ошибки революционера и преступления предателя", статья Н. К. Михайловского по поводу закрытия „Отеч. Записок". Приезжавшие в то время с юга Бах и С. Ан. Иванов, после переговоров, прошедших не без трений, согласились соединиться с нами. № 10 „Народной Воли" печатался не только в Дерпте, но и в Ростове под наблюдением Баха и С. Иванова.

Скоро все разъехались, кроме меня, оставшейся на лето в Петербурге. Сухомлин, уехавший в Одессу, должен был побывать кое-где. Лопатин, с целью узнать настроение и привести в известность остатки народовольчества, отправился в объезд по провинции. Устроилась я хорошо. Глухое место близ Песков—угол Преображенской и Бассейной ул.—проходной двор, комната с отдельным ходом, добродушная старушка хозяйка, с которой у меня завязывается дружба; живем с ней „как рыба с водой", по ее выражению. Каждое утро А. Пав. Саввина, идя на службу, забегает узнать о моем здоровье. Ей сказано, что если я не ночевала дома, значит арестована. Нахожу старых друзей, завожу новые знакомства, поддерживаю связь с отсутствующими товарищами. Лето проходит благополучно.

В начале октября, на 3 день по приезде Лопатина, мы с треском проваливаемся. А. П. Саввина, зайдя утром ко мне и узнав, что я не ночевала дома, бежит к Лопатину, попадает в засаду. Моя квартира, как потом узнала, была открыта только на 3-й день после ареста по заявлению хозяйки о моем исчезновении. При обыске в моей квартире был найден только небольшой сверток, заключавший в себе зашифрованную адресную книжку и несколько писем, полученных в отсутствии Лопатина; по его просьбе я сохраняла их до его возвращения. Этот сверточек, хранившийся обыкновенно в надежном месте и взятый к себе по приезде Лопатина, не давал мне покоя в тюрьме: не могла я простить себе этой оплошности.

Письма эти были по содержанию вполне невинны, но почерки могли служить уликой авторам. Ведь, переписав эти письма, я могла подлинники уничтожить. О тюремных переживаниях мною уже писалось. Мои тяжелые переживания были исключительно связаны с нашим скандальным провалом. На воле, думая о тюрьме, которой мне рано или поздно не миновать, я твердо решила отказаться от показаний. Мне пришлось изменить свое решение: я давала показания, чтобы сколько-нибудь выгородить многочисленных арестованных по нашему делу, часто совсем невинных.

Тревожное состояние во все время заключения в крепости не покидало меня,—я всегда находилась в ожидании допросов, на которых чувствовала себя, как живая рыба на раскаленной сковороде. Первое время заключения, погруженная в свои думы, я совсем не замечала сурового режима крепости. Меня не истязали, не били, не оскорбляли словами, как было с заключенными позже, после 905 года. Сидела я изолированно (камера № 55), соседняя камера всегда пустовала, с другой стороны—кладовая. На допросы вызывали редко. Понемножку втянулась в чтение, хотя читалось не так, как хотелось бы. Позднее тюремный режим давал себя чувствовать, но, вступая сознательно на революционный путь, я и не предполагала, что путь этот будет усеян розами.

После $1^1/_2$ годов заключения в крепости, когда закончилось следствие по нашему делу, меня перевели в Дом предварительного заключения, где я оставалась до суда. Как только, по уходе надзирательницы, я осталась в камере одна, ко мне застучали с обеих сторон. Как потом оказалось, соседками моими были А. П. Саввина и М. Н. Емельянова, близкие знакомые. Перестукивания я не знала, да и самые звуки для меня были невыносимы. Улегшись на койку, я закрыла голову подушкой и впредь так делала, когда они ко мне приставали. От прогулок я отказалась. Некоторые надзирательницы, долго там служившие, привыкшие к политическим за-

ключенным и даже полюбившие их, бескорыстно поддерживали между нами сношения. Видя мое странное поведение, приняв меня за душевно-больную, несколько дней они побаивались меня. Уступая, наконец, настойчивым просьбам моих приятельниц, накануне ихней высылки, одна из надзирательниц согласилась передать мне от них записки, бесконечно меня обрадовавшие. Мы могли только письменно проститься.

Жизнь моя в предвариловке, скоро наладившаяся, не походила на крепостную. Много значило то, что кроме книги, я имела у себя швейные и письменные принадлежности. Выходя на прогулку, могла играть мячиком, могла перекинуться словом с надзирательницей. Убирала камеру, ежедневно мыла пол в ней. Завязалась переписка с Г. Н. Добрускиной, с которой не была раньше знакома. Позднее переписывалась еще с А. Н. Шехтер, моей товаркой по курсам.

Весной 87 г. узнали мы о готовившемся покушении на Александра III. Быстрое следствие, суд. С ними скоро покончили.

Судили нас военно-окружным судом. Суд, начавшийся, помнится, 1 июня, тянулся 10 дней. Председательствовал генерал Цимиров, обвинял петербургскую группу прокурор Маслов. Так как 2 или 3 дела были соединены в одно, то было еще 2 прокурора. Лопатина защищал Евг. Утин. У меня был защитник по назначению — Люстиг; о нем вспоминаю с глубокой благодарностью за его доброе и внимательное отношение ко мне. Суд, по слабости председателя, проходил довольно оживленно: подсудимые пепереговаривались, смеялись. Спокойнее, красивее всех, несмотря на грозившее ему наказание, держался Н. Стародворский, отказавшийся от защитника. Своим спокойствием, своей простой и искренней речью он, по словам моего защитника, завоевал симпатии всех присутствующих, не исключая судей. Предатель Елько ругался так, что председатель несколько раз останавливал его, наконец, строго закричал: „Подсудимый Елько, если вы не перестанете оскорблять подсудимых, я прикажу удалить вас из залы суда... Ведите себя прилично!" Ив. Ив. Гейер, дававший откровенные показания, не ругался.

Приговор был объявлен в 3 часа ночи. Смертная казнь следующим лицам: Лопатину, Антонову, Стародворскому, Конашевичу, С. Иванову и мне. Якубовичу и Сухомлину тоже смертная казнь, но с ходатайством суда о замене казни каторгой— первому на 18 л., второму на 15 л. До истечения срока апелляции, нас увезли в крепость. Апелляция защитников была отклонена, о чем объявили в крепости. Будучи уверена, что меня не казнят, о близкой смерти я совсем не думала. Недели $1^1/_2$ спустя, было объявлено о замене казни 20-тилетней каторгой. Зашедший ко мне вместе с прокурором Масловым адъютант Костанды (командовавшего петербургским военным округом) заявил мне: „Генерал Костанда поручил мне передать вам, что никто из ваших товарищей не будет казнен". Какая любезность!

Мне очень хотелось попасть в Шлиссельбург, но поздним вечером того же дня меня увезли в Дом предварительного заключения для отправки в Сибирь.

Служащие предварилки, как старую знакомую, встретили меня радостно. В ту ночь я не могла спать. На рассвете дежурная старушка - надзирательница в дверную форточку молча подала мне букет свежих благоухающих жасминов. Спасибо ей.

Закончив первую часть моей автобиографии, скажу еще несколько слов. Мне приходилось много раз слышать, что после дегаево-судейкинской работы нашу попытку восстановить прежнюю „Народную Волю" нужно признать ошибочной, даже преступной. Но уже после нас, три года спустя, Ал. Ил. Ульянов с компанией, подготовляя убийство Александра III, все еще на что-то надеялись.

Блаженен, кто не ошибается.

Отправка в Сибирь состоялась 22 июля 87 г. Накануне выдали казенное обмундирование, очень неудобное: жесткое парусинное белье очень короткое, мужской серый халат с бубновым тузом на спине— длинный и широкий. Назначение на Кару получили—Сухомлин, Якубович, Добрускина и я. С нами же отправлялись сопроцессники — Левадин (поселенец) в Якутскую обл. и Л. Ешин—в Томскую губ. на житье. В вагоне мы застали несколько административных: Н. Л. Зотов, Капгер, Фролов, Бородзич. За Сухомлиным следовала жена с ребенком.

В Н.-Новгороде на барже к нам присоединились административные из Харькова (Л. П. Лойко, К. И. Трипольская, С. П. Балабуха, М. В. Рклицкий, Ин. Концевич, Ар. Хлебников и Ус). Бывшие у нас деньги поделили поровну (пришлось, кажется, по 30 руб. на душу), чтобы каждый, кроме общего котла, мог купить что нибудь по своему вкусу. На барже мы с Г. Н. Добрускиной устроили наше ложе на нарах под окном, которое не закрывалось и в дурную погоду. На барже можно было пользоваться душем. В Томск все прибыли значительно окрепшими. Дальше мы с Г. Н. Добрускиной отправились с административными при большой семейной партии уголовных. У нас, политических, был особый конвой, сменявшийся только в городах. В пути обнаружилась эпидемия брюшного

тифа среди уголовных. По прибытии в Красноярск несколько человек политических, в том числе и я, заболели тифом. Больничные условия, благодаря д-ру Мажарову, были вполне удовлетворительны. Выйдя из Красноярска в феврале, в Иркутск мы прибыли уже ранней весной, дня за два до вскрытия Ангары. Благодаря нездоровью Г. Н., нам удалось провести все лето в Читинской тюрьме. Нас посетил проезжавший через Читу бар. Корф. По пути из Читы в Нерчинск нам встретилась почтовая тройка; в телеге сидела женщина под охраной конвойных; женщина, вставши и обращаясь к нам, что-то кричала, но мы ничего не расслышали. Как потом мы узнали, это была Е. Н. Ковальская. По прибытии в Нерчинск из записки М. М. Чернавского, жившего в городе на поселении, мы узнали, что при посещении Корфом Карийской женской тюрьмы что-то случилось.

Страшно нам стало: что ждет нас там, куда нам так не хочется итти. О тюремных историях мы много наслышались в пути. Мы сильно запоздали, пароходство по Шилке уже прекратилось, из Сретенска нас отправили на лодке с 3-мя конвоирами. В Усть-Кару, где находилась женская политическая тюрьма, мы прибыли в начале или в середине октября 88 г. Заключенные женщины встретили нас, конечно, радушно. Их было только трое—М. П. Ковалевская, М. В. Калюжная и Н. С. Смирницкая.

С. А. Лешерн, А. П. Корба, П. С. Ивановская, А. В. Якимова и М. А. Ананьина помещались в небольшой избушке - „хибарке“ за палями. За вечерним чаем наши новые товарки рассказали подробно об увозе Ковальской и о своем протесте. Во всем, по их словам, был виноват комендант Масюков—глупый и трусливый. Если бы он предупредил Ковальскую, что должен был сделать, та уехала бы без сопротивления. Не рассчитывая на успех своего протеста, они, особенно М. В. Калюжная, горячо убеждали нас не вмешиваться в это дело; наше вмешательство, говорили они, только стеснит их, свяжет им руки. Мы со своей стороны, предоставляя им полную свободу действия, просили их не обращать на нас внимания, как бы мы ни поступили. Мы с Г. Н. отказались принимать коменданта.

Недели через три всех полит. женщин перевели с Усть-Кары в так называемую „новую тюрьму“ (или „отряд“), отстоявшую только в 4 верстах от Нижней Кары, где была мужская тюрьма и вольная команда. Разместились мы в 2 камерах, разделенных прихожей, где обыкновенно помещался дежурный жандарм. В небольшом дворике вдоль забора расхаживал часовой. Была и наружная стража. Вскоре после нашего перехода в отряд к нам поступила надзирательницей незабвенная Руф. Валент. Конева, добродушная старушка, сделавшая нам много добра. В декабре (кажется) прибыли к нам Н. К. Сигида и Ек. Мих. Тринидатская, 1-я из них поместилась в северной камере (окна были обращены на север), 2-я к нам—в южную. Вскоре по прибытии Н. К. Сигида получила известие о смерти ее мужа. Все оставалось по-старому, коменданта не сменяли. В июне началась голодовка, тянувшаяся 7 суток и прекращенная только потому, что была предъявлена голодающим телеграмма, извещающая о назначении на Кару Яковлева, служившего там раньше и оставившего по себе добрую память. Телеграмма эта, как узнали позже, была подложной. Не помню, когда мы отказались, с целью взбудоражить родственников, получать письма, деньги, посылки.

Наступило время невыносимо тяжелое. Нужен был какой-либо выход из создавшегося положения, но какой, что делать?.. Этот выход нашла Н. К. Сигида. Как-то утром дверь в нашу камеру распахнулась, появившаяся на мгновение Н. К. крикнула нам: „прощайте!“—и также быстро, как появилась, исчезла. Мы с Добрускиной бросились за ней на крыльцо, но уже было поздно: Н. К., быстро пробежав двор, выскочила за калитку, открытую жандармом, замок щелкнул. Дня за два до этого утра я видела, что Сигида и Ковалевская, сидя на крыльце, долго беседовали. Накануне Сигида с Калюжной и Смирницкой, гуляя по двору, оживленно разговаривали, чего раньше не было. Чуя что-то недоброе, мы с Добрускиной просили у товарок разъяснения случившегося—куда ушла Сигида, зачем?—но разъяснений от них не получили. Склонна думать, что М. П. Ковалевская, как и мы с Добрускиной, ничего не знала о намерении Сигиды. Относительно Калюжной и Смирницкой ничего не могу сказать—не знаю.

Н. К. Сигиду я совсем не знала. По внешности она была очень симпатична: молодая (только 24 года) миловидная брюнетка, скромная, с глубокой грустью в прекрасных карих глазах. У нас всех связь с родными была слаба, у некоторых совсем порвана, у Н. К. связь с родной семьей вполне сохранилась. Внезапно узнавши о смерти мужа, она переживала острую боль. Мы иногда слышали ее громкие рыдания. Временами Н. К., гуляя во дворе, смеялась, даже шалила, но это веселье казалось болезненным. В северной камере, где она жила, все ей симпатизировали; наиболее она сблизились с П. С. Ивановской.

Н. К. Сигида ушла от нас, кажется, 1 сентября. Мы с Г. Н. Добрускиной, несходные по характерам, в тюремных условиях часто бывали в неговореньи, но в трудные минуты жизни всегда сближались. Так было и в этот раз. Мы вместе

целый день бродили по двору. Все в тюрьме мрачны, неразговорчивы. К вечеру, потеряв надежду на возвращение Сигиды, мы с Добрускиной идем к сокамерницам совещаться. Сигида не даром бросила свое „прощайте", она на что-то решилась, что-то уже сделала, ее ждет наказание. Оставлять ее одну нельзя. Сообща решаем объявить голодовку, выдвинув требование о переводе в другую тюрьму (в другое ведомство) Ковалевской, Калюжной и Смирницкой,—давнишнее ихнее требование. Из другой камеры к нам присоединяются А. В. Якимова и П. С. Ивановская. Кто-то еще предложил, кроме голодовки, не заходить в камеры, ночевать во дворе—согласились. Свое решение сообщили жандарму для передачи начальству. В сумерки товарки вытаскивают свои постели, устраивают подмостки; жандармы не препятствуют. Для себя я решаю спать только днем, ночью совсем не ложиться,—ни на дворе, ни в камере. Голодаем. На 10-е сутки слегла Добрускина, что очень взволновало Калюжную. Она вне себя, мечется. Вызвав меня, говорит: „Г. Н. умрет. Мы не можем этого допустить. Зачем голодаете, зачем мучаете нас?.." Плачет. Вечером Добрускина собирается на ночевку во двор; я не пускаю. Обещаю ей, что в случае каких-либо враждебных действий—если, например, станут затаскивать в камеры— я выведу или даже вынесу ее на руках, чтобы она приняла свою порцию побоев. Соглашается.

Увезли от нас в Усть-Кару М. П. Ковалевскую. Было это, вероятно, незадолго до окончания голодовки, точно не помню. 16 сентября к вечеру объявили Калюжной и Смирницкой о переводе их в уголовное ведомство, но их не взяли сразу—они оставались с нами некоторое время после голодовки. Голодовка прекратилась.

Калюжная и Смирницкая ушли от нас уже отдохнувшими, окрепшими. Расставаясь с ними, мы не думали, что провожаем их на смерть, хотя о Сигиде мы ничего не знали, но никому в голову не приходила возможность того, что случилось.

Не помню, когда узнали о том, что Сигида дала—или пыталась дать—пощечину коменданту и каковы были для нее последствия этого; о трагической смерти наших товарок и двух товарищей в мужской тюрьме. Не помню, когда мы с Добрускиной вышли из артели; кому и что писала я тогда в мужскую тюрьму по этому поводу. Возможно, что в то время, незаметно для самой себя, я была больна,—в мозгу у меня мутилось. У Ек. Мих. Тринидатской, раньше несколько эксцентричной, скоро обнаружились признаки душевного расстройства. Думая, что с нами ей все-таки лучше, мы не помещали ее в лазарет. Мы прожили с ней несколько мучительных месяцев и переместились в северную камеру, а к больной на наше место перешли Якимова с Ивановской.

Осенью (должно быть, в 90 году) нам объявили об упразднении на Каре жандармов и о переводе всех политкаторжан в уголовное ведомство. Мужчины, не кончившие еще тюремный срок, направлялись в Акатуй. Вольная команда оставалась на Нижней Каре. У нас, за окончанием тюремного срока, выходили в вольную команду—Лешерн, Корба, Ивановская и Добрускина. Остальные четверо — Якимова, Ананьина, Тринидатская и я—переводились в Усть-Кару в уголовную тюрьму. В Усть-Каре нам предложили разделиться по двое. Я с М. А. Ананьиной поместились в камере пожилых женщин. Якимову и Тринидатскую увели в другой двор, далеко от нас. Так как с нами была наша прежняя надзирательница — Р. В. Конева, перешедшая на службу в уголовное ведомство, то это разделение не имело значения—мы переписывались.

Начальником карийского каторжного района был в то время Петров, страдавший ожирением, для которого малейшее волнение могло быть смертельным. Накануне нашего перевода Петров говорил женщинам, с которыми нам предстояло жить, о нашем высоком происхождении (графини, княгини, генеральские дочери), строго приказывал вести себя прилично, не оскорблять наш благородный слух сквернословием и прочее. Хорошо зная наше недавнее прошлое, он боялся каких-либо осложнений. Мы заняли с М. А. Ананьиной темный угол на нарах, который был хорош тем, что, спустив занавеску, мы могли вечером изолироваться. Отношения с сожительницами установились хорошие. Я в паре с доброй женщиной татаркой участвовала в камерной работе—носка дров на носилках, носка воды в ушатах. Жилось нам гораздо лучше, чем при жандармах. Болезнь Тринидатской в новой обстановке быстро прогрессировала, и потому Якимова решилась поместить ее в лазарет. Несколько месяцев спустя нас троих соединили в здании прежней полит. тюрьмы, куда мы пришли когда-то с Добрускиной. Здесь мы могли изолироваться в отдельной комнате. Жизнь мы вели здоровую. Попрежнему участвовали в носке дров и воды и, кроме того, заменяя более слабых уголовных женщин, работали ночью на мельнице. Проработав две смены, что с отдыхом между сменами занимало 6 часов, мы возвращались уставшие и голодные. Хорошо вымывшись, поевши тюри, ложились и мгновенно засыпали крепким сном.

Осенью 92 г., за упразднением уголовной каторги на Каре, нас, до окончания тюремного срока, неожиданно выпустили в вольную команду. В 98 г. вольная команда на Ка-

ре по причине ее малочисленности упраздняется. Некончивших срок отправляют в Акатуй; я, за применением каких-то манифестов, ухожу на поселение. Назначена я в Татауровскую волость Читинского уезда, с правом проживать в г. Чите. Я с моим мужем, Н. В. Яцевичем, поселяемся в городе. Большинство наших товарищей служат на железной дороге, некоторые, в том числе и мы, занимаются частными уроками.

Русско-японская война. Поражения. 9 января в Петербурге. Восстание на судах Черноморского флота. Вспышки молний, предвестники близкой грозы.

Яцевич, уехавший в начале октября по вызову родных на родину, по причине железнодорожной забастовки, застрял в дороге.

Манифест 17 октября. В Чите свобода, ликование. Население, среди которого многолетняя политическая ссылка оставила глубокий след, настроено сочувственно, радостно. Черной сотни не слышно. Губернатор Холщевников держится даже благожелательно, заявив, как передают, что по его вине не прольется не единая капля крови. 6 декабря (царский день) ждали погрома, о чем доложили губернатору, и город охранялся пешей и конной полицией. Вооруженная демонстрация 9 января прошла довольно вяло, без прежнего подъема. Доносились слухи о карательных экспедициях.

На завоевание мятежной Читы с запада подвигался Меллер-Закомельский; с востока ждали Ренненкампфа. Закомельский со своими опричниками, производя по пути избиения, порки, расстрелы, прибыл на станцию Чита I. Там тоже хватали каждого, кто попадался на глаза,—били, секли; нагрузив вагоны пойманными людьми, увозили на запад далеко от станции; затем, повернув обратно, везли в город, сбрасывали в тюрьму. Закомельский, не заходя в город, по приказанию Ренненкампфа, как говорили тогда, повернул обратно. В ожидании Ренненкампфа, железнодорожные рабочие, по примеру Красноярска, желая оказать вооруженное сопротивление, решили запереться в мастерских. Жившие у меня товарищи (их было 3, все акатуевцы) ушли туда же. Ренненкампф почему-то запоздал, кажется на 3-е суток. Боевое настроение запершихся, вследствие долгого ожидания, упало; по словам забежавшего ко мне товарища, многие уже ушли, разойдутся, вероятно, все. Ночью длительный гудок,—из мастерских, значит, расходятся. Было это, кажется, с 27 на 28 января старого стиля.

Нелегальные, бегущие от наступившей реакции с востока и запада, находят в Чите радушный прием. Я становлюсь паспортисткой.

Мы, старики, заботились о скрывающихся и не были одиноки,—население нам помогало. Благодаря нашим связям, нам удавалось устраивать нелегальных не только в городе, но и в других местах: на ж. д. станциях, на лесопилках, на приисках.

В то время (906—7 г.г.) я была членом местного комитета партии с.-р.

После $2^1/_2$ лет тревожной жизни, нуждаясь в отдыхе, решила на год покинуть Читу. Мы с А. В. Якимовой, вышедшей 7-го июня 1907 г. из тюрьмы, в мае 908 г. уехали на ст. Шилка к тов. Диковскому. Зиму провела у тов. Бердникова. Подготовляя его младшего сына для поступления в гимназию, занимаюсь еще с 2 мальчиками. После самоубийства Егора Созонова в Зерентуе, мы с Якимовой пережили полосу многочисленных обысков. В связи с побегом Брешковской из Киренска повторилось то-же самое.

Опять война! Революция. Самодержавие свергнуто и не воскреснет.

Гражданская война. Семеновщина с японской интервенцией.

После всего пережитого, достигнув уже преклонного возраста, почувствовала безграничную усталость, от которой уже не отдохнуть.

Довольно. Я не могу уже быть деятельной участницей жизни, я только внимательная зрительница.

Сидоренко, Евгений Матвеевич*).

Родился я 11 февраля 1862 г. в м. Армянский Базар Перекопского у. Таврической губ. в семье священника. Духовное происхождение мое едва ли было древним. Помню посещение родительского дома моим дядей из Полтавы, занимавшимся еще чумацким промыслом. Ребенком я был впечатлительным до болезненности. Матери лишился на 14 году. От нее получил я зародыши тех идей, которые впоследствии открыли мою душу для революционных настроений. Мысли о значении „общего блага", о необходимости жертв в пользу ближнего были для меня привычными с отрочества. В 1873 г., после двухлетнего пребывания в местном уездном училище, меня отдали во 2-й класс Симферопольской гимназии, поместив на первое время в казенный пансион при гимназии. В гимназии я сразу сошелся со сверстником, увлекавшимся „Кобзарем" и некоторыми запрещенными произведениями Шевченки. В младших классах мы с ним мечтали об освобождении Украины и о вольном козачестве. Когда в 1877 или 1878 г. в Симферополь прибыло несколько человек киевских студентов, исключенных из университета за участие в беспорядках, то революционная

*) Автобиография написана 14/IV—1926 г. в Одессе.

пропаганда их нашла во мне, 15—16-летнем юноше, уже вполне готовую почву для восприятия социально-революционных идей. Двое из означенных студентов, И. К. Панкеев и Н. Скулов, вскоре организовали из воспитанников гимназии и семинарии кружок наиболее революционно настроенных юношей. Члены кружка получали нелегальную литературу, вели с нами беседы на социалистическо-революционные темы, вербовали новых прозелитов и занимались самообразованием. В это время в гимназии царствовал полный разгул классицизма в связи с реакционным направлением. В нашу гимназию, как и в другие, внедрились выписанные гр. Толстым чехи, на долгие годы завладевшие средней школой и создавшие целую армию угодливых чиновников, задушивших свободную мысль и сковавших волю молодежи. С целью поднять дух протеста против гнета и развращающих методов новых педагогов, членами кружка был избит палкой директор гимназии, а в семинарии были нанесены побои доносчику-товарищу. Боевики сорганизовались в „Союз учащейся молодежи“, завели себе печать с изображением кулака, но в дальнейшем террористических выступлений не возобновили. Кажется, в 1879 г. мои внешкольные связи обратили на себя внимание жандармского управления, и взволнованное гимназическое начальство получило предложение доставить меня к допросу, из которого я, однако, сразу убедился, что переусердствовавшие шпики направили жандармерию на ложный след, что мне и удалось счастливо использовать и тем ликвидировать инцидент. Покидая гимназию, члены кружка сейчас же отдавались революционному делу. Так, напр., К. В. Поликарпов, поступив в Киевский университет, покушался неудачно на убийство шпиона Забрамского, который спасся бегством, после чего Поликарпов покончил с собою выстрелом из револьвера. Позднее (1882) другой член кружка, М. Д. Райко, вместе со шлиссельбуржцем П. С. Поливановым принимая участие в попытке освободить в Саратове из тюрьмы осужденного на каторгу М. Новицкого, при чем умер, избитый толпою. Было и еще несколько человек из кружка, принимавших впоследствии активное участие в революционной деятельности.

Находясь в последних классах гимназии, я перезнакомился со всеми проживавшими в районе Симферополя и Севастополя лицами, причастными к „Земле и Воле“, а потом к „Народной Воле“, а также со многими, временно посещавшими эти места. Особенно был близок с Н. Н. Дзвонкевичем и его семьей и с В. Т. Голиковым, осужденными в 1882 г. по одесскому процессу 23-х на каторгу, у которых часто бывал. Был знаком с семьею С. Л. Перовской, проживавшей тогда на хуторе близь Севастополя. В Симферополе же встречался с В. Свириденко, казненным в Киеве в 1879 г. по делу о вооруженном сопротивлении под фамилиею „Антонов“, Е. К. Дическуло (Андреевой), С. Н. Шехтер (Доллер), С. и М. Диковскими, П. Лозяновым, М. Н. Тригони, Н. Н. Колодкевичем, П. А. Телаловым, в большинстве осужденными потом по разным процессам, и другими, фамилии которых остались мне неизвестными. Общение со всеми этими лицами воспитало и поддерживало во мне революционное настроение, которое ко времени окончания курса гимназии в 1880 г. побудило меня стремиться в активные ряды партии „Народная Воля“. В это время от И. К. Панкеева мне уже было известно о Липецком съезде революционеров, и что мирное пропагандистское направление в смысле прежнего „хождения в народ“ считалось многими „радикалами“ *) совершенно невозможным даже в форме безобидной культурно-просветительной деятельности по причине усиливавшегося полицейского сыска, задачи которого облегчались самою простотою деревенского бытового уклада, где все делалось на виду, и каждое слово доходило немедленно до ушей, для которых оно не предназначалось. Живые рассказы Н. Н. Дзвонкевича, лично ходившего в народ в качестве сапожника, ярко иллюстрировали и подтверждали это. Выходом из положения считалось перенесение деятельности в города и террористическая борьба с самодержавием. Однако, оттенки в революционной деятельности и даже разногласия, определившиеся уже тогда, при личных моих сношениях почти не ощущались: я с одинаковым уважением относился тогда ко всему революционному и с чувством равной преданности расценивал отдельных революционных деятелей, особенно нелегальных. Стремление быть в центре борьбы влекло меня в Петербург, где я и основался, поступив в университет.

Студенчество того времени было вообще неспокойно, а лучшая часть его делила свои симпатии между партиями „Черный Передел“ и „Народная Воля“. В университете были частые и подчас крупные волнения, в которых принимал участие и я. Из них помню два крупных протеста. Один с очень большим количеством участников, из коих 400 (в том числе и я) были преданы дисциплинарному суду и приговорены к 3—7 дням ареста. Повода не помню. Другой протест-заговор, к которому я был приглашен центральным студенческим кружком, имел место на акте 8 февраля 1881 г. с выступлением Л. М. Коган - Бернштейна

*) Ходячее в то время обозначение революционеров. *В. Фигнер.*

и П. Подбельского, когда министру Сабурову была дана пощечина. Тогда уже различие между „Черным Переделом“ и „Народной Волей“ резко встало предо мной и, признаться, я к чернопередельцам стал относиться нетерпимо. С интересом посещая их конспиративные рефераты на тему о борьбе капитала с трудом, я не мог простить им пренебрежения к „политике“, не удовлетворялся малой публичностью их выступлений и недоумевал пред непонятным для меня пребыванием их наиболее видных вождей за границей в такое время, когда в России, казалось, все кипело в революционном котле. Покушение под Александровском, под Москвой, взрыв в Зимнем дворце—поднимали настроение самым фактом своего возникновения и даже давали удовлетворение, несмотря на неудачи.

Скоро по приезде в Петербург я благодаря моим симферопольским связям вошел в сношения с членами партии „Народной Воли“ и, отдаваясь в это время, главным образом, агитационной деятельности среди студенчества, исполнял разные мелкие поручения. Не помню, по чьему распоряжению осенью 1880 г. я переехал на особую квартиру в Измайловском полку, специально населенную подобранными лицами из народовольческой студенческой молодежи, предназначенную для разных деловых свиданий. На этой квартире я впервые познакомился с С. Л. Перовскою и А. И. Желябовым, с которыми мне не приходилось раньше встречаться в Симферополе во время их пребывания там. Здесь же я встречался с знакомым уже Н. Н. Колоткевичем, а также с Л. Терентьевой, Хр. Гринберг, Л. Чемодановой и др., впоследствии осужденными по разным процессам. В ноябре 1880 г. по предложению С. Л. Перовской я принял участие в действиях наблюдательного отряда, следившего за выездами Александра II. Выслеживание велось под непосредственным руководством С. Л. Перовской шестью лицами: И. Гриневицким, Е. Н. Оловенниковою, Н. Рысаковым, А. В. Тырковым, студ. Тычининым и мною, причем наблюдатели обслуживали ежедневно в определенные часы каждую линию предполагаемых маршрутов царя парами с разных концов и обыкновенно раз в неделю собирались на квартире Оловенниковой или Тычинина для доклада Перовской о результатах наблюдений и сводки их. Помнится, из членов Исполнительного Комитета этих собраний никто не посещал, кроме Льва Тихомирова (один раз). Я наблюдал за Тихомировым, которого раньше не встречал, и при виде его задумчивых умных глаз и гладко выбритого тогда подбородка, обрамленного чиновничьими рыжеватого цвета баками, у меня промелькнуло, что он, вероятно, соображает, где удобнее устроить подкоп для заложения мины. Мысль о возможности бомбометания тогда мне не приходила в голову, а о ведущемся подкопе на М. Садовой я еще не знал. Посещение Тихомирова я связал с предположением, что в наших наблюдениях наступает момент, когда можно уже сделать определенный практический вывод. Потом из его брошюры „Почему я перестал быть революционером“ я узнал, что в это именно время он, повидимому, собирался сделать свой практический вывод, но в сторону, совершенно противоположную от всяких покушений на царя.

Когда в феврале наши наблюдения были прекращены, я подумал уже более конкретно о приблизившемся моменте для окончательного выбора места. Однако, прошло больше недели и ничего не было слышно, так что, когда Перовская назначила мне 1-го марта, кажется около трех часов пополудни, свидание (как потом оказалось, — непосредственно за покушением на царя), то я оживился и с нетерпением, задолго до срока, вышел на Невский проспект и стал прогуливаться невдалеке от той кофейни в которой предполагалась наша встреча, и был занят мыслью, что после свидания с С. Л. определится, в той или другой форме, дальнейшее мое участие в задуманном покушении. День был ясный, и на Невском была масса гуляющих. Вдруг раздался сильный взрыв, принятый многими гуляющими за обычный 12-часовой пушечный выстрел с Петропавловской крепости. Недоразумение скоро разъяснилось, так как послышался второй взрыв, причинивший полное смятение среди публики. Я остановился, прислушиваясь к тревожным разговорам, и когда по Невскому в направлении от Зимнего дворца к Аничкину промчался верхом донской казак, что-то выкрикивавший, а через некоторое время в том же направлении проскакал в сопровождении двух донских казаков наследник Александр Александрович, все поняли, что случилась катастрофа. Я также догадался, что было покушение на царя, и взволнованный поспешил в условленную кофейню, где стал поджидать С. Л., с трудом сдерживая свое волнение, усугубившееся от неизвестности насчет результатов взрыва. Через непродолжительное время вошла Перовская и подсела к уединенному столику, занятому ранее мною. Лицо С. Л. было непроницаемо и могло быть названо спокойным, и только через несколько секунд, когда она, улучив минуту, нагнулась в мою сторону, я услыхал сдавленный шопот ее прерывающегося и как бы захлебывающегося голоса: „схватили!... убили!...“ Хотя я сейчас и не могу припомнить, в каких выражениях С. Л. сообщала, что схвачен Рысаков, а убил царя Гриневицкий

но не подлежит сомнению, что это я узнал тогда же именно от нее. Оправившись немного, С. Л. стала собираться и, прощаясь со мною, дала мне какое-то незначит. поручение (какое именно, не припомню) к „Елизавете Александровне", о личности которой я теперь могу только догадываться. Описанное свидание с С. Л. осталось для меня загадкой, так как цель его в такой момент представляется совершенно непонятной и могла бы быть уяснена теперь лишь произвольными догадками.

Участие мое в деле 1-го марта осталось для правительства необнаруженным. Почему Рысаков, указавший всех других участников наблюдательного отряда, не упомянул обо мне, я не знаю. Предполагаю, что он не знал ни имени моего (кроме клички „Макар"), ни адреса и вообще не мог иметь обо мне никаких сведений, так как по странной случайности мне с ним никогда не приходилось обслуживать одновременно одну и ту же линию царского маршрута, т.-е. быть с ним в паре, и, следовательно, встречи мои с ним ограничивались теми информационными свиданиями, которые происходили не более одного раза в неделю и притом в обстановке, значительно съуживавшей и даже исключавшей возможность личного общения.

После 1-го марта, оставаясь некоторое время без занятий из-за начавшихся усиленных арестов, я посвящал свое время, главным образом, университетским делам, поддерживая сношения с Гр. Исаевым, а после его ареста в апреле 1881 г.—с Сав. Златопольским и, наконец, с П. А. Теллаловым, арестованным лишь в половине декабря 1881 г.

В это время я вращался почти исключительно в обществе студентов-народовольцев. В числе их были, между прочим, Н. А. Желваков, казненный в Одессе по делу об убийстве прокурора Стрельникова, и А. Борейшо, осужденный потом по процесу 17 в Петербурге в 1883 г. В это именно время я закончил чтение 1 т. „Капитала" К. Маркса и переживал чувство чрезвычайного удовлетворения пред глубоким и мощным анализом, которому Маркс подверг процесс образования прибавочной стоимости. Должен сознаться, что часть учения его, посвященная доктрине экономического материализма, произвела на меня сравнительно слабое впечатление. Лишь значительно позднее, после ссылки, я стал отдавать должное внимание и этой стороне его учения, а в то время легче воспринимались народнические идеи об особенностях русской народной жизни с ее общинным землевладением, совершенно ничтожными кадрами пролетариата по сравнению с многомиллионным крестьянством и особыми, казалось, судьбами капитализма. В связи с этим я с исключительным интересом набросился вскоре на возможность приложить свои силы к делу революционной пропаганды среди рабочих.

В это же время, в виду необходимости уделять значительное внимание занятиям по физико-математическому факультету, на котором я состоял, а также занятиям политическою экономиею в публичной библиотеке, я, выдержав экзамены по физике, химии и еще каким-то наукам, решил их прервать и перейти на юридический факультет, не требовавший посещения университета и дававший более досуга.

Около осени под руководством П. А. Теллалова группа студентов-народовольцев, А. Борейшо, В. Перов, Н. Судаков и я, разделили между собою рабочие районы города и стали заниматься революционной пропагандой среди рабочих на фабриках и заводах, связавшись первоначально с отдельными немногими лицами из них. О результатах наших наблюдений и деятельности раз в неделю мы докладывали Теллалову, намечая обычно план дальнейшей работы. На мою долю пришелся район за Невской заставой. Мне указаны были два человека (один на заводе, другой на фабрике), через которых я впоследствии завел связи на большинстве фабрик и заводов района. К концу года у меня набралось около двух десятков таких знакомств. Собеседования мои с рабочими велись на тему о необходимости борьбы с экономической эксплоатацией, причем выяснялась роль царского режима в этом деле и значение борьбы, предпринятой против него со стороны „Народ. Воли". Попутно я старался знакомиться с бытом фабричных и заводских рабочих, посещая их квартиры и казармы. Резко крестьянский состав фабричных рабочих, не порывавших своих связей с деревней, обособлял их от заводских рабочих, заставляя прибегать поэтому и к различным методам воздействия в пропаганде на тех и других и осложняя тем работу. О каких-либо выступлениях нельзя было и думать, как вследствие малочисленности и неподготовленности подходящего контингента, так и по причине обострившихся после 1-го марта полицейских строгостей. В смысле практической деятельности самих рабочих пришлось ограничиться скромным планом образования кассы взаимопомощи, которому не суждено было, впрочем, осуществиться. К концу года начинавшая было налаживаться работа была неожиданно прервана предательством одного рабочего с фабрики Паля—Ивана Иванова, по прозванию „Длинного". В виду угрозы общего провала нужно было устранить его, но власти тоже не медлили. 4 января 1882 г. я в обществе товарища-студента В. Перова, рабочего с фабрики Паля—Афанасия Иванова и означенного Ивана Длин-

ного был арестован в одном из рабочих трактиров за Невской заставой.

После ареста я был заключен сперва в Дом предварительного заключения, а через месяц переведен в Петропавловскую крепость, где пробыл один год. На первом же допросе выяснилось, что о моей революционной деятельности среди рабочих жандармскому управлению и товарищу прокурора Добржинскому, ведшему мое дело, было достаточно известно. Поэтому после несколько комических попыток с моей стороны придать моим экскурсиям за Невскую заставу невинный характер желания ознакомиться с бытом рабочих, которым противоречили некоторые подробности обстановки, в которой я был арестован (у меня, кроме нелегальной рабочей литературы при себе, обнаружены были кинжал и кистень), мне пришлось чуть ли не со второго допроса замкнуться в формуле: „На предложенный мне вопрос не желаю отвечать", каковой я в большинстве случаев и придерживался в дальнейшем, варьируя ее лишь категорическим „не знаю" по поводу вопросов о знакомстве с тем или другим лицом или участия в каком либо событии. Мне показалось, что такой способ моего поведения несколько озлобил против меня моих следователей. В обзоре департамента государственной полиции впоследствии мне пришлось прочесть о себе все, относительно чего следственная власть добивалась от меня признания, и мне думается теперь, что годичное сидение в крепости было возмездием за нежелание разговаривать, так как обвинительный материал, добытый обо мне, в сущности не давал повода к такой мере, если принять во внимание, что другие мои товарищи по аналогичным делам сидели в Доме предварит. заключения, а не в крепости. Режим в крепости (я сидел в Трубецком бастионе) был строгий, но давали книги для чтения, и я прочел свыше 100 томов журналов „Отечеств. Записки" и „Вестник Европы" за старые годы.

Кажется, в феврале 1883 г. меня перевели из крепости обратно в Д. П. З., при чем меня посетил Плеве или Муравьев, объявивший, что по высочайшему повелению я ссылаюсь административно в Сибирь на 5 лет. Около 15 мая того-же года я был отправлен со многими другими из Петербурга через Москву и Нижний по Волге и Каме, потом Оби, с присоединением в пути административных, поселенцев и каторжан-народовольцев из других мест до Томска, партиею свыше 100 человек, а оттуда по этапу к месту моего назначения в г. Минусинск Енисейской губ., куда прибыл в августе 1883 г. Из Минусинска я был переведен в с. Шушу Минусинского округа, в которой пробыл последние $1^1/_2$ года моей ссылки. Освобожден по отбытии срока ссылки, кажется с зачетом части заключения, в конце 1887 г. и возвратился в Россию в начале 1888 г.

В 1891 г. женился на сестре вышеупомянутой Е. К. Дическуло (Андреевой), Михалине Казимировне Медецкой, поселившись с тех пор в Одессе. После многократных ходатайств о разрешении подвергнуться окончательным испытаниям по юридическому факультету мне удалось добиться просимого разрешения у мин. нар. просв. Делянова через одного посредника, предложившего свои услуги за 400 р., благодаря каковым исключительно я и был допущен к испытаниям в качестве экстерна при Новороссийском университете и по выдержании их в 1897 г. получил юридический диплом. За все это время я перебивался службою в качестве писца и конторщика в разных учреждениях. По получении диплома занялся адвокатурой, а в 1900 г. был избран в мировые судьи гор. Одессы, на каковую должность переизбирался 6 раз, из коих в последний раз— 23 марта 1918 г. на шесть лет. По свержении самодержавия и образовании революционного общественного комитета из разных организаций, союзов и учреждений я состоял в нем в качестве представителя от Съезда Мировых Судей. В том же году, вследствие нервного переутомления, отказался от должности судьи по собственному желанию. В 1919 г. вступил в О-во Взаимного Кредита по выборам в качестве члена правления, а затем в том же году— секретарем в центральный общегражданский кооператив, по ликвидации коего в 1920 г. перешел на службу в Губстатбюро, в котором состоял до последнего времени в качестве инструктора. В феврале 1925 г. овдовел.

О революционной деятельности моей я поместил статьи: в „Каторге и ссылке" (№ 5, 1923 г.) — „Из воспоминаний о 1-м марте 1881 г."; в сборн. „Кандальный звон„ (№ 4, Одесса 1926 г.), — „Гимназич. и студенч. годы 1878—1881. (Из воспоминаний народовольца)".

Сухомлин, Василий Иванович*).

Родился я 30/XII 1860 года в г. Одессе. Отец мой, мелкий чиновник государственного банка, застрелился, повидимому, по неосторожности, на охоте, когда мне не было и 3-х лет. Мать моя года через два вышла замуж за писателя, сотрудника „Современника", Елисея Яковлевича Колбасина, хорошо знавшего Некрасова, Чернышевского и Добролюбова и бывшего особенно близким к Тургеневу, что видно из опубликованных писем последнего к Колбасину.

*) Автобиография написана 14/I-26 г. в Ленинграде.

Несмотря на глубокое уважение и преклонение перед упомянутыми представителями кружка „Современника“, Е. Я. Колбасин не разделял их народнических и эстетических воззрений и по своим политическим убеждениям был либералом и западником в духе Тургенева. Это был в высшей степени гуманный и справедливый человек со спокойным, мужественным характером. Он совсем ослеп, когда ему еще не было 40-лет, и переносил это несчастье с удивительным стоицизмом. Под его влиянием мать моя, получившая поверхностное образование во французском пансионе, но свободная от всяких религиозных предрассудков, так как родители ее воспитали в духе чистого атеизма, пополнила свое образование серьезным чтением и к тому времени, когда я стал разбираться в идейных направлениях, была по своим воззрениям несравненно левее моего вотчима. Вотчим мой под влиянием передовиц „Голоса“, которого он был постоянным подписчиком, любил за обедом в поучение мне, гимназисту 2-го—3-го класса, разносить современную молодежь за ее самонадеянность, отрицание авторитетов, нежелание отдаваться серьезной научной работе, непонимание, что политика—дело солидных государственных мужей, а не мальчишек и недоучек и т. д. и т. д. Любопытно, что эти диатрибы производили на меня совершенно обратное действие. Я видел в них намеки на мои слабые успехи в латинском и греческом языках и, солидаризируя себя с этими поносимыми недоучками, давал себе в душе слово сделаться непременно в будущем нигилистом, а пока что старался нарушать всякие правила светского обхождения, ел с ножа, не стриг волос и старался хоть по внешности и манерам походить на нигилистов. В первое время моя мать разделяла господствовавшие среди либералов предубеждения относительно молодежи. Я хорошо помню какой скандал произвело появление в Ялте, где мы жили летом на собственной даче, группы т. наз. нигилистов. Хотя мне было тогда не больше 13—14 лет, но я помню не только негодование, с которым делились своими впечатлениями разряженные дамы в гостинной моей матери, но навсегда сохранил в памяти фамилии главных действующих лиц, о которых тогда судачили эти дамы. Две из этих фамилий, Барышевой и Ковалевской, дали мне возможность много лет спустя выяснить, что это были сестры известного писателя В. Воронцова (В. В.), из коих М. П. Ковалевская, выдающаяся революционерка, погибла геройской смертью на Карийской каторге, протестуя против применения телесного наказания к Н. К. Сигиде.

В Ялте на Барышеву и Ковалевскую и их друзей возводились всякие нелепые небылицы из-за того, что они небрежно одевались, стригли волосы, курили на улице папиросы и жили совместно на одной даче—коммуной. Впоследствии мать, вспоминая этот эпизод, сама удивлялась, как она могла верить грязным сплетням, не делая никаких попыток проверить их справедливость. Впрочем, увы, история повторяется. Разве не то же мы видим теперь, разве не приходится и теперь наблюдать подобные же предрассудки и поверхностные обобщения единичных фактов относительно нынешней молодой комсомолии?

К чести моей матери надо сказать, что она, а под ее влиянием и вотчим, не закостенели в своем предубеждении к молодежи. Решительный поворот в их настроении произошел после появления в „Вестнике Европы“ романа Тургенева „Новь“. Мать была в восторге от этого романа и с тех пор стала горячо защищать молодежь против обычных обвинений в отсутствии у нее идеализма и в других грехах. Затем, после таких событий, как казанская демонстрация и особенно выстрел В. И. Засулич и ее оправдание судом присяжных, не только мать, но и более консервативный вотчим совершенно переменили фронт. Любимым журналом вместо „Вестника Европы“ стали „Отечественные Записки“, при получении которых первыми разрезывались и прочитывались статьи Елисеева, Михайловского и Щедрина. Вотчим стал терять зрение и читать ему приходилось матери и мне. Я охотно исполнял эту обязанность, так как каждая прочитанная статья служила поводом Колбасину, прекрасному рассказчику, делиться своими воспоминаниями о Тургеневе, Некрасове, Панаеве и других литераторах. Естественно, что, имея таких воспитателей, как мать и вотчим, мне не трудно было с юных лет поставить целью своей жизни борьбу за политическую свободу и социализм.

Первая встреча моя с представителем революционного движения произошла в Мелитополе, где я был учеником 5-го класса местного реального училища. Высланный из Петербурга под надзор полиции после беспорядков в Технологическом институте студент Энгель организовал из учеников нашего, в то время последнего, класса кружок самообразования и стал руководить нашим совместным чтением. Первая проштудированная нами книга была „Рефлексы головного мозга“ Сеченова. Затем он добыл первый том Лассаля (бывший большой редкостью, т. к. был конфискован и сожжен цензурой). Помню, что на всех нас произвела неизгладимое впечатление особенно статья „Идея рабочего сословия“. Наши вечерние собрания вскоре всполошили учебное начальство. У товарища

Зайднера помощник классного наставника произвел обыск и конфисковал сочинения Добролюбова. Это нас возмутило. Я пригрозил усердному педагогу расправой, если он будет продолжать свой сыск, за что был предан суду педагогического совета и исключен с так назыв. волчьим аттестатом. Одновременно были удалены из училища Зайднер и еще один товарищ. Зайднер переехал в Николаев, где был арестован по делу казненного Виттенберга и осужден в 1879 г. одесским военно-окружным судом на поселение в Сибирь, где и умер. Дальнейшая судьба нашего пропагандиста Энгеля, к которому я навсегда сохранил благодарную память, мне неизвестна. Много позже мне привелось встретиться в Иркутской тюрьме мельком с его младшим братом, проходившим этапным порядком в Якутскую область. От него я узнал, что мой первый наставник в социализме продолжал состоять где-то под надзором. Благодаря волчьему аттестату, путь к дальнейшему образованию был бы для меня закрыт, если бы не нашелся среди знакомых моего вотчима один из немногих гуманных педагогов, уцелевших от произведенной министром нар. просвещ. Толстым чистки. Это был директор Севастопольского реального училища Федорченко, рискнувший принять меня в ученики, несмотря на аттестат. Впоследствии он имел из-за этого неприятности в округе, но все же отстоял меня. Пока директором в Севастополе был Федорченко, никому из педагогов и в голову не приходило заниматься сыском и следить за благонадежностью учеников. Большинство учеников 6-го класса считало себя радикалами, многие носили красные рубахи на выпуск под растегнутым мундиром и открыто в классе передавали друг другу нелегальщину. Учитель коммерческого отделения (забыл фамилию) преподавал политическую экономию „по Марксу“. Другой учитель, Козловский, был несомненным революционером и не боялся снабжать нас запрещенными книжками. К сожалению, это продолжалось недолго. Федорченко перевели в Херсон, а затем вскоре уволили в отставку. В Севастополь прислали подтянуть учеников тупого педанта и формалиста Попова. Началось гонение на красные рубахи, длинные волосы и проч. Козловский счел за благо перевестись куда-то на север, где, впрочем, вскоре был арестован и административно сослан. Все это кончилось грандиозным скандалом. В одну прекрасную ночь ученики выбили камнями буквально все окна в квартире директора. Началось расследование. Улик не было ни на кого, но подозрение пало на многих и между прочим на меня, хотя я случайно в этом деле не участвовал. Мне и еще двум товарищам дали понять, что нам лучше убраться по добру, по-здорову. В марте 78 г. мы перевелись в Херсон под крылышко нашего дорогого и незабвенного старика Федорченко. Впрочем, в Херсоне я фактически перестал учиться, так как, побывав во время пасхальных каникул в Одессе, я познакомился с кружком рабочих, группировавшихся вокруг сапожника Ивана Горяинова, и под влиянием последнего решил летом итти с ним в народ поднимать восстание. Я еще раньше, в Севастополе, готовился к этому, проработав все лето в кузне молотобойцем, но от сильного переутомления заболел, не научившись, как следует, ковать. Мастер просто эксплоатировал меня в качестве дарового молотобойца, не заботясь о моем обучении ремеслу. Горяинов меня очаровал. Он глубоко верил, что народ готов восстать и что не начинает восстания из-за отсутствия руководителей. Когда я выразил ему свое сомнение в том, гожусь ли я на последнюю роль, в виду отсутствия у меня знаний, он возразил, что до лета я успею подготовиться, что он снабдит меня книжками: „Сытые и голодные“, „Хитрая механика“ и другими народными брошюрами, а также комплектами журнала „Вперед“ и газеты „Работник“.— „Выучи наизусть лучшие статьи из „Работника“ и ты будешь превосходным пропагандистом“.—„Но ведь мне надо готовиться к экзаменам, я и так запустил учение благодаря переводу в другое училище“.—„Ну, это вздор. Время ли теперь зубрить вокабулы! Бросай к чорту экзамены и готовься к борьбе за народное дело. Сколько у тебя с собою денег?“—Я сказал, что около 25 руб.—„Ну, пойдем, купим самое необходимое для нашей будущей работы“.—И он повел меня в оружейный магазин и выбрал для меня револьвер и сотню патронов. —„Поезжай в Херсон, стреляй ежедневно в цель, чтобы бить без промаху врагов народа, и читай то, что необходимо для революционера“. Мы условились шифрами, адресами. „Жди моего письма. Месяца через два я тебя вызову, как только дела здесь наладятся, и соберется достаточное число бунтарей“. И вот я вернулся в Херсон и объявил своим друзьям, с которыми приехал из Севастополя, что больше ходить на уроки не буду, так как вступил в революционную организацию и жду со дня на день вызова в Одессу, но что подробности сообщить им не имею права. Таким образом, в то время, как товарищи лихорадочно готовились к экзаменам, я с неменьшим усердием корпел над тяжеловесными статьями Лаврова во „Вперед“ и буквально наизусть зубрил народнические бунтарские прокламации. Но вот экзамены кончились; я „по болезни“ (вернее, по доброте Федорченко) оставлен на другой

год в том же классе, а призывного письма от Горяинова все нет и нет. Томительная неизвестность. Вдруг получается сведение из Одессы, что артель сапожников в Красном переулке разгромлена, и что глава ее Горяинов арестован. Что делать?! А тем временем мать бомбардирует меня письмами с вопросами об экзаменах. На счастье я заболел малярией, припадки которой в Севастополе убедили мать, что не леность была причиной моего оставления на второй год. Я, разумеется, скрыл от матери наши с Горяиновым фантастические планы. В виду того, что Федорченко летом ушел в отставку, я в Херсон не вернулся и окончил реальное училище в Одессе. В Одессе я разыскал жену Горяинова и по мере сил старался облегчить ее положение. Ее муж был осужден с лишением прав на поселение, и жена с детьми последовала за ним. Впоследствии, будучи уже в Сибири, я узнал, что он в Кяхте сделался маленьким фабрикантом, кажется, мыловаром, и семья его жила в довольстве. Дети получили среднее образование, но ни один из них не сделался социалистом.

Приехал я в Одессу в конце июля 1878 г., вскоре после суда над Ив. Март. Ковальским с товарищами, когда весь город находился под впечатлением демонстрации на Гулевой улице у здания суда, во время которой было несколько человек ранено и убито. Ковальский ждал тогда исполнения смертного приговора. Ходили слухи, что революционеры собираются его освободить вооруженною рукой, и начальство принимало энергичные меры для поддержания порядка. Когда я сошел с парохода, мне бросился в глаза отряд конных калмыков с длинными пиками и нагайками в руках. Такие отряды калмыков и башкир разъезжали по улицам Одессы день и ночь вплоть до 2 августа—дня расстрела Ковальского. Выехал я из Севастополя внезапно, поссорившись с матерью. Дело в том, что собираясь с Горяиновым итти в народ, я заготовил матери, как другу, прощальное письмо с изложением мотивов, побудивших меня сложить свою голову за народное дело. Письмо было длинное, наивное и восторженно-высокопарное, но тогда я находил его удачным и втайне гордился его красноречием. После ареста Горяинова я забыл его уничтожить. Случайно мать набрела на это письмо и, прочитав его, пришла в ужас. Взволнованная вбежала она в мою комнату и стала осыпать меня упреками и всякими заслуженными и незаслуженными обвинениями. Я как раз в это утро узнал от матросов прибывшего из Одессы парохода, что там началась революция. Так молва преувеличила и раздула факт демонстрации на Гулевой ул. и патрулирование по городу казаков. Понятно, разумеется, мое желание принять участие в одесских событиях. После ссоры с матерью, наговорив ей дерзостей и не попрощавшись, я побежал на пристань и без всяких вещей сел на пароход и уехал в Одессу. Легко представить себе испуг матери, до которой тоже дошли слухи о неблагополучии в Одессе. Со следующим рейсом она поехала за мною вдогонку. В Одессе на ее счастье никаких баррикад не оказалось, и у нас с ней произошло трогательное и ненарушимое с тех пор перемирие. За 4 месяца, протекших со времени моего первого знакомства с одесскими революционными кругами, произошло много перемен. Ряд крупных арестов повредил не только тем, что изъял от работы таких ценных деятелей, как Фомичев, Валуев, Горяинов с товарищами и др., но и тем, что сильно напугал широкую рабочую массу и сделал невозможной всякую более или менее массовую работу. Весною 1878 г. в окрестностях Одессы, на Ланжероне, 18 марта безнаказанно собралось около 150 челов. рабочих и выслушало обстоятельный доклад о Парижской Коммуне. Я сам был на массовке рабочих в Ботаническом саду, где Фомичев вел с большим искусством беседу с полукрестьянами плотниками и каменщиками. При мне в апреле собралось не менее 200 человек в помещении артели сапожников в Красном пер., где Лион (известный под кличкой „Касьян") прочел большой реферат о работе среди крестьян, и был произнесен ряд речей на разные темы. Публика разошлась часов в 12 ночи, не обратив внимания полиции, хотя Красный переулок находится в центре Одессы. Я с Иваном Горяиновым часто вечером приходили в трактир „Париж", где радикалы (так тогда именовались социалисты) пили чай в особой комнате. Когда мы входили, с десятка столиков товарищи приветствовали Ивана, не боясь шпиков. Помню, как за одним из столов собралось вокруг Ивана человек десять рабочих, серьезно обсуждая вопрос, сколько человек рабочих и с каких фабрик выступят на баррикады, если начнется восстание. В результате подсчета большинство решило, что можно рассчитывать на 3000 человек. Тогда же обсуждался вопрос, где можно добыть оружие, подсчитывали количество магазинов с охотническими принадлежностями и ружейных военных складов. Хотя, несомненно, во всех этих расчетах и подсчетах было много наивного увлечения, вроде горяиновских расчетов на крестьянскую готовность восстать, но все же надо признать, что в то время, до массовых арестов, рабочее движение стало принимать до известной степени массовой характер. Не то было осенью того же года. О больших сходках и загородных массов-

ках перестали и думать. Работа велась конспиративно в кружках, максимум в 10—15 человек. Из известных революционеров я в то время (осень и зима 78—79 г.) встречался с Лилой Терентьевой, Позеном, Минаковым, Савелием Златопольским, Софьей Шехтер и др. Мне поручали они, главным образом, заниматься с рабочими и работницами (швеями и модистками) по общеобразовательным предметам: географии, истории, арифметике и пр. В 1879 г. я помогал, чем мог, больше всего своей удобной квартирой в собственном доме с садом на окраине города, кружку, участвовавшему в экспроприации херсонского казначейства (Юрковский, Терентьева, Алексеева и др.).

Летом 1879 г. я познакомился с Кибальчичем, который сдал мне на хранение пуда полтора пироксилина, доставленного, кажется, из Николаева. Несколько ранее я сошелся с П. Б. Аксельродом, который прожил у меня на квартире более недели и много беседовал со мною на разные темы. Тогда он еще не был соц.-демократом. Он давал мне читать свои заметки в „Общине“ (женевское издание) о немецком соц.-демократическом движении, в коих он жестоко критиковал тактику соц.-демократии с анархической точки зрения. Я сам тогда находился под влиянием сочинений Бакунина, и потому взгляды Аксельрода мне были по душе. Он мне очень понравился, как человек. Видно было, что этот слабогрудый, истощенный и совершенно неприспособленный к практической деятельности человек обладает громадной умственной энергией, что голова его постоянно занята разрешением теоретических проблем. Он мне горячо советовал для окончания своего социалистического образования ехать в Женеву и приготовил мне рекомендательное письмо к Кравчинскому, которого он мне характеризовал, я хорошо это помню, как лучшего в Европе знатока экономического учения Маркса. Мне, конечно, как всякому юнцу, хотелось повидать свет, поэтому я охотно решил последовать его совету и стойко выдержал атаку Кибальчича. Последний, узнав о моем намерении, решительно восстал против него, говоря, что эмигранты ничему путному меня не научат, что атмосфера эмиграции действует растлевающе, что мне лучше ехать в Питер, где жизнь бьет ключом, где надо ожидать грандиозных событий, и где столь необходимы люди, на которых можно положиться. Я видел, что нравлюсь Кибальчичу и что он введет меня в лучшую революционную среду столицы, но все же остался непоколебимым и решил последовать совету Аксельрода „изучить в Женеве по первоисточникам историю Интернационала“. Теперь я жалею об этом, ибо самое лучшее время деятельности „Народной Воли“—с 1879 по 1881 г.—провел за границей.

За границей—в Женеве и Париже—я из анархиста превратился в государственника в духе программы партии „Народной Воли.“ В Париже я собирался поступить в агрономический институт (в Grignon'е), когда произошло событие 1-го марта. Меня потянуло на родину. В Париже партийных народовольцев, которые бы меня могли завербовать в партию, я почему-то не встретил. Подружился я там с пожилым уже человеком, народником, другом Глеба Успенского—Битмитом (его, как идеально доброго и хорошего человека изобразил в одном из своих очерков Глеб Успенский). С ним мы решили устроить самостоятельно с несколькими другими лицами поселение на юге России для пропаганды и организации крестьян, так как считали, что параллельно с политической борьбой в городах необходимо продолжать работу в деревнях, популяризируя аграрную программу „Нар. Воли“ среди крестьян. Я должен был наметить пункты, раздобыть средства и после этого выписать Битмита. Вернувшись летом 1881 г. в Россию, я поехал в Подольскую губ. и побывал в разных местах ее, но ничего путного из этой затеи не вышло, а тем временем переписка с Битмитом и другими товарищами по разным причинам оборвалась, и тем дело кончилось.

С половины 1882 г. я поселился в Одессе, но вначале работал вне организации, разыскав старых знакомых рабочих и ведя пропаганду, главным образом, среди артели плотников, с которою меня познакомил рабочий Некрасов. Работа меня удовлетворяла, так как парни были очень симпатичные и, как сезонные рабочие, не были оторваны от деревни, где, с своей стороны, вели пропаганду и распространяли революционную литературу. С прибытием в Одессу в конце лета 1882 г. агента Исп. Ком. Н. М. Саловой, человека энергичного и прекрасного организатора, работа моя среди рабочих из, так сказать, кустарнической стала планомерной и организованной. Она свела меня с прибывшим из Харькова специально для организации рабочих Яковом Бердичевским. Я сделался членом партии „Нар. Воли“, вступив в организованную Саловой одесскую местную группу, в которую, кроме меня и Бердичевского, были приняты Анна Гальперин, Яков Френкель, Павел Анненков, Яков Барский и др. Мне с Анненковым была поручена работа среди студенчества, для чего я поступил в Новороссийский университет. Вскоре в университете образовался центральный народовольческий кружок, который приобрел большое влияние на студенческую массу.

К сожалению, Анненков, который стоял во главе этого кружка, увлекся с товарищами чисто академическими делами. Произошел конфликт с ректором или проректором, начались бурные сходки, т.-е. так назыв. университетские беспорядки. Последовали аресты. Анненков и некоторые другие члены центрального кружка попали в тюрьму. Как всегда бывает, среди арестованных оказались люди малодушные, стали выдавать, и вскоре организация была разгромлена. Осенью 1882 г. Бердичевский вынужден был скрыться из Одессы в виду замеченной слежки за собой, за ним вынуждена была во избежание ареста уехать за границу и Салова *). В декабре произошел арест супругов Дегаевых, хозяев налаженной в Одессе центральной народовольческой типографии. Дегаеву был устроен в январе 1883 г. фиктивный побег, и началась в партии мрачная эпоха так назыв. дегаевщины. Весною 83 г. одесситам первым удалось узнать от одного военного, приятеля жандармского полковника Катанского, истинную роль Дегаева. Я немедленно сообщил об этом за границу Саловой, а равно и Харьковской местной группе, но последняя отказалась этому поверить, и пришлось связь с нею порвать. Салова и жившие тогда за границей члены Исполнительного Комитета Тихомиров и и М. Н. Ошанина нам поверили и в виду создавшегося положения посоветовали одесситам прекратить всякие сношения с Питером и другими организациями, находившимися через Дегаева в руках Судейкина. Летом 83 г. я был вызван в Париж и Женеву, где Ошанина и Тихомиров рассказали мне, что Дегаев явился с покаянной и согласился помочь партии убить Судейкина. После расправы с ним, организованной Г. А. Лопатиным, я в феврале 1884 года вторично был вызван в Париж, где состоялся съезд активных работников партии для решения вопроса о переорганизации партии с тем, чтобы отделить людей безусловно надежных от сомнительных элементов, так как не было уверенности, что в период дегаевщины Судейкин не провел через Дегаева, даже без ведома последнего, других своих ставленников. В съезде приняли участие Тихомиров, Ошанина, Галина Чернявская, Салова, Лопатин, В. А. Караулов, Ст. Куницкий, Н. Русанов, А. Кашинцев и я. Присутствовал также П. Л. Лавров в качестве главного редактора „Вестника Народн. Воли“. На съезде было решено, что Исполн. Комитет должен находиться в пределах России. За границей до окончательного восстановления партии должна находиться т. назыв. делегация Исполн. Комитета в составе бывших членов старого Исполн. Ком. Ошаниной и Тихомирова. На их обязанности, кроме издания „Вест. Нар. Воли“ и другой литературы, лежит хранение всех адресов, шифров, явок и вообще сведений о всех партийных связях и организационных ячейках, дабы даже после ареста всего наличия центр. работников возможно было восстановление этих связей новыми деятелями.

На съезде была избрана распорядительная комиссия Исполнительного Комитета, которая должна была явиться как бы центром кристаллизации будущего Исп. Комитета. Она должна была сосредоточить в своих руках все связи и сведения о всех оставшихся членах партии и лицах, к ней примыкающих, выделить из них тот слой, который на нынешнем языке называется активом партии, заботясь, главным образом, чтобы в него не попали лица не безусловно надежные. После установления прочных кадров на местах, комиссия должна была наладить тайную типографию для напечатания 10-го и следующих номеров „Народной Воли“, а затем организовать покушение на мин. вн. дел Толстого. В комиссию были избраны Г. А. Лопатин, Н. М. Салова и я. На съезде, совместно с Куницким, были выработаны главные положения, которые должны были лечь в основу соглашения с польской партией „Пролетариат“, которое предстояло заключить в Петербурге с представителями этой партии для совместной борьбы с царским самодержавием. Куницкий уехал в Варшаву, Караулов в Киев, Кашинцев в Одессу. Мы же, члены расп. комиссии, в течение марта месяца съехались в Петербург. Там в качестве временного представителя старого Исп. Комитета находился К. А. Степурин. Он сейчас же передал нам все связи и рассказал нам об анархии, воцарившейся в революционных кругах Питера после убийства Судейкина. Узнав, что Дегаев, которого все считали членом Исп. Ком., провокатор, многие восстали вообще против Исп. Ком. и за то, что он допустил в свою среду такого человека, и за то, что сейчас же после признания Дегаева и до убийства Судейкина все лица, имевшие сношения с Дегаевым, не были осведомлены о его роли, почему и продолжали ему доверять. Некоторые начали травлю против Степурина, испортившую ему не мало крови, когда он был на свободе, и доведшую его до самоубийства в тюрьме: жандармы показали ему перехваченные письма П. Ф. Якубовича, в которых последний передавал слухи чуть ли не о провокаторской роли Степурина. Впоследствии Якубович глубоко раскаивался в своей опрометчивости, но оправданием ему служит та нездоровая атмосфера, которую создала дегаевщина и

*) Салова уехала за границу по моему поручению. Чтобы замаскировать это, она, вероятно, сказала товарищам в Одессе, что за ней следят.

В. Фигнер.

которая так благоприятна была для всякого рода подозрений и взаимных обвинений. Якубович, пользуясь большим влиянием среди молодежи, решил основать независимо от Исп. Комитета новую партию Молодой Народной Воли с введением в программу аграрного и фабричного террора. Много пришлось потратить красноречия и энергии Лопатину с товарищами, прежде чем удалось убедить Якубовича оставить эту затею. Много помогли нам в этом деле приехавшие из провинции Сергей Иванов и А. Н. Бах. Благодаря им лидеры Молодой Народной Воли убедились, что провинция за ними не пойдет, и что, не имея в своих рядах опытных и испытанных деятелей, им трудно будет создать прочную и влиятельную организацию. Первым сдался, под влиянием, главным образом, Баха и Лопатина, Якубович, и со свойственным ему благородством и революционным пылом, сознав свою ошибку, он всю свою кипучую энергию направил на исправление ее путем агитации среди своих прежних единомышленников в пользу партийного единства и продолжения славных традиций Нар. Воли. Пробыв в Питере до конца мая, я поехал на юг по делам партии, побывал в Одессе, Харькове и Ростове-на-Дону, затем поехал в Полтавскую губ. в деревню, чтобы продать в пользу партии полученную по наследству от отца землю, но, не успев этого сделать, был арестован в деревне в конце августа по распоряжению из Петербурга, благодаря захваченному у Кашинцева письму. Таким образом, в качестве члена расп. комиссии мне очень мало пришлось поработать для партии, а к главному, к чему я себя предназначал, а именно к организации покушения на мин. вн. дел Толстого, я не успел даже и приступить. Бомбы, предназначенные для Толстого, были взяты при аресте Лопатина в октябре 1884 г. Неосторожность Лопатина, самонадеянно хранившего у себя сотни незашифрованных адресов, буквально провалила все связи нашей партии и послужила причиной массовых арестов и к полному изобличению, между прочим, и моей роли в партии. Меня продержали три года в Петропавловской крепости, и в мае 1887 года я, одновременно с Лопатиным, Саловой и другими товарищами, был присужден военно-окружным судом к смертной казни, которую командующий войсками Петербургского Военного Округа при конфирмации приговора заменил 15-летней каторгой. Каторгу я отбыл на Каре. Через 16 лет, благодаря двум манифестам, изданным при проезде наследника через Сибирь и при коронации Николая II, сроки пребывания в Сибири были сокращены, и в 1903 году я получил право вернуться в Европейскую Россию. Я возвратился с женою, товарищем по партии Анною Гальперин, и с тремя детьми и снова поселился в Одессе. Здесь я вступил в партию соц.-рев. и по мере сил принимал участие в ее работе. Вскоре в Одессу явился Азеф и передал мне поклон от шлиссельбуржца Поливанова со словами: „Вы, конечно, по примеру Поливанова, тоже вступите к нам в боевую организацию“. Я ответил, что должен сначала ориентироваться в новой для меня обстановке, а пока займусь более скромной деятельностью совместно с товарищем своим по Каре—Н. Л. Геккером, жившим тогда тоже в Одессе. Тем не менее, как выяснилось из опубликованного в № 1 „Былого“ за 1917 год донесения Азефа в департамент полиции, он тогда же облыжно указывал на меня, Геккера и Гедеоновского, как на главарей боевой организации, снабдивших якобы Покотилова динамитом, взорвавшимся в Северной гостинице. Как это ни странно, но департамент полиции почему-то не сообщил об этом доносе одесскому жандармскому управлению, почему за мною не было никакой слежки до 1904 г. Весною этого года я был случайно переписан в числе других гостей на собрании у литератора А. М. Федорова, после чего за мною начали следить по пятам шпики, а затем, после убийства Плеве, я был арестован и просидел месяца 3 в тюрьме. Затем меня без всяких последствий освободили, и я принял довольно живое участие в тогдашней массовой работе, выступал в 1905 году на митингах в Одессе, Екатеринославе, Харькове, Севастополе и др. местах. В 1906 году, после разгона Думы, я вступил в петербургскую военную организацию с.-р., заместив арестованного руководителя ее Топорова, но по доносу Азефа был арестован в Петербурге ночью, как раз накануне того утра, когда я должен был поехать на пароходе в Кронштадт для участия в восстании. Выпущен я был через два месяца, при чем жандармский полковник сказал мне, что меня не допрашивали и не предъявляли обвинения, потому что я арестован вследствие сообщения петербургского охранного отделения о том, что я, по агентурным сведениям, должен был играть руководящую роль в Кронштадтском восстании. „Мы строгие законники—сказал он.—В ожидании улик мы держали вас ровно столько, сколько имели право на основании таких-то и таких-то статей закона; дольше 2 месяцев мы вас держать не в праве на основании лишь голословных обвинений без предъявления улик, а потому вы свободны.“

В ноябре того же 1906 г. я был арестован в Таганроге по доносу провокатора Русецкого после окончания областного съезда, на котором Русецкий был представителем от мариупольских рабочих орга-

низаций. После 4-месячной отсидки в Таганрогской и Ростовской тюрьмах, где я, несмотря на каторжанский стаж, в первый раз в жизни был избит надзирателями, меня выслали на 3 года за границу. Во время пребывания за границей военная организация партии с.-р. поручила мне совместно с В. И. Лебедевым и А. С. Новиковым ведение пропаганды среди матросов эскадры броненосцев, находившихся в учебном плавании в Средиземном море. С этою целью мы заезжали в места стоянок эскадры и там встречали матросов, устраивая с ними собеседованья и массовки. Последние происходили иногда при очень экзотической обстановке. Так, в Бизерте (в северной Африке) мы собирались в лесу, в тени огромных кактусов, и раз чуть не были накрыты компанией морских офицеров, отправившихся на охоту в этот лес. Но они нас или не заметили или, вернее, сделали вид, что не заметили. Больше всего времени в этих поездках я провел с Новиковым, который, тянув сам долгое время лямку матроса, прекрасно знал, как подойти к матросам, быстро завязывал с ними связи и приобретал их доверие. А. С. Новиков во время Цусимского боя чуть не погиб при взрыве броненосца „Орел", но был подобран в волнах океана японским миноносцем. Этот даровитый человек в настоящее время пользуется большой известностью в качестве беллетриста под псевдонимом „Прибой".

Отбыв трехгодичную ссылку, я вернулся в Россию в 1910 г. и поселился в Киеве. Там я почти не принимал участия в партийной работе вплоть до Февральской революции, после которой был принят в число членов Киевского комитета партии с.-р. Однако, в митинговой работе я в этот период почти не принимал участия, ограничиваясь литературной работой; писал прокламации к военным и солдатам в оборонческом духе и составил популярную брошюру „Как и почему трудовой народ сбросил царское иго". Будучи убежденным оборонцем и призывая солдат защищать от внешних врагов освобожденную родину, я счел для себя нравственно обязательным разделить с ними военные опасности и поступил добровольцем в 7-ю армию. Участвовал в сражении при Гнилой Липе, где был легко ранен в ногу, но вследствии нагноения раны был эвакуирован в Киев. Свои впечатления от фронта я изложил в трех фельетонах газеты „Воля Народа". В сентябре 1917 г. я был назначен приказом министерства земледелия представителем министра на Северный Кавказ при Ставропольском земельном комитете. В Ставрополе делал доклад на губернском крестьянском съезде и был избран крестьянами на Всероссийский съезд, состоявшийся в Петербурге в ноябре 1917 г. Вернувшись после създа в Киев, я пережил все смены властей до 1920 года, при чем при гетмане вступил в военную организацию для борьбы с немецкими оккупантами и в 1918 г. был арестован немцами по подозрению в большевизме и присужден ими в концентрационный лагерь в Бяле, но, благодаря заступничеству кадетских министров гетмана, эта мера ко мне не была применена, и меня освободили без всяких последствий.

Убедившись, что пролетариат, в лице своей рабочей интеллигенции, не только признал советскую власть, но запечатлел свою преданность коммунистической партии кровью, пролитой на многочисленных фронтах в борьбе с белогвардейщиной, я счел своим долгом признать эту власть и относиться к ней с полной лойяльностью. В настоящее время я совершенно не участвую в политической жизни страны.

Тан-Богораз, Владимир Германович *).

Я родился в апреле 1865 г., точного дня не знаю, возможно, что 15-го, в маленьком гор. Овруче, в глуши Волынского полесья. По бумагам же моим значилось, однако, что я рожден в Мариуполе в 1862 г. Вышло это потому, что, будучи 7 лет, я стал надоедать своему отцу, чтобы меня отдали в гимназию, т. к. читать я, кажется, научился тогда же, когда начал ходить. Потом подучился и арифметике. Мы жили в Таганроге, отец съездил в Мариуполь и привез метрическое свидетельство подходящего характера. Мать моя была купеческой семьи из города Бара Подольской губ. А отец был из семьи раввинской. Он и сам в колебаниях своей неверной фортуны был в городе Тифлисе „даином",—ученым экспертом, разумеется, ученым по части еврейских обрядов. Впрочем, по внешнему виду он не был похож на ученого. Был он мужчина огромного роста и силы, фигурой весьма походил на великого Петра, как его рисуют на портретах, в отличие от большинства евреев выпить мог бесконечно много, но никогда не пьянел. И когда разойдется и захочет показать удаль, подойдет к лошади и поднимет ее за передние ноги. А мать моя была маленькая, шустрая, вертлявая. И из такого смешения крайностей мы, дети, все вышли как-то ни два, ни полтора. Было нас 8 человек, теперь в живых остается пятеро. Способности у отца были прекрасные, чудесная память. Библию и свои талмудические книги он знал наизусть—„на острие шила",—это означает вот что: надо взять острое шило и проткнуть им открытую

*) Автобиография написана 20 мая 1926 г. в Ленинграде.

книгу страниц на полсотни в глубину, а потом указать наизусть—какие именно места и фразы проколоты. Был он также весьма музыкален, пел приятным тенором и в трудные минуты своей последующей карьеры неоднократно служил в синагогах хазаном,—певцом. Кроме того, у него была определенная склонность к литературе, и он довольно много писал по-древнееврейски и по-новоеврейски и даже кое-что напечатал.

Эти таланты мы, его дети, унаследовали частями, в разбивку. Младшие сестры учились в консерватории и старались выйти в певицы. Впрочем, по окончании курса, как смеялся отец, бросили курсы и открыли домашнюю фабрику для изготовления детей, т.-е. просто вышли замуж. А я унаследовал вкус к литературе. Что же касается памяти, то ею отец наделил нас всех поровну. Отец с матерью женились рано. Нас, детей, было трое, а отцу только что исполнилось 20 лет. Жили они в этом глухом городишке и бедно, и скучно. Недолго думая, отец взял и махнул в Новороссию, где в то время было легко устроиться. Часть дороги проехал с обозами, а часть просто прошел пешком. И так очутился в Таганроге, за две тысячи верст от своего родного Овруча. Года через полтора переехала и семья. В то время Таганрог был город жирный. С одной стороны, вывоз прекрасной пшеницы, а с другой стороны—ввоз контрабанды огромных размеров, организованный Вальяно, греческим купцом, прямо через таможню, при участии таможенных властей. Отец перепробовал множество карьер,—торговал пшеницей и углем, участвовал также в контрабандном предприятии Вальяно и К⁰. Но деньги у него не держались,—был он азартный картежный игрок,—что заработает—спустит. А не то купит большие зеркала, золоченую мебель, а еще через пол года, глядишь, и полтинника нет, чтобы сходить на базар. Впрочем, в то время в Таганроге жилось и дешево, и сытно. Так что голодать мы никогда не голодали. К тому же мы, дети, рано начали давать уроки. Я стал давать уроки с 3-го класса, т.-е. с 10-ти лет. Ученики мои были верзилы „грекосы-пендосы“. Еще казаки-куркули, армяне, караимы. Иной разозлится верзила, схватит учителишку за шиворот и поднимет на воздух. Я, впрочем, свирепо отбивался,—лягался и кусался. Нравы в Таганроге были степные,—суровые. Мы, гимназисты, дрались жестоко с уездниками, бились на кулачки, ходили стена на стену. Они нас называли „дрищпаки“: ужасное слово, что оно, собственно, значит, было неизвестно, но это тем хуже. Учился я легко. Во-первых, вывозила память, а во-вторых, гимназия была либеральная,—требовали мало, а знали и того меньше. Правда, потом нам назначили директором толстого немца Эдмунда Адольфовича Рейтлингера. Мы называли его уменьшительно: Мудя. Был он российский патриот, такой завзятый, какими в то время бывали лишь русские немцы. Но особой обиды мы от него не видали. Положим, инспектором был Николай Федорович Дьяконов,—тот самый чорт собачий, которого потом Чехов описал в виде „человека в футляре“. А другому учителю, чеху Урбану, мы взорвали квартиру, подложили ему бомбу под крыльцо. Было это уже в восьмидесятых годах. Бомбу мы сделали из лампового шара, медного с нарезкой, начинку—из солдатского пороха. Ничего, разворотили полдома. Ранить никого не ранили. Только Урбана напугали чуть не до смерти. Если кто спросит, зачем же мы взорвали чеха, могу пояснить, что латинские и греческие учительные чехи въедались в гимназическую печень хуже, чем орел Прометею. Эту породу когда-то описал Боборыкин в своей повести „Пан Цыбулька“. Вот когда началось в России чехо-словацкое засилье.

Откуда и как забрались семена революции в эту степную гимназию? Были молодые учителя из не весьма благонадежных, например: Караман, высланные студенты—Иогансон, Гутерман, Караваев. Моя старшая сестра Паша, по-русски Парасковья, а по-еврейски, собственно, Перль—жемчужина, в то время кончила гимназию. Отец хотел ее выдать замуж, но еще не успел приискать жениха, а Паша уехала на курсы. Был у ней характер решительный: возьму и уеду. Так и уехала, и никто не удержал. Через год воротилась из Питера добела раскаленная землевольческим огнем. Было это в 1878 году,—феерическое время. Сановников уже убивали, а царя Александра II пока собирались взорвать. На эдакую страшную силу, как русская полиция, нашелся отпор,—молодежь отдавалась революции—душой и телом. Не все, разумеется,—избранные. Ни одно поколение потом не горело столь жертвенно, как эти юнцы и юницы 1878—80 гг.

У нас в то время уже был гимназический кружок. Он читал литературу легальную и нелегальную. Легальные книжки мы попросту украли из фундаментальной библиотеки гимназии, в том числе и все запрещенные книжки—Писарева, Чернышевского „Что делать“. Гимназические власти хоть и косились на нас, но ничего не могли сделать.

В 1880 г. мы вместе с сестрой укатили в Петербург, в университет. Был я в сущности щенок, и весьма не облизанный. Что делать?—учиться, читать или бегать на тайные сходки? Денег к тому же нам из дому совсем не посылали. Я, все-таки,

много читал, научился по-французски, по-немецки. Для того, чтобы пополнить наш бюджет, писатель Кривенко доставал мне переводы из „Отечественных Записок“,—все больше беллетристику с французского. Первые мои переводы были из новенькой книжки Зола и К⁰,—„Меданские вечера“. Я перевел, между прочим, „Пышку“ Мопассана. Платили по-тогдашнему отлично,—четвертной за рассказ. Жить вообще было можно. С двугривенным в кармане заглянешь, бывало, в колбасную:—„Дайте на гривенник обрезков“. Молоденький приказчик посмотрит тебе весело в глаза и скажет полуутвердительно:—„Студенту пожирнее“. Отвесит фунт с четвертью и прикинет бесплатно здоровую крепкую лытку. На гривенник купишь гороху и всю эту благодать сунешь в чугун и поставишь к хозяйке в русскую печь. Тогда еще у петербургских хозяек бывали и русские печи. Через сутки упреет, потом 3 дня едим и всего съесть не можем.

Писатель Кривенко был в одном кружке с моей сестрой. Туда же принадлежала Софья Ермолаевна Усова, вышедшая потом в ссылке замуж за Кривенко, Аркадий Тырков, после арестованный по делу 1 марта, два брата Карауловы. Старший Караулов умер в Петропавловской крепости, а младший, бывший офицер, стал нелегальным и после попал в Шлиссельбург на каторгу и в ссылку в Сибирь, а из ссылки был избран кадетским депутатом в Государственную Думу.

Первый год в Петербурге я провел как то уединенно, даже на лекции мало ходил. Кстати сказать поступил я на естественное отделение физ.-мата. А тянуло меня, разумеется, к гуманитарным наукам. Впрочем, „химию“ Менделеева я изучил довольно плотно. А на следующий год я перешел на экономическое отделение юридического факультета, бывшее „камеральное“. Нас было студентов человек 40. Кроме юридических наук, мы слушали политэкономию у Вредена, а римского права не слушали. Из 40 экономических студентов по крайней мере половина были социалисты.

Тут я все же перешел на II курс. Экзамены мне дались легко. Но к этому времени я успел увязнуть в политике. Участвовал в студенческом кружке по изучению Маркса. Мы взяли I том „Капитала“ и стали сочинять рефераты глава за главой. Сначала поужинаем, а потом читаем до полуночи. Были мы, правда, народники, но Маркса изучили на зубок, до сих пор не забывается, почти через полвека. Бывал я и в других кружках, более решительного свойства. Встречался с Коганом-Бернштейном, видел и слышал Желябова, по кличке „Тараса“. Был он человек энергии неутомимой. С одной стороны, держал в руках все нити подготовлявшегося цареубийства, с другой стороны, находил время возиться со студентами. Был он прекрасный оратор, темпераментный и твердый.

8-го февраля, в праздник университетской годовщины, разыгралось вступление в трагедию 1 марта. Его разыграли студенты под влиянием Желябова. Мы—радикальные студенты — столпились на хорах плотной группой, приготовившись к бою. Когда бесконечный доклад ректора Бекетова стал подходить к концу, Коган-Бернштейн стал говорить с баллюстрады энергичную речь на тему о том, что „мы вам совсем не верим“. Сверху тотчас же полетели прокламации, как белые птицы. Но внизу никто не пошевелился. Уж очень они все растерялись. Особенно министр просвещения Сабуров на кресле в переднем ряду сидел, как припаянный. Тогда выступил Паппий Подбельский, направился к Сабурову и дал ему с размаха пощечину. После того сразу начались шум и свалка. Но мы оттеснили „педелей“, и оба — Подбельский и Коган-Бернштейн — ушли благополучно. Оба они были арестованы через несколько дней. Попали в различную ссылку. Но лет через 8, в 1889 г., встретились в Якутске в день вооруженного сопротивления политических ссыльных, не желавших отправиться в Колымск. Паппий Подбельский был убит первым солдатским залпом, а Коган-Бернштейн был тяжело ранен и потерял употребление ног. Вместе с другими он был приговорен к повешению. В назначенный час его вынесли на кровати и вздернули вверх. Так они оба с Подбельским соединились в посмертном успокоении.

В свое время случилось и 1 марта, — убийство Александра II и публичная казнь пятерых на Семеновском плацу. Сестра встретила ужасную процессию случайно и последовала за ней на Семеновский плац, увлекаемая непреодолимым и роковым любопытством, смешанным с ужасом. Вешали высоко на помосте, и она видела каждую малейшую подробность, даже и то, как оборвался Михайлов. Она прибежала домой вне себя, кричала, проклинала. Удивляюсь, как ее не арестовали на улице. После этой казни правительство решило прекратить назидательное зрелище публичных виселиц, и только во время недавней гражданской войны общественные вешалки снова были расставлены по разным городам. Скорее в виде призраков—воскресли, явились и сгибли.

С 1 марта, как известно, начинается падение „Народной Воли“. Волна немного постояла и пошла на убыль. У старших слоев радикальной молодежи началось разочарование, а потом даже разложение. Расцвела провокация, и все покатилось с горы.

А в младших слоях, напротив того, было восхищение и полная готовность отдать себя во власть таинственного и неуловимого Исполнительного Комитета. В то время мы все, уязвленные революцией, обрекли себя на смену. На ученье, на университет мы смотрели, как на подготовку. Не к тому подготовку, чтобы жить и работать, а к тому, чтобы уйти и погибнуть. Многие из нас занимались, читали, сдавали экзамены, но было сознание, что все это так себе, не настоящее, временное, настоящее будет потом.

Я лично продержался в университете 2 года,—уж очень я был мал и молод. И только осенью 1882 г. был арестован по студенческим делам и выслан из Петербурга на год в родной Таганрог. Была незаконная сходка. Мы вышибли вон педелей. Одному субинспектору намылили бока. Сходку оцепили и всю арестовали. Большая часть арестованных отделалась карцером. Выслали в общем человек 50. Можно упомянуть одесситов Штернберга и Кроля, кубанцев Бражникова и Невзорова.

Бражников, Штернберг, Кроль и я были потом основателями и членами последнего союза „Народной Воли".

В Таганроге на высылке я занимался уже пропагандой. В этом захолустном и диком степном городе был собственный кружок революционеров, правда молодых и наивных, но настроенных активно. Самым заметным был А. А. Кулаков, мещанин, самоучка, отставной солдат. Сейчас ему 72 г., в то время, стало быть, было под 30. Была это фигура самобытная. На новом базаре была у него „холодная лавка", т.-е. собственно рундук, и торговал он по мелочи подошвенной кожей. И сам он был тоже такой подошвенный, крепкий, носится до сих пор. Всего товару было у него рублей на 300, а выручки рубля на полтора. И когда заиграли у нас в Таганроге партийные дела, мы брали у него из выручки деньги и тратили на типографию. Если бы начальство не подоспело с разгромом типографии, мы всю его подошвенную лавку перевели по агитпропу.

В том же кружке были Аким Сигида, писец окружного суда, и Надежда Малаксианова, родом гречанка, городская учительница. Мы их потом обвенчали для целей типографских, и после разгрома Сигида умер в „централе",—в каторжной тюрьме, насколько помню, в Курске, а Надежда попала на Карийскую каторгу, и здесь, как известно, трагически погибла.

Во то время в Таганроге открылся металлический завод, потом он назывался франко-русский. Мне удалось познакомиться с рабочей молодежью завода. Дело пошло достаточно успешно. Были они такие же молодые, как мы, и денег зарабатывали больше, чем мы. Мы, гимназисты и студенты, были в общем шантрапа разнесчастная, и даже по-житейски не было причин смотреть на рабочих сверху вниз. Поставят, например, самоварчик, нарежут колбасы, хлеб мягкий, маслины, тарань, — нас же угостят, не хуже буржуазного. Набралось их сразу в кружок около десятка, я им читал курс по политэкономии, и слушали они чрезвычайно внимательно. Еще одна подробность,—в то время никто из них не пил. Совместно с политэкономией мы стали понемногу планировать на заводе хорошенькую забастовочку. Но раньше этой забастовки меня арестовали.

В Таганрогском остроге я просидел 11 месяцев. Именно там для меня началось одновременно общение с народом, человеческое „дно" и Кузькина родительница. Там же, очевидно, родился мой вкус к этнографии,—в человеческой гуще, и чем гуще, тем приятнее. Ибо Таганрогский острог был место злачное, и злаки там произростали воистину странные. Этой тройственной цепью злоключений,—арестом, высылкой и новым арестом, — началась моя, можно сказать, государственная служба, на которой я с тех пор и состою уж 40 лет слишком.

В это же время мне случилось принять православие — для целей революционных. Мое погружение в православную купель произошло осенью 1885 г. Был я Натан Менделевич Богораз, стал Владимир Германович Богораз, — Германович по крестному отцу, как тогда полагалось. В то время принять православие значило перестать быть евреем. Я, однако, евреем быть не перестал, о чем засвидетельствовал многими поступками. Кстати, мое литературное имя „Тан" есть расчлененная подпись Н. А. Тан, т.-е. имя „Натан". Уж после того подпись сама собой связалась с родиной моей—Таганрогом, выговаривается „Танагрог" (в древности Дон был Танаис, и близ устья стояла греческая колония Тана).

Говорить о моем православии или христианстве, разумеется, смешно. Но с ранней юности я себя считал не только евреем, но также и русским. Не только россиянином, российским гражданином, но именно русским. Считаю себя русским и чувствую русским. Человек может прекрасно иметь два национальных сознания: итальянец из Тессина и швейцарец, валлиец и вместе англичанин. Ведь, кроме того, я чувствую себя беллетристом и этнографом, русским революционером и русским интеллигентом, европейцем, участником западно-восточной культуры. Все эти сознания гармонически сливаются вместе. И прежде всего я чувствую себя человеком. Ч е л о в е к—это имя большое, всеобъемлющее, ясное.

Описывать жизнь мою придется по главным этапам.

1885 год. Последний союз Народной Воли. Бытие нелегального с фальшивкой в кармане вместо паспорта, с приютом на временной ночевке, а бывало и под мостом.

Три тайных типографии. Должно быть, еще у Гуттенберга и доктора Фауста, изобретателей печати, были все-таки станки приличнее нашего. Мраморный столик, доска для растирания краски, валик, железная рама, свинцовый набор. Днем, бывало, бегаешь по городу, занимаешься „делами", конспирацией, а ночью тотчас же за машину. Я, впрочем, так приловчился, что мог дремать себе, стоя, с валиком в руках, над батырною черною работой. Только вымажешься к утру, как чорт. Уж подлинно черная работа.

Революция временно гасла, пульс ее бился чуть слышно, с перебоями, и самое сердце ее было замуровано в каменной банке, в Шлиссельбурге. И мы, несколько юношей,—последнего призыва,—тоже попытались, по примеру старших, столкнуть своими молодыми плечами каменную бабу, российскую Федору с ее векового кургана. И, конечно, надорвались. Последовал провал. В Екатеринославе, в Таганроге, в Ростове-на-Дону и в Одессе вычистили всех. А я умудрился выбраться из западни. Проехал в Москву и в Петербург, там работал с другими кружками. В Москве это была та основная группа, откуда выросла потом волна нового террористического наступления. В центре ее стояли Михаил Гоц и Исидор Фундаминский,—старший Гоц и старший Фундаминский. Оба они уже умерли. То были живые переходные звенья от старой Народной Воли к новой социально-революционной партии. Первое выступление этой группы было лишь в ссылке в Якутске. Группа отказалась из Якутска отправиться в Колымск и забаррикадировалась в доме с револьверами в руках. Шестеро были убиты на месте, трое повешены. „Менее виновных" сослали на каторгу. Но потом после каторги Гоц старший попал за границу. Он-то и был основоположником нового террора. В тогдашних условиях террор имел в себе нечто поистине бессмертное.

В Петербурге же была другая группа,—молодые социал-демократы с Шевыревым и Ульяновым в центре, тоже Ульяновым старшим, братом Ленина. Этой группе принадлежит последняя вспышка настоящего народовольческого террора, второе 1 марта 1887 г.

Т. обр., „Народная Воля" построилась в истории, как будто калильная дуга. Две яркие вспышки—1881 и 1887 г.—а между ними бесчисленные жертвы и горение сердец.

Но прежде чем я успел сблизиться с группой Ульянова, меня арестовали 9 декабря 1886 г. На этот раз плотно и надолго. При аресте, как водится, избили,—мне вообще на этот счет везло,—при арестах и в тюремных бунтах били меня неоднократно. После того меня посадили в Петропавловскую крепость и только в 1889 г. послали в места отдаленнейшие,—в арктический Колымск, за 12.000 верст и на 10 лет сроку.

Ехал я до Колымска около года, по Каме и Оби плыл на арестантских баржах, замурованный в трюме. От Томска до Иркутска шагал по Владимирке пешком вместе с кандальной шпаной. В Красноярске, в пустой пересыльной тюрьме, оголодавшие клопы чуть нас не съели живьем. Мы устроили так называемый „клоповый бунт", который мне случилось описывать в печати. Из Иркутска в Якутск покатили зимою с жандармами на тройках почти полураздетые. С непривычки страшно мерзли,—дыхание замерзает в груди. А в Якутске застали послесловие якутского расстрела и казни арестованных. Тень только что повешенного Когана-Бернштейна как будто жила еще в тюрьме. Это была наша последняя встреча с Коганом-Бернштейном после превратностей нелегальщины и революции.

Жуткое было тогда настроение. Товарищей расстреляли, перевешали из-за этого Колымска, а мы все-таки едем.

Поехали в Колымск по двое с казаками, сперва на санях с лошадьми, потом на оленях, а там и верхом на мелких якутских коньках. И так прибыли в нашу далекую колымскую вотчину, которую мы сделали колымской республикой, первой российской республикой, задолго до 1905 года.

Колымск лежал так далеко на востоке, что касался запада. Из этой Азии было недалеко до Америки. Нас было 50 человек отчаянных голов, а казаков в единственном городе Средне-Колымске было человек 15, и вместе с полицией они нас боялись, как огня. На праздник коронации полиция зажжет иллюминацию и устроит себе выпивку. Выпивка крутая. Пьют спирт гольем. А мы иллюминацию погасим и устроим контр-выпивку в три раза покруче. Полиция запрется, забаррикадируется в исправницком доме и сидит до утра. Впрочем, с населением мы ладили отлично, особенно с девицами. И даже с исправником ссорились редко. По праздникам с ним же разыгрывали винт, „с прикупкой", „с присыпкой", „с гвоздем", „с эфиопом", „с треугольником", „классический" простой. А в тяжелые зимние ночи читали напролет увесистые книги на разных языках,—даже исправника Карзина до того навинтили, что он у нас целую зиму старался одолеть „Капитал",—да, да, настоящего Маркса, том I-й „Капитала". Но не вышло у него никакого капиталу. Он запил жестоко и казенные вещи продал наехавшим купцам.

Незабвенные годы в Колымске,—натуральное хозяйство, каменный век вживе. „Не половишь —не поешь“. Ловишь рыбу, ездишь на собаках и вместе с собаками кормишься этой рыбой. В амбаре живет горностай, хватает мышей и таскает мясные куски. На площади гнездятся куропатки. Ночью к порогу приходит лисица и лижет помои. Было нас полсотни человек. Собак у нас было за 200. Десяток неводов. Рыбы ловили на каждого в год пудов 60, дров выставляли в общем до сотни кубов. Все своими собственными белыми ручками,—кого же заставишь? А морозы какие,—плюнешь,—замерзший плевок вонзается в снег сосулькой. Лед на реке толщиною в печатную сажень. Хочешь напиться, изволь пробуравить этот лед. Также и для рыболовных сетей. Ничего, справлялись. Боролись с природой, как северные Робинзоны, и побеждали ее. Дунет ветер „шалоник“ с запада, „с гнилого угла“, и зароет совсем с головой,—сиди, отсиживайся.

Аппетит, очевидно, приходит с едой. От оседлых народов я забрался к кочевым, странствовал с чукчами и с ламутами верхом на оленях, питался летнею падалью, как полагается по чукотскому укладу, и „кислою“ гнилою рыбой, как полагается по укладу якутскому. Научился говорить по-чукотски, по-ламутски и даже по-эскимосски. Вызнал и усвоил всякие шаманские хитрости. Порою бывало и так, что приедет шаман и просит:—„А ну-ка, погляди в твою колдовскую книгу,—выскажи, какое заклинание против весенней слепоты“. „Колдовская книга“ была записная тетрадь. В ней было записано, действительно, всякое шаманство. Пишешь на морозе карандашом, руку отморозишь, писавши об жесткую бумагу, а потом ничего, отойдет. Потом на ночлеге в тепле пишешь вместо чернил оленьей кровью. Записи эти у меня целы до сих пор, не выцвела кровь.

Проехал я по тундре далеко, мог бы без труда перебраться и в Америку, но уже не было смысла бежать. Ссылка приходила к концу. Можно было ехать не дальше на восток, а обратно на запад.

В 1898 г. из Колымска проехал обратно, прямо в Петербург. Помогла Академия Наук. Был я с разным письменным грузом—с чукотскими текстами и русскими былинами и собственными колымскими стихами, с рассказами, с романами и с такой неугаснувшей жаждой: „дайте додраться“,—разумеется, додраться с начальством. Приняла меня публика довольно благосклонно. Братья литераторы прозвали меня „дикая чукча“.

Из Колымска в Петербург. Такую перемену выдержит не всякий. У „чукчи“ закружилась голова. В то время расцветало движение марксистов. Я, хотя бывший народник, примкнул к марксистам. Вместе с Вересаевым и Туган-Барановским был в редакции „Начала“ и „Жизни“. А вернее говоря, был я прямой еретик и таким и остался по сей день. Через несколько лет напечатал ряд статей—„Почему я не эс-эр“, „Почему я не эс-дек“ и „Почему я не кадет“. И за эту мою беспартийность влетело мне трижды,—от сих и от тех и от оных.

В Петербурге заодно мы справили конец XIX века (собственно рождение Пушкина). На празднике в яхт-клубе народники соединились с марксистами и выпили братски. А „Новое Время“ не пустили, не приняли. И мне пришлось прочитать вслух стихи: „Разбойникам пера“ по адресу черных. Стихи были злые, колючие:

Оставьте праздник наш. Уродливого торга.
Не нужно нам даров. Возьмите их назад.
Вам чести не купить гримасою восторга.
С кадильниц дорогих у вас струится смрад.

Читаю я скверно, и за это скверночтение полиция постановила выслать меня из Петербурга.

Я, впрочем, умудрился уехать раньше высылки. Подвернулась экспедиция Джезупа,—приглашение из Америки. Американцы дали денег, а русские—ученых,—комбинация совершенно необычная. Экспедиция имени Джезупа была организована Американским Музеем Естественных Наук для установления круготихоокеанской связи между Азией и Америкой. Она продолжалась три года. Изданные ею печатные труды измеряются пудами. „Дикая чукча“ покатила за границу,—в Берлин, в Париж, в Лондон и оттуда в Нью-Йорк. В Лондоне я заговорил впервые на своем собственном мудреном английском диалекте. Его я усвоил самоучкой на досуге, в тюрьме и в Колымске. Я заговорил, и меня, к удивлению, поняли и даже отвечали, но сам я не понял ни звука в птичьем щебете и клекотании лондонского уличного говора. В Нью-Йорке пришлось не только говорить, но и писать по-английски. Сперва было скверно, а после получше.

Вторая экспедиция-ссылка, на этот раз добровольная,—Камчатка, Анадыр, Чукотская Земля. Я сделал за зиму, должно быть, 10.000 верст, собрал сотни пудов этнографических коллекций и переправил в Америку, а сам через Японию проехал во Владивосток и через Манчжурию в Питер. Тут я снова напоролся на департаментскую высылку и должен был убраться обратно, откуда приехал, к счастью, не к чукчам, а в Нью-Йорк. В Нью-Йорке прожил два года, обрабатывал „Материалы“, издал по-английски два тома in folio в 7-ми частях,—лингвистика, фольклор, материальная культура, религия, социальная организация. Работа эта не окончена еще и теперь. Писал

злободневные статьи в российские газеты и палеолитические романы: „Восемь Племен“, „Жертвы Дракона“.

В разгаре Японской войны воротился в Европу, а оттуда в Россию. Было это как раз к первому земскому съезду. Зашумела Россия, задралась. То били старые новых, как искони велось,—теперь били новые старых. Я бегал за теми и другими с записною книжкой. Ездил на Волгу и в степь и в Сибирь. Был страстным газетчиком, фельетонистом. Почувствовал себя даже всероссийским художественным репортером. Но и науки своей, чукотско-английской, отнюдь не оставлял. И так я стал человеком двуличным, двойственным. С правой стороны Богораз, а с левой, незаконной—Тан.

Есть люди, которые Тана не выносят, а к Богоразу довольно благосклонны. Есть и такие, напротив, что чувствуют к Тану особую склонность, напр., прокурор и полиция. С 1905 по 1917 г. я привлекался к суду по делам политическим и литературным раз двадцать. А раньше того расправы были административные. Не знаю, которые лучше, которые хуже,—судебные или административные. Все хуже.

В 1905 г. заиграла революция. В январе я столкнулся с Гапоном, перезнакомился с гапоновскими рабочими, особенно с Кузиным, учителем и слесарем, гапоновским секретарем. Был он человек кристальной чистоты, взял на воспитание единственного сына председателя Васильева, убитого у Нарвских ворот, когда они лежали втроем, распластавшись на снегу,—посредине Гапон, слева Васильев, справа Кузин.

Потом был московский октябрь. Октябрь № 1. Я близко стоял к центр. забастов. комитету. Еще ближе к первому Крестьянскому Союзу. Старался все увидеть, разузнать. Такая была ненасытная жадность, словно в душе, в глубине провальная дыра, — хватаешь кипящую жизнь горстями, рвешь клочьями и пихаешь в глубину. Наполняешь внутреннюю пустоту и не можешь наполнить. Тут и обдумывать некогда, — писать и отдавать людям. Скомкаешь, выбросишь несколько клочков, — нате! И дальше на лов, к новому, к новому. Это должно быть оттого, что пришлось пережить одну за другой целых три революции. Горькая пена революции, соленая, теплая кровь. И ею никак не напьешься, только захлебнешься, как пеною морской. И сохнут уста, и жажда сильней и настойчивей.

14 ноября 1905 г. нас арестовали пятерых по крестьянскому союзу, первых после конституции. Пристав даже руками развел и просил извинения: „Ведь вот же гарантия личности еще не утверждена“.

Потом нас выпустили, потом опять посадили и т. д.

За это время я много писал, стихи и прозу. Стихи мои многие ругали, даже пародии на них сочиняли. Мне трудно судить, сколько в этом правды. Но иные из моих стихов остались и вошли в обиход. Их поют на улицах мальчишки: „Кронштадские матросы“, „Прощание“. Все это стихи нелегальные, политические. А „Красное Знамя“ вошло в революционный канон. Но это не мое сочинение, а только перевод.

Из рассказов отмечу: „Колымские рассказы“ (о ссылке). Два тома „Американских рассказов“. Три тома „Чукотских рассказов“. Несколько романов, все больше этнографические, множество очерков жизни, иностранной и русской. Тучи газетных статей.

Многое выдержало по нескольку изданий. Собирал я свои сочинения не особенно настойчиво. Все-таки в 1910 г. выпустил собрание в десяти томах, в изд. „Просвещение“. В то время я отсиживал в тюрьме и корректуру читал нелегально. Такова уж судьба российского старого писателя.

Два раза объехал землю по широте, был на голоде, был на последней войне с санитарным отрядом, ходил пешком через Карпаты, забрался в Венгрию, на польском фронте был, потом отступил довольно стремительно. Был на коне и под конем. Всякого жита таскал по лопате. Всякого зелья хлебнул, угарного и пьяного. Тяжелое раздумье между двух революций досталось нам дорого. Начальство расставило вешалки по всем городам. А снизу выдвигались анархисты, боевики, всевозможные эксы, дружины боевые и разбойничьи. В то время было хорошо тем, кто был связан с партией, но мы, беспартийные, метались.

Началась война, а с ней патриотический угар. Мы, интеллигенты, писатели, художники и прочая шушера обрадовались, запели, увидели воочию сокровище наше, Федору. Нам, изгоям, духовным изгнанникам, словно подарили отечество, новое с иголочки, только что отчеканенное по военному заказу. А Федора обозлилась всерьез, заскрипела зубами, полезла, как медведица, примяла австрийца и попала на немецкую рогатину. Тогда повернулась назад и в собственном лесу стала разметать и расчищать мусор и валежник перебитыми лапами. Стон поднялся, гам, топот. Попадали вековые деревья, щепки полетели за тысячу верст. Так расцвела, разгорелась после стосильной войны тысячесильная, стихийная, безгранная революция России.

Вместе с другими я тоже мелодекламировал о верности союзу с „державами“, злопыхательствовал и ненавидел, затем проделал всю обывательскую голгофу голодного времени: семью потерял, остался один, как бобыль, и соответственно злобствовал.

А теперь, к первому десятилетию рево-

люционной годовщины, пожалуй, готов благословлять. Не за людей, за других, сам за себя готов благословить, за собственную чистку. Сколько налипло на душе всяческой дряни за полвека, как раковин на днище корабля. В банке накопилось зачем-то состояние, в ящиках писаной бумаги десятки пудов, в душе какие-то рабские привычки. Был революционер, потом беллетрист, ненасытный художник, всемирный гражданин и стал патриот, малодушный обыватель. Революция счистила все, соскребла до кровавого мяса, и старое судно снова поднялось и надуло паруса. Пока не потонет, плывет, и новые бури не страшны.

Старую литературу история заперла на ключик, и то, что было во мне Таном, поблекло, съежилось, и стал я профессором частной этнографии, оброс учениками, ассистентами, студентами с рабфака, студентами из геофака и студентами просто так—с ветру, непризнанными вольнослушателями. Так из художника-писателя, из художественного репортера-публициста стал я ученым профессором геофака ЛГУ, ученым хранителем отдела МАЭ АН СССР. Как много учености... Но то, что было во мне Таном, тоже не умерло, живет. Художественный репортер,—это огромный граммофон. Душа его вся из чувствительных пластинок, и прежде чем запеть для других, он сам воспринимает для себя.

И мой граммофон записал: „Строить, довольно ломали, надо строить". После великого пожара разбрасываем старые бревна, порою довольно бесцеремонно, и тащим новые. Прилаживаем старые доски, склеиваем битые стекла. В новом хозяйстве и старое пригодится. Но больше надо нового.

И мы, интеллигенты, российские ученые, спецы от науки прикладной и отвлеченной, из собственной души своей создаем это новое. К великому счастью, революция обновила, наши собственные души. И мы их куем и чеканим, как металл, острое оружие мы вытискиваем из собственных мыслей. Их заострили минувшие бури и былые страдания.

Перевалив на седьмой десяток, на 62 году я счастлив и доволен не тем, что я пережил целых три российских революции, их пережили и старые заборы, которые хотя покосились, но еще не упали,—я счастлив тем, что после этих революций я чувствую вместе со всеми, и теперь, когда строят, я строю с другими.

Феохари, Степан Ильич*).

Родился я в 1858 году в д. Крыжановке в 12 верстах от г. Одессы, на берегу Черного моря, в небогатой трудовой (хлебопашеской) семье. Мой дед по отцу был выходец из Греции (с острова Санторина). По рассказам, он был опытный мореход и даже имел собственное суденышко, на котором и плавал, перевозя грузы. В одно из этих плаваний пираты ограбили его и пытались задержать у себя на отнятом у него же судне в качестве знающего море капитана. Однако, ему недолго пришлось быть у них в плену. Где-то у берегов Черного моря, вблизи Одессы, ночью ему удалось бежать. В Одессе у него были знакомые греки, к которым он и направился. Так как он своего судна лишился, а на родине у него никого и ничего не осталось, то ему пришлось обосноваться в Одессе. Земляки помогли ему выхлопотать нужные документы и пр., и он занялся на Большом Фонтане огородничеством. Здесь впоследствии он женился на одной из своих сапальщиц—украинке. Отец мой, уже полугрек, тоже женился на украинке (в Крыжановке), а мы все, дети, нося греческую фамилию и считаясь иностранными подданными, были уже русскими, точнее—украинцами, так как мать была сознательной украинкой и старалась привить нам украинский язык. Лет до 14—15 я жил в деревне, помогая отцу в хозяйстве: начав свою земледельческую карьеру с пастьбы гусей, я дошел до пахания и молотьбы. В деревне училища не было, а отец хотел, чтобы мы непременно учились. Отдать нас учиться в город он не имел возможности (нас было у отца 8 сыновей), поэтому мы учились дома. Для этого отец на зиму привозил из города какого-нибудь „бывшего человека" из ночлежного дома, который и учил нас грамоте. Летом мы не могли учиться, так как в это время у каждого из нас было свое особое дело. Благодаря такому способу учения, я в 15 лет научился кое-как читать и еще хуже писать, имел маленькое представление о 4-х правилах арифметики, а о грамматике и представления не имел. 15-летним я, как и старшие братья, был отдан в учение ремеслу. Первые два брата уже работали на заводе, третий в типографии, четвертый оставался дома по хозяйству, а я был отдан в скульптурную мастерскую. Работали в мастерской от 6-ти до 6-ти, но я, как ученик, должен был еще убрать помещение, прибрать, подмести и т. д., и поэтому мне приходилось работать с 5 ч. утра до 7-ми вечера. После этого я, доставши какую-либо книжку, забирался под верстак, где первое время и спал, и читал, вернее, учился читать. Время было такое, что, живя в городе, я уже слыхал, что кого-то за что-то арестовывают, но не за грабеж или разбой. За что же? Меня этот вопрос очень интересовал. Говорили, что судят за какие-то книжки. Один приятель даже объяснял, что

*) Автобиография написана в декабре 1925 г. в Одессе.

такая книжка зовется „пропаганда", и что он ее читал. Хотя я и сомневался, чтобы он что-либо подобное мог читать, тем не менее меня это еще больше взвинтило и не давало покоя. Я брал каждую попавшуюся книжку и прочитывал ее в надежде, авось, нападу на эту самую „пропаганду" и тогда узнаю, в чем дело. Читал, что попадалось. Поэтому, бывало, читаешь и ничего не понимаешь; но думалось, что дальше, может быть, будет понятнее. Заберешься, бывало, под верстак в укромный уголок, чтобы хозяин не увидел света в окне. Попадались книжки, которые я с удовольствием прочитывал; но попадались и такие, что я ее читаю, а веки закрывают мне глаза. Первая книжка, которую я с величайшим удовольствием прочел, была: Эркмана-Шатриана „История одного крестьянина",—но это было уже много позже.

При моем сильнейшем желании добиться, „кто они и за что их судят",—очень заинтересовал меня разговор моего хозяина с его знакомым о парижских коммунарах (мой хозяин во время Парижской Коммуны жил в Париже). Из этого разговора я только понял, что и там тоже есть какие-то люди, которых преследуют за что-то.

В школе рисования Одесского О-ва Изящных Искусств, по четвергам и вторникам, вечером, а в воскресенье — днем, можно было учиться бесплатно. В один из таких дней я увидел между учениками совершенно взрослого и, повидимому, рабочего человека. Молчаливый, серьезный, даже казавшийся суровым, он очень хорошо рисовал и лепил из глины, и всем этим на меня произвел сильное впечатление: „простой рабочий, а как хорошо рисует и лепит". Очень уж он пришелся мне по душе. Как-то раз мой урок рисования не выходил у меня. Я набрался храбрости и обратился к нему за пояснением. Оказалось, что это добрейшей души человек: он толково, внятно, тихо и как-то особенно мягко объяснил мне все мои затруднения. Я был так очарован и в таком восторге, что не хотелось даже отходить от него. При дальнейшем знакомстве я узнал, что он рабочий, резчик по дереву, и зовут его Макар Тетерка; но в данное время он без работы. Впоследствии ему представилась возможность поступить к нам лепщиком по гипсу. Работая в одной мастерской с М. Тетеркой, я заметил, что он подружился с одним из мастеров, с которым я в это время жил в одной комнатке при мастерской; разделяла нас занавесочка из какой-то тряпки. Раньше, когда мой соквартирант доставал какую-либо книжонку, то давал и мне прочитывать, а тут почему-то начал прятать под подушку. Меня заинтересовало: почему это он прячется, и почему они всегда шопотом разговаривают. А вдруг эти книжки и есть та самая „пропаганда", за которую, как мне говорили, арестовывают и судят. Долго меня мучило любопытство; но всякому терпению бывает конец: я убедил себя, что здесь нет никакого преступления, если я возьму эту книжку: что бы там ни писалось, я давал себе клятву, что никому-никому, ни единой душе об этом не скажу. И раз, когда мой соквартирант ушел из дому, я взял из-под подушки маленькую брошюрку, насколько мог скорее прочел ее, и... ничего не понял,—вероятно потому, что я волновался, спешил и прыгал со строки на строку. Но я на этом не успокоился и стал при каждом удобном случае заглядывать под подушку. Таким образом, я прочел „Копейку", „Сказку о четырех братьях" и т. д. Понемногу я начал разбираться: в них говорится о рабочих и хозяевах, о бедных и богатых, почему одни бедные, а другие богатые, и так далее. Постепенно я начал заговаривать с Тетеркой на эту тему. Первое время он больше слушал, чем говорил, и лишь кое-что объяснял. Видно было, что он все еще смотрит на меня, как на малыша. Когда же он увидел, что я не на шутку интересуюсь этим, то начал испытывать меня: „А знаешь, что за это арестовывают и ссылают в Сибирь и даже в каторгу" и т. д.; но когда увидел, что все эти ужасы меня не пугают, мой Макар Васильевич заговорил иначе и начал давать кое-что читать. Только после долгих испытаний в конце 1876 г. он ввел меня в гор. рабочий кружок. В это время были еще кружки: „вокзальский", „интеллигентский" и кружок „ивановцев" во главе с Иваном Горяиновым („сапожная коммуна"). — Революционная деятельность моя, если можно так ее назвать, была кратка и незначительна: я не успел появиться на свет, как был изъят. До половины 1878 г. в Одессе не предпринималось никакого крупного дела. Вся наша деятельность того времени заключалась в пропаганде среди рабочих, крестьян и солдат, организовывались в кружки, развивались, учились и т. д. У себя, в мастерской, я не решался заниматься пропагандой: во-1-х, я еще ученик-мальчик, а значит, „млад еще учить уму-разуму мастеров"; во-2-х, для нашей мастерской достаточно было и одного Тетерки, тем более, что рабочих было всего 5—6 человек. Поэтому я после „шабаша" работы, в субботу вечером или в воскресенье утром, отправлялся к себе в деревню для пропаганды среди крестьян; но и тут я оказался не авторитетен, по той же причине, хотя я не унывал и доказывал правильность своих рассуждений.

Впоследствии дом моих родных был складом нелегальной литературы, в особенности перед процессом Ковальского и др., когда предполагались демонстрации, значит, и аресты. Во второй половине 1878 года

перед процессом И. Ковальского и др. товарищей, и Одесса зашевелилась немного иначе. Устраивались громадные собрания на Ланжероне, человек по 300, на которых решался вопрос о демонстрации: быть или не быть таковой. После долгих споров и выяснений решили: в виду того, что в Одессу к процессу Ковальского прибыло много разных войск, между прочими и две роты башкир, — демонстрации не делать, и даже советовалось не брать с собою оружия, так как могут быть произведены на улице у здания случайные аресты, и попавшийся с оружием может сильно пострадать. Я, как, вероятно, и другие товарищи, не пожелал расстаться с револьвером, и он мне пригодился. Когда был объявлен приговор суда, кто-то крикнул: „Ковальскому смертная казнь“. На улице поднялся шум, выкрикивания: „Палачи, мерзавцы“ и т. д. В это время из двора суда высыпали башкиры и начали разгонять публику прикладами. Когда я почувствовал прикосновение приклада к моей голове, то, чтобы остановить такой способ увещевания, я выхватил револьвер и начал стрелять. Выпустив шесть пуль, я пошел домой за патронами; жил я здесь же, второй дом от места стрельбы. Солдаты возвратились к себе во двор, а мы двинулись на Соборную площадь, а оттуда на бульвар. Несмотря на то, что все это время произносились речи и т. д., арестован в этот вечер никто не был; была лишь одна попытка одного офицера арестовать говорившую Гуковскую, но публика отняла ее у него. В последующие дни начались аресты, и я счел нужным скрыться на время. Прожив в м-ке Николаевке месяцев 5, я возвратился в Одессу, но товарищи сообщили мне, что меня ищут, и посоветовали уехать из Одессы. В начале января 1879 г. я уехал в Киев. Поселились мы с Игнатом Ивичевичем у одних старичков, где-то на окраине города, за полтора рубля в месяц. Оба мы—беженцы из Одессы, беспаспортные и безденежные. Старуха купила нам два снопа соломы для постели, которые она на ночь расстилала нам в кухоньке на полу; одним пальто мы застилали солому, чтобы она не колола, другим укрывались. Очень жалею, что не помню фамилии этих двух прелестнейших старичков. Прожили мы около месяца. Вечером 11 февраля того же 79-го года мы с Игнатом отправились к его брату, Ивану Ивичевичу, где застали довольно большую компанию. Несколько человек из них только что приехали из других городов. Не прошло и $1/2$ часа, как в щель двери хозяйка квартиры шепнула: „Жандармы идут“. Еще через минуту появились жандармы; не входя в комнату, в приоткрытую дверь спрашивают: „Здесь живет Дебогорий-Мокриевич?“ (Дебогорий-Мокриевич жил в той же квартире, только в следующей комнате). „Нет“, отвечает Иван Ивичевич, стоя у самых дверей с револьвером в руке, заложенной за спину. „А ваш паспорт? фамилия?“ На этот вопрос Ив. Ивичевич сказал: „Вот“— и выстрелил. Как с той, так и с другой стороны началась стрельба. В результате у нас было четыре ранено (оба брата Ивичевичи, Брантнер и „неизвестный“—Иванченко), а у жандармов один убит. На суде выяснилось, что все жандармы были в кольчугах. В этот вечер было арестовано 14 человек: 10 на квартире Ивичевича и 4 чел. в другом месте. Все 14 человек отказались назвать свои фамилии, а впоследствии отказались и от участия в судебной процедуре.

Через 2 месяца нас судили военно-окружным судом. Оба Ивичевича умерли от ран; двух из нас повесили—Брантнера и Свириденко, а из других сопроцессников—Осинского; остальные были приговорены на 14 л. 10 м. к каторге каждый. По конфирмации некоторым сроки уменьшили. Мне, как несовершеннолетнему и „совершенно неграмотному“, срок уменьшен почти на $2/3$, т.-е. было дано только 5 лет 4 мес. Получилось это вот почему: сначала я, как и другие, отказался назвать себя; в обвинительном акте я назван „неизвестный малого роста“, а так как я был очень молод, то была назначена комиссия из врачей, которая должна была определить мне лета по зубам мудрости. Первая комиссия определила, что мне лет 18, так как зубов мудрости нет и признака. Вторая комиссия прибавила мне еще один год, т.-е. 19. Должен сказать, что зубы мудрости у меня и по настоящее время не выросли. „Совершенно неграмотным“ я оказался благодаря смотрителю тюрьмы. Во время суда смотритель давал характеристику каждому из нас, так как других „благородных свидетелей“ не было, да и никаких данных в их руки не попало, потому что во время перестрелки все было сожжено, кроме печатей всяких учреждений. Для того, чтобы привести хоть какие-нибудь данные нашей „преступной“ деятельности, прокурор Стрельников не стеснялся никакой ложью и подтасовкой фактов; против нас он приводил все то, что было когда-либо кем-либо сделано, и что, м. б., предполагалось в будущем. Этот желчно-шипящий, пресмыкающийся человек старался всю желчь излить на нас и, как только мог, забросать нас грязью, зная, конечно, что никто ему возражать не будет, так как все мы отказались участвовать в этом так называемом суде. Как для Судейкина, получившего за наш арест чин капитана, так и для полковника, ставшего вскоре генералом, Стрельникова, на поприще политических процессов наш про-

цесс был первым дебютом. Когда очередь дошла до меня, то смотритель заявил: „Неизвестный малого роста держал себя вызывающе, грубый, невоспитанный и совершенно неграмотный; я заставал его раза два с книгой в руках, но он ее держал вверх ногами“. Над этим курьезом товарищи по процессу смеялись: „Вот, де, малой и выгадал: оказался несовершеннолетним и совершенно неграмотным“ (см. журнал „Объединение“, 5 кн. за 1920 г., стр. 198). Чтобы узнать наши фамилии, жандармы устраивали нам „свидания“ с дворниками, швейцарами, лакеями и тому подобными господами, которые могли бы узнать кого-либо из нас,—сначала только с киевскими, а затем явились и из Харькова. Этот прием дал свои результаты: из всех нас 14 человек остались не узнанными только трое: я, „Антонов“ (Свириденко) и „неизвестный, раненый в голову“ (Иванченко).

Посоветовавшись с товарищами, я решил открыться, тем более, что фамилии моей одесские жандармы не знали, а киевские и того меньше. На третий день суда я заявил, что я такой-то, и это может удостоверить мой отец и дядя, которые живут там-то. Сейчас же телеграфировали, и на 4 или 5 день суда мои родные приехали и подтвердили, что я такой-то, и что мне около 20 лет. С этого момента я стал Феохари официально, а для товарищей я так и остался „малой“.

После прочтения окончательного приговора и после казни Брантнера, Свириденко и Осинского, меня и „неизвестного“, как не привилегированных, заковали в кандалы, обрили полголовы, а ночью всех нас увезли, окруженных казаками и жандармами. Привезли и высадили нас где-то в лесу. На рассвете пришел поезд, остановился: посадили нас в вагон и повезли в Мценскую тюрьму. В Мценске сидеть пришлось недолго. Из Мценска поехали дальше на Н.-Новгород, где нас посадили на баржу. Из Перми — почтовыми до Красноярска. В Красноярске нас разделили; 5 человек: меня, неизвестного, Дебогория-Мокриевича, Волошенко и Избицкого отправили по этапу при уголовной партии в 400 чел. Всю дорогу нас неоставляла мысль о побеге. Один из спутников, бродяга,—фамилии его не помню, согласился безвозмездно смениться с кем-либо из нас: он должен был выйти на одном из этапов на поселение. Мы выбрали Владислава Избицкого, как более энергичного и здорового, с тем, чтобы он с воли помог нам всем бежать. Из этого плана ничего не вышло, так как В. Избицкий где-то погиб; были слухи, что его убили и ограбили. После этой неудачи мы решили сами бежать. На одном из этапов ночью пробили потолок, вылезли на крышу, и оттуда надо было прыгать на землю. С нами был один уголовный, тоже бродяга, знающий местность. В первой паре были этот самый уголовный и Волошенко. Уголовный, не ожидая нас, пока мы выстроимся на конце крыши, чтобы вместе спрыгнуть, прыгнул один; часовой поднял тревогу в то время, когда мы еще не успели добраться до конца крыши. Нам остался один путь: возвратиться назад. Моментально поднялись шум, беготня, стрельба. Тем временем мы возвратились назад в камеру и расселись на нарах, как ни в чем не бывало. Через некоторое время является конвой с офицером к нам в камеру. Офицер увидел, что мы все налицо, и обрадовался; но, тем не менее, не преминул прочесть нам нотацию: „Как вам не стыдно, а еще дворяне, благородные люди, а как те крысы полезли в норы“. Несмотря на то, что мы были ужасно огорчены и угнетены такой неудачей, мы не могли не расхохотаться.

В дальнейшем пути мне и „неизвестному“ два уголовных парня предложили смениться с ними —мне за 2 руб., а „неизвестному“ за 4 р., но ни у меня, ни у него не было ни копейки; мы отдали все свои деньги Избицкому. Таким образом, из-за 2 руб. пришлось итти на каторгу. В Иркутске „подзимовали“, пока установился зимний путь. Из-за голодухи многие из нас переболели тифом (10 коп. кормовых, а фунт хлеба стоил 7 коп.). Когда пришло время отправки на Кару, то не оказалось восьми человек,—бежали. Побег был замечательный по своему плану и выполнению. Пока нас было мало, мы сидели в одиночках, но постепенно народ прибывал, и тогда нас перевели в две сравнительно большие камеры: одну из них мы отвели для больных, а другую для здоровых. Из больничной камеры был сделан подкоп: через капитальную стену к смотрителю тюрьмы в подполье; из подполья был ход наверх в кладовую, а из нее в переднюю, затем к смотрителю во двор и на улицу. После каждого выпуска (через все эти ходы) я, как провожатый, должен был все их позакрывать и дыру заделать. Говорят, первый блин комом, а у меня он вышел последним. Проводив последнюю группу, при пролезании через дыру в капитальной стене я застрял: ни вперед, ни назад не могу; помочь вытянуть некому было. На меня нашел ужас: а вдруг я не смогу сам вылезти, и из-за этой чепухи может открыться побег. Я напряг все свои силы, начал извиваться и, в конце концов, мокрый, как мышь, вылез. Так бежали товарищи из тюрьмы, а затем попадали опять в тюрьму, так как в Сибири легче выбраться из самой крепкой тюрьмы, чем без посторонней помощи укрыться на воле. Это обстоятельство погубило много побегов, а значит, и людей. Второй, тоже боль-

шой побег, был на Каре (место каторги). Здесь тоже бежало восемь человек, но в конце концов переловили всех. И. Мышкин и Н. Хрущов успели добраться до Владивостока, и только там их задержали. В самом побеге из Иркутской тюрьмы и Кары я не участвовал, но в устройстве и работах я принимал большое участие, в особенности в Иркутске, где, кроме самой работы в подкопе, я был и провожатым: закрывал и заделывал все отверстия, через которые бежавшие выходили. В конце концов пришлось даже стать чуть не тюремщиком, так как пожелала еще одна пара выйти на волю, но эта пара была из ненадежных и могла „засыпать" побег, а в особенности один из них, некий А. Баламез, который держал себя на суде предательски. Поэтому я эту пару отказался проводить, а другого, знающего все ходы и выходы, не было. На Каре я был столяром в мастерской, через которую бежало 8 товарищей.

По окончании своего срока каторги, 5 лет, я был поселен в Якутской области, в Мегенском улусе. Водворен я был в якутской юрте, в которой помещалось 9 душ якутов и около 20 штук коров под одной крышей. Между коровами и людьми была лишь решетчатая перегородка с отверстием для прохода. О качестве воздуха нечего и говорить. Поселившись в Якутии, я сначала занялся хлебопашеством, потом и огородничеством. Дружно, мирно и любовно я прожил с якутами семь лет и теперь с удовольствием вспоминаю якутов, забитых и запуганных чиновниками. В половине 1890 г. я уже имел право приписаться в крестьяне, но так как я „иностранно-подданый", то меня решили выслать на „родину"—не в Россию, как я в первый момент предположил, а куда-то, на какую-то иную родину, о которой я и представления не имел.

На обратном пути пришлось опять посетить все тюрьмы, через которые я 12 лет тому назад проходил. После всех мытарств „свободного человека" меня посадили на пароход и отправили „на родину". Дальше Константинополя я не поехал, так как учиться мне говорить по-турецки или „по-родному", т.-е. по-гречески, не хотелось: я одинаково ни того, ни другого не знал, и, кроме того, Константинополь все-таки ближе к России, а в особенности к настоящей родине—Одессе.

Из Константинополя я, одолжив у одного грека, турецко-подданного, его паспорт, двинулся через Севастополь в Одессу. С родными я за 5—6 месяцев нагляделся и наговорился, но из товарищей я никого не нашел, а тут начальство разнюхало, что я где-то тут обитаю. Родные, в испуге, что меня опять заберут, начали просить меня уехать на „родину". Прожив еще месяцев 5 зайцем и не нашедши никого, я кое-как бежал „во-свояси". Приехав опять в Константинополь, я с большим трудом получил работу—столяром в Афонском подворьи. Когда кончилась моя столярная работа, там же устраивалось центральное отопление, и я, подучившись, постепенно стал настоящим печником. После монастыря я попал на работу в турецкое морское министерство, но уже старшим печным мастером; подрядчиком был наш русский печник, у которого я. в качестве мастера-печника, до самого возвращения в Россию работал. Благодаря печам, я возвратился в Россию. Дело было так: понадобилось в русском посольстве переделать одну или две печи. Подрядчик отправил меня. Из этих двух, до безобразия громадных и неуклюжих печей, я сделал маленькие и изящные. Послу они так понравились, что он заказал переделать еще одну и еще, и в конце концов я переделал 8 печей.

Посол Нелидов, узнав от подрядчика, что я скульптор, стал меня расспрашивать, как я из скульпторов стал печником; я ему рассказал, кто я, и он обещал исходатайствовать мне разрешение вернуться в Россию. Однако, приблизительно через полгода или больше мне в консульстве объявили, что „отказано". Это было при Александре III, но при Николае II Нелидов возобновил ходатайство, и в конце 1895 года я был возвращен в Россию без права въезда в Москву и Петербург и на 2 года под гласный надзор полиции. После того я прослужил около 10 лет смотрителем на городских скотобойнях, а в 1908 г. Толмачевым был удален за неблагонадежность. Как и почему это случилось, и что было потом, это уже относится ко времени новой русской истории.

Фигнер, Вера Николаевна*).

Я родилась в 1852 году в Казанской губернии. Предположение о родстве моего отца, Николая Александровича Фигнер, с известным партизаном 1812-го года, Александром Самойловичем Фигнер, лишено основания. Документы, сохранившиеся в нашей семье, свидетельствуют, что моим дедом с отцовской стороны был Александр Александрович Фигнер, дворянин—выходец из Лифляндии, в чине подполковника приписанный в 1828 г. к дворянству Казанской губернии.

Мой дед с материнской стороны, Христофор Петрович Куприянов, служил уездным судьей в г. Тетюшах и был крупным помещиком. Кроме 400 десятин в Тетюшском уезде, он владел 6.000 десятин в Уфимской губернии. Но дедушка любил жизнь, был

*) Автобиография написана в 1926 г. в Москве.

расточителен и так бесхозяйствен, что после его смерти наследники отказались от своих прав; сохранились только 400 десятин при д. Христофоровке, записанные на имя моей матери, Екатерины Христофоровны, еще при жизни деда; она разделила их впоследствии с двумя сестрами и братом—Петром Христофоровичем.

Мой отец служил сначала лесничим в Мамадышском уезде, и первые шесть лет жизни я провела в доме, который стоял на опушке большой лесной дачи, где кругом не было ни другого жилья, ни селенья. Так как отец часто бывал в разъездах, то страх перед опасным соседом—„дремучим" лесом, с рассказами о разбойниках, беглых и медведях наполнял все мои детские годы.

Отец и мать, совершенно различные по темпераменту, были оба люди энергичные, с твердой волей, очень деятельные и работоспособные. В той или иной мере они передали эти качества всем нам—4 сестрам и 2 братьям, из которых ни один не прошел бесследно в жизни. Брат Петр был крупным горным инженером; Николай сделал блестящую карьеру, как певец русской оперы, а сестры: я, Лидия и Евгения участвовали в революционном движении,—я провела 20 лет в Шлиссельбургской крепости, а они по суду были отправлены в Сибирь. Что касается младшей сестры Ольги, то она была энергичной работницей в области культурно-просветительной деятельности в Омске и в Ярославле.

Воспитание, полученное нами, было суровое. В моей книге „Запечатленный труд" (ч. 1-я) мое детство описано подробно. В нем не было признания личности ребенка, не было ласки и близости с родителями; но царила дисциплина, прививались спартанские привычки, а к братьям применялись нелепые кары и телесные наказания. Отраду и утешение, а порой и защиту, мы находили только у старой няни—Натальи Макарьевны. Она была крепостной, недаром давно отпущенной на волю: за полвека своей жизни она вынянчила три поколения барчат. Строгий, взыскательный отец был вспыльчив, а мать, по натуре мягкая и гуманная, первое десятилетие замужней жизни не имела ни того развития, ни того влияния, которые приобрела с годами. Да и отец, бывший на 15 лет старше ее, сильно изменился, когда с падением крепостного права стал служить мировым посредником, и реформы начала царствования Александра II потрясли старые нравы и устаревший быт.

В 1858 году мы переехали в Тетюшский уезд, в Христофоровку, и вся внешняя обстановка нашей жизни совершенно изменилась. Мрачная тень „дремучего" леса исчезла. Большой дедушкин дом стоял в саду из фруктовых деревьев, а за ним шел парк с солнечными полянами, белыми березками, с прудами и оврагами, на дне которых бились роднички. В густой чаще орешника, черемухи и клена рос папортник, „цветущий раз в сто лет", краснели волчьи ягоды и костеника, а на опушке было множество земляники. В этой привольной обстановке, где было все, что дает радость детям, и где мы прожили 5 лет, я полюбила природу. Общение с нею в ранние годы, в связи с позднейшими впечатлениями, сделало богатый вклад в мой духовный мир: оно дало мне полноту жизни, то мироощущение, которого лишены постоянные жители городов.

Если суровость отца и отсутствие нежных отношений с родителями не оставили светлых воспоминаний, то в домашней обстановке надо признать и хорошее: между отцом и матерью никогда не было ссор, в доме не было слышно бранных слов и не было лжи, т. к. строго соблюдалось правило ничего не скрывать от отца; жизнь в деревне и отсутствие знакомств избавляли от нелепых городских условностей, и мы не знали ни лицемерия, ни пересудов и злословия.

Вторая полоса моей жизни наступила в 1863 г., когда меня отдали в Казанский Родионовский институт. Я оставалась в этом закрытом учебном заведении шесть лет и в течение их только четыре раза ездила домой, в деревню, на шестинедельные каникулы.

Наша жизнь в деревне была очень уединенная, не только без соседей, но и без всякого соприкосновения нас, детей, с крестьянским населением. Это обстоятельство, на ряду с замкнутым пребыванием до 17 лет в институте, было условием крайне неблагоприятным для моего знакомства с жизнью и людьми.

Что касается образования, то дома я училась охотно, а читать книги начала с 9 лет и с таким увлечением, что вечером приходилось их отнимать. К институту я была хорошо подготовлена гувернантками и сразу заняла место первой ученицы. Кончила я с шифром. Но знаний институт давал чрезвычайно мало; книг для чтения не полагалось, существовала библиотека, но всегда оставалась под замком; случайно попадавшие к нам романы приходилось читать тайком. Если мое умственное развитие в эти шесть лет только задерживалось, а не остановилось—этим я обязана моей матери, которая летом давала мне и сестре Лидии лучшие произведения русской и иностранной литературы, и на вакациях мы с сестрой все дни проводили за книгой.

Когда мне было 13 лет, дядя Куприянов позволил мне взять в институт журнал „Русское Слово" за целый год. В нем я прочла романы Шпильгагена: „Один в поле не воин", „Между молотом и наковальней"

и остальную беллетристику. Чтение, которое давала мне мать, состояло исключительно из повестей и романов; они действовали, конечно, главным образом на чувство. Критических и публицистических статей в журналах я совсем не читала, и серьезные книги ко мне в руки не попадали. В институте всего лишь раз моя классная дама, Черноусова, дала мне один том Белинского — он не произвел на меня никакого впечатления, то же самое случилось и с несколькими статьями Добролюбова, случайно прочитанными мною, а мне тогда было уже 15 лет. Реальная жизнь, вплоть до выхода из института, шла мимо меня, а так как встреч с людьми у меня не было, то вся действительность доходила до моего сознания лишь пропущенной через художественную призму. Воспитательных влияний в институте совершенно не было. О духовном развитии нашем не заботился никто. В скудной духовной атмосфере тем большее значение имели некоторые произведения литературы. Так, роман „Один в поле не воин“ с образами Сильвии и Лео произвел на меня глубокое впечатление и остался памятен на всю жизнь. Другой книгой, которой в 13 лет я увлеклась вместе со всем классом, было евангелие, некоторые принципы которого—как отдача себя всецело раз избранной великой цели,—до сих пор сохранили в моих глазах свою великую ценность. Да и все другие высшие моральные ценности я получила из этой книги. Два года спустя поэма Некрасова „Саша“, которая учила согласовать слово с делом и была дана преподавателем Порфирьевым нам для разбора, была третьим произведением, имевшим решающее влияние на мое духовное развитие.

Хорошей стороной жизни в институте было чувство товарищества, которое обыкновенно развивается в общежитиях молодежи. Это чувство было хорошей подготовкой для моего будущего, как на свободе, так и в тюрьме.

В 1869 г. я вышла из института и вернулась домой в село Никифорово, куда мы переехали за год до моего поступления в институт, так как Христофоровка (в 7 в. от Никифорова) перешла во владение дяди и тёток. В Никифорове единственным частым посетителем нашим был дядя, П. Х. Куприянов, артиллерийский офицер в отставке, приехавший хозяйничать и выбранный потом в мировые судьи. Дядя и его жена были людьми передовыми; он был из тех, кого в то время называли „мыслящими реалистами“; прекрасно знал произведения Чернышевского, Добролюбова, Писарева, Д. С. Милля, и в общественном смысле я несомненно многим была обязана его влиянию. Он познакомил меня с учением утилитаризма, и я сразу усвоила теорию, что целью человека должно быть наибольшее счастье наибольшего числа людей. Дядя подсмеивался над золотыми безделушками и красивыми платьями, которые я носила, вычислял, сколько пудов ржи или овса навешано на меня в виде золота и тканей и старался привить мне любовь к естествознанию. Но если его ироническое отношение к нарядам незадевало меня, так как воспитание в институте при умной и доброй начальнице С. А. Мертваго было почти монашеское, то относительно естественных наук пробудить во мне любознательность ему не удалось. Любовь к изучению природы пробудилась во мне лишь много лет спустя, когда я находилась в Шлиссельбурге, и кругом не стало людей.

Вся обстановка предшествующих лет совсем не содействовала тому, чтобы из меня вышла светская барышня, и меня, живую и энергичную, скоро стала тяготить бездейственная жизнь в деревне. Окружающая крестьянская беднота, хотя я видела ее, можно сказать, издалека, не могла остаться незамеченной. Контраст с моим собственным положением, в связи с приподнятым настроением после выхода из закрытого учебного заведения и частыми разговорами с дядей о земстве, всеобщем народном образовании, медицине и тому подобных вопросах, в особенности же теория утилитаризма, наводили меня на мысль о служении обществу, возбуждали желание быть полезной. И когда в одной журнальной статье я прочла, что Суслова в 1868 году кончила медицинский факультет в Цюрихе, я сразу решила сделаться врачом и ехать для этого в Швейцарию.

Однако, осуществить этот план мне удалось только через два года, уж после того, как в 1870 г. я вышла замуж за молодого образованного судебного следователя—А. В. Филиппова.

Случилось однажды, что, сидя в соседней комнате, я слышала допрос человека, повидимому солдата, выдававшего себя за непомнящего родства, и А. В. всячески ловил его. Это произвело на меня такое впечатление, показалось таким гнусным, что с этого дня я стала настаивать, чтобы А. В. оставил должность и отправился вместе со мной в Цюрих для поступления на медицинский факультет. Продав все, что было возможно, мы исполнили это, и оба поступили в Цюрихский университет; то же самое сделала и сестра Лидия, поехавшая с нами.

С приездом в Швейцарию началось то преобразование моих взглядов, которое определило дальнейшее направление моей жизни. До этого демократический республиканский строй Швейцарии и Америки казался мне политическим идеалом; так читала я у Диксона, так говорил и дядя: он

не был социалистом, и до отъезда за границу о социализме я не слыхала ни слова. Роман „Что делать?“ и отчеты по процессу нечаевцев не произвели на меня никакого впечатления. К тому же дядя по поводу процесса сказал: „Всякий народ заслуживает то правительство, кот. он имеет“,—а я не могла тогда возразить ему. О личности Лассаля, о западно-европейском рабочем движении, Интернационале и Коммуне я не имела ни малейшего понятия. Теперь новые идеи раскрывали передо мной широкие горизонты.

В Цюрихе в то время училось уже более 100 русских женщин, и существовала большая колония мужской учащейся молодежи, почему-либо не попавшей в учебные заведения России. Существовала уже года два русская библиотека, очень хорошо составленная. Кроме заграничной нелегальной литературы времен Герцена и Огарева, в ней были собраны лучшие произведения иностранных писателей - социалистов, все главные сочинения по истории революций и народных движений· была представлена вся текущая пресса по рабочему движению. Часть студентов, приехавших раньше нас, уже окунулась в область новых идей и была захвачена ими: они ходили на собрания рабочих, собирали деньги на стачки, ездили на конгрессы Интернационала. Для меня, знакомой до тех пор лишь с идеями либерализма, многое было непонятно и даже чуждо. Постепенно и не без колебаний мои симпатии определились. Тогда я приняла участие в одном из цюрихских кружков—кружке „фричей“: это была группа студенток, получивших название от фамилии хозяйки, у которой некоторые из них жили. Первоначальной задачей кружка было изучение политической экономии (по Миллю, с примеч. Чернышевского), французских социалистов: Кабэ, С. Симона, Фурье, Луи Блана; Прудона; сочинений Лассаля; затем истории революций, начиная с французской революции 1789 г. и до Парижской Коммуны. В программу входило и изучение народных движений в Германии и России.

Должна сказать, что стать на сторону революции и социализма меня подвинуло не только чувство социальной справедливости, но, быть может, в особенности жестокость подавления революционных движений правящим классом.

Кружок, сплотившийся на изучении социального вопроса, не ограничился теориями и через год преобразовался в революционную организацию, целью которой была пропаганда социалистических идей в России. Членами организации были: Бардина, Каминская, две сестры Любатович, три сестры Субботины, Аптекман, В. Александрова, моя сестра Лидия и затем я.

Устав кружка был почти дословной копией с устава секций Интернационала Юрской Федерации. Последняя, как известно, была анархической и шла за Бакуниным. Странным образом солидарность „фричей“ с анархическим Интернационалом мирно уживалась с тем, что когда в Цюрих приехал Лавров, и была основана тайная типография для печатанья „Вперед“, члены кружка очень конспиративно ходили набирать этот журнал государственника Лаврова.

К 1873 году Цюрих стал оживленным центром русской заграничной молодежи; благодаря пребыванию Лаврова и частым посещениям Бакунина в этот город из России начали приезжать люди революционного и оппозиционного направления. Обратило на Цюрих свои взоры и русское правительство. В июне 1873 г. оно издало распоряжение, что учащиеся, которые останутся в Цюрихе, не будут допущены к экзаменам в России, так как студентки вместо науки занимаются революцией. Это был конец Цюриху: часть учащихся, увлеченная социалистическим учением, вернулась на родину для пропаганды, другие для продолжения занятий поехали в Париж, Женеву и Берн; в последний отправилась и я.

В конце того же года и в первой половине 1874-го года члены кружка „фричей“ вернулись в Россию, чтобы поступить для пропаганды на фабрики в качестве простых работниц. Я не решилась тогда на это: мне было трудно отказаться от профессии медика, к которой я стремилась с 70-го года. Тут было и честолюбие, так как звание доктора медицины и хирургии для женщины было еще редкостью; говорило и самолюбие—мне было стыдно отступить, хотя бы и по высокому мотиву, и не достигнуть раз поставленной цели. Однако, когда вся организация „фричей“, объединившаяся с кружком „кавказцев“, в 1875 г. после кратковременной деятельности была арестована, и Марк Натансон (старый чайковец), приехавший за границу, передал мне призыв товарищей вернуться в Россию для поддержания революционных связей, которые были ими заведены в Москве и других городах—я сочла себя нравственно обязанной исполнить эту просьбу, хотя это и стоило мне большой внутренней борьбы. В декабре 1875 года я оставила университет и выехала из Швейцарии.

По приезде в Москву я нашла мало утешительного. Социалистическое „движение“ „в народ“ было разгромлено по всей России; люди самые энергичные находились в тюрьме или эмигрировали; дружных, сплоченных организаций не существовало.— К лету 1876-го года я сдала экзамен на звание фельдшерицы и, получив развод с мужем, переехала в Петербург. К осени

там началось оживление и новая группировка революционных сил. Марк Натансон был в то время в Петербурге бесспорно деятелем самым выдающимся по опытности, энергии и организаторской способности и по праву стал в центре обновляющегося революционного дела. На очереди стояла переработка прежней программы деятельности. Я не буду говорить о ней подробно: она изложена в моей книге „Запечатленный Труд“ (ч. I-ая). По тогдашним условиям русской жизни, когда городские рабочие были теми же крестьянами и не являлись классом промышленного пролетариата в западно-европейском смысле, областью революционной деятельности попрежнему оставалось крестьянство. Но в основу ее были положены не теоретические идеалы будущего, но нужды и требования, уже в данное время сознанные народом. В программе было важное нововведение: намечалась борьба с правительством, о которой в первую половину 70-х годов не было и речи. Жестокие репрессии против революционного движения изменили настроение и, сообразно с этим, программа требовала вооруженного сопротивления при арестах, обуздания произвола агентов власти, насильственного устранения лиц жандармского и судебного ведомства, отличавшихся особой свирепостью, агентов тайной полиции и д. т. Кроме того, для поддержания и успеха народного восстания — этой конечной цели революционной деятельности — программа указывала на необходимость „удара в центре“, при чем уже говорили о применении динамита.

В обсуждении этой программы, которую мы называли „народнической“,*) участвовала и я вместе с Ю. Богдановичем, Драго и Писаревым; но когда дело дошло до организации тайного общества для осуществления ее, я, увлеченная личными привязанностями и чувством уважения к чайковцам (Ю. Богданович, Драго, сестры Л. и А. Корниловы, Веймар и др.), осталась в их группе, а не примкнула, как это следовало бы, к Натансону, около которого „на деловом принципе“ объединились люди, которых я тогда еще не знала. Из них образовалось тайное общество, которое, как мне говорил Марк, будет называться „Земля и Воля“, в память одноименного общества 60-х годов. Эти заветные слова—девиз общества, нашитые на красное знамя, были подняты 6-го декабря 76-го года на Казанской площади молодым рабочим, Я. Потаповым, на демонстрации в ознаменование основания о-ва. На этой демонстрации присутствовала и я с сестрой Евгенией.

Группа, членом которой я состояла, временно, после процесса 193-х, увеличилась до 40 человек, но по разным причинам растаяла, распылилась, и в 77—79 г. г. в деревне работали лишь немногие. Богданович, Писарев, Александр Соловьев, рабочий Грязнов, Мария Лешерн, моя сестра Евгения и я выбрали для поселения Самарскую губернию. Я устроилась в качестве фельдшерицы в с. Студенцы, Самарского уезда. Но мы оставались там недолго: арест нашей знакомой—Чепурновой, ехавшей из Петербурга с письмами к нам, заставил, во избежание ареста, сняться с места и перебраться в Саратовскую губернию, в которой расселились члены „Земли и Воли“ вскоре после образования общества. Александр Константинович Соловьев и товарищи основались волостными писарями в Вольском уезде, а я получила место фельдшерицы в селе Вязьмине Петровского у., где вместе с сестрой прожила 10 месяцев. Весной 1879 г. с нашего ведома Соловьев, убедившись в бесплодности работы в деревне при тогдашних полицейских условиях, уехал в Петербург с решением совершить покушение на жизнь Александра II. 2-го апреля он исполнил это, но потерпел неудачу. Следствие по его делу скомпрометировало всех нас, и нам во второй раз пришлось оставить свои места. Но и помимо этого, условия деятельности в деревне заставляли меня покинуть Вязьмино. Как только мы основались, и определилось наше отношение к населению, волостной писарь, князь Чегодаев, живший бок-о-бок с нами, провозгласил: „приехали новые люди“. Появление женщины на медицинском поприще было тогда неслыханной новостью для крестьян, и народ, жаждущий исцеления, ринулся ко мне—я работала с 5 часов утра и до заката. В трех волостях, которыми я заведывала, не существовало ни одной школы,—моя сестра Евгения объявила, что дети, желающие учиться, могут приходить к ней—так образовалась импровизированная школа. Мы совершенно отмежевались от конторы помещика — графа Нессельроде, который имел тысячи десятин, а крестьян отпустил на нищенский надел; отмежевались от взяточника писаря и от священника, вымогавшего крестьянские гроши за требы. Деревня сразу признала нас за своих друзей. По вечерам, захватив книгу, мы шли в избу того или другого крестьянина, к которому сбегались соседи. Но мы не вели революционной пропаганды и читали только легальные издания. Если в Самарской губ. я впервые

*) Тогда *впервые* мы стали называть себя „народниками“ вплоть до появления органа „Земля и Воля“ (в 78 г.), когда название „землевольцы“ сделалось общепринятым. В противоположность нам—северянам, южане, имевшие своим средоточием Киев и Одессу, назывались „бунтарями“.

Насмешливыми названиями для П-бских землевольцев было „троглодиты“, а для южан—„вспышкопускатели“.

Первые политики—землевольцы пустили в ход назв. „деревенщина“, в насмешку над теми, кто держался за поселение в деревнях.

лицом к лицу столкнулась с ужасающей нищетой народа и была буквально подавлена ею, то здесь, в Вязьмине, я увидела и оценила все расстояние между нашей, выработанной в городе, революционной программой и культурным уровнем населения, забитого и неспособного ни на какой отпор и защиту своих интересов — о революции здесь не могло быть и речи. Так было— и тем не менее на нас посыпались доносы, клеветы в земство и к губернатору. Распускались нелепые слухи, было учреждено шпионство. Однажды, в наше отсутствие, приехал исправник, допрашивал крестьян, не говорили ли мы против царя и бога, и закрыл школу на том основании, что, как выразился старик врач моего участка,— „в России нельзя и азбуке учить без разрешения полиции". Создались условия, при которых крестьяне стали бояться открытого общения с нами, и дальнейшее пребывание в деревне стало бесцельно.

Из Вязьмина я поехала в Тамбов, где оказалось довольно много членов „Земли и Воли". От них я получила приглашение на Воронежский съезд, назначенный на 24 июня. Его целью было определить дальнейшую деятельность общества. В то время среди членов ясно обозначились два течения, которые вызывали разногласие. Политическая часть программы „Земли и Воли", едва намеченная в 1876 году, в течение первых двух лет существования общества оставалась мертвой буквой. Но выстрел Веры Засулич (в январе 1878 года) в петербургского градоначальника Трепова,—это возмездие за телесное наказание, которому он приказал подвергнуть политического каторжанина Боголюбова-Емельянова за то, что при встрече тот не снял шапки—послужил искрой, разрядившей всю накопившуюся за эти годы энергию.

Целый ряд политических актов последовал в больших городах России: под Харьковым, по дороге в централ, совершена вооруженная попытка освободить Войнаральского, а в самом Харькове за репрессии убит губернатор Крапоткин; в Киеве убит жандармский офицер барон Гейкинг и ранен прокурор Котляревский, а при аресте бр. Избицких вооруженное сопротивление; в Одессе вооруженное сопротивление оказано при аресте Ковальского. Произнесение ему смертного приговора ознаменовалось демонстрацией, кончившейся перестрелкой, через 4 дня в Петербурге был убит шеф жандармов—грубый Мезенцев, а позднее сделано покушение на его преемника — Дрентельна.

Покорная и до тех пор безмолвная Россия просыпалась: каждый политический акт волновал молодежь и находил отклик в интеллигентном обществе.

Пламенные революционеры-землевольцы: А. Квятковский, В. Осинский, Н. Морозов, а затем Баранников, Александр Михайлов и Ошанина скоро с увлечением отдались политическому течению. Но в петербургской группе „Земли и Воли" им противостояли Плеханов и М. Попов. Пререкания и горячие споры, мешавшие деятельности, послужили, наконец, поводом к созыву съезда: он должен был решить, в какой степени допустимо отвлечение революционных сил организации в сторону борьбы с правительством, борьбы, которая после покушения А. Соловьева логически подводила к нападению на главу государства.

Я не говорю о Липецком съезде, который предшествовал Воронежу: я не присутствовала и даже не знала о нем. Туда съехались исключительно сторонники политического направления, чтобы сделать подсчет своим силам и сплотиться в то организованное ядро, которое сыграло затем громадную роль в истории революционного движения.

Воронежский съезд не решил спора и вынес компромиссное постановление: оно признало необходимость прежней деятельности в деревне, но на ряду с этим допускало и активную борьбу с правительством. Все осталось по-старому. Как и следовало ожидать, компромисс не привел ни к чему, и вскоре после возвращения в Петербург о-во „Земля и Воля" разделилось. Сторонники первоначальной программы образовали группу „Черный Передел", а те, кто находил необходимым активную борьбу с правительством, организовались в „Исполнительный Комитет" и положили начало партии „Народной Воли".

В Воронеже я в первый раз встретилась с Фроленко, Желябовым, Колодкевичем и Ошаниной; с другими, как Перовская, А. Михайлов, А. Квятковский и Баранников, я уже несколько лет была в близких отношениях, а Морозова знала со времен моего студенчества. Такова была группа избранных людей, этих основоположников „Народной Воли", с которыми, с основания „Исполнительного Комитета", в качестве члена его, неразрывно связана вся моя дальнейшая революционная деятельность.

„Народная Воля" ставила своей первой неотложной задачей свержение самодержавия, и жестокую борьбу с правительством решила вести н а л и ч н ы м и силами партии. Это было неслыханное новшество: вся рутина прошлого революционного движения говорила против нас. Заявлять о необходимости завоевания политической свободы считалось до тех пор ересью, опасной для осуществления социальной революции с ее экономическим переворотом. Еще большим отступлением от прежних традиций было— не ждать восстания народа, а самим начать битву.

После раздела „Исполнительный Комитет"

действовал с величайшей энергией. В квартире в Лештуковом переулке, где поселились я и А. Квятковский, без серьезных разногласий была обсуждена и принята программа партии. Заблаговременно приготовленный инициаторами нового направления запас шрифта, вместе с частью старого из типографии „Земли и Воли", позволил тотчас же организовать типографию. Динамит, приготовленный Кибальчичем, Якимовой, Исаевым и Ширяевым, дал возможность немедленно поставить задачу организации покушений на жизнь Александра II под Москвой, под Александровском и под Одессой — на трех путях, по одному из которых царь должен был проехать, при возвращении осенью из Крыма. В персонале для выполнения недостатка не было. К моему огорчению, товарищи хотели оставить меня в столице для пропаганды. Между тем, я непременно хотела разделить опасности, которые грозили участникам: мне нестерпима была мысль, что я не буду нести ответственность, которая падет на них, и судебная кара поразит их в большей мере, чем меня. Мои слезы смягчили товарищей, и они постановили, что в Одессе дело будет организовано Кибальчичем, мною, Фроленко и Лебедевой.

Вместе с Кибальчичем я наняла в Одессе небольшую квартиру, в которой этот изобретатель бомб „Исп. К-та" продолжал свои опыты с запалами. Я привезла из Петербурга запас динамита, необходимый для закладки мины для взрыва. Он хранился у нас на квартире, куда участники собирались для совещаний. Подставляя на ночь чемодан с динамитом к коротенькой кушетке, на которой я спала, я невольно вспоминала, что Марья Павловна Лешерн в Петербурге отказалась хранить взрывчатое вещество в своей комнате, говоря, что скорее бросила бы бомбу, чем стала бы держать у себя динамит. Для устройства взрыва под полотном железной дороги нужно было иметь постоянный близкий доступ к нему, и мы тщетно придумывали способы для этого. Однако, мне удалось устроить это, достав для М. Фроленко место сторожа на 11-й версте от Одессы, близ Гнилякова. В железнодорожной будке он поселился вместе с Т. Лебедевой, которая при проезде поездов с флагом заменяла его. Случаю было угодно, что для получения этого места я обратилась ни более, ни менее, как к зятю одесского генерал-губернатора, страшного Тотлебена—Унгерн-фон-Штернбергу. Под видом домовладелицы г. Одессы я явилась к нему на гауптвахту, где он отбывал наказание за серьезную железнодорожную катастрофу. Я сказала, что жена моего дворника страдает туберкулезом и, чтоб дать ей возможность жить вне города, я прошу устроить ее мужа где-нибудь на станции железной дороги; Штернберг дал мне записку к начальнику станции в Одессе. Тот, прочитав записку, без всяких расспросов сказал: пришлите „вашего человека". Так просто и легко устроилось это дело, очень затруднявшее нас.

Мину Фроленко заложил, но употребить ее не пришлось—на Одессу царь не поехал. Под Александровском, где мина была заложена Желябовым и Окладским, при соединении проводов взрыва не произошло. Царский поезд был взорван только под Москвой, недалеко от Курского вокзала, миной, заложенной под железнодорожное полотно из домика, купленного Исп. К-ом на имя Сухорукова, которым был Гартман. Под видом жены с ним поселилась Перовская. Впечатление от этого революционного акта было громадное, хотя во взорванном поезде оказалась лишь дворцовая прислуга, а царь, в другом небольшом поезде, успел проскользнуть за несколько минут пред тем.

Взрыв 5-го февраля 80 года в Зимнем дворце произошел в мое отсутствие, и я не была свидетельницей того потрясающего впечатления, которое он произвел. Я оставалась в Одессе до лета, увлеченная многочисленным знакомством среди молодежи. Я подбирала персонал для будущей народовольческой группы и вела сношения с офицерами Люблинского и Пражского полков, которые позднее вошли в состав военной организации. В марте или апреле в Одессу приехали Перовская и Саблин, а затем Якимова и Исаев для приготовления нового покушения на царя на Итальянской ул., где первые двое наняли лавочку, из кот. и был начат подкоп под улицу. Я достала деньги на все расходы и оказывала им всевозможную помощь. — По возвращении в Петербург на меня были возложены сношения с интеллигенцией и со студенчеством; но гораздо важнее была работа по основанию военной организации „Народной Воли", задуманной тогда К-том. В обсуждении устава этой организации и привлечении к ней членов из артиллерийских и морских офицеров я принимала живое участие. Душой новообразованной организации являлся лейтенант Суханов, человек увлекательной энергии, чарующей прямоты и правдивости. Суханов, Н. Рогачев и барон Штромберг составили, можно сказать, идеальный центральный комитет военной организации, и в самое короткое время около него образовались народовольческие группы офицеров в Кронштадте и в Петербурге. Той же зимой, по постановлению К-та, я и Исаев основали общественную квартиру у Вознесенского моста. До апреля 81 года она служила местом всех заседаний К-та. Здесь в начале года происходило общее совещание членов К-та по вопросу об инсур-

рекции, для чего были вызваны и члены из провинции. На ней же, в виду угрожающих известий о посещении полицией магазина сыров на Малой Садовой (где делался подкоп для покушения) и об аресте Желябова, были сделаны все решающие постановления о совершении покушения 1-го марта, и всю ночь изготовлялись четыре бомбы, из которых две принесли гибель Александру II. После 1-го марта, вероятно благодаря предательству Окладского, произошел ряд арестов самых выдающихся членов К-та и, когда на улице был взят Исаев, мне пришлось очистить, а потом оставить нашу квартиру. По настоянию товарищей я уехала в Одессу. На юге я принимала участие в делах местной группы „Нар. Воли“, возобновила сношения с офицерами в Одессе и Николаеве и, когда из Петербурга приехал член военной организации лейтенант Буцевич, передала ему связь с ними для формального приобщения группы Ашенбреннера и Крайского к общей военной организации.

31-го декабря 81 г. ко мне явился Халтурин, присланный Исп. Комитетом для организации акта против военного прокурора Стрельникова, возбуждавшего общее негодование в Киеве и Одессе. До этого, осенью, я ездила в Москву и передала К-ту, который находился тогда в Москве, о всех издевательствах и застращиваниях, которые позволял себе этот знаменитый деятель, облеченный особыми полномочиями в деле политического розыска, и внесла предложение об устранении его, сообщив, что имею в руках все сведения, необходимые для этого. Я передала их Халтурину. Как известно, Стрельников был убит 18-го марта 1882 г. И. Желваковым, и через день Желваков вместе с Халтуриным был казнен. Меня в Одессе в то время уже не было. Незадолго перед тем в Одессу был прислан предатель, рабочий Меркулов, осужденный в 1882 г., но выпущенный из тюрьмы для поимки всех, кого он знал в лицо. В числе их была и я. Это заставило меня переехать в Харьков. В Харькове я провела почти год, участвуя в делах местной группы, но занималась, главным образом, отыскиванием и собиранием всех, кто уцелел после разгрома народовольческих организаций в Москве, Петербурге и Западном крае. Неудачи продолжали преследовать нас и дальше. В июне в Петербурге были арестованы: Буцевич, Анна Павл. Корба, Грачевский, динамитная мастерская Прибылева, и целая группа лиц, связанных с ними. Это был последний удар центру нашей организации. С этого времени из членов старого Испол. К-та в России оставалась только я. Во что бы то ни стало, надо было собрать и объединить еще оставшихся на свободе наиболее опытных агентов Комитета. Военная организация Народной Воли, если не считать т. н. „близко стоящих“, заключала в себе в то время человек 50. Состояние партии было таково, что военные силы, собранные в целях заговора, практического значения иметь не могли, и после ареста Суханова и умного, энергичного Буцевича не было надежды на расширение этой части нашей партии: в течение двух последних лет она оставалась на мертвой точке. Между тем, неотложная необходимость требовала центрального органа, который скреплял и руководил бы революционными силами, накопленными со времени основания партии. Поэтому я предложила выдающимся членам военного центра: Н. Рогачеву, Ашенбреннеру, Похитонову и Крайскому подать в отставку и вместе со мной и некоторыми старыми членами Народной Воли войти в этот центр. В числе приглашенных был и Сергей Дегаев, бывший артиллерист, член военной организации, лично знавший всех офицеров Кронштадта и П-га, входивших в военную организацию. После объезда Петербурга, Кронштадта, Николаева, Одессы и Киева, сделанного Дегаевым для свидания и переговоров с тамошними офицерами, мы решили, что он с женой поселится в Одессе в качестве хозяина партийной типографии, которая должна была устроиться там. Во время объезда Дегаевым военных групп, ко мне в октябре неожиданно приехал Михайловский: „по очень важному делу“, сказал он мне. Прошло 19 месяцев после 1-го марта, а царь все еще не короновался: страх, что будет выступление „Исп. К-та“, был причиной этого, и правительство хотело обезопасить совершение торжества, завязав переговоры с Народной Волей. Министр двора, граф Воронцов-Дашков—личный друг Александра III-го, предлагал, по словам Михайловского, через литератора, Николадзе, чтоб К-т не совершал террор. актов до коронации, и в таком случае будет дана амнистия и свобода печати и социалистич. пропаганды (!).—Я наотрез отказалась вести переговоры, считая, что это полиц. уловка, чтобы найти нити к организации. Но, после настояний Мих-го, предложила ответить, что „Исп. К-т“ находится за границей, пусть обращаются туда; а с Мих-ским условилась, что пошлю за границу предупреждение с изложением положения рев. дел в России. Это я исполнила, отправив Салову. По возвращении Дегаева из объезда типография в Одессе была устроена; но по невыясненным причинам просуществовала только месяц и была арестована со всем своим персоналом. А немного спустя Дегаев, бывший в течение 5 лет в близких отношениях с большинством членов Исполнит. К-та, пользовавшийся полным доверием в революци-

онной среде, вошел в соглашение с главой петербургского сыска — Судейкиным и не только выдал всех, кого знал, но и решился купить свободу ценой деятельности в качестве провокатора. Получив ее под формой побега, он явился ко мне в Харьков и отдал меня в руки жандармов, прикрывшись будто случайной встречей со мной предателя Меркулова, вызванного для этого в Харьков. Эта фикция обеспечила Дегаеву дальнейшую карьеру провокатора. Но он не выдержал роли, поехал осенью за границу к Тихомирову и Ошаниной, покаялся им, и они обещали сохранить ему жизнь, под условием убийства Судейкина. В декабре 83-го года при его участии это было совершено

Дегаев в обширной записке выдал правительству всех, кого знал лично или со слов других. Он погубил всю военную организацию, все народовольческие группы и связи. Мой арест был каплей в массе его предательства. И когда и я и вся организация оказались в руках правительства — моментально по телеграмме его агент прервал переговоры с Тихомировым и Ошаниной о перемирии с Нар. Волей,—и затем был издан манифест о коронации.

Я была арестована 10 февраля 83 г. и до суда меня держали в Петропавловской крепости, где я провела, в совершенно изолированной камере, 20 месяцев. Условия были суровые: прогулка — 15 мин.; свидания раз в 2 недели — 20 мин. через 2 решетки в расстоянии аршина одна от другой. Одиночество и безмолвие действовали губительно; голос исчез; пропадала даже охота выходить на свидание, которое только нарушало равновесие, не давая никакого удовлетворения. Моральное потрясение, когда через год после ареста я узнала о предательстве Дегаева, сразило меня, и величайших усилий воли стоили мне дни суда и то „последнее слово“, которое я должна была произнести, как представитель партии.

Первое время, как это бывает обыкновенно, я жила лихорадочной внутренней жизнью. Необычайность обстановки и положения, когда все привычное, внешнее обрывается и исчезает,—мышление, со всей силой возбуждения, обращается внутрь,— и мне, как, вероятно, большинству лиц, попадающих в тюрьму после долгой революционной деятельности и, благодаря ей, не имевших досуга для самоуглубления, пришлось впервые восстановить в памяти всю мою жизнь— с момента, когда появилось отчетливое сознание, и до последней минуты свободы; припомнить все влияния, все этапы развития моей личности, а затем обозреть годы участия в революционном движении с 76 по 83-й год. Эта напряженная сосредоточенная умственная работа по своей новизне и содержанию была увлекательна, интересна и плодотворна. Она запечатлена в записке, написанной мной вместо показаний; она сохранилась в архивах и помогла мне создать книгу „Запечатленный Труд“.

В сентябре 1884 г. меня судили военно-окружным судом в Петербурге вместе с 13 товарищами народовольцами. Я была приговорена к смертной казни, которая была заменена каторгой без срока, и затем с семью сопроцессниками была заключена в Шлиссельбургскую крепость, куда из Алексеевского равелина были отправлены ранее осужденные народовольцы и некоторые карийцы.

В Шлиссельбурге началась наша долголетняя тюремная страда. Она описана во 2 ч. моей книги с подзаголовком: „Когда часы жизни остановились“. Режим заточения был построен по образцу французской Бастилии 17-го — 18-го века. Если б впоследствии он не был смягчен—никто из нас не вышел бы живым в силу одних материальных условий; я не говорю уж о моральных. Изоляция была полная не только от всего живого и всех живущих, но и друг от друга. Сумасшествие и самоубийство стояли перед каждым. 13 лет мы не имели переписки с родными, и во все, более чем 20-летнее, пребывание в крепости ни один из нас не имел свиданья.

Мою роль в тюрьме определил М. Ю. Ашенбреннер в своих воспоминаниях в „Былом“ (1907 г.). Мои протесты, единичные и коллективные, описаны в „Запечатленном Труде“. Решающим моментом для моего поведения по отношению к тюремщикам и крепостному режиму было заключение в карцер, в который я попала на 3-м году заточения, защищая товарища (Попова). Многое мне пришлось передумать тогда, чтобы составить твердое решение о том, как вести себя дальше. Решением было: по незначительным, каждодневным поводам—борьбы не поднимать (т. к. она ведет только к еще большим унижениям), но в серьезных случаях бороться до смертного конца.

Целые 15 лет не было обстоятельств, которые заставили бы меня действовать активно. Но в 1902 году, на 18-м году заключения в Шлиссельбурге и 20-м после ареста, случай представился. Вследствие необдуманного поступка Попова, неизвестного никому из товарищей, кроме С. Иванова *), нам, без объяснения причин, начальство объявило, что мы вновь будем подчинены железному режиму первых годов заточения. Тюрьма в 1902-м г. этого не вынесла бы, и, чтоб заставить департамент полиции

*) Попов, имея офиц. разрешение писать родным, сделал попытку переслать матери письмо к ней тайно, через жандарма.

рассмотреть распоряжение местной власти, я сорвала со смотрителя Гудзя погоны. Военный суд и единственное наказание — смертная казнь должны были последовать за этим оскорблением действием. Как ни удивительно, эта участь миновала меня, и мы думаем, что причиною было, что вся Россия в 1902-м году была в предреволюционном брожении и, без нашего ведома, русская Бастилия являлась ненавистной эмблемой деспотизма, против которого разгоралась революционная борьба. Мой протест снял то, что угрожало нам, а вся администрация тюрьмы была смещена.

Через 10 месяцев после этого я испытала жестокий удар: мне было объявлено смягчение каторги бессрочной на каторгу двадцатилетнюю. Неожиданное смягчение принесло мне великое горе и вызвало жестокое чувство по отношению к матери, так как царская милость была вызвана поданным ею, без моего ведома и согласия, прошением. В связи с моим поступком со смотрителем я была лишена переписки и не знала, чем вызвано обращение матери. Только получив известие, что она умирает — я смирилась и не порвала с ней. Ее смерть за несколько месяцев до моего освобождения я перенесла с трудом: горячее чувство, делавшее в первые годы так нестерпимой разлуку, вспыхнуло с прежней силой, когда я потеряла надежду увидаться с ней... (См. гл. „Нарушенное слово", гл. „Мать" и две первые главы 2-й ч. „Запечатл. Труда").

Таким образом, 20-летнее заточение в повседневно тягостных условиях время от времени прерывалось жгучими переживаниями. Расстрелы за протесты Минакова и Мышкина, самосожжение Грачевского, буйные припадки сумасшествия Щедрина, душевная болезнь Конашевича, агония и смерть многих узников в первые 5 лет заключения, ужасное безумие Похитонова, карцер—в обстановке застенка, избиения: Попова, Щедрина, В. Иванова, Лаговского, Манучарова... 9-дневная голодовка, вызвавшая во мне желание уморить себя; дело с погонами, когда целый месяц я ожидала суда и казни или перевода на всегда в старую тюрьму и разлуки с товарищами, оскорбительное, непрошенное помилование... сознание, что вдали—моя мать лежит в агонии и, наконец—ее смерть.... вот те темные глубины, которые дал изведать Шлиссельбург. А потом—подневольная разлука с товарищами-вечниками, которые дали мне познать радость такой трогательной ласки и доброты, о которых, в суровых условиях жизни на свободе, я не имела представления.

29 сентября 1904 г. меня увезли из крепости и через 2 недели отправили в ссылку в Архангельскую губ., поставив в условия, примененные впервые после Чернышевского *). После перевода в Казанскую губ., а потом в Нижний, в ноябре 1906-го года департамент полиции отпустил меня за границу. Этого требовала моя совершенно расстроенная нервная система. Оттуда я возвратилась только в феврале 1915 года. Скомпрометированная Азефом, я не могла сделать этого раньше — меня неминуемо сослали бы в Сибирь: революционное дело от этого не выиграло бы.

Что делала я за границей? Через полгода я уже тяготилась бездействием и своей изолированностью от всех политических группировок. Человек общественный по всему прошлому, всегда жившая жизнью коллектива—я не могла оставаться вдалеке, когда Россия переживала свою первую революцию. После разгона I Думы я переехала в Финляндию и пыталась вмешаться в политическую жизнь, примкнув к партии социалистов-революционеров, как близкой по программе и тактике к „Народной Воле". Но я не могла слиться с ними и чувствовала себя лишней и бесполезной в их среде. Перемена в условиях деятельности в новой для меня России породила такие изменения в масштабе этой деятельности, в социальном составе, численности, взаимных отношениях и нравах — что, как выходцу из потустороннего света, мне не находилось места—и я не нашла его. Уехав в февр. 1908 г. из Финляндии, я жила в Швейцарии и некоторое время в Париже. Но после разоблачения Азефа и невероятных условий безнаказанности его я отстранилась от всех деловых сношений с партией.

Я переехала в Швейцарию и до 15-го года жила в ней вдали от эмигрантов. — Чем жила я? Однажды сестра Лидия переслала мне письмо из Алгачей—сибирской тюрьмы, в которой, в эпоху царской реакции, в ужасающих условиях общих камер томились политические каторжане, большею частью рабочие, без всяких средств, в невыносимой скученности и моральной безнадежности. „Везде в тюрьмах горя много", писала сестра, „но в Алгачах его—сверх меры". Письмо было потрясающее. Оно подвинуло меня на дело помощи каторжным тюрьмам. Я мало надеялась на успех, но субъективно знать и остаться в стороне я не могла. Я основала в янв. 1910 г. в Париже Комитет и нашла отклик сначала в небольшом кругу друзей, а потом дело все более и более расширялось. На 3-й год мы собрали 65.000 франков и через наших сотрудниц в России оказывали помощь 23 каторжным тюрьмам. В Англии, Бельгии и Швейцарии я делала доклады о положении заключенных на английском, французском и русском языках; издала брошюру „Les prisons russes",

*) Первые два года моей новой жизни описаны в книге „После Шлиссельбурга".

переведенную потом на немецкий, итальянский и румынский языки. В Revue des Revues напечатала статью на ту-же тему— о русских тюрьмах. Под впечатлением этих разоблачений друг А. Франса, г-жа Менар-Дориан, прославившаяся вместе с Э. Золя агитацией в защиту Дрейфуса, собрала подписи выдающихся европейских деятелей в области политики, науки и искусства и послала тогдашней императрице, Марье Федоровне, петицию о смягчении тюремного режима для политических заключенных; и, помню, после этого было временное ослабление жестокостей в отношении их *). На мою деятельность обратило внимание и русское правительство: у меня хранится № официоза „Россия", где нагло опровергаются мои сообщения. Были опровержения и в субсидированном французском журнале, издававшемся тогда в Петербурге. Гораздо важнее были репрессивные меры, предпринятые для того, чтоб не пропускать в тюрьмы денег от мнимых кузин и родственниц. Об эти меры разбивались все хитрости и уловки, посредством которых удавалось доставлять заключенным деньги. К 1914-му году наша деятельность мало по малу сокращалась. До тех пор вся работа по переписке, сношениям и отыскиванию связей с тюрьмами лежала на мне—все нити подбирала я. Я была председательницей комитета и его секретарем. Наконец, я увидала, что мне делать нечего. Драконовские правила и полицейские расследования решительно парализовали возможность передач; не закрывая комитета, я передала секретарство докторессе Шейнтис. Пустота жизни оголилась предо мною вновь.

В 1906 г., когда я жила в Нижнем, я написала для жур. „Былое" и для I-го т. „Галлереи Шлисс. узников" нисколько биографий моих товарищей по заточению, а позже за границей—статьи 4 для „Русского Богатства" и заменивших его „Русских Записок". Теперь, в 1913 г., оставшись без общественных задач, в мал. городке над Женевским озером—Кларане, в полном уединении пред лицом темных гор, лазурного неба и синих вод, я решила приступить к тому, что я считала своим революционным долгом — описать деятельность о-ва „Земля и Воля", партии „Народная Воля" и дать очерк нашего заключения в Шлисс. крепости. Закончить эту работу я могла, однако, лишь 8 лет спустя, когда в 1922 г. был издан 1-й, а в 23-м—2-й том моей книги „Запечатленный Труд" **).

В 1914-м г. вспыхнула европейская война с участием России, мне казалось невозможным быть вне ее.

В конце января 15-го г. я выехала через балканские страны; на границе, в Унгени, была арестована, отправлена в ПБ в тюрьму, а затем с ограничением свободы передвижения водворена в Нижнем под надзор полиции. Здесь я принимала энергичное участие в О-ве распространения образования в Нижегородской губ., исполняя работу секретаря т. н. уездной комиссии, заведовавшей 40 библиотеками о-ва в разных уездах губернии.

В декабре 1916 г. мне было разрешено жить в ПБ, что дало мне возможность видеть начало революции 17-го г. Сколько лет мы ждали этой революции, но, как ни странно, я не чувствовала безмятежного ликования; волновало нечто смешанное: радость, печаль (за прошлое) и тревога. Все совершилось слишком легко, слишком быстро. Понятно—почему, но и беспокойно: Петербург — не коренная Русь; царская власть пала без сопротивления, не под активным натиском революционных масс, как это было в Париже во времена Людовика XVI. — Политич. амнистия поставила меня на пост председательницы К-та помощи освобожденным каторжанам и ссыльным. Мы собрали 2 мил. руб; через К-т прошло более 4 тыс. чел. *). Эта работа вместе с частыми публичными выступлениям и (60 раз!) в ущерб моему политич. воспитанию и должному осознанию всего происходящего—отняла у меня 8 месяцев.— Революция с первого же дня свободы ставила громадную задачу приобщения отсталых крестьянских масс к пониманию политич. идей и общественных задач предстоящего нового строя. Соответственно этому быстро народилась богатая содержательная литература по всем злободневным вопросам. Я, с своей стороны, задалась целью снабдить этой литературой 12 уезд. моей родной губ. и выполнила это, благодаря местным связям и деньгам, специально собранным на это **). Для устных разъяснений основ нового строя, прав и обязанностей граждан, летом я предложила пяти лицам отправиться в Тетюшский у., в котором я провела детство ***).—Еще весной, по инициативе энергичного Брамсона, в ПБ было основано просветительное о-во „Культура и Свобода" с широкими всероссийскими задачами. Я работала в нем, как тов. предс., которым был Горький.—Переворот 25-го октября ст. ст., которым началась наша социальная рево-

*) В Кракове б. каторжанин Багоцкий тоже основал Кассу помощи каторжанам и издавал литературу о тюрьмах и репрессиях в России. Мы действовали в контакте и полном согласии.

**) Причины—изложены в предисловии к книге.

*) В Швейцарию мною было послано 105 т. р. для въезда эмигрантов; среди них были: Натансон и Мартов, с одной стороны; Ленин с тов. – с другой.

**) Митинг - концерт дал 10 т. р.; Щепкина-Куперник передала мне 800 р., собранные ею.

***) Дневник одного из приглашенных, обработанный мной, был напечатан в моск. газете „Власть Народа".

люция, и все последовавшее затем я пережила крайне болезненно. К борьбе социалистических партий—этих родных братьев—я была неподготовлена. Революционный романтизм периода студенчества, с его увлечением красивыми картинами из истории революций, крепко держал меня в плену. В чтении это воспринималось иначе; 150-летняя давность гибели жирондистов, потом Дантона, потом Робеспьера во Франции смягчала впечатление; взаимное истребление того времени переживалось иначе, чем явь XX в. у себя дома—в России.—Я была членом „предпарламента"; оценивала его, как говорильню, кот. стоило уничтожить, но тем не менее, когда пришли солдаты с приказом очистить Мариинский дворец, я чувствовала себя глубоко униженной и была в числе меньшинства, голосовавшего за то, чтоб не расходиться и быть удаленными силой. Роспуск Учредит. Собрания был новым унижением заветной мечты многих поколений и наивного благоговения веривших в него масс. Период парламентарной свободы казался мне необходимым для политич. и гражданского воспитания масс. И наряду с этим я сознавала, что мы, революционеры старшего поколения—отцы наступивших событий, и когда слышались вопли, говорила: „Разве мы не призывали социальную революцию в 73—74 г. Не звали народ к ней при гораздо худших условиях?"—В мае 19 года сильное малокровие заставило меня уехать вместе с сестрой Ольгой из ПБ в Севский у. Орловской губ. к племяннице, служившей врачем на сахарном заводе „Лугань", где с нею жила ее мать— моя сестра Лидия *). Мы ждали „поправки"—нас ждала гибель. В течение полугода умерла Ольга; умерла, заразившись сыпным тифом от больных, молодая, цветущая племянница, умерла сестра Лидия, сраженная апоплексией после похорон дочери. Я осталась одна. Друзья были далеко; братья умерли в 16 и 18-м гг. Происходило нашествие Деникина в Орловкую губ. Севск был взят, и не один раз; кругом был хаос междоусобной войны; передвигались войска; до Лугани доходил гул пушек; о том, что делалось вне ее, никто ничего не знал; почта была эвакуирована; железнодорожное сообщение даже в апреле и марте 20-го г. почти не существовало; редкие, нерегулярно ходившие поезда принимали только лиц официального звания—выбраться без помощи из центра было невозможно. Из ПБ в конце апр. на помощь мне поехала А. Шакол—моя сотрудница по заботе о каторжанах—тиф свалил ее по дороге—в Москве.

*) В ПБ я жила на $^1/_8$ черн. хлеба с овсом и смеялась, но вместе с тем и жалела тех, кто тосковал: „Хоть бы маленький, самый мал. кусочек белого хлеба"! или плакал (как я видела однажды), что больше никогда уж не будет „малины со сливками"...

У меня был бессловесный друг—небольшая собачка, которую племянница нашла в пустой халупе и привезла с фронта: „Комм-хер"! Когда в отчаяньи от сцен агонии и смерти я рыдала, она, положив лапки мне на колени, вторила жалобным воем. Мы оба оплакивали гибель близких. Собака, которую считали бешеной, искусала ее,—я не дала убить моего друга. Ветеринар дал мне склянку с хлороформом и марли для маски: при первых признаках водобоязни — я должна была усыпить ее..., а потом, думала я, я захлороформирую себя...

Меня выручила докторесса, любившая меня: Ал. Ал. Бах. Она приехала из Москвы и увезла к себе в семью. Это было в 20-х числах марта 1920 г. Летом удалось выручить из Грозного Евгению и ее мужа, М. П. Сажина, с которыми я была в безвестной разлуке два года; с осени мы поселились вместе.—С 1916/17 г. я жила своим трудом, помещая в журналах отдельные главы моих воспоминаний. С 20 г. вышли мои книги: „Шлиссельбургские узники"; уже упомянутые 2 тома „Запечатленный Труд"; потом „Студенческие годы"; „После Шлиссельбурга"; в 25-м году—„Александр Михайлов" *),—не считая небольших работ для Энцикл. словаря Гранат, для журн. „Каторга и Ссылка" и т. п.—В 1921 г., после смерти П. Кропоткина, меня выбрали председательницей обществ. к-та по увековечению памяти его. В годы общей нищеты и скудости, с огромными трудностями, в доме, в кот. родился Петр Алексеевич, переданном нам Московским Советом, мы создали открытый теперь для публики, музей его имени и этим увеличили культурные ценности не только г. Москвы, но и всей республики **).—В 23 и 24 гг. меня мучило, что живя в Москве, вращаясь исключительно среди интеллигенции с однообразной психологией, я не вижу реальной жизни: хотелось взглянуть на перемены, внесенные революцией в деревню. Что народилось в ней нового? что умерло или замирает от старого? Я поехала в родные места в Казанскую губ. и повторила поездку в 24 г. Я видела людей, преданных народному делу, работающих в школах, детских домах, библиотеках, среди невероятных условий скудости всех этих учреждений и их собственного существования. С тех пор я поддерживаю их, помогая культурным начинаниям (ручной труд в детских домах; учебные пособия и школьные принадлежности; книги; введение культур на школьных участках). Относительно нравов и быта мои наблюдения слишком поверхностны, чтоб говорить о них.—Помня свою жизнь в тюрьме, я продолжаю то, чем занималась

*) В сотрудничестве с А. Корба.
**) Дом № 26 пер. Кропоткина (б. Штатный).

за границей, и принимаю участие в помощи заключенным—жертвам нашей междоусобной войны и распри.—Изредка выступаю, по приглашению, перед разного рода аудиториями.

Основным фактором моей жизни был Шлиссельбург. Он отнял у меня 20 лет жизни и, отлучив на такой непрерывно долгий срок от общего потока ее, выбросил в иные поколения, в среду, перемолотую поступательным ходом экономич. и общественного развития. Перешагнуть через совершившуюся эволюцию, слиться со всем изменившимся, новым — оказывалось уж невозможно. И это составило мое несчастье.

Но в Шлисс. я прошла, кроме глубин страдания, школу солидарности, и мне самой было дано проявить ее в действии при таких условиях, кот. никогда не встретились бы в жизни на свободе. Там же у товарищей я находила такую преданность и ласку, которых, в суровых условиях revол. жизни, я не изведала бы никогда.—И разве Шлиссельбург, несмотря на все испытания, был слишком дорогой ценой за участие в такой организации, какой был „Исполнительный Комитет“, и в такой борьбе, какую, при тогдашних условиях, вела против самовластия „Народная Воля“?!

Филиппов, Александр Андреевич *).

Отец мой, Андрей Филиппович, был сын Архангельского кузнеца. Поступив на военную службу, он сначала был писарем при Главном штабе, а затем после экзамена, был произведен в чиновники. Благодаря этому обстоятельству, я, родившийся в начале 1857 г., получил права личного дворянства, чего мои старшие брат и сестра не имели. Мать моя, Дарья Христиановна Кульберг, была дочерью выходца из Германии, до самой смерти не научившегося хорошо говорить по-русски. Мать была лютеранка, но хорошо знала русский язык. Свою чиновничью карьеру отец проводил уже не в Петербурге, а на Охтинском пороховом заводе, к которому и относятся мои первые детские воспоминания. Наиболее ранним и самым сильным моим впечатлением за период проживания на пороховом заводе был взрыв завода в 1861 или 62 г. Ясно помню, как жители, перепуганные катастрофой, бежали в лес и уже оттуда любовались картиной грандиозного взрыва. В 1863 г. отец мой умер от чахотки, и мать осталась вдовой с тремя детьми, почти без всяких средств, если не считать маленькой пенсии в несколько рублей. Перспектива была очень грустная, но, к счастью, на помощь пришла тетка (по матери), к которой мы и переехали в Петербург.

Я начал учиться еще на Охтенском пороховом заводе в частной школе. Грамоте там я научился, но впечатлений от этого периода ученья не осталось никаких, кроме воспоминаний о дурацких колпаках, которые нам надевали за шалости и плохое знание уроков. В Петербурге мое дальнейшее образование продолжалось тоже в частной школе, поставленной значительно лучше. Когда мне исполнилось 12 лет, я, к великому счастью матери, был принят на воспитание в Псковскую военную прогимназию (начало 1869 г.).

Нравы всех учебных заведений того времени отличались большою дикостью, но время реформ уже наложило свою печать, и я был первым новичком, который не подвергался ни товарищескому „крещению“, ни „темной“, ни другим экспериментам для решения вопроса о том, не окажусь ли я доносчиком. Время, проведенное мною в Псковской прогимназии, не оставило во мне никаких дурных воспоминаний. Учили нас немногому, но учили хорошо, и я шел все время в числе первых учеников. Пожалуй, что в этот период моей жизни у меня впервые вполне сознательно появилось критическое отношение к окружающему и зародились идеи свободомыслия в вопросах религии. Из дому я приехал в прогимназию очень религиозным мальчиком, но такого настроения хватило только на 1 — 2 года. Изучение ветхого завета заставило нас много думать и очень критически относиться ко всей ветхозаветной истории мироздания. Политические идеи зародились значительно позже, но любовь и интерес к истории были мне привиты безусловно в этой же прогимназии нашим учителем, относившимся, повидимому, к своему предмету не как профессионал, а как человек, любящий историю и глубоко понимающий ее значение. В его передаче исторических фактов перед нами проходили живые люди, которых мы любили или ненавидели, и уже в это время, хотя, быть может, еще совершенно бессознательно, в моей душе зародилась любовь к народу и ненависть к поработителям.

В 1873 году я очень благополучно окончил прогимназию, и мне, как первому ученику, предстояло выбирать любую дорогу: поступить либо в учительскую семинарию военного ведомства в Москве, либо в Пиротехническую артиллерийскую школу в Петербурге, или вольноопределяющимся в полк, чтобы затем перейти в какое-нибудь окружное юнкерское училище, известное среди нас под названием „Сморгонской акаде-

*) Автобиография написана в апреле 1926 года в г. Ставрополе (Кавк.).

мии" *). После недолгих размышлений выбор мой твердо остановился на Пиротехнической школе, так как она сулила в будущем, при некоторой энергии, карьеру артиллерийского офицера, а это было в то время в моих глазах что-то очень высокое,—не то, что какой-то пехотный армейский офицер.

В Пиротехническую школу меня приняли очень охотно без всякого экзамена, так как я имел прекрасный аттестат. В тот же самый год и из той же прогимназии со мной вместе в школу поступил товарищ—Алексей Васильевич Иванов. С этих пор мы жили с ним неразлучно, пока приговор петербургского военно-окружного суда в 1882 г. не разлучил нас окончательно. Только много лет спустя, выбираясь уже из Якутской области, я вновь встретился с ним в Иркутске.

В Пиротехнической школе нас очень скоро привели к присяге, а затем объяснили, что мы теперь уже не воспитанники, а находимся на действительной службе и потому за все проступки должны будем отвечать по всей строгости законов. Пребывание в Пиротехнической школе оставило у меня тяжелое воспоминание. Дисциплина была очень строгая, внутренние распорядки ужасные. Единственным спасителем наших душ явился дух товарищества, который и вынес нас неизломанными из этой светлой тюрьмы. В таких условиях пришлось прожить целых 4 года, с 1873 по 1877 год, и притом самый лучший возраст от 16 до 20 лет. Никаких книг с воли приносить в школу не разрешалось; библиотека существовала, но в таком составе, что для нашего развития ничего дать не могла, да мы ею почти и не пользовались, так как книги выдавались только по праздникам, когда мы обыкновенно уходили в отпуск. Таким образом, для чтения нам оставались только учебники и учебные записки. Каждую неделю производились обыски, больше с той целью, чтобы осмотреть, в порядке ли находятся наши вещи, но это сильно стесняло нас, так как лишало возможности книги, которые мы доставали, держать в столиках или шкафиках и требовало от нас всегда большой осторожности. Для того, чтобы дать ясное представление, как относилось наше начальство к той литературе, которую мы доставали, и что могло ожидать ученика, если бы он попался с какой-нибудь действительно нелегальной вещью, расскажу следующий эпизод. Во время сербско-турецкой войны и добровольческого движения один из учеников вздумал принести с собой иллюстрированный номер „Нивы", чтобы наглядно показать нам подвиги сербов и добровольцев. К несчастью этот номер попал как-то в руки начальства, и дело для товарища окончилось очень скверно: арест в темном карцере на месяц, было сбавлено много баллов за поведение и, кроме того, бедный юноша был разжалован из унтер-офицеров в рядовые. А между тем он перешел уже в последний класс, и чтобы карьера не погибла, нужно было вновь получить за поведение большую отметку.

Естественно возникает вопрос, что же было бы с нами, если бы начальство узнало, что мы увлекамся Герценом, Писаревым, Лавровым или „Парижской Коммуной", которая ходила в то время у нас по рукам. Но так или иначе, а за время пребывания в пиротехнической школе, хотя и крадучись, мне удалось перечитать Писарева, Добролюбова, Успенского, Шелгунова, Лассаля и по естественным наукам Фохта, Молешота, Люиса и др. Изящная литература для меня в то время не представляла особого интереса, и в этой области мое развитие шло слабо. В этот же период мне предложили прочитать „Капитал" Маркса, но я убоялся трудности его и отказался. Прочитал же я „Капитал" уже гораздо позднее, когда служил на пороховом заводе.

Образование в школе было исключительно специально-техническое. Из общеобразовательных предметов были недурно поставлены только химия и отчасти физика. Состав преподавателей был очень слаб, особенно по химии. Специально военных предметов было очень много, эти предметы делали из нас специалистов, но в смысле общего развития ничего не давали и преподавались они, в большинстве случаев, офицерами-академиками.

В августе 1873 г. я, упомянутый выше Иванов и еще один товарищ из нашей прогимназии, попав в Пиротехническую школу в младший, т.-е. первый, класс, начали присматриваться: что же представляют из себя наши новые товарищи. Они также не оставили нас без своего внимания, задаваясь тем же вопросом. Вскоре выяснилось, что наиболее развитыми и наиболее идейными были ученики старшего (третьего) класса. Из них в моей памяти сохранились: Васильев, Париоманов и Богородский. Первые два скоро совершенно исчезли с моего горизонта, судьба же последнего прочно переплелась с нами до самого нашего провала в 1881 г. Ник. Ник. Богородский был сын смотрителя Трубецкого бастиона, полковника Богородского, на смену которому потом пришли Лесник и знаменитый Соколов.

Упомянутые выше товарищи старшего класса имели уже, повидимому, связи с революционерами на воле, так как в первый год нашего пребывания в школе у нас по-

*) В местн. „Сморгонь" крестьяне когда-то занимались дрессировкой медведей.

явились подпольные издания и прокламации. Центром, откуда шла к нам литература, была квартира отставного офицера Ег. Ег. Емельянова Через некоторое время мы потеряли его из вида, и дальнейшая судьба его мне неизвестна. Пропаганда среди товарищей по классу пошла успешно, и скоро весь класс был вовлечен в чтение нелегальщины. Несмотря на нашу молодость и неопытность, мы с Ивановым не сделали ни одной ошибки в выборе товарищей, которым можно было дать интересующую нас литературу. Помнится, мы избегали только одного тов. Бугаева, и действительно он скоро был взят из нашей школы, потом поступил в Константиновское военное училище, а оттуда в жандармы.

Так наша работа продолжалась 4 года, и не было у нас ни одного провала ни в школе, ни на воле. За это время через наши руки прошла вся нелегальщина, вся агитационная и подпольная литература того времени, и все благополучно. Никаких подозрений на себя мы не навлекли. Крупных связей за это время мы не приобрели. Но в это время завязал с нами знакомство поручик Вильманстранского полка Дубровин, вскоре казненный в Старой Русе, но за что, не знаю.*) К этому же времени относится и наше первое знакомство со студентом Технологического института Гриневицким.

В 1874 г. весь старший класс после глупой истории с экзаменами был исключен, и благодаря этому связь оставивших школу с нами порвалась за исключением Богородского. Впоследствии большинство учеников были вновь приняты, но Васильев, Париомонов и Богородский вернуться в нашу школу не пожелали.

В 1877 г. я окончил 4-х летний курс и по своему личному желанию избрал себе вакансию на Охтинском пороховом заводе (я был исп. должн. фельдфебеля). Здесь я впервые почувствовал себя гражданином. Жил на вольной квартире, принимал к себе кого хотел и уходил, куда и когда хотел, лишь бы утром быть своевременно на работе.

Завод расположен в парке на большой площади. Технической частью завода заведывал полковник Кайгородов, человек очень гуманный. Первым поручением, данным мне, была задача выработать тип пороха для вводившейся в то время в армии винтовки Бердана и, кроме того, установить заводское производство его. Задачу эту я выполнил успешно, т.-е. выработал тип пороха, удовлетворявший всем баллистическим требованиям, и после этого на все время службы остался заведывать его выделкой. Охтинский завод был оборудован для того времени прекрасно и мог выполнять самые большие требования.

*) Оказал при аресте вооруженное сопротивление *В. Фигнер.*

Наши школьные товарищеские отношения не только не охладели, но, напротив, укрепились еще больше. Одно время на квартире со мной жил Ник. Ник. Богородский.

В этот период времени Богородский завязывал сношения между сидящими в Трубецком бастионе и волей. Переписка велась долгое время, хотя и не с особенной быстрой передачей благодаря самому способу сношений. Больше всего в этом помогала Анна Павловна Корба, но вообще переписка велась в разное время и разными лицами. Через Богородского же мы скоро познакомились с Зунделевичем, Степаном Ширяевым и Фердинандом Осиповичем Люстигом. После неудачного покушения на Дрентельна, Зунделевич вскоре привел к нам молодого человека, который прожил у нас несколько дней. Это был Мирский. За те несколько дней, которые он прожил у нас, у меня, да и у всех моих остальных товарищей, составилось о нем вполне определенное мнение, как о человеке легкомысленном, болтливом и хвастливом. Он едва удерживался от рассказов о своем подвиге, что очень хорошо характеризует его с этой стороны. Когда произошел раскол „Земли и Воли“ на „чернопередельцев“ и „народовольцев“, не помню теперь уже кто привел к нам только что приехавшего из-за границы Аксельрода. Прожил он у нас тоже несколько дней, а потом переехал в город. После этого ни с кем из чернопередельцев я не встречался и не сталкивался.

В первой половине 1879 г. наши связи с членами боевой организации были очень широки. Наиболее близкими к нам были: Зунделевич, Ширяев, Исаев, Грачевский, Кибальчич. Особенно тесные сношения были с Грачевским и Кибальчичем. С ними у нас велись не только теоретические разговоры, но и практические занятия. Кибальчич, желая познакомиться с курсами военной пиротехники, получил от меня „Записки по военной лаборатории“, которые были в то время приняты в Пиротехнической школе.

Летом 1879 г. нам было предложено выработать 2 типа снарядов. Во-первых, тип пригодный для метания и, во-вторых, такой, который действовал бы автоматически, если бы на него, например, наехал экипаж. Кроме того, к нам обратились с просьбой изготовить гремучей ртути, необходимой для производства взрыва динамита. Химическая лаборатория Охтинского порохового

завода была в нашем распоряжении, *) а потому выполнить эту просьбу нам было нетрудно, тем более, что изготовление гремучей ртути мы изучали как теоретически в школе, так и практически в капсюльном отделе патронного завода. В этой же лаборатории хранились небольшие запасы Бикфордова шнура и электрических запалов. Отсюда было почерпнуто некоторое количество и того и другого и поступило в распоряжение Кибальчича. Мне кажется, что мины под Александровском и Москвой были снабжены запалами, полученными от нас. Это я заключаю из того, что Кибальчич вскоре рассказывал нам, как надо проверять пригодность запалов для работы. Взрыв 5-го февраля был произведен с помощью нашего же Бикфордова шнура. Теперь прошло уже более 40 лет, но я очень хорошо помню свой разговор с Грачевским при первом же нашем свидании после взрыва в Зимнем дворце. На мое замечание, что заложено было мало динамита, Грачевский ответил, что все запасы не решились использовать потому, что не было полной уверенности в успехе, а между тем, „была полная возможность сразу извести всю крамолу“.**)

Задача изготовления автоматически действующего снаряда была выполнена мною самостоятельно. Из химии я знал, что смесь сахара с бертолетовой солью, при соединении с крепкой серной кислотой, дает взрыв. Это свойство кислоты я решил использовать при решении данной задачи. Сначала был приготовлен мною „стопин“ (пороховая тесемка), но обыкновенная пороховая мякоть была заменена смесью бертолетовой соли с сахаром, приготовленной надлежащим образом. Тесемка приходила в соприкосновение с системой стеклянных трубок, наполненных крепкой серной кислотой с запаянными концами. Все трубки и пороховая тесемка в свою очередь вкладывались в каучуковую длинную трубку. Для более быстрой передачи пламени по всей длине стопина последний опудривался пороховой мякотью. Первый экземпляр такого снаряда был испытан в лесу, недалеко от селения в присутствии Кибальчича или Грачевского, точно не помню. Испытание дало хорошие результаты и потому был приготовлен точно такой же снаряд, который и поступил в распоряжение организации.

Метательные снаряды (счетом два) или, вернее сказать, оболочки снарядов были изготовлены Грачевским в нашей же квартире. Тип их был самый простой: жестяная паянная оболочка соединялась с частью дистанционной трубки, соединенной с фрикционным аппаратом. Все три прибора не начиненные были взяты у Квятковского при его аресте, в ноябре 1879 г. Затем они были доставлены в лабораторию Михайловского Артиллерийского училища для производства экспертизы. По дошедшим до нас слухам экспертиза дала хороший отзыв. Впоследствии была еще изготовлена обыкновенная артиллерийская граната для защиты квартиры. В дело она пущена не была, ее потом просто потопили.

Динамита у нас не было. Мы могли дать, как образец, только одну шашку 25% Нобелевского динамита. Кибальчич, изучая это дело, выработал способ приготовления 75% динамита (так наз. черного), который и был принят боевой организацией. В своей речи на суде Кибальчич заявил *): „В изготовлении метательных снарядов, т.-е. в выработке типа их, участвовал не я один. Это была скорее коллективная работа“. Действительно, серная кислота в стеклянных трубках и стопин, приготовленный из бертолетовой соли и сахара, были применены уже в снаряде, отобранном в конце 1879 г. Что касается расположения трубок и веса грузов, который должен был быть, с одной стороны, настолько тяжел, что при падении снаряда разбивал бы стеклянную трубку и освобождал серную кислоту, а с другой стороны — настолько легок, чтобы перенос снаряда и обращение с ним в обычной обстановке были по возможности безопасны. Всю эту работу выполнил, насколько мне известно, Гр. Исаев.

Минное дело в Пиротехнической школе не проходилось, и мы в нем не могли оказать существенной помощи. Эти сведения Кибальчич почерпнул из иностранной литературы и из брошюры, изданной морским ведомством,—„Правила выделки игольчатых запалов с гремучей-кислой ртутью малого и большого сопротивления“. Эту брошюру он мог получить от Суханова.

Время пребывания на заводе было периодом наиболее интенсивного моего развития. Здесь я познакомился со статьями Михайловского, который стал властителем моих дум. Бесконечные дебаты вызывали статьи Воронцова (В. В.), конечно. В эти споры мы вовлекали иногда и очень крупных народовольцев. Так, у меня запечатлелся один разговор с Кибальчичем, поводом к которому послужили, по всей вероятности, статьи В. В.

Служа на заводе и имея непосредственное соприкосновение с рабочими, которые набирались из крестьян, приходящих на летние заработки, я совершенно не вынес впе-

---

*) Через одного товарища, который и изготовил гремучую ртуть.

**) Ежедневная опасность обыска в подвальном помещении Халтурина не позволяла частого переноса динамита. *В. Фигнер.*

*) „Былое“, № 3 за 1906 г.

чатления, чтобы это были „золотые сердца“ или „богоносцы“. Напротив, масса, в которой почти не было чистокровных пролетариев, представлялась мне тупой, суеверной, не развитой, а о гражданских чувствах и говорить нечего. Мы же, как народники, должны были смотреть на рабочих несколько идеалистически. Вот это-то и заставило меня обратиться со своими сомнениями к Кибальчичу. Вполне разделяя мои сомнения, он заявил, что в своей революционной деятельности он исходит из идеи общего прогресса. Я вполне с ним согласился и думаю, что эта путеводная звезда спасла меня от всех разочарований в дальнейших испытаниях.

Наша тесная связь с боевой организацией *) поддерживалась через квартиру Фердинанда Осиповича Люстига. В этой квартире перебывала едва ли не вся организация „Исполнительного Комитета“. У нас на заводе бывали, кроме перечисленных выше лиц, Желябов, Ан. Вас Якимова и Тихомиров **). В квартире Люстига я познакомился с Дегаевым, вместе с которым Люстиг служил в Кронштадтской крепостной артиллерии. На эту квартиру я и Иванов ходили не особенно часто, но Богородский там бывал по нескольку раз в неделю, что вызывалось той перепиской, о которой я уже говорил. Здесь должно быть и лежит начало нашего провала, т. к. за квартирой стали следить. Сыск успел проследить только тот факт, что к Люстигу ходили двое военных (обер-фейерверкеры), но кто именно—они не знали.

Вскоре после 1-го марта был арестован и Люстиг, судившийся по второму процессу первомартовцев, а за ним и Богородский. Во второй половине марта 1881 г. на пороховом заводе были арестованы Иванов и сослуживец О-ий. Последний был заподозрен совершенно ошибочно, так как никогда не бывал у Люстига и к революции не имел никакого отношения. В конце марта или начале апреля ко мне на квартиру пришел неизвестный мне солдат и очень таинственно вызвал в сени. Первое, что мне пришло в голову—это подозрение, нет ли тут какого-либо провокационного подвоха под Богородского, поэтому я решил быть с посетителем очень осторожным. Солдат, впоследствии оказавшийся Самойловым, передал мне записку за подписью „Степан“ и письмо, которое надо было передать „Тигрычу“. О переписке с Алексеевским равелином я ничего не знал, но по подписи на записке и по адресату письма я догадался, что письмо из Петропавловской крепости, но тем не менее продолжал свою тактику осторожности. Я сказал Самойлову, что не знаю откуда записка. Он, в свою очередь тоже конспирировал, но, в конце концов, мы договорились, и я, по его просьбе, написал в равелин записку с обещанием исполнить просьбу. Дело это я истолковал, как случайный казус, когда удалось уговорить солдата снести письмо на волю, тем более, что Самойлов при прощании попросил у меня денег. Я дал ему очень небольшую сумму и счел долгом предупредить его, что нужно быть очень осторожным, так как за это можно сильно поплатиться. Условившись с ним о следующем свидании в одном из трактиров на Большом проспекте Петербургской стороны, мы расстались.

Установить связь Алексеевского равелина с волей к этому времени я мог уже только через Дегаева. Когда я с ним свиделся и рассказал о письме и записке, то оказалось, что он уже знал о сношениях с Нечаевым, и от него я узнал, что последний успел распропагандировать всю команду равелина. Познакомив Самойлова с Дегаевым, я ушел и вновь увидел Самойлова только в марте 1882 г. при очной ставке с ним у прокурора Богдановича. О дальнейшей судьбе сношений я ничего не знал до самого возникновения следствия по этому делу.

В апреле месяце 1881 г., наконец, дошла очередь и до меня,—я был арестован и препровожден в Дом предварительного заключения. Кто назвал мою фамилию, я и до сих пор не знаю, так как никогда не интересовался этим вопросом и, встретившись с Люстигом, Богородским и Ивановым, я у них тоже не спросил об этом. При первом же допросе, который вели полковник Никольский и прокурор Добржинский, мне было предъявлено обвинение по 249 статье; конкретные же обвинения заключались в моем знакомстве с Люстигом. На вопрос: был ли я знаком с Люстигом, я ответил утвердительно и, когда меня спросили, кто меня с ним познакомил, я ответил, что познакомился через Богородского. Дальше был предложен вопрос о знакомстве с Дегаевым, на который я ответил отрицательно. Никольский очень удивлялся, почему я это отрицаю, тогда как всеми мое знакомство с Дегаевым было признано, но я не изменил своего показания, и очной ставки мне ни с кем не было дано. Этим и закончился первый и последний допрос после моего ареста. Просидев в Доме предварительного заключения один месяц, я был выпущен и возвратился опять на завод.

После этого я вышел в отставку и вскоре поступил на частный завод „Гераклиновый“ близ с. Рыбацкого. Завод был маленький,

---

*) Отдельной боевой организации не было; автор под этим подразумевает членов и агентов „Исп. К-та.“ В известном смысле весь „Исп. К-т“ был боевой организацией. *В. Фигнер.*

**) В 1879 г. Тихомиров предложил мне вступить в общество „Свобода или смерть“. Я изъявил согласие, но практического значения это не имело.

плохо оборудованный, но впервые, кажется, в России примешивал небольшой % пикриновой кислоты к обыкновенному пороху. Связи с революционерами были почти все потеряны, так как партия „Народная Воля“ была разгромлена. Пришлось заводить новые, и одним из таких новых знакомств было знакомство со студентом Петербургского университета Альбертом Гаусманом, казненным в г. Якутске в 1889 г. после известной якутской трагедии. Знакомство наше скоро оборвалось по той причине, что в конце 1881 г. мне был объявлен приговор, в силу которого я был отдан под гласный надзор полиции на 2 года, с запрещением проживать в местах усиленной охраны. Пришлось расстаться и с Петербургом и со всеми друзьями. К счастью, я опять нашел себе место на частном пороховом заводе на ст. Аксайской Донской области. Завод только еще отстраивался и должен был приступить к производству пороха летом 1882 г.

В конце февраля или начале марта 1882 г. я был вновь арестован и препровожден в Петербург. На этот раз меня заключили в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. В конце марта меня повели на допрос. Допрос производили прокурор Богданович и жандармский штаб-ротмистр, фамилию которого теперь я уже не помню.

„Вы обвиняетесь в том, что, принадлежа к тайному сообществу, вступили в сношения с государственными преступниками, заключенными в Алексеевском равелине. Признаете ли вы себя виновным?“ Я ответил отрицательно и тут только понял причину моего ареста. Я решил, что нужно хорошенько обдумать свои ответы, прежде чем излагать их на бумаге. Привели рядового Самойлова для очной ставки и начали ему задавать вопросы: „Это он“?—„Он“. „Ты носил ему на пороховый завод письмо от № 5“?—„Так точно, носил“. „А он писал туда ответ?“ — „Писал“. Этим очная ставка и окончилась. Я же остался при своем заявлении, что солдата не знаю, писем от него не получал и сам никому не писал. Этим закончился мой первый допрос, после которого меня опять отвели в ту же камеру. Второй допрос произошел не раньше, чем через месяц. Допрос вели те же лица. „Ну что же г. Филиппов, вы и теперь будете отрицать свою вину?“ Тут уже я изложил все дело, так, как я находил нужным. Я рассказал, что в апреле 1881 г. ко мне на завод приходил какой то солдат с черными погонами, но не тот, которого мне предъявили на первом допросе. Он принес мне записку за подписью „Степан“ и письмо, которое нужно было передать какому-то „Тигрычу“. В записке указывалась фамилия студента университета, которому надо было передать письмо и отрекомендовать солдата. Так как ни „Тигрыча“, ни „Степана“ я не знал, то и понять не мог, откуда принесено письмо. Солдат долго не хотел признаваться, что это из Петропавловской крепости, но потом сознался. Я просил и предупреждал его быть очень осторожным, чтобы не поплатиться за такой поступок. В заключение он просил написать записку о получении письма и хоть немного денег. Записку я долго писать не соглашался, но потом принужден был уступить его просьбе и, условившись с ним о встрече в ближайшее воскресенье в трактире на Дворянской улице и давши ему немного денег, расстался с ним. В университете я справился об адресе студента, упомянутого в записке, которому в следующее же воскресенье отрекомендовал рядового Самойлова, передав ему письмо на имя „Тигрыча“. После этого я никого из них не встречал и ничего о них не слыхал.

Прокурор Богданович отнесся к моим показаниям скептически, но штабс-ротмистр вполне поверил. Выслушав меня, Богданович вслух сделал только следующе замечание: „Ну, да все равно, уж там знали, куда посылали“. На что и ротмистр согласился, что конечно, мол, знали. В заключение Богданович поинтересовался узнать, что же побудило меня исполнить просьбу незнакомых мне людей. Я ответил, что чувство сострадания к заключенным. Затем жандарм старался выпытать у меня фамилию студента и описание его внешности, но из этого, конечно, ничего не вышло. В заключение допроса Богданович как бы вскользь кинул мне вопрос: „А вы знали государственного преступника Мирского“? Я ответил отрицательно. Этим и закончился мой второй и последний допрос, и я снова очутился в той же камере.

В то время мне не показалось подозрительным, почему Богданович спросил меня о знакомстве с Мирским, а не о знакомстве с Ширяевым. Только недавно, прочитав в „Красном Архиве“ № 5 статью Щеголева о деле Нечаева, во мне закралось подозрение, что покойный Мирский предал в 1881 г. и меня.

После второго допроса началось долгое скучное сидение в Трубецком бастионе. Вскоре после допроса мне дали первое свидание с матерью. К моему счастью, она держала себя с большим достоинством. Прошла весна, прошло и лето, а движения в моей судьбе никакого не видно. На одном из свиданий мать сообщила мне, что в департаменте полиции ей сказали, будто бы дело будет окончено в административном порядке. В то время министром внутренних дел был Игнатьев, а когда его заменил гр. Толстой, то наступил период „твердой власти“, и было решено передать дело суду. В конце лета меня перевезли в Дом

предварительного заключения, где я просидел вплоть до вручения мне обвинительного акта. Жизнь в Д. П. З. показалась мне после крепости одним удовольствием. Много света, можно было из окна наблюдать гуляющих, чаще давались свидания, на которых можно было разговаривать о чем угодно.

В октябре 1882 г. мне был выдан обвинительный акт, в котором я предавался с.-петербургскому военно-окружному суду для рассмотрения нашего дела, которое квалифицировалось по 2 части 250 ст. Обвинительный акт впервые раскрыл мне картину, которую впоследствии прекрасно нарисовал Щеголев в названной статье в „Красном Архиве".

Из всех подсудимых я виделся только с подсудимым Прокофием Самойловым. Никого другого я не только не знал, но и не видел. Мой товарищ, сослуживец А. Иванов, был привлечен только потому, что Самойлов показал на следствии, что Нечаев сказал ему так: „Ищи на пороховом заводе Иванова или Филиппова — это все равно".

Вот за это-то „все равно" Иванов и попал на скамью подсудимых, как излагалось в обвинительном акте. Но новейшие исследования проф. Щеголева документально установили, что все дело возникло вследствие предательства Л. Мирского. В обвинительном же акте дело излагалось так, как будто оно возникло вследствие того, что были расшифрованы письма, отобранные при арестах у Желябова и Перовской. Полный текст этих писем приведен в той же статье Щеголева. При первых допросах никто из солдат не признавался и только впоследствии, под давлением и угроз и личных ставок, сознались. Мне известны некоторые совершенно излишние разговоры Мирского с рядовым Юшмановым, о которых последний так и не поведал прокурору. Слабее всех оказался Кир Бызов. Из обвинительного акта я впервые узнал, что Бызовым был оговорен и мой товарищ по службе на заводе, Емельянов, который решительно ничего не знал о сношениях равелина с волей, так как я ему об этом не говорил. Правда, несмотря на оговор, к суду он привлечен не был, и о его дальнейшей судьбе я ничего не знаю, но арестован был и он.

К следствию, кроме меня и Иванова, привлекались еще Глуховской и Емельянов. Что касается первого из них, то должен сказать, что мне он решительно незнаком, и я даже не знаю, где он жили служил. Отделение по охране порядка и общественной безопасности в Петербурге решительно ошибалось, думая, что Глуховской был близко знаком с отставным прапорщиком Люстигом и сыном подполковника Богородским *). Глуховской никогда не был у Люстига, да и Богородский едва ли знал его, так как тогда бы я, конечно, тоже знал его. Емельянова же Мирский видел только в те дни, которые он прожил у меня на квартире. У Люстига Емельянов не бывал. Попытки Мирского завязать сношения с волей делались дважды через Кира Бызова и Григория Юшманова, но оба раза неудачно, потому что Мирский не мог указать, как следует, моего адреса. О попытке Юшманова найти меня я знаю от него лично, но при следствии он об этом умолчал. Степан Ширяев бывал у нас на заводе много раз, а потому мог более точно указать мой адрес Самойлову, который и доставил письмо на завод, как об этом уже рассказано. Сношения Нечаева с волей обрывались несколько раз, по крайней мере Дубровин **) восстанавливал их 2 или 3 раза, мне же пришлось оказать ему услугу в этом отношении только один раз.

Вскоре после выдачи обвинительного акта я был опять перевезен в Петропавловскую крепость, в которой нас и судили. Заседание суда состоялось в начале декабря 1882 г., если не ошибаюсь, в Екатерининской куртине. Здесь, на суде, я впервые увидел всю команду, охранявшую Алексеевский равелин, а затем превратившуюся в верных и преданных Нечаеву друзей. Первое впечатление, произведенное на меня этими людьми, было очень благоприятное. Особенно мне понравились Юшманов и Штырлов. Дубровина защищал пр. пов. Марголин, Штырлова—Александров, меня и Иванова—офицер по назначению, а всех остальных — один кандидат на судебную должность.

Обязанности прокурора исполнял военный прокурор Маслов. Свидетелями явились, если не считать вызванного мною Кайгородова, исключительно рядовые той же местной команды, к которой принадлежали и подсудимые. Все они были уже раньше осуждены военным судом в дисциплинарный батальон. Никто из бывших жандармских унтер-офицеров в качестве свидетелей вызван не был. Ни в обвинительном акте, ни при допросах свидетелей вопрос об организации побега № 5 не поднимался.

Все подсудимые на вопросы виновности ответили отрицательно. Прежде всего судом была установлена виновность Дубровина и моя; сделать это было очень легко, так как мы были оговорены нашими же товарищами по скамье подсудимых.

О предательстве Мирского судьи тоже, кажется, ничего не знали. Во время до-

*) „Красный Архив", № 5, ст. 181.

**) Студент-медик, знакомый Исаева, через ко г. Ширяевым была переслана первая записка Нечаева.

В. Фигнер.

проса Бызова, мой адрес которому мог дать только Мирский, так как Ширяева еще не было в равелине, я слышал, как член суда Извольский шепнул председателю, генералу Лейхту: „Отказался давать какие бы то ни было показания“. В то время я этому поверил чистосердечно и долго не мог допустить предательства со стороны Мирского. Когда судьба свела меня с ним на Каре, он тоже подтвердил, что отказался давать какие-либо показания при допросе. Во время пути от Петербурга до Томска я ближе познакомился с Юшмановым и очень удивился, когда он сообщил мне, что Мирский рассказывал ему о том, что он скрывался у меня после того, как стрелял в Дрентельна. Что побудило Мирского к такой откровенности, я не знаю. Вероятно, просто отличавшая его болтливость.

На мое счастье, Юшманов оказался едва ли не единственным рядовым, который не рассказал следователю всего того, что он знал. Главная масса свидетелей должна была дать картину упадка дисциплины и роли Нечаева в равелине, и картина получилась действительно красочная. Мне кажется, что пропаганда Нечаева имела огромный успех, преданность ему солдат была громадна. Еще до связи с волей солдаты носили ему газеты и сообщали все, что знали и слышали. В дальнейшем состав охранной команды стал часто меняться, а потому Нечаев не успевал их перевоспитывать и ему приходилось даже прибегать иногда к угрозам. Целый ряд свидетелей давал приблизительно такие показания:—„Ты передавал записки?“ „Так точно, ваше п—во, передавал“. „Зачем же ты передавал, разве ты не знал, что этого делать нельзя“?—„№ 5 приказывал передать“.—„Да разве он твой начальник, что мог тебе приказывать“?—„Не могу знать, ваше п—во, он всем приказывал“. Один из членов суда, наслушавшись подобных ответов, воскликнул: „Да это комендант крепости“!

Суд вынес следующий приговор: Дубровина и Филиппова, как действовавших вполне сознательно, сослать в каторжные работы—Дубровина на 4 года, Филиппова же, как нарушившего сверх того долг службы, на 5 лет; нижних чинов, по лишению всех прав состояния, сослать на поселение. Иванова, как не донесшего о преступлении Филиппова, к тюремному заключению на 6 месяцев. Таков был финал этого таинственного процесса. В газетах о нем не было упомянуто ни слова.

В заключение я позволю себе высказать несколько соображений по вопросу о предполагавшемся якобы побеге Нечаева в конце 1881 г. Проф. Щеголев („Красный Архив“, № 5, стр. 210) пишет: „Нечаев был замечательный конспиратор, и для каждого, кого он втягивал в свой круг, была своя конспирация деталей, а целое знал он один, да, должно быть, Мирский, или фактических приготовлений к осуществлению плана не было, и Мирский изобрел их в своем доносе. Трудно ответить на эти вопросы“. Лично я склоняюсь к мнению, что фактических приготовлений не было, *) и Мирский изобрел их для придания большей ценности своему предательству. Соображения мои вот какие:

1) Донос Мирского состоялся в половине ноября 1881 года. К этому времени в команде равелина из наиболее надежных и преданных Нечаеву солдат уже не было—Колыбина, Юшманова, Штырлова, Бызова, Терентьева, Орехова, Кузнецова, Самойлова, Петрова, Губкина, Вишнякова и Архипова. Охранную стражу составляли уже те солдаты, которые на нашем суде явились свидетелями, а с такой компанией далеко не уедешь, и этого, конечно, не мог не понимать Нечаев.

2) К ноябрю месяцу партия „Народной Воли“ была настолько разгромлена, что не могла оказать существенной помощи Нечаеву, а без посторонней помощи, без средств и адресов побег едва ли был возможен, да и сношения с волей были уже порваны.

3) Ни на суде, ни во время следствия никто из солдат не дал никаких указаний на предполагавшийся побег, а ведь все свидетели, несомненно, сообщили все, что им было известно. Да и из подсудимых коекто, например Бызов, не скрыл бы этого, если бы побег действительно подготовлялся.

4) В дороге, перезнакомившись хорошо с солдатами, я многим из них задавал вопрос: „Можно ли было освободить Нечаева?“ и всегда получал ответ, что, хотя и трудно было вывести его, но, пожалуй, можно было. Такой взгляд их относился к тому времени, когда партия была еще в полной силе. Отношения со всеми солдатами у меня установились настолько близкие, что они, наверное, не скрыли бы от меня, если бы в действительности существовал реальный план побега. Живя в течение нескольких лет в Якутской области в тесном общении с Юшмановым, Штырловым и Самойловым, я не допускаю мысли, чтобы они не рассказали мне об этом.

Из рассказов солдат об отношении к ним Нечаева я запомнил такой случай: когда комендантом крепости был барон Майдель, солдаты однажды пожаловались Нечаеву, что их очень плохо кормят. И вот при первом же посещении Майделем Нечаева последний просил об улучшении солдатского

---

*) Совершенно верно, но принципиально еще в янв. 81 г. Исп. К-т постановил, что устройство побега им будет совершено (см. „Зап. Труд“, т. I-й).
В. Фигнер.

питания, в результате чего стол их был значительно улучшен. Такой факт сразу поднял в глазах солдат авторитет Нечаева, чем он не преминул воспользоваться, конечно, в полной мере.

В конце 1882 г. приговор вошел в законную силу, и я был переведен на каторжное положение в том же Трубецком бастионе. В последних числах апреля 1883 г. меня перевезли в Дом предвар. закл., где в тот же день меня обрили и заковали в кандалы. 1-го мая 1883 г. меня отвезли на вокзал и присоединили к большой партии, в состав которой входили все осужденные по нашему процессу. Остальная масса состояла из высылаемых административным порядком.

Особое место занимал Михаил Николаевич Чикоидзе, судившийся по процессу 50 и затем бежавший из Киренска. В Петербурге он погулял немного и теперь вновь высылался в Сибирь. Легко и близко я сошелся с ним, и всю дорогу до Иркутска мы не разлучались. Из административных с нами были Мартынов, Лебедев, Романенко, Лавров, Лапицкий, Орлова, Макаренко и др. В Москве к нам присоединились осужденные в 1883 г. по одесскому процессу — Майер, Дзвонкевич, Матвеевич, Дрей, братья Надеевы, Голиков, Ф. Морейнис и др., а из Киева — Геккер. Получилась очень большая партия, с которой я и двинулся в дальний путь.

От Томска до Иркутска мы шли этапным порядком, на что потребовалось три месяца. Из Иркутска на Кару я был отправлен на почтовых в сопровождении двух жандармов, куда и приехал в декабре 1883 г. Здесь я нашел только одного старого знакомого—Зунделевича, остальную же массу в громадном большинстве составляли южане. Срок моей каторги окончился в марте 1886 г., и я был отправлен в Якутскую обл. Путь от Кары до Иркутска вместе с четой Ястремских прошел уже этапным порядком с обратными партиями. В Иркутск мы добрались только в июне месяце. Дальнейший путь я опять совершил индивидуально в сопровождении двух нижних чинов Иркутск. резервн. батал. Старшой купил на Лене лодку, в которой мы и совершили плавание по Лене почти до самого Якутска. В начале октября месяца я был водворен в 3-й Балагурский наслег Батурского улуса. Здесь я вскоре нашел себе учеников, которые и заполнили мое существование почти на все время моего пребывания среди якутов. Кроме педагогической деятельности, я занимался в последние годы и земледелием, но в очень ограниченном размере. В 1893 г. я с товарищами Надеевым и Самойловым выехали на своих лошадях в Иркутск. Дорога была очень медленная и трудная. Сорокаградусные морозы донимали нас очень сильно. В начале марта мы добрались до Иркутска, где и продали своих коней, а сами начали устраиваться на житье. Я устроился сначала на Сибирском тракту, а затем на постройке Забайкальской жел. дороги. В 1902 г. я выехал в Россию и с большим трудом устроился на житье в г. Ставрополе-Кавказ., где и проживаю до сих пор.

Фроленко, Михаил Федорович. *)

Родился в ноябре 1848 г. в г. Ставрополе Кавказском на Третьей Солдатской Слободке (Ольгинская ул.) в собственном доме. Мой отец, Федор Тимофеевич Фроленко, прослужил 25 лет в солдатах и, дослужившись до фельдфебеля, отказался под конец от первого офицерского чина, дабы не продолжать службы, вышел кандидатом в отставку и женился на моей матушке в пожилых годах. Он умер, когда мне было не более 7—8 лет. Я его мало помню, так как он не вмешивался в мое воспитание. Зато матушке я обязан всем всецело. Дочь также отставного унтера, она с шести лет попадает в чужие люди, но, к счастью, на первых порах ее хозяевами оказываются, видимо, хорошие интеллигентные люди, и они прививают ей и развивают в ней более разумное, более человечное, нравственное отношение к людям, к детям, к мужу. Она, не будучи даже грамотной (грамота ей совершенно не далась), оказывалась потом в моральном и умственном отношении много выше окружающих, стоявших куда выше ее по своему положению и образованию.

Так, в отношении к детям у нее был определенный, глубоко впитанный принцип—не бить, не кричать на детей, а действовать на них лаской, словом, уговором, и у нас никогда нельзя было слышать того, что творилось у наших ближайших соседей—одной подполковницы, где то и дело наказывали детей. За все детство я понес лишь дважды наказание. Однажды это было весной и вышло из-за новых сапог, которые для нас составляли большую ценность, ибо матушка после смерти отца получала лишь 28 руб. в год, т.-е. 2 р. 33 к. в месяц, а на такую сумму не раскутишься, и ей приходилось много работать, дабы иметь возможность существовать. Так вот весной, когда по улицам бежить талая снеговая вода, я в новых сапогах, увлекшись постановкой водяных мельниц на ручьях, сильно загрязнил и измочил свои сапоги. Заметив это, матушка позвала меня в комнату, заставила снять их, положить сушить, а затем велела лишь просидеть несколько часов в комнате. Она

*) Автобиография написана в октябре 1925 г. в Москве.

при этом не била, не ругала, а только потом, вечером, когда, казалось, все уже было забыто, объяснила нам в виде разговора, как дорого обошлись ей мои сапоги, сколько дней ей пришлось с утра до вечера стоять у корыта и стирать белье у богатых соседей. Мы ее очень любили, поэтому и такого косвенного укора было достаточно, чтобы другой раз не повторять этого. Второй раз так было. Я уже учился в училище. Там мне выдали учебники. Дорожа каждым грошом, матушка этот дар считала очень ценным, и вдруг однажды я прихожу из класса без этих книг.—Где они? спрашивает она. — У товарища, нашего соседа, оставил,—говорю. Я после классов пошел не прямо домой, а отправился к другому товарищу и свои книги поручил соседу с тем, чтобы, идя домой, забрать их, но, когда я на возвратном пути зашел за книгами, соседа не оказалось дома, и я вернулся без книг. Матушка страшно испугалась; она знала, что мой товарищ сосед пользовался у нас на 3-й Слободке очень плохой репутацией. Поэтому она прежде всего приказала немедленно же итти к нему и добыть книги во что бы то ни стало. Иду, на этот раз застаю, беру и радостно приношу, полагая, что дело в шляпе. Но не тут-то было. Матушка взяла, пересчитала все ли, а затем велела стать мне в угол. Вот и все ее наказания за все мое детство.—Она была два раза замужем, и оба мужа пили запоем, но она, смотря на запой, как на болезнь, никогда их не бранила, не ссорилась, а напротив, заметив, что начинается приступ, она спешила лаской, уговором добиться того, чтоб они уже не уходили на сторону, а пили-бы лучше дома. Дома же, давая им пить, она в то же время отпаивала их сывороткой, молоком, ухаживая за ними. Это они ценили и уже сами шли охотно домой и здесь отбывали неделю, больше, свою болезнь. Благодаря такой системе матушка потом не раз мне хвалилась, что ее мужья никогда не позволяли себе даже в пьяном виде не только ругаться, но даже грубого слова ей сказать. С соседями опять-таки у нас были наилучшие отношения. Матушка не любила сплетен и хождения по гостям. Поэтому и соседи относились к ней не как к жене солдата, а как к чему-то более высшему, облагороженному. После смерти отца я, матушка и сестра от перваго брака жили дружно, тихо и даже, можно сказать, весело, особенно по вечерам. Матушка любила присутствовать при наших играх с сестрой, а иногда и сама принимала в них участие. Часто по вечерам матушка возьмет да и расскажет нам что-нибудь из своей жизни: то, как ее еще шестилетней девочкой отдали в люди, то, как она, став уже 18-летней девушкой, начала возмущаться отношением к ней хозяек и их мужей, потребовала, наконец, от родителей, чтобы ее взяли домой, грозя в противном случае утопиться. Ее взяли, но поспешили продать первому навернувшемуся жениху за 50 р. О том, нравится ли ей жених, ее не спрашивали, конечно, уверив, что он хорош во всех отношениях.

Чтобы снова не попасть в люди, она соглашается, но, выйдя замуж, вскоре узнает, что муж сильно пьет, а к этому он через год-другой увозит ее в Ставрополь Кавказский и тут в первый же год по приезде умирает. Была эпидемия. Болела и матушка. Только очнувшись, узнает она о его смерти. Таким образом, она осталось одна с двумя детьми, без родных и знакомых на чужой стороне. Точно туман окутал ее, точно во сне, как автомат, прожила она так год—по ее словам. Видя ее беспомощное положение, соседи начинают ее уговаривать выйти снова замуж. Она соглашается, но как-то пассивно. Появляется мой отец. Он уже в отставке и приходит в штатском платье. Назначают день свадьбы. Входят в церковь. Вдруг матушка видит: стоит во всех регалиях какой-то солдат, вместо того, который приходил к ней.—„Не хочу, не хочу!“—раздается ее отчаянный крик. Все бросаются к ней, начинают уговаривать. В конце ее уговорили—они обвенчались, но эта трагедия ей не обошлась даром, она с того же времени сильно заболела. Дело в том, что хотя она и была сама дочь солдата, но у нее составился под влиянием виденного взгляд на солдат, как на людей грубых, диких, очень низко стоящих в моральном отношении. Вышло очень плохо. Однако, дело было сделано, изменить уже нельзя было, приходилось примириться, и матушка, скрепя сердце, занялась этим, но тут вскоре целый ряд новых открытий заставил пережить матушку еще снова и снова много тяжелых огорчений.

Рассказы о всем этом, пережитом ею, и составляли главную тему наших вечеров, и мы невольно проникались сочувствием к ее страданиям, и это-то потом и заставляло нас внимательно, с уважением относиться к ее наставлениям, и мы удерживались от дурных проказ, боясь ее огорчить. Она и моего отца скоро из пьяницы сделала хорошим мужем и отцем. Но тут наскочила смерть, и его не стало. Случилось это неожиданно. Отец заведывал каменноугольной копью в 150 верстах от Ставрополя, в горах на берегу Кубани. Летом обычно ездила к нему матушка, но на зиму он оставался там один и вот, оставаясь один, он заболевает обычным запоем, товарищи сослуживцы вместо того, чтоб удерживать, еще больше поощряют, он чувствует беду, но удержаться не может и сгорает. Только после смерти из его письма узнает матушка его собственное настроение: „Я,

верно, умру; если б ты была здесь, ты бы не допустила“.

Мое более сознательное отношение к окружающему и память виденного проснулись как-то вдруг, при таких обстоятельствах.

Обычно мы жили в Ставрополе, но отец последние годы, получив место на каменноугольной копи, вблизи укрепления „Хмара“, на лето решил взять к себе матушку и меня. Я ничего не помню из жизни до этого, ни нашего хозяйства, ни коровы, ни лошадей, ничего,—а все это было, как узнал позже,—но вот, когда меня вывели во двор, где стояла кибитка, и тут собрались соседи и знакомые нас провожать, у меня вдруг запечатлелась вся эта картина: кибитка, сестра, матушка, просящая кого-то присмотреть за ее коровой, ворота, потом улица, заросшая ромашкой, и т. д.,— все это запомнилось, и память пошла уже последовательно представлять и лес загородный, и полянку, где мы лакомились солодовым корнем, и потом ночевку в степи среди воловьего обоза. Далее мы останавливались у казаков в одной станице (Баталпашинск, после узнал). Здесь мы с матушкой в развалинах одной турлучной хаты нашли замазанный образ божьей матери, обмыли его и пустили по Кубани. Ночевали затем в доме мирного черкеса; вероятно, тут было село, но села не помню. Дальше вскоре начинались горы, и отцу советовали пораньше выехать, дабы засветло добраться до нашего поселка, но отец, куда-то отлучившись, вернулся малость уже выпивши. Чтобы нагнать утерянное на это время, он пустил лошадь вскачь. Вдруг наша кибитка валится на бок. Сломалась ось, пришлось вернуться и заняться заменой оси. Пока это устроилось, прошло еще немало времени. Все стали уговаривать отца переночевать и ехать лучше на другой день пораньше, напоминая об опасности ночью застрять в горах, наскочить на черкесов (ночью мирных черкесов не было). Но никакие доводы не действовали —мы поехали. Не успели еще доехать до гор, как уже солнце стало заходить; повеяло вечером из горных ущелий, понесся протяжный, наводящий страх крик филина, как бы предостерегая путников не пускаться в путь ночью по горам. Скоро дорога пошла в гору, стал накрапывать дождь и затем полил во всю. Темнота усилилась. Отец вышел из кибитки, чтоб помогать лошади, мы с матушкой забились в угол и прибегли к единственному средству—к слезам. Положение становилось все хуже и хуже. Дорога шла по краю крутого обрыва: с одной стороны высились горы, с другой—угрожал глубокий обрыв. Малейшая ошибка, и мы легко могли полететь с обрыва. Вдруг, смотрим, кибитка стала. Подходит отец и сообщает, что лошадь выбилась из сил, не может уже дальше двигаться, и нам здесь придется провести так всю ночь. Между тем, как после оказалось, это было самое опасное место. Здесь была какая то скала, за которой черкесы обычно делали ночью засаду и нападали на проезжих. Не зная этого, мы все-таки все время ждали такого нападения, но, пока двигались, была еще надежда добраться до укрепления „Хмара“, и мы не так трусили; а когда услыхали от отца, что придется заночевать на краю обрыва, нам ясно представилась картина пленения или падения в бездну. Слезы полились еще сильней, и в них я так незаметно и уснул. Но вот, еле открывая глаза, вижу вдруг, какой-то в папахе, в черкеске человек вытаскивает меня из кибитки. На дворе слабый свет. У меня мелькает мысль, что это черкес и, видно, тащит меня в плен, но мне все равно, сон еще не прошел, он дороже всего, и я снова засыпаю. Наконец, просыпаюсь окончательно и вижу—я лежу в комнате, в окно светит яркое солнце. Перед окном стол, на нем самовар, и сидят матушка с отцом и пьют чай. Что такое? Оказывается, на нас наехал казачий объезд и выручил нас. Объезд же случился потому, что незадолго до нашего путешествия по той же дороге ехало ночью несколько офицеров, и черкесы, засев в засаду у скалы, где стала наша лошадь, напали на офицеров, некоторых убили, других ранили; после этого и был отдан строгий приказ, чтобы каждую ночь казачий разъезд отправлялся к скале и осматривал опасные места.

Поселок, куда я попал, представлял следующее. Обрубили склон горы и выдолбили в ней пещеру. Затем, заделав переднюю сторону стеной из камня с окнами и дверью и перегородив пещеру, получили два отделения—две казармы. В одной поместилась рота солдат, в другой - отряд рабочих для копи. Недалеко, параллельно казарменной горе, протекала речонка; ее соединили с горой двумя плетневыми заборами и сделали двое больших ворот. Тут шла проезжая дорога в черкесские аулы. Между плетнями получился большой двор, его ближе к реке разгородили еще плетнем и на малом дворе построили длинноватое здание с плоской земляной крышей для квартир служащим: отцу, его помощнику и другим здесь же; около понаделали клетушек, амбарчиков, сарайчиков для хранения провизии, инструментов и др.; за этими всеми постройками на берегу речонки помещался огород. Вот и весь поселок. Уголь сначала стали брать прямо от реки, но потом начали устраивать и шахты прямо с поверхности на равнине.

За речонкой располагался аул мирных черкесов. Однажды мы с матушкой ходили

туда к какой-то, видимо, зажиточной черкешенке. У ней вся сакля увешана была коврами. Другой раз был в ауле праздник. На площади устроили джигитовку молодых черкесов перед девушками, стоявшими группами на невысоких искусственных тумбах: делался круглый плетень и туда внутрь набивали земли. Девушки пели, били в ладоши, а молодежь гарцовала, стреляла, поднимала с земли на всем скаку вещи. На этот раз туда водил меня сам отец и спас меня от падения в речку.

В конце лета мы вернулись в Ставрополь. Отец и тут нас сопровождал.

Вернувшись в Ставрополь, я снова как бы потерял память, и как прошла зима, не помню, но летом мы снова очутились на „Хмаре“ у отца. К этому времени уголь разрабатывался через шахту, в которую и меня спускали — не понравилось мне там: сыро, грязно, вода всюду журчит.

За нашим поселком падавшие с горы камни образовали целый лабиринт проходов, пещерок, закоулков. Нас, детей, на этот год оказалось несколько душ, и вот мы, выпросив у матерей круп, пшена, соли, хлеба, забирались в эти камни, прятались там, играли, варили себе из пшена или крупы „кандер“,—вообще проводили почти весь день там. Никто из наших родных как-то не обращал внимания на это. Но черкесы, видимо, заметили нас, и вот однажды, играя меж камней, мы видим вдруг из лесу выезжает черкес и прямо держит путь на нас помимо дороги. Это нас встревожило, и мы скорей в поселок; там, забравшись в огород, стали наблюдать за верховым. Смотрим, он своротил к реке и по руслу пробирается к нашему огороду. Дело плохо, мы скорей в хаты и с тех пор уже за поселок ни ногой; мало этого, матушка не захотела дольше оставаться, и мы при первой же возможности поехали обратно в Ставрополь.

На этот раз, по приезде вероятно, меня отдали учиться грамоте. Недалеко от нашего домишки на 3-й Слободке помещались жандармский манеж и казармы. Была канцелярия, и писарь брался учить азбуке. Учил по-старому: аз, буки, веди и т. д. Особенно трудно давалось мне слогосложение в слово, к тому же учитель не сам следил за чтением, а поручал старшему, который и сам-то нетвердо знал. Я это подметил и стал ему твердо произносить слова, которые первые попались на память. Он не замечал вранья, и так я несколько раз его провел. Прихожу потом домой и за обедом не утерпел и стал хвалиться своей ловкостью. Матушка выслушала, ничего не сказала, но на другой день, смотрю, ведет меня к жившей вблизи жене доктора и просит ее поучить меня.

У нее мое обучение пошло уже быстро, и я бы далеко ушел, но тут доктора перевели в Тифлис, и меня матушка определила к одному отставному чиновнику — он за пьянство был прогнан со службы, но, как учитель, оказался дельным. Платили ему один рубль в месяц за обучение грамоте, но меня он за эту же плату начал учить и арифметике, и грамматике, и даже хотел географии. В это время умирает мой отец, средства у нас сразу прекращаются, и для матушки рубль являлся капиталом. Ей советовали даже взять меня от учителя и отдать куда-нибудь в лавку или к мастеру, но матушка, высоко ценя образование, ни за что на это не хотела согласиться. Ученье у меня здесь шло быстро и хорошо, и мы в одну зиму дошли уже и до географии, но тут явилось препятствие. Арифметику, грамматику учитель преподавал без руководства, задавая мне письменные задачи и грамматический разбор на бумаге, но дальше требовались книги, а их-то он знал, что матушке трудно добыть, и тогда он решает сам начертить на учебной доске глобус и начать с этого. Начиналась весна. Он занялся у доски вычерчиванием земного шара, я за столом писал разбор, как вдруг появляется к нам школьный ревизор и начинает расспрашивать. Мой учитель обрадовался и ну ему выхвалять мои успехи, прося снабдить нас учебниками; сказал и о том, что вот он принужден чертить на доске за неимением карты. Ревизор выслушал, посмотрел мой письменный разбор, остался доволен и велел приходить к нему в училище за книгами—он был смотрителем Ставропольского уездного училища. Я пошел вскоре к нему, набрал в своем саду тарелку черешни и преподнес ему. Он взял, но дал мне в свою очередь 20 коп.; затем стал экзаменовать по арифметике, и когда я ему ответил, он заметил: „Приходи-ка лучше учиться в училище, тогда я тебе и все книги выдам“.— „Спрошу матушку“, отвечаю ему. „Ладно, спроси“. Матушка сразу согласилась, и я очутился в училище. Мне выдали книги, и я стал ходить, к великому огорчению моего учителя, в училище. Тогда нам это казалось благом, а на поверку, как после вышло, очень дурно. Учись я у учителя, я бы в один год прошел то, что требовалось для поступления во 2-й класс гимназии; между тем в училище я провел 5 лет и тоже поступил только во 2-й класс,—значит, 4 года пропали у меня задаром и все потому, что программа гимназии не была согласована с программой училища. В училище я кончил первым с похвальным листом и мог бы на этом покончить, ибо о гимназии у нас на слободке боялись и думать, полагая, что для этого надо быть дворянином. Мой отец отказался от офицерского чина, я, значит, попал в разряд низших сословий. Меня

выручило такое обстоятельство. Как-то губернатору гор. Ставрополя вздумалось посетить наше училище; заходит он в наш старший класс на урок русского языка. Учитель вызывает меня, как шедшего первым, я отвечаю. Губернатор доволен, хвалит, уходит, но снова появляется на уроке географии и тут видит опять меня, вызванного учителем к доске. Губернатор сказал мне начертить карту России, остался очень доволен, стал меня расспрашивать о моих дальнейших намерениях по окончании училища. „Хотел бы в гимназию, да, боюсь, не примут,“ говорю. „Пустое, как не примут! Пойди к директору и скажи, что я тебя прислал! Примут“. Я вскоре кончил курс, получил диплом, иду к директору и по наивности действительно повторяю слова губернатора. Директор улыбается, велит приходить после каникул на добавочно-поверочный экзамен в гимназию. За каникулы надо было приготовиться по французскому языку и естествознанию малость. В гимназию же, оказывается, я мог уже в те годы поступить, и не ссылаясь на губернатора. Однако, за каникулы мне не удалось подготовиться, я провалился и потому меня приняли вместо 3-го или 4-го только во 2-й, хотя по русским предметам я годен был и для 4-го класса.

Благодаря этому в гимназии мне было легко учиться, но это-то и мешало. Полагая, что я все помню, я редко заглядывал в книги и за это попадал иногда впросак, т.-е. не мог отвечать хорошо, а тут учителя в гимназии, оказалось, не все стояли на высоте своего призвания, и вместо того, чтоб тянуть ученика вверх, они пытались его осадить, спустить в яму. Затем введение греческого и латинского сделало то, что я из первых скоро попал в средние и едва кончил 4-м, а мог бы легко кончить если не первым, то вторым. Как сын солдата, я должен был получить в гимназии при окончании курса не меньше $4^1/_2$ или перейти в податное сословие. Я же получил в общем лишь $4^1/_4$, мне нехватило $^1/_4$ бала. Будь же $4^1/_2$, я бы получил право на первый гражданский чин и освободился этим от податного сословия, а вместе с этим и от воинской повинности. Ничего этого тогда не знал я и потому-то, при том еще взгляде, что отметки пустяки, я тогда ничего и не предпринял. Но когда года через три мне пришлось начать хлопоты о приписке меня в мещане—меня хотели отдать под суд за то, что я уклонился от воинской повинности, никуда не приписавшись еще заранее. Едва-едва я выкрутился тогда от суда, говоря, что учусь все время. Это—одно, а другое то, что веди дело учителя латинского—греческого языков лучше, я бы кончил из первых и попал бы в университет на казенный счет. Жизнь, значит, пошла бы другим путем. Было бы это лучше или хуже, трудно сказать, но интересно то, как иногда какой-нибудь пустяк может заставить течь реку жизни то в том, то в другом направлении. Итак, в 1870 г. я кончаю гимназию 4-м только и еду в Питер (Ленинград). У меня сначала была мысль поступить в Константиновское военное училище, и об этом я прошение послал, как только кончились экзамены, и я получил аттестат. Не сомневаясь в приеме (я ведь, как сказано выше, не знал, что, не получив $4^1/_2$, я поступаю в податное сословие, а таковых не принимали в высшие военно-учебные заведения), я и поехал в Питер, едва собрав денег на дорогу. Я больше потому и на Константиновке остановился, что для учения в ней не нужно было своих средств иметь.

Приезжаю и скорей бегу в училище, прошу директора принять меня сей же час, ибо, мол, у меня нет денег на житье. „Прием будет через две недели, только тогда я вас смогу принять“, отвечает он. Я ухожу, закладываю часы, еще что-то, нанимаю чердак, жду. Вот и прием начался, иду в училище. Там начинается вызов для физического осмотра; всех вызвали, а меня, смотрю, не вызывают. Тогда я самовольно врываюсь в комнату, где производился осмотр, и прошу меня осмотреть. Меня спрашивают, кто я, как попал сюда; объясняю, что мною посланы были документы давно, что я потому и приехал. Вдруг из темного угла слышу: „Да вам отказано! Мы ваши документы давно отправили в Ставрополь“. Как обухом по голове хватили меня эти слова из угла. У меня, верно, на лице отразилось большое отчаяние. Поэтому директор стал меня успокаивать и говорить, чтоб я скорей шел к военному министру и с ним переговорил, даже сам написал какую-то просьбу. Я пошел, и не раз, но из этого ничего не вышло. Швейцар отвечал: не принимают. А я не имел еще догадки дать или пообещать ему денег. Из-за этого пришлось несколько раз бегать от директора к министру и обратно. И вот бегу раз и встречаю неожиданно товарища из нашей гимназии, кончившего вместе со мной курс. Разговорились. Узнав мои дела, товарищ говорит: „Брось ты свою Константиновку! Поступим в инженерное или технологический“. „А жить чем?“ спрашиваю. „Я получаю от отца 25 р. ежемесячно—проживем,“ говорит товарищ. За Константиновку я хватался, как за единственное средство попасть в столицу; сама военщина меня не прельщала, и у нас в гимназии к ней относились отрицательно. Поэтому предложение товарища мне пришлось по душе; я, согласившись, сейчас же поселился с ним; у него уже была нанята квартира. Вскоре,

побывав сначала в инженерном и возмутившись какой-то противной военщиной там, пошли в технологический, где было проще, и поступили оба туда. Нас еще прельщало и то, что технолог мог приносить пользу больше обществу, стране, народу, а не царскому режиму.

В гимназии у нас был уже кружок революционно настроенных гимназистов, и вообще бродил вольный дух, проявлявшийся и в том, что тихонько ходили в театр, когда там читался „Парадный подъезд" Некрасова, шел „Иван Грозный" или „Горе от ума". У нас вначале были сюртуки с красным воротником, светлыми пуговицами, но потом ввели черные сюртуки; однако, быстро одумавшись, вместе с классицизмом снова завели форму со светлыми пуговицами. Но мы, старики (шестой, седьмой класс), под влиянием этого вольного духа и не подумали надеть новую форму, крепко уцепясь за черный сюртук. Далее, у нас в большом презрении была погоня за карьерой, и, напротив, честная служба на пользу народа считалась обязательной. Конечно, не у всех был такой взгляд, конечно, и у тех, что говорили так, он не представлял ясно определенного взгляда. Все это были лишь отзвуки того, что проводилось тогда в легальной либеральной литературе, но и это было хорошо, и благодаря этому многие шли потом в революционеры.

Будучи в уездном училище, на каникулах я с охотой пользовался его библиотекой и тут познакомился с Гоголем и полным изданием Робинзона Крузо, но, перейдя в гимназию, помню, только однажды удалось мне добыть о Гарибальди из гимназ. библиотеки, да в 7-м классе стал давать один пансионер - товарищ какой - то журнал. В городе же сначала не было частной библиотеки, и я пробавлялся лишь случайно попадавшими книгами и журналами, но в очень ограниченном количестве. Когда я был еще во 2-м классе, более взрослые,— а в то время у нас бывали такие, что из 2-го класса поступали в юнкера,—задумали как-то по вечерам устраивать при гимназии в пустом классе чтение Тургенева, Гончарова. Но это скоро прекратилось—вероятно, начальство узнало и запретило. Вот и весь умственный багаж, заполученный мной за время ученья в Ставрополе.

В доме у нас был Лермонтова „Кавказский пленник" и „Мцыри," басни Крылова, хрестоматия Филонова и евангелие. Читая и перечитывая их много раз, то увлекался Кавказом, мечтал о разных похождениях, борьбе с барсами, то придумывал басни на манер Крылова, то весь уходил в борьбу Малороссии с Польшей, зачитываясь Тарасом Бульбой в хрестоматии Филонова, и, главное, много дало мне евангелие. Тут я глубоко впитал в себя и то, что надо крепко стоять за други своя и не пожалеть души своей ради них, что правды ради должен претерпеть и битье, и изгнание, даже смерть. Люби други, как сам себя; не пожалей для него и последней рубахи; остави мать, отца ради правды, т.-е. ради революции. Вот что дало чтение евангелия, а его меня частенько заставляла матушка читать по воскресеньям. И я, если пошел в революцию, то могу с уверенностью сказать, что сделал я это главным образом под влиянием учения евангелия— нагорной проповеди. Она-то помогала „вольным духом" проникаться.

В Технологическом институте ни я, ни товарищ не увлеклись техническими науками. Я был занят уроками, товарищ— чтением книг. Раза два по целому месяцу нам пришлось пережить, можно сказать, полуголодовку, а именно проживать на еду не более 4-х, 5-ти копеек в день. Мы покупали кровяную колбасу в 3 к. и фунт черного хлеба за 2 к., не то за 4 к. имели тарелку супу без мяса с хлебом. Такая вещь случалась потому, что товарищ, получая сразу сто рублей на четыре месяца, ухитрялся их спустить месяца в два, затем месяц мы пробивались, закладывая часы, золотые очки товарища, чей-либо сюртук, и в таком случае одному из нас приходилось сидеть дома.

Летом 1871 года был назначен процесс нечаевцев — товарищей Нечаева, скрывшегося в Швейцарию. Мы с товарищем и еще с тремя ставропольцами пошли на этот процесс. Чуть свет надо было итти, ибо интерес к этому процессу был таков, что некоторые студенты, дабы попасть в очередь, ночевали даже во дворе суда. Для нас это был первый политический процесс, и на нас произвело сильное впечатление, что подсудимые не оправдывались, а, напротив, сами обвиняли правительство и в злоупотреблениях и в том, что оно, давая по виду на бумаге либеральные реформы, на деле превращало их в новые способы угнетения. Тут же мы узнали, что порядки в московской Петровско-Разумовской земледельческой академии—откуда было большинство судившихся — замечательно либеральные, будучи взяты откуда-то из-за границы.

„Едем в Петровку!", заговорили мы все вдруг и, быстро порешив на этом, двинулись в Москву, чтоб поступить осенью в академию. Нас потянуло туда, во-первых, то, что там порядки более хорошие, а во-вторых, то, что, будучи агрономами, мы можем принести большую пользу народу, научая его лучшим приемам. Играло, конечно, и желание посмотреть места, где впервые возникла такая крупная революционная организация, как нечаевщина, где свершилось дело Иванова.

Ну, вот и Петровская платформа. Мы

в восторге от всего—и показное поле с великолепным хлебом, и аллея от платформы, до дворца академии, и самый дворец небольшой, все это нас восхищает. Нанимаем квартиру, начинаем знакомиться, расспрашивать, узнавать, и вдруг очень скоро у нас начинается охлаждение. Порядки в академии после разгрома нечаевцев совершенно изменены. Введены курсы, обязательные переходы, требуется гимназический аттестат для поступления; словом, это обычное высшее учебное заведение—это одно; другое, и главное, на наши вопросы о роли агронома в деревне старые петровцы ответили, что мужик смеется над всеми новшествами, критически относится к ним и не хочет слушаться ученых агрономов, говоря: „Отцы так жили и нам завещали"; плохо, значит; придется очутиться лишь в роли управляющего; а тут, побывав на лекции сельскохозяйственной экономии, слышу вдруг наставление, что в хозяйстве главное—это нанять подешевле рабочего, пользуясь зимней голодовкой или еще какой бедой у мужика. Вот так послужим мы мужику, нечего сказать! Все это повело к тому, что как товарищи, так и я перестали интересоваться академией. Товарищи на следующий год уехали; я же, хотя из-за стипендии и остался, но уже редко посещал лекции, больше отдавая времени чисто студенческим делам. До погрома у студентов была своя библиотека, лавочка, столовая. Все это рухнуло, скрылось в подполье, так сказать. Теперь начали люди понемногу поднимать головы и думать о возобновлении. Книги, разобранные по рукам, решено было собрать в одно место, деньги от лавочки тоже и открыть нелегальную библиотеку. Библиотекарем, а вместе и лавочником, выбрали меня. Тут же у меня в комнате начались и маленькие собрания, а в городе и на других квартирах и большие собрания. Пошла так называемая выработка собственного мировоззрения: читались книги, журналы, спорили, обсуждали, и шло определение, в какой же роли человек при наших условиях больше и лучше всего может принести обществу, народу пользы; перебирались возможные деятельности в роли земца, учителя, юриста, агронома, городского деятеля, инженера. Все это в конце забраковали, ссылаясь на то, что легальной деятельностью нельзя помогать народному горю, и что нужна лишь революционная деятельность. В это время в Петербурге другая группа,—чайковцы—уже раньше нас пришла к тому же и начинает даже приступать к практической деятельности: распространяет известного сорта книги по городам и по деревням. В 1872 г. петровцы, а вместе с ними и я, начинают помогать им. В 1873 г. меня принимают в члены чайковской организации, я бросаю академию, селюсь в Москве, и тут уже начинается моя жизнь революционера. Знакомлюсь с рабочими, хожу в артель учить, но в конце 1873 г. происходит небольшой съезд чайковцев в Москве, и здесь решается, что надо занятия с рабочими пока оставить, а необходимо научиться какому-либо ремеслу. Перейдя в Москву и имея тут конспиративную квартиру, я уже малость научился столярству от рабочих, скрывавшихся у нас от ареста. Поэтому, когда зашла речь об обучении ремеслам многих, то была открыта мастерская на Пресне около Зоологического сада на мое имя, и я с Аносовым принялись обучать петровцев. Обучались ремеслам с тем, чтоб весной итти по деревням в качестве мастеровых и вести там пропаганду.

В 1874 г. весной я, Аносов, Шишко и двое рабочих отправились на Урал, чтобы съорганизовать боевой отряд из беглых из Сибири. Это не удается. Возвращаюсь в Москву и чуть не попадаю в руки жандармов. Избегнув ареста, перехожу на нелегальное положение Еду в Рославль, поступаю здесь рабочим в железндорожные мастерские, но меня вскоре вызывают в Москву для заведения связи и сношений с Бутырками. Устраиваю это и еду в Смоленск, поступаю тут к кустарю, чтобы научиться у него делать колеса и телеги. Рабочие этого кустаря и других начинают предлагать, чтоб я устроил артельную мастерскую. Мне это улыбается, но нужны деньги. Еду в Москву за ними. Но тут узнаю, что все наши москвичи или арестованы *), или ушли за границу. Предлагают сделать то же и мне. Денег же на артель не дают. За границу мне не хотелось ехать, и я предпочел отправиться в Одессу с одним товарищем, который уверял, что в Одессе еще не было арестов. Но, приехав туда, мы узнали, что и там, кроме одного, арестованы все.

Пришлось заняться сношениями с тюрьмой, даже ездить для этого в Конотоп, Харьков, Киев. Но в 1875 г. я уже пристаю к группе Ковальского, которая в Николаеве на Буге вела дело со штундистами. Лето 75 г. проходит у меня в сношениях с теми штундистами, что жили по Бугу. Мы и здесь хотели устроить артель рыболовов, но помешал помещик, владевший в одном месте берегом и не захотевший нам отдать его внаймы, а затем в конце мы увидали, что штунда нам не с руки. В 76 г. я очутился в кружке киевских бунтарей. Тут пропаганда была уже оставлена, и все сводилось к тому, чтобы, соединившись в вооруженный отряд, выждать, не поднимется ли где сам мужик; тогда, пристав

*) В 1874 г., как известно, аресты шли по всей России в громадных размерах.

к нему, и повести дело бунта. Летом 76 г. нечто в этом роде начало намечаться, и я был послан в Питер, в центр, чтобы добыть там оружие или денег на него. Со мной было только 500 р. В Питере ни денег, ни оружия мне не дали, и я, накупив лишь на свои 500 р., повез все-таки хоть это. Однако, дорогой в Харькове получаю письмо, что вся наша группа принуждена была бежать из киевских поселений от жандармов. Купленное оружие пришлось вести в Одессу и там спрятать. Деятельность в народе становится немыслимой. Урядники, писаря, старшины, старосты, даже крестьяне останавливают, ловят всякого пришлого человека, и нелегальному, а мы все были нелегальными,—поселиться в деревне нельзя. Остаемся в городах. Мы все вооружены. Поэтому возникает мысль о необходимости самоличной борьбы с правительством, самозащиты при арестах; вредят шпионы, предатели,—надо их уничтожать. Начинается террор, но вредят и другие чины— и их долой. Надо к тому же и арестованных товарищей выручать. И вот в 1877 г., предварительно условившись, подготовив квартиру и т. д., я подъезжаю к жандармским казармам, где сидел в заключении мой товарищ, Виктор Кастюрин. Он выскакивает, садится ко мне на пролетку, и мы укатываем благополучно от преследования. Кастюрин месяца через два снова был арестован и посажен в Одесскую тюрьму. Я с товарищами нанимаем квартиру против тюрьмы и ведем подкоп ко двору тюрьмы. Кастюрина, однако, скоро увозят в Питер на суд; тогда мы, заделав подкоп, уходим из квартиры, и никто не догадывается о нашем начинании до сих пор. Далее, в 78 г. арестуют Стефановича, Дейча, Бохановского и садят в Киевскую тюрьму. Я сначала, пока другие товар. заводили сношения с тюрьмой, еду в Питер с товарищами, и там я и Попко нанимаем квартиру и начинаем следить за выходами Трепова, которого решено было наказать за порку Боголюбова. Но Вера Засулич нас опередила, и мы тогда поехали в Киев. Тут я поступаю простым сторожем при тюремных амбарах, добиваюсь вскоре должности надзирателя уже в самой тюрьме, а затем, став ключником, вывожу из нее всех трех очень удачно, без всякого шума.

В том же 78 г. отправляли в централку осужденных по процессу 193-х. Решено было попытаться освободить кого-либо из более видных революционеров. Составилась маленькая боевая группка, меня выбрали вроде атамана, и мы, когда повезли жандармы Войнаральского, напали на них. Одного из них убили, но раненые лошади умчали их с Войнаральским, и освобождение не состоялось.

После этого некоторое время я живу в Харькове, с целью попытать счастье вырвать кого-нибудь из централки, но не удалось даже устроить правильных сношений, и в начале 79 г. меня вызывают в Херсон помочь Юрковскому и Россиковой докончить подкоп под казначейство. Исполняю это и еду в Одессу.

К этому времени правительство, напуганное предыдущими событиями, а особенно выступлением Соловьева, объявляет на военном положении Питер, Харьков, Киев, Одессу и дает генерал-губерн. право вешать, ссылать в Сибирь бесконтрольно. Начинается настоящая вакханалия. Вешают по-пустому, ссылают без всякой вины. В ответ на это в Одессе решаем уничтожить генерал-губернатора Тотлебена. Я с рабочими начинаем следить, чтоб составить план нападения, но тут в обществе поднимается крик, что так жить нельзя, что надо найти выход, что недостаточно уничтожать шефов, генералов: „Лес велик, всего не вырубишь, надо покончить с лесничим". Некоторые стали предлагать себя, говоря: „Дайте мне оружие да помогите встретить царя, и я, мол, его уничтожу".

Эти крики заставили тогда оставить в покое Тотлебена, а обратить внимание на Александра II, и меня послали в Питер сговориться там с землевольческим центром. Я поехал и узнал, что и там у многих явилась та же мысль, но так как это в программу „Земли и Воли" не входило, то решено было устроить съезд. Остановились в конце на Воронеже. Однако, боясь, что съезд может не разрешить поставленного вопроса, те, что уже согласились, в свою очередь надумали собрать всех своих сторонников и столковаться заранее. Отсюда явился съезд в Липецке, на который собирать людей с юга меня же и отрядили.

В Липецке мы собрались, съорганизовались, окончательно порешили с вопросом об Александре II и, выбрав распорядительную комиссию из трех: Алекс. Михайлова, Тихомирова и меня, поехали на Воронежский съезд. Здесь удалось добиться того, что большинство согласилось на уничтож. Александра II и предоставило это тем, кто был в Липецке, но с одним условием, чтобы партию „Земля и Воля" не раскалывать, а иметь в ней лишь две фракции. При этом выбраны были от каждого отдела по одному представителю, на обязанности коих и было согласовать возникающие недоразумения. В число этих двух попал и я, но должен признаться, что я и одного дня не занимался этим делом.

Компромисс, к которому пришли в Воронеже, не устранил расхождения, и о-во „Земля и Воля" разделилось на „Черный Передел" и „Народную Волю". Я примкнул к последней. По распределении ис-

полнителей решенных покушений на Александра II я уехал в Одессу.

В Одессе я поступаю сторожем при камнях, сложенных у полотна железной дороги, на 11-й версте от города, и тут поселяюсь с Лебедевой в железнодор. будке. Из нее мы должны были повести мину под полотно дороги и взорвать царский поезд. Однако, царь через Одессу не поехал, и мы поэтому уезжаем в Питер. В 80 г. мы с Лебедевой едем в Кишинев, нанимаем квартиру вблизи казначейства и начинаем вести подкоп, но чуть тут не попадаемся; полицейский пристав, придя к нам в залу, якобы проверить наши документы, не решился заглянуть за перегородку. Там лежала земля, уже вынутая из-под пола, и мы были бы накрыты с поличным. Он этого не сделал, и мы спаслись. Вскоре нас потребовали в Питер, и нам пришлось подкоп заделать и уехать.

В Питере в то время наметили новую возможность нападения на Александра II, и требовались люди. Выследили, что он каждое воскресенье ездит в Михайловский манеж по Малой Садовой и обязательно на Екатерининский канал, где жила Долгорукая в 81 г. На Малой Садовой был нанят подвал, и там устроена сырная лавка. Из нее повели подкоп под улицу, заложили мину, и 1-го марта 81 г. я должен был ее взорвать, но этого не произошло потому, что Александр II по Малой Садовой не поехал и отправился на Екатерининский канал, где и был убит Гриневицким.—17-го марта я был арестован около квартиры Кибальчича. Дня за три или четыре до 17-го марта я был у Кибальчича, и мы условились 17-го снова повидаться. Еду к нему. Начинаю звонить и вижу: вышла другая горничная. Мне это показалось подозрительным. Называю вместо Кибальчича другую фамилию. „Пожалуйте, пожалуйте!"—зовет она Вхожу и вижу в комнате Кибальчича лежит на диване раздетый полицейский пристав. Костюм лежит на окне. Увидав его, хочу выйти, но горничная будит пристава и указывает на меня.—„Вам кого"?—„Такого то!" Говорю другую, не Кибальчича, фамилию. „А, хорошо, пойдемте в участок, там скажут, где он живет!"—и с этими словами направляется к окну, чтобы одеться. „Нет! Вы идите туда сами, а я дорогу знаю!"—и с этими словами выскакиваю из комнаты, запираю дверь комнаты и спешу к выходной. Пристав, увидав, что его заперли, разлетелся и вышиб дверь. Я уже затворял выходную дверь, когда он снова ее отворил и хотел схватить меня за руки. Но у меня в руках был кистень; увидав его, он бросил меня и скрылся. Я вышел на улицу, пробежал квартал, завернул налево, еще пробежал изрядно, подходил уже к трактиру. Стоило зайти туда, и я был бы спасен, но, оглянувшись, вижу, мой пристав на рысаке уже около меня. Пришлось сесть и отправиться в участок. Так произошел арест. Сначала меня держали в участке, потом в департ. полиции у Цепного моста, а затем вплоть до суда держали уже в Петропавл. крепости, в Трубецком бастионе. Судило нас в 82 г. Особое Присут. сената с сословными представителями, и меня присудили к смерти вместе с другими 9-ю. Смерть была заменена пожизненной каторгой. Для отбывания сначала поместили в Алексеевский равелин, в одиночное заключение. Здесь я очень сильно болел цынгой, но вынес ее и через $2^1/_2$ года был переведен в Шлиссельбург, где и пробыл до 905 г., т.-е. еще 21 год с чем-то. Всего в крепостях пробыл 24 года 8 мес. Но этого мало еще. После Шлиссельбурга нам определено было провести еще 7 лет на каторжном положении в Сибири и только благодаря тому, что в Сибири была забастовка на железных дорогах, нам разрешено было отбывать это положение в России. Сначала меня взяли родственники на поруки, и я поселился было в селе Бортники Рязанской губ. у помещика Вл. Лебедева, но летом 906 г., выпросившись полечиться в Ессентуках и Кисловодске, в конце 906 г. получил разрешение поселиться где-нибудь на берегу Черного моря. В 907 г. женюсь и поселяюсь в Гудаутах, но, заболев малярией и глухотой, испрашиваю разрешения лечиться за границей. В 908 г. возвратился, селюсь с женой уже в Геленджике, приобретаю тут клочок земли, строю дом на занятые деньги, развожу сад и опытный огород с маленькой метеорологической станцией и так доживаю до 17 года, находясь все время под надзором полиции.

В 1920 г. заболеваю сыпным тифом, потом бронхитом. В 1921 г. едем с женой в Анапскую санаторию, а оттуда в Сочинскую. В Сочах жену разбивает паралич. Тогда в начале 22 г. сначала я, а потом жена переводимся в Москву и тут находимся и по сие время, живя в доме отдыха имени „Ильича".

Цвиленев, Николай Федорович *).

Родился я в г. Туле в 1852 г. Отец и мать принадлежали к дворянскому сословию со всеми понятиями того крепостнического времени. Мать умерла в 1858 г., когда мне было шесть лет, но, несмотря на мой детский возраст, я сохранил некоторые воспоминания, которые были не без влияния на мое воспитание. Окружающие условия жизни, которые, казалось бы, должны были

*) Автобиография написана в декабре 1925 г. в Симферополе.

привить понятия того времени, вложить коренные правила в характер, оказали, напротив, влияние обратное: все мои поступки в жизни в дни юношества и позднее были не в соответствии со взглядами моих родителей на общественные вопросы.

Отец мой, хотя от природы очень добрый, был вспыльчивый и несдержанный человек, что часто было причиной суровых поступков с его стороны с подчиненными в то время крепостными крестьянами и служащими. В моменты таких вспышек мать не раз сдерживала его вспыльчивость, а он ее слушал и часто благодарил за то, что она во-время смягчала его гнев. После смерти матери отец, рассказывая нам, детям, про нее, говорил, что мать переделала его характер за те двенадцать лет, которые он прожил с ней.

Когда объявлен был манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимости, я радовался в душе этому и не мог без сожаления смотреть на „дворовых" людей, которые должны были без всякого земельного надела уходить на все четыре стороны из усадьбы, где они родились, выросли и работали для помещика.

С такими впечатлениями и фактами мы, т.-е. я, брат и две сестры, воспитывались дома, пока не приблизилось время готовиться в учебное заведение. Поэтому отец пригласил для обучения нас учительницу, которая взяла на себя и воспитание. Старшую сестру, Александру, дядя, служивший тогда в Петербурге, определил на казенный счет в Смольный институт, а мы трое стали готовиться в Тульскую гимназию. Учительница, Анна Михайловна Агафонова, пробыла у нас несколько лет и за это время много сумела привить нам хороших привычек, которые оставили след в формировании нашего характера. Она была очень добрая, но требовала и находила возможность добиваться серьезного отношения к занятиям. Первое время с ней жил ее сын, но в обращении с нами она держалась всегда ровно, не выделяя сына из того режима, который она создала, всегда взыскивала одинаково, как с нас, так и с своего сына. Эта чувствуемая нами всеми справедливость была причиной того, что мы ее скоро полюбили и впоследствии привязались. У меня была на деревне моя бывшая кормилица, которую я любил и нередко бегал к ней просто посидеть и чувствовать ее ко мне ласки.

Наступило время, и отец объявил нам, что мы поедем с Анной Михайловной в Тулу, где мы будем жить с ней. В Туле я поступил в третий класс, брат во второй, сестра тоже благополучно сдала экзамены. Ученье сводилось, главным образом, к зубристике. Только с четвертого класса начались интересные занятия по естественным наукам. Но естествознание было с начала следующего академического года упразднено; было введено преподавание латинск. и греч. яз. Того и другого предмета было назначено по шести уроков в неделю. Учителями присланы были на первое время чехи, требовавшие отчаянного зубрения. Не лучше было и при учителях русского происхождения. При таких условиях гимназисты стали искать ответа на зарождающиеся вопросы вне гимназии, стали соединяться в кружки. Любимыми авторами были: Тургенев, Гончаров, потом Помяловский, Решетников, Лермонтов и Пушкин, затем стали увлекаться статьями Писарева. Мы устроили свою библиотеку. Естественно-научный отдел состоял из статей Писарева и представителей научного материализма и позитивизма: Бюхнера („Материя и сила"), К. Фохта, Молешота („Круговорот жизни"), по политич. экономии—Дж. Ст. Милль с примечаниями Чернышевского, по философии—О. Конт.

В Тульской женской гимназии кончала курс тогда моя сестра Софья, которая не удовлетворилась домашней жизнью родных, освободилась от их опеки и вместе с Лидией Антоновной Дмоховской, ее одноклассницей, открыла подготовительную школу в Туле. Сестра и Дмоховская держались одних взглядов на жизнь. Идеалом женщины они себе представляли самостоятельную, развитую умственно личность, способную к общественной работе. Учеников в школу набралось достаточно, работы было много, пришлось пригласить к себе в сотрудники постороннего. Выбор пал на семинариста, оканчивавшего курс в тульской семинарии, А. П. Никольского. Я жил тогда у сестры и скоро познакомился с Никольским. В один из вечеров, за самоваром, я поднял разговор о библиотеке, о нашем кружке самообразования; Никольский сочувственно отнесся к этому вопросу, и через несколько дней мы устроили собрание, на которое были приглашены гимназисты и семинаристы. Очень скоро пришли единодушно к организации единой библиотеки, для чего установлены были ежемесячные сборы, назначены еженедельные собеседования, и дело пошло оживленно.

На этих собраниях преимущественно поднимались вопросы общественной жизни; всех занимал вопрос о будущей деятельности, о специальности, какую следовало бы себе избрать. Много способствовало решению этих вопросов то обстоятельство, что в Тулу стали заезжать проездом московские и петербургские студенты. Двоюродный брат Дмоховской, студент Технологического института Лев Адольфович Дмоховский, однажды по пути с юга России заехал в Тулу и был у сестры своей. Состоялось наше знакомство. Л. А. Дмоховский, впо-

следствии судившийся с Долгушиным, был живой, энергичный молодой человек, внешностью произвел на меня хорошее впечатление, а беседы его дышали искренностью и радикальностью взглядов.

К этому времени относятся посещения Тулы бывшим семинаристом ее, Вас. Семен. Ивановским, студ. Медико-Хирургическ. академии, и студентом Петербургского Технологического института Николаем Аполлоновичем Чарушиным, осужденным впоследствии по процессу 193 в каторгу. Благодаря Ивановскому наша библиотека была снабжена довольно многочисленными и хорошо подобранными книгами; Ивановский был большой сторонник саморазвития и много ратовал за это. Впоследствии направление его изменилось в сторону революционного народничества. Будучи арестован во второй половине семидесятых годов, он удачно бежал из московской тюрьмы и затем жил в Румынии, где в качестве врача и демократа приобрел широкую популярность.

Чарушин познакомил нас с бывш. в то время студенческими беспорядками, которые разразились с такой силой, что вся передовая интеллигенция с горячим сочувствием отнеслась к этому движению, постепенно принявшему социалистический оттенок и явившемуся предвестником того грандиозного подъема, который вылился в народническое движение 73—74 гг. Мы, гимназисты и семинаристы, не бывшие еще студентами, уже переживали вместе с ними чувство негодования, вызванное реакционными мерами и суровыми репрессиями правительства.

Весь конец 1872 г. и начало 73-го г. прошли, помимо занятий в учебном заведении, в чтениях и беседах по поводу прочитанного. Особое внимание было обращено на „Исторические письма“ Миртова (Лаврова). Неоплатный „долг народу“ и развитие „критически мыслящей личности“ предъявляли властные требования. Мысли мои были направлены на решение главного вопроса: куда поступить после гимназии. Быть врачем в деревне, оказывать помощь народу в постоянном общении с ним, казалось мне, делало возможным успешно осуществлять мои идеи о деятельности общественной. Сестра моя Софья и Дмоховская тоже решили ликвидировать дела своей школы и ехать в Петербург для поступления в высшее учебное заведение. Библиотека наша была помещена в квартире сочувствующей нам Алевтины Семеновны Гурьевой, сестры члена нашего кружка П. С. Гурьева. У нас же бывали литературные вечера из наиболее солидарных между собой во взглядах членов кружка; так прошло время до весны, а затем в августе 73-го г. мы все, кто решил ехать в Петербург, согласились поселиться на одной квартире и жить сообща на общие средства, получаемые от родных, и заработанные, не принимая в расчет размера этих получек, словом, составить коммуну. Получив все нужные документы из гимназии, я уехал из Тулы к отцу, откуда после двухмесячн. отдыха направился в Петербург. Я скоро розыскал приехавших туда товарищей. Как только вопрос о моем поступлении в Медико-Хирургическую Академию уладился, мы сообща нашли квартиру в пять комнат на Петербургской стороне, на Монетной улице. Сначала поселились там, кроме меня, Никольский А. П., Глаголев Гр., Щеглов В., моя сестра Софья и др. Все жили на общие средства. Каждый день татарин возил конину, и мы варили обед из нее. Вскоре стали к нам ходить знакомые В. С. Ивановского, студент медик А. П. Витютнев, Всеволод Ионов, Иван Жуков и др. Из разговоров их я понял, что многие из них ведут занятия с рабочими. Больше других увлекались этими занятиями Аверкий Прокофьевич Витютнев, Ионов и Ив. Жуков. Я, как новичок, внимательно следил за разговорами по поводу этих занятий, утром ходил на лекции, знакомился со студентами и вскоре в студенческой библиотеке стал своим человеком. Мне сообщали о дне и месте предполагаемых студенческих собраний, о происходивших единичных арестах и всех новостях подпольной литературы. Мало по малу, жизнь студенчества принимала характер все более и более оживленный. Уже к концу 73-го года движение среди студенчества становилось необыкновенно напряженным.

Вышедшие книжки двух направлений — „Вперед“ П. Лаврова и „Государственность и анархия“ Бакунина—вызывали горячие споры по вопросам деятельности в народе. Приверженцы первого направления отстаивали необходимость научной подготовки, законченного саморазвития. Самые крайние доказывали даже необходимость пройти все предметы по схеме Конта, что заняло бы десятки лет для подготовки. Противники воспользовались явной утрировкой сторонников научной подготовки и стали обличать ораторов в эгоизме, в желании обеспечить себе карьеру. Сторонники Бакунина впадали в другую крайность; они говорили, что никакой научной подготовки не требуется, что приобретенные уже знания нужно позабыть, так как они мешают полному слиянию с народом, что массы народа настроены революционно; достаточно явиться агитаторам, и восстание—готово. Самые крайние последователи анархистов, как М. Рабинович и В. Ваховская, говорили на сходках, что нужно лишь уметь стрелять из револьвера. Крайние сторонники

Бакунина, или, как их называли, „вспышкопускатели“, доказывали, что самый факт восстания сам по себе уже желателен, так как это воспитывает народ в революционном духе. Взгляды эти нашли себе сторонников среди молодежи, пылкость темперамента которой требовала немедленного энергичного дела, такого дела, которое искупило бы наш долг народу, сложившийся из всего предыдущего хода государственной жизни страны. Этому могло удовлетворить что-нибудь, требующее геройства, самоотверженности, чем являлась деятельность революционная, конечная цель которой — переустройство общественного строя для блага народа.

Несмотря на успех, который имели анархисты-бакунинцы, необходимость подготовки для пропагандиста была так очевидна, что все-таки значительная часть молодежи сочувствовала последнему направлению. Представителями этого направления были члены кружка „чайковцев“. Значительное число их уже было арестовано и томилось по тюрьмам и в Петропавловке. Между ними был знакомый мне Николай Чарушин, взгляды которого мне были известны, и мои симпатии клонились к этому кружку. Как ни соблазнительно было приступить к деятельности непосредственно в народе, но сознание пробелов в саморазвитии взяло верх, и я посещал лекции, читал по социологии, но не упускал и сходок, на которых происходили дебаты по вопросам практической деятельности. Занятия с рабочими велись всю зиму вечерами. Часто мы засиживались за чаем в беседе на текущие вопросы. Студенты из первых источников знакомились и узнавали крестьянский и фабричный быт. Между рабочими выделялся ткач Петр Алексеев. Это был молодой человек с приветливым лицом и резкими, энергичными манерами. Его очень интересовали вопросы общественные и он зачитывался „Историей крестьянина“ Эркмана-Шатриана. Его приятель, Иван Тимофеевич Смирнов, производил впечатление тихого, задумчивого и очень интересующегося книжками молодого человека. Начавшиеся вновь аресты заставили прекратить эти собрания. В половине марта 74 г. был арестован Аверкий Витютнев. Говорили, что его запутал при допросах студент Низовкин, получивший потом печальную известность *).

Весной 74 г. некоторым из деятелей удалось побывать „в народе“, ознакомиться с его жизнью и настроением. Удалось на практике вывести заключение, как народ реагирует на все слышанное от агитаторов. На сходках обсуждались вопросы практические: в каком виде итти в народ, как устроиться для пропаганды, какую форму пропаганды считать предпочтительнее — оседлую или летучую. Огромный интерес этих вопросов вызывал шумные дебаты. Анархисты-бакунисты проповедывали немедленный поход в деревню. Они говорили, что Поволжье и юг России настроены более революционно, чем север. Летучая пропаганда считалась более желательной, чем другой способ. Она (летучая пропаганда) захватывает более широкий район, большее число лиц, и, таким образом, создается возможность широкой организации революционно настроенных масс. Более сдержанные деятели проповедывали поселение в деревнях, с целью пропаганды социализма в народе, который сохранил в бытовых условиях жизни общинное землепользование, артельный труд, мирской сход — все эти элементы, создающие благоприятные условия для достижения социалистического строя. Продолжительной пропагандой предполагалось воспитать сознательных революционеров, которые при широкой организации представляли бы из себя надежные центры. В конце концов, несмотря на все эти разногласия, создавалась уверенность, что все эти приемы ведут к одной цели, и кружки, являвшиеся представителями того или другого направления, одинаково материально помогали действующим в народе лицам.

Как только весной оказалось возможным двигаться по проселочным дорогам, наиболее подготовленные кружки устремились в путь. Личный свой вопрос о продолжении учения в академии я решил так: я отправляюсь на юг, который мне был менее знаком, путешествую в качестве рабочего, ознакомлюсь с настроением населения края, вернусь в Петербург, выйду из состава студентов академии и отдамся длительной револ. работе в народе, избрав себе определенный пункт. Одно только я считал непрактичным—это поселение группой. Во-первых, это скорее обращает на себя внимание полиции; во вторых, по одиночке можно заселить более обширный район для воздействия на него. Землячка моя, С. А. Афанасьева, познакомила меня с В. Н. Батюшковой, о которой я много слышал, как о человеке, преданном до самоотвержения народному делу. Раньше она жила в Москве и принимала деятельное участие в устройстве высших курсов проф. Герье В то время она искала школу, где можно бы организовать занятия со взрослыми и начать пропагандировать их. Такая школа намечалась в Орловской губ. Елецкого уезда при ст. Измалково, в имении С. А. Субботиной, которая решила там устроить школу, а учительницей туда „чайковцы“ рекомендовали В. Н. Батюшкову. Все это так совпадало с моими взглядами на дело,

*) По процессу 193-х. *В. Фигнер.*

что я старался поближе познакомиться с Батюшковой, чтобы в Измалково мог я приехать, как знакомый.

В мае я начал собираться в отъезд. Предварительно заехал на некоторое время в Владимирскую губернию к В. С. Ивановскому, который, по получении диплома, занял там в земстве должность врача. Мне нужно было по делу побыть у него и хотелось присмотреться к практике его на месте. Практика В. С. Ивановского, главным образом, была среди крестьян, которые сразу заметили, что этот врач не похож на предыдущих, не интересуется доходами от практики—и повалили к нему со всех концов. Все это было приятно, вносило некоторое удовлетворение, но это было не то, что требовалось по настроению времени. От Ивановского я поехал в Орловскую губ. к отцу. В 17-ти верстах от нас находилась школа В. Н. Батюшковой. Я побывал в Измалкове. Батюшкова пользовалась большой любовью и детей и взрослых, вела пропаганду горячо и широко, но так доверчиво, что я уехал почти убежденный, что осенью не застану ее на свободе.

Было около половины июня. В средней России работы на сенокосах начинались с Петрова дня, т.-е. в самом конце июня. Поэтому я спешил выехать на юг, имея в виду начало косовицы. Со станции я выехал по Орлово-Гряжской железной дороге. На вокзале уже заметно было движение рабочих на юг России, главным образом в Таврическую губернию и в область войска Донского. Нашлись попутчики до Ростова. Это были крестьяне средней и северной России. Тут были псковичи, рязанцы, орловцы и др. губ. средней России. Я, замешавшись в эту массу, взял билет до Новочеркасска, где мне предстояло получить нужные письма.

Утром сделал остановку в Орле и отправился в город. Еще в Петербурге говорили о появившемся в Орле проповеднике бескровной революции—Маликове. Я направился к нему. Помню хорошо его одухотворенное лицо, простые, приветливые манеры. Тут же находилась Пругавина, сестра литератора, и еще кто-то. Я отрекомендовался и объяснил цель своего посещения. Не дожидаясь его вопросов, я сказал, что не вижу другого способа избавить обездоленный народ от его нестерпимого положения, как путем социальной революции. „Вот это-то и ошибка,—сказал Маликов,—нужно знать человеческую природу, полюбить человека и искать в нем искру божью, заглохнувшую, быть может, воспламенить в нем эту искру". Так, в общих чертах, он начал и скоро, увлекаясь своими мыслями, заговорил быстро проникновенным голосом о „богочеловеческой" природе в каждом. Я помню, с каким восторженным взором Пругавина, оставив книгу, смотрела на говорящего. С пламенным энтузиазмом говорил он о возможности переделать человечество пропагандой социальной справедливости даже среди сильных мира сего, и они добровольно откажутся от тех привилегий, которые в общественной жизни создают столько зла. Таким образом можно осуществить социальный переворот, не прибегая к насилию, которое вызывает тоже насилие с противной стороны. Словом и делом нужно вести пропаганду, жить личным трудом, организовывать трудовые колонии. Проповедь его была так увлекательна своею искренностью и энтузиазмом фанатика идеи, что вскоре он приобрел последователей даже среди испытанных революционеров. Его последователем стал Чайковский и впоследствии уехал с ним в Америку для проповеди его идей. Аитов и Теплов, члены кружка „артиллеристов", тоже не устояли против пламенной проповеди Маликова. Член кружка чайковцев, Клеменц, ездил в Орел, чтобы лично убедиться в силе влияния Маликова на молодежь. На одном из собраний состоялся диспут с Маликовым, после которого сочувствие большинства собрания было на стороне Маликова, несмотря на всю логичность противника. Вера Маликова была необыкновенно заразительна и гипнотизировала слушателя, но я не мог понять все-таки, как мог допускать этот человек возможность победить антагонизм классовых соотношений. Как можно ожидать добровольного отказа представителей капитала и государственной власти от тех условий жизни, которые для них составляют все? Маликов верил, что этого добиться проповедью возможно. Говорили, что будучи арестованным, он в присутствии генерала Слезкина, производившего тогда дознания по политическим делам, стал развивать свои „богочеловеческие" проповеди с такой пылкостью, что Слезкин махнул рукой и приказал его выпустить на волю. Уехал я от Маликова с грустью, что такой талантливый человек, с таким пламенным темпераментом свернул с своего первоначального революционного пути. Но все же силы, толкавшие молодежь на этот последний путь, были так неотразимы, что проповедники маликовских идей остались, в конце концов, в одиночестве.

Вечером я отправился на вокзал к поезду, идущему на Харьков и Ростов. В Новочеркасске я получил письмо, с которым мне предстояло итти в экономию на работу. До отъезда я разыскал членов местного кружка народников. Некоторые из них делали экскурсию в народ и делились своими впечатлениями. Меня оставили ночевать в квартире, где собралось человек семь или восемь, все местная молодежь, настроенная бодро и производившая впе-

чатление искренности и жажды деятельности. Узнав от меня, что петербургские кружки направились на Волгу и на юг для пропаганды, большинство тут же решило на следующий же день итти в район Донской области.

Не буду останавливаться на том, как я научился крестьянской и многой иной простой работе, на своих скитаниях и переживаниях,—это потребовало бы слишком много места, притом „хождение в народ" многократно описывалось и разносторонне освещено.—По окончании сельских работ я направился в Петербург. По дороге заехал в Измалково и узнал про арест В. Н. Батюшковой. Два дня пробыл у отца. Оказалось, что сестра Софья уже уехала в Петербург. Отец был доволен, что я заработал себе на жизнь в Петербурге, по крайней мере, на первое время.

По приезде в Петербург я отыскал сестру Софью, которая жила на Лиговке. Она успела уже устроиться на папиросной фабрике и ежедневно уходила работать. От нее я узнал, что В. Н. Батюшкова еще сидит в тюрьме, но ее перевели в Москву, где ее мачеха хлопочет о том, чтобы ее выпустили на поруки. Все арестованные в конце 1873 г. и в начале 74 г. томятся в тюрьме, и нет никакой надежды на скорое окончание начавшегося следствия по делу пропаганды в 37 губерниях России.

Оказывается, что мной в Петербурге интересовались и запрашивали в Новочеркасске, где я. Но никто не мог сказать, так как я странствовал в разных местах и живал не по долгу. Узнав, что есть слесарная мастерская, тоже на Лиговке, я пристроился там по слесарному отделу, так как это ремесло и сапожное находил более соответствовавшим спросу деревенских жителей. В мастерской работало несколько человек мало мне знакомых, но заведующий рабочий был мне известен.

Встречаемые мною знакомые задавали один и тот же вопрос: „Ну, что вы вынесли из своего скитания по белу-свету?". А вынес я то, что народ вовсе не так настроен, чтобы, после удачной агитации или пропаганды, готов был к выступлению. По моему глубокому убеждению необходима была серьезная работа в деревне или на фабрике в течение времени, сколько потребуется, чтобы создать сознательный элемент, сорганизовать его с окружающими деревнями, где должны быть испытанные пропагандисты, работающие в контакте между собой. Что касается пригодности народной среды, как материала для пропаганды, то я видел людей с разных концов России, говорил с ними и вынес то убеждение, что всеобщее недовольство, доходящее местами до озлобления, за те обиды и несправедливости, которые рабочим и крестьянам приходится терпеть от помещиков и капиталистов—фабрикантов, при чем власти оказывают им всяческую поддержку, несмотря на явную несправедливость и часто беззаконие,—порождает и воспитывает в массах настроение, готовое разразиться „беспорядками" или же открытым бунтом.

Зашел знакомиться и узнать мои впечатления и Н. И. Драго и после двух или трех свиданий пригласил меня на собрание, где должны были быть члены кружка „чайковцев". Явившись на это заседание, я застал там А. И. Сердюкова, жену его Любовь Ивановну, А. Я. Ободовскую, А. М. Эпштейн, С. Кравчинского, Н. Драго и, кажется, Левашева. Кравчинский читал свою рукопись: „Мудрица Наумовна", в которой в сказочной форме трактовалось о социализме. Мне объявили, что я принят в члены кружка. Посвятить меня в разные подробности жизни кружка поручено было Н. И. Драго. Это присоединение меня к кружку не было для меня неожиданностью, но, тем не менее, произвело на меня глубокое впечатление, так как многих членов я уже знал, любил их и жаждал близкого единения с ними. Особенно мне был симпатичен Анатолий Иванович Сердюков В нем чувствовалась искренность, безусловная преданность идее и при этом необыкновенная мягкость души. У кружка устава никакого не было; принимались в члены только хорошо известные лица, которым можно было доверять. Полная искренность, отсутствие „генеральства" с чьей бы то ни было стороны были причиной той крепкой связи и взаимной любви членов кружка, которая наблюдалась во все время его существования. Многие были уже арестованы, как, например, Н. А. Чарушин, С. С. Синегуб, Куприянов, Шишко, Стаховский и Лев Тихомиров.

В конце 1874 г. возвратились из-за границы члены „кавказского кружка: И. С. Джабадари, Г. Ф. Зданович и М. Н. Чикоидзе. Мысль организовать группу для ведения пропаганды на московских фабриках все более и более принимала настойчивый характер. К этой группе тяготел знакомый мой Петр Алексеев. Повидавшись со мной, он определенно сказал мне, что едет на днях в Москву, что там будет сорганизованная группа студентов и рабочих, имеющих уже там связи, для пропаганды на фабриках. Больше я его не видел до того момента, когда нас вели в первый раз на заседание суда в Петербурге.

Кружок „кавказцев", кружок вернувшихся студенток из Цюриха—„фричи," и кружок рабочих во главе с Петром Алексеевым повели так энергично пропаганду с раздачей книг революционного направления, что через четыре месяца, несмотря на частую перемену паспортов и квартир, в марте

были арестованы А. О. Лукашевич, С. Агапов, Николай Васильев *) и др., а 4-го апреля были арестованы девять человек, в числе которых был Петр Алексеев, И. Джабадари, С. Н. Бардина и др. За ними последовали другие аресты в Иваново-Вознесенске, где работали на фабриках женщины и мужчины той же организации. Об этом разгроме стало известно в Петербурге, и среди членов кружка „чайковцев" становился сам собой вопрос о помощи Москве живой силой. Постановили командировать меня. Сборы мои были не сложны: чемоданчик с разными моими рукописями, часть которых предназначалась к печати за границей, блокнот с шифрованными адресами моих приятелей во время „хождения в народ" (когда я был арестован, то этот шифр, хотя и признан писанным моей рукой, почему-то не был разобран, так что связи мои не были открыты, и ни один человек не был арестован по этим адресам).

Из Петербурга я получил ключ, по которому переписывались с Москвой, и это должно было быть вместо пароля. Приехав в Москву, я отправился разыскивать В. Батюшкову. У нее я застал Наталью Армфельд, которая была мне знакома. Было решено, что Батюшкова найдет комнату и переедет туда завтра же. Комната была нанята на Патриарших прудах, куда к ней стали ходить все знакомые, начиная с юнцов и кончая лицами с бородами и с „прошлым". Мне удалось повидаться с кн. А. Цициановым, от которого я узнал, что несколько человек из их кружка уцелело, и что пока свои нужды они выполняют своими силами. Батюшкова, Армфельд, Л. А. Иванов и я решили, что нужно постараться завязать сношения с заключенными и не терять связи с за-границей по транспорту революционной литературы. Мы пользовались контрабандистами на германской границе, а кавказцы— на южной границе, так что в случае провала их пути останется наш, и переправа не остановится. На этом же совещании был поднят вопрос об устройстве побега Н. А. Морозову, которого лично я не знал, но слышал о нем, как о юноше, подающем надежды. Батюшкова взяла на себя устройство сношений.

Решили попытаться найти извозчика, который бы за вознаграждение согласился увезти арестованного. Еще раньше того Лев Иванов вместе с В. Батюшковой уже отправили в Саратовскую губернию через Беляевского, студента Петровской академии, тюк революционных книг для распространения среди молодежи и народа, что послужило поводом к аресту 10 августа Батюшковой, Н. Аносова и меня, о чем будет сказано ниже. Через несколько дней я пришел к Батюшковой с известием, что подходящий извозчик-лихач нашелся, что нужно его испытать и тогда начать уже переписку. Этот извозчик был типа ухаря-удальца, для которого ловко обделать дельце составляло удовольствие. Я взял его и спросил, может ли он завтра исполнить мое предложение—увезти из бани одного молодого человека, при чем я еду с ним. Он без всякого колебания согласился и на другой день явился в условленное место, чтобы ехать со мной к бане. Я сел, и мы поехали к баням в переулок против Тверской площади. Конечно, там никого не было, но я хотел убедиться в его решимости исполнить эту задачу. Мы постояли с четверть часа около бани, потом проехались шагом, я, для вида, посмотрел на часы и заявил ему, что верно отложено до другого раза и что дальше ждать нечего, а когда я узнаю наверно, то его извещу. С этим решением мы с ним расстались, и я вынес впечатление, что он серьезно не прочь выполнить этот план.

Тогда порешили начать переписку с Морозовым уже по поводу самого плана побега. Он предложил свой план бежать с прогулки, о которой он возбудит вопрос в жандармском управлении и надеется на разрешение, так как он мотивировал своей болезнью. Этот способ был сложный, но все-таки решили его испробовать, чтобы не терять времени. Началась переписка. Все было выяснено, но в назначенный день и час извозчик отказался увозить с этого пункта, как очень шумного. Согласился увезти от бани, куда я с ним уже ездил. Бедный Морозов должен будет еще промучиться недели две, пока освобождение осуществится. По нашему предложению, он подал просьбу о разрешении ехать в баню. Через две недели пришло разрешение. Условленными сигналами Морозов дал понять, в какой день и час он поедет в баню. Батюшкова наняла в гостиннице, кажется „Дрезден", номер, из которого можно было наблюдать все происходящее во дворе Тверской части. Я отправился к своему лихачу, вызвал его в трактир и там объяснил ему все. Он, повидимому, спокойно отнесся к моим словам и обещал выехать в условленное место, откуда я с ним поеду в переулок, где баня. В назначенный день я отправился встречать лихача. Завидев меня, он подъехал ко мне, но по его фигуре, по выражению лица я видел, что что-то изменилось. „Едем", сказал я. „Увольте меня,— вдруг выпалил он, „меня берет робость". Я, как только мог, стал его уговаривать, но он сидел на козлах, как виновный, и все твердил: „увольте". Ничего не оставалось, как плюнуть и спешить уведомить своих о перемене дела. Батюшкова и Армфельд пришли в необыкновенно мрачное

*) Агапов и Васильев—рабочие. *В. Фигнер.*

состояние, но делать было нечего, надо было идти, как нибудь встретиться с выходящим из бани Морозовым и сделать знак, чтоб он не ждал. Тяжело было разочаровывать, но они мужественно пошли, дождались в переулке выхода Морозова и сделали ему отрицательный кивок головой. Придя домой, мы трое все-таки решили купить лошадь, экипаж, и я взял на себя роль кучера, о чем Морозову сообщили. Это было в конце июля; надо было ждать около двух недель, а Морозов приходил уже в состояние полного отчаяния и составлял планы побега невероятно фантастические; однако, на него наше последнее решение подействовало, и он решил ждать. Лошадь и пролетка были куплены, я делал проезды на ней, и мы ждали момента, когда Морозов пришлет ответ с обозначением дня и часа. Но в период этой переписки неожиданно для всех нас Морозова увозят в Петербург. Н. А. Морозов в своих „Повестях" пишет, что его мучения в ожидании побега продолжались до осени, но это неверно, потому что мы с В. Н. Батюшковой были арестованы 10-го августа, а его увезли много раньше этого события.

Несмотря на такой неудачный конец, который на нас троих и Льва Иванова произвел гнетущее впечатление, мы продолжали сношения с заключенными, а сами готовились уехать в провинцию, где под тем или другим видом поселиться и вести пропаганду среди населения. Из сношений с заключенными выяснилось, что все связи на фабриках погибли, что шпионаж там достиг необыкновенной напряженности, и рабочие притаились. Цицианов, Вера Любатович и Гамкрелидзе жили в Москве и собирали остатки после ареста своих товарищей, но и они ежедневно ожидали обыска. Таковы были условия существования в Москве.

Мы решили собраться 10-го августа, пригласив Н. Аносова, чтобы обсудить план отъезда и передать связи по сношению с заключенными. Батюшкова ради предосторожности переехала на другую квартиру, в д. Быханова в районе Патриарших прудов. Часов в десять вечера мы трое сидели в новой квартире, и Батюшкова читала полученные от заключенных письма, чтобы сделать необходимые распоряжения. Вдруг под окном стал слышен звук шпор, потом раздался резкий звонок в квартиру. Конечно, догадались, что это жандармы с обыском. Наскоро уничтожили, что было можно, и стали ждать. Появились жандармы в дверях, и началась обычная процедура обыска. Я посмотрел на Батюшкову; она сидела с какой-то особенной решительностью в глазах и, как только стали приближаться к ней жандармы, она быстро стала рвать письмо, которое она читала нам, половину передала мне с словами: „жуйте". Я схватил это письмо, разорвал его на части, засунул в рот, стараясь его жевать и привести в негодность, но бумага скоро не поддавалась, и жандармы успели на меня накинуться и помешали докончить с письмом. Я его выплюнул на пол во время возни с жандармами и ногой незаметно старался затереть его. Два жандарма возились около Батюшковой, силясь отнять письмо. Была отвратительная сцена борьбы двух дюжих жандармов с одной женщиной. Комки письма были собраны, нас разъединили, и жандармы стали везде рыться. В двенадцать часов ночи меня увезли в жандармское управление. Мы заранее условились, что первое время мы будем отказываться от указания квартиры и от знакомства с революционерами. На все вопросы, предложенные мне о моем имени и месте моей квартиры, я отказался давать показания. Меня отправили в Сретенскую часть. Книг мне не давали, белья тоже не давали, все это в наказание за мой отказ назвать себя. Прошло около двух недель, а меня все еще не возили на допрос. Я узнал, что Цицианов, Вера Любатович, Гамкрелидзе арестованы; говорили, что при аресте с Верой Любатович обращались жандармы возмутительно. Это меня страшно волновало. В квартире Цицианова взяли мой чемодан с паспортом и прочими документами. Поэтому меня вызвали на допрос в жандармское управление. Больше скрывать свое имя не было смысла, но жандармы потребовали, чтобы я доказал подлинность своего имени Цвиленева. Пришлось вызывать сестру Александру, которая просила свидания со мной, но ей отказали, а обыск у нее сделали (полковник Чуйков, перебирая ее бумаги, отделил одно компрометирующее ее письмо и незаметно отдал ей его со словами: „Вы нужны вашему брату". Потом этот Чуйков вышел в отставку и говорил матери Натальи Армфельд, Анне Васильевне, что не может далее выносить этой службы, где ради карьеры люди готовы утопить каждого арестованного). После очной ставки с сестрой мне разрешили получать книги и дали смену белья. Теперь я был озабочен возможностью завязать переписку с Батюшковой. Скоро я получил книгу и в ней записку от нее, где она писала о своих допросах,—об оговоре Беляевским ее и Л. А. Иванова. Из этого я убедился, что ей каторги не миновать, если Беляевский не возьмет свое показание обратно. Когда Беляевского привезли в Москву, то он уже раскаивался за свою слабость и ломал голову над вопросом, как бы это некрасивое дело исправить. Товарищи по тюрьме посоветовали ему сделать заявление о желании дать показание. Желание его бы-

ло исполнено, но как были жандармы удивлены, когда узнали, что он отказывается от своего первоначального показания, что книги им получены не от Батюшковой и Иванова. После этого его долго держали без книг, перевели в худшую тюрьму, но Беляевский уже сознал свою вину перед Батюшковой и стоял на своем отказе.

Дознание заканчивалось, и нас начали переправлять в Петербург. На свидании сестра мне сказала, что Батюшкову уже увезли в Петербург в Дом предварительного заключения. Скоро отправили туда и меня. Когда я был привезен в Дом предварительного заключения, то первой моей мыслью было испробовать железную трубу для отопления, которая, очевидно, шла с нижнего этажа на пятый. Стучу: „кто". В ответ получаю—„Тихомиров". Лев Тихомиров мне все рассказал, что меня интересовало, в этот же день. Я узнал, что женское отделение совершенно в другом дворе, но о Батюшковой и других Тихомиров уже знал. Передавалось это на свиданиях, а после уже знали все соседи. Дни потекли за днями, время летело. Наконец, сестре моей Софье дали свидание со мной, появились нужные мне книги, а главное явилась возможность переписываться. Через две недели я уже имел записочку, писанную на так называем. конспиративной бумаге. Батюшкова писала мне, с кем она сидит, как проводит дни и, главное, сообщила, что мы уже числимся за прокурором, что скоро появится по нашему делу обвинительный акт.

Наконец, нас стали вызывать читать обвинительный акт. Пускали по очереди и по группам. Многие ходили читать этот документ для того, чтобы кого-либо из товарищей встретить и пожать руку. Когда нас известили о предстоящем суде, все оживились и ожидали того момента, когда можно будет всем явиться в зал суда, с возрастающим нетерпением. Для многих этот период жизни остался самым светлым воспоминанием на всю жизнь. Не даром, после прочтения приговора в окончательной форме, все с теплым чувством разобрали крестики, заказанные на воле с тремя буквами: „С. Р. Б.", что означало: „социально-революционное *) братство" (подозрительной же полицейской администрации были эти слова объяснены в смысле изречения „спаси раба божьего"). Когда нас вызвали в суд, то привели каждого в коридор, непосредственно соединенный с зданием окружного суда. Нас разместили рядом, поставив по жандарму между заключенными. Помнится мне первый момент, когда еще не успели расставить в порядке, и все стояли свободно, каждый думал о том, чтобы поговорить с давно невиденным другом. В этот момент всеобщего оживления, Джабадари неожиданно обратился ко всем со словами: „А знаете, нам предстоит приговор к смертной казни". Многие стали возражать, но у меня, помню, закралось предчувствие, что может быть, и так для некоторых, в том числе для А. Цицианова, стрелявшего в жандарма. Но этого я не высказал.

Для нас было несомненно, что приговор был уже составлен, что судебное разбирательство—одна формальность. Желательно только было, чтобы некоторые товарищи высказались; кроме того, защитники должны были опровергнуть те клеветы прокурора, которые он поместил в обвинительном акте, в целях скомпрометировать подсудимых в глазах общества. А публики было много. Пускали по билетам только родственников и знакомых судебных чинов; на воле же сфабриковали фальшивые билеты, по которым проходили все, кому нужно было быть в зале суда.

Председательствовал сенатор Петерс, пять сенаторов — по правую руку и сословные представители — по левую. Обвинитель—Жуков, над имуществом которого назначена была опека царем, чтобы это имущество спасти от продажи с публичного торга. Защитниками были: Спасович, Герард, Бардовский, Ольхин и другие. Началось чтение обвинительного акта, который гласил о „деле разных лиц, обвиняемых в государственном преступлении по составлению противозаконного сообщества и распространению преступных сочинений". Эти преступные сочинения были: „История одного крестьянина" Эркмана-Шатриана, „Емелька Пугачев", „Парижская коммуна", „Хитрая механика", „Сказка о четырех братьях" и т. п. Я не буду описывать самого судебного процесса, так как об этом в свое время подробно печаталось (см. также „Процесс пятидесяти", изд. Саблина, М., 190).

Самым сильным по впечатлению моментом всего процесса были речи подсудимых в последнем слове. Рабочий Петр Алексеев произнес речь, где на ярких примерах обрисовал все бесправие, которое имело место в общем строе экономической и политической жизни по отношению к рабочему классу. Он указывал, что капиталисты и правительство заодно угнетают народ, преследуют за малейшие проблески самосознания, что только одна революционная интеллигенция стоит за народные интересы и будет с рабочим классом вместе, пока проснувшийся народ не разрушит „ярмо деспотизма". Все это последнее было сказано с подъемом так энергично, что председатель суда не мог его остановить. Все поднялись с своих мест, публика аплоди-

*) Эти крестики передала я—в процессе участвовала моя сестра Лидия с 10 цюрихскими подругами („фричи"). *В. Фигнер.*

ровала; председатель велел очистить зал от публики, вывести Петра Алексеева. В общем впечатление было потрясающее. Нравственное торжество было на стороне подсудимых *).

Пятого апреля 1877 г. был объявлен приговор суда в окончательной форме. На этот раз царю не пожелалось женщин отправить на каторгу, **) но мужчины получили каторжные работы.

Последнее свидание всех подсудимых вместе, последнее свидание на долгие годы расстающихся между собой товарищей. Как я упомянул раньше, все получили на память крестики с обозначением даты окончательного приговора и с монограммой социально-революционного братства. Когда мы возвратились в свои одиночные камеры, разрешены были свидания; общих прогулок добились явочным порядком; разговоры велись нескончаемые, и тюрьма приняла небывалый вид. Все это раздражало тюремщиков, но ничего поделать не могли.

13 июля явился во двор тюрьмы петербургский обер-полицеймейстер генерал Трепов в сопровождении полиции и тюремной администрации. В это время гуляла партия заключенных, человек восемь, между ними был уже осужденный в каторгу Боголюбов. Поравнявшись с ним, Трепов крикнул: „шапку долой". Никто не исполнил этого требования. Тогда Трепов рукой сбил с Боголюбова шапку и приказал выпороть его. Полицейские потащили Боголюбова. Из окон тюрьмы увидели арестованные политические и раздались крики: „Вон, мерзавец". Шум поднялся небывалый. Все кричали в окна ругательства по адресу Трепова, стучали, били окна, чем попало. Я схватил большой молоток, которым выколачивали подошвенную кожу, и стал им бить в железную дверь. Дверь отворилась, и надзиратели забрали все инструменты, которые я имел для обучения сапожному ремеслу. Мне объявили, что, когда освободится карцер, то я буду наказан. Но что могла сделать такая угроза, когда вся душа и все существо кипели от негодования. Многие во время сидения в карцере подверглись избиению.

На другой день явился в Дом предварительн. заключения товарищ прокурора для выяснения обстоятельств происшествия, так как мы еще числились за министерством юстиции, и вмешательство Трепова было незаконно. С воли товарищи дали нам знать, что Трепов понесет заслуженную кару от них, и только это успокоило нас.

*) Другую замечательную речь произнесла С. Бардина (цюрихская студентка). *В. Фигнер.*

**) Приговор женщинам изменил не царь, а сенат по кассационной жалобе защитников. *В. Фигнер.*

Вскоре нас, осужденных по „процессу пятидесяти", перевели в Литовский замок, где мы должны были ожидать отправки. Незадолго до перевода мы,—я и Батюшкова,—получили разрешение повенчаться. Это происходило в тюремной церкви, где разрешено было нашим друзьям присутствовать при венчании, но запертыми в клетках с решетками. Неожиданно для нас осенью стали отправлять на каторгу и в Сибирь некоторых товарищей по процессу. Помню, как раз, вечером, когда мы уже, напившись чаю, готовились спать, услыхали звяканье кандалов и потом громкий голос Петра Алексеева, который оповещал нас об отъезде словами: „прощайте, увозят"... Жутко было сознавать, что товарищей от нас отделяют, заковывают и куда-то везут. Слухи ходили, что отправляют не в Сибирь, а в центральную каторжную тюрьму. Наконец, дошла очередь и до меня. Дверь нашей камеры отворилась, и меня повели в приемную. Выдали мне под расписку все принадлежности для ссыльного. У подъезда стояла карета, и в сопровождении жандарма и солдата с ружьем мы выехали со двора Литовского замка, как потом оказалось, на Николаевский вокзал; там меня повели прямо в вагон. В слабо освещенном вагоне я мог рассмотреть уже привезенных туда восемь товарищей—женщин, в числе которых была и моя жена. На каждую отправляемую командировано было по одному жандарму и одному солдату. Здесь были две сестры Любатович, Лидия Фигнер, В. И. Александрова, С. И. Бардина, Хоржевская, Н. Субботина. По приезде в Москву нас перевели на Нижегородскую линию, где мы увидели собравшихся родственников и знакомых, которых предупредили из Петербурга. Ко мне приехала моя сестра Александра. Ей удалось накануне заручиться пропуском от жандармского управления, и мы провели несколько минут вместе перед отходом поезда. К Любатовичам приехал перед самым звонком отец, которого жандармы не хотели пропустить, но он, взволнованный всей этой картиной, нервно растолкав караульных, бросился к дочерям. Тяжелы были последние минуты прощания.

Утром мы приехали в Нижний. Нас всех перевели на баржу, которую тянул буксирный пароход. После двухлетнего сидения в четырех стенах под замком самая поездка была интересна. С. И. Бардина своим остроумием и чуткостью к окружающему оживляла компанию. Из Перми мы должны были ехать на почтовых далее. В Томске нам объявили, что мы должны некоторое время переждать. Мне с женой отвели в больничном отделении комнату с двумя окнами, из которых видно было все расположение тюремного двора. Остальные наши товарищи-женщины разместились

в том же коридоре этой тюремной больницы; при мягком отношении администрации, пребывание наше было сравнительно недурно. По правилам ссылки движение арестантов этапным порядком прекращалось на время сильных морозов, поэтому и задержали нас в Томске. Вскоре осужденных на житье в Томской губернии стали отправлять. Сестры Любатович, Бардина, Хоржевская и Надежда Субботина были увезены в отдаленные уезды губернии. В томской тюрьме встретили товарища по процессу, Чикоидзе. Через некоторое время, когда мороз несколько уменьшился, стали и нас, иркутян, отправлять, но только на этот раз по одиночке; исключение было сделано только для меня с женой. Вновь наступившие морозы задержали нас в Красноярске несколько дней. Смотрителем тюрьмы оказался в Красноярске бывший ссыльный поляк, Островский, который очень хорошо к нам отнесся. Воспользовавшись тем, что тюрьма была переполнена, он поместил нас в свободной комнате своей квартиры. Вскоре догнал нас Чикоидзе, которого тоже поместили с нами. Через несколько дней морозы ослабели, и нас стали отправлять далее до Иркутска. Мы распростились с Чикоидзе, с которым больше не привелось встретиться: он умер от чахотки, развившейся в суровых условиях сибирского климата *). В Иркутске нас поместили в отделении тюремной больницы, так как самая тюрьма по случаю холодов была переполнена. Через некоторое время приехали наши спутницы, Л. Н. Фигнер и В. Н. Александрова, которым тоже судом была назначена для жизни Иркутская губерния.

Вскоре мы разъехались все в разные стороны необъятной Сибири. Нам пришлось безвыездно прожить в Малышовке, под Балаганском, почти двенадцать лет. В Малышевке мы застали супругов Новаковских. Новаковский был сослан за участие в демонстрации на Казанской площади (6 дек. 1876 г.). Новаковского присудили к ссылке, а жена, С. Е. Новаковская, последовала добровольно за мужем.

В наше однообразное существование много оживления вносило прибытие новых лиц, которые административно ссылались в наш округ. После большого процесса 193 административная расправа стала применяться широко и еще более после суда над Засулич. Приехала семья Габель, Н. Лопатин, имевшие некоторое отношение к большому процессу. Затем прислали нескольких лиц по процессу в Одессе—студенты Шлемензон, Барский, Журавский, Саковнин, ветеринарный врач, и учитель Мавраган; все они, как административные, были оставлены в г. Балаганске под надзором полиции.

Колония ссыльных, первое время составлявшая свой замкнутый кружок, со временем естественно стала сближаться с местным обществом, и круг знакомых расширялся. Интерес к событиям общественной жизни увеличивался, потребность в литературных изданиях росла, и само собой создалась мысль об устройстве библиотеки, которой в городе не существовало. Появились книги, составлен был каталог, написан устав, и библиотека стала функционировать. Живое участие приняли в этом деле, кроме нас с женой, Новаковский, Барский и другие. Первое время полиция косилась, но потом свыклась с новизной этого дела, и все шло благополучно. Но внезапно из Иркутска явился жандармский офицер и сделал у некоторых обыск; ничего существенного, с жандармской точки зрения, не обнаружилось, однако мирное течение жизни было нарушено. Местная полиция стала подозрительнее относиться ко всякому шагу; библиотеку, как учреждение, предложили ликвидировать, после чего пришлось книги разобрать по квартирам, и пользование книгами имело уже вид частного одолжения. Наше общение не прерывалось, но большею частью ограничивалось посещением семейных домов, куда одинокие товарищи периодически собирались; таким домом был и наш.

Из писем от товарищей и из газет доходили до нас те выдающиеся факты, которые всколыхнули общественную жизнь. Собираясь вместе, часто обсуждали текущие события в России. Как ни удачны были такие факты, как выстрел В. Засулич в ген. Трепова, убийство шефа жандармов Мезенцева и харьковского губернатора Крапоткина, но эти события имели определенный мотив,—месть за наглое поведение по отношению к политическим заключенным. Стать же на точку зрения такой деятельности, как системы, казалось ошибочным. Только в последующее время, когда борьба между правительством и революционерами разгорелась, даже горячие пропагандисты и сторонники поселений в деревнях и те примкнули к народовольческой программе. Тяжело было сидеть в ссылке, когда товарищи гибли в борьбе с самодержавием.

В киевском процессе Осинского, Брандтнера, Антонова и других судился друг моей жены, Н. А. Армфельд. Она не была террористкой, была в этой компании случайно и приговорена к четырнадцати годам каторги. Это было в мае 1879 г., а в августе, следуя на Кару, она писала с пути Батюшковой с одним уголовным, который вышел на поселение и взялся доставить

---

*) Бежал в 1881 г., был в 1882 г. пойман в Москве и снова сослан. *В. Фигнер.*

письмо. И действительно, этот уголовный явился к нам с письмом, в котором его рекомендовала Наталья Александровна, как посвященного в их заветные желания. Я приведу слова этого письма: „Ты знаешь,— пишет Н. А. Армфельд,—я совершенно случайно попала в ту компанию, с которой судилась. Я хотела получить в Киеве фельдшерский диплом и уже приглашена была в одно место, к знакомым, когда заручусь им. Но мне нужен был фальшивый вид, и я стала ходить в ту канцелярию, где они фабриковались. По бесшабашности, а также потому, что люди в канцелярии сидели хорошие и ласковые, я ходила туда чаще, чем следует, и сидела дольше, чем было благоразумно, ибо вся эта квартира уже была на вулкане. И действительно, в этот вечер, как произошло событие (в квартире оказано вооруженное сопротивление), там набралось десять человек, из которых больше половины пришли так же случайно, как и я, и друг друга не знали. Узнала же я своих товарищей в тюрьме, где мы по целым вечерам и ночам говорили, но как я к ним привязалась. Боже мой, что может так сблизить, как тюрьма и при таких условиях, как мы сидели. Я еду со вдовой одного из повешенных—В. Осинского. Ее фамилия—Лешерн, ты знаешь ее по „предварительному дому". Ее муж такой был дорогой мне друг, лучше сказать—брат. Он просил меня не оставлять ее, да я бы и сама никогда в жизни этого не сделала. Она столько выстрадала по одному и тому же поводу, столько общих привязанностей, и так ее жаль, ужасно жаль. Вот несчастный человек. Всего несколько месяцев в жизни была счастлива и так ужасно кончить. Она была приговорена к смерти вместе со своими друзьями, а потом ей преподнесли сюрприз—оставили в живых". „Как ни тяжело, как ни страшно на душе, пишет дальше Н. А., — а той апатии, того уныния, которое прежде угнетало, совсем нет. Теперь знаешь, что есть совершенно определенная цель — пожертвовать собой за известное дело. Я сознаю и умом, что наше время, данный момент, есть эпоха терроризма, что теперь борьба между абсолютизмом и народом достигла такой точки, когда нельзя уже действовать словом. Некогда убеждать, когда валятся головы твоих братьев, надо спешить подставлять свою. Да если не будет примеров, как люди гибнут за известное дело, если бы не было мучеников, то не было бы и последователей. Я думаю, что теперь время мучеников, время величайшего гонения и вот почему думаю, что скоро, скоро братья мои будут отмщены. Я живу накануне революции, чувствую ее. Варя, я все думаю, какие в тебе силы пропадают. В ту эпоху, в которую мы живем, ты была бы самой горячей террористкой. Знаешь, про тебя раз сказала Тиночка (Лебедева Т.) по поводу Засулич: „Знаете, говорит, кто был бы еще способен это сделать с полным хладнокровием,—это В. Батюшкова". Да ужасно подумать, что ты там".

Надо сказать, что уголовный, принесший это письмо, сообщил о плане побега из этой партии, где находилась Армфельд, о том, что нужно достать денег и быть готовыми, где укрыть беглецов. Не теряя времени, деньги достали мы при помощи знакомых мне ссыльных поляков 63-го года, дали письмо и деньги этому посланному. Отвез его на Московский тракт знакомый мне крестьянин и, возвратившись, рассказал, как этот уголовный по приезде на одну станцию послал его за папиросами, а сам, захватив доху у этого крестьянина, скрылся. Это обстоятельство дало повод заподозрить этого уголовного и в самом важном, т.-е. в верности указания срока проследования партии через место, где предполагался побег. Потом, уже много времени спустя, выяснилось, что когда этот субъект был у нас, то партия уже миновала этот назначенный пункт для побега. Из только что привезенного письма Армфельд можно было заключить, что кому-то из партии удалось бежать. Месяца через полтора действительно в Малышевку является бежавший Дебогорий-Мокриевич *). Мне удалось в тот же день устроить его у моего знакомого Р. И. Герман, сосланного по польскому восстанию 1863 г., который потом убедил другого поляка, Минкевича, жившего верстах в тридцати в стороне от тракта и имевшего там торговлю, взять Дебогория-Мокриевича к себе в роли помощника. Когда розыски улеглись, я отвел Д.-М. к знакомому крестьянину, возившему того уголовного, который доставил письмо от Армфельд. Этому крестьянину, по фамилии Л. Козулину, я объяснил, кого он повезет, чтобы он соблюдал все необходимые предосторожности. Таким образом, Дебогорий-Мокриевич отправился в Иркутск, а оттуда в Москву и затем за границу.

По моей просьбе мне был отведен полевой участок земли, и весной, когда земля немного оттаяла, я вместе с рабочим отправился на отведенное место, чтобы вырубить на участке деревья и сжечь, подготовив тем землю к посеву. Очищена была одна четверть десятины, потом поднят пласт верхней земли, который за лето должен перегнить и обратиться в плодородную землю, дающую хороший урожай пшеницы, что могло обеспечить продовольствие на целый год. Когда я обеспечил себя таким образом насчет продовольствия, случай — необходимость помочь женщине, которая не-

*) См. выше его автобиографию.

чаянно прострелила себе руку,—положил начало моей медицинской практике. Хотя по инструкции она ссыльным запрещалась, но в виду того, что окружной врач постоянно находился в разъездах, а фельдшер был совершенный невежда, исправник вполне терпимо относился к моей практике, а окружной врач оказывал всякое содействие, снабжая меня лекарствами, инструментами, книгами. Мне же было приятно оказывать помощь крестьянскому населению, которое запросто ко мне начало обращаться, сначала малышовское, а потом и соседних деревень. Это вносило много оживления в нашу жизнь: завязывались знакомства с населением без всякой натянутости в отношениях. Среди этих повседневных хлопот проходили дни за днями. Только изредка получались известия от товарищей с Карийской каторги и из отдаленных мест ссылки. Отовсюду неслись жалобы на ужасные условия жизни, на недостаток казенных пайков на Каре, на бедствия сосланных к якутам. Сборы денег среди ссыльных же не давали чего-нибудь существенного. Приходилось обращаться к сторожилам, и при их участии явилась возможность от времени до времени посылать деньги на Кару. Среди наших знакомых были ссыльные поляки 63 года, которые сочувствовали революционному движению в России; особенно широкую и разностороннюю помощь прибывшим и иногородним политикам оказывали наши знакомые — семьи Маевских и Германа.

Наша мирная жизнь скоро нарушилась появлением в Сибири генер. Русинова. Этот чиновник и жандарм душой, командированный для ознакомления с бытом ссыльных политических в Сибири, свел всю свою роль к тому, что сотни ссыльных под его влиянием были усланы в Якутскую область. Лично я чуть не подвергся этой участи за то, что меня общество крестьян выбрало попечителем школы; спасло меня только то, что я был по суду сослан, а не даминистративно. Этому делу придали значение особое: в этом власти усмотрели пагубное и „вредное влияние“ мое на население. Генерал-губернатор, граф Игнатьев, объезжая пределы Иркутской губернии, заехал в Балаганск, собрал в волости сход крестьян и, в присутствии упомянутого Русинова, разъяснял крестьянам об опасности избрания такого человека, как „государственый преступник“, попечителем в школу. После его речи бывший мой хозяин, Иван Лукич Соколов, сказал: „Мы этого ничего не понимаем, а знаем, что он хороший человек, поэтому общество и приговор подписало об избрании Цвилинева попечителем“. Этим весь инцидент и закончился. Я получил только угрожающее устное предупреждение от Русинова, что впредь за такие поступки я буду выслан в Якутскую область. Приезд Русинова все-таки для нашей колонии обошелся высылкой трех или четырех товарищей в Забайкалье.

Осенью 80-го года осужденные с нами вместе централисты были отправлены партией на Кару. Однажды, 8 февр. 82 г., я получаю из Читы письмо и не верю своим глазам: почерк Петра Алексеева, осужденного на десять лет в каторгу, идущего из центральной харьковской тюрьмы на Кару доживать там последние годы каторги; значит, он выдержал эти долгие годы ужасных, нечеловеческих условий каторжного централа. В письме заметно то чувство одиночества, которое рождается за время заточения и растет до размеров нестерпимой тоски. Он пишет: „Я чувствую себя одиноким среди людей. С тех самых пор, как я встретил впервые все ваше семейство, увидел товарищеское отношение друг к другу, слегка понял их и полюбил всех, полюбил вас помимо вашего желания и полюбил, признаться, всей силой своей души, нисколько при этом не заботясь о взаимном расположении, и с самых тех пор я не встречал таких людей, не сходился с ними и в силу уже моего положения не мог встретить, не могу встретить и, следовательно, привязаться. Я все это время был совершенно изолирован от всего живого, от всего действительного. Приходится жить одним прошлым, сохранять лишь одно старое, давно минувшее и таить в сердце все то, что кануло в вечность, что сдано в архив прошлого“. Это чувство одиночества его преследовало и после выхода на поселение в Богаянтайский улус. Его переводили из улуса в улус, что, как он писал, не давало возможности что-либо предпринять для заработка себе пропитания. В 1891 г. он был зарезан с целью грабежа двумя якутами, напавшими на него, когда он ехал верхом в Якутск. Власти вначале полагали, что он бежал. В Симферопольском отделении „Центр-Архива“ я видел документ жандармского управления (Архив № 6, за 1891 г., стр. 62), где говорится о розыске бежавшего из Батуруского улуса Якутской области Петра Алексеева, осужденного в марте 1877 года в каторгу на десять лет. В документе автор его прибавляет, что Алексеев произнес на суде речь, которая „считалась излюбленным орудием“ для пропаганды и далее, что „Алексеев происходит из простого звания, обладает природным умом и представляет собой вполне законченный тип революционера - рабочего“. Эта жандармская характеристика показывает, какого сильного противника продолжало видеть самодержавное правительство в Петре Алексееве до самой гибели его.

Весной 1885 года приехала к нам проездом на Кару к своей дочери Анна Ва-

сильевна Армфельд. Ей было уже лет шестьдесят, но она решила ехать к дочери, чтоб хоть сколько-нибудь смягчить участь дочери своим пребыванием вместе с ней. Еще лет пять назад она писала жене моей из Москвы: „Наташа сегодня, четырнадцатого мая, в $4^1/_2$ часа утра уехала на четырнадцатилетнюю каторгу. Страшно подумать, что будет с ней“. „О себе,—писала она,—я ни мало не горюю: охотно сейчас бы пошла под топор, только бы ей, моей голубушке, не страдать“. Побыв у нас два дня, повидав Евгению Николаевну Сажину-Фигнер, она отправилась в дальнейший путь. Около этого времени приехала другая мать-мученица, Екатерина Христофоровна Фигнер, у которой три дочери были осуждены: В. Н. в Шлиссельбургскую крепость на бессрочную каторгу, Е. Н. на поселение в Восточную Сибирь и Л. Н.—на житье в Восточную Сибирь, только О. Н., если не ошибаюсь, была в административной ссылке*). Екатерина Христофоровна прожила в Малышовке около месяца. За это время она присмотрелась к обстановке, в которой вынуждена находиться ее дочь, до некоторой степени успокоилась за ее судьбу и поехала обратно в Россию, как нам казалось, удовлетворенная своей поездкой к дочерям.

В 1889 г. объявлен был манифест Александра III, по которому вся наша группа осужденных получила право возвратиться на родину, под надзор полиции на пять лет, с правом жить везде, исключая Петербург и Москву. Мы быстро ликвидировали свои материальные дела и стали готовиться к отъезду.

В Москву мы приехали благополучно, но в самой Москве сын заболел корью, почему жена должна была остаться с детьми, а я поехал в Орел, куда мне было дано проходное свидетельство; оттуда направился в Елец к отцу и стал устраивать все к приезду жены. Прожили всю зиму с отцом вместе, потом мы стали хлопотать, чтобы нам разрешили жить в Москве для воспитания детей и постоянного врачебного наблюдения за здоровьем сына. В 1891 и 92 г. голод охватил Поволжье и несколько центральных губерний России; появился голодный тиф. Я принял самое живое участие в организации помощи голодным и больным, которые были чуть не в каждой избе. Жена, получившая к тому времени право жить в Москве, производила денежные сборы, благодаря которым я мог устроить временную больницу для тифозных и организовать продовольственное дело в нескольких волостях, где был от земства продовольственным попечителем. Затем начался период усиленной работы земств в области образования и развития медицинской помощи населению. В это время мне удалось устроиться в земстве и работать по этим отраслям.

12 августа 1894 г. скончалась моя жена *) во время летних каникул, когда были все вместе дети, родственники и ее близкая давнишняя знакомая, А. М. Гамбургер. Это семейное несчастие надолго отвлекло меня от общественных дел, так как заботы о детях легли на меня.

В 1906 г. я должен был оставить службу в земстве вследствие доноса, сделанного на меня земским начальником, Н. В. Хрущовым, о том, что я принимал участие в организации собрания членов „Крестьянского союза“.

В 1917 г. в период Февральской революции принимал участие в качестве председателя продовольственного комитета по Сумскому уезду Харьковской губ., где я жил с семьей. В 1918 г. я, вследствие болезни дочери, выехал в Крым, где, с приходом советской власти, работал в Наркомздраве и Крымсоюзе (по кооперации).

Почти полстолетия прошло со времени того революционного движения, в котором я принимал участие. Тогда массы людей гибли в борьбе, и современникам скоро стало казаться, что дело революции проиграно Но пламя революционной идеи сохранилось и, раздуваемое нестерпимым режимом царизма, последовательно усиливалось, охватывая рабочие массы и крестьянство. Этот процесс вызвал революцию 1905 г. и закончился Октябрем.

Чарушин, Николай Аполлонович.**)

Родился я 23 декабря 1851 г. (по старому стилю) в г. Орлове (ныне Халтуринск) Вятской губернии. Отец мой — добродушный и не без юмора человек — служил письмоводителем Окружного Управления, ведавшего в то время крестьянскими делами, а последние годы своей жизни — помощником окружного начальника. Мать—умная и энергичная женщина—происходила из разорившейся купеческой семьи. Нас, детей, оставшихся в живых, было 8 — 5 мальчиков и 3 девочки, но самые младшие из них—мальчик и девочка — скоро умерли. Из мальчиков я был старший. Свои детские годы, до 10-ти лет, я провел в семье, на просторе захолустного северного уездного городка с населением в 3 — $3^1/_2$ тыс. жителей, где и начал свое ученье, сначала в приходском училище, а затем в уездном; в первом из них, за предпочтение реки, полей и лесов

*) Добровольно последовала в нее за мужем, С. Н. Флоровским. *В. Фигнер.*

*) В воспоминаниях О. С. Любатович в „Былом“ фамилия моей жены помещена в группе лиц, кончивших самоубийством. Это прискорбная ошибка автора воспоминаний.

**) Автобиография написана 4 ноября 1925 г. в Вятке.

школе, был двукратно подвергнут телесному наказанию розгами.

Жизнь этого маленького патриархального городка была тиха и однообразна и протекала при совершенном отсутствии каких-либо умственных или общественных интересов; но зато для нас, детей, живших на полной свободе и в постоянном общении с природой, она была полна прелести и поэзии.

В 1862 г., не окончив курса в уездном училище, я был отвезен родителями в Вятку и сдан в 1-й класс Вятской гимназии. С этого времени и началась моя жизнь вне семьи, у квартирных хозяек. Связь же с семьей поддерживалась лишь поездками на каникулы, рождественские и пасхальные праздники, каковые поездки ожидались всегда с великим нетерпением.

Моя учеба в Вятке в первые годы шла не особенно успешно: школа мало привлекала меня, а жить приходилось все с великовозрастными гимназистами, предпочитавшими кутежи и попойки ученью, отвлекавшими и меня, малыша, от школьных занятий. Недели по две я не посещал гимназии, таскаясь за моими старшими товарищами по квартирам их собутыльников или даже трактирам, а потому и нет ничего удивительного, что я в первых классах оставался на второй год в одном и том же классе. Весьма возможно, что, продолжая жить в таком не подходящем для меня обществе, я свою гимназическую карьеру закончил бы самым постыдным образом. Но, к счастью, когда я был еще в третьем классе, родители перевели меня в частное ученическое общежитие с другим укладом жизни и другими настроениями, что, несомненно, отразилось и на мне. Здесь впервые появился у меня интерес к книге, пробудилась и любознательность. Но тут скоро случилась другая беда.

Внезапно умер отец, скончавшийся в декабре 1866 г. при объезде им уезда. Эта смерть, потрясшая меня, т. к. отца своего я любил, поставила семью в критическое положение. Последняя осталась без всяких средств, и только помощь дяди, брата моей матери, спасла ее от голода и дала мне возможность продолжать так неудачно начатое образование.

Здесь следует заметить, что начало моей гимназической жизни совпало почти с началом так называемой „эпохи великих реформ", значительно изменившей к лучшему общие условия русской жизни. Затхлая общественная атмосфера николаевских времен с этого времени и у нас в Вятке понемногу начала рассеиваться, что, конечно, не могло не отразиться и на школе. В гимназии появились новые молодые преподаватели, правда единичные, но все же сумевшие внести живую струю и возбудить умственные интересы у своих воспитанников. С этого времени духовная жизнь среди учащихся гимназии уже не прекращалась до самого окончания курса, ширясь и углубляясь с течением времени. Наиболее захваченные этим новым течением усердно принялись за чтение, образовались кружки самообразования, устраивалась своя библиотека, писались рефераты и горячо обсуждались все общественные вопросы, волновавшие тогда русское общество. Корифеи нашей художественной литературы, а затем Добролюбов, Чернышевский, Писарев, Флеровский с своим „Положением рабочего класса", Лавров с его „Историческими письмами", Михайловский, Лассаль и многие другие были нашими излюбленными учителями и вдохновителями, освещавшими нашу убогую жизнь и вводившими нас в круг широких идей, возбуждая в то же время пламенное желание отдать свои силы на служение своему обездоленному и угнетенному народу. Мы постепенно впитывали в себя социалистические и народнические идеи и сами становились их адептами.

Таким образом, с годами мы умственно росли, горизонты наши ширились, а требования и к себе лично и к русской жизни непрерывно повышались, а между тем, эта последняя, в особенности к концу 60-х годов, с очевидностью вступила снова в полосу злой реакции. Служение народу, что уже тогда для некоторых из нас было символом нашей веры, казалось почти уже невозможным на легальных путях, а потому будущая наша деятельность все больше и больше рисовалась на путях нелегальных.

Охваченные властно новыми идеями, мы горели нетерпением умножить кадры наших сторонников и прилагали свои усилия к вовлечению в круг наших идей не только учащихся других учебных заведений, но даже и взрослых из демократического ремесленного мира, из которых мы пытались организовать производительные артели. Меня лично влекла к себе еще семинарская среда и женское епархиальное училище, где было так много свежих и нетронутых сил. В этом последнем, благодаря влиянию классной дамы Кувшинской, уже имелся целый выводок молодых девиц, серьезно затронутых новыми идеями и стремящихся вырваться на жизненный простор. Бывая у Кувшинской, жившей в этом закрытом и строго оберегаемом от постороннего глаза учебном заведении, я перезнакомился с ее воспитанницами, собиравшимися у нее почти каждый раз при моем посещении. И действительно, среда эта в ближайшие же годы дала для революции Овчинникова, Якимову (Кобозеву), Чемоданову (Синегуб), Красовскую и других, заявивших себя на иных поприщах общественной деятельности.

В 1871 г. все счеты с гимназией были

покончены, а земская стипендия в 250 р. дает мне возможность ехать в Петербург для поступления в Технологический институт.

В Петербург я приехал уже не совсем желторотым юнцом в общественном смысле (мне было около 20 лет), а уже значительно подготовленным благодаря усердному чтению за последние годы моей гимназической жизни и знакомству с многим из того, что появилось ценного на книжном рынке по общественным вопросам. Личная карьера и личная жизнь мало занимали меня. Все внимание мое было устремлено на то, чтобы лучше и продуктивнее использовать свои скромные силы на служение народу.

Устроившись с квартирой, осмотревшись немного в большом незнакомом городе и покончив со всеми формальностями по институту, я вскоре же по своем приезде по приглашению Н. К. Лопатина, моего сожителя и приятеля по Вятке, а теперь студента 3-го курса Медицинской академии и члена кружка чайковцев, направился в Кушелевку, дачное место вверх по Неве, где жили этим летом чайковцы, от знакомства с которыми меня еще в Вятке предостерегали некоторые мои доброжелатели из студентов. Здесь встретил меня Чайковский, который после длительной беседы совсем очаровал меня. Прощаясь, он приглашал бывать у них и на городской квартире, куда собирались уже перебираться. Посещая их штаб-квартиру на Кабинетской ул., я постепенно перезнакомился почти со всеми входившими в состав кружка а по мере этого знакомства росли и мои симпатии и уважение к членам его. Простые дружеские отношения, полные взаимного доверия и уважения, отсутствие фразы и рисовки и каких-либо признаков генеральства, спокойная деловая атмосфера, покоящаяся на искреннем убеждении и преданности делу, не могли не импонировать и не привлекать меня к себе.

Между тем, началась для меня и обычная студенческая жизнь: лекции, студенческие собрания, новые знакомства и пр. Из студентов-технологов быстро сорганизовался кружок самообразования, собиравшийся у меня на квартире, в котором принял участие и один из чайковцев — Клеменц.

В начале октября через упомянутого выше Лопатина мне было предложено вступить в кружок чайковцев. Согласие было дано без колебаний, хотя я уже имел достаточно ясное представление о том, какая судьба меня может ожидать, м. б. даже в ближайшем будущем.

Кружок чайковцев, уже в то время довольно многолюдный, имевший отделения в Москве и других городах, ставил своей задачей, помимо выработки общего миросозерцания, пропаганду освободительных и социально-революционных идей среди молодежи и интеллигентных кругов вообще путем личного воздействия и распространения известного подбора легальных и нелегальных книг, для чего кружок, м. пр., развивал усиленную легальную издательскую деятельность, а для нелегальных изданий обзавелся небольшой типографией в Женеве. В тех же целях кружок уже начинал подумывать и о заграничном руководящем органе печати, каковой вопрос не сходил с очереди и в последующие годы. С этой целью велись уже и переговоры с видными и популярными литераторами (Михайловский, Берви), но по разным причинам не приводившие к желательным результатам.

Одновременно с этим преследовались и организационные задачи, чтобы потом армию наиболее подготовленных и хорошо подобранных сил направить на революционную работу в народные массы. Народная среда, таким образом, еще не затрагивалась, и непосредственных задач в этом направлении в то время кружок не ставил.

Ни устава, ни писанной программы у кружка не было. Людей объединяла лишь общность настроения и взглядов по основным вопросам при полной свободе мысли, самоотверженная преданность делу, искренность и прежде всего высота нравственного уровня. Базируясь на таком прочном фундаменте, кружок и не нуждался ни в каких формальностях, отсюда же проистекали и те совершенно исключительные взаимоотношения, которые выделяли этот кружок среди других организаций, и то влияние, каким он пользовался среди учащейся молодежи и в радикальных кругах.

Осень и начало зимы 71 г., несмотря на усиливающуюся правительственную реакцию, выражавшуюся в преследовании печати, в арестах и высылках и в ограничительной политике в отношении правительством же созданных учреждений, протекали при большом оживлении. С одной стороны, только что закончившееся нечаевское дело, волновавшее молодежь и вызывавшее разнообразные и нередко страстные суждения о нем, а с другой — Парижская Коммуна с ее трагическим концом, волновавшая едва ли еще не больше. Публика жила и волновалась, накопляя горючий материал.

Нечаевское дело, разбиравшееся летом 71 г., с очевидностью показало, чего не следует делать революционной организации. Кружок чайковцев, как известно, организовался по типу, совершенно противоположному нечаевскому. Но нечаевское дело лично на меня имело и другое воздействие.

При всем моем сочувствии к делу, которое вели чайковцы, и уважении к ним самим мне казалось недостаточным строить революционную интеллигентскую организацию для работы в народных массах и в то

же время откладывать эту основную работу на будущее время, в результате чего получалось, что революционные организации возникают, ширятся, но в подготовительный же период погибают, не сделав ровно ничего для основной задачи. Получалась какая-то Сизифова работа, сопряженная с бесчисленными жертвами, а народные массы по прежнему оставались без всякого идейного воздействия. А между тем освобождение социальное и политическое мыслилось тогда всеми только при условии сознательного участия в этом деле широких народных масс. Приблизительно в этом же смысле высказалось и многолюдное собрание, состоявшееся в декабре 1871 г. в квартире профессора Таганцева и под его председательством из представителей радикальной интеллигенции и большинства тогдашнего состава кружка чайковцев.

Хотя вопрос о непосредственной работе в рабочей и крестьянской среде в кружке еще не обсуждался, я для себя лично решил его по-своему. Уже с декабря 1871 г. я вместе с Синегубом, тогда еще не членом кружка, на свой страх начали работу среди петербургских рабочих, сначала на химическом заводе Жданова. Затем завели связи с фабричными рабочими, посещая их чайные на Выборгской и Петербургской сторонах и рабочие общежития.

Опыт работы среди рабочих удался. В ней постепенно стали принимать участие и другие члены кружка. Успех был настолько значительный, что уже через 5—6 месяцев почти во всех рабочих районах имелись связи, и велась систематическая работа при содействии привлеченной к делу студенческой молодежи.

Летом 72 г., достаточно издергавшись от петербургской волнующей жизни, я выехал в Вятку, а затем в Орлов к родным. В Вятке, кроме старых приятелей, с которыми нужно было переговорить о многом, была и Кувшинская, с которой я вел оживленную переписку весь этот год, и которая ныне тоже собиралась в Петербург для поступления в Медицинскую академию.

В этот приезд окончательно определились и мои отношения к ней: прежняя наша дружба сменилась любовью, мы были одинаковых взглядов и влечений, и наш моральный облик был тождествен, что вместе взятое гарантировало личную свободу каждого, а следовательно, и не представляло никакой опасности для основных наших стремлений. Окрыленный своим новым чувством, я выехал в Орлов к своим. Здесь я все нашел в порядке: младшие братья учились, одна сестра вышла замуж, и другая собиралась сделать то же. Особенной материальной нужды, благодаря помощи дяди, семья не ощущала. Но, несмотря на это, самочувствие мое было неважное. Я знал, что мать моя с нетерпением ждет того времени, когда я встану на собственные ноги и помогу ей выучить моих братьев. Я же ясно сознавал, что ее надежд не оправдаю, что меня ждет совсем другая судьба. Пробыв на этот раз в своем родном Орлове всего 2—3 недели, я с огорченным чувством выехал в Вятку и дальше на Казань.

За время моего отсутствия деятельность кружка продолжалась в том же направлении. Продолжалась она и в рабочей среде. С осени же 72 г. в эту работу постепенно втягиваются и другие силы кружка: Клеменц, Перовская, Кравчинский, Ал. Корнилова, Чайковский, Кропоткин, Кувшинская, а в следующем году — Шишко, Тихомиров и др. С привлечением новых сил деятельность среди рабочих пошла еще интенсивнее и планомернее.

Лично я, ушедши с головой в кружковую работу, совсем забросил институт. Интересуясь и принимая участие в общем ходе дел кружка, я не оставлял и дела рабочего, убежденным сторонником которого продолжал оставаться. Связавшись еще ранее с Выборгским рабочим районом, я переселился на жительство на Выборгскую сторону, поселившись у одной хозяйки с Кувшинской. Здесь, на Выборгской стороне, в особом и довольно поместительном доме Байкова, нанятом нами, была устроена целая школа, в которой обучали грамоте и другим наукам, а для более подготовленной публики читались и лекции. Десятки рабочих ежедневно посещали дом Байкова, куда к работе были привлечены и многие из учащейся молодежи, не входившие в состав нашего кружка. Постепенно из этой массы рабочих выделялись наиболее надежные и подготовленные, из которых и было образовано нечто в роде ядра рабочей организации, долженствующего впитать в себя таковые же элементы из других районов, где велась работа. С этим-то ядром мне, а также и некоторым другим членам кружка и приходилось, главным образом, иметь дело. В 73 г. при этой рабочей группе была организована касса, а самое это ядро должно было превратиться в параллельную с основным кружком чисто рабочую организацию. Но публика, входившая сюда, уже горела нетерпением поскорее приняться за дело в самой народной гуще и потянулась в деревню. Первыми из рабочих ушли туда наш Крылов, Абакумов и некоторые другие. Пошли туда же и Синегуб с женой, Клеменц, Кравчинский, Рогачев и др.

Новое течение, незаметно втянувшее большинство членов кружка, в начале 1873 г. было, наконец, предметом обсуждения кружка в целом, и последний не только его санкционировал, но и признал непосред-

ственную работу в рабочей и крестьянской среде основным и важнейшим своим делом.

Для ознакомления своих филиалов с новым направлением деятельности кружка я был командирован для их объезда, каковой и был предпринят мною в феврале 1873 г. Я посетил Москву, Орел, Киев, Одессу, Херсон, Николаев и Харьков, где имелись отделения кружка. Сочувствие новому направлению деятельности было полное, а в некоторых наиболее организованных отделениях к аналогичной работе было уже и приступлено ранее. Летом того же года, проезжая в Крым, я снова посетил некоторые из отделений и мог убедиться в жизненности нового течения.

Пропагандистская деятельность, развиваясь и углубляясь, тянулась почти беспрепятственно до 1874 г., принимая в некоторых пунктах, как, например, за Невской заставой у Синегуба, чуть не открытый характер. Власти того времени, не подозревавшие нового направления революционной деятельности, продолжали искать крамолу в студенческих и интеллигентских кругах, почему и проморгали работу кружка в рабочей среде, тянувшуюся почти без всяких препон целых два года. И лишь с конца ноября 73 г. началась ликвидация деятельности кружка в рабочей среде, когда были арестованы Синегуб, Тихомиров и другие за Невской заставой.

Увлекавшая нас работа в рабочей среде немало нас и огорчала. Приходилось иметь дело почти с безграмотной средой, каковой в особенности была среда фабричных рабочих, которая особенно ценилась нами, как не потерявшая еще связи с деревней.

Приходилось поэтому вместо прямого своего дела заниматься обучением грамоте и тратить на это силы, устраивая настоящие, но нелегальные школы грамоты.

Кроме того, будучи социалистами, мы шли в рабочую среду с проповедью социализма, которая еще в заводской среде, в большинстве своем уже пролетаризированной и более культурной, воспринималась сравнительно легко, но в фабрично-крестьянской среде этого уже не было Здесь охотно и с большим интересом слушали и воспринимали все, когда речь заходила о переделе земли, о податях, об административном произволе, о роли центрального правительства, с царем во главе, как об основной причине всех наших неустройств, в том числе и в промышленной области, где власть всегда была на стороне угнетателей. В соответствии с этим как-то само собой менялись и наши задания в пропагандистской деятельности, отодвигая социализм, как таковой, и налегая на вопросы, особенно близкие и понятные слушателям.

Иногда, в минуты раздумья, при виде всех трудностей и необъятности дела, за которое так смело взялись, охватывала невольная оторопь. Но безграничная вера в жизненность самой идеи быстро прогоняла сомнения, и охватившая оторопь исчезала без следа. Кружок чайковцев, несмотря на видимые успехи своей деятельности в рабочей среде, никогда не предавался иллюзиям о близкой революции. Тот же опыт, который уже имелся у него, предостерегал его от увлечений и убеждал в том, что начатое им дело потребует длительной подготовительной работы многих поколений революционных деятелей.

Мы не были ни лавристами, ни бакунистами, в буквальном смысле этого слова, и не считали возможным европейский революционный опыт целиком переносить на русскую почву, полагая, что совершенно своеобразные условия русской действительности обязывают и к изысканию, в соответствии с этими последними, самостоятельных путей для разрешения русской проблемы. Занятые, главным образом, разрешением этой основной задачи, мы мало придавали значения программным вопросам, что помогало дружно итти вместе и людям, расходящимся в теоретических вопросах.

Мы отнюдь не были настроены против науки, но предупреждали лишь против увлечения наукой в ущерб развитию общественных инстинктов, при чем многие из нас нередко „удалялись в пустыню“, чтобы пополнить недостаток своего образования.

Тот же опыт наглядно научил нас ценить и политическую свободу, отсутствие которой ежедневно ставило нам непреоборимые препоны в нашей практической деятельности.

Вот почему начавшееся со второй половины 73 г. и продолжавшееся уже на деле в 1874 г. массовое стремление, а затем и движение нашей молодежи в народ, окрыляемое под влиянием проповеди Бакунина верой в немедленную общенародную революцию, не могло встретить положительного отношения в среде чайковцев, уже обладавших некоторым знакомством с народной средой и ее настроением.

Это увлечение, охватившее молодежь в зиму 73 г., носившее все признаки религиозного увлечения, оспаривать которое было бесполезно, действовало заразительно даже на более зрелых людей и увлекло за собой некоторых из оставшихся после погрома на свободе чайковцев, которые тоже вместе с другими двинулись в народ. Вероятно, это последнее обстоятельство, а также известная записка Кропоткина, окрашенная в анархический цвет своей вводной частью и принимаемая за программу чайковцев, и дали основание некоторым, писавшим о чайковцах, причислить их в конеч-

ном итоге к лику анархистов и бунтарей. Чайковцы в массе своей не были ни тем, ни другим. Не был таковым и я, хотя меня всего охотнее причисляли к этой категории. Записка же Кропоткина имеет несомненное историческое значение лишь в основной ее практической части, обстоятельно излагающей те выводы, к каким кружок пришел в результате своей двухлетней деятельности в рабочей и отчасти в крестьянской среде. Эта часть изложена с знанием дела, хотя в некоторых деталях и нуждалась в поправках. Что же до анархического идеала вступительной части записки, то это уж от самого Кропоткина, который и ответственен за нее. Правда, записка зачитывалась и обсуждалась на нескольких общих собраниях кружка в самом конце 73 года, но принята она, вопреки утверждению Шишко, не была.

В ночь с 4-го на 5-е января я, будучи уже на нелегальном положении около года, возвращаясь с одного совещания, происходившего на квартире Кувшинской, на ночовку в квартиру студента Богомолова, наскочил на обыск, был арестован и заключен первоначально в Третье Отделение, затем в Спасскую часть, откуда вскоре же был переведен в секретную камеру Литовского замка. За отказом дать показания о найденных при мне запрещенных книгах, о рекомендательной записке к лицу, с которым, по поручению кружка, я должен был переговорить о вступлении его в состав нашей организации (нечаевец Ковалевский), и о письме нашего рабочего из деревни, сообщавшего о своих успехах в ней (все фамилии на записке и в письме были вырезаны), я был лишен книг, свиданий и передач с воли. Так тянулось почти три месяца, в течение которых серьезных обвинений предъявлено мне не было, т. к. ни деятельность моя среди рабочих, ни принадлежность к революционному кружку не были еще установлены. Но вот в марте этого же года, по связи с Невской заставой, был произведен разгром и Выборгского района, где главным образом протекала моя деятельность в рабочей среде. Благодаря предательству трех рабочих, там, кроме их товарищей, были арестованы Кропоткин, Купреянов, Кувшинская и некоторые другие. Эти же рабочие дали и обо мне показания, достаточные для того, чтобы отправить меня на каторгу, с чем и не преминул меня поздравить тов. прокурора Кобыльский, ведший мое дело. Как и Кропоткин, я на этот раз совсем отказался от дачи показаний, чтобы не дать какихнибудь нитей для дальнейших розысков.

С тех пор началось ничем не тревожимое сидение в строгом одиночном заключении, без переписки, без свиданий, длившееся до суда почти четыре года, сначала в Литовском замке, затем в Петропавловской крепости, откуда лишь на время следствия и суда я переводился в Дом предварительного заключения. В итоге длительного заключения я был привлечен по делу о революционной пропаганде в 37 губерниях, по которому привлекалось 193 человека. Группа чайковцев была представлена на процессе в числе 28 человек *). Особое Присутствие сената приступило к разбору дела в октябре 1877 г. и окончило его лишь 23 января следующего года, при чем с первых же дней допустило ряд процессуальных правонарушений: не было гласности суда, отказано было в стенографических отчетах о заседаниях и в заключение, обвиняя нас всех в едином революционном сообществе, разделило на 17 групп без права участия на суде при разборе дел других групп. Пощады мы не ждали, но суд при таких условиях терял для нас всякую цену и не гарантировал даже от новых извращений в правительственных отчетах о судебных заседаниях, как это и было допущено уже в обвинительном акте. Поэтому вся группа чайковцев, дело которых разбиралось первым, отказалась и от защиты и от участия в судебном следствии и потребовала удаления из залы суда, что в конце концов и было достигнуто. Вскоре я, вместе с некоторыми другими, не дождавшись даже окончания суда, снова был переведен в крепость. Суд приговорил меня к 9-ти годам каторжных работ, возбудив общее ходатайство о смягчении наказаний. В отношении большинства ходатайство было уважено, но для 13 человек, в том числе и в отношении меня, оно было отклонено, зачтено было лишь время предварительного заключения.

Нужно ли говорить, что время предварительного заключения при условии абсолютной изоляции, тянувшееся почти 4 года, было самым тяжелым. Многие товарищи по заключению не выдерживали этой пытки, сходили с ума, накладывали на себя руки или же просто умирали медленною смертью. Погибших таким образом до суда насчитывали до 70—80 человек.

Не обладая особенно крепким здоровьем, я, еще будучи на свободе, полагал, что меня хватит на год, много на полтора тюремной жизни, но я в своих расчетах ошибся. После первых тяжелых переживаний при виде гибели дела, которому отдавался, и товарищей-друзей, обреченных на медленное умирание в тюремных казематах, я постепенно укреплялся в мысли, что с гибелью всего, что было дорого и близко, еще не

*) В этой группе не все были чайковцы; в нее были включены как сам никогда не принадлежавший к чайковцам Низовкин, так и те, которых этому предателю в своих показаниях вздумалось причислить к ним.

все потеряно, что идея, воодушевлявшая нас, будучи жизненной, не погибнет и найдет себе новых продолжателей. Теперь же оставалось лишь с честью нести выпавший на долю крест и не поддаваться унынию. Это тоже своего рода борьба, она поднимала дух и спасала от пагубного в тюремных условиях настроения безнадежности.

На 3-м году моего предварительного заключения, когда я привозился из крепости в Дом предварительного заключения для ознакомления с следственным материалом, я принял участие в 1-й попытке побега, организованного Коваликом и Войнаральским, но от участия в следующей их попытке, по зрелом размышлении, уже отказался из опасения, при моем расстроенном долгим сидением здоровье, оказаться в тягость моим товарищам на воле, бежать же за границу я не хотел.

За все время предварительного заключения в крепости я имел лишь одно свидание с братом-студентом, которого тот добился с превеликим трудом в конце 77 г. И только с переводом на время суда в Дом предварительного заключения я получил свидание с своей невестой А. Д. Кувшинской, содержавшейся тут же, да 2—3 свидания с Перовской. Здесь я впервые прибег к речи, от которой совершенно отвык, перезабыв даже самые обыкновенные слова. 12 февраля 1878 г. в церкви Дома предв. закл., вопреки моим уговорам не связывать свою судьбу с моею, состоялась моя свадьба с А. Д. Кувшинской, которая, уже будучи освобожденной после суда, добилась разрешения на нее лишь благодаря своей настойчивости и энергии.

Последние 8 месяцев в крепости были прожиты нами в сравнительно лучших условиях. Мы получили возможность сообщаться на общих прогулках в крепостном дворе. Это позволило нам составить нечто в роде завещания „товарищам по убеждениям“, оканчивающегося призывом:

„... Мы завещаем нашим товарищам по убеждениям итти с прежней энергией и удвоенной бодростью к той святой цели, из-за которой мы подверглись преследованиям и ради которой готовы бороться и страдать до последнего вздоха“.

Это обращение за нашими 24 подписями было напечатано в нелегальной „Общине“.

Незадолго до отправки в дальние края мы пережили 2 голодовки, по 3—4 дня каждая. Первая возникла из-за слухов, будто при отправке централистов в харьковские тюрьмы они были наказаны розгами. Из опасения быть подвергнутыми тому же наказанию, мы решили: „Лучше смерть, но не этот позор“. Вторая голодовка была объявлена по сочувствию к голодающим Тютчеву и его товарищам, которые, будучи подследственными, добивались тех же льгот, какими пользовались осужденные.

В июле 1878 г. был совершон обряд заковки в кандалы, после чего я, вместе с другими каторжанами (Брешковская, Синегуб, Тимофей Квятковский и др.), в ночную пору, со всевозможными предосторожностями был отправлен особым поездом, вместе с житейцами *), в Сибирь, куда за нами последовали и наши жены, моя и Синегуба, привезенные особо из Литовского замка, куда они предварительно перед отправкой были заключены. Путь от Петербурга до Иркутска совершен был отчасти по железной дороге (от Петербурга до Нижнего-Новгорода) и по воде на барже (от Нижнего до Перми и от Тюмени до Томска), а все остальное многотысячное расстояние—на лошадях под охраной жандармов, во главе с ротмистром Петровым.

Захворав перед Иркутском тифом, я был привезен в Иркутскую тюрьму в бессознательном состоянии, где и вынужден был от партии отстать. Ротмистр Петров, не желая, очевидно, лишаться лишней тысячи рублей, обещанной ему, как говорили, за благополучную доставку каждого из нас на Кару, настойчиво уговаривал мою жену продолжать путь. За решительный отказ он отомстил сообщением по начальству, что Чарушина, оставшись в Иркутске, подготовляет побег мужу. Вероятно, благодаря этому, несмотря на настойчивые требования лечившего меня доктора Рейхмана снять с меня на время тяжелой болезни кандалы, они не снимались и были сняты лишь тогда, когда началось выздоровление.

Тиф меня возродил: та одурь и безразличие, которые у меня были, как следствие одиночного заключения, совершенно прошли, и мое жизнерадостное настроение, несмотря на исключительную обстановку, восстановилось.

Благодаря этой задержке на Кару нас доставили лишь в ноябре 78 г. уже иркутские жандармы, возглавляемые майором Халтуриным.

Не совсем при обычных условиях началась моя каторжная жизнь. Приехав на Кару уже после 9 час. вечера, когда доступ в тюрьму совершенно прекращался, поезд наш остановился у комендантского дома, куда мы и были приглашены комендантом, полковником Кононовичем. За чаем как-то само собой завязался оживленный разговор на общеполитические темы, который показал нам, что в лице карийского коменданта мы будем иметь человека несомненно умного и образованного, не настроенного враждебно к нам, политическим каторжанам. Пригласив затем нас к ужину, Кононович просил меня

*) Осужденые на житье в Сибири, с лишением некоторых прав и преимуществ. *В. Фигнер.*

лишь об осторожном обращении с моими ножными „ожерельями“, т. к. звон их мог бы растревожить его больную жену. Переночевав в отведенном нам кабинете, я на другой же день был раскован и отправлен на гауптвахту, где уже сидели ранее прибывшие товарищи, а мою жену взялась устроить А. И. Успенская, жена нечаевца Успенского.

С этого времени начинается 18-летнее сибирское житье, сначала на Каре, затем в пределах Забайкалья. Каторжная жизнь в глухой, но живописной тайге, где по течению небольшой речушки, окаймленной горами, раскинут был ряд казенных золотых приисков и каторжных тюрем, протекала то в тюрьме, то на воле, в вольной команде, но в общем в благоприятных условиях, благодаря коменданту Кары Кононовичу, с которым у некоторых политических каторжан впоследствии установились даже дружеские отношения.

Весной 79 г. мы уже были выпущены в вольную команду, как окончившие испытуемый срок, хотя необходимого распоряжения для нашего освобождения еще и не было получено. В тесных пределах Карийской тайги, не стесняемые начальственным вмешательством в нашу жизнь, мы использовали свободу прежде всего общением с природой, которой мы столь долгое время были лишены.

Наша небольшая семья политических каторжан с их семьями, разместившаяся частью в собственных домиках (Успенский и Т. Квятковский), частью же в отведенных комендатурой казенных помещениях, постепенно обзавелась и заработком. Уроки, служба, домашние занятия плюс казенный паек натурой обеспечивали нам сравнительно безбедное существование и оставляли необходимое время для удовлетворения наших духовных потребностей. В книгах же и журналах в общем недостатка не было. Завязалась и довольно обширная переписка с родными и нашими старыми друзьями, раскиданными по разным сибирским городам и весям.

Бурные российские события 79—80 гг. давали обильный материал для Карийской политической каторги. Непрекращающийся наплыв политических каторжан на Кару, число которых к концу 80-го года достигло почти 100 человек, вынудил карийское начальство отвести для политиков большую тюрьму на Средней Каре, занятую ранее уголовными. Скоро и нам, вольнокомандцам, ожидавшим уже не в далеком будущем выезда с Кары, пришлось присоединиться к ним и снова облечься в ножные кандалы.

В конце 1880 г., в эпоху „диктатуры сердца“ графа Лорис-Меликова, совершенно неожиданно было получено из центра распоряжение, чтобы весь каторжанский срок политикам отбывать в тюрьме, закованными в ножные кандалы, вольная команда для них уничтожалась, а те, кто этим правом уже пользовался, снова должны быть посажены в тюрьму и закованы. Кононович протестовал против этого распоряжения, но безрезультатно. Объявив нам об этом недели за две до нового года, он назначил нам 1-е января 81 г., когда мы должны были отправиться в Средне-Карийскую тюрьму и там провести остаток нашего каторжного срока. Нам, кому до конца каторги оставалось уже немного, перспектива попасть в тюрьму в некотором смысле даже улыбалась. Представлялась, таким образом, возможность близко ознакомиться с новыми товарищами, а вместе с тем и с новыми течениями, настроениями и событиями русской революционной жизни. Но не всем вольнокомандцам улыбалось это новое заключение. Семяновскому, общему нашему любимцу, оно стоило жизни. Не приспособленный к тюремной жизни и с больным сердцем он предпочел смерть трехлетнему тюремному заключению и выстрелом из револьвера в ночь на 1 января покончил свои счеты с жизнью. Смерть эта страшно всех нас потрясла, и мы винили себя, что не досмотрели за Семяновским.

Чрез несколько часов после самоубийства Семяновского все мы, вольнокомандцы, отправились за 4 версты отсиживать наш каторжный срок в Средне-Карийскую тюрьму, а наши жены остались хоронить Семяновского. Тюрьма приняла нас радушно. Здесь уже установился определенный режим с общим хозяйством и общей кассой, куда вносились все денежные получения из России, каковые и расходовались на общие потребности. Две большие камеры тюрьмы, снабженные нарами, были переполнены заключенными. Жизнь кипела в тюрьме. Скоро было приступлено даже к изданию журнала „Кара и кукиш“, в котором приняли участие и некоторые из каторжанок женской тюрьмы. Вечерами же часто прекрасный хор, образовавшийся из сидельцев, устраивал концерты, слушать которые нередко собирались около тюрьмы карийские обыватели. Наличие такой массы политических каторжан разных наслоений воочию свидетельствовало нам, что дело, которое мы считали делом нашей жизни, не только не погибло, но нашло и находит все новых и новых деятелей, продолжающих изыскивать новые пути к освобождению родины и жертвующих ради этого своей свободой и даже жизнью.

Внутренняя жизнь тюрьмы почти ничем не стеснялась. Кандалы, которые мы обязаны были носить, мы научились снимать и обычно клали под подушку, надевая лишь тогда, когда ожидали посещения начальства, о чем всегда предупреждались

заранее. Некоторые из нас усердно занимались, хотя условия для этого были мало благоприятны по причине нашей скученности и невозможности сосредоточиться. Некоторые же работали в мастерских или ходили на разрезные работы.

Но, как бы то ни было, мы были лишены свободы, с чем примириться было трудно, в особенности тем, кому предстояло долгие годы провести в тюрьме. Естественно, что мысль о побеге занимала многих. Почти ежедневно различные группы, собравшись где-нибудь в укромном месте, горячо обсуждали этот вопрос, строя иногда совершенно фантастические планы побега. От слов скоро перешли к делу, что, впрочем, было уже после нашего выезда с Кары.

Через три месяца мой каторжный срок окончился, и я был освобожден. Вскоре же после этого, т.-е. летом 1881 г., будучи уже причислен к одной из волостей Забайкальской области, я вместе с женой и дочерью, родившейся на Каре в 80 г., покидаю Кару и выезжаю в сопровождении конвоя в Нерчинск и Читу, откуда, отпущенный на заработки—на казенные Давенденские прииски, расположенные в глухой тайге, ниже Кары, куда жена моя была приглашена учительницей к детям управляющего приисками, а я для занятий в конторе. Но благодаря особенностям приисковой жизни выдержать ее удалось лишь год.

С приисков мы снова перебираемся в Нерчинск, где уже около двух лет как обосновался выехавший с Кары нечаевец Кузнецов. Он обзавелся даже собственным домиком и фотографией, которой и кормился сам и кормил свою многочисленную семью. Там же мы нашли и бывш. карийского коменданта Кононовича, теперь уже атамана III отдела Забайкальских казачьих войск, к которому жена моя, как опытная учительница, тотчас же и была приглашена для занятий с его детьми.

В Нерчинске мы прожили 4 года, вращаясь в тесном кругу близких и знакомых. Общественной жизни здесь не было никакой. Школ было мало, а библиотеки и совсем не было.

По отъезде Кононовичей в Петербург жена по-прежнему была занята уроками, у меня тоже были небольшие уроки, но, не чувствуя влечения к этого рода работе, я начал изучать фотографическое дело, работая у А. К. Кузнецова. Когда я освоился в достаточной степени с делом и получил не без труда необходимое разрешение на занятие фотографией, мы направились летом 1886 г. в Троицкосавск, находящийся на границе с Монголией.

Город Троицкосавск, куда мы, наконец, прибыли, расположенный в песчаной котловине, окруженной со всех сторон лесистыми горами, был довольно бойким торговым городком с 3—4-мя тысячами жителей. К немалому нашему удивлению, в нем, кроме начальных школ, имелись и женская гимназия и реальное училище. Рядом с Троицкосавском, на той же речонке, в 3—4 верстах от него, соединенная шоссе, находилась известная в России слобода Кяхта, состоящая из 15—20 домов, населенных исключительно крупными чаеторговцами, а дальше рядом с ней, стоило лишь перейти через дорогу, расположен был уже китайский городок Маймачен с своими крупными торговыми чайными фирмами, а еще дальше раскинулась монгольская степь с видневшейся на горизонте цепью гор. Много своеобразного было в жизни в новом нашем местожительстве на границе с Монголией, совершенно открытой для свободного общения подданных России с подданными Китая.

Тон, особенно в экономической жизни, здесь задавала, без сомнения, маленькая Кяхта с ее огромными капиталами и обширной торговлей, снабжавшая „кяхтинскими“ чаями не только Сибирь, но и далекую Россию. И само кяхтинское купечество, среди которого были и воспитанники декабристов, выгодно отличалось от массового купечества остальной России своею культурностью и независимостью, перед которой, случалось, даже пасовала всесильная генерал-губернаторская власть.

Троицкосавск не был ссыльным городом. По приезде нашем мы нашли здесь из этой категории обывателей лишь Петрова с женой, бывшего со мной на Каре, одесского рабочего Горяинова, способного и предприимчивого человека, и административно-ссыльного из Петербурга зятя крупного кяхтинского чаеторговца Лушникова, Ив.Ив. Попова, впоследствии хранителя Иркутского музея и редактора „Восточного Обозрения“. Позднее маленькая колония ссыльных пополнилась еще высланным из Томской губернии Юферевым, способным, но несчастным человеком, страдавшим алкоголизмом, семьей Стахевич, приехавшей из Иркутска, и Торгашевым, перебравшимся из Верхнеудинска.

Ив. Ив. Попов, приехав раньше меня в Кяхту и будучи живым и общительным человеком, уже успел не только освоиться с новой обстановкой, но и перезнакомиться со всеми кяхтинцами и многими обитателями Троицкосавска. Скоро, близко сойдясь с ним, и мы круг знакомств расширили, а когда моя фотография, после ряда различных затруднений, начала, наконец, функционировать, то знакомства эти сами-собой еще значительно выросли. В работе, дававшей мне независимое положение и обеспечивавшей семью материально, мы прожили в Троицкосавске целых 9 лет, пока

я не получил возможности выехать в Россию. Как и в других городках Забайкалья, общественной жизни в Троицкосавске почти не было, хотя культурные силы и имелись в достаточном количестве. Пользуясь этим последним обстоятельством, мы совместными силами предприняли организацию общедоступной общественной библиотеки по типу харьковской, и скоро, благодаря общему сочувствию и пожертвованиям книгами и деньгами, библиотека была готова и открыта для пользования публики. Круг читателей с первых же дней был весьма значительный, не переставая возрастать в последующее время, как росла и сама библиотека. Вслед за тем было приступлено и к организации этнографического и естественно-исторического музея, под который Кяхта отвела особое и довольно поместительное каменное здание. За музеем последовало далее образование отделения Географического Общества. Работники нашлись и для этого последнего.

Кяхта всегда была трактом для путешественников, отправляющихся для научных исследований в Монголию и Китай. В числе таких путешественников, между прочим, приезжал Клеменц, наш бывш. товарищ по кружку чайковцев, теперь уже ученый этнограф и исследователь. Приезжал не раз и Г. Н. Потанин с своей женой, с которым я, с разрешения департамента полиции, совершил даже экскурсию в столицу Монголии — Ургу, откуда вывез богатую коллекцию антропологических снимков монголов. Приезжали к нам повидаться и ссыльные, как, например, Кроль и из Селенгинска Залкинды и Е. К. Брешковская, поселенная в этом, богом забытом, городке после своей вторичной каторги, полученной ею за неудачный побег из Баргузина. Профессия фотографа давала мне возможность поддерживать связь с политическими ссыльными путем поездок с фотографическими целями не только по западному Забайкалью, но и в Иркутск и на далекую Лену, по берегам которой, а также в самом Иркутске были водворены большие колонии ссыльных.

Приблизительно в 1888 г. Троицкосавск посетил генерал Русинов, объезжавший тогда сибирских политических ссыльных по специальному поручению Александра III. Посланник царя долго и убедительно уговаривал нас, каждого в отдельности, подать прошения о помиловании, обещая немедленно же, по телеграфу, получить и полное прощение наших прежних прегрешений. Один из троицкосавских ссыльных, а именно Горяинов, не устоял перед соблазном и подал требуемое прошение, а через несколько дней он действительно и получил все то, что ему было обещано. Но таких податливых, как этот последний, немного нашлось среди сибирских ссыльных, и жатва генерала Русинова была не велика.

Попав под три манифеста, я в 1895 г., т.-е. через 18 лет после приговора, получаю, наконец, возможность вернуться в Россию с мещанским паспортом, без отметок о судимости, с воспрещением въезда в столичные, университетские и некоторые другие города.

В августе 1895 г., совершив многотысячный обратный путь на лошадях, мы снова в Вятке, которую в последний раз я видел в 72 г. Сверх всякого ожидания Вятка, этот по преимуществу чиновничий город, встретила нас приветливо, а местный губернатор (Ф. Ф. Трепов) даже не оказал никакого препятствия моему поступлению на службу губернского земства, председатель управы которого, А. П. Батуев, подбирал тогда себе идейных работников для выполнения широких земских замыслов.

Россию я нашел уже не ту, какую оставил 20 слишком лет тому назад. Она, даже судя по Вятке, много выросла. Выросло вместе с ней и наше земство, успевшее развернуть за это время свою деятельность в разных областях, в особенности же в деле народного образования.

Вступив в среду земского третьего элемента и располагая по характеру своей службы в достаточной степени свободным временем, я быстро связался с идейными представителями его и вошел в земскую жизнь, а также и частнообщественную. С этих пор я делаюсь постоянным обитателем Вятки и остаюсь на земской службе в течение 12 лет, до начала 1907 г., когда я должен был оставить ее по требованию вятского губернатора кн. Горчакова, посланного усмирять вятскую революцию, а с ней и вятское земство.

Вятка и вся Вятская губерния того времени была местом усиленной политической ссылки, по преимуществу нового марксистского направления, и наш семейный дом вскоре превратился как бы в политический клуб, куда одинаково охотно собирались представители народнических и марксистских течений. Нередко на этих собраниях возникали и жаркие споры, не приводившие, разумеется, к соглашению, но не нарушавшие установившихся дружеских отношений. Пунктом нашего разъединения служил, конечно, крестьянский вопрос. Однако, скептическое отношение марксистов, составлявших едва-ли не большинство вятских ссыльных, к крестьянству не мешало им усердно работать в вятских крестьянских земствах на пользу вятского мужика, забывая в практике жизни свои теоретические построения. Многие из этих ссыльных на долгие годы оседали в губернии, занимая ответственные должности в земстве, многие из них впоследствии выдвинулись

на общественном поприще, как, например, Стучка, Громан, Гурвич (Дан), Потресов, Воровский, Вашков и многие другие.

С наплывом ссыльных жизнь оживилась еще больше. Возникли партийные организации, завязывались связи с рабочими и крестьянством. Так тянулось до половины 900-х годов, когда наши неудачи в войне с Японией взбудоражили общественное мнение и подняли настроение. Конституционный вопрос становился лозунгом дня. Вместе со всеми бурлила и Вятка, а вместе с нею и вятское земство. Атмосфера, в особенности после выступления петербургских рабочих 9 января 1905 г., накалялась.

Будучи по основным своим взглядам народником, но относясь отрицательно к современному террору, сделавшемуся уже массовым и в особенности же к экспроприациям, я и многие из близких мне вятичей не могли примкнуть к эсеровской организации. Поэтому мы образовали особую нелегальную организацию „Вятский Демократический Союз“, который потом слился с Народно-Социалистической партией, по образовании последней в 1906 г.

Революцию 1905 г. мне пришлось приветствовать в Москве, куда я приехал накануне 17 октября на съезд „Союза освобождения“. На другой же день вся Москва была уже на улицах, всюду радостные лица, а на Театральной площади с импровизированных трибун уже раздавались пламенные речи. Мечта молодости, казалось, осуществлялась и даже ранее, чем тогда предполагали. При виде проснувшихся народных масс, воодушевленных освободительной идеей, воодушевлявшей и нас, невольно чувствовались необычайная радость и удовлетворение от сознания, что бесчисленные жертвы, принесенные во имя ее, не пропали даром, а дали, хотя и через несколько десятков лет, ожидаемые плоды.

В течение почти месяца я был свидетелем событий, нередко величественных, как баумановские похороны, или трагических, омрачавших праздничное настроение, когда на сцену стала выступать черная сотня.

Но усердно посещая многочисленные митинги и разного рода большие и малые совещания, я немало огорчался тем, что у революционной публики и их вождей не только не было какого-нибудь объединяющего центра с единой направляющей программой действий, но все они вели ожесточенную междупартийную борьбу, как бы забывая о существовании общего врага, борьба с которым еще далеко не была закончена.

Но, как бы то ни было, факт народного пробуждения был налицо, и какая бы судьба в ближайшее время, думалось мне, не постигла первую русскую революцию, неизгладимые следы ее в народном сознании останутся и рано или поздно приведут к победе.

Вятка, как и вся Россия, по возвращении моем из Москвы, тоже кипела и была сильно возбуждена и нервно настроена, будучи еще полна впечатлениями от черносотенного погрома, имевшего место в мое отсутствие, 22 октября. Публика вооружалась для защиты от черносотенцев, а также и для охраны крестьянского съезда, имевшего собраться в декабре. В этом же месяце, по связи с Москвой, и здесь, в Вятке, имело место вооруженное выступление эсеровской молодежи и участников крестьянского съезда. С арестом повстанцев брожение, охватившее все слои населения, не прекращалось. Живое участие в различных общественных начинаниях пришлось принять и мне.

В конце 1905 г. были изданы „Временные правила о печати“. Группа сторонников открытой политической деятельности, в числе которых был и я, пользуясь открывшейся возможностью, предприняла издание в Вятке общественно-политического органа печати левого демократического направления с народническим уклоном, но беспартийного. Еще в бытность мою в Москве, я получил на издание от известного издателя А. П. Чарушникова, вятича по рождению, 2000 р. Кроме того, было собрано до десятка сторублевых взносов от сочувствующих изданию в самой Вятке. В декабре же этого года была выпущена ежедневная газета „Вятская Жизнь“. Через семь месяцев, по приговору суда, за напечатание „Выборгского воззвания“ она уже была закрыта. Моя жена, как издательница, хотя и серьезно больная, была выслана губернатором, кн. Горчаковым, за пределы губернии. Этой высылкой было положено начало массовым высылкам, опустошившим губернию, совершенно дезорганизовавшим наши земства и многие частнообщественные организации, из которых наиболее живые и подозрительные, как многолюдные учительские объединения, были совсем закрыты. Окрепшая „историческая власть“, как и повсеместно в России, мстила за революцию и в Вятке и была беспощадна.

В этих-то тяжелых условиях приходилось продолжать издание, уже под другими названиями, и в течение почти 12 лет претерпевать непрерывные преследования самого разнообразного характера, имевшие целью добить газету, которая не хотела умирать и продолжала борьбу с административным произволом. Облеченная особыми полномочиями власть ничем не стеснялась: преследования судебные, неоднократное закрытие типографии, высылки сотрудников и бесконечные аресты и штрафы, налагаемые на редакторов, в одиночку и пачками, как это

имело место при губернаторе Камышанском, арестовавшем сразу восемь редакторов, из которых только один был ответственный, а остальные запасные. При отсутствии средств у газеты и при постоянных дефицитах по изданию штрафы эти обычно отбывались натурою, благодаря чему некоторые из редакторов почти не выходили из заключения. И только в самые последние годы местная администрация, как бы примирившись с неизбежным злом, стала прибегать к репрессиям реже.

Хотя я с самого начала издания и до конца его (в декабре 1917 г.) нес ответственные обязанности как по общему руководству газетой, так и по материальному ее благополучию, что, разумеется, было не безызвестно местной администрации, последняя почему-то не принимала против меня репрессивных мер, ограничиваясь лишь угрозой высылки, которая так и не приводилась в исполнение. Теперь, оглядываясь на это издательское прошлое, невольно недоумеваешь и сам, как можно было вынести эту сплошную административную вакханалию, длившуюся более десятка лет, при хроническом недостатке средств, которые нужно было где-то добывать. И выдержать эту длительную борьбу, без сомнения, было бы невозможно без преданности делу ближайших сотрудников и общественного сочувствия, помогавшего добывать и нужные средства и всегда иметь кадры редакторов, готовых на высидку.

В этот же период, именно с конца 1905 г. и до половины 1908 г., мне пришлось нести и другие ответственные обязанности. В 1905 г. губернию постиг неурожай, а затем и голод. Общеземская организация, членом которой состояло и Вятское губ. земство, предложила мне быть ее уполномоченным по оказанию помощи вятскому населению. Я не счел для себя возможным отказаться от избрания. Почти одновременно такие же обязанности возложены были на меня и Вольно-Экономическим обществом. Длительная продовольственная кампания, для которой я располагал суммой до 235.000 р., требовавшая разъездов по губернии и организации комитетов на местах, была мною благополучно закончена, и ответственные обязанности губ. уполномоченного были, наконец, в половине 1908 г. с меня сняты.

Здесь же, в Вятке, пришлось пережить и новые тяжелые личные утраты.

В августе 1903 г., участвуя в геологической экспедиции Голубятникова, погиб на Кавказе, в Бакинской степи, наш старший сын Леонид, студент Горного института, а в январе 1909 г. умерла возвратившаяся в Вятку из своей последней ссылки моя жена Анна Дмитриевна, неизменный спутник мой на жизненном пути. Вскоре после смерти моей жены скончалась и моя мать.

Когда разразилась февральская революция, то в Вятке, как и всюду, возникли самочинные революционные организации, в которых мне пришлось принимать живое участие, особенно же в исполнительном комитете. В целях организации крестьянства, по моей инициативе был создан губернский организационный беспартийный комитет Крестьянского союза. Вскоре подобные комитеты возникли и на местах. Под моим председательством деятельность комитета продолжалась до июня 17-го года, когда созванный крестьянский губернский съезд преобразовал союз в Совет Крестьянских Депутатов. Выбранный общим собранием в члены исполнительного комитета Совета, я в августе того же года вместе с с.-д. и н.-с вышел из него, принявшего чисто партийную с.-р. окраску и тактику, с которой в некоторых отношениях мы не могли примириться.

В октябре 1917 г. впервые собирается обновленное земское собрание. В это время столица переживала смутное время, а вскоре началась и открытая борьба за власть советов. Деловая связь губернии с центром прервалась, вследствие чего губернское собрание вынуждено было взять на себя верховные функции и временно, до установления твердой власти в столице, объявить Вятскую губернию самостоятельной республикой, выбрав исполнительный орган, Совет верховного управления губернией из 18-ти лиц, в числе которых был и я.

В декабре губернское собрание собирается снова. Упразднив первый большой Совет верховного управления, оно выбрало новый, всего в составе 3-х человек от земства: Трейтера, Басова и меня, к которым должны были затем присоединиться по одному представителю от Вятской городской думы и партийных организаций.

Я сознавал безнадежное положение нового Совета и долго отказывался от чести избрания, но в конце концов уступил настойчивым просьбам собрания. Мои предвидения вскоре оправдались, и новому Совету фактически не пришлось даже и приступить к исполнению своих обязанностей.

С 1918 г., уже в виду моего возраста и сильно подорванного здоровья, расстроенного всей моей предыдущей нервной жизнью, я совершенно устранился от политической деятельности.

Тем не менее в годы гражданской войны я все же несколько раз подвергался арестам, но без предъявлений каких-либо обвинений. В последний раз, в 1919 г., был освобожден лично комендантом Вятского укрепленного района Блюхером, который в пасхальную ночь вместе со своею свитою приехал в Ч. К., где я содержался,

чтобы объявить мне, что я свободен и что больше ничего подобного со мною уже не случится.

Уйдя от политики, я не устранился совсем от культурной работы, в которой в последние годы принимал посильное участие. Так, в 1919 г., выбранный общим собранием членов Вятского Экономического об-ва потребителей, я состоял некоторое время членом правления этого общества. Выбранный затем осенью того же года в члены президиума совета кооперативных съездов, я перешел туда, где вскоре занял место председателя президиума, в каковой должности пробыл до ликвидации совета весной 1920 г. Делигированный этим последним в совет библиотеки имени Герцена, одной из старейших библиотек в России, перестраивавшейся в это время в научную библиотеку, я принял участие в работах этого совета, а с конца 1921 г. вошел в состав постоянных работников библиотеки. Здесь я первоначально заведывал отделом обществоведения, а с 1923 г. принял заведывание местным отделом, которым заведую и по настоящее время. С ноября 1922 г. состою членом „Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев".

Чернавский, Михаил Михайлович.*)

Родился 11 июля 1855 г. в семье сельского дьякона в Смоленской губ. Когда мне минуло 10 лет, отца перевели в Смоленск и сделали протодьяконом. Воспитывали меня в семье и школе в духе православно-самодержавных устоев старого режима. Я был мальчиком весьма религиозным и благонамеренным патриотом. Когда в Петербурге раздался выстрел Каракозова, мне было около 11 лет. Хорошо помню, каким негодованием горело мое маленькое сердце против Каракозова и как восторженно я любил тогда „спасителя" Комисарова. Если бы в то время мне сказали, что я со временем сам буду злоумышлять против венценосного монарха, я был бы глубоко возмущен такой отвратительной клеветой. Начальное и среднее образование получил в смоленском духовном училище и духовной семинарии. Прелести „Бурсы" в стиле Помяловского меня миновали, так как я жил у родителей и посещал школу только для классных занятий. Кроме того, к моменту моего поступления начались в духовных учебных заведениях преобразования: изгонялись розги, слишком заскорузлые учителя заменялись молодыми и т. д. Но тем не менее все же это была духовная школа конца 60-х и начала 70-х годов. В ней еще всецело царила затхлая, почти средневековая схоластика. Вводимые робкие „реформы" только еще начинали ее выветривать. Учеба давалась мне легко, без усилий. Я шел всегда одним из первых учеников. Но странное дело, накопление школьных знаний совсем не возбуждало мысли к самостоятельной работе, оставляло ее в дремотном состоянии. Можно сказать, что почти до 18-летнего возраста мой ум безмятежно спал. Я успешно проходил немудреные семинарские науки, зубрил греческие и латинские вокабулы, немножко увлекался математикой, взасос читал романы Майн-Рида, Густава Эмара, Жюль Верна, исправно говел в великом посту, говел не формально, а с подъемом, трепетно, очень любил некоторые церковные службы. Разбудил меня Д. И. Писарев. Не помню как, но мне попала в руки его статья по поводу романа Тургенева „Отцы и дети". Роман этот я раньше читал, не понял и стал уже забывать. Теперь я вновь его перечитал, вторично прочел статью и вплотную засел за сочинения Писарева. Быстро проглотил все томы. Майн-Рид и компания забыты, вытеснены Писаревым, Добролюбовым, Чернышевским и т. д. Пресвятая троица, занимавшая в моем миросозерцании весьма почетное место, рассеялась, как дым. Рассеялся также схоластический туман духовной семинарии. Разбужена бурная жажда положительных знаний, появилась неудержимая тяга к естествознанию. Весной 1874 г. познакомился я с одним пропагандистом, бывшим студентом. В целях пропаганды он променял университет на место учителя в сельской школе. В моих руках впервые появились революционные издания того времени: журнал „Вперед", „Государственность и анархия" Бакунина, „Хитрая механика", „Сказка о четырех братьях" и т. д. Проснулось и стало тревожить сознание долга по отношению к народу. Передо мной стало вырисовываться неизбежное вступление на революционный путь, неизбежный разрыв с старою жизнью, с старыми связями и интересами.

Осенью 1875 г. я приехал в Петербург и поступил вольнослушателем в Медико-хирургическую академию. Здесь передо мной прежде всего встала дилемма: наука или революция. Во мне чувствовалась сильная тяга к той и другой. Первые два—три месяца брала верх, как будто, первая. После семинарской схоластики лекции академических профессоров производили неотразимое впечатление. Жажда знаний была так велика, что я не довольствовался академическими лекциями, нередко ходил в другие высшие учебные заведения слушать наиболее популярных профессоров. В то время доступ на лекции посторонних студентов был возможен. Но увлечение наукой было непродолжительно. Меня окружала бурливая среда еще неустановившейся, но

*) Автобиография написана в декабре 1925 г. в Москве.

глубоко захваченной революционными идеями того времени, молодежи. Я невольно поддавался влиянию этой среды. Тяга к революции усиливалась за счет ослабления тяги к науке. Скоро вышеприведенная дилемма была вытеснена вопросом: нужна ли наука (т.-е. прохождение курса какого-нибудь высшего учебного заведения), как подготовительная стадия к предстоящей революционной деятельности? По этому вопросу шли ожесточенные споры. Казалось, и та и другая сторона приводят одинаково солидные доводы. Теоретически я не знал еще, как решить этот вопрос. Но практически, в своих действиях, я уже склонялся к отрицательному его решению. Мало-по-малу лекции отодвинулись на задний план. Выдвинулся еще не потерявший своего обаяния лозунг „в народ!“. Кажется в январе 1876 г., я поселился в квартире сапожника и стал учиться у него сапожному ремеслу.

Необходимо здесь подчеркнуть, что умственный багаж, с которым я прибыл в Питер, был весьма легковесен. Хороших книжек было прочитано очень много, но все это проглочено наскоро, не усвоено, не переварено, не сложилось еще в определенные формы, в устойчивые убеждения. Поэтому, очутившись среди многочисленных революционных течений того времени: пропагандистов, бунтарей, сторонников Бакунина, Лаврова, Ткачева и т. д.,—я совершенно терялся, не умел решить, кто из них стоит на настоящей дороге. Усердное хождение по сходкам, кружковым собраниям и т. д. не приносило мне никакой пользы. Все выслушиваемые дебаты на политические темы как-то скользили и быстро забывались, не оставляя по себе глубокого впечатления. К весне 76-го г. во мне созрело решение провести лето где-нибудь в деревне—в расчете, что непосредственное знакомство с народом выведет меня из затруднений, поможет остановиться на каком-нибудь определенном плане. Около этого времени небольшая группа лиц, связанных с кружками, из которых немного позднее сложилась „Земля и Воля“, арендовала на Кубани участок земли, с целью поехать туда на лето, поучиться земледельческим работам и, вместе с тем, попытаться вести пропаганду среди хуторян, недавно переселившихся на Кубань из Малороссии. Мне предложили войти в эту группу, и я согласился.

Перед отправлением на Кубань мне пришлось участвовать в демонстративных похоронах студ. Чернышева. Чернышев, пропагандист, долго просидевший в тюрьме, незадолго до смерти был переведен в больницу при Медицинской академии. В похоронах участвовали почти исключительно студенты высш. учеб. зав. Всего собралось до трех тысяч. Сначала во главе процессии шел священник, но после того, как процессия остановилась на Шпалерной перед „предварилкой“, и его заставили отслужить здесь краткую панихиду, он незаметно сбежал, и процессия продолжала свой путь без священника. Шли намеренно по наиболее многолюдным улицам. Полиция, не вмешиваясь, сопровождала. Порядок не нарушался. На кладбище была произнесена речь, в которой указывалось, как и за что погиб покойный. Полиция на кладбище не показывалась. Если не ошибаюсь, ни здесь, ни при расхождении по домам никто арестован не был. В газетах о демонстрации не упоминали, но толков по ее поводу в столице и даже в провинции было много.

На Кубани я прожил все лето до конца августа. Обхожу молчанием успехи и неудачи группы в течение лета. Для меня лично поездка на Кубань окончилась неудачей. Мои надежды, что непосредственное знакомство с народом поможет мне разобраться в рыхлом ворохе новых мыслей и идеалов, нахватанных из прочитанных книг,— совсем не оправдались. Живая жизнь в лице соседей-хуторян окатила мой ворох новых идей холодом снисходительно-скептического равнодушия. Мне было бы, вероятно, легче перенести прямо враждебное к ним отношение.

В Петербург я вернулся в состоянии глубокой растерянности, с горьким сознанием, что в данный момент я еще не гожусь для пропаганды в народе. Должен сказать, что мое разочарование ни в малейшей степени не коснулось ни новых идей, ни моей веры в народ, оно относилось исключительно к моей крайней неподготовленности. Я понимал, что принять новые идеи с чужого голоса недостаточно, нужно их каким-то образом претворить в свои собственные идеи. В эту зиму я забросил сапожное шило и колодку, забыл о лекциях и принялся за систематическое чтение по определенному плану. С начала сентября до дня ареста я целые дни проводил в публичной библиотеке и только изредка бывал на собраниях и сходках. Мало-по-малу мне стало казаться, что мой ворох новых идей начинает постепенно терять характер рогозливости, рыхлости, между идеями устанавливалась логическая и конструктивная связь, они укладывились в определенном порядке, ворох уплотнялся и упорядочивался. Я стал входить во вкус этой внутренней работы.

За несколько дней до 6-го декабря я узнал, что затевается политическая демонстрация возле Казанского собора с красным знаменем, с вышитым на нем девизом „Земля и Воля“. Решил принять в ней участие, а оттуда пройти в библиотеку (по праздникам была открыта от 12 до 4 часов). Захватил с собой тетрадь, в которую делал выписки из прочитанных книг, рассчитывая, что побываю на демонстрации, не упущу и

библиотеку. Но вместо библиотеки попал в участок, где был жестоко избит, а оттуда в „предварилку". Я не был в числе инициаторов демонстрации и не был с ними организационно связан. М. А. Натансона и Г. В. Плеханова встречал несколько раз на небольших кружковых сходках, они заметно выдвигались среди тогдашней петербургской молодежи. Кто еще принимал участие в организации демонстрации, не знаю. Сказать правду, термин „организация демонстрации" в данном случае слишком громкое выражение. Слишком примитивны были приемы ее устройства. Участников собралось немного. На мой взгляд 150—200 человек. Большинство—студенты, рабочих было очень мало. Незначительное количество демонстрантов объясняется тем, что недели за две до 6-го декабря по городу были распущены слухи, что предполагается демонстрация у Исакиевского собора. В назначенное воскресенье к собору собралось довольно много публики, главным образом учащейся молодежи. Долго толклись на площади и среди колоннад собора в ожидании выступления, никто не выступил, так все и разошлись. Повидимому, 6-го декабря многие не поверили слухам о готовящейся демонстрации, думали, что и на этот раз ничего не будет. По числу участников демонстрация вышла далеко не внушительной даже для того времени. Но правительство своими репрессиями сильно подчеркнуло и, можно сказать, утроило ее значение. Судебный процесс в январе 1877 г. общеизвестен. Он печатался в газетах и в отдельном издании. Меня приговорили в каторжные работы на 15 лет.

Т. обр., мое изъятие из обращения произошло, что называется, на самом интересном месте—в то время, когда во мне происходил и еще далеко не закончился процесс моего самоопределения. Царское правительство вмешалось в этот процесс и определило меня в разряд „тяжких государственных преступников". В июле 1877 г. в „предварилке" произошла так-наз. треповская история. Боголюбов, осужденный за демонстрацию на 15 лет каторги, был подвергнут, по распоряжению Трепова, телесному наказанию. Разумеется, все заключенные по этому поводу „бунтовали". Многие были жестоко избиты. После этой истории все осужденные были разосланы по местам, куда их приговорил суд. В августе 1877 г. я был водворен в правую одиночку Ново-Белгородской центральной каторжной тюрьмы в Харьковской губ. Режим этой тюрьмы известен. Из всех политкаторжан, содержавшихся в харьковских централках с 75-го до 80-го года, погибло до 30% (сошли с ума или умерли). Мои два сопроцессника — Боголюбов и Бочаров—сошли с ума. Появились и у меня признаки начинавшегося помешательства.

В то время, когда представители революционного движения первой половины 70-х г., попавшие в лапы царского правительства, один за другим погибали в тюрьмах, на воле возникла партия „Народной Воли". Под ударами этой партии правительство лишилось своей обычной самоуверенности. Для борьбы с крамолой в 1880 г. была учреждена „верховная комиссия" под председ. Лорис-Меликова. Последний решил испробовать „меры кротости". Наступила так н. „диктатура сердца". Меры кротости коснулись также и заключенных в харьковских централках. Последовало распоряжение о немедленном переводе их в мценскую пересыльную тюрьму и содержании всех на больничном положении. С половины октября 80-го г. до мая 81 г. мы прожили в мценской тюрьме в очень льготных условиях, а потом нас отправили на Кару. В централке процесс самоопределения, происходивший во мне перед арестом, скоро сменился процессом в обратном направлении,—процессом ликвидации, разложения моей личности. В момент отправки в Мценск я был близок к полному, непоправимому помешательству. Мценск меня спас, я оправился. И здес снова начался так несвоевременно прерванный процесс самоопределения. Он протекал в ненормальных, тесных условиях тюремной жизни. Особенно сильно чувствовалось отсутствие под руками большой библиотеки. Зато здесь было общение с товарищами, политически уже вполне определившимися. Среди них было много выдающихся революционеров. Влияние окружающей товарищеской среды было велико, но еще больше было влияние событий на воле. Смею утверждать, что в это время „Народная Воля" участвовала в закладке основных камней моего социально-политического миросозерцания, остающегося до сегодня в главных своих чертах без изменения. Прежние наивные представления о революции рассеялись. Наступление социального мира, идеального общественного строя—отодвинулось в весьма далекое будущее. Было осознано значение нормальных политических условий для переустройства общества на социалистических началах. Самодержавие выдвинулось на первый план, как главное и ближайшее препятствие к развертыванию борьбы за освобождение трудящихся масс от гнета капитала. Было признано, что при известных политических условиях позволительно прибегать к террористическим приемам борьбы. В мценской тюрьме было пережито нами 1-е марта и осмыслено, как в цепи тогдашних событий неизбежный и даже обязательный для партии акт. В сущности все элементы миросозерцания, сложившегося у меня в Мценске и по дороге

на Кару, были налицо уже перед поездкой на Кубань, но в то время они представляли беспорядочную, хаотическую смесь, а теперь дифференцировались и органически между собой связались. Должен еще прибавить, что до Кубани мой рыхлый ворох новых идей был покрыт густым анархическим налетом, а к приезду на Кару этот налет почти совершенно слинял.

На Кару наша партия прибыла во второй половине февраля 1882 г., т.-е. через год и четыре месяца после выхода из централки. Весной произошел побег 8 политических каторжан. Последовали сильнейшие репрессии. Мне пришлось участвовать в 12-дневной голодовке. Этой голодовкой мы добились лишь незначительного смягчения введенного после побега сурового режима. После этого наступил сравнительно спокойный период в жизни на Каре, продолжавшийся до моего ухода на поселение. Ко мне был применен коронационный манифест Александра III. Вопрос о применении манифеста решала особая комиссия при министерстве внутр. дел. В ее глазах демонстрация 6-го декабря после народовольческих выступлений настолько побледнела, что ко мне и моему сопроцесснику—А. Н. Бибергалю, применили манифест и, кроме того, на поселение не послали в Якутку, а оставили в Забайкальи.

В начале сентября 1884 г. я был выпущен из читинской тюрьмы на волю в чине ссыльно-поселенца. Меня приписали к Верх-Читинской волости в 25 верстах от Читы с обязательством жить в городе. Ко времени моего освобождения здесь собралась порядочная колония политических ссыльно-поселенцев. Четверо из них (И. О. Союзов, Л. Э. Шишко, С. П. Богданов и И. В. Турович) устроили столярную мастерскую. Она функционировала уже около 2-х лет и под именем „социалистической" была известна в городе, как лучшая мастерская. Мне и освобожденному вместе со мной П. П. Валуеву было предложено присоединиться к мастерской. Валуев был заправский, очень хороший маляр, а я импровизированный столяр. Мастерству я немножко научился в централке, Мценске и на Каре. К сожалению, я проработал здесь .очень недолго, кажется, два—три месяца. Мастерская в это время существовала не на артельных, а на чисто коммунистических началах, хотя слово „коммуна", помнится, мы никогда не употребляли. Общий стол, общее жилище. Заработки поступали в общую кассу, расходовались на личные надобности (платье, табак и т. п.) с общего согласия, соответственно состоянию кассы и потребностям каждого, без мелочных счетов, сколько на кого вышло денег. Довольно скоро после вступления я должен был констатировать, что работник я плохой. Беда моя была не столько в качестве, сколько в скорости работы. Я был слишком медлителен. Не мог не видеть, что вырабатываю заметно меньше, чем все товарищи. Вначале утешал себя мыслью, что продуктивность скоро придет. Старался, налегал. Поту проливал много, а результатов получалось мало. Если бы у нас была артель, заработки делились соответственно выработке каждого, можно было бы долго ждать, когда я дойду до средней продуктивности в работе. Но тут была коммуна, с трудом сводившая концы с концами. Ясно, что моя отсталость ложилась тяжелым бременем на бюджет мастерской. Товарищи делали вид, что не замечают моих слабых успехов, тем ярче они выступали в моих глазах. Убедившись, что продуктивность моей работы заметного роста не обнаруживает, я решил уйти из мастерской, искать себе более подходящего заработка. Это решение было принято с болью в сердце. Вынужденный отказ от ремесленного труда подрезывал одно из моих мечтаний. Дело в том, что на поселение я вышел с миросозерцанием народника-семидесятника плюс внесенные к нему „Народной Волей" поправки. Во мне сохранилось еще былое стремление „слиться с народом". Это слияние входило, как составная часть, в мои думы о будущем побеге. И вот с первых же шагов на воле я оказываюсь несостоятельным по отношению к физическому труду. Думы стали понемногу бледнеть. Впрочем, постепенное ослабление мечтаний обусловливалось не одною вышеуказанною несостоятельностью; были и другие влияния, действовавшие в том же направлении. Наступал глухой, тяжелый период в политической жизни страны. „Народная Воля" разбита. Расцветала реакция не только правительственная, но и общественная: все живые силы, до самых умеренных включительно, притихли. Народ „безмолвствовал". Короткая бурная схватка „Народной Воли" с правительством его не разбудила. Местами ходили толки, что царя убили помещики за освобождение крестьян. Скоро ко всему прибавилось еще известие о ренегатстве Льва Тихомирова. В общем настроение ссыльных нельзя было назвать приподнятым.

Выйдя из мастерской, я стал бегать по урокам. В начале 1886 г. переселился в Нерчинск и там существовал уроками, кажется до 1890 г. В конце концов полиция, долго смотревшая сквозь пальцы, мои уроки ликвидировала, так как по инструкции ссыльным занятие уроками запрещалось. Тогда я стал фотографом-профессионалом и до возвращения в Европейскую Россию существовал фотографией. В Нерчинске я стал понемногу втягиваться в культурную работу. Здесь давно уже жил А. К. Кузнецов, сосланный по нечаевскому делу, человек необычайной энергии, обладавший поразительным талан-

том расшевеливать окружающую инертную, обывательскую среду и заставлять ее помогать ему в культурной работе, в которую сам он ушел всей душой, всеми помыслами. К моему приезду его стараниями было положено начало нерчинскому музею, основана библиотека, учреждены „Кружок любителей музыки и литературы“ и „Общество попечения о начальном образовании“. Я взял на себя работу в библиотеке, около 14 лет состоял бессменным и бесплатным библиотекарем. Когда Кузнецов переселился в Читу, я, продолжая исполнять обязанности библиотекаря, довольно много работал в „кружке любителей музыки и литературы“. Больше всего меня удовлетворяла работа в библиотеке. Но я не посмею сказать, чтобы вся моя культурная работа увлекала меня с головой. Кажется, где-то у Горького есть тип, который говорил о себе: „Меня тянет во все четыре стороны“. В нерчинский период моей жизни я немножко напоминал этот тип. Меня тянуло в разные стороны. Занимаясь своей работой в Сибири, я жадно тянулся мыслью на запад,—в Россию, в Европу, ловил все вести оттуда, набрасывался на газеты. Моя жадность к газетам часто вызывала со стороны окружающих шутки и остроты. Я сидел на месте нетвердо.

В последние годы прошлого столетия с запада стали доходить хорошие вести: оттуда повеяло свежим воздухом. Осенью 1900 г. я ликвидировал свою фотографию и уехал в Россию. Меня манил туда не один свежий воздух, но и личные дела. Прошло 24 года с тех пор, как меня изъяли из обращения. Долго я только присматривался к окружающей среде. Как-то не по себе было мне—семидесятнику—среди нового поколения, среди девятисотников; я чувствовал, как мало подходит моя старомодная, медлительная, растяпистая фигура к бурлящей молодежи. Сколько перемен и какие перемены! Какая ширь, какое многолюдие! Я присутствую на демонстрации у того же Казанского собора. Она грандиозна в сравнении с нашей. Две партии борются. Мои симпатии на стороне с.-р‘ов. Но я держусь в стороне, оказываю изредка мелкие услуги, какие делают сочувствующие добровольцы. Еще не решил, как мне отвечать, когда спросят, состою ли я в партии. И вот события решили этот вопрос. Длинные щупальцы обер-провокатора Азефа, о существовании которого я в то время совсем не знал, нащупали меня и посадили в тюрьму. Это произошло в конце января 1904 г. Нащупывал-то он собственно не меня. В Питере тогда работала очень энергичная и талантливая эсерка С. Г. Клитчоглу — член Пет. ком. Так как в партии в порядке дня стоял вопрос об устранении Плеве, то мысль Клитчоглу работала в этом направлении. Кажется, она собирала сведения, наводила справки и т. д. В то же время Азеф с Савинковым устраивали конспиративную квартиру и организовывали боевую группу. Повидимому, Азеф, считая, что параллельное существование двух предприятий, направленных к одной цели, может повести к плачевным результатам, решил одно из этих предприятий ликвидировать. Т. обр., он сразу убивал двух зайцев: повышал свои фонды в охранке и расчищал путь для другого предприятия. С Клитчоглу я познакомился осенью 1903 г., в ее делах участия не принимал, оказывал лишь мелкие услуги, в роде явки и т. п. Арестовано было человек 20—30, в том числе и я. На допросе предъявлялось обвинение в подготовке покушения на Плеве. Пока велось следствие, Сазонов 15 июля убивает Плеве. Вступает новый министр внутр. дел и начинается так наз. „весна“. Арестованных одного за другим освобождают. Я вышел на свободу, кажется, в начале октября. Что посадил нас действительно Азеф, засвидетельствовано с трибуны Государственной Думы самим Столыпиным. Отвечая на запрос об участии провокаторов в государственных преступлениях, он в доказательство того, что Азеф был честный осведомитель, прочел список оказанных им услуг, в числе их было „освещение“ террористической группы Серафимы Клитчоглу. Через несколько месяцев, 10-го января 1905 г., меня снова арестовали. Сначала я думал, что меня накануне заметили шпики среди рабочих на Невском или на Дворцовой площади. В действительности оказалось, что в данном случае шпионаж и провокация неповинны. У Пешехонова, арестованного несколько раньше меня, нашли мое письмо, поэтому взяли и меня. Но когда выяснилось, что письмо чисто делового характера (о работе для меня), меня освободили. Просидел, кажется, недели две.

В марте или апреле 1905 г. меня вызвали в Женеву. На основании каких-то неверных сведений рассчитывали, что я могу быть полезным, как литературный работник. Когда выяснилось, что это недоразумение, меня оставили для исполнения разных поручений по делам редакции и типографии. Летом здесь я впервые встретился с Азефом. Однажды я зашел к Михаилу Рафаиловичу Гоцу по типографскому делу. У него я застал 2 или 3 эмигрантов-эсеров и какого-то незнакомца, тщательно одетого. Мне сказали, что это и есть „Иван Николаевич“ (кличка Азефа). Передо мною был высокий, широкий, толстый, цветущего здоровья человек. На широких, несколько сутуловатых плечах и короткой шее сидит большая круглая голова. В ней прежде всего бросается в глаза массивная нижняя челюсть, очень широкая в задней своей части, вследствие чего лицо внизу шире, чем вверху. Из-под негустых черных бровей спокойно и твердо смотрят

темно-карие, выпуклые, лоснящиеся глаза. Выражение неподвижного лица—деревянное равнодушие. Общее впечатление от всей фигуры такое: обширная утроба, к услугам которой крепкие руки и ноги, могучая челюсть и очень смекалистые глаза. Я видел ясно непривлекательную наружность этого человека, но я не мог, н е с м е л умозаключать от этой наружности к его внутреннему содержанию. Этому мешало то, что я знал о его деятельности: он руководил ударами Сазонова и Каляева. Их тени не могли не вуалировать в моих глазах его внешних дефектов. Между присутствующими шел спор о каких-то делах. Азеф почти не принимал в нем участия: он с ленивым равнодушием слушал и только изредка вставлял свои короткие замечания. И я видел, с каким вниманием относились все к этим замечаниям и,—что особенно было важно в моих глазах—с каким уважением и даже нежностью обращался к нему Гоц. Если бы по выходе от Гоца кто-нибудь спросил, какое впечатление произвел на меня Иван Николаевич, я, по всей вероятности, ответил бы: „Под неприглядною наружностью в этом человеке скрывается, должно быть, спокойная, сдержанная, сосредоточенная в себе силища, которая много уже сделала и еще больше должна сделать в будущем".

К концу года я вернулся в Россию. Работал при одном книжном складе, откуда рассылалась эсеровская литература. Кроме того, весной 1906 г. мне было поручено сноситься с маленькой подпольной типографией, которую Ц. К. держал на случай, если бы понадобилось экстренно и конспиративно напечатать и быстро разослать провинциальным организациям его директивы. Летом, в дни кронштадтского восстания, меня арестовали и забрали пачку директив, только что полученную из подпольной типографии. Вероятно, на этот раз сработала не одна центральная провокация. Впоследствии мне пришлось слышать, что в книжном складе по части провокации было не совсем благополучно. Просидел до половины февраля 1907 г. По освобождении в тот же день уехал в Финляндию и перешел на нелегальное положение. Месяца через два заявил в Ц. К. о желании вступить в боевую организацию. Кажется в июне, мне предложили поехать в динамитную мастерскую поучиться. В финляндских шхерах на маленьком скалистом островке живет финская семья. У нее два дома, в одном она сама живет, а другой, находившийся в полуверсте, нанят под мастерскую. Здесь я застал руководителя школы—приват-доцента химии и трех его учеников—двух молодых людей и молодую девицу. Мастерская находится в ведении Ивана Николаевича, ему посылаются ежемесячные отчеты. Работаем с утра до вечера летнего дня с перерывами только для еды (столуемся у финнов в другом доме). Чтобы уметь обращаться с взрывчатыми веществами, нам нужно было усвоить те химические реакции, которые происходят как при взрывах, так и при образовании названных веществ. Каждый должен несколько раз проделать все операции по выработке нитроглицерина, гремучего студня, динамита, гремучей ртути и т. д. Точно так же каждый из нас должен был несколько раз проделать все операции по изготовлению снарядов, по заряжению их и т. д. Я пробыл здесь месяца полтора—два. Мастерская благополучно просуществовала с начала весны до осени, пропустила несколько смен учеников и благополучно закрылась. По возвращении из мастерской я был отправлен в качестве инструктора и техника на Урал. В первые месяцы здесь как будто открывались хорошие перспективы для работы. Существовал союз рабочих, разбросанный по всему Уралу, хорошо организованный. Так говорили. Один старый революционер *) носился с мыслью весной поднять восстание, начать партизанскую войну с правительством. Через одного из вожаков союза мне было предложено устроить динамитную мастерскую. Так как здесь все взрывчатые вещества и материалы можно было легко доставать, то лабораторных принадлежностей и работ не нужно было. Требовалось научить рабочих изготовлять снаряды из готового материала. Я высмотрел удобное для указанной цели место, нанял дом. Оставалось закупить материалы. Но пока я возился с приготовлениями, в союзе начались аресты, руководимые видимо опытной и знающей рукой. Они быстро привели к разложению союза. Организация, недавно казавшаяся такой сильной, растаяла. Человек который вел со мной переговоры, тоже был арестован. Мысль о школе пришлось оставить.

В январе 1908 г. мне сообщили, что „Иван Николаевич" вызывает меня в Петербург. На свидании он заявил, что имеется план цареубийства. Для его выполнения нужно в районе царской охоты возле Ропши открыть в деревне чайную союза русского народа. Эта чайная должна служить базой для террористов. На основании имеющихся у него сведений он уверял, что такой путь может привести к успеху. Мне предназначается роль хозяина чайной, причем, по его мнению, обязательно нужно найти старую женщину, которая согласилась бы играть роль моей жены. Послали приглашение одной моей знакомой на Урал, а пока я должен был съездить в деревню Большой Кипень, присмотреть квартиру для чайной и, если понадобится, обеспечить ее за собой задатком. Приехавшая с Урала женщина отказалась. Конфиденциально она

*) Чайковский. *В. Фигнер.*

мне объяснила, что не доверяет Азефу, что в партии есть люди, которые тоже не доверяют ему. До сих пор я ничего подобного ни от кого не слышал, ничего не знал о тех обвинениях, которые уже несколько раз выдвигались против него. Поэтому не придал большого значения этому недоверию. Получив этот отказ, Азеф посылал Карповича (бежавшего из Сибири и вступившего в организацию) в Забайкалье звать другую старую революционерку. Получился и здесь отказ. Тогда он решил „подождать", а пока что поручил мне озаботиться приобретением динамита и держать достаточный запас его где-нибудь недалеко от Петербурга.

Довольно скоро после того, как это его поручение было исполнено, Азеф уехал за границу, не оставив находившимся в Петербурге членам боевой организации никаких инструкций. К концу лета по городу среди партийных кругов стали ходить смутные слухи о том, что против Азефа возникают серьезные подозрения. Заговорил об этих слухах с Карповичем. Он был взбешен ими, ругал Бурцева, уверял, что последний хочет погубить партию, потому и ведет против Азефа кампанию. Время шло, а слухи ползли все настойчивее.

Кажется (точно не помню), глуб. осенью, у меня было свидание с уезжавшим за границу членом Ц. К., и он мне определенно сказал: больше никаких сомнений, Азеф провокатор. Итак, я около года состоял в распоряжении провокатора. Эта мысль преследовала меня всюду и днем и ночью. Я испытывал чувство глубочайшего унижения. Надо все-таки уезжать. Но как быть с динамитом? Начинаю припоминать, спрашивал ли Азеф, где и у кого лежит динамит. Если спрашивал, то я, конечно, сказал ему все. Не могу припомнить. Надо, значит, ликвидировать. Пока я возился с этим делом, в партийных кругах появилось официальное объявление Азефа провокатором.

Я уехал за границу. Как только я оказался вне опасности, чувство унижения обострилось в сильнейшей степени, и опять днем и ночью преследует неотвязная мысль: „Я состоял в распоряжении провокатора".

В Париже узнаю, что Савинков, по поручению Ц. К., набирает боевую группу с целью совершить крупный террористический акт и тем реабилитировать боевую организацию. Пошел к нему и поставил свою кандидатуру. Меня приняли. Это было уже летом 1909 г. Мне казалось, что, вступив в группу Савинкова, я избавлюсь от кошмарных мыслей. Случилось как раз наоборот, я попал в новые еще более тяжкие кошмары. Буду краток, отмечу только главные этапы событий. К концу года шестеро (в том числе и я) из группы сделались петербургскими извозчиками. Первоначальное задание для них было: не производя никаких систематических наблюдений, втянуться в извозчичью жизнь и акклиматизироваться в Петербурге настолько, чтобы быть уверенными, что ничем не отличаются от массы извозчиков. Прошло около трех месяцев такой жизни, как совершенно неожиданно из-за границы от Савинкова получился приказ немедленно сниматься и уезжать за границу. Товарищ (не извозчик), получивший приказ, ответил, что все идет хорошо. Тогда получается новая телеграмма с тем же приказом с прибавлением условной фразы, обозначавшей: „подозреваю провокацию". Уехали все благополучно. Когда собрались за границей, Савинков объявил, что от безусловно надежного информатора он знает, что полиции известен факт, о котором ей мог сообщить только кто-нибудь из членов группы, отсюда следует, что в группе есть провокатор. Следует совместное житье и взаимное присматривание. Обстоятельства, нелепые мелочи складываются так, что у всех возникают подозрения по отношению к одному товарищу Его исключают. Но месяца через два обнаруживается действительный провокатор. Убедившись в ошибке, приглашают исключенного товарища обратно в группу, но он отвечает на это самоубийством. Итак, результат продолжительной „деятельности": потратили очень много денег и, как выразился Савинков, „переехали человека". Группа распущена. Пробовал браться за предприятия не террористического характера; ничего путного у меня не вышло.

Начало империалистической войны застало меня в Германии на пути в Россию. На короткое время меня арестовали, но потом выбросили в Швейцарию. Месяца полтора спустя мне удалось пробраться в Россию южным путем через Грецию, Салоники, Софию и Румынию. В России я должен был существовать нелегально под чужим именем. Через некоторое время мне удалось получить работу при лазарете для раненых в качестве делопроизводителя. Потом перешел на службу в Земсоюз, работал в комитете юго-западного фронта в Киеве. Кажется в 1916 г., перешел в главный комитет в Москве, где работал в экономическом отделе до Февральской революции. С этого времени стал носить свое настоящее имя. В мае 1917 г. переехал в Петроград и поступил на службу в главный земельный комитет при министерстве земледелия. В это время я примыкал к с.-р—овской группе газеты „Воля Народа".

В августе оставил службу в земельном комитете и уехал в Астрахань, где до переворота работал в городской управе, а после переворота в конторе Главпродукта. В 1919 г. переселился в Саратов. Здесь работал в губернском отделе нар. образ.

сначала в общей канцелярии, а потом в библиотечной секции. В 1922 г. переселился в Москву. Здесь скоро стала надвигаться слепота. Пришлось перейти на положение инвалида.

Чернявская-Бохановская, Галина Федоровна *).

Родители.—Отец мой, Федор Михайлович Чернявский, принадлежал к поместному дворянству Екатеринославской губернии. Родился в 1827 г., умер в 1908 г. Воспитание получил сначала домашнее (гувернеры), потом в дворянском пансионе. Служил в уланах, потом, по выборам, депутатом в Екатеринославском комитете по крестьянской реформе, затем мировым посредником в Подольской губернии и непременным членом присутствия по крестьянским делам в Херсоне. Выйдя в отставку с чином поручика в 1848 г., он женился в Виннице (Подольской губ.) на Софии Семеновне Кондрацкой, единственной дочери смешанной в религиозном отношении семьи (отец униат, мать католичка) католического исповедания. С нею он познакомился в то время, когда полк его стоял в Виннице, и ушел в поход ее женихом. Воспитание моя мать получила домашнее, для того времени очень хорошее, знала языки и музыку. Родилась в 1831 г., умерла в 1863 г. После женитьбы молодые супруги уехали к родителям отца в их имение Анновку, Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губ. С ними вместе уехала тетя матери, очень любившая свою племянницу. Эта тетя была истинным другом нашей матери и после ее смерти всецело посвятила себя ее детям.

Детство и юность.—После рождения в 51 г. их первого ребенка, моей старшей сестры Юлии, мои родители переехали в небольшую деревню „Божий Удел“ **), которую бабушка моего отца отдала ему во владение. Здесь я провела первые шесть лет своей жизни. Я родилась 16 апреля 1854 г., затем через полтора года — сестра Соня, а в 59 г.—Маша.

Нас воспитывали заботливо и мягко. Родители мои были люди гуманные, затронутые новыми веяниями, читали „Полярную Звезду“ и „Колокол“. Поэтому неудивительно, что, несмотря на то, что дом наш был полон крепостной прислуги, в моей памяти не сохранилось ни одного воспоминания о жестоком, грубом обращении с крепостными. Когда мне было 3 года, нам выписали из Швейцарии гувернантку, так что к шести годам я уже читала по французски и наслушалась немало восторженных рассказов о прекрасной родине m-elle Suzanne, и Швейцария рисовалась мне какой-то сказочной страной. По-русски же я выучилась читать в несколько дней, когда мне было уже семь лет, прийдя в восторг от ярко раскрашенных и смешных картинок „Степки-растрепки“. В конце 60 года наша семья переехала в Екатеринослав, где заняла небольшой особняк на Дворянской улице. Наша детская жизнь шла своим чередом: младшие были в ведении нянек и кормилиц, а мы, три старшие: Юлечка, я и Соня, учились, ходили с m-elle Suzanne гулять или в гости к знакомым — детям предводителя дворянства Миклашевского, генерала Кремера, полковника Снарского. С последними вместе брали у танцмейстера уроки танцев, которые происходили поочередно то у них, то у нас Наша милая тетя заведывала всем домом А у отца и матери шла своя особая жизнь, постоянные выезды и приемы.

Время было горячее, приготовлялась крестьянская реформа. „Воля“, „земля“, „эмансипация крестьян“ жужжали в гостиных и в людских; ими был переполнен воздух до того, что они проникали и в мои детские уши. Помню, отец, натягивая белые перчатки, стоит посреди зала, взволнованный, радостный. Он собирается в собор на чтение „манифеста“. Оживленные хлопоты во всем доме: все наши „люди“ идут туда же.

Вскоре нашу семью постигла материальная катастрофа: вследствие каких-то семейных интриг „Божий Удел“ перешел в другие руки. А между тем, семья разрасталась: в 60 г. родился брат Георгий, а в 62 г.—еще одна сестра. Отцу приходилось думать о заработке. Он уехал в Киев хлопотать о службе в Подольской губ., родине нашей матери, которая страстно желала увидеть ее снова. Вернулся он с радостной вестью, что назначен мировым посредником в Подольскую губ. Пошли оживленные сборы к отъезду. Но нашу семью ждал тяжелый удар. Едва оправившись после рождения новой дочери, мать простудилась и 1 декабря 1863 года умерла.

Отец должен был торопиться к месту своей новой службы, и мы через несколько дней после похорон матери выехали из Екатеринослава.

Только в последних числах декабря добрались мы до Немирова, нашего нового местожительства. Мы поселились в небольшом особняке, стоявшем в саду, ограда которого примыкала к стене „палаца“, как называли роскошный дворец прежних владельцев Немирова. Немиров был полон отголосками недавнего польского восста-

*) Автобиография написана в марте 1926 г. в Ленинграде.

**) В офиц. докум. местом моего рождения обозначено с. Богодаровка, к приходу которого принадлежала деревня „Божий Удел“.

ния. Первый раз, как тетя пошла к исповеди, ксендз, уже осведомленный о приезде нового русского должностного лица и о нашем семейном положении, угрожал лишить ее причастия, если она не покинет эту семью врага веры и родины. У нас стала часто бывать молодая девушка, дальняя родственница тети, Идалия. С тетей и моим отцом она много говорила о недавних событиях. Помню, раз отец читал ей стихи Беранже, в которых говорилось об узниках, и при этом выразительно указал на видневшийся из окон гостиной замок. Я поняла этот жест. Я знала уже, что там в заключении сидят польские мятежники. Летом, когда „бабуня“ — мать нашей мамы, вернулась из Екатеринослава с младшими членами нашей семьи, которых не решились везти так далеко зимою, мы перешли в более просторный дом, окруженный тоже садом. Одна сторона сада выходила на нашу прежнюю улицу, другая—на улицу, идущую от ворот „палаца“ в город. У этих ворот часто толпились женщины с узелками и корзинами—я знала, что это жены и матери узников, приносящие им пищу.

Раз, в течение дня, я заметила, что старшие о чем-то таинственно переговариваются, уловила, что ночью должно что-то произойти. Не засыпая, ждала и, когда заметила, что старшая сестра и гувернантка осторожно пробираются из нашей комнаты к выходу в сад, пробралась и я за ними. Меня замечают, тщетно уговаривают вернуться. Я остаюсь.

Улица сплошь покрыта народом, оттесняемым к нашей ограде верховыми, фигуры которых маячат над ним в отдалении. Ночь не темная, может быть, лунная. Слышатся приглушенные разговоры, вздохи, тихий плач. Я вся дрожу. Раздается стук распахиваемых ворот, возглас: „Ксендз Седроцкий!“ *), затем неясное бормотание... потом отчетливо, твердо: „на вечную каторгу!“ Из ворот каземата вылетает тройка, проносится мимо, раздаются крики, проклятия, рыдания... Затем опять напряженная тишина, лязг ворот, чтение приговора, из которого мне слышно только громко выкрикиваемые фамилии заключенных и срок каторги: 20 л., 15 и т. д. И опять вылетает из ворот тройка, опять плач и проклятья.

Что такое каторга, я, которой месяца за три-четыре перед этим исполнилось десять лет, разумеется, не понимала, но все это зрелище потрясло меня глубоко, и впоследствии я долго приставала ко всем, добиваясь его разъяснения.

К последующей затем осени и зиме относится мое первое знакомство с произведениями Некрасова, влияние которых имело большое значение в моем развитии. Когда постоянные разъезды по мировому участку позволяли отцу оставаться дома, он звал к себе нас, трех старших, мы усаживались около него, он брал прекрасно изданную в изящном коричневом переплете книгу и читал нам: „Мороз красный нос“, „Размышления у парадного подъезда“, „Рыцарь на час“. Когда он читал: „От ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови, уведи меня в стан погибающих за великое дело любви...“, отец, разумеется, не подозревал, куда заведут меня такие слова. Все это мне очень нравилось, много раз я перечитывала потом эти поэмы и лет в четырнадцать знала почти всего Некрасова наизусть.

Вскоре затем отец заарендовал одно из конфискованных у поляков и сдававшихся казною в аренду русским имение Кардышовку. Весною следующего года мы переехали туда. Это особенно кстати было для меня: уже довольно долгое время я болела тяжелой формой перемежающейся лихорадки, которая истощила меня до того, что я не могла держаться на ногах.

Был май месяц, погода стояла прекрасная. Проводя целые дни на воздухе, я скоро окрепла.

Кардышовка была истинный перл и до сих пор рисуется в моем воображении, как рай земной. Прекрасный комфортабельный дом, выходящий главным фасадом и одной из сторон на обширный двор с громадным круглым „газоном“ посреди, в центре которого красовалась клумба красивых цветов, а по всей окружности были симметрично рассажены пионы и оранжевые corona imperialis; двумя другими сторонами дом выходил в сад, отчасти фруктовый, отчасти парк, переходивший потом в рощу—лес, как мы ее звали.

Мы зажили прекрасно. В 7 ч. утра вставание, затем обтирание холодной водой с головы до ног. Торопливо одеваемся и выскакиваем в сад, обегаем все аллеи и лужайки. Пьем молоко, затем от 9 до 12 учебные занятия с m-elle Caroline. В 12 ч. завтрак, потом опять час-полтора занятий. После обеда идем с m-elle Caroline гулять. Чаще всего в рощу по просеке, которая вела на большую круглую лужайку, обсаженную яблонями. С правой стороны деревья расступались, образуя широкий пролет, из которого открывался прелестный вид на различных оттенков нивы и синеющий на горизонте лес. Здесь мы проводили много времени, читая принесенные с собою книжки (у нас всегда было очень много хороших детских книг), играли. Часто m-elle Caroline начинала петь, и мы тогда все бросали и слушали. Она пела красиво, с большим чувством запрещенные тогда польские гимны. Шли рассказы о том, что

*) Главный руководитель восстания в Немирове.

в этом яблочном саду долго жил, скрываясь от преследований, кто-то из важных мятежников — Канарский, кажется. А под нашим домом, говорили, в его прекрасных сводчатых погребах с нишами для вин и фруктов долго скрывался, когда его разыскивали власти, бывший владелец Кардышовки.

Училась я охотно. Занятия с m-elle Caroline не были обременительными, она не была взыскательна, довольно равнодушно относилась к нашим успехам в науках. После нее у нас гувернанткой была француженка, m-elle Louise, получившая хорошее образование, тихая, всегда какая-то печальная. Все науки мы изучали по французским руководствам. Когда „бабуня" переехала к нам жить, она привезла для нас полный курс наук на французском языке: 25 томов in 4°, различной толщины. Курс этот, хотя на заглавных листах значилось pour jeunes filles, был очень недурен: французская грамматика и литература (хрестоматия), арифметика и геометрия, физика, химия, зоология и ботаника, всеобщая история и греческая мифология. И все это с картами, чертежами, рисунками. Мне очень нравилась мифология, и я ее усердно изучала. Также очень любила римскую и греческую историю, всегда прочитывала гораздо больше, чем было задано. Священную историю, как древнюю, так и новую, совсем не любила: все эти патриархи, заносящие жертвенный нож над своими Исааками, мошенники, покупающие за чечевичную похлебку право первородства, бросающие в яму и продающие своих младших братьев, бесноватые свиньи и разлагающиеся Лазари, исцеляемые и воскрешаемые волшебником, были мне противны, а заушения, терновые венки, Петры и Иуды приводили в негодование: „Зачем, зачем такая жестокость, такая низость!" Формулировать ясно я не могла, но чувствовала так, и негодовала. Это не мешало моему религиозному чувству, и я помню, как мне до слез было больно видеть, что отец перед тем, как итти в церковь к причастию, преспокойно пьет чай и съедает два яйца в смятку, как он это делал каждое утро.

В то время, как гувернанткой у нас была француженка, у отца было намерение самому заниматься с нами по русской истории, но дошли мы с ним только до Ольги и Святослава; он был слишком занят в постоянных разъездах по участку. Мы, впрочем, и сами с интересом читали и перечитывали „Историю России в рассказах для детей" Ишимовой, написанную так живо и картинно.

На четырнадцатом году моей жизни кончилась светлая жизнь в милой Кардышовке. У отца вышли какие-то неприятности с вновь назначенным губернатором, и ему пришлось оставить службу. Осенью 68-го года он уехал в Анновку к своей матери (дедушки уже не было в живых), взяв с собою старшую сестру и брата. Через несколько месяцев отец вызвал нас в Верхнеднепровск.

Помню, как перед нашим отъездом, приехал прощаться с нами один из соседних помещиков, пан Рожанский, часто бывавший у нас. Говоря с бабуней, он выражал сочувствие к нашему бедственному положению, но в заключение прибавил следующее, резко запечатлевшееся в моей памяти, замечание: „пан Чернявский сам виноват: если бы он не был всегда за хлопов, всегда против нас (панов), мы бы сумели поддержать его, помочь ему".

В Верхнеднепровске прожили мы около года и осенью 69-го г. переехали на пароходе в Херсон, где отец получил место непременного члена Присутствия по крестьянским делам.

В Херсоне была уже недавно открытая женская гимназия. У нас шли разговоры о поступлении в нее. Мне уже шел шестнадцатый год—было поздно. В гимназию отдали к началу учебного года Соню и Машу. В конце 70-го года Юлечка и я стали готовиться к экзамену на диплом домашней учительницы. Главным предметом взяли географию и брали уроки по этому предмету у учителя местной гимназии. В июне 71-го г. мы обе держали экзамен при местной гимназии: сестра выдержала, а я срезалась по русскому, на букве „ять". Через некоторое время я стала опять готовиться к экзамену, взяв главным предметом математику. В июне 72-го г. я снова держала экзамен при той же гимназии и на этот раз получила свидетельство на звание домашней учительницы.

За последние три года я внимательно присматривалась к жизни, много читала и пережила религиозный кризис, закончившийся тем, что в 71-м году, когда мне исполнилось 17 лет, я на Пасху уже отказалась идти к исповеди. В предшествовавшем году мне пришлось на исповеди выслушать наставление священника: заниматься хозяйством и рукоделием, а читать поменьше, так как от чтения вред бывает большой.

У отца книг было немного, но хорошие. Я прочла Дарвина, Дрэпера, Вундта „Душа человека и животных", Стюарта Милля „Подчиненность женщины", Бокля „Историю цивилизации в Англии", Егера „Микроскопический мир", „Азбуку социальных наук", „Положение рабочего класса в России", Л. Блана „Историю великой французской революции".

Эти чтения докончили то, что было начато обстановкой и впечатлениями раннего детства, отголосками польского восстания, гражданскими мотивами Некрасова. Личность моя сложилась. „Исторические пись-

ма“ Лаврова, „Капитал“ и передовая русская литература встретили уже готовую почву. Чтобы окончательно определился мой путь, мне надо было лишь встретиться с родственно мне настроенными людьми.

В то время уже было разрешено женщинам учиться в Медико-Хирургической академии. Я мечтала поступить туда: кончу курс, поеду в деревню, понесу помощь тем, „чьи работают грубые руки, предоставив почтительно нам погружаться в искусства, в науки, предаваться мечтам и страстям“. Требуемый образовательн. ценз у меня был, но возрастным я еще не обладала (20 лет).

Мы жили хорошо, но исключительно на жалованье отца, которого с трудом хватало на подрастающую многочисленную семью. Нам, двум взрослым, приходилось думать о заработке. Юлечка поступила классной дамой в гимназию, а для меня в течение некоторого времени ничего не находилось. Затем отец выхлопотал мне назначение на место учительницы в одну из городских школ в Одессе, в предместье Новая - Слободка. Мне уж было 20 лет, но о поступлении в Медицинскую академию нечего было и думать: необходимых для этого средств не было. Я была довольна своим назначением в Одессу и бодрая, полная сил уехала туда зимою 74-го года.

Учительницей в предместьи Новая-Слободка я пробыла всего два—три месяца и весною 75-го г. была переведена в Новобазарную школу, которая находилась в самом городе.

Летом в Херсоне был созван учительский съезд, на который из Одессы было командировано несколько человек из учительского персонала, в том числе и я.

Руководителем на съезде был известный педагог Бунаков, а представителем от министерства народного просвещения—Гарусов. За постоянные овации первому и манифестации против второго (в которых я была далеко не последней) съезд был распущен раньше срока. В начале осени, когда был напечатан отчет о съезде, я получила отставку, мотивированную моим поведением на нем.

Революц. деятельность. 1. До „Народной Воли“. Первые шаги относятся к 1875 г., когда меня (в начале весны) перевели в городскую школу, и круг моих знакомых расширился. Еще в первые дни моего приезда в Одессу я познакомилась с Е. Н. Южаковой. Явившись по приезде к инспектору народных училищ, я от него услыхала, что вакансию, на которую меня назначил директор народных училищ, предположено закрыть. Для выяснения недоразумения он направил меня к члену училищного совета при городской думе—Ф. В. Бёмеру, который жил у генеральши Южаковой в качестве учителя ее младшего сына. Приняли меня очень приветливо и, прощаясь, просили заходить к ним и обращаться при всяком могущем встретиться затруднении. Когда я дня через два пришла сообщить Бёмеру о том, что недоразумение насчет вакансии уладилось, генеральша Южакова сказала мне: „Постойте, не уходите, я познакомлю вас с моей дочерью. Она только вчера приехала из-за границы“. Она позвала дочь. После первых слов приветствия, Елизавета Николаевна увела меня к себе. Мы разговорились; она рассказывала о Цюрихе, Париже. Я жадно слушала.

С переездом моим в город, я стала постоянно видеться с Южаковой и постепенно вошла в ее интересы.

Когда мои занятия в школе прекратились, частные уроки, которыми я зарабатывала средства существования, оставляли мне больше свободного времени, и я получила возможность глубже войти в революционную деятельность. Я познакомилась с несколькими гимназистками старшего класса, и скоро у меня составился из них кружок. К этому же времени относится мое первое знакомство с „башенцами“, которые название это получили потому, что жили в одной из башенок громадного дома Новикова. Здесь жили: Г. А. Попко, Ф. А. Щербина (студенты юридического факультета), Л. Добровольский, Ульянов и Евгений Победоносцев (племянник удручающей памяти прокурора Синода)—студенты-естественники и И. Волошенко. Они все были земляки и среднее образование получили в Ставропольской семинарии. Было, кажется, еще два—три студента, имен которых не помню. Мы с Южаковой постоянно бывали у них. Я скоро совсем вошла в их кружок (о Южаковой не помню) и впоследствии ввела в него А. С. Шаповалову (одну из гимназисток моего кружка), дочь богатейшего скупщика-хлебопромышленника Херсонской губернии. Направление кружка было лавристское. У нас шли дискуссии с бунтарями, представитель которых, Ковальский, являлся в башню на эти дискуссии. С ним вели бесконечные диспуты Волошенко и Щербина.

Мы с Е. Н. часто бывали в типографии Заславского. Раз, как-то пришли по окончании работы, когда уже все рабочие ушли, и проработали весь вечер. Южакова набрала какое-то короткое воззвание, и мы оттиснули его в довольно большом количестве. На следующий вечер мы все ходили, будто прогуливаясь (я шла с Попко), и незаметно, в неосвещенных местах, наклеивали свои листочки. По поводу какого события было это воззвание, припомнить не могу.

Когда произошли аресты рабочих по делу Заславского, мы много хлопотали, добывая для них защитников, поручителей, собирая деньги для них и их семей.

Осенью я решила „опроститься“: сначала поработаю на каком-нибудь заводе или фабрике, потом пойду на полевые работы в деревню. Короткое время проработала на конфетной фабрике Шапошникова, а затем на канатном заводе. Несмотря на все неблагоприятные условия работы на этом заводе, я на нем проработала всю зиму, и только окончательно убедившись, что никакой тут пропаганды с моей стороны быть не может, весною его покинула.

Все время моего пребывания на фабрике и на заводе я жила в сквернейшей комнате на Молдаванке. Каждую субботу я уходила к Южаковой и оставалась у нее до понедельника. Южакова жила тогда у своей матери, которая занимала одну из квартир в первом этаже дома Новикова. Другую квартиру тут же занимал С. Н. Южаков с женой. Здесь всегда было людно и интересно. А наверху, на самой крыше жили „башенцы“, живо интересовавшиеся моими опытами опрощения. Освежившись здесь, расспросив обо всем, что на свете делается (в эту же зиму Попко ездил за границу повидаться с П. Л. Лавровым), я возвращалась к своей неприятной работе.

Перед Пасхой 76-го г. в нашей башне происходили совещания по поводу еврейских беспорядков, которых в Одессе всегда ждали в эти дни. На совещаниях присутствовал делегат от бунтарей—Иван Ковальский. И мы и бунтари были за то, чтобы овладеть беспорядками и дать им другое направление: на тюрьму и на полицейские участки. Но бунтари хотели в ы з в а т ь беспорядки, а башенцы вызывать беспорядки считали опасным, так как уверенности, что удастся овладеть ими и направить с евреев на тюрьму и полицию не было—мог разыграться просто еврейский погром. Наше мнение победило. Постановили: беспорядков не вызывать, а если они самостоятельно возникнут, употребить все усилия, чтобы дать им желательное направление. Решено было собраться всем, кто должен был участвовать в этом деле, и так как участников было немало, назначили местом собрания безлюдный, еще совсем неустроенный Александровский парк; время—вечер. Собрание вышло очень таинственное: темная ночь, только звезды мерцают, осторожное посвистывание, перекликание. Наконец, стянулись все к одному месту, в какой-то заранее намеченной обширной рытвине. Переговоры шли вполголоса. Окончательно условились и распределили посты. Так как беспорядки на Пасху чаще всего начинались при выходе из церквей после заутрени, то к каждой из одесских церквей решили отрядить несколько человек.

Попко, Ульянов и я получили греческую церковь. Задолго до начала заутрени мы были уже на посту, внимательно прислушиваясь и приглядываясь, нет ли каких-нибудь тревожных признаков. Во время заутрени мы то входили в церковь, то прогуливались в церковной ограде, среди толпы принесших святить куличи и пасхи. Все было спокойно. Под конец только мы вдруг встрепенулись, когда, после крестного хода, из распахнувшихся церковных дверей раздалось: „Христос воскресе!“, в ограде грянули выстрелы. Мы бросились туда. Оказалось, что это греки выражают свою радость. Походили некоторое время по окрестным улицам и, убедившись, что никаких признаков беспорядков нет, направились к сборному пункту, которым был назначен памятник на Соборной площади, где от всех остальных „патрулей“ услыхали, что нигде порядок не нарушался.

Вскоре затем было решено, что я и П. С. Ивановская (незадолго перед тем приехавшая в Одессу, но с которой я уже успела подружиться) отправимся в народ. У меня и было решено: для того, чтобы собственными глазами все увидеть и разобраться в различных толках—пойду сначала на фабрику, потом в деревню.

К 9-му мая (Никола вешний) отправились в Алёшки, пристань на Днепре, где в этот день производился съезжавшимися со всех сторон землевладельцами наем рабочих на полевые работы. Нанялись на „срок“, т.-е. с 9-го мая по 1-е октября, за плату в 40 р. с головы, как и все остальные нанятые женщины.

Не буду описывать нашего пребывания „в народе“. П. С. Ивановская его уже описывала. Скажу только, что для меня это было сплошное физическое мучение. Нравственно я себя чувствовала очень хорошо: вот добралась до цели—я в народе—так спокойно на душе, чувствуешь, что ни на кого не давишь. Что касается пропаганды, то к молодым девушкам мужчины относились не серьезно, а женщины говорили: „Ишь какая ловкая, чего захотела, так тебе и будет равно для всех; не нами началось, не нами кончится“.

Срока я не докончила, отказалась от работы и в конце августа вернулась в Одессу. Была в разгаре сербско-турецкая война. Сербия боролась за свое освобождение. Мы с Южаковой решили отправиться туда с отрядом добровольцев в качестве сестер милосердия. Прослушали подготовительный курс (кажется, 2-хнедельный) проф. Иностранцева и уехали на пароходе в Белград. Пробыли до окончания войны в Сербии, работали в военных бараках около Парачина, ухаживая за ранеными. Затем уехали в Женеву, куда прибыли, кажется, в первых числах ноября.

В Женеве у Южаковой были старинные связи между русскими эмигрантами. Прожили несколько дней у Элпидина, затем

Елиз. Ник. разыскала своих друзей, и мы с нею переехали в пансион, где помещалась редакция „Набата". В другом доме, неподалеку, была и их типография. Елиз. Ник. вскоре приняла участие в наборе очередного номера, а я стала присматриваться к типографскому делу и учиться набору.

Я довольно много читала о великой французской революции, увлекалась ее героями, считала (в чем дальнейший опыт меня вполне разубедил), что декретами можно все сделать. В Россию я вернулась якобинкой.

Об этом моем первом пребывании в Женеве у меня осталось очень неприятное впечатление. Среда, в которой я жила, была мне мало симпатична, местной жизни я совсем не видела. Стояла сырая, холодная и ветреная зима; все время мы проводили в типографии или в мрачных комнатах пансиона. Я буквально заболела „тоской по родине". Написала домой, прося прислать денег на возвращение, и, как только их получила, в начале февраля 77-го г. уехала в Россию.

Я остановилась на несколько дней в Киеве, чтобы разыскать студента-медика последнего курса Карпенко и передать ему какие-то организационные указания из Женевы и несколько номеров „Набата", а также расспросить его, в каком положении находится дело в Киеве. Общее впечатление получилось такое, что никаких сил нет: только несколько человек, а вот в Орле, у Зайчневского, там большой кружок; но об этом я уже знала. Пробыв некоторое время дома (в Ново-Московске, где тогда жил отец), я вернулась в любезную мне Одессу.

Весна и лето 77-го г. прошли для меня в непрерывных революционных хлопотах, слишком мало было организованности, чтобы можно было сказать, деятельности: устраивали собрания, организовывали кружки, хлопотали об устройстве библиотеки-читальни, ходили за город учиться стрелять из револьвера. Память ничего определенно очерченного мне не дает об этом времени.

Осенью 1877-го г. я ездила в Варшаву получать от контрабандистов „Набат", небольшой тюк, который я и привезла в Одессу.

Два-три зимние месяца я провела в лазарете под Жмеринкой, где работала в качестве сестры милосердия—вместе с Еленой Ивановной Россиковой, заменяя уезжавшую на время Южакову. В январе 78-го г. я вернулась в Одессу.

30-го января 1878 г. произошло в Одессе известное вооруженное сопротивление Ковальского и его соратников. Всех участников я более или менее знала; знала, что на этой квартире собирались устроить типографию; была там раз или два у симпатичной мне Мержановой, но вооруженное сопротивление с их стороны явилось для меня полною неожиданностью.

Было напечатано, что я состояла в кружке Ковальского. Это неверно. Была в постоянном соприкосновении с той средой, в которой он вращался, но ни в каких организационных отношениях ни с каким „кружком Ковальского" не состояла. Да и вообще формальных организаций в то время в Одессе я не припомню. Подбирались люди, симпатизирующие друг другу, считавшие настоятельным то или другое революционное дело, и занимались им сообща. Это не значило, что и по окончании его они непременно будут работать вместе.

К тому времени и наш кружок „башенцев" распался. Победоносцев и Ульянов, как уехали на каникулы на родину, так и не вернулись. Ф. А. Щербина и жена его, Шаповалова, жили в Кадникове, куда был сослан Ф. А.; Попко был в постоянных разъездах.

Процесс 193-х, выстрел В. Засулич и оправдание ее, вооруженное сопротивление в Одессе сильно взволновали умы; среди одесских революционеров весною и в начале лета 78-го г. царило большое возбуждение.

За несколько дней до суда над Ковальским мы собрались, чтобы обсудить, что мы можем предпринять в случае вынесения угрожавшего смертного приговора. Собрание происходило в какой-то загородной местности, поросшей развесистыми кустами, среди которых мы расположились. Оно было многолюдно. Кроме всех знакомых мне революционно настроенных лиц (между ними в полном составе кружок молодых девушек, основанный нами в 1877 г.—Лила Терентьева, две сестры Шехтер, Вера Госсох, Рашкевич и др.), присутствовало несколько человек незнакомых мне рабочих. Решено было собрать вокруг здания суда как можно больше народу, для чего каждый должен был заняться вербовкой подходящих элементов между своими знакомыми. Один из рабочих сказал при этом: „Наши все придут". Долго толковали о том, приходить вооруженными или нет. Решили оружия не брать и строго на этом настаивали, так как сил у нас достаточных не было, чтобы отбить приговоренных, это могло вызвать только лишние жертвы.

Билеты на вход в зал суда давали только родственникам, но мне удалось достать билеты для себя и П. С. Ивановской через судебного пристава, который оказался моим хорошим знакомым. Председатель суда, старый генерал Кириллов, вручая мне билеты, заметил, что смотреть тут нечего—преступники и больше ничего.

Судебное следствие шло томительно долго, подсудимые отрицали наличность вооруженного сопротивления. Ковальский говорил,

что выстрел из револьвера, в котором его обвиняли, произошел нечаянно во время его падения на лестнице.

Защищали петербургские присяжные поверенные Бардовский и Стасов, особенно настаивавшие на том, что единственными свидетелями обвинения являются полицейские. С самаго начала было видно, что вся тяжесть обвинения обрушивается на Ковальского, и у его защитника Бардовского почти не было надежды спасти несчастного. Бардовский и Стасов, жившие во время процесса в гостинице, постоянно бывали у Брюхановых, родителей моей квартирной хозяйки, доброй и умной Елизаветы Федоровны Донцовой, муж которой служил в городской управе. Донцовы вполне сочувствовали революционерам. В день произнесения приговора, во время обеденного перерыва, мы с Ивановской были у Брюхановых. Бардовский был до того расстроен, что с ним сделался сердечный припадок. Заключительная его речь произвела сильное впечатление и была потрясающей.

Когда суд удалился для совещания, я и Ивановская, несмотря на мало энергичное сопротивление моего знакомого судебного пристава, быстро подошли к скамье подсудимых, протягивая им букет *); стоявший около скамьи подсудимых молоденький офицер взял из моих рук букет и передал его подсудимым. По окончании суда офицеры полка потребовали исключения этого офицера и предания его суду, так как произошло необычайное: офицер поднес цветы преступникам. С нас снимали показание. Мы заявили, что цветы были просто брошены через голову офицера. Дело кончилось легким дисциплинарным наказанием.

Наступил вечер. В скупо освещенном зале суда время тянулось томительно и тягостно в ожидании приговора. Несколько раз мы выходили на улицу; толпа, к вечеру увеличившаяся и наполнявшая улицу, насколько хватал глаз, напряженно ждала. Всякого выходившего спрашивали: „скоро ли?“

Наконец раздалось: „Суд идет!“ Началось чтение приговора: неясное бормотанье таких-то и таких-то статей закона, наконец, отчетливо слышное во всем зале суда до последних скамей: „лишение всех прав и преимуществ и смертная казнь через расстреляние“. В зале раздались крики, рыдания, с кем-то стало дурно. Кто-то в открытое окно крикнул на улицу: „Смертная казнь!“ В ответ раздалось: „Палачи, убийцы!“ Я с тем же криком направилась к выходу. В одно мгновение подсудимые были окружены густою цепью вооруженных солдат; подсудимые кричали: „Шемякин суд!“ и т. д.; их силой вытаскивали из суда. Когда я выбежала на улицу, там уже работали казаки и конные жандармы с шашками наголо. Они скакали по тротуару, очищая его. Не успев добежать до угла, сбитая с ног мчавшимся мне навстречу казаком (лошадь не задела меня копытами), я упала, сейчас же вскочила и, повернув за угол, направилась к своей квартире. В то время, как я упала, я слышала один за другим два выстрела, а убегая видела распростертого на земле человека.

Жившие тогда у меня Ивановская и только-что окончившая гимназию сестра Маша были уже дома. Едва держась на ногах от физического и нравственного утомления, мы улеглись. Было уже около 3 ч. утра; светало. Едва успела заснуть, как услышала, что кто-то спускается по внутренней лестнице, ведущей со стеклянной галлереи к парадной двери. Мы с сестрой устроились спать на стеклянной галлерее (так как было очень жарко). Наши хозяева отсутствовали, проводя лето на даче, и на время этого отсутствия в их помещении жил М. Эйтнер со своим младшим братом и какой-то недавно приехавший молоденький дерптский студент (Эйтнер был мне знаком еще со времен Заславского, когда он держал переплетную мастерскую). Его-то шаги я и услыхала: он направлялся к парадной двери вынести и спрятать в нашем пустынном дворе большого размера пистолет и некоторое количество нелегальной литературы. Едва успел он приоткрыть двери, как его схватили, и в дверь ввалился высокий, толстый пристав Воронов с толпой городовых, спрашивая: „Здесь живет Чернявская?“— После моего утвердительного ответа, поднялся по лестнице и входит в квартиру; делают обыск, впрочем, весьма вежливо. Затем приглашают с собой меня и П. С. Ивановскую, усаживают на извозчичью пролетку и везут в участок, окруженных скачущим эскортом казаков *). Здесь мы были помещены в одной из комнат квартиры пристава; у ее двери, выходившей в коридор, поставили часового с ружьем. Просидели мы здесь весь день и вечер. Ночью нас опять увезли в извозчичьей пролетке и под конвоем всадников, с саблями наголо, поблескивавшими в темноте: куда везут и зачем—неизвестно. Едем долго по совершенно безлюдным улицам. Останавливаемся у казармы № 5. Приглашают выйти из экипажа. Охватывает ужас: почему казарма, что нас ожидает?

Дело оказалось просто: после демонстрации так яростно арестовывали по малейшему подозрению, что все места заключения были переполнены и на подмогу взяли казарму.

*) Этот букет и послужил ближайшим поводом моего ареста: судебный пристав знал мою фамилию, а при выдаче мне билетов был записан мой адрес.

*) Эйтнер и его брат были также арестованы.

Нас ввели во второй этаж и любезно пригласили войти в большую квадратную комнату, а оттуда в другую поменьше, всю уставленную по стенам широкими нарами. Когда мы вошли в эту комнату, нам навстречу с нар поднялись три фигуры—две знакомые нам — маленькая, с бархатными глазами, Настя Шехтер и ее сестра Соня, а третья незнакомая — Адель Пумпянская. Впоследствии к нам была присоединена В. Гуковская.

Через несколько дней Ивановскую и меня в отдельной комнате предъявляли городовым. Кое-кто из них Г. Чернявскую признал, как выходившую и кричавшую про смертную казнь. Ивановскую ни один не признал. В казарме № 5 мы пробыли недели две или три, а затем были переведены среди ночи в тюремный замок под эскортом конных жандармов с шашками наголо. Вначале в одной камере со мною сидели Ивановская, Пумпянская и Гуковская, а затем, когда две первые были отправлены по этапу на родину, к нам в камеру вселили М. И. Кутитонскую.

На допросе я была всего один раз. Помощник смотрителя пригласил: „Пожалуйте к прокурору!“, и повел меня в наружный корпус, расположенный у ворот, напротив того, где находилась контора. Вхожу в большую, светлую комнату. Из-за стола поднимается Добржинский, бывший тогда товарищем прокурора, раскланивается и приглашает сесть по другую сторону стола. Записав ответы на обычные вопросы: имя, звание и пр., приступает к допросу. С первых же слов я его останавливаю заявлением, что никаких показаний до суда давать не буду (в этом намерении я особенно утвердилась, когда узнала, что один из арестованных, Андрей Баламез, запутался на допросе, и благодаря его показаниям были арестованы Кутитонская и Давиденко). Добржинский долго на все лады меня уговаривал: „Вы, конечно, по неопытности были вовлечены... откровенно расскажите... вас выпустят... своими показаниями можете выяснить непричастность кого-нибудь из арестованных и тем спасти его“ и т. д. Ничто не помогло: я только подписала свое заявление об отказе давать показания. Добржинский выразил сожаление о моем упорстве, стал перебирать бумаги и не препятствовал, когда я стала прогуливаться по комнате, заглядывая в окна, выходившие на площадь.

Родные наши и наши друзья деятельно хлопотали о том, чтобы нас выпустили на поруки. Для Кутитонской и для меня эти хлопоты увенчались успехом—в последних числах декабря 78-го г. нас выпустили на поруки — Кутитонскую на несколько дней раньше меня. Гуковскую же не отпустили.

Я была выпущена на поруки с обязательством немедленно выехать в местожительство моего отца, г. Новомосковск, и проживать там под надзором полиции до вызова меня на суд.

Повидавшись с Е. Н. Южаковой и ее братом Сергеем Николаевичем, моим поручителем, я уехала через два дня в Новомосковск со старшей сестрой, которая все время моего тюремного заключения прожила в Одессе, ходила ко мне на свидание и деятельно хлопотала о поруках.

В июне,—кажется, в середине,—Южакова написала мне, что суд назначен на 25-е июля, и если я намерена от него уклониться, медлить нельзя, надо уезжать, и дала мне явку в Одессу. Я немедленно уехала в Одессу, где, в ожидании документов, прожила, скрываясь (видясь только с Е. Н. Южаковой и ее братом), недели две. Получив нужные документы, я уехала в Петербург.

2. В „Н а р о д н о й В о л е“.—Приехав в Петербург в июле 79 года, я сейчас же отправилась на явку, которую дал мне Фроленко: Кирочная улица, квартира супругов Тищенко (номера дома не помню). Тищенко сейчас же ушел и скоро вернулся с Марией Николаевной Ошаниной. Она мне сразу понравилась: у нее была особая обаятельная манера обращения с людьми. Она так участливо и деликатно входила во все подробности и душевного настроения и материальной обстановки, что сразу вызывала к себе доверие.

Поговорив со мною обстоятельно, она указала меблированные комнаты на Невском, куда мне следовало немедленно перейти из скверной Знаменской гостиницы, где я остановилась, поручила меня заботливости Тищенко и его жены и ушла. Я уже не чувствовала себя одинокой, чужой в чужом городе.

Через несколько дней после моего приезда Мария Николаевна повезла меня в Лесной, где жили В. Н. Фигнер и А. П. Корба, которых я встречала в первый раз. Здесь тоже в первый раз увидела А. Михайлова; затем вскоре познакомилась я с А. Квятковским и Софьей Андреевной Ивановой.

Время было сейчас после Воронежского съезда. Происходили частые собрания то народовольцев одних, то совместно с чернопередельцами. Несколько раз собирались у меня в большой комнате, которую я заняла в указанных мне номерах. Помню одно собрание, на котором присутствовали: Л. Тихомиров, Желябов, А. Михайлов, Ошанина (может быть, и другие, наверное не помню). Из передельцев были Плеханов, О. Аптекман и М. Крылова. Говорили о работе в деревне, о настоятельной необходимости прежде всего свергнуть самодержавие, о политическом терроре. С одной стороны—Плеханов и Аптекман, с другой—Желябов,

Тихомиров, Ошанина. Толковали и о практических вопросах: типографии, деньгах, и пр.: полный раздел еще не произошел. Я слушала с захватывающим интересом и радовалась тому, что мои взгляды—результат всего пережитого мною — вполне совпадают со взглядами моих новых товарищей. В первом же моем разговоре с М. Н. Ошаниной, в день моего приезда, я сказала, что считаю самою настоятельною необходимостью в настоящее время казнь Александра II, как воплощение гнета, не дающего свободно дышать: надо уничтожить самодержавие—без этого жить нельзя. Теперь я видела, что и в „Народной Воле" этот вопрос стоит на первой очереди.

Вскоре я была формально принята в партию: Л. Тихомиров на специально для этого назначенном свидании изложил мне сущность народовольческой программы, принципы ее организации, строго централистической, и спросил, согласна ли я вступить в партию „Народной Воли", и после моего утвердительного ответа объявил, что я принята в члены партии, в качестве агента.

Тогда я уже перешла из Невских номеров на Казанскую, где сняла хорошую комнату в довольно симпатичной чиновничьей семье. В моей комнате происходили частые свидания Л. Тихомирова с Клеточниковым, приносившим из III Отделения свои ценные для революционеров сведения. Здесь же я научилась шифровать и писать химическими чернилами, чего мне до сих пор не приходилось делать.

О моем желании принять участие в первом же покушении на жизнь царя было известно, и мне предложили участвовать в подготовлении взрыва железнодорожного пути под Москвой во время проезда царского поезда.

В конце августа или в начале сентября я и Арончик уехали в Москву. Остановились в гостинице. На другой день немедленно принялись за приискание квартиры, и ко времени, когда наш паспорт (на имя уж не помню какого коллежского секретаря с женою) вернулся после прописки, была уже нанята очень удобная в конспиративном отношении квартира на Собачьей площадке. Она занимала верхний этаж маленького 2-этажного домика, стоявшего во дворе налево, сейчас же у ворот; вход на лестницу, ведущую в квартиру, был у самой калитки, никогда не запиравшейся; нижний этаж был занят какими-то кладовыми. В глубине очень большого двора виднелся из-за ширмы деревьев красивый одноэтажный барский особняк, в котором жил домовладелец. Он ни во что не вмешивался, и всем распоряжалась простоватая, словоохотливая нянюшка. С нею у нас дело живо сладилось: она согласилась доставить незатейливую обстановку для трех небольших комнат и кухни, из которых состояла квартира. С этой квартирой все участники подкопа ознакомились, как с могущим понадобиться убежищем.

Пошла, к удовольствию посещавшей меня нянюшки, тихая, правильная жизнь: с утра „муж" уходит на службу, а молодая „жена" вскоре затем тоже частенько уходит к „тетеньке", где большая семья, а то дома одной скучно. Все эти подробности нянюшка узнавала, убирая наши комнаты за исключением моей, куда я ее не пускала, так как под моею кроватью стояла привезенная из Петербурга жестяная коробка с динамитом. Отделавшись от нянюшки, я отправлялась в „проклятый домик" *). Обыкновенно останавливала извозчика у какой-то церкви с высокой белой колокольней и дальше уже шла пешком.

Условный стук в дверь—Софья Львовна отворяет. Я проводила здесь часто целые дни, помогая Перовской в стряпне и всяких хозяйственных работах. Иногда оставалась ночевать, и тогда мы с Софьей Львовной устраивались вдвоем на широкой, мещанской кровати „супругов" Сухоруковых. Один раз я спустилась в подкоп: тьма, где еле мерцает фонарь, сырость. Как ужасно было проводить там целые дни и ночи!

День 19 ноября прошел для меня в напряженном ожидании. Поздно вечером раздается звонок—бегу отворять. Быстро входит Софья Львовна и с рыданием бросается ко мне на шею... прерывисто объясняет, что ошиблись, взорвали не тот поезд и вероятны напрасные жертвы... Потом затихает, долго молча сидит в углу дивана. Долго сидим молча, подавленные. Приходит А. Д. Михайлов и, кажется, еще кто-то, приносят свеже отпечатанные, специально выпущенные газетные листки. Жертв нет! Какое облегченье!.. Оживаем. Софья Львовна осталась весь следующий день на нашей квартире.

Из отъезжающих последним я видела А. Д. Михайлова. Мне очень не хотелось оставаться в Москве, хотела вернуться в Петербург, где уж завелись у меня связи, а в Москве—никого. Но Александр Дмитриевич сказал, что надо остаться в Москве: здесь организуется местная группа, войду туда, привыкну к Москве. Он познакомил меня с Захаром Ивановичем Рязановым (московский псевдоним Владимира Владимировича Зеге фон Лауренберга). А. Д. рекомендовал его мне, как прекрасного, всецело преданного революционному делу работника **).

---

*) Так газеты прозвали дом, из которого был сделан подкоп под полотно ж. дор.

**) Впоследствии, в Париже, я слыхала от Л. Тихомирова те же самые хвалебные отзывы о В. В. Зеге. А однажды, в присутствии Марии Николаевны,

Я и Захар Иванович должны были устроить новую конспиративную квартиру, где впоследствии можно было бы завести типографию. Захар Иванович тотчас же занялся приисканием квартиры, и скоро мы с ним поселились в довольно невзрачном помещении, состоявшем из двух комнат и кухни в третьем этаже какого-то старого дома на Большой Никитской. Обстановку я купила на Сухаревке.

В ноябре 79 г., когда я вступила в московскую группу, она состояла из следующих лиц: кончающие медицинский факультет студенты: С. В. Мартынов, Лебедев и Кондратенко, студент-естественник Гортынский, Н. П. Андреев, Фриденсон и З. И. Рязанов (Зеге фон Лауренберг). Присутствия тогда Теллалова не помню: мне кажется, он появился впоследствии, а в начале представителем центра был Захар Иванович. Впоследствии, уже при мне, были присоединены к группе: сестра Андреева, Надежда Петровна, а затем уже при Марии Николаевне, приехавшей в Москву в феврале 1880 г., Софья Александровна Перелешина. Был еще студент, не помню какого факультета, сын богатого еврея-ростовщика, о котором я не помню, когда именно он вошел в группу.

Группу я застала еще в процессе формирования: обсуждали устав, пункты которого—об отношениях группы к центру, к Исп. К-ту—горячо дебатировались, т.к. часть членов была против централизации, хотела обеспечить местной группе больше свободы, а другие, в том числе З. И. и я, стояли за строгую централизацию, за предоставление в распоряжение И. К. значительной части (какой именно, не помню) средств группы людьми и деньгами. Вскоре на подмогу нам явился Теллалов, и взгляды централистов победили.

Вдруг произошла внезапная тревога: из Петербурга получилось известие, что Гольденберг покаялся и дает подробные показания, следствием чего для нас являлось необходимым, не медля ни минуты, ликвидировать свою квартиру. Мы это исполнили в тот же день.

С вечерним поездом я уже ехала в Петербург. Это было сейчас же после взрыва в Зимнем дворце, и в поезде только и было разговору, что об этом событии. Одобрения, разумеется, никто не решался высказывать, но часто оно так и просвечивало. Впечатление, произведенное на общество и вообще на все население Петербурга, было так сильно, сочувствие революционерам так ясно, что, несмотря на то, что цель не была достигнута, несмотря на сожаление о погибших солдатах, настроение в революционной среде было восторженное.

Проведя с неделю в Петербурге, я и В. В. Зеге, тоже приехавший в Петербург, вернулись в Москву на свой пост. Для прописки нового паспорта остановились в Лоскутной гостинице, а затем устроились на Моховой, недалеко от ее начала, по левой стороне. Квартира опять очень скромная, во дворе.

Пошла ежедневная работа. В. В. Зеге по целым дням бегал по всевозможным организационным делам; в университете, на женских курсах Герье, в Петровской академии, среди рабочих—везде у него были связи. Все практические дела группы лежали на нем. Как бы ни был он утомлен, стоило только ему убедиться, что надо сделать то-то, итти туда-то, он шел; а, несмотря на крепкое сложение и свежий вид, здоровья он был слабого. В конце апреля или начале мая он ездил в Петербург. Через несколько дней после возвращения, он заболел дифтеритом. А в то время на нашем дворе, как раз перед нашими окнами, шла стройка нового корпуса: целые тучи известковой пыли проникали к нам в окна. Решено было переменить квартиру. Едва В. В. благодаря заботливому леченью товарища по группе, С. В. Мартынова, оправился от болезни, мы переселились на Садовую-Каретную, в большой новый дом (тот самый, в котором впоследствии был арестован Ю. Богданович). На этот раз квартира была вполне комфортабельная, воздуху много, окна выходили на широкую площадь с большим фонтаном посреди. Она находилась в 3-м этаже. Но недолго мы здесь прожили.

Часа в три 29 июля я была одна дома. Раздается резкий звонок. Отворяю. В дверях, еле держась на ногах, бледный В. В., прижимает к губам пропитанный кровью платок. Помогаю войти. Успокаивает: „Ничего... уже прежде раз было то же, надо только лечь!“ Покуда его укладывала в постель, прерывисто рассказывает, что он вдруг встретился почти лицом к лицу с хорошо известным ему петербургским шпионом и в течение почти двух часов колесил по всему городу то на извозчике, то пешком через разные проходные дворы, а жара стояла страшная. Когда лег, кровотечение прекратилось. Я бросилась на извозчике к Марии Николаевне, сказала в чем дело, и обратно. М. Н. почти следом за мною привезла врача из Екатерининской больницы. К вечеру пришел Н. П. Андреев и оставался всю ночь, помогая мне прикладывать лед. На другой день врач пригласил на консилиум профессора. Ясно было, что надежды нет. 31, среди дня, опять

П. Л. Лаврова и моем, Тихомиров рассказал, что, когда возник вопрос о том, как назвать нарождающийся официальный орган партии, решили, что каждый подаст свое мнение в закрытом конверте. Принято было название „Народная Воля“, предложенное В. В. Зеге.

хлынула кровь, и в несколько минут все было кончено.

В. В. умер. Ему было 23 года. Н. П. Андреев ушел предупредить товарищей. Сейчас же приехала Мария Николаевна, затем Теллалов. Потом вся эта ужасная процедура похорон. Не торжественных с красными знаменами, а жалких, мещанских, с попом. Провожали только Теллалов и я бедного В. В., схороненного под чужим именем. Какая жалость разрывала сердце над этой ранней могилой! Адреса его родителей я не знала, известить их не могла, просила Марию Николаевну позаботиться об этом, она сказала, что Л. Тихомиров это сделает.

Когда наша группа вновь собралась, не было уже среди нас высокой, энергичной фигуры самого деятельного ее члена—В. В. Зеге фон-Лауренберга, и это отсутствие долго нами чувствовалось: Андреев, на которого были возложены исполнявшиеся Захаром Ивановичем функции, с трудом с ними справлялся.

В эти последние месяцы моего участия в заседаниях группы, август—декабрь 80 г., разговоры шли, главным образом, о необходимости добыть средства на предприятия партии.

В средних числах января 81 г. была приискана квартира для типографии в 3-м эт. одного из домов Серебреннического переулка (с правой стороны Яузского бульваря, идя от Страстного), и мы с Дмитрием Васильевичем Суровцевым и моей маленькой дочкой поселились там в качестве супругов Кологривовых.

Квартира состояла из кухни и двух несветлых, сырых комнат и под типографию, разумеется, годиться не могла. Но взяли мы ее только временно, в ожидании, покуда освободится другая в том же доме, из пяти светлых комнат, куда потом и перешли. Эта последняя и в конспиративном отношении—заглянуть в окна нельзя было, т. к. дом был значительно выше окружавших его зданий, и в техническом: достаточно места, много света—была очень удобна для подпольной типографии. Мария Николаевна доставила нам кухарку Марусю. Это была не особенно интеллигентная девушка из революционной среды. Разумеется, мы все трое исполняли кухонные обязанности, так же, как все трое работали в типографии. Но для дворника, молочницы и пр. она была кухарка, а я барыня.

Вначале наборное дело знала только я, и мне пришлось учить Д. В. и Марусю. Потом работал у нас некоторое время приехавший из Женевы наборщик Фомин. А еще позже, после разгрома народовольческой типографии в Петербурге, стала у нас работать П. С. Ивановская.

Первая отпечатанная у нас вещь была „Программа Исполнительного Комитета", хотя, может быть, отпечатали прежде одну-две прокламации. После гибели петербургской типографии „Народная Воля" стала набираться у нас.

Когда именно начала функционировать наша типография, не припомню наверное, но очень вероятно, что с мая 81 г. Ликвидировали ее в мае 82 г. За этот год существования типографии работа в ней редко прерывалась. Из конспиративных соображений мы трое нигде не бывали, и я, разумеется, перестала участвовать в собраниях московской группы. У нас бывали: Мария Николаевна, которая осведомляла нас в общих чертах о положении дел, и Н. П. Андреев, делавший все необходимые технические заказы и покупки. Из приезжих помню только Халтурина, прожившего у нас дня два. А когда после разгрома петербургской типографии П. С. Ивановская поселилась в Москве, я изредка стала бывать у нее.

После того, как Мария Николаевна убедилась, что за квартирой, где жили она и Ю. Богданович, установлено шпионское наблюдение, и, сняв с окна знак, ушла из нее, она,—разумеется, приняв все необходимые предосторожности,—поселилась у нас и прожила безвыходно все время до своего отъезда за границу. Тревожное настало время: каждый день приносил известие о новых арестах. У нас в типографии принимались предосторожности: Суровцев каждый день предпринимал обход окрестностей, чтобы убедиться, нет ли признаков слежки за ним или наблюдения за домом. Однажды, ему показалось, что за ним шел шпион, и с того дня он, Маруся и Андреев стали напряженно наблюдать за тем, что делается вокруг нашего дома. То тот, то другой замечали лиц, подозрительно прогуливающихся мимо дома или стоящих на углу.

Решено было типографию ликвидировать.

Уехать первой должна была я. Меня направили в Тифлис; сказали, что там среди военных есть связи, которые завела недавно уехавшая оттуда А. П. Корба, и эти связи передаст мне С. Дегаев.

В Тифлисе, разыскав Дегаева, я устроилась у той же квартирной хозяйки, где жил он с женою. Дегаев познакомил меня с полковником мингрельского полка Антоновым, доктором Худатовым и несколькими грузинами, фамилий которых не помню. За исключением Антонова, который вращался в своей военной сфере, остальные все были издавна сжившиеся между собою люди, но организованной группы не составляли. Самыми деятельными, ближе всего принимавшими к сердцу революционные интересы были А. В. Худатова и Надежда Кузьмина, бывшие цюрихские студентки.

Деятельность их выражалась в денежных сборах на революционные дела.

В июле или начале августа я получила от В. Н. Фигнер письмо, вызывающее меня в Харьков на совещание. Оставив ребенка на попечении няньки и мало знакомых мне Дегаевых, я тотчас же поехала в Харьков. Там я застала П. С. Ивановскую и Суровцева. Вера Николаевна объяснила положение дел в общих чертах и изложила свой взгляд на него, вполне совпадавший с нашим мнением: „Народная Воля“ разбита, надо собрать осколки и всеми силами стараться продолжать ее дело.

Мне пришлось начать тяжелой жертвой: расстаться со своим ребенком. Списалась с сестрой Соней, которая с готовностью согласилась взять ребенка на свое попечение, несмотря на то, что уже, после моего отъезда в Одессу, взяла на воспитание дочь Кутитонской. Получив это согласие, я вернулась в Тифлис за своей девочкой. Застала ее совершенно больной, и прошло недели две-три, прежде чем лечивший ее Худатов высказался за возможность пуститься с нею в путь. Тогда я вернулась одновременно с Дегаевыми в Харьков; я прожила там некоторое время с ребенком, покуда удалось устроить комбинацию конспиративной*) передачи его сестре.

Когда это было сделано, я опять уехала в Тифлис, где должна была принять участие в организации следующего предприятия: конфискации денежных сумм, хранящихся в казначействе г. Гори (недалеко от Тифлиса).

Когда окончательно выяснилась неудача предприятия, я уехала и в январе вернулась в Харьков. Вскоре после приезда прихожу раз к Руне Кранцфельд, у которой происходили мои встречи с В. Н. Фигнер. Вера Николаевна уже там. Вся радостная, она меня обнимает и сообщает о побеге С. Дегаева.

Решено было устроить в Харькове типографию взамен погибшей в Одессе. Нужна была тоже конспиративная квартира: Вера Николаевна решила, что хозяевами ее будем я и Дегаев. Скрепя сердце, я согласилась на эту комбинацию. За те два месяца, которые я провела в Тифлисе с супругами Дегаевыми у одной и той же квартирной хозяйки, я успела к ним присмотреться, и они оба были мне антипатичны. Этот харьковский период моей жизни оставил во мне самое тяжелое воспоминание. Завершился он ужасным ударом: Вера Николаевна, героическими усилиями которой все держалось, была арестована.

10 февр. 83 г. она не пришла к нам в означенный час. Зная аккуратность Веры Николаевны в делах, я стала волноваться. Вернувшийся откуда-то Дегаев казался тоже очень встревоженным, но говорил, что, может быть, что-нибудь задержало, еще придет. Прождали до вечера. Тогда Дегаев предложил итти к тому дому, где жила Вера Николаевна, и, пройдя мимо, посмотреть, все ли в порядке. В окнах темно: условленного знака не было. Вернувшись домой, Дегаев казался страшно встревоженным; я не казалась, а действительно была в полном отчаянии.

В следующие затем дни Дегаев симулировал кражу из квартиры Веры Николаевны, „еще не открытой полицией“, всех ее вещей. Потом то куда-то исчезал, то был занят шифровкой новым ключом разных адресов и паролей, которые будто бы должен был отвести в Петербург. Был очень нервным, часто проглатывал рюмку водки из стоявшего на столе графинчика. Такое состояние казалось мне естественным при данных обстоятельствах. Потом исчез на одну-две недели: будто бы ездил в Петербург, а на самом деле (как потом оказалось) прожил это время где-то под Харьковом, у своей сестры.

Вскоре после этого было решено, что необходимо кому-нибудь из нас поехать в Париж, чтобы, поставив Л. Тихомирова и М. Н. Ошанину в известность о положении дел, совместно с ними обсудить его и решить, как дальше действовать. Наиболее подходящей для этой поездки нашли меня.

В первых числах мая 83 г. я уехала в Париж. Уезжала с радостью, оставляя за собой ненавистный мне Харьков, где прошла короткая, но тяжелая полоса моей жизни—разлука с ребенком, арест В. Н. Фигнер. Оставляла за собой там совершенно чужих мне людей, а ехала к Марии Николаевне и к Л. Тихомирову.

В Париже я разыскала Ошанину. У ее хозяйки нашлась свободная комната, где я и поселилась.

Радостными были для меня эти первые дни пребывания в Париже. Отрада видеть опять Марию Николаевну, с которою меня связывало все пережитое за блестящий народовольческий период. Знакомство с П. Л. Лавровым, завоевавшим сразу мое сердце необычайною отрешенностью от всех жизненных мелочей, возвышенностью и шириной всеобъемлющего ума, величавою простотой жизни.

В первый же вечер я была с Марией Николаевной на собрании по поводу „кровавых майских дней“, на котором оратор-француз при единодушных, бурных аплодисментах всех слушателей назвал Александра III: „ce pendeur de socialistes“.

Да, радостны были эти первые дни, но непродолжительны. Вскоре надвинулись ту-

*) Конспиративность была необходима, потому что в Москве дворник и молочница, когда полиция предъявила им мою фотографию, опознали в ней скрывшуюся хозяйку типографии.

ман и грязь, которые явились из России в образе С. Дегаева. После его покаяния, когда выяснилось все нравственное уродство этого человека, вся гнусность разыгранной им комедии, я, в буквальном смысле, не могла его видеть, и несмотря на все уговоры Марии Николаевны, что это неполитично, не могла сдерживаться и, увидя его входящим, выходила из комнаты. Когда, после убийства Судейкина, он опять явился в Париж, и его конспиративно отправляли в Лондон, а затем в Америку, т. к. по уговору ему дарована была жизнь, у нас (мы с Марией Николаевной к тому времени поселились на rue Flaters, где занимали самостоятельную квартиру) временно проживала жена С. Дегаева, и мне пришлось с отвращением учить французскому языку эту противную молоденькую архангельскую мещаночку.

Все это время, покуда не был окончательно ликвидирован этот дегаевско-судейкинский кошмар, покрыто для меня каким-то скверным туманом.

Когда в 84 году из России приехало в Париж несколько человек народовольцев, и было решено предпринять восстановление народовольческой организации в России, я тоже собиралась уехать туда вместе с Г. А. Лопатиным, Н. М. Саловой и другими, но в виду моего плохого зрения решено было по конспиративным соображениям, что будет лучше, если я поеду спустя некоторое время. Как известно, в начале октября все, что начало организовываться, рухнуло, и уехать мне не пришлось.

Все наши усилия были сосредоточены на издании „Вестника Народной Воли". Мария Николаевна, секретарь редакции, была главным двигателем всего, и ее замечательный ум и тонкое понимание людей не раз улаживали возникавшие между членами редакции недоразумения. Средств на издание не всегда хватало: одно время их доставлял (кажется, для 4-го №) доктор Шредер, бывший набатчик, автор изданного за границей романа „Василиса", друг Ткачева, знакомый Марии Николаевны еще по Орлу. Дал он, кажется, пять тысяч франков, точно не помню.

В Париже я прожила три года. Эти три года я провела в постоянном общении с Ошаниной, Л. Тихомировым, П. Л. Лавровым, Г. Лопатиным и др., участвуя во всем, что происходило в нашем тесном кругу. За все это время сношения с Россией не прерывались. „В. Н. В." и другие наши издания, хотя и в небольшом количестве, доставлялись контрабандным путем в Россию. Из России получались и корреспонденции и письма.

Летом 86 года я покинула Париж и поехала в Женеву заведывать типографией „В. Н. В." (Вольная Русская Типография). В ней тогда единственным работником был Иван Васильевич Бохановский.

Говоря об издательской деятельности „Народной Воли" за границей, нельзя не сказать хотя бы несколько слов о человеке, руками которого были набраны почти все народовольческие заграничные издания.

После своего побега из Киевской тюрьмы*) И. В. Бохановский уехал в Женеву, где вращался в кружке „Работника" и между французскими коммунарами изгнанниками. Он скоро специализировался на наборном деле. Сначала он работал в типографиях: „Работник" и „Révolté", а когда за границей стали печататься издания „Народной Воли", программу которой Иван Васильевич вполне разделял, он стал постоянным работником народовольческой типографии. „Календарь Нар. Воли", „На Родине", биографии Желябова, Перовской, Кибальчича, „В. Н. В.", „Материалы по истории русской революции", все это прошло через его руки. Искусный работник, человек чистейшей души, глубоко преданный революционному делу,—он всегда исполнял взятое на себя дело безупречно. С таким работником у нас в типографии дело пошло гладко и дружно. Работа была распределена следующим образом: И. В. Бохановский исполнял всю техническую работу (набирал, верстал, снимал корректуру, заключал в раму), а я вела сношения с редакцией, с печатней, брошюровщиком, правила корректуру, а также помогала в наборе, когда было на то время.

Набирали мы 5 № „В. Н. В" и одновременно „Колокол", избранные статьи А. Герцена.

Вдруг 20 ноября утром прибегает ко мне на квартиру, где я жила, на окраине довольно-таки далеко от типографии, хозяйка квартиры, смежной с нашей типографией, которую она убирала (для чего ей оставлялся ключ от входной двери), и с воплями сообщает, что в типографии взломаны замки, побиты стекла и все внутри разгромлено. Спешу в город, захожу за Иваном Васильевичем, направляемся на rue Montbrillant, в свою типографию. О, ужас! Посредине первой же комнаты громадная куча изорванных изданий: „В. Н. В.", „Календарь Н. В.", „На Родине", „Биографии первомартовцев", до того аккуратно наполнявшие стенной шкаф, дверь которого, со взломанным замком, стояла теперь распахнутой. Кроме того, были изорваны уже отпечатанные листы № 5 „В. Н. В." и „Колокола". А рядом куча шрифта, развороченный набор приготовленных к печати листов 5 № „В. Н. В." и „Колокола". Теперь все это было превращено в то, что

*) Устроенного М. Фроленко и Осинским.

в типографиях обозначается словом „сыпь“ и годно только в словолитню *).

Извещенная немедленно полиция произвела дознание, составила протокол. Дальнейшим следствием было установлено, что разгром произведен двумя субъектами, проживавшими в Женеве под именами Кун и Грюн, теперь неизвестно куда скрывшимися.

Было также установлено, что соседка-уборщица получила от них 20 франков. Виновники разгрома так и остались неразысканными. Для нас впоследствии стало очевидным, что они были подручные Ландейзена.

Вскоре после разгрома нашей типографии швейцарское правительство издало постановление, запрещающее агентам иностранной полиции работать в пределах Швейцарской республики, так как они своими подкупами развращают швейцарских граждан.

Выпустив 5 № „В. Н. В.“ и „Колокол“, мы перенесли типографию на другую квартиру в непосредственном соседстве с тем домом, где мы жили. Тут она была в большей безопасности, а в 88 г. взяли ее на свою собственную квартиру, где она и оставалась до начала девяностых годов, когда была передана ближайшим наследникам „Нар. Воли“ — социалистам-революционерам.

На этом я и закончу.

Чуйко, Владимир Иванович **).

Родился я 9 апреля 1857 г. в губ. городе Житомире, Волынской губ., в семье незначительного чиновника. Дед мой по отцу был родом из м. Золотоноши Полтавской г., дожил до глубокой старости и не умел говорить по-русски, хотя и был русским чиновником. В качестве русского чиновника он и отец фамилию свою писали с „в“ на конце, так писался и я вплоть до выхода на поселение, когда Забайкальское областное правление и Кенонское волостное правление, куда я был приписан по отбытии каторги, при выдаче мне паспорта стали писать мою фамилию без „в“ на конце, чему я не прекословил. Считаю необходимым сделать эту оговорку.

Мать моя, Розалия Викентьевна Саноцкая, была украинка-полька. Как во всех семьях юго-западного края того времени, в нашей семье сперва господствовал разговорный польский язык. Я помню, как отец и мать, проснувшись утром и лежа еще в постелях, благочестиво распевали утренние гимны на польском языке. На праздники рождества и пасхи к нам собирались бабушки, тетушки и знакомые, попив, поев, чинно усаживались и принимались распевать хором приличные случаю священные гимны и тоже на польском языке. Как благовоспитанный мальчик, я должен был подходить к ручкам всех присутствующих дам. Занятый службой, отец мало обращал на нас внимания. Все заботы о нас лежали на матери, которая нежно любила нас, заботилась о нас и, не получившая сама особого воспитания, все хлопотала о том, чтобы нас подготовить для дальнейшего образования, когда мы подросли. Не помню, чтобы она когда-нибудь меня наказывала, может быть и потому, что в детстве я был хилым, болезненным. Она же научила меня читать и писать.

Начал я себя помнить очень рано. Первые смутные и отрывочные воспоминания относятся к тому времени, когда мне было не более 4 лет. Совершенно ясно помню некоторые эпизоды из времени польского восстания. В одном с нами дворе жила семья богатого польского помещика, у которого были дети—однолетки мне. Меня поразило, почему бабушка их стала ходить вдруг в черных траурных платьях („жалоба“). Обратил я внимание на печальные лица и какие-то таинственные разговоры у отца с матерью. Раз старушка из костела не вернулась, и жена помещика прибежала к отцу в слезах. Отец ушел хлопотать и вернул старуху, арестованную было за пение в костеле польских патриотических песен. Потом вижу себя уже на другой квартире, в доме бабушки по матери. Со двора нашего дома хорошо была видна дорога из уезда в город, довольно круто спускавшаяся к мосту через р. Каменку. И вот по этой дороге начали появляться вскачь крестьянские телеги, а на телегах лежали связанные повстанцы, некоторые раненые. Их везли в тюрьму. При виде этих телег бабушка и тетка плакали, говоря, что одних казнят, а других повезут в Сибирь. Я жалел связанных, а, может быть, и плакал.

У нас постоянно была наемная прислуга. В особенности подолгу живала одна, уже пожилая хохлушка, прекрасная работница, по временам запивавшая. Напившись, она грубила матери и рассчитывалась. Но как-то так случалось, что новая прислуга оказывалась негодной, и на кухне вновь появлялась Марья. Эта Марья знала массу сказок и песен, была большой моей приятельницей, и в часы ее досуга я не давал ей покою, пока она не начнет рассказывать сказок или петь песни.

Гостила иногда у матери по несколько дней ее приятельница Курцевич. Это была еще не старая, веселая, с большим чисто хохлацким юмором женщина. Она тоже

*) Мы, однако, впоследствии принялись за рассортировку этой сыпи при деятельном содействии добровольных помощников—студентов и студенток.

**) Автобиография написана в январе 1926 г. в Иркутске.

знала массу сказок, песен, легенд и рассказывала мастерски. Появление в нашей квартире „Курчевички" было для меня большим праздником, и я с нетерпением ждал вечера, когда обыкновенно начинались рассказы, под которые я часто и засыпал. Так протекало мое детство.

Не помню, как я учился читать и писать. Должно быть, наука эта (бра, вра, гра, жра) далась мне не особенно трудно. Первой книгой для чтения, с которой я постоянно носился, была священная история Базарова с картинками. В детстве я был очень религиозен, ел с Марьей все посты постную пищу и мечтал, когда выросту, быть монахом. Как это ни странно, я не помню, чтобы у меня были книги-сказки; может быть, они были чересчур дороги для моих родных. Впрочем, книги вообще появлялись у нас в доме довольно редко.

Уже с польского восстания польский язык стал отходить на задний план, а когда пришло время учиться, мать стала требовать, чтобы я говорил по-русски.

Семья отца увеличилась, получаемого содержания стало не хватать, и мать придумала взять нахлебников учеников. Было получено разрешение от гимназического начальства, была нанята квартира побольше, и отведенные для нахлебников комнаты скоро наполнились учениками. С учениками в доме появились и книги из гимназической библиотеки. Так как ученики были не ниже 3 класса, то появившиеся книги были Пушкин, Гоголь, Тургенев, Григорович. Помаленьку я пристрастился к чтению. Помню, что первой прочтенной мной книгой были повести Тургенева. Купер, Майн Рид появились тогда, когда я сам стал гимназистом. Поступил я в гимназию поздно, на двенадцатом году.

Между тем, мать моя начала все похварывать, окончательно слегла вскоре после моего поступления в гимназию и не встала. С ее смертью все пошло вверх дном. Нахлебники были брошены, хозяйство оказалось на руках наемной прислуги. Ранее только изредка, по случаю, выпивавший, отец стал сильно пить. Так прошло два-три года, пока, наконец, отцу предложено было выйти в отставку. Пенсия выслужена не была. Пришлось совсем плохо. Был я тогда в 4 классе. Раз вечером отец вернулся, сильно выпивши, и я стал упрекать его, что он губит себя и нас. Отец бросился меня бить, а я в одном мундире, в рваных сапогах убежал к деду. Была зима, было холодно. У деда я прожил несколько месяцев, при чем за неимением сапог просидел месяца полтора дома, много пропустил и остался на второй год. На каникулы я нашел уроки—готовить в приготовительный класс мальчиков, а осенью мне предложили урок за квартиру и полное содержание. С тех пор я и стал жить собственным трудом.

Свои гимназические годы я не могу помянуть добром. Это был расцвет толстовского классицизма. Учителя были обезличены, находились в полном подчинении у директора и за немногими исключениями были чиновники в футлярах. Исключением были учитель словесности Шавров и учитель истории Белогрудов. Шавров не ограничивался одной программой, настаивал на знакомстве учеников с русскими и иностранными писателями, говорил о значении Белинского и Добролюбова. Еженедельно под его руководством ученики старших классов разыгрывали „Ревизора" и „Женитьбу" Гоголя, „Горе от ума" Грибоедова и бытовые пьесы Островского, и из некоторых учеников, как, например, из Владислава Избицкого, осужденного потом в Киеве на каторгу и погибшего в сибирской тайге, вышли недурные исполнители. Влияние Шаврова, по-моему, было очень велико. Белогрудов тоже требовал не ограничиваться Иловайским и Белярминовым.

Вся гимназическая система как раз достигала противоположных результатов. Как на пример укажу на развитие в учениках совершенно индиферентного отношения к религии. Достигалось это простым способом — обязательным посещением гимназической церкви, с постоянным слежением за поведением учеников в церкви, при чем поп подглядывал из алтаря и завел наушников.

Если не ошибаюсь, в 1874 г. в Житомир были высланы под надзор полиции Урсин и Виленц. Последний был местный уроженец и имел брата в старшем классе гимназии. Они свели знакомство с учениками старших классов, и с их-то легкой руки „крамола" свила прочное гнездо в Житомирской гимназии. Среди гимназистов старших классов пошли гулять недозволенные для чтения книги, в первую голову сочинения Писарева. Появилась и нелегальная литература, только в небольшом количестве. Но все-таки организованного кружка не было.

Урсин и Виленц, как таинственно появились, так и скрылись. О появлении их я узнал после. И к нам, ученикам 4 и 5 классов, стали перепадать недозволенные книги: романы Шпильгагена, „Эмма" Швейцера, „Что делать", Флеровский и Писарев. Статьи Писарева, можно сказать, перевернули в наших головах все вверх дном и из самых благонамереннейших учеников делали прежде всего протестантов против гимназического режима. Появилась нелегальщина, прежде всего в виде сказок. Первой нелегальной книжкой для меня была „Сказка о 4-х братьях". Мне она не понравилась: мне показалось неправдо-

подобным, чтобы все 4 брата, отправившись в разные стороны, встретили только одну неправду. Мы, конечно, обменивались мнениями по поводу прочитанного, увидели свое полное невежество и решили, не помню уж по чьей инициативе, образовать кружок самообразования. Составился небольшой кружок, собиравшийся на квартире будущего знаменитого профессора В. В. Подвысоцкого. Обменивались мыслями по поводу прочитанного, писали рефераты. Помню, решили познакомиться с политической экономией и начали знакомиться с ней по Миллю. Одновременно с этим постановили завести библиотечку из недозволенных для гимназистов книг, обложили себя небольшими взносами и стали покупать книги.

Подошли переходные экзамены, и кружок наш приостановил свою деятельность, а летом 1876 г. из этого кружка выделился уже чисто революционный кружок, сформировавшийся к августу месяцу. В него, кроме меня, вошли Аполлон Немоловский, Федор Компанец, Меер Абрамович, Антон Пашинский, Иван Дьяков, Стефания Шимановская и еще два-три человека, принимавшие в делах нашего кружка менее деятельное участие. Кроме меня и Дьякова, гимназистов, остальные уже вышли из гимназии по разным причинам. Я поселился на отдельной квартире, на краю города, чтобы иметь удобное место для собраний. Библиотечка осталась в наших руках. Немоловский, а затем Пашинский ежедневно часа по три работали в кузницах, чтобы приучиться к физической работе и попутно завести сношения с рабочими. Мы завели определенные сношения с Питером, а потом с Киевом, через бывших товарищей по гимназии.

В это время к нам из Киева приезжал Григорий Гольденберг для установления связи с киевским кружком. Нам он не понравился, и мы не посвятили его в курс всех наших дел. Прожил он у меня дня три и уехал обратно. Сношения с Киевом мы вели через брата Немоловского, Филиппа, а с Питером через Осипа Вайнштейна. Я переменил квартиру и поселился у кузнеца вместе с Немоловским—это было выгодно для Немоловского, который мог работать в кузнице, не обращая особого внимания посторонних. У меня остановился еще и прожил несколько месяцев сельский учитель Петр Галушкин. Под влиянием, главным образом, чтения газеты и журнала „Вперед“ кружок наш пришел к мысли, что мы, собственно говоря, должны попытаться перейти к практической деятельности среди народа для пропаганды социалистических идей и подготовки народа к восстанию. Был выработан план купить или арендовать несколько десятин земли, стать землеробами, вести, конечно, примерную жизнь, работать, как следует, и, приобретя некоторое доверие у крестьян, заняться пропагандой.

Еще ранее один из окончивших гимназию товарищей перед отъездом сказал мне, что учитель истории, Белогрудов, очень интересуется нелегальной литературой и просил меня снабжать его таковой. Я стал довольно часто бывать у Белогрудова, оказавшегося очень милым, симпатичным человеком. Когда я рассказал ему о наших планах, он горячо восстал против них, доказывая, что ничего из этого не выйдет, что такие попытки были и терпели фиаско даже в Америке. Конечно, это были „фантастические замыслы Миная“, тем более, что кроме Немоловского, сына сельского священника, и Петра Галушкина, никто из нас даже не жил никогда в деревне, не говоря уже о том, что мы не имели никакого понятия о сельских работах. Но мы считали, что все это пустяки—научимся, была бы охота. Более важным был вопрос о деньгах—надо ведь было собрать хотя несколько сотен. Вот и решили добывать денег. Я решил выйти из гимназии и уехать на урок к богатому помещику, таким образом скопить посильную лепту. Тут Немоловского взяли в солдаты и услали на Кавказ, Галушкин уехал в Киев. Я подыскал новую квартиру на другой окраине, тоже у кузнеца. Поселился вместе с Пашинским. До сих пор не знаю точно по какой причине, только 5 апреля 1877 года часа в три пополудни я узнал от моего отца, что жандармы ищут мою квартиру, и что брат мой Степан побежал меня предупредить. Оставив об этом по дороге домой записку одному из товарищей, я помчался домой, надеясь предупредить жандармов и убрать нелегальщину. Спешил еще и потому, что этот день был днем нашего очередного собрания. Когда я отворил в сенях дверь в мою комнату, за моей спиной открылась дверь из хозяйской половины, и в сени выскочили два рослых жандарма. В нашей с Пашинским комнате стол был отодвинут на середину, за столом восседали жандармский полковник и прокурор, навалена была литература. Сбоку сидел Пашинский, в углу у окна мой брат и прибежавшая на собрание Шиманская. Мне был предложен, после вопроса, кто я, вопрос—чьи книги. Я ответил, что все мое. Прокурор, ехидно улыбаясь, ответил, что, по словам Пашинского книги в его столе принадлежат ему. „Ему, так ему!“ Кроме, книг в столе Пашинского, было много книг и в моем столе, и целая их куча была сложена на печке. На печке лежала масса нелегальных брошюр на малороссийском языке, которые незадолго были получены нами из Киева, неизвестно по какой причине в большом изобилии. Часов около 10 ве-

чера мы с Пашинским попали в тюрьму. В ожидании смотрителя и приемки я вспомнил, что у меня в кармане два письма, которые необходимо уничтожить. Я сказал об этом Пашинскому. „Ешь“, последовал ответ. Легко сказать, а в горле пересохло, но вытащенное мной небольшое письмо все же было мной съедено. Второе было из Киева на большом листе. Половину я изжевал, проглотить не мог и, бросив незаметно в угол под скамейку, принялся за вторую. Делал я это, ходя по тюремной конторе в то время, когда поворачивался спиной к жандармам. К счастью, смотритель был где-то в гостях, и за ним посылали. Явился смотритель, и нас переодели. Изжеванную, но непроглоченную мною вторую половину письма я захватил с собой в тюрьму и во время обыска в камере быстро сунул в рот. Оставшись наедине я изорвал ее на мелкие части и бросил в парашу. Кружковая наша библиотека была сдана мной Дьякову. Перед моим арестом он заболел тифом и не был у меня, почему остался вне подозрения. Сделали обыск у Компанца и Абрамовича. У Абрамовича нашли квитанцию в посылке в Питер телеграммы на имя Вайнштейна, извещавшей о внезапной тяжкой болезни Щурова. Добрались какими-то путями до подозрения о сношении с Киевом. В Питере и Киеве все обошлось благополучно, но, как я после узнал, могло бы кончиться и серьезными провалами. После ряда допросов я понял, как иногда не следует прибегать к выдумкам. Мне сказали, что нелегальщину я получал из Питера. Я отрицал. На предложение указать, от кого я получал, я сказал: от неизвестного, с которым познакомился во время купанья в р. Тетереве. Получил на хранение. А приметы его: высокий, тонкий, рыжий. Прокурор, смеясь, уверял меня, что он низенький, толстый, черный, т.-е. Вайнштейн. Месяца через 4 полковник с торжеством заявил мне, что моего рыжего поймали, что это Петр Галушкин. Хотя Петр Галушкин был среднего роста, но бородка у него была действительно рыжая. В тюрьме мы просидели до начала 1878 г. В тюрьме я познакомился с одним уголовным, бывшим офицером, много раз бегавшим из тюрем. В Киеве он был распропагандирован Брешковской. Не знаю, под влиянием ли Брешковской, только у него было много книг, в особенности по естествознанию и медицине, которыми он делился со мной. Я с жадностью набросился на книги по естествознанию. Книги были очень ценные, как, например, „Естественная история мироздания“. В начале июля 1878 г. меня увезли в Вологду, и только здесь я узнал, что по высочайшему повелению сослан административно под надзор полиции и назначен в Усть-Сысольск. Туда же был назначен и Пашинский. До Устюга нас провезли на пароходе, а из Устюга отправили по этапу. Таким образом, вывезенные первый раз в жизни из родного города, мы на сей раз испытали все способы передвижения, кроме воздушного. Представляли мы, вероятно, собой довольно курьезную парочку птенцов, довольно-таки пощипанных тяжелыми условиями тюремной жизни. По крайней мере, такое впечатление мы произвели, как я после узнал, в Сольвычегодске на известного впоследствии статистика Щербину, его жену и приехавшего тогда к ним в гости будущего моего сопроцессника Аф. Аф. Спандони. Щербина сказал, что в Усть-Сысольск выслан студент петровец Иван Царевский. Подъезжая к Усть-Сысольску, мы узнали, что Царевский бежал. Когда мы, сидя на двуколке, в сопровождении конвоя въезжали в город, из окон двух крайних противоположных домов высунулись головы, назвавшие наши фамилии и приглашавшие нас к себе. В полиции нас встретил большепроцессник, б. офицер Илья Аитов. Мы скоро были отпущены и отправились по приглашению. В этих двух квартирах жили слесаря питерского патронного завода, члены Сев.-рус. рабочего союза, Дмитрий Смирнов и Семен Волков. Тут же был и Иван Царевский, уже пойманный и готовящийся повторить попытку побега. Мы поселились вместе. Все поднадзорные имели право на пособие — привилегированные по 6 руб., рабочие по 3 р. в месяц. У Смирнова и Волкова была мастерская, и от пособия они отказались. Почти сейчас же после нашего прибытия привезли Веру Павловну Рогачеву, а потом Степ. Мальского. Рогачеву скоро увезли в Яренск. Квартира стала для нас тесна, и мы сняли пустовавший особняк, ремонтировали его. В сентябре привезли Марию Герасимовну Никольскую-Осинскую жену Валериана Осинского. С нами же поселился рабочий ткач Федор Власов, до этого под запугиванием исправника живший отдельно и работавший у кулака-кожевника. К концу 1879 г. колония наша увеличилась: привезли студентов Заведеева, Дубова, Олимпия Стефановича (брат Якова), земца Чернышева и еще нескольких, фамилии коих сейчас не помню. Я забыл сказать, что Ив. Царевский недели через две после нашего прибытия в ссылку вновь бежал, был пойман, посажен на этот раз в тюрьму, а затем отправлен в Сибирь, в Якутку, где и умер. Наша ссылка была без срока, книг было очень мало. Некоторые помогали слесарям в работе, но работы для всех не хватало. Некоторые газеты и журналы доставали у председателя земской управы и у доктора. За черту города отлучаться без разрешений исправника запрещалось и за недозволен-

ное катанье на лодке по приговору дореформенного суда пришлось мне лично отсидеть два дня в тюрьме. В разговорах за обедом и чаями выяснилось, что старые пути не годятся, что работе мешает полицейский произвол. Надо искать новых путей, и прежде всего необходима политическая свобода. Это чувствовалось всеми нами. Пришел 1879 г. с вооруженными сопротивлениями, с массой виселиц, с покушением Соловьева, с взрывом под Москвой. Все это крайне нас будоражило. В 1880 г., вскоре после взрыва в Зимнем дворце, у меня вышло столкновение при случайной встрече с старичком генералом, воинским начальником из Вологды. Генерал стал мне читать нотации, я не пожелал слушать, отвечая сперва в мягкой форме, а затем в довольно резкой. За это я через Тверь попал в Вышний Волочок, в специальную пересыльную политическую тюрьму. Здесь я застал целую компанию, скоро увеличившуюся привозом из Варшавы около 30 человек. Было несколько человек из ссылки на север России—Иванайн, Князевский, Короленко. „Диктатура сердца“ прислала в Волочек кн. Имеретинского и Косаговского для ознакомления с причинами ссылки. Был опрошен и я и указал его сиятельству, что всецело был вызван на резкость бестактностью генерала. В июле в партии в 87 человек был отправлен в Сибирь, но доехал только до Томска. В Томске ждала телеграмма Лорис-Меликова, давшая право мне в числе пяти человек на повсеместное проживание, кроме столиц и Крыма. Местная власть предоставила нам только возможность доехать до Тюмени на той же барже, на которой мы приехали в Томск. Достали денег и поехали с проходными свидетельствами. Я приехал в Киев с 60 к. в кармане. В Киеве розыскал студентов, бывших товарищей по гимназии, и прежде всего достал программу Исполнительного Комитета, которую принял целиком.

Не устроившись в Киеве, уехал в Житомир к отцу. В Житомире пробыл несколько месяцев, тщетно ища работы, так как все пути для меня были закрыты. В Житомире я застал большой кружок, разросшийся из организованного мной перед арестом гимназического подкружка. Жандармы взяли меня под наблюдение, и приходилось быть очень осторожным. За это время способствовал только побегу Исаака Ливинского из-под ареста на гауптвахте. В 1881 г., осенью, переехал в Киев, где достал работу. Жил коммуной с бывш. ссыльными Кржеминским и Денисом Козловским. Бывало много народу, в том числе и А. А. Спандони, вернувшийся из ссылки. Для усиления средств кассы Красного Креста одно время усиленно гектографировал изъятые из обращения „Письма к тетеньке“ Щедрина, а Кржеминский рисовал виньетки. Письма шли ходко и дали порядочную сумму.

В 1882 г. Исаак Ливинский предложил мне присоединиться к организуемому им кружку народовольцев. В кружок этот входили брат и сестра Яновские, Анг. Богданович и еще три-четыре человека. Предполагалась пропаганда среди студенчества, военных, рабочих, оборудование типографии. В Киеве была народовольческая группа с представителем от центра, среди этой группы у меня были знакомые. Я согласился, но с непременным условием присоединиться к группе или войти с ней в соглашение. Пока что заводили знакомства, достали немного шрифта, заготовляли материалы для паспортного стола. У Ливинского не было своей квартиры, и он ночевал у товарищей, чаще всего у меня, ночевал и накануне ареста. Арестовали его вместе с Ангелом Богдановичем при выходе из ресторана. Следовало мне ожидать обыска. Посоветовавшись с членом местной группы, товарищем моим по гимназии, Степаном Росси, я решил перейти на нелегальное положение. Получив паспорт и явку в Харьков, я уехал; явившись в Харькове по данному мне адресу, я попал на квартиру к Сигизмунду Комарницкому и Аполлону Немоловскому, моим землякам и приятелям. Комарницкий встретил меня словами: „Ты что же сюда приехал заводить крамолу“, намекая этим на мои сношения с Ливинским. Здесь я познакомился с членами местной группы—Анненковым, Омировым, Александром Кашинцевым и другими. Скоро мне удалось получить урок, материально меня обеспечивавший.

Приехал я в Харьков летом 1882 г., а был арестован 25 февраля 1883 г. При обыске взяли у меня хорошо оборудованный паспортный стол и литературу. Обвинялся в сношениях с разными молодыми людьми, в очистке квартиры В. Н. Фигнер после ее ареста. От показаний отказался, заявив, что взятые у меня вещи составляют собственность партии „Народная Воля“. Одновременно со мной были арестованы Вас. Иванов и раб. Яков Собко.

Высшая администрация в Харькове перед коронацией Александра III ждала манифеста. Только этим можно объяснить, что когда Вас. Иванов пришел в нервное расстройство и стал бушевать, меня посадили в одной с ним камере. У В. Иванова были галлюцинации, и черных тараканов он принимал за жандармов, старался их уничтожать.

После коронации нас по одиночке отправили в Петропавловку. Осенью 1884 г.— суд, давший мне 20 л. каторги. Мы со Спандони перезимовали в Москве, а весной были отправлены в Сибирь. Перед отправкой нас обрили и заковали. На

Кару прибыл в конце 1885 г. При ликвидации Карийской тюрьмы в 1890 г. переведен в Акатуй. В 1891 г. из Акатуя обратно на Кару в вольную команду. На поселении в Чите сперва занялся уроками, а потом служил на ж. д. Обзавелся семьей и за неимением средств вернуться в Россию окончательно засел в Иркутске. С выхода на поселение начинается собственно „обывательское житие", никакого интереса не представляющее, а посему заканчиваю.

Прибавлю несколько слов о судьбе упомянутых в этом очерке лиц. Немоловский умер в Шлиссельбурге. Компанец, будучи студентом Петербургского университета, был арестован за пропаганду среди рабочих, сослан в Сибирь, где и умер. Галушкин умер в Киевской тюрьме от чахотки. Ливинский был осужден киевским военным судом, кажется на 10 л. каторги, и умер в Киевской крепости. Судьба остальных лиц мне неизвестна.

Шебалин, Михаил Петрович *).

Родился я в 1857 г. в дер. Новоселки Казанск. губ. Лаишевск. уезда в семье небогатого помещика. Отец мой, ярый сторонник освобождения крестьян, служил мировым посредником по первым выборам, заслужил немилость дворянских кругов за свою деятельность, направленную в пользу крестьян, и, после того как его забаллотировали при выборах на 2-е трехлетие, принужден был искать службу в других губерниях. Уже по назначению министерства, а не по выборам, он служил в Гомеле и затем в Подольской губ. мировым посредником.

Т. обр., детство мое прошло в деревенской обстановке, сначала великорусской, а затем украинской деревни, среди ее интересов и разговоров о деревенских, „крестьянских" делах, которые вторгались неизбежно в наш семейный обиход через отца—мирового посредника и его сослуживцев и клиентов, посещавших нас.

Забравшись в кабинете отца в укромный уголок, я незаметно присутствовал иногда при разборе крестьянских дел, при докладах старшин, старост и писарей. Некоторые дела не могли не врезаться в память даже 7—8 летнего мальчика по своей шумности и яркости: когда, например, шумная толпа пеших и конных возбужденных людей поздно вечером вваливала к нам на двор, требуя разбора их спора о „потраве", или когда многолюдный сход шумел, упрямился и не хотел принять какую-то меру, несмотря на все убеждения моего отца, что это законно и необходимо. Все это, а также рассказы отца в моем присутствии о „волнениях" крестьян, в частности о т. наз. „Бездненском деле" (Антона Петрова), хотя мало еще осознавалось, но все-таки оставляло неизгладимый след в душе мальчика, заставляло интересоваться крестьянским делом.

Несмотря на то, что учить меня начали очень рано и языкам, и музыке, и танцам, деревенская обстановка давала мне много простора, да и домашняя наша дисциплина не была очень строга: была возможность лазить по деревьям, бегать босиком, ловить не только рыбу, но и лягушек, играть и драться с деревенскими ребятами. Так прошло мое детство до поступления в гимназию в обстановке деревни, которая, несомненно, укрепила меня физически и дала некоторый материал для будущей идеологии.

В 1869 г. отец окончательно бросил службу, мы поселились в г. Каменец-Подольске, и я поступил в гимназию, в которую только что начали вводить т. наз. классическую систему. При моем поступлении в нашей гимназии еще 1 год сохранялась прежняя система (естествен. история, физическая география и пр.), но уже в следующем году в III классе был введен греческий язык, и я попал как раз на этот перелом, очень тяжело отзывавшийся на всех учащихся. Но несмотря на это, мое ученье шло недурно, а мальчишеские годы прошли весело и беззаботно.

Старая полуразрушенная крепость Каменец-Подольска, расположенная на живописных скалах, представляла много укромных уголков и для игры в мяч и для экскурсий в старые башни и темные коридоры и туннели. Самый город, с многими очень оригинальными зданиями старых монастырей, церквей, панских палаццо, вместе с крепостью возбуждал во всяком мальчике интерес к истории, к происхождению и судьбе этих толстых стен церквей, дворцов. Население города смешанное (украинцы, евреи, великороссы), в большинстве состояло из еврейской бедноты, ютившейся страшно скученно в центральной части города и в предместье Карвасарах, и представляло даже для случайно проходившего мальчика такие поразительные картины нищеты, что они оставляли неизгладимый след в сознании и были первым толчком к размышлению о том, почему не все счастливы в этом прекрасном мире.

Как водится, эти размышления натолкнули на „проклятые вопросы", и вот, будучи еще в пятом классе, я пережил резкий перелом от религии к атеизму, от лойяльности к существующему строю к его отрицанию.

Затем основывается кружок саморазвития И. Л. Шполянским и мною. Этот кружок,

*) Автобиография написана в декабре 1925 г. в Москве.

хотя и тайный, задавался самыми невинными целями: саморазвитием и изучением вопросов, затронутых в легальной литературе; но тогда была эпоха хождения в народ, и, конечно, нелегальная литература проникла и к нам.

За время своего существования кружок наш благополучно жил и не подвергался репрессиям, но некоторые бывшие члены его, правда не за кружок, а за дальнейшую деятельность свою, довольно сильно пострадали. М. Шпиркин был приговорен в Киеве к каторж. раб., И. Шполянский должен был эмигрировать, спасаясь от неизбежного ареста, и затем застрелился в Париже. Урсынович Л., Н. Коновкин и А. Недзельский были высланы из Питера административно: первые двое в Сибирь, последний на родину.

Т. обр., кружок наш, несмотря на свою легальную внешность, недурно подготовлял юношей к борьбе с существующим строем, хотя пользовались мы преимущественно легальными книжками. Были у нас в ходу журнал „Знание“, сочинения Флеровского, Михайлова, Чернышевского, Лаврова, Писарева и пр. Добывали мы и „Вперед“ и другие заграничные издания.

В 1878 г. я и большинство членов нашего кружка окончили гимназию и разъехались по университетам. Человек 5—6, в том числе и я, поехали в Питер: 2 в Медико-Хирургическую академию, остальные в университет.

Поступив на математический факультет, я, не оставляя научных занятий, принял деятельное участие в студенческой жизни и, конечно, в студенческих волнениях. Время тогда было беспокойное: в связи с волнениями в провинциальных университетах было много сходок и в питерских высших учебных заведениях.

В 1878 году произошла демонстрация у Аничкова дворца; закрытие библиотеки-читальни Мед.-Хирург. ак. сопровождалось атакой конных жандармов на толпу и арестами студентов; вообще, первый год моего студенчества окунул меня с головой в т. наз. „студенческие беспорядки“. И в последующие годы своего студенчества вплоть до 1882 г., когда окончил университет, я принимал участие в жизни петербург. студенчества, за что и был судим 1 или 2 раза профессорским судом (по старому уставу), но приговорен был только к замечанию или выговору.

С первого же года пребывания в Питере я получил связи с революционной средой, но в тесные обязательные отношения к нелегальной организации не становился, ограничиваясь личною помощью революционерам и деятельностью в студенческих кружках. Тогда только что осуществлялось разделение на „Нар. Волю“ и „Черный Передел“. Мы, периферия, узнали об этом, конечно, не только из того, что вместо „Земли и Воли“ появилось 2 органа, но из дебатов, происходивших в кружках.

Из лиц, с которыми мне приходилось при этом сталкиваться, припоминаю: Бонч-Осмоловского, Лавренiуса, Дубровина Евг., Блёка, Ченыкаева, Федорчукову, Долгорукову (жену Ширяева), с которой я познакомился через своего гимназич. тов. Коновкина. Через него же я познакомился и с Н. И. Рысаковым, тогда еще легальным студентом Гор. инст. У другого моего тов., Урсыновича, встречал я Желябова. Благодаря этим знакомствам, встречался я и с Тимофеем Михайловым и с Гриневицким, которые пользовались моею квартирой для свиданий. Знал я и Тычинина, трагически погибшего в Доме предв. заключ.

Несмотря на некоторую близость к видным революционерам, несмотря на то, что мои ближайшие товарищи по гимназич. кружку—Коновкин (арестован нелегальным) и Урсынович были сосланы в Сибирь, а Лозинский и Недзельский (двое других) арестовывались после 1 марта 1881 г., я оставался вполне чистым, ни разу не был арестован и поэтому к арестованным тов. ходил на свидание, носил передачу и пр. вплоть до их отправки в Сибирь.

Весной 1882 г. я окончил университет и, получив звание учителя средних учебных заведений, решил не уезжать в провинцию, где мне предлагали занять место учителя гимназии, а остаться в Питере, занимаясь частными уроками. С революционной средой связи у меня не прерывались, несмотря на аресты и высылку многих моих друзей и товарищей.

В то время (осенью 1882 г.) положение дел „Народной Воли“ в Питере после летних арестов было довольно печальное, но зимою уже образовалась группа лиц, которая старалась связать все уцелевшее и продолжать революционную работу. В этой организации были братья Николай и Василий Андреевичи Карауловы, Софья Ермолаевна Усова, Петр Филипп. Якубович, Кривенко, Прасков. Федор. Богораз и др. В этой-то организации я и П. Ф. Богораз взяли на себя роль хозяев типографии, которая и работала (как я описывал в своей статье в „Былом“ за январь 1907 г.) вплоть до конца 1883 г., когда решено было типографию свернуть, а нам уехать из Питера в виду готовящегося акта над Судейкиным.

Поехал я с женою (П. Ф. Богораз) сначала в Москву, а оттуда в Киев, где я должен был поставить нелегальную типографию, но, к сожалению, благодаря предыдущим арестам, разгромившим прежнюю организацию, дела сложились так, что мне пришлось взять на себя роль лица, руко-

водящего по всем местным линиям деятельности.

После окончания дела Судейкина-Дегаева ко мне в Киев приехал из Парижа, как делегат заграничного центра, В. А. Караулов, а из Питера приезжал П. Ф. Якубович. Связи с харьковской и др. организациями тоже были, и мы, объединив все, что осталось после арестов в Киеве, думали продолжать работу и даже издавать местный орган „Социалист“.

В конце февраля мы заметили слежку за собой, стали сниматься, но опоздали. Только немногие успели скрыться. В марте произошли аресты.

В ноябре судили арестованных в марте, и военный суд приговорил: В. Панкратова к 20 г. кат. р., Мартынова (Борисовича) и Шебалина к 12 годам кат. р., В. Караулова к 4 год. кат. раб.; в ссылку на поселение: Шулепникову, Васильева и Дашкевича; в ссылку на житье: П. Ф. Шебалину и Дировского. Оправданы были трое: Степанов, Затворницкий, Завадовский.

В конце ноября 1884 г. нас, всех сопроцессников, привезли в Москву в пересыльную тюрьму, но на следующий день объявили, что Питер требует 4 каторжан, и что мы будем отправлены туда „с е г о д н я ж е“. После минутного прощания с женой и сыном, родившимся в тюрьме, и с которыми мне не пришлось больше увидеться, так как оба они умерли в московской перес. тюрьме, о чем я узнал только через 10 лет,— меня препроводили с товарищами по железной дороге с этапом в Петропавловскую крепость и поместили в холодную нижнюю камеру Трубецкого бастиона. Бритый, закованный в кандалы, в скверной арестантской одежде, лишенный подкандальников и ремня, поддерживающего кандалы, я „проголодал“ на сквернейшей пище и „прохолодал“ около месяца. В ночь на 24 декабря (стар. стиля) мне надели ручные кандалы и на тройке с 2 жандармами отправили в Шлиссельбург, куда я прибыл 24 декабря, до истории с Мышкиным.

Жинзь и порядки Шлиссельбургской крепости так известны интересующимся исторической литературой, что я не буду ничего говорить о том, как я там жил,—жил как все,— скажу только, что прожил там 12 лет без месяца, голодал 30 дней в виде протеста за помещение меня в тюрьму, вместо рудников, назначенных мне по закону, чуть не умер от слабости, страдал психическим расстройством, сидел и на карцерном положении и в строгой изоляции, наконец, в ноябре 1896 г. был вывезен опять в Трубецкой бастион, а оттуда в Сибирь в Якутскую область, в г. Вилюйск.

Везли нас (меня и Суровцева) очень быстро, не по этапу, а по железной дороге с отдельным конвоем до Красноярска, где тогда кончалась колея жел. дороги, а затем на почтовых (три тройки под нас двоих с конвоем) до Иркутска, куда мы прибыли в конце декабря 1896 г. Из Иркутска меня, Яновича, Суровцева и Мартынова привезли в Якутск в половине февраля, а я и Мартынов прибыли в Вилюйск в конце февраля 1897 г.

Несмотря на очень строгие „правила о политических ссыльных“, действовавшие тогда, в Вилюйске жилось ссыльным сносно, благодаря хорошему отношению к нам исправника Б. Ф. Качаровского. В то время в Вилюйске отбывал ссылку Махайский, Шедлих, Юделевский с женой, Хинчук с женой, Кассиуш с женой, Конст. Иванов, Н. Белецкий, Ромась Мих. Ив. Интеллигенты могли заниматься уроками, рабочие—мастерством. Скоро я и Мартынов нашли работу: я стал давать уроки, а Мартынов столярничал и слесарничал. Конечно, приходилось самому колоть дрова, топить печи и камельки, готовить себе пищу, словом,— вести довольно суровый образ жизни, значительно отличающийся от обычной жизни городского интеллигента, но все же голода и холода не приходилось терпеть. Жизнь была дешева, заработки, хотя и незначительные, находились, а когда мы устроили коммунальную столовую, то денежные расходы и трата сил значительно сократились.

От молодых моих товарищей я узнал подробно о новых течениях революционной мысли и движения. С прибытием новой партии ссыльных (в 1889 г. Айзенштат с женой, Розенблюм с женой, Мильман и др.) мы узнали о новых арестах, но и о новом расширении движения. И так с каждой новой партией, — а их было все больше и больше. Для меня становилось ясным, что после „Народ. Воли“ революционное движение все ширилось и росло, пусть по другим дорогам, с другими идеологиями, но конечная цель всех новых течений та же, что и прежнего движения,—свержение самодержавия и передача власти народу— трудящимся. Это подбадривало, давало надежды на будущее, влекло вырваться из ссылки и окунуться снова в борьбу, но..., с другой стороны, я чувствовал себя не в силах проделать все то, что нужно для успешного побега и нелегальной работы. Вот почему я и прожил „мирно“ как в Вилюйске до 1902 г., так и в Якутске до 1906 г.

В Якутске встретил я стариков-карийцев: Ионова, Гориновича, Бойченко - Филимонова, Лозянова, централиста Пекарского и др., с которыми, конечно, сердечно и крепко спаялся, составляя группу стариков-народников и народовольцев. Вокруг нас были представители всех различных позднейших направлений, попадавшие в более или менее продолжительную ссылку, а правительство

продолжало посылать каждый год все больше и больше ссыльных, как бы для того, чтобы в этом пресловутом Якутске происходила оригинальная конференция и личная встреча революционеров разных эпох.

В Якутске я занимался уроками, а 2 последних года служил помощником капитана на пароходе „Лена“ (А. И. Громовой), ходившем до устьев р. Лены. Во всех общественных делах нашей политической колонии, конечно, принимал посильное участие. В 1905 г. принимал участие и в деятельности общественных организаций г. Якутска, которые тоже оживились, выносили резолюции и петиции в то короткое время, в которое еще действовала волна революционного подъема, докатившаяся до Якутска, но уже разгромленная в России.

В сентябре 1906 г. мне позволили выехать в Европейскую Россию, в октябре я приехал в Нижний-Новгород, где жили в то время В. Н. Фигнер, Сажины, Борейшо, Ергины. Побывал я и в Питере и в Москве, хотя въезд в столицы мне был воспрещен, повидал старых приятелей и товарищей, идейно примкнул к партии с.-р., но формально в обязательные партийные отношения не вступал, обязуясь только всемерно, но посильно помогать партии.

Устроился я на службу в о-во „Надежда“ тверским агентом и прожил в Твери благополучно до начала 1909 г., когда агентство было ликвидировано, и я перебрался на службу в Питер, помощником заведующего „Подвижным Музеем Учебных Пособий“. Но в конце августа того же 1909 г. внезапно был арестован при входе в свою собственную квартиру (при чем обыска квартиры не было), препровожден в участок, а оттуда в пересыльную тюрьму для водворения на 2 года в Архангельскую губ. „как изобличаемого“, гласила бумажка, врученная мне при аресте, „в социально-революционном сообществе“. Думаю я, что этой ссылкой обязан я провокаторше Жученко, которая, хотя лично меня и не знала, но легко могла знать от московских товарищей, что в Твери живет такой-то старик, который и укрыть может и вообще всесторонне помочь; этого, конечно, достаточно было для такой „дамской ссылки“, а более веского и важного Жученко сообщить не могла.

В Пинеге и Архангельске я пробыл положенные 2 года и в 1911 г. переехал по собственному желанию в Степной край, опасаясь оставаться в Европейской России. В Степном крае я служил сначала в Павлодаре, а потом в Омске уполномоченным Богословского Горнозаводского О-ва. С моим прошлым при самодержавии было трудно устроиться на какую-либо общественную работу. Только частная коммерческо-промышленная деятельность допускалась для нас, бывших политических каторжан. Поэтому я был очень рад, когда мне удалось занять место уполномоченного „Волжского Судоходного Страхового Товарищества“ по страхованию рабочих от несчастных случаев. Занимал я эту должность в г. Астрахани, где и застала меня революция.

Принадлежа к астраханской организации с.-р., я работал в ней до июля 1918 г., когда я вышел из организации и с тех пор ни в какой партии не состою.

Из Астрахани уехал я сначаа в Нижний, а потом в Саратов, где и служил в качестве уполномоченного Волжск. Суд. Стр. Т-ва, а потом пом. делопроизводителя одного из отделов Рупвода.

В конце 1919 г. поселился в дер. Багаевке, где моя жена служила фельдшерицей, и одно время, около года, исправлял должность делопроизводителя Багаевской больницы.

В феврале 1922 г. я переехал в Москву и занял место заведующего музеем имени П. А. Кропоткина.

Якимова, Анна Васильевна *).

Родилась я 12 (25) июня 1856 г. в селе Тумьюмучаш (село с черемисским населением) Уржумского уезда Вятской губ., где отец мой был священником. Отец отлично владел черемисским языком, был популярен среди язычников и старался обращать их в христианство; но крещеные черемисы в минуту жизни трудную обращались и к своим богам и умилостивляли их жертвами животных. Недалеко от села была священная роща—Кереметище, куда няня раз носила меня во время их моления. То, что я увидела там, запачатлелось на всю жизнь. Среди густого высокого леса большая круглая площадка (роща тоже имеет округленную форму), наполненная молящимися, впереди которых горит большой костер, около него стоят громадные котлы с водою, а немного дальше к дереву привязан бык, который должен быть принесен в жертву, и возле него лежат ножи.

Когда мне было 5 лет, отец перевелся на службу в с. Буйско-Архангельское, тоже Уржумского уезда, в 10 верстах от города. С. Буйско-Архангельское очень большое, с русским населением, с 2-мя приходами, т.-е. 2 священника в селе. Здесь отец мой получил место после того, как его престарелый дядя-священник ушел в заштат и продал отцу за 1000 р. свой дом. Дом был большой, в 5 комнат, с одного конца парадный ход и передняя, с другого—черный ход и кухня. Большой двор со службами, колодцем и флигелем рядом с домом вдоль

*) Автобиография написана в декабре 1925 г. в Москве.

улицы. Дом имел мезонин в 2 комнаты с передней. На крыше по бокам мезонина были фигуры 2-х лежащих львов. Дом находился с правой стороны улицы, последний перед мостом через реку Буй, по дороге из Архангельска в Уржум. При доме был сад и огород.

У меня было два брата и сестра. Всех нас, детей, у матери было 9 чел., но четверо из первых умерли маленькими, а 5-й, родившийся после меня, умер 6-ти лет от натуральной оспы во время эпидемии. Старший брат старше меня лет на 10. Младший родился тогда, когда мне было 10 лет, что и отсрочило мое поступление в учебное заведение, так как я должна была помогать матери водиться с маленьким братом. Сестра моложе меня на 7 лет. В доме у нас была одна прислуга, которая помогала матери по хозяйству и в то же время почти неразлучно была с нами, детьми. Няню мы очень любили и, как помню, я всюду сопровождала ее. Летом ходили с нею в ближайший лес за грибами, а зимою длинными вечерами няня прядет, и я тоже подражаю ей, или делает нам из заваренной соломы куклы и рассказывает сказки, запас которых был у нее очень большой, и рассказывала она очень хорошо, с увлечением, с чувством, а иногда пускалась в воспоминания о своем деревенском житье-бытье. Главная воспитательница моя в раннем детстве была, таким образом, эта няня. Она же была и утешительница, если получишь какую взбучку за что-либо от отца или матери. Она прожила у нас 20 лет и умерла у нас в семье, когда я была арестована в первый раз и судилась по процессу 193-х.

Когда я подросла, мать стала обучать меня шитью, вязать чулки, помогать ей готовить на кухне, а отец учил грамоте и приготовлял к поступлению в епархиальное училище. Лет 8—9-ти я уже самостоятельно мыла крашеный пол в комнатах и с маленькой стирочкой ходила одна полоскать белье на речку.

Играть с посторонними детьми одну меня не пускали, и вообще в этом отношении были большие строгости. Можно было поиграть с чужими детьми только тогда, когда вместе с родителями ходили в гости или по делу в дом, где были дети, или когда дети приходили к нам.

По части разных удовольствий и развлечений, особенно зимою, было у нас очень скудно. В том же селе, у другого священника, было 12 чел. детей, один от другого с разницей в возрасте на один год, и я им иногда завидовала: у них своя большая компания, веселье, игры, хороший хор. Большое удовольствие доставляли летом, когда брат приезжал на каникулы из духовного училища г. Нолинска, а позднее мы оба, я и брат, из Вятки, поездки к родственникам в разные места от 7 до 60 верст расстояния. Была у нас своя лошадь и линейка, на которую усаживались всей семьей и ехали. Летом ездили в лес верст за 5—7 за малиною, что повторялось довольно много раз, и набирали ее столько, что мать насушивала малины до пуда. Независимо от времени года отправлялись изредка к родным и на дальнее расстояние по случаю какого-либо семейного торжества; но это счастье выпадало не всем детям, так как приходилось ехать на наемных лошадях в повозке (закрытый экипаж). Мы жили в 10 верстах от Уржума, и родственники из этого уезда, едучи в город, заезжали к нам и вносили некоторое оживление в наш дом, но было это не часто.

Ежедневными нашими посетителями были крестьяне, прихожане отца, приходившие за советом к нему по случаю какого-либо несчастья, болезни, горя или радости или с какими-нибудь „требами". Отец был очень общительный, добродушный человек и любил подолгу и обстоятельно побеседовать со своими посетителями. Мне кажется, что он знал семейное и материальное положение каждого из 1000 своих прихожан и был любим ими. Из этих бесед я знакомилась с жизнью и бытом крестьян. Крестьяне нашего села были удельного ведомства, а в деревнях — государственные крестьяне. Иногда отец, едучи с какой-нибудь „требой", брал меня с собою. Часто мне приходилось слышать о всевозможных болезнях и видеть полную беспомощность в этом отношении, потому я рано стала мечтать о том, чтоб сделаться фельдшерицей - акушеркой.

Одиннадцати лет, в 1867 г., в половине августа, отец отвез меня в Вятку в епархиальное училище, куда я была принята и оставлена в пансионе с платою 50 р. в год. Отец просил начальницу не пускать меня в город, где были родственники и мой брат, учившийся уже в семинарии. Все 5 лет, проведенные в училище, кроме рождественских и летних каникул, я безвыходно оставалась в нем. Брат по праздникам навещал меня, а родственники приходили очень редко. На рождество и лето ездила с братом домой за 180 верст, но за нами обязательно приезжали мать или отец.

Епархиальное училище в Вятке было открыто в начале 60-х годов либеральным архиереем. Программа была очень обширна, гораздо больше программы женских гимназий, и с первого же класса второго года (всего было 3 класса по 2 года) начиналось, например, преподавание древней истории, для чего мы были совсем мало подготовлены. Через два года после моего поступления училище было преобразовано по программе женских гимназий, но с педагогическим курсом в течение 6-го класса, на

что в гимназиях существовал добавочный год, и для прохождения всего гимназического курса требовалось 8 лет, а у нас 6 лет. Оканчивали мы с дипломом „домашней учительницы“. При преобразовании училища я была переведена прямо в 4-й класс, и, таким образом, пробыла в нем 5 лет, окончив курс в 1872 г.

Вспоминаю об училище с глубокой благодарностью: воспитывали нас всесторонне, и еще тогда проводился у нас в воспитании трудовой элемент. С первого года мы дежурили по классу, по спальне, по столовой и должны были поддерживать чистоту и следить за порядком, а в старших классах дежурили и по кухне, где должны были помогать поварихе. С 2-х до 4-х часов были заняты по рукоделью. Воспитанницам полагалось все белье и платье шить самим: в маленьких классах вязали чулки для всех воспитанниц, средние классы обшивали всех бельем, а старшие шили платье и занимались разными изящными рукоделиями под руководством „рукодельной дамы“. На физическую сторону воспитания обращалось много внимания. Был у нас большой сад, где весной и осенью проводили все свободное время. Продолжением сада был огород, с края которого была сделана высокая деревянная гора, поливавшаяся зимою водой, и мы катались на довольно большое расстояние. Зимою, когда нельзя пользоваться во время перемен и вечером садом, все свободное время, кроме прогулки вне дома, проводили в громадном зале и вечером после приготовления уроков до ужина, с 7 до 8 часов, обязательно все по классам устанавливались рядами и под команду дежурной воспитательницы разом проделывали домашнюю гимнастику. После гимнастики свободно могли заниматься, кто чем хочет: одни танцовали, другие прыгали через веревочку, играли в мяч и пр. Весь день был распределен для обязательных занятий с 7-ми ч. утра до 10 вечера. Чувство товарищества, дисциплины развивалось сильно, и готовили из нас не барышень-белоручек.

Толчком в направлении умственного развития и выработки мировоззрения я обязана нашей классной даме, Анне Дмитриевне Кувшинской, которая поступила к нам одновременно с моим поступлением в училище, только что окончив гимназию, переходила с нами вместе из класса в класс и пробыла с нами в течение 4-х лет, после чего уволили ее по доносу за то, что она „сеет семена нигилизма“ (она была потом в Питере членом кружка чайковцев и судилась по процессу 193-х).

Вятка была местом ссылки для политических административно-ссыльных, которые группировали около себя молодежь. В то время был в Вятке Трощанский (позднее член „Земли и Воли“ и судился по процессу Веймара); под его влиянием, в числе других, находилась Анна Дмитриевна, а сама она старалась пробуждать наше сознание. С первого же года она приучала нас к чтению и устраивала общие чтения во время занятий рукоделием, заставляя читать по очереди, а иногда читала сама. Доставала и снабжала нас книгами. На первых порах не всегда соответствовал выбор книг нашему развитию, что объяснялось большим рвением с ее стороны, желанием поскорее просветить нас во что бы то ни стало, и неопытностью в этом отношении. Со временем была выработана программа чтения, которой и руководствовались в подборе книг. Читали мы свои книжки и во время уроков неинтересных нам предметов и во время приготовления уроков к следующему дню с 5-ти до 7 часов вечера, когда оставалось на это свободное время. А перед праздниками любимое время для чтения в старших классах было ночью в библиотеке, когда все уснут, и воспитанницы и воспитательницы. Ложились спать воспитанницы в 10 ч. и скоро засыпали. После обхода рядов спящих, уверившись, что все спят, ложилась спать и воспитательница, одна из классных дам, кровать которой стояла в нашей спальне. Тогда мы, человек 5—6, тихонько вставали, обертывались простынями и одеялами, осторожно пробирались по коридору в библиотеку, расстилали на полу часть одеял, в средину ставили свечи и, на животе лежа, принимались за чтение. При малейшем движении в коридоре гасили свет. Эти ночные чтения сходили нам благополучно, и я не помню ни одного раза, чтоб мы когда нибудь попались. При поездке на рождественские и летние каникулы Анна Дмитриевна тоже снабжала нас книгами.

Под влиянием Ан. Дм. кроме нас, воспитанниц ее класса, было несколько человек старшего, выпускного класса. Из них две— Лариса Васильевна Чемоданова и Кочурова, а других не помню. Кочурова тем же летом бежала из родительского дома, чтоб поехать в Питер на курсы, и это произвело большой скандал. Было заподозрено влияние А. Д., и ее уволили из училища. Лариса Васильевна Чемоданова освободилась из родительского дома, благодаря фиктивному браку с Сергеем Сил. Синегуб. (Воспоминания С. С. Синегуб, „Былое“ за 1906 г., №№ 8 – 10).

Когда мы были в последнем, 6 классе, А. Д. не было с нами, но она оставила нас под покровительством другой классной дамы, ее подруги, которая согласилась, чтоб мы пользовались в ее отсутствие комнатой для чтения и приема там нелегального посетителя, который являлся к нам по рекомендации А. Д. просвещать нас. Это был Николай Аполлонович Чарушин (потом член кружка чайковцев и судился по процессу

193). Он познакомил нас с Интернационалом, Парижской Коммуной и приносил нам нелегальную литературу. В комнате этой классной дамы был шкаф для платья, и вот, в случае прихода к ней кого-нибудь неожиданно для нас во время посещения Чарушина, мы должны были запереть туда нашего гостя, но этого не случилось ни разу.

На выпускном экзамене по закону божию всегда присутствовал архиерей. Приехал он и к нам, но заранее уже предубежденный против нас. Вызывают отвечать. На первых же порах одна из воспитанниц, подходя к столу, за которым сидел архиерей, кивает ему головой вместо чинного поклона. Архиерей разражается гневным потоком по адресу „нигилисток", хотя подошедшая не была из числа их. Облегчившись извержением гнева, начал вызывать опять. Несколько воспитанниц прошло благополучно, а потом опять такой же кивок головою. Гром, молнии на наши головы и крик архиерея: „На колени все!" Не помню, как отразилось это самодурство деспота на благонамеренных элементах, но у нас оно вызвало непримиримую злобу и ненависть. После крика „на колени!" архиерей схватился с места и побежал, выкрикивая на ходу: „Не давать им дипломов!" Начальница и все присутствовавшие педагоги побежали за ним, стараясь как-нибудь умилостивить его, но он не вернулся. В течение нескольких дней начальница ездила к нему, прося его отменить запрещение о выдаче дипломов и, наконец, получила разрешение. Самодура этого мы больше не видали: не был на акте при выдаче дипломов и у себя не пожелал видеть на прощаньи. Обычно при выпуске воспитанницы делали прощальный визит архиерею.

Вышли мы, несколько подруг, из училища с желанием пойти в народные учительницы, но считали себя недостаточно подготовленными для этой цели и решили для самообразования пробыть еще год в Вятке, поступив официально на педагогические курсы при женской гимназии. Родителям не хотелось отпускать меня, но под угрозой побега и доказательства необходимости пробыть еще год на педагогических курсах, скрепя сердце, согласились.

Мы, несколько товарок, только что окончивших епархиальное училище, после каникул вернулись в Вятку. Здесь были кружки молодежи, куда вошли и мы. В это время ни Анны Дмитриевны, ни Чарушина в Вятке не было—они оба были в Питере. Мы были близки к кружку Марьи Егоровны Селенкиной, группировавшей около себя революционную молодежь, и квартира которой часто служила местом собраний. В 1874 г. она была арестована в связи с арестами в то время по всей России, но после года с лишним тюремного заключения была выпущена. В качестве руководителя у нас в кружке был Михаил Павлович Бородин, который в 74 г. тоже был арестован, а затем выслан в Якутскую область.

Весною 73-го года, еще до каникул, я подала прошение в Орловское земство о зачислении меня на место народной учительницы. У нас в Архангельском была земская школа, но отец проектировал, чтоб я осталась дома и открыла частную школу у нас во флигеле, а я ни за что не хотела оставаться дольше под родительским надзором. Раз, в августе месяце, получаю пакет из Орловской земской управы с извещением о назначении на место учительницы в село Камешницкое с приглашением к определенному времени прибыть в Орловскую земскую управу. Для родителей было совсем неожиданно это извещение. Они стали было протестовать, но потом примирились с совершившимся фактом назначения. К назначенному времени собираюсь ехать, и мать заявляет мне, что она будет сопровождать меня до места. Мать моя была с большим характером, решительная, энергичная, и я смирилась с ее желанием самой видеть, куда еду я и с кем буду иметь дело. В с. Камешницком, в 25 верстах от г. Орлова и в таком же почти расстоянии от Вятки, учительствовала я с сентября 1873 г. по 12 мая 75 г., когда была арестована. С крестьянами сошлась я довольно скоро, и почти не было времени в течение дня с утра до вечера, чтоб я могла остаться одна. С раннего утра ребята уже собирались в школу. Квартира моя сначала помещалась в том же доме, где школа, во-второй половине дома крестьянина с большой семьей. У них же я и столовалась. Когда число учеников увеличилось, пришлось взять под школу и мою комнату, а мне переселиться в другой крестьянский дом. Зимою, когда не было усиленных сельско-хозяйственных работ, ученики были довольно великовозрастные, лет до 16 и больше. После уроков толпились у меня: то просто беседовали, рассматривали картинки в книгах, а то и читали вслух. В то же время заходили и взрослые: прочитать или написать письмо или просто потолковать о том, о сем, а молодежь—за книжками. Кроме довольно скудной школьной библиотеки, была у меня библиотечка с подбором тенденциозных и нецензурных книг. — Среди крестьян знакомство было большое, так как раннею весною, по предложению земства, в праздничные и воскресные дни, когда не было школьных занятий, я ходила по деревням прививать оспу. В беседах крестьяне были вполне откровенны, в критике существующего не стеснялись, книжки мои читались грамотными довольно охотно, но и только. Не проя-

влялось никаких намеков на зарождение революционной самодеятельности. Приходилось постоянно упираться в одно и то же: „Не нами это началось, не нами и кончится!“ Отсутствие желательных в революционном отношении результатов приписывала я своему неуменью подойти к делу, неопытности и, чувствуя полную неудовлетворенность, подумывала уехать в Питер поучиться и позаимствоваться знанием и опытом других. Но поехать самой в Питер не пришлось, а повезли меня туда жандармы.

В первый год моего учительства был у меня выдающийся по своим умственным способностям мальчик—калека, без ног до колен, лет 15—16, очень серьезный; в течение года он перечитал почти всю мою библиотечку. Я видела, что для крестьянского хозяйства он не годится, как работник, а в то-же время хотелось, чтобы он не выходил из этой среды, был материально независим ни от кого, а был бы полезным членом для деревни; потому я решила отдать его учиться сапожному ремеслу, для чего увезла его в Вятку и поместила за плату к сапожнику для обучения. При отправке снабдила его книгами. Сначала читал он их сапожнику, а мало-по-малу образовался у них маленький кружок человек в 5—6, и они по вечерам долго засиживались за чтением. Потом стали давать книги желающим и на дом, и, таким образом, один из читателей получил на руки для переписки революционный песенник, который и снес в жандармское управление. В результате—обыск у сапожника, арест его и моего ученика, а потом, 12 мая 1875 г., обыск у меня и арест. Арест мой произвел большое впечатление на крестьян; ближайшие из них по месту жительства столпились около экипажа при отправке, и женщины, как более экспансивные, плакали, а одна из них причитала: „И кто это под тебя колеса-то подкатил!“ В тот-же день повезли в Вятку. Посадили меня в одиночку Вятской тюрьмы, где сидело уже несколько арестованных в связи с арестами чайковцев в Питере. Сидели там и мои близкие знакомые—Марья Егоровна Селенкина и Михаил Павлович Бородин и др. Сидели мы без прогулок (не было такого укромного места, как думало начальство, где бы нас могли не видеть ни уголовные, ни политики), и только раз в месяц водили в баню. Протеста по этому поводу не устраивали. По собственному настроению думаю, что и другие относились так же потому, что тюрьма заранее представлялась нам как „каменный мешок“ со всяческими лишениями и, попав туда, ничто не должно было быть неожиданностью; считали все в порядке вещей, а нужно было, напротив, стараться не показать врагам, что лишения эти чувствительны, „не раскисать“. Не выпускали даже в уборную. С внутренней стороны двери камеры был приделан ящик, в который было вырезано отверстие в двери из коридора, и вставлялось туда ведро.

Бородин сидел в том-же корридоре, но между нами были пустые камеры, и мы не перестукивались, а Селенкина сидела в корпусе напротив, во 2-м этаже. Ее окно было видно через внутреннюю стену двора, и мы переговаривались с нею знаками по той-же системе, как и перестукиваются. Вскоре после моего ареста их выпустили на поруки до окончания дела.

Арестовали меня с несколько копейками в кармане, и первое время пришлось сидеть исключительно на арестантском пайке, пока товарищи с воли не устроили мне передачу. На обращение моих приятелей к моему отцу о том, что мне нужна, по их мнению, материальная помощь, отец ответил: „Пусть посидит так, как есть, авось образумится!“ В этом он искал влияния на изменение моего направления. Брат мой в то время был в Одессе студентом Новороссийского университета юридического факультета и находился на полном содержании отца. Просидела я в Вятской тюрьме немного более года, и в это время отец несколько раз был в Вятке, приезжая за сестрой на каникулы, которая училась уже в епархиальном училище, и привозя ее обратно, но ни разу ни слова даже не написал мне, а каждый раз приходил в тюремную церковь к обедне, брал просфору и присылал мне ее с тюремным священником: „Батюшка вам шлет свое благословение и просфору!“ Вот и все.

Зато мать добилась свиданья со мною, хотя это и было сопряжено для нее с немалыми трудностями, так как нужно было просить разрешения на свидание у прокурора Казанской Судебной Палаты. Мать моя была почти неграмотная, читала еле-еле, а писать совсем не умела, но женщина очень энергичная, умная. На свидании со мною не было ни слова упрека с ее стороны, но она сильно волновалась, плакала и наивно говорила: „Иди на волю, а я здесь останусь вместо тебя!“ Увидела я ее сильно изменившейся за время моего сиденья (это было к концу года после ареста); похудела сильно, постарела.

Книги присылали мне товарищи с воли. В конце мая или начале июня 76-го г. меня отправили на почтовых (железной дороги не было) с 2 жандармами в Питер через Нижний-Новгород. Через 3-е суток были в Нижнем, так как останавливались дорогою только, чтоб переменить лошадей и поесть.

В Питере привезли в Дом предварит. заключ. Там сидела А. Д. Кувшинская. Она сейчас же узнала о моем прибытии, прислала через надзирательницу привет, раз-

ную еду и лакомства. Меня посадили этажом выше ее, но наши камеры соединялись углами. Сейчас же я вошла в общение со своими ближайшими соседками, так как способ сношения между заключенными был мне известен. Стукальщицей я была усердной после строгого одиночного заключения больше года с чем-то. При разгрузке Д. П. З. с притоком арестованных из провинции стали переводить в Петропавловскую крепость, перевели и меня в том числе. В крепости тоже существовали сношения между заключенными, и переговаривались между собою даже сидящие в разных коридорах, от чего оглушительный стук разносился по всему Трубецкому бастиону, а особенно в дни свиданий, когда сообщались новости теми, кто имел свидание. В камерах тогда столы и табуреты были деревянные и подвижные. Мы ставили стол к окну, на стол табуретку и деревянной иконой (в каждой камере была икона) через форточку били по железной решетке, и таким образом могла сообщаться чуть-ли не половина сидящих. В Трубецком бастионе, кажется, было 72 камеры, и в то время все камеры были заняты. Смотритель бастиона, Богородский, пробовал бороться со стуком, но ничего не мог поделать.

Незадолго до суда всех нас перевели в Дом пр. зак. В октябре 1877 г. начался суд Особого Присутствия Сената. Арестовано было по делу пропаганды в империи чуть ли не 1.000 чел., но к суду привлечено 193 чел. За отсутствием каких-либо улик после все же продолжительного сидения некоторые были освобождены, другие высланы административ. порядком, третьи заболели психически, покончили самоубийством, поумирали от различных болезней. Следствие тянулось почти 4 года.

Все, что происходило на суде, было уже в печати и более или менее известно.

Когда после чтения обвинительного акта нас поделили на группы и стали водить в суд каждую группу отдельно, мы запротестовали против такого деления и отказались присутствовать на суде. Я, конечно, тоже была из числа протестантов, которых было большинство судившихся. Привлечение меня к этому делу было совсем искуственно, так как при всем старании жандармерии и прокуратуры не удалось им связать меня с „тайным противоправительственным сообществом", а в обвинительном акте относительно меня было сказано: „кроме лиц, принадлежащих к тайному сообществу, занимались противоправительственной пропагандой и отдельные лица. В Вятской губ. учительница А. В. Якимова" и т. д. О моей связи с А. Д. Кувшинской и с Чарушиным осталось неизвестным; да после того, как они уехали в Питер, сношений между нами и не было. Судили и сапожника, у которого учился мой ученик; мальчика тоже везли в Питер, кажется, в качестве свидетеля, но он дорогою заболел тифом и умер.

Лично я благодарна прокурору Желиховскому, что он присоединил меня к этому процессу и, таким образом, дал мне возможность познакомиться еще в 77-м г. с Желябовым, Лангансом, Перовской и др., потом самыми близкими товарищами по „Народной Воле".

После окончания судебного следствия защитники (у меня был Грацианский, назначенный судом) стали брать на поруки своих подзащитных, и я 5-го января 78-го г. очутилась в Питере на воле. Тяжело было оставлять в тюрьме близких друзей, приобретенных за время суда и совместного сиденья, но были уже и на воле раньше выпущенные товарищи. Прямо из тюрьмы направилась я к своей землячке, товарке по училищу и очень мне близкому человеку, Марии Формаковской, студентке тогда медицинского факультета, которая ходила ко мне на свидание во время процесса (в народовольческий период я поддерживала с нею сношения, а через нее с земляками—вятичами. Вскоре она умерла от туберкулеза.) Земляки встретили меня очень приветливо. В первые же дни захотели угостить меня оперой, взяли ложу на Аиду, но желание их доставить мне удовольствие не оправдалось; чувствовала себя очень скверно: тюрьма, оставшиеся там товарищи, суд не выходили из головы, и контраст, представляемый оперой и собравшейся тут публикой, очень сильно и болезненно бил по нервам.

Вскоре после моего выхода из тюрьмы была выпущена ближайшая моя соседка по камере (сидела надо мной) Евгения Завадская, с которой мы очень сдружились в Д. П. З. и теперь решили поселиться вместе, а потом присоединилась к нам Вера Рогачева *). Жили мы на Кирочной, кажется, улице у какой-то прачки в сырой-пресырой комнате, во время стирки постоянно наполнявшейся мыльными парами, так как входная дверь в нашу комнату была через прачечную. При выходе из тюрьмы в финансовом отношении у нас было не богато, так что и питание вполне соответствовало занимаемому жилищу: питались чаем с дешевой колбасой, холодцом из лавочки, кислой капустой и пр. в этом роде, и этим приходилось делиться с посещавшими нас товарищами, которые не имели и того, что имели мы. Посетителей бывало у нас очень много, и мы ходили знакомиться с теми, с кем не были знакомы по тюрьме. В квартире Александры Ивановны Корниловой

*) Судившаяся также по проц. 193-х.

бывали многолюдные собрания, на которых обсуждалась программа „Земли и Воли“, к которой мы присоединились, но членами организации не вошли, так как не знали, что с нами будет после приговора суда. На всякий случай для связи снабжены мы были адресами. Тогда были уже выпущены, тоже до приговора суда, Желябов, Ланганс и другие, а Соня Перовская не была арестована во время суда и ходила на суд с воли, но была из числа протестанток. Время, январь месяц, было очень оживленное: планам, проектам, спорам не было конца. В это время дебатировался вопрос о пропаганде действием, вызванный рукописной брошюркой, выпущенной из тюрьмы (помнится, как-будто Е. К. Брешковской) под названием „Пропаганда фактами“.

В конце января 1878 г. состоялся приговор, которым в числе многих других была оправдана и я. Вскоре после приговора мы были предупреждены защитниками, что, по всей вероятности, оправданные будут высланы административно, поэтому мы постарались поскорее уехать сами, кто куда хотел, не дожидаясь высылки. Со времени моего перевода в Петербург отец мой под влиянием воздействий на него моего брата, окончившего уже Новороссийский университет, ежемесячно высылал мне деньги; были присланы деньги и специально для дороги. Мне хотелось поехать в Вятку, и я отправилась с одним земляком, Петром Неволиным, тоже привлекавшимся к процессу 193-х. С Завадской мы условились встретиться весною в Тверской губ. в маленьком имении сестер Кутузовых (ее приятельниц, с 2-мя из которых я познакомилась в Питере, одна из них—по мужу Кафиеро), чтоб оттуда отправиться в пешее путешествие по центральному промышленному району.

В Вятку приехала я во время свадьбы моего брата, который был при окружном суде кандидатом на судебные должности. Я знала, что не могло еще быть получено из Питера распоряжение относительно меня, потому явилась пока легально. Родители мои приехали на свадьбу и были в Вятке. Отец, уезжая домой, очень просил меня ехать с ними и говорил, что они теперь любят меня еще больше, но я отказалась наотрез. Через несколько дней после их отъезда, с одной из товарок по училищу, Анфисой Мышкиной (стоявшей потом близко к кружку М. А. Натансона—„троглодиты“—и рано погибшей—заболела психически и умерла), поселилась в верстах 3-х от города в деревне у крестьянина, при чем поддерживали оживленные сношения с друзьями в Вятке. В апреле я отправилась в Тверскую губ. в условленное с Завадской место. Пробыв там некоторое время, мы трое: Ев. Завадская, Кафиеро и я отправились путешествовать сначала по направлению на Рыбинск. Когда очень уставали, то делали передышку и садились на 1—2 перегона в поезд или на пароход. Шли мы, конечно, с фальшивыми паспортами под видом богомолок с котомками за плечами. Кафиеро была самая старшая из нас, я — младшая. Ночевали в деревнях и приходили иногда в сумерках, да еще уставшие, сгорбленные, загорелые, так что молодость наша не бросалась в глаза, нас принимали за действительных богомолок, с нами не стеснялись и говорили откровенно, как с людьми бывалыми по богомолью в разных местах, много видавших.

Цель нашего путешествия была не пропаганда, не агитация, а ознакомление с крестьянами промышленного района—не по книжкам, а в натуре. Ни книг, ни газет с нами не было. Шли мы по Тверской, Ярославской, Костромской и Нижегородской губерниям. Добрались мы до Нижнего с 1 рублем в кармане на троих. Была у нас явка в Нижнем у Харлампия Власовича Поддубенского (Поддубенский привлекался потом по процессу 17-ти народовольцев, но не судился, так как был признан психически больным). Мы заняли у него денег, немного отдохнули в нанятой комнате, и товарки мои решили этим и закончить свое путешествие: они были слабее меня и прихварывали. Они уехали по домам, а мне не хотелось сдаваться так скоро и хотелось ознакомиться поближе с заводскими рабочими, потому я решила поступить на Сормовский завод, что в 9-ти верстах от Нижнего.

В первый раз, как я пошла туда, мне сказали, что нет работы, что нужно подождать и справиться через неделю. Чтоб не возвращаться в город, я решила это время проработать на пристани по выгрузке с плотов дров. Работа эта очень тяжелая: на носилках носить дрова с плота на берег.

Работали под наблюдением надсмотрщика, который стоит и понукает трехэтажной бранью замешкавшихся, оступившихся, а те отвечают ему тем-же. Спешат, толкают друг друга и такими же приветствиями обмениваются между собою. С утра до вечера так и висит в воздухе эта брань, и разговаривать тут уж некогда. Поселилась я в семье рабочего, в общем, конечно, с ними помещении, и столовалась у них. В субботу или накануне какого-нибудь праздника, проработав урочное время, шли к подрядчику за расчетом. Работали поденно и не помню, один или два раза в неделю получали расчет. Усталые, голодные шли за деньгами и иногда подолгу приходилось ожидать у дома подрядчика, когда его не было дома к назначенному времени, или когда их степенство изволили обедать или пить чай. А он в это время

несколько раз покажет в окно свою жирную, сытую и вспотевшую от чая рожу с разными шуточками-прибауточками, с сальными любезностями по адресу женщин. Тут, можно сказать, вполне испытала я чувство ненависти голодного трудящегося к сытому, довольному тунеядцу. С неделю проработала на пристани, а потом приняли меня чернорабочей на завод. Работа для чернорабочих женщин была такая же, как и для мужчин, но мужчин было очень мало, а главным образом женщины. Работа большею частью состояла в выгрузке с платформ и переноске строительного материала в распиловочную, а потом в сушилку, в разные мастерские и, наконец, туда, где сбирались уже вагоны. По виду я была такая здоровая, что этим выделялась среди женщин. Помню, раз нужно было перенести с одного места в другое толстый дубовый брус, для чего требовалось четверо мужчин, а налицо их было только трое, и они за четвертого избрали меня: „Ну-ка, Антонина (мое имя по паспорту), берись!“. Нельзя сказать, чтоб я была особенно польщена таким вниманием, так как мне было очень тяжело нести, тем более, что я была ниже ростом, и этот брус, накренившись в мою сторону, больно давил и резал мне плечо. Но ничего — оправдала их мнение. Завод этот принадлежал Бернардаки. Директор был англичанин, страшно плохо говоривший по-русски и почти недоступный для рабочих. При входе на завод в первом большом помещении висели на стене „правила“, где, между прочим, было сказано, когда, за что и в каком размере берется штраф, когда производятся сверхурочные работы и пр. О сверхурочных работах было сказано: „При усиленных ночных работах чернорабочие, по желанию, остаются и на ночную смену“. Раз после гудка по окончании работы является десятник и громогласно объявляет: „Бабы, оставайтесь на ночную смену!“ Я оставаться не желаю, заявляю ему и направляюсь уходить. Меня женщины останавливают и говорят, что уходить нельзя — оштрафуют. Я им возражаю, что этого не должно быть, так как по правилам остаются на ночную работу по желанию, а я не желаю. — „Что там правила! будут тебя спрашивать. Оштрафуют и все тут!“ — Не может этого быть, говорю. — „Вот увидишь: завтра будешь выписана на штрафной доске! Ты не первая...“ Я ухожу, а они посмеиваются над моей наивностью. На другой день встречают меня вопросом: „Видела на штрафной доске? тебе штраф“ (эта штрафная доска в той-же передней большой комнате, где и правила). — Видела! говорю: это ничего не значит: запугать хотят, стращают, а не вычтут при расчете, я по правилам. — „Пропишут тебе правила!“ — Через сутки тот же окрик десятника оставаться на работу. Я опять ухожу, а мне вдогонку: „Что-же ты днем будешь работать, а за вечернюю работу этим штраф платить?!“ Я доказываю невозможность по принуждению работать еще после трудового дня, и что штрафов тут никаких не должно быть. На утро на доске опять пометка о штрафе, а женщины насмешливо-укоризненно посматривают на меня. Несколько дней обходится без сверхурочной работы. Меня страшно интересует: как это можно оставаться еще работать, как следует, в продолжение 4—8 часов после такого длинного рабочего дня (рабочий день был, кажется, 12 часов). Мне казалось физически это невозможным. Продолжительность сверхурочных работ была разная: иногда с 6 до 10 вечера, а иногда с 6 до 2-х ночи за удвоенную плату за каждый час по сравнению с дневной. Потом раз опять после гудка является десятник и заявляет: „Бабы, кто хочет, оставайсь!“ Я остаюсь, чтоб познакомиться с этой работой.

После небольшой передышки оставшиеся принимаются за дело, но, видать, с большой натугой. Завод в полном ходу; машины работают неослабно, а люди по мере течения времени все замедляют и замедляют свои движения. Жизнь на заводе мало-помалу затихает. Начальства не видно. Машины только работают без устали, а около машин людей все меньше и меньше, но зато видать по сторонам и углам везде сидят парочки, кучки, беседуют, а кто и прикурнул, дремлет. Некоторые группы работают поочередно: отдохнувшие, вздремнувшие берутся за дело, а те, кто работал, идут отдыхать. При входе и выходе из мастерских ставятся караульщики, и, при приближении кого-либо из начальства, дают знать в мастерскую, и разом все вскакивают и принимаются каждый за свое дело. Начальство удаляется, и мастерская принимает прежний вид. Меня удивляло: неужели была все-таки выгодна для завода по своим результатам такая работа при затрате в полной мере всяческих подсобных материалов, при работе и верчении машин в значительном размере впустую? Больше мне уже не приходилось иметь дело с ночными работами. Не помню, сколько времени пробыла я чернорабочею, а потом перевели меня в „стружечницы“ — это чином выше, поденная плата больше на пятак или гривенник, не помню. На обязанности их было подметать в вагонной мастерской от станков стружки и выносить их. Работа была более легкая, более чистая, и приходилось соприкасаться с одними и теми-же людьми у станков.

В это время на заводе работал Степан Халтурин. В Вятке я с ним не была знакома и познакомилась в Нижнем на квар-

тире Х. В. Поддубенского, там и встречались потом по воскресеньям и праздникам, а на заводе были как-бы совсем незнакомыми. Он в то время был занят мыслью об организации „Северного Рабочего Союза“ и временно работал с этой целью в Сормове, чтоб завязать связи.

Через Нижний должны были провозить при отправке в Сибирь осужденных по процессу 193-х. В Питере решили устроить в Нижнем побег Екатерине Константиновне Брешковской, и с этой целью приехал в Нижний Н. А. Морозов. Нужно было устроить в городе квартиру, и предложили этим делом заняться мне. Кстати, непривычная, тяжелая физическая работа отразилась уже на моем здоровье, и требовалось обратить на это внимание. Пошла в заводский приемный покой, где мне назначили леченье и выдали бюллетень, освобождающий на несколько дней от работы. Ушла в город, но скоро выяснилось, что осужденных провезли дальше и отправили на пароходе. Никакого побега устраивать не пришлось. Оставаться на заводе я тоже не видела смысла. Пошла за расчетом в контору завода и заявила, что серьезно заболела мать, и меня требуют домой. Без возражений попросили у меня расчетную книжку. Подсчитали и выдали деньги по высшей плате для поденных женщин за все время работы на заводе, по 45 коп., как получали „стружечницы“, без всяких штрафов. Прошу возвратить мне паспорт (паспорта рабочих хранились в конторе). „Паспорт ваш у станового пристава в Кунавине. Вам за ним нужно обратиться туда“. Я, конечно, не последовала этому совету, так как паспорт был отправлен, очевидно, для проверки становому, а был фальшивый, потому я и сочла за благо не показываться туда и подарить становому паспорт. Пропаганды на заводе не вела, противозаконного ничего не делала и даже никаких книг у себя на квартире не имела. Но бдительное око обратило внимание (из газет было известно о процессе 50-ти и 193-х); паспорт администрацией завода был отправлен становому приставу, а ко мне обращались на „вы“, в то время, как всем рабочим „тыкали“, и штрафа не удержали. Из конторы я поспешила пойти к женщинам, чтоб показать им свою расчетную книжку, как был произведен расчет, и что относительно штрафа я была права, так как никакого штрафа с меня удержано не было. „Ну, конечно, Антонина, ты человек грамотный, тебе виднее, а мы люди темные“. Тон был уж совсем другой, а не тот, что было вначале, когда они потешались надо мной. Попрощались со мной очень приветливо.

Счастливо убравшись с завода, благодаря тому, что сама не захотела оставаться там дольше, а то опять бы неизвестно за что очутилась, по всей вероятности, в тюрьме, поехала на родину, чтоб окончательно попрощаться с родителями, побывать там, где была учительницей и где была арестована, чтоб уехать оттуда уже навсегда и бесповоротно связать себя с революционной организацией.

Первым делом на короткое время направилась к родителям. Там, очевидно, полиция уже ждала меня, и на другой день утром нагрянул исправник с предписанием министерства внутренних дел взять меня под надзор полиции с воспрещением выезда с места жительства. Исправник приходился каким-то дальним родственником отцу и был с ним знаком. К исправнику я не вышла, а принимал его отец, который и был посредником между мною и им. Отец заявил мне, что исправник приехал, чтоб взять с меня подписку о невыезде. Говорю, что подписки не дам, потому что судом я оправдана. С этим отец и отправляется к исправнику. Исправник настаивает на подписке и обещает к следующему учебному году (я родителям говорила, что в Питере поступлю на высшие курсы) дать мне благоприятный отзыв, и мне разрешат поехать в Питер. Я отказываюсь. Так отец несколько раз пропутешествовал от исправника ко мне и обратно. Наконец, исправник заявляет, что он не может уехать без отметки на этой бумаге, что я ее видела, а иначе скажут, что он не предъявлял ее мне. Тогда я написала, что бумага мне предъявлена. Исправник уехал. Через некоторое время видим, что около нашего дома похаживают мужики. Оказалось, что становой приказал караулить меня, предполагая, очевидно, что я сейчас же намерена удрать. Крестьяне, прокараулив целую ночь, потребовали от станового вознаграждения водкой, в каком размере не помню. Караула больше не было, но сельскому старосте было приказано сейчас же давать знать становому приставу, жившему в Буйском заводе, в 7-ми верстах от нас, если я куда выеду. Подписалась в библиотеке в Уржуме и стала ездить туда довольно часто за книгами. Я еду в город за 10 в., а сотский „мчится“ к становому за 7 в. Пока он туда едет и обратно от станового, а я уже дома. Таким образом, проделав несколько раз напрасно поездку к становому и находя в результате меня вернувшейся, привыкли к моим отлучкам и успокоились. Прожила я несколько месяцев и в начале февраля уехала в город и не вернулась больше. Было воскресенье и какой-то царский праздник. Возница из Архангельского оставил меня в Уржуме на почтовой станции, и очень скоро уехала я с обратным ямщиком по направлению г. Нолинска. При отправке, проходя мимо сосед-

ней комнаты, увидела пальто военной формы. Оказалось, что там остановился становой из завода, который караулил меня, а в это время был в церкви на царском молебне, о чем я узнала от ямщика, с которым ехала. За время пребывания у родителей списалась с Поддубенским в Нижн. Новг. и получила от него паспорт и деньги, что пришлось получать, конечно, не на свое имя, а воспользоваться услугами местного учителя.

Прежде всего я направилась к Вятке, а затем в с. Каменицкое, где учительствовала, чтоб рассказать, почему и за что была арестована и судима. Несколько дней пробыла там и повидалась с более близкими людьми. Знакомый пожилой крестьянин повез меня до Яранска. Я не скрыла от него, что еду в Питер с целью вступить в революционную организацию. „Святое твое дело! Если бы у меня не семья, я сам бы пошел на это дело“, сказал он мне. Этим последним визитом в Каменицкое и закончилось мое непосредственное общение с народом.

Благополучно добралась до Питера. За мною была погоня, но запоздалая, да к тому же я поехала не по тому направлению, не на Казань, как они предполагали, а на Вятку. В Петербурге я имела землевольческий адрес к сестре О. В. Аптекмана и попала сразу в ту группу с Плехановым во главе, из которой потом образовался „Черный Передел“. Из этой группы я лично никого не знала, а мне хотелось встретиться со знакомыми по процессу 193-х, с Тихомировым и Н. А. Морозовым; просила устроить мне свидание с ними, но так и не добилась этого, получая в ответ, что они очень заняты. Новые мои знакомые предложили мне поселиться на квартире, где собирались рабочие, и Плеханов и Аптекман читали им лекции (О. В. Аптекман, „О-во Земля и Воля“, стр. 317, 362). Не помню, кто был хозяином этой квартиры. Тут прожила я недолго, так как после покушения Соловьева на царя ожидали сильных репрессий, обысков и решили ликвидировать квартиру, а мне настоятельно предложили временно отправиться в Калужскую губ., не помню в какое-то имение, где я должна пробыть до вызова. Сидеть там мне скоро надоело, и я, томясь бездельем, не дождавшись вызова, поехала в Питер, чтоб самостоятельно розыскать тех, кого мне хотелось видеть. С большими трудностями, но все-таки мне удалось найти Н. А. Морозова и др. С этого времени я крепко связалась с той группой, которая образовала партию „Народной Воли“.

Перед покушением Соловьева направление многих членов „Земли и Воли“ определилось в сторону будущей программы партии „Народной Воли“. Я упоминала, что по выходе из тюрьмы в январе уже 78 года дебатировали у нас вопрос о пропаганде фактами, а очень скоро явилась и такая пропаганда, сначала выстрелом Засулич, ее судом, потом убийством Мезенцева, покушением на Дрентельна, покушением Соловьева на царя. А что же может быть лучше ударов в самый центр государства, где неограниченный монарх является вершителем судеб как в области экономической, так и политической, и в представлении народа этот владыка рисуется священною особой, помазанником божиим. Мне при близком соприкосновении с народом приходилось упираться в безнадежность, покорность судьбе: „Не нами началось, не нами кончится!“, и этот фатализм и нужно было разрушать не словами, а действием, ударами будить сознание и чувство.

В скором времени, по возвращении из Калужской губ., была нанята мною вместе с Степаном Ширяевым квартира, где мы учились домашним способом приготовлять нитроглицерин и из него динамит. С этого времени и до 1-го марта 1881 г. весь нитроглицерин и динамит приготовлялся при моем участии на квартирах, где была я и хозяйкою квартир. Сначала, как сказала уже, с С. Ширяевым на 2-х квартирах, потом с Исаевым, тоже на 2-х в Петербурге, и, наконец, с Кибальчичем, где приготовления шли для М. Садовой. На этой квартире, в качестве родственницы, жила Фанни Абрамовна Морейнис и заменяла меня в квартире в мое отсутствие, когда я была уже хозяйкою в магазине сыров на М. Садовой.

В мае 79-го года организовалась террористическая группа „Свобода или Смерть“, в которую вошла я с самого начала. Членами этой группы были: Н. А. Морозов, Л. А. Тихомиров, Ал. Квятковский, Баранников, Ст. Ширяев, Гр. Исаев, Зеге-фон Лаутенберг, Арончик, Богородский, Григорий Гольденберг, студент Якимов, Е. Д. Сергеева, С. А. Иванова, А. В. Якимова и Н. С. Зацепина. Большинство членов этой группы потом вошло в Исполнительный Комитет „Народной Воли“. Студент Якимов и Н. Зацепина, поженившись, вскоре отошли от революционной деятельности.

После решения Исполнительного Комитета 26 августа 79 г. устроить ряд покушений на Александра II по пути его возвращения из Крыма в Петербург, вместе с Желябовым под фамилией Черемисовых поселились в Александровске Екатеринославской губ., чтоб устроить покушение по железной дороге вблизи этого города. По возвращении из Александровска на Большой Подъяческой, дом 37, кв. 27, где мы жили с Исаевым, шли приготовления динамита для взрыва в Зимнем дворце. После взрыва во дворце 5-го февраля 1880 г.

Степан Халтурин скрывался у нас на этой же квартире. Тут же приготовлялся динамит для устройства покушения в Одессе весною 80 г. Дворник дома квартиры на Б. Подъяческой был прогоревший торговец из „Суровской лавочки“,—„из лавочки выехал на палочке“, говорил он, и он же исполнял обязанности швейцара и жил в швейцарской в малюсенькой комнате. Знакомства, оставшиеся от лучших времен, поддерживал и теперь. Нужно было ему „справлять именины“, позвать своих знакомых, в числе которых был врач, околоточный надзиратель и пр. „чистая публика“, а помещения то не было; вот он и попросил нас с Исаевым уступить свою квартиру на вечер для приема гостей. Отношения у нас с ним были хорошие, а благодаря такой любезности с нашей стороны мы должны были зарекомендовать себя еще лучше во всех отношениях в его мнении. Согласились, квартиру очистили, все упрятали. Квартира была в верхнем этаже, и ей одной принадлежал непосредственно примыкавший к ней большой чердак с холодной комнатой, имевшей окно напротив окна нашей гостиной. В эту комнату мы поместили Халтурина, который в шубе сидел и из окна темной комнаты наблюдал веселящихся гостей. Мы с Исаевым тоже были в числе гостей. Мне с околоточным, как раз у того окна, через которое наблюдал Халтурин, пришлось играть в карты, и я три раза оставила его дураком.

В апреле месяце в Одессе, по Итальянской улице, дом № 47, было нанято торговое помещение, где хозяевами лавочки были Перовская и Саблин, под фамилией Прохоровских, муж и жена, а мы с Исаевым—хозяевами конспиративной квартиры по Троицкой улице, дом № 3, под фамилией Потаповых. На последней квартире хранилось все, что нужно было для снаряжения мины. Раз здесь Исаев стал прочищать металлическую трубочку для запала, будучи уверен, что она пустая, как получались обыкновенно трубочки со стороны, металлическою-же тоненькой палочкой, как вдруг в соседней комнате услышала я сильный взрыв. Вбегаю и вижу Исаева бледного-пребледного, сидящего на диване с приподнятой над столом рукою, оканчивающеюся большою, четверти $1^1/_2$, кровяною кистью. Оказалось что в трубочке была гремучая ртуть, которая и взорвалась от трения. Первые слова Исаева при моем появлении были: „Уходи скорей с квартиры! Я погиб“. Сейчас же перевела Исаева в другую комнату, в темную. Руку слегка забинтовала и опустила в таз с холодной водой. Кровь в комнате замыла, куски оторванных пальцев со стен и потолка подобрала и открыла окна во двор, чтоб видели, если кто слышал взрыв, что у нас снаружи все обстоит благополучно и спокойно. Квартира была в нижнем этаже окнами во двор, но в то время, по счастию, во дворе никого не было, и никто не обратил внимание на взрыв, так как улица от движения экипажей была довольна шумная. Затем пошла на Итальянскую улицу известить о случившемся, посоветоваться относительно врача и пр. Оказалось, что есть свой врач, который и был приглашен осмотреть раненого; забинтовал руку и сказал, что необходимо в тот же день для операции поместить Исаева в больницу, для чего он поведет предварительные переговоры с хирургом гор. земской больницы. Вечером, когда стемнело, увезла Исаева в больницу. Скоро собрались доктора для операции. Но вот беда: операцию нужно делать под наркозом, а вдруг под влиянием наркоза Исаев скажет что нибудь, чего не следует. Заявляю докторам, что буду присутствовать при операции, но они не соглашаются, а я энергично настаиваю и, наконец, меня оставляют в операционной комнате. Я сажусь в некотором отдалении от операционного стола, но где могу все слышать. Исаев сильно возбужден, и с трудом его усыпили, для чего потребовалось очень большое количество хлороформа, и что объяснили доктора предположением, что он алкоголик. Все обошлось благополучно. Несчастье мы свалили на то, что оторвало пальцы в складе машин, куда он заходил, от собственной неосторожности при пробе машины. Были у него и на лице небольшие следы ожога, но, повидимому, в больнице не было сыщика, и никто на это не обратил внимания.

Покушения в Одессе не произошло потому, что царь не поехал через Одессу. Возвратившись из Одессы, поселилась вместе с Перовской на конспиративной квартире по 1-й роте Измайловского полка, д. № 18, под фамилией Сипович. Для жандармов так и осталось невыясненной загадкой, кто такая была Сипович.

В это время шли приготовления к покушению под Каменным мостом по Гороховой улице, где я должна была быть сигнальщицей и издали, завидя царский выезд, пройти по Каменному мосту и этим дать знак Желябову быть готовым ко взрыву. Покушение не состоялось.

Затем была устроена динамитная мастерская на Обводном канале (уг. Измайлов. пр.), хозяевами которой были Кибальчич и я. Здесь в последний раз приготовлялся динамит при моем участии.

2-го декабря было нанято Богдановичем помещение на М. Садовой, и мы, под фамилией Кобозевых, поселились там, где из сырной лавки был устроен подкоп и заложена мина под улицу (см. „Каторга и ссылка“,

№ 1/8 1924 г., А. Якимова „Из далекого прошлого“, стр. 9—17).

3-го марта в разное время дня Богданович и я ушли из магазина и по разным железным дорогам, я через Смоленск, уехали в Москву. Прожила там около $1^1/_2$ месяца и поехала в Киев отдохнуть на юге и устроить свои личные дела, но в тот же день по приезде, 21 апреля, была арестована вместе с Мартыном Рудольфовичем Ланганс в меблированных комнатах у Ф. А. Морейнис. Посадили меня в Киевский тюремный замок. Обстановка там в первое время была такова, что друзья стали думать об устройстве мне побега (наверное не помню под какой фамилией была арестована, а кажется, Емельянова, Ольга Владимировна, имя и отчество помню хорошо). Жандармы тогда еще не подозревали мою причастность к террористическим делам, но через некоторое время был привезен в Киев В. Меркулов*), который признал меня, и сейчас же обстановка изменилась, был усилен караул, так что мечты о побеге сразу рушились.

Возили меня сначала в Александровск для предъявления хозяевам дома, где мы жили с Желябовым, а потом в Питер. После короткого пребывания в департаменте полиции (несколько часов), при чем посадили в какую-то комнату, через которую пробегало много людей, очевидно, шпиков, повезли в Петропавловскую крепость. При перевозке по железной дороге, кроме 3-х жандармов, сопровождал жандармский офицер, который в начале пути заявил мне: „Не вздумайте дорогою шалить... знайте, что у меня приняты все меры!“

Судилась я по процессу 20-ти народовольцев, с 9 по 15 февраля 1882 г. („Былое“ за 1906 г. № 1—„Процесс 20-ти народовольцев“, стр. 222—301). Приговорена к смертной казни, замененной бессрочной каторгой.

До 25-го июля 1883 г. сидела в Екатерининской куртине Петропавловской крепости с короткими промежутками сиденья в Трубецком бастионе. Я была изолирована в Екатерининскую куртину потому, что при мне был маленький ребенок, родившийся 13 окт. 81 г., в Доме предв. закл., крик которого не должны были слышать другие заключенные. Там же в противоположном конце коридора помещался до казни Суханов.

После конфирмации приговора все осужденные были переведены на каторжное положение: одни в Алексеевский равелин, другие в Трубецкой бастион, я в Екатерининскую куртину; но везде режим вводился один и тот же: переодеты были в казенную дерюгу, лишены пользования своими средствами (мыла, чаю, сахару), давался только кипяток утром и вечером (ели черный хлеб с солью и кипятком). Лишены были медицинской помощи (в крайнем случае в первое время призывался только фельдшер), книг, и, кроме библии или евангелия, ничего не давали. Пища должна была быть солдатская, но благодаря сильному воровству ужасно отвратительная. Мой грудной сын энергично запротестовал против такого питания; начались сильные желудочные заболевания, и кричал он благим матом день и ночь. К ребенку являлся доктор Вильмс, и по его предписанию мне стали давать, вместо жидких водянистых кислых щей, бульон два раза в день, а через некоторое время дали бутылку молока и 3-копеечную французскую булку в день. Благодаря ребенку, пускали на прогулку сначала через день на 20 минут, а потом и каждый день; давали мыла для купанья ребенка и стирки в камере его белья. При моем заболевании приходил фельдшер, и в первый раз доктор Вильмс пришел лично ко мне, по вызову фельдшера, который думал, что у меня начинается гангрена (были злокачественные нарывы от худосочия), в результате чего мне дан был рыбий жир и увеличена ежедневная прогулка, кажется, до $^1/_2$ ч. или 40 м. („Историко-Революционный Вестник“, № 1 (4) 1922 г. Издание О-ва политкаторжан и ссыльнопос. А. Якимова.—„Из прошлого“, стр. 13—17).

В августе 83 года была отправлена в Сибирь. (Наше путешествие описано в брошюре А. В. Прибылева—„От Петербурга до Кары“).

Каторгу отбывала на Каре и в Акатуе. На Кару привезли меня в конце мая 1885 г., так как в Красноярске болела тифом, кроме того все время был болен ребенок, которого и в Красноярск привезла с воспалением легких, а потом бронхитом, ветряной оспой и пр., пока не передала его на волю знакомым, в семью административного ссыльного Сергея Васильевича Мартынова, так что в Красноярске пробыла больше полугода. Затем болела в Чите и лежала несколько месяцев в военном полугоспитале.

С конца мая 1885 г. по сентябрь 1890 г. содержалась в общей женской политической тюрьме, после чего условия содержания политических были радикально изменены, и отдельные политические каторжные тюрьмы уничтожены. Из мужской тюрьмы 17 человек тогда было выпущено в вольную команду, а 13 человек отправлено в Акатуй во вновь отстроенную тюрьму для помещения вместе с уголовными и с обязательными работами в рудниках; из женской тюрьмы

*) Рабочий, участвовавший в подкопе на Итальянской, где он впервые встретился с Якимовой. *В. Фигнер.*

тоже выпустили четверых в вольную команду, а в числе других четырех—Салова, Ананьина, Тринидатская и я были переведены в уголовную женскую тюрьму на Усть-Каре. Там просидела я 2 года и 10-го сентября 92 г. выпущена в вольную команду на Нижней Каре, которая просуществовала там до мая 1897 г. и была переведена в Акатуй. С этого времени никого из политических на Каре не оставалось.

В вольной команде на Каре я вышла замуж за Моисея Андреевича Диковского. Переведенные в Акатуй вольнокомандцы оставались тоже в вольной команде, и семейные жили в деревне Акатуй, в 2-х верстах от тюрьмы. Окончила каторгу в 1899 г., в августе месяце, ибо каким-то манифестом Николая II (кажется, при коронации) бессрочная каторга была заменена двадцатилетней, да кроме того, женщинам в рудниках (Кара и Акатуй—рудники) 8 месяцев считалось за целый год, и таким образом, вместо 20-ти лет пришлось пробыть на каторге 17 лет и 6 месяцев. На поселение назначена была в Якутскую область, но по болезни 3-летнего сына, родившегося на Каре, сначала временно, а потом и окончательно оставлена в Чите. Муж мой окончил каторгу еще на Каре и на поселение назначен был в Забайкальскую область, но оставался со мною до окончания моего срока, а по приезде нашем в Читу поступил на службу по постройке Забайкальской железной дороги. С июля 1900 г. я занимала место конторщицы по службе пути при постройке той же дороги, а с переходом дороги в эксплоатацию была штатной конторщицей той же службы.

В декабре 1904 г. „самовольно отлучилась", как было сказано потом в обвинительном акте, из Читы в Европейскую Россию, где сразу попала в окружение двух провокаторов: Татарова и Азефа. Из этого периода воспоминания остались самые тяжелые: беспрестанно чувствовала, что за всеми моими передвижениями следят шпики, в борьбе с которыми приходилось тратить почти все время, так что рада была бы аресту, чтоб избавиться от этого кошмара. Арестована была 23-го августа 1905 г. в поезде жел. дороги на станции Орехово-Зуево, едучи из Нижнего в Москву.

Сначала повезли меня во Владимирскую тюрьму, а через два дня отправили оттуда в Питер в Петропавловскую крепость. До 30-го октября 1905 г. продержали в Петропавловке и ни разу не вызывали на допрос, а потом отправили в тюрьму во Владимир, так как сейчас же после октябрьского манифеста нельзя было создать политического процесса, но решили судить меня за побег из Сибири и запрятали в башню Владимирской тюрьмы.

7-го октября 1906 г. судили за самовольную отлучку из Сибири и приговорили на 8 месяцев тюремного заключения по месту ссылки без зачета предварительного заключения до суда. Освободилась из тюрьмы в Чите 7-го июня 1907 г. Манифест 1905 г. не был применен ко мне во время заключения по толкованию начальства, потому что „побег—преступление уголовное, а не политическое", применен он был, т.-е. получила право жительства в Европейской России, кроме столиц и столичных губерний, позднее, но не помню, в каком году.

Со времени освобождения из тюрьмы в 1907 г. до 17 г. несколько раз подвергалась обыскам и даже была арестована на короткое время в связи с местными делами партии с.-р. и Красного Креста.

Окончательно выехала из Сибири, из Читы, 10-го июня 1917 г. Короткое время пробыла в Москве и поехала в Одессу. Там с сентября месяца была земским инструктором по выборам в Учредительное Собрание в Одесском уезде, с какою целью ездила по деревням этого уезда и старалась проводить программу партии с.-р. Этим и окончилась моя политическая деятельность.

С 30-го ноября 1917 г. живу в Москве. В начале 18 г. занималась с малограмотными женщинами при Комитете Общественных Организаций, потом работала в разных кооперативных учреждениях: в О-ве „Кооперация", в Наркомпроде и, наконец, в Центросоюзе с 26 января 1920 г. по 15 июня 1923 г. Здесь больше двух лет работала по выборам в комитете служащих Центросоюза в качестве секретаря комитета. Со времени организации Общества бывших политических каторжан и ссыльно-поселенцев работаю немного там.

Ястремский, Сергей Васильевич *).

Я родился в 1857 г. в бедной семье в Харькове. Мой отец был мелким чиновником, он служил в государственном банке. Семья была довольно большая: у меня было два брата и три сестры. Крепостного права я не помню. Как всякий устаревший институт, крепостное право, раз уничтоженное, уже сейчас же детям казалось чем-то далеким, отошедшим вглубь истории. Мне, мальчику, было странно читать Гоголя и Тургенева, где изображался крепостной быт: мне казалось все это дикой и далекой стариной. У Гоголя и Тургенева все скрашивалось необыкновенной художественностью, а Писемского, которого так превозносил Д. И. Писарев, я уже вовсе не мог читать. Научился я читать и писать самоучкою лет пяти. Десяти лет я определен был в классическую гимназию. До реформы Д. Тол-

*) Автобиография написана в декабре 1925 года в Одессе.

стого у нас в Харькове была одна классическая гимназия, где преподавались оба древние языка, а в двух остальных только латинский. В 1870 г. все эти три гимназии были сделаны одинаково классическими, с обоими древними языками. На моей гимназии реформа Д. Толстого отразилась только тем, что число уроков по древним языкам увеличилось до восьми часов в неделю на каждый. Идейного брожения среди гимназистов еще заметно не было. Я первую свободную книгу прочитал только в 1873 г. Это было „Былое и Думы" Герцена. Книгу привезла из-за границы моя знакомая, ездившая на всемирную выставку в Вене. Я целиком присоединялся к проклятиям Герцена царствованию Николая I.

Я учился в гимназии очень хорошо и жадно и много читал. Сначала это были Добролюбов, Чернышевский и Писарев, книги по классической политической экономии (Адам Смит, Рикардо, Милль), потом Спенсер („Социальная статика"), речи и соч. Лассаля (1-й и 2-й т.) и „Капитал" К. Маркса. Радикальные идеи проводились тогда и в легальной литературе. Страстным призывом к борьбе звучали популярные среди молодежи „Исторические письма" Миртова (П. Л. Лаврова). Всю горькую долю рабочего ярко изображала книга Флеровского (Берви) „Положение рабочего класса в России". Любимыми поэтами были Некрасов и Шевченко. Россия просыпалась. Шли процессы Долгушина, Дьякова, и отчеты о них зарождали стремление итти к обездоленным, нести туда лозунги социальной революции. Ходила по рукам записка Палена, о пропаганде в 37 губ. Харьков не так сильно был захвачен движением. Но все же были небольшие кружки радикалов (так звали тогда революционеров); пополнялись они молодежью, бросавшею учебные завевения, чтобы итти в народ. Была в Харькове и большая тайная библиотека хороших идейных книг, состоявшая в распоряжении студентов-медиков старших курсов, откуда выдавались надежным лицам из молодежи книги для чтения. Там были и первые появившиеся книги журнала „Вперед". Радикалы того времени делились, как известно, на кружки „лавристов" и „бунтарей", тяготевших больше к Бакунину. Идеи якобинства, представителем которых был орган П. Н. Ткачева „Набат", увлекали немногих. Хотелось полной воли, и казалось,—открыть только глаза народу, и буржуазный мир рухнет. А потребовалась долгая, долгая борьба, много жертв, и народу надо было, в конце концов, пережить японское поражение и неслыханную мировую войну, чтобы, наконец, осуществилось предсказание Петра Алексеева, чтобы поднялась мускулистая рука рабочего, и разлетелось в прах ярмо деспотизма, огражденного царскими штыками.

По окончании гимназии я поступил на медицинский факультет и примкнул к небольшому кружку товарищей по университету. К нам примыкали и гимназисты старших классов и бросившие учебные заведения молодые люди. К числу последних принадлежал казненный в 1879 г. в Киеве Людвиг Бранднер. Предприняв зимою 1875—76 г. поездку в Киев и Одессу за революционными заграничными изданиями, я в Киеве познакомился с кружком В. Дебогория-Мокриевича, так-назыв. „бунтарями", где были Я. Стефанович, Л. Дейч, В. Засулич, М. Коленкина, Чубаров и др. На меня сильное впечатление произвел Владимир Мокриевич. В Одессе чаще других я видел Волошенко (он мне несколько сродни). Видел и А. Желябова. Последний-то и снабдил меня революционными изданиями.

Тем временем приехал в Харьков Иван Осипович Союзов, столяр, рабочий петербургских железнодорожных мастерских. Он познакомил меня с столяром, рабочим харьковск. железнодорожных мастерских, Куплевасским. И так у нас возникают связи с рабочими, и мы завели даже столярную мастерскую, где главными работниками были „Йоныч" Глушков и Людвиг Бранднер. Не успели хорошо завязаться связи с рабочими, как провокатор Прозоров все выдал, и все начинания наши были разгромлены. Мы были, впрочем, скоро освобождены из-под ареста, но мне и Архангельскому пришлось уехать за границу, где я пробыл года полтора.

Больше я жил в Женеве. Лишь недолго пробыл в Львове, но здесь скоро был арестован и предан суду в 1877 году вместе с известным галицийским деятелем, тогда студентом Львовского университета, Павликом, с Ляхоцким (осужденным под фамилиею явленного им паспорта Куртеева) и Черепахиным (украинофилом). Павлик и Куртеев отделались пустяками, меня же и Черепахина присудили на один месяц тюремного заключения и к вечному изгнанию из Австрии (как, впрочем, и Куртеева).

Будучи за границей, я поместил в лондонской газ. „Вперед" статью о невыносимо тяжелом содержании политических каторжников в харьковских центральных тюрьмах. Мою подпись, равно как и тогдашнего доброго моего приятеля В. П. Обнорского, на ряду с другими, можно найти в прокламациях к обществу учрежденного тогда в Женеве Общества помощи политическим эмигрантам из России. В Женеве, в том кружке, где я был, господствовали идеи анархизма, идеи федералистической ветви расколовшегося Интернационала. Эти же взгляды разделялись и примыкавшими к нам французскими рабочими, изгнанниками по делам Коммуны, и местными женевскими рабочими. В Женеве жил М. П. Драгоманов, предста-

витель украинофильского течения тогдашней революционной мысли, издававший журнал „Громаду". Его правою рукой в этом деле был Ф. К. Волнов, очень образованный и начитанный. С ними обоими я проводил много времени в беседах. Были и старые эмигранты 60-х годов: Элпидин, Жуковский, Жеманов, полковник Соколов. Из нечаевцев были там Ралли и Эльсниц (последний, впрочем, вблизи Женевы). Из каракозовцев был приехавший из Лондона В. Черкезов. Мы,— та группа, в которую я входил,— жили „коммуной". Так эта квартира и называлась как русскими, так и французами. Жил здесь и Стенюшкин, известный под вымышленной фамилией Михаленко, или просто, благодаря французам, как Мишель. Тут был и бежавший со мною из России Архангельский и судившийся со мною во Львове, под фамилией Куртеева, бежавший из киевского полицейского участка Ляхоцкий, известный под кличкою „Кузьма" или „Кузьмич". Он был наборщиком в „Громаде". Живший с семьей в окрестностях Женевы Ралли проводил у нас целые дни. Тут же была наборная, и он вместе с другими набирал газету „Работник". На якобинцев Ралли поглядывал косо и один раз он выговаривал мне, что я привел в „коммуну" якобинку Лизу Южакову. Она помогала нам брошюровать роман Флеровского „Идеалисты". Нас посещал часто Д. А. Клеменц, потом один из редакторов открывшегося, было, в Женеве журнала „Община". Бывал часто, и видел я его не раз, и С. М. Кравчинский, участник Беневентского восстания, амнистированный вместе с другими после смерти Виктора-Эммануила. Это движение шло под лозунгом „пропаганды фактами". В защиту такой пропаганды фактами горячие речи говорил талантливый оратор Коста, тоже посетивший тогда Женеву. Были и французские коммунары. В числе их был старик, еще участник июньских боев 1848 г.—père Saigne (дядя Сень). Кажется, Lefrançais издавал журнал „Le travailleur", проводивший взгляды федералистической ветви Интернационала *). В этом органе появлялись и статьи Драгоманова об украинском движении.

По возвращении в Россию, я попадаю в тюрьму, и больше двадцати двух лет жизни пропадает в тюрьмах, каторге и ссылке.

Уже в тюрьме, в Харькове, узнаю я об оправдании Веры Засулич и взрыве энтузиазма во всей России, вызванном оправдательным вердиктом.

Как известно, мягкий, сравнительно, приговор по „большому процессу" (193-х) не был царем конфирмирован в части, где суд ходатайствовал о смягчении кары ряду осужденных. Вслед за казнью Ковальского гибнет от удара кинжалом шеф жандармов Мезенцев. Выстрел Веры Засулич находит отголосок не только в России, но и за границей. Там происходит ряд покушений на коронованных лиц—в Германии, Италии, Испании.

Под Харьковом (1 июля 1878 г.) была сделана попытка освободить П. И. Войнаральского на пути в центральную тюрьму. Она была неудачна, и попадает в тюрьму один из участников этой попытки „Фомин" (истинная его фамилия Медведев). Я с ним очень сближаюсь. Он убегает с помощью уголовных из тюрьмы, но вскоре его арестовывают близ Харькова. Делается попытка освободить его. Приходят два человека, переодетых жандармами, за Фоминым, но их сейчас же арестовывают в тюремной конторе, благодаря предательству письмоводителя тюремной конторы. Один из этих переодетых жандармами был Иван Иванович Тищенко, более известный всем под вымышленным именем Гаврилы Березнюка, бывший матрос Черноморского флота, человек очень хороший и убежденный. Он много мне рассказывал и о матросе Логовенко и о Виттенберге. Вскоре в связи с этой попыткой освободить Фомина попадают в тюрьму Яцевич и Ефремов. В это время начинаются наши протесты в тюрьме, вызываемые грубостью и бестактностью смотрителя. Мы ломаем рамы, бьем стекла. Кончается это карцером. Потом нас развозят по разным тюрьмам. Я попадаю сначала в камеру при караульном доме харьковских арестантских рот, потом меня увозят в Вышневолоцкую тюрьму. Эта тюрьма была полна тайн. В ней я застал только одного заключенного — Кларка. Мы сидим в одиночных камерах. Ни он, ни я не знаем, что это за тюрьма. Потом оказалось, что это пересыльная тюрьма для политич. заключенных, отправляемых в Вост. Сибирь. Вскоре тюрьма стала населяться: пришли М. Натансон, П. Чехов, Хазов, Н. Тепляков, Н. Обручников, Н. Кузнецов, Альторф, Л. Зак и Лисин. Всех их ссылали административным порядком в Сибирь. Пришли еще Марголин, Чачковский, Мачтет, Зеников, Молчановы (дядя и племянник) и киевский студент Назаров. Порядки в тюрьме были очень вольные, мы проводили все время вместе, только на ночь меня, Чехова и Кларка запирали в одиночки. Но мы не знали ничего о происходящем за стенами тюрьмы. Нам только сообщили по секрету,— кажется, временный смотритель тюрьмы или, может быть, врач,—что Россия разбита на генерал-губернаторства (6 апр. 79 г.). В очень ярких красках описывал нам

*) Lefrançais был сотрудником, а основателем журнала были Элизе Реклю и Жуковский.
В. Фигнер.

М. Натансон, как разлилось широко по России движение, и можно было, по его словам, думать, что мера эта вызвана взрывом революции, но он легко допускал и покушение на царя, как в действительности и было, о чем мы узнали уже потом. Когда привезли нового заключенного — Сабсовича, он уже, помню, как об известном нам факте говорил, между прочим, и о выстреле Соловьева (2 апр. 79 г.). Узнали мы также и о покушении на шефа жандармов Дрентельна и о казни офицера Дубровина.

Все мои товарищи по заключению, кроме Зеникова, преданного суду за оскорбление караульного офицера, и Лисина, умершего в стенах тюрьмы от чахотки, ушли, закованные в ручные кандалы, в Сибирь. Я остался один. Вскоре прибыла в Волочек моя жена и стала меня посещать. Пришло много административных ссыльных из Одессы, высланных правою рукою Тотлебена—Панютиным. Пришли также из Варшавы молодые симпатичные Серошевский и Лянды. Мне помнится, они были закованы в ножные кандалы. Мне в особенности понравился Серошевский своей экзальтированностью, своим энтузиазмом. И Серошевский, и Лянды, и все административные из Одессы, — в общем весьма веселая компания,—ушли в Сибирь.

Но вот приехали за мною жандармы и препроводили меня на военный суд в Харьков. В Харькове было много политических заключенных. Для них был устроен ряд одиночных камер с заделанными до самого верха окнами, оставлявшими лишь не больше полуаршина просвета. Сделано было так, чтоб взбираться на окна было невозможно. Табурет, кровать, стол — все было привинчено, приколочено накрепко. Перестукиваться нельзя было, но можно было переписываться. Мы обменивались книгами и в книгах переписывались. Свиданья с женою обставлены были тяжелыми условиями надзора. О крушении царского поезда на московской дороге я узнал от одного из привилегированных уголовных арестантов, написавшего мне об этом в книге по-французски. О процессе и пребывании в Сибири я писал уже в другом месте („Кандальный Звон“, Одесса, 1925, № 1) и поэтому здесь ограничусь немногими фактами.

Харьковский генерал-губернатор Лорис-Меликов после взрыва в Зимнем дворце был назначен главою Верховной распорядительной комиссии в Петербурге, а на его место в Харьков был назначен Дондуков-Корсаков. Наступила „диктатура сердца“.

На суде (24 марта 80 г.) уже чувствовались какие-то веяния, но прокурор все грозил виселицей.

О смерти напоминали не только пресловутая статья в обвинительном акте, рекомендуемая к применению прокурором, но и упоминания о Бранднере *), „ныне повешенном“, о губернаторе Крапоткине, „ныне убитом“, как скороговоркой прибавлял прокурор. И над публикой, которой набралось человек до 200, и над скамьей подсудимых нависала все же жуть. И вот мне захотелось в своем последнем слове рассеять эту жуть и сказать несколько слов против призыва к виселице.

Я сказал, что даже в Австрии и Германии за распространение книг или не судят, или кары ничтожны. Что же касается слов прокурора, что в книгах, которые я распространял, призывается к резне, что задались целью вырезать треть населения России, то я не знаю, чем вызвано такое утверждение. Движение охватило все классы общества, начиная с высших, кончая низшими. Что же это значит? Значит ли это, что мы, русские, такой кровожадный народ. Нет, не то! Это смутил прокурора призыв к революции. В книгах не о резне говорится, а о революции. Революция же—закончил я при проникавшем меня сочувственном внимании притихшей публики,—это не резня, а проведение в жизнь начал свободы, равенства и братства, а это было и остается моим идеалом и до сих пор.

Я был присужден к 15 годам каторжных работ в рудниках, но, за несовершеннолетием во время совершения „преступления“, приговор тут же был смягчен на 10 лет в крепости. А. М. Калюжный, страдавший тогда душевною болезнью **) и все же посаженный на скамью подсудимых, приговорен был к 6 годам каторги, столяр Куплевасский—к ссылке в не столь отдаленные места Сибири. Студенты Чугуевец, Ванчаков и Судейкин приговорены были к пустому наказанию (месяцы тюрьмы), но и то потом было снято.

После суда я, А. М. Калюжный и Куплевасский уже были посажены вместе в одну камеру. Сначала меня заковали в ножные кандалы и обрили мне половину головы, потом сделали то же с Калюжным, а через несколько дней заковали и Куплевасского.

Вскоре нас повезли в Мценскую тюрьму, где сейчас же расковали. Потом началось длинное путешествие, закончившееся уже поздней осенью. Ушло с нами все население Мценской тюрьмы. Дорогой присоединились к нам Андрусский, Белоцветов и Козырев ***), шедшие в каторгу. Кроме

---

*) Привлекался по моему делу и казнен 14 мая 1879 г. в Киеве за вооруженное сопротивление вместе с В. Осинским и Свириденко.

**) Потом он оправился. В свое пребывание на Кавказе он своими беседами много помог Максиму Горькому в духовном его развитии.

***) Андрусский из гусаров. Белоцветов и Козырев студенты Ярославского лицея. Козырев до поступления в лицей был дьяконом.

того, присоединились к нам два общественных деятеля, отправляемые в административную ссылку—Н. Ф. Анненский и Павленков. Мы шли отдельной политической партией без примеси уголовных.

Между Красноярском и Иркутском на одном из этапов сложились благоприятные условия для побега, и бежали Минаков, Властопуло, Крыжановский и Козырев. Но тайга казалась только безбрежной, а ее знали вдоль и поперек местные жители, и беглецы были скоро арестованы. В Иркутске присоединились к нам заключенные, бежавшие было из тюрьмы, но неудачно, Волошенко, Попко, А. А. Калюжный (мичман), Н. Позен, Яцевич, Березнюк, Фомичев и „Неизвестный, раненый в голову" (один из участников вооруженного сопротивления в Киеве) и помогавший им с воли ссыльный по процессу 50-ти А. О. Лукашевич. Из них я хорошо знал еще на воле Волошенко и Попко, а Яцевич и Березнюк были моими товарищами по тюрьме в Харькове. Их всех терзала мысль, что будет за побег. Но плетей не было, а только надбавка сроков каторги, а Фомичева, Березнюка и Попко приковали к тачке на три года, так как они были бессрочными. В Иркутске к нам присоединили еще и Е. И. Россикову *).

Шли уже громадные льдины по реке („шуга" по-сибирски), когда мы в лодках прибыли в Усть-Кару. Нас встретил комендант Кары полковник Кононович. Тюрьма наша была на Средней Каре. На Нижней Каре Виктор Костюрин бросился в объятья к вышедшему навстречу Синегубу, поразившему меня своим изможденным видом.

Синегуб, как и Чарушин, Шишко, Семяновский, Богданов Степан (очень любимый всеми), Терентьев, Квятковский (брат казненного) и Успенский (нечаевец) жили на воле. На волю же выпустили мою жену и жену Гелиса, как добровольно последовавших за нами. Женская тюрьма находилась на Нижней Каре, и туда была заточена Е. И. Россикова.

На Средней Каре в тюрьме мы застали осужденных в Одессе и Киеве. Были там еще Ефремов и Родин, осужденные в Харькове, и Мозговой, Зубрилов и А. И. Дубровин **) (все трое—донские казаки из интеллигентных) и мятежный ахал-текинец, Абдурахман-хан ***), необыкновенно представительный, стройный мужчина, лет сорока, с красивой длинной бородой.

Здесь мы застали и Бобохова *), осужденного за вооруженное сопротивление при поимке после побега из административной ссылки, и Бибергаля, осужденного по делу Казанской демонстрации. Жена последнего, как и жена Родина, проживали вне стен тюрьмы. Проживала еще на Каре и мать Ростислава Стеблин-Каменского. Из проживавших на воле были женаты, и жены последовали за ними: Квятковский, Чарушин и Синегуб. Особенно сердечно встретил меня всегда так меня любивший, знавший меня еще с воли Ростислав Стеблин-Каменский. Сиял радушием В. Х. Кравцов, так популярный под именем „дядьки", украшенный длинной окладистой бородой. Тут же был сопроцессник (вооруженное сопротивление в Киеве) Р. Стеблин-Каменского С. И. Феохари. В первый раз тут его я увидел. Потом мы жили с ним бок о бок в Мегенском улусе Якутского округа.

Сначала были работы: мы ровняли плац для казацких экзерсиций. Эти выходы на работы скоро стали походить на прогулку, а с переходом в другую тюрьму, на Нижнюю Кару, работы и вовсе прекращены были.

Пришла из Петербурга новая инструкция о содержании нас. Оказалось, что к нам буквально применили инструкцию содержания декабристов. Даже был там и тот пункт, что жены, добровольно последовавшие за государственными преступниками, могут брать с собою в услужение из своих людей только двух человек—одно лицо мужского пола и одно женского. По этой инструкции все должны были быть в тюрьме. Из проживавших на воле был оставлен на воле только Синегуб, как уже отбывший каторгу, все другие должны были быть заключены в тюрьму. Семяновский не вынес этого и застрелился.

Прибыли осужденные в Киеве по делу М. Р. Попова.—М. Р. Попов, Игн. Иванов, Юрковский, Лозянов, Диковские и другие. Прибыли с ними и бежавшие, было, Минаков, Властопуло, Крыжановский и Козырев. Пришел с ними и П. А. Орлов, не так удачно воспользовавшийся „сменкой" с уголовным, как Вл. Дебогорий-Мокриевич. Мы жили в двух камерах, скорее казармах, окнами на волю, конечно за решетками. Кандалы носили номинально: они свободно снимались и иногда заменялись цепочками, всунутыми в голенище сапогов. Об этом

*) Ее подруга Анна Алексеевна Алексеева отделалась дешевле—была присуждена на поселение. Теперь она живет близ Одессы, на Большом Фонтане.

**) Е. И. Дубровин, медик, пришел куда позднее.

***) Как Абдурахман-хан, так и Опришко, упоминаемый ниже, оба скончались в тюремных карийских лазаретах, в 1881 году. Опришко был очень симпатичный человек; когда он сидел в тюрьме в Николаеве, его хотел освободить Мих. Абр Морейнис. Не помню, почему это не было приведено в исполнение.

*) Он стрелял только демонстративно: он добивался гласного суда, чтобы открыть глаза обществу на эти бессудные ссылки. Так сгинула эта прекрасная жизнь. Осужденный на беспросветную 15-ти летнюю каторгу, он умер на заре жизни, отравившись в 1889 году, в виде протеста против применения к Н. Сигиде телесного наказания.

все знали. Когда казака просили выпустить за ворота тюрьмы в пекарню, он прежде всего в окошечко ворот смотрел, есть ли кандалы, и если не было, казак говорил:

— Поди-ка, паря, надень оковы!

Прикованные к тачкам обратили на себя внимание Кононовича, и он спросил нашего смотрителя Тараторина:

— Как же спят они?

Тот, нимало не смущаясь, ответил:

— Цепь, однако, длинная.

Но оба великолепно знали, что это так— для парада. Потом-то, правда, довелось таскать эти тачки.

Мы хорошо помнили день, когда пройдут три года, назначенные для прикованных к тачкам. День настал, мы напомнили об этом. Прикованные тут же освобождены были от тачек. Но Попко нажил себе водянку и преждевременно угас именно потому, что никогда не ходил гулять, не желая таскать перед собою тачку. Кончил с собою бессрочный Родин, разбитый параличом.

Лето мы провели еще на Средней Каре и работали, снимая слои пустых пород, лежащие на золотоносных. На Нижней Каре уже была выстроена строгая тюрьма для нас, обставленная высоким частоколом, и там потекла наша дальнейшая жизнь. Работ уже не было. Население увеличилось прибывшими централистами и новыми осужденными. Выбрасывали за борт цвет технического труда, цвет интеллигенции. Еще счастливцы попадали на Кару, а то ведь была и петля виселицы и казематы крепостей. При тюрьме, за стенами тюрьмы, устроены были для нас мастерские *), где работали наши столяры и слесаря.

Издавались на Каре и рукописный журнал „Кара“, и юмористический листок. Из помещенных в журнале „Кара“ вещей помню чудное описание сельскохозяйственной артели радикалов на Кавказе—статья Г. А. Попко. Был там и роман В. Костюрина „Гнездо террористов“—первые шаги революционной группы „бунтарей“, где помню скромную фигуру В. Засулич под именем Марфуши **). А какие интеллигентные силы были здесь! Стоит вспомнить доктора Веймара, талантливого математика С. Ф. Ковалика, импровизировавшего нам лекцию по введению в анализ бесконечно-малых. А энциклопедически-образованный Адриан Михайлов, прозванный большим энциклопедическим словарем! Профессор химии Флориан Богданович, когда у нас отняты были книги, читал лекции товарищам по польской литературе, приводя наизусть длиннейшие цитаты из творений польских поэтов. Делились охотно знаниями, помогая в научных занятиях друг другу. Внутреннюю жизнь нашу того времени, когда пришли к нам централисты и вновь осужденные по террористическим процессам и другие, уже описывал С. Ф. Ковалик („Каторга и Ссылка,“ № 4/11. Москва. 1924). После открытого и неудачного побега товарищей (Мышкина, Хрущова и др.) мы ждали на нас нападения и караулили за движением войск с крыш тюрьмы, не спали по ночам, хотели отразить нападение и сжечь тюрьму и самим погибнуть; но напряженные нервы устали, мы сдались на успокоительные слова коменданта Потулова и заснули, а проснулись уже, когда на рассвете бесшумно вошедшие казаки заполнили всю тюрьму. Все были обысканы, переодеты в арестантское, все книги были отобраны, все вещи. Нас лишили прогулок, чаю, табаку. Свиданья с женами еще раньше были запрещены. А мать Р. Стеблин-Каменского и невеста Петрова (Парабашова) были высланы с Кары. Нас ввели в опустошенные камеры. В ту камеру, где я был, вторгаются казаки и с ними их командир—Руденко. Он кричит на Бобохова: „Встать!“ Когда тот не повинуется, Руденко обращается к казакам: „Поднять его за чуб.“ Казаки бросаются. Товарищи заступаются за Бобохова. Отдается приказ: „Бить прикладами!“ Мы сопротивляемся. Завязывается борьба; я принимаю в ней деятельное участие. Избиение прекращает явившийся комендант Потулов.

Для меня и Старынкевича, бросавших досками в командира казаков, эта история прошла бесследно, благодаря показаниям Потулова, что, войдя в камеру, он застал дикую картину избиения. От нас отняли кровати, и спали мы на полу. Многие были переведены в тюрьмы других промыслов. Потом каждую камеру разбили на три чулана и по чуланам разместили нас под замок. Лишили нас свиданий и прогулок, и вдруг еще нависла новая гроза: телесное наказание. Решили протестовать голодовкой. Не вся тюрьма примкнула к этому протесту. Другие стояли за более активный протест.

На двенадцатый день подходит ко мне Порфирий Войнаральский и говорит: „Голодовку решили прекратить. Это еще вчера вечером решили, да я жалел тебя, не говорил“. Голодовка прекращена была из-за слабых. Их потихоньку стали подкармливать, жалеючи. Не всех,—двух-трех. Но это возмутило других, как извращение самого смысла голодного протеста.

Нам уступили во всех требованиях и сказали, что телесных наказаний применять к нам не будут.

О жизни после голодовки, о научных за-

*) Потом, после побега Мышкина, Хрущова и др., упраздненные навсегда.

**) В Шлиссельбурге Юрковский давал нам читать отрывки своего романа под тем же названием „Гнездо террористов“. Этот отрывок, но под назван. „Булгаков“ помещен в сборн. „Под сводами“, изд. под редакц. Н. А. Морозова в 1909 г.

В. Фигнер.

нятиях на Каре писали уже. Помню увлечение математикой. Помню и великолепную лекцию С. Ф. Ковалика, посвященную началам дифференциального исчисления. Изучением „Капитала“ К. Маркса и прениями по толкованию книги преимущественно заняты были кавказцы Цицианов, Зданович, Джабадари. В тюрьме была превосходная библиотека, очень богатая книгами по всем отраслям знаний, с редкими и ценными сочинениями не только на русском, но и на французском, немецком, английском и итальянском языках. В инструкции был пункт, что государственные преступники могут пользоваться всеми книгами, выходящими в России. Получались нами поэтому регулярно толстые ежемесячные журналы и даже ежедневные газеты (конечно, с большим запозданием).

Довольно значительную часть заключенных, по неведомым соображениям, по странному, непонятному выбору, признано было необходимым замучить до смерти, и их увезли в казематы крепостей. Летом 1882 г. с Кары были увезены Щедрин, М. Р. Попов, Игн. Иванов, П. Орлов, И. Волошенко, Буцинский, Геллис и Кобылянский, затем в 1883 г. еще шесть человек: Мышкин, Долгушин, Юрковский, Малавский, Минаков и Крыжановский. Все они были посажены в Петропавловскую крепость, в Алексеевский и Трубецкой бастионы, а в августе 1884 г. перевезены в Шлиссельбургскую крепость *).

На Кару в 1884 г. привезли обратно И. Волошенко и П. Орлова. М. Р. Попов был освобожден в 1905 г. Крыжановский отправлен был на Сахалин. Н. Щедрин из Шлиссельбурга в 1896 г. был увезен в казанскую психиатрическую лечебницу, где и умер от тифа зимою 1920 г., просидев в тюрьме и больнице 40 лет. Остальные погибли в Шлиссельбурге. Из них И. Мышкин и Е. Минаков были казнены.

Во дворе тюрьмы за особым частоколом был выстроен корпус одиночных камер, в которые попадали, по неведомым соображениям, некоторые из товарищей. Впрочем, эта мера потом не стала применяться, и корпус одиночных камер служил больницей, а дальнейшей его судьбы не помню. В тюрьме перегородки камер были сняты, и чуланы, таким образом, были уничтожены. Караулили нас теперь уже жандармы. Держали днем довольно льготно, но по ночам запирали в камерах. Мы совершенно отделены стали от уголовного начальства. Для нас назначен был отдельный комендант—жандармский офицер. Вместо казаков караулили тюрьму солдаты, с субалтерн-офицерами и главным начальником.

В 1883 г., когда был освобожден из Вилюйска Н. Г. Чернышевский, к нам послан был флигель-адъютант Норд, и кое-кому сокращены были сроки каторги. Коменданты жандармские сменялись часто. Один из них, Манаев, присужден был в ссылку за растрату наших денег. Смененного Манаева заменил Бурлей. Этот относился к нам очень хорошо, и порядки стали совсем мягкие. При нем вышло распоряжение выпускать кончавших сроки на волю—жить на промысле близ тюрьмы (в „вольную команду“). Первыми выпустили меня, Веймара, Кашинцева, Бердникова, Ковалева, Новицкого, Зайднера, а из женщин: Р. Л. Прибылеву, Н. А. Армфельд, к которой затем приехала мать, Лисовскую, Коленкину (одновременно или немного позднее Ю. Круковскую). Это было в 1885 г. В январе или феврале 1886 г. посетил нас американский журналист Кеннан. Веймар и Лисовская тогда уже скончались от бугорчатки, Кашинцев, Бердников, Ковалев и Зайднер ушли на поселение. На смену им освобождены были из тюрьмы Янковский, Куртеев, Костюрин, Надеев, Трощанский и Матфиевич.

В марте 1886 г. я с женою и с нами Филиппов (из тюрьмы) отправлены были на поселение в Якутскую область. Немного раньше того ушел туда В. Костюрин. Р. Л. Прибылева уехала ускоренным порядком, на свой счет, тоже в Якутскую область. А из тюрьмы еще осенью 1885 г. туда же отправлен был Р. Стеблин-Каменский.

Мы добрались до Иркутска лишь летом. Жена уехала в Россию, а я под конвоем двух солдат отправлен был в Якутскую обл. В Якутской области жил я в разных улусах Якутского округа. Занимался я там и сельским хозяйством, в особенности, когда жил с Ростиславом Стеблин-Каменским, и изучением якутского языка.

Весть о карийской трагедии дошла до нас очень скоро, скоро пришло и живое, яркое описание ее, сделанное Г. Ф. Осмоловским.

И эти картины сменяются картиной другой трагедии—якутского протеста. Заколотая штыком в живот Пик (Софья Гуревич), убитые солдатскими пулями Сергей Пик, Петр Муханов, Яков Ноткин, Паппий Подбельский, Шур, на кровати принесенный к виселице и казненный Коган-Бернштейн, ярый противник протеста Гаусман, так горячо отстаивавший на суде товарищей, защищавший их на суде, как юрист, и тоже казненный, казненный Зотов*).

Топор обознавшегося разбойника, принявшего за поджидаемого богача бедняка П. А. Орлова, губит зимою на дороге от Якутска

*) Кроме Крыжановского—в Шлиссельбурге он не был. *В. Фигнер.*

*) Казни эти произведены были в исполнение резолюции Александра III: „наказать примерно!“. А когда умер главный виновник карийской трагедии, так возмутившей весь свет, г.-губ. Корф, Александр III заметил: „тяжело терять таких верных слуг!“

к ближайшему селению этого умного, дорогого товарища. Ножи грабителей разят в глухом лесу обманутого ими Петра Алексеева. Еще раньше погибли в Якутской области Багряновский (застрелился), Л. О. Цукерман (утопился в реке Амге), Доллер (утонул в Лене). Жуткою смертью погибла Е. Южакова. К этому списку надо прибавить и имя Ростислава Стеблин-Каменского, застрелившегося уже по выезде из Якутской области, в Иркутске.

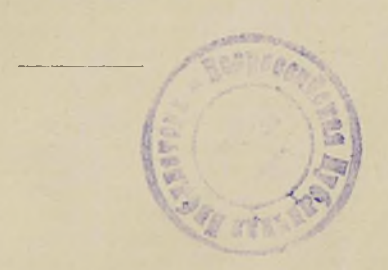
Приезжает к нам Д. А. Клеменц, тогда правитель дел Восточно-Сибирского отдела Географического Общества, организатор якутской экспедиции имени Сибирякова. Я беру на себя исследование языка и фольклора якутов. Как раз тогда перебираюсь я в Дюпсюнский улус к интеллигентному якуту А. П. Афанасьеву учителем его детей. При его помощи я проникаю в тайны языка и народной словесности якутов.

„Манифесты" шли обыкновенно мимо меня, но манифест 1894 г. дает мне право переезда в Иркутск, приписавшись в крестьяне. Это случилось уже в 1896 г. В Иркутске я застал приехавшую ко мне жену. Жить в Иркутске было большой привилегией. Мне, Геккеру и Майнову было это ген.-губернатором Горемыкиным разрешено, по хлопотам Географическ. Общества, как участникам якутской экспедиции, для обработки собранных нами материалов. В Иркутске жили тогда Лянды *), Любовец, Ковалик, Свитыч, Студзинский, Кленов, Морейнис, Коленкина с мужем (Богородским), Дзбановский, Лури, Джинда и соц.-дем. Красин, служивший техником на железной дороге.

Восточно-Сибирский отдел Географического Общества был интеллигентным центром города. Здесь, например, устраивались дебаты о судьбах капитализма в России, где принимал живейшее участие и Красин.

Мне удалось поступить в Иркутское отделение Сибирского торгового банка, где уже служили Э. И. Студзинский и Н. Л. Геккер. Управляющим отделения был Болеслав Шостакович из политических ссыльных за восстание 1863 г. В „Восточном Обозрении" я напечатал два беллетристических эскиза, третий же был так искромсан цензурою, что и печатать нельзя было, и моя литературная деятельность на этом поприще оборвалась. Но зато я отпечатал в Иркутске мои работы по якутскому языку: „Падежные суффиксы в якутском языке" и „Грамматику якутского языка", удостоившиеся самого лестного отзыва акад. Всеволода Миллера. Еще напечатана была моя работа „Остатки старинных верований у якутов". В 1900 г. я уже имел право выехать в Европейскую Россию и тотчас же им воспользовался. С 1902 г. я живу в Одессе, в 1903 г. мне удается поступить в один банк счетоводом. Февральская революция застает меня в Одессе же, на службе в том же банке. В 1920 г. я поступаю на службу в одесское статист. бюро, где работаю и сейчас. Я делаюсь сотрудником Академии Наук СССР по фольклору якутов, и предстоит мне переработка для 2-го издания моей грамматики якутск. яз.

Подводя итоги долгой эпохе исканий и борьбы, приходишь к выводу, что торжество революции в России показывает, как прав был Оуэн в своем утверждении: „Что могло однажды образоваться и осуществиться в логических построениях мысли человека, то не может уже быть признано невозможным в мире и должно, рано или поздно, непременно найти свое осуществление и в фактах действительной жизни" *). И час мирового торжества революции поэтому неотразимо близится.



*) Женатый на Левандовской.

*) Приведено из статьи Добролюбова „Роберт Овэн и его попытки общественных реформ" в собр. его сочин., 2 изд. 1871 г.

Замеченные опечатки в 40-м томе

(просят исправить в тексте):

Стлб.	*Строки*	*Напечатано:*	*Следует:*
8	7 св.	к ст.	и цикл статей
36	4—5 св.	австрийцев к переходил из рук и неоднократно русским и обратно	и неоднократно переходил из рук австрийцев к русским и обратно
38	14 св.	Герара Реньо	Герара, Реньо
48	3 сн.	в 1 к. гр.,	в 1 клгр.
139	15 сн.	120.000	15.000
153	17 св.	geeanis	glanis
425	8 св.	4	IV.
521	15 св.	Париже	Брюсселе

Приложение „Современное состояние важнейших государств“:

Стр.	*Стлб.*	*Строки*	*Напечатано:*	*Следует:*
23	табл. 43	заголовок	1922 и 1923 г.	1913 — 1922 г.
23	табл. 44	подзагол.	с 1923 г. = 100	с 1913 г. = 100
60	табл. 107	подзагол.	1920 — 1923 гг. *)	1920—1923 гг.*) (в милл. пуд).
65	—	17 св.	Западн. Африка—1911 г.	Вест.-Индия—1911 г.
71	2	11 св.	Латвии	Эстонии
73	3	15—16 сн.	в Юго-Славии (Далмация)	в Далмации, по Рапп. дог. 12/XI—1920 г. отошла к Италии
88	3	25 св.	сев. Ш. отошла	сев. зона Ш. отошла

Пропущено:

9	—	30 св.	Куба... республика	1907	114.524	2.048.980	17,89
				1919	166.122	2.899.775	17,46

В состав двойного 40-го тома входят 8 выпусков (48 печ. лист.). Цена тома по подписке в *полном* его составе: без перепл.—9 рубл., в перепл.—10 р. 50 к.; *без приложения* „Автобиографии революц. деятелей 70-х и перв. полов. 80-х гг.“: без перепл.—5 р., в перепл.—6 р. 20 к.

Первая часть тома набиралась по старой орфографии, последующая (цикл „Социализм“ и все приложения)—по новой. Приложение „Современное состояние важнейших государств“, распределенное по нескольким выпускам, следует отнести к стлб. 31/32.

„Красная газета“, веч. вып. 19 декабря 1924 г., № 290.

Вышедшие первые два выпуска 40-го тома знаменитого словаря „Граната“ не содержат таких „гвоздевых“ статей, как вышедший в октябре 39-й том („Скотоводство“—проф. Богданова и проф. Придорогина, „Система вооруженного мира“ и „Смутное время“—М. Н. Покровского). Все же и в этих выпусках имеется ряд прекрасно выполненных и выдержанных в обычном для Словаря строго-научном и марксистском духе работ... Вообще, все то, что может послужить хотя бы маленьким кирпичиком в величественном здании новой России, пользуется исключительным вниманием редакторов Словаря... К этому нужно еще добавить, что Словарь, за редкими исключениями (напр., в статье „Сода“), пользуется самыми свежими источниками и материалами... Этот Словарь, безусловно, нужный и могущий принести громадную пользу и передовому крестьянину, и рабочему, и интеллигенту, могущий сослужить большую службу учащимся старших классов школ II ступени, и рабфаковцу, и студенту, выходит всего в количестве 2.550 экземпляров. Конечно, ни рабфаковец, ни студент, ни рабочий, ни крестьянин, а подчас и интеллигент не в состоянии платить за двойной выпуск (не исчерпывающий даже Со) 2 рубля. Но читать Словарь и одновременно пользоваться им, как справочником, они должны. Поэтому,—не должно быть ни одной библиотеки, ни одного клуба, ни одной избы-читальни, которые не являлись бы подписчиками на словарь „Граната“

„Книгоноша“, орган ЦБ Совпартиздат. при Отд. Печ. ЦК РКП, 17/III—1925 г., № 9.

„... На коротком расстоянии вышли один за другим—двойной выпуск XL т. и первый выпуск XLI тома. Как в том, так и в другом выпуске помещены обстоятельные, умело и толково составленные статьи... Из статей, разбираемых нами выпусков, отметим статью об А. К. Соловьеве, известном революционере 70-х гг., совершившем покушение на Александра II, написанную Верой Фигнер, и удачную характеристику историка С. М. Соловьева, данную Н. А. Рожковым... Удачны статьи проф. Солнцева о социальном распределении и социальных классах, снабженные обильными библиографическими данными, и статья В. Я. Яроцкого о социальном страховании и социальном обеспечении. Использован соответствующи материал в статьях проф. Молькова о социальной гигиене и проф. Мензбира о социальной жизни животных. В конце первого выпуска XLI тома помещено начало статьи К. М. Тахтарева о социологии.

Особую ценность имеет приложение к 1—2 выпуску XL тома, представляющее ряд таблиц и диаграмм, посвященных современному состоянию важнейших государств. На 88 страницах убористой печати приведены ценнейшие материалы по статистике, экономике, рабочему движению, государств. устройству и т. д. как СССР, так и главнейших государств мира. Для справок это приложение является прямо незаменимым пособием. Главнейшие данные по послевоенной Европе, Америке и СССР сведены в ясные и отчетливые таблицы и диаграммы, которыми весьма удобно пользоваться для различного рода работ. Такого рода сводка куда выше бесконечных литературных трактатов, где цифровые и фактические данные надо вылавливать и выуживать. Отметим, напр., такие красноречивые документы, как ориентировочную диаграмму о нашем землевладении в 1917 г. и землепользовании в 1922 г., или карту, характеризующую воцарившийся после войны валютный хаос. В общем все это приложение составлено чрезвычайно удачно; определенно дает себя чувствовать проделанная большая работа. Издана книжка вполне удовлетворительно, шрифты, даже самые мелкие, отчетливы...“

„Красная печать“, орган Отдела Печати ЦК РКП 25/IV—1925 г., № 11.

„... Словарь нашел значительное распространение и среди сельских учителей, и среди работников транспорта, и на фабриках и заводах. Незадолго до войны явилась смелая мысль: развернуть об'яснения в глубокий научный анализ в об'еме университетских курсов, но при этом построить Словарь так, чтобы его статьи могли быть усвоены и очень слабо подготовленным читателем. Образцом стояла Британская Энциклопедия, выпущ. 2-м изд. Кембриджским универс., самая обширная в мире, со статьями-монографиями высокой научной ценности, несмотря на строго-научный, часто специальный характер статей, получившая колоссальное распространение, широко проникшая и в рабочую среду и действительно ставшая „могущественнейшим средством распространения университетского знания в широких слоях населения“, как к этому стремился Кембриджский университет. Мысль встретила большое сочувствие. Во главе редакции нового издания Словаря встал К. А. Тимирязев вместе с другими видными учеными. В Словаре принял участие и В. И. Ленин, давший его читателям основную статью по обществознанию—„Маркс и марксизм“. Писал и проф. Мечников. По некоторым специальным вопросам писали выдающиеся иностранные ученые и деятели. Для каждого крупного вопроса тщательно подбирался автор—наиболее самостоятельный, наиболее глубокий исследователь и мыслитель...

...46-й том дает обзор и анализ „Четырехлетней войны и ее эпохи“, вышедшие выпуски дают разносторонний обзор военных действий, разработанный известными специалистами.

В. А. Невский, „Как находить нужную книгу“. Госуд. Издат. 1925 г.

„Энциклопедический Словарь бр. Гранат является лучшим энциклопедическим словарем нашего времени: он один из самых полных словарей, не загроможден мелочами, которые очень редко кому требуются; на каждое слово в Словаре дана более или менее обстоятельная статья или заметка, написанная хорошим литературным языком; сведения, даваемые Словарем, весьма свежие“.

„Известия ЦИК СССР и ВЦИК“, 20 октября 1923 г., № 240.

„Редакция Словаря последовательно проводит и в новых томах систему, принятую ею с самого начала издания,—систему чередования обширных руководящих статей и мелких справочных заметок, что делает Словарь одновременно ценным пособием для самообразования, богатой по темам книгой для чтения и тщательным справочником“.

„Экономическая Жизнь“, 10 декабря 1924 г., № 356.

„Ценнейшим материалом в выпущ. томе (1—2 в. 40 т.) являются статистические таблицы, данные в приложении. Эти таблицы охватывают собой статистические данные о современном состоянии важнейших государств, при чем в них собран и богатый материал, рисующий последствия войны во всех отраслях народного хозяйства главнейших стран. Эти таблицы иллюстрированы хорошими и показательными диаграммами. К этому же тому в качестве приложения добавлена глава об административном делении Союза Советских Социалистических Республик. И эта глава богато иллюстрирована статистическими таблицами, при чем самыми интересными следует признать таблицы, рисующие состояние землевладения и землепользования в 1917 году. Таблицы составлены по отдельным губерниям. К этой главе приложена чрезвычайно показательная и поучительная ориентировочная диаграмма о землевладении в 1917 г. и землепользовании в 1922 году. Сопоставление этих двух диаграмм дает хотя и приблизительное, но вполне четкое представление о том значении какое имела для отдельных районов Советского Союза земельная революция, произведенная Октябрем. Кроме того, в этом же томе мы найдем ряд статистических таблиц, рисующих положение народного хозяйства Советского Союза, частично за период в начале войны до 1923 г., частично за более короткие сроки вплоть до 1924 г.

Вышедший из печати том, как и все предыдущие тома, является, несомненно, крупным приобретением, дающим возможность каждому почерпнуть ряд ценнейших сведений, а тем самым и обогатить свой умственный кругозор“.

„Вестник Просвещения“, журн. (изд. „Нов. Москва“) № 2—3, 1925 г.

„По мере усиления работы по лабораторному или дальтоновскому методу роль справочника в школьной практике выступает все яснее, и все сильнее растет потребность в специально составленной для этой цели книге, соответствующей тому или другому уровню самостоятельной работы. При таких условиях хорошим пособием для лабораторной работы может служить I—II вып. 40 т. „Энцикл. Сл.“, как по своему размеру, так и по умелому, интересному подбору материала, извлеченного из целого ряда разл. новейших, как русских, так и нем., англ., и др. спец. сборн. и исследований. На 83 стр. прилож. в 119 табл. и ряде диаграмм дан четкий сравнит.-статистич. обзор соврем. состояния важнейших государств. 1-я часть этого обзора посвящена иностр. госуд-ам, 2-я часть—СССР. Здесь показана территория и насел. за 1923 г., администр. деление на I v 1924 г., деление по естеств. районам и национ. состав по переп. 1920 г. След. таблица определяет потерю русской армии в войну 1914—1917 гг. и развертывает картину землевладения 1917 г. и землепользования 1922 г., дающую представление о значении земельного переворота, произвед. Октябрьской революцией, при чем не только во всей территории, но и для отдельных районов Европ. России, что особенно важно при краеведческой работе школ.

...Для школ 2-й ступени, рабфаков, техникумов, переходящих на новые методы работы по обществоведению, это очень удобное пособие с свежим и проверенным материалом. Полезно оно и для библиотек и клубов“.

„Известия ЦИК СССР и ВЦИК“, 28 ноября 1924 г. № 272.

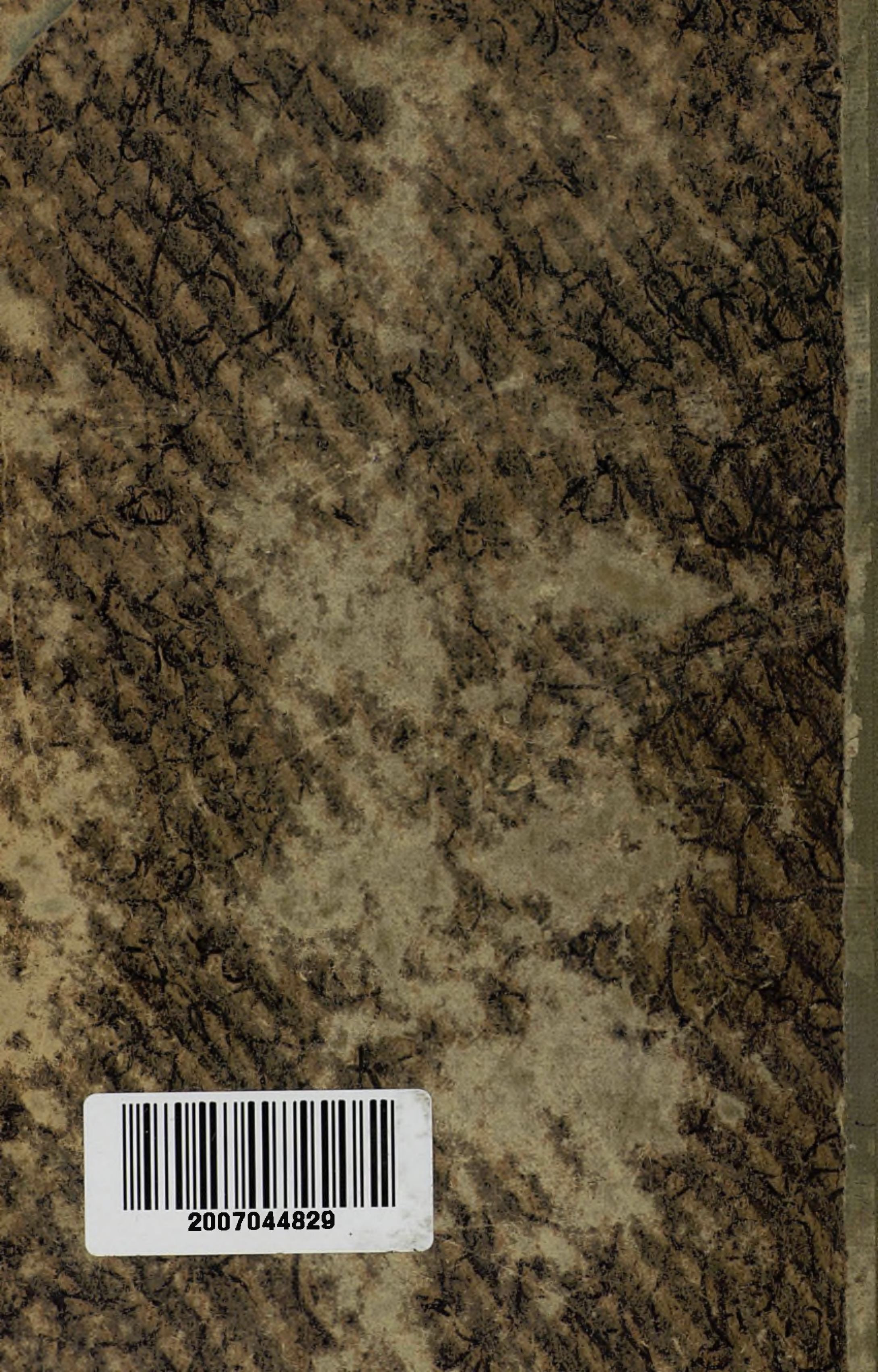
„В новом выпуске Энциклопедического Словаря Гранат (1—2 вып. 40 тома) прежде всего привлекает внимание обширное приложение, составляющее лишь часть широко планированного обзора современного состояния важнейших государств. Первая часть его заключает сравнительно-статистический обзор иностранных государств и СССР. В ряду довольно многочисленных книг и брошюр по статистике мирового хозяйства за время войны, вышедших за последние 2 года, настоящий обзор выгодно выдается своей компактностью, продуманным и очень интересным подбором материала и свежестью данных. Его 119 таблиц легко обозримы, по обилию сведений не уступают иной книге, уделяют много места положению рабочего класса и, помимо экономики, дают любопытную статистику по эволюции парламентского представительства на западе (табл. 63—83). Но самым главным преимуществом настоящего обзора является то, что он дан в энциклопедическом словаре, в котором по каждой стране имеются обширные статьи, освещающие все их экономическое развитие.

К „Обзору“ приложен ряд диаграмм. Самая поучительная—диаграмма землевладения в 1917 г. и землепользования в 1922 г. по главным районам Европейской России. В крупных чертах она набрасывает яркую картину того, что дала революция крестьянству, как распределены отобранные у помещиков земли, и как сильно выросла площадь крестьянского землепользования по ряду наиболее важных в сельскохозяйственном отношении районов“.

„Правда“, 4/XI, 1923, № 251.

„Настоящий Энциклопедический Словарь в значительной мере является созданием Климента Аркадьевича Тимирязева. Он был одним из главных редакторов издания, руководил в нем самым обширным отделом—отделом точных наук, сам написал все основные статьи по биологии, наиболее важные статьи по ботанике, обогатил Словарь серией художественно написанных характеристик ботаников, биологов и химиков, с особенным вниманием и симпатией останавливаясь на „вольных каменщиках науки“, на так-наз. дилетантах, служивших науке не по казенному назначению. Ему же принадлежат и общие статьи, освещающие развитие точного знания, его методы и условия его прогресса. Естественно, что при таком руководящем редакторе, девизом Словаря стало: „позитивизм—в философии, дарвинизм—в биологии, марксизм—в обществоведении“. Естественно, что он привлек к себе лучшие силы марксизма, что по отделу русской истории в нем с самого начала принимал ближайшее участие М. Н. Покровский, что основную статью „Маркс и марксизм“ взял на себя написать В. И. Ленин.

Новые тома Словаря составляются по той же программе, проникнуты тем же стремлением сделать научное знание достоянием каждого грамотного человека и ведутся в том же направлении, как и ранее вышедшая часть издания“.


2007044829